Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

СИНКЛЕР ЛЬЮИС

БЭББИТ

●

ЭРОУСМИТ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

Вступительная статья
Т. Мотылевой

И (Амер)
Л 91

© Издательство «Художественная литература», 1973

Иллюстрации
Е. Шукаева

7-3-4
Подп. изд.

© Издательство «Художественная литература», 1973

СИНКЛЕР ЛЬЮИС И ЕГО ЛУЧШИЕ РОМАНЫ

Знакомство советских читателей с Синклером Льюисом началось полвека назад: в 1922 году появился в русском переводе его роман «Бэббит», а затем и «Главная улица», и ряд других его произведений. В последние десятилетия в круг чтения советских людей вошли крупные мастера американского критического реализма, которых раньше знали недостаточно: Уильям Фолкнер, Томас Вулф, Скотт Фицджеральд; новую, поистине широчайшую популярность приобрело наследие Эрнеста Хемингуэя. Однако читательский интерес к книгам Синклера Льюиса не ослабевает.

О Синклере Льюисе писали в разные годы советские литературоведы и критики разных поколений: И. Анисимов, С. Динамов, А. Елистратова, М. Мендельсон и другие. Ныне, когда со дня смерти С. Льюиса прошло уже более двух десятилетий, есть возможность обозреть его творчество с дистанции времени, отделить существенное от преходящего и наносного, точнее, уяснить себе место писателя в литературе его страны и всего мира.

Мастера реалистического романа США в XX веке выполнили общими усилиями титаническую работу. Они исследовали в разных ракурсах американскую действительность и помогли своим читателям увидеть, сколь мало она отвечает «американской мечте». Они показали несостоятельность идеалов, насаждаемых пропагандистами долларовой демократии. Синклер Льюис как критик буржуазного мира стоит рядом с такими выдающимися романистами, как Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Т. Вулф. В отображении жизни США он нашел свою тему, свой угол зрения. Он — в отличие от автора «Финансиста» и «Титана» — не проникал в тайны «большого бизнеса»; в отличие от Хемингуэя, не затрагивал проблем «потерянного поколения», травмированного первой мировой войной. Место действия романов С. Льюиса — не былой рабовладельческий Юг, как у Фолкнера, а чаще всего Средний Запад Америки — там находятся рожденные воображением Льюиса штат Уиннемак с его центром — городом Зенит, и провин-

циальный городишко Гофер-Прери с его Главной улицей. Синклер Льюис не создавал столь широких, многообъемлющих полотен, как Драйзер, Фолкнер или Вулф, не был таким тонким психологом и стилистом, как Хемингуэй или Фицджеральд. Его сила как художника была в другом: в великолепном знании быта, нравов, психологии «среднего американца» и вместе с тем в искусстве сатиры. Автор «Бэббита» умел разглядеть пошлость, обывательскую косность, стяжательский эгоизм в их самых повседневных, ходовых проявлениях. Он, как никто другой до него, разоблачил перед всем миром духовное ничтожество американского буржуа.

Творчество Синклера Льюиса не сводится к одной лишь сатире. В его романах нередко появляются положительные и подчас даже героические характеры. Однако сатирическое начало там почти всегда присутствует, заостряя — как это можно видеть, например, в «Эроусмите» — драматизм конфликта между честным, мыслящим человеком и теми собственниками, карьеристами, пошляками, с которыми он неминуемо сталкивается.

Романы «Бэббит» и «Эроусмит», публикуемые в этой книге, широко признаны как лучшие произведения Синклера Льюиса. Четыре романа Синклера Льюиса, которые он опубликовал после первой мировой войны один за другим: «Главная улица» (1920) — история интеллигентной женщины, пытающейся противостоять провинциальной обывательщине, «Бэббит» (1922), где встает типический характер «среднего» бизнесмена, «Эроусмит» (1925), роман о судьбе ученого, и «Элмер Гентри» (1927), где описана карьера пройдохи-церковника,— сюжетно никак не связаны друг с другом. И все же их можно рассматривать как своего рода цикл, объединенный общей большой темой. Они в бескомпромиссно критическом свете показывают то, что принято называть «американским образом жизни».

Именно эти романы положили начало стремительно поднявшейся международной славе Синклера Льюиса: в 1930 году он — первым из писателей США — был награжден Нобелевской премией. Премия была присуждена ему — как говорилось в постановлении Нобелевского комитета — «за его сильное, живое мастерство описаний, за его остроумие и юмор в создании оригинальных характеров» [1].

Синклер Льюис прожил шестьдесят шесть лет (1885—1951), начал литературную и журналистскую деятельность еще в молодые годы до первой мировой войны и написал двадцать два романа (а также ряд рассказов, очерков, статей). Его произведения неравноценны. Иногда он выпускал занимательные вещи, в которых были лишь слабые проблески серьезной мысли: это можно сказать не только о его ранних повестях, таких, как «Наш мистер Ренн» (1914), но и о некоторых романах более позднего времени, будь то «Капкан» (1926), «Бетель Мерридей» (1940) или «Касс Тимберлейн» (1945). В некоторых книгах он отступал от трезвого критического

---

[1] Цитируется по книге: Б. А. Гилленсон. Америка Синклера Льюиса. М., «Наука», 1972, с. 96.

реализма своих лучших произведений, как бы пытался пойти на мировую с обществом собственников,— такие тенденции налицо в его романах «Додсворт» (1929), «Блудные родители» (1938), «Богоискатель» (1949). И все же Синклер Льюис остается в памяти читателей и по сей день не как автор названных малоудачных вещей, которые по большей части сегодня уже почти забыты, а как создатель значительных, смелых книг, отмеченных остротой видения и новизной, самостоятельностью в постановке актуальных жизненных проблем.

Не правы те американские литературоведы, которые,— признавая, неохотно и с оговорками, заслуги автора «Бэббита» и «Эроусмита»,— утверждают, что творчество его после Нобелевской премии пошло на спад [1]. Не прав и английский критик Уолтер Аллен, когда он в недавно переведенной у нас интересной книге «Традиция и мечта» связывает писательские достижения Синклера Льюиса только с 20-ми годами и обвиняет романиста в том, что, начиная с «Додсворта», он будто бы перешел на сторону американских бизнесменов. Творческий путь Льюиса на самом деле — более извилистый, более сложный. Да, бесспорные успехи перемежались у него с художественными срывами и просчетами. Но если рассматривать его писательскую судьбу как целое, во временно́й последовательности, становятся более понятными внутренние причины его идейных и творческих колебаний, постоянного чередования удач и неудач. И становится очевидным вместе с тем, что романист, завоевавший славу как отважный обличитель мира Бэббитов, эту свою славу сумел оправдать: если не всеми своими книгами, то, по крайней мере, лучшими из них — включая роман о женщине, поборнице справедливости, «Энн Виккерс» (1933), яркий антифашистский роман-памфлет «У нас это невозможно» (1935), сатирический портрет буржуазного политикана «Гидеон Плениш» (1943) и, наконец, роман «Кингсблад, потомок королей» (1948) — одну из лучших книг в литературе США, направленных против дискриминации негров.

Когда Гарри Синклер Льюис, сын врача из провинциального городка Соук-Сентр в штате Миннесота и выпускник Йельского университета, проходил, в годы перед первой мировой войной, практическую школу литературного, газетного, редакционно-издательского дела — то в Айове, то в Калифорнии, то в Нью-Йорке,— ничто еще, казалось, не предвещало в нем того острого критика буржуазии и мещанства, каким он стал в своих лучших, зрелых книгах. Его первые повести и рассказы, неся печать литературного таланта, в то же время были во многом близки к общепринятым стандартам буржуазной беллетристики. Сам С. Льюис впоследствии говорил, что его писательский путь начинается с «Главной улицы», то есть с 1920 года. Однако уже в годы литературной молодости будущий прослав-

---

[1] Такого мнения придерживается, например, наиболее серьезный знаток Синклера Льюиса в США, автор объемистого биографического труда о нем, Марк Шорер.

ленный романист не только накоплял жизненные впечатления, отозвавшиеся потом в его зрелом творчестве, но и вдумывался в окружающий мир — и в нем нарастала потребность сказать этому миру горькую правду в глаза.

Заслуживает внимания его статья «Отношение романа к социальным противоречиям наших дней. Закат капитализма», опубликованная в журнале «Букмен» в ноябре 1914 года — вскоре после начала первой мировой войны. Драматические события, разгоревшиеся в далекой Европе, побудили молодого американского литератора поделиться размышлениями о судьбах современного романа, и более того — о судьбах современного человечества. Анализируя книги Герберта Уэллса, Теодора Драйзера, Эптона Синклера и ряда других менее известных писателей, С. Льюис приходил к выводу: нет серьезной литературы вне серьезной критики капитализма — ибо этот общественный строй волею истории обречен на гибель.

«...Почти каждый писатель,— в Америке, во всяком случае, в какой-то мере также и в Англии,— который стремится создать правдивое полотно современной жизни, вынужден показывать, что капитализм изжил себя, что он отмирает,— независимо от того, скорбит данный писатель по этому поводу, радуется или просто констатирует факт. Мало кто из них отчетливо представляет, как именно отомрет капитализм и что придет ему на смену. А сейчас, когда война в Европе подорвала веру социалистов-интернационалистов в свои силы, люди менее чем когда-либо способны дать себе ответ на проклятые вопросы: что, как, почему и когда. И все же почти каждый вдумчивый писатель наших дней в своем творчестве осуждает капитализм...»

Это же положение, в еще более резкой формулировке, находим мы и в финале статьи: «...В целом современная серьезная литература дает полное основание утверждать, что каждый мыслящий писатель наших дней за индивидуальной драмой своих героев видит фон обостряющейся социальной борьбы, которая угрожает самому существованию общественной системы, именуемой капитализмом. Нравится вам это или нет, художественная литература свидетельствует, что такая борьба идет».

Так Синклер Льюис — еще в самом начале первой мировой войны — определил для себя идейную основу, на которой должен строить свое творчество честный, мыслящий писатель XX века. Именно на этой основе возникли в последующие годы лучшие социальные романы Льюиса, глубоко антибуржуазные по своей сути.

В цитируемой статье упоминаются романы английских, американских прозаиков, где в центре действия находятся характеры трудящихся; для современной литературы, говорит Синклер Льюис, «прошло время величия Высших Классов и наступила эпоха Простого Человека». Будущий автор «Бэббита» был глубоко убежден, что это и на самом деле так. Но тут вставали проблемы, представлявшие для него, как художника, немалую трудность. Они остались для него трудными до конца его жизни.

Капитализм обречен на смерть. Но как именно это произойдет и что возникнет в результате его гибели? Размышления над такими вопросами неминуемо возникали у Синклера Льюиса — как и у многих других честных интеллигентов Запада — и во время первой мировой войны, и особенно на ее исходе, после Октябрьской революции в России. Героиня романа С. Льюиса «Энн Виккерс», узнав о русской революции, задумывается: не суждено ли ее будущему ребенку запомнить 7 ноября 1917 года как величайшее событие в истории человечества? Возможно и даже вероятно, что такие мысли рождались у самого Синклера Льюиса. Но перспектива революционного, социалистического переворота все же скорей отпугивала его, чем привлекала. Больше того: боязнь такого переворота на разных этапах жизни писателя в какой-то мере подрезала ему крылья, ослабляла его способность противостоять общественной системе, которую он сам считал отжившей и обреченной на умирание.

Тяготение к рабочему классу, к идеям социализма, возникшее у Синклера Льюиса, как свидетельствуют его письма, еще в молодые годы, противоречиво сочеталось с известным чувством привязанности к американской буржуазной демократии. Отсюда — колебания, сказавшиеся на разных поворотах его жизненного пути.

В 1922 году Синклер Льюис встретился с социалистическим лидером Юджином Дебсом, которому еще ранее послал в тюрьму свой роман «Главная улица» и который, при личном знакомстве, произвел на него глубокое впечатление своей нравственной силой и стойкостью. К этому времени относится и намерение С. Льюиса написать роман из жизни рабочих. Писатель в течение многих лет обдумывал этот роман, читал много книг о рабочем движении,— однако так и не справился с этим замыслом и в конце концов оставил его. Единственным произведением Синклера Льюиса, где он конкретно и с сочувствием говорит о пролетариате, остался его очерк (вышедший отдельной брошюрой в 1929 г.) «Дешевая и довольная рабочая сила», посвященный бастующим текстильщикам.

Симпатии Синклера Льюиса к социализму, которые и в 20-е годы были довольно расплывчаты, в конечном счете постепенно выветрились и сошли на нет. Для того чтобы написать роман о рабочем классе, ему не хватило не только знания материала, но и — в первую очередь — идейной ясности. Однако сочувственное внимание к «простым людям», пусть и неотчетливое и лишенное прочной опоры в его мировоззрении, по-своему сказывается в его лучших книгах.

Центральные персонажи произведений Синклера Льюиса всегда взяты из тех социальных слоев, с которыми он был хорошо знаком по воспоминаниям юности, по личным контактам или по своим многолетним литературным и журналистским впечатлениям. Это представители трудовой интеллигенции — врачи, юристы, коммерческие служащие, иногда и бизнесмены средней руки или политические деятели. Но трудящаяся и эксплуатируемая масса так или иначе представлена на страницах романов

Синклера Льюиса — будь то фермеры и ремесленники, которых лечит провинциальный «док» Кенникот («Главная улица») или молодой врач Эроусмит в одноименном романе; будь то сталелитейщики и строители города Зенита, которых побаивается и которых старается улестить демагогическими речами респектабельный делец Джордж Ф. Бэббит,— или арестанты, судьбу которых пытается облегчить своей наивной реформаторской деятельностью героиня романа «Энн Виккерс», или, наконец, угнетенные негры, с которыми, в силу неожиданного стечения обстоятельств, а также и по велению совести, сближается и солидаризируется белый американец Нийл Кингсблад, герой романа «Кингсблад, потомок королей». Уже по характеру изображаемой среды творчество Синклера Льюиса существенно отличается от произведений тех американских романистов, у которых сюжеты и герои всецело замкнуты в кругу имущей верхушки (включая и те талантливые, горькие романы из быта богатых людей, которые создавал Скотт Фицджеральд). Судьбы трудящегося большинства населения Америки ни разу не стали главной темой в романах С. Льюиса. Но почти во всех его лучших книгах это — открытый вопрос, острый, насущный, тревожащий и самого писателя, и его героев.

Романы Синклера Льюиса чаще всего названы именем центрального персонажа. И это не просто авторская прихоть. Сюжеты этих романов развертываются как истории личности в ее взаимоотношениях с обществом. Отчасти это — дань писателя традиционному американскому индивидуализму: он склонен был к решению многих вопросов подходить именно с позиций одиноко стоящей личности, ее запросов, ее судьбы и перспектив. Вместе с тем — такой принцип строения романов давал С. Льюису возможность полнее раскрыть характеры своих героев.

Человек вступает в жизнь (или — уже давно вступил в жизнь, но подошел к какому-то поворотному моменту своего существования). Как реализует он свои природные возможности? Как сложатся — или сложились — его взаимоотношения с окружающей средой? Подчинится он до конца недобрым законам собственнического мира или сумеет устоять, сумеет отстоять свое ищущее, бунтующее «я»? Или, наконец, найдет некое среднее, компромиссное решение? Почти все основные романы Синклера Льюиса, различные по сюжету, очень неодинаковые подчас и по идейной направленности, строятся как разнообразные вариации конфликта между личностью и средой. Нередко он завершается примирительным или неопределенным исходом: в этом отражается и противоречивость позиции писателя, и вместе с тем — тот факт, что проблемы, встающие перед его героями, не решены самой жизнью.

Отношение «личность — среда» имеет у Синклера Льюиса не только социальный, нравственный, но и более конкретный профессиональный аспект. Писатель убежден, что у каждого человека должно быть свое дело в жизни — должна быть работа, которая дает этой жизни смысл. (Драма Кэрол Кенникот, героини «Главной улицы», мотивируется не только тем,

что Кэрол не может ужиться с мещанами Гофер-Прери, но прежде всего и тем, что она не нашла себе дела по душе и по силам.) Разумеется, Синклер Льюис отчетливо видит разницу между осмысленной творческой работой и пустой суетней: проповедник Элмер Гентри или политический карьерист Гидеон Плениш заняты именно суетней, а не настоящим делом. Но, так или иначе, Льюис рисует каждого из своих героев в том окружении, той сфере, которая связана с родом его занятий. И многие его романы — как не раз отмечали критики — представляют своего рода социологические исследования, из которых можно немало узнать о мире провинциальных дельцов («Бэббит»), о здравоохранении и науке в США («Эроусмит»), о женском движении и пенитенциарной системе («Энн Виккерс»), о религиозных организациях и сектах («Элмер Гентри») и так далее. Понятно, что подобный подход к изображению личности требовал от Синклера Льюиса, перед тем как он брался за новую книгу, длительной подготовки, изучения материала,— и романист занимался такой подготовкой увлеченно и всерьез.

Как бы ни было неустойчиво, подвержено колебаниям мировоззрение Синклера Льюиса, у него уже в молодые годы сложился определенный комплекс идей, которым он на разных поворотах сохранил верность. Его отношение к капитализму было и осталось критическим (пусть он иногда и пытался отыскать симпатичных и разумных буржуа). Он был непримирим к стяжательству и косности крупных собственников. Он резко осуждал милитаризм, агрессивные войны, расовый гнет в разных его формах. Он рано сумел распознать классовую природу фашизма и был убежденным его врагом. Он трезво видел многие теневые стороны государственной системы США, хотя так и не распрощался до конца с иллюзиями буржуазного демократизма.

Синклер Льюис был яростным противником всего того, что стесняет человеческую личность. Отчасти именно поэтому он не принимал организованных форм революционной борьбы. Однако вместе с тем Льюис — поборник свободы личности — страстно ополчался на ханжество, фальшь, нивелировку, стандарт всюду, где он их видел.

Так возник «Бэббит» — роман о стандартном американце.

Литература критического реализма, от Бальзака до Драйзера, не раз рисовала колоритные фигуры буржуа, предпринимателей, энергичных, деловитых, способных действовать самостоятельно, с размахом и инициативой, и в то же время бессовестных, неразборчивых в средствах. Не весьма разборчив в средствах и мистер Бэббит. Но он, в сущности, несвободен, *несамостоятелен* в своих действиях. И деловитость его — призрачная, *мнимая*.

Такой аспект изображения буржуа был новым — не только в американской, но и в мировой литературе. Не удивительно, что прогрессивная литературная общественность США приветствовала «Бэббита». Роман воспринимался как своего рода художественное открытие. Видный критик

Генри Менкен, занимавший в 20-е годы резко антибуржуазную позицию, закончил свой разбор романа выводом: «Здесь больше, чем просто юмор: здесь искание истины... Я не знаю американского романа, который давал бы более верную картину подлинной Америки. Это социальный документ высокого класса» [1].

Синклер Льюис говорит о своем герое прямо и ясно:

«...Он, в сущности, ничего не умел производить: ни масла, ни башмаков, ни стихов,— зато превосходно умел продавать дома по цене, которая мало кому была по карману». Так, с первых же страниц Бэббит предстает как социальная ненужность. Мы видим Бэббита в разные моменты его «рабочего» дня: диктующим письма, обдумывающим план доклада, заключающим сделки — и все больше убеждаемся в справедливости изначальной авторской характеристики. Бэббит и вправду не создает и не способен создавать никаких ценностей — ни материальных, ни духовных. Он представитель класса, который некогда, согласно известному положению из «Коммунистического манифеста», играл в истории революционную роль, но который ныне, в XX веке, перестал быть организатором производства и превратился по преимуществу в класс паразитический, потребляющий.

Бэббит и показан крупным планом именно как потребитель, обладатель большого количества вещей, которые, в сущности, не нужны ему. И книги в его доме, которых никто не читает, и новенькая сверхусовершенствованная зажигалка, и даже автомобиль — все это для Бэббита и для его семьи предметы, назначение которых прежде всего в том, чтобы поддержать престиж их владельцев в обществе. В самом деле: ведь «в городе Зените, среди варваров двадцатого века, автомобиль определял социальное положение семьи, так же как звание пэра определяло знатность английских семейств».

Неторопливо, с характерной сдержанно-иронической интонацией романист описывает внешний облик и поведение своего героя. Даже и в похвальных эпитетах прячется осуждение, которое время от времени прорывается наружу. «Его серый костюм был отлично скроен, отлично сшит и совершенно ничем не приметен. Это был стандартный костюм. Белый кант на жилетке придавал ему серьезность и значительность. Башмаки на Бэббите были черные, шнурованные, отличные башмаки, честные, стандартные башмаки, удивительно неинтересные башмаки...» «Чрезвычайным событием явилось перекладывание всех вещей из карманов коричневого костюма в карманы серого. К своим вещам Бэббит относился серьезно. Он видел в них вечные ценности, такие же, как бейсбол или республиканская партия. Среди этих вещей были вечная ручка и серебряный карандаш, у которого всегда не хватало грифеля; носил он их в правом верхнем кармане жилетки. Без них он чувствовал бы себя просто голым». Для читателя стано-

---

[1] Sinclair Lewis. A collection of critical essays. Englewood Cliffs. N. Y., 1962, p. 22.

вится все более очевидным: не Бэббит владеет вещами, а вещи владеют им. Он живет в довольстве, богатстве, комфорте. Но ни свободы, ни счастья у него нет.

Бэббит, казалось бы, личность предельно несложная. Однако его психологический портрет отличается гибкостью, подвижностью. Сколь бы ни был Бэббит духовно нищ, душевно убог, он чувствует смутную неудовлетворенность собой и своей жизнью, порывается жить как-то по-иному. В сущности, первые семь глав романа, где описан один день Бэббита, представляют как бы экспозицию, пролог. Настоящее действие развертывается в последующих главах, где мы видим неуклюжие попытки Бэббита нарушить инерцию своего стандартного существования — и неминуемый крах этих попыток.

На эту внутреннюю динамику образа Бэббита давно уже обратили внимание критики разных стран, заинтересовавшиеся романом Льюиса. Известный итальянский писатель-антифашист Чезаре Павезе,— переводчик и глубокий знаток литературы США,— писал еще в 1930 году:

«Бэббит» занимает нас именно потому, что показывает, насколько существование рядового, заурядного, нормального человека может быть похоже на существование марионетки. Кто из читателей романа при чтении не вздрагивал, не спрашивал себя, сколько раз ему самому доводилось бывать Бэббитом?

Величие этой книги, повторяю, заключается в том, что Бэббит — не успокаивается, в том, что Бэббит — который и в этом верен себе — не хочет быть Бэббитом и терпит неудачу во всех своих усилиях, оставаясь до ужаса смирившимся, до ужаса добродушным и готовым все начать сначала. Каждый штамп, каждая слишком гладкая фраза, каждый жест, каждая смехотворная ситуация,— а читатель помнит, как много их в книге,— становятся как бы занозой, которая застревает в Бэббите, и хоть он сам этого не замечает, именно отсюда вырастает его характер, истерзанный, и даже стоический, и все же лишенный героизма; это самый заурядный и в то же время самый необыкновенный мученик, какого видел свет» [1].

Мученик — это сказано о Бэббите, конечно, не без оттенка иронии. Ведь его мечты о счастливой жизни, его поползновения на независимость и свободомыслие, в сущности, столь же убоги, как он сам: в его переживаниях нет и не может быть настоящего, глубокого драматизма. Но все же очень существенно, что Синклер Льюис не сделал своего героя законченным мракобесом и тупицей, наделил его некоторой долей человеческих чувств — искренней дружеской привязанностью к Полю Рислингу, любовью к сыну и даже робкими — очень робкими! — проблесками критического сознания. Все это не означает, что Синклер Льюис сам испытывал тайную нежность к Бэббиту и бэббитизму. Скорей это означает, что обвинение, ко-

---

[1] Cesare Pavese. American literature. Essays and opinions. Berkeley and Los Angeles, 1970, p. 17.

торое заключено в романе, адресовано в первую очередь всему обществу, всему буржуазному классу, а не отдельной личности.

Социальную типичность образа Бэббита сумели сразу же распознать наиболее проницательные читатели романа — не только в США, но и за их пределами. К отзыву Чезаре Павезе стоит добавить и еще одно свидетельство, исходившее от крупного западноевропейского писателя. Курт Тухольский, известный сатирик и публицист догитлеровской Германии, откликнулся на выход «Бэббита» в немецком переводе (в 1925 г.) восторженной рецензией. «Это самый актуальный роман из всех, какие за последнее время попадали мне в руки,— он целиком принадлежит нашему времени». Тухольский отмечал новизну художественных приемов романиста — включение в текст искусно стилизованных деловых документов, объявлений, газетных статей, оригинально применяемый монтаж коротких сценок-кинокадров, раздвигающих рамки действия. Но самое ценное и современное в романе, утверждал он, образ самого Бэббита. Тухольский увидел в этой фигуре нечто общее с немецким обывателем Вендринером, постоянным персонажем его собственных сатирических фельетонов. «Немцы будут смеяться над этим американцем. Но господин Вендринер никогда не поймет, что и он тоже Бэббит; что и его представления, раздумья, ходячие понятия окажутся столь же смешными, если воспроизвести их спокойно, вполне доброжелательно, без всяких комментариев; что те вещи, которые для него бесспорны и полны несокрушимого достоинства, на самом деле столь же непостижимо нелепы; что его Дрезденский банк, его бал в опере, та литература и те симфонические концерты, которые ему по душе, электрическое оборудование его квартиры и его торговые сделки точно, точно, точно так же бессмысленны и противны здравому смыслу, как и у Бэббита...»[1]

Синклер Льюис первым воплотил в рельефном, типическом образе жизненный процесс, над которым теперь, полвека спустя, задумываются многие писатели и социологи Западной Европы и США: обезличивание личности, стандартизацию вкусов, воззрений, поступков людей капиталистического мира. И процесс этот обрисован, на примере Бэббита, тем более убедительно благодаря тому, что герой романа — не марионетка, не гиперболизированная условная фигура, а вполне живой человек, показанный как бы изнутри, психологически достоверно и конкретно.

Читателю по ходу действия становится все более ясен механизм воздействия буржуазного общества на отдельную личность. Когда Бэббит пытается выбиться из стесняющих его рамок, в особенности когда он хочет уклониться от вступления в так называемую Лигу Честных Граждан, земляки, родичи, соседи, деловые партнеры, служители церкви общими усилиями принуждают — именно *принуждают* его «образумиться». Его тесть и компаньон Генри Томпсон недвусмысленно намекает: если Бэббит не

---

[1] Kurt Tucholsky. Panter, Tiger und andere. Berlin, 1958, S. 143, 151—152.

вступит в Лигу Честных Граждан, фирме грозит крах, а семье — разорение. Былые приятели его бойкотируют...

В эпизодах романа, посвященных Лиге Честных Граждан, с особой силой проявляется социальная зоркость Синклера Льюиса. Одним из первых в мировой литературе он уже в 20-е годы сумел разглядеть в капиталистическом мире — далеко за пределами Италии Муссолини — признаки фашизации. Он показал те национально-специфические методы действия и способы идеологического камуфляжа, к которым прибегали организации и группировки фашистского образца в его стране. «...Все члены Лиги соглашались, что рабочий класс должен знать свое место, все понимали, что Американская Демократия совсем не означает имущественного равенства, не требует здорового единообразия в мыслях, одежде, живописи, нравственности и речи... Самую упорную кампанию Лига провела за свободный наем рабочих, что означало тайную борьбу против всех профсоюзов...» Отсюда не так далеко и до актов политического террора. «Однажды толпа молодых людей ворвалась в помещение зенитского комитета социалистической партии, сожгла документы, избила служащих и преспокойно выкинула письменные столы в окно».

Так возникает в творчестве Синклера Льюиса антифашистская тема, которую он десять лет спустя, уже после гитлеровского переворота в Германии, развернул на страницах сатирического романа «У нас это невозможно» и еще позже, во время второй мировой войны,— в «Гидеоне Пленише».

Ныне, в свете исторического опыта народов Европы и США, очевидны заслуги Синклера Льюиса как одного из зачинателей антифашистской литературы в странах капиталистического Запада. Прозорливость автора «Бэббита» находит признание и в современной зарубежной критике. Автор одного из новых исследований о Синклере Льюисе подробно анализирует начало тридцать четвертой главы «Бэббита», где идет речь о Лиге Честных Граждан, и замечает: «Эти несколько страниц, предрекая пытки, аресты, казни, которые суждено было испытать Европе в течение последующего десятилетия, не менее весомы, чем роман «У нас это невозможно». И в самом деле, картина тут достаточно полная: показана и экономическая основа диктатуры самых богатых предпринимателей города (к которым примыкают и «состоятельные граждане»), назойливый патернализм, нацеленный на то, чтобы затушевать классовые противоречия, запугивание, применение насилия», «Диктатура Лиги Честных Граждан — логическое следствие стандартизации сознания, экономические причины которой очевидны,— представлена Льюисом как последнее порождение общества, давно уже забывшего о человеке» [1].

---

[1] Robert Silhol. Les tyrans tragiques. Un témoin pathétique de notre temps: Sinclair Lewis. Paris, 1969, pp. 271—272, 277.

Стандартизация личностей, превращение общества в толпу одиночек, запуганных и безликих, легко поддающихся идеологической обработке со стороны власть имущих,— в конечном счете прокладывает дорогу фашизму. Синклер Льюис сумел увидеть и показать это почти полстолетия назад.

Писатель сознавал, что в «Бэббите» ему удалось сказать нечто свое и важное, и впоследствии не раз возвращался к центральному персонажу своего романа, упоминал о нем в своей публицистике. Новую, сатирически еще более заостренную вариацию «бэббитовских» мотивов С. Льюис дал в остроумной повести-монологе «Человек, который знал Кулиджа» (1928), где выступает приятель и земляк Бэббита, бизнесмен из Зенита, откровенный реакционер Лоуэлл Шмальц. Любопытно, что Бэббит появляется и в одном из эпизодов романа «Эроусмит»; вместе с другими дельцами, самодовольными, преуспевающими служителями доллара и стандарта, которые широко и разнообразно представлены в романе, он образует как бы контрастный фон к главному герою, бескорыстному, беспокойному, духовно независимому рыцарю науки Мартину Эроусмиту.

Сатирический талант автора и в этой его книге проявился в полной мере. Стоит напомнить, что А. М. Горький высоко ставил Синклера Льюиса именно как обличителя буржуазного общества; в этом плане он ценил и роман «Эроусмит». В письме к А. Б. Халатову, написанном в конце 1929 года, Горький назвал Льюиса первым в ряду зарубежных «литераторов-радикалов, которые способны весьма ярко осветить различные стороны жизни Европы и Америки»; он особо отмечал «книги Льюиса «Эроусмит» и «Элмер Гентри»: первая отлично изображает шарлатанов науки, вторая религии — книги, которые заслуживают широчайшего распространения...» [1]

И в самом деле: о «шарлатанах науки» — стяжателях, умеющих делать выгодный бизнес и из практической медицины, и из любого научного открытия,— в «Эроусмите» говорится много и беспощадно: достаточно вспомнить модного хирурга Ангуса Дьюера, который, еще будучи студентом, не расходует даром «ни одного часа и ни одного доброго порыва»,— или дельца-врачевателя, краснобая и рифмоплета Альмуса Пиккербо, которому в финале романа предстоит занять министерское кресло. Ирония, сатира, элементы гротеска — все это здесь, как и в других лучших романах Синклера Льюиса, органически включено в безукоризненно достоверное изображение американской действительности, ее общественной и бытовой сферы. Механизм зависимости науки и здравоохранения от крупного бизнеса представлен с обстоятельным знанием материала, осязательно и зримо.

Но не менее важен в этом романе характер главного героя, душевно близкого и дорогого самому автору и завоевывающего самые живые симпатии читателя.

Понятно, что Синклер Льюис — у которого не только отец, но и дед, дядя, старший брат были врачами — включил в историю жизни Эроусмита, особенно на начальных ее этапах, много такого, что было ему знакомо по

[1] Архив А. М. Горького, том X, книга 1, с. 177.

впечатлениям юности или рассказам близких. Известно, с другой стороны, что Льюису помог литератор-бактериолог Поль де Крюи,— во вступительной заметке к роману автор выражал ему благодарность. Однако стоит отметить и один вероятный литературный источник «Эроусмита», на который исследователи еще не обратили должного внимания.

В 1943 году Синклер Льюис написал предисловие к американскому изданию романа Тургенева «Отцы и дети». Очевидно, что он прочитал эту книгу впервые не тогда, когда работал над предисловием, а гораздо раньше,— подобно тому как читал, еще в молодые годы, романы Толстого и Достоевского.

Об авторе «Отцов и детей» С. Льюис говорит с большой теплотой: «Нежность души Тургенева — слишком редкое качество, чтобы его не ценить... Мы, американцы, отнюдь не склонные замыкаться в себе, понимаем его героев, смеемся над ними, любим их».

Далее дается развернутая характеристика Базарова,— и мы убеждаемся, насколько этот тургеневский персонаж дорог американскому писателю.

«Главный герой романа, Базаров, студент-медик, верящий в лабораторный анализ больше, нежели в догмы и лозунги,— грубовато-честный, питающий юношеское отвращение ко всем общественным институтам, где ценятся лишь деньги и титулы, дурно воспитанный, благородный в дружбе, поддающийся в самую последнюю минуту сентиментальности, которая, по его мнению, ниже его достоинства,— навсегда вошел в литературу как тип молодого радикала и новатора, живущего в любую эпоху... В 1943 году, как и в 1862-м, когда роман увидел свет, он продолжает волновать умы, ибо говорит о том, что озадачивает и мучит поколение за поколением». Базаров, по мысли Льюиса, «относится к тем немногим созданиям художественной литературы, которые продолжают жить, как живут Дон-Кихот, Микобер или Шерлок Холмс, и мало кто из исторических личностей поспорит с ним в долговечности своей славы».

Мы не решимся прямо утверждать, что образ Базарова стоял перед Синклером Льюисом, когда он писал «Эроусмита». Но и Эроусмит задуман своим создателем как тип молодого радикала и новатора, грубовато-честного, презирающего деньги и титулы, верящего в лабораторный анализ больше, чем в догмы.

В «Эроусмите», как и в ряде других романов Синклера Льюиса, американская действительность представлена широко и наглядно, в ее будничном течении и пестроте, со всей ее прозой. Но образ главного героя здесь овеян самой доподлинной поэзией. Краткий пролог, где будущая прабабка Мартина Эроусмита, девочка-подросток, отважно пробирается через пустынные леса и болота на Запад, сразу возвещает родство героя романа со следопытами и первооткрывателями, о которых писали Фенимор Купер и Джек Лондон. И фамилия Мартина выбрана неспроста, она состоит из слов «arrow» — стрела, и «smith» — кузнец; она намекает на стремительность его натуры и на те трудовые плебейские начала, которые в нем заложены.

Излюбленная Синклером Льюисом психологическая тема «человек и его дело» раскрывается в таком аспекте, который полвека назад был совершенно новым для литературы. О судьбе и работе ученого Синклер Льюис написал одним из первых. Очень ясно, зримо переданы им и становление исследовательских интересов Мартина, вырастающих из врачебного практического опыта, и сам ход научных поисков, долгий, однообразный, напряженный, утомительный и — бесконечно радостный.

Вслед за автором «Эроусмита» к изображению мира науки обратились и другие писатели — тут стоит назвать романы Чарльза П. Сноу, тут стоит вспомнить и врача Антуана Тибо, описанного Роже Мартен дю Гаром с глубоким проникновением в специфику его труда и мысли. Однако существенно, что в «Эроусмите» не только изображена деятельность врача и процесс научного творчества, но и выдвинуты на первый план проблемы морального, философского характера. Роман заставляет размышлять над общественным назначением науки в современном мире, над долгом и этикой ученого: в этом смысле он вызывает ассоциации с такими произведениями, как «Галилей» Брехта, как «Русский лес» Л. Леонова.

Философия романа воплощена прежде всего в образе крупного исследователя Макса Готлиба, личности героического, подвижнического склада. Но в романе действует и другой человек большой души, который отчасти напоминает Готлиба своим абсолютным бескорыстием, творческой одержимостью, а отчасти контрастно соотносится с ним: это Густав Сонделиус. Любопытно, что оба ученых, сыгравших, каждый по-своему, немалую роль в жизни Мартина, показаны выходцами из Европы: уже этим подчеркивается, что они чужаки в мире доллара.

Мартин Эроусмит многому научился у Готлиба — не только в смысле профессиональном, но и в смысле моральном. Ему глубоко импонирует принципиальность, бескомпромиссность его учителя, ставящего науку превыше всего. И все же философия Готлиба — пафос раскольничества, «религия постоянного сомнения»,— философия, обрекающая ученого на одиночество, не полностью принимается Мартином. Для него наука — не самоцель. Его увлекает не только самый процесс познания, поисков истины, но и возможность с помощью найденной, пусть относительной истины лечить и спасать людей. И в этом смысле Эроусмиту — как и читателям романа — глубоко симпатичен Сонделиус, который так щедро, безоглядно раздает свои знания и помощь.

В главах романа, где описана деятельность Мартина на острове Сент-Губерт, пораженном эпидемией чумы,— перед героем встают сложные моральные проблемы. Что важнее в этих условиях: чистота научного эксперимента, от которого, быть может, зависит судьба важного открытия, или непосредственная польза, которую открытие может принести многим тысячам людей здесь и теперь, немедленно? Мартин, в конечном счете, нарушает обещание, данное им своему учителю Готлибу: привить противочумную вакцину только половине населения, чтобы таким образом прове-

рить действенность нового лечебного средства. Он действует, как ему советовал Сонделиус: никому не отказывать в прививке. Мартин вовсе не уверен, что, с точки зрения дальних перспектив науки, поступает правильно. Но он не может поступить иначе.

С новых сторон раскрывается в этих главах характер Леоры, преданной спутницы жизни Мартина. Ее образ обрисован с большой теплотой и большим искусством,— это, быть может, наиболее удачный женский образ во всем творчестве Льюиса. Вообще говоря, Синклер Льюис, яростный противник мещанского быта и нравов, был склонен поддерживать дело эмансипации женщин и их право на самостоятельный выбор профессии: эта тема была им затронута еще в раннем романе «Дело», а затем в «Главной улице» и впоследствии в «Энн Виккерс». Здесь, в «Эроусмите» тема женской судьбы трактуется несколько иначе. Для Леоры Эроусмит ее любимый труд, ее жизненное назначение именно в том, чтобы помогать мужу во всем, идти с ним сквозь все превратности жизни, как верный товарищ. Для нее само собой разумеется, что она должна сопровождать Мартина в опасную экспедицию. И смерть ее, пусть мотивированная случайностью, по-своему не менее благородно жертвенна, чем смерть Сонделиуса.

Эпизоды на Сент-Губерте образуют кульминацию романа: здесь до конца раскрывается его идейная проблематика, здесь достигает наивысшей остроты сюжетный драматизм. Некоторые мотивы этой части «Эроусмита» напоминают нам известный роман А. Камю «Чума». Сходство тут налицо — в приемах, какими обрисовано постепенное нарастание эпидемии, в частности, и в том, как оба писателя показывают лицемерие местных властей, боящихся назвать болезнь по имени и потому неспособных противостоять бедствию. Понятно, что для Камю (в отличие от Синклера Льюиса) чума — не столько конкретное жизненное явление, сколько философский символ, который интерпретируется им в свете его пессимистической философии. Но так или иначе, оба романа утверждают героическое деяние, направленное на спасение человеческих жизней.

В главах о чуме на Сент-Губерте возникает и другой идейный мотив, принципиально важный для творчества Синклера Льюиса. Мартин Эроусмит удивлен, когда видит перед собой негра-врача Оливера Марченда: «как большинство белых американцев, Мартин нередко говорил о низком развитии негров, ничего не зная о них...» «И вот в течение получаса доктор Эроусмит и доктор Марченд, забыв о бубонной чуме, забыв другую, более жестокую чуму расовой ненависти, чертили вдвоем диаграммы». Негр-интеллигент — образ, в ту пору почти неведомый литературе США. А слова о чуме расовой ненависти выражали глубокое убеждение писателя.

Прошло двадцать лет — и тема борьбы с расовым гнетом приобрела для литературы США новую остроту. В 1948 году появились два романа, очень разных, посвященных этой теме,— «Осквернитель праха» Уильяма Фолкнера и «Кингсблад, потомок королей» Синклера Льюиса. В каждом из них по-своему отразились реальные жизненные явления: рост самосознания

у американских негров после второй мировой войны, и вместе с тем — возникновение сочувствия к угнетенной расе у наиболее совестливых белых. В «Кингсбладе» у Синклера Льюиса появляется уже не одна эпизодическая фигура образованного негра, а целая группа интеллигентных цветных американцев, полных чувства достоинства и готовых отстаивать свои человеческие права.

Вернемся к Эроусмиту. В конце романа он отказывается от благосостояния и научной карьеры — и продолжает свои эксперименты в уединенной лаборатории, в лесу. Тут чувствуется влияние любимого Синклером Льюисом американского классика Генри Торо, который видел высшее счастье человека в одиночестве и непосредственном общении с природой (с книгой Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» Синклер Льюис не расставался, постоянно ее перечитывал [1]). Как понимать финал «Эроусмита»? Победа это или поражение? Читатель вправе усомниться в надежности той свободы, которую деятель науки в состоянии обрести таким оригинальным способом. Бесполезно гадать, как сложится дальше судьба Эроусмита, научная и личная. Но в тот момент, когда обрывается действие, Мартин Эроусмит чувствует себя скорей победителем, чем побежденным. Он, как бы то ни было, не поддался давлению шарлатанов от науки, не склонился перед всемогущим бизнесом и многоликим мещанством. Как не склонится, двадцать лет спустя, другой прямодушный и непокорный герой Синклера Льюиса, Нийл Кингсблад.

Мы убеждаемся, что романы Синклера Льюиса насыщены острой идейной проблематикой, которая не потеряла своей актуальности и в наши дни. Проблематика эта глубоко входит в плоть образов, в ткань сюжетов. Один из западноевропейских почитателей таланта Льюиса, известный немецкий романист Арнольд Цвейг, писал о нем еще в 1931 году: «В основе его искусства — критика современного мира, которая объединяет нас всех... Повествователь стоит за своими книгами: они лучше всего там, где его личность скрыта и где именно благодаря этому становится яснее то, что он хочет ими сказать» [2]. В самом деле: в лучших романах Льюиса автор-повествователь нередко комментирует действие — тактично и ненавязчиво. Но он, помимо этого, вживается в своих героев так, что становится как бы неотделим от них. Богатое идейное содержание его книг раскрывается естественно, самородно, благодаря полноте и богатству характеров, созданных писателем. Эти качества Синклера Льюиса — художника очевидны и в «Бэббите» и «Эроусмите» — книгах, представляющих заметный вклад в развитие мировой литературы XX века.

Т. Мотылева

---

[1] August Derleth. What should a writer read? In: Author and Journalist, March 1959.

[2] Arnold Zweig, Improvisation über Sinclair Lewis. In: Die Literatur, Januar 1931, № 4.

Посвящается Эдит Уортон

ПЕРЕВОД Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Башни Зенита врезáлись в утреннюю мглу; суровые башни из стали, бетона и камня, несокрушимые, как скала, и легкие, как серебряные стрелы. Это были не церкви, не крепости,— сразу было видно, что это — великолепные здания коммерческих предприятий.

Туман из жалости прикрывал неприглядные строения прошлых лет: почту с вычурной черепичной крышей, красные кирпичные вышки неуклюжих старых жилищ, фабрики со скважинами задымленных окон, деревянные дома грязного цвета. В городе полно было таких уродов, но стройные башни вытесняли их из центра, а на дальних холмах сверкали новые дома, где, казалось, обитают радость и покой.

Через бетонный мост промчался лимузин — длинный, блестящий, с бесшумным мотором. Его владельцы, веселые, разодетые, возвращались с ночной репетиции «Интимного театра», где любовь к искусству подогревалась немалой толикой шампанского. За мостом шло железнодорожное полотно в путанице зеленых и алых огней. С гулом пролетел нью-йоркский экспресс, и двадцать стальных рельсов сверкнули в ослепительном свете.

В одном из небоскребов приняли последние телеграммы агентства Ассошиэйтед Пресс. Телеграфисты устало сдвинули со лба целлулоидные козырьки — всю ночь шел разговор с Парижем и Пекином. По зданию расползлись сонные уборщицы, шлепая старыми туфлями. Утренний туман рассеялся. Вереницы людей с завтраками в руках тянулись к гигантским новым заводам — сплошное стекло и полый кирпич,— в сверкающие цехи, где под одной крышей работало пять тысяч человек, производя добротный товар, который пойдет и на берега Евфрата, и в африканские вельды. Гудки встречали их веселым гулом, бодрой, как апрельский рассвет, песней труда, в городе, словно воздвигнутом для великанов.

II

Ничего «великанского» не было в человеке, который в эту минуту просыпался на закрытой веранде особняка колониального стиля, в том изысканном предместье Зенита, которое носило название «Цветущие Холмы».

Звали его Джордж Ф. Бэббит. В апреле этого, тысяча девятьсот двадцатого, года ему было уже сорок шесть лет, и он, в сущности, ничего не умел производить: ни масла, ни башмаков, ни стихов,— зато превосходно умел продавать дома по цене, которая мало кому была по карману.

У него был большой, розовый череп, покрытый редкими суховатыми каштановыми волосами. Лицо его во сне казалось совсем ребяческим, несмотря на морщины и красные вмятины от очков на носу. Он был не слишком толст, но отлично упитан; щеки его походили на подушки, а холеная рука, лежавшая поверх армейского одеяла, слегка отекла. Сразу было видно, что он состоятелен, безнадежно женат и прозаичен. Да и закрытая веранда, на которой он спал, была чрезвычайно прозаична: с нее был виден довольно большой вяз, две аккуратные полоски газона, бетонная дорожка и гараж из рифленого железа. И все же Бэббиту опять снилась юная волшебница, и сон его был поэтичнее алых пагод у серебряного моря.

Уже много лет юная волшебница являлась ему во сне. И если другие видели в нем только Джорджи Бэббита, для нее он был молод и отважен. Она ждала его в полутьме сказочных рощ. И как только ему удавалось уйти от домашней толчеи, он мчался к ней. Жена, крикливые друзья — все пытались догнать его, но он убегал за легконогой подругой, и они садились отдохнуть на тенистом холме. Она была такая тоненькая, такая светлая, такая ласковая! Она уверяла его, что он веселый и храбрый, что она будет терпеливо ждать и они уплывут далеко-далеко...

Грохот и стук молочного фургона...

Бэббит застонал, повернулся на бок, пытаясь возвратиться в сон. Но ее лицо только на миг мелькнуло перед ним сквозь туманную мглу. Истопник грохнул дверью подвала. В соседнем дворе залаяла собака. И когда Бэббит снова погрузился в блаженную теплую волну, почтальон, посвистывая, прошел мимо парадного, и свернутый номер «Адвоката» со стуком полетел на пол у двери. Бэббит вздрогнул, с испугу у него сразу засосало в животе. И только он снова успокоился, его пронзил знакомый противный звук — рядом заводили форд: «пф-ф-у-у, пфф-у-у, пфф-у-у!» Бэббит — сам страстный автомобилист — мысленно стал крутить ручку вме-

сте с невидимым водителем, вместе с ним напряженно ждал, пока не загудит мотор, вместе с ним мучился, когда мотор заглох и снова пошло противное, въедливое «пф-ф-у-у, пфф-у-у»,— звук был какой-то круглый, плоский, по-утреннему зябкий, доводящий до бешенства, неумолимый звук. И только когда нарастающий гул мотора сказал ему, что форд пошел, Бэббит с облегчением вздохнул, спокойно посмотрел на свое любимое дерево — ветви вяза четко выступали на позолоте неба — и стал нашаривать сон, как шарят в поисках снотворного. Он, который в детстве так доверчиво относился к жизни, теперь был почти равнодушен ко всем мыслимым и немыслимым происшествиям, которые ему сулил наступающий день.

И он снова ушел от действительности, пока в семь двадцать не зазвонил будильник.

III

Это был лучший из широко разрекламированных будильников серийного выпуска, со всякими новшествами, вроде колокольного звона, переменного боя и светящегося циферблата. Бэббит гордился тем, что его будит такой великолепный механизм. Это так же поднимало человека в глазах общества, как покупка самых дорогих шин для автомобиля.

С неохотой он признал, что выхода нет — надо вставать, но не встал, чувствуя, как ненавистна ему скучная и однообразная работа в конторе по продаже недвижимости, как противна семья и как он сам себе противен за то, что они ему противны. Накануне он до полуночи играл в покер у Верджила Гэнча, а после таких развлечений он всегда до завтрака бывал не в духе. То ли он выпивал слишком много пива, которое при сухом законе варили дома, и после пива выкуривал слишком много сигар, то ли ему бывало обидно возвращаться из хорошей, крепкой мужской компании в ограниченный мирок жен и стенографисток, где все время пристают, чтобы ты не курил так много.

Из спальни, выходившей на террасу, раздался до тошноты бодрый голос жены: «Пора вставать, Джорджи, милый!» — и этот зудящий звук, этот шорох и треск от вычесывания волос из жесткой щетки.

Он хрюкнул себе под нос, выпростал толстые ноги в младенчески-голубых пижамных брюках из-под армейского одеяла и сел на край кровати, ероша растрепанные волосы и машинально нащупывая толстыми ступнями ночные туфли. С грустью он взглянул на плотное защитного цвета армейское одеяло — постоянное напоминание о свободе и героических приключениях. Одеяло было

куплено для туристской вылазки, которая так и не состоялась. Оно стало заменой безудержного безделья, безудержного сквернословия и мужественных фланелевых рубашек.

С трудом разминая суставы, он поднялся на ноги и застонал от болезненной рези в глазах. И хотя он ждал, что приступ режущей боли может еще повториться, он все же обвел мутным взглядом свой дворик. И, как всегда, это доставило ему огромное удовольствие. Двор был вычищен и выскоблен, как положено двору преуспевающего зенитского коммерсанта, то есть это был превосходный двор, который вызывал у хозяина чувство собственного превосходства. Бэббит посмотрел на железный гараж и подумал, как думал триста шестьдесят пять раз в году: «Дешевка, куда она годится, эта жестянка? Надо будет выстроить хороший деревянный гараж. Но, честное слово, больше на участке ничего устаревшего нет!»

Глядя на свой гараж, он подумал, что в Глен-Ориоле, где он застраивал участки, нужен общественный гараж. Он перестал пыхтеть и поеживаться. Он упер руки в бока. Насупленное, опухшее от сна лицо вдруг стало решительным и твердым. Он сразу стал хозяином, дельцом, из тех, кто умеет планировать, управлять, добиваться своего.

И под воздействием этих мыслей он решительно зашагал по пустому, чистому, словно необитаемому, коридору в ванную.

Хотя дом был невелик, но, как во всех особняках Цветущих Холмов, ванная в нем была поистине королевская — сплошной фаянс, керамические плитки и блистающий серебром металл. Сушилка для полотенец была сделана из матового стекла, оправленного в никель. В ванне легко поместился бы прусский гвардеец, а над вделанным в стену умывальником красовались такие замысловатые и ослепительные приспособления для зубных щеток, бритвенных приборов, мыльниц и губок, такая потрясающая аптечка, что казалось, стоишь перед распределительным щитом электростанции. Но Бэббит, чьим идолом было Новейшее Оборудование, недовольно поморщился. Вся ванная пропахла какой-то мерзкой зубной пастой. «Опять Верона за свое! Сколько раз я ее у-пра-шивал — покупай «Лилидол»! — а она опять притащила какую-то вонючую пакость, от которой тошнит...»

Циновка возле ванны смята, пол мокрый. У Вероны, его дочери, иногда появляется фантазия — принимать ванну рано утром! Он поскользнулся на циновке, ударился о ванну. «Черт!» — выругался он. Свирепо схватил крем для бритья, свирепо намылился, воинственно шлепая пенной кисточкой, и свирепо стал скрести толстые щеки безопасной бритвой. Бритва не шла. Лезвие притупилось. Он опять выругался: «О, ч-чч-черрт!»

Он долго искал в аптечке пачку новых лезвий и, как всегда, подумал: «Дешевле купить эту, как ее там, штуковину и самому править бритвы!» Найдя лезвия за круглой коробкой с содой, он мысленно осудил жену за то, что она их туда засунула, и похвалил себя за то, что удержался и не послал ее к черту. Но он тут же чертыхнулся вслух, пытаясь мокрыми, скользкими от мыла пальцами снять с нового лезвия эту гнусную обертку и плотную липкую вощанку.

Потом, как всегда, перед ним встала вечная и неразрешимая задача — куда девать старое лезвие, чтобы дети не порезали пальцы. И, как всегда, он забросил его на аптечку, напоминая себе, что непременно надо будет убрать все пятьдесят или шестьдесят лезвий, которые там уже накопились. Он кончил бриться, злясь на растущую головную боль, на пустоту в желудке. С влажным, гладким от бритья лицом, с горящими от мыльной воды глазами, он потянулся за полотенцем. Все полотенца были мокрые насквозь, липкие, противные, он хватал их вслепую, перебирал: его личное полотенце, полотенце жены, Теда, Вероны, Тинки, купальная простыня с толстой меткой — все до одного мокрые! И тут Джордж Ф. Бэббит сделал ужасающую вещь — он утерся полотенцем для гостей. Тонкое, вышитое анютиными глазками, оно всегда висело в ванной, как доказательство того, что Бэббиты принадлежат к лучшему обществу Цветущих Холмов. Полотенцем этим никто никогда не пользовался. Гости и дотронуться до него не решались. Они украдкой вытирали руки концом какого-нибудь хозяйского полотенца.

Бэббит бушевал: «Безобразие, хватают все полотенца, ни одного, черт подери, не оставят, все мокрые, как губка, хоть бы догадались приготовить для меня сухое! Мучайся тут из-за них, понадобилось полотенце — и вот тебе! Честное слово, я единственный человек в этом проклятом доме, который еще хоть как-то, будь я проклят, думает о других, один я понимаю, что другим тоже после меня придется пользоваться этой проклятой ванной, один я забочусь...»

Он швырял эту мокрую мерзость в ванну, злорадно слушая, как полотенца уныло плюхаются на дно, но тут с безмятежным видом вошла его жена и безмятежно спросила:

— Джорджи, милый, что это ты затеял? Уж не хочешь ли ты стирать полотенца? Зачем тебе их стирать?.. Боже мой, Джорджи, неужели ты вытерся гостевым полотенцем?

Ответил он ей или нет — об этом история умалчивает.

Но впервые за много недель жена его настолько задела, что он даже посмотрел на нее.

IV

Майру Бэббит, миссис Джордж Ф. Бэббит,— иначе, как перезрелой, назвать было трудно. От углов рта к подбородку шли морщинки, полная шея отвисла. Но больше всего ее возраст подчеркивало явное отсутствие стеснения перед мужем и то, что ее самое это ничуть не смущало. Сейчас она стояла перед ним в нижней юбке и корсете, из которого складками выпирало тело, и даже не замечала, что корсет ей тесен. Она настолько привыкла к семейной жизни, что при всей своей женственности стала бесполой, как бескровная монашка. Женщина она была добрая, славная, работящая, но никто, кроме, пожалуй, Тинки, их десятилетней дочери, не интересовался ею и даже не замечал ее существования.

После довольно придирчивого обсуждения полотенечного вопроса с обеих точек зрения — как семейной, так и общественной,— она попросила у Бэббита прощения за то, что у него с похмелья болит голова, а он настолько пришел в себя, что даже позволил ей поискать его сетчатую рубашку, которую, как он едко заметил, кто-то нарочно засунул под чистые пижамы.

Он совсем смягчился, когда стали обсуждать вопрос о его коричневом костюме.

— Так как же, Майра? — Он рылся в груде одежды, брошенной на кресло в спальне, а Майра расхаживала по комнате, каким-то непонятным образом прилаживая и расправляя нижнюю юбку, и Бэббит смотрел на нее желчным взглядом — ему казалось, что она век не кончит одеваться.— Надеть мне сегодня опять коричневый костюм или нет?

— Он тебе очень к лицу!

— Знаю, но, понимаешь, пора бы его выгладить.

— Это-то верно. Пожалуй, пора.

— Да, не мешает его выгладить, не мешает.

— Да, надо бы его отдать выгладить.

— Но пиджак-то можно не гладить! На кой же черт отдавать в глажку весь костюм, когда пиджак вовсе и не надо гладить.

— Правда, как будто незачем.

— Но брюки-то отгладить нужно, очень нужно. Ты только погляди — видишь, как они измялись. Нет, брюки обязательно надо отгладить.

— Да, надо. Слушай, Джорджи, а почему бы тебе не надеть к коричневому пиджаку те синие брюки, которые мы не знали, куда девать?

— Фу-ты господи! Да разве ты когда-нибудь в жизни видела, чтобы я надел брюки от одного костюма, а пиджак от другого? Кто я, по-твоему, такой? Проворовавшийся бухгалтер, что ли?

— Ну хорошо, а почему бы тебе не надеть сегодня темно-серый костюм, а по дороге занести портному коричневые брюки?

— Да, безусловно, не мешает их... а, черт, да где же этот серый костюм? Ага, вот он!

Дальше одеванье пошло уже гораздо быстрее и спокойнее.

Первым делом он натянул сетку-безрукавку, в которой он был ужасно похож на мальчишку, напялившего марлевые латы на школьном маскараде. Надевая сетчатое белье, Бэббит всегда благодарил бога Прогресса за то, что не носит длинного тесного старомодного белья, как его тесть и компаньон Генри Томпсон. Чтобы стать еще красивее, он расчесал и пригладил волосы. Лоб у него сразу стал огромным, дюйма на два выше линии, где когда-то начинались волосы. Но самое главное чудо сотворили с ним очки.

У каждой пары очков есть свой характер — и у важных роговых очков, и у скромного пенсне учителя, и у серебряной оправы старого фермера. Очки Бэббита представляли собой огромные круглые стекла без оправы, наилучшего качества, с тонкими золотыми дужками для ушей. В них он сразу становился современным дельцом, который отдает приказания клеркам, сам водит машину, любит поиграть в гольф и по-научному решает проблемы Торговли. В очках он уже не походил на ребенка: сразу стало видно, какая у него крупная голова, какой широкий туповатый нос, прямой рот с длинной плотной верхней губой и слишком мясистый, но решительный подбородок. С достоинством, вызывавшим уважение, он заканчивал туалет и по всей форме превращался в Солидного Гражданина.

Его серый костюм был отлично скроен, отлично сшит и совершенно ничем не приметен. Это был стандартный костюм. Белый кант на жилетке придавал ему серьезность и значительность. Башмаки на Бэббите были черные, шнурованные, отличные башмаки, честные, стандартные башмаки, удивительно неинтересные башмаки. Единственное, в чем он позволил себе некоторое легкомыслие,— это темно-вишневый вязаный галстук. Сопровождая выбор галстука многословным комментарием, обращенным к миссис Бэббит (которая с акробатической ловкостью прикалывала сзади блузку к юбке английской булавкой и ни слова не слышала), он отдал предпочтение вишневому галстуку перед пестрым произведением искусства, где коричневые арфы без струн переплетались с пушистыми пальмами, и заколол выбранный галстук булавкой в виде змеиной головы с опаловыми глазами.

Чрезвычайным событием явилось перекладывание всех вещей из карманов коричневого костюма в карманы серого. К своим

вещам Бэббит относился серьезно. Он видел в них вечные ценности, такие же, как бейсбол или республиканская партия. Среди этих вещей были вечная ручка и серебряный карандаш, у которого всегда не хватало грифеля; носил он их в правом верхнем кармане жилетки. Без них он чувствовал бы себя просто голым. На часовой цепочке висел золотой перочинный ножик, серебряная машинка для сигар, семь ключей, из которых два — неизвестно откуда, и, кроме того, прекрасные часы. Сбоку при часах болтался большой желтоватый зуб лося — знак принадлежности к Благодетельному и Покровительственному ордену Лосей. Самым важным предметом, однако, был карманный блокнот, новейший деловой блокнот, где были записаны адреса давно позабытых людей и квитанции почтовых переводов, давным-давно полученных адресатами; там же лежали пересохшие марки, вырезки со стихами Т. Чамондли Фринка и газетными передовицами, из которых Бэббит черпал и свои политические убеждения, и набор ученых слов; кроме того, там были записки с напоминанием — сделать то, чего он никогда делать не собирался, и, наконец, красовалась непонятная запись — Д. С. С. Д. М. У. П. Д. Ф.

Однако портсигара у Бэббита не было. Никто не догадывался презентовать ему портсигар, поэтому он привык обходиться без него и всех, кто имел портсигары, считал неженками.

После всего он воткнул в петлицу значок клуба Толкачей. С лаконичностью, присущей великому искусству, на значке было выбито всего два слова: «Толкай вперед!» Благодаря этому значку Бэббит чувствовал себя честным человеком, значительным человеком. Значок связывал его с Хорошими Людьми, с людьми порядочными, приятными, имевшими вес в деловых кругах. Значок заменял ему Крест Виктории, ленточку Почетного легиона, эмблему студенческой корпорации.

К сложности одевания примешивались и другие заботы.

— Мне нынче что-то не по себе,— сказал он.— Должно быть, слишком плотно пообедал. И зачем ты подаешь эти жирные оладьи с бананами?

— Но ты же сам просил!

— Мало ли чего... Когда человеку за сорок, он должен следить за пищеварением. Сколько людей пренебрегают своим здоровьем! Говорю тебе: после сорока — ты дурак, если сам не врач — я хочу сказать, если ты сам себе не врач. Слишком мало обращают внимания на диету. А по-моему... ну конечно, после работы человеку надо поесть как следует, но нам с тобой не вредно бы завтракать второй раз полегче.

— Что ты, Джорджи, я и так всегда ем дома самые легкие завтраки!

— Намекаешь, что я на службе жру как свинья? Да, там поешь, как же! Ты бы не то запела, если бы тебе пришлось есть падкость, которую нам подают в Спортивном клубе! А сегодня утром мне было по-настоящему плохо. Какая-то странная боль с левой стороны — нет, это все-таки не аппендицит, как по-твоему? А вчера вечером, когда я ехал к Верджу Гэнчу, у меня что-то и желудок побаливал. Вот тут, в этом месте — такая, знаешь, острая, внезапная боль... Куда я девал эту монетку?.. Слушай, почему ты так редко подаешь к завтраку чернослив? Конечно, вечером я съедаю яблоко — как говорится, «по яблоку на день, и доктор не надобен»,— но все-таки обязательно следовало бы подавать чернослив вместо всякой этой стряпни.

— В прошлый раз, когда подали чернослив, ты к нему и не притронулся.

— Что ж, значит, не хотелось! Впрочем, я все-таки как будто съел несколько штук. В общем, повторяю, все это очень существенно. Вот вчера я так и говорил Верджу Гэнчу: не умеют люди заботиться о пищеваре...

— Позовем Гэнчей к нам обедать на той неделе?

— Непременно, еще бы!

— Тогда вот что, Джордж, очень прошу тебя — надень к обеду новый смокинг.

— Чушь! Кто это придет в парадном костюме?

— Все придут! Помнишь, как ты не надел смокинг к ужину у Литтлфилдов, а все другие пришли разодетые; вспомни, как неловко ты себя чувствовал.

— Еще чего — неловко! Ничуть не бывало! Все знают, что я могу напялить эти «хвосты» не хуже других, чего же мне стесняться? И вообще, все это дурацкие выдумки. Вам, женщинам, хорошо — крутитесь дома целый день, а если человек работает как про́клятый с утра до вечера, зачем ему забивать себе голову, ходить переодеваться во всякие брюки-фраки — и для кого, спрашивается? Для людей, которых он в тот же день видел в самом обыкновенном платье.

— Неправда, ты любишь хорошо одеться. Позавчера ты мне сам сказал спасибо за то, что я тебя уговорила надеть фрак. Говорил, что чувствовал себя гораздо лучше. И вот еще что, Джорджи, пожалуйста, не называй вечерний костюм «хвосты». Надо говорить «фрак» или «смокинг».

— Чушь! Не все ли равно!

— Во всяком случае, воспитанные люди так не говорят! Представь себе, вдруг Люсиль Мак-Келви услышала бы, как ты говоришь «хвосты»!

— Ладно, прекратим этот разговор! Люсиль Мак-Келви мне не указ! Родные у нее не бог весть кто, хоть ее муж и папаша теперь миллионеры. Может, ты хочешь подчеркнуть, что ты из благородных? Так вот, разреши тебе напомнить, что твой уважаемый предок, Генри Т., даже не говорит просто «хвосты», а обязательно скажет «длиннохвостый пиджак для бесхвостых обезьян», а на него самого такой пиджак ни за какие деньги не напялишь — разве что под хлороформом.

— Фу, какой ты грубый, Джордж, перестань!

— Я и не собирался тебе грубить, но, ей-богу, ты стала придираться — совсем как Верона. Стоило ей окончить колледж, как житья не стало от ее кривляний — сама не знает, чего ей надо,— но я-то знаю! Хочет выйти замуж за миллионера и жить в Европе, якшаться там со всякими проповедниками, а вместе с тем, видите ли, ей хочется сидеть дома, в Зените, и стать каким-нибудь идиотским агитатором у социалистов или командовать благотворительными комитетами — словом, чушь собачья! А Тед, тот еще хуже! То он поступает в колледж, то нет. Из них троих одна Тинка знает, чего ей надо. Просто не понимаю, как это у меня выросли такие бездельники, как Тед и Рона. Конечно, может, я сам не какой-нибудь Рокфеллер или Джеймс Д. Шекспир, но я-то знаю, чего хочу, работаю у себя в конторе, добиваюсь... А ты слыхала последнюю новость? Насколько я понимаю, у Теда новый заскок — решил стать киноактером... Я ему сто раз повторял: если он пойдет в колледж, а потом в юридический институт и хорошо окончит, я ему помогу открыть собственную контору! А Верона? Сама не знает, чего ей надо! Ну, что же ты? Идем завтракать, уже минуты три прошло, как прислуга звонила!

V

Прежде чем пройти за женой в столовую, Бэббит остановился у крайнего западного окна спальни. Цветущие Холмы, резиденция богатых людей, возвышались над городом, и хотя центр находился в трех милях,— в Зените уже насчитывалось около четырехсот тысяч жителей,— Бэббиту был отлично виден Второй Национальный банк — тридцатипятиэтажная башня из индианского камня.

Сверкающие стены, увенчанные простым куполом, вздымались в апрельское небо, как сноп ослепительного света. Здание было воплощением цельности, целеустремленности. Как великан воин, оно легко несло свою силу. И пока Бэббит глядел на башню, на лице его сглаживались следы раздражения, и в благоговей-

ном созерцании он поднял безвольно опущенный подбородок. Он только пробормотал: «Одно удовольствие смотреть!» — но город вдохновлял его своим ритмом, и смотрел он на него с любовью. Башня небоскреба казалась ему колокольней храма, где ту религию, имя которой — Бизнес, исповедовали с верой страстной и возвышенной, доступной лишь посвященным. И, входя в столовую, он мурлыкал припев старой песни: «Та-ра-ри-ра, та-ра-ти-та!» — как будто это был гимн, грустный и торжественный.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Когда умолкло ворчание Бэббита и невнятное похмыкивание его жены, которым она выражала сочувствие,— хотя долгий опыт отучил ее сочувствовать, но зато еще более долгий опыт приучил всегда поддакивать,— их спальня сразу стала безличной, похожей на все другие спальни.

Комната эта выходила на закрытую веранду. В спальне они оба одевались, а в холодные ночи Бэббит с наслаждением отказывался от всякой закалки на веранде и забирался в свою кровать в спальне, сворачиваясь калачиком в тепле и подсмеиваясь над январскими холодами.

Спальня была выдержана в приятных мягких тонах и обставлена по стандартным эскизам одного из лучших декораторов, который «отделывал» почти все собственные дома в Зените. Серые стены с белыми окнами и дверями, ковер спокойного голубоватого оттенка, вся мебель — под красное дерево, шкаф с огромным шлифованным зеркалом, туалет миссис Бэббит со всякими принадлежностями чуть ли не из чистого серебра, гладкие одинаковые кровати, между ними — ночной столик со стандартной ночной лампочкой, стаканом для воды и стандартной книжкой для чтения на ночь с множеством цветных иллюстраций — какая это была книга, сказать трудно, так как никто никогда ее не открывал. Матрацы были упругие, но не жесткие, отличные матрацы новейшего фасона, и притом очень дорогие; радиаторы центрального отопления были точно рассчитаны по кубатуре спальни. Широкие окна легко открывались, запоры и шнуры на них были наилучшего качества, а полотняные шторы не пропускали света. Это была образцовая спальня, прямо из каталога «Новейший уютный дом для семьи со средним достатком». Но спальня эта существовала безотносительно к Бэббитам и вообще к кому бы то ни было. И если люди в ней жили и любили, читали на ночь увлекательные романы или бла-

женно бездельничали утром по воскресеньям, то на комнате это никак не отразилось. У нее был вид очень хорошего номера в очень хорошем отеле. Казалось, что сейчас войдет горничная, уберет ее для людей, которые останутся тут всего на одну ночь, а потом уйдут, даже не оглянувшись, и никогда о ней не вспомнят.

И в каждом втором доме на Цветущих Холмах была точно такая же спальня.

Дом, где жили Бэббиты, был выстроен пять лет назад. Он весь был такой же удобный и такой же вылощенный, как спальня. Здесь все было выдержано в лучшем вкусе,— самые лучшие недорогие ковры, самая простая и добротная планировка, самые новейшие удобства. Везде электричество заменяло свечи и грязные камины. В спальне было три штепселя для ламп, скрытые крошечными медными дверцами. В коридоре были специальные штепсели для пылесосов, а в гостиной — для торшера и для вентилятора. В нарядной столовой (с отличным дубовым буфетом, стеклянной горкой, кремовыми стенами и скромной картиной, изображающей лосося при последнем издыхании рядом с горой устриц) тоже были специальные штепсели для электрического кофейника и электротостера.

В сущности, у дома Бэббитов был только один недостаток: в нем не было домашнего уюта.

II

По утрам Бэббит обычно выходил к завтраку оживленный, с веселой шуткой. Но сегодня, неизвестно отчего, все шло вкривь и вкось. Величественно прошагав по коридору, он заглянул в комнату Вероны и возмутился: какой смысл создавать для своей семьи первоклассный дом, когда они ничего не ценят, не желают заниматься делом, вести себя по-человечески!

Все семейство уже собралось. Верона — толстенькая темноволосая девушка двадцати двух лет, только что окончившая Бринморский колледж и вечно занятая проблемами долга, религии, пола и заботой о том, что на ней так плохо сидит ее серый спортивный костюм; Тед — Теодор Рузвельт Бэббит, красивый семнадцатилетний мальчик, и Тинка — Кэтрин — совсем еще ребенок в свои десять лет, ярко-рыжая, с прозрачной кожей, по которой сразу было видно, что девочка ест слишком много конфет и мороженого. Бэббит вошел в столовую шумно, но ничем не выказал раздражения. Он никак не хотел быть тираном в своей семье и ворчал на них без всякой злобы, хотя и весьма часто. Тинке он, как всегда, крикнул: «Здравствуй, тяпа-ляпа!» Это было единственное ласковое словечко в его словаре (не считая обращений «дорогая» и «душень-

ка», которые относились к жене), и каждое утро он приветствовал Тинку этим восклицанием.

Первую чашку кофе он проглотил залпом, надеясь, что душа и желудок сразу успокоятся. Желудок и вправду перестал казаться чужим, но тут Верона начала какой-то сугубо «душеспасительный» и нудный разговор, и сразу к Бэббиту вернулись все те сомнения, касавшиеся жизни вообще, и семьи, и работы, которые грызли его с утра, когда отошел сон и улетела тоненькая юная волшебница.

Вот уже полгода, как Верона служит регистраторшей в конторе кожевенной компании Грюнсберга, в надежде стать секретаршей самого мистера Грюнсберга, и Бэббит всегда твердил: «Пока ты не вышла замуж и не устроилась, пусть будет хоть какой-нибудь прок от твоего высшего образования, которое стоило таких денег».

И вдруг Верона заявляет:

— Знаешь, отец, я говорила со своей подружкой по колледжу, она работает в Объединении благотворительных обществ — ах, папочка, ты бы посмотрел, каких чудных ребятишек приносят на молочную кухню! — так вот я считаю, что мне тоже надо заняться чем-нибудь таким, стоящим!

— То есть как это «стоящим»? Если ты станешь секретаршей Грюнсберга,— а ты бы наверно добилась этого, если б побольше занималась стенографией и не бегала каждый вечер по всяким концертам и собраниям,— ты увидишь, что тридцать пять — сорок монет в неделю — очень «стоящее» дело!

— Знаю, но — ммм — видишь ли, мне так хочется — ну... приносить пользу, например, работать где-нибудь в рабочем районе, в многоквартирном доме. Вот если бы мне разрешили создать при каком-нибудь большом универмаге специальный отдел обслуживания с бесплатной комнатой отдыха, уютно ее обставить — пестрый ситец, плетеные кресла, ну и все, что полагается... И еще я могла бы...

— Постой, постой! Первым делом пойми, что всякие эти благотворительные выдумки и все эти просвещенья-развлеченья, рабочие кварталы и прочая мура — просто лазейка для социализма, и больше ни черта! А чем скорее человек поймет, что никто с ним нянчиться не будет и даром кормить его тоже не станут и никаких бесплатных лекций и всяких там штучек для детей ему тоже никто не даст, если он сам не заработает,— чем скорее, говорю, он это поймет, тем скорее найдет себе работу и будет давать продукцию, да, продукцию, понимаешь, дело делать! Вот что нужно стране, а не эти выдумки, от которых рабочий человек становится тряпкой, а его ребята начинают воображать бог знает что и хотят стать

выше своего класса. А ты — лучше бы ты делом занялась, вместо того чтобы тратить время на глупости! Когда я был молодым, я точно знал, чего хочу, и добивался изо всех сил, несмотря ни на что, вот почему я и стал тем, что я есть, и... ох, Майра! Зачем ты позволяешь прислуге резать хлеб на гренки такими мелкими кусками? В руки не возьмешь! Да еще подает холодные!

Тед Бэббит, ученик знаменитой ист-сайдской школы, все время пытался прервать разговор негромким покашливанием, похожим на икоту. Наконец он не выдержал:

— Слушай, Рона, ты поедешь...

Верона так и подскочила:

— Тед! Сколько раз тебя просили не прерывать, когда у нас с отцом серьезный разговор!

— Э, чушь! — свысока бросил Тед.— С тех пор как тебе по ошибке дали этот вонючий диплом, ты такая стала заноза — с утра до вечера готова лопотать глупости про то и про се, и так далее, и тому подобное. Ты поедешь сегодня... словом, вечером я беру машину!

Бэббит возмутился: «Беру»! Скажите! может, она мне самому нужна!» Верона вспыхнула: «Беру!» — ишь какой умник выискался! Я сама возьму машину — и всё!» Тинка пропищала: «Папочка, ты же обещал повезти нас в Роздейл!» — но тут вмешалась миссис Бэббит: «Осторожней, Тинка, рукав в масле!» Все сердито смотрели на Теда, Верона крикнула: «Ты просто свинья, Тед, машина не твоя!»

— Ах, а ты не свинья, о нет! — Тед своим высокомерным тоном мог привести в бешенство кого угодно.— Ты просто хочешь захватить машину сразу после обеда, а потом она весь вечер будет стоять у дома какой-нибудь твоей куклы, пока вы с ней треплетесь про литературу и про то, за каких ученых пшютов вы выйдете замуж,— если только вас кто-нибудь возьмет!

— Нет, папа, не позволяй ему брать машину! Ты с твоими Джонсами гоняешь как сумасшедший! Как ты смел поворачивать на площади при такой скорости — сорок миль в час!

— С чего ты взяла? Сама так боишься машины, что даже в гору едешь, вцепившись в ручной тормоз!

— Неправда! Ты сам вечно хвастаешь, что знаешь машину вдоль и поперек, а Юнис Литтлфилд говорит, что ты сказал, будто батарея питает генератор!

— Ну, милая моя, ты бы молчала! Генератор от дифференциала отличить не можешь!

Тед не зря так презирал сестру. Он был прирожденным механиком, вечно ковырялся в машинах, что-то изобретал, «и лепетом детским ему был чертеж».

— Перестаньте! — машинально остановил их Бэббит, с наслаждением затягиваясь первой утренней сигарой и упиваясь увлекательными заголовками «Адвокат-таймса».

Тед пытался уговорить сестру:

— Слушай, Рон, ей-богу, мне не нужна эта старая калоша, но я обещал девчонкам из нашего класса отвезти их на репетицию школьного хора, клянусь тебе, мне самому неохота, но раз джентльмен дал слово, он обязан его сдержать!

— Ну, знаешь! Тоже, нашелся джентльмен! Еще из школы не вылез!

— Скажи пожалуйста! Окончила какой-то курятник — и воображает! Разреши тебе сказать, что во всем штате нет ни одной частной школы, где учились бы такие классные ребята, как у нас в Гамма Дигамма. У двоих мальчиков отцы — миллионеры! Ей-богу, мне пора иметь свою машину, как у других ребят!

Бэббит даже подскочил на месте:

— Свою машину? Может быть, тебе подавай и яхту, и особняк с садом? Какое нахальство! Мальчишка, по латыни провалился, не то что другие мальчики,— и смеет требовать машину! Может, тебе нужен еще и шофер и самолет? Еще бы! Он, бедняга, так работает, ему так трудно бегать в кино с Юнис Литтлфилд! Вот я тебе покажу машину...

Но Тед, пустив в ход всю свою дипломатию, заставил Верону сознаться, что она просто собирается в манеж смотреть выставку кошек и собак. Тед предложил ей остановиться напротив выставки, у кондитерской, где он и заберет машину. Они долго договаривались, где оставить ключи и кто зальет бензин, и до того доходила их беззаветная преданность Великому Богу Автомобилю, что они воспевали даже заплатку на запасной камере, даже потерянную ручку от завода.

Но после такого перемирия Тед заявил, что все ее подружки «кривляки, дуры, задавалы, каких свет не видал, вруньи и вообще трепло». На это Верона заметила, что его товарищи «противные нахалы, а девчонки — омерзительные визгливые идиотки».

— А на тебя глядеть тошно, свинство, что ты куришь и вообще... Смотри, как ты одет, просто смешно и противно — честное слово, противно до невозможности!

Тед враскачку подошел к длинному зеркалу буфета, полюбовался своей красотой и расплылся в довольной улыбке. Костюм на нем был самым последним криком моды: в пеструю клетку, брючки в обтяжку, не доходившие до ярко-желтых, начищенных до блеска башмаков, кургузый пиджачок с узкой, как у танцора, талией и поясном сзади, который ничего не подпоясывал. Вместо галстука на шею было намотано широченное кашне из черного

шелка. Льняные волосы, напомаженные до зеркального блеска, были гладко зачесаны назад, без пробора. Уходя в школу, Тед надевал кепку с длинным козырьком, напоминавшим лопату. Но его гордостью была жилетка — сколько он ее вымаливал, выпрашивал, сколько копил на нее! Жилетка была наимоднейшая — коричневая, в бледно-алую крапинку, с невероятно длинными концами. На самом краешке выреза были приколоты значки школы, класса и корпорации.

Впрочем, все это никакого значения не имело. Мальчик он был складный, ловкий, пышущий здоровьем. Хоть он и считал, что у него «взгляд циника»,— глаза у него были чистые и живые. Правда, особой душевной чуткостью он не отличался. Вот и сейчас он сделал ручкой бедной коротышке Вероне и протянул:

— Да, мы для вас, конечно, смешноватые и противноватые, и наш новый галстук — просто тряпка!

— Вот именно! — прикрикнул на него Бэббит.— А кстати, раз ты так собой любуешься, разреши тебе напомнить, что твоя мужественная красота только выиграет, если ты вытрешь рот — у тебя все губы в яичнице!

Верона захихикала, чувствуя себя на миг победительницей в самой жестокой из жестоких войн — в семейной войне. Тед посмотрел на нее безнадежным взором и вдруг заорал на Тинку:

— Поставь сейчас же сахарницу! Ты весь сахар высыплешь себе в тарелку!

Когда Верона с Тедом ушли, а Тинка поднялась наверх, Бэббит заворчал на жену:

— Да, скажу я тебе, милые детки! Не говорю, что я сам — кроткий ягненок, может быть, я тоже за завтраком ершусь, но я не могу выносить, как они трещат, трещат без умолку — сил нет! Честное слово, хочется забраться куда-нибудь, где тихо, спокойно. Ты думаешь, легко, когда человек всю жизнь только и старается дать детям образование, устроить их, а они целыми днями грызутся, как стая гиен, нет того, чтобы... Ого, любопытная штука! Слушай, в газете пишут... да чего они там орут? Ты видела газету?

— Нет, милый! — За двадцать три года замужней жизни миссис Бэббит просматривала газету раньше своего мужа всего какихнибудь шесть-семь раз.

— Интересные новости. Страшная буря на Юге. Да, плохо, не повезло беднягам! Ого, слушай, вот это здорово! Только начать, а там их живо прикончат: «Законодательное собрание штата Нью-Йорк провело несколько постановлений, согласно которым социалисты будут поставлены вне закона». В Нью-Йорке забастовали лифтеры, и студенты встали вместо них на работу. Молодцы! А на

митинге в Бирмингеме требовали, чтобы этот ирландец, этот чертов агитатор, де Валера, был выслан вон. И правильно, черт возьми! Все эти агитаторы подкуплены немецким золотом! И не наше дело вмешиваться в дела Ирландии, да и вообще в чужие дела. Надо держаться в стороне — и все! Ага, из России идут вполне достоверные слухи, будто бы Ленин скончался. Что ж, посмотрим. Я вообще не понимаю, почему мы не вмешаемся и не вытурим этих большевиков!

— Верно,— сказала миссис Бэббит.

— И дальше пишут — недавно один мэр приступил к исполнению обязанностей в рабочем комбинезоне. Да притом он еще проповедник! Что ты на это скажешь?

— М-мм-да!

Бэббит и сам не знал, как к этому отнестись: то, что он был членом республиканской партии, пресвитерианцем, завсегдатаем собраний ордена Лосей и маклером по продаже недвижимости, еще не давало никаких указаний, как относиться к проповеднику, выбранному в мэры города. Поэтому он только фыркнул и продолжал читать газету вслух. Жена смотрела на него сочувственно, но ничего не слушала. Потом она сама прочитает заголовки, светскую хронику и рекламы универмагов.

— Нет, ты только послушай! Чарли Мак-Келви — опять в роли светского льва! Слушай, что эта сплетница-репортерша пишет про вчерашний вечер:

Никогда члены Общества — с самой, самой большой буквы! — не чувствовали себя более польщенными, чем получив приглашение на вечер в изысканную и гостеприимную резиденцию мистера и миссис Чарльз Л. Мак-Келви, на бал, состоявшийся вчера вечером. Супруги Мак-Келви живут в одном из живописнейших поместий, раскинувшихся среди обширных лужаек и садов, украшающих Ройял-ридж, и этот дом славится не только своей красотой, но и радушным, веселым уютом, несмотря на мощные каменные стены и просторные покои с пышной изысканной обстановкой. Вчера в этом прекрасном доме был дан бал в честь знатной гостьи миссис Мак-Келви — мисс Дж. Снитс из Вашингтона. Огромный холл столь вместителен, что его без труда превратили з великолепный бальный зал, и танцующие пары блистательной феерией отражались в зеркале сверкающего паркета. Но даже прелесть танцев меркла перед соблазном интимных tête-à-tête'ов[1], *и душа влеклась в укромную тишину громадной библиотеки, к средневековому камину или в уют гостиной с ее глубокими, мягкими креслами и*

[1] Свиданий наедине *(франц.)*.

затененными торшерами, словно созданными для лукавых намеков и нежных перешептываний à-deux[1]*. Некоторых тянуло в бильярдную, где, взяв кий в умелые руки, можно было проявить свое мастерство и в другой игре, несхожей с играми Амура и Терпсихоры.*

Дальше все шло в том же духе, в самом вдохновенно-изысканном стиле, каким только владела мисс Эльнора Пэрл Бэйтс — репортер светской хроники «Адвокат-таймса». Но Бэббит не выдержал. Он читал и фыркал. Он смял газету. Он возмутился.

— Это уж слишком! Конечно, я не отрицаю, что Чарли Мак-Келви умеет жить. Я его знаю, вместе учились, он был таким же голодранцем, как мы все, а потом заработал миллион чистоганом на подрядах, хотя жульничал и давал взятки городским чинам не больше, чем следовало. И дом у него хороший — хотя никаких «мощных каменных стен» там нет, и он не стоит тех девяноста тысяч, которые Чарли за него выложил. Но мне надоела эта болтовня, будто Чарли Мак-Келви и вся его пьяная компания чуть ли не... чуть ли не Вандербильды, ей-богу!

— Все-таки хотелось бы побывать у них в доме,— робко заметила миссис Бэббит.— Наверно, красиво. Я никогда там не была.

— А я часто бывал, верней, раза два-три. Заходил к Чарли по делу. Ничего особенного там нет. И я ни за что не пошел бы к ним обедать в компании со всякими... со всякими великосветскими олухами. Держу пари, что я больше зарабатываю, чем эти... эти прыгуны, которые только и знают, что напяливать фраки, а у самих приличной пары белья за душой нет. Ого! Послушай! Что ты на это скажешь?

Но миссис Бэббит вполне равнодушно прослушала объявление из «Адвокат-таймса» о продаже недвижимости:

Аштабула-стрит, 496. Дж. К. Доусон-Томасу Маллэли,
17 апреля, площ. 17,7 на 112,2 оцен. 4000 нал.

Правда, в это утро Бэббит слишком нервничал и не стал занимать супругу выдержками из объявлений о банковских ссудах, просрочке закладных и заключении контрактов. Он встал из-за стола. И когда он посмотрел на жену, его брови как будто взлохматились еще больше обычного.

— Да,— сказал он вдруг,— может, и вправду глупо не поддерживать отношений с такими людьми, как Мак-Келви. Не пригласить ли нам их как-нибудь пообедать? Нет, к черту, не стоит перед ними пресмыкаться! Наша компания во сто раз веселей всех этих плутократов! Возьми хоть себя — настоящий живой человек,

---

[1] Вдвоем *(франц.)*.

а не кривляка-неврастеничка вроде Люсиль Мак-Келви — одни ученые разговоры, и разряжена, как цирковая лошадь! Ты у меня душенька!

И чтобы замять неожиданное проявление чувств, он добавил:

— Ради бога, не позволяй Тинке объедаться ореховой халвой! Это для нее — яд! Не давай ты ей портить желудок, ради Христа! Сколько раз я говорил — люди не понимают, как важно иметь хорошее пищеварение и регулярный стул. Ну, я вернусь, как всегда.

Он поцеловал ее, вернее, не поцеловал, а приложился неподвижными губами к ее холодной щеке. И, уходя в гараж, пробормотал:

— Ну и семейка, прости господи! Теперь Майра из меня душу вымотает за то, что мы не якшаемся с этими миллионеришками! Эх, удрать бы от всего на свете! В конторе тоже забот и хлопот не оберешься. Поневоле взбесишься — доводят... Ох и устал же я...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Для Джорджа Ф. Бэббита, как и для большинства преуспевающих граждан города Зенита, собственный автомобиль был поэзией и драмой, страстью и героизмом. Контора была для него пиратским кораблем, поездка в автомобиле — опасной вылазкой на берег.

Самым решительным из всех решительнейших моментов дня был момент, когда заводилась машина. В холодное утро она заводилась плохо: жалобно и долго гудел стартер, время от времени приходилось подсасывать бензин, и это было настолько увлекательно, что во время завтрака Бэббит рассказывал о каждой капле истраченного бензина и вслух подсчитывал, во что эта капля ему обошлась.

В это утро он смутно ждал, что все пойдет не так, и был несколько обескуражен, когда зажигание легко и сразу включилось и машина даже не задела дверную раму, исцарапанную и ободранную крыльями, которые столько раз цеплялись, когда Бэббит выводил машину из гаража. Он даже растерялся. Оттого он и крикнул Сэму Доппелбрау «доброе утро!» гораздо приветливей, чем хотел.

Зеленый с белым дом Бэббита, построенный в голландском колониальном стиле, вместе с двумя другими занимал целый квар-

тал на Чэтем-роуд. Слева от него проживал мистер Сэмюэл Доппелбрау — новый помощник директора процветающей фирмы санитарного оборудования. Дом у него был удобный, без всяких претензий — большой, бревенчатый, с низким мезонином и широкой верандой блестящего ярко-желтого, как яичный желток, цвета. Бэббит неодобрительно называл мистера и миссис Доппелбрау «богемой». Из этого дома далеко за полночь слышались музыка и непристойный смех, среди соседей ходили слухи о контрабандном виски и веселых катаньях на машинах. Об этой семье Бэббит любил вести долгие разговоры по вечерам, безапелляционно заявляя:

— Я не святоша и не возражаю, если человек изредка выпьет стаканчик-другой, но когда люди позволяют себе бог знает что и думают, что им все сойдет с рук,— этого я не терплю!

По другую сторону от Бэббитов жил Говард Литтлфилд — доктор философии. Его дом был последним словом архитектуры — нижний этаж из темно-красного матового кирпича с застекленным портиком, верх светло оштукатурен под мраморную крошку, крыша из красной черепицы. Литтлфилд был Великим Ученым этих мест, авторитетом по части чего угодно, кроме автомобилей, детей и кухни. Он получил звание бакалавра искусств при Блоджетском колледже и доктора философии — при экономическом факультете Йельского университета. Он служил директором-распорядителем и заведующим отделом рекламы зенитского акционерного общества городского транспорта. Он мог, если предупредить его не позже чем за десять часов, выступить перед собранием членов городского муниципалитета или перед сенатом штата и доказать абсолютно точно, с цифрами в руках и примерами из истории Польши и Новой Зеландии, что акционерное транспортное общество обожает своих акционеров и нянчится со своими рабочими, что всеми акциями общества владеют только вдовы и сироты и что все его начинания благодетельствуют домовладельцев, повышая ценность квартир, а беднякам помогают, снижая квартирную плату. Все знакомые обращались к Литтлфилду, когда им нужно было узнать год битвы при Сарагосе, значение слова «саботаж», будущий курс германской марки, перевод латинской фразы «hinc illae lacrimae» [1] или количество производных антрацитовой смолки. Он вызывал глубочайшее уважение Бэббита, когда признавался ему, что часто сидит по ночам, разбираясь в цифрах и примечаниях к отчетам конгресса или просматривая (с легкой иронией по адресу невежественных авторов) последние книги по химии, археологии и ихтиологии.

---

[1] Вот откуда эти слезы *(лат.)*.

Но главным образом Литтлфилд всем служил примером высокой религиозности и морали. Несмотря на свои необычайные познания, он был столь же строгим пресвитерианцем и столь же непоколебимым республиканцем, как Джордж Ф. Бэббит. И он поддерживал в деловых людях их веру. Эту их инстинктивную, горячую веру в то, что их коммерческая система и личное поведение — верх совершенства, доктор Литтлфилд подкреплял и доказывал ссылками на историю, экономику и на исповеди раскаявшихся радикалов.

Бэббит искренне гордился, что живет по соседству с таким ученым мужем и что Тед дружит с Юнис Литтлфилд. Хотя в шестнадцать лет Юнис не интересовалась никакой статистикой, кроме возрастов и окладов кинозвезд, она все же, как подчеркивал Бэббит, «была дочерью своего отца».

Разница между таким легкомысленным типом, как Сэм Доппелбрау, и таким поистине превосходным человеком, как Литтлфилд, сказывалась и на их внешности. В сорок восемь лет Сэм выглядел непозволительно молодо. Он всегда носил котелок на затылке, и его красное лицо вечно морщилось от бессмысленного смеха. Доктор Литтлфилд в сорок два года выглядел стариком. Он был высокий, широкоплечий, толстый. Казалось, очки в золотой оправе тонут в глубоких складках его длинного лица. Надо лбом вздымалась черная лохматая копна сальных волос. Беседуя с кем-нибудь, он пыхтел и мычал. Значок университетской корпорации Фи Бета Каппа сверкал на грязноватом черном жилете. Пахло от Литтлфилда застарелым табаком, и во всем его облике вообще было что-то похоронное и церковное: рядом с посредником по продаже недвижимого имущества и агентом по распространению санитарного оборудования он излучал какой-то дух святости.

В это утро он стоял перед своим домом, разглядывая газон между мостовой и широкой асфальтированной дорожкой. Бэббит остановил машину и, высунувшись, крикнул: «Доброе утро!» Литтлфилд вразвалку подошел к нему и поставил ногу на подножку машины.

— Славное утро! — сказал Бэббит, незаконно рано закуривая вторую сигару за этот день.

— Да, утро действительно хорошее! — отозвался Литтлфилд.

— Весна уже совсем близко!

— Да, теперь уже совсем весна! — подтвердил Литтлфилд.

— А ночи по-прежнему холодные. Сегодня пришлось взять на веранду запасное одеяло.

— Да, сегодня ночью было не слишком тепло,— согласился Литтлфилд.

— Но, пожалуй, больше настоящих холодов не будет.

— Пожалуй, нет, хотя в Тифлисе, штат Монтана, вчера шел снег,— изрек Ученый Муж.— Помните, три дня назад на Западе была сильная буря, в Грили, штат Колорадо, выпало до тридцати дюймов снегу, а два года назад и у нас, в Зените, двадцать пятого апреля была настоящая пурга!

— Что вы говорите! Слушайте, друг, а какого вы мнения о республиканском кандидате? Кого выдвинут в президенты? Не думаете ли вы, что нам давно необходимо иметь по-настоящему деловое правительство?

— По моему мнению, стране прежде всего и в первую очередь нужное хорошее, здоровое, деловое управление. Нам... м-ммм-м... больше всего необходимо, так сказать, деловое правительство!

— Рад слышать это! Очень-очень рад слышать это от вас! Не знал, как вы к этому относитесь, все-таки вы связаны с учеными кругами и так далее, но я рад, что вы отнеслись к этому именно так. Стране нужнее всего, именно в данное время, не ученый президент и не возня со всякими международными вопросами, а настоящее, крепкое, деловое экономическое руководство, которое даст нам возможность повысить наши обороты.

— Правильно. Обычно забывают, что даже в Китае в последнее время ученые уступают дорогу более практическим деятелям, и, конечно, вы сами понимаете, что из этого следует.

— Что вы говорите! Как интересно! — вздохнул Бэббит. На душе у него стало гораздо легче, гораздо спокойней за весь ход мировых событий.— Всегда рад перекинуться с вами словечком. А теперь мне пора в контору, надо облапошить двух-трех клиентов! Всего лучшего, старина! Вечерком увидимся! До скорого свидания!

II

Да, немало они поработали, эти уважаемые граждане. Двадцать лет назад высокий склон, где теперь вырос район Цветущие Холмы — с новыми домами, безукоризненными газонами и потрясающим комфортом,— был покрыт буйной порослью самосева — тополями, кленами, дубами. И посейчас на вытянутых по струнке улицах встречались незастроенные, заросшие лесом участки и остатки одичалых садов. Утро было ослепительное; распускающиеся листья яблонь горели на ветвях зеленоватыми огоньками. По овражкам белели первые лепестки цветущих вишен и заливались малиновки.

Бэббит вдыхал запах земли, улыбался сумасшедшим руладам малиновок, как улыбался бы играющим котятам или смешному кинофильму. С виду он был стандартным дельцом, едущим в свою контору,— упитанный, в корректной темно-коричневой шляпе и в очках без оправы, он вел отличную машину по загородной аллее. куря огромную сигару. Но в нем жила неподдельная любовь к своему кварталу, своему городу, к своим близким и друзьям. Кончилась зима, пришло время строить, наблюдать, как растут дома. а для него это было счастьем. Вся утренняя хмурь прошла, и в самом бодром и веселом настроении он остановился на Смит-стрит, чтобы занести портному коричневые брюки и заправить машину у бензоколонки.

Привычная процедура еще больше подняла настроение: приятно было смотреть на высокую красную бензоколонку, на изразцы и темный кирпич гаража, на витрину с самыми соблазнительными деталями — сверкающими цилиндрами, автомобильными свечами в безукоризненных фарфоровых изоляторах, золотыми и серебряными снеговыми цепями для шин. Он был польщен радушием, с каким его встретил Сильвестр Мун, самый грязный и самый умелый механик на свете.

— Здравствуйте, мистер Бэббит! — сказал Мун, и Бэббит почувствовал себя важным лицом, чье имя помнят даже занятые по горло механики, а не каким-нибудь горе-спортсменом, который носится без толку на своей малолитражке. Ему нравился замысловатый счетчик на бензоколонке, отщелкивающий галлон за галлоном, нравился остроумный плакат: «Вовремя набрать — в пути не застрять. Обслужим в момент, бензин — тридцать один цент!» Нравилось ритмическое бульканье бензина, льющегося в бак, и равномерные точные движения Муна, поворачивающего ручку.

— Сколько нам сегодня? — спросил Мун тоном, в котором звучала и независимость великого специалиста, и приветливость доброго приятеля, и уважение к столь почтенному члену общества, каким являлся Джордж Ф. Бэббит.

— Наливайте доверху!

— Кого вы прочите в республиканские кандидаты, мистер Бэббит?

— Рано сейчас предсказывать. Впереди еще целых полтора месяца, нет, почти два — да, верно, почти два... словом, до съезда республиканской партии осталось не меньше шести недель, и, с моей точки зрения, надо без всякой предвзятости отнестись ко всем кандидатам — так сказать, проверить их, послушать, а потом уже обдумать и решить.

— Это верно, мистер Бэббит!

— Но я вам вот что скажу — кстати, я и четыре года назад и восемь лет назад думал так же,— да, и через четыре года, и через восемь лет я от своего не отступлюсь! Я всем говорю и всем буду втолковывать одно: нам прежде всего, в первую очередь нужно хорошее, здоровое, деловое правительство.

— Ей-богу, ваша правда!

— Взгляните-ка на шины, как они — в порядке?

— В порядке! У вас все в порядке! Нам, механикам, нечего было бы делать, если б все так следили за своими машинами, как вы!

— Стараюсь, сам во все вникаю! — Бэббит заплатил, бросил, как полагалось: — Сдачи не надо! — и поехал дальше, искренне восхищаясь собой.

С видом доброго самаритянина он окликнул солидного гражданина на трамвайной остановке:

— Подвезти? — и когда тот забрался в машину, Бэббит снисходительно спросил: — В центр? Всегда стараюсь подвезти человека, когда вижу, что он ждет на остановке,— конечно, если он не какой-нибудь бродяга!

— Хорошо, если бы все так щедро распоряжались своими машинами,— поддакнул пассажир, павший жертвой благотворительности.

— Нет, тут щедрость ни при чем! Суть тут в другом — я и сыну вчера как раз говорил об этом: всякий должен делиться с ближним всеми благами земными, и я просто из себя выхожу, когда человек вообразит, что он бог знает кто, и похваляется перед всеми только потому, что делает добро.

Жертва не знала, что сказать. А Бэббит пробасил, не ожидая ответа:

— Безобразно нас обслуживает Транспортная компания. Разве можно пускать трамваи на Портленд-роуд с перерывами в семь минут? Зимой, в холодное утро, пока ждешь на углу, всего насквозь продует.

— Правильно. А какое им дело до нас, этой компании? Надо бы ее хорошенько поприжать!

Но тут Бэббит испугался.

— Нет, нельзя обвинять только Компанию Городского транспорта и не понимать, в каких трудных условиях там работают, нельзя идти на поводу у всяких чудаков, которые требуют передачи транспорта муниципалитету. Вы только посмотрите, ведь это просто преступно так вымогать прибавку зарплаты, как рабочие, а мы с вами отвечай, плати по семь центов за проезд! В сущности-то обслуживание на всем транспорте превосходное!

— Как сказать,— нерешительно начал пассажир.

— Утро замечательное! — перебил его Бэббит.— Весна в полном разгаре!

— Да, совсем весна.

Жертва бэббитовской благотворительности была, как видно, лишена остроумия и смекалки, и Бэббит погрузился в молчание, развлекаясь тем, что обгонял трамваи на перекрестках: нажать, насесть ему на хвост, рывком проскользнуть между высокой желтой стенкой вагона и стоящими у обочины машинами и перед самой остановкой промчаться мимо,— это отличный спорт, требует смелости.

И все время он неустанно любовался Зенитом. Иногда по целым неделям он не видел ничего, кроме клиентов и досадных объявлений «Сдается внаем», вывешенных его соперниками. Сегодня, в непонятном смятении, он и радовался и сердился с одинаковой легкостью, а весеннее солнце так соблазнительно пригревало в это утро, что он все видел яснее, чем обычно.

Каждый квартал по знакомой дороге в контору имел для него свою особую прелесть: особняки, сады и извилистые аллеи Цветущих Холмов, одноэтажные магазины на Смит-стрит, блеск зеркальных витрин и нового желтого кирпича, бакалейные магазины, прачечные и аптеки для удовлетворения насущных потребностей хозяек восточного предместья, огороды в Датч-Холлоу, со сторожками в заплатках из ребристого железа и краденными дверьми, афиши с божественными красавицами девяти футов роста и ярко-красного цвета, бесчисленные рекламы кинофильмов, трубочного табака и пудры, старинные «виллы» вдоль Девятой улицы на юго-востоке города, похожие на стареющих денди в несвежем белье; деревянные палаццо, превращенные в семейные пансионы, с запущенными дорожками палисадников за ржавой решеткой, гаражи, которые росли как грибы, тесня старые строения со всех сторон, дешевые многоквартирные дома, фруктовые киоски, где хозяйничали вежливые, хитроватые греки. За железнодорожными путями — заводы с высокими трубами и водокачками, заводы, где производили сгущенное молоко, картонные коробки, электрооборудование, автомобили. И наконец — деловой центр, шумное оживленное движение, толкотня у переполненных трамваев и огромные парадные подъезды из мрамора и полированного гранита.

Величественное зрелище, а Бэббит уважал величие во всем — будь то горы, бриллианты, мускулы, состояния, слова. Околдованный весенним днем, он в эту минуту был певцом и почти бескорыстным обожателем Зенита. Он подумал о загородных фабричных поселках, о реке Чалузе с причудливо размытыми берегами,

о холмах Тонаванды, к северу от города, засаженных фруктовыми деревьями, обо всех сочных пастбищах, вместительных амбарах, тучных стадах. И, высаживая своего пассажира, он воскликнул:

— Честное слово, у меня сегодня неплохое настроение!

III

Вопрос — куда поставить машину — оказался не менее важным и волнующим, чем проблема — как ее завести. Поворачивая с Оберлин-авеню на Третью улицу, он напряженно искал глазами свободное место на стоянке. Он рассердился, когда перед его носом это место занял другой водитель. Но впереди какая-то машина отъехала от тротуара, и Бэббит затормозил, сделал предостерегающий знак рукой машинам, наседавшим сзади, махнул старухе, чтобы та посторонилась, увернулся от грузовика, наезжавшего сбоку. Задев передними колесами стальной буфер ближней машины, он остановился, судорожно сжимая руль, задним ходом протиснулся на свободное место и, оставляя между собой и соседней машиной не больше восемнадцати дюймов, подвел свою машину к тротуару. Это было настоящее мужское дело, и он выполнил его с честью. С удовлетворением он повесил стальной замок на переднее колесо и, перейдя улицу, вошел в Ривс-Билдинг, где на первом этаже помещалась его контора.

Это здание было огнеупорным, как скала, и точным, как пишущая машинка,— четырнадцать этажей из желтого прессованного кирпича,— ровное, прямое, без всяких украшений. В нем размещались приемные адвокатов, врачей, конторы агентов по распространению машин и точильных станков, проволочных решеток и горнорудных акций. На окнах красовались золотые надписи. Подъезд здания был вполне современный, без всяких колонн — простой, строгий, гладкий. На Третью улицу выходили окна почтово-телеграфного отделения Уэстерн-Юнион, кондитерской Блю-Дельфт, писчебумажного магазина Шотвелла и конторы по продаже недвижимого имущества «Бэббит и Томпсон».

Бэббит мог бы войти в контору с улицы, как входили клиенты, но он чувствовал себя своим человеком, проходя по длинному коридору через все здание, чтобы войти через боковую дверь. Тем более что тут его приветствовали все «туземцы».

Неизвестный мелкий люд, наполнявший коридоры Ривс-Билдинг,— лифтеры, механики, монтеры, охрана и подозрительный хромоногий тип, который ведал табачным и газетным киоском,— никак не могли считаться городским населением. Они были именно туземцами, которые жили в уединенной долине, интересуясь

только друг другом и своей «деревней» — Ривс-Билдинг. Их «Главной улицей» был холл при входе, с каменным полом, мраморным, без украшений, потолком и внутренними окнами магазинов. Самым оживленным местом на этой «улице» была парикмахерская Ривс-Билдинг, что несколько смущало Бэббита, потому что сам он брился в сверкающей новой парикмахерской «Помпея», в здании отеля Торнлей, и всякий раз, проходя мимо парикмахерской Ривс-Билдинг, чувствовал, что изменяет родной деревне.

Но сейчас его, как представителя касты хозяев, почтительно приветствовали местные жители, и он проследовал в свою контору, важный и спокойный, словно неприятности никогда и не начинались.

Впрочем, они тут же начались снова.

Стэнли Грэф, разъездной агент, разговаривал по телефону тем катастрофически неубедительным тоном, который никак не может воздействовать на клиента: «М-мм — так вот... понимаете... есть у меня для вас подходящий дом — Персиваль-Хауз, в Линтоне. Ах, видели? Ну, как он вам понравился?.. Что?.. Мммм-и-да...— и уж совсем нерешительно: — М-м... понятно...»

И, проходя в свой кабинетик — вернее, небольшой закуток, отделенный от общего помещения дубовой перегородкой с матовым стеклом,— Бэббит подумал, как трудно найти помощников, которые с такой же уверенностью, как он сам, умели бы уговорить покупателя.

Кроме Бэббита и его тестя, Генри Томпсона, очень редко заходившего в контору, там работало еще девять человек: Стэнли Грэф, разъездной агент — моложавый человек, заядлый курильщик и бильярдист, старый Мэт Пеннимен, выполнявший всякую подсобную работу, он же сборщик квартирной платы и страховой агент, седой, забитый, молчаливый. Ходили слухи, что когда-то он был известным дельцом, занимался продажей недвижимости, владел собственной конторой в «самом» Бруклине. У Бэббита служили еще Честер Керби Лейлок, постоянный агент на строительстве в Глен-Ориоле, восторженный малый, с шелковистыми усиками и большой семьей, мисс Тереза Мак-Гаун, проворная и довольно миленькая стенографистка, мисс Вильберта Беннген, низкорослая, медлительная и усердная бухгалтерша, и еще четыре разъездных агента, получавших комиссионные с прибыли.

Бэббит с грустью поглядывал из закутка на своих служащих: «Эта Мак-Гаун еще ничего — умница и хорошая стенографистка, зато Стэн Грэф и остальные...» Вся прелесть весеннего утра увяла в затхлом воздухе конторы.

Обычно он с удовольствием приходил в свою контору и сам удивлялся: неужели ему удалось создать это приятное, солидное учреждение. Контора никогда не надоедала, его радовала чистота и новизна обстановки, деловитый дух. Но сегодня все казалось певзрачным — кафельный пол, как в ванной, металлический потолок, выкрашенный охрой, выгоревшие карты на оштукатуренных стенах, стулья светлого полированного дуба, стальные конторки и шкафчики для картотек, покрытые мутно-зеленой краской. Настоящий склеп, стальная часовня, где всякое веселье и смех казались черным грехом.

Даже новый бачок с холодильником не доставил ему никакого удовлетворения. А бачок был первоклассный, наиновейшей конструкции, научно обоснованный, безупречный. И стоил он огромных денег (что само по себе уже было достоинством). В нем был герметический фибровый контейнер для льда, фарфоровый сосуд для воды (гигиеничность гарантирована), столь же гигиеничный, тугой, незасоряющийся кран, а сверху он был расписан трафаретом под золото, в два тона. Бэббит смотрел на беспощадно гладкие плитки пола, на бачок, доказывая себе мысленно, что ни у кого из обитателей Ривс-Билдинг не было такой дорогой машины, но чувство социального превосходства, которое в нем раньше рождала эта мысль, теперь исчезло. К собственному удивлению, он вдруг пробормотал:

— Уехать бы куда-нибудь в глушь, ни черта весь день не делать. А вечером — опять к Гэнчу, дуться в карты, ругаться на чем свет стоит и выхлестать сто тысяч бутылок пива!..

Со вздохом он просмотрел почту, потом крикнул: «Мисм-ган!» — что означало «мисс Мак-Гаун!» — и стал диктовать.

Вот как он продиктовал первое письмо:

«Омару Грибблу, пошлите к нему в контору, мисс Мак-Гаун, ваше письмо от двадцатого получил, хочу вам сказать вот что. ежели будем зевать, так непременно прозеваем торги Аллена. Вызывал Аллена позавчера, договорился обо всем, уверяю вас — нет, нет, не так, пишите: долголетний опыт мне подсказывает, он человек честный, деловой, я проверил его финансовое положение, вполне прилично — эта фраза что-то запутана, мисс Мак-Гаун, вы из нее выкройте, что надо, точка, абзац.

Он согласен учесть векселя, и можно будет без труда заставить его внести страховую премию, и, бога ради, давайте поскорей — нет, не так: давайте ближе к делу, надо поскорее взяться — нет, это все — можете подчистить, когда будете печатать, мисс Мак-Гаун — искренне ваш и прочее».

А вот каким он получил это письмо на подпись от мисс Мак-Гаун, перепечатанное на машинке:

БЭББИТ И ТОМПСОН

Контора по продаже недвижимого имущества.
Жилые дома.
Ривс-Билдинг, уг. Оберлин-авеню и Третьей улицы.
Зенит.

ОМАРУ ГРИББЛУ, ЭСКВАЙРУ

567 Норс-Американ-Билдинг.
Зенит.

Многоуважаемый мистер Гриббл!

Мы получили Ваше письмо от двадцатого сего месяца. Должен сказать, что меня беспокоит, как бы мы не пропустили торги Аллена. Вчера я его вызывал к себе и договорился обо всем. Долголетний опыт мне подсказывает, что он — человек деловой. Я ознакомился с его финансовым положением и вполне удовлетворен.

Он согласен учесть платежные векселя, а заставить его внести страховую премию не представит особого труда.

Итак — ближе к делу!

Искренне ваш...

Перечитав письмо, Бэббит поставил свою подпись — с деловитым росчерком, как он научился подписываться в колледже, и подумал: «Вот это письмо — ясное, четкое, ни слова лишнего. Что такое — разве я ей велел сделать третий абзац? Хоть бы она перестала править то, что я ей диктую! Не понимаю, почему это Стэн Грэф или Чет Лейлок не умеют писать такие письма — с огоньком, с душой!»

В этот день он продиктовал еще одно, самое важное, письмо. Это был рекламный проспект, который размножался и рассылался тысячам «возможных» клиентов. Реклама эта была составлена по образцу самых лучших литературных реклам, которые были в ходу,— всех этих «задушевных разговоров с глазу на глаз», «убедительных» писем, бесед на тему о «силе воли» и панибратских похлопываний по плечу — эти рекламы в изобилии выпускала новая Школа Поэтов Коммерции и Торговли. Бэббит старательно написал черновик и теперь декламировал его вслух, как самый утонченный, не от мира сего, поэт:

Слушай, старина!

Не могу ли я сделать тебе огромаднейшее (так и напишите, мисс Мак-Гаун,— «о-гро-мад-ней-шее») одолжение? Ей-богу, я не шучу! Знаю — тебе хотелось бы купить дом, и не просто жилье, где бы приткнуть голову, а настоящее уютное гнездышко для

жены с ребятишками — а может, и с пристанищем для машины во дворе, за огородиком. А ты когда-нибудь думал, что мы для того и существуем на свете, чтобы тебе помочь? — мы этим и на кусок хлеба зарабатываем, нам платят не ради наших прекрасных глаз! Так вот:

сядь-ка сейчас за свое шикарное бюро да черкни нам словечко — напиши, что тебе нужно, и, если мы найдем что-нибудь подходящее, мы сразу прибежим к тебе с хорошими новостями, а если нет — беспокоить не станем. Для скорости заполни прилагаемый бланк. По требованию высылаем бланки с описанием торговых помещений, которые имеются в продаже на Цветущих Холмах, в Серебряной Роще, Линтоне, Бельвю и во всех жилых кварталах восточной части города.

Готовые к услугам

(подпись).

P. S. Предлагаем ознакомиться с описанием домов, которые нам сегодня предоставили для продажи — на выгоднейших условиях!

Серебряная Роща — прелестный четырехкомнатный домик, в. уд., гараж, тенистые деревья, шикарный район, удобное сообщение, 3700 долларов, 780 при въезде́, остальное в рассрочку, на льготных условиях — только у Бэббита и Томпсона! Взносы дешевле квартирной платы!

Дорчестер — дешево и красиво! Изящный двухквартирный домик, дубовая облицовка, паркет, камин — под газ и под дрова, большие террасы, колониальный стиль, ОТАПЛИВАЕМЫЙ ЗИМНИЙ ГАРАЖ, почти даром — всего 11 250 долларов!!!

Окончив диктовку, из-за которой приходилось сидеть на месте и думать, вместо того чтобы бегать, шуметь и действительно что-то делать, Бэббит откинулся на спинку вращающегося кресла, так что оно затрещало, и улыбнулся мисс Мак-Гаун. Он заметил, как смиренно ложатся ее подстриженные волосы на щеки. Какая-то слабость, тоска, похожая на одиночество, потянули его к ней. И пока она ждала, постукивая острым карандашом по блокноту, ему почудилось в ней сходство с девушкой его грез. Он представил себе, как вдруг их глаза встретятся в испуганном признании, как он почтительно и робко коснется ее губ... «Дальше будете диктовать, мистер Бэббит?» — прощебетала она, и Бэббит буркнул в ответ: «Нет, пожалуй, хватит!» — и грузно повернулся в кресле.

Никогда, даже в мыслях, он не позволял себе ничего более интимного. Он часто размышлял: «Не забыть, как говаривал ста-

рый Джек Оффат: умный человек у себя в конторе или дома ни с кем любовь крутить не станет. Конечно, так-то оно так, неприятностей не оберешься. И все же...»

За двадцать три года супружеской жизни он не раз с опаской поглядывал на стройные ножки, на округлые плечи, мысленно холил их и нежил, но никогда не рисковал пойти на авантюру. И сейчас, высчитывая, сколько будет стоить ремонт дома Стайлсов, он снова томился, снова был недоволен неизвестно чем и, стыдясь своего недовольства, тосковал по юной волшебнице.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Это утро было расцветом художественного творчества. Через пятнадцать минут после пламенных строк бэббитовского проспекта Честер Керби Лейлок, постоянный агент на строительстве в Глен-Ориоле, пришел с докладом о продаже участка и принес объявление в стихах. Бэббит не одобрял Лейлока за то, что он пел в хоре и развлекался дома игрой в «дурака» и «ведьму». У него был высокий тенорок, кудрявые каштановые волосы и усики, похожие на мягкую щетку. Бэббит считал простительным, когда человек семейный смущенно бормотал: «Видали новую фотографию сынишки — крепкий малец, а?» — но Лейлок рассыпáлся в похвалах своему семейству, как женщина.

— Слушайте, мистер Бэббит, я тут придумал чудную рекламку для Глена. Почему бы нам не попробовать стишки? Честное слово, на клиентов подействует безотказно. Вот, слушайте:

Куда бы вас ни занесло,
Подумайте о том,
Как вам найти себе жену,
А мы найдем вам дом.

— Чувствуете? Похоже на песенку: «Дом, милый дом»! Понимаете, я...

— Хватит, хватит, черт возьми! Все понял, понял! Лучше все-таки сделать рекламу как-то достойней, выразительней. «Мы во главе, другие отстают!» или, скажем: «Зачем откладывать — покупайте сейчас!» Конечно, я и сам верю, что можно использовать и поэзию, и юмор, и вообще всю эту муру — лишь бы реклама сработала, но для такого классного строительства, как Глен-Ориоль, давайте лучше держаться более сдержанного тона — вы меня понимаете? Ну, на сегодня все, Чет...

II

Но кому в мире искусств не знакома эта трагедия: весь апрельский энтузиазм Чета Лейлока лишь пробудил творческую энергию более опытного и талантливого мастера — Джорджа Ф. Бэббита. Он ворчливо бросил Стэпли Грэфу: «Ну и голосишко у этого Чета — на нервы действует!» — но в нем самом уже проснулось вдохновение, и он в один присест написал:

ПОЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ?

Когда отдан последний долг усопшим — можете ли вы со спокойной совестью сказать, что сделали для дорогих покойников все возможное? Нет, если только они не покоятся на прекраснейшем из кладбищ.

«ДОЛИНА ЛИП» — это единственное место погребения, оборудованное по последнему слову техники, где прелестно озелененные участки на усеянных ромашками склонах улыбаются веселым полям Дорчестера.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
БЭББИТ — ТОМПСОН, НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Ривс-Билдинг

Тут Бэббит подумал: «Пусть теперь Чэн Мотт поучится, как вести дела по-новому, куда ему до нас с его запущенным старым кладбищем!»

III

Он послал Мэта Пеннимена в справочную контору — выведать фамилии тех домовладельцев, которые сдают свои дома через других посредников. Побеседовал с клиентом, предложившим сдать помещение склада под игорный зал, проверил контракты, по которым истекал срок аренды, послал Томаса Байуотерса — кондуктора трамвая, подрабатывавшего в свободное время на комиссионных,— проверить «объекты» на окраинах, куда не стоило посылать такого специалиста, как Стэнли Грэф. Но творческий подъем уже прошел, и эти повседневные дела раздражали Бэббита. И только на миг он почувствовал себя героем: он вдруг открыл новый способ, как бросить курить.

Он бросал курить не реже чем раз в месяц. Брался он за это основательно, как подобало солидному гражданину: признавал вред табака, мужественно принимал решение — не курить, составлял планы, как избавиться от этого порока, постепенно урезывая количество сигар, и каждому встречному внушал, как хорошо стать

добродетельным. Словом, он делал все, кроме одного — курить он не бросал.

Два месяца назад он вычертил график, отмечая час и минуту, когда он закуривал, и, с восторгом увеличивая интервалы между каждой сигарой, дошел до трех сигар в день. Потом этот график куда-то затерялся.

Неделю назад он придумал новую систему: оставлять сигареты и сигары в регистратуре, в нижнем ящике картотеки, которым никто не пользовался. «Не стану же я, как дурак, лазить туда весь день, перед служащими неловко!» — вполне резонно думал он. Но дня через три он уже машинально вставал из-за стола, шел к ящику, вынимал сигарету и закуривал ее, даже не замечая, что он делает.

В это утро его вдруг осенило, что ящик слишком легко открывается. Запереть его — вот это дело! Он вдохновенно бросился к картотеке и запер в ящик все — сигары, сигареты, даже коробку спичек, а ключ спрятал в свой письменный стол. Но от этих героических подвигов ему так захотелось курить, что он немедленно вынул ключ, суровым и решительным шагом пошел в регистратуру и достал сигару, спичку — «одну-единственную спичку: если потухнет эта чертова сигара — пусть!». Когда сигара и вправду потухла, он вынул из ящика еще одну спичку, но в одиннадцать тридцать к нему пришли на совещание покупатель и домовладелец, и тут, разумеется, пришлось предложить им сигары. Совесть его взбунтовалась: «А ты-то зачем с ними закуриваешь?» — но Бэббит ее оборвал: «Не твое дело! Я занят! Отучусь постепенно!» Конечно, он не отучился, но от одного сознания, что он борется с этой скверной привычкой, его охватывало блаженное и возвышенное чувство. С таким ощущением своего душевного величия он бодрым и необычайно приподнятым тоном заговорил по телефону с Полем Рислингом.

Бэббит любил Поля Рислинга больше всех на свете, кроме себя самого и своей дочери Тинки. Они с Полем учились вместе в университете, жили в одной комнате, но Поль Рислинг, стройный, темноволосый и немногословный, влюбленный в музыку, казался Бэббиту младшим братом, которого нужно баловать и опекать. После окончания университета Поль вошел в дело своего отца; у него была небольшая фабрика и оптовая торговля толем. Бэббит искренне верил — и во всеуслышание заявлял об этом всем добрым друзьям,— что Поль мог бы стать великим скрипачом, художником или писателем.

— Вы бы послушали, какие он мне письма писал из Канады! Просто видишь все, как будто сам там был! Верьте слову — он этим дохлым писакам сто очков вперед даст!

Но разговор по телефону был короткий:

— Южная, три сорок три. Да нет же, нет! Я просил — Южная, три сорок три! Что за чертовщина! Барышня, неужели нельзя правильно соединить — Южная, три сорок три! То есть как это не отвечают? Алло, алло, три сорок три? Можно мистера Рислинга? Мистер Бэббит у телефона... Ты, Поль?

— Я.

— Это Джордж.

— А-а!

— Ну, как ты, старая калоша?

— В общем, ничего. А ты?

— Отлично, Полибус! Какие новости?

— Как будто никаких.

— Где ты пропадаешь?

— Да нигде особенно. А что у тебя, Джорджи?

— Может, позавтракаем вместе после двенадцати?

— Не возражаю. В клубе?

— Ага. Давай встретимся в половине первого.

— Договорились. Ровно в половине. Пока, Джорджи.

IV

Утро Бэббита не было строго размечено по графику. Между диктовкой писем и составлением рекламы вклинивались тысячи назойливых пустяковых дел: то звонили мелкие служащие в несбыточной надежде найти пятикомнатную меблированную квартиру с ванной не дороже шестидесяти долларов в месяц, то надо было инструктировать Мэта Пеннимена — как взыскать деньги с квартирантов, у которых денег не было.

Главными достоинствами Бэббита как посредника по продаже и аренде недвижимости, то есть как слуги общества, призванного подыскивать жилища для людей семейных и торговые помещения для тех, кто их снабжает,— были его добросовестность и усердие. Он был честен в общепринятом смысле, аккуратно вел списки своих клиентов, как продавцов, так и покупателей, обладал большим опытом по части аренды и контрактов и отличной памятью на цены. Плечи у него были достаточно широкие, голос — достаточно громкий, шутки — достаточно крепкие, чтобы дать ему возможность выдвинуться и войти в правящую касту Порядочных Людей. Правда, значение его для человечества несколько умалялось полным и блаженным неведением по части архитектуры (кроме строительства), а также по части доходных домов, садоводства (кроме разбивки газонов, дорожек и посадки шести сортов декора-

тивных кустарников) и полным непониманием самых азбучных истин экономики. Он искренне верил, что единственная цель агентства по продаже недвижимости — дать Джорджу Ф. Бэббиту заработать как можно больше. Конечно, для саморекламы очень полезно было на завтраках в клубе Толкачей и на всяких юбилейных банкетах, куда приглашали всех Порядочных Людей, произносить пышные речи о «Бескорыстном служении Обществу», о «Долге комиссионера оправдывать доверие своих клиентов» и о некоей туманной штуке, именуемой Этикой, о которой известно только то, что, если она у тебя есть, ты — Первоклассный Посредник, а нету — ты пройдоха, плут и проходимец. Благодаря своим Добродетелям ты пользуешься Доверием и можешь обделывать Крупные Дела. Однако это не значит, что надо быть простачком и не содрать за дом вдвое против настоящей цены, если покупатель такой идиот, что не стал торговаться, когда ты запросил лишнее.

Бэббит часто и очень красноречиво говорил на этих оргиях коммерческой добродетели, что «роль посредника — прежде всего в том, чтобы видеть путь будущего развития своего города и пророчески планировать расчистку этого пути для неизбежных перемен». Это означало, что комиссионер может неплохо заработать, если угадает, в каком направлении будет застраиваться город. Такую догадливость Бэббит называл Прозорливостью.

В одной речи на собрании клуба Толкачей он уточнил это положение. «Долг и вместе с тем привилегия посредника — знать все о своем городе и его окрестностях. Как хирург понимает расположение каждой жилки, каждой потаенной клетки человеческого организма, как инженер знает все свойства электрического тока и каждый винтик огромного моста, величественно возвышающегося над мощным потоком, так агент по недвижимости должен знать каждый дюйм своего города, знать все его недостатки и достоинства».

Но хотя сам Бэббит знал стоимость каждого дюйма земли во многих кварталах Зенита, он понятия не имел — достаточно ли полиции для охраны города, не потворствует ли она росту проституции и азартных игр. Он знал, какие противопожарные меры надо принимать при постройке зданий и как в зависимости от этого повышается страховка, но не знал, сколько в городе пожарных команд, как они обучены, как оплачиваются и насколько снабжены оборудованием. Он вдохновенно воспевал преимущество близости школ к домам, сдаваемым внаем, но не знал — и главное, не знал, что это надо знать,— хорошо ли отапливаются, освещаются и вентилируются школьные помещения, как они обставлены, не знал, как подбирают учителей, и хотя любил разглагольствовать, что «Зенит гордится тем, как мы прекрасно оплачиваем учителей», но

слова эти он взял из «Адвокат-таймса». Сам он понятия не имел о средней заработной плате учителей ни в Зените, ни в других городах.

Он краем уха слышал, что «условия» в окружной или городской тюрьме далеко не отвечают «современным требованиям науки», и, возмутившись критикой родного Зенита, просмотрел доклад, в котором адвокат Сенека Доун, пресловутый пессимист и радикал, доказывал, что сажать юнцов и молодых девчонок в кутузку, битком набитую сифилитиками, запойными пьяницами и проститутками, далеко не самый лучший способ перевоспитания. Бэббит пытался опровергнуть доклад, ворча: «Просто тошнит от этих людей, думают, что тюрьма — какой-нибудь шикарный отель! Не нравится — веди себя так, чтобы туда не попасть! И вообще эти психопаты-реформаторы всегда преувеличивают». Этим началось и навсегда кончилось его вмешательство в функции исправительных и карательных учреждений Зенита. Что же касается «притонов порока», то по этому поводу он бодро заявлял: «В такие дела ни один порядочный человек носа не сунет! Но, между нами, откровенно говоря, когда в городе есть район, где всякие подонки могут безобразничать как хотят, то для наших дочерей и для всех порядочных женщин это защита! По крайней мере, к нам этих людей не подпустят. Все остается в стороне от нашего дома!»

Что же касается рабочего вопроса, то Бэббит думал о нем довольно много, и его точка зрения сводилась примерно к следующему:

«Хороший профсоюз — ценная организация, потому что он не допускает радикальных объединений, которые хотят уничтожить собственность. Однако никого не надо насильно втягивать в профсоюз. Всех рабочих-агитаторов, которые пытаются силой заставить рабочих вступать в союзы, надо перевешать. Вообще-то, строго между нами, никаких союзов разрешать не нужно, и для всех деловых людей лучший способ бороться с профсоюзами — это вступить в ассоциацию промышленников и быть членом Торговой палаты. В единении — сила. Значит, каждого эгоиста, который не желает стать членом Торговой палаты, свинья этакая, надо заставить силой!»

Но хотя по его компетентным советам целые семьи переезжали в новые кварталы, чтобы обосноваться там на много лет,— ни в чем Бэббит не был столь блистательно невежествен, как в вопросах санитарии. Он не отличил бы малярийного комара от летучей мыши, он ничего не знал о пробах питьевой воды, а в вопросах устройства водопровода и канализации был столь же неосведомлен, сколь красноречив. Он любил подчеркивать, какие благоустроенные уборные и ванные в домах, которые он продает. Он с удоволь-

ствием распространялся на тему о том, почему там, в Европе, никогда не моются. Когда ему было двадцать два года, кто-то объяснил ему, что выгребные ямы — вредная вещь, и с тех пор он всегда бранил эти ямы. Если клиент нахально пытался продать через него дом с выгребной ямой, Бэббит всегда поднимал этот вопрос, прежде чем принять дом на комиссию и продать его.

Когда он стал застраивать участки в Глен-Ориоле — «Иволговом перелеске» — и подчистую уничтожил леса и сочные луга, превратив всю местность в выжженный солнцем пустырь без иволг и перелесков, сплошь утыканный табличками с названиями воображаемых улиц, он с гордостью заложил на участках настоящую канализационную сеть. Благодаря ей он почувствовал себя головой выше всех и втихомолку мог подсмеиваться над выгребной ямой на строительстве Мартина Ламзена в Эвонли и воспевать свои участки в многоречивых рекламах: в них говорилось о красоте, дешевизне и сверхгигиеничном оборудовании участков Глен-Ориоля. Единственным недостатком этой канализации был малый диаметр труб, из-за чего там скоплялись нечистоты, что было не особенно приятно, тогда как «выгребная яма» в Эвонли представляла собой асептический бетонированный резервуар системы Уоринга.

Вообще весь проект застройки Глен-Ориоля говорил о том, что хотя Бэббит не терпел явных жуликов, но и сам не отличался бессмысленной честностью. Владельцы участков и эксплуатационники предпочитали, чтобы посредники по распродаже не брали на себя их функций и заботились только об интересах своих клиентов. Предполагалось, что «Агентство Бэббит и Томпсон» было только посредником по распродаже участков Глен-Ориоля, только представляло настоящего владельца, Джека Оффата, но на самом деле Бэббит и Томпсон были держателями шестидесяти двух процентов акций Глен-Ориоля, президент и управляющий Зенитской Транспортной компании имели двадцать восемь процентов всех акций, а Джек Оффат (бессовестный политикан, мелкий заводчик, старый шут, вечно жевавший табак и увлекавшийся грязными политическими махинациями, деляческим дипломатничаньем и шулерской игрой в покер) владел только десятью процентами акций, которые ему выдали Бэббит и Транспортная компания за то, что он «умаслил» санитарную инспекцию, пожарную охрану, а также члена государственной комиссии по транспорту.

Но Бэббит был человек добродетельный. Он проповедовал сухой закон, хотя сам его не придерживался; он хвалил, хотя и не соблюдал, правила, запрещающие быструю езду, он платил долги; он делал взносы на церковь, на Красный Крест, на ХАМЛ, он сле-

довал обычаям своего клана и мошенничал только там, где это было освящено традицией, и он никогда не опускался до прямого обмана, хотя и говорил Полю Рислингу:

— Конечно, я не собираюсь утверждать, что каждая моя реклама — чистая правда или что я сам верю во все, что я наворачиваю покупателю. Ты понимаешь... ты вот что пойми: во-первых, может быть, владелец недвижимости преувеличил, когда сдавал мне ее на комиссию, и, уж конечно, не мое дело идти и доказывать, что мой комитент — лгун. А во-вторых, люди в большинстве — такие мошенники, что они и от других ждут вранья, хоть самого ничтожного; значит, если бы я, как дурак, никогда бы не блефовал, меня все равно считали бы вруном. Ради самозащиты я должен сам себя хвалить, как адвокат, который защищает клиента,— разве он не обязан выявить все лучшее в этом несчастном? Да сам судья напустился бы на адвоката, который не вступился бы за своего подзащитного, даже если бы оба знали, что тот виновен! Но при всем при том я не искажаю правду, как Сесиль Раунтри, или Сейер, или все прочие комиссионеры. Больше того, я считаю, что тех, кто врет исключительно ради собственной выгоды, надо расстреливать, да!

Насколько ценным советником Бэббит был для своих клиентов, лучше всего выявилось на совещании, которое состоялось в это утро, в одиннадцать тридцать, между ним самим, Конрадом Лайтом и Арчибальдом Парди.

V

Конрад Лайт спекулировал недвижимым имуществом. Спекулянт он был беспокойный. Прежде чем начать игру, он советовался с банкирами, адвокатами, архитекторами, подрядчиками и со всеми их стенографистками и клерками, которых можно было схватить за пуговицу и допросить, каково их мнение. Он был решителен и предприимчив, но обязательно требовал полной гарантии для своих капиталовложений, не желал входить в мелочи и сверх всего претендовал на те тридцать или сорок процентов, которые, по мнению всех авторитетов, причитались каждому зачинателю дела за то, что он все предвидел и шел на риск. Лайт был коротенький человечек с копной вьющихся седых волос, и даже в костюме от самого лучшего портного он казался обтрепанным. Под глазами у него были огромные впадины, будто ему клали на веки тяжелые серебряные монеты.

Всякий раз Лайт неизменно советовался с Бэббитом и верил его неторопливой осмотрительности.

Шесть месяцев тому назад Бэббит узнал, что некто Арчибальд Парди, владелец бакалейной лавки в отдаленном предместье под названием Линтон, поговаривает об открытии мясной лавки рядом со своей бакалейной торговлей. Разузнав имена владельцев соседних участков, Бэббит обнаружил, что Парди владеет только участком под своей лавкой, но что единственный участок, продававшийся рядом, ему не принадлежит. Бэббит посоветовал Конраду Лайту купить этот участок за одиннадцать тысяч долларов, хотя оценка по налоговому листу составляла всего около десяти тысяч. Бэббит объявил, что аренду брали слишком скромную и что, выждав некоторое время, они смогут заставить Парди пойти на их условия. Это и называлось Прозорливостью. Ему пришлось чуть ли не силой заставить Лайта купить участок. Как агент Лайта, он первым делом повысил арендную плату за полуразвалившийся склад, стоявший на этом участке. Арендатор сказал немало скверных слов, но все-таки заплатил.

И вот теперь Парди как будто склонялся к покупке, но его нерешительность должна была обойтись ему в лишние десять тысяч долларов — эту сумму мистеру Конраду Лайту переплачивали за то, что он сумел найти себе агента, который обладал Прозорливостью, учитывал всяческие Точки Зрения, Стратегические Преимущества, Решающие Моменты, Недооценку Обстановки и Психологию Коммерции.

Лайт пришел на совещание в прекрасном настроении. В это утро он особенно любил Бэббита и назвал его «старичина». Бакалейщик Парди, длинноносый медлительный человек, особых чувств к Бэббиту за его Прозорливость не питал, хотя тот встретил его у входной двери в контору и самолично проводил к себе в кабинетик, не без приятности восклицая: «Сюда, Парди, сюда, братец!» — Бэббит вытащил из ящика картотеки непочатую коробку сигар и заставил гостей закурить. Он двинул их кресла сначала на два дюйма вперед, потом — на три дюйма назад, что придало всему нужный оттенок гостеприимства, потом сам развалился в кресле, веселый, толстый. Но разговаривал он со слабовольным бакалейщиком решительно и твердо:

— Так вот, брат Парди, у нас есть очень и очень выгодные предложения и от мясников, и от множества других людей, которые хотят купить соседний с вами участок. Но я уговорил брата Лайта, что в первую очередь мы должны дать вам возможность подумать насчет этого участка. Я так и сказал Лайту: «Нехорошо выйдет, говорю, если кто-нибудь вдруг откроет бакалейную лавку и мясную торговлю под самым носом у Парди и все дело ему испортит. И плохо будет, если...— тут Бэббит наклонился вперед, голос у него стал резким,— если вдруг там обоснуется один из

этих филиалов универмага и трест станет снижать цены ниже себестоимости, пока не прижмет вас к стенке и не избавится от вашей конкуренции!»

Парди рывком вынул костлявые руки из карманов, подтянул брюки, снова сунул руки в карманы, развалился в кресле и, стараясь сделать веселое лицо, стал отстаивать свои интересы.

— Да, конечно, с ними не потягаешься. Но вы, должно быть, не знаете, что значат Личные Отношения и Свой Человек на такой окраине.

Великий Бэббит улыбнулся:

— Это верно. Ну, как вам угодно, старина. Хотели дать вам фору, так сказать. Что же, значит, так...

— Погодите! — умоляюще протянул Парди.— Я наверняка знаю, что почти такой же самый участок, рядышком, продали меньше чем за восемь с половиной тысяч всего года два назад, а вы тут с меня запрашиваете двадцать четыре тысячи долларов! Мне же сразу придется все заложить — ну, тысяч двенадцать куда ни шло, это я мог бы, но такую сумму... нет, ей-богу, мистер Бэббит, вы запросили вдвое! Да еще грозитесь разорить меня, если не куплю!

— Послушайте, Парди, что-то мне ваш тон не нравится! Совсем не нравится! Ну, положим, мы с Лайтом такие скоты, что способны разорить ближнего, но неужели же вы думаете, что мы не понимаем, насколько это в наших собственных интересах, чтобы в Зените было побольше состоятельных людей? Впрочем, это к делу не относится. Я вам вот что скажу: мы спустим цену до двадцати трех тысяч — пять наличными, а остальное — под залог, а если вы захотите снести эту старую развалину и построиться, я, пожалуй, смогу уговорить Лайта, чтобы он засчитал ссуду на постройку на самых льготных условиях. Господи, да разве мы не хотим пойти вам навстречу? Мы сами терпеть не можем этих иногородних трестовиков-бакалейщиков. Но неужели мы должны терять одиннадцать тысяч из одной любви к ближнему? Что скажете, Лайт? Согласны на уступку?

Бэббит так горячо принял к сердцу интересы Парди, что тут же уговорил отзывчивого мистера Лайта спустить цену до двадцати одной тысячи. В самый подходящий момент Бэббит вытащил из ящика договор — его уже с неделю назад отпечатала мисс Мак-Гаун — и протянул Парди. С добродушной улыбкой он тряхнул свое вечное перо, чтобы убедиться, что чернила хорошо идут, подал его Парди и одобрительно следил, как тот ставит свою подпись.

В общем, дело провернули. Лайт заработал что-то около девяти тысяч долларов, Бэббит получил четыреста пятьдесят долла-

ров комиссионных, а Парди благодаря сложной системе современных финансовых отношений приобрел торговое помещение, откуда вскоре счастливые обитатели Линтона будут щедро снабжаться мясом по ценам, только слегка превышающим городские.

Да, бой был дан хороший, но после него Бэббит как-то весь обмяк. Из всех дел, которые он сегодня вел, только на это и стоило тратить силы. Больше ничего интересного не предвиделось, кроме мелких вопросов аренды, оценки, заклада.

Он пробормотал:

— Даже подумать противно, что Лайт загреб львиную долю, старый скупердяй, а всю работу, в сущности, проделал я! Да, хорошо бы — какие у меня там еще дела? — хорошо бы отдохнуть как следует, подольше. Проехаться на машине. Вообще...

Но тут он вскочил, с удовольствием вспомнив о том, что ему предстоит завтрак с Полем Рислингом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Подготовка, которую проводил Бэббит перед завтраком, прежде чем бросить на целых полтора часа свою бедную контору на произвол судьбы, была только немногим упрощеннее подготовки всеобщей войны в Европе.

Он совсем задергал мисс Мак-Гаун:

— В котором часу вы пойдете завтракать? Пусть тогда мисс Бенниген посидит тут. Объясните ей, что если позвонит Бидефелд, пусть скажет, что я уже заказал опись. Да, кстати, напомните мне завтра распорядиться, чтобы Пеннимен ее заготовил. И еще, если кто-нибудь спросит насчет дома за сходную цену, помните, что нам надо сбыть с рук тот домишко на Бенгор-роуд. Еще вот что... еще... Словом, я вернусь к двум.

Он смахнул сигарный пепел с жилетки. Потом положил письмо, на которое трудно было сразу дать ответ, в стопку недоделанных работ, чтобы непременно заняться им после завтрака. (Уже третий день он клал это самое письмо в стопку недоделанных работ.) Он нацарапал на клочке желтой оберточной бумаги для памяти «поч. кв. дв.» — и у него было приятное чувство, будто он уже починил квартирные двери доходного дома.

Он поймал себя на том, что закурил сигару. Он отшвырнул ее с возмущением: «Черт тебя дери, ты же бросил курить!» Он мужественно поставил ящичек с сигарами в регистрационную картотеку, припрятал ключ еще дальше, ругательски ругая себя: «Надо

о здоровье подумать. Больше двигаться, каждый день ходить в клуб пешком, да, так я и буду делать — каждый божий день, хватит разъезжать в машине!»

Решив это, он пришел в восхищение от собственной добродетели. Но тут же подумал, что сегодня идти пешком уже поздно.

Чтобы завести машину и выехать на главную улицу, ему понадобилось только чуть больше времени, чем для того, чтобы пройти пешком три с половиной квартала до клуба.

II

По дороге он с привычной нежностью поглядывал на дома.

Если бы приезжий сразу попал в деловой центр Зенита, он бы не отличил его от любого города в Орегоне или Джорджии, Огайо или Мэне, Оклахоме или Манитобе. Но для Бэббита каждый камень имел свою индивидуальность, волновал его. Как всегда, он отметил, что Калифорния-Билдинг по той стороне улицы, на три этажа ниже, а следовательно, и на три этажа невзрачней, чем его родной Ривс-Билдинг. Как всегда, проезжая салон чистки обуви «Парфенон» — одноэтажный домишко, который рядом с гранитом и красным кирпичом старого Калифорния-Билдинг казался чем-то вроде купальни под скалой,— он подумал: «Черт, надо бы почистить сегодня ботинки! Вечно забываю...» У Магазина новейшей мебели и Агентства по распространению счетных машин он размечтался о диктофоне, о новой пишущей машинке, которая умела бы складывать и множить, как мечтает поэт об издании томика стихов или врач — о запасе радия.

У магазина готового платья «Мужской шик» он снял левую руку с руля, чтобы потрогать свой галстук, и с уважением к себе подумал, что может покупать дорогие галстуки — и платить за них чистоганом, да-с! — а у Центрального магазина табачных изделий, во всем его ало-золотом великолепии, он прикинул: «Кажется, мне нужны сигары — ах, я болван! Совершенно забыл — я же бросаю это дурацкое курево!» Он посмотрел на свой банк — Национальный Горнорудный и Промышленный банк, и подумал, как умно и солидно держать вклады в таком роскошном мраморном дворце. Но высшее блаженство он испытал во время остановки на перекрестке, под высоченным зданием Второй Национальной гостиницы. Машины выстроились стальными рядами, подрагивая, как нетерпеливые кавалерийские кони, пока мимо неслись лимузины, огромные грузовики, прыткие мотоциклы, а на противоположном углу с залитого солнцем каркаса нового здания доносился гул автогенной сварки, и откуда-то в шуме и вихре мелькнуло знако-

«Бэббит»

мое лицо, и приятель по клубу Толкачей крикнул: «Привет, Джорджи!» Бэббит от всей души помахал ему рукой и по знаку полисмена двинулся дальше в потоке машин. Он радовался, что его машина сразу набрала ход. Он чувствовал себя могучим и сильным, как стальной челнок, снующий в мощном механизме.

Как всегда, он старался не смотреть на следующие два квартала, где царили мерзость и запустение старого Зенита 1885 года. Проезжая мимо магазина стандартных цен, меблированных комнат «Дакота» и отеля «Конкордия» с дешевыми номерами и приемными гадалок и мозольных операторов, он стал думать о том, сколько он зарабатывает, чуть-чуть возгордился, чуть-чуть расстроился, еще раз подсчитал давно знакомые цифры: «С Лайта заработал четыреста пятьдесят монет. Да, а налоги? Постой-ка: в этом году надо бы выгнать тысяч восемь чистых, из них полторы отложить — нет, не удастся, если строить гараж и... погоди: шестьсот сорок монет очистилось в прошлый месяц, значит, за год выйдет... сколько же это будет... двенадцать раз по шестьсот сорок, значит, шесть на двенадцать — семь тысяч двести, а... впрочем, черт с ним, восемь тысяч я как-нибудь заработаю... ого, не так плохо, не всякий зарабатывает по восемь тысяч в год, восемь тысяч честных, крепких, полновесных долларов,— честное слово, во всех Штатах едва ли наберется пять человек из ста, которые зарабатывают больше дяди Джорджа! Высоко забрался! Конечно, расходов не оберешься — семейка у меня такая, бензин тратят почем зря, одеваются как миллионеры,— да матери надо посылать восемьдесят в месяц... А тут еще эти стенографистки, коммивояжеры готовы последний цент из меня высосать».

В результате столь научного планирования бюджета Бэббит почувствовал себя и колоссально богатым, и безнадежно нищим, и вдруг, посреди всех этих размышлений, он остановил машину, забежал в небольшой магазин новинок и купил ту самую электрическую зажигалку, о которой мечтал всю неделю. Чтобы заглушить совесть, он разговаривал громко и оживленно и даже крикнул приказчику:

— Экономию на спичках нагоню, вот и окупится, верно?

Зажигалка была очень красивая — никелированный цилиндр в оправе под серебро, прикреплявшийся к распределительной доске автомашины. Это была не только «изящная вещица, последний штрих, придающий стиль машине настоящего джентльмена», как гласила реклама, висевшая над прилавком, нет — зажигалка давала бесценную экономию времени. Не надо было останавливать машину, чтобы прикурить от спички, так что за месяц или два набегало экономии не меньше десяти минут!

Бэббит вел машину и любовался зажигалкой.

— Славная штучка. Давно мечтал,— сказал он задумчиво.— Для курильщика — просто клад!

И тут он вспомнил, что бросает курить.

«А, черт! — огорчился он.— Ну ничего, неужели иногда нельзя выкурить сигарку? А потом — другим-то как удобно! Куда легче будет по-дружески разговаривать в машине с каким-нибудь покупателем. Нет, серьезно, она тут как раз на месте! Классная вещица, честное слово! Действительно, последний штрих, сразу видно — человек со вкусом! Что ж, неужели я и этого не могу себе позволить? Неужели я один из всей семьи должен себе отказывать в удовольствии? Нет уж, извините!»

И, владея этим бесценным кладом, испытав столько романтических приключений на протяжении каких-нибудь трех кварталов, он подъехал к своему клубу.

III

В Спортивном клубе города Зенита нет ничего спортивного и почти ничего клубного, но зато — он высшее воплощение самого Зенита. Правда, там есть всегда переполненная и прокуренная бильярдная, существуют при клубе и команды — бейсбольная и футбольная, а в бассейне и гимнастическом зале один из десяти членов клуба иногда пытается похудеть. Но большинство его членов — а их насчитывается три тысячи — используют клуб как кафе, где можно завтракать, играть в карты, рассказывать анекдоты, встречаться с клиентами и угощать обедом приезжих дядюшек. Это самый большой клуб в городе, и там питают самую неудержимую ненависть к консервативному клубу Юнион, о котором всякий порядочный член Спортивного непременно скажет: «Затхлая, скучная дыра, дерут втридорога, полно снобов, ни одного настоящего, компанейского парня — меня туда ни за какие деньги не заманишь!» Однако статистика говорит, что ни один из членов Спортивного клуба еще не отказался от приглашения вступить в клуб Юнион, а шестьдесят три из ста тотчас же выходили из Спортивного и не раз потом говаривали в сонной тишине святилища клуба Юнион — его гостиной: «Нет, Спортивный, в общем, не плохой ресторанчик, будь там отбор посетителей построже».

Спортивный клуб помещался в девятиэтажном здании из желтого камня с зимним садом наверху и огромными колоннами у подъезда. Холл, с пилястрами из пористого кайенского камня, сводчатым потолком и выложенным глазированными плитками полом цвета хорошо подрумяненной хлебной корочки, походил не то на соборную усыпальницу, не то на винный погребок. Члены клуба влетают в холл, как обычно вбегают в магазин за покупками, когда

очень некогда. Так влетел и Бэббит, и сразу заорал компании, стоявшей у табачного прилавка:

— Здорово, друзья, как дела? Чудная погода, верно?

Они весело заорали в ответ — и Верджил Гэнч — торговец углем, и Сидни Финкельштейн — коммивояжер фирмы дамского готового платья Паркер и Штейн, и профессор Джозеф К. Памфри — директор коммерческого колледжа «Верный путь», преподававший там ораторское искусство, деловую корреспонденцию, сценарное мастерство и коммерческую юриспруденцию. И хотя Бэббит восхищался этим ученым мужем и отдавал должное Сидни Финкельштейну — «он, знаете, отличный делец и передовой человек»,— но душа у него лежала к Верджилу Гэнчу. Мистер Гэнч был председателем клуба Толкачей, где еженедельно собирались к завтраку члены местного филиала этой общенациональной организации, чьим девизом была поддержка деловых начинаний и укрепление связей между Порядочными Людьми. Кроме того, Гэнч занимал почетное место Первого Рыцаря в Благодетельном и Покровительственном ордене Лосей, и ходили толки, что на следующих выборах его кандидатура будет выставлена на пост Великого Магистра Ордена. Он был весельчак, любил произносить речи и покровительствовать искусству. Когда в город приезжали знаменитые актеры или опереточные певцы, он вечно торчал за кулисами, угощал актеров сигарами, называл по именам, а иногда приводил их на завтраки Толкачей, чтобы «поразвлечь компанию на даровщинку». Громадный, с торчащими кверху волосами, он всегда знал самые свежие анекдоты и ловко играл в покер. Именно после вчерашнего вечера у него в гостях Бэббита весь день разъедало беспокойство.

— Как дела, старый смутьян? Как чувствуешь себя после вчерашнего? — крикнул Гэнч.

— Ох, и не говори! Голова трещит! Ну и задал ты нам угощение, Вердж! Не забыл, как я тебя обставил напоследок? — заорал в ответ Бэббит, хотя Гэнч стоял в трех шагах от него.

— Ладно, ладно! Погоди, я тебе еще всыплю, Джорджи! Слушай, а ты прочел в газетах, как нью-йоркский муниципалитет разделался с красными?

— Еще бы! Здорово, а? А погода сегодня какая!

— Да, совсем весна, только ночи холодные!

— И впрямь холодные! Спал нынче под двумя одеялами. Слушайте, Сид,— Бэббит обернулся к коммивояжеру Финкельштейну,— хочу с вами посоветоваться. Купил сейчас электрическую зажигалку для машины, так вот...

— Правильно сделали! — сказал Сид, и даже ученый профессор Памфри, круглый человечек в сером с искрой костюме, с визгливым, как шарманка, голосом, подтвердил:

— Изящная вещичка! Придает стиль машине.

— Да, решил наконец купить. Последнего выпуска, так приказчик уверяет. Выложил пять долларов. Вот и думаю — не переплатил ли? Сколько они стоят в универмаге, а, Сид?

Финкельштейн подтвердил, что пять долларов вовсе не дорого, особенно за такую первоклассную зажигалку, всю никелированную, с проводкой лучшего качества.

— Мое мнение такое,— сказал Сид,— и верьте, я это знаю по своему долголетнему коммерческому опыту,— чем лучше вещь, тем она в конце концов обходится дешевле. Конечно,— добавил Финкельштейн,— какой-нибудь жид хватается за всякую дешевку, но в конце-то концов дешевле всего обходятся первоклассные вещи! Вот я скажу о себе: на днях я сменил на своей старой калоше кузов и всю обивку и заплатил сто двадцать шесть долларов пятьдесят центов, ну и, конечно, найдутся такие, которые скажут — дорого! Ой, если б мои папа с мамой узнали — они до сих пор живут в захолустном местечке и не могут понять городского человека, знаете, такие старозаветные евреи,— так они бы, наверно, окочурились, если б им сказали, что их Сид сразу выложил сто двадцать шесть монет. Но я считаю, что я не переплатил, Джордж, ничуть! Машина как новенькая, конечно, она и так не старая, езжу на ней всего третий год, но уж езжу вовсю! По воскресеньям меньше ста миль не делаю, ну да, о чем я? Нет, вас не надули, Джордж. В конце-то концов первоклассные вещи всегда обходятся дешевле.

— Правильно! — подтвердил Верджил Гэнч.— И я так считаю. Живет человек, как говорится, деятельной жизнью, как у нас в Зените,— особенно если вращается в такой среде, как наши Толкачи и здешние одноклубники,— не мудрено, что он может замотаться от всей этой суеты и умственного напряжения; значит, ему надо поберечь нервы и пользоваться только первоклассными вещами.

Бэббит кивал в такт каждому его слову под гул голосов и весь расплылся от восхищения, когда Гэнч по привычке под конец сострил:

— Вот только не знаю, можешь ли ты себе позволить такой расход, Джорджи! Я слышал, что власти на тебя что-то косятся, с тех пор как ты отхватил кусок Иторнского парка и распродал его по участкам.

— Ну и шутник ты, Вердж! Ты меня не дразни, не то я тебе тоже припомню, как ты украл черное мраморное крыльцо почтамта и продал по кускам вместо угля! — Бэббит в восторге хлопал Гэнча по плечу и трепал по спине.

— Это еще куда ни шло, а вот хотел бы я знать, какая акула скупила у меня этот «уголек» для своих доходных домов?

— Ага, Джордж, крыть нечем! — сказал Финкельштейн.— А я,

знаете, что слыхал, друзья: заходит супружница Джорджа в отдел мужского белья, у Парчера, купить мужу воротнички, и не успела сказать номер, а приказчик уже подает ей тринадцатый. «Откуда вы знаете,что он носит тринадцатый номер?» — спрашивает миссис Бэббит, а тот ей говорит: «Если мужчина посылает жену покупать ему воротнички, мадам, значит, он наверняка носит тринадцатый номер!» Здорово, а? Неплохо сказано! Что, съели, Джордж?

— А я...— Бэббит пытался придумать такую же безобидную колкость, но вдруг замолчал и уставился на двери. В клуб входил Поль Рислинг. Бэббит крикнул: «До скорого, друзья!» — и заторопился навстречу Полю. Теперь Бэббит был уже не капризный ребенок, как утром во сне, не домашний тиран в столовой, не матерый делец на совещании с Лайтом и Парди, не крикливый Славный Парень, шутник и душа человек из Спортивного клуба. Он сразу стал старшим братом Поля Рислинга, готовым защищать его и восторгаться им с гордой, доверчивой влюбленностью, которая была сильнее всякой другой любви. Они с Полем торжественно пожали друг другу руки; они улыбнулись с таким смущением, будто не виделись три года, а не три дня. Но говорили они так:

— Ну, как, старый ворюга?

— Ничего как будто. А ты, дохлая курица?

— Сам старый ошметок! У меня-то все отлично!

Убедившись таким образом во взаимной привязанности, Бэббит буркнул: «Хорош тип, нечего сказать! Опоздал на целых десять минут!» — на что Рислинг фыркнул: «Твое счастье, что ты вообще удостоился позавтракать с порядочным человеком!» Оба засмеялись и пошли в умывальную, похожую на термы Нерона, где над тяжелыми мраморными умывальниками склонялись ряды мужчин, словно преклоняясь перед собственными отражениями в массивных зеркалах. Густые, самодовольные, внушительные голоса отдавались от мраморных стен, гудели под потолком, выложенным молочными с палевой каемкой плитками: это хозяева города — короли страховых обществ, юриспруденции, минеральных удобрений и автомобильных шин — устанавливали законы для Зенита, возвещая, что погода сегодня теплая, да, прямо весенняя, что заработки рабочих слишком высоки, а проценты по закладным слишком низки, что Бэйб Рут, знаменитый бейсболист, — благороднейший человек и что «эти черти в театре «Водевиль» действительно актеры что надо!». И хотя обычно Бэббит гремел увереннеи и внушительней всех, сейчас он молчал. В присутствии темноволосого, сдержанного Поля Рислинга он чувствовал себя неловко, и ему хотелось быть спокойным, ровным, тактичным.

Холл Спортивного клуба был построен в готическом стиле, умывальная — в стиле ампир, гостиная — в испанском, а читальня

представляла смесь китайщины и чиппендейла. Но жемчужиной клуба была столовая — шедевр самого популярного архитектора Зенита, Фердинанда Рейтмана,— высокая, до половины обшитая дубом, со стрельчатыми окнами в стиле Тюдоров, стеклянным фонарем, безменестрельной галереей менестрелей и гобеленами, на которых якобы изображалось пожалование Хартии Вольностей. Открытые потолочные балки были отделаны ручным способом в автомобильных мастерских Джека Оффата, задвижки и петли были фигурного чугуна, панели прикреплены деревянными, обточенными вручную болтами. В конце комнаты красовался каменный готически-геральдический камин, очень глубокий, про который в брошюре, рекламирующей клубы, было сказано, что он не только больше всех каминов во всех старинных замках Европы, но и тяга в нем несравненно более усовершенствованная. Кроме того, камин был и гораздо чище других, так как его никогда не топили.

Почти все столы были чудовищных размеров, и за ними легко помещалось человек двадцать или тридцать. Обычно Бэббит садился поближе к дверям, вместе с Гэнчем, Финкельштейном, профессором Памфри, своим соседом — Говардом Литтлфилдом, поэтом и агентом по рекламе — Т. Чамондли Фринком и Орвилем Джопсом, чья прачечная по всем статьям занимала первое место в Зените. Эта компания была чем-то вроде клуба внутри клуба, и ее члены игриво окрестили себя «дебоширами». И сегодня, когда Бэббит проходил мимо стола, «дебоширы» орали ему вслед: «Давай сюда! Садись с нами! Что-то вы с Полем носы задрали! Брезгуете нами, бедняками! Боишься, Джорджи,— вдруг нагреют на бутылку минеральной! Задаетесь, братцы, нехорошо. Избегаете нас, что ли?»

— Еще бы! — загремел в ответ Бэббит.— Нам наша репутация дорога — еще увидят, что сидим с вами, скупердяями! — И он решительно направился с Полем к одному из маленьких столиков под галереей менестрелей. Он чувствовал себя виноватым. В зенитском Спортивном клубе уединяться от компании считалось весьма дурным тоном. Но ему хотелось побыть с Полем наедине.

Сегодня утром он ратовал за легкие завтраки и потому заказал себе только баранью котлетку по-английски, редиску, горошек, яблочный пирожок, сыр и кофе со сливками и, помявшись, добавил, как всегда: «М-ммм... пожалуй... дайте-ка мне еще порцию жареного картофеля!» Когда подали котлету, он основательно посолил и поперчил ее — он всегда, не пробуя, клал в мясо много соли и перцу.

Поговорили о том, что весна уже похожа на весну, о преимуществах электрических зажигалок, о действиях нью-йоркского муниципалитета. И только когда Бэббит, до отвала наевшись жирной баранины, погрустнел, он стал изливать душу:

— Обтяпал сегодня неплохое дельце с Конрадом Лайтом, положил в карман пятьсот кругленьких — казалось бы, все хорошо, все отлично. Да вот — сам не знаю, что со мной творится! То ли весенняя лихорадка, то ли поздно засиделся вчера у Верджила Гэнча, а может, просто измотался за зиму, не знаю, но только весь день меня тоска грызет. Конечно, «дебоширам» за тем столом я не стал бы жаловаться, но тебе... С тобой так бывало, Поль? Что-то на меня находит, делаю я все, что требуется: содержу семью, имею хороший дом, машину с шестью цилиндрами, неплохо поставил дело, никаким излишествам не предаюсь, разве что люблю покурить, да и то, кстати говоря, я уже почти бросил. И в церковь хожу, и в гольф играю, чтобы не толстеть, и дружу только с честными, порядочными людьми. И все-таки — никакого удовлетворения!

Он говорил медленно: то его перебивали выкрики с соседних столов, то он машинально заигрывал с официанткой или тяжело отдувался после кофе, от которого у него шумело в голове и подпирало под ложечкой. Слова его звучали виновато и неуверенно, но высокий голос Поля сразу рассеял эту муть:

— Черт побери, Джордж, неужели ты думаешь, будто я не знаю, как мы всю жизнь мотаемся, думаем, что достигли бог знает чего, а на самом деле все это зря... У тебя такой вид, будто я сейчас донесу, какой ты крамольник! Сам знаешь, что́ у меня за жизнь!

— Знаю, старик, знаю!

— Мечтал стать скрипачом, а торгую толем! А Зилла... нет, я не жалуюсь, ты не хуже меня знаешь, какая у меня возвышенная супруга... К примеру: пошли мы вчера вечером в кино. У кассы — огромная очередь, стоим в хвосте. И вот она начинает проталкиваться вперед с этаким видом: «Сэр, как вы смеете!..» Честное слово, иногда смотрю на нее — намазанная, накрашенная, духами от нее несет, и вечно скандалит, вечно визжит: «Не смейте! Я дама, черт вас дери!» Ей-богу, я готов ее убить. Прет напролом, а я за ней, весь горю от стыда, и мы почти добираемся до входа — вот-вот впустят. А впереди нас стоит скромный такой человечек, видно, ждет уже с полчаса, я им просто залюбовался: повернулся он к Зилле и вежливо так говорит: «Сударыня, почему вы меня отталкиваете?» А она как заорет на него — мне просто стыдно стало: «Вы не джентльмен! — и тут же меня впутала: — Поль! — кричит,— этот тип оскорбляет меня!» Этот несчастный, наверно, решил — сейчас я его побью!

А я притворился, что ничего не слышу,— да не тут-то было: орет, как паровозный гудок! Я уставился вверх — могу тебе точно описать каждую плитку на потолке, там была одна, в коричневых пятнах, прямо какая-то дьявольская физиономия,— а люди набились, как сельди в бочке, и кругом отпускают по нашему адресу

всякие словечки, а Зилла никак не уймется, вопит про этого человека, что «таких, как он, и впускать нельзя туда, где бывают порядочные леди и джентльмены», и пристает ко мне: «Поль, будь добр, сию же минуту вызови администратора, я должна пожаловаться на эту грязную крысу!» Уф, до чего я был рад войти в зал и спрятаться в темноте!

Неужели ты думаешь, что после двадцати четырех лет такой жизни я с пеной у рта накинусь на тебя за один твой намек, что наша прекрасная, чистая, респектабельная, высоконравственная жизнь совсем не то, что кажется! Ни с кем, кроме тебя, я говорить об этом не желаю, пусть не думают, что я тряпка. А может, так оно и есть. Плевать... Да, нажаловался я тебе, Джордж, досталось тебе нынче... Ну, это в первый и последний раз.

— Ерунда, Поль, никогда ты не жалуешься. Бывает со всеми — вот я вечно хвастаю перед Майрой, что я великий делец, а сам втихомолку думаю — уж не такой я Пирпонт Морган, как воображаю. Но если я немножко помогаю тебе развеселиться, Полибус, так, может, святой Петр хоть за это впустит меня в рай!

— Ты молодец, Джорджи, старый ты греховодник! Но когда я тебя вижу, у меня и вправду настроение подымается.

— Почему не разведешься с Зиллой?

— Почему? Если бы я только смог! Если б она согласилась! Нет, ее силком не заставишь развестись со мной или бросить меня. Слишком она любит свои три кусочка шоколаду с орехами да еще три фунта конфет в придачу. Если бы она хоть, что называется, изменила мне! Джордж, я не подлец, честное слово. Когда я был студентом, я бы сказал, что за такие слова человека расстрелять не жалко! Но клянусь честью, я был бы на седьмом небе, если б она по-настоящему с кем-нибудь спуталась! Как же, держи карман шире! Конечно, она флиртует с кем попало, знаешь ее манеру хохотать, когда ей жмут ручку,— ох, этот смех, отвратительный, визгливый! — и пищать: «Ах вы, шалун, не смейте, у меня муж — силач, он вам задаст!» А этот тип презрительно косится на меня и думает: «Катись-ка ты, цыпленок, подальше, не то я тебе покажу!» А она ему позволяет бог знает что, лишь бы нервы себе пощекотать, а потом вдруг начинает разыгрывать оскорбленную невинность, ей, видите ли, приятно стонать: «Ах, я никогда не думала, что вы такой!» Вот в книжках пишут про всяких demi-vierges... [1]

— Чего, чего?

— ...а оказывается, эти прожженные, опытные, затянутые в корсет замужние женщины, вроде Зиллы, в тысячу раз хуже какой-нибудь стриженой девчонки, которая очертя голову бросается в так

---

[1] Полудев *(франц.)*.

называемые житейские бури, а сама прячет зонтик под мышкой! В общем, к черту, ты сам знаешь, что такое Зилла. Знаешь, как она меня пилит, пилит, пилит без конца, как вечно требует, чтоб я ей покупал все, что можно и чего нельзя, знаешь ее полнейшую безответственность, а когда я пытаюсь ей что-нибудь втолковать, она начинает разыгрывать такую королеву, что даже меня сбивает с толку, и я одно долблю без конца: «зачем ты так говоришь?» и «я не то хотел сказать». И еще, Джорджи: ты знаешь, я неприверед-лив, во всяком случае, в еде. Конечно, ты всегда меня попрекаешь, что я люблю дорогие сигары, а не эти «Флер-де-Капустос», которые ты куришь...

— Ладно, ладно! Вполне приличные сигарки. Кстати, я тебе говорил, что бросаю ку...

— Да, да, говорил... Понимаешь, если меня плохо кормят, я готов терпеть. Могу съесть и пережаренный бифштекс, и консервированный компот с покупным пирогом — дивный десерт, правда? Но чего я не могу — это сочувствовать Зилле, что из-за ее паршивого характера у нас ни одна кухарка не живет, а самой ей готовить некогда: еще бы, все утро занята, валяется в грязном кружевном капоте и запоем читает про красавцев с Дикого Запада. Вот ты всегда говоришь насчет нравственности и, очевидно, подразумеваешь единобрачие. Для меня ты всегда был непоколебимой скалой, но на самом деле ты простак. Ты любишь...

— Эй, эй, милый, что это еще за «простак»? Ты поосторожней! Я тебе вот что скажу...

— ...любишь делать серьезное лицо и объявлять во всеуслышание, что «долг всякого порядочного гражданина — быть строго нравственным и подавать тем самым пример всему обществу». Ей-богу, ты так серьезно защищаешь нравственные устои, Джорджи, старина, что мне даже неприятно думать, до чего ты, наверно, сам в душе безнравственный человек. Ну что ж, проповедуй...

— Погоди, погоди! Как это ты...

— ...проповедуй всякие добродетели, милый друг, но поверь мне, если бы не твоя дружба и не вечера, когда я могу поиграть на скрипке с Террилом О'Фаррелом, под его виолончель, и если бы не те славные девчушки, которые помогают мне забыть это гнусное издевательство, называемое «респектабельной жизнью», я бы давно повесился!

А мои дела! Торговать толем! Крыть коровники! Нет, я не говорю, что мне совсем не доставляет удовольствия вести игру, обставлять, скажем, профсоюзы, получать большие деньги, расширять дело. Но что пользы? Ты понимаешь, что мое дело, в сущности, не торговать. И у тебя то же самое. Основное наше занятие — перервать глотку сопернику и заставить покупателей платить за это!

— Перестань, Поль! Ей-богу, эти разговоры понахивают социализмом!

— Нет, конечно, я не то хочу сказать... Ясно: здоровая конкуренция, побеждает лучший, естественный отбор — и все-таки... Все-таки знаешь что: возьми всех наших знакомых, хотя бы тех, кто сейчас тут, в клубе, все они с виду вполне довольны своей семейной жизнью и своим делом, до небес превозносят Зенит и Торговую палату и проповедуют рост населения до миллиона! Но я готов душу прозакладывать, что, если б можно было прочитать их мысли, стало бы видно, что треть из них вполне довольна и женами, и детьми, и конторами, и приятелями, другая треть — чем-то недовольна, но даже себе не признается, а остальные просто-напросто несчастные люди и знают это сами. Они ненавидят все это рвачество, суету, гонку, им надоели жены, детей они считают болванами — во всяком случае, к сорока — сорока пяти годам им все надоедает, они ненавидят свое дело и с удовольствием бросили бы все. Ты думал когда-нибудь, откуда столько «таинственных» самоубийств? Думал, почему Солидные Граждане удирали на войну? По-твоему, из одного патриотизма, что ли?

Бэббит презрительно хмыкнул:

— А ты чего ждал? Что ж, по-твоему, нам жизнь дана, чтоб развлекаться и, как это говорится, «на ложе лени возлежать»? По-твоему, человек создан только для счастья?

— А разве нет? Впрочем, мне еще не попадался мудрец, который бы знал, на кой черт создан человек.

— По-моему, это общеизвестно — и не только из Библии, просто здравый смысл подсказывает: кто не трудится, не выполняет свой долг, даже если его иногда и берет тоска, тот просто слюнтяй! Баба он, вот что! А ты, в сущности, из-за чего копья ломаешь? Говори прямо! Неужели ты серьезно считаешь, что, если человеку надоела жена, он имеет право ее бросить и удрать или удавиться?

— О господи, да почем я знаю, на что человек «имеет право»? Почем я знаю, как избавиться от тоски? Если б я знал, я был бы единственным философом, способным врачевать человеческие души. Знаю только, что из десяти человек лишь один откровенно признается, что жизнь — скука, и к тому же бессмысленная. И еще знаю, что, если бы мы не сдерживались и хоть изредка откровенно об этом говорили, вместо того чтобы быть тихими, терпеливыми и верными до шестидесяти лет, а потом быть тихими, терпеливыми и мертвыми до скончания века, жизнь, может быть, стала бы веселее.

И они пошли философствовать. Бэббит неуклюже спорил. Рислинг был полон дерзаний, хотя и сам не представлял себе, по какому это поводу он «дерзает». Иногда Бэббит неожиданно согла-

шался с Полем, противореча всем своим доводам в защиту долга и христианского долготерпения, и каждый раз при этом испытывал непонятную безудержную радость. В конце концов он сказал:

— Слушай, Поль, старина, вот ты вечно разглагольствуешь, что все надо снести к черту, а сам ничего не делаешь. А почему?

— Никто ничего не делает. Слишком в нас это въелось, вошло в привычку. Впрочем, знаешь, Джорджи, хочется мне выкинуть одну штуку,— да не пугайся ты, защитник брачных устоев! Все в высшей степени благопристойно! Кажется, уже решено — хотя Зилла́ и точит меня, чтобы разориться на отдых в Нью-Йорке и Атлантик-Сити, ей, видите ли, нужны «огни столицы», запрещенные коктейли и всякие фертики для танцев,— кажется, мы решили, что Бэббиты с Рислингами поедут на озеро Санасквем, правильно? Почему бы нам с тобой под каким-нибудь предлогом — скажем, дела в Нью-Йорке — не поехать вперед, побыть в Мэне дней пять-шесть без семьи, одним, ни черта не делать, курить, ругаться сколько влезет — словом, отдохнуть как следует!

— Вот это здорово! Замечательная мысль! — Бэббит был в восторге.

Ни разу за последние четырнадцать лет он не отдыхал без жены, да Поль и сам не верил, что они решатся на такую выходку. Многие члены Спортивного клуба ездили отдыхать без жен, но те официально занимались охотой и рыбной ловлей, тогда как Бэббит и Поль Рислинг неизменно и свято блюли верность гольфу, езде на автомобилях и бриджу. А если бы игроки в гольф или рыболовы изменили своим привычкам, они нарушили бы свои собственные традиции и привели в ужас всех здравомыслящих и добропорядочных граждан.

Бэббит заволновался:

— Давай решительно скажем: мы едем раньше, и никаких разговоров! Ничего преступного тут нет. Скажи Зилле напрямик...

— Да разве Зилле что-нибудь скажешь напрямик? Нет, Джорджи, она любит читать мораль ничуть не меньше, чем ты, и скажи я ей чистейшую правду, она все равно решит, что мы с тобой едем в Нью-Йорк кутить с женщинами. И даже твоя Майра — хоть она и не пилит тебя, как Зилла, но и она расстроится. Обязательно скажет: «Неужели тебе неприятно ехать со мной? Конечно, я и не подумаю навязываться, если ты не хочешь!» — и тут ты сразу сдашься, лишь бы ее не обидеть. А ну их всех к черту! Давай-ка сыграем в настольные кегли!

Пока они играли в эту безобидную игру — разновидность настоящих кеглей, Поль все время молчал. Они вышли из клуба — Бэббит опаздывал всего на полчаса против того срока, который он так сурово назначил мисс Мак-Гаун, и Поль со вздохом сказал:

— Слушай, старик, напрасно я так говорил про Зиллу...

— Глупости, старик, надо же облегчить душу!

— Знаю, знаю. Я тут целый час издевался перед тобой над всякими условностями, а я и сам такой: теперь мне неловко, что я выложил тебе все мои дурацкие неприятности, чтоб не подохнуть с тоски.

— Поль, дружище, у тебя нервы ни к черту. Я тебя увезу. Все устрою. Скажу, что у меня важное дело в Нью-Йорке, а ты... ну конечно, мне нужен твой совет насчет кровли в одном новом доме! Дело, разумеется, лопнет, и нам с тобой ничего другого не останется, как только уехать в Мэн. А я — честно говоря, Поль, мне все равно, взбунтуешься ты или нет. Конечно, мне приятно, что у меня репутация порядочного человека, но если я тебе понадоблюсь, я все брошу и встану за тебя горой. Я не говорю, что ты... я не хочу сказать, что ты способен выкинуть такую штуку, которая все устои перевернет вверх тормашками, но... в общем, ты меня понимаешь? Человек я медлительный, неповоротливый, мне не обойтись без твоей горячей южной души. Мы с тобой... о черт! Да что это я разболтался! Работать пора! Ну, всего доброго! Не давай себя водить за нос, Полибус! Всего лучшего!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Он позабыл о Поле Рислинге — день прошел в довольно приятных делах. Заехав в контору, где без него все шло кое-как, он повез «возможного» покупателя в Линтон — показать ему четырехквартирный домик. Ему нравилось, что покупатель так восхищается новой зажигалкой. Три раза он сам пробовал, как она работает, и три раза выбрасывал недокуренную сигарету, сокрушаясь вслух:

— А, черт, нельзя мне столько курить!

Пространное обсуждение зажигалки во всех подробностях навело их на разговор об электрических утюгах и грелках. Бэббит с виноватым видом признался, что пользуется по старинке простой резиновой грелкой, и объявил, что немедленно проведет электричество на веранду. Он с беспредельным, вдохновенным восхищением относился ко всякой технике в быту, хотя разбирался в ней довольно плохо. Но для него она была символом истины и красоты. Про любой новый сложный механизм, будь то токарный станок, двухкамерный карбюратор, пулемет, аппарат для автогенной сварки, он вызубривал какую-нибудь звучную техническую фразу и любил повторять ее, чувствуя себя знатоком всех тонкостей.

Клиент тоже благоговейно говорил о технике, и они в отличном настроении подъехали к дому, где осмотрели все — от шиферной крыши и двустворчатых дверей до безукоризненного паркета, после чего начались дипломатические переговоры с притворными обидами, удивленными возгласами и готовностью дать себя уговорить на то, что уже давно решено и что в один прекрасный день должно завершиться продажей дома.

На обратном пути Бэббит заехал за своим компаньоном и тестем, Генри Т. Томпсоном, на его завод хозяйственного оборудования, и они вместе поехали через Южный Зенит — самый пестрый, шумный, интересный район города, мимо новых заводов из пустотелой плитки, с гигантскими стеклянными окнами за металлической обрешеткой, мимо угрюмых фабричных построек из закопченного красного кирпича, мимо высоких водонапорных башен, мимо огромных, как паровозы, красных грузовиков и сплетения подъездных путей, где стоял неугомонный грохот товарных поездов дальнего следования и по всем магистралям шли грузы: из яблоневых садов — по Нью-Йоркской Центральной, с пшеничных полей — по Большой Северной, с апельсиновых плантаций — по Тихоокеанской железной дороге.

Они заехали поговорить с уполномоченным зенитского чугунолитейного завода о заказе художественной литой решетки для кладбища «Долина лип». Потом подъехали к конторе автозавода Зико и расспросили коммерческого директора Ноэля Райленда, можно ли получить скидку на машину его фирмы для Генри Томпсона. Бэббит и Райленд оба принадлежали к клубу Толкачей, а каждый из них считал себя в обиде, если не добивался скидки, покупая что-нибудь у сочленов по клубу. Но Генри Томпсон проворчал: «Да ну их к чертям! Стану я подлизываться из-за какой-то скидки!» В этом и была разница между Томпсоном — настоящим старозаветным поджарым янки, типичным грубоватым дельцом старой закалки, каких выводят в пьесах, и Бэббитом, упитанным, вежливым, деловитым, точным — словом, во всех отношениях современным бизнесменом. Когда Томпсон тянул в нос: «Вытряхивай мошну, дело на мази!» — Бэббита эти устарелые провинциализмы забавляли, как забавляет коренного англичанина речь любого американца. Бэббит считал себя гораздо культурнее и интеллигентнее Томпсона. Недаром он окончил университет, играл в гольф, часто курил сигареты вместо сигар, а когда ездил в Чикаго, брал номер с отдельной ванной. «Все дело в том,— объяснял он Полю Рислингу,— что этим старым бобрам не хватает тонкости, а без нее в наше время не обойтись!»

«Правда, и цивилизация хороша в меру»,— подумал Бэббит. Ноэль Райленд, коммерческий директор Зико, был выпускником

легкомысленного Принстона, тогда как сам Бэббит был доброкачественным и стандартным продуктом из гигантского универмага, именуемого университетом штата. Райленд щеголял в гетрах, сочинял пространные письма о планировании городов, о хоровых кружках, и ходил слух, что, несмотря на свою принадлежность к клубу Толкачей, он носит в кармане томики стихов на иностранных языках. Это уж было слишком. Одной крайностью был Генри Томпсон, прикованный к земле, другой — Ноэль Райленд, витавший в облаках. А между ними, как столпы государства, защитники евангелической церкви, домашнего очага и процветающего бизнеса, стояли Бэббит и его друзья.

Дав себе мысленно такую оценку — и, кстати, выторговав скидку на машину для Томпсона,— Бэббит с триумфом вернулся в свою контору.

Но, проходя по коридорам Ривс-Билдинга, он вздохнул: «Эх, бедняга Поль! Надо бы мне... К черту Ноэля Райленда! К черту Чарли Мак-Келви! Воображают себя бог знает кем оттого, что делают дела больше, чем я. Да меня живым не затащишь в их клуб Юнион, там задохнуться можно. Я им... Ох, как не хочется сегодня работать! Что поделаешь...»

II

Он ответил на телефонные звонки, просмотрел четырехчасовую почту, поговорил с квартиронанимателем о ремонте, разругался со Стэнли Грэфом.

Молодой Грэф, разъездной агент конторы, постоянно намекал, что заслуживает повышения комиссионных, и сегодня тоже стал жаловаться: «Право, мне следует премия, если удастся продать дом Гайлера. Гоняю без передышки, каждый вечер занят, ей-богу!»

Бэббит часто объяснял жене, что «лучше подмазывать своих помощников, пусть будут довольны, чем наседать на них, гнать в три шеи, хорошим отношением из них больше выжмешь»,— но беспримерная неблагодарность Грэфа задела его за живое, и он рассердился:

— Слушайте, Стэн, давайте потолкуем начистоту. Вам взбрело в голову, что все сделки заключаете вы. Откуда вы это взяли? Чего бы вы добились, если бы за вами не стоял наш капитал, наши списки, если бы мы не находили для вас объекты? Ваше дело маленькое — заключать сделки по нашим указаниям, и все. Ночной сторож и то сумел бы продать участки по спискам Бэббита — Томпсона. Говорите, у вас есть невеста, а все вечера приходится гонять за покупателями? А что же вам делать? Что вам нужно? Сидеть и держать ее за ручку? Так я вам вот что скажу, Стэн: если де-

вушка стоящая, она сама будет рада, что вы стараетесь, зарабатываете деньги на гнездышко, вместо того чтобы любезничать с ней. Кому неохота поработать сверхурочно, кто предпочитает по вечерам зачитываться всякой дрянью, крутить романы, забивать головы девчонкам, тот не настоящий человек, энергичный, с Будущим, Прозорливый,— а нам только такие и нужны! А вы? Есть у вас Идеал? Хотите стать богатым, занять свое место в обществе или предпочитаете лентяйничать, жить без стремлений, без всякой цели?

Но в этот день на Грэфа что-то не действовали разговоры об Идеале и Прозорливости.

— Конечно, для меня самое важное — заработать! Поэтому я и заговорил о премии! Честное слово, мистер Бэббит, не хочу вам прекословить, но хуже гайлеровского дома я в жизни ничего не видел! Никто на него не позарится. Полы прогнили, стены трескаются.

— Об этом-то я и говорю! Такие трудности только подстегивают комиссионера, который любит свою профессию. А кроме того, Стэн... в общем, мы с Томпсоном принципиально против премиальных. Вы нам нравитесь, мы с удовольствием поможем вам поскорее жениться, но не можем же мы обойти других наших работников. Начни мы давать вам премии, Лэйлок и Пеннимен обидятся, скажут, что это несправедливо. Что правильно, то правильно, и никакого неравенства мы у себя в конторе не допустим, это нечестно! Вы только не воображайте, Стэн, что и сейчас, как во время войны, трудно найти комиссионеров,— нет, сейчас безработными хоть пруд пруди, сколько способных молодых людей согласились бы пойти на ваше место, радовались бы тем возможностям, которые мы вам даем, а не вели бы себя так, будто мы с Томпсоном — вам враги и на нас можно работать только за премиальные. Поняли вы меня, а? Поняли?

— Да... Как будто понял... Ну что ж...— вздохнул Грэф и попятился к дверям.

Бэббит не так уж часто ссорился со своими служащими. Он любил, чтобы его любили окружающие, он огорчался, когда к нему относились плохо. Но стоило им посягнуть на его священный кошелек, как с испугу он приходил в ярость, но потом, будучи прирожденным оратором и человеком высокой принципиальности, увлекался собственным красноречием и пылом добродетели. Сегодня он с таким вдохновением доказывал свою правоту, что вдруг подумал — а был ли он достаточно справедлив по отношению к Стэну.

«В конце концов Стэн не мальчишка. Не стоило так его честить. А, черт, иногда не мешает как следует пробрать человека —

ему же на пользу. Неприятная обязанность — да что поделаешь. Интересно, обиделся Стэн или нет? Воображаю, что он там говорит этой Мак-Гаун!»

Но когда он вышел из кабинета в контору, оттуда на него пахнуло такой холодной ненавистью, что все удовольствие привычного вечернего ухода домой было испорчено. Бэббит был расстроен, не чувствуя того одобрения служащих, от которого так зависит всякий хозяин. Обычно он уходил из конторы в веселой суете, хлопотливо повторяя тысячу раз, что завтра трудный день и лучше бы мисс Бенниген и мисс Мак-Гаун пришли пораньше, а как только он сам придет, пусть ради всех святых ему напомнят позвонить Конраду Лайту. Сегодня он попрощался со всеми притворно бодрым и вместе с тем виноватым тоном. Он боялся этих застывших физиономий, этих пристальных взглядов. Мисс Мак-Гаун подняла на него глаза от машинки, мисс Бенниген косилась исподлобья, Мэт Пеннимен вытянул шею из своего темного угла, у Стэнли Грэфа вид был замкнутый, мрачный, и Бэббит боялся их, как выскочка боится холодной чопорности своего дворецкого. Бэббиту до смерти не хотелось услышать за спиной их смех, и, пытаясь напустить на себя небрежную веселость, он что-то бормотал, развязно шутил и в конце концов с жалким видом протиснулся в двери.

Но все огорчения как рукой сняло, когда уже со Смит-стрит перед ним открылась вся прелесть Цветущих Холмов: крытые красной черепицей и зеленоватым шифером дома, сверкающие стекла новых террас, ослепительно чистые стены.

III

Он остановился у дома Говарда Литтлфилда, своего ученого соседа, и сообщил ему, что, несмотря на по-весеннему теплый день, вечер, вероятно, будет холодный. Входя в дом, он крикнул жене: «Где ты там?» — не испытывая, впрочем, особого желания знать, где именно она находится. Он осмотрел лужайку, проверяя, хорошо ли подчистил ее дворник. С некоторым удовлетворением, и после всестороннего обсуждения данного вопроса с миссис Бэббит, Тедом и Говардом Литтлфилдом, он пришел к выводу, что дворник подчистил лужайку очень плохо. Он сам срезал два пучка сорной травы большими портняжными ножницами жены, заявил Теду, что глупо держать дворника: «Такой верзила, как ты, сам мог бы делать всю работу по дому»,— а про себя подумал: приятно, когда соседи знают, что благодаря его богатству сыну ничего делать по дому не приходится.

Выйдя на террасу, он занялся дневной зарядкой: руки в стороны — две минуты, руки вверх — две минуты, бормоча при этом:

«Надо бы больше гимнастики, подтягивает». Потом подошел к зеркалу проверить — нужно ли менять воротничок к обеду или сойдет и так. Как всегда, сошло и так.

Служанка, мощная женщина, наполовину латышка, наполовину хорватка, ударила в обеденный гонг.

Ростбиф, жареный картофель, фасоль — все оказалось в этот вечер превосходным, и после пространных рассуждений о погоде, о заработанных четырехстах пятидесяти долларах, о завтраке с Полем Рислингом и несомненных достоинствах новой зажигалки Бэббит снизошел до благодушного замечания:

— Подумываю, не купить ли новую машину! Не знаю, как в этом году, но, может, и купим.

Верона, старшая дочь, обрадовалась:

— Знаешь, папа, уж если покупать, так закрытую! Это такая прелесть! Закрытая машина куда удобней открытой.

— Ну, не скажи. Я вот люблю открытую, больше дышишь свежим воздухом.

— Еще чего! Просто ты никогда в закрытой не ездил! Давай купим закрытую. Классная штука! — сказал Тед.

«Да, в закрытой не так пылится платье»,— вставила и миссис Бэббит. «И волосы не разлетаются»,— добавила Верона. «И куда шикарней!» — подтвердил Тед, а Тинка, младшая, пропищала: «Давайте купим закрытую! Папа Мэри Элен уже купил закрытую!» Тед подвел итог: «У всех закрытые машины, кроме нас».

Бэббит выдержал натиск:

— Не понимаю, к чему эти разговоры! Во всяком случае, машину я завел не для того, чтобы вы, дети, разыгрывали из себя миллионеров. А я люблю открытую машину, чтобы летом можно было откинуть верх, прокатиться вечерком, подышать как следует свежим воздухом. Да и, кроме того, закрытая машина куда дороже!

— Ну-у, вот еще! Если уж эти Доппелбрау могут купить закрытую, неужели мы хуже их! — подзадоривал Тед отца.

— М-да... Я-то зарабатываю в год тысяч восемь, а он всего семь... Но я денег на ветер не бросаю, не расшвыриваю, как он, не трачу попусту! И вообще я считаю, что нельзя вдруг выбросить столько денег, лишь бы пустить пыль в глаза, и кроме того...

Тут пошло горячее и подробное обсуждение обтекаемых корпусов, мощности, качества шин, хромированной стали, систем зажигания и окраски автомобилей. Речь шла не просто о способе передвижения — речь шла о завоевании рыцарского герба. В городе Зените, среди варваров двадцатого века, автомобиль определял социальное положение семьи, так же как звание пэра определяло знатность английских семейств, определял, пожалуй, даже

более точно, если припомнить, с каким презрением старинная английская знать относилась к новоиспеченным баронам-пивоварам и виконтам-суконщикам. Правда, никаких местнических законов в Зените официально не существовало. Не было придворного этикета, который указал бы — должен ли младший сын лимузина пирс-эрроу садиться за обедом выше старшего сына закрытого бьюика, но уж в их относительной социальной значимости никто не сомневался, и если мечтой Бэббита в ранней молодости был пост президента, то мечтой его сына, Теда, был двенадцатицилиндровый паккард и прочное положение среди автомобильной знати.

Но благосклонное отношение семьи, которое Бэббит завоевал разговором о новой машине, сразу улетучилось, когда они поняли, что в этом году никакой машины не будет.

— Фу, безобразие! — огорчился Тед.— У нашей старой калоши такой вид, будто ее заели блохи и она так чесалась, что соскребла всю краску.

На это миссис Бэббит рассеянно заметила: «Так с отцом не разговаривают»,— а Бэббит рассердился: «Если ты такой безукоризненный джентльмен и вращаешься во всяком там бонтоне и прочее, так не бери вечером старую машину — и все!»

— Да нет, я вовсе не к тому...— оправдывался Тед, и весь обед прошел в обычных семейных «радостях», пока Бэббит не сказал:

— Ну, хватит, не сидеть же тут весь вечер! Дайте прислуге убрать со стола.

Разговоры расстроили его: «Ну и семейка! И почему мы вечно цапаемся? Хорошо бы уехать куда-нибудь подальше, посидеть, подумать... С Полем... В Мэн... Надеть старые штаны, валяться на траве, душу отвести...»

Жене он осторожно сказал:

— Мне тут один человек писал из Нью-Йорка, хочет повидать меня насчет одной сделки. Возможно, придется отложить до лета. Лишь бы только это дело не заварилось как раз тогда, когда мы с Рислингами соберемся ехать в Мэн. Жалко будет, если не сможем поехать вместе. Впрочем, это еще не скоро...

Верона убежала сразу после обеда, и никто ее не остановил, хотя Бэббит машинально бросил: «Посидела бы дома!»

В гостиной на диване Тед пристроился учить уроки: планиметрия, Цицерон, мучительный разбор мильтоновских метафор в «Комусе».

— Не понимаю, на кой черт нас заставляют учить эту старую рухлядь, всяких там Мильтонов, Шекспиров, Вордсвортов и как их там! — пожаловался он.— Ну, я еще согласился бы посмотреть Шекспира на экране, в хорошей постановке, со всякими трюками,

но вот так, здорово живешь, сесть и *читать* его... Нет, до чего только эти учителя додумываются, ужас!

Миссис Бэббит, штопая носки, тоже высказалась:

— Да, я сама не понимаю, зачем учить Шекспира. Конечно, я не стала бы спорить с профессорами, указывать им, но у Шекспира есть такие места,— правда, не скажу, что я сама его читала, но когда я была молодая, мне подруги показывали такие строчки, такие... ну, словом, совершенно неподходящие вещи.

Бэббит сердито поднял глаза от юмористического приложения к газете «Вечерний адвокат». Это было его любимое чтение — комиксы, в которых мистер Джефф бомбардирует мистера Мэтта тухлыми яйцами, а мамаша учит папашу уму-разуму при помощи кухонной скалки. С благоговейным выражением лица, тяжело посапывая и полуоткрыв рот, он ежевечерне внимательнейшим образом изучал каждую картинку и терпеть не мог, когда прерывали этот торжественный ритуал. Кроме того, он сознавал, что по части Шекспира он не авторитет. Ни в «Адвокат-таймсе», ни в «Вечернем адвокате», ни в «Известиях зенитской Торговой палаты» еще ни разу не было передовицы о Шекспире, а пока один из этих органов не высказался, Бэббиту было трудно составить собственное мнение. Но и с риском утонуть в незнакомом болоте он не мог не ввязаться в спор.

— Я тебе объясню, зачем учить Шекспира и прочих. Затем, что это требуется для поступления в университет! Лично я не вижу, зачем их надо было включать в программу нашей современной школы. Было бы гораздо лучше, если б ты проходил коммерческую корреспонденцию и учился составлять объявления или писать деловые письма, такие, что сразу действуют. Но программы существуют, и тут спорить, рассуждать и возражать не приходится. Беда твоя, Тед, в том, что ты сам не знаешь, чего тебе хочется. Но если ты поступишь на юридический факультет,— а ты туда непременно поступишь, мне самому не пришлось, но тебя-то я непременно отдам на юридический,— там тебе и английская литература, и латынь еще как понадобятся!

— А, ерунда! Не понимаю, на черта мне юридический, и даже школу мне кончать незачем. Не хочется мне в университет! Ей-богу, сколько людей кончили университеты, а зарабатывают во сто раз меньше, чем те, кто сразу занялся делом. Старый Шимми Питерс, наш учитель латыни,— он кандидат чего-то там по Колумбийскому университету,— ночи напролет читает какие-то трепаные книжки и вечно бубнит про «значение лингвистики», а сам, бедняга, еле-еле выколачивает тысячу восемьсот в год. Да за такие деньги ни один агент разъезжать не станет! Нет, я знаю, чего мне хочется! Я бы хотел стать летчиком или владельцем

шикарного гаража, а еще я бы хотел — мне вчера про это один парень рассказывал,— я бы хотел стать одним из тех, кого «Стандарт Ойл» посылает в Китай, живешь там в особняке, делать нечего, можешь свет посмотреть, всякие там пагоды, море и все такое! А еще я мог бы учиться заочно. Вот это дело! Не надо отвечать какому-нибудь старому чучелу, которому только и дела, что выслуживаться перед директором, а учиться можно чему угодно! Вот послушай! Я собрал замечательные вырезки насчет всяких курсов.

Он вытащил из учебника геометрии с полсотни реклам заочных курсов — вклад в педагогическую науку, внесенный энергичными и дальновидными коммерсантами Америки. На первой из них был изображен молодой человек с высоким лбом, железной челюстью и словно отлакированными волосами, в шелковых носках; держа одну руку в кармане, он вытянул указующий перст другой и явно очаровывал аудиторию, состоящую из господ с седыми бородами, внушительными животами, лысинами и всеми другими признаками мудрости и богатства. Над картиной был изображен вдохновляющий символ знания — не устарелая лампада, или факел, или сова Минервы, а ряд долларовых знаков. Текст гласил:

$$$$$$$$

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО НЕСЕТ ВЛАСТЬ И БОГАТСТВО

РАССКАЗ ЧЛЕНА НАШЕГО КЛУБА

Как вы думаете, кого я встретил вчера в ресторане «Люкс»? Нашего старого приятеля, Фредди Дэрки, который был скромнейшим клерком в нашей конторе,— «мистера Мышь», как мы в шутку звали этого славного парня. Тогда он был настолько застенчив, что боялся директора как огня, и никто не мог оценить его отличную работу. И вдруг он — в ресторане «Люкс»! Преспокойно заказывает шикарнейший обед, со всеми «онерами» от сельдерея до орехов на десерт! И не только не стесняется официантов, как бывало в захудалом ресторанчике, где мы завтракали в добрые старые времена, а наоборот, распоряжается, словно миллионер! Я робко спросил

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ У НАС

Как произносить речи в клубе.
Как провозглашать тосты.
Как рассказывать анекдоты.
Как делать предложение руки и сердца.
Как вести себя на банкетах.
Как убеждать покупателей.
Как расширить запас слов.
Как производить впечатление на людей.
Как стать глубоким, точным и оригинальным мыслителем.
Как стать ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ.

его, чем он сейчас занимается. Фредди рассмеялся и ответил: «Слушай, старик, ты, наверно, не понимаешь, что со мной сталось! Могу тебе сообщить приятную новость: я теперь помощник директора нашей старой конторы, вступил на путь к настоящей Власти и Богатству, собираюсь купить двенадцатицилиндровую машину, жена моя блистает в свете, а ребята учатся в первоклассной школе.

Проф. У.-Ф. ПИТ —

автор ускоренного курса ораторского искусства, безусловно, является выдающимся ученым в области литературы, психологии и красноречия. Обладатель ученых степеней лучших наших университетов, лектор, неутомимый путешественник, автор множества книг, стихов и проч. Настоящий ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ. Готов передать вам все тайны своей культуры и непреодолимой власти над людьми в нескольких общедоступных лекциях, которые не помешают остальным вашим занятиям.

Вот как это вышло. Однажды я прочел о заочном курсе обучения: любого из нас предлагалось научить, как легко и непринужденно беседовать, отвечать на вопросы, вносить предложения начальству, добиваться ссуды в банке, как очаровывать публику шутками, анекдотами, рассказами и так далее. Объявление было составлено профессором ораторского искусства Уолдо Ф. Питом. Да, я тоже сразу не поверил, но все же написал (достаточно открытки с указанием адреса и фамилии) издателю и попросил выслать мне лекции без всяких обязательств (деньги возвращаются, если результат окажется неудовлетворительным). Мне прислали восемь лекций, написанных простым и ясным языком, понятным каждому, и я изучал их по вечерам в свободные часы, а потом стал практиковаться перед своей женой. Вскоре я увидел, что могу запросто разговаривать с самим директором. Я добился хорошей оценки моей добросовестной работы. Меня стали ценить, и я начал быстро продвигаться по службе. Знаешь, старый черт, сколько мне теперь платят? Шесть с половиной тысяч в год! И представь себе, я понял, что могу овладеть вниманием любой аудитории и заставить слушать мое выступление на любую тему. Как друг, советую и тебе, старина, выписать циркуляр (никаких обязательств!), а также ценную репродукцию художественной картины (прилагается бесплатно) по следующему адресу:

Издательство кратких курсов самообразования.
Почтовый ящик В.-А. Сэндпит, Айова».

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ВЫ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ТОЛЬКО ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЙ?

Бэббит опять не знал, чем руководствоваться для авторитетных высказываний. Ни при вождении машины, ни при продаже недвижимости он никогда не сталкивался с вопросами — как солидный гражданин и настоящий человек должен относиться к передаче культурных достижений по почте. Он заговорил нерешительно:

— Что ж, как будто тут обо всем сказано. Конечно, ораторское искусство — дело хорошее. Иногда мне казалось, что у меня самого есть какой-то талант, да, кроме того, я отлично понимаю, что, скажем, такой старый жулик, как Чэн Мотт, чего-то добивается в своем деле только потому, что умеет заговорить клиента, хотя сказать ему, в сущности, нечего. Конечно, все эти заочные курсы по всяким предметам ловко придуманы. И все-таки я тебе скажу вот что: не стоит зря переводить деньги на эти курсы, когда ты можешь получить блестящие знания и по ораторскому искусству, и по английскому языку в своей собственной школе — в самой большой школе штата!

— Верно, верно! — с довольным видом подтвердила и миссис Бэббит, но Тед огорченно сказал:

— Мало ли что, папа! Учат-то нас всякой чепухе, от которой никому пользы нет,— ну, я не говорю о ручном труде, машинописи,— да еще о баскетболе, танцах, а вот на заочных курсах учат таким вещам, которые каждую минуту могут пригодиться. Только послушай:

А ты — НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА?

Представь себе, что ты гуляешь с матерью, сестрой или любимой девушкой, и вдруг кто-то отпустит на их счет обидное замечание или непристойное слово. Неужели тебе не будет стыдно, если ты не сможешь за них заступиться? А сможешь ли ты,— вот вопрос!

Мы учим боксу и самообороне заочно. Многие наши ученики сообщали, что после нескольких уроков они побеждали гораздо более сильных противников. Уроки начинаются с простейших движений, которые можно разучить перед зеркалом,— вытягивать руку или разворачивать плечи, как при плавании брассом и так далее. И незаметно ты выучишься профессионально нападать и обороняться, уклоняясь от удара и делая ложные выпады, как будто перед тобой настоящий противник.

Вот бы мне так! — мечтательно протянул Тед.— Я бы им показал! Есть у нас в школе один такой, треплет языком, так что деваться некуда, попался бы он мне в уголке, черт возьми...

— Глупости! Ерунда! Глупей ничего не мог выдумать! — сердито оборвал его Бэббит.

— Да ты только представь себе, вдруг я иду с мамой или Роной, а кто-нибудь отпускает на их счет обидное замечание или непристойное слово. Что я буду делать?

— Ты? Наверно, нобьешь рекорд по скоростному бегу!

— Неправда! Я покажу этому мерзавцу, как отпускать обидные замечания насчет моей сестры, я ему всю морду...

— Слушай, ты, недопеченный Демпси! Если я когда-нибудь услышу, что ты дерешься, я из тебя дух вышибу, хоть я и не практиковался перед зеркалом, как вытягивать руку!

— Нехорошо, Тед, голубчик! — ласково сказала миссис Бэббит.— Разве можно драться!

— Господи, ничего вы не понимаете! А вдруг мы с тобой гуляем, мама, а кто-нибудь отпустит на твой счет обидное замечание?

— Никто никаких замечаний отпускать не будет,— внушительно сказал Бэббит,— лишь бы все сидели дома, учили геометрию и занимались делом, а не шлялись по бильярдным и кафе и по всяким злачным местам, куда вообще ходить нечего!

— Ну, папа, ты тоже скажешь! А вдруг все-таки кто-нибудь посмеет...

— А если посмеют,— пропищала миссис Бэббит,— я не обращу ни малейшего внимания — много чести! И вообще этого не бывает. Вечно слышишь про то, как к женщинам пристают, как их оскорбляют, а я в это не верю, тут сами женщины виноваты, пусть не строят глазки кому попало! Во всяком случае, ко мне еще никто не приставал...

— Да ну, мама, неужели ты не можешь вообразить, что к тебе пристали? Понимаешь — вообразить! Неужели ты не можешь представить себе, что так случилось? Неужели у тебя не хватает воображения?

— Как это я не могу себе представить? Конечно, могу!

— Конечно, мама сумеет представить себе что угодно! — вступился Бэббит.— Уж не думаешь ли ты, что из всей семьи только у тебя одного есть воображение? Впрочем, какой смысл воображать? Воображение не доведет до добра. Глупо воображать, когда есть столько фактов, из которых можно сделать вывод...

— Слушай, папа! Вообрази на минуту — понимаешь, вообрази, что в твою контору входит какой-нибудь твой конкурент, другой маклер...

— Не маклер, а посредник!

— Ну, посредник, которого ты ненавидишь...

— Чего ради я буду ненавидеть других посредников?

— Да ты только вообрази, понимаешь, ну представь себе!

— Не желаю воображать всякую чушь! Да, есть люди моей профессии, которые опускаются до того, что ненавидят своих конкурентов, но был бы ты постарше и разбирался в делах, вместо того чтобы шляться в кино и бегать за девчонками в платьях выше коленок, за дурами, которые красятся и мажутся, как будто они хористки или бог знает кто,— тогда бы ты понимал и ясно представлял себе, что для меня самое главное, чтобы у нас, в коммерческих кругах Зенита, всегда говорили друг о друге в самых дружественных тонах, чтобы меж нами царил дух братства, сотрудничества! Вот почему я не могу вообразить, не могу себе представить, чтобы я вдруг возненавидел кого-нибудь из посредников по продаже недвижимого имущества, даже такого гнусного жулика и втирушу, как Сесиль Раунтри!

— Ну, а вдруг!

— Никаких «вдруг» тут не может быть! Но уж если бы мне нужно было кого-нибудь проучить, разве я стал бы прыгать перед зеркалом, вертеться и крутиться — зачем мне эти фигли-мигли? Представь себе, что ты где-то сидишь и тебя вдруг кто-то обругает. Что же, ты будешь боксировать и прыгать вокруг него, как учитель танцев, что ли? Ты просто уложишь его одним ударом (во всяком случае, надеюсь, что мой сын на это способен!), а потом оботрешь руки и забудешь о нем, вот и все — и нечего заниматься всякими заочными боксами!

— Нет, все-таки... Понимаешь, я только хотел тебе показать — каким замечательным вещам можно научиться заочно, вместо всей этой жвачки, которой нас пичкают в школе.

— Но, по-моему, вас учат боксу на уроках гимнастики!

— Это не то! Поставят с каким-нибудь верзилой, он тебя и молотит кулаками в свое удовольствие, разве тут успеешь чему-нибудь научиться? Нет, спасибо! Ищите дураков! А ты послушай, тут у меня еще есть!

Это были не объявления, а сплошная филантропия. Одно из них было украшено кричащим заголовком: «Деньги! Деньги! Деньги!» В другом рассказывалось, как «мистер П. Р., зарабатывавший всего восемнадцать долларов в неделю в своей парикмахерской, теперь, пройдя курс нашего обучения, получает не меньше пяти тысяч в год, сделавшись врачом-остеопатом-виталистом». Третье объявление повествовало о том, как «мисс Д. Л., служившая упаковщицей в магазине, теперь получает десять долларов чистоганом в день, обучая по нашей индусской системе Правильному Вибрационному Дыханию и Психическому Самоконтролю».

Тед собрал пятьдесят или шестьдесят таких вырезок из всяких ежегодников, воскресных приложений, художественных жур-

налов и газет. Один благодетель умолял: «Не будьте в тени! Станьте популярным в обществе, зарабатывайте кучу денег! Вы можете завоевать сердца людей игрой на гитаре или пением! Наш тайный, недавно открытый метод обучения музыке дает возможность каждому ребенку или взрослому, без утомительных упражнений, специальных уроков, долгих занятий, без затраты денег, времени и сил, научиться играть по нотам на рояле, банджо, корнете, кларнете, саксофоне, скрипке и барабане, а также петь с листа!»

Другой благодетель, под призывным заголовком «НУЖНЫ ДАКТИЛОСКОПИСТЫ — ОГРОМНЫЙ ЗАРАБОТОК!» доверительно сообщал: «ДЛЯ ВАС — люди с горячей кровью! — нашлась ПРОФЕССИЯ, которую вы так долго искали! ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ — масса ВЫГОД, постоянные разъезды, неослабевающий интерес, увлекательные и захватывающие приключения, которых так жаждет ваш живой ум и мятежная душа. Подумайте, как заманчиво стать главным действующим лицом и сыграть решающую роль в разоблачении таинственных происшествий и загадочных преступлений. Занимаясь этой необычайной профессией, вы на равных встретитесь с влиятельнейшими лицами и вам часто придется путешествовать, иногда по отдаленным и неизведанным краям, причем все расходы оплачиваются! НИКАКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!»

— Здорово, а? Все отдай — и то мало! Вот бы мне так попутешествовать, поймать какого-нибудь знаменитого преступника! — воскликнул Тед.

— Ничего хорошего тут нет! Еще ранят, чего доброго! Вот уроки музыки — это как будто дело. Если можно поднять производительность труда на фабриках, так почему бы специалистам по музыке не придумать какой-нибудь способ, чтобы человеку не надо было возиться со всякими там гаммами и экзерсисами! — Бэббит явно был под впечатлением этой рекламы и, кроме того, испытывал приятнейшее родительское чувство, оттого что они с Тедом, так сказать, мужчины в семье, отлично понимающие друг друга.

Сын стал читать ему рекламы заочных университетов, обучавших, как писать рассказы, укреплять память, как стать киноактером, развить силу воли, как научиться банковскому делу, испанскому языку, хироподии и фотографии, электротехнике и оформлению витрин, птицеводству и химии.

— Да, ничего не скажешь...— Бэббит не знал, как выразить свое восхищение.— Черт меня подери! Я слыхал, что заочное обучение — дело выгодное; ей-богу, рядом с ним наша контора по

продаже участков — грошовое предприятие! Но я никогда не думал, что такое дело вырастет в настоящую отрасль промышленности! Не хуже универмагов и кино, честное слово! Я так и думал, что найдется человек с головой, который поймет, что нельзя возлагать дело обучения на всяких книжных червей, непрактичных теоретиков, тут нужны широкие масштабы. Да, я теперь понимаю, почему эти курсы тебя заинтересовали. Надо будет спросить своих в клубе, не знает ли кто-нибудь об этом. Но вместе с тем, Тед, ты понимаешь, что в объявлениях — я хочу сказать, в некоторых объявлениях — все преувеличивается! Не знаю, смогут ли они так молниеносно вдолбить человеку то, что они рекламируют.

— Еще бы, папа! Конечно, смогут! — Тед чувствовал себя бесконечно счастливым и вполне взрослым оттого, что старшие так внимательно его слушают. Бэббит был счастлив, что испытывал такое чувство к сыну.

— Да, я и сам вижу, какое влияние эти курсы могут оказать на всю систему просвещения. Конечно, в обществе я об этом никогда не скажу,— если человек окончил университет штата, как я, он из патриотизма, из чувства приличия должен всюду превозносить свою альма-матер, но, по правде сказать, и в университете теряешь черт знает сколько драгоценного времени — учишь всякую там поэзию, французский, словом, предметы, на которых никто и цента не заработал. Не знаю, может быть, эти заочные курсы окажутся одним из самых блестящих американских изобретений. Беда в том, что большинство людей такие материалисты,— продолжал он,— не видят они духовного и умственного превосходства Америки! Они думают, что изобретения, вроде телефона, самолета и радио,— впрочем, нет, радио изобрел какой-то итальяшка, но это неважно — в общем, они считают, что эти технические усовершенствования для нас — самое главное. А на самом деле настоящий мыслитель видит, так сказать, и духовную сторону наших достижений, он понимает, что производительность труда, и ротарианские клубы, и сухой закон, и демократия — величайшие наши духовные завоевания. И, может быть, заочное образование, университет на дому, тоже принадлежит к их числу. Говорю тебе, Тед, человек должен смотреть в Будущее.

— А по-моему, эти курсы на дому — мерзость!

Философы остолбенели. Как это миссис Бэббит вдруг решилась нарушить их духовное общение? Одной из главных добродетелей миссис Бэббит было именно то, что, за исключением званых обедов, когда она превращалась в главу семьи и хозяйку дома, она только и знала, что хлопотать по хозяйству, и никогда не ут-

руждала мужчин своими соображениями. Но тут она высказалась вполне решительно:

— Да, я считаю, что это ужасно: уговаривать несчастных детей, что они чему-то научатся без всякой помощи... Вы-то оба, может быть, и быстро выучиваетесь, а я никогда не умела сама заниматься! Да и вам тоже...

Но Бэббит остался тверд:

— Чепуха! Отлично можно заниматься самостоятельно. Не думаешь ли ты, что парень легче выучится, если будет тратить отцовские денежки, заработанные с таким трудом, на то, чтобы сидеть в мягких креслах, в шикарном гарвардском общежитии, со всякими картинами, гербами, скатертями и прочей мурой? Я тебе по опыту говорю,— сам учился в университете! Правда, есть одно возражение против этих курсов. Я решительно возражаю против того, чтобы отвлекать людей от работы в парикмахерских и на заводах и делать из них квалифицированных специалистов. Их и без того как собак нерезаных! А откуда взять рабочих, если все полезут в науку?

Тед курил, развалясь в кресле, и никто не делал ему замечания. В эту минуту он чувствовал себя участником высокоинтеллектуальной беседы, как будто он был Полем Рислингом или даже самим доктором наук Говардом Литтлфилдом. Он решил закинуть удочку:

— Так как же ты думаешь, папа? Не поехать ли мне в Китай, а то и в какое-нибудь место почище, и уже там заочно изучить инженерное дело или еще что-нибудь?

— Думаю, что не стоит, сынок, и сейчас объясню почему. Я убедился, что иногда очень приятно сказать, что ты окончил университет. Случается, какой-нибудь клиент не знает, кто ты, думает — делец, торгаш, и начнет разоряться насчет экономики, литературы, внешней торговли, а ты вдруг этак незаметно вернешь: «Когда я был в университете — да, я получил звание бакалавра по социологии и всякой такой штуке...» Тут он сразу и заткнется! Но какой прок заявлять: «Получил звание лизателя почтовых марок в Тарарамском заочном университете!» Понимаешь, мой отец был славный старикашка, но образования ни на грош, в университете мне самому пришлось пробиваться, работал я как про́клятый. И не жалею — зато теперь я принят в лучшем обществе Зенита, в самых благородных кругах, в клубах и прочее, и мне не хотелось бы, чтобы ты стал изгоем, оторвался от класса джентльменов. Да, у этих людей такая же красная кровь, как у простого народа, но в их руках сила, они цвет общества. И для меня будет большим ударом, если ты оторвешься от общества.

— Понимаю, папа. Ну что ж, буду стараться. О, черт! Вот так штука! Совершенно забыл, что обещал отвезти девчонок на репетицию хора. Надо лететь!

— Но ты еще не приготовил уроки!

— Завтра с утра сделаю!

— Ну, что ж...

Шесть раз за последние шесть недель Бэббит подымал крик: «Никаких «завтра с утра»! Сию минуту садись заниматься!» — но сегодня вечером он только сказал: «Ну, беги скорей!» — и улыбнулся той редкой и ласковой улыбкой, какой обычно улыбался только Полю Рислингу.

IV

— Тед — хороший мальчик,— сказал он миссис Бэббит.

— Конечно, хороший.

— Какие это девочки с ним поедут? Из приличной семьи, воспитанные?

— Не знаю. Да разве Тед мне что-нибудь теперь рассказывает? Не понимаю, что сталось с нынешним поколением. Меня заставляли все решительно рассказывать папе с мамой. А наши дети вышли из-под всякого контроля.

— Надеюсь, что это порядочные девицы. Ведь Тед не ребенок, и мне не хотелось бы, чтобы он... м-мм... связался с кем-нибудь неподходящим.

— Знаешь, Джордж, я уже думала: не пора ли тебе поговорить с ним с глазу на глаз, рассказать ему... ну, про все! — Она покраснела и опустила глаза.

— Право, не знаю. Видишь ли, Майра, по-моему, не надо наводить мысли мальчика на всякие такие вещи. Боюсь, что он и сам до всего додумается. Впрочем, не знаю... сложный это вопрос. Интересно бы узнать мнение Литтлфилда.

— Конечно, мой отец с тобой согласен. Он считает, что всякие эти... ну, разъяснения... просто неприличны!

— Ах вот как! Разреши тебе сказать, что у Генри Т. Томпсона такие представления — я говорю о нравственности,— что хотя этого старого пролазу...

— Как тебе не стыдно! — про отца!

— ...никто не перешибет, когда нужно обмозговать выгодное дело, но позволь тебе сказать, что в вопросах высшего порядка, в вопросах воспитания мы с ним держимся противоположных точек зрения. Может быть, я для тебя тоже не светоч науки, но по сравнению с Генри Т. я просто президент академии! Нет, дорогая моя,

я непременно поговорю с Тедом с глазу на глаз и объясню ему, почему я веду исключительно нравственный образ жизни.

— Объяснишь? А когда?

— Когда, когда... Зачем ты меня ограничиваешь всякими «когда», и «где», и «как», и «почему»? Беда с этими женщинами! Из-за этого они не могут занимать ответственные посты: никакой дипломатии не понимают. Подвернется удобный случай, подходящая обстановка — я с ним и заговорю, по-дружески, и я ему скажу... господи, чего это Тинка шумит наверху? Ей давно пора спать.

Он прошелся по гостиной, вышел на застекленную террасу, где стояли плетеные стулья и качалка,— семья отдыхала тут по воскресеньям. Только свет в окнах у Доппелбрау да туманные очертания высокого вяза — любимого дерева Бэббита — виднелись в мягкой тьме апрельской ночи.

«Славно поговорили с мальчиком. Даже настроение стало лучше — не то что утром. А мне было здорово не по себе. Ей-богу, надо нам с Полем побыть вдвоем в Мэне... Стерва эта Зилла!.. М-да... А Тед ничего. Семья у меня вообще ничего. И дело хорошее. Много ли таких, кто может заработать четыреста пятьдесят долларов — почти полтысячи! — в один день, да еще так легко! А если мы цапаемся, так, может, я тоже виноват. Надо ворчать поменьше. Эх, жить бы мне, как жил дед, во времена первых поселенцев! Впрочем, тогда у меня не было бы такого дома. О черт, сам не знаю, чего мне надо!»

Он с грустью стал вспоминать Поля Рислинга, их общую молодость, девушек, с которыми они встречались.

Двадцать четыре года назад, когда Бэббит окончил университет, он хотел стать адвокатом. В университете он выделялся своим красноречием, чувствовал себя прирожденным оратором, мечтал стать губернатором штата. Но, уже учась на последнем курсе, он работал агентом по продаже недвижимости. Он копил деньги, жил в дешевых меблирашках, съедал на ужин одно яйцо с кусочком мяса. Живой, веселый Поль Рислинг (который не сомневался в том, что через неделю или через год уедет в Европу и станет учиться играть на скрипке) был его прибежищем в тяжелые минуты, пока Поля не околдовала Зилла Кольбек, хохотушка и плясунья, за которой бегали все мужчины, стоило ей только поманить их пухленьким пальчиком.

Бэббит скучал по вечерам, и его единственным утешением была троюродная сестра Поля — Майра Томпсон, тоненькая, ласковая девушка, которая проявляла большую чуткость, соглашаясь с пылким молодым Бэббитом, что он непременно станет губернатором штата. И когда Зилла подтрунивала над провинциалом,

Майра с негодованием говорила, что он гораздо надежнее, чем все эти молодые франты из великого города Зенита — города, которому в 1897 году исполнилось сто пять лет, где жило двести тысяч человек, царственного города, которым восхищался весь штат и который казался молодому Джорджу Бэббиту, уроженцу глухой Катобы, таким огромным, таким шумным и роскошным, что ему льстило даже знакомство с девушкой, облагороженной уже тем, что она родилась в Зените.

Но о любви между ними и речи не было. Бэббит знал, что, если он хочет стать адвокатом, он еще много лет не сможет содержать жену. А Майра безусловно была девушкой из Хорошей Семьи — с такими не целуются, о таких даже не думают «в определенном смысле», если не собираются жениться. Но товарищем она была надежным. Она всегда с удовольствием ходила с ним на каток и на прогулки, с удовольствием выслушивала его тирады о великих подвигах, которые он совершит, о том, как он будет защищать обиженных бедняков от несправедливых богачей, о речах, которые он собирался произносить на банкетах, и о том, как он будет влиять на общественное сознание.

Однажды вечером, когда он немножко раскис от усталости, он увидел, что она плачет. Оказывается, ее не пригласили на бал, который давала Зилла. И когда вдруг ее голóвка очутилась у него на плече и он стал поцелуями осушать ее слезы, она доверчиво взглянула на него и сказала:

— Теперь, когда мы помолвлены, надо решить — сейчас мы поженимся или подождем?

Помолвлены? Об этом он и не подумал. Вместо нежности к этому хрупкому темноволосому существу он почувствовал холод и страх, но он не мог обидеть ее, не мог обмануть ее доверие. Он пробормотал, что, конечно, надо подождать, и убежал. Целый час бродил он по улицам, пытаясь придумать, как бы ей сказать, что все это ошибка. Как часто, в течение целого месяца, он уже совсем решался сказать ей все, но так приятно было держать ее в объятиях, что с каждым днем становилось все труднее и труднее обидеть ее, огорошить признанием, что он ее не любит. Сам он в этом не сомневался. Вечер накануне свадьбы был мучением, а наутро хотелось бежать куда глаза глядят.

Она стала ему, что называется, Хорошей Женой,— верной, хозяйственной, по временам даже веселой. Слабое отвращение к интимной жизни сменилось у нее какими-то проявлениями горячего чувства, но и оно вскоре перешло в скучную будничную привязанность. И все же она жила только для него, для детей и так же огорчалась, так же беспокоилась, как и он сам, когда ему при-

шлось бросить занятия юриспруденцией и целиком посвятить себя продаже недвижимости.

«И ей, бедняжке, было не легче, чем мне,— подумал Бэббит, стоя на темной веранде.— А все-таки жаль, что я не стал юристом, не попробовал силы в политике. Интересно, чего бы я мог достичь. Что ж — зато сейчас я, наверно, зарабатываю больше».

Он вернулся в гостиную, но, прежде чем усесться в кресло, ласково погладил жену по голове, и она ответила ему счастливым, хотя и несколько удивленным взглядом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Он с самым серьезным видом дочитывал последний номер «Американского журнала», когда его жена вздохнула, отложила штопку и с легкой завистью начала рассматривать модели белья в женском журнале. В комнате стояла тишина.

В этой комнате были соблюдены все самые высокие требования, какие предъявлялись на Цветущих Холмах. Серые стены были искусственно разбиты на панели лакированными белыми планками. Правда, Бэббиты перевезли из прежней квартиры две старинные качалки, не в меру разукрашенные резьбой, но зато все остальные кресла были новые — очень глубокие и удобные, крытые синим, в золотистую полоску бархатом. Перед камином стояла синяя бархатная кушетка, рядом — стол красного дерева и высокий торшер с золотистым абажуром. (Из каждых трех гостиных на Цветущих Холмах в двух перед камином стояла кушетка, стол красного дерева — настоящий или подделка,— торшер либо высокая настольная лампа с абажуром желтого или розового шелка.)

На столе лежала вышитая золотом китайская дорожка, четыре журнала, а рядом серебряная коробочка с крошками табаку на дне и три «подарочные» книги — огромные дорогие издания сказок с иллюстрациями английских художников, никем из Бэббитов, кроме Тинки, не читанные.

В углу у окон стояла большая кабинетная виктрола (в восьми из девяти гостиных на Цветущих Холмах стояли такие кабинетные граммофоны).

Среди картин, развешанных строго симметрично посреди каждой серой панели, красовалась подделка под английскую гравюру, изображавшая охоту, бесцветная репродукция какой-то жанровой картинки с французской подписью, в нравственности которой Бэб-

бит всегда сильно сомневался, и раскрашенная «от руки» фотография старинной комнаты — вязаный коврик, девушка у прялки, смирная кошечка перед белой печью. (Из двадцати домов на Цветущих Холмах в девятнадцати висела охотничья гравюра или репродукция «Madame fait la toilette» [1], раскрашенная фотография старинного дома в Новой Англии или пейзаж Скалистых гор,— а то и все четыре картины вместе.)

Эта гостиная была настолько же лучше жилой комнаты в родительском доме Бэббита, насколько его автомобиль был лучше отцовской брички. И хотя ничего интересного в гостиной не было, она не оскорбляла глаза. Чистая, безликая, она походила на кусок искусственного льда. В камине не было ни пушистого пепла, ни потемневших кирпичей — ничто не смягчало его сверкающую новизну, медные щипцы сияли непорочным блеском, а гигантские решетки напоминали образцы, выставленные на продажу в лавке,— унылые, мертвые, никому не нужные предметы.

У стены стояло пианино и еще одна высокая лампа, но в доме никто, кроме Тинки, не играл. Резкий отчетливый голос граммофона вполне удовлетворял все семейство, они с удовольствием сознавали, что такую коллекцию джазовых пластинок могли собрать только богатые и культурные люди, и все музыкальное искусство для Бэббитов сводилось к искусной установке граммофонной иглы. На книгах не было ни пятнышка, они лежали на столе аккуратными параллельными стопками, ни один угол ковра не был завернут, нигде не валялись хоккейные клюшки, потрепанные книжки с картинками, не возились шумные, веселые собаки.

II

Дома Бэббит никогда не погружался в чтение по-настоящему. В конторе он умел сосредоточиться, но тут он сидел, скрестив ноги, часто менял позу. Когда попадался интересный рассказ, он читал жене вслух самые лучшие, то есть самые смешные места; когда чтение не увлекало его, он откашливался, почесывал то ногу, то правое ухо, засовывал большой палец в жилетный карман, позвякивал мелочью, вертел цепочку с ключами и машинкой для сигар, зевал, тер нос и часто выходил из комнаты. То он шел наверх — надеть ночные туфли, свои элегантнейшие ночные туфли из коричневой кожи, похожие на средневековые башмаки. То он спускался в подвал и выбирал из бочонка яблоко.

---

[1] «Дама за туалетом» *(франц.)*.

«Бэббит»

— По яблоку на день — и доктор не надобен,— просвещал он миссис Бэббит, безусловно впервые за последние четырнадцать часов.

— Это верно.

— Яблоко регулирует все естественные отправления организма.

— Да, да...

— У женщин дурное свойство — они не умеют вырабатывать в себе хорошие навыки.

— Нет, я...

— Вечно что-нибудь жуют или грызут между завтраком и обедом.

— Да, Джордж! — Она подняла глаза от книги.— Скажи, а ты сегодня действительно легко позавтракал, как собирался? Я очень легко.

Перед таким коварным и неожиданным выпадом он спасовал:

— М-мм, пожалуй, не так уж легко... Завтракал с Полем, какая уж тут диета! Не ухмыляйся, пожалуйста, как чешская кошка! Если б я не следил за тем, что вы едите... Я — единственный человек в семье, который понимает, что на завтрак полезней всего овсянка. Я...

Она продолжала читать, а он, тщательно разрезая яблоко на дольки и благоговейно прожевывая их, все говорил, говорил...

— Одного я добился — бросил курить. Да, с Грэфом у меня вышла стычка. Стал невозможно дерзить. Я все терплю, но надо же иногда поднять свой авторитет, вот я на него и налетел: Стэн, говорю... ну, словом, выложил ему все...

— День сегодня какой-то странный. Нервничаешь...

— Ну-уууу-ааа! — самый заразительный звук на свете — последний зевок. Миссис Бэббит зевнула за компанию и с благодарностью услышала его сонное: «А не пора ли на боковую? Теда и Рону мы все равно до света не дождемся. Да, странный какой-то день, и не так чтоб уж очень жаркий... Ей-богу, мне хочется... Поеду как-нибудь на машине далеко-далеко».

— Да, это нам будет полезно,— зевнула она.

Он отвел глаза, чувствуя, что ему вовсе не хочется брать ее с собой. Заперев двери и проверив шпингалеты на окнах, он отрегулировал отопление так, чтобы утром из калориферов пошло тепло, и грустно вздохнул с каким-то тяжелым чувством одиночества, которое и удивило и напугало его. От рассеянности он даже не мог вспомнить, какие окна уже проверены, и в темноте, натыкаясь на стулья, снова проверил все защелки. Громко топая по лестнице, он поднялся наверх — наконец-то окончился этот знаменательный и опасный день, день его тайного бунта.

III

Обычно перед завтраком в нем просыпались привычки деревенского парнишки, и он старался увильнуть от сложных обязанностей горожанина — от бритья, от ванны, от размышлений, можно ли еще день проносить ту же рубашку. Когда он проводил вечер дома и рано ложился спать, он перед сном старался выполнить все эти неприятные дела. Он позволял себе роскошь бриться, уютно сидя в горячей ванне. И сейчас этот толстенький, гладенький, розовый, лысоватый и пухлый человечек, без очков утративший всякое достоинство, сидел по грудь в воде, снимая пену с намыленных щек безопасной бритвой, похожей на крошечную косилку для стрижки газона, и с грустным вниманием ловил упорно ускользавшее мыло.

Теплая вода ласково баюкала его. Свет озарял стенку ванны, и мелкая зеленоватая зыбь шла по гладкому белому фаянсу, когда колебалась прозрачная вода. Бэббит лениво следил за игрой воды, он заметил, что вдоль его ноги, с ярко освещенного дна подымались воздушные пузырьки и, прилипая к волоскам, образовывали причудливое сплетение, похожее на мох. Он хлопнул по воде, и отсветы лампы заиграли, запрыгали, заискрились. Ему это доставило ребяческое удовольствие. Он стал играть. Он даже сбрил кустик волос на толстой ноге.

Из крана тихонечко капало, словно звенела веселая и нежная песенка: дриппети-дрип-дрип-дриббль, дрип-дрип-дрип! Бэббит радовался этим звукам. Он смотрел на огромную ванну, на красивые никелированные краны, на кафельные стены и чувствовал себя гордым обладателем всей этой роскоши.

Но тут он очнулся и грубовато заворчал. «Иди сюда! Подурачились — хватит! — буркнул он мылу и сердито одернул щетку, когда она его царапнула: — Это еще что!» Намылившись, он окатился водой и с ожесточением растерся мохнатой простыней. Заметив в ней дырку, он задумчиво сунул в нее палец и вернулся к себе в спальню прежним непоколебимо суровым гражданином.

И тут наступила минута полного самозабвения, волнующий миг, как бывало, когда он вел машину: вынимая чистый воротничок, он увидел, что края разлохматились, и с великолепнейшим треском разорвал его пополам.

Но самым важным был момент подготовки ко сну на закрытой веранде.

Неизвестно, любил ли он спать на веранде ради свежего воздуха или оттого, что порядочному человеку полагалось спать на такой веранде.

Так же как он стал членом ордена Лосей, клуба Толкачей и Торговой палаты, так же как священники пресвитерианской церк-

ви определяли все его религиозные убеждения, а сенаторы-республиканцы решали в тесных прокуренных комнатах, что ему думать о разоружении, тарифах и Германии, точно так же американские рекламные агентства определяли внешнюю сторону его жизни, все то, что он считал своей индивидуальностью. Все стандартные разрекламированные товары — зубная паста, носки, шины, фотоаппараты, калориферы,— все это было для него символом и доказательством его превосходства. Сначала они были признаком, а потом — заменой счастья, и страсти, и мудрости.

Но ни один из этих разрекламированных атрибутов благосостояния и положения в обществе не играл в жизни Бэббита такой роли, как веранда над застекленной террасой.

Ритуал отхода ко сну был сложен и неизменен. Надо было как следует подоткнуть одеяло в ногах (тут же пришлось выяснять с миссис Бэббит, почему этого не сделала горничная). Вязаный коврик надо было подвинуть так, чтобы утром сразу встать на него босыми ногами. Будильник надо было завести. Грелку наполнить и положить точно в двух футах от спинки кровати.

Эти грандиозные задачи он преодолевал с огромной решимостью, на каждом этапе сообщая миссис Бэббит о ходе их выполнения и о победе над всеми препятствиями. Наконец его чело прояснилось, и сильным мужественным голосом он бросил: «Доброй ночи». Но ему понадобилось еще одно героическое усилие. В ту минуту как он погрузился в первый сон, в самую сладостную минуту забвения, к соседнему дому подкатила машина Доппелбрау. Бэббит подскочил со стоном: «Какого черта они не ложатся спать вовремя!» Он настолько хорошо знал, как ставят машину в гараж, что прислушивался к каждому звуку, как опытный палач, которого самого вздергивают на дыбу.

Вот машина нагло и весело фыркает на дорожке. Вот с треском открываются и закрываются дверцы, скрипя, отворяется дверь гаража, и снова хлопает дверца машины. Мотор ревет на подъеме при въезде в гараж и захлебывается в последний раз перед тем, как его выключают. Последний треск закрываемой и открываемой дверцы машины. Потом тишина — жуткая тишина, пока мистер Доппелбрау неторопливо осматривает шины, перед тем как запереть гараж. И наконец для Бэббита наступает блаженное забытье.

IV

В тот же час, в том же городе Зените, Хорэйс Апдайк ухаживал за Люсиль Мак-Келви в ее лиловой гостиной на Ройял-ридж, куда они вернулись с лекции знаменитого английского писателя.

Апдайк был самым закоренелым холостяком в Зените. Сорокашестилетний мужчина, с тонкой талией и высоким, как у женщины, голосом, он любил цветы, пестрые ситцы и молоденьких девушек. Миссис Мак-Келви — рыжая и белотелая особа, была не удовлетворена жизнью, всегда изящна, резка и откровенна. Апдайк испробовал свой неизменный прием — погладил ее тонкую руку.

— Перестаньте дурить! — сказала она.

— А вам очень неприятно?

— Нет, не очень. Но это-то и есть самое неприятное!

Апдайк переменил тактику. Он славился своим красноречием. Он очень неглупо заговорил о психоанализе, игре в поло на Лонг-Айленде, о китайском блюде эпохи династии Минг, которое он раскопал в Ванкувере. Люсиль обещала встретиться с ним летом в Довиле. «Хотя Довиль становится ужасно пошлым,— вздохнула она,— никого, кроме американцев и захудалых английских баронесс!»

И в этот же час, в этом же Зените, продавец кокаина и проститутка пили коктейли в кабачке Хили Хэнсона на Фронт-стрит. Так как в стране царил сухой закон, а в Зените законы соблюдались особенно строго, им приходилось с невинным видом пить коктейли из чайных чашек. Дама швырнула свою чашку в голову кокаиниста. Тот выхватил револьвер из потайного кармана и небрежно уложил ее на месте.

В этот же час в Зените двое ученых сидели в лаборатории. Уже вторые сутки они корпели над докладом о своих исследованиях в области синтетического каучука.

В этот же час в Зените четверо профсоюзных деятелей совещались — бастовать ли двенадцати тысячам горняков в округе за сто миль от города. Из них один был похож на сердитого разбогатевшего лавочника, второй — на плотника-янки, третий — на приказчика из аптеки, а четвертый — на еврейского эмигранта-актера. Актер-эмигрант цитировал Каутского, Юджина Дебса и Авраама Линкольна.

В этот же час умирал ветеран войны за освобождение негров. Прямо с полей Гражданской войны он пришел на ферму, и хотя она официально считалась в черте Зенита, но жизнь там была дикой, как в лесной глуши. Этот человек никогда не ездил в автомобиле, никогда не видел ванны, не читал ни одной книги, кроме Библии, хрестоматии Мак-Гаффи и религиозных брошюр, и верил, что земля плоская, что англичане — десятое пропавшее колено израилево, а Соединенные Штаты — демократическая страна.

В этот же час на Пуллморовском тракторном заводе — в настоящем городе из стали и бетона — работала ночная смена, выполняя заказ на транспортеры для польской армии. Завод гудел,

как тысячи пчел, его гигантские окна походили на огнедышащий вулкан. За высокой оградой из колючей проволоки прожектора освещали заваленные шлаком дворы, железнодорожные стрелки и вооруженную охрану.

И в этот же час Майк Мондей заканчивал молитвенное собрание. Мистер Мондей, выдающийся евангелист, самый знаменитый протестантский проповедник и политический деятель в Америке, когда-то был профессиональным боксером. Но служить дьяволу оказалось невыгодным. В бытность свою боксером он ничего не приобрел, кроме разбитого носа, прославленного набора ругательств и умения держаться на подмостках. Служение господу оказалось не в пример выгодней. Он уже собирался уйти в отставку, нажив порядочное состояние. Оно досталось ему по заслугам, ибо, как писали газеты в последних отчетах о его деятельности, «преподобный мистер Мондей, пробивной пророк», показал, что он — лучший в мире продавец спасения и что благодаря деловой организации наивысшую стоимость духовного очищения можно свести до твердого минимума. Он обратил в свою веру более двухсот тысяч заблудших и погибших душ, при материальных затратах в среднем около десяти долларов на душу.

Из крупных городов Штатов один только Зенит не сразу решился отдать свои пороки на суд и расправу мистеру Мондею и его отряду опытных спасателей душ. Наиболее предприимчивые организации настаивали на его приглашении — мистер Джордж Ф. Бэббит однажды даже произнес о нем хвалебную речь в клубе Толкачей. Некоторые священники епископальной и конгрегационалистской церкви, эти ренегаты, которых мистер Мондей так остроумно величал «шайкой христопродавцев, с помоями в жилах вместо крови, кучкой пискунов, которым не хватает лишь протертых коленок на штанах и волос на тощих туловищах», восстали против Мондея. Но эту оппозицию сломил секретарь Торговой палаты, сообщивший объединению фабрикантов, что в тех городах, где подвизался мистер Мондей, он отвлекал мысли рабочих от повышения зарплаты и сокращения рабочего дня и тем самым предотвращал забастовки. И Мондея немедленно пригласили в Зенит.

По подписке собрали внушительную сумму в сорок тысяч долларов и на городской торговой площади соорудили молельню имени Майка Мондея, вмещавшую пятнадцать тысяч человек. Там-то пророк в этот час и заключал свою проповедь:

— Есть и в этом вашем городишке умники из университетских профессоров и салонных слюнтяев, которые говорят, что я — грубиян, никудышник, в истории ни шиша не смыслю. Есть еще такие длиннобородые гниды, которые воображают, что они умней самого господа бога, им ученая немчура и грязные немецкие ере-

тики дороже святого, истинного слова божия. Есть еще много маменькиных сынков, слюнтяев, нюнь и нехристей, много писак, распухших от пива, которые любят обливать меня грязью, пищать, что Майк Мондей — пошляк и дикарь. И эти щенки смеют говорить, что я кормлюсь Евангелием, выжимаю деньгу из святой книги! Слушайте меня, братья! Я готов с ними потолковать! Пусть выйдут сюда и прямо мне в глаза скажут, что я жулик, брехун и деревенщина! Но уж если они выйдут — если только посмеют! — пусть никто тут не падает в обморок, ежели с божьей помощью какой-нибудь из этих оголтелых врунов получит хорошую крепкую затрещину от Майка и кулак мой станет карающей десницей господней! Ну, выходи, кто там есть! Кто трепал языком? Кто болтал, что Майк Мондей мошенник и болван? А? Кажется, кто-то хочет встать? Нет? То-то же! Хватит настоящим людям слушать истошный визг из-под забора! Хватит слушать всяких субчиков, которые варят, жарят и пекут безбожные мерзости, а потом блюют вам на голову! И я глаголю вам — приидите, помолимся — с треском, с перцем, со всем сердцем! — господу нашему Иисусу Христу и безграничному милосердию его-оо-ооо!

V

В этот же час Сенека Доун — адвокат-радикал, и доктор Курт Явич — гистолог (чья работа о разрушении эпителиальных клеток под воздействием радия прославила Зенит в Мюнхене, Праге и Риме), беседовали в кабинете Доуна.

— Зенит — город гигантских возможностей,— задумчиво сказал Доун,— город гигантских зданий, гигантских машин, гигантской транспортной сети...

— А я ненавижу ваш город. Здесь все стандартизовано — вся красота жизни. Похоже на громадный вокзал, где все спешат взять билет на самое лучшее кладбище,— спокойно заметил доктор Явич.

Доун вспыхнул:

— Неправда, черт меня дери! Нет, Курт, надоели мне ваши вечные жалобы на «стандартизацию». А в других странах, по-вашему, нет стандартов? Разве найдется что-либо более стандартизованное, чем Англия, где в каждом доме в один и тот же час пьют чай с одними и теми же булочками, и все отставные генералы слушают одинаковые молитвы в одинаковых церквах серого камня с одинаковыми колокольнями, и каждый гольфист в грубошерстных штанах, напыжившись, говорит другому такому же богатому болвану: «Совершенно справедливо!» И все же я люблю Англию. А что касается стандарта — вспомните французские уличные кафе, итальянские любовные песенки!

Видите ли, стандартизация per se[1] — отличная штука. Когда я покупаю часы фирмы Ингерсолл или машину Форда, я получаю хорошую вещь по недорогой цене и точно знаю, что́ я купил,— и тогда у меня остается больше времени и энергии на мою личную жизнь. Да, помню, как однажды в Лондоне мне попалась реклама зубной пасты в «Сатердей ивнинг пост», и на ней картинка: американский городок, знаете, белая уличка, обсаженная тополями, новые дома, некоторые в старинном стиле или с широкими черепичными крышами,— словом, такая улица, как у нас в Зените, скажем, на Цветущих Холмах. Простор. Деревья. Газоны. И такая меня взяла тоска по родине! Нигде на свете нет таких чудесных домов. И мне наплевать, что они стандартные! Это отличнейший стандарт!

Нет, я не о таком стандарте! В Зените меня возмущает стандартизация мысли и, конечно, укоренившиеся понятия о конкуренции. Настоящие злодеи в этой драме — именно те добрые, чистые, трудолюбивые отцы семейств, которые не постесняются пустить в ход любую подлость, любую жестокость — лишь бы обеспечить материальное благополучие своим отпрыскам. Самое скверное в этих людях то, что они такие хорошие и, в каждом отдельном случае, в своей отрасли такие неглупые. Их нельзя по-настоящему ненавидеть, и все же их стандартизованная мысль — вот настоящий враг... И потом — это вечное бахвальство. Правда, втайне я и сам думаю, что жить в Зените лучше, чем в Манчестере или Глазго, Лионе, Берлине, Турине...

— Это неверно, я-то жил в этих городах,— пробормотал доктор Явич.

— Ну, это дело вкуса. Лично я предпочитаю город с неведомыми перспективами, которые дают простор моему воображению. Но чего мне особенно хочется...

— Вы,— перебил его доктор Явич,— вы умеренный либерал и не имеете ни малейшего представления о том, чего вам особенно хочется. А я, как революционер, точно знаю, чего хочу,— и сейчас я особенно хочу выпить.

VI

В этот же час Джек Оффат, местный политикан, и Генри Т. Томпсон долго совещались. Оффат внушительно говорил:

— Главное — заставить этого простачка, твоего зятя, протолкнуть наше дело. Он из таких, из патриотов. Когда он для нашей бражки заграбастывает какую ни на есть недвижимость, у него так

---

[1] Сама по себе *(лат.)*.

получается, будто мы смерть как любим нарррр-род, а я тоже люблю, чтоб все было респектабельно, по сходной цене, конечно. Как ты думаешь, Хэнк, долго мы продержимся? Нам ничто не грозит, пока все примерные мальчики, вроде Джорджа Бэббита, и эти симпатичные и уважаемые профсоюзные лидеры думают, что мы с тобой — заядлые патриоты. Да, честному политику тут есть чем поживиться, Хэнк: целый город готов нас угощать жареными цыплятами, сигарами и коктейлями и в возмущении — да еще в каком! — встать под наше знамя, как только кто-нибудь из этих пискунов вроде Сенеки Доуна выступит против нас! Честью клянусь, Хэнк, стыдно было бы мне, такому смекалистому парню, не выдоить этих коровушек, сами просятся, мычат! Но большой аферы, как бывало, Транспортной компании сейчас не поднять. Хотел бы я знать, долго ли нам... эх, знаешь, Хэнк, вот бы выставить этого Сенеку Доуна из Зенита! Мы или он!

В этот час в Зените триста сорок или триста пятьдесят тысяч Обыкновенных Людей спали — огромная, неизведанная масса.

В трущобах за железной дорогой молодой человек, полгода тщетно искавший работы, открыл газ и отравился вместе с женой.

В этот час Ллойд Маллэм, поэт, владелец книжной лавки «Хафиз», заканчивал рондо, где рассказывалось, как интересно было жить в феодальной Флоренции и как скучно в будничном Зените.

И в этот час Джордж Ф. Бэббит тяжело повернулся на бок, повернулся в последний раз — знак того, что ему надоело ворочаться без сна,— и решил заснуть всерьез и надолго.

И сразу он погрузился в волшебный сон. Он стоял среди незнакомых людей, которые смеялись над ним. Но он ускользнул от них, он помчался по дорожкам полночного сада, где у ворот ждала его юная волшебница. Ласковая спокойная рука легла на его щеку. Он сразу стал храбрым, мудрым и горячо любимым, ее теплые плечи казались белее слоновой кости, а за гибельными трясинами сверкало смелое море.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Главными событиями этой весны для Бэббита были, во-первых, тайная скупка земельных участков в Линтоне для некоторых дельцов из Транспортной компании еще до того, как официально сообщили о продлении линтонской линии трамвая, и во-вторых, парадный обед, который был задуман, как Бэббит со смаком внушал жене, «не только как обычный светский прием, но и как по-настоя-

щему интересная, высококультурная встреча, где будут общаться лучшие умы города и самые изящные и веселые дамы».

Бэббита это настолько захватило, что он чуть не позабыл о своем плане — удрать в Мэн с Полем Рислингом.

Хотя Бэббит был родом из глухого поселка Катоба, он уже поднялся до того столичного уровня, когда принимаешь к обеду трех, а то и четырех человек, и готовишься к этому всего лишь день-другой. Но обед на двенадцать персон, с цветами из лучшего магазина и всем фамильным хрусталем, вывел из равновесия даже Бэббитов.

Целых две недели они изучали, обсуждали и наконец утвердили список гостей.

Бэббит был в восторге:

— Конечно, мы и сами — люди современные, но ты только подумай: принимать в доме такого знаменитого поэта, как Чам Фринк, человека, который какими-нибудь стишками, какими-нибудь рекламами выколачивает свои пятнадцать тысяч монет в год!

— А возьми Говарда Литтлфилда! Вчера Юнис сказала мне, что ее папа говорит на трех языках! — заметила миссис Бэббит.

— Ну, это ерунда! Я сам говорю на трех — на американском, на бейсбольном и на карточном!

— Мне кажется, шутить на эту тему просто неудобно! Должно быть, очень приятно разговаривать на трех языках,— и как это может пригодиться! По-моему, вовсе незачем приглашать вместе с такими людьми этих Орвилей Джонсов!

— Ну, знаешь, Орвиль далеко пойдет!

— Да, понимаю, но — прачечная!

— Конечно, иметь прачечную — совсем не то, что писать стихи или заниматься недвижимым имуществом, не тот класс, но все же Орвиль — малый с головой. Только наведи его на разговор насчет садоводства! Да он тебе каждое дерево назовет, даже по-гречески или по-латыни! Кроме того, мы обедали у Джонсов и должны их позвать! И потом надо же нам посадить хоть кого-нибудь попроще, пусть слушают, когда такие мастера пускать пыль в глаза, как Фринк или Литтлфилд, заведут свою музыку.

— Кстати, милый, я считаю, что тебе, как хозяину, лучше помолчать и послушать, дать гостям возможность тоже поговорить хоть немножко!

— Ах, ты так считаешь? Значит, я все время говорю один? Конечно, кто я такой? Обыкновенный делец! Ясно, раз я не доктор философии, вроде Литтлфилда, и не поэт, так мне, по-твоему, и сказать нечего! Так вот, разреши тебе доложить, что не далее как вчера твой дорогой Чам Фринк подошел ко мне в клубе и стал расспрашивать — что я думаю про акции спрингфилдовского школь-

ного треста. Кто ему все объяснил? Я! Будь уверена, все объяснил! Именно я, такое ничтожество! Он подошел, спросил, а я объяснил! Будь уверена! И он с удовольствием меня слушал,— а ты еще говоришь «тебе, как хозяину»... Знаю свои хозяйские обязанности не хуже тебя, и запомни, пожалуйста...

Словом, Орвилей Джонсов пригласили.

II

Утром перед званым обедом миссис Бэббит не находила себе места.

— Прошу тебя, Джордж, непременно приходи сегодня пораньше. Помни, что тебе надо переодеться.

— Угу. Смотри, в «Адвокате» пишут, что на пресвитерианском съезде голосовали за выход из Всемирного Совета церквей. Значит...

— Джордж! Ты слышал, что я тебе сказала? Ты должен вовремя прийти домой и одеться!

— Одеться? А я уже одет! Что ж, по-твоему, я хожу в контору в одних кальсонах?

— Я не допущу неприличных острот при детях! Ты должен надеть фрак!

— Ты хочешь сказать — смокинг. До чего мне надоели эти собачьи выдумки, все эти парады, фокусы...

Но через три минуты Бэббит таким тоном буркнул: «Не знаю, стану ли я переодеваться»,— что было ясно — переоденется он непременно, и разговор перешел на другую тему.

— А главное, Джордж, не забудь заехать по дороге домой к Веккии и взять там мороженое. У них сломался грузовик, а я не надеюсь, что они доставят мороженое на...

— Ну, хватит! Ты мне уже перед завтраком говорила!

— Но я боюсь, что ты забудешь! Я тут буду весь день мучиться, учить новую прислугу, как подавать к обеду...

— Всё твои дурацкие затеи,— нечего было нанимать специальную прислугу из-за одного обеда. Матильда отлично справилась бы...

— ...и мне еще надо пойти заказать цветы, расставить их, накрыть на стол, купить соленый миндаль, посмотреть, готовы ли цыплята, приготовить детям ужин наверху, да мало ли что. Нет, ты должен обещать, что заедешь за мороженым к Веккии.

— Ла-аа-дно!!! Заеду, заеду!

— Тебе только надо зайти и сказать: «Дайте мне мороженое, которое миссис Бэббит вчера заказала по телефону»,— там, наверное, все готово.

В десять тридцать она позвонила ему в контору, чтобы он не забыл взять мороженое от Веккии.

И тут его неожиданно расстроила неприятная мысль: стоят ли званые обеды на Цветущих Холмах всей этой противной суеты и спешки? Но он раскаялся в кощунственном вольнодумстве, когда поехал покупать все необходимое для коктейлей.

Вот как доставали алкогольные напитки в добродетельные времена сухого закона.

Со строгих прямых улиц заново отстроенного делового центра Бэббит поехал путаными переулками через Старый город, мимо грязных, закопченных складов и амбаров, и дальше в «Рощу», где когда-то действительно был славный лесок, а теперь громоздились трущобы — доходные дома и притоны. По спине у него пробегала дрожь, в желудке ощущался приятный холодок, и на каждого полисмена он смотрел с невинным видом, словно желая показать, как он почитает закон и обожает полицию и как ему хочется остановиться и перекинуться шуткой с постовым.

Он оставил машину за целый квартал от салуна Хили Хэпсона, и все же на душе у него было неспокойно: «Ну, ни черта, если меня видели, подумают, что я тут по делу».

Он вошел в помещение, до странности похожее на все кабаки, существовавшие до сухого закона: та же засаленная стойка, опилки на полу, на стене зеркало в потеках, тот же некрашеный столик, за которым грязный старикашка клевал носом над чем-то похожим на виски, те же посетители, пившие у стойки что-то весьма похожее на пиво, то же ощущение толпы, которое всегда бывает в кабаках, как только в них собирается больше двух человек. Бармен, высокий бледный швед с алмазной булавкой в лиловом галстуке, в упор посмотрел на Бэббита, когда тот неловкими шажками просеменил к стойке и шепнул:

— Я... м-ммм... меня, так сказать, прислал приятель Хэнсона. Мне бы немножко джину...

Бармен посмотрел на него с видом оскорбленного епископа:

— Боюсь, что вы ошиблись, приятель. Мы продаем только безалкогольные напитки.

Он стал стирать пиво со стойки тряпкой, которая сама нуждалась в стирке, и сердито покосился на Бэббита, непрестанно двигая рукой.

Старик, дремавший у столика, умоляюще сказал:

— Оскар, я тебя прошу, послушай...

Но Оскар слушать не стал.

— Да ну же, Оскар, послушай! Ну послушай же!

Дребезжащий, сонный голос пьяницы, приятный запах пивных дрожжей словно загипнотизировали Бэббита. Бармен угрюмо

придвинулся к толпе из двух человек. Бэббит подобрался к нему осторожно, как кот, и вкрадчиво попросил:

— Послушайте, Оскар, я хочу поговорить с мистером Хэнсоном.

— На что он вам?

— Надо поговорить. Вот моя карточка.

Карточка была великолепная, гравированная, на ней ослепительно черными и ослепительно красными буквами было обозначено, что мистер Джордж Ф. Бэббит представляет Недвижимость, Страхование, Аренду. Бармен держал ее, словно она весила десять фунтов, и читал так, словно на ней было сто слов. Не теряя своего епископского достоинства, он пробасил:

— Посмотрю, тут ли он.

Из задней комнаты он привел чрезвычайно старообразного молодого человека, спокойного, остроглазого, в песочной шелковой рубахе, расстегнутом клетчатом жилете и ярко-рыжих брюках,— самого мистера Хили Хэнсона. Мистер Хэнсон протянул только: «Да?» — и бесстрастным наглым взглядом проник в самую душу мистера Бэббита, даже не замечая нового темно-серого костюма, за который Бэббит (как он признавался каждому знакомому в Спортивном клубе) заплатил сто двадцать пять долларов.

— Рад познакомиться, мистер Хэнсон. М-мм... видите ли, я Джордж Бэббит, из конторы по продаже недвижимости «Бэббит и Томпсон». Я близкий друг Джека Оффата.

— Ну и что?

— Мм-мм... видите ли, у меня сегодня гости, и Джек сказал, что вы можете снабдить меня джином.— И в подобострастном испуге, видя, что глаза Хэнсона становятся совсем скучающими, он торопливо добавил: — Можете позвонить Джеку, спросить обо мне, если хотите...

Вместо ответа Хэнсон мотнул головой, показывая на дверь в заднюю комнату, и вышел. Бэббит с таинственным видом пробрался в помещение, где обнаружил четыре круглых столика, одиннадцать стульев, рекламу пива и некий запах. Он стал ждать. Трижды Хили Хэнсон, засунув руки в карманы, проходил мимо, напевая что-то под нос и совершенно игнорируя Бэббита.

За это время клятва, которую дал себе Бэббит утром: «Ни цента сверх семи долларов за кварту!» — уже превратилась в утверждение: «Я бы заплатил и десять». При следующем появлении Хэнсона он умоляюще спросил: «Ну как, можете меня выручить?» — но Хэнсон в ответ нахмурился и прохрипел: «Минуту, черт возьми, одну минуту!» И Бэббит стал ждать со все возрастающей робостью, пока Хэнсон не появился, небрежно держа в длинных бе-

лых пальцах кварту джина — вернее, то, что условно называется квартой.

— Двенадцать монет! — бросил он.

— Послушайте, да как же так, милейший! Джек сказал — вы достанете за восемь-девять долларов, не больше.

— Ни-ни. Двенадцать. Настоящий, контрабанда из Канады. Это вам не разбавленный спирт с можжевеловой водичкой! —с добродетельным видом заявил честный торговец.— Двенадцать кругляшей — если, конечно, вам нужно. Сами понимаете, только ради Джека!

— Да, да, понимаю! — Бэббит с благодарностью отсчитал двенадцать долларов. Он чувствовал себя польщенным таким общением с великим мира сего, когда увидел, как Хэнсон зевнул, не считая сунул бумажки в свой ослепительный жилет и враскачку удалился.

Бэббит испытал приятную дрожь, вынося бутылку под пальто и потом пряча ее в свой письменный стол. Весь день он фыркал, посмеивался и пыхтел от сознания, что сможет за обедом «угостить ребят настоящей штукой»! Он был в таком возбуждении, что только подъезжая к дому вспомнил, что жена ему что-то поручила, да, поручила привезти мороженое от Веккии! «А, черт!» — буркнул он и повернул обратно.

Веккиа был не просто кондитер — он был Главный кондитер Зенита. Почти все балы для дебютанток давали в белой с золотом зале ресторана «Мэзон Веккиа». Почти на всех светских чаепитиях гости узнавали пять сортов сандвичей от Веккии и семь сортов его пирожных, и все по-настоящему шикарные обеды заканчивались последним аккордом — неаполитанским мороженым от Веккии в одной из трех его форм: в виде дыни, в виде слоеного торта или в виде длинного брикета.

Кондитерская Веккии была украшена бледно-голубыми панелями, гирляндой гипсовых роз, официантками в плоеных фартучках и стеклянными полками с пирожными «безе», воплотившими всю воздушность, какая таится во взбитых белках. Среди этой кондитерской изысканности Бэббит показался себе неуклюжим и толстым и, дожидаясь заказа, вдруг понял по колючему ощущению в затылке, что какая-то девчонка-посетительница над ним смеется. Он вернулся домой в раздраженном состоянии. И первое, что он услышал, был взволнованный голос жены:

— Джордж! А ты не забыл заехать к Веккии за мороженым?

— Слушай, да разве я когда-нибудь забываю?

— И даже очень часто!

— Чушь какая! Никогда я ничего не забываю! Конечно, устанешь тут бегать после работы по всяким тошнотворным заведе-

ниям, вроде твоего Веккии, и торчать там среди полуголых девчонок, накрашенных, как шестидесятилетние старухи,— сидят там и портят себе желудки всякой дрянью...

— Ах, бедный ты, несчастный! Давно заметила, что ты терпеть не можешь хорошеньких барышень!

Бэббита кольнуло, что его жена слишком занята, чтобы оценить его возмущенную добродетель — сильнейшее оружие, с помощью которого мужчины правят миром, и, смирившись, он пошел наверх одеваться. Мельком он заглянул в столовую, увидел ее во всем великолепии хрусталя, свечей, полированного дерева, кружев, серебра, роз. С замиранием сердца, приличествующим столь важному делу, как устройство званого обеда, он устоял перед искушением в четвертый раз надеть фрачную рубашку, вынул ослепительно свежее белье, завязал галстук бабочкой и потер лакированные туфли носовым платком. С удовольствием он полюбовался запонками — гранаты в серебряной оправе. Он тщательно разгладил и подернул шелковые носки, от которых коренастые лапы Джорджа Бэббита превратились в элегантные конечности высшего существа, величаемого «членом клуба». В трюмо отразился его отлично сшитый фрак, красивые с тройной отстрочкой брюки, и в лирическом экстазе Бэббит пробормотал:

— Клянусь честью, неплохой вид! Никогда не скажешь, что я из Катобы! Увидели бы меня в таком наряде тамошние провинциалы — с ними бы родимчик приключился!

Он величественно сошел вниз и занялся коктейлями. И когда он колол лед, выжимал апельсины и составлял у раковины в буфетной невероятное количество использованных бутылок, стаканов и ложек, он чувствовал себя не менее важным, чем бармен в салуне Хили Хэнсона. Правда, миссис Бэббит попросила его не болтаться под ногами, а Матильда и прислуга, нанятая на этот вечер, непрестанно толкали его локтями и визжали: «Пжалста, ткройте двери!» — когда им нужно было пронести подносы, но в эти священные минуты он не обращал на них внимания.

Кроме новой бутылки джина, его «погреб» состоял из полбутылки бурбонского виски, четвертинки итальянского вермута и примерно из ста капель апельсинной горькой. Шейкера у него не было. Шейкер был доказательством распущенности, символом запойного пьянства, а Бэббит хоть и любил выпить, но не хотел, чтобы его считали пьяницей. Он смешивал коктейли, наливая виски из старого соусника в кувшин без ручки, он лил спиртное с благородным достоинством, подымая свои колбы и реторты к электрической лампе, и лицо его горело, крахмальная рубашка сверкала белизной, а медная раковина отливала червонным золотом.

Наконец он попробовал божественную влагу.

— Нет, провались я на месте, настоящий, старинный коктейль! Не то «Бронкс», не то «Манхэттен»! М-ммммм! Слушай, Майра, хочешь глоточек, пока народ не собрался?

Миссис Бэббит то суетливо переставляла в столовой стаканы на четверть дюйма правее или левее, то с решительным и неумолимым видом, в сером с серебром парадном платье, повязанная суровым полотенцем вместо фартука, влетала в буфетную. В ответ она только сердито покосилась на мужа и с упреком сказала:

— Разве можно!

— Ну-с,— развязно и шутливо сказал он,— а твой старичок, пожалуй, отведает еще!

Коктейль наполнил его головокружительным восторгом, он ощутил непреодолимое желание лететь с сумасшедшей скоростью в машине, целовать девушек, петь, острить. Он пытался вернуть себе прежнее достоинство, важно объявив Матильде:

— Сейчас я поставлю кувшин с коктейлем в холодильник, вы, пожалуйста, не опрокиньте.

— Угу.

— Понимаете, поосторожнее! Ничего не ставьте на верхнюю полку!

— Угу.

— Поосторожнее.— У него кружилась голова. Голос стал тонким, слабым.— У-ууффф...— С безгранично важным видом он еще раз приказал: — Вы поосторожнее! — и мелкими шажками проследовал в гостиную — там было безопаснее. Он подумал — можно ли будет «уговорить этих тихонь, вроде Майры и Литтлфилдов, прокатиться после обеда, поднять, что называется, пыль столбом, может, раздобыть еще горячительного». Он обнаружил, что в нем пропадает настоящий кутила.

Но к тому времени, как собрались гости, включая и ту неизбежно опаздывающую чету, которую все ждут с притворной любезностью, огненный вихрь сменился в мозгу Бэббита бездонной серой пустотой, и он с усилием заставил себя бурно приветствовать гостей, как полагалось хорошему хозяину на Цветущих Холмах.

Пришел Говард Литтлфилд, доктор философии, который составлял рекламы и утешительные финансовые отчеты для Городской Транспортной компании, Верджил Гэнч, торговец углем, одинаково влиятельный и в ордене Лосей, и в клубе Толкачей, затем Эдди Свенсон, агент автомобильной фирмы Джевелин, живший напротив Бэббитов, и, наконец, Орвиль Джонс, владелец прачечной «Лилейная белизна», о которой справедливо писалось в рекламе как о самом большом, самом известном, самом шикарном прачечном заведении в Зените. Но, разумеется, самым почетным гостем был Т. Чамондли Фринк. Он являлся не только автором так называе-

мых «поэмореклам», которые ежедневно распространялись газетными синдикатами в шестидесяти семи ведущих газетах, что давало ему такую обширную аудиторию, какой не имел ни один поэт в мире,— он еще был проповедником оптимизма и творцом нового типа реклам: «Зри не зря!» Несмотря на проникновенную философию и глубокую мораль его стихов, они были написаны в шутливой форме и понятны даже двенадцатилетнему ребенку; стихи казались еще забавнее, потому что печатались, как обычно печатают прозу. Вся Америка запросто называла мистера Фринка «Чам».

С мужчинами явились и шесть жен, все они были более или менее... впрочем, сейчас, в начале вечера, трудно было что-нибудь про них сказать, так как на первый взгляд они все были похожи одна на другую и все говорили одинаково весело и убежденно: «Как у вас тут мило!» С виду мужчины меньше походили друг на друга: Литтлфилд — типичный ученый, высокий, с лошадиным лицом; Чам Фринк — маленький человечек с мягкими, мышиного цвета волосами, подчеркивавший свою поэтическую профессию моноклем на шелковом шнурке; Верджил Гэнч — широкоплечий, с черным ежиком волос; Эдди Свенсон — рослый лысоватый молодой человек, чей изысканный вкус выразился в черном муаровом жилете со стеклянными пуговицами; Орвиль Джонс — солидный, коренастый, очень значительного вида мужчина с льняными усиками. Но все они были такие упитанные, такие вымытые, все так бодро кричали: «Здорово, Джорджи!» — что казались если не родными, то двоюродными братьями; и как ни удивительно, но чем больше ты знакомился с женщинами, тем меньше они казались похожими друг на друга, а чем больше узнавал мужчин, тем больше казалось, что они все на один образец.

Питье коктейлей было такой же церемонией, как и приготовление. Гости ждали их с затаенным беспокойством и с надеждой, натянуто соглашаясь, что погода действительно теплая, но в то же время довольно холодно, а Бэббит все еще и не заикался о выпивке. Но когда пришла запоздавшая чета — на этот раз опоздали Свенсоны,— Бэббит позволил себе намек:

— Ну, как, друзья, способны вы кой в чем нарушить закон?

Все взглянули на Чама Фринка, признанного властителя дум. Фринк дернул шнур монокля, как звонок, откашлялся и сказал то, чего от него и ждали:

— Знаете, Джордж, я человек законопослушный, но, говорят, Верджил Гэнч — настоящий бандит, а он, конечно, сильнее меня, и я просто не представляю, что делать, если он меня заставит пойти на преступление!

Гэнч сразу загрохотал: «Что ж, попробую!» Но Фринк поднял руку и продолжал:

— Так что, если вы с Верджем будете настаивать, Джорджи, я поставлю мою машину там, где не положено, я ни минуты не сомневаюсь, что вы именно об этом преступлении и говорите!

Поднялся смех, шутки. Миссис Джонс уверяла, что «мистер Фринк — умора! Можно подумать, что он — невинный младенец!».

Бэббит шумел больше всех:

— И как вы только угадали, Чам? Ну, погодите, сейчас я пойду принесу... ключи от ваших машин!

Среди общего веселья он внес долгожданные дары: сверкающий поднос с бокалами и в центре — мутно-желтый коктейль в громадном графине. Мужчины наперебой говорили: «Ого, посмотрите-ка!» — или: «Ох, прямо дрожь берет!» — или: «Ну-ка, пропустите меня!» Но Чам Фринк, человек многоопытный и привыкший к превратностям судьбы, вдруг испугался, что в графине просто фруктовый сок, сдобренный разведенным спиртом. Он робко ждал, пока Бэббит, весь в поту от восторга, протянет ему стакан от своих щедрот, но, пригубив коктейль, восторженно пропищал:

— О, боже, не будите меня! Все это сон, но я не хочу просыпаться! Дайте помечтать во сне!

Часа за два до этого Чам сочинил стихи для газеты, которые начинались так:

«Сидел я хмур и одинок, глядел угрюмо в потолок и думал: есть же дураки, которых тянет в кабаки. Они салун вернуть хотят, дыру, в которой грязь и смрад; а там любой мудрец — болван, когда бывает в стельку пьян. Нет, я не стану пить вина, мне их отрава не нужна. Я воду чистую, друзья, пью из прозрачного ручья, и голова моя свежа, как у грудного малыша» [1].

Вместе со всеми выпил и Бэббит: временная депрессия прошла, он понимал, что лучше этих людей нет никого на свете. Он готов был дать им тысячу коктейлей.

— Ну как, выдержите еще по одному? — крикнул он.

Жены захихикали, но отказались, зато мужья расплылись в широких, восторженных улыбках:

— Ну, разве только чтобы не обидеть тебя, Джорджи!

— Вам еще полагается прибавка! — говорил каждому Бэббит, и каждый рокотал: «Выжимай, Джорджи, выжимай до капли!»

А когда графин безнадежно опустел, начался разговор о сухом законе. Покачиваясь на пятках, засунув руки в карманы, мужчины выражали свои взгляды с тем громогласным глубокомыслием, с которым преуспевающие господа повторяют самые пошлые суждения о том, в чем они совершенно не разбираются.

---

[1] Перевел Р. Сеф.

— Я вам вот что скажу,— заявил Верджил Гэнч,— по-моему,— и я могу об этом говорить с уверенностью, потому что мне приходилось беседовать с врачами и вообще с понимающими людьми,— по-моему, правильно, что закрыли кабаки, но надо дать человеку возможность выпить пива или легкого вина.

Говард Литтлфилд философически заметил:

— Обычно упускают из виду, что весьма опасно ограничивать свободу личности. Возьмите такой пример: король баварский — да, кажется, баварский... По-моему, это было в Баварии, вот именно в Баварии, в тысяча восемьсот шестьдесят втором году, да, в марте тысяча восемьсот шестьдесят второго года,— король издал эдикт: запретить общественный выпас скота. И крестьяне, терпевшие тяжкие налоги без единой жалобы, вдруг взбунтовались против этого эдикта. Впрочем, возможно, что дело было в Саксонии. Во всяком случае, это доказывает, как опасно нарушать свободу личности.

— Правильно,— сказал Орвиль Джонс,— нельзя нарушать свободу личности!

— Однако не следует забывать, что для рабочих сухой закон — чистое благодеяние. Не дает им тратить деньги впустую и снижать производительность труда,— заявил Верджил Гэнч.

— Это верно. Но плохо, если закон навязывают насильно,— продолжал Говард Литтлфилд.— Конгресс пошел неправильным путем. Будь на то моя воля, я сделал бы так, чтоб каждый пьющий должен был получать лицензию на выпивку. Тогда мы могли бы ограничивать неустойчивых рабочих, не давать им пить, а вместе с тем мы бы не нарушали права других, то есть свободу личности таких людей, как мы с вами.

Все закивали, с восхищением переглянулись и подтвердили: «Да, конечно, так было бы правильней!»

— Одно меня беспокоит,— вздохнул Эдди Свенсон,— как бы эти люди не стали нюхать кокаин!

Все закивали еще усиленней, заворчали: «Верно, верно, есть и такая опасность!»

Но тут поднял голос Чам Фринк:

— Слушайте, мне вчера дали изумительный рецепт домашнего пива. Берется...

— Погодите,— прервал его Гэнч.— Я скажу свой.

Литтлфилд фыркнул: «Пиво! Ерунда! Лучше всего дать сидру перебродить!» Джонс настаивал: «Нет, у меня рецепт настоящий!» Тут вмешался Свенсон: «Слушайте, я вам расскажу такой анекдот!» Но Фринк не сдавался:

— Берется шелуха от гороха, на бушель шелухи — шесть галлонов воды, кипятить эту смесь, пока...

Миссис Бэббит подошла к ним с умоляющей сладкой улыбкой. Фринк поторопился досказать про рецепт пива, и она весело объявила:

— Прошу к столу!

В дружеском споре — кому из мужчин пройти последнему — они наконец перешли из гостиной в столовую, и по дороге Верджил Гэнч всех рассмешил, крикнув громовым голосом:

— Если мне нельзя сидеть рядом с Майрой Бэббит и пожимать ей ручку под столом, я не играю и ухожу домой!

В столовой все немного растерялись, пока миссис Бэббит хлопотала:

— Погодите — ах, мне так хотелось приготовить для каждого карточку с рисунком, но не вышло — погодите, сейчас: мистер Фринк, вы сядьте сюда...

Обед был сервирован в лучшем стиле женских журналов, когда салат подается в выдолбленных яблоках, и все блюда, кроме неизменных жареных цыплят, напоминают что-нибудь другое.

Обычно мужчинам не о чем было разговаривать со своими дамами: флирт — искусство неизвестное на Цветущих Холмах, а царства контор и кухонь меж собой не соприкасаются. Но под воздействием коктейля беседа разгорелась вовсю. У каждого из мужчин накопилось множество важнейших соображений насчет сухого закона, и теперь, заполучив внимательного слушателя в лице соседки, они пустились в рассуждения:

— Нашел место, где можно достать сколько угодно спиртного по восьми за кварту...

— Читали, как один человек заплатил тысячу долларов за десять ящиков «вырви-глаза», а потом оказалось, что там одна вода? Говорят, он стоял на углу, и вдруг к нему подходит какой-то тип...

— Говорят, в Дейтройт контрабандой пригнали целый пароход этого самого...

— Может попасться всякая ядовитая штука — древесный спирт, да мало ли что...

— Конечно, я принципиально с этим согласен, но я не желаю, чтобы меня учили думать и жить! Ни один американец этого не потерпит...

Но всем показалось, что Орвиль проявил дурной вкус — и никто не улыбнулся его шутке,— когда он ляпнул:

— Главное в сухом законе — не разводить вокруг него столько сырости.

И только после того, как эта тема была исчерпана, разговор стал общим.

Знакомые часто с восторгом говорили о Верджиле Гэнче: «Ну, этому все на свете сходит с рук! Он может отмочить такую штуку при дамах, что небу станет жарко, и все будут только хохотать, а если я скажу что-нибудь хоть чуточку рискованное, с меня голову снимут!»

И сейчас Гэнч привел всех в восторг, крикнув миссис Свенсон — самой молоденькой из дам:

— Луэтта! Я спер из кармана у вашего Эдди ключ от двери, может, мы с вами удерем потихоньку, чтоб никто не видел? Мне нужно,— тут он расплылся в хитрейшей улыбке,— сказать вам что-то очень важное!

Женщины захихикали, и Бэббит тоже почувствовал себя способным на шалости:

— Слушайте, друзья! Хочется мне показать вам одну книжечку, но не решаюсь. Мне ее дал док Паттен.

— Джордж! Как тебе не стыдно! — остановила его миссис Бэббит.

— Да, вот это книжка! С перцем — не то слово! Антропологический доклад насчет — ну, насчет всяких обычаев тихоокеанских дикарей, чего там только нет! Купить ее, конечно, нельзя. Вердж, хочешь, дам почитать?

— Чур, я первый! — потребовал Эдди Свенсон.— Наверно, ядовитая вещь!

— А я вчера слышал отличный анекдот,— объявил Орвиль Джонс.— Идут два шведа с женами...

Он рассказал «отличный» анекдот с еврейским акцентом, слегка продезинфицировав конец. Гэнч тут же его поправил. Но вскоре влияние коктейлей ослабело, искатели истины вернулись к трезвой реальности.

Чам Фринк недавно разъезжал с лекциями по маленьким городам и сейчас со смешком рассказывал:

— До чего приятно вернуться к цивилизации! Навидался я этих провинциальных городишек, хватит с меня! Нет, я ничего не говорю, таких хороших людей, как там, в целом свете поискать, но, понимаете, эти городишки с их главной улицей до того сонные, что... Нет, хорошо вернуться к живым людям!

— Я думаю! — обрадовался и Орвиль Джонс.— Верно, таких хороших людей в целом свете не найдешь, но мамочка моя! О чем они разговаривают! Ей-богу, они только и знают, что говорить о погоде да о новых фордах, провались я на месте!

— Правильно! — подтвердил и Эдди Свенсон.— Они все разговаривают об одном и том же!

— Вот именно! — подхватил Верджил Гэнч.— Повторяют одно и то же без конца!

— Да, удивительное дело! Они совсем лишены способности смотреть на вещи объективно. Просто повторяют одни и те же разговоры про погоду, про форды и так далее,— заметил и Говард Литтлфилд.

— Ну, за это их осуждать нельзя! Нет у них интеллектуальных стимулов, какие получаешь здесь, в большом городе,— сказал Чам Фринк.

— Ей-богу, верно! — поддержал его Бэббит.— Я, конечно, не хочу, чтобы вы, наша ученая братия, стали задаваться, но должен отметить, что каждый старается стать головой выше, когда сидит в компании с таким знаменитым поэтом или с таким докой в экономике, как Говард. А этим провинциальным дурачкам и поговорить не с кем, кроме как друг с другом, не удивительно, что они и разговаривают некультурно, малограмотно, да и думать разучаются!

Орвиль Джонс добавил:

— И потом возьмите другие наши преимущества — кино, например. Эти мужички-серячки думают, что им бог знает как повезло, если у них каждую неделю новая программа! А у нас в городе в любой вечер можно выбирать хоть из дюжины картин!

— Ясно, а сколько пользы получаешь, когда трешься весь день среди дельцов высшей марки,— им пальца в рот не клади! — сказал Эдди Свенсон.

— А вместе с тем,— начал Бэббит,— нечего особенно оправдывать эти захолустные городишки. Люди там сами виноваты, что не проявляют инициативы,— взяли бы и уехали в большой город, как мы с вами! И скажу вам по секрету, как друзьям,— завидуют они нашему брату, просто ужас! Каждый раз, как я приезжаю в Катобу, я как будто должен просить прощения у своих друзей детства за то, что я более или менее преуспел в жизни, а они — нет. А разговоришься с ними, вот как мы с вами, проявишь какую-то тонкость мысли, то, что называется широкий кругозор, они сразу подумают — это он нарочно выставляется! Возьмите моего сводного брата Мартина, он хозяин того самого универсального магазинчика, которым владел еще мой папаша. Честное слово, готов пари держать, что он даже не знает про такую штуку, как полный парад,— я хочу сказать, фрачный костюм. Если бы он сейчас сюда вошел, он бы подумал, что мы с вами бог знает кто,— не представляю, за кого он принял бы нас! Да, братцы, завидуют они нам, вот что!

— Верно! — согласился Чам Фринк.— Но главное, что меня в них раздражает, это полное отсутствие культуры, недооценка красоты — простите, что я так высокопарно выражаюсь! Я, знаете, люблю прочесть хорошую лекцию, почитать лучшие свои сти-

хи,— не те, что для газет, а те, что для журналов. Пробуешь пронять их чем-нибудь таким, возвышенным, а их ничто не берет, кроме старых анекдотов с предлинной бородой, грубых шуток и всякой такой чепухенции, за которую любого из нас выставили бы в два счета за дверь, посмей он только рассказать...

— В общем, наше счастье, что мы живем среди цивилизованных людей, у которых есть и художественный вкус, и деловой нюх,— подытожил Верджил Гэнч.— Скучновато нам было бы, если б мы застряли на какой-нибудь их Главной улице и стали рассказывать этим старым бобрам про нашу здешнюю жизнь. Но в одном надо им отдать справедливость: каждый, самый маленький, американский город стремится расти, достигнуть современного уровня. И растут, черт их подери, растут! Кто-нибудь начнет крыть такую захолустную дыру, рассказывать, как он заехал туда в тысяча девятисотом году, и ничего там, кроме одной грязной улицы, не было, понимаете, одной на девятьсот жителей, похожих на улиток. А приедешь туда в девятьсот двадцатом году, смотришь — асфальт, чудная гостиница, первоклассный магазин дамского готового платья — просто красота! Нельзя смотреть только на то, какие они сейчас, эти городишки, надо разобраться, чем они хотят стать, а у них у всех есть свой идеал, оттого они и станут когда-нибудь отличнейшими городами. А идеал у них — стать такими, как наш Зенит, вот что!

III

Хотя все они и жили в самом близком соседстве с Т. Чамонд-ли Фринком и он часто брал у них на время косилки для газона и гаечные ключи для машины, каждый помнил, что Фринк — знаменитый поэт и выдающийся деятель рекламы и что за его простотой и доступностью кроются знойные джунгли литературных тайн, куда никому из них нет доступа. Но сегодня, разоткровенничавшись под влиянием джина, он сам допустил их в своя святая святых.

— Меня страшно мучит одна литературная проблема. Сейчас я занят составлением серии реклам для автомобильной фирмы Зико, и мне хотелось бы из каждой рекламы сделать этакую поэтическую жемчужину — в хорошем стиле, понимаете. Я целиком и полностью придерживаюсь теории, что весь фокус — в совершенстве формы, без этого и писать не стоит, но такой крепкий орешек мне еще никогда не приходилось раскусывать. Вы, может быть, думаете, что мне труднее писать стихи, я хочу сказать — на лирические темы: семья, очаг, счастье и прочее, но это, в общем, легче легкого. Тут никаких просчетов быть не может: отлич-

но знаешь, чем дышит каждый порядочный человек, если он действительно наш, и выражаешь именно эти чувства. Но индустриальная поэзия — такой литературный жанр, где нужно открывать новые, неизведанные области. А знаете, кто по этой части наш, американский гений? Вы даже имени его не слыхали, и я не слыхал, но его творчество надо сохранить для будущих поколений, чтобы они могли судить о силе американской мысли наших дней, об ее оригинальности. Я говорю о человеке, который пишет рекламы табака «Принц Альберт». Нет, вы только послушайте:

Сплошная радость и восторг — П. А. в хорошей трубке! Скажи, слыхал ли ты, как хвастают шоферы: рвануть с пяти на пятьдесят единым духом, дать газу, чтобы небу стало жарко! Да, в этом что-то есть, не спорю, но, между нами, милый друг, проверька сам любым спидометром, как быстро с уныния от скверных табаков на скорость высшую блаженства переключишься ты, усевшись с трубкой, где тлеет вкусный и душистый «Принц Альберт».

«Принц Альберт» попадает в точку, он словно весело поет своим чудесным ароматом: «Давай еще!» Всегда прохладный и душистый! Нет, никогда куренье никому не доставляло такой бодрящей, крепкой радости мужской!

Закуривай, дружок! Берись за трубку сразу — не упускай момент! «Принц Альберт» — сам пойми! — вольет в тебя такую силу, что ты всем сразу дашь и шах и мат. Уж мы-то знаем оба, о чем я говорю!

— Ого! — восхищенно протянул агент автомобильной компании Эдди Свенсон,— вот это настоящая мужская литература, честное слово! Ну и молодчага этот малый — впрочем, что я! Не может быть, чтобы один человек так здорово писал! Наверно, там целая комиссия классных писак. Впрочем, это неважно! И пишет-то он не для каких-нибудь длинноволосых нюнь, он пишет для настоящих парней, для меня — и я снимаю перед ним кепку. Вот только одно: поможет такое объявление продаже товара или нет? А не завела ли фантазия этого альбертовского сочинителя неизвестно куда,— все они такие, эти поэты! Читаешь — классная штучка, но о товаре она мне ничего не говорит! Прочесть-то я прочту, а покупать «Принц Альберт» все равно не стану, потому что тут ничего толком про самый табак не написано! Одни выдумки!

Фринк воззрился на него с возмущением:

— Нет, ты, брат, спятил! Неужели мне надо объяснять тебе, что такое стиль? Во всяком случае, мне очень хотелось написать рекламу для Зико именно в таком роде. Но не могу — хоть тресни! Пришлось придерживаться чистой поэзии, написал для Зико очень утонченную штучку. Послушайте, не знаю, понравится ли:

Далекий путь зовет-манит, он там, вдали, за горной цепью, он далеко, и ждет того, в ком кровь кипит, как пламень алый, на чьих устах звенит-поет всех храбрецов призыв старинный. Прочь, будничная цепь забот, долой, постылая тревога! Лететь и мчаться — наш девиз; в нем наше счастье — не на миг, в нем наша жизнь: лететь вперед! И эту истину постигли создатели машины Зико. Они обдумывали все — не только красоту и цену. Машина — легче антилопы, скользит, как ласточка в полете, но сила, сила в ней — слоновья! В ней дышит все изяществом и мощью, машина эта — первый класс. Послушай, друг мой! Никогда не знать тебе высокого искусства путешествий, если не приобретешь ты ЗАЛОГ ЗЕМНОГО СЧАСТЬЯ — ЗИКО.

— Да,— задумчиво добавил Фринк,— могу сказать, что я сумел вложить какую-то элегантность в эти строки, но оригинальности, этакой рекламной зазывности тут все-таки не хватает!

В ответ на это все гости вздохнули с сочувствием и с восхищением.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Бэббит любил своих друзей, обожал играть роль хозяина и кричать: «То есть как это вы не хотите больше цыпленка — что за выдумки!» — и преклонялся перед талантом Т. Чамондли Фринка, но подъем от коктейлей уже пропал, и чем больше он ел, тем меньше веселился. Кроме того, дружеская атмосфера обеда была нарушена ссорой четы Свенсонов.

На Цветущих Холмах и в других зажиточных кварталах Зенита, особенно среди «молодоженов», было много женщин, которые ничего не делали. Хотя прислуги они держали мало, но при газовом отоплении, электрических плитах с мойками для посуды и пылесосами в выложенных кафелем кухнях квартиры у них были настолько удобные, что домашней работы делать почти не приходилось, а кроме того, их стол главным образом состоял из полуфабрикатов и готовых закусок. Редко у них бывало больше одного-двух детей, чаще браки были бездетными, и хотя существовала легенда, будто мировая война приучила людей считать всякую работу респектабельной, их мужья не позволяли им «тратить время зря и забивать себе голову дурацкими идеями», занимаясь бесплатно общественной деятельностью, и еще больше возражали против платной работы, чтобы не было повода для разговоров, будто мужья их плохо обеспечивают. Забот по дому им хватало часа на два. не больше, а в остальное время они объеда-

лись шоколадом, ходили в кино, разглядывали витрины магазинов, собирались по двое, по трое сплетничать и играть в карты, робко мечтали о любовниках, которых и в помине не было, и накопляли невероятную энергию, находившую выход в грызне с мужьями.

Классический образец супружеской грызни являла чета Свенсонов.

В течение всего обеда Эдди Свенсон во всеуслышание ворчал по поводу нового платья жены. Он говорил, что платье слишком короткое, до неприличия прозрачное и чересчур дорогое. Он искал сочувствия у Бэббита:

— Скажите честно, Джордж, какого вы мнения об этой тряпке, которую отхватила Луэтта? Наверно, и вы считаете, что дальше идти некуда?

— Да что вам взбрело в голову, Эдди? По-моему, чудное платьице!

— Конечно, мистер Свенсон! — поддержала мужа миссис Бэббит.— Платье просто прелесть!

— Что, съел, умник? Много ты понимаешь в платьях! — вскинулась Луэтта, а гости задумчиво жевали и поглядывали на ее плечи.

— Перестань! — оборвал ее Свенсон.— Настолько-то я понимаю, чтоб видеть, когда бросают деньги на ветер, и вообще — надоело! У тебя полный шкаф платьев, а ты их не носишь! Я уж тебе высказывал мое мнение, но ты, ясное дело, ни малейшего внимания не обращаешь! Пока от тебя чего-нибудь добьешься, лопнуть можно.

Они ссорились без умолку, и все принимали в этом участие — все, кроме Бэббита. Он был как в тумане, ничего не чувствовал, кроме своего желудка; внутри все горело и жгло. «Поел лишнего, а вот сладкое совсем уже ни к чему!» — мысленно простонал он, глотая скользкие холодные куски пломбира с ореховым тортом, липким, как мыльный крем для бритья. Ему казалось, что желудок набит глиной, его распирало, подперло к самому горлу, мозг превратился в раскаленную жижу, и с мучительной натугой он продолжал улыбаться и что-то выкрикивать, как подобало хозяину на Цветущих Холмах.

Если бы не гости, он вышел бы на улицу, и на воздухе прошла бы эта хмельная сытость, но в тумане, наполнявшем комнату, гости трещали, трещали без умолку, казалось, этому конца не будет, а он сидел и мучился: «Дурак я, что столько съел, хватит, больше ни кусочка!» — и тут же ловил себя на том, что снова ест тошнотворно сладкий подтаявший пломбир. Присутствие друзей потеряло всю прелесть, и на него не произвело ни малейшего

впечатления, когда Говард Литтлфилд извлек из своей научной сокровищницы сообщение о том, что химическая формула каучука-сырца — $C_{10}H_{16}$ и что он превращается в изопрен, то есть в $2C_5H_8$, и вдруг, без всякой причины, Бэббит не только ощутил скуку, но и сознался себе, что ему невыносимо скучно. Какое счастье, что можно наконец встать с неудобного жесткого стула и развалиться на диване в гостиной!

Судя по бессвязным, вялым репликам гостей, по их лицам, болезненно-напряженным, словно их кто-то медленно душил, они не меньше своего хозяина страдали от тягот светской жизни и ужасов обильной пищи. Все облегченно вздохнули, когда было предложено сесть за бридж.

У Бэббита стало проходить ощущение, что его варят заживо. Ему повезло в игре. Он снова терпеливо выносил неистребимую бодрость Верджила Гэнча. А мысленно он отдыхал с Полем Рислингом на берегу озера, в Мэне. Это ощущение было сильным, острым, как тоска по родине. Он никогда не бывал в Мэне и все же представлял себе горы в тумане, спокойную вечернюю гладь озера. «Поль лучше всех этих умников, вместе взятых,— подумал он.— Хоть бы уехать подальше от всего на свете».

Даже Луэтта Свенсон не вывела его из оцепенения.

Миссис Свенсон была женщина хорошенькая и кокетливая. Бэббит в женщинах не разбирался, он интересовался только их вкусами, сдавая им меблированные квартиры. Всех женщин он делил на Настоящих Леди, на Работающих Женщин, Старых Чудачек и Веселых Курочек. Он мог расчувствоваться перед женскими прелестями и был того мнения, что все женщины (кроме женщин из его семьи) «особенные» и «непонятные». Но он безотчетно чувствовал, что к Луэтте Свенсон можно найти подход. У нее были влажные глаза и влажные губы. От широкого лба лицо ее сужалось к остренькому подбородку, рот у нее был тонкий, но твердый и жадный, а между бровями лежали две привлекательные изогнутые морщинки. Ей было лет тридцать, а то и меньше. Сплетня никогда не касалась ее, но все мужчины с первой же встречи начинали за ней ухаживать, а все женщины поглядывали на нее со сдержанной неприязнью.

Сидя на диване рядом с Луэттой, Бэббит в перерывах между партиями обращался к ней с той подчеркнутой галантностью, принятой на Цветущих Холмах, которая была не столько ухаживанием, сколько испуганной попыткой воздержаться от всякого флирта.

— Вы сегодня хороши, как новенький табачный киоск, Луэтта.

— Правда?

— Наш Эдди что-то брюзжит.

— Да! О, как мне это надоело!

— Что ж, если вам надоест муженек, можете сбежать с дядей Джорджем.

— Уж если бы я сбежала... Впрочем, это я так...

— А вам кто-нибудь уже говорил, что у вас замечательно красивые руки?

Она посмотрела на свои руки, спустила кружевной рукав пониже, но в общем не обращала на Бэббита внимания, погрузившись в невысказанные мечты.

Бэббит слишком раскис в этот вечер, чтобы выдерживать роль неотразимого (хотя и строго добродетельного) мужчины. Он вернулся к карточным столам. Никакого восторга в нем не вызвало и предложение миссис Фринк, маленькой пискливой дамочки, попробовать заняться спиритизмом и столоверчением: «Знаете, мой Чам умеет по-настоящему вызывать духов — честное слово, он меня даже иногда пугает!»

Дамы весь вечер не участвовали в беседе, но тут, поскольку известно, что женский пол больше интересуется миром духовным, тогда как мужчины сражаются с грубой материей, они взяли инициативу и закричали: «Да, да, давайте, давайте!»

В темноте мужчины вели себя торжественно и глупо, а их жен от восторга пробирала дрожь. Но когда мужчины пожимали им руки, они хихикали: «Ведите себя как следует, а то я все скажу!»

И в Бэббите проснулся некоторый интерес к жизни, когда рука Луэтты крепко сжала его пальцы.

Все наклонились вперед, затаив дыхание. Кто-то громко вздохнул, заставив соседей вздрогнуть. В мутном свете, просачивавшемся из передней, все казались неземными существами и чувствовали себя бесплотными. Миссис Гэнч вдруг взвизгнула, и все вскочили с неестественной веселостью, но Фринк зашикал, и все благоговейно притихли. Внезапно, не веря себе, они услышали стук. Все уставились на еле видные руки Фринка, но, убедившись, что они лежат спокойно, заерзали на местах, притворяясь, будто на них это не произвело впечатления.

Голос Фринка звучал серьезно:

— Кто здесь?

Стук.

— Означает ли один удар «да»?

Стук.

— А два удара — «нет»?

Стук.

— Леди и джентльмены, просить ли нам этого духа связать

нас с духом кого-нибудь из усопших знаменитостей? — шепотом спросил Фринк.

Миссис Орвиль Джонс умоляюще протянула:

— Ах, давайте поговорим с Данте! Мы изучали его в литературном кружке. Ты, конечно, знаешь, кто он был, Орви?

— Ясно, знаю! Поэт из итальянцев. Где я, по-твоему, воспитывался, а? — обиженно сказал ее муж.

— Помню, помню, тот самый, который проехался по туристской путевке в ад! — сказал Бэббит.— Я-то его стишков не читал, но мы про него учили в университете.

— Вызвать мистера Данта! — торжественно провозгласил Эдди Свенсон.

— Вам, наверно, легко с ним столковаться, мистер Фринк, все-таки вы оба — поэты! — сказала Луэтта Свенсон.

— Оба поэты! Откуда вы забрали себе в голову такую чушь! — возмутился Верджил Гэнч.— Конечно, этот самый Дант в свое время, наверно, неплохо разворачивался,— не знаю, сам не читал,— но, если говорить правду, разве он бы справился, если б ему пришлось заняться полезной литературой, каждый день выдавать для газетного синдиката стих, как приходится Чаму!

— Верно! — поддержал его Эдди Свенсон.— Этому старью что! Времени у них было по горло! Мать честная, да я сам мог бы отхватить неплохую поэмку, если бы мне на это дали целый год и разрешили писать про всякую допотопную чепуху, как этому Данту.

— Тише! — потребовал Фринк.— Молчите, я сейчас его вызову... О Светлоглазый дух, спустись во... м-ммм... во тьму пределов и приведи сюда дух Данте, мы, смертные, хотим послушать мудрые его слова!

— Ты забыл дать ему адрес: тысяча шестьсот пятьдесят восемь, Серная улица, Огненные Холмы, Ад,— загоготал Верджил Гэнч, но все были оскорблены в своих религиозных чувствах. А вдруг, даже если это стучит Чам, вдруг все-таки что-то есть, да и вообще интересно поговорить со стариком из какого-то там века, словом, из прошлого.

Стук. Дух Данте явился в гостиную Джорджа Ф. Бэббита. Казалось, он исполнен готовности отвечать на все вопросы. Он даже сказал, что «не прочь провести с ними вечер».

Фринк передавал его слова, называя все буквы алфавита, пока дух не отмечал стуком нужную букву.

Литтлфилд ученым тоном спросил его:

— Нравится ли вам в раю, мессир?

— Мы счастливы в горних высях, синьор. Мы рады, что вы изучаете высшую истину спиритуализма,— отвечал ему Данте.

Все задвигались, зашуршали крахмальные рубашки, потрескивали корсеты. А вдруг — вдруг что-нибудь есть на самом деле?

Но Бэббита беспокоило другое: вдруг Чам Фринк и в самом деле спиритуалист! Для литератора Чам был вполне порядочным малым, аккуратно посещал пресвитерианскую церковь на Чэтем-роуд, участвовал в обедах клуба Толкачей, любил сигары, автомобили, соленые анекдоты. Но вдруг втайне он... Черт их знает, этих высоколобых, ведь настоящий спиритуалист — это что-то вроде социалиста!

Но в присутствии Верджила Гэнча никто не мог долго сохранять серьезность.

— Ну-ка, спросим у Дантика, как там Джек Шекспир и этот римский дядя, которого окрестили в мою честь Верджилием, как они там поживают и не хотят ли сниматься в кино! — заорал он, и все сразу расхохотались. Миссис Джонс взвизгнула, Эдди Свенсон потребовал, чтобы у Данте спросили, не холодно ли ему ходить в одном венке.

Польщенный Данте скромно отвечал на вопросы.

Но Бэббита мучила проклятая неизвестность, и он мрачно раздумывал, сидя в спасительной темноте: «Сам не знаю... мы так легкомысленно относимся, думаем — умней нас никого нет. Неужто такой человек, как Данте... Надо было раньше почитать его стихи. А теперь всю охоту отбило».

Почему-то Бэббиту мерещился скалистый холм, а на вершине, под сенью зловещих туч, одинокая, суровая фигура. Его самого огорчило внезапно вспыхнувшее презрение к лучшим своим друзьям. Он крепко сжал руку Луэтты Свенсон, и ему стало легче от ее живого тепла. Привычка, как старый солдат, встала на стражу, и он встряхнулся: «Что это на меня напало сегодня, черт подери?»

Он похлопал по ручке Луэтты, желая показать, что в его пожатии ничего предосудительного не было, и крикнул Фринку:

— Слушайте, а может, заставим старичка Данта почитать нам свои стишки? Потолкуйте-ка с ним. Скажите ему: «Буэна джорна, синьор, коман са ва, ви гейтс? Кескесе [1] насчет маленькой поэмки, а, синьор?»

II

Снова зажгли свет. Женщины уже сидели на краешке стульев в решительной и выжидающей позе, которой жена обычно показывает, что как только кончит говорить очередной собеседник,

---

[1] Добрый день, синьор, как поживаете, как дела? Как... (Искаж. *итал., франц., нем., франц.*)

она весело скажет мужу: «Знаешь, милый, а не пора ли нам домой?» На этот раз Бэббит не делал бурных попыток удержать гостей. Ему — да, ему необходимо было кой о чем подумать... Снова заговорили о спиритических сеансах. («Ох, почему они не идут домой! Почему они не уходят?») С уважением, но без всякого энтузиазма слушал он глубокомысленные наставления Говарда Литтлфилда: «Соединенные Штаты — единственная страна в мире, где государственное устройство является нравственным идеалом, а не только общественным установлением». («Правильно, правильно... да неужели они никогда не уйдут?») Обычно он обожал «заглядывать хоть одним глазком» в таинственный мир машин, но в этот вечер он почти не слушал откровений Эдди Свенсона: «Если хотите брать выше классом, чем джэвелин, так лучше зико не найти. Недели две назад решили сделать опыт — имейте в виду, что опыт был поставлен честно, по всей форме! Взяли обыкновенную туристскую машину зико и на третьей скорости пустили ее в гору, на Тонаваду, и один тип мне сказал...» («Зико неплохая машина — о господи, неужели они всю ночь собираются тут сидеть?»)

Наконец гости с шумом стали расходиться, повторяя: «Мы так чудно провели время!»

Больше всех шумел на прощание сам Бэббит, но, выкрикивая любезности, он думал про себя: «Фу, все-таки справился, а то мне уже казалось, что я не выдержу!» Он предвкушал самое утонченное удовольствие, уготованное хозяину: поиздеваться над гостями в ночной тишине. Закрыв двери, он сладострастно зевнул, выпятил грудь и, подрагивая плечами, с презрительным видом обернулся к жене.

Но та вся расплылась в улыбке:

— Ах, как все вышло мило! Я знаю, они были просто в восторге. Правда?

Нет, нельзя. Смеяться он не мог. Это было бы все равно что издеваться над счастливым ребенком. И он торжественно солгал:

— Ну еще бы! Самый удачный прием за весь год — ни у кого такого не было!

— А какой чудный обед! Честное слово, цыплята удались изумительно!

— Еще бы! Хоть королеву угощай. Я таких чудных цыплят сто лет не ел!

— И как Матильда удачно их зажарила! А суп какой вкусный, верно?

— А как же! Дивный суп. Такого супа я с пеленок не пробовал.

Но тут голос ему изменил. Они стояли в передней, под ярким светом плафона с квадратным, похожим на ящик абажуром из красноватого стекла, обрамленного полосами никеля. Жена в упор посмотрела на Бэббита.

— Что с тобой, Джордж? У тебя такой голос... Можно подумать, что тебе вовсе не было весело!

— Нет, было очень весело!

— Джорджи! Да что с тобой?

— Устал очень. В конторе столько работы. Надо бы мне поехать отдохнуть как следует.

— Так мы же через несколько недель уедем в Мэн, милый!

— М-да-а...— И вдруг он сразу откровенно выпалил все, что думал: — Слушай, Майра, хорошо бы мне поехать туда пораньше.

— Но тебе надо встретиться по делу с каким-то человеком в Нью-Йорке.

— С каким человеком? Ах, да, да. С этим, как его... Нет, уже не надо. Но я хочу поехать в Мэн пораньше — порыбачить малость, поймать здоровенную форель! — Его нервный смешок прозвучал совсем фальшиво.

— Отчего же нам и не поехать пораньше? Верона с Матильдой прекрасно справятся по хозяйству, а мы с тобой можем уехать в любое время, как только ты выберешься.

— Нет, я не о том. В последнее время я что-то нервничаю, лучше бы мне уехать одному, стряхнуть с себя все...

— Как, Джордж! Ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой?

Она так искренне огорчилась, что ей было не до трагических упреков, не до высокомерных обид,— она просто растерялась, беззащитная, пухлая, красная, как распаренная свекла.

— Да нет же...— И, вспомнив, что Поль Рислинг все это предсказывал, он сам растерялся не меньше ее.— Понимаешь, иногда полезно старому ворчуну вроде меня побыть одному, успокоиться.— Он пытался говорить как добрый папаша.— А когда ты с ребятами приедешь,— я-то думал, что заберусь туда на несколько деньков раньше вас,— я уже буду совсем веселый, понимаешь? — Он уговаривал ее густым добрым басом, снисходительно улыбаясь, как благодушный пастырь, благословляющий прихожан на пасху, как остроумный лектор, когда он хочет покорить аудиторию своим красноречием, как все мужчины, когда они хитрят и лукавят.

Все праздничное оживление исчезло с ее лица, когда она посмотрела на мужа.

— Значит, я тебе мешаю, когда мы ездим отдыхать? Значит, тебе никакого удовольствия не доставляет, когда я с тобой?

И тут его прорвало. В страшной истерике он закричал, завизжал, как младенец:

— Да, да, да! Да, черт подери! Неужели ты не понимаешь, что я больше не могу! Я устал! Мне надо прийти в себя! Слышишь — надо, надо! Мне все осточертело, надоело — все надоело! Мне надо, надо...

И тут она сразу стала его заботливым старшим другом:

— Да, да, милый, конечно! Поезжай один! Возьми с собой Поля, езжайте вдвоем, порыбачьте, отдохните! — Она погладила его по плечу, для чего ей пришлось стать на цыпочки. Он весь дрожал от беспомощности и в эту минуту не только испытывал к ней привычную привязанность, но и пытался найти у нее поддержку.

— А теперь марш наверх! — бодрым голосом приказала она.— И сразу спать! Мы все устроим. Двери я сама запру. Ну, беги!

Много минут, часов, целую вечность он лежал без сна, дрожа от самого примитивного страха, понимая, что он вдруг обрел свободу, и не зная, что с ней делать, с этой непривычной, обременительной вещью — свободой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Ни один доходный дом в Зените не строился с таким решительным намерением выиграть площадь, как Ревельсток-Армс,— дом, в котором жили Поль и Зилла Рислинг. Кровати были вдвинуты в низкие альковы, а спальни превращены в гостиные. Кухня походила на шкаф, где еле помещалась электрическая плита, медная раковина, холодильник, а иногда втискивалась и прислуга из балканских иммигранток. Все в этом доме было в высшей степени современным и в высшей степени тесным — кроме гаражей.

Бэббиты пришли в гости к Рислингам. Заходить к Рислингам было делом рискованным, очень увлекательным, но иногда неприятным. Зилла была подвижная, решительная, пышная и полногрудая блондинка. Когда она снисходительно старалась быть веселой, настроение у нее повышалось, и с ней было занятно. О людях она говорила с едкой иронией и всегда разоблачала человеческое лицемерие. «Верно, верно!» — обычно отвечали ей растерянные собеседники. Она танцевала как одержимая, заставляла всех веселиться, но вдруг ни с того ни с сего принимала оскорбленный вид. Оскорблялась она без конца. Вся жизнь была сплошным заговором против нее, и она яростно разоблачала этот заговор.

Сегодня вечером она была вполне любезна. Она только намекнула, что Орвиль Джонс носит накладку на лысине, что пение мис-

сис Т. Чамондли Фринк напоминает визг фордовских тормозов и что достопочтенный Отис Дибль — мэр Зенита и кандидат в конгресс,— набитый дурак, что, кстати, было правдой. Бэббиты и Рислинги неуютно восседали на жестких, как камень, обитых плюшем стульях в тесной гостиной Рислингов, где был фальшивый камин, а на сверкающей лаком пианоле лежала тяжелая, шитая золотом дорожка.

— Чего мы сидим? — завизжала вдруг миссис Рислинг.— Давайте веселиться. Ну-ка, Поль, доставай скрипку, а я поучу Джорджи танцевать как следует!

У Бэббитов настроение было серьезное. Они хотели обсудить поездку в Мэн. Но стоило только миссис Бэббит с улыбкой на пухлых губах намекнуть: «Скажи, а Поль тоже устал после зимней работы, как мой Джордж?» — и Зилла сразу вспомнила все обиды, а когда Зилла Рислинг вспоминала, как ее обижали, жизнь останавливалась, пока не выяснялось, кто виноват.

— Устает? Нет, он не устает, он просто сходит с ума! Все думают, Поль такой благоразумный,— о да, конечно, он любит притворяться невинным ягненком, а сам упрям, как мул. Вы бы с ним пожили! Сами бы почувствовали, какой он милый! Нарочно притворяется кротким, а сам ни в чем не уступит. А про меня все только и говорят, что я старая ворчунья, но если бы я не лезла из кожи вон и не раскачивала его, мы бы совсем заплесневели, подохли бы от тоски! Никуда его не вытащишь... Да вот вчера, только из-за того, что машина не в порядке,— а он сам виноват, надо было раньше поехать в ремонтную мастерскую и показать аккумулятор механику,— Поль не захотел пойти в кино, надо было ехать на трамвае. Все-таки мы поехали, и кондуктор попался такой нахал, а Поль даже не заступился!

Понимаете, стою я на площадке, жду, пока меня пропустят в вагон, а эта скотина кондуктор начинает орать на меня: «Ну, скорее, поторапливайтесь!» Да на меня никто в жизни так не орал! Я просто остолбенела, обернулась к нему и говорю,— я решила, что он ошибся! «Вы это мне?» — говорю самым вежливым тоном, а он опять как закричит: «Да, вам! Вы весь вагон задерживаете!» Тут я посмотрела на него, вижу — грязная свинья, хам, которого добрым словом не проймешь; тогда я остановилась и говорю ему прямо в глаза: «Я извиняюсь, но вы ошибаетесь, говорю, я никому не мешаю, задерживают те, кто впереди, а кроме того, разрешите вам сказать, молодой человек, что вы низкий, грязный, нахальный, вонючий щенок,— так и сказала! — и не джентльмен! Я про вас непременно напишу вашему начальству, посмотрим, допустят ли там, чтобы каждый пьяный скот, только оттого, что он надел драную форму, смел оскорблять настоящую леди, и вообще попрошу

вас оставить вашу грязную ругань при себе!» Говорю, а сама жду, что Поль будет вести себя как настоящий мужчина и заступится за меня, а он стоит, будто его это не касается, и делает вид, что ничего не слышит. Ну, тут я ему все выложила: «Как, говорю...»

— Да брось, Зилл! — простонал Поль,— все знают, что я тряпка, а ты нежный бутончик, ну и хватит!

— Хватит? — Лицо Зиллы перекосилось, как у Медузы, голос колол, словно ржавый клинок. Она захлебывалась в приступе злости, в сознании своей правоты. Она чувствовала себя рыцарем-крестоносцем и, как всякий крестоносец, наслаждалась возможностью творить зло во имя добродетели.— Хватит? Если бы люди только знали, что я тебе все спускаю...

— Да не ори ты на меня!

— Хорош бы ты был, если б я на тебя не орала! Валялся бы по целым дням в постели или играл до полуночи на своей дурацкой скрипке! Ты от рождения лентяй, бездельник, ты от рождения трус, Поль Рислинг...

— Ах, Зилла, перестань! Ты сама ни одному своему слову не веришь! — запротестовала миссис Бэббит.

— Нет, не перестану, и каждое мое слово — правда!

— Ну, Зилла, как можно! — Миссис Бэббит всполошилась, как заботливая мамаша. Она была ровесницей Зиллы, но казалась старше — правда, только с первого взгляда. Она была такая спокойная, расплывшаяся, перезрелая, а глядя на сорокапятилетнюю Зиллу, крашеную, затянутую в корсет, сразу думалось, что она, наверно, старше, чем кажется.— Как можно так разговаривать с бедным Полем!

— Да, он бедный, это верно! Мы были бы оба бедняки, мы бы давно по миру пошли, если б я его не теребила!

— Ну, как можно, Зилла! А мы-то с Джорджем только недавно говорили, как много Поль работал весь год и как хорошо бы отпустить наших мальчиков вдвоем! Я сама уговариваю Джорджа поехать вперед, без нас, в Мэн и отдохнуть там как следует до нашего приезда, и я считаю, что Полю тоже нужно было бы уехать вместе с ним, это было бы просто чудесно!

Поль даже привскочил при таком разоблачении его тайных планов бегства. Он потер руки. Пальцы его дрожали.

— Еще бы! — взвизгнула Зилла.— Ты счастливица! Ты можешь отпустить Джорджа и не следить за ним! Джорджи у тебя старый, толстый. На других женщин и не смотрит! Смелости не хватает!

— Как это не хватает, черт возьми? — Бэббит с жаром встал было на защиту своего драгоценного права — быть безнравствен-

ным, но тут его перебил Поль — и вид Поля не сулил ничего хорошего. Он вскочил с места и вкрадчивым голосом спросил Зиллу:

— Ты, кажется, намекаешь, что у меня много романов?

— Да!

— Что ж, дорогая моя, раз ты сама об этом заговорила... Да, за эти десять лет не было такого времени, чтобы я не находил утешения с какой-нибудь милой ласковой женщиной, и до тех пор, пока ты не перестанешь осыпать меня своими любезностями, я, вероятно, буду тебе изменять. Да это и не трудно. Ты слишком глупа!

Зилла хотела что-то сказать и вдруг закричала, заплакала навзрыд. Нельзя было разобрать ни слова в этом потоке слез и непристойной ругани.

И тут благодушный Джордж Ф. Бэббит внезапно преобразился. Если Поль стал злым, а Зилла превратилась в яростную фурию, если все благопристойные чувства, какие полагалось испытывать в квартире Рислингов, вдруг обернулись самой неприкрытой ненавистью, то больше всего это сказалось на Бэббите. Он был страшен. Он вскочил с места. Он казался огромным. Рука его впилась в плечо Зиллы. Весь лоск добропорядочного дельца мигом слетел с него, в голосе зазвучала жестокость:

— Я этого не потерплю, слышишь! Прекрати эти глупости! Двадцать пять лет я тебя знаю, Зилл, и ни разу ты не упустила случая выместить на Поле свои неудачи! Нет, ты не злая, ты хуже, ты — дура. Благороднее Поля нет человека на божьем свете, слышишь? Всем порядочным людям надоело на тебя смотреть! Пользуешься тем, что ты женщина, и оскорбляешь его самым гнусным образом! А кто ты есть, чтобы такой человек, как Поль, спрашивал у тебя разрешения уехать со мной? Вообразила себя не то королевой Викторией, не то самой Клеопатрой. Дура ты, дура, неужели ты не видишь, как все над тобой смеются, как все издеваются?

Зилла безудержно рыдала:

— Никогда... никогда за всю мою жизнь... никто не говорил...

— Да, в глаза не говорили, а за глаза только так и говорят. Только так! Все говорят, что ты сварливая старуха! Да, старуха, клянусь богом!

Низость этого выпада совсем доконала ее. Глаза у нее сразу потухли, она тихо заплакала. Но Бэббит был неумолим. Он чувствовал, что он всемогущий хозяин положения, что Поль и миссис Бэббит смотрят на него со страхом, что только он один может справиться с Зиллой.

Дрожащим, жалким голосом Зилла прошептала:

— Это неправда!

— Нет, правда!

— Да, я скверная женщина! Простите меня! Я покончу с собой! Я на все пойду! Я... ну, чего, чего ты от меня хочешь?

Она унижалась до последней степени. И ей это доставляло удовольствие. Для любителя скандалов нет ничего приятнее, чем довести себя до полного, мелодраматического, эгоистического самоуничижения.

— Хочу, чтобы ты отпустила Поля со мной в Мэн! — потребовал Бэббит.

— Как же я могу помешать ему? Ты сам сказал, что я идиотка, что никто на меня не обращает внимания!

— Можешь, можешь! Главное, ты должна прекратить намеки, будто стоит ему ступить за порог, как он сию минуту начинает бегать за какой-нибудь юбкой. Сама наводишь его на дурные мысли. Надо быть умней.

— Хорошо, Джордж, я тебе обещаю, честное слово. Я знаю, что поступала плохо. О, простите меня, простите!

Она наслаждалась собой.

И Бэббит тоже наслаждался. Он осуждал с высоты своего величия, и он же отпускал грехи. Торжественно покинув дом Поля вместе с женой, он стал важно поучать ее:

— Конечно, нехорошо было так запугивать Зиллу, но иначе с ней ничего не сделаешь. Да, она у меня попищала, ей-богу!

— Да,— сказала его жена спокойно.— Ты был очень противный. Ты так петушился! Видно было, что тебе доставляет удовольствие воображать себя прекрасным, благородным человеком.

— Ну, знаешь ли! Это уж слишком! Конечно, чего от тебя ждать, я так и думал, что ты пойдешь против меня! Так и думал, что ты будешь заступаться за нее — женское дело!

— Правильно! Бедная Зилла, она так несчастна. Оттого и вымещает все на Поле. Ей совершенно нечего делать в их квартирке. Целыми днями сидит и думает. А какая она была веселая, хорошенькая! Конечно, ей обидно, что все это кончилось. А ты с ней так нехорошо, так некрасиво разговаривал — хуже нельзя! Мне стыдно за тебя и за Поля, он тоже хорош, нашел чем хвастать — своими гадкими романами!

Бэббит рассердился и замолчал, и пока они шли пешком домой, он все четыре квартала дулся с видом оскорбленной добродетели. У подъезда он с высокомерной вежливостью открыл перед ней дверь, а сам остался и зашагал по двору.

И вдруг его словно кольнуло в сердце: а что, если она права, хоть отчасти права? Должно быть, от усталости он стал таким необычно чувствительным: с ним редко бывало, чтобы он сомне-

вался в своем непоколебимом превосходстве. Он почувствовал всю прелесть летней ночи, запах влажной травы.

«Ну и пускай! — подумал он.— Я своего добился. Вырвемся на свободу! Ради Поля я на все готов!»

II

Рыбачью снасть они покупали у братьев Иджемс, в лучшем спортивном магазине, с помощью самого Виллиса Иджемса, их товарища по клубу Толкачей. Бэббит точно с цепи сорвался. Он напевал, приплясывал. Полю он все время бормотал на ухо: «Славно, а? Интересно все это покупать! Молодец Виллис Иджемс, сам нас обслуживает! Слушай-ка, если б вон те типы — видишь, они покупают снасти для Северных озер — если б они узнали, что мы едем прямо в Мэн, они бы в обморок упали, верно?.. Ну-ка, брат Иджемс, я хочу сказать — Виллис! Дерите с нас побольше! Нас легко уговорить! Ну-ка, ну-ка, покажите! Весь ваш магазин скуплю!»

Он восхищался спиннингами, роскошными резиновыми сапогами, палатками с целлулоидовыми окошечками, складными стульями, термосами. В простоте душевной ему хотелось купить все. И тот самый Поль, которому он всегда покровительствовал, теперь удерживал его от этого пьяного азарта.

Но даже Поль просветлел, когда Виллис Иджемс, дипломат и поэт в торговле, заговорил о наживках.

— Вы, друзья, конечно, знаете, что спор идет о том, что лучше — сушеная наживка или свежая. Я лично за сухую наживку. Куда увлекательней!

— Ясно. Это гораздо увлекательней! — Бэббит весь так и пылал, хотя он понятия не имел ни о свежей, ни о сухой наживке.

— Если хотите послушаться моего совета, Джорджи, наберите побольше мотыля, червей и муравьиных яиц. Да-с, муравьиные яйца — вот это наживка!

— Еще бы! Всем наживкам наживка! — радовался Бэббит.

— Да, милый мой! — еще раз подтвердил Виллис Иджемс.— Это, брат, такая наживка, что лучше не сыщешь!

— Да, вряд ли старушке форели долго придется гулять, когда я закину такую наживочку! — объявил Бэббит и сделал толстой ручкой жест, как будто подсекал рыбу.

— Да, и лосось тоже не уйдет! — сказал Иджемс, который никогда лосося и в глаза не видел.

— Лососи! Форели! Эй, Поль, ты только представь себе, как дядя Джордж, засучив штаны, подсекает этакую рыбешку часов в семь утра! Ух ты!

III

И вот они, как ни странно, едут в нью-йоркском экспрессе прямо в Мэн, и, как ни странно, без своих семейств. Наконец они на свободе, в мире настоящих мужчин — в курительном салоне пульмановского вагона.

За окном вагона — тьма, золотистые точки далеких неведомых огней. В качке вагона, в решительном грохоте колес Бэббит все время ощущал одно — он едет, едет, едет! Наклонившись к Полю, он ласково проворчал:

— А неплохо попутешествовать, верно?

В небольшом помещении с выкрашенными желтой охрой металлическими стенками сидели главным образом такие мужчины, которых Бэббит определял как «самых славных парней на свете, настоящих компанейских ребят». На длинном диване расположилось четверо: толстяк с хитрой круглой физиономией, остролицый человек в зеленой фетровой шляпе, очень молодой человек с мундштуком из поддельного янтаря и сам Бэббит. Напротив, в кожаных креслах, сидели Поль и худощавый, в старомодном сюртуке, хитроватый с виду мужчина с глубокими складками у рта. Все они читали газеты, коммерческие журналы или специальные каталоги магазинов посуды и обуви, выжидая, когда завяжется приятная беседа. Начал ее очень молодой человек, который, видимо, впервые ехал в пульмановском вагоне.

— Слушайте, ну и погулял я в Зените, лучше не надо! — похвастался он.— Если знаешь, куда сунуться, так можно повеселиться не хуже, чем в Нью-Йорке!

— Да, вы небось там все вверх дном перевернули! Я сразу подумал, что вы — прожженный гуляка, стоило только на вас посмотреть! — осклабился толстяк.

Все с удовольствием отложили газеты.

— Да будет вам! Я, может, в Арборе такое видел, чего вам и не привелось! — жалобно сказал юнец.

— Не сомневаюсь! Наверно, выпили там все молоко, как заправский пьяница!

Разговор с молодым человеком послужил предлогом для всеобщего знакомства, и, забыв о юнце, все заговорили на более существенные темы. Только Поль, углубившись в газету, где печаталась повесть с продолжением, не присоединился к ним, и все, кроме Бэббита, решили, что он сноб, оригинал и вообще скучный человек.

Кто о чем говорил — определить трудно, да это и неважно, потому что мысли у них у всех были одинаковые и выражали они их с одинаковой самоуверенной и нагловатой безапелляционно-

стью. И если окончательный приговор выносил не сам Бэббит, то он, сияя улыбкой, слушал, как высказывает свое суждение другой верховный жрец.

— Кстати сказать,— заявил первый,— в Зените все-таки торгуют спиртным. Как везде, впрочем. Не знаю, что вы, господа, думаете о сухом законе, но мое мнение, что он хорош для бедняков, у которых нет силы воли, а для таких людей, как мы с вами, это — просто нарушение свободы личности!

— Правильно! Конгресс не имеет права нарушать свободу личности! — подтвердил другой.

Из вагона в курительную зашел какой-то человек, но так как все места были заняты, он выкурил сигарету стоя. Он был Чужак, он не принадлежал к старожилам-аристократам курительного салона. На него смотрели мрачно. После тщетной попытки держать себя непринужденно, для чего он стал осматривать в зеркало свой подбородок, он вынужден был молча уйти.

— Недавно я по делу объехал весь Юг. Неважная там обстановка,— заметил один из синклита.

— Неужели? Неважная, говорите?

— Нет, мне показалось, что дела там хуже, чем обычно.

— Хуже? Скажите пожалуйста!

— Да, я сказал бы, много хуже!

Весь синклит глубокомысленно наклонил головы и решил:

— М-да, значит, такое дело...

— Да и на Западе дела тоже не блестящи, далеко не блестящи.

— Верно, верно! И это здорово отражается на гостиницах. Правда, есть в этом и своя хорошая сторона: в тех гостиницах, где за паршивый номер брали пять, а то и шесть-семь долларов в день, теперь рады-радехоньки сдать самую лучшую комнату за четыре, да еще с услугами!

— Тоже верно. М-да, слушайте, насчет этих самых гостиниц. Заехал я недавно в первый раз в отель «Сен-Фрэнсис» — это в Сан-Франциско,— шикарное место, клянусь богом!

— Правда ваша, друг. «Сен-Фрэнсис» — шикарное место. Первый класс!

— Верно, верно. Согласен с вами. Первоклассная гостиница.

— Так-то оно так, а вот бывал кто из вас в «Риппльтоне», в Чикаго? Не люблю наговаривать — всегда предпочту хвалить, если только можно, но среди всех скверных трущоб, которые пытаются сойти за первоклассный отель, нет ни одной хуже «Риппльтона»! Когда-нибудь я до них доберусь, я им так и сказал, этим типам. Вы знаете, я такой человек — правда, вы меня не знаете, но поверьте, я привык к первоклассному обслуживанию и готов платить как

следует. Приезжаю я недавно в Чикаго поздно ночью. «Риппльтон» этот у самого вокзала, раньше я там не останавливался, но говорю шоферу такси — я считаю, что надо брать такси, когда приезжаешь ночью; может, оно выходит дороже, но все равно окупается: утром надо вставать рано, ходить, распространять свой товар. В общем, говорю я шоферу: «Вези в «Риппльтон»!»

Приезжаем мы туда, я разлетаюсь к конторке, говорю портье: «Ну как, братец, есть у тебя хороший номер для кузена Билла, да чтоб с ванной!» Ка-ак он на меня взглянет! Можно было подумать, что я продал ему подержанный пиджак или предложил работать в йом-кипур! Уставился на меня, как рыба, и тянет: «Не знаю, приятель, сейчас посмотрю!» — и ныряет в эту, как ее, регистратуру, что ли, где у них записаны все номера. Не знаю, может, он звонил по телефону в Кредитную Ассоциацию или в Американскую Лигу Безопасности, проверял, кто я такой, во всяком случае, он что-то долго возился, а может, просто вздремнул, но наконец выглянул, посмотрел на меня, будто моя физиономия ему глаза режет, и скрипучим таким голосом говорит: «Пожалуй, можно вам устроить номер с ванной». «А-а, говорю, весьма любезно с вашей стороны, простите, что обеспокоил, но во сколько это мне влетит?» — спрашиваю. А он: «Семь долларов в сутки, приятель».

Конечно, время было позднее, да и гостиницу оплачивает моя фирма,— но, скажу по чести, если бы мне пришлось платить из своего кармана, так я лучше всю ночь прошлялся бы по улицам, но никогда в жизни не позволил, чтоб в такой дыре содрали с меня кровных семь долларов за день! Ладно, думаю, пускай! Разбудил тут портье посыльного — славный такой мальчуган, лет семидесяти девяти, не больше,— сражался, как видно, в битве при Геттисберге и не сообразил до сих пор, что она давно кончилась. Наверно, принял меня за одного из конфедератов — так он на меня воззрился! Повел меня этот Рип ван Винкль куда-то,— потом я узнал, что они называют это «номер», а сначала мне показалось, будто он ошибся и засунул меня в ящик для пожертвований на Армию Спасения. Семь долларов per каждый божий diem [1]. Видали?

— Да, я тоже слышал, что в «Риппльтоне» дерут неизвестно за что. Нет, я в Чикаго всегда предпочитаю останавливаться в «Блекстоне» или в «Ла-Салле» — первоклассные отели!

— Скажите, друзья, а кто останавливался в отеле «Берчдейл», на Терр-От? Как там?

— О, «Берчдейл» — первоклассная гостиница.

(Двенадцатиминутное совещание на тему: «Сравнительные

[1] Per diem — в день *(лат.)*.

достоинства отелей в Саус-Бенде, Флинте, Дэйтоне, Талсе, Вичите, Форт-Ворсе, Виноне, Ири, Фарго и Мыс-Джой».)

— Говорите — цены! — буркнул человек в фетровой шляпе, играя зубом лося на тяжелой цепочке от часов.— Хотел бы я знать, откуда пошел слух, что одежда подешевела. Возьмите мой костюм,— тут он ущипнул себя за складку брюк.— Четыре года назад я за него отдал сорок два с половиной, и он того стоил. Так вот, захожу я на днях в магазин в нашем городе, прошу показать мне костюм, и приказчик вынимает такие обноски, которые я, честное слово, на дворника не надел бы! Просто из любопытства спрашиваю: «А сколько берете за это барахло?» — «Что? — говорит.— Какое барахло? Самый лучший костюм, чистая шерсть».— «Знаю я эту шерсть, черт ее дери! Растет на кустиках, там, на доброй старой плантации!» — «Нет, говорит, это чистая шерсть, и мы за нее берем шестьдесят семь долларов девяпосто центов».— «Берете? — говорю,— ну берите с кого хотите, а с меня вам не взять!» — и пошел домой. Да, да! А дома говорю жене: «Пока у тебя сил хватит латать папины брюки, мы никаких костюмов покупать не будем».

— Правильно, братец. А возьмите, скажем, воротнички...

— Э-э! Погодите! — запротестовал толстяк.— При чем тут воротнички? Я сам торгую воротничками. Знаете, какие накладные расходы на это производство? Двести семь процентов себестоимости.

Тут все согласились, что раз воротничками торгует их старинный друг — толстяк, значит, цена на воротнички именно такая, как надо; зато остальные предметы одежды катастрофически подорожали. Они уже восхищались друг другом, любили друг друга. Они глубоко вникли в суть коммерции и пришли к единодушному заключению, что цель производства — будь то производство плугов или кирпичей — в сбыте товара. Их романтическим героем был уже не рыцарь, не странствующий трубадур, не ковбой, не летчик, не храбрый юный прокурор,— их героем был Великий Коммерсант, который умел анализировать торговые проблемы, сидя у покрытого стеклом письменного стола, герой, чей благородный титул был «удачник» и кто посвятил себя и своих юных оруженосцев космической цели — продаже, не продаже чего-нибудь определенного кому-нибудь определенному, а Продаже с большой буквы.

Эти профессиональные разговоры заинтересовали даже Поля Рислинга.

Будучи любителем игры на скрипке и романтически несчастным мужем, он вместе с тем весьма ловко торговал толем. Он выслушал замечания толстяка об «использовании фирменных каталогов и бюллетеней для того, чтобы подстегнуть коммивояжеров», и сам подбросил блестящую идейку насчет наклеивания двухцен-

товых марок на проспекты. Но тут же он совершил проступок против Священного Союза Порядочных Людей. Он заговорил, как высоколобый.

Поезд приближался к городу. У окраины он прошел мимо литейного завода, где вспыхивали оранжевые и алые блики, озаряя унылые трубы, одетые сталью стены и мрачные трансформаторы.

— Боже! Взгляните — какая красота! — воскликнул Поль.

— Метко сказано, братец, именно — красота! Сталелитейный завод Шеллинга — Хортона, и говорят, старый Джон Шеллинг заграбастал чуть ли не три миллиона на вооружении во время войны! — с уважением сказал человек в фетровой шляпе.

— Да я не о том,— я хотел сказать, как красиво, когда свет падает пятнами на этот живописный двор, загроможденный железным ломом, и выхватывает куски из темноты,— объяснил Поль.

Они уставились на него в изумлении, а Бэббит заворковал:

— Поль, он, знаете, наметал глаз — замечает всякие там живописные местечки и красивые виды, ну, вообще все такое. Наверно, сделался бы писателем или еще чем-нибудь в том же роде, если б не стал торговать толем.

Поль сделал недовольное лицо. (Бэббит иногда сомневался, ценит ли Поль его дружескую поддержку.) Человек в фетровой шляпе проворчал:

— Лично я считаю, что на заводе у Шеллинга — Хортона грязь несусветная. Уборка ни к черту. Но, конечно, вам никто не запретит называть этот хлам «живописным»,— это дело вкуса!

Поль обиженно спрятался за газету, а разговор, как водится, перешел на поезда.

— В котором часу прибываем в Питтсбург? — спросил Бэббит.

— В Питтсбург? Кажется, часа в... нет, это по прошлогоднему расписанию... погодите-ка, можно посмотреть, у меня расписание под рукой.

— А мы не опаздываем?

— Да нет, кажется, прибудем вовремя.

— Но мы как будто на последнюю станцию прибыли с опозданием на семь минут.

— Да ну? Вы так думаете? О черт, а я-то решил, что мы ничуть не опаздываем.

— Нет, на семь минут опоздали.

— Правильно: ровно на семь минут.

Вошел проводник — негр в белой куртке с медными пуговицами.

— Эй, Джордж, на сколько мы опаздываем? — бросил ему толстяк.

— Право, не знаю, сэр! Кажется, идем без опозданий,— от-

ветил проводник, складывая полотенца и ловко забрасывая их на вешалки над умывальниками. Весь синклит мрачно смотрел на него, и, когда он вышел, все угрюмо заворчали:

— Не знаю, что сталось с этими черномазыми в последнее время! Никогда вежливо не ответят!

— Правильно! Всякое уважение к нам потеряли. То ли дело негр в старину — славный малый, знал свое место, а эти молодые жеребцы не желают служить проводниками или собирать хлопок. Нет, брат, ему подавай другое — он лезет в адвокаты, в профессора, бог знает куда! Верьте мне, это вопрос серьезный! Надо бы нам всем сплотиться по-настоящему и указать черным,— да, кстати, и желтым,— их место. Нет, вы не думайте, что у меня есть расовые предрассудки. Я первый радуюсь, когда этакой черной образине повезет,— лишь бы он сидел, где ему положено, и не пытался присвоить себе законную власть и деловой авторитет белого человека.

— Это в точку! И еще нам надо вот что сделать,— заговорил человек в фетровой шляпе (кстати, его фамилия была Коплинский),— не пускать этих проклятых иностранцев в Америку. Слава богу, уже есть закон об ограничении иммиграции. Эти итальяшки и всякая немчура должны знать, что тут — страна белого человека и никому они тут не нужны. Может быть, когда мы всех иностранцев, которые уже тут живут, заставим ассимилироваться и приучим их к американскому образу жизни, сделаем из них настоящих людей,— может быть, тогда мы кой-кого и впустим.

— Верно! Факт! — согласились все и перешли к более простым темам. Мимоходом были затронуты и цены на автомобили, и качество шин, и нефтяные акции, и рыбная ловля, и виды на урожай пшеницы в Дакоте.

Но толстяка разбирало нетерпение — столько времени уходит зря! Это был старый коммивояжер, давно лишившийся всяких иллюзий. Он уже сказал о себе: «Я старый греховодник». И сейчас он наклонился вперед, подмигнул всем с хитрым видом и пробурчал: «Ну, хватит, ребятки! Бросьте вы эти официальные разговоры! Как насчет анекдотцев?»

Тут разговор стал совсем веселым и интимным.

Поль и юноша сразу упили. Остальные развалились на диване, расстегнули жилетки, задрали ноги на стулья и, пододвинув поближе тяжелые медные плевательницы, спустили зеленую шторку на окне, чтобы отгородиться от неуютной, непривычной тьмы. После каждого взрыва хохота кто-нибудь кричал: «А это слыхали?..» Бэббит тоже разоткровенничался по-мужски. Когда поезд остановился на большой станции, все четверо вышли на перрон, погуляли под задымленной крышей, похожей на облачное небо,

прошлись под пешеходными мостами, между ящиками с битой птицей и мясом, в таинственной атмосфере незнакомого города. Они гуляли рядышком, как давние друзья, им было весело. Услыхав протяжный крик «поезд отправляется!», схожий с кличем горцев на рассвете, они торопливо забрались в курилку, до двух часов ночи рассказывали рискованные анекдоты, и глаза у них слезились от хохота и табачного дыма. Расставаясь, они долго трясли друг другу руки и говорили: «Да, сэр, славно посидели! Жаль расставаться! Очень рад был с вами познакомиться!»

Бэббит долго не мог заснуть в тесной духоте пульмановского вагона и трясся от смеха при воспоминании о стишке, который прочел толстяк про легкомысленную даму. Он поднял занавеску и долго, опершись локтем на жиденькую подушку, смотрел, как мимо окон, словно восклицательные знаки, пробегают деревья и телеграфные столбы. Он был вполне счастлив.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

В Нью-Йорке они пробыли четыре часа, до следующего поезда. Бэббиту больше всего хотелось посмотреть отель «Пенсильвания», выстроенный после того, как он в последний раз был тут. Задрав голову и не сводя с него глаз, он бормотал:

— Две тысячи двести комнат и две тысячи двести ванных! Да, такого еще на свете не было! Черт, у них оборот, наверно... Погоди, предположим, номер стоит от четырех до восьми долларов в день, а то и все десять — значит, две тысячи двести на четыре, и, скажем, шесть раз по две двести — словом, с рестораном и всем остальным, выходит в летнее время от восьми до пятнадцати тысяч в день! Понимаешь, *в день!* Не думал я, что приведется увидеть такую махину! Да это целый город! Конечно, у нас в Зените у каждого человека больше возможностей проявить деловую инициативу, чем тут, среди этих жуликов, но надо отдать справедливость и Нью-Йорку, да, брат, неплохой городок... в некоторых отношениях. Ну-с, Поль-Польчик, по-моему, мы все стóящее уже видели. Как бы нам убить время? Хочешь в кино?

Но Полю захотелось посмотреть на океанские пароходы.

— Всегда мечтал поехать в Европу, и, клянусь честью, надо бы съездить, пока не сдох! — грустно сказал он.

С деревянной пристани на Норс-Ривер они долго смотрели на корму «Аквитании», на трубы и антенны, подымавшиеся выше складов, которые заслоняли пароход.

— Ей-богу, неплохо было бы съездить в Старый Свет,— бубнил Бэббит,— поглядеть на всякие там руины, на дом, где родился Шекспир. И, понимаешь, там можно выпить, когда захочешь! Просто зайти в бар, крикнуть на всю комнату: «Дайте-ка мне коктейль, и к черту полицию!» Да, неплохо, неплохо! А тебе что хотелось бы там посмотреть, Полибус?

Но Поль не отвечал. Бэббит взглянул на него. Поль стоял, сжав кулаки, опустив голову, и в каком-то суеверном страхе смотрел на пароход. У нагретых летним солнцем сходней пристани он казался худеньким мальчиком, высоким и тонким.

Бэббит настаивал:

— А ты куда бы подался по ту сторону океана, Поль?

Но Поль еще больше насупился, глядя на пароход, и, задыхаясь, прошептал:

— О господи!

Бэббит в испуге посмотрел на него, но тут он резко бросил:

— Пошли скорей! Уйдем отсюда! — и торопливо зашагал по пристани, даже не оборачиваясь назад.

«Странно! — подумал Бэббит.— Выходит, ему вовсе и не хотелось смотреть океанские пароходы. А я-то думал, что он ими интересуется!»

II

Хотя Бэббит восхищался силой паровоза, который тянул поезд через горы Мэна, хотя он и высказывал по этому поводу много дельных соображений, а потом с восторгом смотрел вниз, на сверкающие меж соснами рельсы, хотя он удивился: «Ого, вот так штука!» — увидев, что станция Катадамкук представляет собой просто старый товарный вагон, но по-настоящему он дал волю своим восторгам, когда они сидели на крошечной пристани у озера Санасквем и ждали, пока за ними придет гостиничный катер. К берегу озера прибило плот, между бревнами и берегом стояла прозрачная неглубокая вода, в которой сновали мальки. Проводник, в мягкой черной шляпе с приколотыми к ленте металлическими блеснами и в фланелевой рубахе пронзительно-синего цвета, сидел на бревне, молча стругая палочку. Пес, славный деревенский пес, лохматый, черный с пегими подпалинами, у которого только и дела было, что лентяйничать, задумчиво почесывался, ворчал, а то и просто дремал. Щедрое солнце освещало сверкающую воду, золотисто-зеленый кустарник, серебряные березы, пышные папоротники на берегу и горело за гладью озера на крутых отрогах высоких гор. Надо всем стояла благоговейная тишина.

Молча отдыхали они на краю пристани, свесив ноги над водой. Бесконечной нежностью наполнила душу Бэббита эта тишь, и он неслышно пробормотал:

— Так бы и сидеть тут всю жизнь, стругать палочку и сидеть. Никогда не слышать, как стучит машинка, как разоряется по телефону Стэн Грэф. Или как ссорятся Рона с Тедом. Просто сидеть. Эх, хорошо!

Он похлопал Поля по плечу:

— Ну, как тебе тут нравится, старый кисляй?

— Чудесно, Джорджи. Какое-то ощущение вечности.

И на этот раз Бэббит его понял.

III

Катер обогнул мысок. В конце озера, под горным склоном, стояло небольшое здание столовой при отеле, а вокруг полумесяцем расположились маленькие бревенчатые хижины, служившие спальнями. Бэббит с Полем сошли на берег под критическими взорами старожилов, пробывших здесь уже целую неделю. В хижине с огромным каменным очагом они поспешно проделали то, что Бэббит называл «влезть в настоящую охотничью одежку». Поль вышел в поношенном сером костюме и мягкой белой рубахе, Бэббит — в защитной курточке и широких защитных же шароварах. На нем все было новое, с иголочки, очки без оправы сразу напоминали о городской конторе, и лицо у него было городское, розовое, без следов загара. В этой обстановке он резал глаз, как фальшивая нота режет слух. Но он похлопал себя по ляжкам с невыразимым удовлетворением и прогудел:

— Ай-яй, как будто в родной дом вернулся, а?

Они остановились на пристани перед отелем. Подмигнув Полю, Бэббит вытащил из кармана плитку жевательного табаку,— это вульгарное занятие было строго запрещено в доме Бэббитов. Он с наслаждением заложил кусок за щеку и, сияя улыбкой, покачал головой:

— М-ммм! До чего я соскучился по хорошей жвачке! Хочешь кусочек?

Они переглянулись с понимающей улыбкой. Поль взял кусок табаку, разжевал его. Оба стояли неподвижно, только челюсти работали. Торжественно сплевывали они по очереди в тихую воду. Потом с наслаждением потянулись, подняв руки и выгнув спины. Из-за гор донеслось пыхтенье дальнего поезда. Форель взметнулась в воздух и упала, пустив серебряные круги по воде. Оба друга глубоко вздохнули.

IV

Целую неделю они прожили без своих семейств. Каждый вечер они собирались встать спозаранку и пойти удить до завтрака. Каждое утро они валялись в кроватях до звонка на завтрак, испытывая удовольствие оттого, что тут нет жен, которые решительно подняли бы их с постели. По утрам бывало холодно, и поэтому было особенно приятно одеваться перед пылающим очагом.

Поль был невероятным чистюлей, но Бэббит наслаждался здоровой, хорошей грязью, тем, что можно не бриться сколько душе угодно. Он дорожил каждым жирным пятном, каждой рыбьей чешуйкой на своих новых защитных штанах.

Все утро они лениво рыбачили или бродили по тропам, то сумрачным, то залитым прозрачным светом, среди сырых папоротников, мхов и лиловых колокольчиков. После обеда долго спали, а потом до полуночи играли с проводниками в покер. Для проводников покер был делом серьезным. Всякая болтовня прекращалась, они тасовали засаленные карты со свирепой ловкостью, угрожавшей «чужакам», а Джо Пэрадайз, король всех проводников, с презрительной иронией взирал на бездельников, если они осмеливались задерживать игру, даже чтобы почесаться.

В полночь, когда они с Полем, спотыкаясь в пахучей сырой траве о невидимые в темноте корни сосен, возвращались в свою хижину, Бэббит с удовольствием думал, что не надо объяснять жене, где он пропадал весь вечер.

Разговаривали они мало. Жадное торопливое желание поговорить, нападавшее на них в зенитском Спортивном клубе, теперь совсем прошло. А когда они о чем-нибудь говорили, то невольно впадали в простодушный и задушевный тон, как в студенческие дни. Как-то раз они причалили в лодке к берегу Санасквем-Уотер,— небольшой реки, прячущейся в густых зарослях. Над зелеными джунглями палило солнце, но в тени стояла сонная прохлада, и вода подернулась мелкой золотистой рябью. Бэббит опустил руку в холодную струю и задумчиво сказал:

— Мы и не думали, что попадем в Мэн вдвоем.

— Да. Никогда у нас не получалось так, как мы хотели. Я, например, был уверен, что уеду в Германию, к дедушкиной родне, буду учиться играть на скрипке.

— Верно. А помнишь, как мне хотелось стать адвокатом и заняться политикой? Я до сих пор уверен, что сделал бы карьеру. Как будто я неплохой оратор — во всяком случае, могу на ходу все придумать, могу сказать речь о чем угодно,— а в политике только это и нужно! Нет, клянусь богом, Тед у меня пойдет по юридической части, если уж мне не удалось! Но, в общем,—

жизнь сложилась неплохо. Майра оказалась хорошей женой. Да и Зилла не желает тебе плохого, Полибус!

— Да, пожалуй! Я уж тут придумываю всякие планы, чтоб ей жилось повеселее. Как-то чувствуешь, что теперь жизнь пойдет по-другому: отдохнули мы как следует, а когда вернемся, сможем все начать заново.

— Надеюсь, старина.— И робким голосом Бэббит добавил: — Нет, ей-богу, славно мы тут с тобой провели время, хорошо мне с тобой и побездельничать, и погулять, и в картишки перекинуться, старый ты конокрад!

— А мне как хорошо было, Джорджи! Это просто спасло мне жизнь!

Но тут, застеснявшись своих чувств, они крепко выругались, как бы в доказательство того, что они простецкие, грубые парни, и молча, в размягченном настроении, стали грести обратно к отелю, и Поль что-то тихо напевал, а Бэббит ему подсвистывал.

V

Хотя Поль был как будто больше переутомлен и Бэббит играл при нем роль заботливого старшего брата, но вскоре Поль стал веселым, ясноглазым, а Бэббит раздражался все больше и больше. С каждым днем он открывал в себе все новые и новые напластования усталости. Сначала он играл роль шута при Поле, искал, чем бы его позабавить, а к концу недели Поль стал его нянькой, и Бэббит принимал его заботы с той снисходительностью, которую всегда проявляют к терпеливым нянькам.

Накануне приезда их семей все женщины, жившие в гостинице, захлебывались: «Ах, как это приятно! Вы, наверно, так счастливы!» — и Бэббит с Полем из чувства приличия делали счастливые лица. Но спать они легли рано и в прескверном настроении.

В день приезда Майра сразу заявила:

— Мы хотим, чтобы вы, мальчики, развлекались, как будто нас тут нет!

В первый раз, когда Бэббит засиделся за игрой в покер с проводниками, она мирно и весело заметила: «Ого! Однако ты стал настоящим гулякой!» На второй вечер она сонно проворчала: «Господи помилуй, да неужели ты каждый божий день будешь где-то шататься?» На третий вечер он уже в покер не играл.

Теперь он чувствовал усталость каждой клеточкой своего тела. «Странно! Отпуск мне ничуть не пошел на пользу! — жаловался он.— Поль скачет, как жеребенок, а я стал еще нервнее, еще раздражительней, чем до приезда, честное слово!»

В Мэне он пробыл три недели. К концу второй недели он стал чувствовать себя спокойнее, больше интересовался окружающим. Он затеял экскурсию на гору Сэчем и хотел провести ночь на берегу озера Бокс-Кар. Несмотря на странную слабость, он повеселел, как будто кровь очистилась от какого-то ядовитого возбуждения и стала здоровой и свежей.

Бэббита даже перестала раздражать влюбленность Теда в официантку (его седьмая любовная драма за последний год), он ловил с ним рыбу, с гордостью обучая его забрасывать крючок в осененную соснами тишину озера.

К концу отпуска он уже вздыхал: «Только начал как следует отдыхать, черт возьми! Но, ей-богу, я уже чувствую себя гораздо лучше! И год, наверно, будет замечательный! Может быть, меня даже выберут председателем Всеобщей ассоциации посредников по реализации недвижимости вместо какого-нибудь старого, изъеденного молью ворчуна вроде Чена Мотта».

На обратном пути каждый раз, когда он выходил из купе в курительный салон, он чувствовал себя виноватым, что оставляет жену, и сердился, что она принимает это сознание вины как должное. Но тут же все заслоняла мысль: нет, год будет чудесный, великолепный, отличный год.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Возвращаясь из Мэна, Бэббит не сомневался, что стал другим человеком. Настроение у него было самое радужное. Тревожиться из-за дел не стоит. Надо иметь больше «интересов» в жизни — ходить в театры, заниматься общественной деятельностью, читать. И вдруг, докуривая особенно крепкую сигару, он решил, что надо бросить курить.

Он изобрел новый, безотказный способ. Он перестанет покупать табак, значит, надо будет одалживаться, и, конечно, он постесняется одалживаться слишком часто. В припадке добродетели он вышвырнул портсигар в окошко курительной. Вернувшись в купе, он без особого на то повода очень ласково заговорил с женой. Он восхищался собственной непорочностью и решил, что «это чрезвычайно просто: дело только в силе воли». Он начал читать в журнале научно-детективный роман с продолжением. Через десять миль ему захотелось курить. Он вобрал голову в плечи, как черепаха, ему стало не по себе, он пропустил две страницы романа и не заметил этого. А когда проехали еще пять миль, он вскочил и по-

шел искать проводника: «Послушайте, как вас... Джордж, нет ли у вас... гм-ммм...— Проводник терпеливо ждал.— Нет ли у вас расписания?» — докончил Бэббит. На следующей остановке Бэббит вышел и купил сигару. И так как это должна была быть последняя сигара до приезда в Зенит, он докурил ее до самого конца.

Четыре дня спустя он снова вспомнил, что бросил курить, но его так захватили запущенные дела в конторе, что он тут же об этом забыл.

II

Потом он решил, что бейсбол — отличное времяпрепровождение. «Бессмысленно работать как вол, без передышки. Буду ходить на стадион три раза в неделю. А кроме всего, надо поддержать команду нашего города!»

Он ходил на состязания, поддерживал свою команду к вящей славе родного Зенита, вопя что есть мочи «молодчага!» — или «мазпла!». Он в точности следовал ритуалу: носил на шее бумажный платок, потел, ухмылялся во весь рот, пил лимонад прямо из горлышка. Он присутствовал на состязаниях три раза в течение одной недели. Потом он пошел на компромисс и только следил за таблицами, которые вывешивались редакцией «Адвокат-таймса». Он стоял перед доской в самой гуще потной толпы, и когда мальчик записывал на ней достижения Большого Билла Боствика, Бэббит говорил совершенно незнакомым людям: «Неплохо! Чистая работа!» — и торопился назад в контору.

Он честно верил, что любит бейсбол. Правда, за последние двадцать пять лет сам он ни разу в бейсбол не играл, разве что у себя во дворе, с Тедом, и притом очень осторожно и строго ограничив время — ровно десять минут! Но эта игра была в обычае у его клана и давала выход кровожадным и пристрастным чувствам, которые Бэббит именовал «патриотизмом» и «любовью к спорту».

Подходя к конторе, он все больше ускорял шаг, бормоча себе под нос: «Надо поторопиться!» Вокруг него весь город спешил только ради спешки. Люди в машинах обгоняли друг друга в потоке спешащего транспорта. Люди спешили догнать трамвай, хотя следующий шел ровно через минуту, и в спешке прыгали из вагона, кидаясь на тротуар, чтобы ворваться в здание и влететь в спешащий лифт. Люди в закусочных спешили проглотить еду, которую в спешке жарили повара. Люди в парикмахерских подгоняли: «Ну-ка, побрейте поскорее, я спешу!» В лихорадочной спешке люди старались избавиться от посетителей в конторах, где висели плакаты «Сегодня у меня занятой день» и «Бог создал

весь мир в шесть дней, постараися выложить все, что надо, в шесть минут!» Люди, заработавшие в позапрошлом году пять тысяч, а в прошлом — десять, напрягали все силы, все свои измученные нервы и иссушенные мозги, чтобы в этом году заработать двадцать тысяч, а люди, вышедшие из строя после заработанных двадцати тысяч, торопились попасть на поезд, чтобы второпях отдохнуть, как рекомендовали им торопливые врачи.

И среди этих людей Бэббит тоже торопился в свою контору, где делать было нечего, разве что следить, чтобы все его служащие поторапливались.

III

Каждую субботу после обеда он спешил в свой загородный клуб, спеша сыграть девять лунок в гольф, чтобы отдохнуть после недельной спешки.

В Зените для Преуспевающего Гражданина принадлежать к загородному клубу было так же необходимо, как носить белый воротничок. Бэббит был членом загородного клуба Гольф и Отдых, который помещался в красивом сером доме с широкой террасой на крутом, поросшем ромашкой обрыве над озером Кеннепоза. Существовал еще другой загородный клуб, Тонаванда, к которому принадлежали Чарльз Мак-Келви, Хорэйс Апдайк и другие богачи, завтракавшие не в Спортивном клубе, а в Юнионе. Бэббит что-то слишком часто объяснял: «Я бы ни за что в жизни не перешел в Тонаванду, даже если бы не жаль было выкинуть сто восемьдесят монет на вступительный взнос. У нас в Отдыхе народ замечательный, просто славные ребята, и самые хорошенькие женщины в городе, милые, остроумные, да и партию умеют сыграть не хуже мужчин,— а в этой Тонаванде одни зазнайки, расфуфыренные по нью-йоркской моде, чай пьют. Слишком много претензий! Нет, я в эту Топаванду не ходок, даже если бы мне... словом, ни за что не пойду!»

Сыграв пять-шесть перегонов в гольф, он отдыхал, сердце, издерганное никотином, начинало биться ровнее, и в голосе появлялась медлительность и напевность, свойственная сотням поколений его крестьянских предков.

IV

Не реже чем раз в неделю мистер и миссис Бэббит вместе с Тинкой ходили в кино. Они больше всего любили кинотеатр Шато, на три тысячи зрителей, где оркестр в пятьдесят человек играл попурри из опер и «сюиты» под названием «День на ферме»

или «Ночной пожар». В круглом мраморном зале красовались бархатные кресла с вышитыми гербами, на стенах висели подделки под средневековые гобелены, а на золоченых, увенчанных цветком лотоса колоннах сидели пестрые попугаи.

Каждый раз Бэббит выражал свое восхищение кинотеатром Шато, восклицая: «Все-таки здорово!» — или: «Нет, это заведение никому не переплюнуть!» И, глядя на смутно серевшие в темноте головы тысяч зрителей, вдыхая запахи хорошей одежды, тонких духов и жевательной резинки, он испытывал то же чувство, как в тот день, когда, увидев высокую гору, впервые осознал, какое огромное количество земли и камня предстало его глазам.

Бэббит любил кинокартины трех сортов: такие, где хорошенькие купальщицы показывали голые ножки, такие, где полисмены или ковбои усердно стреляли из револьверов, и такие, где смешные толстяки ели макароны. С глубочайшей сентиментальностью, от которой щипало в носу, он улыбался каждому кадру, где появлялись щенки, котята или пухлые младенцы, и плакал при виде смертных одров или старых матерей, которые терпеливо ждут в заложенных и перезаложенных домишках. Миссис Бэббит предпочитала картины, где молодые красавицы в изысканных туалетах ходят меж декораций, изображающих гостиные нью-йоркских миллионеров. Что же касается Тинки, то она́ любила или делала вид, что любит все, что навязывали ей родители.

И все эти виды отдыха — бейсбол, кино, гольф, бридж, катание на машине, долгие беседы с Полем в Спортивном клубе или в ресторанчике «Добрый Старый Английский Бифштекс» — были необходимы Бэббиту, потому что для него начинался год такой лихорадочной деятельности, какой он никогда раньше не знал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

По чистой случайности Бэббиту удалось выступить на собрании ВАПРН, как сокращенно именовали из поголовного пристрастия к таинственным и внушительным сокращениям эту организацию, которая была не чем иным, как Всеобщей Ассоциацией Посредников по Реализации Недвижимости, то есть объединением маклеров и агентов, занимающихся продажей недвижимого имущества. Ежегодное заседание должно было состояться в городе Монарке, главном сопернике Зенита во всем штате. Бэббит был избран официальным делегатом. Еще одним делегатом от Зенита поехал Сесиль Раунтри, которого Бэббит уважал за бесшабашно

смелую спекуляцию вновь застроенными участками и ненавидел за положение в обществе, за то, что его приглашали на самые изысканные балы на Ройял-ридж. Раунтри был председателем комитета по разработке повестки дня.

Как-то при случае Бэббит сказал ему сердито:

— Надоело слушать, как все эти доктора, профессора и священники пришивают себе звание «людей свободной профессии»... Да профессия посредника по продаже недвижимости гораздо ответственнее и шире, чем у любого из них.

— Правильно! Слушайте, а почему бы вам не сделать об этом небольшой доклад на собрании? — предложил Раунтри.

— Что ж, если вам мое выступление поможет... Видите ли, моя точка зрения вот какая: во-первых, мы должны настоять, чтобы нас называли «посредники», а не просто «агенты» или «маклеры». Гораздо профессиональнее звучит. Во-вторых — что отличает профессию от простой торговли, коммерции, от любого ремесла? Какая разница? А вот какая: служение обществу, знания, понимаете, специальные знания, ну и вообще всякое такое, чего нет у человека, который только и думает о деньгах и ничуть, так сказать, не считается с общественной пользой, с наукой и так далее. А человек с профессией...

— Чудесно! Отличная мысль! Превосходно! Вы набросайте свою речь! — И Раунтри быстро и решительно удалился.

II

При всей своей привычке к литературным упражнениям в области рекламы и деловой переписки Бэббит впал в уныние, когда ему пришлось засесть за подготовку речи, рассчитанной не меньше чем на десять минут.

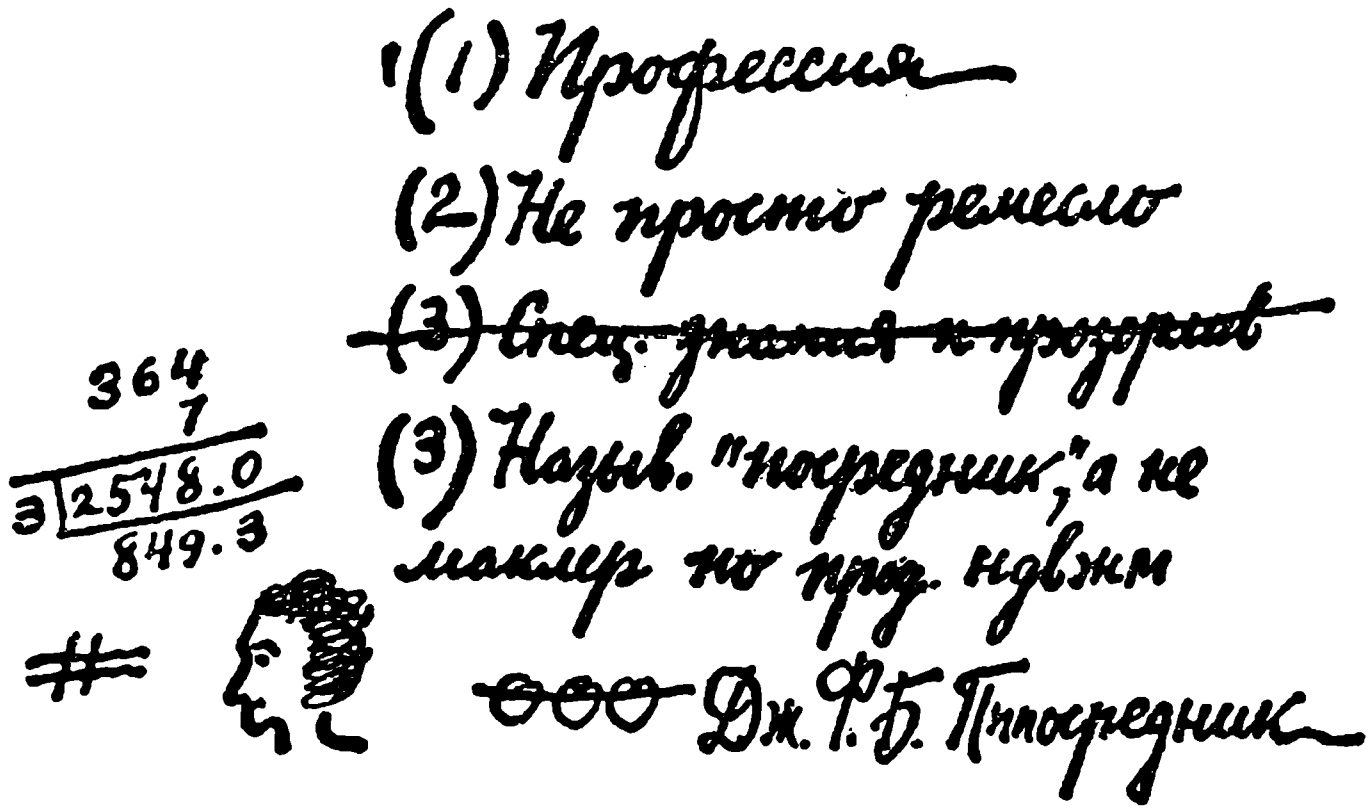
Он положил новенькую пятнадцатицентовую тетрадку на раскладной швейный столик жены, поставленный для такого важного дела посреди гостиной. Все в доме ходили на цыпочках: Верона и Тед предпочли удрать, а Тинке было строго сказано: «Если ты только пикнешь, если хоть посмеешь крикнуть: «Дайте воды»,— я тебя... словом, лучше молчи!» Миссис Бэббит села шить ночную рубашку у рояля, почтительно поглядывая, как Бэббит пишет в тетрадке под ритмическое поскрипывание и потрескивание швейного столика.

Он встал, потный и злой, в горле у него першило от табака, а она с нескрываемым восхищением проговорила:

— Как ты только можешь — просто сесть и придумать все из головы!

— Современная деловая жизнь приучает человека к конструктивному мышлению!

Он написал семь страниц — первая из них выглядела так:



Остальные шесть страниц очень походили на первую.

Целую неделю он расхаживал с многозначительным видом. Каждое утро, одеваясь, он рассуждал вслух:

— Тебе когда-нибудь приходило в голову, Майра, что, прежде чем в городе начнется новая стройка, расцвет промышленности и всякая такая история, посредник по реализации недвижимости должен сначала продать участки? Вся цивилизация начинается именно с этого. А ты об этом думала?..

В Спортивном клубе он насильно отводил кого-нибудь в сторону и спрашивал:

— Послушайте, если б вам пришлось делать доклад на большом собрании, вы бы начали с анекдотов или, так сказать, разбросали бы их по всему докладу?

Он попросил Говарда Литтлфилда подготовить ему «кое-какие статистические данные насчет продажи недвижимости, что-нибудь, знаете, этакое внушительное, впечатляющее», и Литтлфилд подготовил чрезвычайно внушительные и впечатляющие данные.

Но чаще всего Бэббит обращался к Чамондли Фринку. Каждый день он ловил Фринка в клубе и приставал к нему, не обращая внимания на его несчастное лицо:

— Слушайте, Чам, вы на этой писанине собаку съели, как бы вы здесь выразились, погодите, тут у меня рукопись... рукопись... да, где же, черт возьми, это место... ага, вот оно! Как бы вы ска-

зали: «Мы бы не должны были думать»,— или: «Мы не должны были бы думать?» А вот еще тут...

Но однажды вечером, когда жены не было дома и не на кого было производить впечатление, Бэббит, позабыв о Стиле, Композиции и прочих тайнах творчества, залпом написал все, что он думал о продаже недвижимости и о своей работе, и увидел, что доклад готов. Когда он прочел его жене, она просто растаяла:

— Милый, но это великолепно! Прекрасно написано, и все так интересно, такие глубокие мысли! Нет... это, это просто великолепно!..

На следующий день, при встрече с Чамом Фринком, он самодовольно прогудел:

— Ну, старина, кончил доклад вчера вечером! Сразу по вдохновению — вылилось, и все! А я-то думал, что вам, пишущей братии, трудно приходится! Оказалось — сущие пустяки! Да, жизнь у вас — одно удовольствие, деньги вам легко достаются! Погодите, брошу контору, возьмусь за писание — я вам всем покажу, как это делается! Мне и то думалось, что я умею писать лучше, сильнее и оригинальней, чем те, кого обычно печатают. А теперь я твердо в этом уверен.

Он велел перепечатать доклад в четырех экземплярах, черным шрифтом с великолепным красным заголовком, отдал переплести в светло-голубую папку и любезно преподнес один экземпляр старому Айре Рэньону, главному редактору «Адвокат-таймса», и тот сказал,— о, да, да, разумеется, он очень рад получить экземпляр и, конечно, прочтет доклад от доски до доски, как только у него будет время.

Миссис Бэббит не могла ехать в Монарк. На эти дни было назначено собрание женского клуба. Бэббит сказал, что он очень огорчен.

III

Кроме пяти официальных делегатов — Бэббита, Раунтри, У.-А. Роджерса, Эльвина Тейера и Эльберта Уинга,— поехало еще пятьдесят неофициальных, большей частью с женами.

Делегаты должны были собраться на вокзале Юнион к поезду на Монарк, отходившему ровно в полночь. У всех, кроме Сесиля Раунтри, который был настолько снобом, что вообще не носил никаких значков, были приколоты целлулоидные бляшки величиной в доллар, с надписью: «Пусть звенит Зенит!» Официальные делегаты блистали лиловыми с серебром перевязями. Сынишка Мартина Ламсена нес знамя с кистями и с надписью: «Зенит — в зените славы! Задор, Закалка, Знание! В 1935 — миллион

жителей!» Делегаты подъезжали, конечно, не в такси, а на собственных машинах, которыми правил старший сын либо кузен Фред, и в зале ожидания возникла настоящая импровизированная демонстрация.

Зал ожидания был новый, огромный, с мраморными колоннами и фресками, изображавшими экспедицию патера Эмиля Фоти в долину реки Чалузы в 1740 году. Скамьи были из цельного красного дерева, газетный киоск — мраморный с медной обрешеткой. По гулкому простору зала делегаты прошли вереницей, во главе с Вилли Ламсеном, несшим знамя, мужчины — размахивая сигарами, женщины, гордясь своими новыми платьями и бусами,— и все пели на мотив «Забыть ли старую любовь...» официальный гимн Зенита, написанный Чамом Фринком:

Люблю я старый
Мой Зенит,
Пей за него до дна,
Пускай он
Будет знаменит,
Пусть в нем цветет весна!

Уоррен Уитби, биржевой маклер, мастак по части поздравительных и праздничных стишков, присочинил к гимну Фринка специальную строфу, посвященную съезду посредников по продаже недвижимости:

Мы все дельцы.
Во все концы
Пускай звенит Зенит!
В том благодать,
Чтоб дом продать —
Нам всюду путь открыт [1].

Бэббит впал в форменную истерику от патриотизма. Он вскочил на скамью, выкрикивая во весь голос:

— Каков Зенит?

— Хоро-ооош!

— Какой лучший город в Америке?

— Зени-иииит!!!

Равнодушно-удивленными глазами смотрели на все это бедняки, терпеливо ждавшие ночного поезда,— итальянки в больших платках, старики в рваных ботинках, видавшие виды сезонники в выгоревших мятых пиджаках, которые когда-то были новыми и чистыми.

Бэббит вдруг подумал, что ему, как официальному делегату, надо вести себя более солидно. Вместе с Уингом и Роджерсом он пошел прогуляться по бетонированной платформе мимо пульма-

[1] Перевел Р. Сеф.

новских вагонов. Самоходные тележки с багажом, носильщики в красных фуражках, нагруженные чемоданами, создавали вокруг приятную суету. Дуговые фонари ярко горели над головой и мигали, словно заикаясь. Важно блестели лакированные стенки желтых спальных вагонов. Бэббит старался говорить размеренным, барственным голосом. Выпятив животик, он гудел:

— Мы должны непременно добиться, чтобы съезд заставил законодательные органы понять, что им так легко не сойдет с рук, если они начнут облагать налогами купчие на недвижимость.

Уинг одобрительно хмыкал, и Бэббита распирало от гордости.

В одном из пульмановских вагонов занавеска была поднята, и Бэббит заглянул в недоступный мир. В купе сидела Люсиль Мак-Келви, хорошенькая жена миллионера-подрядчика. «А вдруг,— с трепетом подумал Бэббит,— а вдруг она уезжает в Европу?» На диване рядом с ней лежал букет фиалок и орхидей и книга в желтой обложке, явно на иностранном языке. Он смотрел во все глаза, как она взяла книгу, потом подняла скучающий взгляд на окно. Она, должно быть, сразу увидела его, и хотя они были знакомы, она и виду не подала. Ленивым движением она опустила занавеску, а он остался стоять, весь похолодев от сознания собственного ничтожества.

Но в поезде его гордость воскресла от встречи с делегатами из Спарты, Пайонира и других мелких городов того же штата. Все почтительно слушали, как великий вельможа из столичного города Зенита объяснял им сущность здравой политики и значение Крепкой Деловой Администрации. С наслаждением они погрузились в профессиональный разговор — самый приятный и самый увлекательный разговор в мире.

— А как дела у Раунтри с постройкой этого громадного жилого здания? Что он сделал? Выпустил акции, что ли, или как-нибудь иначе финансировал свой проект? — спросил маклер из Спарты.

— Сейчас я вам все объясню,— ответил Бэббит.— Если бы мне поручили вести это дело...

— А я сделал так,— гудел Эльберт Уинг.— Снял на неделю витрину магазина, выставил огромную рекламу: «Игрушечный город для деток-малолеток»,— и понаставил там кукольных домиков, всяких деревьев, а внизу повесил надпись: «Крошке нравится наш городок, а папе с мамой — наши чудные дома». И знаете — весь город об этом заговорил, и в первую же неделю мы продали несколько участков под застройку...

Колеса пели «тра-та-та-та, тра-та-та-та», поезд бежал через фабричный район. Домны изрыгали пламя, грохотали паровые

молоты. Красные огни, зеленые огни, ослепительные вспышки белого пламени летели мимо окон, и Бэббит снова чувствовал себя значительным и энергичным.

IV

Он позволил себе неслыханную роскошь: отдал в поезде выгладить костюм. Утром, за полчаса до того, как они прибыли в Монарк, проводник подошел к его дивану и прошептал:

— Освободилось отдельное купе, сэр. Я отнес ваш костюм туда.

Накинув рыжее осеннее пальто на пижаму, Бэббит проследовал мимо задернутых зеленых занавесок и впервые в жизни испытал величие отдельного купе. Проводник всем своим видом показывал, как прекрасно он понимает, что Бэббит привык одеваться с помощью камердинера: он держал на весу брюки Бэббита, чтобы идеально отутюженные отвороты не смялись и не запачкались, налил воды в отдельный умывальник и ждал с полотенцем, пока Бэббит умывался.

Иметь отдельную умывальную было удивительно приятно. Насколько весело Бэббиту казалось вечером в общем вагоне, настолько неприятно там было утром, когда в умывальной толпились толстяки в шерстяных фуфайках, на всех крюках висели мятые рубашки, на кожаных стульях лежали потертые несессеры, и нельзя было продохнуть от запаха мыла и зубной пасты. Обычно Бэббит не очень стремился к уединению, но тут он наслаждался им, наслаждался услугами своего «камердинера» и дал ему на чай полтора доллара.

Втайне он надеялся, что все заметят, как он выходит из вагона в Монарке, в свежеотутюженном костюме, сопровождаемый проводником, который с влюбленным видом несет его чемодан.

В отеле «Седжвик» его поместили в одной комнате с У.-А. Роджерсом из Зенита, хитрым, мужиковатым агентом по продаже пригородных участков. Они вместе отлично позавтракали вафлями с кофе, поданном не в чашечках, а в больших кружках. Бэббит разговорился, поведал Роджерсу, что такое искусство писать, дал посыльному четвертак на газету и послал Тинке открытку: «Папка жалеет, что тебя с ним нет и ему не с кем веселиться».

V

Заседания съезда проходили в бальном зале отеля «Аллен». В небольшой комнате перед залом находился кабинет председателя комитета. Он был самым занятым человеком на съезде, он

был до того занят, что совершенно ничего не мог делать. Сидя у столика маркетри в комнате, заваленной смятой бумагой, он целый день принимал местных агентов по рекламе, лоббистов, ораторов, которые хотели участвовать в прениях, и, выслушивая их торопливый шепот, неопределенно смотрел куда-то вдаль и быстро бормотал: «Да, да, превосходная мысль! Непременно займемся этим!» — и тут же забывал, о чем речь, закуривал сигару, тоже забывал о ней, между тем как телефон не умолкая звонил и вокруг толпились какие-то люди, твердя: «Послушайте, мистер председатель! Мистер председатель, выслушайте меня!» — хотя он уже от усталости ничего не слышал.

В комнате, где помещалась выставка, висели планы новых пригородов Спарты, фотографии нового муниципального здания в Галоп-де-Ваше и длинные колосья пшеницы с надписью «Природное золото из Шельби-Каунти, города-сада в Стране господа бога».

И хотя настоящие совещания проходили в номерах гостиницы, где перешептывались приезжие, или среди отдельных групп, уединявшихся в холле от толпы, украшенной значками, но все-таки было устроено и несколько официальных заседаний.

Первое открылось приветствием мэра города Монарка. Потом пастор первой христианской церкви Монарка, толстый человек с прядью волос, прилипшей к потному лбу, сообщил господу богу, что приехали люди, занимающиеся реализацией недвижимости.

Почтенный посредник из Миннемагенты, майор Карлтон Тюк, произнес речь, в которой разоблачались происки кооперативной торговли. Уильям А. Ларкин из города Эврики сообщил утешительный прогноз о «видах на развитие строительства», напомнив, что цены на оконное стекло упали.

Словом, съезд шел своим чередом.

Делегатов непрестанно и упорно развлекали. Монаркская Торговая палата дала банкет, а Ассоциация промышленников устроила прием, на котором каждой даме преподнесли хризантему, а каждому мужчине — кожаный бумажник с надписью: «Память о Монарке — Мире Мощных Моторов».

Миссис Кросби Ноултон, жена фабриканта автомобилей флитвинг, открыла для обозрения свой знаменитый итальянский парк и устроила там чай. Шестьсот представителей фирм по продаже недвижимости гуляли с женами по осенним дорожкам. Из них человек триста вели себя незаметно, другие триста энергично восклицали: «Здорово задумано!» — тайком срывали осенние астры, прятали их в карманы и старались протиснуться поближе к миссис Ноултон, чтобы пожать ее нежную ручку. Делегаты от Зенита (кроме Сесиля Раунтри), хотя их никто не просил, собрались вокруг пляшущей мраморной нимфы и спели: «А вот и мы...»

Все делегаты от Пайонира случайно оказались членами Благодетельного и Покровительственного ордена Лосей и принесли с собой огромный стяг с надписями: «Б. П. О. Л.— Благородные, Порядочные, Особенные Люди — Береги Пайонир, О Лиззи!» — и Галоп-де-Ваш, лучший город штата, тоже не отставал. Председатель галоп-де-вашской делегации, высокий, краснолицый толстяк, проявил большую активность. Он снял пиджак, швырнул широкополую черную шляпу на траву, засучил рукава, влез на солнечные часы, сплюнул и заревел:

— Расскажем всему миру и доброй хозяюшке этого дома, что самый лучший городишко в нашем благословенном штате — Галоп-де-Ваш! Вы, ребята, можете сколько угодно болтать про ваш Зенит, а я вам шепну, что в старом Галопе больше домовладельцев, чем в любом другом городе штата. А когда у человека есть собственный дом, он тебе не полезет в забастовки, он будет делать детей, вместо того чтобы делать скандалы! Да здравствует Галоп-де-Ваш! Да здравствует родина домоседов! Он всех проглотит живьем! Кричи на весь мир — ур-а-а-а!

Наконец гости разъехались. По саду прошел последний трепет — и все успокоилось. Миссис Кросби Ноултон со вздохом взглянула на мраморную скамью, которую до перевозки сюда пять веков грело солнце Италии. На лице крылатого сфинкса, поддерживавшего скамью, кто-то нарисовал чернильным карандашом усы. Мятые бумажные салфетки валялись на грядках гвоздики. На дорожке, словно обрывки нежной кожи, лежали лепестки последней осенней розы. В бассейне с золотыми рыбками плавали папиросные окурки, они набухали, расползались, оставляя за собой противные следы, а под мраморной скамьей лежали тщательно составленные черепки разбитой чайной чашки.

VI

Возвращаясь к себе в отель, Бэббит подумал: «А вот Майре вся эта светская петрушка, наверно, понравилась бы». Его самого этот прием интересовал куда меньше, чем автомобильные прогулки, организованные Монаркской торговой палатой. Он без устали осматривал водокачки, пригородные трамвайные станции, кожевенные заводы. Он жадно глотал статистические данные, которые ему сообщали, и потом с восторгом говорил своему соседу У.-А. Роджерсу: «Конечно, этому городу далеко до Зенита,— ни наших перспектив, ни наших природных богатств тут и в помине нет; но вы знаете, я-то, например, до сегодняшнего дня понятия не имел, что они в прошлом году выпустили семьсот шесть-

десят три миллиона кубов пиломатериалов! Что вы на это скажете?»

Он страшно нервничал перед своим докладом. Стоя на невысокой кафедре и глядя на собравшихся, он весь дрожал, перед глазами плыл красный туман. Но начал он уверенно и, окончив официальную часть, свободно заговорил с аудиторией, засунув руки в карманы, и его очкастая физиономия блестела, как тарелка, поставленная на ребро под лампой. Слышались крики: «Здорово сказано!» — а потом, в прениях, все поминали «выступление нашего друга и собрата, мистера Джорджа Ф. Бэббита». За пятнадцать минут он превратился из рядового делегата в лицо, почти столь же известное, как сам дипломат от коммерции — Сесиль Раунтри. После собрания делегаты со всего штата окликали его: «Привет, брат Бэббит!» Шестнадцать совершенно незнакомых людей называли его Джордж, а трое увели в угол, чтобы поделиться своими соображениями: «Рад, что у вас хватило храбрости вступиться за нашу профессию, поддержать ее как следует. Я всегда считал, что...»

На следующее утро Бэббит с сугубой небрежностью попросил горничную в отеле дать ему все зенитские газеты. В «Прессе» ничего не было, но в «Адвокат-таймсе» — он даже ахнул! Они поместили его портрет и отчет на полколонки, под заголовком: «Сенсация на ежегодном съезде Ассоциации посредников по продаже недвижимости. Дж. Ф. Бэббит, известный зенитский посредник,— лучший оратор съезда».

Он благоговейно прошептал:

— Теперь, может быть, кое-кто на Цветущих Холмах опомнится и заметит старика Джорджи, уделит ему побольше внимания!

VII

Последнее собрание подходило к концу. Делегации от имени своих городов требовали, чтобы следующий съезд непременно был устроен у них. Ораторы заявляли, что «Галоп-де-Ваш — столичный город, местонахождение Кримеровского колледжа, признанный центр культуры и самых лучших предприятий» или что «Гамбург, наш славный городок, живописнее всех. У нас каждый мужчина — широкая натура, каждая женщина — богоданная хозяйка, и все широко распахнут перед вами свои гостеприимные двери».

И вдруг, в самый разгар этих сердечных приглашений, золоченые двери бального зала распахнулись, и под визг труб появилось настоящее цирковое шествие. Это были зенитские маклеры, одетые ковбоями, наездниками, японскими жонглерами. Во гла-

ве шел Уоррен Уитби, в медвежьей шапке и красной с золотом куртке тамбурмажора. За ним, в костюме клоуна, колотя в барабан, шествовал бесконечно счастливый и шумный Бэббит.

Уоррен Уитби вскочил на подмостки, стукнул булавой и объявил:

— Мальчики-девочки, пора нам договориться! Коренной зенитец, конечно, любит соседей, но все-таки мы порешили перехватить следующий съезд, как мы перехватили у соседних городов производство сгущенного молока и картонной тары и...

Дж. Гарри Бармилл, председатель съезда, остановил его:

— Мы, конечно, весьма благодарны вам, мистер м-мм... но мы должны выслушать и других — пусть внесут свои предложения.

Громовой голос прогудел, как сирена:

— Эврика обещает бесплатные поездки по красивейшим местам.

Но по проходу уже бежал худой и лысый молодой человек и хлопал в ладоши:

— Я из Спарты! Наша Торговая палата телеграфировала мне, что она ассигнует восемь тысяч долларов на прием делегатов съезда!

С места вскочил человек, похожий на священника:

— Деньги решают все! Предлагаю принять приглашение Спарты!

И приглашение было принято.

VIII

Докладывала комиссия по подготовке резолюций. Было объявлено, что поскольку всемогущий господь в неизреченном своем милосердии призвал в текущем году в свою высокую обитель тридцать шесть маклеров, постольку данный съезд выражает сожаление, что господь бог это сделал, каковое решение секретарь должен незамедлительно занести в протокол и утешить осиротевшие семьи, послав им копии такового.

Вторая резолюция ассигновала председателю Ассоциации пятнадцать тысяч долларов на подготовку кампании за здоровую налоговую политику в законодательных учреждениях штата. В этой резолюции много говорилось об угрозе здоровым деловым начинаниям, о том, что надо помешать неосведомленным и близоруким деятелям совать палки в колеса Прогресса.

Потом докладывала комиссия по выбору подкомиссий, и потрясенный Бэббит с благоговением услыхал, что его назначили членом подкомиссии по обсуждению системы Торренса.

Он был в восторге:

— Говорил же я, что год будет удачный! Джорджи, старина, тебя ждут большие дела! Ты прирожденный оратор, ты компанейский парень, словом — держись!

IX

В последний вечер никаких официальных приемов не было. Бэббит совсем уже собрался домой, но днем Джиред Сасбергер с женой из города Пайонира пригласили Бэббита и У.-А. Роджерса на чашку чаю в ресторан «Каталпа».

Бэббит был знаком с ритуалом чаепития: он с женой торжественно пил чай в гостях не реже двух раз в год, но все же для него это было редким событием, и он чувствовал себя вполне светским человеком. Он сидел за стеклянным столиком в художественной гостиной ресторана, расписанной зайчиками, со стишками на березовой коре и «художественно оформленными» официантками в голландских чепчиках; он ел невкусные сандвичи с салатом и усиленно заигрывал с миссис Сасбергер, большеглазой и стройной, как манекенщица. С самим Сасбергером он познакомился уже два дня назад, и они звали друг друга «Джорджи» и «Сасси».

Сасбергер вдруг умоляющим голосом сказал:

— Слушайте, ребята, не уходите, сегодня наш последний вечер, а у меня в номере есть *то самое,* и лучшей коктейльщицы, чем моя Мириам, не найти во всех Штати Унидос, как мы, итальянцы, их называем.

С широкими радушными жестами Бэббит и Роджерс приняли приглашение Сасбергеров и последовали за ними. Миссис Сасбергер взвизгнула: «Ах, какой ужас!» — увидев брошенную на кровати рубашечку из прозрачнейшего кремового шелка. Она засунула ее в сумку, а Бэббит скалил зубы:

— Не обращайте на нас внимания, мы гадкие мальчишки, все знаем!

Сасбергер позвонил и велел принести льду, а посыльный, подав лед, тут же запросто, не ожидая приказаний, спросил:

— Вам бокалы для коктейля или для вина?

Мириам Сасбергер смешивала коктейль в одном из тех скучных белых графинов, какие бывают только в гостиницах. Когда они выпили по бокалу, она протянула лукавым голосом:

— Думаю, что вы, друзья, осилите и по второму, вам причитаются дивиденды! — чем сразу показала, что, будучи дамой, она все же знает в совершенстве всю сложную механику питья коктейлей.

Выйдя из номера, Бэббит намекнул Роджерсу:

— Послушай, У.-А., старый ты петух, сдается мне, что в этот чудный «абенд» [1] мы бы с превеликим удовольствием не уезжали домой к нашим любящим женам, а остались бы тут да закатили вечеринку. Что ты на это скажешь?

— Джордж, твоими устами говорит сама мудрость и эта, как ее, благо-го-разумно-витость. Эл Уинг уже отправил жену в Питтсбург. Давай-ка позовем и его!

В половине седьмого они сидели в номере вместе с Эльбертом Уингом и еще двумя делегатами. Все скинули пиджаки, расстегнули жилетки, лица у них были красные, голоса громкие. Они приканчивали бутылку пронзительного самогонного виски и умоляли официанта:

— Послушай, сынок, достань-ка нам еще такого же формалинчику, а?

Они курили толстенные сигары, сбрасывая пепел и окурки на ковер.

Давясь от хохота, они рассказывали анекдоты. Словом, это были настоящие мужчины, в блаженном первобытном состоянии.

Бэббит тяжело вздохнул:

— Не знаю, жеребцы, как вы, но я лично люблю вырваться на волю, своротить парочку скал, вскарабкаться на полюс да помахать северным сиянием!

Делегат от Спарты, серьезный, сосредоточенный юнец, несвязно забормотал:

— Честное слово, я примерный муж, но до чего надоедает каждый день возвращаться домой и никуда, кроме кино, не ходить. Я из-за этого даже записался в Национальную гвардию, честное слово! Лучше моей женки у нас в городе и не найдешь — да вот... А знаете, кем я хотел быть? Знаете, о чем я мечтал? Стать знаменитым химиком, вот кем! Да папашка погнал меня на большую дорогу, продавать кухонную утварь, вот я на этом и застрял, на всю жизнь застрял, и выхода нет! Ну, к черту! Кто завел похоронный разговор? Не выпить ли нам еще? Выпьем, вы-ыы-ыпьем, это нам не вре-ее-дно!

— Верно! Хватит хныкать! — весело сказал У.-А. Роджерс.— А вы знаете, ребята, что я у нас на деревне — первый певец! Ну, подхватывай:

Старикану ханже говорит молодой:
«Ты не хочешь ли выпить со мной?»
Старый квакер в ответ: «Я не против, о нет!
Клюкнем, юный ханжа, по одной» [2].

---

[1] Вечер *(нем.)*.

[2] Перевел Р. Сеф.

X

Обедали они в мавританском зале отеля «Седжвик». Где-то и как-то к ним пристали еще два приятеля: фабрикант мушиной липучки и зубной врач. Все пили виски прямо из чайных чашек, острили, совершенно не слушая друг друга, разве только когда У.-А. Роджерс дурачил официанта-итальянца.

— Послушай, Джузеппе,— говорил он с невинным видом,— подай-ка мне пару жареных слоновых ушей!

— Простите, сэр, этого у нас нет.

— Как? Нет слоновых ушей? Не может быть! — Роджерс повернулся к Бэббиту: — Слыхали? Педро говорит, что у них слоновые уши все вышли!

— Разрази меня гром! — сказал человек из Спарты, с трудом сдерживая смех.

— Что ж, Карло, в таком случае принеси мне телячью ногу и пару бушелей жареной картошки, да и горошку подкинь,— продолжал Роджерс.— Наверно, у вас там, в далекой знойной этой самой, все итальяшки добывают свежий горошек прямо из консервных банок, верно?

— Нет, сэр, в Италии растет прекрасный горошек.

— Да неужели? Джорджи, слыхал? В Италии свежий горошек растет прямо на грядках! Ей-богу, век живи — век учись, Антонио, если только выживешь и сил хватит! Ладно, Гарибальди, тащи-ка сюда на палубу бифштекс с двумя стопками картошечки, чтобы хрустела, компрехене-ву [1], Микелович Анджелони?

Потом Эльберт Уинг долго восторгался:

— Ей-богу, У.-А., загнали вы этого итальяшку в тупик! Ни черта он не понял!

Тут Бэббит нашел объявление в «Монаркском вестнике» и прочел его вслух под смех и аплодисменты:

Старый Колониальный Театр

ТРЯХНИ СТАРИНОЙ!
ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ
Хор хорошеньких херувимов!
Купальщицы в комедии
Пит Менутти
со своими
Чудо-крошками!

Подходи, Бенни, бери билет, лучших девушек не было и нет! Наш городишко таких не видал, все спешите в этот зал! Каждая ножка взмахнет немножко — и ты уж лег у этих ног! Вот какой ты по-

[1] Искаж. comprenez-vous — понимаете *(франц.)*.

лучишь процент: сто одиннадцать веселья на каждый цент! Сестры Кальроза свежей, чем роза, даже за тень их не пожалеешь денег! Джоку Зилберштейну не занимать перца, будете смеяться от всего сердца! Зрители даже вскакивают с мест: вот это чечетка — Джексон и Вест! Смотри, как играют и передом и задом в нашем оркестре Провен и Ладам. Итак, друзья, зевать нельзя! Слушай, что птичка чирикнула с крыши: все читайте наши афиши! [1]

— Сочно! — сказал Бэббит.— Видно, лакомый кусочек этот театр! Пошли все вместе, а?

Но они еще долго медлили и никак не решались уйти. Тут за столиками они сидели развалясь и твердо упираясь ногами в пол и поэтому чувствовали себя в безопасности, но все-таки их качало и было страшно пуститься в опасное плавание по скользкому паркету длинного зала, под взглядами других гостей и слишком внимательных официантов.

И когда они наконец решились встать, столики кидались им под ноги, и они пробовали прикрыть смущение тяжеловесными шутками в гардеробной. Когда гардеробщица выдавала им шляпы, они улыбались ей в надежде, что она, как беспристрастный и опытный судья, поймет, что имеет дело с настоящими джентльменами. Они ворчали друг на друга: «Чья это дырявая покрышка?», или: «Бери ту, что получше, Джорджи, а я прихвачу, какая останется»,— и заплетающимся языком приглашали гардеробщицу: «Пойдем-ка с нами, крошка! Такой вечерок закатим, что закачаешься!» Каждый пытался дать ей на чай, перебивая остальных: «Нет! Погоди! Вот! Я уже достал!» И все вместе дали ей целых три доллара.

XI

Они сидели в ложе театра, задрав ноги на барьер, с шиком куря роскошные сигары, и смотрели, как двадцать накрашенных, усталых и безнадежно респектабельных пожилых тетушек задирали ноги в примитивных па шантанного танца, а комедиант-еврей издевался над еврейским народом. В антракте они встретились с другими одинокими делегатами. Все вместе — человек двенадцать — они отправились в кабачок «Душистый бутон», где душистые бутоны были сделаны из пыльной бумаги и развешаны

---

[1] Перевел Р. Сеф.

гирляндами в низком зале и где воняло, как в заброшенном хлеву, использованном не по назначению.

Здесь виски подавали уже открыто, прямо в стаканах. Два-три клерка, мечтавшие в день получки сойти за миллионеров, танцевали в узком проходе между столиками с телефонистками и маникюршами. В фантастической пляске кружились профессиональные танцоры — молодой человек в отлично сшитом фраке и тоненькая, словно обезумевшая девушка в изумрудном шелку, с рыжими волосами, взметенными, как пламя костра. Бэббит попытался танцевать с ней. Он шаркал по полу не в такт бешеной музыке, настолько отяжелевший, что его трудно было вести, и его так качало, что он наверно упал бы, если б девушка не поддерживала его тонкой, но сильной и доброй рукой. Он ослеп и оглох от скверного контрабандного алкоголя, он не видел ни столиков, ни лиц. Его закружила эта девушка, эта теплая, гибкая молодость.

А когда девушка решительно отвела его ко всей компании, он вдруг, по какой-то совершенно неожиданной ассоциации, вспомнил, что его бабка по матери была шотландкой, и, откинув голову, закрыв глаза и восторженно раскрывая рот, медленно, густым басом запел «Лох Ломонд».

После этого его растроганное и умиленное настроение вдруг испортилось. Представитель Спарты заявил, что он «поет, как сапог», и десять минут Бэббит мужественно и громко бранил его заплетающимся языком. Все требовали виски, пока хозяин заведения не объявил, что пора закрывать. Но Бэббита жгла и терзала жажда более грубых удовольствий. И когда У.-А. Роджерс протянул: «А что, если нам отправиться к девочкам?» — он бурно выразил одобрение. Перед уходом трое из них уже тайно назначили свидание девушке в зеленом, танцевавшей с ними за плату, она ласково соглашалась: «Да, да, миленький!» — со всем, что ей предлагали, и тут же начисто забывала о них.

Когда они проезжали по окраинам Монарка, по улицам, где ютились коричневые деревянные домишки рабочих, безликие, как тюремные камеры, когда их машины неслись мимо товарных складов, казавшихся этой пьяной ночью огромными и жуткими, когда подъезжали к дому с красными фонарями, откуда слышалось дребезжание пианолы и жеманный визг толстых женщин, Бэббиту становилось все страшней. Он готов был выскочить из такси, но все его тело пылало медленным огнем, и он пробормотал: «Уходить поздно!» — понимая, что ему уходить не хочется.

Между прочим, тут произошел, как им показалось, очень смешной случай. Биржевик из Миннемагенты заявил:

— Монарк куда веселее вашего Зенита. Разве у вас, зенитских толстосумов, есть такие заведеньица, как это?

Бэббит взбесился:

— Наглая ложь! В Зените все есть! Можете мне поверить, у нас всяких этих домов, и кабаков, и притонов больше, чем в любом городе штата!

Вдруг он понял, что над ним смеются, полез в драку, но потом все забыл и окунулся в мутную неудовлетворенность нечистых переживаний, каких он не знал со студенческих времен...

Утром, возвращаясь в Зенит, он чувствовал, что его тяга к бунту была частично удовлетворена. Он погрузился в блаженное раскаяние. Все раздражало его. Он даже не улыбнулся, когда У.-А. Роджерс пожаловался:

— Ох, голова болит! Ну и божье наказание это утро! Слушай! Я знаю, в чем дело! Вчера кто-то нарочно подлил спирту в мое виски!

Семья Бэббита никогда не узнала о его приключениях, и никто в Зените, кроме Роджерса и Уинга, об этом не узнал. Он даже сам себе ни в чем не признавался. И если были какие-нибудь последствия — они так и остались в тайне.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

Этой осенью некий мистер У.-Г. Гардинг из Мэриона, штат Огайо, был избран президентом Соединенных Штатов, но Зенит меньше интересовался общенациональной избирательной кампанией, чем местными выборами. Хотя Сенека Доун был адвокатом, окончившим университет, его кандидатуру в мэры города неожиданно выставили рабочие организации. Противодействуя этому, демократы и республиканцы объединились вокруг Люкаса Праута, фабриканта пружинных матрацев, слывшего весьма здравомыслящим человеком. Мистера Праута поддерживали банки, Торговая палата, все уважаемые газеты и мистер Джордж Ф. Бэббит.

Бэббит возглавлял избирательную комиссию района Цветущих Холмов, но там все обстояло благополучно, а он рвался в бой. После речи на съезде о нем пошла слава, как о хорошем ораторе, поэтому объединенная избирательная комиссия демократов и республиканцев послала его в Седьмой избирательный участок и в Южный Зенит — выступать на небольших собраниях перед рабочими, клерками и их женами, которые еще не знали, как использовать недавно обретенное право голосования. Бэббит и тут прославился, и его слава длилась несколько недель. Иногда на собрания, где он выступал, являлись репортеры, и потом в газетных заголовках сообщалось (хотя и не очень крупным шрифтом),

что «Джордж Ф. Бэббит выступал под горячие аплодисменты» и что «выдающийся коммерсант изобличил пороки Доуна». Однажды в иллюстрированном приложении к «Адвокат-таймсу» появилась фотография Бэббита и еще десятка других дельцов с подписью: «Ведущие финансовые и коммерческие деятели Зенита, которые поддерживают Праута».

Бэббит заслужил эту славу. Избирательную кампанию он проводил блестяще. Он в нее верил, он был убежден, что сам Линкольн — будь он жив — агитировал бы за мистера У.-Г. Гардинга (если только Линкольн не оказался бы в Зените, где он, наверное, выступал бы за Люкаса Праута). Разговаривал Бэббит с аудиторией без всяких дурацких околичностей: Праут — воплощение честности и трудолюбия, Сенека Доун — воплощение самой низкой лени,— и ваше дело, кого из них выбрать. Широкоплечий, громкоголосый, сам Бэббит, безусловно, был Славным Малым и — редкое качество! — по-настоящему хорошо относился к людям. Даже к простым рабочим он относился довольно хорошо. Он хотел, чтобы им платили как следует, для того чтобы они могли много платить за квартиры — но, конечно, при условии, что не будут нарушены законные прибыли акционеров. Обуреваемый благородными порывами и радуясь открытию, что он — прирожденный оратор, Бэббит умел завоевать расположение аудитории и со всем пылом отдавался избирательной кампании, прославившись не только на Седьмом и Восьмом участке, но даже кое-где и на Шестнадцатом.

II

Набившись в машину, они подъехали к помещению Турнферейна — Бэббит, его жена, Верона, Тед и Рислинги — Поль с Зиллой. Спортивный зал помещался над гастрономическим магазином, на улице, где грохотали трамваи и пахло луком, бензином и жареной рыбой. Все видели Бэббита в новом свете, и даже он сам собой любовался.

— Не знаю, как ты можешь выступать на трех собраниях в один вечер. Вот бы мне твои силы! — сказал Поль, а Тед сообщил Вероне: «Наш старикан умеет брать этих молодчиков на пушку!»

Мужчины, в черных сатиновых рубахах, с только что вымытыми лицами, хотя и с остатками копоти под глазами, слонялись по широкой лестнице, ведущей в зал. Бэббит и его спутники вежливо пробрались между ними в чисто выбеленную комнату, в конце которой стояли подмостки с красным плюшевым «троном» и сосновым «алтарем», выкрашенным в водянисто-голубой цвет —

в такой обстановке ежевечерне выступают Великие Магистры и верховные чины бесчисленных братств и лож. Зал был полон. Прокладывая себе дорогу в толпе, стоявшей у входа, Бэббит услышал милый сердцу шепот: «Это он!» Председатель с важным видом уже спешил ему навстречу по центральному проходу:

— Докладчик? Все готово, сэр. Простите... м-мм... ваша фамилия?

И Бэббит поплыл по волнам красноречия:

— Леди и джентльмены Шестнадцатого участка, к сожалению, сегодня здесь среди нас нет человека, который является самым закаленным троянцем на политической арене — я говорю о нашем лидере, достопочтенном Люкасе Прауте, знаменосце нашего города и всего Зенитского округа. И так как его здесь нет, то я прошу разрешения, как ваш друг и сосед, как согражданин, гордящийся честью, выпавшей всем нам на долю — жить в нашем прекрасном городе Зените, рассказать вам искренне, честно и беспристрастно, как смотрит на перспективы этой важной избирательной кампании простой человек дела — человек, который вырос в бедности, знал физический труд и никогда,— даже теперь, обреченный судьбой сидеть за письменным столом,— никогда не забудет, что значит, черт возьми, вставать в пять тридцать и бежать на фабрику с котелком в мозолистой руке, чтобы поспеть ровно к семи, если только хозяин не обжуливал нас и не давал гудок на десять минут раньше (*смех*). Но, возвращаясь к основным и решающим вопросам этой избирательной кампании, скажу вам, что главная ошибка, на которую лицемерно толкает вас Сенека Доун...

Находились рабочие, которые издевались над Бэббитом — молодые циники, главным образом, из иностранцев: евреи, шведы, ирландцы, итальянцы. Но более пожилые, терпеливые, изнуренные и согнутые трудом плотники и механики, кричали Бэббиту «ура», а когда он доходил до анекдота про Линкольна, их глаза увлажнялись слезой.

Скромно и деловито он покидал зал под сладостные сердцу аплодисменты, чтобы поспеть на третье в этот вечер собрание.

— Садись-ка за руль, Тед! — просил он.— Что-то я устал от этого дела. Ну, как я говорил, Поль? Дошло до них?

— Еще бы! Отлично говорил! С огоньком!

Миссис Бэббит просто молилась на мужа:

— Ах, как чудесно ты говорил! Так ясно, так увлекательно, такие прекрасные мысли! Когда я слышу твои выступления, я понимаю, что мне трудно оценить, как глубоко ты мыслишь, какой у тебя блестящий ум, какой дар речи! Ну, просто... просто блестяще!

Одна Верона не давала ему покоя.

— Папа, скажи мне,— приставала она,— откуда ты знаешь, что национализация средств производства и тому подобное непременно окончится неудачей?

Миссис Бэббит с упреком перебивала дочь:

— Рона, неужели ты не понимаешь, неужели не чувствуешь, что нельзя требовать объяснения таких сложных вещей от отца в ту минуту, когда он устал после выступления! Я уверена, что, отдохнув, он с удовольствием все тебе объяснит. А теперь давайте помолчим, пусть папа подготовится к следующей речи. Только подумать! Сейчас уже все собираются в клубе Маккавеев и ждут — ждут *нас!*

III

Мистер Люкас Праут и Крепкие Дельцы победили мистера Сенеку Доуна и Классовую Политику, и Зенит был снова спасен. Бэббиту предложили раздать несколько небольших должностей бедным родственникам, но он предпочел получить от городских властей негласную информацию насчет того, где собираются прокладывать шоссейные дороги, о чем благодарные городские власти ему и сообщили. Кроме того, он был одним из тех девятнадцати ораторов, которые выступали в Торговой палате, праздновавшей победу справедливости.

Репутация Бэббита как первоклассного оратора настолько укрепилась, что на ежегодном обеде Ассоциации посредников по продаже недвижимости ему поручили произнести вступительную речь. В газете «Адвокат-таймс» эта речь была приведена почти полностью, что случалось не так уж часто:

«Вчера вечером состоялся один из самых оживленных банкетов, данный по случаю ежегодной встречи членов Ассоциации посредников по продаже недвижимости в венецианском зале ресторона О'Хирна. Наш любезный хозяин Джил О'Хирн превзошел себя, и собравшиеся наслаждались выбором таких блюд, каких не найти нигде к западу от Нью-Йорка,— да, пожалуй, и в самом Нью-Йорке,— запивая эти многочисленные блюда напитком, освежающим, но не опьяняющим, а именно сидром с фермы Чендлера Мотта, Президента Правления и бесподобно остроумного председателя этого собрания.

Мистер Мотт, страдавший в этот вечер легким воспалением гортани, предоставил слово для вступительной речи мистеру Дж. Ф. Бэббиту. Упомянув о бурном росте числа участков, назначенных к застройке по системе Торренса, мистер Бэббит сказал следующее:

«Обращаясь к вам с импровизированной речью (впрочем, тщательно переписанной и лежавшей в кармане жилета), я не могу не вспомнить анекдот о двух ирландцах, Майке и Пате, которые ехали в поезде. Забыл сказать — они оба были матросы. Майк, да, кажется, Майк, занял нижнюю койку и вдруг слышит наверху страшный шум. Окликает он Пата, спрашивает — что случилось? А Пат ему отвечает: «Пропади я пропадом, никак заснуть не могу! Как восемь склянок пробило, стал я залезать в этот проклятый гамачок тут наверху — и никак не влезу, никак!»

И вот я, джентльмены, стоя тут перед вами, чувствую себя не лучше Пата,— всякое может случиться: вдруг поговорю я, поговорю, и почувствую себя таким ничтожным, что даже помещусь в багажную сетку, пропади я пропадом!

Джентльмены, мне кажется, что каждый год, когда мы тут собираемся — и друзья и враги,— каждый год, когда мы закуриваем трубку мира и ветер дружбы возносит дым к цветущим холмам Доброй Воли, мы должны, стоя плечом к плечу и глядя друг другу в глаза, как граждане лучшего города в мире, отдать себе отчет, что значим мы сами и что значит наш город.

Правда, мы должны признать, что в Соединенных Штатах, по последней переписи, мы стоим чуть ли не на двенадцатом месте при населении в 361 000, или фактически в 362 000 человек. Но, джентльмены, если к следующей переписи мы не выбьемся, по крайней мере, на десятое место, я первый попрошу сомневающихся снять с меня последнюю рубаху и скушать ее за здоровье Дж. Ф. Бэббита, эсквайра! Правда, возможно, что Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия всегда будут больше нашего города. Но оставим в стороне эти три города, которые, как известно, настолько разрослись, что ни один порядочный белый человек, который любит жену и ребятишек и свежий воздух на божьем просторе и любит пожать руку соседу у ворот, никогда в этой тесноте жить не захочет,— так вот, я вам прямо скажу, что не променяю первоклассную зенитскую новостройку на весь Бродвей или Стэйт-стрит — и каждому, у кого есть голова на плечах, понятно, что, кроме этих трех больших городов, наш Зенит — лучший на земле образец американского образа жизни и процветания.

Я не хочу сказать, что у нас нет недостатков. Нам еще многое надо сделать — скажем, заасфальтировать пригородные дороги, потому что, поверьте мне, именно тот, кто зарабатывает от трех до десяти тысяч в год и имеет автомобиль, славную семейку и небольшой домик в пригороде,— именно этот человек и является двигателем прогресса!

Эти люди сейчас правят Америкой, они идеал человека, на которого должен равняться весь мир, если он хочет добиться, что-

бы люди на нашей маленькой планете жили приличной, упорядоченной, христианской жизнью! Иногда призадумаешься и так ясно представишь себе этакого вот солидного американского гражданина, что на душе становится радостно.

Этот Идеальный Гражданин — я прежде всего представляю его живым и подвижным, как хороший охотничий пес. Он не тратит драгоценное время на бесплодные мечтания, на всякие великосветские приемы и балы, не вмешивается не в свое дело, а работает с огоньком в какой-нибудь торговле, или имеет профессию, или даже занимается искусством. Вечером закурит хорошую сигару, сядет за руль доброй своей машины, ругнет карбюратор и помчится домой. Скосит травку на лужайке или потренируется в гольф, а тут и обед готов. После обеда расскажет ребятишкам сказку, либо сведет их в кино, либо сыграет партию-другую в бридж, а то и почитает газету или хороший, увлекательный роман из жизни ковбоев, если уж его тянет на литературу. А то зайдет кто-нибудь из соседей, посидят, поболтают о друзьях, поделятся новостишками. Такой человек ложится спать довольный, с чистой совестью, зная, что и он внес лепту в дело процветания родного города, да и на свой банковский счет.

И в политике, и в религии этот Здравомыслящий Гражданин умнее всех на свете, а уж что касается искусства, у него врожденный вкус, он всегда выбирает самое лучшее. Ни в одной стране в мире вы не найдете на стенах гостиных такого количества репродукций со старых мастеров и с известных картин, как в наших Соединенных Штатах. Ни в одной стране нет такого количества граммофонов с набором пластинок — и не только танцевальных, но и серьезных, оперных — например, оперы Верди,— где поют самые высокооплачиваемые певцы в мире.

В других странах искусством и литературой занимаются всякие опустившиеся личности, которые ютятся на чердаках и живут на одних макаронах и вышивке, а у нас, в Америке, преуспевающего писателя или художника не отличишь от всякого другого приличного дельца. И я, со своей стороны, только могу радоваться, что у человека, который даже скучное деловое содержание может облечь в интересную, увлекательную форму, умеет протолкнуть свой литературный товар с напором, с нажимом, у такого человека есть все шансы заработать свои пятьдесят тысчонок в год, и он может на равной ноге встречаться с самыми крупными дельцами, иметь большой дом и шикарную машину — ничуть не хуже, чем у любого индустриального магната! Но имейте в виду, что судьба писателя зависит исключительно от одобрения того Славного Малого, которого я вам только что описал, так что

в развитии литературы надо отдать должное и ему, а не только самим писателям.

Наконец,— и это самое важное! — наш Стандартный Гражданин, даже если он холост, любит детишек, оберегает семейный очаг, этот краеугольный камень нашей цивилизации, который был, есть и останется тем, что больше всего отличает нас от развращенных народов Европы.

Сам я никогда в Европе не был, да, по правде сказать, не так уж меня и тянет в те края, когда я еще не видел всех великих городов и гор своей собственной родины,— но мне кажется, что и за границей есть много людей, близких нам по духу. Недавно я слышал, как один из самых рьяных «ротарианцев» хвалил деловую хватку и сметку стопроцентного американца на таком раскатистом диалекте, что сразу запахло доброй старой Шотландией и цветущим вереском Бобби Бернса. Но в то же самое время одно отличает нас от наших братьев, дельцов Старого Света: они охотно повторяют мнения всяких снобов, журналистов и политиков, а современный американский делец умеет постоять за себя и всякому скажет ясно и вразумительно, что он сам себе хозяин. Ему не надо нанимать какого-нибудь высоколобого ученого, когда приходится отбиваться от тех, кто занимается гнусной критикой нашего здорового и дельного образа жизни. Это в старину купцы двух слов связать не умели. А у современного коммерсанта и язык хорошо подвешен, и кулак крепкий.

И при всей своей скромности, я хочу встать во весь рост перед вами, как представитель деловых кругов, и сказать: «Вот они, наши люди! Вот образец Стандартного Американского Гражданина! Вот оно, новое поколение американцев: настоящие мужчины, с волосатой грудью, с ласковыми глазами и новейшими арифмометрами в конторах. Нет, мы не хвастаемся, но мы собой крепко гордимся, а если мы вам не нравимся — берегитесь и лучше убирайтесь подальше, не то вас сметет циклон новой жизни...

Ну вот... Попытался я тут, как умел, нарисовать вам портрет Настоящего Парня, со сметкой и хваткой. И только потому, что в Зените таких очень много, наш город стал самым крепким и самым выдающимся из всех американских городов. Конечно, есть настоящие люди и в Нью-Йорке, но этот город одолевают иностранцы. И в Чикаго и в Сан-Франциско от иностранцев отбою нет. Разумеется, у нас есть свои жемчужины — Детройт и Кливленд с их знаменитыми заводами, Цинциннати с его машиностроением и мыловаренной промышленностью, Питсбург и Бирмингем, где варят сталь, Канзас-Сити, Миннеаполис и Омаха, чьи гостеприимные двери широко распахнуты среди океана плодородных полей, есть множество других городов во всем их великоле-

пии,— да, по последней переписи, в Америке ровно шестьдесят восемь замечательных городов с населением более ста тысяч! И все эти города являются нашей опорой, нашей силой и нашей чистотой, нашим орудием против всяких иноземных выдумок и коммунизма,— тут и Атланта с Гарфортом, и Рочестер с Денвером, и Милуоки с Индианаполисом, и Лос-Анжелес со Скрентоном, и Портленд в штате Мэн, и Портленд в Орегоне. Настоящий хороший Боевой Малый из Балтиморы, Сиэтла и Дулута как близнец похож на Славного Делягу из Буффало или Экрона, Форт-Ворса или Оскалусы!

Но именно у нас, в Зените, на родине мужественных мужчин, женственных женщин и резвых ребят, вы найдете больше всего вот таких Настоящих Парней,— потому-то наш город и стоит особняком, потому-то Зенит и войдет в историю, как первенец в эре всеобщей цивилизации, которая наступит, когда навеки исчезнет старый медлительный образ жизни и заря всеобщих смелых упорных дерзаний воссияет над землей!

И я надеюсь, что придет время, когда люди перестанут восхищаться старыми, изъеденными молью, заплесневелыми европейскими городишками и отдадут должное великому гению Зенита, боевому духу, который заставляет нас решительно бороться за успех, за то, чем «Зенит знаменит» во всех тех широтах и долготах, где известно, что такое сгущенное молоко и картонные коробки! Верьте мне, слишком долго весь мир находился под влиянием тех стран, где нет ничего, кроме чистильщиков сапог, пейзажей и спиртного, где на сто человек едва ли приходится одна ванная комната, где не отличают панки от подшивки! И давно пора кому-нибудь из нас, зенитцев, встать во весь рост и крикнуть вслух, кто мы такие!

Поймите, что Зенит и другие города — его сверстники — рождают новый тип цивилизации. Да, между Зенитом и его соседями много сходства, и я лично этому очень рад! Разумная стандартизация все растет, и стандартные магазины, конторы, улицы, отели, одежда и газеты показывают, как крепок и прочен наш образ жизни.

Я всегда с удовольствием вспоминаю стихи, которые Чам Фринк написал для газет о своих лекционных турне. Многие из вас их читали, но все же разрешите мне огласить эти стихи. Это — классические стихи, как стих Киплинга «Заповедь» или поэма Эллы Уилер Уилкокс «Стоящий человек», и я не расстаюсь с этой газетной вырезкой:

Когда я мчусь во весь опор,— поэт и коммивояжер, я не кляну судьбу свою, жую резинку и пою. Я подарить любому раб

сердечный смех и бодрый взгляд; как подобает рифмачу, напропалую я шучу. Развею со студентом грусть, с ротарианцем посмеюсь, мне жизнь приятна и легка, и знаю я наверняка, что не похож на дурака. Но старый хитрый сатана не знает отдыха и сна, покрутит он хвостом — и вот меня весь день хандра грызет. Я грустен, словно пес цепной, забытый дома в выходной. В своей машине модной мчась, я проклинаю день и час, когда стал лектором, и мне противно шляться по стране. От самых дорогих сигар в моей башке стоит угар, я одного хочу — домой, вновь есть омлеты с ветчиной, в кругу, где вся моя родня и где всегда поймут меня.

А дом далек — плевать на грусть! — в отеле лучшем поселюсь, неважно где: будь то Мекон, Колумбус или Вашингтон, Толедо или Джефферсон. И чувствую себя я в нем, как будто это отчий дом. Чтоб разогнать тоску свою, у входа молча постою, увижу площадь, а на ней перед кино толпу людей; все тот же ряд знакомых лиц, и те же шляпки у девиц, и носят все — ну что за черт! — материи знакомый сорт. К мужчинам подойду — и тут знакомый разговор ведут: бейсбол, политика, авто,— короче говоря, все то, что слышал я уже не раз, о чем болтают и у нас!

Войдя в отель, кругом взгляну и радостно скажу: «Ну-ну...» Знакомо все: стенд для газет, и запах крепких сигарет, и старые сорта конфет,— и дом я вспомяну. Услышу поутру галдеж,— влетит гурьбою молодежь на завтрак. Все спешат присесть и с аппетитом станут есть. И, встав, я зареву: «Друзья! Не уезжал из дома я!» Довольный, сяду в уголке и к человеку в котелке так обращусь: «Скажи-ка, Биль, как ходит твой автомобиль? Как чувствует себя жена? Что с акциями, старина?» Затем мы встанем и вдвоем неспешно к выходу пойдем, два джентльмена, от души болтающих, как малыши, друзья по клану, брату брат, веселой встрече каждый рад... Приятель, если дьявол вдруг захочет повторить свой трюк, и ты поедешь в дальний край, ты точно так же поступай. Ведь где бы в Штатах ни был ты, во всем знакомые черты узнаешь и в краю чужом найдешь свой дом, родимый дом [1].

Да, все эти города — настоящие наши партнеры, участники великой игры, настоящей жизни. Но давайте внесем ясность в этот вопрос. Я настаиваю, что лучший партнер из всех, самый растущий и передовой — наш Зенит. Надеюсь, вы мне простите, если я в доказательство приведу некоторые статистические данные. Может быть, кое-кому из вас они давным-давно известны, но цифры, отражающие наше процветание, сколько бы раз их ни повторяли, никогда не устанешь слушать, как доброе слово Биб-

[1] Перевел Р. Сеф.

лии, если ты настоящий деляга. Всякий образованный человек знает, что Зенит производит больше сгущенного молока, сухих сливок, больше упаковочных коробок и электрических ламп, чем любой город в США, а то и во всем мире. Но мало кому известно, что мы стоим на втором месте по производству фасованного масла, на шестом — в великой индустрии моторов и автомашин и примерно на третьем — по производству сыра, кожаных ремней, толя, пищевых концентратов и спецодежды.

Но величие нашего города не только в небывалом его процветании, а также и в гражданском духе, в передовых идеалах и братской солидарности, которыми отмечен Зенит со времени его основания нашими предками. И наше право, вернее, наш долг по отношению к этому чудесному городу — широко распространять сведения о наших школах, с их прекрасными участками и лучшей в стране вентиляцией, о наших великолепных новых отелях и банках, с фресками и мраморными колоннами в вестибюлях, о Второй Национальной Башне, которая является вторым по величине муниципальным зданием во всех городах Среднего Запада. И если я добавлю, что у нас несравненно больше мощеных улиц, ванных комнат, пылесосов и других признаков цивилизации, чем в других местах, что наши библиотеки и музеи отлично содержатся и размещены в хорошо оборудованных зданиях, что наша система паркового хозяйства стоит на должной высоте и наши прекрасные дороги украшены газонами, кустарниками и статуями, если я все это добавлю, то это будет лишь бледный пример того, какой великий и прекрасный, какой растущий город наш Зенит!

Но я нарочно оставил напоследок самое лучшее доказательство. И если я вам напомню, что по статистике у нас на каждые пять и семь восьмых человека приходится одна автомашина, я думаю, что этим я вам дам яркое, конкретное доказательство прогресса и общего умственного развития, которые стали синонимом самого имени — Зенит!

Но пути праведных не всегда усыпаны розами. Прежде чем закончить свою речь, я должен привлечь ваше внимание к проблеме, с которой мы столкнемся в этом году. Самой худшей угрозой разумпому управлению страной являются не откровенные социалисты, но те трусы. которые работают скрытно,— длинноволосые субъекты, называющие себя «либералами» и «радикалами», «беспристрастными», «интеллигенцией» и бог знает какими еще кличками! Безответственные учителя и профессора представляют собой худшую часть этой шайки, и мне стыдно сказать, что многие из них преподают в университете нашего штата. Этот университет — моя альма-матер, и я горжусь, что я — его воспитанник,

но там есть некоторые преподаватели, которые считают, что мы должны передать бразды правления нашего государства в руки бродяг и бездельников!

Этих учителишек надо истреблять, как змей,— их и всех подобных слюнтяев! Американский делец — человек великодушный, иногда даже слишком, но одного он требует от всех учителей, лекторов и журналистов: хотят, чтобы мы им платили нашими честно заработанными деньгами, так пусть помогают нам внедрять деловую хватку, поддерживать тягу к рациональному накоплению! И раз уж зашла речь об этих болтунах, критиканах, циниках и пессимистах из университетской профессуры, так разрешите мне сказать, что в этом текущем году мы должны выполнить наш долг и добиваться увольнения этих ничтожеств с таким же усердием, с каким мы будем стараться продать как можно больше участков и скопить как можно больше доброй монеты.

И только тогда наши сыновья, наши дочери увидят, что идеал мужественного, культурного американца не одинокий чудак, который только и знает, что сидеть и рассусоливать о своих правах и обидах, а богобоязненный, деловитый, преуспевающий, сильный Настоящий Парень, который принадлежит к какой-нибудь хорошей, крепкой, здоровой церкви, состоит членом клуба Толкачей, или Ротарианцев, или Кивани, или принадлежит к ордену Лосей, Оленей, Краснокожих, или Рыцарей Колумба,— словом, к одной из десятков организаций, которые объединяют веселых добряков, разбитных шутников, работающих до седьмого пота, всегда готовых помочь друг дружке Первоклассных Добрых Малых, которые и трудятся вовсю, и веселятся вовсю, и сумеют ответить критикам хорошим пинком крепкого башмака, сумеют научить этих ворчунов и задавак уважать настоящего мужчину и работать на дядю Сэма из США!»

IV

Бэббита ждала многообещающая карьера признанного оратора. Он даже сумел развлечь всех мужчин в курительной клуба пресвитерианской церкви, что на Чэтем-роуд, рассказывая анекдоты с еврейским, китайским и ирландским акцентом.

Но ни в чем так не выразилась вся его сущность Выдающегося Гражданина, как в лекции «Голые факты о недвижимом имуществе», которую он прочел группе молодежи, изучающей методы торговли при зенитском клубе Христианской Ассоциации Молодых Людей.

«Адвокат-таймс» изложил лекцию с такой полнотой, что Верджил Гэнч заявил Бэббиту:

— Становишься самым признанным краснобаем в городе, а? Нельзя взять газету в руки, чтобы не прочесть, какой ты замечательный оратор. Наверно, это здорово пойдет на пользу твоим делам — отбою не будет от клиентов. Молодец! Продолжай в том же духе!

— Будет тебе! — слабо защищался Бэббит, но в душе он был обрадован таким признанием Гэпча, который и сам считался незаурядным оратором. И Бэббит удивлялся, как он мог, перед летними каникулами, сомневаться, что быть солидным гражданином — великое счастье.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Но и на пути к величию и славе он иногда встречал обидные препятствия.

Известность не помогла Бэббитам продвинуться в те круги общества, где им полагалось бы вращаться. Им не предложили вступить в загородный клуб Тонаванда, их не приглашали на балы в Юнион. Бэббит с досадой уверял, что ему самому в высокой степени наплевать на всю эту светскую шушеру, но жене было бы приятно оказаться «среди присутствующих». Он с волнением ждал, когда же состоится ежегодный обед его товарищей по университетскому выпуску,— вечер самой пылкой фамильярности с такими столпами общества, как Чарльз Мак-Келви — миллионер-подрядчик, Макс Крюгер — банкир, Эрвин Тэйт — фабрикант станков и Адалберт Добсон — модный архитектор. Внешне он был с ними в таких же приятельских отношениях, как и в университете, при встрече они до сих пор звали его «Джорджи», но встречались они как-то уж очень редко, а к себе домой, на Ройял-ридж, на обеды (где дворецкий разливал шампанское),— они его никогда не звали.

Всю неделю до парадного обеда их выпуска Бэббит только и думал об этих людях: «Мне теперь ничто не мешает сойтись с ними поближе!»

II

Подобно всем чисто американским сборищам, дающим повод для душевных излияний, обед бывших студентов выпуска 1890 года был организован как нельзя лучше. Устроительный комитет все время бил в одну точку, как хорошая рекламная контора. Каждую неделю рассылались напоминания:

Слушай, приятель, ты не забудешь прийти на наш обед — самый веселый, вольный вечер, какой только знали выпускники доброго старого У. Выпускницы 1908 года собрались почти все — 60%! Так неужто мы, мальчики, окажемся хуже каких-то юбок? Собирайтесь, ребята, проявите настоящий, горячий энтузиазм, давайте устроим отличный обед! Пусть у нас будут изысканные блюда, краткие, острые речи и обмен воспоминаниями о лучших днях нашей жизни.

Обед был устроен в зале клуба Юнион. Помещался этот клуб в мрачном здании, перестроенном из трех претенциозных старинных домов, и хотя вестибюль напоминал погреб для хранения картошки, Бэббит, которому было доступно все великолепие Спортивного клуба, вошел сюда с трепетом. Он кивнул швейцару — престарелому важному негру в синей ливрее с золотыми пуговицами, и торжественно проследовал в зал, делая вид, что он — полноправный член клуба.

На обед собралось шестьдесят человек. Они растеклись по холлу, образуя островки и течения, толпились в лифте и в уголках уютного зала. Они старательно проявляли бурный восторг и сердечность. Друг другу они казались совершенно такими же, как в студенческие времена — зелеными юнцами, которые нацепили на себя усы, лысины, животики и нарисовали морщины просто ради развлечения, на один вечер. «Да ты ни капли не изменился!» — изумлялись они. Тем, кого они не узнавали, они говорили: «Да, да, старина, как приятно опять с тобой встретиться. А что ты — наверно, все тем же занимаешься?»

Кто-то все время пытался затянуть университетский гимн или веселую песню, но его никто не поддерживал, и он наконец умолк окончательно. И хотя все твердо решили вести себя демократично, группы образовались сами собой — те, кто был в смокингах, и те, кто пришел в пиджаках. Бэббит, в изысканнейшем смокинге, переходил от одной группы к другой. Несмотря на то, что он, почти не скрывая этого, старался втереться в высшее общество, он первым делом все же отыскал Поля Рислинга. Поль сидел в одиночестве, как всегда, тщательно одетый и молчаливый.

Поль со вздохом сказал:

— Не умею я как-то заниматься всей этой чепухой: пожимать руки, кричать: «Кого я вижу!»

— Брось, Полибус, встряхнись, будь компанейским парнем! Таких славных ребят свет не видал! Слушай, почему ты такой мрачный? В чем дело?

— Да все то же. Поссорились с Зиллой.

— Пустое! Пойдем в компанию, забудем все неприятности!

Он не отпускал Поля от себя, но все же старался пробраться туда, где от Чарльза Мак-Келви, как от огромной печки, шла теплота на его поклонников.

Чарльз Мак-Келви был героем и любимцем выпуска девяносто шестого года. Он был не только капитаном футбольной команды и лучшим гранатометчиком, но участвовал в дискуссиях и даже преуспевал в академических занятиях. Он сделал карьеру, став во главе строительной компании, когда-то принадлежавшей Додсвортам — знаменитой семье первых поселенцев Зенита. Теперь он строил административные здания, небоскребы и вокзалы узловых станций. Широкоплечий и широкогрудый, он сохранил подвижность. Глаза у него были насмешливые, и говорил он вкрадчиво и гладко, так что политиканы терялись, а репортеры настораживались, и в его присутствии самые ученые профессора, самые талантливые художники чувствовали себя какими-то неполноценными, неотесанными и немного жалкими. Но он умел быть очень обходительным, очень обязательным и щедрым, когда ему приходилось обрабатывать чиновников или нанимать шпиков для слежки за рабочими. Он держался настоящим феодалом: он был пэром новой, столь быстро выросшей американской аристократии, и выше него стояли только высокомерные «старинные» семьи. (Старинными семьями в Зените считались те, кто поселился в городе до 1840 года.) Мак-Келви забрал такую силу еще и потому, что был начисто лишен всякой совести и свободен как от пороков, так и от добродетелей старых пуританских времен.

В данную минуту Мак-Келви был сдержанно весел, окруженный «великими мира сего» — фабрикантами, банкирами, землевладельцами, адвокатами и врачами, которые держали шоферов и ездили в Европу. Бэббит втиснулся между ними. Он любил Мак-Келви не только потому, что его дружба могла помочь продвинуться, но и за его улыбку. И если в обществе Поля он казался себе могучим покровителем, то в обществе Мак-Келви чувствовал себя робким обожателем.

Он слышал, как Мак-Келви сказал Максу Крюгеру, банкиру: «Да, сэр Джеральд Доук остановится у нас»,— и демократическая любовь Бэббита к титулованным особам сразу расцвела пышным цветом.

— Знаешь, Макс, он один из крупнейших тузов английской металлургии. Сказочно богат... Ага, Джорджи, старина, здорово! Смотри, Макс, Джорджи Бэббит растолстел больше, чем я!

— Рассаживайтесь друзья! — крикнул председатель.

— Пойдем, пожалуй, Чарли? — небрежно спросил Бэббит у Мак-Келви.

— Пойдем! Привет, Поль! Как поживает наш скрипач? Т где сидишь, Джордж? Давай-ка сядем рядом. Пойдем, Мак Джорджи, я читал про твои выступления. Ты молодец!

После такого одобрения Бэббит окончательно был готов пой за Чарли в огонь и воду. Весь обед он был невероятно занят: т добродушно покрикивал на Поля, то заговаривал с Мак-Келв «Слыхал, что ты собираешься строить какие-то плотины в Бр клине?» — то отмечал про себя, с какой завистью неудачники е выпуска, уныло сидящие в сторонке, смотрят, как он общает с аристократией, то просто наслаждался светским разговор Мак-Келви и Макса Крюгера. Они разговаривали о том, как Мо Додсворт для «бала в джунглях» украсила свой дом сотня орхидей. С великолепной, но явно напускной небрежностью о упоминали о званом обеде в Вашингтоне, на котором Мак-Кел познакомился с сенатором, английским генерал-майором и ба канской принцессой. Мак-Келви запросто называл принце «Дженни» и довел до всеобщего сведения, что танцевал с ней.

Бэббит был восхищен и потрясен, хотя не настолько, чт самому молчать. Пусть они не приглашают его к себе на обе но он тоже привык разговаривать с банкирами, членами конгр са и председательницами клубов, где выступают поэты. Он остр и даже ударился в воспоминания:

— А помнишь, Чарли, как мы с тобой на первом курсе н няли шлюпку и поехали в Ривердейл, где мадам Браун показ вала своих девочек? Помнишь, как ты избил этого дурака поли мена, который пытался нас арестовать, и как мы потом укра вывеску «Здесь гладят брюки» и повесили ее на дверь профессо Моррисона? Веселые были деньки, ей-богу!

Мак-Келви согласился, что деньки и впрямь были весел Бэббит уже заговорил было о том, что «дело не в книжках, ко рые ты зубришь в колледже, а в друзьях, которых там приобр таешь», когда сидевшие во главе стола затянули песню. Но Б бит пристал к Мак-Келви:

— Жалко, право, жалко, что мы так мало встречаемся толь потому, что наша... м-мм, как бы сказать... деловая жизнь прох дит в разных областях. А так приятно было вспомнить старин Вы с женой непременно должны прийти к нам пообедать.

— Ну что ж...— Ответ прозвучал неопределенно.

— Хотелось бы поговорить с тобой о застройке участков твоим грентсвилским складом. Мог бы тебе кое-что посоветова

— Отлично! Непременно надо вместе пообедать, Джордж Ты только позови — мы придем. И вас с женой будем рады виде у себя! — На этот раз Мак-Келви говорил гораздо определенне

Но тут голос председателя — тот самый оглушительный голос, который в студенческие дни не раз подстегивал их, когда надо было орать на футбольных матчах всякие оскорбительные слова по адресу команд из Огайо, Мичигана или Индианы,— вдруг загремел на весь зал:

— А ну-ка, вы, кисляи! Давайте все вместе дружно! Затягивай нашу, студенческую!

И Бэббит чувствовал, что никогда жизнь не будет так прекрасна, как сейчас, когда он вместе с Полем Рислингом и вновь обретенным героем, Мак-Келви, вопит изо всех сил:

По-орра!
Эй, ура!
Не жалей топора!
Уррра-аа!

III

Бэббиты пригласили чету Мак-Келви к обеду в начале декабря, и чета Мак-Келви не только приняла приглашение, но и действительно в конце концов явилась, хотя этот обед откладывался из-за них раза два.

Бэббиты подробнейшим образом обсудили все детали — от марки шампанского до количества соленого миндаля, которое следует положить перед каждым гостем. Особенно трудно было решить, кого еще позвать. Бэббит до конца настаивал, чтобы дать и Полю Рислингу возможность побыть в обществе Мак-Келви.

— Наш Чарли — славный старик, ему куда приятнее посидеть с Полем и Верджем Гэнчем, чем с какими-нибудь высокоумными чучелами,— утверждал он, но миссис Бэббит обычно прерывала его рассуждения, не слушая их:

— Да... да, конечно... Знаешь, пожалуй, я возьму линхэйвенских устриц.— А потом перед самым обедом она пригласила доктора Д.-Т. Ангуса, специалиста по глазным болезням, и мрачного, но весьма респектабельного адвоката по фамилии Максвелл вместе с их ослепительно шикарными женами.

Ни Ангус, ни Максвелл не были членами ордена Лосей или Спортивного клуба, никто из них не звал Бэббита «братец» и не спрашивал его мнения о карбюраторах. Бэббит очень сердился на жену. Хорошо, что она хотя бы пригласила Литтлфилдов — единственные живые люди! Да и то Говард Литтлфилд иногда до того погружался в свою статистику, что Бэббит начинал мечтать о бодром окрике Гэнча: «Ну, лимонная образина, что скажешь хорошенького?»

Сразу после второго завтрака миссис Бэббит начала накрывать стол к обеду — Мак-Келви были званы к половине восьмого, а Бэббиту было приказано вернуться домой к четырем. Но для него никакого дела не нашлось, и три раза миссис Бэббит сердито говорила: «Не мешай ты мне, бога ради!» Он стоял в дверях гаража, надув губы, и ему ужасно хотелось, чтобы Литтлфилд или Сэм Доппелбрау, словом, хоть кто-нибудь вышел поговорить с ним. Тут он увидел, что по двору как неприкаянный слоняется Тед.

— Что с тобой, старина? — спросил Бэббит.

— А-а, и ты тут, несчастный мученик! Да, мамаша нынче воинственно настроена! Я проговорился, что нам с Роной вовсе неохота участвовать в сегодняшней фиесте, так она мне чуть голову не откусила! Да еще говорит — прими ванну! Знаешь, сегодня мужчины семейства Бэббит зададут шику! Подумай, крошка Теодор — и тот в смокинге!

Выражение «мужчины семейства Бэббит» очень понравилось Бэббиту — здорово сказано! Он обнял сына за плечи. Эх, если бы у Поля Рислинга была дочка и Тед мог на ней жениться!

— Да, наша мама сегодня вьюном вьется! — сказал он, и оба засмеялись, вздохнули и послушно пошли одеваться.

Чета Мак-Келви опоздала всего на пятна́дцать минут. Бэббит втайне надеялся, что Доппелбрау увидят, как лимузин Мак-Келви с шофером в форменной куртке ждет у его дома.

Обед был отлично приготовлен и необыкновенно обилен, миссис Бэббит даже поставила на стол серебряные подсвечники своей бабушки. Бэббит старался вовсю. Он вел себя отлично. Он не рассказал ни одного анекдота, хотя ему и очень этого хотелось. Он слушал других. Он заставил говорить Максвелла, громогласно объявив: «Расскажите-ка нам о вашей поездке в Йеллоустон». Он всем сумел польстить как следует. При первой возможности он заявил, что доктор Ангус — благодетель человечества, Максвелл и Литтлфилд — выдающиеся ученые, Чарльз Мак-Келви — пример для подрастающего поколения, а миссис Мак-Келви — украшение светского общества Зенита, Вашингтона, Нью-Йорка, Парижа и ряда других городов.

Но он никак не мог поднять настроение своих гостей. Обед прошел без всякого воодушевления. Бэббит не понимал, отчего всем так тягостно, отчего разговор идет вяло, с трудом.

Он устремил все свое внимание на Люсиль Мак-Келви, усердно стараясь не смотреть на ее напудренные красивые плечи и золотистую ленту, поддерживавшую шелковое платье.

— Вы, наверно, скоро опять поедете в Европу? — начал он.

— Да, очень хочется прокатиться в Рим на недельку-другую!

— Должно быть, вы там смотрите много картин и всяких древностей, слушаете музыку?

— Нет, я, главным образом, езжу вот из-за чего: на виа делла Скрофа есть малюсенькая траттория, и там подают лучшие макароны в мире!

— А где это... О, да, да... Наверно, это очень приятно. Да, конечно!

Без десяти десять мистер Мак-Келви с глубоким прискорбием обнаружил, что у его жены болит голова. Он снисходительно бросил Бэббиту, когда тот помогал ему надевать пальто:

— Надо бы нам вместе позавтракать, поболтать о старине...

Когда все остальные гости, досидев до половины одиннадцатого, наконец ушли, Бэббит сообщил жене умоляющим голосом:

— Знаешь, Чарли сказал, что мы должны с ним позавтракать... сказал, что он скоро пригласит нас с тобой к обеду.

Она через силу выжала из себя несколько слов:

— О, вечер вышел очень милый, так приятно посидеть спокойно, гораздо приятнее, чем эти шумные сборища, когда все говорят разом и никто не может как следует отдохнуть и развлечься.

Но, лежа в своей кровати на веранде, он слышал, как она тихо, безнадежно плачет.

IV

Целый месяц они следили за светской хроникой и ждали ответного приглашения.

После званого обеда у Бэббитов имя Мак-Келви всю неделю не сходило с первых страниц газет — у них гостил сэр Джеральд Доук. Зенит принял сэра Джеральда с распростертыми объятиями (он приехал в Америку закупать уголь). Газетчики интервьюировали его по поводу сухого закона, событий в Ирландии, безработицы, морской авиации, обменного курса валюты, спрашивали его мнение о том, что лучше — пить чай или виски, о психологии американских женщин, о будничной жизни английской знати. Сэр Джеральд как будто имел некоторое представление обо всех этих предметах. Чета Мак-Келви дала в его честь сингалезский обед, и мисс Эльнора Пэрл Бэйтс, репортер светской хроники «Адвокат-таймса», заливалась по этому поводу соловьиной трелью. Бэббит читал вслух за завтраком:

Никогда еще оригинальное восточное убранство, необыкновенно изысканный стол, знаменитые гости, очаровательная хозяйка дома и всеми уважаемый его хозяин не создавали столь исклю-

чительной атмосферы, как та, в какую мы попали на балу, данном мистером и миссис Мак-Келви в честь сэра Джеральда Доука. И мнится нам, счастливцам, которые имели честь созерцать эту экзотически сказочную обстановку, что ни в Монте-Карло, ни при лучших посольствах в иностранных столицах не бывало таких очаровательных балов. Недаром Зенит приобретает все более широкую известность в светских кругах как один из самых рафинированных городов нашего штата.

Несмотря на то, что скромность мешает ему признать это, лорд Доук придает нашему аристократическому кварталу такое cachet[1]*, какого не было со времени памятного посещения герцога Ситтингбурнского. Лорд Доук не только принадлежит к британской знати, но также, on dit*[2]*, является одним из крупнейших деятелей британской металлургической промышленности. Родом он из Ноттингема, любимого убежища Робина Гуда, и хотя теперь там, по словам лорда Доука, вырос оживленный, вполне современный город, где 275 тысяч 573 жителя и значительное производство кружев, а также и другие отрасли промышленности, нам хочется думать, что в жилах нашего гостя течет мужественная, алая и вместе с тем благородная голубая кровь его предка, хозяина дремучих лесов, доброго и лукавого Робина Гуда.*

Очаровательная миссис Мак-Келви никогда еще не была так прелестна, как в этот вечер, в платье из черных кружев, изящно отделанном серебряными кружевами и с букетом алых роз у безукоризненно тонкой талии.

Бэббит мужественно сказал:

— Надеюсь, они не станут приглашать нас знакомиться с этим самым лордом Доуком. Ей-богу, гораздо приятнее спокойно пообедать с Чарли и его хозяюшкой.

В зенитском Спортивном клубе это событие обсуждалось со всех сторон.

— Небось теперь нам придется звать Мак-Келви «Лорд Ча-а-альз»,— сказал Сидни Финкельштейн.

— Удивительная безграмотность! — изрек ученый муж, Говард Литтлфилд.— До чего некоторым людям трудно усвоить самые простые вещи. Называют этого человека «лорд Доук», когда следовало бы сказать «сэр Джеральд».

Бэббит был потрясен:

— Да неужели? Вот так штука! Значит, надо говорить «сэр Джеральд»? Так их называют, что ли? Ну, дорогой мой, спасибо, что вы мне это сказали!

---

[1] Своеобразие *(франц.)*.

[2] Говорят *(франц.)*.

Потом он сообщил своим агентам:

— Просто животики надорвешь, как подумаешь, что иные люди, только оттого что у них набиты карманы, принимают у себя знатных иностранцев, а как обращаться к ним, чтобы те себя чувствовали не хуже, чем дома, понятия не имеют,— кролик и тот, наверно, больше понимает!

В тот же вечер, по дороге домой, он обогнал лимузин Мак-Келви и увидел сэра Джеральда, большого, краснолицего, пучеглазого англичанина, похожего на немца, которому обвислые рыжие усы придавали унылый и растерянный вид. Бэббит медленно вел машину, угнетенный мыслями о тщетности всех своих попыток. Он вдруг, непонятно почему, с ужасом почувствовал, что Мак-Келви над ним смеются.

Он выдал свою обиду в разговоре с женой.

— Занятым людям нечего тратить время на всяких Мак-Келви,— сердито сказал он.— Светская жизнь — такое же дело, как всякое другое: только тогда чего-нибудь добьешься, если посвятишь себя этому целиком. Но мне гораздо приятнее посидеть в гостях с тобой, с детьми, а не крутиться в этом идиотском водовороте.

Больше они о Мак-Келви не разговаривали.

V

Как на грех, в такое невеселое время приходилось думать об Овербруках.

Эд Овербрук, товарищ Бэббита по университету, оказался неудачником. У него была огромная семья и плохонькая страховая контора на окраине Зенита — в Дорчестере. Сам он был седой, изможденный, незаметный. Таких людей обычно забывают познакомить с другими гостями, а спохватившись, знакомят особенно настойчиво. В университете Эд восхищался общительностью Бэббита, а потом всю жизнь восхищался его успехами в делах, его чудным домом, прекрасно сшитыми костюмами. Бэббиту это было приятно, хотя и налагало на него своего рода ответственность. На товарищеском обеде он увидел бедного Овербрука в потертом синем костюме, скромно сидевшего в уголке с тремя другими неудачниками. Бэббит подошел к нему, сердечно поздоровался:

— А, Эд, дружище! Слыхал, что ты ведешь все страховые дела у себя в Дорчестере. Ты молодец!

Они вспомнили доброе старое время, когда Овербрук писал стихи. Но Овербрук смутил Бэббита, стыдливо забормотав:

— Слушай, Джорджи, обидно подумать, что наши пути разошлись. Хотелось бы, чтобы вы с миссис Бэббит пришли как-нибудь пообедать к нам.

— Отлично! — загудел Бэббит.— Непременно! Только скажи, когда. А мы с женой рады будем видеть вас у себя!

Бэббит совсем забыл об этом разговоре, но Эд Овербрук, к сожалению, не забыл. Несколько раз он звонил Бэббиту, приглашая его на обед.

— Придется пойти, иначе от него не отвяжешься! — ворчливо сказал Бэббит жене.— И ты только обрати внимание, до чего этот горемыка не разбирается в самых простых правилах хорошего тона. Звонит мне без конца по телефону, вместо того чтобы жена села и написала нам настоящее приглашение. В общем, мы влипли! Беда с этими однокашниками, нянчись теперь с ним!

Наконец он внял жалобным просьбам Овербрука и принял приглашение пообедать через две недели. Даже семейный обед, если он предстоит через две недели, не кажется таким страшным, но эти две недели пролетают с невероятной быстротой, и вдруг с ужасом видишь, что незаметно подкрался роковой час. Пришлось переменить день, потому что у Бэббитов обедали Мак-Келви, но в конце концов они нехотя отправились в Дорчестер к Овербрукам.

С самого начала все было ужасно. Овербруки обедали в шесть тридцать, тогда как Бэббиты не садились за стол раньше семи. Бэббит позволил себе опоздать на десять минут.

— Давай не засиживаться,— предложил он жене.— Постараемся удрать поскорее. Скажу, что мне завтра надо очень рано быть в конторе.

Квартира Овербруков производила угнетающее впечатление. Она помещалась на втором этаже деревянного двухквартирного дома. Везде стояли детские коляски, в коридоре висели старые шляпы, пахло капустой, на столе в гостиной лежала фамильная Библия. У Эда Овербрука и его жены был все тот же забитый, жалкий вид, и к обеду были приглашены еще какие-то две жуткие семьи, чьи фамилии Бэббит не расслышал, да и не желал слышать. Но он был растроган и сконфужен похвалами Овербрука:

— Мы гордимся, что наш дорогой Джордж сегодня с нами! Вы все, конечно, читали в газетах о его речах, обо всех его выступлениях, смотрите, какой он красавец! Но я-то всегда вспоминаю университетские годы: какой он был тогда компанейский парень, как замечательно плавал — лучше всех на нашем курсе!

Бэббит пытался быть душой общества, он из кожи лез, но не мог найти ничего интересного в робком Овербруке, его тупых го-

стях и болезненно-глупой миссис Овербрук с ее большими очками, увядшей кожей и стянутыми в узел волосами. Он рассказал свой лучший ирландский анекдот, но анекдот провалился, как корка недопеченного пирога. Бэббит почувствовал, что его обволакивает какая-то муть, когда миссис Овербрук, выбиваясь из мрака вечной заботы о восьмерых ребятах, стряпни и уборки, вдруг попыталась завести светский разговор:

— Наверно, вы скоро опять поедете в Чикаго и Нью-Йорк, мистер Бэббит?

— Да, я частенько езжу в Чикаго!

— Должно быть, там очень интересно. Вы, вероятно, ходите во все театры?

— Нет, говоря по правде, миссис Овербрук, мне больше всего по душе хорошие сочные бифштексы в одном голландском ресторанчике на Лупе.

Больше им говорить было не о чем. Бэббит немного расстроился, но ничего не поделаешь: обед не удался. В десять часов, с трудом стряхивая сонливость, навеянную пустым разговором, он сказал:

— Боюсь, что нам пора идти, Эд. Завтра у меня с самого утра клиенты.— А когда Овербрук помогал ему надевать пальто, Бэббит сказал: — Приятно вспомнить старые времена! Надо нам с тобой вместе позавтракать не откладывая в долгий ящик!

На обратном пути миссис Бэббит тяжело вздохнула:

— Ужасная скука! Но как мистер Овербрук тобой восхищается!

— Да! Бедняга думает, что я сусальный ангелочек и самый красивый мужчина в Зените.

— Ну конечно, это преувеличение, но все ж... Кстати, Джорджи, неужто нам придется пригласить их обедать?

— О-ох! Надеюсь, что нет!

— Я тебя всерьез спрашиваю, Джордж! Неужели ты как-нибудь намекнул мистеру Овербруку, что мы их позовем?

— Да нет же! Господи! Конечно, нет! Я нарочно сказал, что мы с ним вдвоем где-нибудь позавтракаем.

— Ах, так... Боже мой! Мне очень не хочется их обижать! Но я просто не представляю себе, как можно еще раз выдержать такой вечер! И представь себе, вдруг к нам зайдет доктор Ангус с женой, когда у нас будут эти Овербруки, еще, чего доброго, подумают, что они наши друзья!

Целую неделю Бэббиты беспокоились:

— Право, следовало бы пригласить этого несчастного Эда с женой!

Но, никогда не встречаясь с Овербруками, они совсем забыли о них, и через месяц-другой сказали друг другу:

— Так лучше: просто не подымать разговора! И по отношению к ним было бы жестокостью звать их к себе. Они чувствовали бы себя такими лишними, такими нищими в нашем доме!

Больше об Овербруках не вспоминали.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

I

Когда Бэббит окончательно убедился, что Мак-Келви не принимают его в свой круг, он почувствовал себя в чем-то виноватым, попавшим в нелепое положение. Но он стал регулярнее посещать собрания ордена Лосей, выступил на завтраке в Торговой палате с красноречивым разоблачением всей гнусности забастовок и снова почувствовал себя Выдающимся Гражданином.

Эти клубы и общества давали ему подлинную духовную пищу.

Всякий порядочный человек в Зените должен был принадлежать хотя бы к одному — а то и к двум-трем из бесчисленных орденов и клубов, двигавших жизнь вперед: к клубу Ротарианцев, Кивани или Толкачей, к орденам Независимых Одиночек, Оленей, Лосей, Масонов, Краснокожих, Лесовиков, Сычей, Орлов, Маккавеев, Рыцарей Пифии, Рыцарей Колумба,— словом, к одной из многочисленных тайных организаций, где процветала сердечная доброжелательность, строгая мораль и полное уважение к конституции. В эти общества вступали по четырем причинам: во-первых, это было принято. Во-вторых, это было полезно для дела, так как собратья по ордену часто становились клиентами. В-третьих, американцы, которые не имеют возможности именоваться «Geheimräte» [1] или «commendatori» [2], получали в этих орденах такие благозвучные титулы, как «достопочтенный летописец Ордена» или «Великий Вождь», наряду со званиями профессора, полковника и судьи, которые они носили в обыденной жизни. И, наконец, принадлежность к ордену позволяла американскому мужу, связанному по рукам и ногам, отлучаться из дому хотя бы на один вечер в неделю. Орден был для него как площадь для итальянца, уличное кафе для француза. Там он мог играть на бильярде, вести мужской разговор и храбро сквернословить.

---

[1] Тайные советники *(нем.)*.

[2] Командоры *(итал.)*.

Именно по этим причинам Бэббит, как он сам говорил, «вступал, куда только можно».

За пурпуром и златом победного стяга, завоеванного его общественной деятельностью, скрывались бесцветные будни конторской работы: арендные договоры, контракты, списки сдающихся домов и квартир. По вечерам его опьяняли выступления и всяческие заседания лож и комитетов, но утром он еле шевелил языком. Изо дня в день раздражение накапливалось. Он открыто ссорился со своим разъездным агентом, Стэнли Грэфом, и даже как-то зарычал на мисс Мак-Гаун за то, что она перепутала письма, хотя обычно ее прелести побуждали его быть с ней игриво вежливым.

И только в компании Поля Рислинга он отдыхал. Хоть раз в неделю они оба становились прежними юнцами. По субботам играли в гольф, издеваясь друг над дружкой: «Что касается гольфа, то ты, как видно, хороший теннисист»,— уезжали кататься на все воскресное утро, останавливались в деревенских харчевнях и, сидя на высоких табуретках, пили кофе из толстых чашек. Иногда Поль приходил по вечерам со своей скрипкой, и даже Зилла молча слушала, как этот одинокий человек, который безнадежно заблудился и теперь всю жизнь осужден бродить по глухим незнакомым дорогам, изливает свою душевную тоску в музыке.

II

Но больше всего Бэббит очистился и прославился своей деятельностью при воскресной школе.

Он принадлежал к пресвитерианской церкви на Чэтем-роуд — одной из самых больших и богатых, самых изукрашенных мореным дубом и бархатом церквей Зенита. Пастора звали достопочтенный Джон Дженнисон Дрю, Б. И., Д. Б., Д. П. (степень бакалавра искусств и доктора богословия он получил в Эльбертском университете, в Небраске, а степень доктора прав — в колледже Уотерберн, в Оклахоме). Дрю был чрезвычайно красноречив, деловит и общителен. Он председательствовал на собраниях, посвященных разоблачению профсоюзов или улучшению обслуживания, и сообщал присутствующим, что рос в бедности и, будучи мальчишкой, торговал газетами. Для субботних вечерних выпусков «Адвоката» он писал передовицы «Религия настоящего мужчины» или «Доллары и здравый смысл в свете Христова учения»,— и эти статьи печатались крупным шрифтом, в затейливой рамке. Он любил говорить, что «гордится своей репутацией дельца» и что он, конечно,

«не позволит старому сатане взять монополию на деловую хватку и сметку». Он был худощав, грубоват с виду, носил золотые очки и длинные лохматые волосы неопределенно каштанового цвета, но когда его захватывало собственное красноречие, его слова дышали незаурядной силой. Признавая, что он слишком учен и слишком поэтически одарен, чтобы пользоваться лексиконом евангелиста Майка Мондея, он все-таки однажды при случае подстегнул свою паству и побудил ее к более щедрым даяниям, объявив: «Братья, самый жалкий скупердяй и сквалыга тот, кто отказывает в лепте господу богу!»

Его церковь стала настоящим культурным центром. Там было все, кроме бара: детская комната, ужины по четвергам с короткой беседой на религиозные темы, гимнастический зал, раз в две недели — кино, библиотека технических справочников для молодых рабочих,— хотя, к сожалению, ни один молодой рабочий в эту церковь и не заглядывал, разве только когда надо было вымыть окна или починить отопление,— и, наконец, кружок кройки и шитья, где дамы шили штанишки бедным детям, в то время как миссис Дрю читала вслух солидные романы.

Хотя мистер Дрю исповедовал пресвитерианское учение, его церковь носила изысканно епископальный характер. По словам самого пастора, «она воплотила наиболее устойчивые черты тех благородных церковных памятников великой старой Англии, которые до сей поры стоят как символ бессмертной веры, веры в бога и в гражданский долг». Церковь эта была выстроена из веселого сероватого кирпича в ложноготическом стиле, и главный придел освещался электрическими лампами, скрытыми в роскошных алебастровых чашах.

В один из декабрьских дней, когда семейство Бэббитов посетило утреннюю службу, доктор Дженнисон Дрю превзошел в красноречии самого себя. Церковь была переполнена. Десять ловких молодых людей в элегантных костюмах, с белой розой в петлице, носили складные стулья из подвала. Обширную музыкальную программу вел Шелдон Смийс, руководитель воспитательной части ХАМЛ, и он же пел соло. Бэббиту все это не очень понравилось, потому что кто-то по недоразумению научил молодого мистера Смийса без конца улыбаться, улыбаться и улыбаться во время пения. Зато, будучи сам выдающимся оратором, Бэббит высоко оценил проповедь мистера Дрю. В ней была та интеллектуальная изысканность, которая и отличала всю паству церкви на Чэтем-роуд от убогой паствы на Смит-стрит.

— Дни изобильной жатвы — лучшие дни года! — вещал доктор Дрю.— Сколь ни туманно небо, сколь ни труден путь утомленному путнику, но бесплотный, бестелесный дух, паря над трудами

и чаяниями истекших двенадцати месяцев, пребывает во всем, и мнится мне, что златоустый хор тех, кто преуспел, заглушает стенания неудачников, и явных и тайных,— и уже отчетливо зримы за тучами отчаяния величественные вершины гор — вершины певучей песни, вершины радости, вершины силы!

— Да, приятно послушать проповедь культурную, вдумчивую! — отметил про себя Бэббит.

И он был в восторге, когда после окончания службы пастор, горячо пожимая ему руку у выхода из церкви, пропищал:

— О, брат Бэббит, уделите мне минутку! Хочу с вами посоветоваться!

— Охотно, доктор! Всегда готов!

— Зайдите ко мне в кабинет. Вам понравятся мои сигары.

Бэбиту очень понравились сигары. Понравился ему и кабинет, где обычные настенные изречения были заменены остроумным плакатом: «Господь принимает круглосуточно». За Бэббитом вошел Чам Фринк, за ним — Уильям В. Иторн.

Семидесятилетний мистер Иторн был президентом Первого Государственного банка в Зените. Он все еще носил небольшие изящные бакенбарды, которые для банкиров 1870 года были своего рода формой. И если Бэббит завидовал светскому окружению Мак-Келви, то перед Уильямом Вашингтоном Иторном он преклонялся. Мистер Иторн не принадлежал к светским кругам. Он был выше их. Правнук одного из той пятерки поселенцев, которые основали Зенит в 1792 году, мистер Иторн принадлежал к третьему поколению банкиров. Он мог в два счета проверить кредитоспособность, дать заем, поддержать или погубить делового человека. В его присутствии Бэббит дышал учащенней и чувствовал себя моложе.

Достопочтенный доктор Дрю влетел в кабинет и разразился речью:

— Я просил вас, джентльмены, зайти ко мне, чтобы сделать вам одно предложение. Воскресной школе нужна помощь. У нас — четвертая по величине школа в Зените, и нет никаких оснований плестись в хвосте и глотать чужую пыль. Нам надо выйти на первое место! У меня к вам просьба: образовать при воскресной школе комитет содействия и популяризации, проинспектировать занятия, посоветовать, как улучшить работу, а потом, может быть, и постараться, чтобы в печати больше освещали нашу деятельность, чтобы читателям давали действительно интересные и полезные сведения вместо сообщений об убийствах и разводах.

— Превосходно! — сказал банкир.

И Бэббит с Фринком восторженно поддержали его.

III

Если бы задать Бэббиту вопрос — каковы его религиозные убеждения,— он, наверно, ответил бы, как подобает члену клуба Толкачей, выспренне и красноречиво: «Моя религия — служить человечеству, любить ближнего, как самого себя, и вносить свою лепту в построение лучшей жизни для всех». Если бы вы настаивали на более четком ответе, он заявил бы: «Я принадлежу к пресвитерианской церкви и, естественно, признаю все ее доктрины». Если бы, наконец, вы все же бестактно продолжали настаивать, он, несомненно, запротестовал бы: «Бесполезно спорить и пререкаться насчет религии — это ведет лишь к ссорам».

На самом деле вся его вера сводилась к тому, что есть какое-то Высшее Существо, которое пыталось создать нас совершенными, но, по всей вероятности, потерпело неудачу; что если ты Хороший человек, то попадешь в место, называемое раем (Бэббиту оно представлялось чем-то вроде номера в первоклассном отеле с садом), но если ты — Плохой человек, то есть убиваешь, воруешь, нюхаешь кокаин, имеешь любовниц или, наконец, продаешь несуществующие земельные участки, то ты будешь наказан. Бэббит не совсем представлял себе, что такое, как он говорил, «этот самый ад». Он объяснял Теду:

— Конечно, я человек, так сказать, свободомыслящий, и не то чтоб я буквально верил в адский огонь и кипящую серу. Но само собой ясно, что не может человек предаваться всяким порокам и думать, будто ему все сойдет с рук безнаказанно — ты меня понимаешь?

Но сам он редко вдавался в эти теологические тонкости. Главной, практической стороной его религии было то, что посещение церкви придает человеку респектабельность и приносит пользу в делах и что церковь удерживает грешников от еще большего погрязания в грехах, а в проповедях пастора, какими бы скучными они ни казались на слух, таится какая-то колдовская власть, которая тоже «благодетельна для человека — связывает его с Высшей Силой».

Первое обследование, которое он провел, как член Комиссии содействия воскресной школе, сильно разочаровало Бэббита.

Ему понравился «Кружок по изучению Библии для занятых людей» — там слушатели были взрослые и руководил кружком старый врач, доктор Т. Аткинс Джордан, который вел беседу в легком остроумном тоне, напоминавшем манеру какого-нибудь тонкого и умного оратора, выступающего на банкетах. Но, зайдя в класс для подростков, Бэббит очень огорчился. Он слушал, как Шелдон Смийс, руководитель воспитательной части ХАМЛ и регент церковного хора — бледный, но энергичный юноша с каш-

тановыми кудрями и неизменной улыбкой — беседовал с шестнадцатилетними юнцами. Смийс вскрадчиво уговаривал их:

— Так вот, мальчики, в следующий четверг, у меня дома, побеседуем с вами по душам. Посидим своей компанией и откровенно поговорим о всяких тайных сомнениях. Можете рассказать старику Шельди все самое сокровенное, как мои мальчики из ХАМЛ. И я вам так же откровенно расскажу о тех ужасных тайных пороках, которым ребята подвержены, если у них нет руководителя, старшего брата, расскажу обо всех опасностях и обо всех радостях половой жизни.

«Старик Шельди» совсем расплылся в маслянистой улыбке, мальчикам было нестерпимо стыдно, а Бэббит не знал куда глаза девать от смущения.

Менее противно, но еще более скучно было в младших классах, где серьезные старые девы читали лекции по философии и восточной культуре. Кружки по большей части собирались в заново отремонтированном помещении воскресной школы, но за недостатком места некоторые группы занимались в подвале, где проходили трубы водяного отопления, похожие на варикозные вены, и свет падал через высокие окопечки в сырой стене. Бэббиту казалось, что он снова попал в первую конгрегационалистскую церковь в Катобе, в воскресную школу своего детства. Опять он ощутил удушливую атмосферу учтивости, какая царит во всех приемных при церквах, узнал шкафчик с унылыми книжками для воскресного чтения: «Незаметная героиня Хетти» и «Иосиф, мальчик из Палестины»,— снова перебирал стопку ярко раскрашенных открыток с текстами из Священного писания,— мальчики терпеть их не могли, но выбрасывать боялись,— снова слушал ту же монотонную долбежку, как тридцать пять лет назад:

— Теперь ты, Эдгар, прочти следующий стих. Что значит: «Легче верблюду пройти в игольное ушко»? Чему это нас учит? Кларенс! Пожалуйста, сиди смирно! Если бы ты выучил урок, ты бы так не вертелся! Скажи, Эрл, чему же Христос учил своих апостолов? Прошу вас, мальчики, особенно запомните слова: «Господь всемогущ и всевидящ». Всегда помните это — Кларенс, слушай, пожалуйста! — и когда вы падаете духом, повторяйте: «Господь всемогущ и всевидящ»,— и тогда — Алек, читай следующий стих, если бы ты был повнимательнее, ты бы не потерял эту строчку в книге!

«Бу-бу-бу-ууу!» Словно огромный шмель жужжит в сонной одури...

Бэббит стряхивал с себя дремоту, благодарил преподавательницу «за разрешение послушать такой превосходный урок» и, пошатываясь, шел в следующую группу.

Он инспектировал воскресную школу две недели, но никаких советов достопочтенному доктору Дрю придумать не мог.

Но как-то он натолкнулся на множество газет и журналов, посвященных воскресным школам. Это была целая отрасль печати — еженедельники, ежемесячники, очень деловые, очень специальные и прогрессивные, не хуже журналов по вопросам недвижимости или каталогов обувной промышленности. В лавке, где торговали религиозными книгами, Бэббит купил с полдесятка этих изданий и с восхищением читал их до полуночи.

Он нашел много дельных советов о том, «как составлять воззвания», «как вербовать новых членов» или «как выпускать проспекты для привлечения слушателей в воскресные школы». Особенно ему понравилось слово «проспекты» и пришелся по душе следующий раздел:

«Моральный двигатель общественной жизни заложен в воскресных школах — школах, где помогают и наставляют в духовных вопросах. Пренебречь ими в молодости — значит потерять в будущем духовную закалку и моральную силу... Именно эти факты, сопровождаемые прямым призывом, доходят до людей, которых нельзя ни шуткой, ни увещаниями привлечь к посещению воскресных школ».

— Как это верно,— соглашался Бэббит.— Взять хотя бы меня — под любым предлогом старался удрать из нашей воскресной школы в Катобе, но уверен, что никогда не достиг бы такого положения в обществе, если бы во мне не воспитали... ну... высокие моральные качества! А взять Библию. Интереснейшее чтение. Надо будет на днях кое-что перечитать.

О том, как научно организовать воскресную школу, Бэббит прочел в статье журнала «Вестминстерский вестник библейских школ для взрослых»:

Второй вице-президент ведает укреплением товарищеских отношений в классе. Он выбирает группу помощников. Эти помощники принимают и рассаживают приходящих. Всякий вновь прибывший встречает дружеский прием. Никто не чувствует себя чужим. Один из членов группы стоит у входа и приглашает прохожих зайти.

Но больше всего Бэббиту полюбились заметки некоего Уильяма Х. Риджуэя в «Сандей скул таймсе».

Если ваш класс в воскресной школе лишен рвения и пыла, то есть не проявляет никакого интереса, плохо посещает занятия, вял, как больной насморком, послушайте совета старого доктора Риджуэя; вот вам рецепт: пригласите всю компанию поужинать!

«Вестники воскресных школ» содержали не только сведения по всем вопросам, они давали практические советы. Ни один из видов искусства не оставался в пренебрежении. Например, в области музыки «Сандей скул таймс» рекомендовал «новый шедевр С. Гаральда Лоудена, широко известного своими религиозными сочинениями, под названием «Тоскую по тебе». Стихи написаны Гарри Д. Керром, и трудно представить себе более изящные слова на неописуемо прекрасную музыку. Критики единогласно утверждают, что песня будет иметь потрясающий успех. Заменив старые слова гимном «Я голос услыхал Христов», мы получим прелестнейший псалом».

Даже ручной труд не был обойден. Бэббит отметил остроумное предложение — как иллюстрировать воскресение господне:

Модель для учеников легко изготовить своими средствами. Гроб Господень: взять квадратную коробку с крышкой, перевернуть дном кверху. Слегка выдвинуть крышку, образуя внизу паз. Вырезать квадратное отверстие для двери и отдельно — картонный кружок, несколько больше двери. Покрыть кружок и всю гробницу толстым слоем смеси песка, муки и воды и дать высохнуть. Круг должен изображать тяжелый камень, который женщины нашли «отодвинутым» в пасхальную ночь. Этот макет войдет в нашу серию «Наглядные поучения».

Объявления в «Вестниках воскресных школ» были вполне деловые. Бэббит заинтересовался препаратом для людей, ведущих малоподвижную жизнь, которая «восстанавливает истощенную нервную ткань, питая мозг и пищеварительную систему». Его просветили и насчет того, что продажа Библий является весьма оживленной отраслью торговли, с обширной конкуренцией, и ему приятно было узнать из объявления «Компании гигиенической церковной утвари», что в продажу поступила превосходная утварь, в том числе и полированный поднос красного дерева для сбора денег. «Поднос совершенно поглощает шум, легче по весу и приятнее в обращении, чем любой другой поднос, а также более соответствует обстановке церкви, чем подносы из прочих материалов».

IV

Так он перелистал всю кипу «Вестников воскресных школ».

«Вот это настоящий мужской подход к делу! — подумал он.— Здорово подано! Стыдно, что я так мало уделял времени этим вопросам. Раз играешь такую значительную роль у себя в городе,— просто позор не поддержать религию, крепко, по-мужски, не орга-

низовать церковь на современный лад. Так сказать, христианство на широкую ногу. Но, конечно, подходить с благоговением...

Возможно, существуют люди, которые скажут, что эти организаторы церковных школ ведут себя недостойно, забывают о духовном и так далее... Им легко! Всегда найдутся подлецы, им бы только критиковать! Браниться, издеваться и разрушать куда легче, чем строить. Нет, я отдаю должное этим «Вестникам»! Они даже старого Джорджа Ф. Бэббита завербовали в свой лагерь! Вот вам и ответ на критику!

И чем ты мужественней, чем ты практичней, тем больше должен жить активной, истинно христианской жизнью. Я — за! Хватит этого попустительства, пьянства и...»

— Рона! Ты где это так поздно шатаешься, черт возьми! В такое время приходить домой! Безобразие!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

I

На Цветущих Холмах есть всего три или четыре старых дома,— а старым здесь считается дом, построенный до тысяча восемьсот восьмидесятого года. Самый большой из этих домов — резиденция Уильяма Вашингтона Иторна, президента Первого Государственного банка.

Вилла Иторн сохранилась как память об «аристократических кварталах» Зенита, какими они были с тысяча восемьсот шестидесятого по тысяча девятисотый год. Это — махина из красного кирпича с серыми каменными наличниками и крышей из разноцветного шифера — красного, зеленого и желто-бурого. По бокам торчат две худосочные башни: одна — крытая медью, другая — увенчанная чугунной резьбой. Крыльцо похоже на открытый мавзолей; его поддерживают приземистые серые пилястры, над которыми застывшим водопадом нависает кирпичный карниз. В одной стене дома прорезана высокая оконница в виде замочной скважины, забранная разноцветным стеклом.

Но весь этот дом отнюдь не вызывает усмешки. Он воплотил в себе тяжеловесное достоинство викторианских финансистов, которые владычествовали над поколением, жившим после первых поселенцев и до оборотистых дельцов-«коммерсантов»; эти финансисты создали суровую олигархию, захватив управление банками, заводами, земельной собственностью, железными дорогами, шахта-

ми. Из десятка непохожих друг на друга Зенитов, которые все вместе и составляют настоящий, большой Зенит, самым мощным и долговечным и вместе с тем самым недоступным и незнакомым для его граждан является небольшой, тихий, суховатый, вежливый и жестокий Зенит Уильямов Иторнов. Все остальные Зениты в неведении работают на эту крохотную олигархию и в безвестности умирают за нее.

Почти все замки этих своевольных викторианских тетрархов уже давно разрушились или выродились в дешевые гостиницы, но Вилла Иторн все еще стоит в своей высокомерной неприкосновенности, напоминая Лондон, Бэк-Бэй, Риттенхауз-сквер. Ежедневно моются ее мраморные ступени, почтительно начищается медная дощечка на дверях, а накрахмаленные кружевные гардины всегда чопорны и чванливы, как сам Уильям Вашингтон Иторн.

Со сдержанным благоговением Бэббит и Чам Фринк пришли к Иторну на совещание по поводу воскресной школы, в неловком молчании они проследовали за горничной в форменном платье по катакомбам зал и гостиных в библиотеку. Библиотека Иторна была настолько же типичной библиотекой старого солидного банкира, как бакенбарды Иторна — типичными бакенбардами старого солидного банкира. В шкафах стояли главным образом собрания сочинений, как полагалось по традиции,— в синеватых, золотистых или светлых кожаных переплетах. Огонь в камине тоже горел, как полагалось по традиции,— спокойно, неярко и ровно, играя на полированных каминных щипцах. Бюро из старого темного дуба казалось верхом совершенства, у кресел был слегка высокомерный вид.

Хотя Иторн отечески ласковым тоном осведомился о здоровье миссис Бэббит, а также мисс Бэббит и «других деток», Бэббит не знал, как ему ответить. Неприлично было бы спросить: «Ну, как, старина, поплясываем?» — как, бывало, спрашивал он у Верджила Гэнча, Фринка или Говарда Литтлфилда — у людей, которые до сих пор казались ему преуспевающими и вполне светскими. Бэббит и Фринк учтиво молчали, а Иторн с такой же учтивостью, медленно цедя слова, произнес:

— Прежде чем начать совещание, джентльмены,— должно быть, вы озябли в дороге,— благодарствую за то, что посетили старика,— может быть, выпьете стаканчик грогу?

Бэббит так понаторел в разговорах, которые положено вести Доброму Малому, что чуть не опозорился навеки, но вовремя удержался, чтобы не крикнуть: «А мы и не станем кочевряжиться, лишь бы у вас в мусорной корзине не прятался инспектор по сухому закону!» Он проглотил эту фразу и только поклонился торопливо и покорно. Фринк отвесил такой же поклон.

Иторн позвонил горничной.

Никогда наш современный, живущий в роскоши Бэббит не видел, чтобы в частном доме звонили прислуге просто так, не за обедом. Сам он часто вызывал звонком коридорных в гостинице, но дома нельзя было задевать самолюбие Матильды: надо было выйти в холл и крикнуть ей вниз. Да и никогда, со времени введения сухого закона, он не видел, чтобы человек так свободно предлагал выпить. Было даже странно отпить глоток крепкого грога и не заорать: «Ух ты! Самую середку прожгло!» И про себя, с восхищением юнца, встретившего настоящее величие, Бэббит удивлялся: «И этот старикан мог бы сделать со мной что угодно! Скажи он только моему банкиру — «закройте кредит»! И все! А сам от горшка два вершка! С виду-то какой тихий, смирный! Пожалуй, мы, Толкачи, слишком разоряемся насчет хватки и прочего...»

Но он сейчас же отогнал эти мысли и с благоговением выслушал все соображения Иторна насчет улучшения воскресных школ — соображения весьма четкие и никуда не годные.

Потом Бэббит почтительно изложил и свои собственные мысли:

— Мне кажется, что если проанализировать все нужды нашей школы и подойти, так сказать, с той же точки зрения, как если бы перед нами была коммерческая проблема, то, конечно, главное и основное, что нам нужно,— это дальнейший рост. Считаю, что все мы согласны в одном — не успокаиваться, пока не создадим самую что ни на есть большую воскресную школу во всем штате, чтобы наша пресвитерианская церковь на Чэтем-роуд никому не уступала. Теперь насчет того, как бы подстегнуть народ, чтобы лучше посещали: уже устраивались соревнования и выдавались премии тем ребятам, которые приводили больше всего новых учеников. Но тут-то и кроется ошибка: премировали всякой чепухой и мелочью, вроде сборников стихов или Библии с картинками, вместо каких-нибудь таких вещей, ради которых живому веселому мальчишке стоило бы стараться,— дать бы, скажем, наличными деньгами или купить ему спидометр для мотоцикла. Конечно, я сам понимаю, что очень хорошо и красиво сопровождать уроки всякими картинками и рисунками на доске, но когда встает вопрос о том, чтоб завлекать клиентов, я хочу сказать — новых учащихся, то тут надо дать ребятам что-нибудь стоящее, чтоб не зря работали.

Я хочу предложить два новых способа. Во-первых, надо разделить всю воскресную школу на четыре отряда по возрасту. Каждый получает в своем отряде воинское звание, смотря по тому, сколько новых членов он завербовал, а лентяи, которые всех подводят и никого не завербовывают, остаются рядовыми. Пастор и директор школы считаются генералами. И все должны отдавать честь и прочее тому подобное, как в настоящей армии, чтобы ребята чувствовали, что получить чин — дело важное!

И второе мое предложение: конечно, при школе есть свой комитет по распространению информации, но, господи, неужели мы все не понимаем, что так, за здорово живешь, никто работать не будет. Надо смотреть на вещи практически, по-современному. Необходимо нанять настоящего платного агента по рекламе — какого-нибудь репортера, который нам сможет уделить хоть немного времени.

— Правильно, честное слово! — сказал Чам Фринк.

— Только подумайте, какие аппетитные статейки он мог бы стряпать,— соловьем заливался Бэббит.— Он мог бы писать не только о самых важных, самых выдающихся фактах, например, о том, как растет посещаемость, как увеличиваются сборы,— нет, можно было бы и пошутить и посплетничать: скажем, поиздеваться над каким-нибудь хвастуном, который не выполнил обещания и никого не завербовал, или рассказать, как девушки из группы «Святой троицы» веселились на вечеринке — ели сосиски и прочее. А попутно, если у него хватило бы времени, этот наш пресс-агент мог бы подзаняться и тематикой наших уроков,— этим он мог бы поддержать все воскресные школы в городе. Незачем нам жадничать, если только мы будем на первом месте по числу учеников. Скажем, он мог бы поместить в газете... Я, конечно, не обучался литературе, как вы, Фринк, я просто прикидываю, как можно было бы написать такую статейку. Скажем, к примеру: тема урока — история Иакова, и наш пресс-агент мог бы написать статейку с глубокой моралью, а заголовок сделать занятным, чтобы всем хотелось прочесть — ну, скажем, к примеру, так: «Яша обставил самого Старика! И девушку увел, и денежки прикарманил». Вы меня поняли? Всякий заинтересуется! Конечно, вы, мистер Иторн, человек консервативный, и, возможно, вам эти фокусы кажутся недостойными, но, честное слово, барыш от них будет большой, в этом не сомневаюсь.

Иторн сложил ручки на животике и замурлыкал, как старый кот:

— Разрешите мне, прежде всего, отметить, с каким удовольствием я выслушал анализ ситуации, сделанный вами, мистер Бэббит. Вы правильно сказали, что при моем положении естественны консервативные взгляды, и, разумеется, мне до́лжно стараться поддерживать свое достоинство. Но, думаю, вы сами замечаете, что в некоторых отношениях я придерживаюсь прогрессивных взглядов. Скажу, например, что в нашем банке мы, смею сказать, применяем те же современные методы рекламы, что и в любом другом банке нашего города. Да мне кажется, вы и сами скоро обнаружите, насколько мы, старые люди, ощущаем переоценку всех духовных ценностей. Да, да, это так. И приятно отметить, что, несмотря на

мою личную приверженность к более суровому пресвитерианству прошлых лет, я все же...

В конце концов Бэббит понял, что Иторн не возражает.

Чам Фринк предложил в качестве пресс-агента — по совместительству — некоего Кеннета Эскотта, репортера «Адвокат-таймса».

Расстались они исполненные духа христианской взаимопомощи, с самыми возвышенными и дружескими чувствами.

Бэббит поехал не домой, а в центр города. Ему хотелось побыть одному и еще раз пережить восторг дружеского общения с самим Уильямом Вашингтоном Иторном.

II

Снежный вечер, звонкие мостовые, яркие уличные фонари.

Золотые отблески автомобильных фар на сугробах вдоль шоссе. Скромные огоньки домишек. Пламя, изрыгаемое дальней плавильней, стирает с неба колючие звезды. Освещенные окна кафе, где весело беседуют друзья после удачного рабочего дня.

Зеленый фонарь полицейского участка и ярко-зеленый отблеск его на снегу. Драматическое появление полицейской кареты: словно испуганное сердце, колотится гонг, фары опаляют кристальный снег, за рулем, вместо шофера — важный полисмен в форме, второй полисмен с опасностью для жизни висит на подножке, в окне мелькает лицо преступника. Кто он — убийца, грабитель, фальшивомонетчик, попавший в засаду?

Огромная каменная церковь с высоким шпилем; мерцание в окнах, веселый гул спевки. Дрожащий ртутно-зеленый свет в ателье фотографа. И сразу — стремительные огни центра, машины на стоянках с рубиновыми стоп-сигналами, белые арки подъездов кинотеатров, похожие на заиндевевшие пасти пещер; электрические рекламы-змеи, пляшущие человечки, розовые абажуры, накаленная добела джазовая музыка в дешевых танцклассах над ресторанами, фонари китайских харчевен, расписанные цветущими вишнями и пагодами, на черных с золотом лакированных панелях. Скупой грязный свет скудных грязных лавчонок. Шикарные магазины с обильным и спокойным освещением,— свет играет в подвесках хрустальных люстр, на богатых мехах, на глади полированного дерева, на тяжелых плюшевых занавесях элегантных витрин. В высоком доме, среди темных окон — выхваченный светом квадрат: это окно конторы, где кто-то работает так поздно, неизвестно по какой, но, по-видимому, важной причине. Кто он — будущий банкрот, настойчивый юнец или спекулянт, внезапно разбогатевший на нефти?

Бодрящий воздух, глубокий снег, заваливший глухие переулки. Бэббит представил себе, какие огромные сугробы намело за городом, в дубовых рощах, над скованной льдом извилистой речкой.

Сейчас он любил свой город восторженно и нежно. Куда девалась усталость, деловые заботы, бурное красноречие! Он снова чувствовал себя молодым и сильным. Впереди — высокая цель. Мало быть каким-нибудь Верджилом Гэнчем или Орвилем Джонсом. Нет,— люди они превосходные, милые, но нет в них тонкости, такта. Нет! Он станет таким, как Иторн: утонченно-суровым, сдержанно-властным — «таким, как надо»: железный кулак в бархатной перчатке. Никому не давать спуску. «Что-то я в последнее время распустил язык. Вульгаризмы. Шуточки. Надо прекратить. В университете я был первым по риторике. Помню, на одну тему... словом, неплохо говорил. Хватит этих дурацких острот и фамильярничаний. Да я... А почему мне не стать когда-нибудь банкиром? И Тед будет моим наследником!»

Счастливый, он приехал домой и разговаривал с миссис Бэббит точь-в-точь как Уильям Вашингтон Иторн, хотя она этого и не заметила.

III

Молодой Кеннет Эскотт, репортер «Адвокат-таймса», был приглашен на должность пресс-агента пресвитерианской воскресной школы на Чэтем-роуд. Он отдавал этому делу шесть часов в неделю. У него были друзья и в «Бюллетене» и в «Вестнике», но официально никто не знал, что он является пресс-агентом, рекламирующим воскресную школу. Он всюду подсовывал многозначительные заметки о Библии и добрососедских отношениях, о школьных вечеринках, веселых и вместе с тем душеспасительных, о влиянии благочестивой жизни на финансовые успехи. В воскресной школе была принята военная система Бэббита. Это духовное обновление резко повысило посещаемость. Правда, школа не стала самой большой в Зените — Центральная методистская школа удерживала первое место такими способами, которые доктор Дрю заклеймил как «нечестные, недостойные, неамериканские, неблагородные и нехристианские»,— но школа на Чэтем-роуд вышла с четвертого на второе место, и на небесах возликовали (по крайней мере, в той части небес, которая ведала приходом доктора Дрю), а Бэббита окружили похвалами и доброй славой.

Он получил звание полковника генерального штаба школы. Он пыжился от удовольствия, когда его на улице приветствовали незнакомые мальчуганы, уши у него горели от восторга при слове

«полковник», и если он посещал воскресную школу не только ради этих почестей, то, во всяком случае, заранее предвкушал их по дороге туда.

Особенно он привечал Кеннета Эскотта — молодого журналиста. Он брал его завтракать в Спортивный клуб и даже пригласил к себе пообедать.

Подобно многим самоуверенным юнцам, которые с самодовольным видом рыщут по городу и на высокомерном жаргоне высказывают циничесние взгляды на жизнь, Кеннет Эскотт был по натуре застенчив и жил одиноко. За обедом на его остром личике заморыша расплылась счастливая улыбка, и он со всей искренностью выпалил:

— Честное благородное, мистер Бэббит, до чего приятно покушать по-домашнему!

Эскотт и Верона понравились друг другу. Весь вечер они вели «идейный разговор». Оба оказались радикалами. Правда, радикалами вполне благоразумными. Они согласились, что все коммунисты — преступники, что vers libre [1] — чепуха и что хотя необходимо всеобщее разоружение, но, конечно, Соединенным Штатам и Великобритании ради порабощенных малых наций надо содержать флот, равный по тоннажу флотам всех остальных держав. Однако их революционность зашла так далеко, что они предсказывали, к великому возмущению Бэббита, что когда-нибудь появится третья партия, которая задаст жару и республиканцам и демократам.

На прощание Эскотт три раза потряс руку Бэббита.

Бэббит вскользь упомянул, как он любит Иторна.

Через неделю в трех газетах был помещен отчет о блистательной деятельности Бэббита в области распространения религии, и во всех отчетах тактично упоминалось, что Уильям Вашингтон Иторн сотрудничает с ним в этой области.

Эти статьи неизмеримо подняли престиж Бэббита в глазах его собратьев по ордену Лосей, Спортивному клубу и клубу Толкачей. Друзья всегда поздравляли его с успехами на ораторском поприще, но в их похвалах звучало сомнение: хотя в своих речах Бэббит главным образом превозносил родной город, все же в этом было что-то чересчур интеллигентное, даже упадочное, как в писании стихов. Но теперь Орвиль Джонс орал на весь Спортивный клуб: «Вон идет новый директор банка!» Гровер Баттербау, крупный торговец санитарным оборудованием, посмеивался: «И как это вы еще не брезгуете простыми людьми, раз вы с самим Иторном ходите под ручку!» А Эмиль Венгерт, ювелир, наконец раскачался и начал с Бэббитом переговоры о покупке дома в Дорчестере.

---

[1] Свободный стих *(франц.)*.

IV

Когда кампания в пользу воскресной школы наконец закончилась, Бэббит предложил Кеннету Эскотту:

— А как насчет того, чтобы поддержать в печати самого доктора Дрю?

Эскотт ухмыльнулся:

— Он и сам не дурак поддержать себя, мистер Бэббит! Недели не проходит, чтоб он не позвонил в редакцию и не попросил прислать к нему репортера: он, мол, даст блестящий материал по своей будущей проповеди насчет вреда коротких юбок или того, как было написано Пятикнижие. Вы о нем не беспокойтесь. В нашем городе только один человек умеет лучше него устраивать себе саморекламу — это Дора Гибсон Такер, та, которая ведает Обществом защиты детей и Лигой американизации, да и то она только тем берет верх над Дрю, что у нее есть хоть какие-то мозги в голове.

— Слушайте, Кеннет, не следовало бы вам так говорить о докторе Дрю. Духовный пастырь должен соблюдать свои интересы. Как это там сказано в Библии — помните, насчет служения богу или еще как-то...

— Ну, ладно, так и быть, помещу что-нибудь, раз вам этого хочется, мистер Бэббит, но придется переждать, пока уедет главный редактор, а заведующего городским отделом я уж как-нибудь обработаю.

В результате этого разговора в воскресном выпуске «Адвокат-таймса», под портретом доктора Дрю, где он был изображен с наисерьезнейшим лицом, горящими глазами, гранитной челюстью и небрежно откинутыми кудрями, появилась подпись — недолговечный памятник, обеспечивающий односуточное бессмертие:

Достопочтенный д-р Джон Дженнисон Дрю, Б.-И., пастор красивейшей пресвитерианской церкви на прелестных Цветущих Холмах, словно волшебством привлекает заблудшие души. Он побил местный рекорд по обращению грешников. За время его пастырства в среднем ежегодно около ста человек, устав от грехов, решили начать новую жизнь и обрели тихую пристань и покой.

В Чэтемской пресвитерианской церкви все делается с огоньком. Вспомогательные организации при церкви поставлены по-деловому, на широкую ногу. Особенно доктор Дрю любит хорошее хоровое пение. Каждый день там звучат веселые, радостные гимны,

а во время церковной службы специальный хор привлекает любителей музыки и профессионалов со всех концов города.

И на открытых трибунах, и на церковной кафедре доктор Дрю — настоящий художник слова, и в течение года он получает буквально десятки просьб выступить перед различными аудиториями как в нашем городе, так и за его пределами.

Бэббит дал понять доктору Дрю, что статейку подсказал он. Доктор Дрю назвал его «брат мой» и долго тряс ему руку.

На собрании комитета содействия воскресной школе Бэббит намекнул, что был бы счастлив видеть у себя Иторна, а тот пробормотал в ответ: «Весьма благодарен — стар стал — никуда не выхожу...» Но не мог же Иторн отказать своему духовному пастырю. И Бэббит шутливым тоном сказал Дрю:

— Послушайте-ка, доктор, теперь, когда мы всю эту штуку провернули, не пора ли нашему пастырю сварганить обедик для нас троих?

— Идет! Заметано! Очень рад! — воскликнул Дрю мужественным грубоватым голосом. (Кто-то убедил его, что он разговаривает, как покойный президент Теодор Рузвельт.)

— М-мм... И еще вот что, доктор, непременно постарайтесь, чтобы пришел мистер Иторн. Вредно ему безвыходно сидеть дома.

Иторн явился на обед.

Обед прошел в дружеской атмосфере. Бэббит благожелательно распространялся о том, какое воспитательное и стабилизирующее влияние банкиры оказывают на общество. Они, как он выразился, являются пастырями коммерческой паствы. Иторн впервые отвлекся от воскресных школ и расспросил Бэббита о его делах. Бэббит отвечал скромно, с сыновней почтительностью.

Через несколько месяцев Бэббиту представился случай принять участие в одной важнейшей сделке с Транспортной компанией, и ему не хотелось обращаться за деньгами в свой банк. Сделка была не совсем гласной, и если бы о ней узнали обыватели, они могли бы истолковать это неправильно. Бэббит пошел к своему другу мистеру Иторну, был встречен весьма приветливо и получил заем частным образом. Обоим эти новые взаимоотношения принесли удовольствие и пользу.

После этого Бэббит стал регулярно посещать церковь, кроме весенних воскресных дней, явно предназначенных для автомобильных прогулок. Он так и говорил Теду:

— Запомни, мой мальчик, нет крепче оплота для здорового консерватизма, чем пресвитерианская церковь, и нет лучшего места, чем церковь твоего прихода, для знакомства с людьми, которые могут помочь тебе занять достойное место в обществе.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

I

Хотя Бэббит видел своих детей дважды в день, хотя он до мелочей вникал во все их денежные расходы, он, в сущности, замечал детей не больше, чем пуговки на манжетах пиджака.

На Верону он обратил внимание, когда за ней стал ухаживать Кеннет Эскотт.

Верона работала секретаршей у мистера Грюнсберга, директора кожевенной торговли Грюнсберг и К°. Работала она добросовестно, с тщательностью человека, который выполняет мелочи, не вникая в суть дела, но вместе с тем она была из тех девушек, которые, кажется, вот-вот выкинут что-нибудь отчаянное — бросят работу или мужа, хотя она была на это совершенно неспособна. Бэббит возлагал такие надежды на робкую страсть Эскотта, что у него появился игриво-отеческий тон. Возвращаясь из клуба, он лукаво заглядывал в гостиную и мурлыкал: «А наш Кенни приходил сегодня?» Он не придавал значения протестам Вероны: «О, мы с Кеном просто добрые друзья, и разговоры у нас чисто идейные. Не нужна мне вся эта сентиментальная чушь, она только испортит нашу дружбу».

Главным образом Бэббита беспокоил Тед.

Он перешел в последний класс ист-сайдской средней школы, с переэкзаменовками по латыни и по английской литературе, но зато с блестящими успехами по ручному труду, баскетболу и организации танцевальных вечеров. В домашних делах он принимал участие, только когда его просили исправить какие-нибудь неполадки в машине. Он постоянно повторял недовольному отцу, что не желает идти ни в колледж, ни на юридический факультет, и Бэббита эта «неприкаянность» беспокоила не меньше, чем взаимоотношения Теда с соседской дочкой Юнис Литтлфилд.

Несмотря на то, что Юнис была дочерью Говарда Литтлфилда, этого чугунолитейного штамповщика фактов, унылейшего проповедника частной собственности, девочка была веселая, как мотылек в солнечный день. Впорхнув в дом, она прыгала на колени к Бэббиту, когда он читал, мяла его газету, заливалась смехом, когда он уверял ее, что смятая газета для него ненавистней нарушенного контракта. Юнис недавно исполнилось семнадцать лет. Она мечтала стать киноактрисой. Она не только смотрела все «боевики», но и запоем читала киножурналы, эти своеобразные выразители Века Деляг — еженедельники и ежемесячники с роскошными фотографиями молодых особ, которые еще недавно были маникюршами —

и довольно скверными,— да и теперь не могли бы даже участвовать в пасхальном представлении Центральной методистской церкви, если бы каждая их поза не была разучена с режиссером. Журналы эти с необычайной серьезностью печатали «интервью» с приторно красивыми, даже подозрительно красивыми молодыми людьми, и в этих «интервью», разукрашенных фотографиями бриджей для верховой езды и калифорнийских бунгало, молодые люди высказывали свои взгляды на скульптуру и международные отношения; там же излагалось содержание фильмов о невинных проститутках и добрых грабителях и приводились указания, как чистильщику сапог стать за один день знаменитым сценаристом.

Юнис серьезно изучала эти журналы. Она могла точно сказать — и часто говорила,— что именно в декабре 1905 года знаменитый Мэк Харкер, киноковбой и кинозлодей, начал свою сценическую карьеру, выступив в обозрении «Ах ты, гадкая девчонка!». Отец Юнис сказал Бэббиту, что у нее в комнате висит двадцать одна фотография киноактеров. Но портрет самого очаровательного киногероя с автографом она носила на своей девической груди.

Бэббит никак не мог привыкнуть к этому преклонению перед новыми кумирами и, кроме того, подозревал, что Юнис курит сигареты. Бэббит чуял их назойливый липучий запах, слышал хихиканье Юнис, сидевшей с Тедом наверху. Но он ни о чем не спрашивал. Этот милый ребенок совсем сбивал его с толку. Худенькое прелестное личико казалось еще тоньше от мальчишеской стрижки, из-под коротких платьев виднелись подвернутые чулки, а когда она летела за Тедом по лестнице и над прильнувшим к ноге шелком мелькали круглые коленки, Бэббиту становилось не по себе от грустной мысли, что Юнис, наверно, считает его стариком. Иногда, в глубоком сне, когда навстречу ему летела юная волшебница, она принимала облик Юнис Литтлфилд.

Тед был помешан на машинах, как Юнис — на кино.

Несмотря на тысячи оскорбительных отказов, он продолжал настойчиво добиваться собственной машины. И как ни ленив он был, когда дело касалось раннего вставания или просодий Вергилия, в технике он был неутомим. Вместе с тремя другими мальчиками он купил ревматическое шасси от старого фордика, сконструировал невероятный гоночный корпус из жести и фанеры, носился на этой опасной игрушке по всему городу и продал ее с прибылью. Бэббит подарил ему мотоцикл, и по субботам, захватив семь сандвичей и бутылку кока-колы, он усаживал Юнис на шаткое седло и с грохотом гонял по окрестностям.

Казалось, у них с Юнис были простые товарищеские отношения, и они ссорились, как все здоровые ребята, грубо и без всякого стеснения, но иногда, после танцев, разгоряченные душной близо-

стью, они вдруг притихали, переглядываясь украдкой, и Бэббита это очень беспокоило.

Бэббит был обыкновенным родителем — порой нежным, порой грозным, очень пристрастным, очень невежественным и, в общем, довольно заботливым. Как большинство отцов, он, словно в игре, выжидал, пока жертва не наделает серьезных ошибок, а потом донимал ее добродетельными поучениями. В свое оправдание он только ворчал: «А как быть, если мать так балует Теда? Должен же кто-нибудь ему вдолбить, что к чему, и конечно, я у них — козел отпущения. Изо всех сил стараюсь вырастить из него настоящего, порядочного, сознательного человека, и меня же все ругают ворчуном!»

И все же, при вечной и неизменной человеческой способности добиваться самыми глупыми и нелепыми способами сравнительно терпимых результатов, Бэббит любил сына, радовался его обществу и был бы готов пожертвовать для него всем на свете — если бы только верил, что ему за это будут благодарны.

II

Тед затеял вечеринку для своих школьных друзей.

Бэббиту тоже хотелось и помочь и повеселиться. Припоминая, чем развлекались в его годы школьники Катобы, он предлагал самые приятные игры: «Море волнуется», шарады с надеванием на голову кастрюлек вместо шлемов или игру в слова, когда каждый выбирает себе «качество или свойство». Он совсем вошел в раж и вдруг заметил, что его не слушают и не перебивают только из вежливости. А план вечеринки наметили заранее, по трафарету, как любой вечер в клубе Юнион. Сначала — танцы в гостиной, потом — изысканный ужин в столовой, а в холле — два карточных столика для тех, кого Тед назвал «несчастные тупицы, которых больше чем полвечера не заставишь танцевать».

За каждым завтраком только и разговоров было, что о предстоящей вечеринке. Никто не слушал предсказаний Бэббита насчет погоды в феврале, никто не обращал внимания на выразительное покашливание, которым сопровождались комментарии по поводу газетных заголовков. Он сердился:

— Может быть, разрешите прервать ваши *частные* разговоры — вы слышали, что я сказал?

— Ах, пожалуйста, не ребячься! Мы с Тедом имеем такое же право разговаривать, как и ты! — вспыхивала миссис Бэббит.

В день вечеринки Бэббиту разрешили смотреть на танцы, когда не нужно было помогать Матильде разносить мороженое от

Веккии и печенье. Он был серьезно обеспокоен. Восемь лет назад, когда устраивали вечеринку для школьных друзей Вероны, все ее гости казались ему одинаковыми младенцами. А эти школьники были взрослыми людьми, и к тому же весьма высокомерными. Мальчики снисходили до Бэббита, все они были во фраках и надменно угощали друг друга сигаретами из серебряных портсигаров. Бэббит слышал, как в Спортивном клубе говорили о том, «что делается» на школьных вечеринках, о девушках, тайком снимающих корсеты в гардеробной, обо всяких «тисканиях» и «вольностях» — словом, о росте так называемой «распущенности». И в этот вечер он всему поверил. Эти дети казались ему удивительно наглыми и хладнокровными. На девочках были платья из дымчатого шифона, кораллового бархата или золотистой парчи, в пышных стриженых локонах — блестящие украшения. После настойчивых и тайных расследований он убедился, что никаких «корсетов» наверху они не прятали, но было ясно, что эти легкие тела ничем не скованы. У всех девочек — тончайшие шелковые чулки, дорогие туфли на неестественно высоких каблуках, накрашенные губы и подведенные брови. Они танцевали щека к щеке с мальчиками, и на душе у Бэббита было нехорошо от подозрений и бессознательной зависти.

Хуже всех вела себя Юнис Литтлфилд, и бо́льше всех бесился Тед. Юнис летала, как чертенок. Она мелькала то тут, то там, поводя стройными плечиками и быстро, как прядильщик челноком, перебирая ловкими ножками, она хохотала без умолку и даже заставила Бэббита танцевать с ней.

Тогда же он обнаружил, чем они дополнительно развлекаются.

Мальчики и девочки то и дело куда-то исчезалп, и он вспомнил, что ходят слухи, будто они тайком пьют виски из карманных фляжек. Он на цыпочках вышел из дому и в каждой из десяти машин, стоявших на улице, увидел огоньки сигарет, из каждой доносился возбужденный смех. Ему хотелось накрыть их, но было неловко стоять на снегу, выглядывая из-за темного угла,— и он не решился. Он старался быть тактичным. Вернувшись в дом, он заискивающе сказал мальчикам:

— Слушайте, если вам хочется выпить, там есть неплохое имбирное пиво!

— О-оо, благодарствуйте! — снисходительно цедили они.

Он отыскал жену в буфетной, и тут его прорвало:

— Я готов вышвырнуть этих щенков из дому! Разговаривают со мной, как будто я дворецкий! Я бы их...

— Да, ты прав,— вздохнула миссис Бэббит.— Но все говорят,— по крайней мере, все матери мне говорилп,— что если ты начнешь ругать ребят за то, что они прячутся в машины и там

выпивают, они больше к нам не придут, а разве приятно, если Теда перестанут принимать в компанию?

Он объявил, что будет в восторге, если Теда перестанут принимать в такую компанию, и тут же побежал подлизываться к гостям, чтобы Теда не перестали принимать в их компанию.

Но он решил — если обнаружится, что мальчики пьют, он... словом, он «так с ними поговорит, что они рты разинут»! И, стараясь быть как можно любезней с широкоплечими молодыми нахалами, он всерьез принюхивался — чем от них пахнет. Дважды он почувствовал запах запретного виски, но в конце концов это было всего лишь дважды...

Тут послышались тяжелые шаги доктора Говарда Литтлфилда.

Он зашел, чтобы покровительственно, по-отцовски, посмотреть на молодежь. Тед танцевал с Юнис, точно слившись в одно тело. Литтлфилд ахнул. Он подозвал Юнис. Он что-то сказал ей шепотом, она возразила, но Литтлфилд тут же объяснил Бэббиту, что у матери Юнис болит голова и девочке немедленно надо идти домой.

Юнис убежала вся в слезах. Бэббит сердито посмотрел ей вслед:

— Ах ты, дьяволенок! Так подвести Теда! А Литтлфилд, старое трепло, считает себя выше всех, вообразил, что Тед на нее дурно влияет!

Но позже он учуял, что и от Теда пахнет виски.

После того как вежливо проводили гостей, разразился страшнейший скандал, настоящая семейная сцена, бурная и безудержная, как потоп. Бэббит гремел, миссис Бэббит плакала. Тед возражал неубедительно, но вызывающе, а Верона так растерялась, что не знала — на чью сторону стать.

Несколько месяцев подряд между Бэббитами и Литтлфилдами чувствовался холодок, и каждая семья защищала своего ягненка от соседского волчонка. Бэббит и Литтлфилд по-прежнему обменивались внушительными суждениями о машинах и сенате, но ни одним словом не упоминали о детях. Каждый раз, как Юнис появлялась в доме, она доверчиво и весело сообщала, что ей запрещено сюда ходить, и Бэббит безуспешно пытался разговаривать с ней отечески наставительным тоном.

III

— Елки-палки! — жалобно говорил Тед, сидя с Юнис среди мозаичной роскоши кафе «Ройял» и поглощая огромное количество горячего шоколада, нуги и засахаренных орехов.— Ума не прило-

жу, почему отец нагоняет такую скучищу! По целым вечерам сидит дома, сонный, а стоит мне или Роне попросить его: «Давай пойдем куда-нибудь!» — он даже и слушать не хочет! Только зевает и говорит: «Мне и тут неплохо!» Понятия не имеет, что значит веселиться! Может быть, он умеет думать не хуже нас с тобой, но по нему этого не видно, честное слово! Он только и знает, что свою контору и дурацкий гольф по субботам, и больше ничего — ему бы только сидеть дома по вечерам, никуда не ходить, ничего не делать,— думает, что мы все сумасшедшие, а сам сидит, сидит — о господи!

IV

Если распущенность Теда пугала Бэббита, то Верона давала ему слишком мало поводов для беспокойства. Она была чересчур добродетельна. Жила она в ограниченном, аккуратном мирке своих мыслей. Вечно они с Кеннетом Эскоттом вертелись под ногами. Когда они сидели дома, их осторожный, хотя и прогрессивный флирт заключался в просматривании длинных статистических таблиц, а если они уходили, то непременно на лекции каких-нибудь писателей, индусских философов или шведских лейтенантов.

— Господи! — жаловался Бэббит жене, когда они возвращались пешком после партии бриджа у Фогарти.— Ума не приложу, почему Рона и ее кавалер нагоняют такую скучищу! Сидят дома по целым вечерам, когда он не на работе, и понятия не имеют, что есть на свете веселье. Только и знают, что говорить, спорить — о боже! Им бы только сидеть и сидеть, из вечера в вечер, никуда не ходить, ничего не делать; думают, что я — сумасшедший, оттого что мне иногда хочется пойти в гости, сыграть в картишки, а они все сидят, сидят — о господи!..

Но в эти дни бедного пловца, который старался выплыть из семейного водоворота, захлестнули новые волны.

V

Тесть и теща Бэббита — мистер и миссис Генри Т. Томпсон — сдали свой старый дом в районе Бельвю и переехали в отель «Хэттон» — роскошный пансион, полный вдов, красной плюшевой мебели и звона льда в графинах. Они там очень скучали, и вся семья Бэббитов должна была регулярно через воскресенье обедать у них, есть жареных цыплят с увядшим салатом и крахмалистое моро-

женое, а потом, сидя в зале, вежливо и чопорно слушать, как молодая скрипачка играет немецкие мелодии, попавшие сюда через бродвейские театры.

А тут еще родная мать Бэббита приехала из Катобы на целых три недели.

Она была женщина добрая, но до святости наивная. Она поздравила эмансипированную Верону с тем, что она «такая домоседка, такая смирная, без всяких этих идей, которыми у современных девушек забита голова». А когда Тед заливал масло в картер, из чистой любви к технике и грязи, она радовалась, что он «такой умелый и так помогает папе по дому, вместо того чтобы гулять с девчонками и разыгрывать светского шалопая».

Бэббит любил мать, иногда ему с ней бывало даже приятно, но его изводило ее «христианское терпение» и бросало в дрожь от рассказов о мифическом герое, именуемом «твой папа».

— Ты все, наверно, позабыл, Джорджи, ты был тогда совсем крошкой — как сейчас помню, какой ты был хорошенький в тот день: весь кудрявый, волосики золотистые, кружевной воротничок, ты всегда был очень чистенький мальчик, правда, немножко хилый, болезненный, и ты так любил красивые вещи, особенно тебе нравились красные помпончики на твоих башмачках,— да, так вот, твой папа ехал с нами в церковь, и вдруг его останавливает какой-то человек и говорит ему: «Майор!» — очень многие соседи звали твоего папу «майор», хотя во время войны он был рядовым, но все знали, что просто его капитан из зависти не давал ему ходу, он должен бы был иметь большой чин, у него был врожденный талант командира, а это так редко случается,— значит, этот человек выходит на дорогу, подымает руку, останавливает нашу бричку и говорит: «Майор,— говорит,— многие из здешних жителей решили поддержать кандидатуру полковника Скеннела в конгресс, и мы хотим, чтобы вы к нам присоединились. У вас в магазине бывает столько народу, вы нам очень можете помочь!»

И тут твой папа только посмотрел на него и сказал: «Ни в коем случае! Мне его политические убеждения не нравятся»,— говорит. А этот человек — его называли капитан Смит, один бог знает, на каком основании, потому что он ни малейшего права не имел зваться «капитаном» или как-нибудь еще! — и этот «капитан» Смит заявляет: «Вам плохо придется, если вы не поддержите своих друзей, майор!» Но ты знаешь, что за человек был твой папа, и этот Смит тоже знал, он знал, что твой папа — настоящий мужчина и, кроме того, понимает всю политику насквозь, и этому Смиту надо бы сообразить, что на такого человека повлиять невозможно, но он все говорил, и угрожал, и пытался уговорить твоего папу, и тогда твой папа вдруг сказал: «Капитан Смит,— сказал он,—

в наших краях я известен всем как человек, который сам отлично понимает, что ему делать, так что попрошу вас в мои дела не вмешиваться!» — и тут же поехал прочь, а этот Смит остался торчать посреди дороги, как сучок на бревне!

Но особенно Бэббит расстраивался, когда мать рассказывала его детям, каким он был в детстве. По ее словам, он «обожал постный сахар», носил «чудный розовый бантик в локончиках» и вместо «Джорджи» называл себя «Зёзи». Бэббит слышал, вернее, тайком подслушал, как Тед строго выговаривал Тинке:

— Скорее, детка! Завяжи себе локончики розовым бантиком и беги завтракать, не то «Зёзи» тебе голову откусит!

Потом из Катобы приехал на два дня сводный брат Бэббита Мартин с женой и младшим ребенком. Мартин разводил коров и содержал плохонькую лавку. Он гордился тем, что он свободный и независимый американец, настоящий янки доброй старой породы, гордился тем, что он честен, откровенен, некрасив и грубоват. Любимая его фраза была: «Сколько ты за это заплатил?» Он считал, что книжки Вероны, серебряный карандаш Бэббита, цветы на столе — все это городские штучки, зряшные траты, и прямо так и говорил. Бэббит не ссорился с ним только ради его долговязой супруги и младенца, с которым Бэббит играл, тыча в него пальцем и приговаривая: «Ах ты, бродяга, вот ты кто, да, сэр, бродяга, видали бродягу? Да, сэр, да, вот он кто, бродяга; да, да, да, просто бродяжка, старый бродяга, вот он кто — старый бродяга!»

А между тем Верона и Кеннет Эскотт без конца изучали эпистемеологию, Тед, впавши в немилость, бунтовал, и даже одиннадцатилетняя Тинка требовала, чтобы ее пускали в кино три раза в неделю, «как всех девочек».

Бэббит рвал и метал:

— Надоело мне все! Три поколения содержу! Все сидят на моей шее! Матери посылай, старого Томпсона слушай, ворчание Майры слушай, Мартину слова поперек не скажи, да еще обзывают старым ворчуном за то, что хочу помочь детям! Все от меня зависят, и все меня же ругают, нет того, чтобы хоть кто-нибудь поблагодарил! Ни помощи, ни поддержки, ни благодарности! Господи, сколько же мне еще тянуть эту лямку?

Он был рад, когда в феврале вдруг заболел. Он был в восторге, видя, как они все перепугались, что он, их оплот, вдруг пошатнулся.

Заболел он от несвежих устриц. Два дня он лежал томный, капризный, придирчивый. Ему все было позволено, и даже когда он рычал: «Оставьте меня в покое!» — ему и это сходило с рук. Лежа на закрытой веранде, он смотрел, как зимнее солнце скользит по туго натянутым шторам, превращая их грубый сероватый

цвет в нежно-розовый. Тень от шнура лежала черной полосой на колышущейся парусине. Ему нравилось следить, как она колышется, и он вздохнул, когда погасли последние лучи заката. Он думал о жизни, и ему было немного грустно. Оттого что тут не было никаких Верджилов Гэнчей, перед которыми приходилось делать решительно-оптимистическое лицо, он сам себе признался, что жизнь у него идет как заведенная. В конторе как заводной, продаешь скверные дома, в церкви как заводной, слушаешь сухие, скучные проповеди, оторванные от настоящей жизни, от улицы, и вся его религия — жесткая, сухая, нечеловечески респектабельная, словно шелковый цилиндр. Как заводной, играешь в гольф, ходишь в гости обедать, садишься за бридж, раговариваешь. Кроме Поля Рислинга, со всеми даже дружишь, как заводной,— одинаково хлопаешь всех по плечу, одинаково шутишь, никогда не решаешься испытать дружбу молчанием.

Он беспокойно ворочался в постели.

Он видел, как идут годы, как проходят в пустом притворстве ясные зимние дни и теплые летние вечера, когда надо бы лежать на лесной лужайке. Он думал о телефонных звонках, о том, как приходится уговаривать ненавистных ему клиентов или ходить по делам, ожидать в грязных приемных со шляпой на коленях и зевать в кулак, разглядывая засиженные мухами календари и вежливо разговаривая с клерками.

«Как не хочется идти в контору! — тоскливо думал он.— Мне бы сейчас... Мне бы... сам не знаю, чего мне нужно!»

Но на следующий день он уже был на работе, деловитый, хотя и в очень плохом настроении.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

I

Зенитская Компания городского транспорта собиралась выстроить вагоноремонтные мастерские в предместье Дорчестер, но когда дело дошло до покупки земли, выяснилось, что право продажи закреплено за фирмой «Бэббит — Томпсон». Агент по закупке участков, вице-президент и даже сам президент Транспортной компании, возражали против цен, назначенных фирмой Бэббита. Они говорили о своем долге перед акционерами, грозили обратиться в суд, хотя в суд они так и не обратились, и сочли за благо сговориться с Бэббитом. Копии всех их писем хранятся в архивах Компании, где их может проверить любая общественная комиссия.

После этой сделки Бэббит положил на свой текущий счет три тысячи долларов, агент Транспортной компании по закупке участков приобрел машину за пять тысяч, вице-президент Компании выстроил виллу в Девонском лесу, а президент был назначен послом в одно из иностранных государств.

Бэббиту стоило большого труда закрепить за собой право на продажу и откупить участок одного владельца так, чтобы об этом не знал его сосед. Пришлось пустить слухи о постройке гаражей и магазинов, делать вид, что больше он участков на комиссию не берет, или со скучающим видом, как при игре в покер, выжидать, когда не удавалось заполучить нужный участок, что грозило сорвать все планы. Ко всему прочему его изводили ссоры с тайными сообщниками. Те хотели, чтобы Бэббит и Томпсон участвовали в сделке только как маклеры. Бэббит с этим почти соглашался: «Существует деловая этика — посредник должен только представлять своих клиентов и ни в коем случае в покупке сам не участвовать»,— объяснял он Томпсону.

— Пес с ней, с этикой! Думаешь, я буду смотреть, как эти ханжи и хапуги загребают деньги, и сидеть сложа ручки? — рычал старый Генри.

— Не нравятся мне эти махинации. Один другого хочет перехитрить.

— Не один другого, а двое — третьего! Мы публику перехитрили. Ну, ладно, отвели душу, поговорили об этике, теперь надо решить, где бы нам взять ссуду, чтобы и самим втихомолку закупить кое-какие участки. В наш банк за этим не сунешься. Может выплыть наружу.

— Пожалуй, повидаю старика Иторна. Он — могила.

— Вот это дело!

Иторн с удовольствием, как он сказал, «поддержал достойного человека» и дал ссуду Бэббиту, не занося ее в банковские гроссбухи. Таким образом, часть комиссионных Бэббит и Томпсон получили за участки, которыми они владели сами, хотя и под чужим именем.

И в ходе этой блестящей сделки, которая поддерживала коммерцию и повышала доверие публики к процветающей фирме по продаже недвижимого имущества, Бэббит с ужасом обнаружил, что один из его служащих — нечестный человек.

Нечестным оказался Стэнли Грэф, разъездной агент.

Бэббита уже давно беспокоил этот Грэф. Он то и дело нарушал слово, данное съемщикам квартир. Часто, сдавая дом, он обещал, что будет сделан ремонт, не имея на то согласия домохозяина. Появилось подозрение, что он подделывает инвентарные списки меблированных домов так, что съемщик, выезжая из дома, должен

платить за предметы, которых никогда и в помине не было, и эти деньги Грэф кладет себе в карман. Бэббит никак не мог доказать справедливость этих подозрений, и хотя он почти решил уволить Грэфа, но все руки не доходили.

И вдруг как-то в кабинет Бэббита ворвался красный от волнения человек и, задыхаясь, крикнул:

— Слушайте! Если вы не уволите этого типа, я такой скандал устрою, что небу станет жарко!

— Да что такое... Не волнуйтесь, дружище! Что случилось?

— Что? Фу-уу! Да я... да я...

— Сядьте, успокойтесь! Вас по всему зданию слышно!

— Я снял дом через этого вашего Грэфа. Вчера я пошел, подписал контракт, все как следует, ему только оставалось дать контракт владельцу на подпись и выслать мне по почте. Он и выслал. А сегодня утром спускаюсь я к завтраку, а прислуга говорит — приходил какой-то человек, сразу после почтальона, и попросил отдать конверт — послал, говорит, сюда по ошибке, большой такой, длинный конверт и в углу — марка фирмы: «Бэббит — Томпсон». Конверт, конечно, пришел, она и отдала его. Описала она мне этого малого, я сразу понял — ваш Грэф! Звоню ему, а он, дурак, прямо так и сознался! Говорит, что получил подпись хозяина дома, выслал контракт, а тут ему сделали более выгодное предложение, и он забрал у меня контракт. Что вы на это скажете?

— Ваша фамилия?

— Уильям Варни — У.-К. Варни.

— Помню, помню. Дом Гаррисона.— Бэббит нажал звонок. Когда мисс Мак-Гаун вошла, он спросил:

— Грэф здесь?

— Нэт, сэр.

— Пожалуйста, посмотрите у него в столе — есть ли там контракт на имя мистера Варни, дом Гаррисона? — И, обращаясь к Варни, добавил: — Не знаю, как у вас просить прощения. Само собой понятно, я уволю Грэфа, как только он появится. И, конечно, ваш контракт действителен. Но мне хотелось бы сделать для вас еще кое-что. Я попрошу владельца дома не платить нам комиссионные, а взять их в счет вашей квартирной платы. Нет! Нет! Я настаиваю! Откровенно говоря, меня эта история просто потрясла! Я сам человек практический, деловой. Бывало, конечно, что я тоже в свое время мог, при случае, пофантазировать, если надо было прошибить какого-нибудь тупоголового клиента. Но я впервые слышу, что кто-то из моих служащих поступил нечестно! У нас в конторе этого не бывало, даже марки и то редко пропадали! Честное слово, мне будет неприятно извлечь из этого хоть какую-то выгоду! Значит, вы разрешите комиссионные вручить вам? Отлично!

II

Он прошелся по февральским улицам, где грузовики подымали фонтаны грязи, а небо мрачно висело над мрачными кирпичными зданиями. В контору он вернулся в ужасном настроении. Ему ли, столь уважавшему закон, пристало скрывать государственные преступления — перехват почты? Но не мог же он допустить, чтобы Грэфа посадили в тюрьму и жена его пострадала. И что хуже всего — теперь ему надо уволить Грэфа, а в своих деловых отношениях он больше всего боялся именно этой процедуры. Он так хорошо относился к людям, так хотел, чтобы и к нему относились хорошо, что не мог вынести, когда приходилось кого-то обижать.

Мисс Мак-Гаун возбужденно влетела в кабинет, предчувствуя скандал:

— Пришел!

— Мистер Грэф пришел? Попросите его ко мне!

Бэббит тяжело развалился в кресле, стараясь казаться как можно спокойнее и придать своему взгляду равнодушное выражение.

Грэф вошел — франтоватый человек лет тридцати пяти, в очках, с фатовскими усиками.

— Звали? — спросил Грэф.

— Да. Садитесь!

Но Грэф не сел и сердито заговорил:

— Наверно, этот старый псих, Варни, приходил жаловаться. Я вам все объясню. Скупердяй он, каких свет не видал, над каждым центом трясется, он мне фактически наврал, что может платить такую сумму, и я только потом все узнал, уже когда подписали контракт. А тут нашелся другой, предложил взять дом на более выгодных условиях, я и решил, что мой долг по отношению к фирме развязаться с Варни, и я так беспокоился, что пролез к ним в дом и забрал контракт. Честное слово, мистер Бэббит, никакого жульничества тут не было, хотелось, чтобы фирма получила комиссионные...

— Погодите, Стэн! Может быть, все это и правда, но мне на вас не в первый раз жалуются. Может быть, вы ничего плохого и не замышляли, и я думаю, что этот урок заставит вас одуматься, и из вас еще выйдет отличный агент по недвижимости. Но я не представляю, как я могу оставить вас у себя.

Грэф прислонился к картотеке, засунул руки в карманы и расхохотался.

— Значит, увольняете! Эх вы, с вашими Идеалами и Прозорливостью! Интересно получается! Только не думайте, что вам удаст-

ся и дальше разыгрывать святошу! Конечно, бывало, что и сплутуешь — не так чтобы очень,— но разве тут у вас в конторе без этого можно?

— Да как вы смеете, молодой человек!

— Тише, тише! Воли себе не давайте и орать не надо, не то там, в конторе, вас услышат! Они небось и так подслушивают! Да, Бэббит, друг мой драгоценный, во-первых, вы сами — старый плут, а во-вторых, скряга, каких мало. Платили бы вы мне приличное жалованье, я бы не стал воровать у слепого последний грош, чтобы жена не голодала. Мы всего-то пять месяцев как женаты, и жена у меня — дай бог каждому, а вы нас держите впроголодь, старый вор, будьте вы прокляты, все только деньги копите для вашего безмозглого сынка и дуры дочки! Нет, молчите! Выслушайте все, не то такой крик подыму, что вся контора услышит, ей-богу! Да, вы сами плут! Черт, если бы рассказать прокурору все, что я знаю про последнее мошенничество с Транспортной компанией, мы бы с вами оба сели в тюрьму, вместе со всеми святыми и безгрешными заправилами из этой самой Компании!

— Слушайте, Стэн, мы, кажется, переходим на личности. Ничего в этой сделке такого... ничего в ней нечестного не было. Никакого прогресса мы не добьемся, если делами не будут ворочать крупные дельцы, а их надо как-то вознаградить за это...

— О черт, да не разыгрывайте вы передо мною святую невинность! Выгнали меня! Ладно. Мне это на пользу. Но если вы на меня насплетничаете другим фирмам, я раззвоню все, что знаю — и про вас, и про Генри Т., и про все ваши грязные подхалимские махинации! Про все, что вы, деловые заправилы, вытворяете в пользу более крупных и более умных жуликов, и вас обоих выгонят из города! А я... да, Бэббит, вы правы, я жульничал, но теперь я пойду по честному пути и первым делом поступлю в контору, где хозяин не болтает об Идеалах. Тем хуже для вас, дорогой мой, и катитесь вы со своей конторой... сами знаете куда!

Бэббит долго не мог успокоиться: то он вспыхивал: «Я его засажу в тюрьму!» — то в тоске думал: «Неужели... нет, не может быть, я делал только то, что двигает Прогресс и Процветание!»

На следующий же день он нанял на место Грэфа Фрица Вейлингера, агента своих злейших соперников, «Восточной компании по застройке и аренде участков», и тем самым одновременно насолил своему конкуренту и приобрел отличного работника. Фриц был кудряв, молод, жизнерадостен, отлично играл в теннис. Клиенты охотно имели с ним дело. Бэббит относился к нему, как к родному сыну, и находил в нем настоящее утешение.

III

На окраине Чикаго продавался с аукциона заброшенный ипподром — отличное место для постройки завода, и Джек Оффат попросил Бэббита обделать для него это дельце. Бэббит так переволновался во время сделок с Транспортной компанией и так огорчился из-за Стэнли Грэфа, что ему трудно было сосредоточиться, сидя в конторе. Он заявил своему семейству:

— Слушайте, друзья! Угадайте, кто поскачет в Чикаго на денек-другой — точнее, на конец недели, чтобы не пропускать школу,— угадайте, кто поедет со знаменитым представителем деловых кругов Джорджем Ф. Бэббитом? Сам мистер Теодор Рузвельт Бэббит!

— Уррра! — закричал Тед.— Ну, держись, Чикаго-городок! Зададут там жару господа Бэббиты!

Вдали от привычной домашней обстановки они держались как равные, как мужчина с мужчиной. Молодость Теда проявлялась только в его желании непременно казаться старше, а единственное, в чем Бэббит проявил себя более зрелым и опытным человеком, были тонкости торговли недвижимостью и политические взгляды. Когда все остальные мудрецы ушли из курительного отделения пульмановского вагона и отец с сыном остались вдвоем, Бэббит, не переходя на тот игривый и, в общем, оскорбительный тон, каким обычно разговаривают с детьми, продолжал разговор гудящим внушительным голосом, каким говорил с чужими, и Тед пытался подделать под него свой звонкий тенорок:

— А здорово ты, папа, обрезал этого болвана, когда он расхамился насчет Лиги наций!

— Беда, что они сами не понимают, о чем речь, а туда же, берутся судить... Фактов не признают... Скажи, какого мы мнения о Кене Эскотте?

— Я тебе вот что скажу, папа: по-моему, Кен — славный парень, ничего в нем плохого нет, вот только курит как паровоз. Но канительщик он, не дай бог! Честное слово, если его не подтолкнуть, он никогда в жизни не раскачается, не сделает предложения Роне. Да и она такая же. Канительщица.

— Верно, верно. Оба они тянут канитель. Нет у них нашей с тобой хватки.

— Правильно. Канительщики они оба. Клянусь честью, отец, не понимаю, откуда в нашей семье взялась такая мямля, как Рона. Ты сам наверняка был не таким уж праведником, ручаюсь!

— Да, мямлей я никогда не был!

— Я думаю! Наверно, знал, что к чему.

— Конечно, когда доводилось ухаживать за барышнями, я им не все время рассказывал про забастовки в вязальных цехах.

Оба захохотали, оба закурили сигары.

— Так что же нам с ними делать? — спросил Бэббит.

— Сам не знаю, черт подери! Клянусь, мне иногда хочется отвести Кена в сторонку, тряхнуть его как следует и сказать: «Слушай, друг сердечный, женишься ты на моей сестрице или просто заговоришь ее до смерти? Тебе скоро тридцать стукнет, а ты до сих пор зарабатываешь не то двадцать, не то двадцать пять монет в неделю. Когда ты наконец возьмешься за ум и добьешься прибавки? Если Джордж Ф. или я можем тебе чем-нибудь помочь, так и скажи, только не капитель ся ты, бога ради!»

— Что ж, может быть, и неплохо бы тебе или мне с ним поговорить, только боюсь, не поймет он нас. Он из этих, из высоколобых. Не умеет смотреть в корень, выкладывать карты на стол и говорить напрямик, как мы с тобой.

— Верно, верно, все они такие, эти высоколобые.

— Правильно, и он такой, как все.

— Факт!

Оба вздохнули и замолчали, счастливые и довольные.

Вошел проводник. Он как-то заходил в контору Бэббита насчет аренды дома.

— Здравствуйте, мистер Бэббит! Едете с нами до самого Чикаго? Ваш паренек?

— Да, это мой сын, Тед.

— Скажите на милость! А я-то был уверен, что вы еще совсем молодой, сорока нет, и вдруг — такой сынище!

— Что ты, братец, как это — сорока нет. Да мне уже все сорок пять стукнуло!

— Неужели? Никогда бы не подумал!

— Да, сударь мой, сразу видно, что ты — старик, когда с тобой такой вот молодец!

— Верно! — Проводник обратился к Теду: — Вы, наверно, уже в университете?

Тед, гордо:

— Нет, поступлю не раньше осени. Пока что выбираю — какой колледж лучше!

Проводник пошел дальше, заботливо оглядывая пассажиров и позвякивая огромной цепочкой для часов, болтавшейся на его синей тужурке, а Бэббит и Тед всерьез заговорили о колледжах.

В Чикаго они приехали поздно вечером и утром долго лежали в постели, радуясь: «А хорошо, что не надо вставать и торопиться к завтраку!» Остановились они в скромном отеле «Иден», потому что дельцы из Зенита всегда останавливались в «Идене», но зато

обедали в золотом и хрустальном зале ресторана «Версаль», при отеле «Принц-регент». Бэббит заказал устрицы с Блю-Пойнта под винным соусом, гигантский бифштекс с гигантской порцией жареного картофеля, две чашки кофе, яблочный торт с мороженым для обоих и порцию сладкого пирога специально для Теда.

— Вот это харч! Да, братец, поели! — восхищенно сказал Тед.

— Еще бы! Ты только держись за меня, старичина, не прогадаешь!

Они пошли в музыкальную комедию и подталкивали друг друга локтем при особо рискованных шутках насчет жен и сухого закона. Рука об руку они гуляли по фойе в антрактах, и Тед, радуясь, что исчезло стеснение, которое так отчуждает отцов и сыновей, сказал, посмеиваясь:

— Папа, слыхал анекдот про трех модисточек и судью?

Но на другой день Тед уехал в Зенит, и Бэббита охватило одиночество. Так как ему приходилось налаживать сотрудничество между Джеком Оффатом и некими посредниками в Милуоки, которые тоже были заинтересованы в покупке ипподрома, он все время ждал телефонных звонков.

Он подолгу сидел на краю кровати, держа на коленях переносный аппарат, и устало повторял: «Мистер Сеген пришел? А он не просил мне что-нибудь передать? Хорошо, я жду». В ожидании он рассматривал пятно на стенке, в двадцатый раз с тоской замечая, что оно похоже на башмак. Потом закуривал сигарету и, не смея отойти от телефона, сидел без пепельницы, размышлял, куда девать горящий окурок, и боясь, как бы что-нибудь не загорелось, пытался зашвырнуть его на кафельный пол ванной. Наконец зазвонил телефон. «Ничего? Хорошо, я позвоню еще раз».

Однажды днем он забрел на заснеженные улицы, о которых никогда раньше и не слыхал, на улицы, застроенные небольшими зданиями, двухквартирными домами и заброшенными особнячками. И вдруг он понял, что ему нечего делать, что ему ничего и не хочется делать. Одиночество давило его и вечером, когда он обедал один в отеле «Принц-регент». Потом он сидел в холле, на плюшевом кресле с вытканным гербом принцев Саксен-Кобургских, закуривая сигару и глазами отыскивая кого-нибудь, кто развеселил бы его, помог уйти от унылых мыслей. В соседнем кресле (уже с литовским гербом) сидел какой-то смутно знакомый человек, толстый, краснолицый, с глазами навыкате и жидкими желтыми усами. С виду он был человек добрый, смирный и такой же одинокий, как Бэббит. На нем был твидовый костюм и отвратительный оранжевый галстук.

И вдруг Бэббита точно динамитом подбросило. Меланхолический незнакомец — сам сэр Джеральд Доук!

Бэббит невольно вскочил с места, забормотал:

— Здравствуйте, сэр Джеральд! Помните, мы встречались в Зените, нас познакомил Чарли Мак-Келви? Бэббит моя фамилия,— недвижимое имущество.

— Оу! Как поживаете? — И сэр Джеральд вяло пожал ему руку.

Бэббит стоял смущенный, не зная, как бы ему ретироваться, и бормотал:

— Вы, должно быть, отлично попутешествовали после нашего Зенита.

— М-да. Британская Колумбия, Калифорния, везде,— сказал тот вяло, глядя на Бэббита тусклыми глазами.

— Как деловая жизнь в Британской Колумбии? Впрочем, вы, вероятно, этим не интересовались. Больше по части спорта, природы и все такое?

— Природы? О, природа великолепная! Но дела... Знаете, мистер Бэббит, там почти такая же безработица, как у нас.— Сэр Джеральд несколько оживился.

— Вот как? Значит, дела там неважные?

— Да, дела там много хуже, чем я предполагал.

— Скверно, а?

— Да-а, можно сказать, скверно.

— Жаль, черт побери. Ну-с... вы, вероятно, кого-нибудь ждете, собираетесь пойти на какое-нибудь пиршество?

— Пиршество? Ах, да, пиршество... Нет, по правде сказать, я сидел и думал — какого черта я сегодня буду делать весь вечер? Ни души знакомых в Тшикаго. Скажите, вы случайно не знаете — есть в этом городе хороший театр?

— Хороший театр? О да, у них тут великолепная опера! Я уверен, вам понравится!

— Как? Как вы сказали? О, я был в опере, в Лондоне. В Ковент-Гардене как будто! Ужас! Нет, я спрашиваю, нет ли здесь хороших кинотеатров — кино!

Бэббит сразу сел, пододвинул свое кресло к сэру Джеральду.

— Кино? — крикнул он.— Слушайте, сэр Джеральд, я-то думал, что вас ждет целый выводок дам, чтобы потащить вас на какое-нибудь суарэ...[1]

— Упаси бог!

— ...но если вас никто не ждет, давайте-ка вместе сходим в киношку! В «Грентеме» идет фильм — пальчики оближешь! Билл Харт в роли бандита!

— Превосходно! Погодите, я возьму пальто!

---

[1] Soirée — вечеринка *(франц.)*.

Раздувшись от собственного величия, слегка побаиваясь, как бы благородный отпрыск ноттингемских лордов не бросил его на ближайшем перекрестке, Бэббит торжественно привел сэра Джеральда Доука в кинодворец и в молчаливом блаженстве уселся рядом с ним, стараясь не слишком проявлять свой восторг по поводу картины, чтобы знатный рыцарь, чего доброго, не начал презирать его за восхищение шестизарядными револьверами и наездниками. Но под конец сэр Джеральд пробормотал:

— Отличный фильм, честное слово! Очень мило, что вы взяли меня с собой. Давно так не веселился. Все эти хозяйки там, где я гостил, ни разу меня не пустили в кино!

— Да что вы мне заливаете! — Бэббит уже говорил своим прежним, естественным и добродушным тоном: куда девалась вся утонченность произношения, весь английский выговор, которому он старался подражать! — Ей-богу, я до чертиков рад, что вам нравится, сэр Джеральд!

Они пробрались мимо коленок толстых дам к выходу и долго махали руками в гардеробной, помогая друг другу надеть пальто. Бэббит нерешительно спросил:

— А не закусить ли нам немножко! Я знаю местечко, где подают великолепное рагу, может, удастся раздобыть рюмку-другую,— конечно, если вы это дело потребляете!

— Еще бы! Но не лучше ли нам подняться ко мне в номер? У меня есть виски — очень недурная марка!

— Ну, зачем же я буду вас грабить! Спасибо большое, но вам, вероятно, пора спать?

Но сэра Джеральда словно подменили. Он умоляюще пробасил:

— Слушайте, как вам не совестно! Я так давно не проводил вечер по-хорошему! Вечно эти танцы! Даже не поговоришь о делах, о всяком таком. Будьте другом, пойдемте ко мне! Согласны?

— Я-то?! Еще бы! Я только подумал... но, честное благородное, надо же человеку посидеть спокойно, поговорить о делах после того, как он столько ходил на всякие эти балы, маскарады, банкеты, на все эти светские приемы! Я это по себе чувствую у нас, в Зените. Нет, я буду рад зайти к вам!

— О, как это мило с вашей стороны!

Всю дорогу они сияли.

— Слушайте, старина, вы мне не можете объяснить: неужто во всех американских городах такая лихорадочная жизнь? Везде эти роскошные вечера и прочее...

— Да ну, бросьте шутить! Вы-то, с вашими придворными балами, с приемами...

— Да что вы, старина! Мы с хозяйкой... я хотел сказать, с леди Доук, обычно играем партию в безик и ложимся спать в десять часов. Клянусь честью, я бы долго не выдержал эту вашу светскую суету! А эти разговоры! Ваши американские дамы столько знают — про культуру и всякое такое. Эта миссис Мак-Келви — ваша приятельница...

— А, да, наша Люсиль! Славная девочка!

— ...так она меня спрашивает, какая галерея во Флоренции — или, кажется, она сказала «в Фиренце»? — мне понравилась больше всего. А я никогда в жизни не был в Италии! И еще — «примитивы». Люблю ли я «примитивы»? Вы-то знаете, что эта за чертовщина такая — «примитивы»?

— Я? Понятия не имею! Зато я знаю, что такое кредит и дебет!

— Верно! И я тоже, клянусь честью! Но примитивы!

— Го-го!.. Примитивы!

И они захохотали, совсем как на завтраке в клубе Толкачей.

Сэр Джеральд занимал точно такой же номер, как и Джордж Ф. Бэббит, только его английские чемоданы были добротнее и тяжелее. И точно так же, как делал это мистер Бэббит, он вытащил огромную бутылку виски и, гордясь своим гостеприимством, радушно проворчал:

— Скажите, когда хватит, старина!

После третьего стакана сэр Джеральд провозгласил:

— Но почему вы, янки, вообразили, что эта писательская братия, вроде Бертрана Шоу и этого, как его, Уэллса, представляет наш народ? Настоящая деловая Англия, то есть мы все — мы все,— мы считаем их просто перебежчиками. Конечно, и у вас, и у нас есть эта смешная старая аристократия — знаете, старинные семьи, с их поместьями, охотой и всякой такой штукой, и у нас есть профсоюзные лидеры, но и у нас, и у вас есть крепкий костяк — деловые люди, которые всем заправляют!

— Верно сказано! За здоровье настоящих людей!

— Согласен! За наше здоровье!

После четвертого стакана сэр Джеральд робко спросил:

— Как ваше мнение о закладных по Северной Дакоте? — но только после пятого Бэббит стал называть его «Джерри» и сэр Джеральд без всяких обиняков спросил: «Не возражаете, если я сниму башмаки?» — и с наслаждением вытянул свои титулованные ноги, свои бедные, усталые, натертые и распухшие ноги, на кровати.

После шестого стакана Бэббит, попятываясь, встал:

— Ну, мне пора и восвояси. Джерри, вы — настоящий друг! И какого дьявола мы с вами не познакомились поближе в Зените!

Слушайте-ка! А вы не можете вернуться, погостить у меня хоть немного?

— Мне так жаль, но нельзя! Завтра надо ехать в Нью-Йорк. Ужасно досадно, старина! Ни разу за все пребывание у вас в Штатах я так приятно не проводил вечер. И разговор настоящий. Не то что вся эта светская чепуха. Да я бы отказался от этого дурацкого титула, если б знал, что придется болтать с женщинами про поло и примитивы. Хотя получить титул в Ноттингеме — хорошая штука. Мэр наш из себя выходит, ну а моей хозяйке, конечно, приятно! Но меня уж никто теперь не зовет «Джерри»...— он чуть не прослезился,— а тут в Штатах никто до сегодняшнего вечера мне не был таким другом, как вы! До свидания, старина, до свидания! Благодарю вас за все! За все!

— Бросьте, Джерри! И не забывайте: когда бы вы ни приехали в Зенит — двери у нас нараспашку!

— А вы, старина, не забывайте, если попадете в Ноттингем, мы с женой будем от всего сердца рады вам. Непременно расскажу всем приятелям в Ноттингеме о ваших мыслях насчет Прозорливости и Настоящего Человека на следующем же завтраке в Ротарианском клубе.

IV

Утром Бэббит долго лежал в постели, представляя себе, как его спросят в зенитском Спортивном клубе: «Ну, как провел время в Чикаго?» — и он ответит: «Неплохо, много бывал с сэром Джеральдом Доуком»,— или воображал, что он встретит Люсиль Мак-Келви и начнет выговаривать ей: «Вообще-то вы ничего, миссис Мак, только не напускайте на себя эту интеллигентскую блажь. Мне Джеральд Доук так и говорил в Чикаго, да, Джерри — мой старый приятель, мы с женой собираемся в будущем году съездить в Англию, погостить в замке у Джерри,— значит, он мне говорил: «Джорджи, старина, нравится мне Люсиль, это верно, но мы с вами, Джорджи, должны отучить ее выкидывать всякие такие штучки!»

Но в тот же вечер случилось одно происшествие, которое отравило всю его радость.

V

У табачного киоска отеля «Принц-регент» Бэббит познакомился с комиссионером по продаже роялей, и они вместе пошли обедать. Бэббит был в превосходнейшем, благодушнейшем наст-

роении. Он наслаждался роскошью ресторана: хрустальными канделябрами, парчовыми занавесями, портретами французских королей на золоченых дубовых панелях. Он наслаждался видом обедающих: столько хорошеньких женщин, столько славных, солидных мужчин, «широко» тратящих деньги.

И вдруг он обомлел. Он вгляделся, отвернулся, потом снова стал вглядываться. За три столика от него с женщиной весьма сомнительного вида, кокетливой и вместе с тем потрепанной, сидел Поль Рислинг — а все считали, что Поль уехал в Экрон продавать толь. Женщина гладила его руку, строила ему глазки и хихикала. Бэббит почувствовал, что попал в запутанную и нехорошую историю. Поль говорил горячо и торопливо, с видом человека, который жалуется на свои невзгоды. Он не сводил глаз с увядшего лица женщины. Один раз он сжал ей руку, а потом, не обращая внимания на посетителей ресторана, вытянул губы трубочкой, как будто собрался ее поцеловать. Бэббиту так хотелось заговорить с Полем, что он чувствовал, как все его мышцы напрягаются, даже плечи дрожат, но он в отчаянии подумал, что тут нужен дипломатический подход, и, лишь увидев, что Поль платит по счету, бросил своему соседу: «Ого, там мой приятель — простите, я на минутку,— только поздороваюсь с ним!»

Он тронул Поля за плечо и крикнул:

— Когда же это ты явился?

Поль сердито взглянул на Бэббита, и лицо его потемне́ло.

— А, здорово, Джордж, я думал, ты уже уехал в Зенит.— Со своей спутницей он его не познакомил. Бэббит покосился на нее — довольно хорошенькая, пухлая и кокетливая особа лет сорока двух — сорока трех, в ужасающей шляпке с цветами. Она была густо и неумело нарумянена.

— Где остановился, Полибус?

Женщина отвернулась, зевнула и стала разглядывать свои ногти. Очевидно, она привыкла, что ее не знакомят с друзьями.

— Отель «Кэмбл», Южная сторона,— проворчал Поль.

— Один? — В вопросе слышался намек.

— Да! К сожалению! — Поль резко обернулся к своей даме и с нежностью, от которой Бэббиту стало тошно, проговорил: — Мэй! Разрешите вас познакомить! Миссис Арнольд, это мой старый... м-мм... знакомый, Джордж Бэббит.

— Очень рад! — буркнул Бэббит, когда она заворковала:

— Ах, я так счастлива познакомиться с приятелем мистера Рислинга!

Бэббит не отставал:

— Будешь у себя попозже вечером, Поль? Я заеду к тебе, надо повидаться.

— Нет, лучше... давай лучше позавтракаем вместе!

— Хорошо, но сегодня вечером я к тебе зайду, Поль! Приду в гостиницу и подожду тебя!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

I

Он долго сидел и курил с продавцом роялей, ему не хотелось расставаться с теплым уютом дружеской болтовни и наконец подумать о Поле. Но чем приветливей он был с виду, тем беспокойней у него становилось на душе, тем острее он ощущал внутреннюю пустоту. Он был уверен, что Поль приехал в Чикаго без ведома Зиллы и занимается довольно опасными и не слишком нравственными делами. И когда его собеседник, зевнув, сказал, что ему надо заполнить какие-то бланки, Бэббит попрощался и вышел из отеля, внешне спокойный и беззаботный. Но в такси он сердито бросил водителю: «Отель «Кэмбл». Ему было неудобно на скользком сиденье, в прохладной полутьме, пахнущей пылью, духами и турецкими сигаретами. В волнении он не заметил ни заснеженного берега озера, ни темных перекрестков и ярко освещенных улиц незнакомой части города, к югу от Луна.

В холле отеля все было бездушное, резкое, новое, и ночной портье — в особенности.

— Ну? — спросил он Бэббита.

— Мистер Поль Рислинг остановился у вас?

— Угу.

— Он у себя?

— Нет.

— Тогда дайте мне, пожалуйста, его ключ, я подожду.

— Нельзя, приятель. Ждите здесь, если угодно.

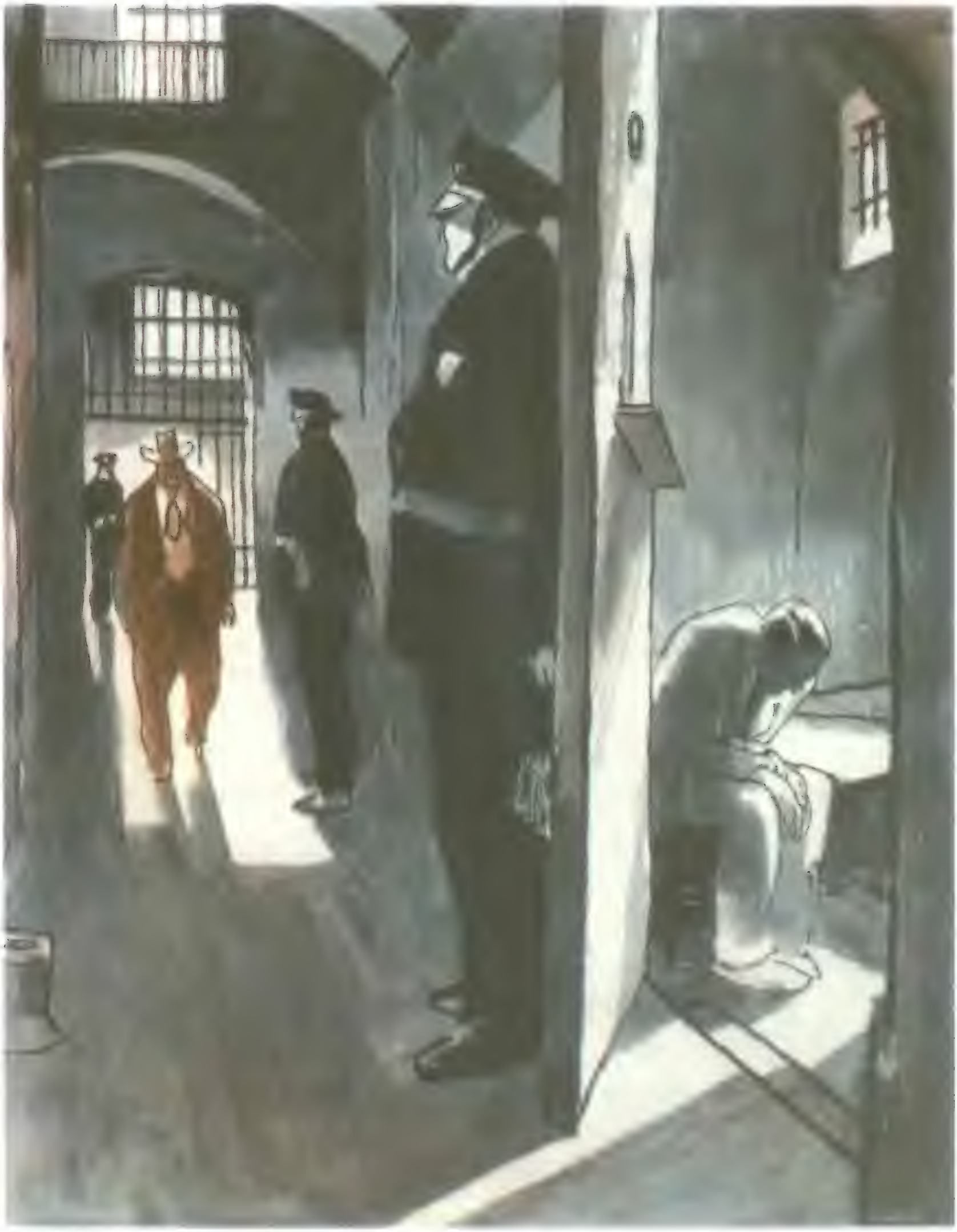
До сих пор Бэббит говорил вежливо, как все «порядочные люди» разговаривают с портье в отеле. Но тут он заговорил отрывисто, с угрозой в голосе:

— Мне, может быть, придется долго ждать. Я зять Рислинга. Я подожду у него в номере. Похож я на вора?

Говорил он негромко, но в голосе звучало раздражение. С явной торопливостью портье подал ключ, оправдываясь:

— Да разве я говорю, что вы похожи на вора? У нас правило такое. Но если вам угодно...

По дороге к лифту Бэббит недоумевал — зачем он сюда пришел? Почему бы Полю не пообедать с респектабельной замужней дамой? Зачем он наврал, будто он зять Поля? Какое ребячество!



Надо быть сдержанней, не наговорить бы Полю высокопарных глупостей. Он уселся в кресло, стараясь казаться важным и спокойным. И вдруг подумал — самоубийство! Вот чего он боялся, сам того не подозревая. Именно такой человек, как Поль, способен покончить с собой! Наверно, он совсем не в себе, иначе он не выкладывал бы душу перед такой вульгарной особой!

Все эта Зилла (у-у, черт бы ее побрал, с каким удовольствием он задушил бы эту сварливую ведьму!) — довела-таки Поля до точки!

Самоубийство! Там, на озере, подо льдом, у самого берега. Бросился в воду, в смертельный холод.

А вдруг... с перерезанным горлом... лежит тут, в ванной.

Бэббит ворвался в ванную. Пусто. Он растерянно улыбнулся.

Расстегнув душивший его воротничок, он посмотрел на часы, открыл окно, оглядел улицу, опять посмотрел на часы, попытался прочесть вечернюю газету, лежавшую на покрытом стеклом бюро, и снова посмотрел на часы. С тех пор как он взглянул на часы первый раз, прошло ровно три минуты.

Так он прождал три часа.

Он сидел неподвижно, словно закоченев, когда повернулась ручка двери. Поль вошел сияющий, довольный.

— Здорово,— сказал Поль.— Давно ждешь?

— Да, порядочно.

— Ну?

— Что «ну»? Зашел узнать, как у тебя прошла поездка в Экрон.

— Отлично. А не все ли тебе равно?

— Поль, что с тобой? Чего ты сердишься?

— Зачем ты лезешь в мои дела?

— Слушай, Поль, как ты со мной разговариваешь? Ни во что я не лезу. Я так обрадовался, когда увидал твою старую физию, что просто захотелось с тобой поболтать.

— А я не позволю, чтобы за мной следили, указывали мне... Этого мне и дома хватает!

— Да кто, к черту, тебе указывает...

— Мне неприятно было, что ты так смотрел на Мэй Арнольд, неприятно, что ты задавался перед ней.

— Ну, если так — хорошо! Ввязываться так уж ввязываться! Не знаю, кто она, твоя Мэй Арнольд, но в одном я могу голову прозакладывать: разговор у вас шел не о толевых крышах и не об игре на скрипке, вот что! И если ты не хочешь считаться с собственными интересами, так считайся хоть со своим положением в обществе. Разве можно сидеть у всех на виду и глазеть на женщину, как влюбленный щенок! Ну, я понимаю, человек

может согрешить, но я не хочу видеть, как ты, мой лучший друг, катишься по наклонной плоскости, удираешь от жены, пусть даже такой сварливой, как твоя Зилла, и бегаешь за бабами...

— Ох, ты-то примерный муженек!

— Да, честное слово, примерный! Ни на одну женщину не взглянул, кроме Майры, с самого дня свадьбы — да, можно сказать, ни на одну! — и никогда не взгляну. Уверяю тебя, распутство к добру не приведет. Игра не стоит свеч. Неужто ты сам не видишь, старик, что Зилла от этого становится еще сварливей?

Поль был и духом не крепче, чем телом. Он сбросил заиндевевшую шубу на пол, бессильно опустился на плетеный стул:

— Ханжа ты, Джорджи, и в нравственности разбираешься хуже Тинки, но, в общем, ты хороший человек. Пойми только одно — я больше не могу! Не могу выносить Зиллу, ее грызню. Она решила, что я — сущий дьявол, и... нет, это просто инквизиция. Пытка. А ей это доставляет удовольствие. Для нее это игра — ей интересно, до чего она может меня довести. А мне остается одно — искать утешения на стороне или сделать что-нибудь похуже. Конечно, миссис Арнольд не так уж молода, но она чудесная женщина, понимает человека, и сама пережила немало.

— Еще бы! Наверно, она из тех куриц, которые уверяют, что «муж меня не понимает»!

— Не знаю. Возможно. Ее муж убит на войне.

Бэббит тяжело поднялся с кресла, подошел к Полю, похлопал его по плечу, виновато бормоча что-то себе под нос.

— Честное слово, Джордж, она хорошая женщина, и жизнь у нее была жуткая. Мы так друг друга поддерживаем. Уверяем, что лучше нас двоих никого на свете нет. Может быть, мы и сами в это не верим, но до чего хорошо, когда есть человек, с которым чувствуешь себя просто, легко, никаких ссор, объяснений.

— И больше между вами ничего нет?

— Нет, есть! Ну, чего же ты? Ругай меня!

— Да за что тебя ругать... Не скажу, чтоб мне это очень нравилось, но...

И вдруг в порыве великодушия, чувствуя, как его переполняют добрые чувства, он выпалил:

— Не мое это дело, черт побери! Я для тебя на все пойду, помогу тебе, если только чем-нибудь можно помочь!

— Можно. Мне сюда из Экрона переслали письма Зиллы, и, по-моему, она начинает подозревать, что я не зря так задержался. Она вполне способна напустить на меня сыщика, а потом явиться в Чикаго, ворваться со скандалом в ресторан, наброситься на меня при всех,

— Я сам поговорю с Зиллой. Такого ей наплету, когда приеду в Зенит...

— Не знаю, пожалуй, не стоит! Ты чудесный малый, но боюсь, что дипломат ты неважный! — И, увидя, что Бэббит сначала обиделся, а потом рассердился, Поль торопливо продолжал: — Я хочу сказать — с женщинами! Понимаешь, с женщинами! Конечно, в деловом отношении такого, как ты, поискать; но я говорю именно про женщин. Зилла может быть и груба и резка, но она совсем не дура. Она из тебя вмиг все вытянет!

— Ну, ладно,— как хочешь...— Бэббиту было жалко, что ему не доверяют роль тайного агента. Поль старался его утешить:

— Конечно, ты можешь ей сказать, что был в Экроне и видел меня там.

— Вот это здорово! Честное слово, здорово! Да мне же непременно надо побывать в Экроне, осмотреть участок, где кондитерская! Непременно надо! Вот незадача — человеку так хочется поскорее добраться домой! Скажи, какая незадача! Ей-богу, правда! Вот уж незадача, черт подери!

— Ладно, ладно! Только ради всех святых, не преувеличивай, ничего не приукрашай! Мужчины всегда врут слишком сложно, слишком искусно, и женщины сразу начинают что-то подозревать. Оно и выходит... впрочем, давай выпьем, Джорджи. У меня есть джин и вермут остался.

И тот самый Поль, который обычно отказывался от второго коктейля, сейчас выпил и второй и третий. У него покраснели веки, заплетался язык. Он неловко шутил, говорил сальности.

И, сидя в такси, Бэббит с удивлением почувствовал, как у него на глаза навертываются слезы.

II

Он не открыл Полю свои планы, но действительно остановился в Экроне от поезда до поезда только ради того, чтобы послать Зилле открытку: «Заехал сюда по делу, встретил Поля». Вернувшись в Зенит, он зашел к ней. И если, появляясь на людях, Зилла слишком красилась, слишком мазалась, слишком решительно затягивалась в корсет, то домашние горести она переносила в грязном синем халате, рваных чулках и посекшихся розовых шелковых туфлях. Она очень исхудала. Бэббиту показалось, что у нее стало вдвое меньше волос, чем раньше, да и остатки эти весьма жидковаты. Она валялась в качалке, среди пустых коробок из-под конфет и бульварных журнальчиков, и в голосе ее звучала то насмешка, то горечь. Но Бэббит был оживлен, как никогда:

— Привет, привет, Зил, старушка, отдыхаешь, пока муженька дома нет? Неплохо, неплохо! Ручаюсь, что Майра ни разу не встала раньше десяти, пока я был в Чикаго. Скажи, можно мне взять ваш термос — специально зашел одолжить у вас термос. Хотим покататься на санках,— надо взять с собой кофейку. А ты получила мою открытку из Экрона, где я писал, что видел Поля?

— Да. А что он там делал?

— То есть как это — что он там делал? — Бэббит расстегнул пальто, присел на ручку кресла.

— Будто ты не знаешь, о чем я! — Она с раздражением хлопнула ладонью по страницам журнала.— Приставал, наверно, к какой-нибудь кельнерше, или маникюрше, или еще к кому-нибудь.

— А, черт, вечно ты намекаешь, будто Полю только и дела, что волочиться за юбками! Во-первых, это не так, а если б и было так, то ты сама виновата: зачем вечно грызть его, вечно ему вдалбливать бог знает что. Не хотел я затевать этот разговор, но раз уж Поль в Экроне...

— А он действительно в Экроне? Я знаю, что у него в Чикаго есть какая-то ужасная особа, которой он пишет...

— Да я ж тебе говорю, что видел его в Экроне! Ты мне не веришь, что ли? Хочешь сказать, что я вру?

— Нет, нет... Но я так беспокоюсь!

— Ага, вот оно! Это-то меня и бесит! Ты так любишь Поля, а сама мучаешь его, ругаешь, как будто ты его ненавидишь! Никак не могу понять, почему это чем больше любят человека, тем больше его мучают.

— Любишь же ты Теда и Рону, а сам их вечно грызешь.

— Что? Ну, это совсем другое дело. А кроме того, я их вовсе не грызу. Наши отношения не назовешь грызней. Но ты только взгляни на Поля: лучше, добрее, умнее его на всем божьем свете не найдешь. И тебе должно быть стыдно так его поносить. Ты с ним разговариваешь хуже всякой прачки! Не понимаю, как можно опускаться до такой степени, Зилла!

Она угрюмо уставилась на свои стиснутые пальцы.

— Сама не знаю. Иногда выхожу из себя, прямо до безобразия, а потом жалею. Ах, Джорджи, ты не знаешь, до чего Поль меня доводит! Честное слово, я так старалась все эти годы обращаться с ним по-хорошему, и только из-за того, что раньше я была злая — то есть так только казалось, на самом деле я не злая, но иногда на меня находило и я говорила все, что придет в голову,— он и решил, будто я во всем виновата. Не может же быть, что всегда и во всем виновата я одна. А теперь, стоит мне

только хоть немного разволноваться, он сразу умолкает, и это так страшно,— он просто молчит и даже не смотрит на меня, будто я не существую. Разве это по-человечески? И нарочно доводит меня до того, что я уже себя не помню и говорю ему бог знает что, чего и сама не думаю. А он молчит... Вы, мужчины, строите из себя праведников! А сами хуже всех! Хуже вас на свете нет!

Они препирались не меньше получаса, и наконец, размазывая слезы, Зилла пообещала не давать себе воли.

Поль вернулся через четыре дня, и Бэббиты вместе с Рислингами торжественно пошли в кино, а потом ели рагу в китайском ресторане. Когда они шли в ресторан мимо лавок готового платья и парикмахерских и женщины, уйдя вперед, оживленно бранили прислугу, Бэббит шепнул Полю:

— Зил как будто стала гораздо спокойней!

— Да, пожалуй. Она всего раза два сорвалась. Но теперь поздно. Просто я... впрочем, сейчас не хочется об этом говорить, но я просто боюсь ее. Во мне ничего не осталось. Когда-нибудь я от нее вырвусь. Непременно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Международная организация Толкачей стала во всем мире символом оптимизма, крепкой шутки и делового процветания. В тридцати странах у этой организации есть свои отделения, но из тысячи таких клубов — девятьсот двадцать находится в Соединенных Штатах.

И самый ревностный из них — зенитский клуб Толкачей.

Второй в марте завтрак зенитских Толкачей был особенно важен, так как на нем ежегодно избирали президиум. Все очень волновались. Завтрак устраивался в банкетном зале ресторана О'Хирна. Каждый из четырехсот Толкачей при входе снимал с доски огромный целлулоидный значок, где значилась его фамилия, прозвище и профессия. За то, что собрата Толкача называли по имени, а не по прозвищу, полагался штраф в десять центов, и когда Бэббит бодро сдавал шляпу на вешалку, вокруг все звенело от веселых возгласов: «Здорово, Чэт!» — или: «Как жизнь, Коротышка?» — или: «Доброго здоровья, Мак!»

За столики садились компаниями по восемь человек, причем места разыгрывались по жребию. С Бэббитом сидели Альберт Бооз — владелец магазина готового платья, Гектор Сиболт — представитель фирмы сгущенного молока «Милый Крошка», Эмиль Венгерт — ювелир, профессор Памфри — директор коммерческого училища «Верный путь», доктор Уолтер Горбут, фотограф Рой

Тигартен и гравер Бен Берки. Одним из достоинств клуба Толкачей было то, что туда принимали не больше двух представителей одинаковых профессий, так что члены его одновременно знакомились с Идеалами других отраслей коммерции, а также проникались метафизическим чувством единства всех профессий — от санитарии до писания портретов, от медицины до изготовления жевательной резинки.

За столом Бэббита было особенно весело: профессор Памфри недавно отпраздновал день своего рождения, и все его дразнили.

— Вытянем из Пэма, сколько ему лет,— предложил Эмиль Венгерт.

— Нет, лучше вытянем его палкой по спине! — сострил Бен Берки.

А Бэббит вызвал аплодисменты, сказав: «Чего там из него тянуть! Он сам только и знает, что тянуть из бутылки! Говорят, он в своем колледже открыл класс домашней варки пива!»

Перед каждым лежала книжечка со списком членов клуба. И хотя клуб должен был служить местом встречи добрых друзей, никто не забывал, что тут же можно и обделывать свои дела. Около каждой фамилии было указано, кто чем занимается. В книжечке немало места уделялось рекламе, а на одной из страниц было помещено напоминание: «Никто тебя не заставляет вести дела только с собратьями по клубу, но ты, друг, помни: зачем упускать добрую монету из нашей счастливой семейки?» А сегодня перед каждым лежал подарок: небольшая карточка, отпечатанная изысканным, красно-черным шрифтом:

ПРОГРЕСС И СЕРВИС

Настоящий сервис прежде всего означает тончайшее проникновение в самые широкие и глубокие интересы клиента, умение использовать и учесть как воздействие постоянных факторов, так и реакцию на новшества. Я считаю, что высшая форма сервиса, наравне с самыми прогрессивными понятиями этики, включает и то понятие, которое неизменно остается самым существенным, самым лояльным нашим принципом, принципом нашего клуба Толкачей, а именно — принципом гражданской совести и порядочности во всех ее аспектах.

Дед Петерсен

Рекламная контора Дедбери Петерсена.
Реклама-победа только у Деда!

Все члены клуба читали глубокомысленные откровения мистера Петерсена и делали вид, что отлично их понимают.

Все началось с обычных «трюков». Собрание вел председатель клуба, Верджил Гэнч, выходивший в отставку; его жесткие волосы

торчали кверху, голос гремел, как медный гонг. Некоторые из членов клуба привели гостей и сейчас представляли их присутствующим.

— Этот высокий рыжий дезинформатор является редактором спортивного отдела «Бюллетеня»,— сообщил Виллис Иджемс, а Г.- Г. Хэйзен, владелец аптеки, с пафосом изрек:

— Друзья, вспомните, как вы совершали далекую прогулку на своей машине и вдруг останавливались в каком-нибудь романтическом уголке, чтобы полюбоваться живописным видом, и говорили супруге: «Вот поистине романтическое местечко!» — и у вас от восторга мурашки по спине пробегали! Так вот, мой сегодняшний гость родом именно из такого романтического уголка — из Харперс-Ферри, штат Виргиния, с прекрасного Юга, где жива память о добром старом генерале Роберте Ли и о храбром Джоне Брауне, чья душа, как и душа всякого порядочного Толкача, стремится все вперед и вперед!

Но самыми почетными гостями в этот день были ведущий актер из труппы «Райские птички», гастролировавшей на этой неделе в театре Додсворт, и сам мэр города Зенита, его честь мистер Люкас Праут.

Вержил Гэнч гремел на весь зал:

— Сегодня нам удалось вырвать знаменитого служителя муз из очаровательного окружения красавиц его труппы — должен вам сознаться, что я вперся прямо в его артистическую уборную и тут же доложил ему, как мы, Толкачи, ценим высокохудожественное зрелище, которым мы ему обязаны,— кстати, не забывайте, что директор Додсвортского театра тоже наш брат Толкач и будет рад нашему содействию,— словом, сегодня, когда нам, кроме того, удалось оторвать от исполнения многочисленных обязанностей его честь, нашего мэра, хозяина города, мы можем гордиться такими почетными гостями, и я сейчас попрошу мистера Праута сказать несколько слов о задачах и целях...

Потом Толкачи решали открытым голосованием, кто самый красивый и кто самый безобразный из гостей, и каждому из них был вручен букет гвоздики, пожертвованный, как отметил председатель Гэнч, братом Толкачом Х.-Г. Игером, владельцем цветочного магазина на Дженнифер-авеню.

Каждую неделю, по очереди, четырем Толкачам предоставлялась привилегия облагодетельствовать четырех других членов клуба, на которых падал жребий; делалось это как ради удовольствия, так и ради рекламы. Громким хохотом было встречено объявление, что на этой неделе одним из жертвователей будет Барнабас Джой — владелец похоронного бюро. Послышался шепот:

— Я бы с удовольствием указал ему подходящих клиентов, пусть только похоронит их бесплатно по первому разряду!

Среди всех этих развлечений Толкачи отдавали должное завтраку, состоявшему из куриных котлет с горошком и жареным картофелем и кофе с яблочным пирогом и американским сыром. Гэнч выпускал одного оратора за другим. Он предоставил слово гостю, секретарю Ротарианского клуба — организации, конкурирующей с клубом Толкачей. Этот человек выделялся среди обыкновенных смертных тем, что у него на машине был пятый номер.

Секретарь ротарианцев со смехом признался, что во всем штате номер его машины вызвал сенсацию, добавив, что «хотя это и большая честь, но полисмены слишком хорошо запоминают номер, и часто хочется иметь просто какой-нибудь номер В-569876 или вроде того. Но пусть только кто-нибудь из вас, чертовых Толкачей, попытается перехватить у живого ротарианца этот пятый номер в будущем году — от вас клочья полетят! А сейчас разрешите закруглиться и поднять тост за все три клуба — Толкачей, Ротарианцев и Кивани!

Бэббит со вздохом сказал профессору Памфри:

— А все-таки приятно иметь на машине один из первых номеров! Всякий подумает: «Наверно, важная шишка!» Интересно, как ему это удалось? Ручаюсь, что он поил и кормил главного инспектора до отвала!

Потом выступил Чам Фринк:

— Может быть, некоторым из вас покажется, что не место тут затрагивать всякие высокоумные и чисто художественные темы, но я пойду напролом и попрошу вас, друзья, одобрить план насчет приглашения в наш Зенит симфонического оркестра. Все вы ошибаетесь, думая, что раз вы сами не любите классическую музыку и всякую прочую ерунду, значит, она здесь у нас не нужна. Должен сознаться, что я сам хоть и являюсь профессиональным литератором, но гроша ломаного не дам за всю эту музыку длинноволосых. Я с бóльшим удовольствием слушаю хороший джаз, чем какую-нибудь бетховенскую штуку, в которой мелодии не больше, чем в кошачьем концерте,— ее даже под страхом смертной казни никто не сумеет насвистать! Но суть совсем не в этом. Культура стала для любого города таким же необходимым украшением и рекламой, как асфальтовые мостовые и банковские дивиденды. Только культура, в виде театров, картинных галерей и так далее, ежегодно привлекает в Нью-Йорк тысячи туристов, а у нас, откровенно говоря, несмотря на все наши блестящие достижения, не хватает культуры Чикаго, культуры Нью-Йорка или Бостона — во всяком случае, у нас нет репутации культурного центра. И кому, как не нам, настоящим дельцам, пробив-

ным ребятам, взять культуру в свои руки, *капитализировать* культуру!

Конечно, картины, книги — все это хорошо для тех, у кого есть время в этом копаться, но ни книги, ни картины не вынесешь на дорогу, не крикнешь: «Вот какая у нас культурка, в нашем славном городке Зените!» А симфонический оркестр сам за себя скажет! Смотрите, что за репутация у Миннеаполиса или Цинциннати! Надо и нам завести оркестр с первоклассными музикусами, с отличным дирижером,— а чтобы этот пирог у нас подрумянился как следует, мы должны нанять самого дорогого дирижера, какой есть на рынке, лишь бы он не был немчурой,— и такой оркестр заиграет, не хуже, чем в Нью-Йорке и Вашингтоне: он будет выступать в лучшем театре, перед самыми культурными и состоятельными людьми, и для города это реклама, лучше которой не сыщешь. Всякий, у кого не хватает дальновидности, чтобы поддержать это начинание, тем самым пропускает случай довести до сведения какого-нибудь нью-йоркского миллионера, что есть на свете наш славный город Зенит, а если этот миллионер услышит о нас, он, чего доброго, откроет здесь филиал своей фабрики!

Я мог бы также отметить тот факт, что для наших дочерей, которые увлекаются серьезной музыкой и, может быть, захотят преподавать ее, будет большим благом, если в городе появится такой первоклассный оркестр. Но не станем отвлекаться от практической стороны вопроса: призываю вас, друзья и братья, поднять голос за Культуру с большой буквы и за симфонический оркестр мирового значения!

Все зааплодировали.

Потом, среди всеобщего волнения, председатель Гэнч провозгласил:

— Джентльмены, переходим к перевыборам президиума.

На каждый из шести официальных постов комитет выдвинул трех кандидатов. Вторым кандидатом в вице-председатели был выдвинут Бэббит.

Он очень удивился. Он был смущен. Сердце у него колотилось. Еще больше он заволновался, когда подсчитали голоса и Верджил Гэнч объявил:

— Рад сообщить, что теперь молоток в отсутствие председателя будет передаваться в руки Джорджи Бэббита. Не знаю другого человека, который был бы более стойким защитником здравого смысла и нашей промышленности, чем добрый старый Джордж. Давайте же крикнем ему «ура» — погромче, все разом!

После собрания вокруг Бэббита столпилась добрая сотня товарищей по клубу, все хлопали его по спине, поздравляли.

Никогда он не испытывал большей радости. Он вернулся в контору в каком-то чаду. В комнату он ввалился с широкой улыбкой и сразу сообщил мисс Мак-Гаун:

— Можете поздравить вашего патрона! Выбрали вице-председателем клуба!

Но его разочаровал ее ответ.

— Вот как! — сказала она и добавила: — Да, миссис Бэббит все время добивалась вас по телефону!

Зато новый агент Фриц Вейлингер сказал:

— Ей-богу, шеф, это чудно! Замечательно, честное слово! Рад за вас — слов нет! Поздравляю!

Бэббит позвонил домой и сразу заворковал в трубку:

— Ты мне звонила, Майра! Ну, на этот раз твой Джорджи молодцом! Ты с ним теперь поосторожней! Знаешь, с кем ты разговариваешь? С вице-председателем клуба Толкачей.

— О, Джорджи...

— Неплохо, а? Виллис Иджемс — наш председатель, а в его отсутствие твой маленький Джорджи берет молоточек в руки, и все пляшут под его дудку, он и ораторов представляет, будь то хоть сам губернатор...

— Джордж! Послушай!

— ...теперь у него будут друзья посолиднее, вроде дока Диллинга и...

— Джордж! Поль Рислинг...

— Да, да, я сейчас же позвоню Полю, сообщу и ему!

— Джорджи! Да выслушай же! Поль в тюрьме. Он стрелял в жену, стрелял в Зиллу сегодня днем. Наверно, ей не выжить!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

I

По дороге в городскую тюрьму он вел машину осторожно и сворачивал на перекрестках с той необычайной осмотрительностью, с какой старушки пересаживают цветы. Это отвлекало его от мыслей о подлости судьбы.

Надзиратель сказал:

— Нет, сейчас заключенного видеть нельзя — свидания в половине четвертого.

Было только три. Полчаса Бэббит просидел, рассматривая календарь и стенные часы на выбеленной стене. Стул попался твердый, скверный, скрипучий. Мимо проходили люди, и Бэббиту казалось, что все на него смотрят. С воинственным презрением,

которое постепенно перешло в унизительный страх, думал он о неумолимой машине, что сейчас перемалывает Поля — его Поля...

Ровно в три тридцать он передал Полю, что ждет...

Надзиратель вскоре вернулся:

— Рислинг сказал, что не желает вас видеть!

— Да вы спятили! Вы, наверно, перепутали фамилию — скажите, что пришел Джордж, Джордж Бэббит.

— А я не говорил, что ли? Говорил! И он ответил, что не хочет вас видеть.

— Все равно, проведите меня к нему!

— Не могу! Если вы не его адвокат и он вас видеть не хочет, ничего не получится!

— А, ччерт! Слушайте, где начальник тюрьмы?

— Занят. Ну, уйдете вы или...

Но Бэббит так на него надвинулся, что надзиратель поспешно изменил тон и заискивающе предложил:

— Приходите завтра, попробуйте еще раз. Наверно, он, бедняга, сейчас не в себе.

II

Теперь Бэббит несся по улицам без всякой осторожности, прямо к Сити-Холлу, проскальзывая между грузовиками и не обращая внимания на ругань шоферов. Он резко затормозил и помчался по мраморной лестнице прямо к кабинету достопочтенного Люкаса Праута. Он подкупил секретаря долларовой бумажкой и через миг стоял перед мэром.

— Вы меня помните, мистер Праут? Бэббит — вице-председатель клуба Толкачей, поддерживал вас во время избирательной кампании. Скажите, вы слыхали о несчастье с Рислингом? Прошу вас, дайте распоряжение начальнику или кто там у вас главный в городской тюрьме, пусть меня пропустят к Полю... Отлично! Спасибо!

Через пятнадцать минут он уже тяжело шагал по тюремному коридору к клетке, где на койке, сгорбившись, как старый нищий, сидел Поль, скрестив ноги и покусывая стиснутый кулак.

Пустыми глазами Поль смотрел, как надзиратель отпер камеру, впустил Бэббита и ушел. Потом медленно сказал:

— Что ж! Читай мне мораль!

Бэббит плюхнулся на койку рядом с ним.

— Не собираюсь я читать тебе мораль! Я и знать не хочу, как это случилось. Мне важно одно — помочь тебе, чем только могу. А Зилле так и надо, я даже рад.

Поль запротестовал:

— Нет, пожалуйста, не нападай на Зиллу! Я уже думал: может быть, и ей нелегко жилось. Когда я в нее выстрелил... по правде сказать, я и не собирался, но она до того меня довела, что я голову потерял, схватил старый револьвер — помнишь, из которого мы с тобой когда-то кроликов били? — и пальнул в нее. Я и сам не знаю, как это случилось... А потом, когда я пытался остановить кровь... Страшно было смотреть, что делалось с ее плечом, а кожа у нее такая нежная... Может быть, она не умрет. Хоть бы рубцов на плече не осталось. А когда я искал в ванной вату, чтобы остановить кровь, я наткнулся на пушистого желтого утенка — он у нас когда-то висел на елке, и вспомнил, какие мы с ней тогда были счастливые... А, черт, мне даже не верится, что я здесь сижу.— И, чувствуя, как рука Бэббита крепче сжала его плечо, Поль вздохнул: — Я рад, что ты пришел. Но я думал, может быть, ты станешь читать мне нотации, а когда убьешь человека и попадешь сюда и переживешь все это... там, около нашего дома, собралась огромная толпа, все смотрели, как полисмены тащат меня... Нет, давай больше об этом не говорить.

Но сам он продолжал говорить монотонным, испуганным, полубезумным шепотом. Чтобы отвлечь его, Бэббит сказал:

— Слушай, у тебя на щеке синяк!

— Да. Меня полисмен ударил. Полисмены, как видно, любят воспитывать преступников. Огромный такой детина. Не позволили мне помочь перенести Зиллу в карету.

— Поль! Перестань! Выслушай меня! Она не умрет, а когда все уладится, мы с тобой опять уедем в Мэн. Может быть, и твою Мэй Арнольд возьмем с собой. Съезжу в Чикаго, приглашу ее. Славная она женщина, честное слово! А потом я постараюсь тебя устроить где-нибудь далеко, на Западе, может быть, в Сиэтле,— говорят, чудесный город.

Поль криво улыбнулся. Но Бэббит говорил без удержу. Он не знал — слушает ли его Поль, но он говорил без конца, пока не пришел адвокат Поля — П.-Д. Максвелл, суетливый и неприветливый человек, который кивнул Бэббиту и тут же сказал:

— Нам бы с Рислингом не мешало на минутку остаться наедине...

Крепко пожав руку Полю, Бэббит пошел в контору и дождался, пока туда мелкими шажками не выбежал Максвелл.

— Слушайте, старина,— умоляюще сказал Бэббит адвокату,— чем бы я мог помочь?

— Ничем. Абсолютно ничем. По крайней мере, сейчас,— ответил Максвелл.— Простите. Спешу. И не ходите к нему. Я попросил доктора впрыснуть ему морфий. Может быть, он уснет.

Бэббиту казалось, что возвращаться в контору как-то непорядочно. Как будто с похорон... Он поехал в городскую больницу — справиться насчет Зиллы. Ему сказали, что она, очевидно, будет жить. Пуля из огромного револьвера — сорок четвертый калибр, военного образца,— раздробила ей плечо и прошла вверх навылет.

Он отправился домой и застал жену в восторженно-испуганном состоянии, в какое нас всегда приводят трагедии друзей.

— Конечно, Поля винить нельзя, но все это потому и вышло, что он бегал за женщинами, вместо того чтобы нести свой крест, как подобает христианину.

У Бэббита не было сил ответить так, как ему хотелось. Он только сказал, что полагалось, насчет того, как христиане несут свои кресты, и ушел мыть машину. Упорно, терпеливо он скреб масляные пятна на крыше, счищал грязь, присохшую к колесам. Потом долго мыл руки, тер их пемзой, радуясь, что его пухлым пальцам больно.

— Руки как у женщины — даже противно! Ох!..

За обедом, когда жена снова начала неизбежный разговор, он закричал:

— Я запрещаю говорить о Поле! Ни слова, понятно тебе? Я сам скажу все, что нужно, слышишь! По крайней мере, хоть в одном доме, среди всех городских сплетен и пересудов, не будет разговоров, что мы, мол, не такие грешники. И выкинь, пожалуйста, эти грязные газеты из дому!

Однако он сам после обеда внимательно прочел все газеты.

Часов около девяти он поехал к адвокату Максвеллу. Его приняли довольно неприветливо.

— В чем дело? — спросил Максвелл.

— Хочу предложить свои услуги на суде. У меня явилась одна мысль. Почему бы мне не дать под присягой показания, что я был там и она первая схватила револьвер, а Поль пытался его вырвать, и револьвер случайно выстрелил.

— Хотите дать ложные показания?

— Что? М-да, наверно, это ложные показания. Скажите — а это помогло бы?

— Да вы понимаете, что такое ложные показания!

— Бросьте вы эти глупости! Простите, Максвелл, я не хотел вас обидеть. Знаю одно: каких только ложных показаний не дают, чтобы захватить какой-нибудь несчастный участок, вы это сами знаете, а тут, когда надо спасти Поля от тюрьмы... да я готов до хрипоты давать любые показания, ложные они или нет.

— Нельзя. Тут не только этика не позволяет, я просто боюсь, что это бесполезно. Прокурор разоблачит вас немедленно. Всем

известно, что в комнате, кроме Рислинга и его жены, никого не было.

— Тогда вот что. Разрешите мне выступить свидетелем: я дам присягу — и это уже будет чистейшая правда,— что она его буквально довела до сумасшествия.

— Нет. Простите, но Рислинг категорически отказывается от каких бы то ни было показаний, порочащих его жену. Он настаивает на своей виновности.

— Ну, хорошо, пусть тогда я дам хоть какие-нибудь показания — все, что вы найдете нужным. Позвольте же мне хоть чем-нибудь помочь...

— Простите меня, Бэббит, но самое лучшее, что вы можете сделать — мне очень неприятно говорить это,— но больше всего вы нам поможете, если не станете вмешиваться!

Бэббит неловко вертел в руках шляпу, с видом несостоятельного должника, и эти слова так явно обидели его, что Максвелл смягчился:

— Не хочется вас обижать, но мы оба стараемся помочь Рислингу, и больше тут ни с чем считаться не приходится. Беда ваша, Бэббит, в том, что вы из тех, кто не умеет держать язык за зубами. Слишком любите слушать свой собственный голос. Может быть, я и вызвал бы вас свидетелем, но я знаю, что, стоит вам выйти на свидетельское место, вы так разболтаетесь, что все испортите. Простите, мне нужно просмотреть кое-какие бумаги... Извините меня, пожалуйста!

III

Все следующее утро он набирался мужества для встречи с пустомелями из Спортивного клуба. Начнется трепотня по адресу Поля, будут, облизываясь, говорить гадости. Но за столом «дебоширов» о Поле даже не упомянули. Все старательно обсуждали предстоящий бейсбольный сезон. Бэббит любил их за это, как никогда.

IV

Он вообразил, очевидно, по книжкам, что суд над Полем будет сложным и долгим, с ожесточенными спорами, толпой настороженных зрителей и неожиданными сокрушительными свидетельскими показаниями. На самом деле весь суд продолжался минут пятнадцать и выслушивались, главным образом, показания врачей, которые разъяснили, что Зилла совсем поправится и что

Поль находился в состоянии аффекта. На следующий день Поль был приговорен к трехгодичному заключению в Центральной тюрьме штата, куда его увезли в чрезвычайно будничной обстановке, без всяких наручников,— он просто устало плелся рядом с жизнерадостным помощником шерифа, и, попрощавшись с ним на вокзале, Бэббит вернулся в свою контору, чувствуя, что мир без Поля лишился всякого смысла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

I

Он был очень занят с марта по июнь. Он старался не думать, не расстраиваться. И жена и соседи вели себя благородно. Каждый вечер он играл в бридж или ходил в кино. И дни проходили безличные, молчаливые.

В июне миссис Бэббит с Тинкой уехали на Восток, к родственникам, и Бэббит мог делать что угодно,— только он сам не знал, что именно.

Весь день после их отъезда он думал о том, как свободно стало дома,— можно, если захочется, бесноваться, ругаться на чем свет стоит и не разыгрывать примерного мужа. Он подумал: «Могу устроить настоящий кутеж сегодня вечером, вернуться хоть в два часа ночи, без всяких объяснений. Ура!» — и тут же позвонил Верджилу Гэнчу и Эдди Свенсону. Но оба в этот вечер были заняты, и вдруг ему показалось до одури скучным столько возиться ради разгульной жизни.

За обедом он был молчалив, непривычно ласков с Тедом и Вероной, не возражал, хотя и не соглашался, когда Верона сообщила ему свое мнение о мнении Кеннета Эскотта насчет мнения доктора Джона Дженнисона Дрю о мнениях эволюционистов. Тед в эти летние каникулы работал в гараже и рассказывал о своих победах за день: как он нашел трещину в подшипнике, что сказал Старому Ворчуну, как объяснил мастеру будущее беспроволочного телефона.

После обеда Тед и Верона ушли на вечеринку. Прислуга тоже ушла. Редко Бэббит оказывался дома в таком одиночестве. Он не знал, куда деваться. Ему хотелось развлечься как-то по-другому, а не читать вечные комиксы в газете. Он поднялся в комнату к Вероне, сел на ее голубое с белым девственное ложе и стал просматривать книги, хмыкая и что-то бормоча себе под нос солидным, респектабельным голосом. Конрад — «Спасение», томик со странным названием «Лики Земли», стихи поэта Вэйчела Линд-

зи (весьма странные стихи, подумал Бэббит), очерки Г.-Л. Менкена — очень неподходящая литература, издевка над церковью, над всем, что свято. Книги ему не понравились. Он чувствовал в них дух бунтарства против приличий и всяческой респектабельности. Все эти авторы — и, наверно, авторы знаменитые, подумал он,— не очень-то стараются рассказать интересную историю, которая помогла бы человеку отвлечься от неприятностей. Он вздохнул. Тут он увидел книгу «Три фальшивые монеты» Джозефа Хергесгеймера. Ага, кажется, что-то подходящее! Наверно, приключенческая история, как будто про фальшивомонетчиков, про то, как сыщики крадутся ночью в старинный дом. Он взял книгу под мышку, спустился вниз по лестнице и, торжественно усевшись под торшером, начал читать:

«Сумерки синеватой пыльцой упали в неглубокие складки поросших лесом холмов. Стоял ранний октябрь, но легким морозом уже прихватило золотые листья клена, на испанских дубах появились винно-красные заплаты, ивняк ярко пылал в темнеющем кустарнике. Стая диких гусей чертила спокойный узор в низком небе над холмами, уплывая в тихий пепельный вечер. Хауат Пенни, стоя на едва заметной просеке, решил, что их медленный мерный путь лежит слишком далеко, вне выстрела... Но ему и не хотелось охотиться на гусей. День увядал, и с ним испарялась острота ощущений; обычное безразличие все сильнее овладевало Хауатом».

Опять то же самое: недовольство простой добротной действительностью. Бэббит отложил книгу, вслушался в тишину. Все двери в доме были открыты. Из кухни доносилось еле слышное капанье тающего в холодильнике льда — неотвязный, настойчивый звук. Бэббит подошел к окну. Стоял пасмурный летний вечер, и сквозь металлические сетки уличные фонари походили на бледные огненные кресты. Весь мир стал неестественным. Пока Бэббит раздумывал, Верона и Тед вернулись и легли спать. В спящем доме сгустилась тишина. Он надел шляпу — свой респектабельный котелок, закурил сигару и стал прохаживаться перед домом — внушительная, достойная, ничем не примечательная фигура,— и гудел себе под нос: «Серебро в золотистых прядях». Мелькнула мысль: «Не позвонить ли Полю?» И сразу все вспомнилось. Он представил себе Поля в одежде каторжника и, мучаясь этой мыслью, сам не верил в нее. Все казалось нереальным в этот околдованный туманом вечер.

Если бы Майра была здесь, она намекнула бы: «Кажется, сейчас уже очень поздно, Джорджи?» Он бродил одинокий, не зная, что делать с нежеланной свободой. Туман скрыл его дом. Мир застыл в первозданном хаосе, неподвижный, бесстрастный.

В тумане показался человек, он шел такими быстрыми шагами, что под неверным светом уличного фонаря казалось, будто он в ярости мечется по улице. При каждом шаге он взмахивал палкой и с треском бил по тротуару. Пенсне на широкой фатовской ленте прыгало у него на животе. Ошеломленный Бэббит узнал в нем Чама Фринка.

Фринк застыл на месте, уставился на Бэббита и торжественно изрек:

— Еще один дурак. Джордж Бэббит. Живет ждач... сдачей домов. Знаешь, кто я? Я — предатель поэзии. Пьян? Р-разболтался? Плевать! Знаешь, кем я мог быть? Джином Фильдом или Джеймсом Уиткомом Райли. А может, и Стивенсоном. Да, мог. Есть фантазия. Воображение. Вот. Вы послушайте. Сейчас сочинил:

Луг переливчато летом поет:
Шмели, шалопаи и честный народ.

Что, слыхали? Вдохно-ве... вдохновение. Сам сочинил. И сам не знаю, что это значит. Хороший стих. Для детской песенки. А что я пишу? Дрянь! Бодрые стишки! Все дрянь! А мог бы писать иначе — да поздно!..

Фринк ринулся вперед с устрашающей быстротой; казалось, он вот-вот упадет, но все-таки он держался на ногах. Бэббит был бы удивлен ничуть не меньше, если б перед ним из тумана появился призрак, держа голову под мышкой. Однако он с полным равнодушием выслушал Фринка, пробормотал: «Обалдел, бедняга!» — и тут же забыл о нем.

Он медленно побрел домой, решительно подошел к холодильнику и стал опустошать его. Когда миссис Бэббит была дома, это считалось одним из самых страшных хозяйственных преступлений. Стоя около закрытых стиральных баков, он съел ножку цыпленка, полтарелки малинового желе и ворча проглотил холодную и скользкую вареную картошку. Он напряженно думал. Ему пришло в голову, что, может быть, вся его деятельная жизнь, к которой он привык, идет впустую; что и рай, каким его изображает достопочтенный доктор Джон Дженнисон Дрю, и нереален, и достаточно скучен; что делать деньги — сомнительное удовольствие, что вряд ли стоит растить детей только для того, чтобы они потом сами растили детей, а те, в свою очередь, растили своих детей. К чему все это? Что ему, в сущности, нужно?

Он вернулся в гостиную и лег на кушетку, заложив руки за голову.

Что ему нужно? Богатство? Положение в обществе? Путешествия? Прислуга? Да, но не это главное...

— Не знаю, не знаю...— вздохнул он.

Но одно он знал твердо: ему нужен Поль Рислинг, а вместе с этим он неохотно признался, что ему нужна и юная волшебница — во плоти. Да, если бы у него была любимая женщина, он убежал бы к ней, склонил бы голову к ней на колени...

Он подумал о своей стенографистке, мисс Мак-Гаун. Подумал о самой хорошенькой маникюрше в парикмахерской отеля «Торнлей». И, засыпая на кушетке, он почувствовал, что нашел в жизни нечто стоящее и теперь с трепетным восторгом пойдет на разрыв со всем, что добропорядочно и общепринято.

II

На следующее утро он позабыл, что собрался стать бунтарем, но в конторе его все раздражало, и в одиннадцать часов, когда пошли бесконечные посетители и беспрерывные телефонные звонки, он сделал то, чего давно хотел, но не смел: удрал из конторы, ничего не сказав этим рабовладельцам — своим служащим,— и отправился в кино. Он радовался, что имеет право побыть в одиночестве. Он вышел из кино с жестокой решимостью — делать все, что захочется!

Но когда он пришел завтракать, весь стол «дебоширов» встретил его громким хохотом.

— Ага! Вот он, наш миллионер! — сказал Сидни Финкельштейн.

— Да, я видел, как он ехал в своем локомобиле! — подхватил профессор Памфри.

— Эх, хорошо быть таким ловкачом, как Джорджи! — протянул Верджил Гэнч.— Наверно, прикарманил весь Дорчестер. Я бы побоялся оставить хоть самый крохотный участочек без надзора,— Джордж непременно его подцепит!

Бэббит понял, что «им про него что-то известно». Да, они, видно, решили его разыграть. В другое время он пришел бы в восторг от такой чести — стать центром внимания, но тут его это вдруг задело. Он фыркнул:

— Верно. Скоро всех вас возьму к себе рассыльными.

Но ему хотелось, чтобы эти шутки поскорее кончились.

— Может, он ходил на свидание,— хохотали они.

— Нет, он ждал своего старого приятеля, сэра Джерусалема Доука! — перебил другой.

Бэббит не вытерпел:

— Да говорите же наконец, в чем дело, лоботрясы! С чего вас так разобрало?

— Уррра!! Джордж обиделся! — захихикал Сидни Финкельштейн, и все стали скалить зубы. Наконец Гэнч выложил всю правду: он видел, как Бэббит выходил из кино среди бела дня!

Шуткам не было конца. Сотни шуток, сотни смешков по поводу того, что он в рабочие часы ушел в кино. Бэббита не так раздражал Гэнч, как Сидни Финкельштейн, вертлявый, худой и рыжий, комментировавший каждую шутку. Раздражал его и большой кусок льда, плававший в стакане,— как только он хотел выпить воды, лед ему мешал, обжигал нос. В бешенстве он подумал, что Сидни похож на этот кусок льда. Но он вышел победителем: он выдержал все шутки, пока собеседникам не надоело и они не стали обсуждать более насущные вопросы.

«Что это со мной сегодня? — подумал Бэббит.— Настроение из рук вон. Но зачем они столько болтают? Однако надо быть поосторожней, держать язык за зубами».

Когда все закурили сигары, Бэббит заторопился: «Мне пора!» — и удрал под их крики: «Конечно, раз тебе непременно надо флиртовать с кассиршей кино...»

Он слышал, как они гогочут за его спиной. Ему было неловко. И, торжественнейшим образом подтверждая заявление гардеробщика, что погода нынче теплая, он понимал, что больше всего ему хочется по-ребячески поведать свои горести юной волшебнице и найти в ней утешение.

III

Он задержал мисс Мак-Гаун после диктовки писем. Он поискал тему для разговора, который согрел бы их отношения, превратил бы ее служебное безразличие в дружбу.

— Куда вы думаете поехать в отпуск? — проворковал он.

— Должно быть, к знакомым на ферму. Контракт Сиддонса вам сегодня перепечатать?

— Нет, это не к спеху... Наверно, вы отлично проводите время, когда удираете от нас, чудаков?

Она встала, собрала карандаши:

— По-моему, тут чудаков нет, перепишу, пожалуй, когда кончу письма.

И ушла. Бэббит решительно отрекся перед самим собой от мысли, что он пытался найти подход к мисс Мак-Гаун.

— Глупости! Я отлично знал, что тут ничего не выйдет! — проворчал он.

IV

Эдди Свенсон, агент автомобильной фирмы, живший напротив Бэббита, устраивал воскресный ужин. Его жена Луэтта, молоденькая Луэтта, которая обожала джаз, яркие платья и развлечения, разошлась вовсю. «У нас будет так весело!» — кричала она каждому гостю. Бэббиту всегда неприятно было думать, что многим мужчинам она кажется весьма соблазнительной, но тут он признался себе, что она неотразимо соблазнительна и для него. Миссис Бэббит никогда не одобряла Луэтту, и Бэббит радовался, что в этот вечер жены здесь нет.

Он настойчиво пытался помочь Луэтте на кухне, вынимал из духовки куриные котлеты, доставал сандвичи и салат из холодильника. Мимоходом он пожал ей руку, но она, к сожалению, этого не заметила. «А вы настоящая маленькая хозяюшка, Джорджи! Бегите в столовую, поставьте поднос на буфет».

Бэббиту хотелось, чтобы Эдди Свенсон угостил их коктейлями, чтобы и Луэтта выпила. Ему хотелось... да, ему хотелось напустить на себя этакую богемность, как пишут в книжках. Вечеринки в студиях. Красивые женщины, независимые, без предрассудков. Не обязательно распутные. Нет, ни в коем случае! Но хотя бы не такие скучные, как на Цветущих Холмах. И как он их терпел столько лет...

Но Эдди не угостил их коктейлями. Правда, за ужином было весело, и Орвиль Джонс не раз острил: «Как только Луэтта захочет сесть ко мне на колени, мигом отложу этот вкусный сандвич!» Но в общем все держались чинно, как полагается в воскресный вечер. Бэббит незаметно захватил место на диване рядом с Луэттой. И, болтая об автомобилях, слушая с застывшей улыбкой, как Луэтта рассказывает содержание фильма, который она видела в прошлую среду, и надеясь, что она когда-нибудь кончит расписывать сюжет, красоту героя и роскошь обстановки, Бэббит незаметно изучал Луэтту. Тонкая талия, перехваченная суровым шелковым поясом, густые брови, страстные глаза, тонкий пробор над широким лбом — в ней воплотилась для него вся молодость, вся прелесть, от которой становилось грустно. Он подумал, какой незаменимой спутницей она была бы в далеком путешествии на машине, в горах, на привале в сосновом лесу, над глубоким ущельем. Его трогала ее хрупкость, он сердился, что Эдди вечно с ней ссорится. Луэтта сразу стала для него юной волшебницей его снов. Он вдруг с удивлением открыл, что они оба всегда чувствовали романтическое влечение друг к другу.

— Наверно, вы ведете ужасную жизнь, когда жены нет! — сказала она.

— Еще бы! Я — скверный мальчишка, и тем горжусь. Вы как-нибудь вечерком подсыпьте своему Эдди снотворного в кофе и перебегите улицу: уж я вам покажу, как сбивать коктейли! — захохотал Бэббит.

— А может быть, и прибегу! Ничего нельзя сказать заранее!

— Отлично, как только надумаете, вывесьте в окне чердака полотенце, и я помчусь за джином!

Все смеялись этим шалостям. Эдди Свенсон с довольным видом сказал, что заставит врача ежедневно делать анализы своего кофе. Остальные увлеклись разговором о наиболее сенсационных убийствах, случившихся в последнее время, но Бэббит вовлек Луэтту в интимную беседу.

— Никогда в жизни не видел такого прелестного платья!

— Вам действительно нравится?

— Нравится? Да я заставлю Кеннета Эскотта написать в газетах, что лучше всех в Америке одевается миссис Луэтта Свенсон!

— Зачем вы меня дразните! — Но она вся сияла.— Давайте потанцуем. Нет, Джорджи, вы непременно должны со мной потанцевать!

Он запротестовал:

— О, вы знаете, как я плохо танцую! — но сам уже неуклюже подымался с места.

— Я вас научу. Я кого хотите могу научить!

Глаза ее увлажнились, голос возбужденно звенел. Он был убежден, что покорил Луэтту. Крепко обняв ее, чувствуя ее нежную теплоту, он важно пошел кругами в тяжелом уанстепе. Всего раз или два он натолкнулся на других танцующих. «Ей-богу, не так уж плохо у меня выходит, смотрите, веду вас как настоящий танцор!» — ликовал он, а она деловито отвечала: «Да, да,— я вам говорю — я кого хотите могу научить, только не делайте таких больших шагов!»

На миг он потерял уверенность, даже испугался и напряженно попробовал двигаться в такт музыке. Но его снова захватило очарование Луэтты. «Она должна меня полюбить, я ее заставлю!» — мысленно клялся он. Он даже попытался поцеловать локон над ушком. Она машинально отвела головку и так же машинально шепнула: «Не надо!»

На миг она стала ему неприятна, но тут же в нем вспыхнула прежняя страсть. Танцуя с миссис Орвиль Джонс, он следил, как Луэтта летает по всей комнате в объятиях мужа. «Берегись!

Не валяй дурака!» — предостерег он сам себя, подпрыгивая и сгибая толстые коленки в паре с миссис Джонс и бормоча этой достойной даме: «Фу, как жарко!» Неизвестно почему он подумал, что Поль сейчас в таком мрачном месте, где никто не танцует. «Я совсем спятил сегодня, надо бы уйти домой»,— подумал он с беспокойством, но, оставив миссис Джонс, поторопился к прелестной Луэтте и потребовал:

— Следующий — со мной!

— О, мне так жарко! Я пропущу этот танец.

— Тогда...— Он осмелел.— Тогда выйдем на веранду, посидим, отдохнем в прохладе.

— Пожалуй...

В ласковой темноте, под грохот и смех, доносившийся из комнат, он решительно взял ее руку. В ответ она сжала его пальцы и сразу же отпустила.

— Луэтта! Вы лучше всех на свете!

— Вы тоже хороший!

— Правда? Вы должны меня полюбить! Я так одинок!

— Ну, ничего, это пройдет, когда ваша жена вернется!

— Нет, я всегда так одинок!

Она подняла руку к подбородку, и он не решался до нее дотронуться. Он вздохнул:

— Знаете, когда мне очень скверно и я...— Он чуть было не рассказал о Поле, о его трагедии, но даже ради любовных ухищрений нельзя было касаться таких священных чувств.— И когда я устаю от работы, от всего на свете, я люблю смотреть в окно, через улицу, и думать о вас. Знаете, однажды я видел вас во сне!

— Хороший был сон?

— Очаровательный!

— А говорят, сны никогда не сбываются! Ну, мне надо идти! — Она встала.

— Не уходите, прошу вас! Луэтта!

— Нет, нельзя! Надо занимать гостей!

— А, пусть они сами себя занимают!

— Ну, как же можно! — Она беззаботно потрепала его по плечу и ускользнула.

Минуты две он испытывал стыд и ребячливое желание удрать домой, но потом сказал себе: «Да я и не старался! Знал заранее, что ничего у меня не выйдет!» — и тут же побрел в зал и пригласил на танец миссис Орвиль Джонс, стараясь с подчеркнутой добродетельностью не смотреть на Луэтту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Свидание с Полем в тюрьме казалось таким же нереальным, как та ночь, в тумане и путанице нерешенных вопросов. Ничего не видя, Бэббит прошел по тюремным коридорам, где воняло карболкой, в помещение, уставленное светло-желтыми деревянными скамьями, с дырочками в виде розеток, совсем как скамейки в сапожных лавках, где Бэббит бывал в детстве. Тюремщик ввел Поля — грязно-серая одежда, бледное, застывшее лицо. Он робко повиновался приказам тюремщика, покорно подал ему для осмотра табак и журналы, которые принес Бэббит. Он ни о чем не рассказывал, только проговорил: «Ничего, привыкаю!» — и еще: «Работаю в портняжной мастерской. Пальцы болят».

Бэббит понял, что в этом мертвом доме и Поль омертвел. В поезде, по дороге домой, он подумал, что и в нем самом что-то умерло: умерла честная, непоколебимая вера в то, что мир хорош, умер страх перед общественным мнением, гордость своими успехами. Он был рад, что жена уехала. Он признался в этом себе, не оправдываясь. Ему было все равно.

II

На ее визитной карточке стояло: «Миссис Дэниэл Джудик». Бэббит слышал о ней: вдова крупного торговца бумагой. Вероятно, ей было лет сорок с лишним, но в тот день она показалась Бэббиту много моложе. Пришла она узнать насчет квартиры, и, отстранив неопытную секретаршу, он сам занялся ею. Его тревожило и привлекало ее изящество, стройная фигура, черное полотняное платье в белую крапинку — такое легкое, элегантное. Широкая черная шляпа затеняла ее лицо. У нее были блестящие глаза, нежный округлый подбородок, гладкие розовые щеки. Бэббит гадал, накрашена она или нет, но в женских уловках он разбирался хуже любого мужчины.

Она села, вертя в руках лиловый зонтик. Голос у нее был мягкий, но без всякого кокетства.

— Не знаю, сможете ли вы мне помочь.

— С наслаждением!

— Я везде искала, но... Знаете, мне нужна небольшая квартира, одна — или, может быть, две спальни, гостиная, кухонька и ванная, но главное, хочется найти что-нибудь приятное, не в этих унылых старых домах, но и не в самых новых, там обычно такие

ужасные, крикливые канделябры. И платить слишком дорого я тоже не в состоянии. Меня зовут Танис Джудик.

— Кажется, у меня есть одна подходящая квартирка. Хотите проехаться, посмотреть?

— Хорошо, у меня есть часа два свободных.

В новом доме на Кэвендиш-стрит у Бэббита была квартира, которую он придерживал для Сидни Финкельштейна, но при мысли, что можно проехаться с этой приятнейшей дамой, он изменил своему другу Финкельштейну и галантно сказал:

— Посмотрим, чем я могу быть вам полезен!

Он вытер для нее сиденье в машине и дважды рисковал жизнью, хвастая своими шоферскими талантами.

— А вы отлично правите! — сказала она.

Ему нравился ее голос. «Такой музыкальный,— подумал он,— чувствуется культура, не то что у Луэтты Свенсон,— сплошной визг и хохот».

Он гордо сказал:

— Знаете, многие боятся и ведут машину так медленно, что только всем мешают. Самый надежный водитель тот, кто умеет владеть машиной и вместе с тем, когда надо, не боится скорости. Вы со мной согласны?

— О да!

— Ручаюсь, что вы правите как бог!

— О нет, по правде говоря — не очень хорошо... Конечно, у нас была своя машина,— я хочу сказать, при покойном муже, и я иногда делала вид, будто правлю, но я не верю, что женщина может научиться водить машину не хуже мужчины!

— Как сказать, некоторые женщины отлично правят!

— Да, конечно, те, кто подражает мужчинам, играет в гольф и вообще портит себе цвет лица, не бережет руки...

— Это верно. Я сам никогда не любил мужеподобных женщин.

— Нет, я хочу сказать — я их, конечно, очень уважаю, по сравнению с ними чувствуешь себя такой беспомощной, ненужной.

— О, какая чепуха! Ручаюсь, что вы играете на рояле как бог!

— О нет, по правде сказать,— не очень хорошо...

— А я уверен, что играете!

Он взглянул на ее гладкие руки, на кольца с бриллиантом и рубином. Она перехватила его взгляд, мягким кошачьим движением сплела тонкие белые пальцы, что окончательно привело его в восхищение,— и грустно протянула:

— О, я люблю играть, вернее, люблю побренчать на рояле, но я никогда не училась по-настоящему. Мистер Джудик всегда го-

ворил, что из меня вышла бы прекрасная пианистка, если я бы только училась, но, по-моему, он мне просто льстил!

— А по-моему — нет! Я уверен, что у вас есть темперамент.

— О-оо... А вы любите музыку, мистер Бэббит?

— Еще бы! Только, пожалуй, я не очень люблю всякую эту классику!

— Что вы! Я обожаю Шопена!

— Неужели? Ну конечно, я тоже хожу на всякие серьезные концерты, но больше всего я люблю хороший джаз, знаете, когда они разойдутся и контрабасист как завертит свою бандуру, как заколотит по ней смычком!

— Ах да! Я тоже люблю танцевальную музыку. Люблю танцевать, а вы, мистер Бэббит?

— Еще бы! Но, по правде говоря, танцую я не очень хорошо.

— О, я уверена, что вы научитесь. Хотите, я поучу вас? Я кого хотите могу научить.

— И вы согласитесь дать мне когда-нибудь урок?

— Ну конечно!

— Берегитесь, не то поймаю вас на слове! Вот погодите, приду к вам на новую квартиру и заставлю меня учить!

— Ну что ж...— Она не обиделась, но и не проявила особой радости. Он мысленно предостерег себя: «Опомнись, балда! Не сваляй опять дурака!» — и снисходительно стал объяснять своей спутнице:

— Конечно, мне хотелось бы танцевать, как танцует молодежь, но я вам скажу вот что: я считаю, что каждый человек должен принимать полное, я бы сказал, творческое участие в созидании жизни, изменять мир, да и чего-то достигнуть для себя лично. Вы со мной согласны?

— О, безусловно!

— Потому-то мне и приходится жертвовать многим, чем я с удовольствием занялся бы, хотя должен сказать, что в гольф я играю ничуть не хуже других.

— О, я так и думала!.. Вы женаты?

— М-мм... да... и мм-ммм... у меня много общественных обязанностей. Я вице-председатель клуба Толкачей и ведаю одной из комиссий Всеобщего объединения посредников по реализации недвижимости, а это влечет за собой большую работу и ответственность — хотя фактически дело это весьма неблагодарное!

— О, я знаю! Общественные деятели никогда не получают должного признания!

Они посмотрели друг на друга с величайшим уважением, а на Кэвендиш-стрит он рыцарски помог ей выйти, широким жестом обвел дом, словно преподнося ей подарок, и внушительно прика-

зал лифтеру поторопиться с ключами. В лифте они стояли совсем близко друг к другу, и он был взволнован, но сдержан.

Квартира оказалась прелестной, с белыми дверными и оконными наличниками и серо-голубыми стенами. Миссис Джудик в полном восхищении согласилась взять ее, и, когда они возвращались к лифту, она тронула Бэббита за рукав и проворковала:

— Ах, я так счастлива, что обратилась к вам! Так приятно встретить человека с настоящим Пониманием. О, вы не представляете себе, какие квартиры мне показывали *некоторые* люди!

Он инстинктивно, но отчетливо ощутил, что мог бы обнять ее за талию, но воздержался, с преувеличенной вежливостью подсадил ее в машину и отвез домой. Возвращаясь в контору, он всю дорогу ругательски ругал себя:

— Слава богу, очухался... А, черт, и почему я не попытался... Чудо, а не женщина! Очарование! Настоящая фея! Чудные глаза, губы — просто прелесть, и эта тонкая талия — никогда не расплывется, как у других женщин!.. Нет, нет, нет! Она — настоящая культурная леди! И умница какая, удивительно, я таких никогда не видел. Все понимает — и общественные вопросы, и все... Эх, черт бы меня подрал, ну почему было не попытаться... О, Танис!!!

III

Он был расстроен, он недоумевал, но ему стало ясно, что его влечет молодость, именно молодость как таковая. И особенно смущала его одна девушка — хотя с ней он не сказал ни слова. Она работала маникюршей за крайним столиком справа в парикмахерской «Помпея». Девушка была маленькая, черненькая, быстрая и веселая. Ей было лет девятнадцать, от силы двадцать. Она всегда носила прозрачные розовые блузки, сквозь которые просвечивали ее плечи и черные ленточки рубашки.

В обычный день он отправился стричься в парикмахерскую «Помпея». Как всегда, он чувствовал себя предателем по отношению к соседней с ним парикмахерской в Ривс-Билдинг. Но впервые он тут же отбросил всякие угрызения совести: «К черту, не стану ходить туда, раз мне неохота! Кто они мне, эти парикмахеры? Буду стричься, черт возьми, там, где мне, черт подери, захочется! И не желаю больше об этом думать! Хватит покровительствовать кому попало против собственного желания! Ничего это не дает! Кончено!»

Парикмахерская «Помпея» помещалась в нижнем этаже отеля «Торнлей», самого большого и самого вызывающе модного отеля

в Зените. Покатые мраморные ступени с изогнутыми медными перилами вели из холла отеля вниз в парикмахерскую. Она была отделана черными, белыми и красными плитками, с потрясающим вызолоченным потолком и фонтаном, куда дебелая нимфа без конца лила воду из малинового рога изобилия. Сорок парикмахеров и девять маникюрш работали без передышки, а у дверей шестеро цветных швейцаров встречали посетителей, почтительно отбирали у них шляпы и воротнички и провожали в зал ожидания, где на ковре, расстилавшемся, как тропический остров, среди белизны пола, стоял десяток кожаных кресел и стол, заваленный журналами.

Швейцар, встретивший Бэббита, услужливый седовласый негр, оказал ему честь, высоко ценившуюся в городе Зените: он приветствовал его по имени. Но Бэббит сразу огорчился: его хорошенькая маникюрша была занята. Она делала ногти какому-то расфуфыренному франту, пересмеиваясь с ним. Бэббит возненавидел этого человека. Он подумал — не переждать ли, но немыслимо было остановить мощную машину парикмахерской, и Бэббит был тут же посажен в кресло.

Вокруг него все дышало роскошью, утонченностью, богатством. Один из посвященных подвергался облучению ультрафиолетовыми лучами, другому мыли голову шампунем. Подмастерья подкатывали чудодейственные электромашины для вибрационного массажа. Парикмахеры хватали горячие салфетки из какой-то никелированной гаубицы и, приложив их на секунду к щеке клиента, небрежно отшвыривали прочь. Напротив кресел на широкой мраморной полке стояли сотни лосьонов — янтарных, рубиновых, изумрудных. Бэббиту льстило, что ему лично прислуживают два раба — парикмахер и чистильщик ботинок. Он был бы совершенно счастлив, если бы при нем была еще и маникюрша. Парикмахер подстригал ему волосы и спрашивал его мнение о скачках в Гавр-де-Грасе, о бейсбольном сезоне и мэре Прауте. Мальчик-негр мурлыкал: «Прощайте, летние встречи!» — и в такт песенке полировал башмаки вытертой до блеска бархаткой, натягивая ее с такой силой, что она щелкала, как струна банджо. Парикмахер отлично знал, как угождать клиентам, Бэббит чувствовал себя богатым и знатным от одних только почтительных вопросов: «Какой лосьон вы предпочитаете, сэр? Есть ли у вас сегодня время, сэр, для массажа лица? У вас кожа на голове суховата, разрешите, я вам сделаю также массаж головы».

Больше всего Бэббит любил мыть голову. Парикмахер взбил у него на волосах пышную, как крем, пену и потом, когда Бэббит, укутанный полотенцами, нагнулся над чашкой, облил его горячей водой, щекотавшей кожу, и под конец окатил ледяной струей. От

неожиданного ощущения ледяного холода у Бэббита заколотилось сердце, дыхание перехватило, по спине пробежал электрический ток. Такие ощущения вносили разнообразие в жизнь. Бэббит поднял голову и величественно обвел взглядом парикмахерскую. Мастер с особым старанием вытер его мокрые волосы и обернул голову полотенцем в виде тюрбана, так что Бэббит сразу стал похож на пухлого калифа, сидящего на превосходно сконструированном передвижном троне. Тоном доброго малого, который, однако, потрясен величием калифа, парикмахер спросил:

— Разрешите протереть лосьном «Эльдорадо», сэр? Чрезвычайно полезно для кожи. Кажется, в прошлый раз я протирал вам волосы именно этим составом?

Хотя этого и не было, но Бэббит согласился:

— Что ж, давайте!

И тут у него екнуло сердце: его маникюрша освободилась. «Пожалуй, надо сделать маникюр!» — прогудел он и с волнением смотрел, как она подходила, черненькая, улыбающаяся, такая маленькая и нежная. Маникюр придется кончать за ее столиком, можно будет поговорить так, чтобы парикмахер не подслушивал. Он ждал, довольный, стараясь не смотреть на нее, пока она подпиливала ему ногти, а мастер брил его и потом натирал его горящие щеки теми диковинными смесями, которые парикмахеры начали изобретать еще с незапамятных времен. Когда парикмахер кончил свое дело и Бэббит пересел за столик девушки, он с восхищением осмотрел мраморную доску с вделанной в нее чашкой для воды и крохотными серебряными кранами и остался очень доволен, что ему доступна такая роскошь. Когда она вынула из чашки его мокрую руку, кожа на ладони стала настолько чувствительной от теплой мыльной воды, что он особенно остро почувствовал прикосновение крепких девичьих пальчиков. Его умиляли ее розовые блестящие ноготки. Вся рука показалась ему прелестней, даже изящней, чем тонкие пальцы миссис Джудик. С каким-то мучительным восторгом переносил он боль от острого ножичка, которым девушка отодвигала кожицу на ногтях. Он старался не смотреть на линию очень юной груди, на тонкие плечи, особенно выделявшиеся под прозрачным розовым шифоном. Вся она казалась ему очаровательной безделушкой, и, когда он заговорил, стараясь произвести на нее впечатление, голос его прозвучал робко, как у провинциального парня на первой вечеринке:

— Что, жарко сегодня работать, а?

— Да, страшно жарко. Вы в последний раз, видно, сами стригли себе ногти?

— М-да, кажется, сам.

— Надо всегда делать маникюр.

— Да, пожалуй, надо... Я...

— Нет ничего приятнее хорошо отделанных ногтей. Я считаю, что по ногтям сразу можно узнать настоящего джентльмена. Вчера тут у нас был один агент по автомашинам, так он говорит, что сразу можно оценить человека по его машине, а я ему прямо сказала: «Глупости, умному человеку стоит только глянуть на ногти, он сразу скажет, джентльмен перед ним или деревенщина».

— Да, пожалуй, это верно. А особенно... я хочу сказать, у такой хорошенькой девчушки всякому захочется почистить когти.

— Что ж, может, я еще молодая, но я стреляный воробей, порядочного человека отличу с первого взгляда — я всех насквозь вижу! Никогда бы не стала так откровенно говорить с человеком, если бы не видела, что он — славный малый.

Она улыбнулась. Ее глаза казались Бэббиту ласковыми, как апрельская капель. Он внушительно и серьезно сказал себе: есть, конечно, грубияны, которые могут подумать, что если девушка служит маникюршей и мало чему училась, так она уже бог знает кто, но он, Бэббит, демократ, он в людях разбирается! Он старался уверить себя, что она славная девушка, хорошая девушка — хорошая, но, слава богу, не ханжа. Он спросил с глубочайшим сочувствием:

— Наверно, вам попадаются страшные нахалы?

— Ох, да еще какие! Слушайте, ей-богу, есть такие франты, которые считают,— раз девушка работает в парикмахерской, значит, им все с рук сойдет. И чего они только не наговорят, кошмар! Но можете мне поверить, я-то знаю, чем отвадить этих котов! Как гляну на него, как спрошу: «Вы что ж, не знаете, с кем разговариваете?» — и он тут же смывается, исчезает, как сон любви молодой. Не хотите ли баночку пасты для ногтей? Придает блеск, безвредна в употреблении, сохраняется очень долго!

— Конечно, отчего не попробовать. Скажите... скажите, я тут бываю с самого открытия и до сих пор...— С деланным удивлением: — До сих пор не знаю, как вас зовут!

— Правда? Вот потеха! А я тоже не знаю, как вас звать!

— Нет, кроме шуток! Как ваше прелестное имя?

— О, не такое уж оно прелестное! Что-то в нем есть жидовское. Но мы-то не жиды. Папаша моего папы был каким-то знатным типом в Польше, а здесь ко мне как-то заходил один джентльмен, он что-то вроде графа...

— Вроде графина, наверно!

— Кто рассказывает — вы или я? Какой умный! Так вот этот клиент сказал, что он знал папиных родичей там, в Польше, и у

них был роскошный большой дом. Прямо на берегу озера.— С сомнением: — Может, вы мне не верите?

— Нет. То есть да, конечно, конечно, верю! Что ж тут такого? Я вам вот что скажу, крошка, и не думайте, будто я вас разыгрываю, но, честное слово, каждый раз, как я вас видел, я говорил себе: «В этой девочке течет голубая кровь!»

— Ей-богу, не врете?

— Конечно, не вру! Ну, говорите же — мы ведь с вами друзья,— как ваше прелестное имечко?

— Ида Путяк. Не особенно красиво, верно? Я всегда говорю матери: «Мама, почему вы не назвали меня Долорес или еще как-нибудь пошикарней?»

— А по-моему, расчудесное имя — Ида!

— А я угадала, как вас зовут!

— А может, и не угадали! Конечно, нет! Не такой уж я известный человек...

— Ведь вы — мистер Зондгейм, коммивояжер фирмы «Дивная посуда» — угадала?

— Ну нет! Я — мистер Бэббит, посредник по недвижимому имуществу!

— О, простите, пожалуйста! Да, конечно! И вы живете в Зените?

— Да-с! — коротко отрезал он, как человек, оскорбленный в лучших своих чувствах.

— Ах, да, да! Я читала ваши объявления. Очень красивые!

— М-мм... Н-да... А может быть, вы читали и о моих выступлениях?

— Ну конечно, конечно! Правда, читать мне особенно некогда, но... наверно, вы меня считаете за дурочку!

— Нет, вы — душечка!

— Что вы! Знаете, в нашей работе есть одна хорошая сторона. Встречаешься с ужасно интересными людьми, с настоящими джентльменами, и от разговоров становишься такой развитой, потом прямо с первого взгляда определяешь человека!

— Послушайте, Ида, прошу вас, не считайте меня нахалом...— Ему стало жарко при мысли, как унизительно получить от этой девочки отказ, и как опасно, если она согласится. Он отведет ее пообедать, но что, если его друзья увидят их, осудят... Но он уже не мог удержаться: — Не сочтите меня нахалом, но как было бы чудно, если б мы с вами как-нибудь вечерком вместе пообедали...

— Право, не знаю, можно ли... Один джентльмен меня тоже всегда приглашает. Но как раз сегодня я свободна.

IV

А почему, собственно говоря, уверял он себя, почему бы и не пообедать с бедной девушкой, для которой истинное благо — общаться с таким зрелым и образованным человеком, как он. Но чтобы не попасться на глаза тем, кто этого не поймет, он решил свезти ее в ресторан Биддлмейера, на окраине города. В такой тихий жаркий вечер приятно прокатиться, может быть, он пожмет ей ручку — нет, он даже этого не станет делать! Правда, девушка, как видно, покладистая, стоит только взглянуть на ее голые плечики, но пусть его повесят, если он начнет приставать к ней только потому, что она этого ждет.

Но в этот день его машина вдруг испортилась: что-то случилось с зажиганием. А ему до зарезу нужна была машина к вечеру! Со злостью он проверил свечи, долго осматривал распределительный щит. Однако даже от самых свирепых его взглядов упрямая машина не тронулась с места, и ее пришлось со стыдом волочить в гараж. Бэббит снова ожил при мысли о такси. В такси было что-то шикарное и вместе с тем заманчиво грешное.

Но когда они встретились на углу, в двух кварталах от отеля «Торнлей», девушка сказала:

— Ах, такси?.. А я думала, у вас своя машина!

— Ну конечно! Конечно, у меня своя машина. Но сегодня она в ремонте.

— Ага...— протянула она таким тоном, будто не в первый раз слышала эти сказки.

Всю дорогу до ресторана Биддлмейера он пытался завести дружеский разговор, но все попытки как об стену разбивались об ее болтовню. С бесконечным возмущением она рассказывала во всех подробностях, как она осадила этого наглеца, старшего мастера, и как она с ним расправится, если он еще раз осмелится сказать, что она «лучше умеет трепать языком, чем чистить людям копыта».

В ресторане Биддлмейера нельзя было достать ничего спиртного. Метрдотель не желал понять, кто такой Джордж Ф. Бэббит. Они сидели, обливаясь потом, перед огромным блюдом жаркого и разговаривали о бейсболе. Когда он попытался взять Иду за руку, она весело и дружелюбно сказала: «Осторожней! Этот официант подсматривает!» Но когда они вышли, их встретила лукавая летняя ночь, недвижный воздух и молодой месяц, плывущий над неузнаваемо преображенными кленами.

— Поедем куда-нибудь, где можно выпить и потанцевать,— настаивал он.

— С удовольствием, только не сегодня! Обещала маме вернуться пораньше!

— Глупости! Кто же в такую чудную ночь сидит дома!

— Мне и самой хочется, но мама меня заругает!

Его пробирала дрожь. В ней воплотилась для него вся молодость, вся прелесть... Он обнял ее за талию. Она бесстрашно прижалась к его плечу, и он торжествовал. Но она тут же сбежала по ступенькам ресторана, щебеча:

— Поедем, Джорджи, прокатимся, может быть, станет не так жарко.

То была настоящая ночь для влюбленных. У обочин, по всему шоссе до самого Зенита, под ласковым невысоким месяцем, стояли машины, и в каждой смутно виднелись мечтательные пары. Бэббит жадно протянул руки к Иде и, когда она погладила их, замер от благодарности. Никаких подходов, никакой борьбы,— он поцеловал ее, и она ответила непринужденно и просто за неподвижной спиной шофера.

У нее упала шляпка. Ида высвободилась из объятий Бэббита, чтобы поднять ее.

— Не надо, брось! — умолял он.

— Что? Бросить шляпу? Дудки!

Он ждал, пока она приколет шляпку, потом его рука снова прокралась к ней. Она отстранилась и сказала наставительно-материнским голоском:

— Не шали, мой дружок! Не огорчай мамочку. Сядь как следует, будь умницей, смотри, какая хорошая ночь! Если будешь пай-мальчиком, я тебя, может быть, поцелую на прощание! А теперь дай-ка мне сигаретку!

Он заботливо зажег сигарету, спросил, удобно ли ей сидеть. Потом отодвинулся от нее как можно дальше. Он весь похолодел от такой неудачи. Никто не мог точнее, яснее и неоспоримее, чем сам Бэббит, сознавать, какой он дурак. Он подумал, что с точки зрения почтенного доктора Джона Дженнисона Дрю он нехороший человек, а с точки зрения мисс Иды Путяк — старый зануда, которого приходится терпеть ради того, чтобы хорошо пообедать.

— Миленький, да ты, никак, вздумал дуться?

Голосок у нее был нахальный. Больше всего ему хотелось выпороть ее. Он мрачно подумал: «Еще смеет так со мной разговаривать, оборвыш несчастный! Эмигрантское отродье! Нет, надо поскорей от нее отвязаться, вернуться домой, а там можно поносить себя за глупость сколько душе угодно!»

Он фыркнул вслух:

— Я? Дуться? Глупышка, чего мне на тебя дуться? Но вот что я тебе скажу, Ида, послушай дядю Джорджа внимательно. Я хочу сказать, что нехорошо все время ссориться со старшим ма-

SALU

«Бэббит»

стером. У меня огромный опыт в обращении с подчиненными, и я тебе скажу — нельзя восстанавливать против себя старших.

Около убогого деревянного домишка, где она жила, он торопливо и вежливо распрощался с ней, но, отъезжая, мысленно взмолился: «О господи боже мой!..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

I

Он проснулся, блаженно потягиваясь и слушая, как чирикают воробьи, и тут же вспомнил, что все плохо, что он решил было сойти с пути истинного, но это занятие ничуть его не прельщает. А зачем, подумал он, надо бунтовать? И против чего? Почему не взяться за ум, не прекратить эту идиотскую беготню, жить спокойно для своей семьи, для дела, для друзей по клубу? Что для него этот бунт? Одни терзания и стыд — стыд оттого, что всякая нищенка, вроде Иды Путяк, обращается с ним, как с нашкодившим мальчишкой! И все же... Вечно он возвращался к этому «и все же»! Несмотря на терзания, он уже не мог примириться с миром, в котором усомнился, с миром, который казался ему нелепым.

И только в одном он поклялся себе: «Кончена эта беготня за юбками!»

Правда, к середине дня он уже и в этом не совсем был уверен. Если ни в мисс Мак-Гаун, ни в Луэтте Свенсон, ни в Иде Путяк он не нашел той единственной — прекрасной и нежной, это еще не значит, что ее нет на свете. Его преследовало старое наваждение, что где-то существует вполне реальная *«она»*, которая поймет его, оценит и осчастливит.

II

Миссис Бэббит вернулась в августе.

Раньше, когда она уезжала, он скучал без ее успокоительного голоса и устраивал праздник по случаю ее приезда. А теперь, хотя он и не решался огорчить ее даже отдаленным намеком в письмах, он жалел, что она возвращается, прежде чем он пришел в себя, и его смущало, что надо ехать встречать ее на вокзал, делая веселое лицо.

Не спеша он приехал на вокзал и начал пристально изучать объявления разных курортов, лишь бы не разговаривать со знако-

мыми и не выдать свое беспокойство. Но он был человек привычный. Когда поезд с грохотом подкатил к перрону, он был уже там, заглядывал во все окна и, увидев жену среди пассажиров, двигавшихся к выходу, замахал шляпой. Подойдя к ней, он поцеловал ее и воскликнул:

— Ну, здравствуй, здравствуй! А ты чудесно выглядишь, ей-богу, чудесно!

Тут же стояла Тинка. Вот это настоящее — эта смешная курносая девчонка с веселыми глазами, она любит его, она в него верит,— и он обнял Тинку, подхватил на руки и так стиснул, что она запищала. В эту минуту он стал опять таким, как прежде,— уравновешенным, спокойным.

Тинка уселась рядом с ним в машину, держась одной рукой за руль и делая вид, что помогает править, а он громко кричал жене:

— Честное слово, девочка будет водить машину лучше нас всех! Держит руль, как заправский шофер!

И все время он боялся той минуты, когда останется с женой наедине и она терпеливо будет ждать проявлений страсти.

III

В семье было молчаливо принято решение, что отпуск он должен провести один, съездить на недельку-другую в Катобу, но его мучили воспоминания о том, как год назад он был с Полем в Мэне. Он представлял себе, как он возвращается туда и там обретает мир в воспоминаниях о Поле, в жизни простой и мужественной. Словно молнией пронзила его мысль, что теперь он и вправду может поехать один. И все-таки как ему поехать? Как оставить контору,— да и Майре покажется странным, чего это он вдруг поехал туда один. Конечно, он давно решил делать все, что ему вздумается,— какого черта, в самом деле... Но как это вдруг уехать в Мэн!

После долгих раздумий он все же уехал.

Так как невозможно было объяснить жене, что он едет в лесную глушь искать призрак Поля, он пустил в ход ложь, подготовленную еще в прошлом году и до сих пор практически не использованную. Он сказал, что ему надо повидать по делу одного человека в Нью-Йорке. Но даже самому себе он не сумел бы объяснить, почему он взял из банка на несколько сот долларов больше, чем могло понадобиться, и почему так нежно поцеловал на прощание Тинку, приговаривая: «Господь с тобой, крошка!» Он махал ей из окна поезда, пока она не стала казаться маленьким алым

пятнышком рядом с большим коричневым пятном, в которое превратилась миссис Бэббит, стоявшая в конце длинного бетонного перрона с широкими решетчатыми воротами. С грустью он смотрел на убегающие предместья Зенита.

Всю дорогу на север ему мерещились мэнские проводники: простые, сильные и смелые, веселые за игрой в покер, в хижинах под бревенчатым потолком, опытные охотники на лесных дорогах и переправах через стремнины. Особенно вспоминался ему Джо Пэрадайз — полуянки-полуиндеец. Если б только можно было купить дальнюю делянку в лесу и вместе с таким человеком, как Джо, заняться тяжелой физической работой, жить на приволье, носить фланелевые рубашки и никогда не возвращаться к скучным приличиям и условностям!

А не то стать траппером, каких показывают в канадских фильмах, врубаться в чащу, ночевать в Скалистых горах, превратиться в молчаливого, сурового пещерного человека! Почему бы и нет? Он *может* так жить! У семьи хватит денег, а потом Верона выйдет замуж, Тед станет самостоятельным. Старый Генри Т. о них позаботится. Честное слово! Почему бы и не жить так? *Жить по-настоящему!..*

Ему очень хотелось этого, он признался себе, что ему только этого и хочется, и вдруг сам почти поверил, что непременно так и сделает. И когда здравый смысл ворчал: «Чепуха! Порядочные люди не убегают от семьи, от компаньонов, это не полагается — и все!» — Бэббит с мольбой ответил себе: «Неужто это труднее, чем Полю пойти в тюрьму,— о господи, какая бы это была жизнь! Мокасины — шестизарядка — пограничный городок — азартная игра — ночевки под звездами — стать настоящим мужчиной с настоящими людьми, вроде Джо Пэрадайза — о черт!»

И снова он очутился в Мэне, снова стоял на той же пристани у лесной гостиницы, снова храбро сплевывал в подернутую тонкой рябью воду, и над ним шумели сосны, сияли вершины гор, и форель выскакивала из воды и падала, оставляя расходящиеся круги. Он поспешил в хижину проводников, как в родной дом, к родным людям, по которым давно стосковался. Они так ему обрадуются! Вскочат, крикнут: «Ого! Мистер Бэббит приехал! Он не из этих городских франтов! Настоящий парень!»

В дощатой, тесно заставленной хижине, у засаленного стола, играли засаленными картами проводники: их было человек шесть, все немолодые, в старых штанах и просторных старых шляпах. Они мельком взглянули на Бэббита, кивнули ему. Джо Пэрадайз, загорелый старик с огромными усами, проворчал: «Здорово! Приехали?»

Наступило молчание, прерываемое только стуком фишек.

Бэббит сиротливо стоял около них. Понаблюдав их сосредоточенную игру, он робко спросил:

— Можно и мне, Джо?

— Чего ж. Садитесь. Сколько вам фишек? Вы, что ли, в прошлом году приезжали сюда с женой? — пробурчал Джо.

Вот как было встречено возвращение Бэббита в родной дом!

Целых полчаса он играл молча. Голова у него трещала от дыма трубок и дешевых сигар, и ему надоели флеши и пары, надоело, что никто не обращает на него внимания. Он заговорил с Джо:

— Заняты?

— Нет.

— Хотите ко мне в проводники?

— Ну что ж. Я до следующей недели свободен.

Особой радости по поводу предложенной ему дружбы Джо не проявил. Бэббит уплатил свой проигрыш и вышел из хижины в какой-то ребяческой обиде. Джо высунул голову из клубов дыма, как тюлень из прибрежной пены, проворчал: «Завтра зайду!» — и снова углубился в созерцание своих трех тузов.

Ни в безмолвии охотничьего домика, пахнущего свежеоструганной сосной, ни на озере, ни в красоте закатных облаков, выплывших из-за фиолетовой дымки гор, Бэббит не мог ощутить рядом с собой Поля, почувствовать его успокоительное присутствие. Он был так одинок, что после ужина разговорился у камина в холле гостиницы с древней старушкой, очень восторженной и очень болтливой. Он рассказывал ей о будущих успехах Теда в университете и о том, как умно разговаривает Тинка, пока от этих воспоминаний его не охватила тоска по дому, откуда он уехал навсегда.

Сквозь тьму, сквозь северную сосновую тишь он пробрался к озеру и нашел лодку. Весел не было, но он взял доску и, неловко примостившись на середине скамьи, не греб, а скорее тыкал в воду этой доской, пока не выбрался на простор озера. Освещенные окна гостиницы и охотничьих хижин стали желтыми точками, роем светляков у подножья горы Сэчем. Сама гора казалась еще выше, еще невозмутимее в усеянной звездами темноте, озеро блестело, словно выложенное черным мрамором, и конца ему не было видно. Бэббит чувствовал себя ничтожным, безгласным, слегка запуганным, но это сознание собственного ничтожества заставило его забыть, что он — мистер Джордж Ф. Бэббит, важный гражданин города Зенита. На душе стало грустно и легко. Теперь ему казалось, что Поль с ним, он представлял себе, как его друг, свободный от тюрьмы, от Зиллы и от деловой спешки, играет на скрипке, сидя на корме. «Так и буду жить! — клялся Бэббит.— Ни

за что не вернусь! Поля нет, а больше я не хочу никого видеть, надоели! Дурак я, что обиделся на Джо за то, что он не вскочил, не бросился мне на шею. Он человек лесной, себе на уме, не станет он гоготать и трещать без умолку, как городские люди. Надо уйти с ним в горы, на лесные тропы! Вот где настоящая жизнь!»

IV

Джо явился в охотничью хижину к Бэббиту в девять часов утра. Бэббит встретил его, как пещерный житель — пещерного жителя.

— Ну как, Джо, хочется уйти в леса, подальше от этих дурацких сопляков-дачников, от всяких баб и прочей ерунды?

— Как угодно, мистер Бэббит.

— Что, если мы отправимся на озеро Бокс-Кар — говорят, там хижина пустует — и поживем в ней?

— Да как хотите, мистер Бэббит, до озера Скаутвит будет поближе, а рыбалка там тоже хороша.

— Нет, хочется в настоящую глушь.

— Как угодно.

— Навьючим на спину тюки, пойдем лесом, побродим как следует!

— А не проще ли водой, через озеро Чог? До самого места на моторке — там есть плоскодонка с новым мотором.

— Нет уж, слуга покорный! Нарушать тишину грохотом мотора? Ни за что на свете! Захватите пару носков и рюкзак да скажите в отеле, какой харч нам дать с собой. Я вас не задержу.

— Туристы как-то больше любят на моторке. Больно далеко идти.

— Слушайте, Джо, неужто вы не любите ходить?

— Не то что не люблю, могу и пойти. Только я так далеко уж лет шестнадцать не ходил. Туристы больше на лодке ездят. Но раз вам угодно,— что ж, могу и пойти.— Джо ушел в очень плохом настроении.

Бэббит позабыл эту жестокую обиду еще до того, как Джо вернулся за ним. Он представлял себе, как Джо разойдется и начнет рассказывать занятнейшие истории. Но Джо не разошелся даже в лесу. Он упорно тащился сзади Бэббита, и как Бэббиту ни резал плечи рюкзак, как ни пыхтел он на подъемах, он все время слышал, что его проводник пыхтит ничуть не меньше. Но дорога оказалась приятной: тропа, усыпанная коричневой хвоей, с торчащими везде корневищами, вилась между лиственниц, папоротников, неожиданных березовых рощиц. К Бэббиту вернулась

прежняя вера, он радовался, что пот льет с него градом. Остановившись передохнуть, он с довольным смешком сказал:

— Для таких старикашек мы неплохо справляемся, верно?

— Угу! — согласился Джо.

— А как тут красиво! Смотрите, вон, за деревьями, видно озеро. Клянусь честью, Джо, вы сами не цените, какой вы счастливый, что живете в лесу, а не в городе, где трамваи грохочут, машинки трещат и от людей житья нет! Вот если б я знал лес, как вы! Скажите, как называется этот алый цветочек?

Джо сердито посмотрел на цветок, потирая натруженную спину.

— А кто его знает! Одни так зовут, другие — иначе. А я называю его «красный цветок» — и все.

. К счастью, Бэббит совершенно потерял способность мыслить, когда ходьба превратилась в слепое спотыканье. Его одолевала усталость. Казалось, его толстые ножки идут сами по себе, помимо воли, и он машинально вытирал пот, застилавший глаза. От усталости он даже не обрадовался, когда, прошагав целую милю под палящим солнцем по гати через болото, где над низким кустарником жужжали тучи мух, они наконец добрались до прохладного берега озера Бокс-Кар. Когда Бэббит снял со спины рюкзак, он зашатался, теряя равновесие, и чуть не упал. Улегшись под широкогрудым кленом около охотничьей хижины, он блаженно почувствовал, как сон разливается по усталому телу.

Проснулся он в сумерках, когда Джо ловко стряпал к ужину яичницу с ветчиной и оладьи, и в нем снова воскресло восхищение этим сыном лесов. Он сел на пень, чувствуя себя настоящим мужчиной.

— Скажите, Джо, а что бы вы сделали, если бы у вас была куча денег? Что было бы лучше — остаться проводником или взять делянку в самой глухомани и жить вольной птицей?

Впервые Джо несколько оживился. Он пожевал табачную жвачку и проворчал:

— Я сам часто об этом думаю. Были бы у меня деньги, поехал бы в Тинкерс-Фоллз и открыл там хороший обувной магазин!

После ужина Джо предложил сыграть в покер, но Бэббит решительно отказался, и Джо с удовольствием лег спать в восемь часов. Бэббит сидел на пне, глядя на темное озеро и отгоняя комаров. Кроме храпящего проводника, на десять миль — ни живой души. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким сильным. И его мысли снова перенеслись в Зенит.

Снова он забеспокоился — не переплачивает ли мисс Мак-Гаун за коширку. Его снова обижали и радовали упорные насмеш-

ки за столом «дебоширов». Он подумал — а что сейчас делает Зилла Рислинг? Подумал и о том, будет ли Тед, после «взрослой» летней работы в гараже, заниматься как следует в университете? Он думал и о своей жене. «Если бы — если бы только она не была всегда так довольна, так удовлетворена этой налаженной жизнью... Нет! Не хочу! Не вернусь ни за что! Через три года мне будет пятьдесят. Через тринадцать лет — шестьдесят. Хочу пожить в свое удовольствие, пока не поздно! Плевать мне на все! Я так хочу!»

Он подумал об Иде Путяк, о Луэтте Свенсон, об этой симпатичной вдовушке — как ее фамилия? да, Танис Джудик,— для которой он нашел квартиру. Мысленно он вел с ними разговор. Потом спохватился:

— Что это, никак не могу забыть о людях!

И тут он понял, что бежать глупо, потому что от самого себя все равно не убежишь.

С этой минуты он уже стремился в Зенит. Со стороны его отъезд ничем не походил на бегство, но это было настоящее бегство: через четыре дня он уже сидел в зенитском поезде. Он знал, что едет обратно не потому, что ему хочется, а потому, что ничего другого не остается. Снова и снова он проверял свое последнее открытие: да, он не мог убежать из Зенита, убежать от своей семьи, своей работы, потому что в мозгу у него засели и семья, и работа, и каждая улица, каждая забота, каждая удача Зенита.

— И все-таки я... я что-нибудь сделаю! — клялся он, и ему хотелось, чтобы эта клятва звучала мужественно и смело.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

I

Он шел по вагонам, отыскивая знакомые лица, но встретил только одного знакомого, да и то это был всего лишь Сенека Доун, адвокат, который имел счастье окончить университет вместе с Бэббитом, потом стал юрисконсультом какой-то корпорации, а впоследствии совсем свихнулся, выставил свою кандидатуру по списку фермеров и рабочих и якшался с отъявленными социалистами. И хотя Бэббит объявил себя бунтарем, ему, естественно, не хотелось, чтобы его увидели вместе с таким фанатиком. Но во всех пульмановских вагонах не было ни одной знакомой души, и он нерешительно остановился. Сенека Доун, худощавый и лысоватый, очень походил на Чама Фринка, но на лице у него не было

постоянной ухмылки, как у Чама. Он читал книгу с заглавием «Путь всякой плоти». Бэббиту эта книга показалась религиозной. и он подумал, что, может быть, Доуна обратили на путь истинный и он стал порядочным человеком и патриотом.

— Привет, Доун! — окликнул он адвоката.

Доун поднял глаза. Голос у него был удивительно добрый.

— А, Бэббит, здравствуй! — сказал он.

— Далеко ездил?

— Да, был в Вашингтоне.

— Ого, в Вашингтоне! Как там наше правительство?

— Ну, как сказать... да ты присаживайся!

— Спасибо. Пожалуй, сяду. Да, да! Много воды утекло с тех пор, как мы с тобой в последний раз говорили, Доун. А я... я даже огорчился, что ты не пришел на наш товарищеский обед.

— А-а, спасибо!

— Ну, как твои профсоюзы? Опять выставишь свою кандидатуру в мэры?

Доуну, видно, не сиделось на месте. Он перелистал свою книгу. Потом сказал: «Возможно!» — и при этом улыбнулся, как будто разговор шел о пустяках.

Бэббиту понравилась его улыбка, захотелось поддержать разговор.

— А я видел замечательное ревю в Нью-Йорке, называется «С добрым утром, милашка!». Они выступают в отеле «Минтон».

— Да, там много хорошеньких. Как-то танцевал в этом отеле.

— Ты разве любишь танцевать?

— Разумеется. И танцевать люблю, и хорошеньких женщин, и хорошую еду люблю больше всего на свете. Как все мужчины.

— Фу-ты, пропасть, Доун, а я-то думал, что ваша братия хочет отнять у нас всю хорошую еду и все удовольствия.

— О нет! Ничего подобного. Просто мне хотелось бы, чтобы, скажем, профсоюз работников швейной промышленности устраивал митинги, скажем, в отеле «Ритц», да еще с танцами после собрания. Разве это неразумно?

— М-да, конечно, идея неплохая. Вообще... Жаль, что мы с тобой так мало встречались в последние годы. Да, скажи, ты, надеюсь, на меня не в обиде, что я помешал тебе пройти в мэры, агитировал за Праута. Видишь ли, я — член республиканской партии и, так сказать, считал...

— А почему бы тебе и не выступать против меня? Наверно, ты — искренний республиканец. Вспоминаю — в университете ты был настоящим вольнодумцем и вообще добрым малым. Помню, как ты мне говорил, что станешь адвокатом и будешь бесплатно защищать всех бедняков и бороться с богачами. И помню, как я

говорил, что сам стану богачом, накуплю картин, построю виллу в Ньюпорте. Но ты всех нас умел вдохновить!

— Да, да... Мне всегда хотелось быть свободомыслящим.

Бэббит был необычайно смущен, и горд, и растерян; он старался снова стать похожим на того юношу, каким он был двадцать пять лет назад, и, сияя улыбкой, торопливо уверял своего старого друга Сенеку Доуна:

— Беда в том, что большинство наших сверстников, даже самые деятельные, даже те, кто считает себя передовыми... беда их в том, что нет в них терпимости, широты, свободомыслия. Я-то всегда считал, что надо и противника выслушать, дать ему высказать свои взгляды.

— Прекрасно сказано.

— Я себе так представляю: небольшая оппозиция для всех для нас — хорошая штука, и человек, особенно если он делец и занимается полезным делом, должен смотреть на вещи широко.

— Да...

— Я всегда говорю — у человека должна быть Прозорливость, Идеал. Наверно, многие мои товарищи по профессии считают, что я — фантазер, ну и пусть думают что хотят, а я буду жить по-своему, как и ты... Честное слово, приятно посидеть с человеком, поговорить и, так сказать, поделиться своими идеалами.

— Но нас, фантазеров, очень часто бьют. Тебя это не смущает?

— Ничуть! Никто мне не смеет указывать, что думать и чего не думать!

— Знаешь, ты как раз тот человек, который может мне помочь. Если бы ты поговорил кой с кем из деловых кругов, убедил бы людей быть снисходительнее к этому несчастному Бичеру Ингрэму...

— Ингрэм? Слушай, да это же тот сумасшедший проповедник, которого выкинули из конгрегационалистской церкви, тот, что проповедует свободную любовь и раскол?

Доун объяснил, что и в самом деле таково общее мнение о Бичере Ингрэме, но он-то считает, что Бичер Ингрэм проповедует братство всех людей, а ярым заступником этого является и сам Бэббит. Не может ли Бэббит защитить от своих знакомых Ингрэма и его несчастную церквушку?

— Непременно! Поставлю на место любого, кто посмеет издеваться над Ингрэмом! — с чувством обещал Бэббит своему дорогому другу Доуну.

Доун оживился, стал вспоминать прошлое. Он рассказал о студенческой жизни в Германии, о том, как он участвовал в делегации, требовавшей единого налога в Вашингтоне, о международ-

ных рабочих конгрессах. Он упомянул о своих друзьях — среди них был лорд Уайком, полковник Веджвуд, профессор Пикколи. Бэббит всегда думал, что Доун якшается исключительно с членами НРМ, но тут он серьезно кивал головой, словно тоже знал десятки лордов Уайкомов, и сам дважды ввернул имя сэра Джеральда Доука. Он чувствовал себя смельчаком, идеалистом и космополитом.

И вдруг, в свете своего нового духовного величия, он почувствовал жалость к Зилле Рислинг и понял ее так, как не понимал никого из этих примитивных людишек — членов клуба Толкачей.

II

Часа через два после того, как Бэббит прибыл в Зенит и сообщил жене, как жарко было в Нью-Йорке, он поехал навестить Зиллу. Он был полон добрых намерений и всепрощения. Он освободит Поля, сделает для Зиллы очень много хорошего, хотя и неясно, что именно, он будет великодушен, как его друг, Сенека Доун.

Зиллу он не видел с тех пор, как Поль в нее стрелял, и она все еще представлялась ему пышной, краснощекой, подвижной, хоть и слегка увядшей. Подъезжая к ее пансиону в унылом узком переулке за оптовыми складами, он испуганно затормозил машину. В окне верхнего этажа он увидел женщину, облокотившуюся на подоконник и похожую на Зиллу, но она была бледная, очень немолодая и напоминала пожелтевший сверток старой мятой бумаги. Зилла, наверно, уже бежала бы ему навстречу с громкими восклицаниями, а эта женщина была до ужаса неподвижна.

Он прождал полчаса, пока она спустилась в гостиную. Пятьдесят раз он открывал и закрывал альбом фотографий международной ярмарки 1893 года в Чикаго, пятьдесят раз смотрел на снимок почетного президиума.

Он вздрогнул, когда Зилла вошла в комнату. На ней было черное поношенное платье, которое она попыталась оживить поясом из красной ленты. Лента была рваная, аккуратно заштопанная в нескольких местах. Бэббит все это заметил, потому что не хотел смотреть на ее плечи. Одно плечо было ниже другого: одна рука скрючилась, словно парализованная, а под высоким воротником из дешевых кружев кривилась тонкая бескровная шея, которая когда-то была гладкой и полной.

— Что скажешь? — спросила она.

— Здравствуй, здравствуй, Зилла дорогая! Честное слово, как я рад тебя видеть!

— Он может сноситься со мной через адвоката.

— Это еще что за глупости! Да разве я пришел от него? Пришел как твой старый друг.

— Долго же ты собирался...

— Сама знаешь, как оно бывает. Думал, может быть, ты не захочешь видеть его товарища сразу, после всего... Да ты сядь, детка. Давай поговорим серьезно. Все мы наделали много такого, чего не следовало, но, может быть, еще удастся как-то все исправить. Честное слово, Зилла, я бы дорого дал, чтобы вы оба опять были счастливы. Знаешь, о чем я сегодня думал? Имей в виду, Поль ничего не знает, он даже не знает, что я к тебе приехал. Вот что я подумал: Зилла — славная, добрая женщина, она поймет, что Поль,— ну, как бы сказать,— уже получил хороший урок. Вот было бы чудесно, если бы ты попросила губернатора помиловать его! Поверь, он его помилует, если об этом попросишь именно ты. Нет! Погоди! Только подумай, сколько радости тебе самой доставит такое великодушие.

— Да, я хочу быть великодушной! — Она сидела прямо, говорила ледяным голосом.— Именно поэтому я хочу, чтобы он остался сидеть в тюрьме, пусть это будет примером всем грешникам и злодеям. Я стала религиозной, Джордж, после того, как этот человек заставил меня пережить такой ужас. Да, я часто злилась, да, я любила светские удовольствия, танцы, театры. Но когда я попала в больницу, проповедник общины святой троицы приходил навещать меня, и он мне точно доказал, по Священному писанию, что близится день Страшного суда и вся паства необновленных церквей пойдет прямо в ад, оттого что они служат богу не сердцем, а языком и попустительствуют всему мирскому, плотскому, дьявольскому.

Минут пятнадцать она говорила как одержимая, без остановки, уговаривая его бежать гнева господня, и лицо ее раскраснелось, а помертвевший голос снова зазвучал решительно и визгливо, как у прежней Зиллы. В последних ее словах слышалась неприкрытая злоба:

— Сам бог велел, чтобы Поль сейчас томился в тюрьме, пришибленный, униженный таким наказанием, пусть он хоть этим спасет свою душу, пусть это будет примером другим подлецам, которые гоняются за женщинами, за плотскими радостями.

Бэббита передергивало, он еле сидел. Как в церкви он боялся пошевелиться во время проповеди, так и тут он притворялся внимательным и слушал, хотя ее визгливые обличения кружили над ним, словно злые стервятники.

Он решил быть спокойным, по-братски мягким.

— Да, я все понимаю, Зилла. Но, честное слово, самое главное в религии — милосердие, не так ли? Ты меня выслушай: по-

моему, в жизни нужнее всего широта взглядов, терпимость, если мы чего-нибудь хотим добиться. Я всегда считал, что надо быть свободомыслящим, терпимым...

— Ты? Ты терпимый человек? — Она опять заговорила как прежняя Зилла.— Слушай, Джордж Бэббит, да в тебе терпимости и широты меньше, чем в бритве!

— Ах, так! А я тебе... я тебе вот что скажу: уж во всяком случае, я такой же терпимый, как ты — верующая, ничуть не меньше! Ты — и верующая!

— Да, я верующая! Наш пастор говорит, что я и его веру укрепляю и поддерживаю.

— Еще бы! Деньгами Поля! А я тебе покажу, насколько я терпим: пошлю чек на десять долларов этому Бичеру Ингрэму! Зря люди болтают, будто он, бедняга, проповедует раскол и свободную любовь, даже хотят выгнать его из города.

— И они правы! Надо его вышвырнуть из города! Да ведь он где проповедует? В театре, в сатанинском вертепе! Ты не знаешь, что значит обрести бога, обрести мир, узреть тенета, которыми тебя опутывает дьявол! Да, я счастлива, что господь неисповедимыми путями заставил Поля ранить меня и вывести из греха, а Поль заслужил кару, так ему и надо за его жестокость; даст бог, он и умрет в тюрьме!

Бэббит вскочил, схватил шляпу, буркнул:

— Ну, если ты это называешь миром, так предупреди, ради бога, когда ты начнешь войну!

III

Сильна власть города, неуклонно влечет он путника к себе. Больше, чем горы, больше, чем море, размывающее берега, город всегда остается самим собой, непоколебимый, безжалостный, скрывая за мнимыми изменениями свою извечную сущность. И хотя Бэббит, бросив свою семью, бежал в глушь к Джо Пэрадайзу, хотя он стал вольнодумцем и в самый канун своего возвращения в Зенит был убежден, что ни он, ни город уже никогда не будут такими, как прежде,— не прошло и десяти дней после его приезда, как ему уже не верилось, что он вообще уезжал. А его знакомым и вовсе было невдомек, что перед ними совершенно новый Джордж Ф. Бэббит,— разве только он с бóльшим раздражением относился к вечным подшучиваниям в Спортивном клубе и однажды на замечание Верджила Гэнча, что Сенеку Доуна надо повесить, даже пробормотал:

— Глупости, совсем он не такой плохой!

Дома он что-то мычал, когда жена своими разговорами мешала ему читать газету, приходил в восторг от нового красного берета Тинки и заявлял: «Этот сборный гараж никакого вида не имеет. Надо строить настоящий, деревянный».

Верона и Кеннет Эскотт как будто наконец обручились по-настоящему. Эскотт провел в газете кампанию за «здоровую еду», против скупщиков-оптовиков. В результате он получил отличное место в одной скупочной фирме, зарабатывал столько, что мог подумать о женитьбе, и поносил безответственных репортеров, которые осмеливаются критиковать скупщиков, ничего не понимая в таких делах.

Этой осенью, в сентябре, Тед поступил в университет, на факультет искусства и литературы. Университет находился в Могалисе, всего в пятнадцати милях от Зенита, и Тед часто приезжал домой на конец недели. Бэббит очень беспокоился за него. Тед «вошел» во все, кроме занятий. Он пытался «пролезть» в футбольную команду полузащитником, с нетерпением ждал баскетбольного сезона, его выбрали в комитет по устройству бала первокурсников и, как уроженца Зенита (аристократа среди провинциалов), его старались «привлечь» две корпорации. Но на вопросы Бэббита о занятиях Тед ничего толком не отвечал и только отмахивался: «Да знаешь, все эти профессора — сплошная мертвечина, читают всякую чушь про литературу, про экономику...»

В одну из суббот Тед спросил:

— Слушай, папа, почему бы мне не перевестись из университета в инженерное училище, на механический факультет? Ты сам вечно кричишь, что я не занимаюсь, а там я бы здорово стал заниматься, честное слово!

— Нет, инженерное училище по сравнению с университетом не марка! — рассердился Бэббит.

— То есть как это? Инженеры в любую команду могут попасть!

Начались пространные объяснения, что «даже в долларах и центах можно выразить, насколько ценен университетский диплом для юридической карьеры»,— и красочные описания адвокатской профессии. Под конец Бэббит уже произвел Теда в сенаторы Соединенных Штатов.

Среди великих адвокатов, перечисленных Бэббитом, был также и Сенека Доун.

— Вот так штука! — удивился Тед.— По-моему, ты всегда говорил, что этот Доун — настоящий псих!

— Не смей так говорить о большом человеке! Доун всегда был мне другом, я даже помогал ему в колледже, я его наставил на путь истинный, я его, можно сказать, вдохновил! И только

потому, что он сочувствует рабочему движению, некоторые тупицы, не обладающие широким кругозором и терпимостью, считают его чудаком. Но разреши тебе сказать, что вряд ли кто-нибудь из них загребает такие гонорары, как он, и потом он дружит с самыми влиятельными, самыми консервативными людьми в мире, например с лордом Уайкомом, с этим — м-ммм... с этим выдающимся английским аристократом, которого все знают. Что же ты предпочитаешь — торчать среди грязных механиков и рабочих или подружиться с настоящими людьми, вроде этого лорда Уайкома, бывать у них в доме, в гостях?

— Да как сказать...— вздыхал Тед.

В следующее воскресенье он примчался радостный, веселый.

— Скажи, папа, а можно мне перейти в Горный институт, бросить эти академические занятия? Ты говоришь — марка. Конечно, может, инженерное училище — не марка, но горняки! Да ты знаешь, что они получили семь мест из одиннадцати на выборах в Ну-Тау-Тау!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

I

Забастовка, расколовшая Зенит на два враждебных лагеря — белый и красный,— началась в конце сентября: сначала забастовали телефонистки и монтеры, протестуя против снижения заработной платы. Вновь организованный профсоюз работников молочной промышленности тоже забастовал, отчасти из солидарности, отчасти добиваясь сорокачетырехчасовой рабочей недели. К ним присоединился союз водителей грузовых машин. Деловая жизнь застопорилась, весь город волновали слухи о возможной забастовке вагоновожатых, печатников, о всеобщей забастовке. Граждане выходили из себя, пытаясь дозвониться по телефону через бастовавших телефонисток, и беспомощно топтались у аппаратов. Каждый грузовик, выезжавший с заводов на железнодорожную станцию, охранялся полисменом, который, стараясь принять равнодушный вид, сидел рядом с шофером-скэбом. Пятьдесят грузовиков, принадлежавших зенитскому сталелитейно-машиностроительному тресту, были атакованы забастовщиками, они бросались к машинам, стаскивали водителей, ломали карбюраторы и аккумуляторы под радостные крики телефонисток, стоявших на тротуарах, под визг мальчишек, швырявших камнями в скэбов.

Вызвали Национальную гвардию. Полковник Никсон, который в частной жизни был мистером Калебом Никсоном, секретарем Пуллморской компании грузовых машин, облачившись в длинный защитный френч, разгуливал в толпе с автоматом сорок четвертого калибра. Даже приятель Бэббита, Кларенс Драм — торговец обувью, веселый кругленький человечек, рассказывавший анекдоты в Спортивном клубе и удивительно напоминавший мопса времен королевы Виктории,— превратился в свирепого капитана и, семеня ногами, перетянув толстый животик поясом и сердито поджимая пухлые губы, пискливым голосом кричал толпам зевак на перекрестках:

— Расходись! Не потерплю сборищ!

Все газеты города, кроме одной, были против забастовщиков. Когда толпа стала ломать газетные киоски, около них выставили охрану из гражданской милиции — какого-нибудь молодого, растерянного штатского в очках — бухгалтера или приказчика, который пытался напустить на себя грозный вид, в то время как мальчишки вопили: «Бей оловянных солдатиков», а шоферы-забастовщики ласково спрашивали: «Скажи, Джо, когда я воевал во Франции, ты где был — отсиживался в тыловом лагере или делал шведскую гимнастику в ХАМЛе? Ты поосторожней со штыком, не то уколешься!»

Не было человека в Зените, который не говорил бы о стачке, не было никого, кто не стал бы на ту или другую сторону. Либо ты был храбрым другом рабочих, либо бесстрашным защитником Права Собственности — и те и другие были настроены чрезвычайно воинственно и готовы отречься от лучшего друга, не выражавшего ненависти к врагу.

Подожгли склад сгущенного молока. Противники обвиняли в этом друг друга, и в городе поднялась паника.

И такое время Бэббит выбрал, чтобы во всеуслышание заявить о своем свободомыслии.

Он принадлежал к умеренному, крепкому, здравомыслящему крылу и сначала соглашался, что подлых агитаторов надо расстреливать. Он очень огорчился, когда его друг Сенека Доун выступил защитником арестованных стачечников, и уже собрался было пойти к Доуну и разъяснить ему, кто такие эти агитаторы, но, прочтя листовку, где сообщалось, что даже до снижения зарплаты телефонистки голодали, он растерялся.

— Все это вранье, цифры подтасованы! — сказал он, но в голосе его прозвучало сомнение.

На следующей неделе в пресвитерианской церкви на Чэтемроуд была объявлена проповедь доктора Джона Дженнисона Дрю на тему «Как спаситель прекратил бы стачки». В последнее

время Бэббит пренебрегал посещением церкви, но на этот раз пошел туда, надеясь, что у доктора Дрю действительно имеются сведения о том, как небесные силы относятся к забастовкам. Рядом с Бэббитом, на широкой, удобной, новой, обитой бархатом скамье, сидел Чам Фринк.

Фринк шептал Бэббиту:

— Надеюсь, что док отчитает этих чертовых забастовщиков по первое число! Вообще-то я считаю, что пастору нечего вмешиваться в политику — пускай занимается своей религией и спасает души, а не разводит дискуссии,— но в такие времена, по моему глубокому убеждению, он должен выступать, должен изничтожать этих мерзавцев в пух и прах!

— Н-да-а! — протянул Бэббит.

Достопочтенный доктор Дрю встряхивал непокорными вихрами в поэтическом и социологическом раже и взывал трубным гласом:

— Неожиданные индустриальные беспорядки, которые в последние дни — признаемся в этом откровенно и смело — петлей захлестнули деловую жизнь нашего прекрасного города, вызвали поток пустых разговоров о том, что можно предотвратить беспорядки научным путем — подчеркиваю: *научным!* Разрешите же вам сказать, что нет в мире более ненаучного понятия, чем наука! Возьмите нападки на незыблемые догмы христианской церкви, столь распространенные среди «ученых» прошлого века. О да, это были мощные умы, и к тому же — горластые критиканы! Они стремились разрушить церковь, стремились доказать, что сотворение мира и все высшие достижения морального совершенства и цивилизации — только слепой случай. Однако церковь до сего дня осталась нашим нерушимым оплотом, и единственный ответ духовного пастыря этим длинноволосым хулителям его бесхитростной веры — это улыбка сожаления!

А сейчас те же псевдоученые стремятся заменить естественные условия свободной конкуренции какими-то путаными системами, и хотя они и придумывают всякие высокопарные названия, по существу это сплошной деспотизм и насилие. Разумеется, я не возражаю против арбитража и вообще против мероприятий, направленных к прекращению забастовок, не критикую те превосходные союзы, где рабочие объединяются с хозяевами. Но я решительно возражаю против систем, где свободное распределение независимой рабочей силы заменяется заранее сфабрикованной шкалой заработной платы, минимальными окладами и всякими государственными комиссиями, рабочими союзами и прочей чепухой.

Люди не хотят понять, что отношения между рабочими и предпринимателями зависят вовсе не от экономики. В основном и самом существенном они зависят от братской любви, от практического применения христианской веры! Представьте себе завод, где вместо рабочих комитетов, вносящих отчуждение, есть хозяин, который проходит среди своих рабочих с улыбкой, и они отвечают ему такой же улыбкой, как младший брат старшему. Да, вот кем они должны быть — братьями, любящими братьями во Христе, и тогда стачки будут так же немыслимы, как ненависть среди членог дружной семьи.

В этом месте Бэббит проворчал:

— Чушь!

— Что? — переспросил Чам Фринк.

— Плетет, сам не знает что. Темная вода. Сплошной набор слов.

— Может быть, но...

Фринк посмотрел на Бэббита с подозрением и, пока шла служба, все время смотрел на него с подозрением, так что Бэббиту под конец стало очень не по себе.

II

Демонстрация забастовщиков должна была состояться во вторник утром, но, по утверждению газет, полковник Никсон ее запретил. Когда Бэббит в десять утра ехал в западную часть города из своей конторы, он видел толпу плохо одетых людей, направлявшихся в грязный, густо заселенный квартал за площадью Суда. Он ненавидел их за то, что они бедные, за то, что из-за них он испытывал страх. «Бездельники проклятые! Была бы у них настоящая хватка, не остались бы чернорабочими!» — ворчал он. Он опасался бунта. Подъехав к сборному пункту демонстрации — треугольному скверику с вытоптанной и выжженной травой, который назывался Мур-парк,— он остановил машину.

И скверик, и прилегающие к нему улицы кишели забастовщиками, молодыми людьми в синих полотняных рубашках и стариками в кепках. Среди толпы, перемешивая ее, как варево в котле, двигались представители Национальной гвардии. Бэббит слышал, как они монотонно твердили: «Проходи — проходи — не задерживайся! Живей!» Бэббита восхищало их спокойное добродушие. Толпа орала: «Оловянные солдатики! Грязные псы — прислужники капитализма!» — но гвардейцы только ухмылялись: «Ладно, ладно, проходи-ка, Билли!»

Бэббит был в восторге от Национальной гвардии, ненавидел мерзавцев, мешавших спокойному процветанию промышленности, восторгался жгучим презрением, с которым полковник Никсон смотрел на толпу, и когда толстый торговец обувью — а теперь капитан — Кларенс Драм, запыхавшийся и злой, просеменил мимо, Бэббит почтительно сказал ему: «Молодцом, капитан! Не пропускайте их!» Он наблюдал, как бастующие вышли из сквера. У многих были плакаты: «Никому не остановить нашу мирную демонстрацию!» Гвардейцы вырывали плакаты из рук, но бастующие догоняли своих вожаков и шли дальше редкой цепочкой, неприметно просачиваясь между сверкающими штыками. Бэббит с разочарованием понял, что никаких столкновений и вообще ничего интересного не будет, и вдруг ахнул.

Среди демонстрантов, рядом с плечистым молодым рабочим, шагал Сенека Доун, улыбающийся, довольный. Впереди него шел профессор Брокбенк, декан исторического факультета университета, старик с седой бородой, потомок одной из лучших массачусетских фамилий.

— Что это? — изумился Бэббит.— Такой почтенный человек — и с забастовщиками! И наш добрый старый Сенни Доун туда же! Дураки, нашли с кем спутаться! Салонные социалисты! Однако храбрый они народ! И главное — без всякой выгоды для себя, ни цента с этого не получат! Впрочем... с виду все эти забастовщики как будто не такие уж бандиты! Обыкновенные люди, как мы все!

Гвардейцы оттесняли демонстрацию в боковые переулки.

— Они имеют такое же право ходить по улице, как любой из нас! Это их улица, так же как и Кларенса Драма или Американского легиона! — ворчал Бэббит.— Конечно, они... они элемент отрицательный, и все же... э, черт!

Во время завтрака в Спортивном клубе Бэббит упорно молчал, слушая, как другие раздраженно говорили: «Черт знает, чем это кончится!» — или утешались, «разыгрывая» друг друга, как всегда.

Мимо прошествовал капитан Кларенс Драм во всем великолепии военной формы.

— Как дела, капитан? — спросил Верджил Гэнч.

— Разогнали! Оттеснили их на боковые улицы, рассредоточили, ну конечно, у них весь пыл угас, они и разошлись по домам.

— Чистая работа! И никакого насилия!

— Какая к черту «чистая»! — гаркнул мистер Драм.— Если бы моя воля, я бы им показал, так бы с ними расправился, что больше сунуться бы не посмели! Незачем смотреть им в рот, нянчиться с ними! Все эти забастовщики, как один, бомбисты, про-

клятые социалисты, убийцы! Один с ними разговор — дубинкой по башке! Так и надо — избить их всех в кровь!

И тут Бэббит вдруг услышал свой голос:

— Что за чушь, Кларенс, с виду они такие же люди, как мы с вами! И никаких бомб я у них не заметил.

Драм рассердился:

— Ах, не заметили? Что ж, может быть, вы хотите возглавить забастовку? Расскажите полковнику Никсону, что забастовщики — невинные агнцы! Вот обрадуется! — И Драм прошагал мимо, а все соседи по столу уставились на Бэббита.

— Что за выдумки? Хотите, чтобы мы целовались и обнимались с этими подлецами, что ли? — спросил Орвиль Джонс.

— Неужели вы защищаете лодырей, которые хотят вырвать кусок хлеба у наших детей? — возмущенно крикнул профессор Памфри.

Только Верджил Гэнч угрожающе промолчал. Он сделал суровое лицо, будто маску надел: челюсть у него окаменела, жесткая щетина волос грозно встопорщилась,— его молчание было свирепее раскатов грома. И когда другие стали уверять Бэббита, что они его, очевидно, не поняли, по лицу Гэнча было видно, что он-то понял его отлично. Словно судья в тоге слушал он, как Бэббит, заикаясь, лепетал:

— Да нет, конечно, они хулиганы... Но я просто подумал... По-моему, нехорошо говорить, что их надо дубинками по башке. Кэйб Никсон так не думает. Он человек политичный. Потому его и назначили полковником. А Кларенс Драм ему просто завидует.

— Возможно,— сказал профессор Памфри.— Но вы обидели Кларенса, Джордж. Все утро он там торчал, весь пропотел, пропылился, не удивительно, что он готов выбить зубы этим сукиным детям!

Гэнч ничего не сказал, он только наблюдал за Бэббитом, и Бэббит чувствовал, что за ним наблюдают.

III

Выходя из клуба, Бэббит услышал, как Чам Фринк возмущенно говорил Гэнчу:

— Не знаю, что это с ним. В прошлое воскресенье док Дрю прочел потрясающую проповедь насчет справедливости в деловых взаимоотношениях, и Бэббиту она тоже не понравилась. Я подозреваю...

Бэббит почувствовал смутный страх.

IV

Он увидел толпу, которая слушала оратора, взобравшегося на кухонную табуретку. Он остановил машину. Судя по газетным фотографиям, это и был небезызвестный проповедник-вольнодумец Бичер Ингрэм, о котором ему говорил Сенека Доун. Ингрэм был высокий худой человек, с взметенной гривой волос, обветренным лицом и беспокойным взглядом. Он уговаривал собравшихся:

— ...и если эти несчастные телефонистки могут держаться, хотя они едят раз в день, сами на себя стирают и, несмотря на голод, еще улыбаются, так неужто вы, крепкие, здоровые мужчины, не можете...

Но тут Бэббит заметил, что на тротуаре, не спуская с него глаз, стоит Верджил Гэнч. Бэббиту стало как-то не по себе, и, тронув машину, он поехал дальше, ощущая на себе враждебный взгляд Гэнча.

V

— Есть же люди,— жаловался Бэббит жене,— которые считают, что, если рабочие бастуют, значит, они все сплошь негодяи. Конечно, тут идет борьба между крепким деловым миром и подрывными элементами, и, если они бросают нам вызов, мы их должны сломить, но, честное слово, не понимаю, почему нельзя бороться благородно, как порядочные люди, зачем называть их «сукины дети» и орать, что всех их надо перестрелять!

— Да что ты, Джордж! — спокойно сказала она,— мне казалось, будто ты сам всегда утверждал, что всех забастовщиков надо упрятать в тюрьму.

— Я! Ничего подобного! То есть я хочу сказать — некоторых из них безусловно надо. Безответственных вожаков. Но я хочу сказать, что человек должен быть терпимым, свободомыслящим.

— Как же это, миленький! Ты же сам говорил, что хуже так называемых «свободомыслящих» никого на свете нет.

— Чушь! Женщины никогда не разбираются в словах. Важен смысл, понимаешь? И вообще нельзя быть такими самоуверенными. Возьми этих забастовщиков. Честное слово, не такие уж они скверные люди. Просто им ума не хватает. Они понятия не имеют ни о товаре, ни о прибыли, как понимаем это мы, деловые люди, но в остальном они такие же, как все, и насчет зарплаты жадничают ничуть не больше, чем мы — насчет прибылей.

— Джордж! Если б тебя услыхали,— я-то тебя знаю, знаю, каким ты был сумасшедшим, необузданным мальчишкой, да ты

и не думаешь того, что говоришь,— но если бы люди, которые тебя не знают, услышали, чего ты тут наговорил, они бы сказали, что ты настоящий социалист!

— Да какое мне дело, что́ про меня подумают! И, пожалуйста, запомни,— прошу тебя раз и навсегда понять: никогда я не был сумасшедшим мальчишкой, и если я говорю, значит, я так и думаю, я своих убеждений не меняю и вообще... Скажи честно, неужели меня станут называть чересчур свободомыслящим только за то, что я считаю забастовщиков порядочными людьми?

— Ну конечно! Но ты не волнуйся, милый: я-то знаю,— ты этого не думаешь. Пора ложиться. Не замерзнешь ночью под одним одеялом?

Он долго размышлял, лежа на веранде: «Не понимает она меня. Я и сам себя не понимаю. Почему я не могу относиться ко всему спокойно, как бывало?

Хорошо бы пойти в гости к Сенни Доуну, поговорить с ним по душам. Нет, нельзя — вдруг Вердж Гэнч увидит, как я вхожу в этот дом!

Познакомиться бы с какой-нибудь женщиной, настоящей умницей и милой, которая поняла бы меня, выслушала и... А вдруг Майра права? Вдруг люди действительно подумали, что я спятил,— и только из-за моей терпимости, свободомыслия... Как этот Вердж на меня смотрел...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Мисс Мак-Гаун зашла к нему в кабинет в три часа дня и сказала:

— Послушайте, мистер Бэббит, там звонит какая-то миссис Джудик, хочет поговорить насчет ремонта, а в конторе никого нет. Может быть, вы поговорите с ней?

— Ну что ж.

Голос у Танис Джудик был звонкий, приятный. В черной телефонной трубке, казалось, отразился ее портрет в миниатюре: блестящие глаза, тонкий нос, мягкий подбородок.

— Говорит миссис Джудик. Вы меня помните? Мы с вами ездили сюда, на Кэвендиш-стрит, вы помогли найти мне эту прелестную квартирку.

— Еще бы! Конечно, помню! Чем могу служить?

— О, это, в сущности, мелочь... Не стоило бы вас беспокоить, но от нашего управляющего ничего нельзя добиться. Вы знаете, моя квартира на верхнем этаже, и от осенних дождей крыша

начинает протекать, и я была бы бесконечно благодарна, если б вы могли...

— Непременно! Я сам приеду, взгляну, в чем дело! — С волнением в голосе: — Когда вас можно застать?

— О, я по утрам всегда дома.

— А сегодня днем, через час или два?

— О да! Может быть, ждать вас к чаю? Надо мне как-то отблагодарить вас за ваши заботы!

— Отлично! Как только освобожусь — заеду!

Он сидел и думал: «Да, вот это женщина! Сколько в ней тонкости, такта, породы! «Отблагодарить за ваши заботы — может быть, ждать вас к чаю?» Эта сумела бы оценить человека! Возможно, я дурак, но, в сущности, неплохой малый, надо только узнать меня поближе! Да и не такой уж я дурак, как кажется!»

Большая стачка окончилась, бастующие были побеждены. Отступничество Бэббита никаких видимых последствий не вызвало, разве только Верджил Гэнч стал с ним суше и холодней. Рассеялся страх, что его будут порицать, осталось только робкое одиночество. И сейчас он был так возбужден, что, желая доказать обратное, целых пятнадцать минут провозился в конторе, смотрел какие-то планы, растолковывал мисс Мак-Гаун, что эта́ самая миссис Скотт хочет взять за свой дом подороже, что она уже повысила цену, повысила с семи тысяч до восьми с половиной,— и пусть мисс Мак-Гаун ни в коем случае не забудет занести на карточку: дом миссис Скотт, цена повышена. И, доказав таким образом, что он человек нечувствительный и интересуется исключительно делами, он выплыл из конторы. Он особенно долго возился с машиной, пробовал, не спустила ли шина, протер спидометр, подтянул гайки, закреплявшие ветровое стекло.

Радостный, он ехал к району Бельвю, и образ миссис Джудик сиял ему, как далекий свет на горизонте. Уже опали клены, устлав листьями канавку вдоль шоссе. День был соткан из бледного золота и блеклой зелени, спокойный, медлительный. Бэббит ощущал и задумчивое спокойствие этого дня, и непривычную пустоту Бельвю — пустовали целые кварталы деревянных домиков, гаражи, лавчонки, заросшие участки. «Не мешало бы подстегнуть тут строительство, такие люди, как миссис Джудик, могли бы создать тут нужный тон!» — думал Бэббит, проезжая по длинным, неприветливым, пустынным улицам. Поднялся ветер, бодрящий, свежий, и Бэббит приехал к Танис Джудик в отличном настроении.

Она встретила его взволнованно, на ней было черное шифоновое платье — скромный круглый вырез открывал красивую

шею. Танис показалась ему бесконечно утонченной. Он смотрел на кретон и цветные литографии на стенах и ворковал:

— Да, чудесно отделали квартирку! Только умная женщина умеет создавать такой уют!

— Вам действительно нравится? Как я рада! Но вы совсем забыли меня, нехорошо! Помните, вы обещали прийти, поучиться танцевать?

Бэббит неуверенно пробормотал:

— Но я думал, что вы предлагали это не всерьез!

— Возможно! И все-таки вы могли бы хоть попытаться!

— Что ж, вот я и явился брать урок и, раз на то пошло, останусь обедать!

Оба засмеялись, словно показывая этим, что он, конечно, шутит.

— Давайте-ка я сперва погляжу, где тут течет крыша.

Вместе с ним она забралась на плоскую крышу большого дома, в особый мир дощатых переходов, веревок для сушки белья, водяного бака в башенке. Он трогал носком башмака всякие трубы и пытался произвести впечатление знатока по части оцинкованных водостоков, водопроводных труб, которые желательно пропускать сквозь оловянные муфты и прокладки и закреплять медной проволокой, а также по части водосборных чанов, которые предпочтительно делать из дерева, а не из железа.

— Как много надо знать в вашем деле! — восхищалась она.

Он пообещал, что крыша будет исправлена в течение двух дней.

— Не возражаете, если я позвоню из вашей квартиры? — спросил он.

— Господи, конечно, нет!

Он постоял минуту у круглой амбразуры, глядя на незатейливые дачки со слишком большими верандами и новые жилые дома, не очень большие, но зато смело разукрашенные разноцветным кирпичом и терракотовыми финтифлюшками. За домами высился холм с карьером, похожим на глубокую рану,— там добывали желтую глину. За каждым жилым домом, за каждой дачей виднелся небольшой гараж. Это был мир обыкновенных славных людей, непритязательных, работящих, доверчивых.

Осенний свет смягчал явную новизну квартала, воздух казался озером, пронизанным солнцем.

— Да, денек чудесный. Замечательный у вас отсюда вид — до самого Таннер-хилла,— сказал Бэббит.

— Да, очень красиво, все открыто!

— Мало кто ценит хороший вид!

— Только не вздумайте из-за этого повышать квартирную плату! О, какая я гадкая! Я просто пошутила! Нет, серьезно, так мало людей ценят... понимают красивый вид. Я хочу сказать — нет в них ощущения поэзии, красоты.

— Вот именно — нет! — восторженно шепнул он, восхищаясь ее стройной фигурой, ее задумчивой, слегка рассеянной манерой любоваться далекими холмами, подняв подбородок, с легкой улыбкой.— Что ж, надо позвонить кровельщикам, пусть завтра же с утра принимаются за работу.

Он назвал номер, поговорил нарочито внушительным, по-мужски грубоватым голосом, потом с нерешительным видом вздохнул:

— Ну, мне, пожалуй, пора...

— О нет! Вы обещали выпить чаю!

— Что ж, я не прочь.

Какая роскошь — сидеть в глубоком кресле, обитом зеленым репсом, вытянув ноги и разглядывая лакированный китайский столик с телефоном и цветную фотографию Маунт-Вернона, которая ему всегда так нравилась, пока в крохотной кухоньке — совсем рядом — миссис Джудик напевает «Моя красавица креолка». С нестерпимо сладостным чувством, с глубоким удовлетворением, переходившим в грустную неудовлетворенность, он видел магнолии в лунном свете, слышал, как под звуки банджо воркуют на плантации темнокожие певцы. Ему хотелось найти предлог помочь ей, быть к ней поближе и вместе с тем не хотелось нарушать это тихое блаженство. Он лениво остался сидеть в кресле.

Когда она с хлопотливым видом принесла чай, он улыбнулся:

— Как у вас приятно!

Впервые он не притворялся, был спокойно и ровно приветлив, и ответ ее прозвучал приветливо и спокойно:

— А мне так приятно, что вы пришли. Вы были так добры, помогли мне найти этот милый дом.

Они согласились, что скоро настанут холода. Согласились, что картины в доме говорят о культуре. Они соглашались во всем. Они даже осмелели. Они намекали, что у этих современных молодых девушек, ну, честное слово, юбки чересчур коротки! Они гордились тем, что их не шокирует такая откровенность. Танис даже решилась сказать:

— Знаю, вы меня поймете... я считаю... мне трудно выразить это как следует, но я думаю, что девушки, которые своей манерой одеваться дают понять, будто они безнравственны, на самом деле дальше этого не идут. Они только выдают себя, видно, в них нет чуткости по-настоящему женственных женщин.

И, вспоминая Иду Путяк, маленькую маникюршу, которая

так нехорошо с ним обошлась, Бэббит восторженно поддакивал; а вспомнив, как нехорошо обошелся с ним весь мир, он стал рассказывать Танис о Поле Рислинге, о Сенеке Доуне, о забастовке.

— Понимаете, как это вышло? Конечно, мне не меньше других хотелось, чтобы этому сброду заткнули глотку, но надо же, черт возьми, стараться понять и их точку зрения! Всякий человек ради самого себя должен быть широким, терпимым, как вы считаете?

— Да, да, конечно!

Она сидела на твердом диванчике, сжав руки и наклонившись к нему, вбирая его слова. И, упоенный тем, что его признали и оценили, он продолжал разглагольствовать:

— И тогда я решительно заявил всем в клубе: «Слушайте, я...»

— Ах, вы — член клуба Юнион? По-моему, это самый...

— Нет, я член Спортивного. Я вам так скажу: конечно, меня все время зовут в Юнион, но я всегда говорю: «Шалишь, брат!» Меня не расходы пугают, но я не выношу этих старых чудаков.

— О да, я вас понимаю. Но скажите, что же вы им говорили?

— Да вам, наверно, неинтересно слушать? Должно быть, я вам до смерти надоел своими жалобами. Не к лицу такому старому дураку,— разболтался, как мальчишка!

— О, вы еще совсем молодой! Я уверена... я уверена, что вам никак не больше сорока пяти.

— Да, то есть немногим больше. Но, честное слово, иногда чувствуешь, что стареешь. Такая ответственность, столько дел...

— О, как я вас понимаю! — Ее голос ласкал его, обволакивал, как теплый шелк.— А я чувствую себя такой одинокой, такой бесконечно одинокой, мистер Бэббит!

— Да, видно, нам обоим бывает невесело! Зато мы с вами чертовски симпатичные люди!

— Да, по-моему, мы гораздо симпатичней всех, кого я знаю! — Оба рассмеялись.— Но вы мне доскажите, что вы им сказали там, в клубе!

— Дело было так: понимаете, Сенека Доун — мой приятель — пусть говорят, что хотят, пусть его ругают почем зря, но никто из наших не знает, что Сенни — закадычный друг государственных деятелей с мировым именем,— возьмите, например, лорда Уайкома, знаете, знаменитый английский аристократ. Мой друг, сэр Джеральд Доук, говорил мне, что лорд Уайком — один из самых выдающихся английских деятелей — да, кажется, это Доук говорил или еще кто-то.

— О! Вы знакомы с сэром Джеральдом? С тем, который гостил тут у Мак-Келви?

— Знаком? Да мы так дружны, что зовем друг друга Джордж и Джерри, мы с ним в Чикаго до того наклюкались...

— Вам, наверно, было весело! Но...— И она погрозила ему пальцем: — Я вам не разрешаю «наклюкиваться»! Придется мне взять вас в руки!

— Буду счастлив! Так вот, я-то знаю, какая важная шишка наш Сенни Доун за пределами Зенита, но, как водится, нет пророка в своем отечестве, а Сенни, старая калоша, до того скромен, что ни единому человеку не расскажет, с какими знаменитостями он якшается вне дома. Значит, так: во время забастовки подходит к нашему столу Кларенс Драм, важный такой, в своем капитанском мундирчике, словом, разодет в пух и прах, и кто-то ему говорит: «Приканчиваешь стачку, Кларенс?»

Тут он надулся, как индюк, и ну — орать, так что в читальне было слышно: «Да, я их скрутил! Вправил их вожакам мозги, они все и разошлись по домам!» — «Что ж, говорю, хорошо, что без насилия!» — «Ага! — говорит.— Хорошо, что я за ними смотрел в оба! А то было бы черт знает что! У них у всех карманы полны бомб. Настоящие анархисты!» — «Глупости, Кларенс, говорю, я сам, своими глазами их видел. Бомб у них, говорю, не больше, чем у зайцев в лесу. Конечно, говорю, они делают глупости, но вообще-то они такие же люди, как мы с вами!»

И тут Верджил Гэнч или еще кто-то,— нет, это сам Чам Фринк,— знаете, знаменитый поэт, большой мой приятель,— он мне вдруг и говорит: «Слушайте, говорит, неужели вы защищаете этих забастовщиков?» Я просто взбесился от того, что человек может такое подумать, клянусь вам, мне даже отвечать ему не хотелось — не стоит обращать на него внимания — и все...

— О, это так умно! — вставила миссис Джудик.

— ...но в конце концов я все же ему объяснил: «Если бы вы поработали с мое в комитетах Торговой палаты, говорю, тогда вы еще имели бы право так разговаривать! Но все же, говорю, я считаю, что к своему противнику надо относиться по-джентльменски! Да-с, мои милые». Это их совсем пришибло! Фринк — я его зову просто Чам,— так тот даже не знал, что сказать! Но при всем том некоторые из них наверняка решили, что я слишком терпим. А как по-вашему?

— О, вы так умно себя вели! И так смело! Люблю, когда мужчина имеет смелость постоять за свои убеждения!

— Но вы не считаете, что это была глупая выходка? Надо сказать, многие из этих людей до того осторожны и ограниченны, что у них может возникнуть предубеждение против человека, который прямо высказывает свое мнение!

— Ну и пусть! В конце концов они непременно станут ува-

жать человека, который заставляет их думать, а при ваших ораторских талантах...

— Вы-то откуда знаете о моих ораторских талантах?

— О нет! Я вам не выдам того, что знаю! Но, серьезно, вы сами не подозреваете, какой вы знаменитый человек!

— Что вы! Правда, этой осенью я мало выступал. Расстроило меня это дело Поля Рислинга. Но вообще-то, знаете, вы первый человек, который по-настоящему меня понял, Танис... ох, простите! Ну не нахальство ли с моей стороны — называть вас просто Танис!

— О, прошу вас! Можно, я буду звать вас Джордж? Подумайте, как приятно, когда два человека обладают... как вам сказать,— одинаковым пониманием и могут отбросить все эти глупые предрассудки, понять друг друга, сблизиться сразу, как корабли, которые встречаются ночью!

— Конечно! Конечно же!

Он не мог усидеть в кресле, стал ходить по комнате, сел рядом с ней на диванчик. Но когда он неловко протянул руку к ее хрупким, выхоленным пальцам, она весело сказала:

— Дайте-ка мне сигаретку. Вы не будете считать бедную Танис очень гадкой, если она закурит?

— Что вы! Мне это нравится!

Он часто с неодобрением смотрел, как молоденькие девчонки курят в зенитских ресторанах, но из его знакомых курила только жена Сэма Доппелбрау, его легкомысленная соседка. Он церемонно зажег спичку для Танис, посмотрел, куда бы ее бросить, и незаметно сунул в карман.

— Я уверена, что вам хочется закурить сигару, бедняжка! — проворковала она.

— А вам не помешает?

— О нет! Я обожаю запах хороших сигар, это так приятно и так... так приятно и так по-мужски. В спальне есть пепельница, принесите, если вам не трудно!

Он был смущен ее спальней: широкая кровать, покрытая фиолетовым шелком, лиловые в золотую полосу гардины, старинный шкафчик в китайском вкусе и невероятное количество туфель на украшенных бантами колодках, со светлыми чулками при каждой паре. Он принес пепельницу просто и, как он сам чувствовал, с оттенком веселой непринужденности. «Конечно, дуб, вроде Верджила Гэнча, наверно, пытался бы сострить насчет того, что она впустила его в спальню, но я отношусь к этому спокойно!» Впрочем, спокойствие длилось недолго. Жажда товарищества была удовлетворена, и его мучило желание коснуться ее руки. Но каждый раз, когда он оборачивался к Танис, ему

мешала ее сигарета. Словно щит вставала она между ними. Он ждал, пока Танис докурит, но только он успел обрадоваться, что она быстро потушила окурок, как она тут же торопливо сказала:

— А вы дадите мне еще одну сигаретку? — И снова он безнадежно смотрел, как их разделяет бледная завеса дыма и грациозно изогнутая рука Танис. Теперь его не только мучило любопытство — позволит ли она задержать ее руку (разумеется, как изъявление чистейшей дружбы, не больше!), но ему страстно хотелось этого.

Внешне это напряженное беспокойство ничем не проявлялось. Они весело говорили о машинах, о поездках в Калифорнию, о Чаме Фринке. Между прочим, он деликатно намекнул:

— Терпеть не могу типов... то есть терпеть не могу людей, которые напрашиваются к обеду, но у меня предчувствие, что сегодня я буду обедать у очаровательной миссис Танис Джудик. Впрочем, у вас, наверно, уже назначено штук семь свиданий?

— Как сказать, я просто собиралась в кино. Надо выйти подышать свежим воздухом.

Она не предлагала ему остаться, но и ничем его не обескураживала. Он размышлял: «Надо попробовать! Она, конечно, разрешит мне остаться,— что-то между нами начинается... нет, нельзя связываться, нельзя, надо бежать». Но тут же решил: «Нет, теперь уже поздно!»

И вдруг, в семь часов, он отнял у нее сигарету и крепко сжал ее руку.

— Танис! Перестаньте дразнить меня! Мы с вами... Вы понимаете, мы оба — люди одинокие, и нам так хорошо вместе. По крайней мере, мне! Никогда мне не было так хорошо. Разрешите мне остаться. Я сбегаю в магазин, куплю чего-нибудь — холодного цыпленка или индейку,— и мы чудесно с вами пообедаем, а потом, если вы захотите меня прогнать, я уйду безропотно, как барашек.

— Ну что ж, это будет мило! — сказала она.

И руки не отняла. Весь дрожа, он сжал ее пальцы и бросился надевать пальто. В гастрономическом магазине он накупил огромное количество еды, выбирая главным образом то, что подороже. Из аптеки напротив он позвонил жене: «Должен подписать контракт с одним человеком, он уезжает в полночь. Ты не жди, ложись спать. Поцелуй за меня Тинку». В предвкушении чего-то необычайного он вернулся в маленькую квартиру.

— Ах, гадкий, гадкий, сколько он накупил еды! — приветствовала его Танис, и голос у нее был веселый, улыбка ласковая.

Он помогал ей в маленькой белой кухоньке — мыл салат, откупорил бутылку с оливковым маслом. Она велела ему накрыть

на стол, и когда он бежал в столовую, а потом искал в буфете ножи и вилки, он чувствовал себя совершенно как дома.

— Одного не могу решить,— объявил он,— что вам надеть к обеду. То ли самый нарядный вечерний туалет, то ли распустить волосы и надеть короткое платьице, как маленькой девочке.

— О, я буду обедать так как есть, в этом старом шифоновом платьишке, и если бедная Танис вам в таком виде не нравится, можете идти обедать в клуб.

— Не нравится? — Он погладил ее плечо: — Дитя, вы — самая умная, самая хорошенькая, самая милая женщина на свете! Ну-с, леди Уайком, разрешите герцогу Зенитскому предложить вам руку и патриархальственно проследовать к монументальственной трапезе!

— Ах, какой вы остроумный, как мило вы шутите!

Когда они окончили импровизированный обед, он выглянул в окно и заявил:

— Очень сыро и холодно. Нечего вам ходить в кино.

— Пожалуй...

— Хорошо, если б у нас был камин! Хорошо, если бы лил дождь, а мы с вами сидели бы в старом-престаром домике и за окнами скрипели бы деревья, а в очаге горели огромные поленья. Знаете что? Давайте пододвинем диванчик к радиатору, вытянем ноги и вообразим, будто это камин!

— Ах, как трогательно! Большой вы ребенок!

Они пододвинули кушетку к радиатору, уперлись в него ногами — его тяжелые черные башмаки угнездились рядом с ее лакированными туфлями. В полутьме они говорили о себе, о том, как она одинока, о том, как он запутался, и как чудесно, что они нашли друг друга. И когда они умолкли, вокруг стало тише, чем в сельской глуши. Ни один звук не доносился с улицы, кроме шороха колес и отдаленного гула товарных поездов. Они были одни, в тепле, в уюте, вдали от шумного, докучливого мира.

Он был в таком восторге, что все страхи, все сомнения улетучились. И когда он на рассвете возвратился домой, восторг перешел в блаженную умиротворенность, полную воспоминаний.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

I

Уверенность в дружбе Танис Джудик укрепила в Бэббите чувство собственного достоинства. В Спортивном клубе он решался на многое. И хотя Верджил Гэнч упорно молчал, остальным

завсегдатаям стола «дебоширов» пришлось признать, что Бэббит по неизвестной причине «немножко спятил». Они громогласно спорили с ним, а он петушился, радуясь такому своеобразному подвижничеству. Он даже осмелился хвалить Сенеку Доуна! Профессор Памфри при этом заявил, что шутка зашла слишком далеко, но Бэббит упорствовал:

— Нет! Это факт! Я вам верно говорю: он один из выдающихся умов нашей страны! Сам лорд Уайком подтверждал, что...

— Да кто такой в конце концов этот лорд Уйаком? Вы долбите про него вот уже шестую неделю! — возмутился Орвиль Джонс.

— Джордж выписал его по каталогу от Сирс-Робека. Этих английских высокопоставленных ломак можно заказывать по почте, два доллара штука! — ввернул Сидни Финкельштейн.

— Перестаньте кривляться! Лорд Уайком — один из величайших умов в политической жизни Англии. Повторяю: сам я, конечно, человек консервативный, но ценю таких людей, как Сенни Доун, за то, что...

Но тут его резко прервал Верджил Гэнч:

— Не уверен, что ты так уж консервативен. А я могу отлично обойтись и без вмешательства красных сволочей, вроде твоего Доуна!

Голос у Гэнча был такой злой, челюсти так крепко сжались, что Бэббит растерялся, но тут же овладел собой и говорил до тех пор, пока всех не охватила скука, потом раздражение и, наконец, сомнение, как Гэнча.

II

Он думал о Танис беспрестанно. С волнением он вспоминал каждую черточку ее лица. Его руки тосковали по ней. «Наконец-то я ее нашел! Столько лет она мне снилась, и теперь я нашел ее!» Они встречались по утрам в кино и попозже, днем, а в те вечера, когда предполагалось, что он на собрании ордена Лосей, он заезжал к ней на квартиру. Он знал все ее финансовые дела, давал ей советы, а она жаловалась на свою женскую беспомощность, хвалила его за властный характер, хотя потом оказывалось, что она разбирается во всяких акциях и бумагах куда лучше него. У них уже накопились общие воспоминания, они подтрунивали над прошлым. Как-то они поссорились, и он сердился, что она так же «командует» им, как его жена, и еще больше ноет, когда он невнимателен. Но все окончилось благополучно.

Лучше всего была одна прогулка в звонкий декабрьский день по засыпанным снегом полям вниз, к замерзшей реке Чалузе. На

Танис была причудливая каракулевая шапочка и короткая бобровая шубка, она скользила по льду с громкими криками, а он, запыхавшись, бежал за ней, расплываясь в улыбке. Майра Бэббит никогда не скользила по льду.

Он боялся, что их увидят вместе. В Зените немыслимо позавтракать с женой соседа без того, чтобы к вечеру об этом не узнали все ваши знакомые. Но Танис была на редкость сдержанна. С какой бы нежностью она ни бросалась к нему, когда они оставались наедине, она всегда держалась на людях строго и отчужденно, и он надеялся, что ее примут за обыкновенную клиентку. Орвиль Джонс однажды увидел, как они выходят из кино, и Бэббит пробормотал: «Разрешите вас познакомить с миссис Джудик. Эта дама знает, в какую контору ей обращаться, Орви». И мистер Джонс, хотя и относился критически к современным нравам и к новомодным стиральным машинам, как будто был удовлетворен.

Больше всего Бэббит боялся — и не от особой любви к жене, а в силу привычки соблюдать приличия,— больше всего он боялся, как бы Майра не узнала о его увлечении. Он был уверен, что ей ничего определенного не известно о Танис, но знал наверняка, что в чем-то таком жена его подозревает. Много лет ей докучали любые проявления нежности, кроме поцелуя при прощании, однако теперь ее обижало, когда ослабевали вспышки супружеского внимания, а тут он и вовсе перестал ею интересоваться и даже испытывал к ней что-то вроде отвращения. Он не мог изменять Танис. Его раздражала расплывшаяся фигура жены, валики жира, выпирающие из платья, потрепанная нижняя юбка, которую она собиралась и все забывала выбросить. Но он понимал, что она, зная его насквозь, замечала это отвращение. Он старательно, тяжеловесно, игриво пытался его замаскировать И не мог.

Рождество провели сравнительно сносно. Пришел Кеннет Эскотт — признанный жених Вероны. Миссис Бэббит пролила слезу и назвала Кеннета своим новым сыном. Бэббит беспокоился за Теда, который перестал жаловаться на университет и стал подозрительно уступчив. Бэббит не знал, что задумал мальчик, а спросить стеснялся. Сам Бэббит тайком ускользнул после обеда, чтобы отвезти Танис подарок — серебряный портсигар. Когда он вернулся, миссис Бэббит что-то уж слишком невинным тоном спросила:

— Что, подышал свежим воздухом?

— Да, прокатился немножко,— пробормотал он.

После Нового года жена сказала:

— Я получила письмо от сестры, Джордж. Она не совсем здорова. Может быть, мне поехать, побыть с ней две-три недели?

Обычно миссис Бэббит никогда не уезжала из дому зимой, кроме как в самых экстренных случаях, к тому же этим летом она отсутствовала несколько недель. Да и Бэббит был не из тех мужей, которые спокойно переносят разлуку с женой. Он любил, чтобы жена сидела дома, заботилась о его одежде, знала, как надо поджарить ему бифштекс, и ему было спокойнее, когда она кудахтала тут рядом. Но в этот раз он даже не мог выдавить из себя обычной фразы: «Неужто она без тебя не обойдется?» И, стараясь изобразить на лице сожаление, чувствуя, что жена пристально следит за ним, он в душе был полон лучезарных мечтаний о Танис.

— Так как же по-твоему — ехать мне или нет? — резко спросила она.

— Решай сама, душенька, я не знаю.

Она со вздохом отвернулась, а его сразу прошиб пот.

Все четыре дня, до самого ее отъезда, она была до странности тиха, а он неуклюже ласков. Ее поезд уходил в полдень. Едва последний вагон исчез за товарным депо, Бэббиту уже не терпелось побежать к Танис.

— Нет, черта с два, не пойду! — поклялся он.— Неделю к ней не покажусь!

Но уже в четыре он был у нее.

III

Он, человек, который когда-то сам был хозяином своей жизни,— или так ему, по крайней мере, казалось,— теперь, вот уже две недели, кружился в водовороте страсти, очень скверного виски и сложнейших отношений с новыми знакомыми, с теми «закадычными» новыми друзьями, которые всегда требуют гораздо больше внимания, чем старые приятели. Каждое утро он мрачно вспоминал, каким идиотом был вчера вечером. Голову ломило, губы и язык горели от бесчисленных сигарет, и, сам себе не веря, он считал, сколько было выпито стаканов виски, и стонал: «Нет, надо бросить!» Он уже больше не говорил: «Довольно, брошу!» — зная, что вся утренняя решимость испарится к вечеру. Остановиться он уже не мог.

Он познакомился с друзьями Танис; его встретили со всем пылом полуночников, которые пьют, танцуют и болтают, боясь замолчать хоть на минутку; его приняли в ту среду, которую Танис называла «наша компания». Познакомился он с ними впервые в день, когда было особенно много работы и он надеялся отдохнуть с Танис, медленно впивая ее восторженное обожание.

Но уже из прихожей он услыхал веселые крики и визг граммофона. Когда Танис открыла дверь, он увидел, что в папиросном

дыму кружатся какие-то фантастические фигуры. Столы и стулья были сдвинуты к стенке.

— О, как чудно! — запищала Танис.— Это Керри Норк придумала! Она решила, что пора собраться, обзвонила всю компанию по телефону, и вот они здесь!.. Джордж, это Керри!

Керри соединяла в себе самые неприятные черты старой девы и домашней хозяйки. Ей давно стукнуло сорок, у нее были сомнительные белокурые волосы и, при совершенно плоской груди, мощные бедра. Бэббита она встретила кокетливым хихиканьем:

— Привет новому члену нашей компании! Танис говорит, что вы мужчина хоть куда!

Очевидно, все ждали, что он будет танцевать, по-мальчишески заигрывать с Керри, и он, по непростительной глупости поддавшись этому, старался как мог. Он таскал Керри по комнате, налетая на другие пары, на радиаторы, на стулья с искусно замаскированными ножками. Танцуя, он разглядывал всю «компанию»: худенькую молодую женщину с умным, заносчивым и насмешливым лицом, еще какую-то особу, которую он потом никак не мог вспомнить, трех слишком хорошо одетых и слегка женственных юнцов — не то официантов из кафе-мороженого, не то людей, рожденных именно для этой профессии. Был там и человек одних лет с Бэббитом, неподвижный, самодовольный, явно обиженный присутствием Бэббита.

Когда он, выполнив свой долг, кончил танцевать, Танис отвела его в сторону и попросила:

— Милый, не можете ли вы сделать мне одолжение? У меня нет ни капли спиртного, а наша компания хочет повеселиться. Вы не могли бы съездить к Хили Хэнсону и достать чего-нибудь?

— Пожалуйста! — сказал он, стараясь не выказывать досады.

— Знаете что? Пусть Минни Зонтаг поедет с вами.— Танис кивнула на худую насмешливую женщину.

Мисс Зонтаг приветствовала его довольно язвительно.

— Здравствуйте, мистер Бэббит! Танис мне сказала, что вы очень выдающаяся личность, и я польщена, что мне разрешено ехать с вами. Конечно, я не привыкла общаться со светскими людьми вроде вас, так что я даже не знаю, как мне держаться в столь высоком обществе!

В таком духе мисс Зонтаг разговаривала всю дорогу до Хили Хэнсона. Ему хотелось на все ее колкости ответить: «Идите вы к черту!» — но он никак не мог решиться на столь разумную реплику. Его раздражало само существование «компании». Уже раньше он слышал от Танис про «душечку Керри» и про то, что «Минни Зонтаг — такая умница, вы ее будете обожать!» — но он как-то не верил в их реальность. Ему представлялось, что Танис

живет в какой-то розовой пустоте и всегда ждет его, свободная от условностей Цветущих Холмов.

Вернувшись в квартирку Танис, он еще должен был вынести покровительственное одобрение юнцов из кафе-мороженого. Они проявляли какое-то слюнявое дружелюбие, под стать сухой враждебности мисс Зонтаг. Они называли его «старина Джорджи», они кричали: «Давай, давай, молодчага! Топай крепче!» — эти мальчишки в спортивных пиджачках, прыщавые щенки не старше Теда, но уже отекшие, как актеры кабаре, умеющие танцевать без передышки, заводить граммофон, курить без конца и покровительственно поощрять Танис. Бэббит пытался стать таким, как они. Он кричал: «Молодчина, Пит!» — но голос у него срывался.

Эти миляги-танцоры были явно по душе Танис, она вся так и вскидывалась от их неумелых ухаживаний и, как бы случайно, чмокала их после каждого танца. В эти минуты Бэббит ее ненавидел. Она казалась ему очень немолодой. Он вглядывался в морщинки на мягкой шее, в складки кожи под подбородком. Все, что в молодости было упругим, уже увяло, опадало. В перерывах между танцами она сидела в огромном кресле, вызывающе помахивая сигаретой, приглашая своих желторотых обожателей посидеть с ней. («Воображает, что она королева какая-нибудь!» — мысленно ворчал Бэббит.) Певучим голоском она спрашивала мисс Зонтаг: «Правда, у меня прелестная студия?» («Тоже еще — студия! Обыкновенная квартирка для старых дев с болонками! Господи, хоть бы скорее домой! Как бы мне удрать отсюда».)

Но у него зарябило в глазах после того, как он вкусил неочищенного, но чрезвычайно крепкого виски от Хилл Хэнсона. Он сразу слился с «компанией». Он радовался, что Керри Норк и Пит — наименее глупый из вертлявых юнцов — хорошо к нему относятся, и ему казалось необычайно важным завоевать расположение неприветливого пожилого человека, который оказался железнодорожным служащим по имени Фултон Бемис.

Все разговоры «компании» состояли из визга, двусмысленностей, намеков на людей, которых Бэббит не знал. Очевидно, друзья Танис были о себе чрезвычайно высокого мнения. Они — «компания», были умны, красивы, забавны. Они и богема, и столичные штучки, им доступна вся роскошь жизни Зенита: танцульки, кино, загородные рестораны. С бесцеремонным презрением ко всем, кого они считали «домоседами» или «скупердяями», они наперебой трещали:

— Ах, Пит, разве я тебе не рассказывала, что́ этот болван кассир мне заявил, когда я немножко опоздала? Не-под-ра-жа-емо глупо!

— Ой, как Т.-Д. надрызгался! Слушай, он просто весь закостенел! А что Глэдис ему сказала?

— Подумайте, какая наглость — Боб Бикерстафф непременно хотел залучить нас к себе домой! Видали такую наглость? Нет, скажите, разве это не наглость?

— А вы видели, как Дотти танцевала? Честное благородное — дальше некуда!

Бэббит во всеуслышание соглашался с недавно ненавистной ему мисс Минни Зоннтаг, что каждый, кто может хоть один вечер прожить без танцев и джаза,— рыба, деревяшка и жалкое существо; а когда миссис Керри Норк лепетала: «Вы любите сидеть на полу? Ах, это так богемно!» — он в ответ орал: «Еще бы!» Теперь вся «компания» казалась ему необыкновенно милой. Когда он упоминал о своих друзьях — сэре Джеральде Доуке, лорде Уайкоме, Уильяме Вашингтоне Иторне и Чаме Фринке, он радовался снисходительному интересу «компании». Он так проникся их легкомысленным духом, что даже не очень расстроился, когда Танис склонилась на плечо к самому юному из молокососов, да и ему самому приятно было пожимать пухлую руку Керри Норк, выпустил он ее только потому, что Танис явно разозлилась.

В два часа ночи он вернулся домой уже полноправным членом «компании» и всю следующую неделю был связан по рукам и ногам чрезвычайно сложными условностями, чрезвычайно утомительными требованиями их веселой и свободной жизни. Ему приходилось бывать на всех их вечеринках, его вмешивали во все телефонные разговоры,— они без конца звонили друг другу, чтобы объяснить, что она вовсе не говорила то, что она якобы говорила, когда говорила то-то и то-то, и почему это Пит ходит и всем говорит, что она это говорила?

Ни в одной семье никогда так настойчиво не расспрашивают, где кто был, как расспрашивали друг дружку члены «компании». Все они непременно знали, где кто находился в данную минуту, или возмущенно требовали подробнейшего отчета за всю неделю. Бэббит ловил себя на том, что объясняет Керри или Фултону Бемису, из-за чего он не смог приехать на вечеринку раньше десяти вечера, да еще надо было извиняться за то, что пришлось обедать с деловыми знакомыми.

Члены «компании» должны были непременно обмениваться телефонными звонками не реже, чем раз в неделю. «Почему вы мне не позвонили?» — с упреком спрашивали Бэббита не только Танис и Керри, но и новые «закадычные» друзья: Дженни, и Капитолина, и Тутс.

И если был такой момент, когда Танис показалась ему увядшей и сентиментальной, то впечатление это совсем исчезло на

вечере у Керри Норк. У миссис Норк был огромный дом и маленький муж. К ней на вечер пришла вся «компания»: когда собирались все полностью, их было человек тридцать пять. Теперь Бэббит, известный под именем «старина Джорджи», стал одним из старожилов «компании», так как в ней каждый месяц состав обновлялся наполовину, и тот, кто помнил доисторические времена, то есть две недели назад, еще до того, как миссис Эбсолом, специалист по лечебному питанию, уехала в Индианаполис, а Мак «разобиделся» на Минни, тот мог считаться одним из заслуженных главарей «компании», имел право снисходить к новым Питам, Глэдисам и Минни.

В гостях у Керри Танис не приходилось хозяйничать. Она держалась самоуверенно, с достоинством, изящная и красивая, в черном шифоновом платье, которое он так любил. В этом огромном безобразном доме было много укромных уголков, где Бэббит мог посидеть с ней спокойно. Он раскаивался в тогдашней неприязни, таял у ее ног и, счастливый, отвез ее домой. На следующий день он купил ярко-желтый галстук, чтобы ради нее казаться моложе. Он с грустью сознавал, что красивым он стать не может, видел, что он тяжеловат, склонен к полноте, но он танцевал, наряжался, много говорил, стараясь сделаться таким же молодым, как она... вернее, как она казалась.

IV

Как все новообращенные — будь то в религии, в любви или в садоводстве — словно по волшебству обнаруживают, что хотя им до сих пор казалось, будто эти увлечения и вовсе не существуют на свете, но на самом деле весь мир только ими и полон,— так и Бэббит, обращенный на путь разгула, везде находил для этого приятные возможности.

Совершенно по-новому представлялся ему теперь его гуляка сосед, Сэм Доппелбрау. Доппелбрау были люди респектабельные, люди работящие, люди состоятельные, но идеалом счастья для них был вечный кабак. Главное место в их жизни занимали загородные пирушки в угаре алкоголя, никотина, бензина и поцелуев. Он и его знакомые отлично работали всю неделю и всю неделю ждали субботы, когда они, по их выражению, «затевали вечеринку», и затеянная вечеринка становилась все шумнее и шумнее до самого воскресного утра и обычно кончалась бешеной гонкой на машинах неизвестно куда.

Однажды вечером, когда Танис ушла в театр, Бэббит попал в веселую компанию к Доппелбрау и там клялся в дружбе людям,

о которых он много лет подряд конфиденциально говорил миссис Бэббит, что это просто шайка бездельников, с которыми он не стал бы якшаться даже на необитаемом острове! В этот вечер он уныло приплелся домой и стал возиться во дворе, счищая с дорожки ледяные комья, следы чьих-то ног, застывшие после снегопада и похожие на ископаемые. К нему подошел, шмыгая носом, Говард Литтлфилд.

— Все еще вдовеете, Джордж?

— Угу. Опять вечер холодный.

— Что пишет жена?

— Ничего, здорова, а вот сестра у нее до сих пор хворает.

— Вы бы зашли к нам сегодня пообедать, Джордж.

— М-мм... нет, спасибо! Мне надо уходить.

Вдруг он почувствовал, что ему ненавистен Литтлфилд с его «интересными статистическими данными» по совершенно неинтересным вопросам. Он скреб дорожку, ворча себе под нос.

Тут появился Сэм Доппелбрау.

— Добрый вечер, Бэббит. Трудитесь?

— Ага. Надо размяться.

— Любите, когда такой морозец?

— Да, ничего.

— Все вдовеете?

— М-да...

— Слушайте, Бэббит, пока вашей супруги нет... Я знаю, вы насчет выпивки не очень, но мы с женой были бы страшно рады, если б вы завернули к нам вечерком. Может, выдержите разок хороший коктейль?

— Выдержу? Нет, молодой человек, видно, вы не знаете, что дядя Джордж такие коктейли умеет сбивать, каких во всей Америке не сыщешь!

— Урррaa! Вот это другой разговор! Слушайте: у нас сегодня кое-кто собирается, Луэтта Свенсон и еще всякий веселый народ, откупорим бутылку довоенного джина, потанцуем. Почему бы и вам не забежать, не встряхнуться для разнообразия?

— Ну что ж... а в котором часу?

Он пришел к Сэму Доппелбрау ровно в девять. В этом доме он был в третий раз. Но к десяти он уже звал мистера Доппелбрау «Сэм, старая калоша!».

В одиннадцать все поехали в ресторан «Старая ферма». Бэббит сидел в машине Доппелбрау рядом с Луэттой Свенсон. Когда-то он робко пытался за ней ухаживать. Теперь он не пытался, а просто ухаживал изо всех сил, и Луэтта, склонив ему головку на плечо, жаловалась, какой тяжелый человек Эдди, и смотрела на Бэббита как на светского и опытного сердцееда.

Из-за «компании» Танис, семьи Доппелбрау и других искателей забвения Бэббит в течение двух недель каждый вечер возвращался домой поздно, еле держась на ногах. Даже когда он был как в тумане и уже не мог идти, он все же сохранял способность хорошо вести машину: замедлять ход на перекрестках, разъезжаться с другими автомобилями. Покачиваясь, он входил в дом. Когда Верона и Кеннет Эскотт сидели в гостиной, он пробирался мимо них, торопливо здоровался, мучительно ощущая на себе взгляд их спокойных молодых глаз, и прятался наверху. В теплом доме он чувствовал, что он гораздо пьянее, чем ему казалось. Голова кружилась. Лечь он не решался. Он пытался выгнать хмель горячей ванной. На какой-то миг голова прояснялась, но, двигаясь по ванной комнате, он терял глазомер, сбрасывал полотенца, с грохотом ронял мыльницу и пугался, что выдаст себя перед детьми. Дрожа от холода, в халате, он пытался читать вечернюю газету. Он не пропускал ни слова, он как будто понимал смысл написанного, но через минуту не смог бы сказать, о чем только что читал. Стоило ему лечь, как у него мутилось в голове, и он поспешно садился, пытаясь овладеть собой. Наконец он успокаивался, хотя его слегка подташнивало, кружилась голова и жег невыносимый стыд. Скрывать свое «состояние» от собственных детей! Танцевать и орать в компании людей, которых презираешь! Болтать глупости, петь идиотские песни, пытаться целовать каких-то дур! Сам себе не веря, он вспоминал, как он крикливо фамильярничал с юнцами, которых он в два счета выгнал бы из своей конторы, как они покровительственно хлопали его по плечу и как самая ехидная, стареющая дама делала ему замечания за то, что он танцевал слишком пылко. И при этих воспоминаниях он рычал: «Ненавижу себя! Боже, как я себя ненавижу!» И в бешенстве клялся: «Довольно! Конец! Хватит!»

На следующее утро он еще тверже уверился, что все кончено, и за завтраком по-отечески серьезно разговаривал с дочками. Но к полудню уверенность несколько ослабела. Он не отрицал, что вел себя глупо,— это он понимал почти так же отчетливо, как ночью,— но все-таки даже такая жизнь лучше, чем возвращаться к деланной задушевности клубных приятелей. В четыре часа ему уже хотелось выпить. Теперь у него в столе обычно стояла бутылка виски, и, поборовшись с собой минуты две, он выпивал глоток. После трех-четырех глотков ему уже начинало казаться, что вся «компания» сплошь — милейшие и занятнейшие люди, друзья, а в шесть часов он уже снова был среди них... и все повторялось как по-писаному.

Голова по утрам стала болеть меньше. Сначала его спасение было в том, что он плохо переносил алкоголь, но и это спаситель-

ное свойство постепенно пошло прахом. Вскоре он уже мог пить до рассвета и вставать в восемь часов, не чувствуя особенной тяжести ни на душе, ни в желудке.

Но ни угрызения совести, ни желание избавиться от напряженных усилий — как бы не отстать от бурно веселящейся компании,— ничто не могло сравниться с чувством неполноценности, когда он действительно начинал «отставать». Для него быть самым «компанейским» из всей компании стало такой же целью, как зарабатывать много денег, хорошо играть в гольф, говорить речи, прорваться в круг Мак-Келви. Но все же он иногда «отставал».

Он обнаружил, что Пит и другие юнцы считают «компанию» слишком добродетельной и благопристойной и что Керри, которая всего лишь целовалась по уголкам, слишком верна супружескому долгу. Так же как Бэббит удирал с Цветущих Холмов в «компанию», так эти молодые франты удирали от приличного общества и «проводили время» с разбитными девицами, с которыми знакомились в универсальных магазинах и в гардеробных отелей. Однажды Бэббит попробовал съездить с ними. Его усадили в машину с бутылкой виски и с крикливой приземистой кассиршей от Парчера и Штейна. Он сидел рядом с ней и не знал, что делать. Очевидно, от него ждали, что он ее будет «развлекать», но когда она взвизгнула: «Эй, рукам воли не давать, не жмите меня!» — он растерялся и не знал, как быть дальше. Потом все сидели в задней комнате какого-то кабака, у Бэббита трещала голова, он не понимал их нового жаргона, смотрел на них снисходительно, мечтал поскорее попасть домой и пил — слишком много пил.

Дня два спустя Фултон Бемис, тот самый пожилой, угрюмый член «компании», отвел Бэббита в сторону и сказал:

— Слушайте, это, конечно, дело не мое, и видит бог, что я сам свою порцию спиртного всегда вылакаю, но вам не мешает быть поосторожней. Характер у вас чересчур восторженный, такие всегда перехватывают. Разве вы не замечаете, что пьете без передышки, закуриваете одну сигарету о другую? Лучше бы вам малость передохнуть.

Со слезами на глазах Бэббит сказал, что добрый старый Фулт — король над всеми и что он непременно передохнет малость, но тут же закурил, выпил виски и дико поссорился с Танис, когда она увидела, как он заигрывает с Керри Норк.

На следующее утро он ненавидел себя за то, что упал столь низко: такое ничтожество, как Фултон Бемис, смеет ему указывать! Заметил он также, что, с тех пор как он стал ухаживать за всеми женщинами подряд, Танис перестала быть его единственной ясной звездой, и он усомнился, не была ли она для него всего-навсего Женщиной. И если уж Бемис делает ему замечания, то что

же говорят другие? В этот день он подозрительно следил за всеми знакомыми в Спортивном клубе. Ему казалось, что им неловко. Значит, они говорили о нем за его спиной? Он рассердился. Он впал в воинственный тон. Он не только защищал Сенеку Доуна, он даже издевался над ХАМЛом. Верджил Гэнч отвечал довольно резко.

Но потом Бэббит перестал сердиться. Он перепугался. На очередной завтрак в клубе Толкачей он вообще не пошел, а скрылся в дешевом ресторанчике и, взяв бутерброд с ветчиной и яйцом, запивал его кофе из чашки, стоявшей на ручке кресла, и маялся от беспокойства.

Дня через четыре «компания» затеяла одну из самых веселых прогулок. Бэббит повез их всех на каток, устроенный на реке Чалузе. После оттепели все мостовые покрылись гладкой наледью. Ветер завывал в бесконечных широких улицах, меж деревянных домов, и весь район Бельвю казался окраинным городком. Даже надев цепи на все колеса, Бэббит боялся за машину и, когда пришлось ехать по обледеневшему спуску, поехал медленно, на обоих тормозах. Из-за угла выскочила менее осторожная машина. Ее занесло, и она чуть не зацепила их задним крылом. Обрадовавшись избавлению от опасности, вся «компания» — Танис, Минни Зоннтаг, Пит, Фултон Бемис — заорала: «Ух ты!..» — и замахала руками перепуганному водителю второй машины. И тут Бэббит увидел профессора Памфри — он тяжело подымался в гору пешком и как сыч уставился на веселых кутил. Бэббит был уверен, что Памфри узнал его и видел, как Танис его расцеловала, щебеча: «Ах, вы так изумительно правите!»

На следующий день, за завтраком, он пустил пробный шар, сказав профессору Памфри:

— Ездил вчера с братом и его друзьями. Ну и дорога! Скользкая, как стекло! Кажется, вы в это время шли вверх по Бельвю-авеню?

— Нет, нет... Не шел... Я вас не видел! — виновато заторопился Памфри.

А еще дня через два Бэббит повез Танис завтракать в отель «Торнлей». Она, которая сначала так охотно ждала его у себя, стала часто намекать с печальной улыбкой, что он, видно, ее не уважает, если не хочет знакомить со своими друзьями, не желает нигде с ней показываться, кроме как в кино. Он подумал было пригласить ее в «дамский салон» при Спортивном клубе, но это было слишком опасно. Пришлось бы ее со всеми знакомить, да и вообще люди могли подумать бог знает что, а тогда... Он пошел на компромисс, выбрав отель «Торнлей».

Она была необычайно элегантна, вся в черном; маленькая

черная шляпка, короткая каракулевая шубка, свободная и широкая, строгое, наглухо закрытое черное бархатное платье, хотя в том сезоне даже уличные костюмы походили на вечерние наряды. Может быть, она была даже чересчур элегантна. В ресторане, отделанном под дуб с позолотой, все оборачивались, когда Бэббит вел ее к столику. Ему было неловко, и он надеялся, что метрдотель устроит их в укромном уголке, за колоннами, но их усадили в самой середине зала. Танис, как будто не замечая восхищенных взглядов, расточала улыбки Бэббиту, восторгаясь: «Ах, как тут чудесно! Какой веселый оркестр!» Бэббиту было не до восторгов: через два столика он увидел Верджила Гэнча. Во время завтрака Гэнч следил за ними, а Бэббит следил, как за ними следят, и делал смехотворные попытки вести себя так, чтобы не испортить настроение Танис. «Сегодня мне так весело! — заливалась она.— Мне ужасно нравится в «Торнлее»! Здесь очень оживленно и вместе с тем так... так изысканно!»

Он старался говорить о ресторане, о том, что и как им подают, о знакомых, которых он узнал, обо всех, кроме Верджила Гэнча. Больше ему не о чем было говорить. Он добросовестно улыбался шуткам Танис, он соглашался с ней, что «с Минни Зоннтаг так трудно дружить» и что «юный Пит — ленивый глупый мальчишка, просто негодник!». Но добавить ему было нечего. Сначала он хотел рассказать ей, как его беспокоит Гэнч, а потом решил: «Нет, не стоит, слишком долго придется объяснять и про Верджа, и вообще про все».

Он облегченно вздохнул, усадив Танис в трамвай, а вернувшись в контору, сразу повеселел в привычной простой обстановке.

В четыре часа к нему пришел Верджил Гэнч.

Бэббит заволновался, но Гэнч начал дружески:

— Ну, как живешь? Знаешь, у нас есть один план, и нам очень хотелось бы, чтобы и ты присоединился!

— Отлично, Вердж. Выкладывай!

— Помнишь, как во время войны мы весь этот нежелательный элемент, всех красных, с их делегациями, ну и вообще всяких там разных ворчунов — всех прижали к ногтю, да и после войны им ходу не было, но люди забывают об опасности, а этим смутьянам только того и надо, они снова начали исподтишка свою работу, особенно эти салонные социалисты. Так вот, надо людям разумным, сознательным объединиться и помешать этому сброду. Один парень там, в восточных штатах, именно для этой цели организовал Лигу Честных Граждан. Разумеется, и Торговая палата, и Американский легион, и все остальные изо всех сил стараются, чтобы порядочные люди взяли верх, но у них столько других дел, что этой задаче они не могут отдавать достаточно времени. Но

Лига Честных Граждан — ЛЧГ,— она только этим и будет заниматься. Конечно, для видимости у Лиги должны быть и другие задачи — скажем, тут, в Зените, Лига будет поддерживать проект насаждения новых парков и городской комитет плановой застройки, а кроме того, она будет представлять определенные слои общества, в нее войдут только избранные, и, скажем, при устройстве вечеров и тому подобного можно будет не приглашать всяких смутьянов, а, как известно, нет ничего сильнее общественного бойкота, когда речь идет о людях более или менее заметных, которых ничем другим не проймешь. А если и это не поможет, Лига в конце концов пошлет небольшую депутацию к тем, кто слишком распоясался, члены Лиги укажут, что надо держать себя в рамках пристойности и не трепать языком почем зря. Тебе не кажется, что такая организация может принести огромную пользу? Мы уже получили согласие лучших людей города и, конечно, хотим, чтобы и ты присоединился. Как ты на этот счет?

Бэббиту было очень не по себе. Он чувствовал, что его насильно тянут назад, в ту стандартную жизнь, от которой он так бессознательно, но так настойчиво старался убежать. Он неловко забормотал:

— Наверно, вы особенно будете нападать на таких, как Сенека Доун,— хотите их тоже припугнуть...

— Вот именно, можешь голову прозакладывать! Слушай, Джорджи, друг, ведь я-то ни на минуту не верил, что ты всерьез защищаешь Доуна и забастовщиков и все такое, когда ты за них вступался в клубе. Я знал, что ты просто разыгрываешь всяких дурачков, вроде Сидни Финкельштейна... Ей-богу, хочется верить, что ты их разыгрывал.

— Да, конечно... только, видишь ли...— Под беспощадным проницательным взглядом Гэнча Бэббит почувствовал, как неубедительно звучит его голос.— Да ты сам знаешь, чем я дышу! Разве я какой-нибудь агитатор? Я — деловой человек, всегда, везде и во всем. Но... но честно говоря, я не думаю, что Доун такой уж вредный, и потом не забывай, что он мой старый товарищ!

— Знаешь, Джордж, когда речь идет о борьбе за наши порядки, за безопасность наших очагов, против шайки ленивых псов, которым только и нужно, что пить пиво на даровщинку, ты должен порвать даже самую старую дружбу. «Тот, кто не со мною, тот против меня!»

— Д-а-а, может, это и верно...

— Так как же? Вступаешь к нам, в Лигу Честных Граждан?

— Надо подумать, Вердж.

— Ладно, как знаешь.— Бэббит обрадовался было, что все так легко сошло ему с рук, но Гэнч снова заговорил: — Джордж,

я не могу понять, что с тобой приключилось, и никто из нас не понимает, мы о тебе не раз говорили. Сначала мы думали, что тебя расстроила эта история с несчастным Рислингом, мы прощали тебе все, что ты болтал, но это дело давнее, Джордж, а мы до сих пор никак не поймем, что с тобой творится. Сказать по правде, у меня уже терпение лопнуло. Да и все наши — и в Спортивном, и в клубе Толкачей — злы на тебя за то, что ты нарочно хвалишь этого Доуна и его проклятую шайку, болтаешь, что надо, мол, быть терпимым — а по-нашему, это значит слюнтяем! — и даже уверяешь, что этот чертов проповедник, Ингрэм, вовсе не профессиональный сутенер. А как ты себя ведешь! Джо Памфри говорил, что видел тебя вчера с какими-то непотребными бабами, пьяного в дым, а сегодня черт тебя дернул явиться прямо в «Торнлей» с этой... нет, я ничего не говорю, может быть, она и вполне порядочная женщина, настоящая леди, но вид у нее был что-то слишком легкомысленный, с такими не ходят завтракать, когда жены нет в городе! Нехорошо это выглядит. Что за чертовщина с тобой творится, Джордж?

— Слишком вы все суете нос в мои личные дела, я и сам про себя того не знаю, что вы...

— Брось ты на меня обижаться, я с тобой откровенно говорю, как друг, прямо в глаза, а не сплетничаю за спиной, как другие. И еще скажу, Джордж, ты занимаешь видное положение в обществе, и общество требует, чтобы ты и жил как подобает. Словом, подумай-ка хорошенько и вступай в Лигу Честных Граждан. Мы еще об этом поговорим.

И он ушел.

Вечером Бэббит обедал в одиночестве. Ему казалось, что весь Клан Порядочных Людей заглядывает в окна ресторана, шпионит за ним. Страх сидел с ним рядом, и он уверял себя, что сегодня не пойдет к Танис, и не пошел... до позднего вечера.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

I

Прошлым летом миссис Бэббит во всех своих письмах трещала о том, как ей хочется поскорее домой, в Зенит. Теперь ничего такого в них не было, но мелькнувшая между сухими сообщениями о погоде и болезнях грустная строка «надеюсь, вы без меня прекрасно обходитесь» ясно намекала, что Бэббит, мол, не очень-то жаждет ее приезда. Он без конца об этом думал: «Если б я тут, при ней, загулял, как сейчас, ее бы хватил удар. Надо взять себя

в руки. Надо научиться и жить в свое удовольствие, и не валять дурака. Мне это не так уж трудно, только пускай такие, как Вердж Гэнч, ко мне не лезут, да и Майре лучше быть от меня подальше. Бедняжка, видно, здорово истосковалась по дому. Господи, да разве я хочу ее обидеть!»

В порыве жалости он написал, что все по ней соскучились, и в следующем письме она радостно сообщила, что возвращается.

Он уговаривал себя, что хочет ее видеть. Он накупил роз, заказал на обед дичь, велел вычистить и отполировать машину.

По дороге с вокзала он еще с воодушевлением рассказывал ей об успехах Теда в баскетбольной команде, но, подъезжая к Цветущим Холмам, уже не знал, о чем говорить, и, всем существом чувствуя, какая она недалекая и бесцветная, думал, сможет ли он остаться хорошим мужем и все-таки хоть на полчасика удрать сегодня вечером в «компанию». Поставив машину в гараж, он побежал наверх, в знакомую, пахнущую пудрой теплоту ее комнаты и нарочито весело пробасил:

— Помочь распаковать чемодан?

— Нет, я сама.

Она медленно подошла к нему, держа в руках небольшую коробочку, и медленно проговорила:

— Привезла тебе подарок... так, пустяки — новый портсигар. Не знаю, нужен он тебе или нет.

Сейчас она походила на ту застенчивую девушку, смуглую милую Майру Томпсон, на которой он когда-то женился, и он, чуть не плача от жалости и целуя ее, умоляюще шептал:

— Милая ты моя, милая, да как же «не нужен»! Еще как нужен. Ты не знаешь, какое ты мне доставила удовольствие. Да и старый мой портсигар никуда не годится!

А мысленно он прикидывал, куда ему деть портсигар, купленный неделю назад.

— И ты вправду рад, что я вернулась?

— Бедняжка ты моя, еще что выдумала!

— Мне показалось, что ты не особенно по мне скучал.

После его вранья она снова почувствовала себя крепко связанной с ним. К десяти часам вечера ему уже не верилось, что она вообще уезжала. Одно только изменилось: надо было придумать, как остаться добропорядочным мужем, как полагалось на Цветущих Холмах, и вместе с тем продолжать по-прежнему видеться с Танис и с ее «компанией». Он обещал позвонить Танис в тот же вечер, но сейчас это оказалось трагически невозможным. Он кружил около телефона, бессознательно протягивал руку, чтобы снять трубку, но не смел рискнуть. Не мог он и найти предлог, чтобы выскочить из дому в аптеку на Смит-стрит, где был теле-

фон-автомат. Его мучило это невыполненное обещание, пока он не плюнул на него, сказав себе: «А какого черта мне волноваться из-за того, что нельзя позвонить Танис? Может и без меня обойтись. Я у нее не в долгу. Она славная женщина, но мы с ней оба дали друг другу все, что могли... А, черт их подери, этих баб, вечно из-за них начинаются осложнения!»

II

Целую неделю он был внимателен к жене, водил ее в театр, на обед к Литтлфилдам, но потом пошли привычные вялые увертки и отговорки, и Бэббит по крайней мере два вечера в неделю проводил с «компанией». По-прежнему он делал вид, что ходит на собрания ордена Лосей или на заседания комиссии, но все реже заботился о том, чтобы выдумывать правдоподобные предлоги, а жена все реже и реже делала вид, будто верит им. Он был убежден, что она знает, с какой «легкомысленной», как говорили на Цветущих Холмах, компанией он связался, но оба молчали. В брачной географии расстояние от первых безмолвных признаков разрыва до окончательного признания его столь же велико, как расстояние от первого наивного доверия до первого сомнения.

Но чем больше он отдалялся от жены, тем яснее видел в ней человека со своими достоинствами и недостатками, а не просто принимал ее, как некое движимое имущество. С жалостливой нежностью он думал об их отношениях, ставших за двадцать пять лет супружеской жизни чем-то реальным, отчетливо ощутимым. Он вспоминал лучшие минуты их жизни: летний отдых в долине Виргинии, у подножия синих гор, автомобильное путешествие по штату Огайо с заездами в Кливленд, Цинциннати и Колумбус; рождение Вероны; постройку этого дома, рассчитанного на спокойную и счастливую старость,— у обоих стоял комок в горле, когда они сказали друг другу, что, может быть, для них это будет последнее жилище. Но самые трогательные воспоминания не мешали ему рычать за обедом:

— Да, ухожу часа на два! Не жди меня!

Он не смел являться домой пьяным, и хотя его радовало такое возвращение к высоконравственной жизни и он внушительно делал выговоры Питу и Фултону Бемису за их пьянство, его раздражали невысказанные попреки Майры, и он угрюмо размышлял: «Разве человеку можно научиться жить самостоятельно, когда им вечно командуют женщины!»

Танис уже не казалась ему постаревшей и сентиментальной. По сравнению с медлительной Майрой она представлялась ему

легкой, крылатой, сияющей, словно дух огня, снизошедший к очагу смертных, и с какой бы жалостью он ни думал о жене, его всегда влекло к Танис.

Но вдруг миссис Бэббит сорвала покров приличий со своих горьких переживаний, и удивленный супруг обнаружил, что и она в меру своих сил решительно взбунтовалась.

III

Они сидели вечером у холодного камина.

— Джорджи,— сказала она,— ты мне еще не показал запись расходов по дому за время моего отсутствия.

— Да я... я еще не записал...— И спокойным голосом он добавил: — Придется нам в этом году сократить расходы.

— Конечно. Не знаю, куда столько уходит. Стараюсь экономить, но деньги просто улетучиваются.

— Нельзя мне столько тратить на сигары. Пожалуй, буду меньше курить, а то и совсем брошу. Я придумал, как отучиться: надо брать эти душистые сигареты, от них сразу начинает тошнить и курить не хочется.

— Ах, как было бы хорошо, если б ты бросил! Не то чтобы мне это мешает, но, честное слово, Джордж, тебе так это вредно! Может быть, ты бы курил поменьше? И еще, Джорджи... я замечала, что, когда ты возвращаешься домой с этих собраний, от тебя иногда пахнет виски. Ты знаешь, милый, что меня не так беспокоит нравственная сторона, но у тебя такой слабый желудок, тебе вредно пить!

— Слабый желудок, черт подери! Да я могу пить ничуть не хуже других!

— И все-таки тебе следует быть осторожнее. Понимаешь, милый, я не хочу, чтобы ты заболел.

— Заболел, еще чего! Я не младенец! Как это я могу заболеть оттого, что опрокину раз в неделю стаканчик-другой! Ох уж эти женщины — беда с ними! Вечно преувеличивают!

— Джордж, пожалуйста, не говори таким тоном, ведь я хочу тебе добра!

— Знаю, знаю, но в этом-то вся загвоздка — беда с вами, бабами! Вечно критикуют, и попрекают, и пристают, а потом, извольте видеть, «я хотела тебе добра!».

— Послушай, Джордж, нехорошо так говорить со мной, что за резкости!

— А-аа, да я и не хотел говорить резко, но, черт, сама доводишь... разговариваешь со мной, будто я сопляк из детского сада,

не могу выпить стаканчик — сразу надо вызывать «скорую помощь»! Хорошо же ты обо мне думаешь!

— Не в этом дело. Просто мне... мне не хочется, чтобы ты заболел, и я... Ох, я и не заметила, что уже так поздно! Не забудь показать мне счета за то время, что меня не было!

— Да на кой черт я буду с ними возиться? Забудем о них — и все!

— Слушай, Джордж Бэббит, за все годы, что мы женаты, мы с тобой каждый цент записывали!

— В том-то и беда!

— Да ты понимаешь, что говоришь?

— Ничего я особенного не сказал, только иногда мне до того осточертевает вся эта рутина — и в конторе считай, и дома считай, и крутись, и вертись, и ни отдыха, ни сроку, а все из-за какой-то чуши, черт ее дери, сидишь и корпишь, о господи, твоя воля!.. Да неужто, по-твоему, я создан для такой жизни? Я мог бы стать замечательным оратором, а тут только и знаешь одни заботы, и возню, и хлопоты...

— А я, по-твоему, не устаю от всех этих забот? До того надоело три раза в день заказывать завтраки, обеды, ужины, триста шестьдесят пять дней в году подряд, и портить себе глаза у этой проклятой швейной машины, чинить платье и тебе, и Роне, и Теду, и Тинке — всем, и о стирке заботься, и носки штопай, и на рынок ходи, и корзину сама носи, только бы не платить за доставку,— словом, все, все для вас делай!

— Фу-ты, черт! — удивился он.— Конечно, и тебе не сладко. Но разве сравнишь... Я-то как про́клятый сижу в конторе с утра до вечера, а ты весь день свободна, можешь гулять, ходить в гости, болтать с соседями — словом, делать все, что душе угодно...

— Да разве это удовольствие! Вечно одни и те же разговоры, одни и те же люди, а к тебе приходят интересные посетители, ты видишь столько народу.

— Интересные? Сумасшедшие старушонки, которые требуют отчета, почему я не сдал их драгоценные домишки в семь раз дороже против настоящей цены, или старые хрычи, придут, ругаются на чем свет стоит: им, видите ли, надо получать аренду всю, до цента, ровно к трем часам дня по гринвичскому времени второго числа каждого месяца! Еще бы! Интересные! Черная оспа и то интереснее!

— Сейчас же перестань кричать на меня, Джордж!

— Закричишь тут, зло берет на женщин — думают, у человека только и забот, что сидеть в кресле и любезничать с шикарными дамочками, глазки им строить!

— Да уж если тебе такая попадется, ты и в конторе ухитришься с ней полюбезничать!

— Ты что? Думаешь, я за девчонками бегаю?

— Надеюсь, что нет — в твои-то годы!

— Ну знаете! Можешь не верить, но я... Конечно, ты во мне только и видишь толстого старого Джорджа Бэббита. Ясно! Что я для тебя — просто мужчина в доме! Котел топить, когда истопник не явится, платить по счетам — на это он способен, но скучно с ним до одури! Так вот, можешь не верить, но есть женщины, для которых твой старый Джордж Бэббит — совсем неплохой малый. Им-то он уродом не кажется, наоборот, на него и посмотреть приятно, и поговорить он умеет, а есть среди них и такие, с которыми он и потанцевать может лихо, не хуже всякого другого.

— Да-а...— медленно протянула она.— Не сомневаюсь, что стоит мне уехать, как ты находишь людей, которые тебя ценят по-настоящему...

— Да нет, разве я о том,— запротестовал было он. Но тут же, в сердцах, решился на полупризнание: — А что ж, и нахожу! Находятся люди, и очень приличные, черт возьми, для которых я не ребенок с больным желудком!

— Об этом я и говорю! Ты можешь развлекаться, с кем тебе угодно, а я должна тут сидеть, дожидаться! У тебя есть все возможности жить культурной жизнью, все видеть, а мне только и остается, что торчать дома.

— О господи боже мой, да кто тебе мешает читать книжки, ходить на разные лекции или как они там называются, слушать всякую чертовщину?

— Джордж, я тебе сказала, не смей орать на меня! Что это с тобой, ума не приложу. Никогда в жизни ты так безобразно со мной не разговаривал!

— Ничего тут безобразного нет; ей-богу, обидно, когда ты сваливаешь на меня всю вину за то, что ты отстала от жизни.

— А я и не буду больше отставать. Хочешь мне помочь?

— Конечно. Там, где дело касается культуры,— я к твоим услугам! Подписано: Дж.-Ф. Бэббит!

— Отлично, тогда пойдем со мной на собрание лиги «Новая Мысль», на лекцию миссис Мадж, в воскресенье днем.

— Что, что? Куда?

— На лекцию миссис Опал Эмерсон Мадж. Она разъездной лектор американской лиги «Новая Мысль». Она выступит на тему «Возрождение Солнечной Души» перед Лигой Высокого Посвящения в отеле «Торнлей».

— Что за чушь! Перемолотые выдумки под новым соусом! «Возрождение»... Похоже на загадку: «Когда ходят на бал кони?»

Нечего сказать, хорошее место для верующей пресвитерианки, нашла куда ходить, вместо того чтобы слушать дока Дрю!

— Достопочтенный Дрю, конечно, ученый и хороший проповедник и все такое, но в нем не хватает внутреннего фермента, как говорит миссис Мадж, нет у него тяготения к Новой Эре Духа. А женщина ищет одухотворенности. Так что ты, пожалуйста, пойди со мной, ты же обещал!

IV

Зенитский филиал Лиги Высокого Посвящения снял под собрание малый банкетный зал отеля «Торнлей» — изысканное помещение с бледно-зелеными стенами и лепными венками из роз, изысканным паркетным полом и сверхизысканными хрупкими золочеными стульями. Всего собралось шестьдесят пять женщин и десять мужчин. Почти все мужчины сидели понуро или ерзали на месте, но их жены держались подчеркнуто чинно, и только у двух мужчин, толстяков с бычьими затылками, вид был столь же благоговейный, как у их жен. Это были недавно разбогатевшие подрядчики, которые, купив дома, автомобили, кошки картин и благородное происхождение, теперь покупали изысканную философию в расфасованном виде. Они еще не решили — купить ли им Новую Мысль, Христианскую Науку или добротную, стандартную, новейшего образца веру епископального толка.

Во плоти мисс Опал Эмерсон Мадж никак не походила на пророчицу. Она была коренастая, как пони, пухлая, с лицом высокомерного мопса, кнопкой вместо носика и такими короткими ручками, что, сидя в ожидании у председательского стола, она при всех самых напряженных усилиях никак не могла сложить их на животике. Ее тафтовое платье, отделанное зеленым бархатом, стеклянные бусы в три ряда и огромный лорнет на черной ленте были верхом изысканности.

Председательница Лиги Высокого Посвящения, старообразная барышня в белых гетрах, с тягучим голосом и усиками, представила собранию миссис Мадж. Она сказала, что миссис Мадж изложит в доступной самому неискушенному уму форме, как культивировать в себе Солнечную Душу, и те, кто собирается этим заняться, должны внимательно и благоговейно слушать миссис Мадж, так как даже Зенит (а всякому известно, что Зенит идет в авангарде духовного прогресса и Новой Мысли) не так часто имеет возможность внимать поучениям столь вдохновенной оптимистки и метафизической провидицы, как миссис Опал Эмерсон Мадж, которая живет жизнью Верховного Предназначения

посредством Углубленности, обретя в Молчании те Тайны Высшего Самоконтроля, а также Духовный Ключ, который немедленно откроет перед страждущим человечеством путь к миру, могуществу и процветанию, так что вы, друзья, позабудьте на этот драгоценный и сокровенный час всю иллюзию кажущейся действительности и, активизируя в себе потаенную Истину, вступите об руку с миссис Опал Эмерсон Мадж в Царство Высшей Красоты.

Хотя миссис Мадж, при всей своей полноте, не особенно соответствовала представлению о йогах, ясновидящих, посвященных и пророках, голос у нее звучал вполне профессионально. Речь ее была культурной, жизнерадостной, необычайно спокойной, она лилась сплошным потоком, без единой запятой, так что Бэббит был совсем загипнотизирован. Любимым ее словом было «вечно» — она произносила «вэ-ээч-но». Любимым жестом — торжественное и вместе с тем по-дамски грациозное благословение двумя короткими пальчиками.

Она объясняла, что такое Духовное Насыщение:

— Есть лю-у-у-ди...

Она произнесла это слово сладко и тягуче, как дальний нежный зов в минорной гамме. Звук этот целомудренным укором коснулся ерзавших на стульях мужчин, но в нем был и залог духовного исцеления беспокойной души.

— Есть люди, коснувшиеся внешней кажущейся сущности Логоса, есть другие, кому дано было заглянуть в бездну и в экстазе овладеть какой-то частью этого Логоса, есть люди, которых затронуло, но не пронизало, не радиоактивизировало Динамическое Естество, и они мечутся, веруя в то, что вникли в Логос и Метафизику и проникнуты ими, но Слово, которое я несу вам, Понятие, которое я расширяю, учат, что эти люди не являются цельными, не являются восприемлющими и что святость в своей сущности вечно, вечно, вечно едина и что...

В общем, выяснилось, что сущностью Солнечной Души является Истина, но ее Аурой и ее Эманацией — Жизнерадостность.

— Всегда встречайте день рассветной улыбкой радости посвященных, постигших, что все идет на благо коловращению миров, и отвечающих на судороги Горьких Душ отрицателей радостным утверждением...

В таком духе она трещала час семь минут.

В конце миссис Мадж заговорила с еще бóльшим пылом и уже со знаками препинания:

— А теперь разрешите указать вам на преимущества Теософически-пантеистического Восточного Просветительного Общества, каковое я представляю. Наша цель — объединить все проявления

Новой Эры в одно гармоническое целое — Новую Мысль, Христианскую Науку, Теософию, Веданту, Буддизм и другие искры Единого Нового Света. Подписка — десять долларов в год, и за эту ничтожную сумму члены общества получают не только ежемесячный журнал «Перлы исцеления», но и право посылать непосредственно нашей председательнице, высокочтимой матушке Доббс, любые вопросы касательно духовного возрождения, супружеских проблем, здоровья и хорошего самочувствия, а также финансовых затруднений, каковые...

Все слушали ее с благоговейным вниманием. Все лица дышали благородством. Все казались свежевыглаженными. Все вежливо покашливали, украдкой скрещивали ноги и с необычайно оптимистическим и утонченным видом сморкались в дорогие платки тонкого полотна.

Только Бэббит сидел и страдал.

Когда они наконец-то очутились на воздухе, когда ехали домой сквозь ветер, пахнущий снегом и солнцем, он не смел заговорить. Слишком часто у них в последние дни назревала ссора. Но миссис Бэббит сама затеяла спор:

— Понравилась тебе лекция миссис Мадж?

— Как сказать, я... А тебе это что-нибудь дало?

— Да, начинаешь как-то задумываться. Выводит из круга будничных мыслей.

— Да, уж эту Опал не назовешь будничной, но все-таки, господи боже, скажи честно, неужели ты что-нибудь поняла?

— Конечно, я не искушена в метафизике и во многом не разобралась, но меня это вдохновляет. А как увлекательно она говорит! По-моему, ты-то должен был кое-что почерпнуть!

— Я? Ни черта! Клянусь жизнью, я обалдел, глядя на всех этих женщин,— так и впились в нее! Какого черта им слушать всю эту муру, когда можно тратить время на другое...

— Ну, знаешь, лучше уж слушать лекции, чем ездить по загородным ресторанам, курить и пить!

— Не знаю, лучше это или хуже! Лично я никакой разницы не вижу! В обоих случаях это просто способ уйти от самих себя — а в наши дни всякий этого хочет! Я-то, конечно, предпочитаю поразмять ноги, потанцевать как следует, хотя бы в каком-нибудь кабаке, чем сидеть как чучело, будто на тебе слишком тугой воротник, бояться сплюнуть и слушать, как эта Опал треплет языком.

— Знаю я, что̀ ты предпочитаешь! Любишь всякие кабаки! Наверно, не вылезал из них, пока меня тут не было!

— Послушай-ка, что-то в последнее время ты даешь себе слишком много воли — сплошная клевета, намеки, как будто я

веду двойную жизнь и всякое такое. Надоело мне это, понимаешь? Не желаю больше слушать! К черту!

— Что с тобой, Джордж Бэббит! Да ты соображаешь, что говоришь! Боже мой, Джордж, за все годы, что мы вместе, ты никогда так со мной не разговаривал!

— Давно пора!

— С каждым днем ты становишься все хуже и хуже, а теперь стал орать на меня, браниться! Ты бы послушал свой голос — столько злости, ненависти, я просто вся дрожу!

— А, чушь! Брось преувеличивать! Ничуть я не ору и не ругаюсь!

— Да ты бы себя послушал! Ты, наверно, не представляешь себе, в каком ужасном тоне ты разговариваешь! И вообще, никогда в жизни ты так со мной не говорил. У тебя просто язык не повернулся бы, если б ты так страшно не изменился.

Но в нем все ожесточилось. С удивлением он понял, что вовсе и не чувствует никакой вины. Он сделал огромное усилие и заставил себя говорить мягче.

— Глупости, я не хотел тебя обидеть!

— Джордж, да ты понимаешь, что дальше так продолжаться не может? Мы все больше и больше отходим друг от друга, ты становишься все резче и резче. Я просто не знаю, чем это кончится!

На какой-то миг ему стало жалко ее, такую растерянную, беспомощную, и он подумал, сколько глубоких и сердечных чувств пострадает, если действительно «дальше так продолжаться» не будет. Но жалость была какой-то смутной, и он тут же подумал: «А может быть, лучше, если мы... Нет, не развод со всякими неприятностями, а просто отвоевать побольше свободы...»

Она умоляюще смотрела на него, а он вел машину и мрачно молчал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

I

Вдали от жены, возясь в гараже, сметая снег с подножки машины и проверяя, нет ли трещин в шланге, он раскаивался, он огорчался, не понимая, как он мог так напасть на нее, и с нежностью думал, насколько прочнее она связана с его жизнью, чем легкомысленная «компания». Он пришел к ней, бормоча извинения: «Зря я на тебя напустился»,— спросил, не хочет ли она пойти в кино. Но в темноте кинозала он мрачно думал, что теперь он «навеки пришит к юбке Майры». Ему доставляло удовольствие

мысленно вымещать свою досаду на Танис Джудик. Черт ее возьми, эту Танис! Надо же ей было втягивать его во всю эту историю; из-за нее он нервничает, места себе не находит, совсем свихнулся! Слишком много осложнений! Кончать надо!

Ему хотелось покоя. Десять дней он не виделся с Танис, не звонил ей, и она тут же стала оказывать на него давление, которого он не выносил. Через пять дней после того, как он перестал у нее бывать, ежечасно гордясь своей решимостью и ежечасно воображая, как скучает без него Танис, мисс Мак-Гаун доложила:

— Миссис Джудик у телефона. Хочет поговорить насчет ремонта.

Танис говорила быстро и спокойно:

— Мистер Бэббит? Джордж, это Танис. Я не видела вас столько недель... столько дней. Вы не больны?

— Нет, просто дела уйма... Я... мм-мм... Я думаю, в этом году строительство развернется вовсю. Мне надо... я должен работать.

— Конечно, мой дорогой! Я хочу, чтобы вы работали! Вы знаете, как я честолюбива, когда речь идет о вас,— это больше, чем личное честолюбие. Мне только не хочется, чтобы вы забывали бедную Танис! Вы мне скоро позвоните?

— Конечно! Обязательно! Непременно!

— Пожалуйста, звоните! Я больше вас тревожить не буду.

Он раздумывал: «Бедная девочка! Только зачем она звонит мне в контору... Удивительное существо, сколько чуткости... честолюбива, когда речь идет обо мне. Но, черт возьми, не позволю, чтобы меня принуждали, позвоню, когда сам захочу! Черт их дери, этих женщин, вечно чего-то требуют. Нет, она меня долго не увидит... А, черт, как хочется повидать ее сегодня, крошку мою милую... Эй, друг, брось глупить! Раз ты уже вырвался, держись!»

Больше она не звонила, но еще через пять дней он получил письмо:

«Неужели я вас обидела? Поймите, я этого не хотела. Я так одинока, мне нужна родная душа. Почему вы не пришли вчера на чудесную вечеринку к Керри — по-моему, она вас звала. Не можете ли вы заехать ко мне завтра, в четверг, вечером? Я буду дома одна и хочу вас видеть».

Его обуревали самые противоречивые мысли.

«Провались я на месте, почему она не может оставить меня в покое? Почему женщины не понимают, что мужчины ненавидят, когда их волокут силком? Вечно кричат, какие они одинокие,— разве это не насилие?

Нехорошо, молодой человек, свинство так говорить! Она добрая, честная, порядочная женщина, а жизнь у нее и вправду оди-

покая. Почерк у нее красивый. И бумага отличная. Простая, изящная. Придется к ней зайти. Слава богу, хоть до завтрашнего вечера я от нее свободен.

Милая-то она, милая, но... Нет, черт подери, меня не заставишь! Я на ней не женат. И жениться не собираюсь, честное слово!

А, ччерт... Все же придется пойти».

II

Четверг — день, назначенный Танис в письме,— был полон волнений. За столом «дебоширов», в клубе, Вердж Гэнч агитировал за Лигу Честных Граждан и нарочно (как казалось Бэббиту) не приглашал его вступить, как других. У старого Мэта Пеннимена, подручного в конторе Бэббита, были Неприятности, и он пришел жаловаться: старший сын — бездельник, жена болеет, с зятем он поссорился. У Конрада Лайта тоже накопились Неприятности, но так как Лайт был лучшим клиентом Бэббита, пришлось его выслушать. Как выяснилось, мистер Лайт страдал исключительно интересной формой невралгии, и к тому же его обманули владельцы гаража. Когда Бэббит вернулся домой, все стали рассказывать ему свои Неприятности: жена собиралась рассчитать новую прислугу — бесстыжую девку, и в то же время боялась, что та сама уйдет, а Тинка во что бы то ни стало хотела наябедничать на свою учительницу.

— Ох, перестаньте шуметь! — зашумел Бэббит.— Разве я к вам пристаю со своими Неприятностями, попробовали бы вы управлять конторой по продаже недвижимости! Сегодня я обнаружил, что мисс Бэнниген два дня уже не ведет счетов, прищемил себе палец ящиком, потом пришел Лайт, бестолковый, как всегда...

Он был так раздражен, что после обеда, вместо того чтобы тактично улизнуть к Танис, просто буркнул жене:

— Я ухожу, постараюсь вернуться часам к одиннадцати!

— Ах, ты опять уходишь?

— Опять? Как это — «опять»? Я всю неделю носа не высовывал из дому!

— Ты... ты идешь в орден Лосей?

— Нет-с. Надо кое-кого повидать.

Отлично слыша свой собственный голос и понимая, что говорит резко, видя, что жена укоризненно смотрит на него большими глазами, он все-таки прошел в переднюю, схватил пальто, меховые перчатки и отправился заводить машину.

Ему стало легче, когда Таис встретила его весело, без попреков, вся сияющая, в платье из коричневых кружев на золотистом чехле.

— Бедненький, ехать в такую погоду! Жуткий холод! А не выпить ли вам стаканчик?

— Честное слово, люблю умных женщин! Конечно, неплохо бы выпить стаканчик, если он только не слишком велик — литра три, не больше!

Он поцеловал ее беззаботно и сердечно, совершенно забыв, что она «вынудила» его прийти, потом развалился в огромном кресле с блаженным ощущением, что наконец-то он попал домой. Он вдруг разболтался, он объяснил ей, какой он благородный и непонятый человек, насколько он выше Пита, Фултона Бемиса и всех других ее знакомых, а она, наклонясь к нему, подперев прелестной ручкой подбородок, весело соглашалась со всем. Но когда он заставил себя спросить: «А как ваши дела, родная?» — она приняла этот формальный вопрос всерьез, и оказалось, что у нее тоже есть Неприятности.

— В общем, ничего, но я так рассердилась на Керри. Она сказала Минни, будто я ей сказала, что Минни ужасно скупая, и Минни сказала мне, что Керри ей это сказала, и, конечно, я ей сказала, что я ничего подобного не говорила, а потом Керри узнала, что Минни мне все сказала, и она просто рассвирепела оттого, что Минни мне сказала, а я, конечно, вскипела, потому что Керри сказала Минни, что я ей все рассказала, и мы все собрались у Фултона — его жена, слава богу, уехала! — ах, у них такой изумительный паркет, так чудно танцевать! — и мы все перессорились и вообще... О, я так ненавижу эти ссоры, а вы? Это так... так неблагородно, правда? А тут еще моя мама собирается приехать на целый месяц; конечно, я ее очень люблю, но, честно говоря, она совершенно нарушит мой стиль — не может отучиться во все вмешиваться, всегда допытывается, куда я ухожу по вечерам, а если я ей совру, она начинает шпионить и выслеживать, узнаёт, где я бываю, а потом смотрит на меня глазами долготерпеливой мученицы, таких, знаете ли, изображают на надгробьях. Доводит меня просто до слез! Нет, я непременно должна все вам сказать... Вообще-то вы знаете, что я никогда о себе не говорю, я ненавижу людей, которые вечно говорят о себе, а вы? Но сегодня я такая глупая, наверно, вам скучно все это слушать, но я... Скажите, как мне быть с мамой?

По-мужски легко он разрешил все ее сомнения. Приезд мамы отложить. Керри послать к чертям. Она поблагодарила его за эти драгоценные советы, и они стали привычно сплетничать про «компанию». Про то, какая Керри сентиментальная дура. Про то,

какой Пит ленивый мальчишка. Про то, каким славным может быть Фултон Бемис — «конечно, после первой встречи многие считают его старым ворчуном только потому, что он не начинает сразу гоготать над их шутками, но стоит узнать его поближе, и всякий скажет, что он прелесть!».

Но после того как они всех обсудили подробнейшим образом, разговор не клеился. Бэббит попытался было завести интеллигентную беседу на мировые темы. Он высказал несколько глубоко продуманных суждений о разоружении, свободомыслии и терпимости, но ему показалось, что мировые вопросы интересовали Танис лишь постольку, поскольку они касались Пита, Керри или их самих. Наступило тягостное для Бэббита молчание. Он попытался заставить ее разговориться, но молчание серым призраком встало между ними.

— А... ммм-ммм...— выдавил он из себя,— я... мне кажется, что безработица уменьшается.

— Может быть, Питу удастся получить приличное место.

Молчание.

Он сделал отчаянную попытку:

— В чем дело, дружочек? Вы сегодня какая-то грустная.

— Разве? Нет, ничего. А вам... не все ли равно, грущу я или нет?

— Мне? Как это все равно? Конечно, нет!

— Правда? — Она бросилась к нему, примостилась на ручке его кресла.

Ему ужасно не хотелось принуждать себя к нежности по отношению к ней. Он погладил ее руку, натянуто улыбнулся и снова развалился в кресле.

— Джордж, я все думаю — ты меня любишь или нет?

— Конечно, люблю, дурочка!

— Правда, солнышко? Правда, любишь хоть капельку?

— Ясно, люблю. Иначе разве я торчал бы тут целый вечер?

— Ого, молодой человек! Что за тон! Не смейте говорить со мной так сердито!

— Нет, я не хотел...— И почти по-детски обиженно он пожаловался: — Господи боже, просто надоело, говоришь обыкновенным голосом, а все тебя попрекают, что ты сердишься. Петь мне, что ли?

— Кто это «все»? Каких еще дам вы утешали?

— Слушай, что это за намеки?

В ее голосе звучало смирение:

— Знаю, милый. Я просто тебя дразнила. Маленький и не думал сердиться. Маленький просто устал. Прости гадкую Танис! Скажи, что любишь, скажи!

— Люблю... Ну да, люблю.

— Да, по-своему! — вызывающе сказала она, и тут же спохватилась: — О милый, прости меня, я не хотела тебя обидеть. Но... но я так одинока! Я чувствую себя такой бесполезной. Никому я не нужна, ничего не могу сделать для других. И знаешь, милый, я такой энергичный человек — было бы только, что делать! И я еще молода, не правда ли? Я не старуха! Правда, я не глупая старуха?

Ему пришлось разуверять ее. Она гладила его волосы, и он старался сделать довольное лицо, хотя в этом мягком прикосновении он чувствовал настойчивую властность. Ему становилось невтерпеж. Хотелось уйти, убежать в суровый, надежный мужской мир, без всяких сантиментов. Может быть, ее ласковые пальцы вдруг ощутили его брезгливую неприязнь. Она перестала гладить его и, придвинув скамеечку, села у ног Бэббита, умоляюще глядя на него. Но часто бывает, что собачья преданность или внезапный детский страх вызывает у мужчины не жалость к женщине, а лишь какое-то раздражение и невольную жестокость. Так и ее самоунижение только злило его. И он видел, что она уже не молода, что она скоро совсем постареет. Он ненавидел себя за эти мысли, но не мог от них избавиться. «Стареет! — с тоской подумал он.— Стареет!» Он заметил, как кожа под ее подбородком, у глаз, у кистей рук собирается тонкими складками. На шее виднелась шершавая кожа, словно крошки от ластика на бумаге. Стареет! Годами она моложе его, но тошно смотреть, как она мечтательно подымает свои большие, круглые глаза, «как будто,— с дрожью отвращения подумал он,— тебе объясняется в любви твоя собственная тетушка!».

Внутри у него все переворачивалось: «Надо кончать эту идиотскую канитель. Надо с ней порвать. Она чертовски милая, хорошая женщина, и я ее не могу обижать, но ей будет гораздо легче, если порвать сразу, как ножом отрезать,— чисто хирургическая операция».

Он вскочил на ноги. Он заговорил настойчиво, решительно. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства, он во что бы то ни стало хотел ей доказать, что виновата во всем она сама.

— Может быть, я сегодня не в своей тарелке, но, честно говоря, дружочек, я не приходил, потому что запустил работу и надо было разобраться, что к чему. Надо быть умницей и ждать, пока я сам приду! Неужто ты не понимаешь, дорогая, что, заставив меня прийти, ты тем самым вызвала во мне — уж такой я упрямый осел! — только одно сопротивление! А сейчас, милая, мне надо уходить...

— О нет, любимый, погоди! Нет!

— Да! Я ухожу. А там посмотрим, как будет дальше.

— Не понимаю, милый, что значит «дальше»? Разве я сделала тебе что-нибудь плохое? О, это ужасно, прости меня!

Он решительно заложил руки за спину:

— Ничего плохого ты не сделала, господь с тобой! Лучше тебя я никого не знаю. Но дело-то в том... черт возьми, неужели ты не понимаешь, что у меня есть обязанности, работа? Мне надо вести дело, и хотя ты можешь мне не верить, у меня есть жена, есть семья, которую я очень люблю! — И, совершая это убийство, он вдруг почувствовал себя благородным и добродетельным.— Я хочу, чтобы мы были друзьями, но, черт возьми, не могу я так жить, не могу чувствовать, что обязан бегать сюда каждую минуту...

— Ах, милый, милый, да я же тебе всегда твердила, что ты совершенно свободен! Я только хотела, чтобы ты приходил сюда, когда устанешь и захочешь отдохнуть, поговорить со мной или повеселиться на наших вечеринках...

Она рассуждала так разумно, она была так права, так мила! Целый час он потратил на то, чтобы уйти, ни о чем не договорившись, но, в сущности, договорившись до конца. И, выйдя на волю, в пустоту, под холодный северный ветер, он вздохнул:

— Слава богу, все кончено! Бедная Таннс! Бедная, милая, славная Таннс! Но все кончено! Навсегда! Я свободен.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

I

Жена не спала, когда он пришел домой.

— Ну, как, весело было? — бросила она.

— Нет, не весело! Очень скучно! Что-нибудь еще объяснить?

— Джордж, как ты можешь разговаривать в таком тоне? Боже мой, что это на тебя напало!

— Ничего на меня не напало, черт подери! Зачем ты все время ко мне цепляешься?

Мысленно он одернул себя: «Тише! Перестань хамить! Конечно, она обиделась — бросил ее одну на весь вечер». Но он тут же забыл всякую сдержанность, когда она завела свое:

— Зачем же тогда ходить по чужим людям? Или, может быть, ты опять скажешь, что был на заседании комитета?

— Нет, не скажу. Я был в гостях у женщины. Сидели у камина и дразнили друг друга, веселились вовсю, если хочешь знать!

— Но... ты так это говоришь, как будто я виновата, что ты там был. Я тебя к ней послала, да?

— Да, ты!

— Ну, знаешь, это слишком...

— Ты ненавидишь «чужих», как ты говоришь. Дай только тебе волю, ты из меня сделаешь такого же старикашку домоседа, как Говард Литтлфилд. Никогда не позовешь в дом интересных людей, тебе бы только сидеть со старыми чучелами и молоть про погоду. Ты все делаешь, чтобы я стал стариком. Так вот, имей в виду, я этого не позволю...

Эти неслыханные обвинения так на нее подействовали, что она огорченно залепетала:

— Что ты, милый, с чего ты взял? Я не хочу, чтобы ты стал стариком, неправда! Может быть, в чем-то ты и прав! Может быть, я не умею заводить новые знакомства. Но вспомни, как мы иногда уютно и мило проводим время, вспомни наши обеды, кино и все такое...

С истинно мужской хитростью он не только убедил себя, что она его обидела,— голос его звучал так резко и он так напал на жену, что сумел и ее убедить, будто она перед ним виновата, и довел ее до того, что она стала извиняться перед ним за вечер, который он провел у Танис. Он лег спать довольный, чувствуя себя не только хозяином, но и мучеником в собственном доме. Правда, когда он ложился, у него мелькнула неприятная мысль, что он, возможно, был не совсем справедлив. «Стыдно, что я так на нее набросился! Она по-своему права. Может быть, и ей не так уж весело живется. Впрочем, ерунда! Ей полезно немного встряхнуться! А я должен быть свободен! И от нее, и от Танис, и от клубной братии — от всех! Я сам себе хозяин!»

II

В таком настроении он пошел в клуб Толкачей и на завтраке, который состоялся на следующий день, держал себя особенно вызывающе. Перед собравшимися выступал некий член конгресса, который только что вернулся в Америку после исчерпывающего трехмесячного изучения финансов, этнологии, политического строя, лингвистических особенностей, минеральных ресурсов и земледелия Германии, Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Чехословакии, Югославии и Болгарии. Он подробно осветил все эти вопросы и рассказал три анекдота о том, как в Европе неправильно представляют себе Америку, а также с воодушевлением высказался о необходимости не впускать этих невежественных иностранцев в Соединенные Штаты.

— Да, очень содержательная беседа. Крепко, по-мужски! — сказал Сидни Финкельштейн.

Но Бэббит был недоволен:

— Жульничество! Пустая болтовня! И чем ему не угодили иммигранты? Чушь, будто все они невежды, да и сдается мне, что сами мы — потомки этих иммигрантов!

— Ох, не морочьте мне голову! — сказал мистер Финкельштейн.

Бэббит заметил, что доктор А.-И. Диллинг, насупившись, прислушивается к его словам через стол. Доктор Диллинг был одним из самых влиятельных членов клуба Толкачей. Он был не терапевтом, а хирургом — специальность гораздо более романтическая и видная. Это был огромный, внушительный человек, с копной черных волос и густыми черными усами. В газетах часто писали о его операциях. Он был профессором на кафедре хирургии в университете штата, обедал в самых знатных домах Зенита на Ройял-ридже, и ходили слухи, что у него несколько сот тысяч долларов. Бэббит не мог вынести, что такая выдающаяся личность неприязненно косится на него. Он торопливо стал расхваливать остроумие члена конгресса, обращаясь к Сидни Финкельштейну, но так, чтобы слышал доктор Диллинг.

III

К концу этого же дня три человека явились в кабинет Бэббита, как являлся Комитет Бдительности в далекие времена Гражданской войны. Все это были видные, деятельные люди, важные шишки в зенитском обществе: доктор Диллинг — хирург, Чарльз Мак-Келви — подрядчик и, что неприятнее всего, седобородый полковник Резерфорд Сноу — владелец «Адвокат-таймса». Их присутствие подавляло Бэббита, и он сразу почувствовал себя ничтожным и маленьким.

— А-а, очень рад, садитесь, пожалуйста, чем могу служить? — забормотал он.

Но они не сели, не заговорили о погоде.

— Бэббит,— начал полковник Сноу,— мы пришли от Лиги Честных Граждан. Мы решили, что вам надо вступить: Верджил Гэнч говорил, что вы не хотите, но я, кажется, могу вам дать некоторые разъяснения. Лига намерена объединиться с Торговой палатой в борьбе за свободный наем рабочих, так что вам пора к нам примкнуть.

Бэббит так растерялся, что не сразу вспомнил, по каким причинам он не хотел вступить в Лигу, если только он вообще когда-

нибудь ясно представлял себе, из-за чего он отказывался, но он определенно чувствовал, что вступать в Лигу ему не хочется, и при мысли, что они желают его принудить, он испытывал злобу даже по отношению к этим королям коммерции.

— Простите, полковник, мне еще надо подумать! — пробормотал он.

Мак-Келви вспылил.

— Значит, не желаешь вступать, Джордж? — крикнул он.

Что-то темное, незнакомое, злое заговорило в Бэббите.

— Слушай-ка, Чарли! Провались я на месте, если дам себя насильно затащить куда бы то ни было. Даже вам, воротилам, меня не запугать!

— Никого мы запугивать не собираемся! — заговорил было доктор Диллинг. Но полковник Сноу перебил его:

— Нет, собираемся! Мы, если нужно, можем и припугнуть! Слушайте, Бэббит, в ЛЧГ давно идут разговоры о вас. Все считают вас неглупым, честным, надежным и порядочным человеком, таким вы были всегда, но в последнее время, один бог знает почему, мне из самых разнообразных источников стало известно, что вы якшаетесь с какой-то распутной компанией и, что гораздо хуже, защищаете и поддерживаете самые опасные элементы в городе, вроде этого Доуна.

— Полковник, по-моему, это мое личное дело!

— Возможно, но мы хотим с вами договориться. Вы и ваш тесть всегда защищали интересы самых влиятельных, самых передовых кругов города, как, скажем, моих друзей из Транспортной компании, и, разумеется, моя газета всегда хвалила вас. Но вы не можете надеяться, что порядочные люди будут и впредь помогать вам, если вы примкнете именно к тем элементам, которые пытаются подорвать основы нашей жизни!

Бэббит здорово струхнул, но его мучило сознание, что, если он сейчас пойдет на уступку, ему придется уступать во всем. И он стал возражать:

— Вы преувеличиваете, полковник! Хотя я считаю, что надо проявлять терпимость, свободу мысли, но, разумеется, я, как и вы, против всяких смутьянов, болтунов, рабочих союзов и всего прочего. Но я уже принадлежу к такому количеству организаций, что не могу уделять достаточно внимания даже им, поэтому мне и хочется сначала все обдумать, а потом решить — вступлю я в ЛЧГ или нет.

Полковник Сноу снизошел до ответа:

— О нет, я вовсе не преувеличиваю! Спросите доктора, он сам слышал, как вы не далее как сегодня порочили одного из самых выдающихся членов конгресса от республиканской партии! И вы

напрасно полагаете, будто у вас есть возможность «обдумать» — вступать вам в Лигу или нет. Мы не просим вас вступить — мы разрешаем вам! И я не уверен, мой милый, как бы потом не было поздно, если вы вздумаете откладывать! Я не уверен, что мы вас тогда примем. Решайте-ка поскорей, слышите, поскорей!

Все трое «бдительных», величественные и грозные от сознания своей правоты, смотрели на него в напряженном молчании. Бэббит выжидал. Он ни о чем не думал, а в голове у него гудело и звенело: «Не хочу вступать, не хочу!»

— Ну что ж. Мне вас жаль! — сказал полковник Сноу, и все трое резко повернули к нему широкие спины.

IV

Выходя из конторы к своей машине, Бэббит увидел на улице Верджила Гэнча. Бэббит приветственно поднял руку, но Гэнч не ответил и перешел на другую сторону. Гэнч, несомненно, его видел. Домой Бэббит ехал в отвратительном настроении.

Жена сразу набросилась на него:

— Джорджи, миленький, у меня была Мюриель Фринк, она сказала, что Чам сказал ей, будто президиум Лиги Честных Граждан специально просил тебя вступить в Лигу, а ты отказался. Не лучше ли тебе передумать? Понимаешь, все порядочное общество — в Лиге, и ее цель...

— Знаю я ее цель! Ее цель — запретить свободу слова и свободу мысли и все такое! Не позволю, чтобы меня запугивали и насильно тащили куда бы то ни было! И вопрос вовсе не в том, хороша эта Лига или плоха, и на кой черт она вообще нужна, а в том, что я отказываюсь подчиняться насилию...

— Но, милый, если ты не вступишь, тебя будут осуждать!

— Ну и пусть осуждают!

— Я имею в виду *порядочных* людей.

— А ну их к... И вообще, на эту Лигу просто пошла мода. Сколько таких организаций возникало с шумом, с треском — весь мир хотели перевернуть, а потом они рассыпались, словно их и не было!

— Но если сейчас *все* вступают, то и тебе следует...

— Ничего не следует! Прошу тебя, Майра, перестань меня пилить! Надоела мне эта проклятая Лига! Честное слово, лучше бы я вступил в нее с самого начала, когда Вердж мне предлагал, и делу конец. Да я бы и сегодня согласился, если бы этот их комитет не пытался меня застращать, и клянусь честью, пока я еще свободный, независимый американский гражд...

— Джордж! Ты разговариваешь как наш немец-истопник!

— Ах, так! Тогда я совсем с тобой не желаю говорить!

Вечером ему до смерти захотелось повидать Танис Джудик, найти в ней сочувствие и поддержку. После того как вся семья ушла наверх, он даже попытался позвонить ей, но так волновался, что, когда швейцар подошел, он невнятно забормотал: «Ничего... позвоню позже»,— и повесил трубку.

V

Если Бэббит был не вполне уверен, что Верджил Гэнч его избегает, то насчет Уильяма Вашингтона Иторна никаких сомнений быть не могло. Утром, когда Бэббит ехал в контору, он обогнал машину Иторна, в которой великий банкир в расслабленном величии восседал позади своего шофера. Бэббит помахал рукой, крикнул:

— С добрым утром!

Иторн пристально посмотрел на него и не сразу ответил ему кивком, в котором выразил больше презрения, чем если б он демонстративно отвернулся.

Компаньон и тесть Бэббита явился в десять часов.

— Слушай, Джордж, говорят, ты тут устроил чистый цирк, отказался вступить в ЛЧГ, когда тебя просил сам полковник Сноу! Какого черта ты затеял — хочешь фирму погубить, что ли? Уж не думаешь ли ты, что эти заправилы потерпят, чтоб ты шел против них и трепал языком насчет своей «терпимости»?

— А, ерунда, Генри Т., вы начитались бульварщины. Только в книгах расписывают всякие там заговоры против свободомыслящих людей. У нас свободная страна. Каждый может делать, что ему угодно.

— Конечно, никаких заговоров нет. Кто говорит о заговорах? Но если про тебя станут думать, что ты пустельга, ненадежный малый, с тобой никто дела иметь не захочет, понятно? Стоит только пойти слухам, что у тебя мозги набекрень, и наша фирма погибнет как пить дать; никаких заговоров и выдумок не надо — такого этим писакам за целый месяц на досуге не придумать!

В этот же день зашел старый знакомый, верный Конрад Лайт, веселый скупердяй, и, когда Бэббит предложил ему купить несколько участков во вновь застраивающемся районе, Дорчестер, Лайт торопливо, даже слишком торопливо сказал:

— Нет, нет, не хочу, ничего нового затевать не буду!

Неделю спустя Бэббит узнал через Генри Томпсона, что заправилы Транспортной компании подготовляют новую аферу с

земельными участками, но проводить ее будет не фирма «Бэббит и Томпсон», а фирма «Сандерс, Торри и Уинг».

— По-моему, теперь и Джек Оффат на тебя косится — очень уж плохо о тебе говорят! А Джек — прожженный, матерый делец, он и посоветовал этим транспортникам обратиться к другому посреднику. Нет, Джордж, тебе надо принять меры! — Томпсон весь трясся от волнения.

Бэббит сгоряча согласился с ним. Конечно, про него болтают чепуху, но все же... Он решил вступить в Лигу Честных Граждан, как только ему снова предложат, и в свирепой решимости ждал этого. Но никто ему не предлагал. Его игнорировали. Он не мог набраться смелости и пойти попроситься в Лигу и утешался робким хвастовством, что пошел против всего города — и хоть бы что! Ему-то никто не посмеет диктовать, о чем думать и как себя вести!

Но больше всего его задело, когда королева всех стенографисток, мисс Мак-Гаун, вдруг ушла от него, хотя предлог у нее был весьма благовидный — ей необходимо отдохнуть полгодика и сестра у нее хворает. Ему было очень не по себе с ее преемницей, мисс Хавстад. Имя мисс Хавстад никто в конторе так и не узнал. Казалось невероятным, что у нее есть имя, возлюбленный, пудреница, пищеварение. Она была настолько безличной, эта тонкая, белесая, старательная шведка, что самая мысль, будто она может возвращаться с работы в обыкновенный дом и есть обыкновенное рагу, казалась непристойной. Она походила на отлично смазанную, эмалированную машинку, и ее надо было бы каждый вечер протирать и прятать в стол, где лежали ее тончайшие, острейшие карандаши. Она быстро писала под диктовку, отлично печатала, но Бэббит нервничал во время работы. При ней он казался себе слишком толстым, а на его любимые каждодневные шутки она отвечала недоуменным взглядом. Он мечтал о возвращении мисс Мак-Гаун и собирался ей написать.

И тут он услыхал, что мисс Мак-Гаун через неделю после ухода поступила к его злейшим соперникам — Сандерсу, Торри и Уингу.

Он не только огорчился — он испугался. «Чего же она ушла? — беспокоился он.— Неужели почувствовала, что наша фирма разваливается? Узнала, что Сандерс ведет теперь дела Транспортной компании. Тонущий корабль — фу, чепуха!»

Но мрачный страх преследовал его ежечасно. Бэббит следил за молодым Фрицем Вейлингером, разъездным агентом, раздумывая, не уйдет ли и этот из конторы. Везде ему мерещились обиды. Он отметил про себя, что его не пригласили выступить на ежегодном обеде Торговой палаты. А когда Орвиль Джонс устроил

«Бэббит»

большой вечер с покером и не позвал Бэббита, тот окончательно понял, что его обошли. Он боялся ходить завтракать в Спортивный клуб и боялся не ходить туда. Он был уверен, что за ним шпионят, что стоит ему выйти из-за стола, как все начинают шушукаться. Везде слышал он этот шипящий шепот: в конторах клиентов, в банке, где он вносил вклад, в своей собственной конторе, у себя дома. Он без конца ломал голову, гадая, что́ они говорят про него. Весь день он воображал, как они удивляются: «Бэббит? Слушайте, да он настоящий анархист! Надо отдать должное его смелости — смотрите, он стал форменным вольнодумцем и теперь живет, как хочет, честное слово! Да, это опасный человек, безусловно, опасный, не мешало бы его вывести на чистую воду».

Он был так издерган, что если ему случалось, завернув за угол, наткнуться на двух знакомых, которые о чем-то говорили — шушукались! — у него сердце так и подпрыгивало, и он проскальзывал мимо них, как смущенный школьник. Когда он видел вместе своих соседей — Говарда Литтлфилда и Орвиля Джонса,— он заглядывал в их лица и скрывался в доме, чтобы они за ним не шпионили, в тягостной уверенности, что они что-то замышляют — сговариваются — шушукаются о нем.

Но даже в этом страхе таился вызов. Он упорно стоял на своем. Иногда ему казалось, что он отчаянный человек, смелее самого Сенеки Доуна; иногда он собирался пойти к Доуну и рассказать ему, каким он стал революционером, но дальше сборов дело не шло. Зато гораздо чаще, слыша, как перешептываются все кругом, он стонал: «Господи, да что я такого сделал? Повеселился с компанией, высмеял Кларенса Драма, чтоб не воображал себя заправским воякой. Зато я никогда не осуждаю людей, никому своих убеждений не навязываю!»

Он не мог вынести этого напряжения. Он сознался себе, что ему давно хочется вернуться в лоно правоверной жизни, только бы найти достойный и не унизительный путь к возвращению. Но он упрямо не хотел уступать насилию, он клялся, что «пятки лизать» никому не будет.

Только в резких стычках с женой его страхи всплывали на поверхность. Она жаловалась, что он стал раздражительным, удивлялась, почему он не желает «забежать» вечером к Литтлфилдам. Он пытался, но никак не мог объяснить ей туманную сущность своего бунтарства и предстоящего возмездия. Он потерял Поля и Танис, и теперь ему было не с кем поговорить. «Господи, да у меня только и осталась Тинка, она мой настоящий друг!» — вздыхал он и все больше льнул к дочке, по целым вечерам играл с ней в разные игры.

Он собирался навестить Поля в тюрьме, но, хотя Поль и писал ему каждую неделю сухие, короткие записочки, Бэббиту казалось, что он умер. И он по-настоящему тосковал без Танис.

«Я-то думал, когда расстался с Танис: «Ах, какой я умный, какой независимый»,— а оказывается, она мне нужна, нужна до зарезу! — бушевал он.— Майра ни черта не понимает! Она только одно и умеет — жить, как все, лишь бы не отличаться от других! Вот Танис, наверно, сказала бы, что я прав».

Наконец он не выдержал и как-то вечером помчался к Танис. Он не надеялся застать ее, но она оказалась дома — и одна! Но это уже была не Танис. Это была учтивая, высокомерная, одетая в ледяную броню особа, внешне похожая на Танис. Она сказала ровным и равнодушным тоном: «А-а, Джордж! Так в чем же дело?» — и он уполз домой, как побитая собака.

Единственно, кто его утешил, это Тед и Юнис Литтлфилд.

Они вбежали в гостиную однажды вечером, когда Тед приехал из университета, и Тед весело сказал:

— Что это Юни мне рассказывает, папка? Говорят, что ее отец сказал, будто ты всех взбудоражил — хвалил старого Сенеку Доуна. Елки-палки! Так им и надо! Бей их по башке! Шевели их! Наш городишко совсем закис!

А Юнис прыгнула к Бэббиту на колени, расцеловала его, прижалась стриженой головкой к его подбородку и замурлыкала:

— По-моему, вы во сто раз лучше Говарда. Скажите,— доверчиво спросила она,— почему Говард такой старый ворчунишка? Сердце у него доброе, и, честно говоря, он очень умен, но никак не научится поддавать газу, когда надо, хоть я его и муштрую вовсю! Как вы думаете, милейший, можно ли с ним что-нибудь сделать?

— Нет, Юнис, нехорошо так говорить о своем папе! — заметил Бэббит самым внушительным тоном, как было принято на Цветущих Холмах, но впервые за много недель почувствовал себя счастливым. Он вообразил себя старым вольнодумцем, которого поддерживает любовь младшего поколения. Все втроем они пошли грабить холодильник. Бэббит сиял:

— Хорошо, что мамы дома нет, она бы нам задала!

А Юнис захлопотала, сделала им огромную яичницу, чмокнула Бэббита в ухо и голоском заботливой аббатисы произнесла:

— Сам черт не поймет, почему такие феминистки, как я, все-таки нянчатся с мужчинами!

Ободренный ее поддержкой, Бэббит вызывающе встретил Шелдона Смийса, заведующего воспитательной частью ХАМЛа и руководителя хора в церкви на Чэтем-роуд. Смийс сжал потной рукой пухлую руку Бэббита и запел сладким голосом:

— Что ж это, брат Бэббит, вас так давно не видно в церкви? Знаю, у вас множество чрезвычайно сложных дел, но не надо забывать ваших дорогих друзей и наш отчий дом — святую церковь.

Бэббит освободил руку от нежного пожатия — Смийс обожал долго жать руки — и буркнул:

— И без меня отлично обойдетесь! Простите, Смийс, бегу! Всего!

Но потом он сетовал: «Если уж эта глиста имеет наглость тащить меня в церковь, значит, их святая братия, наверно, тоже про меня болтает».

И снова он слышал, как они все шушукаются — доктор Джон Дженнисон Дрю, Чамондли Фринк, даже Уильям Вашингтон Иторн. И вся его независимость испарялась, он одиноко бродил по улицам, боясь их пристальных, беспощадных глаз и неумолимого шипящего перешептывания.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

I

Перед сном он попытался объяснить жене, какой противный этот Шелдон Смийс, но она только сказала:

— У него такой прекрасный голос, такой одухотворенный! По-моему, тебе не стоило говорить о нем так резко только потому, что ты не любишь музыки.

И жена показалась ему чужой: насупившись, он смотрел на эту полную суетливую женщину с пухлыми голыми руками и удивлялся, как это она очутилась здесь.

Ворочаясь с боку на бок в еще не согревшейся постели, он думал о Танис. Дурак он, что потерял ее. Ему нужен человек, с которым можно было бы поговорить откровенно. Он... он просто лопнет, если будет переживать все один, про себя! А Майра... нет, бесполезно, все равно она не поймет. Да, черт возьми, нечего себя обманывать. Жаль, конечно, очень жаль, что между мужем и женой после стольких лет начинается отчуждение, жаль до слез; трудно им сейчас сблизиться, если он по-прежнему будет бунтовать против всего Зенита — а он не позволит собой командовать! Нет, черт подери, не даст он себя запугивать, уговаривать, да и упрашивать тоже не даст!

Он проснулся в три часа ночи от шума грузовика и вылез из-под одеяла, чтобы выпить воды. Проходя через спальню, он услышал, как жена тихо стонет. Все обиды были смыты ночной тишиной, он заботливо спросил:

— Что с тобой, дружочек?

— Страшная боль... в боку... невыносимо... так и колет.

— С желудком неладно? Дать тебе соды?

— Нет... боюсь, не поможет... Вчера вечером мне было худо, да и позавчера, а потом прошло, я уснула. Меня грузовик разбудил.

Голос у нее с трудом пробивался сквозь боль, как корабль сквозь бурю. Он испугался.

— Я позову доктора!

— Нет, нет! Пройдет! Дай-ка мне пузырь со льдом.

Он пошел в ванную за пузырем, потом на кухню — взять лед. Ночное путешествие казалось ему страшноватым, но, разбивая кусок льда кухонным ножом, похожим на кинжал, он чувствовал себя спокойным, уверенным, храбрым, и прежняя ласка звучала в его голосе, когда он, кладя пузырь со льдом на живот Майры, бормотал:

— Ну вот, ну вот, теперь все в порядке!

Он лег в постель, но уснуть не мог. Снова он услышал, как стонет жена. Он вскочил, побежал к ней, заботливо спросил:

— Все еще болит, дружок?

— Да, схватывает, никак заснуть не могу.

Голос у нее был совсем слабый. Он знал, как она боится докторов, их диагнозов, и, ничего не говоря, на цыпочках спустился вниз, позвонил доктору Эрлу Паттену и стал ждать его, дрожа от холода и пытаясь читать расплывавшиеся перед глазами строчки какого-то журнала, пока не подъехала машина доктора.

Доктор был моложав и профессионально бодр. Он вошел с таким видом, будто стоял солнечный летний день.

— Что, Джордж, маленькие неприятности, а? Как она сейчас? — сказал он деловито. с подчеркнутой, чем-то раздражающей веселостью, швыряя пальто на кресло и грея ладони у радиатора. Он сразу взял все в свои руки. Бэббит почувствовал себя лишним и незначительным, идя за доктором в спальню, и когда Верона заглянула в дверь, испуганно спрашивая: «Что случилось, папа? Что такое?» — ей ответил не отец, а доктор, весело бросивший: «А, немножко живот схватило!»

Осмотрев миссис Бэббит, доктор с игривым задором сказал:

— Что, побаливает? Сейчас я вам дам снотворного, и к утру вы поправитесь. Я сразу после завтрака заеду!

Но, спустившись к Бэббиту, ожидавшему внизу, доктор вздохнул:

— Не нравится мне ее живот. Прощупывается какое-то напряжение, очевидно, ткани воспалены. Скажите, ей не удаляли

аппендикс? Угу. Впрочем, беспокоиться нечего. Утром я приеду пораньше, а пока что пусть отдыхает. Я ей сделал укол. Спокойной ночи.

И тут черный страх навалился на Бэббита.

Все его обиды, все душевные трагедии, которые он так бурно переживал, сразу показались ничтожными и нелепыми перед лицом вечных и непреодолимых реальностей, обычных, житейских реальностей — перед болезнью, угрозой смерти, долгим ночным бдением и нерасторжимыми, прочными узами совместной жизни. Он тихо вошел к жене. И пока она лежала в жарком забытьи под действием морфия, он сидел на краю кровати, держа ее руку, и впервые за много недель ее рука доверчиво покоилась в его руке.

Потом, завернувшись в купальный халат и в бело-розовую покрышку от диванчика, нелепый, весь обмякший, он опустился в кресло. В полусвете спальня казалась таинственной, занавеси походили на притаившихся разбойников, туалет — на за́мок с башнями. Пахло косметикой, свежим бельем, сном. Он засыпа́л и просыпался, засыпал и просыпался без конца. Он слышал, как она вздыхает и ворочается во сне. Ему хотелось как-то решительно и быстро ей помочь, но мысли расплывались, он снова засыпал, чувствуя, как ломит все кости. Ночь тянулась бесконечно. Когда рассвело и как будто дежурить было уже незачем, он крепко уснул, но рассердился, когда его застала врасплох Верона: она разбудила его, взволнованно спрашивая:

— Что с ней, папа? Что с мамой?

Майра уже не спала, в утреннем свете ее лицо казалось бледным и безжизненным, но теперь он уже не сравнивал ее с Танис, для него она была не просто женщина, которую можно противопоставлять другим женщинам,— она была его собственным *я*, и если он осуждал ее или бранил, то это было все равно что осуждать и бранить самого себя, пристрастно, без снисхождения, но не надеясь — да, в сущности, и не желая — посягнуть на неизменную сущность брака.

Он опять заговорил с Вероной отечески властным тоном. Он успокоил Тинку, которая, как и полагалось в трудную минуту жизни, захныкала. Он велел подать завтрак пораньше, хотел было просмотреть газету и показался себе героическим и стойким человеком, отказавшись от этого удовольствия. Но до приезда доктора Паттена он провел несколько томительных и отнюдь не героических часов.

— Не вижу особых перемен,— сказал Паттен.— Я вернусь часов в одиннадцать и, если не возражаете, приведу на консилиум еще одну мировую знаменитость, вроде меня, чтобы действовать

наверняка. А вам, Джордж, тут делать нечего. Пусть Верона меняет лед — его мы, пожалуй, оставим, а вы бегите-ка к себе в контору, нечего тут стоять с таким видом, будто больны вы, а не она. Ох уж эти мне мужья! Нервы хуже, чем у женщин! Непременно во все вмешиваются, да еще с умирающим видом, когда их женам нездоровится! Выпейте-ка чашку крепкого кофе и ступайте!

От его насмешек все стало значительно проще. Бэббит поехал в контору, попытался продиктовать кое-какие письма, позвонить по телефону, но прежде чем ему ответили, забыл, кому звонит. В четверть одиннадцатого он уехал домой. Выбравшись из центра, он погнал машину, и лицо его было похоже на трагическую маску.

Жена встретила его удивленно:

— Почему ты вернулся, милый? Мне гораздо лучше. Я и Вероне велела бежать на работу. Ну не безобразие ли с моей стороны так заболеть!

Он знал, что ей хочется утешений, и она обрадовалась, когда он стал ее утешать. Им было удивительно хорошо, когда вдруг подъехала машина доктора Паттена. Бэббит выглянул в окно. Он перепугался. Из машины Паттена вышел торопливый человек с лохматой черной шевелюрой и лихо закрученными усами — сам доктор А.-И. Диллинг, знаменитый хирург. Стараясь скрыть испуг от жены, Бэббит побежал вниз.

Доктор Паттен говорил с нарочитой небрежностью:

— Не хочу пугать вас, старина, но я решил, что будет неплохо показать ее доктору Диллингу.

Он сделал жест в сторону Диллинга, словно подчеркивая его ученость.

Диллинг кивнул отрывисто и небрежно и поднялся наверх. В мучительной тревоге Бэббит шагал по гостиной. Кроме родов, в его семье никогда не случалось никаких событий, требующих врачебного вмешательства, и для него хирургия была одновременно и чудом, и самой грозной напастью. Но когда Диллинг и Паттен спустились к нему, он понял, что все в порядке, и ему хотелось расхохотаться, так походили они на бородатых лекарей из оперетты,— оба потирали руки, оба делали нелепо глубокомысленные лица.

Первым заговорил доктор Диллинг:

— Мне очень жаль, дружище, но у нее острый приступ аппендицита, нужна операция. Конечно, ваше дело — решать, но никаких сомнений тут быть не может.

Бэббит не сразу сообразил, как это серьезно.

— Ну что ж,— забормотал он,— денька через два-три, может

быть, мы ее и уговорим. Надо бы вызвать Теда из университета, вдруг что-нибудь случится.

— Нет! — отрезал доктор Диллинг.— Если не хотите, чтоб начался перитонит, надо оперировать немедленно. Я настаиваю. Дайте согласие, я немедленно вызову карету из больницы святой Марии, и через сорок минут ваша жена будет на столе.

— Я... я... Конечно, вам лучше знать. Но слушайте, как же я за две секунды соберу ее вещи и все такое? Это же невозможно! И она так ослабела, так нервничает!

— Положите в сумку гребенку и зубную щетку — больше ей на первых порах ничего не понадобится,— сказал доктор Диллинг и пошел к телефону.

Бэббит в отчаянии бросился наверх. Он выслал испуганную Тинку из комнаты. Потом весело сказал жене:

— Знаешь, старушка, доктор говорит, что нам надо сделать пустячную операцию, и все пройдет. Минутное дело, куда легче родов! Сразу выздоровеешь!

Она сжала его руку так, что пальцы занемели. Покорно, как перепуганный ребенок, сказала:

— Боюсь, боюсь засыпать под наркозом... одна.— Глаза у нее стали совсем детские, умоляющие и растерянные.— Ты побудешь со мной? Милый, тебе не надо возвращаться в контору? Можешь поехать со мной в больницу? И вечером, если все будет благополучно, ты приедешь, правда? Тебе сегодня никуда не надо идти?

Он упал на колени у ее кровати. Слабой рукой она перебирала его волосы, а он, плача, целовал ее рукав и клялся:

— Дружочек мой дорогой, я люблю тебя больше всех на свете! Замучился тут с делами и со всякой чушью, но теперь все позади, я опять с тобой!

— Правда? Знаешь, Джордж, я тут лежала и думала,— а может быть, лучше, если я *уйду*... Мне казалось, что я никому по-настоящему не нужна. Никто меня не любит. Я подумала — зачем мне жить? Я все глупею, дурнею...

— Ах ты, плутовка! Напрашиваешься на комплименты, а мне надо собирать твои вещи! Еще бы, я-то молод и красив, первый кавалер на деревне...— Но тут голос у него оборвался, он опять заплакал. И, бормоча бессвязные слова, они снова обрели друг друга.

Пока он собирал ее вещи, голова работала необычайно ясно и четко. Он понимал, что кончились его веселые кутежи. Он признался себе, что не раз о них пожалеет. Сурово подумал, что это была последняя отчаянная вспышка перед уходом в старческую успокоенность. «И все-таки,— он хитро улыбнулся,— погулял, черт меня дери, пока мог! Кстати, интересно, во сколько обойдет-

ся операция? Надо было поторговаться с Диллингом. Э, нет, к чертям, мне все равно, сколько это будет стоить!»

Карета «скорой помощи» уже стояла у крыльца. Даже в горе Бэббит, обожавший всякую новейшую технику, с интересом следил, как осторожно и умело санитары переложили миссис Бэббит на носилки и снесли вниз. Машина была белая и сверкающая, громадная, бесшумная. Миссис Бэббит стонала:

— Мне страшно. Как будто кладут на катафалк. Не отходи от меня, Джорджи!

— Я сяду тут же, с шофером,— успокоил ее Бэббит.

— Нет, нет, садись со мной!

Она спросила санитаров:

— Можно ему сесть со мной?

— Конечно, мэм, почему же нельзя? Там специальная скамеечка, очень удобно! — с профессиональной гордостью сказал санитар постарше.

Он сел в карету, где была койка, скамеечка, маленький электрический обогреватель и необъяснимо как попавший сюда календарь, на котором была изображена девушка, лакомящаяся вишнями, и фамилия предприимчивого фруктовщика. Но когда Бэббит с деланной бодростью взмахнул рукой, он стукнулся об обогреватель и взвизгнул:

— Ой! Чтоб их черт...

— Что ты, Джордж Бэббит! Не смей сквернословить и браниться!

— Знаю, прости, но я... А, черт их раздери совсем, смотри, как я обжег руку! Мне же больно... Болит, как... как черт! Проклятый обогреватель, раскалился, чтоб ему... В аду и то прохладнее! Смотри! След остался!

И пока они ехали в больницу св. Марии, где сестры уже готовили инструменты для операции, чтобы спасти Майре жизнь. она утешала Бэббита и целовала обожженное место на руке, чтобы оно не болело, а он отмахивался с напускной грубостью, радуясь, что с ним так нянчатся.

Карета въехала под арку больничных ворот, и Бэббит сразу превратился в ничто. Перед ним, как в кошмаре, промелькнула вереница коридоров, устланных пробковыми матами, двери, за которыми виднелись старухи, сидящие на кроватях, потом лифт, потом — предоперационная с молодым врачом-практикантом, презирающим всех мужей на свете. Бэббиту позволили поцеловать жену. Он видел, как худая сестра наложила маску на рот и нос, он весь съежился от сладкого предательского запаха. Потом его выставили в лабораторию, и, сидя на высоком табурете, неподвижно, как оглушенный, он хотел только одного — снова увидеть

ее, повторить, что он всегда ее любил, ни единой секунды не любил другую, ни на кого не взглянул. Во всей лаборатории он видел только какой-то разлагающийся препарат в банке с помутневшим спиртом. Его тошнило, но он не мог отвести глаз от банки. Он больше страдал от вида препарата, чем от ожидания. Мысли плавали в пустоте, непрестанно возвращаясь к этой страшной банке. Он хотел удрать от нее и отворил дверь направо, надеясь попасть в обычную, деловую канцелярию. И вдруг понял, что перед ним — операционная. Он сразу увидел все — доктора Диллинга, непохожего на себя в белом халате и маске, склонившегося над стальным столом на винтах и колесиках, сестер, державших лотки и ватные тампоны, и что-то закутанное в простыни: мертвенно-бледный подбородок, белую груду и посреди — квадрат бледного тела, с разрезом, слегка кровенившимся по краям и с торчавшими оттуда пинцетами и зажимами, похожими на присосавшихся паразитов.

Он торопливо закрыл двери. Может быть, испуг и раскаяние, терзавшие его ночью и утром, не проникли до самой глубины его существа, но это нечеловеческое погребение всего, что в жене было трогательно-человечного, потрясло его так, что он, съежившись на высоком табурете в лаборатории, поклялся в верности Майре... в верности Зениту, клубу Толкачей... верности всему, во что верил Клан Порядочных Людей.

Послышался ободряющий голос сестры:

— Все в порядке! Блестящая операция! Она быстро поправится. Вот проснется после наркоза — сможете ее повидать.

Теперь она лежала на какой-то странно приподнятой кровати, лицо у нее болезненно пожелтело, но темно-красные губы слегка шевелились. Только тут он по-настоящему поверил, что она жива. Она что-то пробормотала. Он наклонился и услышал, как она со вздохом шепнула:

— Трудно достать настоящий кленовый сироп для оладий!

Он неудержимо расхохотался; сияя улыбкой, он с гордостью сообщил сиделке:

— Подумайте только! Говорит о кленовом сиропе! Клянусь честью, закажу сто галлонов прямо из Вермонта!

II

Она выписалась из больницы через семнадцать дней. Каждый вечер он навещал ее, и в долгих разговорах между ними установилась прежняя близость. Однажды он намекнул на свои отношения с Танис и ее компанией, и Майру распирало от гордости

при мысли, что Порочная Женщина околдовала ее бедного Джорджа.

И если когда-нибудь он сомневался в своих соседях, в непобедимом обаянии этих превосходных людей, то теперь он уверовал в них окончательно.

— Что-то не видно,— говорил он,— чтобы Сенека Доун принес цветы или зашел навестить мою супругу!

Зато жена Говарда Литтлфилда принесла в больницу свое изумительное желе (на настоящем вине!). Орвиль Джонс часами выбирал книги, которые любила миссис Бэббит,— красивые романы из красивой жизни нью-йоркских миллионеров и вайомингских ковбоев. Луэтта Свенсон связала ей розовую домашнюю кофточку, а Сидни Финкельштейн и его веселая кареглазая хохотушка жена выбрали в подарок самую красивую ночную рубашку во всем магазине Парчера и Штейна.

Знакомые давно перестали шептаться о нем, подозревать его. Каждый день члены Спортивного клуба осведомлялись о здоровье миссис Бэббит. Члены клуба, которых он даже не знал по фамилии, останавливали его, спрашивая:

— Ну, как ваша супруга?

Бэббиту казалось, что с пустынных мрачных гор он спустился в душистую теплую долину с уютными домиками.

Как-то днем Верджил Гэнч подошел к нему:

— Собираешься к шести в больницу? Мы с женой тоже хотим забежать.

Они действительно забежали. Гэнч был так остроумен, что миссис Бэббит взмолилась, чтобы он «ради бога не смешил ее, иначе у нее, честное слово, шов разойдется!». Когда они вышли, Гэнч дружелюбно сказал:

— Джордж, старина, ты чего-то на всех огрызался в последнее время. Не знаю почему, да и не мое это дело. Но теперь ты как будто опять молодцом, так почему бы тебе не вступить к нам, в Лигу Честных Граждан, а, дружище? Там здорово весело, да и твой совет нам частенько нужен!

И в этот миг Бэббит, чуть не плача от радости, что его уговаривают, а не запугивают, и что можно, не роняя собственного достоинства, больше не сопротивляться и дезертировать со спокойной душой, навсегда перестал быть комнатным революционером. Он хлопнул Гэнча по плечу и на следующий же день стал членом Лиги Честных Граждан.

А через две недели никто во всей Лиге так рьяно не разглагольствовал о низости Сенеки Доуна, преступлениях рабочих союзов, опасности иммиграции, а также о прелестях гольфа, нравственных устоев и текущих счетов, как Джордж Ф. Бэббит.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Лига Честных Граждан получила распространение во всех штатах, но нигде она не развивала такой деятельности и не пользовалась таким уважением, как в городах типа Зенита — торговых центрах с населением в несколько сот тысяч, по большей части расположенных внутри страны и окруженных полями, шахтами и мелкими городишками, которые заимствовали у этих крупных центров деньги под заклад имущества, светские манеры, искусство, социальную философию и дамские шляпки.

Почти все состоятельные граждане Зенита были членами Лиги. Не все они принадлежали к так называемым «добрым малым». Кроме этих славных людей, укреплявших благосостояние общества, в Лигу входили и «аристократы», то есть люди, которые были богаче их или чьи предки разбогатели на несколько поколений раньше: директора банков и заводов, землевладельцы, адвокаты крупных трестов, модные врачи и несколько старообразных молодых людей, которые совсем не работали, но вынуждены были жить в Зените, где от безделия собирали коллекции майолики и первоизданий, как, бывало, в Париже. Но все члены Лиги соглашались, что рабочий класс должен знать свое место, все понимали, что Американская Демократия совсем не означает имущественного равенства, но требует здорового единообразия в мыслях, одежде, живописи, нравственности и речи.

В этом зенитцы походили на правящие классы любой другой страны, особенно Великобритании, но отличались большей энергией и тем, что реально старались добиться признанных ими стандартов, о чем мечтают все правящие классы во всем мире, но обычно безрезультатно.

Самую упорную кампанию Лига провела за свободный наем рабочих, что означало тайную борьбу против всех профсоюзов. Одновременно с этим она проводила кампанию за американизацию, устроив вечерние школы, где преподавали английский язык, историю и экономику, а также ежедневно печатала статьи в газетах, чтобы вновь прибывшие иностранцы твердо усвоили себе, что истинно американский, стопроцентный способ улаживать конфликты между рабочими и хозяевами заключается в том, что рабочие должны любить своих хозяев и доверять им.

Лига более чем щедро поддерживала другие организации, которые ставили перед собой ту же цель. Она помогла Христиан-

ской Ассоциации Молодых Людей собрать двести тысяч долларов на новое здание. Бэббит, Верджил Гэнч, Сидни Финкельштейн и даже Чарльз Мак-Келви выступали перед зрителями кинотеатров, рассказывая о том, какую роль в их собственной жизни сыграла «добрая старая Ассоциация», сделав из них мужественных христиан, а престарелый, но полный сил полковник Резерфорд Сноу, владелец «Адвокат-таймса», был сфотографирован, когда он жал руку Шелдону Смийсу из ХАМЛа. Правда, потом, когда Смийс прошюшюкал: «Приходите на наше молитвенное собрание, полковник, вы непременно должны прийти!» — свирепый полковник зарычал: «А какого черта я там не видел? У меня свой кабак есть!» — но об этом в прессе упомянуто не было.

Лига оказала серьезную поддержку и Американскому легиону, когда некоторые мелкие и безответственные газеты вздумали критиковать эту организацию ветеранов мировой войны. Однажды толпа молодых людей ворвалась в помещение зенитского комитета социалистической партии, сожгла документы, избила служащих и преспокойно выкинула письменные столы в окно. Все газеты, кроме «Адвокат-таймса» и «Вечернего адвоката», приписали проведение этого ценного, хотя, может быть, и несколько необдуманного мероприятия Американскому легиону. Тогда летучий отряд из Лиги Честных Граждан посетил редакции всех несправедливых газет и объяснил, что ни один из бывших солдат не станет делать такие вещи, после чего редакторы уразумели, что к чему, и тем самым сохранили клиентуру, дававшую объявления в их газеты. Когда единственный противник военной службы, выпущенный из тюрьмы, был справедливо изгнан из города, газеты во всем обвинили «неопознанную толпу».

II

Во всей плодотворной деятельности Лиги Честных Граждан Бэббит принимал горячее участие, и к нему полностью вернулось самоуважение, спокойствие и любовь друзей. Но потом он запротестовал: «Честно говоря, я внес свою лепту в оздоровление города. Теперь пора взяться за собственные дела. Надо, пожалуй, поменьше заниматься Лигой».

Он возвратился в лоно церкви так же, как вернулся и в клуб Толкачей. Он терпеливо снес пылкие приветствия, которыми его встретил Шелдон Смийс. Его беспокоило — не лишился ли он из-за своего прежнего бунтарства надежды на спасение души. Он не совсем был уверен, существует ли царствие небесное, но доктор

Джон Дженнисон Дрю утверждал, что существует, и Бэббит рисковать не собирался.

Как-то вечером, прогуливаясь около дома пастора, он не раздумывая зашел к доктору Дрю, который сидел у себя в кабинете.

— Минутку, я только позвоню по телефону! — деловым тоном бросил доктор Дрю и воинственно закричал в трубку: — Алло, алло! Беркли и Генис? Говорит Доктор Дрю. Куда это у вас запропастилась корректура «Воскресного альманаха»? Что? Конечно, у вас. Да разве я виноват, что все больны? Мне корректура нужна сегодня же вечером. Найдите рассыльного и шлите сюда, быстро!

Он обернулся к Бэббиту с тем же деловым видом:

— Чем могу служить, брат Бэббит?

— Да я только хотел узнать... Я вам прямо скажу, отец мой: тут я как-то за последнее время малость распустился. Выпивал и все такое. Мне и хотелось спросить: что, если человек все это бросил, опомнился, так сказать? Не повлияет ли то, что было... как бы выразиться,— не помешает ли это спасению души?

Достопочтенный Дрю вдруг оживился:

— А было ли... мм-мм... и другое, брат мой? Женщины?

— Да нет, можно сказать, почти что нет.

— Не бойтесь говорить правду, брат мой. Для этого я и существую. Совершали веселые прогулочки? Обнимали девочек в машине? — Глаза у достопочтенного Дрю замаслились.

— Нет, нет...

— Ну, я вам вот что посоветую. Через четверть часа ко мне придет депутация общества «Не шути с сухим законом», а в девять сорок пять — представители Союза борьбы с противозачаточными средствами.— Он деловито взглянул на часы.— Но я могу уделить вам минут пять и помолиться вместе с вами. Становитесь на колени тут же, около стула, брат мой. Не стесняйтесь искать помощи у господа бога.

У Бэббита зудело в голове,— до того хотелось удрать, но доктор Дрю уже плюхнулся на колени у письменного стола, и его голос из деловито-отрывистого стал елейно-проникновенным от общения с грешником и со Всевышним. Бэббит тоже опустился на колени, и доктор Дрю залился вовсю:

— О господи, перед тобой наш брат, сошедший с пути истинного из-за множества искушений. Отец небесный, очисти сердце его, да станет оно непорочным, как сердце дитяти! Дай познать ему радость мужественного отречения от зол земных...

Тут в кабинет влетел сияющий Шелдон Смийс. При виде двух коленопреклоненных мужчин он расплылся в улыбке, всепрощающе похлопал Бэббита по плечу и, став рядом на колени, обнял его за талию, подкрепляя мольбы доктора Дрю выкриками: «Да, господи! Помоги брату нашему, о господи!»

И хотя Бэббит старательно закрывал рукой глаза, он тихонько, сквозь пальцы покосился на пастора и увидел, как тот, взглянув на часы, торжественно закончил:

— И пусть он никогда не страшится приходить к нам за советом и братской помощью, пусть осознает он, что церковь может вести его, как слабого маленького ягненка!

Тут доктор Дрю вскочил, возвел глаза туда, где должно было находиться царствие небесное, сунул часы в карман и быстро спросил:

— Депутация пришла, Шельди?

— Ага, ждет! — так же быстро ответил Шельди и вкрадчиво обратился к Бэббиту: — Брат мой, если вам от этого станет легче, я могу с наслаждением пройти с вами в соседнюю комнату и помолиться, пока доктор Дрю примет депутацию общества «Не шути с сухим законом».

— Нет, спасибо, мне некогда! — крикнул Бэббит и бросился к дверям.

После этого его часто видели в пресвитерианской церкви на Чэтем-роуд, но многие замечали, что он избегал пожимать руку пастора, выходя из церкви.

III

Но если его моральные устои были настолько поколеблены «бунтарством», что он стал не вполне надежным соратником в суровых битвах Лиги Честных Граждан и не очень горячим приверженцем церкви, то в одном сомнений быть не могло: Бэббит с удовольствием вернулся к радостям домашнего очага, Спортивного клуба, к своим Толкачам и Лосям.

После долгих колебаний Верона и Кеннет Эскотт наконец решили пожениться. К свадьбе Бэббит нарядился ничуть не хуже Вероны: он напялил смокинг, который надевал всего раза три в год, на званые вечера, а когда Верона с Кеннетом благополучно отбыли в лимузине, он вернулся в дом, развалился в кресле, вытянул ноющие ноги на кушетке и подумал, что теперь они с женой могут спокойно сидеть в гостиной одни и не придется слушать, как Кеннет и Верона с ученым видом беспокоятся о судьбах Театральной лиги и о низком уровне заработной платы.

Но даже эта успокоенность была менее утешительна, чем возвращение в лоно клуба Толкачей, где Бэббит снова стал одним из самых популярных и обожаемых сочленов.

IV

Президент клуба Вильям Иджемс, открывая очередное заседание, молча встал и так скорбно поглядел на членов клуба, что все испугались — не объявит ли он сейчас о смерти кого-нибудь из Толкачей.

Он заговорил медленно и проникновенно:

— Друзья, я должен сообщить вам потрясающую новость, страшную тайну одного из наших сочленов.

Несколько Толкачей, в том числе и Бэббит, растерянно посмотрели на него.

— Один из наших странствующих — с чемоданчиком! — рыцарей, мой добрый друг, недавно объезжал по делам наш штат и в некоем городке, где некий Толкач провел детство, он обнаружил то, что дольше скрывать нельзя. Говоря точнее, он раскрыл внутреннюю сущность человека, которого мы считали Настоящим Парнем, свойским малым. Джентльмены, голос мне изменяет, я не в силах произнести эти слова вслух, и я их написал.

Он сдернул покрышку с большой грифельной доски — на ней огромными буквами стояло:

ДЖОРДЖ ФАЛЛАНСБИ БЭББИТ — Ах ты, Фалли-Фалалей!

Толкачи заорали «ура», они хохотали до слез, швыряли в Бэббита булками, вопили:

— Речь! Речь! Ах ты, Фалли-Фалалей!

Президент Иджемс продолжал:

— Вот, джентльмены, та ужасная истина, которую столько лет скрывал от нас Джорджи Бэббит, заставляя нас думать, что его зовут просто Джордж Ф. Прошу всех по очереди разъяснить, что́ каждый из вас подразумевал под этим «Ф».

— Франт! — закричали все.— Фофан! Фига! Фанфарон! Фрукт! Форсун! Фат!

По этим добродушным выкрикам Бэббит понял, что они снова возвратили ему свою любовь, и, счастливый, вскочил с места:

— Ребята, сознаюсь! Никогда я не носил часы на браслете, никогда не коверкал свою фамилию, но признаюсь, что меня зовут «Фаллансби». Единственное мое оправдание в том, что мой папаша, который вообще-то был умный малый и мог обставить любого чинушу в два счета — я говорю об игре в шашки! — назвал меня

так в честь нашего домашнего врача — старого доктора Амброза Фаллансби. Прошу прощения, друзья! В своем следующем, как оно там называется, я постараюсь перевоплотиться в человека с вполне дельным именем — с именем, которое звучало бы красиво и вместе с тем мужественно и просто,— словом, с именем, которое было бы похоже на доброе имя, знакомое каждому ребенку,— на смелое, неотразимое имя — Виллис Джимджемс Иджемс!

По мощным крикам «ура!» он понял, что вернул их дружеское расположение, понял, что больше никогда не поставит под угрозу свое благополучие и свою популярность, откалываясь от Клана Порядочных Людей.

V

Генри Томпсон ворвался в контору с радостными возгласами:

— Эй, Джордж! Отличные новости! Джек Оффат говорит, что транспортники недовольны тем, как Сандерс, Торри и Уинг провели последнюю сделку, и хотят опять переметнуться к нам!

Бэббит обрадовался тому, что последняя рана, нанесенная его бунтом, зарубцевалась, однако по дороге домой его одолевали непрошеные мысли, которых он не знал в дни воинствующего оппортунизма. Он обнаружил, что искренне считает заправил Транспортной компании не совсем честными людьми. Ладно, он проведет для них еще одну махинацию, но при первой возможности — а такая возможность наверно представится, когда старый Генри Томпсон умрет,— сразу порвет с ними всякие отношения. Ему сорок восемь лет, через двенадцать лет стукнет шестьдесят, хочется внукам оставить незапятнанное имя. Конечно, на сделках с транспортниками можно заработать уйму денег, надо подходить к вещам здраво, и все-таки... Его передернуло. Очень хотелось выложить этой шайке из Транспортной компании все, что он о них думает. «Нет, нельзя, сейчас еще не время. Если второй раз их обидеть, они меня в порошок сотрут. Да, но...»

Он сознавал, что будущее ему не очень ясно. Он не знал, что делать дальше: он был еще молод, неужели все приключения уже кончились? Он чувствовал, что попал в те же самые сети, из которых вырывался с такой яростью, и, по иронии судьбы, его же заставили радоваться, что он опять пойман.

«Да, довели меня, прикончили совсем!» — жалобно подумал он.

Но в доме в этот вечер было тихо и мирно, и он с удовольствием сыграл с женой в пинокль. Он возмущенно возражал Искусителю, что ему нравится жить как полагается, по старинке. На

следующий день он зашел к торговому агенту Транспортной компании, и они составили план тайной скупки участков вдоль Ивенстоунского шоссе. Но, возвращаясь в контору, он внутренне сопротивлялся: «Нет, буду все делать по-своему и вести дела, как мне нравится, когда уйду на покой!»

VI

Тед приехал из университета на конец недели. И хотя он перестал говорить об инженерно-механическом институте и сдержаннее отзывался о своих профессорах, но с университетом он никак примириться не мог и больше всего интересовался новым радиоприемником.

В субботу вечером он поехал с Юнис Литтлфилд на вечеринку в Девон-Вудс. Бэббит мельком видел, как Юнис подпрыгивала на сиденье — вся сияющая, в огненно-красном плаще поверх тончайшего платья из палевого шелка. В половине двенадцатого, когда Бэббиты легли спать, Юнис с Тедом еще не возвращались. Поздно ночью, неизвестно в котором часу, Бэббита разбудил телефонный звонок, и он, рассердившись, неохотно поплелся вниз. Звонил Говард Литтлфилд.

— Джордж, Юни еще не вернулась. А Тед?

— Нет... во всяком случае, дверь в его комнату открыта.

— Пора бы им вернуться. Юнис сказала, что вечеринка кончится не позже двенадцати. Как фамилия людей, к которым они поехали?

— Ей-богу, Говард, по правде говоря, я и сам не знаю. Какой-то одноклассник Теда в Девон-Вудсе. Что ж тут делать? Погодите, я побегу спрошу Майру, может быть, она знает, к кому они поехали.

Бэббит зажег свет в комнате Теда. Это была настоящая мальчишеская комната — беспорядок в шкафу, беспорядочно разбросанные вещи, старые книжки, спортивный вымпел средней школы, фотографии баскетбольных и бейсбольных команд. Но Теда там и в помине не было.

Когда Бэббит разбудил жену, та с раздражением сказала, что никаких знакомых Теда она не знает, и сейчас поздно, что Говард Литтлфилд просто врожденный идиот, а она хочет спать. Но она не заснула и очень беспокоилась, а Бэббит у себя на веранде пытался снова задремать под неумолчное, как дождь, журчание ее голоса. Уже рассвело, когда он проснулся оттого, что она трясла его, испуганно повторяя:

— Джордж! Джордж!

— Что... что такое?

— Скорее, скорее, иди посмотри! Только тихо!

Она повела его по коридору к комнате Теда и осторожно приоткрыла дверь. На потертом коричневом ковре легкой пеной розовел шифон сброшенного белья, на солидном кожаном кресле блестела серебряная девичья туфелька. А на подушке рядом лежали две сонные головы — Теда и Юнис.

Тед проснулся и, улыбнувшись, пробормотал неуверенно, хотя и с вызовом:

— Доброе утро! Разрешите представить мою супругу — уважаемую миссис Теодор Рузвельт Юнис Литтлфилд Бэббит.

— Боже правый! — воскликнул Бэббит, а его жена простонала:

— Как, вы уже...

— Да, мы уже вчера вечером поженились. Жена! Сядь и скажи хорошенько «доброе утро» свекрови!

Но Юнис спрятала плечи и очаровательно растрепанную головку под подушку.

К девяти часам Теда и Юнис в гостиной Бэббитов окружил целый синклит, включая мистера и миссис Джордж Бэббит, мистера и миссис Говард Литтлфилд, мистера и миссис Кеннет Эскотт, мистера и миссис Генри Т. Томпсон, а также Тинку Бэббит — единственного члена инквизиционной коллегии, который был очень доволен.

Вся комната была полна взволнованных голосов:

— В их возрасте...

— Надо аннулировать...

— В жизни не слыхала про такое...

— Оба виноваты...

— Главное, чтоб не попало в газеты!..

— Отправить в школу...

— Надо что-то предпринять и, по-моему...

— Отодрать бы их по старинке!

Больше всех возмущалась Верона:

— Тед! Ты *обязан* понять, тебе надо *внушить*, насколько это *серьезно*, и нечего стоять как *пень* с дурацкой *улыбкой* на лице!

Он возмутился:

— Фу-ты пропасть! Рона! Да ты сама только что вышла замуж!

— Это совершенно другое дело!

— Я думаю! Меня и Юни не надо было тащить на аркане, чтобы заставить поцеловаться!

— Эй, молодой человек, брось дерзить! — приказал старый Генри Томпсон.— Послушай-ка меня!

— Послушай дедушку! — сказала Верона.

— Да, послушай, что скажет дедушка! — подхватила миссис Бэббит.

— Тед, послушай мистера Томпсона! — поддержал и Говард Литтлфилд.

— Да слушаю я, слушаю, черт меня дери! — завопил Тед.— Только лучше бы вы меня послушали! Надоело мне быть трупом на этом вскрытии! Если вам непременно хочется кого-нибудь угробить, идите и бейте пастора, который нас обвенчал. Содрал пять долларов, а у меня в кармане всего было шесть долларов и два цента! И перестаньте на нас орать, хватит!

И вдруг новый голос, внушительный и громкий, перекрыл всех. Заговорил сам Бэббит.

— Да, что-то слишком много советчиков собралось! Рона, замолчи! Мы с Говардом сами сумеем отчитать, кого надо. Тед, пойдем в столовую, мы обо всем поговорим.

В столовой, плотно закрыв двери, Бэббит подошел к сыну, положил ему обе руки на плечи:

— Ты, в общем, прав. Слишком много они все болтают. Скажи мне, старина, что ты собираешься делать?

— Да неужто... Папка, неужели ты будешь говорить со мной по-человечески?

— Видишь ли... Помнишь, ты однажды назвал нас «мужчины семейства Бэббитов» и сказал, что нам надо держаться друг друга! Этого-то я и хочу. Разумеется, это дело серьезное. При теперешнем положении вещей, когда у молодого парня не так уж много шансов устроиться, я не очень-то одобряю ранние браки. Но лучше Юнис я для тебя девушки не знаю, да и Литтлфилд может считать себя счастливым, что ему достался в зятья Бэббит! Но что ты собираешься делать? Конечно, если бы ты продолжал учиться в университете, а когда кончишь...

— Папа, я больше не могу! Может быть, для других университет — штука хорошая. Может, и я сам туда захочу когда-нибудь вернуться. Но сейчас я мечтаю об одном — заняться техникой. Наверно, из меня выйдет неплохой изобретатель. Уже сейчас один человек готов взять меня к себе на завод и платить двадцать долларов в неделю!

— Ну что ж...— Бэббит прошелся по комнате, медлительный, грузный, словно сразу постаревший.— Мне всегда хотелось, чтобы ты получил университетский диплом...— Он в раздумье еще раз прошелся из угла в угол.— Но сам-то я никогда... только, ради Христа, не повторяй это при матери, не то она выдерет у меня последние волосы... сам я за всю жизнь не сделал ничего так, как мне хотелось. Не знаю — достиг ли я чего-нибудь, вернее, просто

жил, как жилось. Думаю, что из каждых возможных ста футов я прошел от силы четверть дюйма. Может быть, ты пойдешь дальше. Не знаю. Но в душе я, откровенно говоря, радуюсь, что ты твердо знал, чего тебе нужно, и своего добился. Теперь они все будут пытаться запугать тебя, утихомирить. А ты пошли их к черту! Я — за тебя. Поступай на завод, если хочешь. Не бойся всех этих родственников! И всего Зенита не бойся! А главное — не бойся самого себя, как я боялся. Ступай, дружище! Весь мир — твой!

И, обняв друг друга за плечи, мужчины семейства Бэббитов прошагали в гостиную и предстали пред лицом грозно надвинувшихся на них родичей.

ПЕРЕВОД Н. ВОЛЬПИНА

Я в долгу перед доктором Полем А. де Крюи не только за бóльшую часть бактериологического и медицинского материала для этой книги, но и за помощь в разработке самой фабулы, за то, что в каждом персонаже романа он видел живого человека, за его философию ученого. Этим признанием я хочу помянуть месяцы нашей близости во время работы над книгой — в Соединенных Штатах, в Вест-Индии, в Панаме, в Лондоне, в Фонтенебло. Хотелось бы мне воспроизвести наши разговоры в пути, и дни в лабораториях, и ночные рестораны, и палубу на рассвете, когда мы входили в тропические гавани.

Синклер Льюис

ГЛАВА I

1

В фургоне, пробиравшемся через леса и болота пустынного Огайо, сидела за возницу девочка лет четырнадцати в рваном платье. Ее мать похоронили близ Мононгахилы — девочка сама обложила дерном могильный холмик на берегу реки с красивым названием. Отец лежал в лихорадке на полу фургона, а вокруг него играли ее братья и сестры, чумазые ребятишки в отрепьях — веселые ребятишки.

У развилка, посреди заросшей травою дороги, девочка остановила фургон, и больной прерывающимся голосом проговорил:

— Эмми, ты бы лучше свернула на Цинциннати. Если нам удастся разыскать дядю Эда, он, я думаю, примет нас к себе.

— Никто не захочет нас принять,— сказала девочка.— Поедем прямо вперед, покуда можем. На запад! И я увижу много нового!

Она сварила ужин, уложила детей спать и долго сидела одна у костра.

Это была прабабка Мартина Эроусмита.

2

Во врачебном кресле в кабинете дока Викерсона, закинув ногу на ногу, пристроился мальчик и читал «Анатомию» Грея. Звали его Мартин Эроусмит из Элк-Милза в штате Уиннемак.

В Элк-Милзе (тогда, в 1897 году, это была неприглядная деревушка с домами красного кирпича, пахнувшая яблоками) уве-

ряли, что раздвижное коричневой кожи кресло, на котором док Викерсон производил мелкие операции и дергал изредка зубы, а чаще подремывал, начало свое существование в цирюльне. Держалось также поверье, что некогда его владелец прозывался доктором Викерсоном, но с годами он превратился просто в «дока», и был он еще обшарпанней и куда упрямей своего раздвижного кресла.

Мартин был сыном Дж.-Дж. Эроусмита, который служил управляющим в «Нью-Йоркской Распродаже Готового Платья». Из чистого задора и упрямства мальчик сделался в четырнадцать лет неофициальным и, разумеется, бесплатным ассистентом дока; когда док объезжал больных по окрестностям, он его заменял — хотя, в чем нужно было заменять дока, никто не мог бы объяснить. Мартин был стройный мальчик, не очень высокий; волосы и беспокойные глаза были у него черные, а кожа необычайно белая, и этот контраст, казалось, говорил о страстном непостоянстве. Все же благодаря квадратной голове и изрядно широким плечам он не выглядел женственным; не было в нем и той раздражительной робости, которую молодые джентльмены артистического склада именуют щепетильностью. Когда он, слушая, вскидывал голову, правая бровь его, лежавшая немного выше левой, поднималась и подергивалась в характерном для него выражении, энергическом и независимом,— и тогда видно было, что мальчик умеет постоять за себя, и обнаруживалась та дерзкая пытливость, за которую его недолюбливали учителя и директор воскресной школы.

Мартин, как большинство обитателей Элк-Милза до славяно-итальянской иммиграции, был типичным чистокровным американским англосаксом — иными словами, в его жилах текла германская и французская кровь, шотландская, ирландская, немного, может быть, испанской, вероятно в некоторой дозе и та смесь, что зовется еврейской кровью, и в большой дозе — английская, которая, в свою очередь, представляет собой соединение древнебританского, кельтского, финикийского, романского, германского, датского и шведского начал.

Нельзя с уверенностью утверждать, что, когда Мартин пошел в помощники к доку Викерсону, им безраздельно руководило высокое желание сделаться Великим Целителем. Правда, он внушал трепет своим ровесникам, когда перевязывал им ссадины или анатомировал бе́лок и при этом разъяснял, какие поразительные и таинственные вещи кроются в физиологии; и в то же время он не был вполне свободен от тщеславного стремления стяжать среди товарищей славу, какая озаряла сына епископального священника, мальчика, который выкуривал целую сигару, не испытывая

тошноты. Но сегодня он усердно читал главу о лимфатической системе, выговаривая вслух длинные и совершенно непонятные слова, и от его бормотания в пыльной комнате еще больше клонило ко сну.

Комната была средняя из трех, занимаемых доком Викерсоном, окнами на Главную улицу, прямо над «Нью-Йоркской Распродажей Готового Платья». По одну сторону от нее была затхлая приемная, по другую — спальня Викерсона. Док был старый вдовец; он нисколько не заботился о том, что презрительно называл «женским уютом»; в его спальне, где стояла шаткая шифоньерка и прикрытая грязными одеялами походная кровать, никто не прибирал, кроме Мартина — в тех редких случаях, когда на мальчика находили приступы санитарного рвения.

Эта средняя комната служила одновременно конторой, врачебным кабинетом, операционной, гостиной, местом для игры в покер и складом охотничьих и рыболовных принадлежностей. У бурой оштукатуренной стены стоял стеклянный шкаф с зоологической коллекцией и медицинскими диковинами, а рядом — самый страшный и самый приманчивый предмет, какой только знали элк-милзские мальчишки: скелет с одиноким золотым зубом в оскале. По вечерам, когда док бывал в отлучке, Мартин для укрепления своего престижа приводил притихших мальчишек в жуткую темноту комнаты и чиркал серной спичкой о челюсть скелета.

На стене висело чучело щуки, собственноручно изготовленное доком и укрепленное на самодельной отполированной доске. Рядом со ржавой печуркой на захарканном, протертом до основы линолеуме стояла плевательница — просто ящик с опилками. На ветхом столе лежала груда памятных записей о долгах, которые док постоянно клялся «собрать, наконец, с этих прощелыг», но которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не взыскал бы ни с одного должника. Из года в год... из десятилетия в десятилетие... из века в век — ничто не менялось для работяги-врача в хлопотливом, как пчелиный улей, городишке.

Самый антисанитарный угол был занят чугунной раковиной, которой чаще пользовались для мытья перемазанных яйцом тарелок после завтрака, чем для стерилизации инструментов. По ее краям разложены были разбитая пробирка, сломанный рыболовный крючок, пузырек без ярлыка с какими-то пилюлями, неизвестно какими, ощетинившийся гвоздями каблук, изжеванный окурок сигары и воткнутый в картофелину ржавый ланцет.

Эта неприбранная запущенная комната выражала душу дока Викерсона, была ее символом: она волновала сильнее, чем безличные стопки башмачных коробок в «Нью-Йоркской Распродаже»; она манила Мартина Эроусмита на исследования и приключения.

3

Мальчик вскинул голову, поднял пытливую бровь. На лестнице слышны были тяжелые шаги дока Викерсона. Док не пьян! Мартину не придется укладывать его в постель.

Но было недобрым признаком, что док прошел сперва через прихожую в спальню. Мальчик стал вслушиваться и услышал, как док отворил нижний шкафчик в умывальнике, где держал бутылку ямайского рома. Забулькало; затем невидимый доктор поставил бутылку на место и решительно захлопнул ногою дверцу. Пока не страшно. Только раз приложился к бутылке. Если теперь он пройдет сразу в кабинет, все обойдется благополучно. Но док все еще стоял в спальне. Мартин вздохнул, когда дверца умывальника снова поспешно отворилась, и снова послышалось бульканье, потом в третий раз.

Поступь дока была много бодрее, когда он ввалился в кабинет серой тушей с серой щеткой усов — огромный, нереальный и неопределенный, точно облако, на миг принявшее сходство с человеком. Сразу кидаясь в атаку — обычный прием у того, кто желает предотвратить разговор о своей провинности,— док подошел к письменному столу и загремел:

— Что вы тут делаете, молодой человек! Что вы тут делаете? Т-так и знал, что кошка что-нибудь притащит, если я не запру дверь.— Он негромко икнул; улыбнулся, чтобы показать, что шутит, а то люди не всегда умеют распознать, в каком настроении док.

Он продолжал уже серьезней, забывая временами, о чем говорит:

— Читаешь старого Грея? Хорошее дело. Библиотека врача — это три книги: «Анатомия» Грея, Библия, Шекспир. Учись. Из тебя может выйти великий врач. Будешь жить в Зените и зашибать пять тысяч долларов в год — что твой сенатор. Меть всегда повыше. Лови удачу. И работай над собой. Кончишь сперва колледж, потом — на медицинский факультет. Изучай химию. Латынь. Науки! Я горе-врач. У меня ни кола ни двора. Я старый бобыль и пьяница. А ты — ты будешь видным врачом. Будешь зашибать пять тысяч в год!

У жены Маррея эндокардит. Я ничего не могу для нее сделать. Некому посидеть с ней, подержать за руку. Дорога — просто проклятие. Разворотило дренажную трубу за рощей. Про...клятие!

Эндокардит и...

Учеба тебе нужна, учеба! Знать основы. Химию. Биологию. Я-то их не изучал. Миссис Джонс, жена преподобного Джонса, думает, что у ней язва желудка. Хочет ехать в город на операцию.

Язва, как же! Оба они, и сам преподобный и его супружница, жрут не в меру!

Что они не исправят дренаж... И еще: не надо быть таким, как я, пропойцей. Учиться надо — накапливать знания. Чего не поймешь, объясню.

Мальчик, хоть и был он обыкновенным деревенским парнишкой, который не прочь пошвырять камнями в кошек и поиграть в пятнашки, испытывал лихорадку кладоискателя, когда док заплетающимся языком старался открыть его духовному взору всю славу знания, говорил ему про универсальность биологии, про торжествующую точность химии. Док был старый толстый человек, нечистоплотный, опустившийся. С грамматикой он не ладил, его словарь смутил бы хоть кого, а его отзывы о своем сопернике, добрейшем докторе Нидхэме, были прямо скандальны; и все-таки он умел пробудить в Мартине мечту о химических опытах с шумными взрывами и вонью, мечту о разглядывании микроскопических букашек, которых еще не доводилось увидеть ни одному мальчику в Элк-Милзе.

Голос доктора стал глуше. Старик опустился в кресло, взгляд его был мутен, нижняя губа отвисла. Мартин упрашивал его лечь, но док не сдавался.

— Не желаю спать! Нет! Выслушай. Ты не ценишь, а ведь я... Я уже стар. Я делюсь с тобою всеми знаниями, которые сам приобрел. Показываю тебе коллекцию. Единственный музей на весь край. Я пионер просвещения.

Сотни раз Мартин послушно смотрел на предметы, разложенные в темном книжном шкафу с потускневшей полировкой; на жуков и на куски слюды; на зародыш двухголового теленка; на камни, удаленные из печени одной почтенной дамы, имя которой док с энтузиазмом называл каждому своему посетителю. Док стоял перед шкафом и водил громадным, но дрожащим указательным пальцем.

— Погляди на эту бабочку. Это — porthesia chrysorrhoea. Док Нидхэм не мог бы тебе ее назвать. Он не знает, как какую бабочку зовут! Ему неважно, получишь ты знания или нет. Запомнил ты, как ее зовут? — Он повернулся к Мартину.— Ты слушаешь? Тебе интересно? А? Тьфу, черт! Никто и знать не желает о моем музее — ни одна душа! О единственном музее на весь край!! Я старый неудачник!

— Да, право же, нет,— стал уверять Мартин.— Музей у вас шикарный!

— Смотри сюда! Смотри! Видишь? Вот здесь, в бутылке? Это — аппендикс. Первый аппендикс, вырезанный в нашем округе. И вырезал его я! Да! Что ты думаешь! Старый док Викерсон

первый в этом захолустье сделал операцию аппендицита! И основал первый музей. Небольшой — правда... но это — начало. Я не скопил денег, как док Нидхэм, но я положил основу первой коллекции, первой!

Он повалился в кресло, простонал:

— Ты прав. Пойду спать! Выдохся.— Но когда Мартин помог ему подняться на ноги, он рванулся в сторону, стал шарить рукой по письменному столу, подозрительно оглянулся.— Я хотел дать тебе кое-что. Положить начало твоему учению. Не забывай старика. Будет кто-нибудь помнить старика?

Док держал в протянутой руке свою нежно любимую лупу, которой годами пользовался в занятиях ботаникой. Он посмотрел, как Мартин опустил лупу в карман, вздохнул, попробовал сказать что-то еще и молча побрел в спальню.

ГЛАВА II

1

Штат Уиннемак граничит с Индианой, Иллинойсом, Огайо и Мичиганом и, подобно им, представляет собой сочетание Востока со Средним Западом. Его кирпичной стройки деревни, осененные платанами, его промыслы и традиции, восходящие к войне за независимость, дышат Новой Англией. Самый крупный город штата — Зенит — основан в 1792 году. Зато полями пшеницы и кукурузы, красными амбарами и силосными башнями Уиннемак принадлежит к Среднему Западу, и многие его округа, несмотря на седую древность Зенита, начали заселяться только с 1860 года.

Уиннемакский университет находится в Могалисе, в пятнадцати милях от Зенита. В нем учатся двенадцать тысяч студентов; Оксфорд рядом с этим чудом — крошечная богословская школа, а Гарвард — изысканный колледж для молодых джентльменов. При университете имеется бейсбольное поле под стеклянной крышей; его здания тянутся на много миль; он держит на жалованье сотни молодых докторов философии для ускоренного обучения студентов санскриту, навигации, счетоводству, подбору очков, санитарной технике, провансальской поэзии, таможенным правилам, выращиванию брюквы, конструированию автомобилей, истории города Воронежа, особенностям стиля Мэтью Арнольда, диагностике кимопаралитической миогипертрофии и рекламированию универмагов. Его ректор — первый специалист в Соединенных Штатах по добыванию денег и застольным речам; и Уиннемак первый среди университетов всего мира стал вести свои заочные курсы по радио.

Это не какой-нибудь колледж для юных снобов, посвященный разным пустякам. Это собственность граждан штата, а граждане штата нуждаются (или им внушают, что они нуждаются) в фабрике по изготовлению таких мужчин и женщин, которые вели бы нравственный образ жизни, играли бы в бридж, ездили бы в хороших автомобилях, проявляли предприимчивость в делах и при случае упоминали ту или иную книгу, хотя всякому ясно, что читать им некогда. Это фордовский завод; выпускаемые им автомобили хоть и дребезжат, зато безукоризненно стандартизованы и их части можно легко переставлять с одного на другой. Влияние Уиннемакского университета и численность его студентов растут с каждым часом, и можно ожидать, что к 1950 году он создаст совершенно новую всемирную цивилизацию — более мощную, более бойкую, более чистую.

2

В 1904 году, когда Мартин Эроусмит, получив звание бакалавра наук и искусств, готовился к поступлению на медицинский факультет, Уиннемак насчитывал всего пять тысяч студентов, но был уже довольно бойким учебным заведением.

Мартину исполнился двадцать один год. Он все еще казался бледным — по контрасту с гладкими черными волосами, но был приличным бегуном, неплохим центром в баскетболе и ярым хоккеистом. Студентки перешептывались о его «романтической внешности»; но так как было это до изобретения половой проблемы и до эры вечеринок с поцелуями, они говорили о нем только между собой, и он не знал, что мог бы сделаться героем любовных историй. При всем своем упрямстве он был застенчив. Он не был совсем неопытен в ласках, но не превращал их в занятие. Общество его составляли молодые люди, мужскою гордостью которых было курить замусоленную кукурузную трубку и носить замусоленный свитер.

Университет стал его миром. Элк-Милз для него больше не существовал. Док Викерсон умер, был похоронен и забыт; родители Мартина умерли, оставив ему средства только на окончание университета. Целью его жизни была химия и физика с перспективой биологии на будущий год.

Кумиром Мартина был профессор Эдвард Эдвардс, руководитель кафедры химии, известный всем под кличкой «Дубль-Эдвардс». Познания Эдвардса в истории химии были необъятны. Он читал по-арабски и приводил в ярость своих коллег, уверяя, что арабы предвосхитили все результаты их изысканий. Сам профес-

сор Эдвардс никогда не занимался изысканиями. Он сидел перед камином, гладил свою овчарку и посмеивался в бороду.

В этот вечер Дубль-Эдвардс устроил один из своих обычных приемов, всегда охотно посещавшихся. Он откинулся на коричневую спинку обитого плисом кресла и спокойно шутил на радость Мартину и еще пяти-шести молодым фанатикам химии, поддразнивая доктора Нормана Брамфита, преподавателя английской литературы. Комната была полна весельем, пивом и Брамфитом.

В каждом учебном заведении есть свой бунтарь, призванный повергать в трепет и смущение переполненные аудитории. Даже в столь интенсивно-добродетельной организации, как Уиннемакский университет, был такой бунтарь,— этот самый Норман Брамфит. Ему безоговорочно разрешалось говорить о себе, как об аморальном существе, агностике и социалисте, поскольку всем было известно, что он хранит целомудрие, верен пресвитерианской церкви и состоит в республиканской партии. Сегодня Брамфит был в ударе. Он уверял, что всякий раз, как мы имеем дело с гениальным человеком, можно доказать, что в нем есть еврейская кровь. Как всегда бывает в Уиннемаке, когда заходит речь об иудаизме, разговор перешел на Макса Готлиба, профессора бактериологии на медицинском факультете.

Профессор Готлиб был загадкой университета. Было известно, что он еврей, что он родился и учился в Германии и что его работы по иммунологии стяжали ему славу на Востоке и в Европе. Редко выходил он из своего обветшалого коричневого домика, если не затем, чтоб вечером вернуться в лабораторию, и мало кто из студентов, не слушавших его курса, знал его в лицо; но каждый слышал о нем — о высоком, худом и смуглолицем затворнике. О нем ходили тысячи басен. Рассказывали, что он сын немецкого принца, что он несметно богат и живет так же скудно, как и прочие профессора, только потому, что производит таинственные и дорогостоящие опыты, возможно, связанные даже с человеческими жертвами. Говорили, что он достиг умения создавать жизнь лабораторным путем, что, делая прививки обезьянам, он с ними разговаривает на обезьяньем языке, что из Германии он изгнан как поклонник дьявола и анархист и что каждый вечер он тайно пьет за обедом настоящее шампанское.

Традиция не позволяла профессорам и преподавателям разбирать своих коллег в присутствии студентов, но Макса Готлиба никто не смел считать своим коллегой. Он был безличен, как холодный северо-восточный ветер. Доктор Брамфит ораторствовал:

— Я достаточно, смею сказать, либерален в вопросе о правах науки, но с таким человеком, как Готлиб... Я готов поверить, что он знает все о силах материальных, но меня поражает, когда та-

«Эроусмит»

кой человек слепо закрывает глаза на жизненную силу, создающую все другие. Он утверждает, что знание не имеет цены, если не опирается на цифры. Прекрасно! Если кто-нибудь из вас, молодых светил, может взять и вымерить гений Бена Джонсона портновским сантиметром, тогда я соглашусь, что мы, бедные словесники, с нашей безусловно нелепой верой в красоту, и верность идеалам, и в мир сновидений, что мы на ложном пути.

Мартин Эроусмит не вполне уяснил себе точный смысл этих слов, но в юном своем пылу нисколько этим не смутился. Он с облегчением услышал, как профессор Эдвардс из гущи бороды и табачного дыма проронил нечто до странности похожее на «тьфу, пропасть!» и, перебив Брамфита, сам завладел разговором. В другое время Дубль с любезной язвительностью стал бы уверять, что Готлиб — «похоронных дел мастер», который тратит за годом год на разрушение теорий, созданных другими учеными, сам же не вносит в науку ничего нового. Но сегодня, в пику таким пустомелям-словесникам, как Брамфит, он стал превозносить Готлиба за долгие, одинокие, неизменно безуспешные усилия синтезировать антитоксин, за дьявольское наслаждение, с каким он опровергает свои собственные положения наряду с положениями Эрлиха или сэра Альмрота Райта. Говорил он и о прославленной книге Готлиба «Иммунология», которую прочли семь девятых изо всех людей, имеющих некоторые шансы ее понять,— а их во всем мире девять человек.

Вечер закончился знаменитыми пончиками миссис Эдвардс. Сквозь марево весенней ночи Мартин зашагал к своему пансиону. Спор о Готлибе вызвал в нем безотчетное волнение. Он думал о том, как хорошо ночью в лаборатории, одному, уйти с головой в работу, презирая академический успех и общедоступные лекции. Сам он никогда не видел Готлиба, но знал, что его лаборатория помещается в главном медицинском корпусе. Он побрел по направлению к отдаленному медицинскому городку. Те немногие, кого он встретил на пути, торопливо и настороженно проходили мимо. Мартин вступил в тень анатомического корпуса, угрюмого, точно казарма, и тихого, как мертвецы, что лежали там в секционной. Поодаль вставал со своими башнями главный медицинский корпус — угрюмая, туманная громада; высоко в темной стене — одинокий свет. Мартин вздрогнул: свет внезапно потух — точно потревоженный полуночник старался спрятаться от него, Мартина.

Две минуты спустя на каменном крыльце медицинского корпуса под дуговым фонарем появилась высокая фигура аскета, замкнутого, неприступного. Смуглые щеки его были впалы, нос тонкий, с горбинкой. Он не торопился, как запоздалый семьянин. Он не видел мира. Он посмотрел на Мартина — сквозь него; и

побрел прочь, что-то бормоча про себя, сгорбив плечи, стиснув за спиною длинные переплетенные пальцы. Сам подобный тени, он скрылся среди теней.

На нем было сильно потертое пальто, как у любого небогатого профессора, но Мартину он запомнился в черном бархатном плаще, с горделивой серебряной звездой на груди.

3

С первого дня поступления на медицинский факультет у Мартина Эроусмита сложилось высокое мнение о себе. Он был медиком и потому казался романтичней других студентов, ибо медики славятся знакомством с различными тайнами, ужасами, захватывающими пороками. Студенты других отделений забегают к ним заглянуть в их книги. Но, будучи бакалавром наук и искусств, получившим общеобразовательную подготовку, он ставил себя выше и своих же товарищей медиков, которые по большей части кончили только среднюю школу или, в лучшем случае, проучились еще год в каком-нибудь захудалом лютеранском колледже, затерявшемся среди кукурузных полей.

Однако при всей своей самоуверенности Мартин нервничал. Он думал о том, как ему придется делать операции,— еще, чего доброго, неправильным разрезом убьешь человека, а более непосредственно страшила мысль о секционном зале, о строгом, неприветливом анатомическом корпусе. Ему доводилось слышать рассказы старших медиков об ужасах «анатомички», о темном подвале, где в чанах с рассолом, на крючках, точно связки омерзительных плодов, подвешены трупы, о служителе Генри, который, говорят, вытаскивает трупы из рассола, вводит им в вены сурик и, укладывая на подъемник, обзывает бранными словами.

Осенний день дышал свежестью прерий, но Мартин ничего не замечал. Миновав аспидно-черный вестибюль главного медицинского корпуса, он спешил по широкой лестнице к кабинету Макса Готлиба. Он не глядел на встречных студентов и, когда налетал на них, смущенно бормотал извинения. Это был великий час! Мартин решил избрать специальностью бактериологию; он откроет чудесные неведомые микробы; профессор Готлиб признает в нем гения, сделает его ассистентом, предречет ему... Мартин остановился в личной лаборатории Готлиба, маленькой опрятной комнате, где на рабочем столе выстроились в деревянной стойке заткнутые ватой пробирки; здесь не было ничего замечательного, ничего колдовского, кроме водяной бани с ее замысловатым градусником и электрическими лампочками. Мартин переждал, пока другой студент — какой-то остолоп и заика — кончил разговор с Гот-

либом, темным, худым и бесстрастным у своего письменного стола в каморке при лаборатории,— затем ринулся вперед.

Туманной апрельской ночью Готлиб представился Мартину романтичным, точно всадник в плаще, теперь же он показался раздражительным средних лет человеком. Вблизи Мартин разглядел морщинки вокруг его ястребиных глаз. Вот он снова повернулся к столу, на котором лежала груда растрепанных записных книжек, листы с вычислениями и изумительно точная диаграмма с красными и зелеными кривыми, спадающими до нуля. Вычисления записаны были изящно, мелко, восхитительно четко; изящны были и тонкие руки ученого, перебиравшие бумаги. Он поднял глаза и заговорил с легким немецким акцентом. Он произносил слова не то чтобы неправильно, а с каким-то теплым, чужестранным призвуком.

— Да? Так что?

— Ах, профессор Готлиб, меня зовут Эроусмит. Я медик, первокурсник, кончил Уиннемакский колледж. Я страшно хотел бы приступить к бактериологии с этой же осени, а не в будущем учебном году. Я хорошо подкован по химии...

— Нет. Вам рано.

— Честное слово, я уверен, что могу приступить теперь же.

— Боги посылают мне студентов двух пород. Первую породу они подсыпают мне, как картошку. Я картошку не люблю, да и картошка, по-видимому, тоже не питает ко мне особенной нежности, но я ее беру и учу убивать пациентов. Другая порода... их очень мало!.. и у них как будто по не совсем ясной для меня причине есть некоторое желание стать учеными, возиться с микробами и совершать ошибки. Таких... о, таких я прибираю к рукам, сбиваю с них спесь и первым делом заставляю их усвоить основной принцип науки, который гласит: ждать и сомневаться. От картошки я ничего не требую; от сумасбродов, вроде вас, вообразивших, что я могу научить их чему-то, я требую всего. Нет. Вы слишком молоды. Придете ко мне через год.

— Но право же, с моим знанием химии...

— Физическую химию вы проходили?

— Нет, сэр, но я очень прилично знаю органическую.

— Органическая химия! Это не химия, а ерунда! Вонючая химия! Аптекарская химия! Физическая химия — это сила, это — точность, жизнь. А органическая — это занятие для судомоек. Нет. Вы молоды. Придете через год.

Готлиб был непреклонен. Мановением крючковатых пальцев он указал Мартину на дверь, и юноша выбежал вон, не смея спорить. Он был глубоко несчастен. На дворе он встретил веселого историка химии Дубль-Эдвардса и начал просительно:

— Скажите, профессор, есть для врача какая-нибудь ценность в органической химии?

— Ценность? Еще бы! Она изыскивает лекарства, утоляющие боль! Она производит краску, в которую выкрашен ваш дом, она расцвечивает платье на вашей возлюбленной,— а может быть, в наш век упадка, и ее вишневые губки! Какой гад посмел очернить мою органическую химию?

— Никакой. Я просто так, полюбопытствовал,— вздохнул Мартин и побрел в университетскую столовую, где в грусти и обиде съел громадную порцию бананового пломбира и плитку шоколада с миндалем.

«Я хочу заниматься бактериологией,— размышлял он.— Хочу изучать болезни в самом их корне. Что ж, подучусь физической химии. Покажу старому Готлибу, черт побери! В один прекрасный день я открою бациллу рака или чего-нибудь еще — натяну ему нос!.. О господи, надеюсь, меня не стошнит, когда я в первый раз войду в анатомичку... Я хочу заняться бактериологией — теперь же!»

Перед ним всплыло насмешливое лицо Готлиба; он угадывал в нем взрывную силу ненависти и страшился ее. Потом вспомнились морщинки, и он увидел Макса Готлиба не гением, а человеком, которому знакома головная боль и мучительная усталость, которого можно полюбить.

«Действительно ли Эдвардс так уж много знает, как мне всегда казалось? Где истина?» — спрашивал он.

4

В первый день работы над трупами Мартин трусил. Он не мог глядеть на нечеловечески недвижные лица отощало-серых людей, лежавших на деревянных столах. Но они были так безличны, эти старые бродяги, что через два дня Мартин стал звать их, как и другие медики, Биллом, Айком, «пастором» и относиться к ним так же, как к животным на занятиях по биологии. Сама секционная была безлична: жесткий цементный пол, жесткие оштукатуренные стены между зарешеченными окнами. Мартину претил запах формальдегида; этот и еще другой какой-то страшный, приторный запах, казалось, лип к нему и за порогом секционной; но Мартин, чтоб забыть его, закуривал папиросу, и через неделю он уже изучал артерии с юношеским и очень нечестивым упоением.

Анатомировал он в паре с преподобным Айрой Хинкли, известным среди студентов под созвучным прозвищем Свинкли.

Айра готовился в миссионеры-врачеватели. Ему было двадцать девять лет, он окончил Потсбургский христианский колледж и Миссионерскую школу Евангелического Просвещения. В юности он играл в футбол; был силен как бык, почти как бык громаден и никакому быку не уступил бы в зычности рева. Веселый и беззаботный христианин, неуемный оптимист, смехом смывавший все грехи и сомнения, жизнерадостный пуританин, он с назойливым мужеством проповедовал учение своей крошечной секты Евангелического Братства, гласившее, что молиться в красивой церкви почти такой же разврат, как играть в карты.

Мартин поймал себя на том, что смотрит на Билли, их труп — малорослого, угреватого старика с отвратительной рыжей бородкой на окаменелом бело-розовом лице,— как на машину, изумительную, сложную, прекрасную, но все же машину. Это подорвало его и без того уже слабую веру в божественное происхождение и бессмертие человека. Он бы, может быть, оставил при себе свои сомнения, стал бы медлительно раздумывать над ними, вытягивая пинцетом нервы из развороченного предплечья, но Айра Хинкли не давал ему покоя. Айра верил, что даже студента-медика может привести к благодати, а благодать для Айры означала пение чрезвычайно длинных и немелодичных гимнов в часовне Евангелического Братства.

— Март, сын мой,— ревел он,— сознаешь ли ты, что, хотя эту работу многие, пожалуй, назвали бы грязной, мы черпаем в ней знания, которые дадут нам возможность исцелять тела и врачевать души множества несчастных, погибших людей?

— Фью! Души! Я что-то не нашел души в старом Билли. Скажи по совести, неужто ты веришь в эту дребедень?

Айра сжал кулак, погрозил им, разразился смехом, огрел Мартина по спине и провозгласил:

— Брат, думаешь, такими мелочами можно разозлить Айру? Ты воображаешь, будто у тебя бездна этих новомодных сомнений? Успокойся, у тебя их нет — у тебя только расстроено пищеварение. Тебе нужна гимнастика и вера. Приходи к нам в ХАМЛ, мы с тобой поплаваем, а потом помолимся. Эх ты, несчастный худосочный агностик, тебе представился случай разглядеть творение всемогущего — и что же ты извлек из этого урока? Ты только возомнил себя очень умным. Встряхнись, юный Эроусмит! Ты не знаешь, как ты смешон в глазах человека, запасшегося невозмутимой верой!

К восторгу работавшего за соседним столом Клифа Клосона, присяжного остряка, Айра пребольно пырнул Мартина пальцем между ребер, стукнул его по затылку и мирно вернулся к работе, а Мартин так и заплясал от злости.

В колледже Мартин числился «диким» — он не принадлежал ни к одному из тайных обществ, именовавшихся какой-либо греческой буквой. К нему «подъезжали», но его раздражала снисходительность студентов-аристократов, уроженцев более крупных городов. Теперь, когда большинство его однокашников разъехалось, поступив в страховые конторы, в юридические школы, в банки, он чувствовал себя одиноким, и приглашение вступить в Дигамму Пи, главное медицинское братство, его соблазнило.

Дигамма Пи представляла собой бойкое общежитие с бильярдом и невысокими ценами. Грубый и завлекательный шум доносился оттуда по вечерам, и там непрерывно пели: «Когда умру, меня не хороните». Однако три года подряд дигаммовцы брали первенство на выпускных экзаменах и получали медаль Хью Луазо по хирургической практике. Этой осенью дигаммовцы почтили избранием Айру Хинкли, так как молва стала приписывать им распущенность (поговаривали, что по ночам в общежитие приводили контрабандой девиц),— братство же, завербовавшее в свои ряды преподобного мистера Хинкли, декан никак не мог считать безнравственным, а это давало серьезные преимущества, коль скоро члены его намеревались и впредь без помехи вести безнравственную жизнь.

Мартин ценил независимость своей отдельной комнаты,— в общежитии же теннисные ракетки, брюки, мнения — все было общим. Увидев, что Мартин колеблется, Айра стал его уговаривать:

— О, ты вступишь в Дигамму! Ты им нужен. Ты умеешь крепко заниматься — в этом я отдаю тебе должное. Подумай же, какую ты упускаешь возможность оказать на ребят хорошее влияние.

(Айра при каждом удобном случае называл своих однокурсников «ребятами» и зачастую применял этот термин на молениях в ХАМЛе.)

— Ни на кого я не хочу влиять! Я хочу научиться ремеслу врача и зарабатывать шесть тысяч долларов в год.

— Мой мальчик, если б ты только знал, как это глупо у тебя получается, когда ты прикидываешься циником! Поживи с мое, и ты узнаешь: вся прелесть профессии врача в том и заключается, что она дает тебе возможность, утоляя телесные мучения людей, приобщать их в то же время к высокому идеалу.

— А если им не нужен высокий идеал, как я его понимаю?

— Март, давай прекратим спор и помолимся вместе!

— Нет, уволь! По совести, Хинкли, из всех христиан, каких я только знал, ты самый большой эксплуататор. Ты у нас на

курсе всякого забьешь. А когда я представляю себе, как ты будешь донимать несчастных язычников, когда станешь миссионером, как наденешь на всех мальчуганов штаны и разлучишь все счастливые пары, перевенчав любовников не с тем, с кем надо, мне хочется закричать «караул»!

Перспектива оставить свою надежную берлогу и попасть под крыло преподобного мистера Хинкли была невыносима. Только когда Ангус Дьюер принял приглашение Дигаммы Пи, Мартин тоже согласился вступить в братство.

Дьюер был одним из немногих одноклассников Мартина, перешедших вместе с ним на медицинский факультет. В колледже Дьюер был первым учеником. Молчаливый юноша, красивый, с выразительным лицом, с вьющимися волосами, он никогда не расходовал даром ни одного часа и ни одного доброго порыва. Он так блестяще шел по биологии и по химии, что один чикагский хирург обещал ему место в своей клинике. Мартину Ангус Дьюер казался похожим на лезвие бритвы в январское утро; он его ненавидел, чувствовал себя с ним неловко и завидовал ему. Он знал, что Дьюер, занимаясь биологией, был слишком поглощен подготовкой к экзамену, чтобы подумать и составить себе какой-то взгляд на биологию в целом. Он знал, что Дьюер в химии был ловкачом, умел быстро и аккуратно проделывать опыты, какие требуются программой, но никогда не отваживался на самостоятельные эксперименты, которые, уводя в туманную страну неведомого, могли привести к славе или к провалу. Он был уверен, что Дьюер вырабатывал в себе манеру холодной деловитости, потому что она импонирует преподавателям. Однако Ангус Дьюер так резко выделялся среди студенческой массы, где никто не умел ни проводить опытов, ни думать, ни вообще делать что бы то ни было, кроме как пускать дым из трубки и смотреть футбол, что Мартин, ненавидя, любил его и почти безропотно последовал за ним в Дигамму Пи.

Мартин, Айра Хинкли, Ангус Дьюер, Клиф Клосон — присяжный шутник с могучими бицепсами — и некто Пфафф Толстяк вместе проходили обряд посвящения в Дигамму Пи. Это была шумная и довольно мучительная церемония, включавшая нюханье асафетиды. Мартину она показалась скучной, а Пфафф Толстяк визжал, пыхтел и задыхался от ужаса.

Изо всех новичков Толстяк был самым полезным кандидатом для Дигаммы Пи. Сама природа предназначила его в козлы отпущения. С виду он напоминал вздувшуюся, наполненную кипятком грелку. Он был великолепно глуп: он верил всему, ничего не знал, ничего не умел запомнить; и он с радостью прощал каждому, кто от нечего делать потешался над ним. Его убеждали, что

горчичники — превосходное средство от простуды, хлопотали вокруг него, накладывали ему на спину грандиозный горчичник и потом ласково снимали. Завернули как-то ухо, отрезанное у трупа, в его чистенький носовой платок, когда он в воскресенье отправлялся на званый ужин к своей двоюродной сестре в Зенит. За столом он беспечным жестом извлек из кармана платок...

Каждый вечер перед сном Толстяку приходилось удалять из своей кровати целую коллекцию вещей, подсунутых ему в простыни заботливыми товарищами: мыло, будильники, рыбу. Он был идеальным покупателем никому не нужных вещей. Клиф Клосон, всегда умевший соединить свои шутки с коммерческой выгодой, продал Толстяку за четыре доллара «Историю медицины», которую сам купил у букиниста за два, и хотя Толстяк никогда ее не читал, да и не мог бы читать, все же, видя у себя на полке толстую красную книгу, он чувствовал себя образованней. Но истинным благом для Дигаммы была вера Толстяка в спиритизм. Он пребывал в постоянном ужасе перед призраками. Он вечно видел их по вечерам в окнах анатомички. И товарищи принимали меры, чтобы он как можно чаще натыкался на них в коридорах общежития.

Дигамма Пи помещалась в здании, построенном в дни бурного роста страны, в 1885 году. Ее гостиная имела такой вид, точно по ней недавно прошел циклон. По комнате разбросаны были истыканные ножами столы, сломанные кресла, рваные ковры, а на них валялись книжки без корешков, башмаки для хоккея, шапки, окурки. Наверху — спальни на четыре человека каждая, с железными койками в два яруса, точно в каюте третьего класса.

Вместо пепельниц дигаммовцы пользовались перепиленными черепами, и на стенах в спальнях висели анатомические таблицы, чтобы можно было учить их, пока одеваешься. В комнате Эроусмита стоял целый скелет. Мартин и его сожители доверчиво купили его у коммивояжера зенитской фирмы хирургической аппаратуры. Такой был добродушный и приятный коммивояжер! Он угощал их сигарами, рассказывал анекдоты и распространялся о том, какая их ожидает блестящая врачебная карьера. В благодарность они купили у него в рассрочку скелет... Коммивояжер в дальнейшем оказался не так добродушен.

Мартин делил комнату с Клифом Клосоном, Пфаффом Толстяком и одним серьезно настроенным медиком второго курса Эрвингом Уотерсом.

Если бы психологу понадобился на предмет демонстрирования совершенно нормальный человек, самое лучшее было бы ему пригласить Эрвинга Уотерса. Он был старательно и неизменно туп; туп улыбающейся, легкой и надежной тупостью. Если была в мире штампованная фраза, которой он не повторял, то лишь потому, что ему еще не довелось ее услышать. Он верил в нравственность во все дни — только не в субботу вечером; верил в епископальную церковь — но не в Высокую церковь; верил в конституцию, в дарвинизм, в систематическую гимнастику и в гениальность уиннемакского ректора.

Больше всех Мартин любил Клифа Клосона. Клиф был в общежитии на роли клоуна, он смеялся замогильным смехом, танцевал чечетку, пел бессмысленные песенки и даже играл на корнете, но в общем он был хороший малый и верный товарищ, и Мартин, в своей неприязни к Айре Хинкли, в страхе перед Ангусом Дьюером, в жалости к Пфаффу Толстяку, в омерзении перед приветливой тупостью Эрвинга Уотерса, обратился к шумному Клифу, как к чему-то живому и ищущему. В Клифе, по крайней мере, чувствовалась реальность: реальность вспаханного поля, дымящегося навоза. С Клифом можно было побоксировать; Клифа — хоть он и любил просиживать часами, попыхивая трубкой и мурлыча под нос в царственном безделье,— все же можно было вытащить на пятимильную прогулку.

И кто, как не Клиф, с опасностью для жизни швырял за ужином в преподобного Айру Хинкли печеной фасолью, когда Айра угнетал их своими тяжеловесными и слащавыми наставлениями?

В анатомичке Айра изрядно докучал им, высмеивая те идеи Мартина, которые не были приняты в Потсбургском христианском колледже, но в общежитии он был поистине нравственным бичом. Он упорно пытался отучить их ругаться. Пробыв три года членом захолустной футбольной команды, Айра в своем невозмутимом оптимизме все еще верил, что можно сделать молодых людей безгрешными, читая им назидания с ужимками учительницы воскресной школы и с деликатностью боевого слона.

Айра к тому же располагал статистическими данными о Чистом Образе Жизни.

Он был начинен статистикой. Ему было все равно, откуда черпать цифры: из газет ли, из отчетов ли о переписи или из отдела смеси в «Юном миссионере»,— все они были для него равноценны.

— Клиф,— провозгласил он как-то за ужином,— я удивляюсь, что такой, как ты, хороший парень не бросит сосать эту пакостную трубку. Знаешь ли ты, что у шестидесяти семи и девяти

десятых процента женщин, попадающих на операционный стол, мужья курят табак?

— А что им, черт подери, курить, если не табак? — спросил Клиф.

— Откуда ты взял эти цифры? — вставил Мартин.

— Они установлены медицинской конференцией в Филадельфии в тысяча девятьсот втором году,— снисходительно ответил Айра.— Я, конечно, не жду, чтобы такие, как вы, надменные умники задумались о том, что в один прекрасный день вам захочется жениться на милой, прелестной женщине и вы загубите ее жизнь своими пороками. Что ж, стойте на своем — вы, свора храбрых здоровяков! А бедный слабосильный проповедник, вроде меня, никогда не отважится курить трубку!

Он с победоносным видом удалился, и Мартин простонал:

— Из-за Айры мне хочется иногда бросить медицину и стать честным шорником.

— Ах, Март, оставь,— сетовал Пфафф Толстяк.— И чего ты изводишь Айру? Ведь он же с самыми добрыми намерениями.

— Добрыми? К черту! У таракана тоже добрые намерения!

Так они болтали, между тем как Ангус Дьюер наблюдал за ними в высокомерном молчании; и это нервировало Мартина. Накапливая знания для профессии, к которой он всю жизнь стремился, он рядом с ясной мудростью находил злобу и пустоту; он не видел единой прямой дороги к истине, а видел тысячу дорог к тысяче истин, далеких и сомнительных.

ГЛАВА III

1

Джон О. Робертшо — Джон Олдингтон Робертшо — профессор физиологии на медицинском факультете, был глуховат, и на весь Уиннемакский университет он был единственным преподавателем, еще носившим бакены «отбивной котлеткой». Происходил он из Бэк-Бэя; он гордился этим, всегда об этом напоминал. С тремя другими браминами он образовал в Могалисе бостонскую колонию, в которой ценились грубоватая ласковость обращения и скромно затененный свет. При каждом удобном случае он говорил: «Когда я учился у Людвига в Германии...» Он был слишком поглощен собственным совершенством, чтоб замечать отдельных студентов, и Клиф Клосон, а также другие молодые люди, известные под названием «дебоширов», с нетерпением ждали лекций по физиологии.

Лекции происходили в круглой аудитории; скамьи студентов шли амфитеатром, так круто изогнутым, что лектор не мог видеть одновременно оба его конца, и когда доктор Робертшо, не переставая жужжать о кровообращении, глядел направо и высматривал, кто производит оскорбительный звук, напоминающий автомобильный гудок,— вдалеке, на левом крыле, Клиф Клосон вставал и передразнивал его, пиля рукою воздух и поглаживая воображаемые бакены. Однажды Клиф побил все рекорды, бросив кирпич в раковину за кафедрой в ту самую минуту, когда доктор Робертшо подошел к кульминационному пункту своего курса — влиянию духовой музыки на интенсивность коленного рефлекса.

Мартин читал научные статьи Макса Готлиба — те из них, какие не слишком его смущали дебрями математических символов,— и это чтение приучило его к мысли, что опыты должны затрагивать самые основы жизни и смерти, природу бактериальной инфекции, химию органических процессов. Когда Робертшо чирикал воробышком о суетливых маленьких опытах, трафаретных опытах, стародевичьих опытах, Мартину не сиделось на месте. В колледже ему казалось, что законы скандирования и латинские сочинения — никчемное дело, и он, как откровения, ждал занятий по медицине. Теперь же, сокрушаясь о собственном неразумии, он ловил себя на том, что начинает так же презирать доморощенные «законы» Робертшо и чуть ли не всю университетскую анатомию.

Профессор анатомии, доктор Оливер О. Стаут, был сам ходячая анатомия, таблица из атласа, покрытое тонким покровом сплетение нервов, костей и кровеносных сосудов. Стаут обладал громадными и точными знаниями; когда он, бывало, сухим своим голосом начинал выкладывать факты о мизинце на левой ноге, оставалось только дивиться, кому нужно столько знать о мизинце на левой ноге.

Ни один вопрос не вызывал таких горячих и неиссякаемых прений за ужином в Дигамме Пи, как вопрос о том, стоит ли врачу запоминать анатомические термины — обыкновенному врачу, который ищет приличного заработка и не стремится читать доклады в медицинских ассоциациях. Но как бы они на это ни смотрели, все они упорно зубрили столбцы названий, дающих студенту возможность переползти через экзамены и стать Образованным Человеком, чье время расценивается на рынке в пять долларов час. Неведомые мудрецы изобрели стишки, облегчающие запоминание. Вечером, когда тридцать головорезов-дигаммовцев сидели за длинным и грязным столом, уничтожая судак-кокиль и фасоль, и фрикадельки из трески, и слоеный пирог с бананами, новички серьезно повторяли за старшим товарищем:

Об орясину осел
Топорище точит,
А факир, созвав гостей,
Выть акулой хочет.

Так, по ассоциации с начальными буквами они запоминали латинские названия двенадцати пар черепномозговых нервов: ольфакториус, оптикус, окуломоториус, троклеарис и все остальные. Для дигаммовцев это была высочайшая в мире поэзия, и мнемоническое двустишие они помнили долгие годы, когда уже стали практикующими врачами и давно перезабыли самые названия нервов.

2

На лекциях доктора Стаута беспорядков не чинилось, зато у него в анатомичке студенты любили позабавиться. Самой невинной их шуткой было — засунуть хлопушку в труп, над которым работали две девственные и несчастные студентки. Настоящую же бурю на первом курсе вызвал случай с Клифом Клосоном и поджелудочной железой.

Клифа на этот год избрали старостой за его изобретательность в приветствиях. Встречаясь с товарищем в раздевалке главного медицинского корпуса, он непременно провозглашал: «Как у вас функционирует сегодня червеобразный отросток слепой кишки?» Или: «Привет вам, о кормильцы вшей!» Придирчиво и церемонно вел он студенческие собрания (бурные собрания, на которых торжественно отклонялось предложение разрешить студентам сельскохозяйственного факультета пользоваться теннисными кортами на северной стороне), но в частной жизни он не так церемонился.

Гроза разразилась, когда по медицинскому городку водили совет попечителей. Попечители являли собой верховную власть университета; это были банкиры, и фабриканты, и пасторы больших церквей; перед ними даже ректор заискивал. Самый трепетный интерес внушала им секционная медицинского факультета. Проповедники разводили мораль о влиянии алкоголя на бедняков, а банкиры — о неуважении к текущим счетам, всегда наблюдаемом у людей, которые упорствуют в желании обратиться в труп. Во время осмотра, руководимого доктором Стаутом и секретарем, несшим чей-то зонтик, самый толстый и самый науколюбивый банкир остановился перед столом Клифа Клосона, почтительно держа за спиной свой котелок. В этот-то котелок и подбросил Клиф поджелудочную железу.

Поджелудочная железа — противная скользкая штука, обнаружить ее в новой шляпе едва ли приятно; и когда банкир ее об-

наружил, он швырнул котелок на пол и сказал, что студенты Уиннемака вконец развратились. Доктор Стаут и секретарь стали его утешать; они почистили котелок и заверили банкира, что человек, посмевший положить поджелудочную железу в банкирскую шляпу, понесет наказание.

Доктор Стаут вызвал Клифа, как старосту первого курса. Клиф был глубоко огорчен. Он собрал своих студентов, он сокрушался, как мог кто-либо в Уиннемаке положить в банкирскую шляпу поджелудочную железу, он требовал, чтобы виновный нашел в себе мужество встать и сознаться.

К несчастью, преподобный Айра Хинкли, сидевший между Мартином и Ангусом Дьюером, видел, как Клиф бросил в шляпу железу.

— Это возмутительно! — заворчал он.— Я выведу Клосона на чистую воду, будь он мне трижды собрат по Дигамме!

— Брось,— возражал Мартин.— Или ты хочешь, чтоб его выставили?

— Пусть выставят! Он заслужил!

Ангус Дьюер повернулся на своем стуле, смерил Айру взглядом и проговорил:

— Не угодно ли вам придержать язык?

Айра послушно умолк, и Мартин исполнился еще большим уважением к Ангусу и еще большей неприязнью.

3

Когда Мартина угнетало недоумение, зачем он здесь, зачем слушает какого-то профессора Робертшо, долбит стишки об ослах и факирах, учится ремеслу врача, как Пфафф Толстяк и Эрвинг Уотерс, тогда он искал облегчения в том, что называл «развратом». Фактически разврат был самый скромный; обычно все сводилось к лишней кружке пива в соседнем городе Зените да к перемигиванью с фабричной работницей, фланирующей по неприглядным окраинным улицам. Но Мартину, гордому своей нерастраченной энергией и ясным рассудком, эти похождения казались потом трагическими.

Самым верным его сподвижником был Клиф Клосон. Клиф, сколько бы он ни выпил дешевого пива, никогда не бывал намного пьянее, чем в своем нормальном состоянии. Мартин опускался или возвышался до Клифова буйства, тогда как Клиф возвышался или опускался до рассудительности Мартина. Когда они сидели в кабачке за столом, сверкавшим мокрыми следами от пивных кружек, Клиф поднимал палец и бормотал:

— Ты один меня понимаешь, Март. Ты ведь знаешь, несмотря на дебоширство и на все мои разговоры о том, что надо быть практичным, которыми я дразню этих доктринеров, вроде Айры Свинкли, меня так же воротит от их меркантильности и от всей их болтологии, как и тебя.

— Еще бы! — соглашался Мартин с пьяной нежностью.— Ты совсем как я. Боже, как можно их терпеть: такой вот бездарный Эрвинг Уотерс или бездушный карьерист, вроде Ангуса Дьюера — и рядом старый Готлиб! Идеал исследователя! Он никогда не довольствуется тем, что *кажется* правильным! Плюет на черта и дьявола, работает ночь напролет, одинокий и суровый, как капитан на мостике, добирается до корня вещей!

— Сущая правда! И я так думаю,— заявил Клиф.— Еще по кружке, а? Платить будем по жребию.

Зенит со своими кабаками лежал в пятнадцати милях от Могалиса и Уиннемакского университета; полчаса на огромном, громыхающем, стальном междугородном трамвае — и они в Зените, где студенту-медику можно покутить. Сказать «я ездил вчера в город» — значило вызвать усмешку и прищуренный взгляд. Ангус Дьюер открыл Мартину новый Зенит.

За ужином Дьюер коротко сказал:

— Поедем со мною в город, послушаем концерт.

При всем своем воображаемом превосходстве над товарищами Мартин отличался безграничным невежеством в литературе, живописи, музыке. Его поразило, что бескровный стяжатель Ангус Дьюер, не жалея времени, готов слушать каких-то скрипачей. Он открыл, что Дьюер горел восторгом перед двумя композиторами, некиими Бахом и Бетховеном — по-видимому, немцами, и что сам он, Мартин Эроусмит, постиг еще не все на свете. В трамвае Дьюер отбросил свою обычную чопорность и заявил:

— Эх, брат, если б я не был рожден копаться в кишках, я стал бы великим музыкантом. Сегодня я поведу тебя прямо в рай.

Мартин попал в сумятицу маленьких кресел и широких золоченных сводов, вежливых, но глядевших неодобрительно дам с программами на коленях, неромантичных музыкантов, производивших внизу неприятный шум, и, наконец, непостижимой красоты, которая развернула перед ним картины гор и густых лесов, а потом сменилась вдруг мучительной скукой. «У меня будет все,— ликовал он.— Слава Макса Готлиба... то есть его дарование... и прелестная музыка, и прелестные женщины... Черт возьми! Я сделаю великие открытия! Увижу мир... Неужто эта канитель никогда не кончится?»

4

А через неделю после концерта он вновь открыл Маделину Фокс.

Маделина была красивая девушка, с живыми красками, с живым умом, весьма самоуверенная; Мартин познакомился с ней еще в колледже. Она осталась в Могалисе якобы для того, чтобы прослушать при университете курс английской словесности, а на деле — чтоб не возвращаться домой. Она считала себя блестящей теннисисткой: била хлестко и фасонно, но не слишком метко. Мнила себя знатоком в литературе: счастливцами, удостоившимися ее одобрения, были Гарди, Мередит, Хоуэллс и Теккерей, хоть она уже пять лет никого из них не читала. Она часто корила Мартина за то, что он не ценит Хоуэллса, носит фланелевые рубашки и постоянно забывает подать ей руку, когда она выходит из трамвая, чего не упустил бы ни один герой романа. В колледже они вместе ходили на балы, хотя в танцах Мартин проявлял больше вдохновенья, чем уменья, и его дамам иногда не легко бывало разобраться, какой танец он пытается изобразить. Ему нравилась в Маделине ее статная красота и сила; ему казалось, что она со своей энергией и культурностью была бы ему «под стать». Но за последний год он с нею почти не виделся. Вечерами он думал о ней, решал позвонить ей и не звонил. Но когда его одолевали сомнения в медицине, он начинал тосковать по ее сочувствию и как-то весной в воскресенье пригласил ее прогуляться по берегу Чалузы.

От отвесных берегов реки волнами бесчисленных холмов разбегалась прерия. В широких ячменных полях, в косматых пастбищах, чахлых дубках и нарядных березах дышала пограничная тяга к приключениям, и, как все юные дети равнины, Мартин с Маделиной шли над рекой и поверяли друг другу, что завоюют мир.

Мартин жаловался:

— Эти треклятые медики...

— Ах, Мартин, неужели вы считаете «треклятые» приличным словом? — перебивала Маделина.

По совести, он считал «треклятые» вполне приличным словом, настоятельно необходимым в языке занятого человека, но ее улыбка была желанна.

— Хорошо, не буду. У наших противных студиозусов нет стремления к науке; они просто учатся ремеслу. Хотят получить знания, чтобы потом обратить их в деньги. Они заботятся не о спасении жизней, а о том, как бы не «угробить пациента» — не потерять свои доллары. И они даже не прочь угробить пациента,

если дело пахнет сенсационной операцией, которая составит им рекламу! Меня тошнит от них! Думаете, они интересуются работой, которую ведет в Германии Эрлих или тот же Готлиб, тут, у нас на глазах? Готлиб только что стер в порошок Райта с его теорией опсонинов.

— В самом деле?

— Будьте уверены! Но вы думаете, это наших медиков хоть сколько-нибудь взволновало? Ничуть! «О, конечно,— говорят они,— наука делает свое дело, она помогает врачу лечить больных...» — и пускаются в спор о том, где можно больше заработать денег — в крупном центре или в захолустном городке, и что лучше начинающему доку — прикидываться добряком да стрелять уток или, наоборот, ходить в церковь и напускать на себя важность. Послушали б вы Эрва Уотерса! Он носится с такою мыслью: «Что нужно врачу для успеха? Основательное знание патологии? Ничуть не бывало! Успехом пользуется тот, у кого кабинет в хорошем районе, поближе к трамваю, и легко запоминающийся номер телефона!» Право! Так прямо и говорит! Честное слово, когда я получу диплом, я лучше пойду врачом на пароход, повидаю свет. И не придется, по крайней мере, рыскать по всему судну, отбивая больных у врача-конкурента, открывшего кабинет на другой палубе!

— Да, я вас понимаю. Это ужасно, когда люди не стремятся в своей работе к идеалу. Очень многие студенты у нас, на отделении английской литературы, просто рассчитывают зарабатывать деньги преподаванием, они не наслаждаются научной работой, как я.

Мартина смутило, что и она, подобно ему, считает себя человеком высшего порядка, но еще больше смутился он, когда она заворковала:

— В то же время, Мартин, надо быть и практичным. Не правда ли? Подумайте, насколько больше денег... то есть уважения в обществе и возможности делать добро у видного врача, чем у кабинетного ученого, который корпит над какой-нибудь мелочью и не знает, что творится на свете. Взять хотя бы нашего хирурга, доктора Луазо, как он подкатывает к больнице в чудесной машине с шофером в ливрее,— все пациенты просто обожают его,— и сравнить его с вашим Максом Готлибом! Мне недавно показали Готлиба на улице. На нем был ужасный старый костюм, и я определенно подумала, что ему бы не вредно заглянуть в парикмахерскую.

Мартин обрушился на нее статистикой, упреками, бешенством, фанатическим пылом и путаными метафорами. Они сидели на покосившейся старозаветной изгороди, где над яркими прони-

занными солнцем листьями подорожника жужжали первые весенние насекомые. Захваченная его фанатизмом, Маделина отбросила всю свою «культурность» и защебетала:

— Да-да, я понимаю,— не говоря, что́ именно она понимает.— О, у вас такой тонкий склад ума и такая тонкая... такая подлинная цельность!

— Правда? Вы так считаете?

— О, конечно, и я уверена, что вас ждет чудесное будущее. И я так рада, что вы не торгаш, как другие. Вы их не слушайте, пусть их говорят!

Он увидел теперь, что Маделина не только на редкость чуткий и понимающий человек, но и в высшей степени желанная женщина: свежий румянец, нежные глаза, прелестная округло-изогнутая линия от плеча к бедру. На обратном пути он все больше убеждался, что Маделина для него необычайно подходящая пара. Под его руководством она научится понимать различие между туманными «идеалами» и суровой достоверностью науки. Они сделали привал над обрывом и глядели вниз на мутную Чалузу, по-весеннему бурную, с плывущими по воде ветками. Его безудержно тянуло к Маделине; он сожалел о своих случайных студенческих похождениях и решил быть чистым и чрезвычайно прилежным молодым человеком, чтобы стать «достойным ее».

— О Маделина,— сказал он печально,— до чего вы, черт возьми, красивы!

Она боязливо на него посмотрела.

Он схватил ее за руку; в отчаянном порыве попробовал поцеловать. Это вышло у него очень неискусно. Ему удалось только поцеловать краешек ее подбородка, а она отбивалась и просила:

— Ах, не надо!

Направляясь домой, в Могалис, они делали вид, что ничего не случилось, но голоса их стали нежней, и уже без нетерпения она слушала, как он обзывает профессора Робертшо фонографом, а Мартин внимал ее замечаниям о том, как плосок и вульгарен доктор Норман Брамфит, неунывающий преподаватель английской словесности. У подъезда своего пансиона она вздохнула:

— Я предложила бы вам зайти, но скоро ужин, а... Вы, может быть, позвоните мне на этих днях?

— Будь я проклят, если не позвоню! — ответил Мартин по всем правилам университетского любовного диалога.

Он мчался домой, полный обожания. В полночь, лежа на узкой верхней койке, он чувствовал на себе взгляд Маделины, то дерзкий, то укоризненный, то согретый верой в него. «Я ее люблю! Я люблю ее! Позвоню ей по телефону... Не рано будет позвонить ей в восемь утра?»

Но в восемь утра он был так занят изучением слезного аппарата, что и думать позабыл о девичьих глазках. Он увиделся с Маделиной еще только раз, да и то на людях, на веранде ее пансиона, заполненной студентками, красными подушками и вазочками с пастилой, а потом ушел с головой в лихорадочную подготовку к переходным экзаменам.

5

Во время экзаменов члены Дигаммы Пи показали себя рьяными искателями мудрости. Дигаммовцы из поколения в поколение собирали экзаменационные работы и сохраняли их в священной книге «Зачетник»; гении точности проработали этот том и отметили красным карандашом вопросы, которые чаще всего задавали на экзаменах за истекшие годы. Первокурсники собирались тесным кругом посреди дигаммовской гостиной, а в центре круга становился Айра Хинкли и вычитывал наиболее вероятные вопросы. Студенты корчились, драли на себе волосы, скребли подбородки, кусали пальцы и хлопали себя по лбу, силясь дать правильный ответ прежде, чем Ангус Дьюер прочтет его вслух по учебнику.

В самую страду им еще приходилось мучиться с Пфаффом Толстяком.

Толстяк провалился среди года по анатомии, так что к весеннему экзамену его могли допустить только по сдаче дополнительного зачета. Дигаммовцы по-своему любили его; Пфафф был мягкотел, Пфафф был суеверен, Пфафф был глуп, но товарищи питали к нему какую-то досадливую нежность, какую могли бы они питать к подержанному автомобилю или приблудной собаке. Они трудились над ним все до одного; они старались поднять его и пропихнуть через экзамен, как в люк. Они пыхтели, и ворчали, и стонали за этой тяжелой работой, и Пфафф пыхтел и стонал вместе с ними.

В ночь перед зачетом они его продержали до двух часов — с помощью мокрых полотенец, и черного кофе, молитв, и ругани. Вдалбливали в него перечни, перечни, подносили кулаки к его круглому красному унылому лицу и орали:

— Черт подери, запомнишь ты, наконец? Двустворчатый, *или митральный* клапан, а не *и митральный!* Пойми, это один и тот же.

Бегали по комнате, воздев руки и воя: «Неужто он никогда ничего не запомнит!» — и опять принимались мурлыкать с притворным спокойствием:

— Не надо волноваться, Пфаффик. Давай полегоньку. Ты только слушай внимательно — хорошо? — и постарайся...— И вкрадчиво: — *Постарайся* запомнить хоть что-нибудь!

Его заботливо уложили в кровать. Он был так начинен сведениями, что от малейшего толчка они могли расплескаться.

Когда в семь часов он проснулся, с красными глазами, дрожащим ртом, оказалось, он забыл все, что в него вдолбили.

— Ничего не поделаешь,— сказал председатель Дигаммы Пи.— Придется пойти на риск и дать ему шпаргалку — авось не попадется. Я так и думал и вчера еще приготовил для него штучку. Чудная шпаргалочка. Ответы на все главные вопросы. С нею он как-нибудь проскочит.

Даже преподобный Айра Хинкли, насмотревшись ужасов минувшей ночи, счел возможным закрыть глаза на преступление. С протестом выступил сам Толстяк:

— Ни-ни! Я не желаю жульничать. По-моему, если человек не может сдать экзамен, то его нельзя допустить к врачебной практике. Так говорил мой папа.

В него влили еще кофе и по совету Клифа Клосона, который не знал, какой это дает эффект, но был не прочь поэкспериментировать, скормили ему таблетку бромистого калия. Председатель Дигаммы Пи твердо положил руку на плечо Толстяку и прорычал:

— Я кладу шпаргалку тебе в карман — смотри: вот в этот нагрудный карман, за носовой платок.

— Я ею не воспользуюсь. Провалюсь так провалюсь — все равно,— хныкал Толстяк.

— Вот и хорошо! Но шпаргалку не выбрасывай. Может быть, ты из нее вберешь немного знаний через легкие, ибо, видит бог...— Председатель схватился за волосы. Голос его загудел громче, выразив всю трагедию бессонных ночей, александрийского листа и безнадежных отступлений,— видит бог, через мозг ты их впитать не можешь!

Они смахнули с Пфаффа пыль, поставили его вверх головой и вытолкнули за дверь, в путь к анатомическому корпусу. Они следили, как он удаляется: воздушный шар на ножках, колбаса в плисовых штанах.

— Неужели не сжульничает? — подивился Клиф Клосон.

— Ну, если так, то нам впору идти наверх и укладывать его чемодан. И никогда у нашей старой доброй Дигаммы не будет другого такого козла отпущения! — сокрушался председатель.

Они увидели, что Пфафф остановился, вынул платок, грустно высморкался... и обнаружил длинную узкую бумажку. Увидели,

как он нахмурился, зажал ее между пальцами, начал читать, сунул назад в карман и пошел дальше более твердым шагом.

Дигаммовцы взялись за руки и пустились в пляс по гостиной общежития, проникновенно уверяя друг друга:

— Воспользуется... Все в порядке... Сдаст, ей-богу, сдаст!

Зачет он сдал.

6

Беспокойные сомнения Мартина больше докучали Дигамме Пи, чем тупость Толстяка, буйство Клифа Клосона, заносчивость Ангуса Дьюера или въедливость преподобного Айры Хинкли.

В разгар напряженной подготовки к экзаменам Мартин всех донимал тем, что они-де «надевают на себя первоклассную медицинскую терминологию, как накрахмаленный халат, не для пользы больных, а для пущей важности». Дигаммовцы все, как один, заявляли:

— Слушай, если тебе не нравится, как мы учим медицину, мы охотно проведем складчину и отправим тебя назад в Элк-Милз, где тебя не будут беспокоить такие, как мы, необразованные торгаши. Право! Мы тебе не указываем, как ты должен работать. С чего ж ты вздумал указывать нам? Брось, голубчик!

Ангус Дьюер с кисло-сладкой улыбкой заметил:

— Мы согласны, что мы простые ремесленники, а ты великий исследователь. Но есть много вещей, к которым ты мог бы обратиться, когда совладаешь с точной наукой. Что ты смыслишь в архитектуре? Как у тебя с французскими глаголами? Сколько ты прочитал толстых романов за всю свою жизнь? Кто сейчас премьером в Австро-Венгрии?

— Я вовсе не претендую на какие-то знания,— защищался Мартин,— но я отдаю должное Максу Готлибу. У него правильный метод, а остальные профессора — они все просто знахари. Ты сейчас заявишь, Хинкли, что Готлиб неверующий. Да, но когда он ночи напролет просиживает в лаборатории,— разве это не та же молитва? Неужели вы, ослы, не сознаете, что это значит, когда здесь, рядом с вами, человек создает новое мировоззрение? Неужели...

Клиф Клосон, зевая до судороги, заметил:

— Молитва в лаборатории! Куда хватил! Когда я пойду на бактериологию, папаша Готлиб спустит с меня штаны, если поймает на молитве во время опыта!

— Да вы не слушаете, черт возьми! — взывал Мартин.— Я вам говорю, что для вас, ребята, медицина — это только искусство ставить наугад диагноз, тогда как рядом с вами человек...

Так, назубрившись до седьмого пота, они проводили в спорах целые часы.

Когда другие ложились спать, когда комнату сплошь заполнял грязный ворох сброшенной одежды и храп усталых молодых людей на железных койках, Мартин сидел за длинным некрашеным шершавым столом и терзался, Ангус Дьюер тихонько входил, заговаривал:

— Знаешь, старик, всем нам до тошноты надоели твои выпады. Если, по-твоему, медицина, как мы ее изучаем, вздор и если ты так чертовски честен, почему же ты не уходишь из университета?

Он оставлял Мартина в мучительных сомнениях: «Ангус прав. Я должен молчать или уйти. Так ли я убежден в том, что говорю? Чего я хочу? Как же мне поступить?»

7

Прилежного, неизменно корректного Ангуса Дьюера равно оскорбляли непристойные песенки Клифа, крикливый говор Клифа, пристрастие Клифа бросать товарищам в суп всякую всячину и прискорбная неспособность Клифа регулярно мыть руки. При всей своей видимой выдержке Дьюер в экзаменационную страду нервничал не хуже Мартина, и как-то вечером, за ужином, когда Клиф разбушевался, Дьюер его одернул:

— Не будете ли вы столь любезны производить поменьше трескотни?

— Я, черт возьми, буду производить ровно столько трескотни, сколько мне, черт возьми, захочется,— заявил Клиф, и война началась.

Клиф стал с этого вечера так шумен, что, кажется, сам уставал от своего шума. Он шумел в столовой, шумел в ванной и самоотверженно не спал, притворяясь, что храпит. Дьюер сохранял спокойствие и не отрывался от книг, но не потому, что был запуган: он мерил Клифа начальническим взглядом, от которого тому становилось не по себе. Наедине Клиф жаловался Мартину:

— Черт его подери, смотрит на меня, как на червя. Он или я — один из нас должен уйти из Дигаммы, и уйдет, как пить дать... Но я не уйду.

Он бесился и шумел, как никогда и ушел все-таки сам. Он уверял, что «дигаммовцы — банда лоботрясов; с ними и в покер-то прилично не сыграешь», но на деле он бежал от жесткого взгляда Ангуса Дьюера. Вместе с Клифом вышел из Дигаммы и Мартин, уговорившись, что с осени они сообща снимут комнату.

Мартину не меньше, чем Дьюеру, надоела шумливость Клифа. Клиф не умел помолчать; когда он не рассказывал скользких анекдотов, он спрашивал: «Сколько ты заплатил за эти ботинки, ты, может быть, Вандербильд?» Или: «Я видел, ты гулял с этой мамзелью, Маделиной Фокс,— куда ты, собственно, гнешь?» Но Мартин чувствовал себя чужим среди воспитанных, старательных, приятных молодых людей из Дигаммы Пи, чьи лица уже говорили: рецепты, накрахмаленный белый халат, модный закрытый автомобиль и приличная вывеска у подъезда, золотом по стеклу. Он предпочитал одиночество варвара,— с будущего года он начнет работать у Макса Готлиба, надо уйти подальше от всяких помех.

Лето он провел с бригадой монтеров, устанавливавшей телефоны в Монтане.

Работал он линейным монтером, влезал на столб, вонзаясь остриями своих стальных кошек в мягкую и серебристую древесину сосны, втягивал наверх проволоку, наматывал ее на стеклянные изоляторы, спускался, влезал на следующий столб.

За день они делали до пяти миль; ночевали в убогих деревянных городках. Устраивались по-походному: снимали башмаки и заворачивались в попону. Мартин носил рабочий комбинезон и фланелевую рубаху. У него был вид батрака. Лазая с утра до вечера по столбам, он дышал полной грудью, в глазах уже не отражалось беспокойство, а однажды он пережил чудо.

Он сидел на верхушке столба, и вдруг по неведомой причине глаза его раскрылись, и он прозрел: как будто только что проснувшись, он увидел, что степь широка, что солнце ласково глядит на косматые пастбища и зреющую пшеницу, на старых лошадей, послушных, коренастых, добродушных лошадей, и на его краснолицых веселых товарищей; он увидел, что ликуют луговые жаворонки, и черные дрозды прихорашиваются у лужиц, и что под живительным солнцем оживает вся жизнь. Пусть Ангусы Дьюеры и Эрвинги Уотерсы — прижимистые торговцы. Что из того? «Я здесь!» — захлебывался он.

Его товарищи, монтеры, были здоровые и простые, как западный ветер; они не задавались и не важничали; хотя им приходилось иметь дело с электрическим оборудованием, они не заучивали, как медики, тьму научных терминов и не щеголяли перед фермерами своей ученостью. Они легко смеялись и радостно были самими собою, и с ними Мартин был рад забыть, какой он необыкновенный. Он полюбил их, как не любил никого в университете, кроме Макса Готлиба.

В заплечном мешке он носил с собою только одну книгу — «Иммунологию» Готлиба. Часто ему удавалось одолеть полстра-

ницы, не увязнув в химических формулах. Иногда по воскресеньям и в дождливые дни он пробовал читать ее и грезил о лаборатории; а иногда он думал о Маделине Фокс и приходил к убеждению, что смертельно по ней стосковался. Но беззаботные трудовые недели незаметно сменяли одна другую, и когда он просыпался в конюшне, в крепком запахе духовитого сена, и лошадей, и прерии, оглашенной звоном жаворонков, подобравшейся к самому сердцу этих бревенчатых городков, он думал только о работе, которая его ждет, о милях, которые нужно отшагать на запад, туда, где заходит солнце.

Так они шли растянутой цепью по пшеничной Монтане, по целым княжествам сплошного сверкающего пшеничного поля, по широким пастбищам и по чернобылю пустыни, и вдруг, засмотревшись на упорно не сдвигавшееся с места облако, Мартин понял, что видит горы.

Потом он сидел в поезде; бригада была забыта; он думал только о Маделине Фокс, о Клифе Клосоне, Ангусе Дьюере и о Максе Готлибе.

ГЛАВА IV

1

На лабораторных занятиях по бактериологии профессор Готлиб готовился убить морскую свинку бациллами сибирской язвы, и студенты были взволнованы.

До сих пор они изучали морфологию бактерий, учились обращаться с чашками Петри и с петлей из платиновой проволоки, гордо выращивали на картофельных срезах безобидные красные культуры Bacilli prodigiosi, но теперь они приступили к патогенным микробам и к заражению животного скоротечной болезнью. Эти две морские свинки, что, сверкая бусинками глазок, копошатся в большой стеклянной банке, через два дня будут неподвижны и мертвы.

Мартин испытывал возбуждение, не чуждое тревоге. Он смеялся над собою, вспоминал с профессиональным презрением, как глупо ведут себя в лаборатории профаны-посетители, убежденные, что кровожадные микробы, того и гляди, прыгнут на них из таинственной центрифуги, со столов, из самого воздуха. Но он ни на миг не забывал, что в заткнутой ватой пробирке между кюветой для инструментов и бутылью с сулемой на столе у демонстратора заключены миллионы смертоносных сибиреязвенных палочек.

Студенты смотрели почтительно и не подходили слишком близко. С тем чутьем, которое дает превосходная техника, с уверенной быстротой, отличавшей малейшее движение его рук, доктор Готлиб выстриг шерсть на брюшке морской свинки, придерживаемой ассистентом. Одним взмахом кисточки он намылил брюшко, побрил его и смазал йодом.

(И все это время Макс Готлиб вспоминал, как жадно слушали первые его студенты, когда он только что вернулся в Штаты после работы у Коха и Пастера, только что оторвался от громадных кружек пива и корпорантов и свирепых споров. Чудесные дни, исполненные страсти! Die goldene Zeit [1]. Его первые слушатели в Америке, в колледже Квин-Сити, благоговели перед сенсационными открытиями бактериологии; они почтительно теснились вокруг него; они жаждали знаний. Теперь слушатели были стадом. Он смотрел на них: Пфафф Толстяк в переднем ряду, лицо невыразительное, как ручка двери; у студенток вид взволнованный и испуганный; только Мартин Эроусмит и Ангус Дьюер как будто что-то понимают. Память потянулась к бледно-голубым сумеркам в Мюнхене: мост, и девушка ждет на мосту, и доносится музыка.)

Он окунул руки в раствор сулемы и встряхнул ими: быстрый взмах пальцами вниз — взмах пианиста над клавишами. Взял из кюветы иглу для шприца и поднял пробирку. Голос его лениво струился немецкими гласными и приглушенным «в».

— Это, господа, есть суточная культура Bacilli anthracis. Вы заметите — уже, я уверен, заметили,— что на дно стаканчика положена вата, дабы пробирка не разбилась. Не советую разбивать пробирку с этими бациллами и затем попадать рукой в культуру. У вас после этого появится сибиреязвенный карбункул.

Аудитория содрогнулась.

Готлиб извлек мизинцем ватную пробку так изящно, что медики, любившие пожаловаться: «Бактериология — ненужный хлам: анализ мочи и крови — вот и все, что нам нужно освоить из лабораторной премудрости»,— эти медики воздали ему теперь некоторую дань уважения, какое внушал бы им человек, умеющий показывать фокусы на картах или в семь минут удалять аппендикс. Затем он повертел отверстие пробирки над бунзеновской горелкой, бубня:

— Каждый раз, когда вынимаете из пробирки пробку, обжигайте горлышко. Возьмите это за правило. Это техническая необходимость, а техника, господа, есть начало всякой науки. И ею в науке пренебрегают больше всего.

---

[1] Золотое время *(нем.)*.

Аудитория выражала нетерпение. Чего он копается, не приступает к захватывающему, страшному моменту введения инфекции?

(А Макс Готлиб, поглядывая на другую свинку, в ее стеклянной тюрьме, размышлял: «Бедная безвинная тварь! Зачем я должен убивать ее, чтобы учить разных Dummköpfe[1]. Лучше было бы провести опыт на этом жирном юнце».)

Он сунул в пробирку иглу, ловко вытянул указательным пальцем поршень и продолжал:

— Возьмите пол к. с. культуры. Есть два рода врачей — те, для кого «к. с.» значит «кубический сантиметр», и те, для кого это значит «катартик сложный». Вторые больше преуспевают в жизни.

(Но невозможно передать, как это было сказано: легкая протяжность гласных, сардоническая любезность, шипение этих «с», превращение «д» в тупое и вызывающее «т».)

Ассистент крепко держал свинку; Готлиб оттянул кожу на брюшке и быстрым прямым уколом ввел иглу. Свинка чуть дернулась, чуть пискнула, студентки в ужасе отшатнулись. Мудрые пальцы Готлиба знали, когда игла достигла брюшины. Он нажал на поршень и давил, пока поршень весь не вошел в шприц. Сказал спокойно:

— Эта бедная свинка скоро будет мертва, как пророк Моисей.

Слушатели смущенно переглядывались.

— Иные из вас подумают, что это не беда; иные вместе с Бернардом Шоу подумают, что я палач, и палач тем более чудовищный, что я при этом хладнокровен; а другие вовсе ничего не подумают. Эти-то расхождения в философии и делают жизнь интересной.

Пока ассистент вдевал свинке в ухо жетон и водворял ее обратно в банку, Готлиб записал в журнал ее вес, дату введения инфекции и давность хранения бактериальной культуры. Эту запись он своим четким почерком воспроизвел затем на доске, приговаривая:

— Господа, самая важная вещь в жизни — не жить, а думать о жизни. И самое важное в проведении опытов — не сделать опыт, а записать его, оч-чень аккуратно, в *цифрах,* записать чернилами. Мне не раз говорили, что многие умники находят для себя возможным сохранять данные в голове. Я часто с удовлетворением замечал, что у таких умников нет голов, в коих они могли бы сохранить данные. Это очень хорошо, потому что мир таким образом никогда не узнаёт их выводов, и эти выводы не засоряют

---

[1] Дураков *(нем.)*.

науку. Теперь я введу инфекцию второй свинке — и студенты могут разойтись. К следующей нашей встрече я попросил бы вас прочитать книгу Уолтера Патера «Марий-эпикуреец», чтобы позаимствовать у него спокойствие, в котором заключается тайна лабораторного искусства.

2

В толчее раздевалки Ангус Дьюер заметил одному дигаммовцу:

— Готлиб — старая лабораторная крыса; он лишен воображения; окопался здесь, вместо того чтобы выйти в мир и упиваться борьбой. Но руки у него ловкие. Превосходная техника. Он мог бы быть первоклассным хирургом и наживать пятьдесят тысяч долларов в год. А сейчас он вряд ли имеет больше четырех тысяч.

Айра Хинкли, полный смущения, пошел домой один. Этот рослый и шумливый пастор был на редкость добрым человеком. Он почтительно принимал на веру все, что ему говорили преподаватели, как бы оно ни противоречило всему остальному; но умерщвление животных — с этим он не мог примириться. По неясной для него связи он вспомнил, как в прошлое воскресенье, в захудалой часовне, где он проповедовал, пока учился на медицинском факультете, он славословил жертвенную смерть мучеников и как потом запели о крови агнца, об источнике, наполнившемся кровью из жил Эммануила, но нить этой мысли он потерял и брел к Дигамме Пи в тумане раздумчивой жалости.

Клиф Клосон, подхвативши под руку Пфаффа Толстяка, гремел:

— Ух ты! Здорово передернуло свинку, когда фатер Готлиб вогнал в нее иглу!

И Толстяк молвил:

— Не надо! Прошу тебя, не надо!

А Мартин Эроусмит видел себя производящим тот же опыт; и когда он вспоминал непогрешимые пальцы Готлиба, его рука сама изгибалась в подражание.

3

Морские свинки становились все более вялыми. Через два дня они перевернулись на спинки, судорожно задергали лапками и сдохли. С трепетом ожидая новых ужасов, студенты собрались на вскрытие. На демонстрационном столе стоял деревянный под-

нос, исколотый кнопками, которыми на нем уже много лет укреплялись трупы. Морские свинки лежали в стеклянной посудине неподвижные, шерстка на них ощетинилась. Аудитория старалась припомнить, какие они были резвые и живые. Ассистент распластал одну из них, прикрепив кнопками лапки к доске. Готлиб потер свинке брюшко смоченной в лизоле ватой, сделал надрез от брюшка до шеи и прижег сердце докрасна раскаленным металлическим шпателем. Студенты задергались, когда услышали шипенье мяса. Как священнослужитель дьявольских мистерий, Макс Готлиб вытянул пипеткой почерневшую кровь. Разбухшими легкими, селезенкой, печенью и почками ассистент наносил волнистые мазки на предметные стекла, окрашивал препарат и передавал его на рассмотрение слушателям. Студенты, которые уже научились глядеть в микроскоп, не закрывая одного глаза, принимали гордый вид профессионалов, и все они говорили о радости опознавания бациллы, когда, подкручивая медный винт, находили правильный фокус, и перед ними, выплыв из тумана, резко и отчетливо вырисовывались на стеклышках клетки. Но студентам было не по себе, потому что Готлиб сегодня остался с ними, молча шагал между столами и наблюдал — наблюдал за ними, и наблюдал за тем, как распоряжаются останками морских свинок, и над столами шло нервное перешептывание о некоем студенте, который умер от сибирской язвы, получив инфекцию в лаборатории.

4

Для Мартина эти дни были отмечены чувством удовлетворения и радости: пылом ярой игры в хоккей, ясным простором прерий, откровением классической музыки и восторгом творчества. Он рано просыпался и с удовольствием думал о предстоящем дне; преданно, не видя ничего, спешил он к своей работе.

Сутолока бактериологической лаборатории приводила его в экстаз: студенты, скинув пиджаки, фильтруют бульоны, их пальцы липки от сморщенных листов желатины; или они подогревают питательную среду в автоклаве, похожем на серебряную гаубицу. Шумные бунзеновские горелки под сушильными шкафами, пар от стерилизаторов Арнольда, клубящийся к потолку, заволакивающий окна, пленяли Мартина своей энергией; и самым лучезарным в мире были для него ряды пробирок, наполненных водянистой сывороткой и заткнутых кофейно-бурой опаленной ватой, тонкая петля из платиновой проволочки, опущенная в сверкающий стакан, фантасмагорический частокол из высоких стеклянных тру-

бок, таинственно соединяющих колбы и реторты, бутыль с краской генцианвиолет.

Он начал — быть может, из юношеского подражания Готлибу — самостоятельно работать в лаборатории по ночам... В длинной комнате темным-темно, только мерцает газовый рожок за микроскопом. Конус света зажигает глянцем яркую медную трубу, бросает блик на черные волосы Мартина, когда тот склоняется над окуляром. Мартин изучает трипаносомы, выделенные из крысы,— восьмилучные розетки, окрашенные метиленовой синькой, гроздь организмов, изящную как нарцисс, лиловые ядра, голубые клетки, тонкие линии жгутиков. Мартин возбужден и немного горд; он превосходно справился с окраской трипаносом, а это нелегко — окрасить розетку, не испортив форму лепестков. В темноте послышались шаги, усталые шаги Макса Готлиба, рука легла на плечо Мартина. Молча поднимает Мартин голову, пододвигает Готлибу микроскоп. Нагнувшись, с окурком папиросы в зубах (любой смертный ослеп бы от такого дыма), Готлиб всматривается в препарат.

Он на четверть дюйма убавил пламя горелки и протянул:

— Великолепно! У вас заметно мастерство. О, в науке есть искусство — для немногих. Вы, американцы,— очень многие из вас,— вы полны идей, но нет у вас терпения, вас страшит прекрасная скука долгих трудов. Я уже вижу — я давно наблюдаю за вами в лаборатории,— вы, пожалуй, можете приняться за трипаносомы сонной болезни. Они очень интересны, и работать с ними оч-чень щекотливая штука. Это — замечательная болезнь. В некоторых африканских деревнях ею больны пятьдесят процентов жителей, исход неизменно смертельный. Да, я думаю, вы могли бы работать с этими трипаносомами.

Для Мартина это было все равно, что получить в бою командование бригадой.

— К двенадцати часам,— продолжал Готлиб,— мне приносят сюда в кабинет бутерброды. Если засидитесь так поздно, мне будет приятно, чтобы вы зашли ко мне перекусить.

В двенадцать Мартин неуверенно шел по коридору к безупречно чистой лаборатории Готлиба. На столе ждал кофе и бутерброды — странно-маленькие, превосходные бутерброды. «Иностранные»,— решил Мартин, воспитавший свой вкус в студенческих столовых.

Готлиб говорил — и Клиф был забыт, а Дьюер стал казаться смешным карьеристом. Он вспоминал лондонские лаборатории, обеды в морозные вечера в Стокгольме, прогулки по Монте-Пинчо на закате, пылающем за куполом святого Петра, вспоминал грозную опасность и неодолимую омерзительность замазанного выде-

лениями белья в заразных бараках Марселя. Отбросив обычную сдержанность, рассказывал о самом себе и своей семье, как если б Мартин был ему ровесником.

Один его двоюродный брат сделался полковником в Уругвае, а другой, раввин, замучен во время еврейского погрома в России. Жена больна — возможно, рак. Трое детей; младшая — дочка, Мириам,— хорошая музыкантша, но сын, четырнадцатилетний мальчик, огорчает родителей, дерзит, не хочет учиться. Сам он много лет работает над синтезом антител; сейчас зашел в тупик, и в Могалисе нет никого, кто бы интересовался его работой, никого, кто б его подталкивал; но он пережил много приятных часов, расправляясь с теорией опсонинов, и это его подбадривает.

— Нет, я ничего не сделал, хоть и порядком досадил людям со слишком большими претензиями. Но я мечтаю о подлинных открытиях в будущем. И... Нет. Мне за пять лет не попадается и пяти студентов, которые понимали бы, что значит мастерство и точность плюс смелое воображение в гипотезах. У вас, мне думается, это есть. Если я могу вам помочь... Так!

Думается мне, хорошим врачом вы не станете. Быть хорошим врачом неплохо, есть среди них подлинные художники, но их ремесло не для нас, лабораторных затворников. Однажды я было нацепил на себя ярлычок Д. М. Это было в Гейдельберге... дай бог памяти!.. в тысяча восемьсот семьдесят пятом году! Но я не мог по-настоящему увлечься бинтованием лодыжек и разглядыванием языков. Я был последователем Гельмгольца — вот был человек! Веселый, отчаянный!.. Я пробовал делать изыскания в акустике,— работал я скверно, невероятно скверно, но одно я узнал,— что в этой юдоли слез нет ничего верного, кроме количественного метода. Взялся я за химию, был последним пачкуном. От химии перешел к биологии — хлопотливая оказалась штука. Но поработал не зря. Я кое-что открыл. И хотя временами я чувствую себя изгнанником, чувствую холод... мне, знаете, пришлось в свое время оставить Германию за отказ петь «Die Wacht am Rhein» [1] и за попытку убить одного кавалерийского офицера... здоровенный был — и я его чуть не задушил... Вот как я расхвастался! Но тридцать лет назад я был крепкий парень! Н-да! Так!

Одно только смущает бактериолога, когда он настроится философически: к чему нам уничтожать эти милые патогенные микроорганизмы? Уверены ли мы, когда смотрим на этих весьма непривлекательных молодых студентов, из тех, что примыкают к

---

[1] «Стража на Рейне» *(нем.)*.

ХАМЛу, и поют нудные псалмы, и носят шляпы с выжженными на подкладке инициалами,— уверены ли мы, что стоит тратить время на охрану их от какой-нибудь блестяще работающей тифозной бациллы с ее прелестными жгутиками? Знаете, я однажды спросил декана Сильву, не лучше ли было бы напустить на мир патогенные бактерии и разрешить таким путем все экономические проблемы. Но ему не понравился мой метод. Правда, он старше меня; и он, я слышал, дает иногда званые обеды, где присутствуют епископы и судьи, прекрасно все одетые. Он, конечно, больше смыслит, чем немецкий еврей, который любит старого Ницше, и старого Шопенгауэра (хотя у Шопенгауэра — черт возьми! — был телеологический уклон), и старого Коха, и старого Пастера, и нестарых Жака Леба, и Аррениуса. Да! Однако я несу вздор! Пойдем посмотрим на ваши стеклышки и... пожелаем друг другу спокойной ночи!

Проводив Готлиба до его нелепого коричневого домика и взглянув на прощанье в его лицо, такое замкнутое, точно полуночного ужина и бессвязной беседы никогда и не было, Мартин побежал домой совсем пьяный.

ГЛАВА V

1

Хотя бактериология заполняла теперь всю жизнь Мартина, в университете считалось, что он изучает еще и патологию, гигиену, топографическую анатомию и множество других предметов, в которых увяз бы и гений.

Мартин и Клиф Клосон жили в большой комнате с цветастыми обоями, грудами грязного платья, железными кроватями и плевательницами. Они сами готовили себе завтрак; обедали наспех в передвижной «Столовой пилигрима» или в закусочной «Капля росы». Клиф временами действовал Мартину на нервы; он ненавидел открытые окна; разговаривал о грязных носках; пел «Умрете ль вы от диабета», когда Мартин занимался, и был абсолютно не способен хоть слово молвить в простоте. Обязательно должен был говорить «с юмором». Он спрашивал: «Как ваше просвещенное мнение, не пора ли нам подкрепить нашу бренную плоть и заткнуть дырку в рыле?», или: «Что скажете — не опрокинуть ли нам несколько калорий?» Но для Мартина в нем было обаяние, которое нельзя было вполне объяснить веселостью Клифа, живостью его ума, его безотчетной отвагой. В целом Клиф был нечто большее, чем сумма его отдельных качеств.

Захваченный радостью лабораторной работы, Мартин редко вспоминал о своих недавних товарищах по Дигамме Пи. Он заявлял при случае, что преподобный Айра Хинкли — деревенский полисмен, а Эрвинг Уотерс — лудильщик, что Ангус Дьюер на пути к успеху перешагнул бы через труп своей бабушки и что такому идиоту, как Пфафф Толстяк, практиковаться на беззащитных пациентах — сущее преступление; но, в общем, он их игнорировал и перестал изводить их. Когда же он пережил свои первые триумфы в бактериологии и открыл, как он еще ничтожно мало знает, он стал до странности скромен.

Но если он теперь меньше докучал своим однокурсникам, то тем неспосней стал в аудитории. Он перенял у Готлиба слово «контроль», употребляемое применительно к человеку, к животному или химическому препарату, которые во время опыта в целях проверки не подвергаются никакому воздействию; это слово доводило людей до исступления. Когда какой-нибудь врач хвастался успехом, достигнутым после применения такого-то лекарства или такого-то электроаппарата, Готлиб всегда фыркал в ответ: «А где у вас контроль? Сколько пациентов наблюдали вы в тождественных условиях, и сколько из них не получило того же лечения?» И вот Мартин стал твердить за ним: «Контроль, контроль, контроль, где у вас контроль? Где контроль?» — так что под конец большинство его товарищей и многие преподаватели готовы были его линчевать.

Особенно докучлив бывал он на лекциях по фармакологии.

Из профессора фармакологии, доктора Ллойда Дэвидсона, вышел бы отменный лавочник. Он был очень популярен. Будущий врач мог научиться у него самому важному: какие лекарства прописывать больному, в особенности, когда вы не можете выяснить, чем он болен. Студенты усердно слушали его курс и выучивали наизусть священные сто пятьдесят рецептов (доктор Ллойд Дэвидсон гордился, что дает их на пятьдесят штук больше, чем его предшественник).

Но Мартин бунтовал. Он спрашивал во всеуслышание:

— Доктор Дэвидсон, откуда известно, что ихтиол помогает при рожистых воспалениях? Ведь он не что иное, как окаменелая рыба — чем это лучше толченых мощей или куриного желудка, которыми лечили в доброе старое время?

— Откуда известно? Оттуда, мой юный скептик, что тысячи врачей годами пользовались ихтиолом и убеждались, что пациенты от него поправляются. Вот откуда это известно!

— Но по чести, доктор, а может, пациенты все равно поправились бы? Не кроется ли здесь обычное post hoc, propter hoc [1]. Ста-

[1] После этого — значит вследствие этого *(лат.)*.

вился ли когда-нибудь широкий опыт на множестве пациентов сразу — опыт с контролем?

— По всей вероятности, не ставился и едва ли будет когда-нибудь поставлен, пока какому-нибудь гению, вроде вас, Эроусмит, не удастся собрать в одно стадо несколько сот человек с абсолютно тождественным случаем рожи. А до тех пор, я надеюсь, все вы, господа, не обладая, может быть, глубокими научными познаниями мистера Эроусмита и его сноровкой в обращении с техническими терминами вроде «контроля», будете по моему скромному совету пользоваться по старинке ихтиолом.

Но Мартин упорствовал:

— Объясните, пожалуйста, доктор Дэвидсон, что пользы, в самом деле, заучивать наизусть все эти рецепты? Большинство из них мы позабудем, а кроме того, всегда можно заглянуть в справочник.

Дэвидсон поджимал губы, потом отвечал:

— Эроусмит, мне крайне неприятно разговаривать с человеком вашего возраста, как с трехлетним мальчиком, но, очевидно, придется. Итак, извольте заучивать свойства лекарств и запись рецептов, *потому что я этого требую!* Если бы мне не жалко было впустую занимать время остальной аудитории, я попробовал бы убедить вас, что мои предписания можно принять не только в силу моего скромного авторитета, но и потому, что они представляют собою итоги, подведенные за много веков умными людьми,— умнее и уж, во всяком случае, немного постарше вас, мой друг. Но так как у меня нет желания пускаться в риторику и красноречие, я скажу вам только, что вы будете следовать моим предписаниям и будете учить рецепты и запоминать их наизусть, *потому что я этого требую!*

Мартин подумывал о том, чтобы вовсе бросить медицинский курс и специализироваться по бактериологии. Он попробовал излиться перед Клифом, но Клифу наскучили его терзания, и Мартин опять обратился к энергичной, гибкой Маделине Фокс.

2

Маделина показала себя и отзывчивой и рассудительной. Почему не окончить медицинский факультет? Потом виднее будет, что делать.

Они гуляли, бегали на коньках, на лыжах, посещали спектакли Университетского драматического общества. Мать Маделины, вдова, приехала к дочке и сняла с нею крошечную квартирку под крышей многоэтажного доходного дома — из тех, что стали вытеснять просторные старые деревянные дома Могалиса. Квартирка

была полна литературы и украшений: бронзовый Будда из Чикаго, репродукция эпитафии Шекспира, собрание сочинений Анатоля Франса на английском языке, фотография Кельнского собора, плетеный чайный столик и на нем самовар, устройства которого не понимал никто в университете, альбом с открытками. Мать Маделины была вдовствующей герцогиней с Главной улицы — статная, с белыми волосами, однако ходила она в методистскую церковь. В Могалисе студенческий жаргон приводил ее в смущение. Она скучала по родному городу, по церковным собраниям и по заседаниям женского клуба. Дамы в этом году занялись там вопросами педагогики, и ей обидно было, что она упускает такую возможность познакомиться с университетской жизнью.

Теперь, когда у нее был свой дом и почтенная дуэнья, Маделина стала устраивать «приемы»: к восьми часам вечера кофе с шоколадным тортом, салат из цыплят и пти-жё. Она приглашала Мартина, но тот ревниво оберегал свои вечера, чудесные вечера исследовательской работы. Впервые Маделине удалось залучить его к себе только в январе на большой новогодний вечер. Играли в «объявления», то есть ставили живые картины, изображавшие рекламу, которую публика должна была расшифровать; танцевали под граммофон; и ужинали не как-нибудь, а за маленькими столиками с бесконечным множеством салфеточек.

Мартину непривычна была такая изысканность. Пришел он неохотно, держался мрачно, но ужин и женские туалеты произвели на него впечатление; он увидел, что танцует скверно, и завидовал студенту-выпускнику, умеющему танцевать модный «вальс-бостон». Не было той силы, того таланта, того знания, которых Мартин Эроусмит не жаждал, если только ему удавалось разглядеть их сквозь толстый пласт своей отрешенности от мира. Пусть он не стремился к богатству, зато ко всякому уменью рвался с ненасытной жадностью.

Против воли восхищался он другими, но чувство это тонуло в его восторге перед Маделиной. До сих пор он ее видел только на улице в строгом костюме, теперь же ему явилась пленительная комнатная Маделина, стройная, в желтом шелку. Она казалась ему чудом такта и непринужденности, когда понукала гостей к видимости веселья. А такт был нужен, ибо среди гостей присутствовал доктор Норман Брамфит, и в этот вечер доктор Брамфит играл в оригинальность и озорство. Он делал вид, что хочет расцеловать Маделинину мамашу, чем чрезвычайно смущал бедную старушку; он пел крайне непристойную негритянскую песню, в которой встречалось слово «черт»; он разъяснял группе студенток, что любовные похождения Жорж Санд можно отчасти оправдать тем влия-

нием, которое она оказывала на талантливых мужчин; и когда студентки поджали губы, он загарцевал и засверкал очками.

Маделина занялась им. Она вывела трелью:

— Доктор Брамфит, вы страшно ученый и так далее и все такое, и я иногда на лекции английской словесности боюсь вас прямо до смерти, но порой вы просто гадкий мальчик, и я вам не позволю дразнить моих девочек. Помогите мне принести шербет, вот вам подходящее занятие.

Мартин ее боготворил. Он возненавидел Брамфита за предоставленную ему привилегию скрываться с нею вдвоем в чуланообразную кухоньку. Маделина! Она одна его понимает! Здесь, где каждый тянется к ней, а доктор Брамфит изливает на нее чуть не матримониальную нежность, она блистает, как алмаз, и он, Мартин, должен получить ее в собственность.

Вызвавшись помочь ей накрывать столы, он улучил мгновение и простонал:

— Боже, вы так прелестны!

— Я рада, что вы находите меня довольно милой.

Она, роза и кумир вселенной, дарит его благосклонностью!

— Можно зайти к вам завтра вечером?

— Н-не знаю, я... Да, пожалуй.

3

В этой биографии молодого человека, который ни в коей мере не был героем, который видел в себе самом искателя истины, однако же всю жизнь скользил и спотыкался и увязал в каждом болоте, даже самом явном,— мы не можем сказать, что намерения Мартина относительно Маделины Фокс были, что называется, «честными». Он не был донжуаном, он был бедным студентом-медиком, которому предстояло годами ждать заработка. Понятно, он не собирался делать предложение. Он хотел... как большинство бедных и пылких молодых людей в подобных случаях, он хотел всего, что удастся сорвать.

Летя к ее квартире, он ждал приключения. Он рисовал себе, как девушка тает; чувствовал, как ее рука скользит по его щеке. Предостерегал самого себя: «Не валяй дурака! Может быть, ничего и нет. Брось, не взвинчивай себя — потом разочаруешься. Она, верно, хочет отчитать тебя за какой-нибудь промах на вечере. Будет, верно, сонная и пожалеет, что пригласила. Вот и все!» — но сам ни на секунду этому не верил.

Он позвонил, она ему открыла, он проследовал за нею через неврачную переднюю, томясь желаньем схватить ее за руку. Во-

шел в залитую светом гостиную — и увидел мать Маделины, несокрушимую, как пирамида, вечную, как зима без солнца.

Но мать, конечно, догадается уйти и оставить за ним поле битвы.

Мать не уходила.

В Могалисе пришедшему в гости молодому человеку подобает уходить в десять часов, но с восьми до четверти двенадцатого Мартин сражался с миссис Фокс; он говорил с ней на двух языках: вслух болтал о пустяках и заявлял немой, но яростный протест, меж тем как Маделина... Маделина присутствовала — сидела рядом и была хорошенькой. На том же безмолвном языке миссис Фокс отвечала гостю, пока в комнате не стало душно от их спора, хотя они, казалось, беседовали о погоде, об университете и о трамвайном сообщении с Зенитом.

— Да, несомненно, со временем, я думаю, вагоны будут ходить каждые двадцать минут,— сказал он внушительно.

(«Тьфу ты! Чего она нейдет спать? Ура! Складывает вязанье. Какое там! Надо же! Принимается за новый клубок!»)

— О да, я уверена, что сообщение улучшится,— сказала миссис Фокс.

(«Молодой человек, я мало с вами знакома, но не думаю, чтоб вы представляли подходящую партию для Маделины. Во всяком случае, вам пора уходить».)

— Да, конечно! Здорово улучшится.

(«Я вижу, что засиделся, и вижу, что ты это видишь, но мне плевать».)

Казалось невозможным, что миссис Фокс выдержит его упрямую настойчивость. Мартин пускал в ход силу внушения, напряжение воли, гипноз, но когда он, побежденный, собрался уходить, мамаша все еще сидела на месте, невозмутимо спокойная. Они попрощались не слишком тепло. Маделина проводила его до дверей; на восхитительные полминуты он остался с ней наедине.

— Я так хотел... Я хотел с вами поговорить!

— Знаю. Мне очень жаль. В другой раз! — прошептала она.

Он ее поцеловал. То был бурный поцелуй и очень сладкий.

4

Вечеринки с приготовлением помадки, танцы на катке, поездки на санях, литературный вечер с почетной гостьей-журналисткой, ведущей светскую хронику в зенитском «Адвокат-таймсе»,— Маделина закружилась в вихре приятных, но крайне утомительных развлечений, и Мартин послушно и недовольно следовал за

нею. Она, видимо, испытывала трудности в привлечении достаточного числа кавалеров, и на литературный вечер Мартин притащил негодующего Клифа Клосона. Клиф бурчал: «В жизни не потел в таком курятнике!», но он вынес из «курятника» сокровище — услышал, как Маделина назвала Мартина на свой любимый лад «Мартикинс». Это было ценное приобретение. Клиф стал звать его Мартикинс. Клиф подбил и других звать его Мартикинс. Пфафф Толстяк и Эрвинг Уотерс звали его Мартикинс. А когда Мартин собирался уснуть, Клиф гаркал:

— Гы-гы! Ты, чего доброго, женишься на ней! Девица бьет без промаха. Попадает в молодого Д. М. с восьмидесяти пяти шагов. Н-да! Посмотрим, как вы будете заниматься наукой, когда эта юбка засадит вас прижигать миндалины... Она из этих модных литературных птичек. Знает все насчет литературы, только вот читать как будто не научилась... Недурна собой... пока что. Со временем разжиреет, не хуже своей мамаши.

Мартин ответил, как полагалось, и сказал в заключение:

— Из всех здешних девушек, которые окончили колледж, она одна с огоньком. Другие все сидят сиднем и разговаривают, а она устраивает всякие вечеринки...

— Например, вечеринки с поцелуями?

— Слушай! Я, знаешь, могу разозлиться! Мы с тобой неотесанные дубины, а Маделина Фокс... она немножко вроде Ангуса Дьюера. Я начинаю понимать, чего нам не хватает, всю эту материю... Музыка, и литература, и приличная одежда... да, хороший костюм тоже невредная штука...

— Ну вот, что я тебе только что сказал? Она нарядит тебя в сюртук и крахмальные манишки — и пошлет ставить диагнозы богатым вдовушкам. Как ты мог втюриться в такую ловкую бабенку? *Где у тебя контроль?*

Оппозиция Клифа побудила Мартина смотреть на Маделину не только с лукавым и жадным интересом, но и с драматической уверенностью, что он страстно желает на ней жениться.

5

Лишь немногие женщины могут надолго удержаться от попыток исправлять близкого им мужчину, а исправлять означает переделывать человека из того, что он есть (чем бы он ни был), в нечто другое. Девицы вроде Маделины Фокс, молодые женщины артистического склада, не работающие в искусстве, не могут воздерживаться от такой исправительской деятельности больше суток. Стоило нетерпеливому Мартину показать Маделине, что ее прелести дей-

ствуют на него, как она с новой, еще более покровительственной энергией принялась за его одежду — за плисовые штаны, отложной воротник и серую фетровую шляпу, старую и несуразную,— за его словарь и литературный вкус. Эта манера бросать мимоходом «понятно, кто ж не знает, что Эмерсон был величайшим мыслителем», раздражала Мартина — и тем сильней, что он сопоставлял ее с угрюмым терпением Готлиба.

— Ох, оставьте меня! — накидывался он на Маделину.— Вы прелестнейшее божье созданье, когда говорите о том, в чем знаете толк; но как начнете распространяться о политике и химиотерапии... Черт подери, что вы мной командуете? Вы, пожалуй, правы насчет языка. Я отброшу все эти «заткнуть дырку в рыле» и прочую ерундистику, но крахмального воротничка не надену. Ни за что!

Может быть, он никогда и не сделал бы ей предложения, если б не тот весенний вечер на крыше.

Маделина пользовалась плоской крышей дома, как садом. Притащила туда ящик с геранью и чугунную скамейку, вроде тех, что можно было когда-то видеть возле могил, да подвесила два японских фонарика — они были порванные и висели криво. С презрением говорила она о прочих обитателях дома, которые «так прозаичны, так погрязли в условностях, что никогда не поднимаются в этот милый укромный уголок». Она сравнивала свое убежище с крышей мавританского дворца, с испанским патио, с японским садиком, со старопровансальским «плезансом». Но Мартину «плезанс» весьма напоминал обыкновенную крышу. В этот апрельский вечер он шел к Маделине со смутной готовностью поссориться, и мать ее довольно нелюбезно сказала ему, что она на крыше.

— Паршивые японские фонарики! Уж лучше, право, разглядывать срезы печени,— ворчал он, одолевая ступеньки витой лестницы.

Маделина сидела на кладбищенской скамейке, подперев подбородок руками. Она встретила его не цветисто-восторженным приветствием, как всегда, а равнодушным «хелло!». Она, казалось, была чем-то расстроена. Мартин устыдился своих насмешек; ему вдруг показалась трогательной ее фантазия, что эти куски толя и ребра между ними представляют собою великолепный сад. Сев рядом, он завел:

— Смотрите, какую шикарную новую циновку вы здесь постелили!

— Совсем не шикарную! Старая тряпка! — Она обернулась к нему. Она простонала: — Ах, Март, я сегодня так себе противна! Я вечно стараюсь внушить людям, что я что-то собою представляю. А я ничто. Мыльный пузырь!

— Что с вами, дорогая?

— О, все вместе. Доктор Брамфит, провались он... Впрочем, он все-таки прав... Он прямо дал мне понять, что, если я не начну работать усердней, меня исключат. Он говорил, что я ничего не делаю, а если у меня не будет диплома, то я не получу приличного места преподавательницы английской словесности в какой-нибудь модной школе. А работа мне очень нужна, так как не похоже, что кто-нибудь захочет жениться на бедной Маделине.

Обняв ее за талию, он брякнул:

— А я отлично знаю человека, который...

— Нет, я никого не ловлю на удочку. Я говорю сегодня почти что честно. Никуда я не гожусь, Март: я показываю людям, какая я умная. Но не думаю, чтоб они мне верили. Вероятно, выйдя за порог, они надо мною смеются!

— Никто не смеется! Если б кто вздумал... Посмотрел бы я, как бы он посмел засмеяться...

— Страшно мило и трогательно с вашей стороны, но я того не стою! Поэтическая Маделина! С ее утонченным словарем! Я... Мартин, я... самозванка! Я именно то, чем считает меня ваш друг Клиф. О, не трудитесь отрицать. Я знаю, что он думает обо мне. И... мне придется ехать с матерью домой, и я не вынесу, милый, не вынесу! Не хочу я домой! В этот городишко! Где никогда ничего не случается! Старые сплетницы и мерзкие старики, вечно повторяющие одни и те же остроты. Не хочу!

Маделина уткнулась головой ему в плечо и плакала, горько плакала; он гладил ее по голове, уже не жадно, а нежно, и нашептывал:

— Милая! Вот мне уже и не страшно признаться, что я вас люблю. Вы выйдете за меня замуж, и тогда... Дайте мне два года, чтобы кончить медицинский курс, да еще года два на практику в больнице, и тогда мы поженимся и... А, черт, с вашей поддержкой я выдвинусь! Стану великим хирургом! Мы достигнем всего!

— Дорогой, будьте благоразумны. Я совсем не желаю отрывать вас от вашей научной работы...

— Ну да, конечно. Я буду продолжать кое-какие исследования. Но, черт возьми, я вовсе не лабораторная крыса. Ринуться в битву жизни! Пробивать себе путь! Схватиться с настоящими мужчинами в настоящей мужской борьбе. Если я не способен вести такую борьбу и одновременно с ней хоть небольшую научную работу, мне грош цена! Конечно, пока я могу работать у Готлиба, я хочу использовать это преимущество, но впоследствии... О Маделина!

Дальше все мысли утонули в тумане ее близости.

Мартин с трепетом ждал объяснения с миссис Фокс; он был уверен, что она скажет: «Молодой человек, на какие средства вы рассчитываете содержать мою Мадди? И у вас такой грубый лексикон!» — но она взяла его за руку и заныла:

— Я надеюсь, что вы и моя крошка будете счастливы вместе. Она хорошая, милая девочка, хоть подчас и бывает немного ветрена, и вы, я знаю, славный и добрый человек, и работящий. Я буду молиться, чтоб вы были счастливы — ах, так буду горячо молиться! Вы, молодежь, видать, не слишком цепите молитву, но если б вы знали, как она мне всегда помогала! О, я испрошу для вас счастья у господа!

Она расплакалась; поцеловала Мартина в лоб сухим, мягким, нежным поцелуем старухи, и он чуть не заплакал вместе с нею.

При расставании Маделина шепнула:

— Мой мальчик, не для меня, но мама будет рада, если мы пойдем с нею в церковь! Подумайте, не могли бы вы согласиться хоть разок?

Изумленный мир, изумленный богохульник Клиф Клосон узрели, как Мартин в отутюженном до лоска костюме, в тесном крахмальном воротничке и старательно повязанном галстуке сопровождает миссис Фокс и целомудренно щебечущую Маделину в методистскую церковь города Могалиса послушать проповедь преподобного доктора Мирона Шваба о «Едином праведном пути».

Они встретили преподобного Айру Хинкли, и Айра с благочестивым злорадством выпучил глаза на полоненного Мартина.

7

При всей своей приверженности пессимистическим взглядам Готлиба на человеческий интеллект Мартин верил в прогресс, верил, что ход событий имеет какой-то смысл, что люди могут чему-то научиться, что если Маделина однажды признала себя обыкновенной девушкой, которой свойственно иногда ошибаться, то она уже спасена. Он был ошеломлен, когда она принялась исправлять его бойче прежнего. Она жаловалась на его вульгарность и на «гнилое тщеславие».

— Вы думаете, что это страшно шикарно — утверждать свое превосходство? Иногда я задаюсь вопросом, не простая ли это лень. Вам нравится бездельничать в лабораториях. Почему именно вы должны быть избавлены от труда заучивать наизусть разные там

рецепты и так далее, и тому подобное? Все остальные заучивают. Нет, я не стану вас целовать. Я хочу, чтобы вы не были мальчишкой и слушались голоса рассудка.

В бешенстве от ее нападок, в тоске по ее губам и прощающей улыбке, он крутился, как белка в колесе, до конца учебного года.

За неделю до экзаменов, когда он старался тратить двадцать четыре часа в сутки на любовь к невесте, двадцать четыре на зубрежку к экзаменам и двадцать четыре на бактериологическую лабораторию, он пообещал Клифу провести летние каникулы вместе с ним, работая официантом в канадском отеле. В тот же вечер он встретился с Маделиной и гулял с нею в вишневом саду Сельскохозяйственной опытной станции.

— Вы отлично знаете, что я думаю о вашем противном Клифе Клосоне,— жаловалась Маделина.— Но мне кажется, вы не желаете слушать мое мнение о нем.

— Ваше мнение мне известно, дорогая,— проговорил Мартин веско и не совсем любезно.

— Хорошо, разрешите мне теперь заметить, что вы не спросили моего мнения о вашем превращении в официанта! Хоть убей, не пойму, почему вы не могли достать на каникулы интеллигентную работу и предпочитаете возиться с грязной посудой! Почему вам не поработать в газете, где вы могли бы ходить в приличном костюме и встречаться с приятными людьми?

— Конечно, я мог бы редактировать газету. Но вас послушать, так мне лучше вовсе не работать этим летом. Работают только дураки! Поеду в Ньюпорт и буду играть в гольф да носить каждый вечер парадную тройку.

— И это было бы для вас совсем невредно! Я уважаю честный труд — так и Бернс говорит. Но прислуживать за столом! Март, почему вы так гордитесь своей неотесанностью? Отбросьте хоть на минуту ваше высокомерие. Прислушайтесь к шелестам ночи. И к запаху цветущей вишни... Или, может быть, великий ученый вроде вас настолько выше заурядных людей, что цветенье вишни для него слишком низменная материя?

— Да как сказать, если не считать того факта, что последние вишни отцвели несколько недель тому назад, вы абсолютно правы.

— Ах, отцвели? Отцвели! Может быть, цвет их увял, но... Не будете ли вы столь добры сказать мне, что это там белеет?

— Скажу. По-моему, рубашка рабочего.

— Мартин Эроусмит, если вы хоть на миг вообразили себе, что я склонна выйти замуж за вульгарного, грубого эгоиста, копающегося в микробах, надменного и...

— А если вы воображаете, что я склонен жениться на дамочке, которая будет с утра до ночи пилить меня...

Они друг друга обидели; обидели с наслаждением и расстались навсегда; они дважды расставались навсегда; во второй раз крайне грубо, под окнами общежития, где студенты распевали под банджо душещипательные романсы.

Через десять дней, так и не повидавшись с Маделиной, Мартин уехал с Клифом в северные леса, и в своей печали, что ее утратил, в тоске по ее ласковым рукам и покорному вниманию, с каким она слушала его, он почти не радовался, что кончил первым по бактериологии и что Макс Готлиб назначает его своим ассистентом.

ГЛАВА VI

1

Официанты в «Хижине Нокомис» — большом отеле среди сосен Онтарио — все были студентами. Вовсе не было оговорено, что в отеле они должны являться на танцы — они попросту являлись и уводили самых хорошеньких девушек от пожилых и возмущенных кавалеров в белых фланелевых костюмах. Работать приходилось только семь часов в сутки. Остальное время студенты рыбачили, купались и бродили по лесным тропинкам, и Мартин вернулся в Могалис умиротворенным и безгранично влюбленным в Маделину.

Они писали друг другу письма, вежливые, с извинениями — раз в две недели; затем страстные и ежедневно. Маделину на лето увезли в ее родной город, близ границы Уиннемака с Огайо; город был крупнее Элк-Милза, родины Мартина, насчитывал несколько маленьких фабрик, но был еще сильнее выжжен солнцем и еще скучнее. Маделина вздыхала, разбегаясь по странице крупным размашистым почерком:

Может быть, мы больше никогда не увидимся, но я хочу, чтоб вы знали, как высоко я ценю все разговоры, которые мы с вами вели о науке, об идеалах и образовании и т. д. Я особенно ценю их здесь, когда слушаю, как эти погрязшие в тине провинциалы распространяются — о, это ужасно! — о своих автомобилях и о том, сколько им приходится платить служанке, и так далее, и тому подобное. Вы мне так много дали, но ведь и я кое-что дала вам, не правда ли? Не всегда же я бываю неправа, не так ли?

«Дорогая моя, моя маленькая девочка! — горевал он,— «не всегда же я не права»! Бедная ты моя, бедная, милая».

В середине лета они были опять женихом и невестой, и, хотя Мартина слегка волновала молодая кассирша, школьная учитель-

ница из Висконсина, хохотунья с изящными ножками, он так соскучился по Маделине, что ночью лежал без сна, подумывая отказаться от работы и лететь к ее ласкам,— лежал без сна иногда по нескольку минут.

Обратный поезд шел мучительно медленно, и Мартин сошел в Могалисе, разгоряченный грезами о Маделине. Двадцать минут спустя они обнимались в тишине ее гостиной. Правда, еще через двадцать минут она уже отзывалась с презрением о Клифе Клосоне, о рыбной ловле и о всех учительницах в мире, но страстным его порывам уступила в слезах.

2

Третий курс совсем закружил Мартина. С утра — слушай лекции по физиологии, пропедевтике, хирургии, неврологии, гинекологии и акушерству; после обеда — посещай клиники, следи за изготовлением сред и стерилизацией стеклянной посуды для Готлиба; обучай новичков обращению с микроскопом, фильтрами и автоклавом; да прочитай иногда страничку, немецкую или французскую, в научных журналах; и встречайся постоянно с Маделиной. Чтобы всюду поспевать, Мартин подхлестывал себя в истерической гонке и в самый разгар ее приступил к своей первой самостоятельной работе — к первой своей поэме, первому восхождению на неисследованные вершины.

Он иммунизировал кроликов против брюшного тифа и полагал, что если смешает кровяную сыворотку, взятую от этих иммунных животных, с бациллами брюшняка, то бациллы погибнут. Но бациллы, как назло, стали бойко размножаться. Он был смущен; решил, что сплоховал в технике; ставил опыт снова и снова, работал до полуночи, просыпаясь на рассвете, чтобы продумать свои записи. (Его письма к Маделине были написаны ужасающими каракулями, однако в лабораторных записях он был аккуратен.) Когда он окончательно убедился, что природа упорно поступает так, как ей не полагалось бы, он с виноватым видом пошел к Готлибу и заявил:

— Проклятые бациллы должны были умереть в этой иммунной сыворотке, а вот не мрут. В теориях что-то неладно.

— Молодой человек, вы ополчились на науку? — проскрипел Готлиб, хлопая тетрадями по столу.— Вы чувствуете себя достаточно компетентным... гм... чтобы нападать на догмы иммунологии?

— Извините, сэр. Но догмам я ничем помочь не могу. Вот мои записи. Право, я проделывал всю эту музыку снова и снова,

но приходил, как вы можете убедиться, к тем же результатам. Я знаю только то, что получил из наблюдений.

Готлиб сиял.

— Даю вам свое епископское благословение, мой мальчик! Правильно поступаете! Наблюдайте, и если наблюдение опровергает все чистенькие принятые взгляды науки,— побоку их! Я очень рад, Мартин. Но теперь разыщите «почему»; ищите, какой тут скрывается закон.

Обыкновенно Готлиб называл его «Эроусмит» или просто «вы», или даже «гм». Когда злился, то называл его, как и всякого другого студента, «доктором». Только в высокие минуты он удостаивал назвать его Мартином, и юноша уходил окрыленный — искать и никогда не находить таинственное «почему», скрывающееся за каждым явлением.

3

Готлиб послал его в огромную Зенитскую Городскую Больницу получить штамм менингококка от интересного больного. Скучающий регистратор, которому важно было только записать фамилию пациента, его вероисповедание и адрес предприятия, где он работает, и которого ничуть не волновало, если кто умирал или плевал на прекрасный сине-белый линолеум или шлялся по городу, собирая менингококков, лишь бы аккуратно занесены были в книгу адреса, надменно предложил ему подняться в палату «Д». Мартин шел по длинным коридорам, мимо бесчисленных дверей, откуда выглядывали сидящие на койках желтолицые старухи в бязевых рубашках, и старался напустить на себя важный вид в надежде, что его примут за врача, но достигал лишь того, что чувствовал крайнее замешательство.

Он быстро прошел мимо нескольких сиделок, еле кивая им, как полагается (или, как он думал, что полагается) блестящему молодому хирургу, спешащему на операцию. Он был так поглощен старанием походить на блестящего молодого хирурга, что совсем заблудился и попал в крыло, отведенное под платные палаты. Он опаздывал. Было некогда соблюдать и дальше внушительность. Как все мужчины, Мартин терпеть не мог признаваться в своем невежестве, спрашивая дорогу; нехотя остановился он у дверей палаты, где сиделка-практикантка мыла пол.

Практикантка была невысокая и тоненькая, и на нее было напялено платье из грубой синей саржи, громадный белый фартук и чепец, врезавшийся в лоб круглой резинкой,— мундир столь же неприглядный, как и ее ведро с мыльной водой. Она вскинула на Мартина глаза с живою дерзостью белки.

— Сестрица,— сказал Мартин,— мне нужно в палату «Д».

Девушка протянула лениво:

— Нужно?

— Да. Если разрешите прервать вашу работу...

— Ничего, прерывайте. Проклятая старшая сестра поставила меня скрести полы (а нам *вовсе не полагается* мыть полы), потому что поймала меня с папиросой. Она — старая карга. Если она увидит младенца, вроде вас, разгуливающего здесь без дела, она возьмет вас за ухо и выведет вон.

— Вам, любезная девица, быть может, интересно будет узнать...

— Ого! «Любезная девица, быть может»... Звучит совсем как у старого учителя в нашем городке.

Ее небрежная веселость, ее манера обращаться с ним так, точно они двое ребят на вокзале, показывающие друг другу язык, весьма не понравилась серьезному молодому ассистенту профессора Готлиба.

— Я доктор Эроусмит,— зарычал он,— и, по моим сведениям, даже практикантов учат, что первый долг сиделки — встать, когда она говорит с врачом. Я хочу пройти в палату «Д» и получить — да будет вам известно — штамм одного очень опасного микроба, и если вы будете любезны указать мне...

— Ай-ай-ай, опять проштрафилась! Видно, мне не привыкнуть к военной дисциплине. Хорошо. Так и быть, встану.— Она выпрямилась. Каждое ее движение было стремительно-ровным, как бег кошки.— Пойдите назад, поверните направо, потом налево. Извините, если я вам надерзила. Но посмотрели бы вы на этих хрычей-докторов, которым сиделки обязаны угождать... По совести, доктор — если только вы в самом деле доктор...

— Не вижу надобности доказывать это вам,— взъярился Мартин и зашагал прочь.

Всю дорогу до палаты «Д» он кипел бешенством на скрытое издевательство девушки. Он выдающийся ученый, не оскорбительно разве, что он вынужден сносить дерзости от практикантки — самой рядовой практикантки, худенькой и невоспитанной девчонки, очевидно из Западных штатов. Он повторял свое возражение: «Не вижу надобности доказывать это вам». Он гордился, что проявил такое высокомерие. Он рисовал себе, как расскажет об этом Маделине и добавит в заключение: «Я ей только сказал спокойно: «Уважаемая, не вам же я буду объяснять цель моего посещения»,— сказал, и она свяла».

Но образ ее не увядал; пока Мартин разыскивал врача-стажера, который должен был ему помочь, и брал у больного спинномозговую жидкость,— девушка стояла перед ним, дразнящая, упря-

мая. Нужно было увидеть ее еще раз и впушить ей... «Не родился еще тот человек, который мог бы безнаказанно оскорблять меня!» — сказал скромный молодой ученый.

Он примчался назад к ее палате, и они уставились друг на друга прежде, чем Мартин сообразил, что не подготовил сокрушающих слов, которые должен был сказать ей. Бросив щетку, она встала с полу. Сняла чепец, и волосы оказались у нее шелковистые, медового цвета, глаза голубые, лицо детское. Она совсем не была похожа на служанку. Мартин мог представить ее себе бегущей вниз по косогору, взбирающейся на стог соломы.

— Я вовсе не хотела вам нагрубить,— сказала она серьезно.— Я только... От мытья полов у меня характер портится. Я подумала, что вы страшно милый, и простите, если я вас этим задену, но вы показались мне слишком молодым для врача.

— Я не врач. Я студент-медик. Я просто хотел поважничать.

— Я тоже!

Он почувствовал, что между ними мгновенно установились товарищеские отношения, что с ней не нужно все время фехтовать и позировать, как в борьбе с Маделиной. Он знал, что эта девушка одного с ним племени. Пусть она задира, пусть грубовата и несдержанна, но она храбрая, она умеет высмеять бахвальство, она способна на преданность, слишком непосредственную и естественную, чтоб казаться героической. Голос Мартина прозвучал взволнованно, хотя он только сказал:

— Тяжело, верно, учиться на сестру?

— Не так страшно, и романтики в этом ровно столько же, сколько в работе наймички — так зовут в Дакоте служанок.

— А вы родом из Дакоты?

— Я родом из самого предприимчивого города на всю Северную Дакоту — триста шестьдесят два жителя — из Уитсильвании. А вы в университете?

Старшей сестре, пройди она мимо, показалось бы, что молодые люди поглощены больничной работой. Мартин стоял у двери, его собеседница у ведра с водой. Она опять надела чепец; он был ей велик, скрывал ее яркие волосы.

— Да, я на третьем курсе, в Могалисе. Но не знаю... я не настоящий медик. Мне больше нравится лабораторная работа. Я думаю стать бактериологом и разгромить кое-какие дурацкие теории иммунитета. А лечащих врачей я не больно-то ценю.

— Это хорошо. Я здесь насмотрелась. Послушали б вы наших доков, какие они умильные старые кошки со своими больными и как орут на сиделок! А лаборатория... тут как будто что-то настоящее. Не думаю, чтоб можно было водить за нос микроба. Или микробу, как их?

— Нет, они называются... А вас как зовут?
— Меня? Ох, идиотское имя — Леора Тозер.
— Чем же плохо «Леора»? Красивое имя.

Щебет птиц весной, шелест опадающего цвета яблони в непо-движном воздухе, полуночный лай сонных собак,— кто опишет их не сбиваясь на трафарет? Столь же естественным, столь же услов-ным, столь же юношески-неловким, столь же извечно прекрас-ным и подлинным, как эти древние звуки, был разговор Мартина с Леорой в те страстные полчаса, когда они открывали друг в дру-ге часть своего собственного «я», всегда недоставававшую и обретен-ную теперь с радостным изумлением. Они тараторили, как герои и героиня нудного романа, как рабочие потогонной мастерской, как труженики-крестьяне, как принц и принцесса. Слова их, если слу-шать одно за другим, были глупы и пусты, но взятые вместе ста-новились мудры и значительны, как прилив и отлив или шумный ветер.

Он рассказал ей, что преклоняется перед Максом Готлибом, что проезжал на поезде по ее Северной Дакоте и что превосходно играет в хоккей. Она ему рассказала, что «обожает» водевиль, что ее отец, Эндрю Джексон Тозер, родился на Востоке (это у нее означало в Иллинойсе) и что ей не очень по душе ухаживать за больными. У нее нет особо честолюбивых замыслов. Сюда она при-ехала из любви к новизне. С добродушным сожалением намекнула что на дурном счету у старшей сестры, что искренне хочет вести себя хорошо, но как-то всегда нарывается на скандал из-за ночных вылазок и болтовни в постели. Повесть не заключала в себе ничего героического, но от ясного тона, каким девушка ее рассказывала, у Мартина создалось впечатление веселой храбрости.

Он перебил настойчивым:

— Когда вы можете уйти из больницы пообедать? Нынче ве-чером, да?
— Но как же...
— Я вас прошу!
— Хорошо.
— Когда мне за вами зайти?
— Вы думаете, стоит... Ладно, в семь.

Всю дорогу назад в Могалис он то негодовал, то радовался. Объяснил самому себе, что он идиот: совершать длинную поездку в Зенит дважды в день! Припомнил, что помолвлен с девицей по имени Маделина Фокс; тревожился вопросом верности; утверж-дал, что Леора Тозер и сиделка-то липовая, что она безграмотна, как судомойка, и нагла, как мальчишка-газетчик; он решил — не-сколько раз решал — позвонить ей по телефону и отменить при-глашение.

Он явился в больницу без четверти семь.

Ему пришлось ожидать двадцать минут в приемной, похожей на похоронное бюро. Он был в ужасе. Зачем он здесь? Будет, верно, истинной пыткой проскучать весь этот нескончаемый обед. Да узнает ли он ее в обычном-то наряде? Вдруг он вскочил. Она стояла в дверях. Скучный синий мундир исчез; она была детски изящна и легка в платье princesse, дававшем одну цельную линию от высокого воротничка и юной, чуть выпуклой, груди до кончика башмака. Казалось вполне естественным, выходя с нею из клиники, локтем прижать ее руку. Она шла рядом с ним мелким приплясывающим шажком, более робкая теперь, чем утром, когда работа придавала ей самоуверенности, но глядела на него доверчиво снизу вверх.

— Рады, что я пришел? — спросил он.

Она подумала. У нее была манера важно думать над ясными вещами; и важно (но не с тяжелой важностью политика или начальника конторы, а с важностью ребенка) подтвердила:

— Да, я рада. Я боялась, что вы, когда ушли, обиделись на меня за мою дерзость, и мне хотелось извиниться перед вами и... Мне понравилось, что вы так помешаны на своей бактериологии. Я, пожалуй, тоже немного сумасшедшая. Здешние стажеры — они вечно пристают, но они такие... такие надутые: новенькие стетоскопы, с иголочки новенькое достоинство. Уфф!..— И еще важнее добавила: — О да, я рада, что вы приехали... Я дура, что в этом сознаюсь?

— Вы страшно милая, что сознаетесь.— Рядом с нею у него слегка кружилась голова. Он крепче прижал локтем ее руку.

— Но вы не подумаете, что я каждому студенту и доктору разрешаю ухаживать за собой?

— Леора! А вы не подумаете, что я суюсь ухаживать за каждой хорошенькой девочкой? Мне захотелось... Я как-то почувствовал, что мы с вами можем подружиться. Ведь можем? Можем?

— Не знаю. Увидим. Куда мы пойдем обедать?

— В Гранд-Отель.

— Нет, нет! Там страшно дорого. Разве только, если вы богач. Ведь вы не богач? Нет?

— Нет, не богач. У меня денег только, чтоб кончить курс. Но я хочу...

— Пойдем в «Бижу». Там хорошо и недорого.

Ему припомнилось, как часто Маделина Фокс намекала, что недурно было бы сходить в Гранд-Отель, самый шикарный ресторан в Зените, но больше он в тот вечер не думал о Маделине. Он был поглощен Леорой. Он находил в ней непосредственность, сво-

боду от предрассудков, прямоту, поразительные в дочери Эндрю Джексона Тозера. Она была женственна, но нетребовательна; никого не стремилась исправлять, и редко что-нибудь ее шокировало; не была ни кокетлива, ни холодна. Он встретил в ней поистине первую девушку, с которой говорил без стеснения. Вряд ли Леоре представился случай сказать что-нибудь самой, ибо Мартин выкладывал ей все, что мог рассказать сокровенного ученик Готлиба. Для Маделины Готлиб был вредный старик, высмеивающий святость брака и белых лилий, для Клифа он был скучный профессор; Леора же загоралась, когда Мартин стучал по столу, повторяя слова своего кумира: «До настоящего времени большинство исследований — даже у Эрлиха — сводятся преимущественно к пробе и ошибке, строятся на эмпирическом методе, противоположном научному; научный метод стремится установить общий закон, управляющий группой явлений, так, чтобы можно было предсказать, что произойдет».

Он произнес это с благоговением, пристально, почти свирепо глядя на Леору через стол. Он упорствовал:

— Теперь вы видите, как он опередил не только врачей-коммерсантов, но и всех этих мелочных, машинного производства исследователей, копошащихся в куче навоза? Понимаете ли, что он такое? Понимаете?

— Да, кажется, понимаю. Во всяком случае, мне понятен ваш восторг перед ним. Но, пожалуйста, не запугивайте меня!

— Я вас запугал? Я вовсе этого не хотел. Но когда я подумаю, как эти проклятые профы большей частью даже не знают, чего он добивается...

Мартин опять сорвался с цепи, и Леора, если и не совсем понимала соотношение между синтезом антител и работами Аррениуса, все же слушала Мартина с радостным сочувствием его пылу, ни разу не вставив мягкого назидательного замечания в духе Маделины Фокс.

Ей пришлось предупредить его, что к десяти ей нужно вернуться в больницу.

— Я слишком много говорю! Боже мой, надеюсь, я вам не надоел? — выпалил он.

— Мне было интересно.

— Я тут пустился в технические тонкости и так расшумелся... Ох, и болван же я!

— Я рада, что вы мне доверяете. Я не «серьезная» и совсем неразвитая, но я очень люблю, когда мужчины считают меня достаточно умной, чтобы рассказывать мне, о чем они в действительности думают и... Спокойной ночи!

За две недели они дважды обедали вместе, и только дважды за это время Мартин виделся со своей законной невестой Маделиной, хоть она не раз звонила ему по телефону.

Он узнал обстановку, в которой выросла Леора. Прикованная к постели двоюродная бабушка в Зените послужила оправданием, почему Леора отправилась учиться уходу за больными в такую даль. Поселок Уитсильвания, в Северной Дакоте, состоит из одной улицы — дома в два ряда, в конце красные элеваторы. Отец Леоры, Эндрю Джексон Тозер,— владелец банка, маслобойни и элеватора, а посему первое лицо в городе; неукоснительно посещает по средам вечерние молитвенные собрания, ругается из-за каждого гроша, который выдает Леоре или ее матери. Берт Тозер, брат,— беличьи зубы, золотая цепочка от пенсне, закинутая за ухо; изображает собою главного бухгалтера и весь прочий штат в отцовском банке, занимающем одну комнату. При церкви Единого братства — ужины с холодной курятиной и кофе; фермеры — немцы-лютеране, распевающие древние тевтонские гимны, голландцы, чехи и поляки. А вокруг поселка волнуется пшеница под сводом грозовых облаков. И Мартин видел Леору — странную девочку, чужую в своей семье: она довольно послушно исполняет скучную домашнюю работу, но затаила веру, что встретит когда-нибудь юношу, с которым увидит весь многоцветный мир — пускай в опасностях, пускай в нужде.

Когда она заканчивала робкую попытку приоткрыть перед ним свое детство, у Мартина вырвалось:

— Дорогая, вам незачем рассказывать мне о себе. Я вас знал всегда. Я вас ни за что не отпущу. Вы выйдете за меня замуж...

Это было сказано с крепким пожатием рук, с признанием в глазах, среди ресторанного шума. Первые слова Леоры были:

— Мне хочется звать вас Рыжик. Почему? Не знаю. Ничего рыжего в вас нет, но все-таки для меня вы немножко рыжий и... Мой дорогой, мне с вами так хорошо!

Мартин вернулся домой женихом двух невест.

4

На следующее утро он обещал зайти к Маделине.

По всем канонам благопорядочного поведения ему полагалось чувствовать себя подлецом и собакой; но как он ни старался, как ни внушал себе, что должен чувствовать себя подлецом и собакой, ему это не удавалось. Он думал об аффектированной восторженности Маделины, о ее провансальском «плезансе» и о томиках стихов в мягких кожаных переплетах, по которым она любовно посту-

кивала пальцами; о галстуке, который она ему купила, и о том, как она гордилась его волосами, когда он зачесывал их, точно лощеный герой с картинки в журнале мод. Он горевал, что согрешил против верности. Но его сомнения разбивались о прочность его союза с Леорой. Их товарищеская дружба освобождала его душу. Даже и тогда, когда он, защищая Маделину, выдвигал встречный иск и утверждал, что Леора — простая девчонка, которая дома, вероятно, жует резину и показывается на людях с грязными ногтями, ее обыденность была дорога той обыденности, что жила в нем самом, крепкая, как честолюбие или благочестие — земная основа и ее веселости, и его напряженной научной любознательности.

В этот роковой день в лаборатории он был рассеян. Готлибу дважды пришлось повторить свой вопрос, приготовил ли он новую партию питательной среды, а Готлиб был самодержец, более суровый к своим любимцам, чем к рядовым студентам. Он рявкнул:

— Эроусмит, вы родились кретином! Господи, неужели я должен прожить всю жизнь mit Dummköpfen. Я не могу быть всегда одинок, Мартин! Вы хотите мне изменить? Вот уже два или три дня вы невнимательны к работе.

Мартин, уходя, бормотал:

— Я люблю этого человека!

В путаных мыслях своих он ставил Маделине в счет ее претензии, придирчивость, эгоизм, ее замаскированное невежество. Он взвинчивал себя до ощущения правоты, и тогда для него становилось отрадно-очевидным, что он должен покинуть Маделину в порядке решительного протеста. Он пошел к ней вечером, приготовившись встретить взрывом первую ее жалобу, простить ей в конце концов, но расторгнуть их взаимное обязательство и снова сделать свою жизнь простой и ясной.

Маделина не пожаловалась.

Она подлетела к нему:

— Дорогой, вы так утомлены — у вас усталые глаза. Вы, верно, отчаянно заработались? Я так жалела, что вы не могли забежать ко мне на этой неделе! Дорогой, вы не должны себя губить. Подумайте, сколько лет у вас впереди для блестящих работ. Нет, не говорите. Я хочу, чтобы вы отдохнули. Мама ушла в кино. Садитесь здесь. Смотрите, как я вас уютно устрою среди подушечек. Откиньтесь на спину, можете соснуть, если хотите, а я почитаю вам «Золотой черепок». Вам понравится эта вещь!

Он решил, что вещь ему совсем не понравится; и так как он, очевидно, был лишен чувства юмора, вряд ли он ее оценил, но она его будоражила своим своеобразием. Голос Маделины звучал резко и крикливо после ленивой мягкости Леориного голоса, но она читала так старательно, что Мартину стало до боли стыдно своего

намерения обидеть ее. Он видел, что при всей своей претенциозности она в сущности ребенок, а решительная и бесстрашная Леора — взрослый человек, хозяйка реального мира. Упреки, с которыми он собирался на нее обрушиться, были забыты.

Вдруг она подсела к нему, стала плакаться:

— Я так скучала по вас всю неделю.

Итак, он был изменником в отношении обеих. Леора нестерпимо возбуждала его; и на деле ласкал он сейчас Леору; но голод его обратился на Маделину, и когда она лепетала: «Я так рада, что вам здесь хорошо»,— он не мог сказать в ответ ни слова. Ему хотелось говорить о Леоре, кричать о Леоре, ликовать о ней, о своей женщине. Он выдавил из себя лишь несколько неопровержимых, но бесстрастных комплиментов; он сказал, что Маделина красивая молодая женщина и сильна в английской словесности. В десять часов он ушел, изумив и разочаровав ее своей холодностью. Ему удалось, наконец, в полной мере почувствовать себя подлецом и собакой.

Он поспешил к Клифу Клосону.

Он ничего не говорил Клифу о Леоре: не желал выслушивать насмешки Клифа. Он похвалил себя за то, как спокойно вошел в их общую комнату. Клиф сидел на пояснице, задрав босые ноги на письменный стол, и читал Шерлока Холмса, которого положил на толстенный том Ослеровой «Медицины», чтобы обмануть самого себя.

— Клиф, нужно выпить! Устал. Заглянем к Барни, может чего раздобудем.

— Ты говоришь, как человек, обладающий языком и умеющий включить его на должную скорость при помощи ромбенцефала, который состоит из мозжечка и продолговатого мозга.

— Ох, брось ты умничать! Я сегодня злой.

— Ага, мальчик поссорился со своей милой чистой Маделиной! Она обидела бедняжку Мартикинса? Отлично. Не буду. Идем. Да здравствует выпивка!

По дороге Клиф рассказал три новых анекдота о профессоре Робертшо, все три непристойные, два из трех явно выдуманные, и почти развеселил Мартина.

У Барни играли на бильярде, продавали табак и, так как в Могалисе местными властями был введен сухой закон, потихоньку торговали спиртным. Барни протянул Клифу волосатую руку, и они обменялись приветствиями в высоком стиле:

— Да снизойдет на вас, Барни, вечерняя благодать. И да функционирует безупречно ваша кровеносная система, в частности дорсально-кистевая ветвь локтевой артерии, во здравие которой я и мой коллега, доктор медицины, профессор Эгберт Эроусмит, охотно

осушили бы бутылочку-другую вашего достославного клубничного морсу.

— Здорово, Клиф! У вас не рот, а прямо музыкальный ящик. Если мне придется ампутировать руку, когда вы станете доком, я обращусь к вам, и вы мне ее заговорите. Клубничного морсу, джентльмены?

Первая комната у Барни являла собою импрессионистское полотно, на котором были хаотически нагромождены бильярдный стол, кучки папирос, плитки шоколада, колоды карт и розовые листки спортивных газет. В задней комнате было проще: ящики сладкой газированной воды со странным привкусом; большой ледник, два столика и подле них ломаные стулья. Из бутылок с явственной этикеткой имбирного пива Барни наполнил две стопки крепким и очень забористым виски, и Клиф с Мартином понесли их к угловому столику. Подействовало быстро. Смутная печаль Мартина перешла в оптимизм. Он заявил Клифу, что собирается написать книгу, разоблачающую идеализм, подразумевая под этим, что намерен сделать что-нибудь толковое со своей двойной помолвкой. Придумал! Он пригласит Леору и Маделину вместе на завтрак, скажет им правду и увидит, которая из них его любит. Он крякнул и спросил еще стопку; назвал Клифа прекрасным парнем, а Барни благодетелем общества и нетвердой поступью направился к телефону, поставленному в будке, чтоб не подслушивали.

Соединившись с Зенитской больницей, он вызвал ночного дежурного, а ночной дежурный был человеком холодным и подозрительным:

— Сейчас не время звать к телефону практикантов! Половина двенадцатого! Кто вы такой?

Мартин подавил просившееся на язык «так я вам и сказал, кто я такой!» и объяснил, что говорит от больной Леориной бабушки, что бедная старушка совсем плоха, и если ночной дежурный не хочет взять на свою совесть убийство неповинной гражданки...

Когда Леора взяла трубку, он сказал быстро и теперь уже трезво, с таким чувством, точно от наседающих с угрозами незнакомцев укрылся в спасительную сень ее близости.

— Леора? Говорит Рыжик. Завтра, в половине первого, ждите меня в вестибюле Гранда. Обязательно! Очень важно! Как-нибудь уладьте — заболела бабушка.

— Отлично, дорогой. Спокойной ночи,— вот и все, что она сказала.

Из квартиры Маделины долго не отвечали, затем прозвучал голос миссис Фокс, сонный, дребезжащий:

— Да, да?

— Это Мартин.

— Кто? Кто? Кого? Вам квартиру Фокс?

— Да, да! Миссис Фокс, говорит Мартин Эроусмит.

— Ах, ах, здравствуйте, мой милый! Звонок разбудил меня, я спросонья и не разобрала, что вы говорите. Я так испугалась. Я подумала, что телеграмма или что-нибудь такое. Подумала, не стряслось ли чего с Маддиным братом. В чем дело, милый? Ох, надеюсь, ничего не случилось?

Ее доверие к нему, привязанность этой старой женщины, вырванной из родной земли и заброшенной в чужие края, сломили Мартина; он утратил все свое пьяное самодовольство и в унынии, чувствуя, как снова ложится на плечи тяжесть жизни, вздохнул: нет, ничего не случилось, но он забыл сказать Маделине кое-что и... он п-п-просит извинения за поздний звонок, но нельзя ли ему поговорить сейчас же с Мад.

Маделина заворковала:

— Марти, дорогой, в чем дело? Ничего, надеюсь, не случилось? Дорогой, вы же только что были здесь.

— Послушайте, д-дорогая. Забыл вам сказать. У меня... у меня в Зените есть большой друг, с которым я хочу вас познакомить...

— Кто он такой?

— Завтра увидите. Послушайте, я хочу съездить с вами в Зенит, чтоб вы встретились... встретились за завтраком. Я думаю,— добавил он с тяжеловесной игривостью,— я думаю задать вам шикарный завтрак в Гранде!..

— Ах, как мило!

— ...Так вот, давайте встретимся у пригородного в одиннадцать сорок, в Колледж-сквере. Можете?

Неотчетливое:

— Ах, я бы рада, но... у меня в одиннадцать семинар, я б не хотела его пропустить, и я обещала Мэй Гармон походить с нею по магазинам — она ищет туфли к розовому крепдешиновому платью, но чтоб годились и для улицы, и мы предполагали позавтракать, может быть, в Колледж-Караван-сарае, и я, собственно, собиралась пойти в кино с нею или с кем-нибудь еще... мама говорит, что новый фильм об Аляске просто шик, она смотрела его сегодня, и я думала сходить на него, пока не сняли, хотя, по совести, мне следовало бы вернуться прямо домой, сесть заниматься и никуда вообще не ходить...

— Маделина, послушайте! Это важно. Вы мне не верите? Поедете вы или нет?

— Да нет, конечно, я вам верю, дорогой. Хорошо, я постараюсь быть. В одиннадцать сорок?

— Да.

— В Колледж-сквере? Или у книжной лавки Блутмана?

— В *Колледж-сквере!*

Ее нежное «я вам верю» и неохотное «постараюсь» спорили в ушах Мартина, когда он, выбравшись из душной будки, возвращался к Клифу.

— Ну, какая стряслась беда? — гадал Клиф.— Жена скончалась? Или Гиганты победили в девятом туре? Наш ночной герой глядит трупом в прозекторской. Барни! Подбавьте ему клубничной водички, живо! Послушайте, доктор, не вызвать ли врача?

— Ох, заткнись ты! — вот и все, что Мартин нашелся сказать, да и то не очень убежденно. До своих переговоров по телефону он искрился весельем; он хвалил искусство Клифа в игре на бильярде и называл Барни «старым cimex lectularius» [1], но теперь, пока верный Клиф хлопотал над ним, он сидел, погруженный в раздумье, и только раз (при новой вспышке довольства собой) пробурчал:

— Если бы ты знал, какие свалились на меня напасти, в какую собачью передрягу я попал, ты бы сам загрустил.

Клиф встревожился.

— Слушай ты, старый хрыч. Если ты залез в долги, я как-нибудь наскребу монету. Или ты... зашел слишком далеко с Маделиной?

— Отстань! Вечно ты с грязными мыслями. Я недостоин прикоснуться к руке Маделины. Я смотрю на нее только с уважением.

— Черта с два — уважение! Но раз ты говоришь, значит, так. Уф! Хотел бы я хоть что-нибудь сделать для тебя. Ну, выпей еще стопку! Барни! Живо!

Несколько стопок накалили Мартина до состояния туманной беспечности, и Клиф заботливо потащил его домой, после того как он изъявил желание вступить в бой с тремя плечистыми филологами второго курса. Но наутро у него отчаянно болела голова, и он помнил только одно — что ему предстоит встретиться за завтраком с Леорой и Маделиной.

5

Полчаса езды в Зенит вдвоем с Маделиной показались Мартину чем-то видимым и гнетущим, как грозовая туча. Он должен был пережить не только каждую минуту по мере их наступления — все жестокие тридцать минут нависли одновременно. Готовясь преподнести через две минуты тактичное замечание, он еще слышал свои неловкие слова, сказанные двумя минутами раньше. Он си-

[1] Постельный клоп *(лат.)*.

лился отвести внимание спутницы от своего «большого друга», с которым им предстояло встретиться. Глупо ухмыляясь, он описывал вечер у Барни; безуспешно старался быть забавным; и когда Маделина стала читать ему нотацию о вреде спиртных напитков и общения с безнравственными личностями, у него даже отлегло от сердца. Но сбить ее он не мог.

— Кто он, этот человек, с которым мы должны увидеться? Почему такая загадочность? О Мартикинс, вы меня хотите разыграть? Может быть, мы вовсе ни с кем не увидимся? Вы просто хотели избавиться на время от мамы и покутить со мной в Гранд-Отеле? Ах, как это приятно! Мне давно хотелось позавтракать как-нибудь в Гранде. Конечно, я считаю, что там безвкусица порядочная — слишком накручено,— но все-таки импозантно и... Я угадала, милый?

— Нет, там нас кто-то... ну, словом, мы, правда, встретимся там с кем-то!..

— Почему же тогда вы не говорите мне, кто он? Право, Март, мое терпение иссякло.

— Хорошо, я вам скажу. Это не он, это она.

— О!

— Это... Вы знаете, мне по моей работе приходится иметь дело с больницами, и некоторые сиделки в зенитской клинике оказали мне большую помощь.— У него сперло дыхание. Глаза болели. Пытка предстоящего завтрака была все равно неизбежна, так к чему, рассуждал он, уклоняться от наказания? — В особенности одна: не сиделка, а просто чудо. У нее столько знаний по уходу за больными; она дает мне массу полезных советов, и она, по-видимому, хорошая девушка, зовут ее мисс Тозер, а по имени, кажется, Ли или что-то в этом роде... и она такая... ее отец видный человек в Северной Дакоте, страшно богатый... крупный банкир... она, я думаю, занялась уходом за больными, просто чтобы внести свою лепту в труд человечества.— Ему удалось принять свойственный самой Маделине выспренно-поэтический тон.— Я подумал, что вы должны друг другу понравиться. Помните, вы жаловались, как мало в Могалисе девушек, которые действительно ценили бы... ценили бы идеалы.

— Д-да-а.— Маделина неподвижным взглядом смотрела вдаль, и то, что она там видела, ей не нравилось.— Я, конечно, буду очень рада познакомиться с нею. Как и со всяким вашим другом... Ах, Март! Вы, надеюсь, за нею не ухаживаете? Я надеюсь, Март, ваша дружба со всеми этими сиделками и сестрами не заходит чересчур далеко? Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но постоянно приходится слышать, что иные из них прямо-таки гоняются за мужчинами.

— Так вот, разрешите сказать вам, что Леора не из таких.

— Конечно, я не сомневаюсь, но... О Мартикинс, вы не будете дурачком и не позволите этим сиделкам попросту забавляться вами? Я говорю это ради вашей же пользы. Они такие опытные. Бедная Маделина, ей нельзя слоняться по мужским палатам и... набираться разных знаний, а вы, Март, вы считаете себя психологом, но, по чести сказать, любая бойкая девчонка может обвести вас вокруг пальца.

— Ну, знаете, я могу сам о себе нозаботиться!

— Ах, я только думала... я вовсе не думала, что... Я надеюсь, ваша Тозерша... Я уверена, что она мне понравится, раз она нравится вам, но... Ведь я — ваша истинная любовь, не правда ли? Навсегда!

Маделина, благовоспитанная Маделина, не считаясь с пассажирами, стиснула его руку. Она явно была так испугана, что его раздражение от ее слов о Леоре перешло в боль. Случайно Маделина сильно вжала большой палец ему в ладонь. Стараясь придать лицу выражение нежности, он заметался:

— Конечно... конечно... но, право же, Мадди, будьте осторожней. Этот старый балбес, что сидит там у окна, не сводит с нас глаз.

За все измены, какие он мог совершить в будущем, он был в полной мере наказан еще до того, как вошел с Маделиной в Гранд-Отель.

Гранд-Отель в 1907 году был лучшей гостиницей в Зените. Коммивояжеры сравнивали его с Паркер-хаузом, с Палмер-хаузом, с Вест-Отелем. Впоследствии его посрамил своею высокомерной скромностью отель «Торнлей»; теперь его мраморные в шашку полы грязны, пышная позолота потускнела, тяжелые кожаные кресла протерты до дыр, обсыпаны пеплом сигар, заняты барышниками. Но в свое время это была самая гордая гостиница от Чикаго до Питтсбурга, восточный дворец: вход осенен кирпичной кладки мавританскими арками; в вестибюле над черно-белым мрамором пола повисли в семь этажей золоченые балконы, подбираясь к зелено-розово-жемчужно-янтарной стеклянной крыше.

Мартин и Маделина застали Леору в вестибюле; она сидела, крошечная, на громадном, охватившем колонну диване. В спокойном ожидании глядела она на Маделину. Мартин заметил, что одета Леора прямо-таки неряшливо. Для него было неважно, что ее медвяные волосы неуклюже подобраны под черную шляпку (не шляпка, а какой-то бесформенный гриб), но он с огорчением отметил контраст между одеждой Леоры — ее блузкой, на которой не хватало третьей пуговицы, клетчатой юбкой, ее злополучным светло-коричневым болеро — и строгим синим костюмом Маделины.

Огорчение было направлено не против Леоры. Когда он сравнивал их обеих (не надменно, как разборчивый высокомерный мужчина, а тревожно), Маделина сильней, чем когда-либо, раздражала его. То, что она пришла лучше одетая, казалось ему оскорблением. Нежность его стремилась встать на защиту Леоры, окутать ее, заслонить от врага.

Он между тем бубнил:

— ...Я подумал, хорошо бы вам, девочки, познакомиться... Мисс Фокс, позвольте вам представить мисс Тозер. Мне пришло на ум ознаменовать... Дураку привалило счастье найти двух цариц Савских...

А про себя: «Фу ты, дьявол!»

Пока они бормотали друг дружке ничего не значащие слова, он их потащил в знаменитый ресторан Гранд-Отеля. Здесь полно было золоченых канделябров, красных плюшевых стульев, тяжелого серебра и старых негров-официантов в зеленых, шитых золотом жилетах. Вдоль стен тянулись изысканные виды Помпеи, Венеции, озера Комо и Версаля.

— Шикарный зал! — прощебетала Леора.

Маделина, судя по ее лицу, собиралась сказать то же самое, только пространнее, но, вторично обведя глазами фрески, она изрекла:

— Он очень большой, но...

Мартин в лихорадке заказывал завтрак. Он ассигновал на оргию четыре доллара (вместе с чаевыми) и считал для себя делом чести истратить все четыре доллара до последнего цента. Пока он гадал про себя, что за штука «пюре сен-жермен», а стервец-официант стоял невозмутимо за его спиною, Маделина сделала первый выпад. С леденящей вежливостью она начала нараспев:

— Мистер Эроусмит говорил мне, что вы — больничная сиделка, мисс... Тозер.

— Да, вроде того.

— Вы находите это интересным?

— Понятно... да... Мне интересно.

— Я полагаю, это должно быть замечательно — облегчать страдания. Конечно, моя работа — я готовлюсь к получению диплома преподавательницы английской словесности (у нее это прозвучало так, точно она готовилась к получению графского титула) — моя работа довольно сухая, оторванная от жизни. Мне приходится изучать законы развития языка и так далее, и тому подобное. Вам, с вашим практическим подходом к вещам, вам, я полагаю, это должно казаться довольно глупым.

— Да, это должно быть... нет... почему же, это, верно, очень интересно.

— Вы родом из Зенита, мисс... Тозер?

— Нет, я родом из... из одного городка. Его едва ли можно назвать городком... В Северной Дакоте.

— О, в Северной Дакоте!

— Да... далеко на Западе.

— Так... И долго вы собираетесь прожить на Востоке?

В точности такую фразу сказала однажды Маделине одна ее нью-йоркская кузина, крайне ядовитая.

— Да нет, я не... Да, я думаю пожить здесь довольно долго.

— И вам, гм, вам здесь нравится?

— О да, здесь очень недурно. Я люблю большие города... Тут много видишь.

— Большие? Ну, это, я полагаю, зависит от точки зрения, вы не находите? Большим городом я привыкла считать Нью-Йорк, но... Конечно... Вам, верно, кажется интересным контраст между Зенитом и Северной Дакотой?

— Да, конечно, они совсем непохожи.

— Расскажите мне про Северную Дакоту — какая она? Меня всегда занимали эти Западные штаты. (Это тоже было заимствовано у кузины.) Какое у вас общее впечатление от нее?

— Я что-то не совсем вас понимаю.

— Я спрашиваю про общий эффект... Про впечатление.

— Ага... Много пшеницы и много шведов.

— Но я имела в виду... Мне кажется, вы там все страшно мужественны и энергичны по сравнению с нами, с жителями Востока.

— Не думаю. А впрочем, пожалуй, верно.

— Много у вас в Зените знакомых?

— Нет, не так уж много.

— Знакомы вы с доктором Берчелом, который оперирует в вашей больнице? Он милейший человек; и не только хороший хирург, но вообще страшно талантлив. Он поет из-зумительно, и он из очень хорошей семьи.

— Нет, я как будто вовсе его не знаю,— брякнула Леора.

— О, вы должны с ним познакомиться. Он к тому же здорово... превосходно играет в теннис. Его всегда приглашают на стильные матчи на Ройял-ридж, где участвуют разные миллионеры. Страшно интересный человек.

Тут Мартин впервые попробовал вставить слово:

— Интересный? Он? Да у него ума ни на грош.

— Дитя мое, я сказала «интересный» совсем в другом смысле!

Мартин притих, беспомощный и одинокий, и она опять накинулась на Леору и все более бойко выспрашивала, знакома ли та с таким-то — сыном юрисконсульта такой-то корпорации — и с та-

кой-то знаменитой начинающей актрисой, знает ли она такой-то шляпный магазин и такой-то клуб. Она развязно называла имена столпов зенитского общества, имена, которые склоняются ежедневно в светской хронике газеты «Адвокат-таймс»,— Каукс, Ван-Энтрим, Додсворт. Мартина удивила эта развязность; он припомнил, что Маделина была однажды в Зените на благотворительном балу, но он не знал, что она так близка со знатью. Конечно, Леора — о, ужас! — о них и не слыхивала. Леора никогда не посещала концертов, лекций, литературных чтений, на которых Маделина, по-видимому, проводила все свои блистательные вечера.

Маделина пожала слегка плечами, уронила:

— Так... Конечно, у себя в больнице вы встречаете столько очаровательных врачей и всяких там ученых, что вам, я полагаю, лекции должны казаться страшно нудными. Так...— Она отпустила Леору и покровительственно взглянула на Мартина: — Ну как, вы думаете продолжать работу по... как это там... над кроликами?

Мартин озлился. Теперь он был в состоянии сразу, не раздумывая, сделать то, что надо:

— Маделина! Я свел вас обеих, потому что... не знаю, подружитесь вы или нет, но мне бы этого хотелось, потому что я... Я не ищу для себя оправданий. Это вышло само собою. Я помолвлен с вами обеими, и я хочу знать...

Маделина вскочила. Никогда еще она не выглядела такой гордой и красивой. Она смерила их взглядом и, не сказав ни слова, пошла прочь. Потом вернулась, положила кончики пальцев Леоре на плечо и спокойно поцеловала ее:

— Дорогая, мне жаль вас. Вам выпала тяжелая участь! Бедное дитя! — И пошла, расправив плечи, к выходу.

Мартин сидел напуганный, сгорбившийся и не смел взглянуть на Леору.

Он почувствовал ее ладонь на своей руке. Он поднял глаза. Она улыбалась тихо, немного насмешливо.

— Рыжик, предупреждаю, что я от тебя никогда не откажусь. Пусть ты такой скверный, как она уверяет, пусть я дура, наглая девчонка. Но ты — мой! Предупреждаю, ничего у тебя не выйдет, если ты опять попробуешь завести новую невесту. Я ей вырву глаза! И не воображай о себе лишнего! Ты, по-моему, изрядный эгоист. Но все равно. Ты мой!

Он срывающимся голосом сказал ей много слов, великолепных в своей обыденности.

А Леора говорила раздумчиво:

— Я чувствую, что мы с тобою ближе друг другу, чем ты и она. Может быть, я потому и нравлюсь тебе больше, что мною ты можешь командовать, я тянусь за тобою, а она никогда не стала

бы. И я знаю, что твоя работа для тебя дороже меня, дороже, может быть, самого себя. Но я глупая и заурядная, а она нет. Я попросту восхищаюсь тобою (бог весть почему, но восхищаюсь), между тем как у нее хватает ума заставить тебя восхищаться ею и тянуться за ней.

— Нет! Клянусь тебе, дело не в том, что я могу тобою командовать, Леора! Клянусь тебе, не в том — мне кажется, это не так. Дорогая, не надо, *не надо* думать, что она умнее тебя. У нее ловко подвешен язык, но... Ах, не стоит говорить! Я нашел тебя! Жизнь моя началась!

ГЛАВА VII

1

Разница между отношениями Мартина с Маделиной и с Леорой была подобна разнице между волнующим поединком и светлой дружбой. С первого же вечера и он и Леора положились на взаимную верность и любовь, и в некоторых отношениях его жизнь определилась раз навсегда. Все же, как ни был он поглощен Леорой, это не приводило его к застою. Он делал все новые и новые открытия о жизненных наблюдениях, которые она таила в своей головке, когда, молча ему улыбаясь, покуривала папиросу и пускала кольцами дым. Его тянуло к девушке по имени Леора; она его возбуждала и с веселой откровенной страстью отвечала ему; но другой, бесполой Леоре, он говорил все — честнее, чем Готлибу или самому себе, измученному сомнениями; и ее мальчишеский кивок или случайное слово побуждали его крепче верить в свое растущее честолюбие, в свою требовательность к другим.

2

Братство Дигамма Пи давало бал. Из тревожных перешептываний студентов выяснилось, что Уиннемакский университет начинает приобретать мировую известность, а посему они не обманут ожиданий общества и все до одного явятся на бал облаченными в символ респектабельности, именуемый фраком. В одном-единственном знаменательном случае, когда Мартину пришлось надеть фрак, он его взял напрокат из университетских мастерских, но теперь, когда ему предстояло ввести в свет Леору, свою гордость и радость,— теперь он должен был явиться в собственном фраке. Точно старичок со старушкой, поглощенные друг другом и недоверчиво оглядывающие новые, неприветливые улицы города,

где поселились их дети, ставшие чужими, вклинились Мартин и Леора в нарядное великолепие «Бенсона, Хенкли и Коха» — самого надменного универсального магазина в Зените. Леора робела перед блистающими шкафами красного дерева с зеркальными стеклами, перед шапокляками, и глянцевитыми кашне, и кремовыми бриджами. Когда Мартин примерил смокинг и вышел к ней спросить ее одобрения (какими-то деревенскими показались в глубоком вырезе жилета рубашка с отложным воротничком и длинный коричневый галстук) и когда приказчик ушел за воротничками, у Леоры вырвалось:

— Черт возьми, Рыжик, ты для меня чересчур шикарен. Я просто не в состоянии возиться со своими платьями, а ты явишься таким щеголем, что совсем меня затмишь.

Он чуть не расцеловал ее.

Приказчик, вернувшись, заворковал:

— Вот вы сейчас посмотрите, сударыня, и сами скажете, что у вашего мужа очень приличный вид в этом воротничке с отворотиками.

Потом, когда приказчик отошел подобрать галстук, Мартин ее и впрямь поцеловал. Она вздохнула:

— Уфф! Ты из тех, которые многого добьются. Никогда бы не подумала, что мне придется равняться на кавалера в смокинге и в крахмальном воротничке. Ладно, как-нибудь подтянусь.

3

Для бала Дигаммы университетский фехтовальный зал был необычайно разукрашен. Кирпичные стены захлестнуло пестротой флажков, и бумажными хризантемами, и гипсовыми черепами, и деревянными скальпелями в десять футов длиною.

За шесть лет жизни в Могалисе Мартин раз пятнадцать, не больше, побывал на танцах, хотя утонченная щекотка нервов узаконенными объятиями на людях составляла главную прелесть совместного обучения в университете. Когда он привел в зал Леору, робко отважную в синем крепдешиновом платье неопознаваемого стиля, Мартину было безразлично, удастся ли ему сделать хоть один тур тустепа, но зато ему до боли хотелось, чтобы мужчины наперебой приглашали Леору, восторгались ею, оказывали ей внимание. Однако гордость запрещала ему представлять Леору всем и каждому: еще покажется, точно он просит своих друзей потанцевать с его невестой. Они стояли вдвоем под балконом, безрадостно озирая ширь паркета, а мимо них несся, сверкая, поток танцоров, прекрасный, грозный, желанный. Мартин с Леорой уверили

друг друга, что для студенческого бала смокинг с черным жилетом самый подходящий костюм, какой мог предложить установленный Бенсоном, Хенкли и Кохом устав корректной мужской одежды, но при виде упоительных белых жилетов Мартин сразу приуныл, а когда прошел мимо него высокомерный, как борзая, Ангус Дьюер,— эмбрион великого хирурга,— натягивая белые перчатки (самая белая, самая надменно белая вещь на свете), тогда наш герой почувствовал себя деревенщиной.

— Что ж, пойдем, Леора, потанцуем,— сказал он, словно бросая вызов всем Ангусам Дьюерам.

Ему очень хотелось уйти домой.

Танец не доставил ему радости, хотя Леора вальсировала легко и сам он тоже не слишком скверно. Его не радовало даже, что он обнимает Леору. Он не мог поверить, что обнимает ее. Кружась по залу, он видел, что Дьюер присоединился к букету хорошеньких девушек и элегантных женщин, окружавших великолепного доктора Сильву, декана медицинского факультета. Ангус был здесь, по-видимому, до гнусности своим человеком и увлек в вальс самую красивую девушку, скользящий, покачивающийся, стремительный. Мартин пробовал презирать его, как болвана, но вспомнил, что Ангус вчера удостоился избрания в привилегированное братство Сигма Кси.

Он пробрался с Леорой назад к тому самому месту под балконом, где они стояли раньше, в их нору, в единственное надежное убежище. Стараясь говорить в небрежно-развязном тоне, как требовал новый костюм, он в душе проклинал мужчин, которые, смеясь, проходили мимо со своими девицами, не замечая Леору.

— Народу пока маловато,— волновался он.— Скоро все соберутся, и тогда ты натанцуешься вволю.

— Мне и так не скучно.

(Боже, хоть бы кто-нибудь подошел и пригласил бедняжку!)

Он ругал себя за свою непопулярность среди танцоров медицинского факультета. Он жалел, что нет Клифа Клосона — Клиф любил всякого рода сборища, но не мог разориться на фрак или смокинг. Затем, обрадовавшись, точно при виде возлюбленной, Мартин заметил, что к ним приближается Эрвинг Уотерс, этот образец профессиональной нормы. Но Уотерс кивнул и прошел мимо. Трижды Мартин загорался надеждой и разочаровывался, и вот вся гордость его исчезла. Ради Леориного счастья...

«Я ни капли не огорчился бы, если б она пошла танцевать с самым пустым вертопрахом в университете и дала бы мне отставку на весь вечер. Что угодно, лишь бы дать ей повеселиться! Умаслить Дьюера?.. Нет, это единственное, чего я не снес бы: подлизываться к этому гнусному снобу... Или решиться?..»

Пфафф Толстяк, только что явившийся, вкатился в зал. Мартин кинулся к нему с раскрытыми объятиями:

— Хелло! Пфаффи! Ты без дамы? Знакомься с моим другом — мисс Тозер.

В выпуклых глазах Толстяка выразилось одобрение румянцу и янтарным волосам Леоры.

— Оч-чень рад... Начинают новый танец... не окажете ли честь? — пропыхтел он так галантно, что Мартин готов был его расцеловать.

Он и не заметил, как простоял в одиночестве весь танец: прислонился к колонне и радовался. Высокий альтруизм охватил его... Равно не замечал он и девиц, сидевших у стен в ожидании приглашения.

Затем Мартин увидел, как Пфафф представил Леору двум шикарным дигаммовцам, один из которых пригласил ее на следующий танец. После этого она получила приглашений больше, чем могла принять. Мартин поохладел в своем восторге. Ему казалось, что Леора слишком крепко прижимается к своим кавалерам, слишком покорно следует их движениям. После пятого танца он возмутился: «Конечно! Ей-то весело! Некогда даже заметить, что я стою тут один — да, стою и держу, как дурак, ее шарф. Ей-то хорошо! Но я, может быть, и сам не прочь потанцевать... И улыбается до ушей этому балбесу Бриндлу Моргану, рас... рас... распроклятому идиоту... О, мы с вами еще поговорим, сударыня! А эти подлецы из кожи лезут, чтобы отбить ее у меня — единственную, кого я любил и люблю! И только потому, что они лучше меня танцуют и накручивают всякие пошлости... Треклятый оркестр шпарит такой подмывающий мотивчик... А она-то развесила уши на их дешевенькие комплименты и... Да-с, у нас с вами, сударыня, будет еще ласковый разговор!»

Когда она вернулась к нему, осаждаемая тремя распаркивающимися студентами, он буркнул:

— О, ты обо мне не тревожься!

— Ты хочешь получить этот танец? Он, разумеется, за тобой.

Она глядела ему прямо в лицо; она совершенно не владела искусством Маделины сообразовываться в своем поведении с наблюдателями. Через всю напряженную вечность антракта, пока Мартин хмурился, она болтала о паркете, о размерах зала, о своих «шикарных партнерах». Как только грянул снова оркестр, Мартин протянул к ней руки.

— Нет,— сказала она,— мне нужно с тобой поговорить.

Она увела его в угол и напустилась на него:

— Рыжик, в последний раз я терплю, чтобы ты глядел на меня ревнивыми глазами. О, я знаю. Слушай! Если нам оста-

ваться вместе — а так тому и быть,— я буду танцевать со всеми, с кем только вздумаю, и буду с ними дурачиться, сколько вздумаю. Званые обеды и всякая такая штука — на них мне придется скучать. Я не найду, о чем говорить! Но танцы я люблю, и я намерена вести себя в точности так, как мне захочется, и будь у тебя хоть капля мозгов в голове, ты бы знал, что мне наплевать на всех, кроме тебя. Я твоя. Бесповоротно! Какие бы ты ни делал глупости... а ты, вероятно, наделаешь их в жизни пропасть. Так что, если на тебя еще раз найдет охота меня приревновать, отойди в сторонку и прочухайся. Тебе не стыдно?

— Я вовсе не ревновал... Впрочем, нет, ревновал. Ох, это выше моих сил! Я так тебя люблю! Хороша была б моя любовь, если б я никогда тебя не ревновал!

— Отлично. Ревнуй, но про себя. А теперь идем танцевать.

Он был ее рабом.

4

В Уиннемакском университете считалось безнравственным танцевать после двенадцати, и гости в этот час повалили толпой в кафе «Империаль». Обычно оно закрывалось в восемь, но сегодня было открыто до часу ночи и кипело соблазнительным, чуть что не разнузданным весельем. Пфафф Толстяк отплясывал джигу, другой остроумный студент, с салфеткою через руку, изображал официанта, а одна девица (впрочем, навлекшая на себя сильное неодобрение) курила папиросу.

В дверях кафе Мартина и Леору поджидал Клиф Клосон. Он был в своем всегдашнем лоснящемся сером костюме и синей фланелевой рубашке.

Клиф полагал себя авторитетом, которому Мартин должен представлять на суд всех своих друзей. С Леорой он еще не познакомился. Мартин сознался ему в своей двойной помолвке; объяснил, что Леора бесспорно самая милая девушка на свете; но так как он предварительно уже исчерпал все хвалебные эпитеты и все терпение Клифа на славословия Маделине, Клиф его не слушал и приготовился возненавидеть Леору, как новую морализирующую обольстительницу.

Теперь он смерил ее покровительственно-враждебным взглядом. За ее спиною он прокаркал:

— Мила, ничего не скажешь,— просто придраться не к чему!

Когда же они принесли себе из буфета бутербродов, кофе и трехслойный торт, Клиф затарахтел:

— Тэк-с. Весьма великодушно со стороны таких, как вы, щеголей во фраках не гнушаться моим обществом среди всей этой

фешенебельности и этих туалетов. Эх, гнусная получилась штука, что я лишился изысканного наслаждения провести вечер с Ангелом Дьюером и прочей высокой компанией и проиграл до полночи в низменный покер, в котором Папаша ловко выудил круглую сумму в шесть долларов десять центов у банды бездельников и иеху. Ну-с, Леори, полагаю, вы с Мартикинсом уже продебатировали все вопросы о теннисе и... гм... Монте-Карло и так далее.

Леора обладала безграничной способностью принимать людей такими, какие они есть. Покуда Клиф ждал, прищурив глаза, она спокойно обследовала бутерброд с курицей и промычала:

— Угу!

— Молодчага! Я думал, вы, как Март, станете меня отчитывать: «Если ты невежа, то отсюда еще не следует, что этим нужно хвастаться» — и прочая, и прочая.

Клиф превратился в благодушного и необычайно (для него) спокойного товарища. Бывший батрак, бывший агент по распространению книг, бывший механик, он имел так мало денег и такое нестерпимое стремление блистать, что с горя гордился своею бедностью и задирчивостью. Но Леора, сумевшая, как видно, разглядеть его под этой маской бахвальства, полюбилась ему так же быстро, как Мартину, и они совсем развеселились. Мартин проникся благоволением ко всему человечеству, включая Ангуса Дьюера, сидевшего за угловым столом с деканом Сильвой и его блистательными дамами. Сам не зная зачем, Мартин вскочил и зашагал через все кафе. Протянув руку, он провозгласил:

— Ангус, старина, хочу тебя поздравить с принятием в Сигму Кси. Это здорово!

Дьюер смотрел на протянутую руку как на орудие, которое он видел и раньше, но назначения которого не мог припомнить. Он взял ее и осторожно пожал. Он не отвернулся; он был хуже, чем груб, всем своим видом он выражал терпеливую снисходительность.

— Ну, желаю удачи,— сказал нетвердо Мартин. Пыл его сразу простыл.

— Ты очень любезен. Благодарю.

Мартин воротился к Леоре и Клифу рассказать им о происшедшем как о мировой трагедии. Они согласились, что Ангус Дьюер заслуживает пули. Дьюер между тем прошел мимо, следом за компанией декана Сильвы, и кивнул Мартину, который в ответ только прищурил глаза. Он чувствовал себя благородным и сразу повзрослевшим.

Прощаясь, Клиф задержал Леорину руку и проговорил:

— Солнышко мое, я очень ценю Мартина, но одно время я боялся, что старик свяжется с... разными особами, которые пре-

вратят его в светского лоботряса. Я сам лоботряс. Я смыслю в медицине меньше, чем профессор Робертшо. Но в этом младенце еще осталась капля совести, и я так чертовски рад, что он подыскал себе сто́ящую девушку, и... Эх, видите, как у меня нескладно получается! Но позвольте сказать вам одно: надеюсь, вы не обидитесь, если дядя Клиф объявит вам, что вы ему, ей-богу, нравитесь.

Было около четырех, когда Мартин, проводив Леору, пришел домой и завалился на кровать. Спать он не мог. Заносчивость Ангуса Дьюера возмущала, как оскорбление ему, Эроусмиту, и как косвенное оскорбление Леоре, но его мальчишеская ярость перешла в угрюмую тревогу. Что, если Дьюеру, при всем его снобизме и поверхностности, отпущено нечто такое, чего он, Эроусмит, лишен? И Клиф с его пудным юмором, с разговором в стиле фермера из водевиля, с его готовностью видеть в хороших манерах одно позерство,— не слишком ли он легко смотрит на жизнь? И не ясно ли, что Дьюер умеет зато владеть и управлять своим маленьким упрямым мозгом? Не существует ли техника манер, как существует техника эксперимента?.. Готлибовская гибкая техника профессионала в противовес неловким пухлым рукам Айры Хинкли... Или все эти вопросы — уже измена, уступка пошлому образу мыслей самого Дьюера?

Он так устал, что перед его закры́тыми веками сверкали огненные искры. В памяти проносились все фразы, сказанные или слышанные им в эту ночь, пока не закружил его мятущееся тело вихрь лихорадочных голосов.

5

Когда Мартин плелся на другой день по медицинскому городку, он неожиданно натолкнулся на Ангуса и почувствовал себя виноватым и смущенным, как бывает, когда встретишься с человеком, который занял у тебя деньги и вряд ли собирается вернуть их. Он по привычке начал было: «Хелло!», но осекся на полухрипе, насупился и пошел, спотыкаясь, дальше.

— А, Март! — окликнул его Ангус. Он был убийственно спокоен.— Помнится, ты вчера говорил мне что-то? У меня, когда я выходил, осталось впечатление, что у тебя обиженный вид. И я подумал, не показалось ли тебе, что я был груб с тобою? Если это так, извини, дело в том, что у меня отчаянно болела голова. Слушай. Я достал четыре билета на «Что кому нравится», в Зените, на пятницу вечером: оригинальная нью-йоркская постановка! Хочешь посмотреть? Я заметил, ты был на танцах с прехорошенькой девушкой. Может быть, она захочет пойти с нами и прихватит какую-нибудь подругу?

— Ладно... гм... я позвоню ей... Очень мило с твоей стороны...

Только в задумчивые сумерки, когда Леора согласилась и обещала привести с собою сестру-практикантку по имени Нелли Байерс, Мартина взяло сомнение:

«А вправду ли болела у него вчера голова?»

«А как он получил билеты? Кто-нибудь подарил?»

«А почему он не пригласил четвертой дочку папаши Сильвы? Он, чего доброго, принял Леору за какую-нибудь девку, которую я подобрал на улице?»

«Понятно, он никогда ни с кем по-настоящему не ссорится — хочет быть со всеми нами в дружбе, чтоб мы со временем посылали к нему больных на операции, когда мы будем прозябать в провинции, а он сделается Великим и Единственным».

«Зачем я сдался так легко?»

«Наплевать! Лишь бы Леоре было весело... Лично я ни в грош не ставлю всякие там развлечения... А впрочем, недурно бы, конечно, посмотреть на красивых женщин в изящных туалетах и быть одетым не хуже людей... Ох, не знаю!»

Для тихого среднезападного Зенита пьеса «в оригинальной нью-йоркской постановке» составляла событие (какова бы ни была сама пьеса). Театр Додсворта блистал аристократией из больших домов на Ройял-ридж. Леора и Нелли Байерс восхищались знатью — питомцами Йельского университета, Гарварда и Принстона, адвокатами и банкирами, владельцами автомобильных заводов и наследниками недвижимой собственности, виртуозами гольфа, знатоками Нью-Йорка, которые со своими крикливыми и блистательными дамами заняли первые ряды. Мисс Байерс узнала Додсвортов, о которых часто упоминалось в «Городских новостях».

Леора и мисс Байерс без меры восхищались героем, когда тот отказался от губернаторства; Мартин тревожился, что героиня красивей Леоры; Ангус Дьюер (делавший вид, будто знает все о всех постановках, хотя за всю свою жизнь видел какие-нибудь пять-шесть спектаклей) признал, что декорации, изображающие «Лагерь Джека Вандузена в Адирондакских горах. На следующий день. Закат», действительно, очень неплохи.

Мартин был настроен гостеприимно. Он решил угостить всю компанию ужином и не желал слушать возражений. Мисс Байерс напомнила, что им нужно вернуться в больницу к четверти двенадцатого, но Леора сказала небрежно:

— Э, неважно. Я влезу в окно. Если утром мы будем на месте, старая кошка никак не докажет, что мы вернулись поздно.

Покачав головой, мисс Байерс отвергла соблазн лжи и помчалась к трамваю, а Леора, Ангус и Мартин направились в кафе Эпштейна «Старый Нюрнберг» выпить пива с швейцарским сыром, которые приобретают особенный вкус, когда смотришь на доспехи из папье-маше и читаешь немецкие изречения о крепких напитках.

Ангус изучал Леору, переводя глаза с нее на Мартина, наблюдая их любовное переглядывание. Что умный молодой человек подружился с девушкой, которая не могла способствовать его преуспеянию в обществе, что может существовать взаимная юная страсть, какая существовала между Мартином и Леорой, вероятно, было для него непостижимо. Он решил, что Леора легко доступна. В изысканном стиле подмигнув Мартину, он принялся обрабатывать ее в собственных целях.

— Надеюсь, спектакль вам понравился? — снизошел он до нее.

— Очень...

— Эх, завидую я вам двоим. Конечно, я понимаю, почему девушки влюбляются в Мартина с его романтическими глазами. А такой, как я, сухарь должен работать и работать, и ни одна душа мне не посочувствует. Но, увы! Я заслужил свою участь, потому что перед женщинами я робею.

Леора ответила неожиданным вызовом:

— Когда кто-нибудь так говорит, то значит, он ничуть не робеет, а просто презирает женщин.

— Презирает? Что вы, дитя мое, сказать по совести, я мечтаю стать донжуаном. Да вот не умею. Может быть, вы меня поучите? — Сухо-корректный голос Ангуса зазвучал вкрадчиво. Ангус весь сосредоточился на Леоре, как мог бы сосредоточиться, вивисецируя, на морской свинке. Леора время от времени улыбалась Мартину, как будто говоря: «Не ревнуй, дурак. Мне глубоко безразличен этот самонадеянный обольститель». Но ее слегка пьянила елейная уверенность Ангуса, его похвала ее глазам, ее остроумию, сдержанности.

Мартина мутило от ревности. Он буркнул, что пора идти: Леоре, в самом деле, нельзя возвращаться слишком поздно. После двенадцати трамвай ходил редко, и они пошли пешком. В безлюдье улиц гулко раздавались их шаги. Ангус с Леорой поддерживали напряженно-пустую болтовню, а Мартин шагал рядом с ними, молчаливый, угрюмый, гордый своею угрюмостью. По проходу между гаражами они выбрались к Зенитской больнице, массивному зданию, протянувшемуся на целый квартал; черные окна

в пять рядов, лишь кое-где пятна тусклого света. Ни души кругом. Окна первого этажа возвышались всего лишь на пять футов над землей, и Ангус с Мартином подсадили Леору на каменный выступ полуоткрытого окна коридора. Девушка соскользнула вниз, прошептав:

— Благодарю! Спокойной ночи!

Мартин ощущал пустоту, неудовлетворенность. Ночь была холодная, унылая. В окне над ними внезапно замерцал свет, раздался женский крик, перешедший в стоны. Мартин переживал трагедию расставания: жизнь и так коротка, а он упускает возможность побыть с Леорой.

— Я пройду за ней, погляжу, благополучно ли она добралась,— сказал он.

Обмерзлый каменный подоконник холодом обжег ему ладони, но он подскочил, подтянулся на колени, поспешно влез в окно. Впереди него, в коридоре с пробковым полом, освещенном лишь маленькой электрической лампочкой, на цыпочках пробиралась к лестнице Леора. Мартин, так же на цыпочках, побежал за нею. Она вскрикнула, когда он подхватил ее под руку.

— Надо попрощаться как следует! — пробурчал он.— Из-за этого противного Дьюера...

— Ш-ш-ш-ш! Меня просто убьют, если поймают тебя здесь. Ты хочешь, чтобы меня выставили?

— А ты пожалеешь, если тебя выставят из-за меня?

— Да... то есть нет... Но ведь тогда и ты можешь вылететь из университета, мой мальчик. Если...

Его ласкающие руки почувствовали, что она дрожит от волнения. Она вглядывалась в даль коридора, и разгоряченная фантазия Мартина создавала притаившиеся фигуры, подглядывающие в дверь глаза. Леора вздохнула, решившись наконец:

— Здесь не поговоришь. Проберемся наверх, в мою комнату,— моя сожительница уехала на неделю. Стань вот тут, в тени. Если наверху никого нет, я вернусь за тобой.

Он шел за нею по верхнему коридору, дошел до белой двери, затаив дыхание, переступил порог. Когда он прикрыл дверь, его растрогала эта убогая комнатка — походные койки и фотографии домашних и примятое полотно простынь. Он обнял Леору, но, упершись руками ему в грудь, она противилась, она сетовала:

— Ты опять ревновал! Как ты можешь так не доверять мне? Да еще из-за такого дурака! Скажите пожалуйста,— женщины не любят его! А попробуй его полюбить! Он сам себя слишком любит. И ты меня к нему приревновал!

— Я не ревновал... А впрочем, да, еще бы! Сиди и ухмыляйся гиеной, когда он втерся между мной и тобой, а мне так хочется

говорить с тобой, целовать тебя! Ладно! Я, верно, всегда буду тебя ревновать. Ты сама должна доверять мне. Я ни к чему легко не отношусь; так всегда и будет. О, верь мне...

Их глубокий, безудержный поцелуй был упоителен вдвойне после даром пропавшего вечера с Ангусом. Они забыли, что старшая сестра могла грозно ворваться в комнату, забыли, что Ангус ждет. «Ох, к черту Ангуса — пусть его идет домой!» — успел только подумать Мартин, когда веки его сомкнулись и долгое одиночество исчезло.

— Спокойной ночи, любимая — любимая навек,— сказал он в упоении.

В тихом прозрачном сумраке коридора он засмеялся при мысли, в каком, верно, бешенстве ушел Ангус. Но в окно он разглядел, что Ангус прикорнул на крыльце и спит. Соскочив на землю, Мартин засвистел, но тотчас осекся. Из темноты выскочил дюжий детина, как будто бы в форме швейцара, и завопил:

— Попался! Марш назад, в клинику, там разберем, зачем ты сюда лазал!

Они сцепились. Мартин напрягал все силы, но у сторожа хватка была крепкая. Мартина душила вонь от грязной одежды, немытого тела. Он лягал противника в голени, ударял в скуластую красную щеку, пробовал скрутить ему руки. Наконец, он вырвался, кинулся было бежать, но остановился. После мучительной нежности Леоры борьба тем сильнее разъярила его. Обуянный бешенством, он глядел сторожу в лицо.

Разбуженный Ангус, внезапно став рядом с Мартином, тонким голосом брезгливо проговорил:

— Идем! Идем скорей! Подальше от историй. Охота тебе пачкать руки о всякую мразь?

Сторож взревел:

— Мразь? Я — мразь? А вот я тебе покажу!

Он схватил Ангуса за шиворот и здорово шлепнул его.

В сонном свете уличного фонаря Мартин увидел, как человек сходит с ума. На сторожа глядел не бесчувственный Ангус Дьюер, нет: то был убийца, и глаза его были страшные глаза убийцы, в которых самый неопытный человек прочел бы угрозу смерти. Он только процедил сквозь зубы:

— Он посмел ко мне притронуться! — В руке у него каким-то образом очутился перочинный нож, он кинулся на сторожа, он деловито и серьезно пытался перерезать ему горло.

Стараясь его удержать, Мартин расслышал тревожный стук дубинки полисмена о край тротуара. Мартин был худощав, но ему приходилось навивать сено и натягивать телефонный провод. Он оглушил сторожа точно рассчитанным ударом по левому уху,

схватил Ангуса за руку и потащил его прочь. Они мчались по проезду, через какой-то двор. И едва проскочили ворота, как из-за угла, блестя огнями, загрохотал ночной трамвай; они бежали, не отставая от него, вскочили на подножку и были теперь в безопасности.

Ангус стоял на задней площадке и всхлипывал:

— Боже мой! Зачем я его не убил! Он дотронулся до меня своей грязной рукой! Мартин! Держи меня, не пускай. Я думал, у меня это изжито. Однажды, мальчишкой, я чуть не убил человека... Боже, зачем я не перерезал горло этой грязной свинье!

Когда трамвай подъехал к центру города, Мартин стал уговаривать Ангуса:

— На Оберлин-авеню есть ночная закусочная, мы можем там получить стопку беленькой. Пойдем. Тебе не вредно подкрепиться.

Ангус — чопорный Ангус — шатался и спотыкался. Мартин привел его в закусочную, где они, окруженные бутылками с томатным соусом, выпили неразбавленного виски из тяжелых, точно гранитных, кофейных чашек. Ангус уткнулся лицом в рукав и рыдал, не обращая внимания на глазевших зевак, пока не напился до обалдения, и Мартин поволок его домой. В комнате пансиона, под храп Клифа, вечер представился Мартину невероятным, и невероятнее всего был Ангус Дьюер. «Так, теперь он станет мне другом на веки вечные! Превосходно!»

На другое утро в вестибюле анатомички он увидел Ангуса и кинулся к нему. Но Ангус сказал:

— Ты вчера страшно нагрузился, Эроусмит. Если ты не умеешь пить, лучше брось совсем.

И пошел дальше, невозмутимый, с ясными глазами.

ГЛАВА VIII

1

Работа Мартина шла между тем своим чередом: он ассистировал у Макса Готлиба, обучал студентов-бактериологов, посещал лекции и клиники — шестнадцать часов в сутки, неуклонно. Изредка он урывал вечер для постановки самостоятельного опыта или для того, чтоб заглянуть в волнующий мир французских и немецких бактериологических журналов; с гордым чувством заходил время от времени в домик Готлиба, где на коричневых отсыревших обоях красовались гравюры Блейка и портрет Коха с его собственноручной надписью. Но все остальное выматывало нервы.

Неврология, пропедевтика, терапия, общая патология; из ночи в ночь он засыпал у своего шаткого письменного стола, не дочитав нескольких страниц.

Зубрил гинекологию, офтальмологию, пока не засыхали мозги.

А днем нудные занятия в клиниках, среди запинающихся студентов, на которых рявкали усталые профессора.

Потом операции на собаках — соревнование, в котором неизменно и легко одерживал победу Ангус Дьюер.

Мартин преклонялся перед профессором терапии Т.-Дж.-Г. Сильвой, по прозвищу «папаша Сильва», деканом медицинского факультета. Это был маленький кругленький человечек с полумесяцем усов над губами. Богом Сильвы был сэр Уильям Ослер, его религией было искусство симпатического врачевания, а его гордостью — точная диагностика: тот же док Викерсон из Элк-Милза, только умнее, трезвее и уверенней. Однако насколько Мартин чтил декана Сильву, настолько же он презирал доктора Роско Гика, профессора отоларингологии.

Роско Гик был доподлинный торгаш. Ему бы спекулировать на нефтяных акциях. Как отоларинголог, он держался убеждения, что миндалины существуют в человеческом организме специально для того, чтобы врачи могли покупать себе закрытые автомобили. Врач, оставляющий у больного миндалины, был, по его мнению, невеждой, который преступно пренебрегает будущим здоровьем и покоем... здоровьем и покоем врача. Он был всерьез убежден, что никогда не вредно удалить пациенту часть носовой перегородки, и если даже самый пристрастный осмотр не может обнаружить в носу и в горле пациента ничего, кроме обычного для курильщиков раздражения, то во всяком случае принудительный отдых после операции пойдет пациенту на пользу. Гик ратовал против теории «Предоставьте действовать природе». В самом деле, средний человек с достатком ценит внимание! Он не уважает по-настоящему врача-специалиста, если тот время от времени не подвергает его операции — небольшой и не очень болезненной. Гик раз в год обращался к студентам с классической речью, в которой, вырвавшись из жестких пределов отоларингологии, давал критическую оценку медицине в целом и разъяснял благодарным будущим врачевателям, вроде Эрвинга Уотерса, метод получения приличного гонорара:

— Знания — величайшая вещь в медицинском мире, но они ничего не стоят, если вы не умеете их продавать, а для этого вы прежде всего должны лично импонировать людям, имеющим доллары. Явился ли к вам новый пациент, или ваш старый приятель, вы всегда должны подходить к нему *коммерчески*. Объясняйте

ему и его убитой горем, встревоженной семье, как много труда и работы мысли вы затрачиваете на его болезнь, и давайте ему таким образом почувствовать, что благо, которое вы ему доставили или намерены доставить, значительно выше того гонорара, на который вы можете рассчитывать. Тогда, получив от вас счет, он примет его покорно, без недоразумений.

2

Мартин до сих пор не обнаруживал широты и ясности ума. Он, несомненно, был напористый молодой человек и не глупый. Но не бывало у него высоких минут, когда бы он видел себя в соотношении с миром в его целом, если он вообще-то отдавал себе отчет, что мир — это нечто большее, чем он, Мартин Эроусмит. Его друг Клиф был мужиковат, его любимая Леора, при всем своем благородстве, была деревенской девочкой, а сам он растрачивал свою энергию в лихорадочных занятиях и в изумлении перед чужою тупостью. Но если он и не созрел, он все же не витал в облаках, он остро ненавидел претенциозность, умел поработать руками и с неугасимой любознательностью доискивался до железной непреложности фактов.

А в отдельных редких случаях он постигал и комедию жизни; на один великолепный час освобождался от утомительной для его поклонников занятости. Такой час выдался перед рождественскими каникулами, когда Роско Гик взошел на вершину славы.

В «Уиннемак дейли ньюс» появилось сообщение, что доктор Гик отозван с кафедры отоларингологии в город Джерси-Сити, на пост вице-президента «Новой Идеи» — могущественной торговой компании по поставке медицинских инструментов и оборудования. В ознаменование сего события он прочитал перед всем медицинским факультетом лекцию на тему «Искусство и наука оборудования врачебного кабинета».

Гик являл собой образцово законченную фигуру: очки, энтузиазм, любовь к человечеству. Сияя улыбкой перед восторженными студентами, он возглашал:

— Джентльмены! Многие, слишком многие наши врачи, даже те блистательные пионеры былых времен, те боевые кони, которые в слякоть и в бурю, сквозь зимний леденящий ветер и августовский зной спешат принести слова ободрения и облегчить боль самому незаметному человеку в мире,— даже эти старые Несторы нередко застревают на одном месте и не знают, как двинуться дальше. Оставляя ныне это поприще, на котором я так долго и счастливо подвизался, я хочу посоветовать каждому своему сту-

денту, чтобы он, перед тем как приступить к медицинской практике, прочитал не только своего Розенау, и Хауэла, и Грея; но, готовясь к тому, чтобы стать тем, чем должен быть всякий благонамеренный гражданин, а именно, практическим человеком, пусть он проштудирует также весьма ценное краткое руководство по современной психологии: книгу Гровнера А. Бибби «Как обеспечить бойкую торговлю». Ибо не забывайте, джентльмены,— и это вам мое последнее напутствие,— достоин внимания не только тот, кто подходит ко всему с улыбкой, но и тот, кто изощрен в философии, в *практической* философии, кто не предается мечтаниям, не тратит все свое время на разговоры об «этике», как ни блистательна эта тема, и о «милосердии», как ни славна сия добродетель,— но помнит всегда, что мир, к сожалению, судит человека по тем денежкам, которые ему удается откладывать. Тот, кто прошел университет суровой действительности, тот судит врача, как другие судят дельца, не только по его «высоким идеалам», о которых он постоянно твердит, но и по тому, сколько лошадиных сил прилагает он к их осуществлению, к тому, чтоб они приносили доход! Да и с научной точки зрения следует учитывать, что врачу необходимо производить на пациента впечатление высокооплачиваемой эрудиции: впечатление это в наш век новой психологии столь же эффективно, как и лекарства, которые вы даете глотать больному, или хирургические операции, которые он дает над собой произвести. С той минуты, как пациент убедится, что другие ценят и вознаграждают ваше искусство, с той самой минуты он должен почувствовать вашу силу и начать поправляться.

Если вы хотите импонировать пациентам, самое важное — завести такой кабинет, чтобы вы могли, едва больной переступит порог, начать продавать ему мысль, что его лечат правильно. Неважно, скажу вам, что врач учился в Германии, в Мюнхене, в Балтиморе, в Рочестере. Пусть он начинен всяческими знаниями; пусть умеет незамедлительно, с большою степенью точности, ставить диагноз самого неясного заболевания, пусть он владеет в хирургии техникой Майо, Крайла, Блейка, Окснера, Кушинга. Если у врача старый, обшарпанный кабинет, с подержанными креслами, с кипой потрепанных журналов, пациент никогда не проникнется к нему доверием; он будет противиться предписанному лечению, и врачу будет затруднительно назначить и взыскать приличный гонорар.

Если мы не ограничимся поверхностным обзором и заглянем в основы философии и эстетики оборудования врачебного кабинета, то мы увидим, что в настоящее время существуют две враждующих школы: школа гобеленная и школа асептическая, как я для удобства позволю себе их назвать. Каждая из этих двух школ

имеет свои заслуги. Гобеленная школа требует роскошных кресел для ожидающих пациентов, красивых, писанных красками картин, книжных шкафов, набитых лучшими мировыми классиками в дорогих переплетах, и хрустальных ваз, и пальм в горшках, чтобы все это производило впечатление полного достатка, который мог появиться только благодаря подлинным способностям и знаниям. Асептическая школа, с другой стороны, утверждает, что пациенту требуется прежде всего видимость самой щепетильной гигиены, достигаемая лишь одним путем: приемная, так же как и кабинет, обставляется исключительно белыми крашеными стульями и столами, а украшается разве только японскими гравюрами по светло-серым стенам.

Но для меня, джентльмены, представляется очевидным (настолько очевидным, что я поражаюсь, как это до сих пор не получило общего признания), что идеальная приемная требует сочетания этих двух школ! Не отказывайтесь от пальм и красивых картин — для практикующего врача они такое же необходимое орудие производства, как и стетоскоп или тонометр. Но, насколько возможно, сохраняйте во всем придающую гигиенический вид белизну — а на ее фоне проводите гамму красок, какую можете изобрести вы сами или ваша милая жена, если она одарена художественным вкусом! Богатые красные или золотые подушки на морисовском кресле, покрытом чистейшей белой эмалевой краской. Той же белой эмалью выкрашен пол, но с нежно-розовым ободком! На белых столах свежие и незахватанные номера дорогих журналов в ярких обложках! Вот, джентльмены, те мысли о роли воображения в коммерции, которыми мне хотелось поделиться с вами на прощание. Вот то евангелие, которое я надеюсь распространять на своем новом поле деятельности — в Джерси-Сити, в компании медицинского оборудования «Новая Идея», где я в любое время буду рад видеть и приветствовать всех и каждого из вас.

3

В бурную пору рождественских экзаменов Мартина неодолимо тянуло к Леоре. Ее вызвали домой в Дакоту — может быть, на долгие месяцы, так как захворала ее мать,— а Мартин должен был (или думал, что должен) видеться с ней ежедневно. Пока она была здесь, ему не приходилось спать и четырех часов в ночь. Он ездил к ней, зубря к экзаменам в вагоне междугороднего трамвая, и впадал в уныние, вспоминая бойких врачей-стажеров и мужчин-пациентов, с которыми она встречалась в клинике, и ругал себя за такую наивную ревность, и снова терзался. Чтобы только взгля-

нуть на Леору, он ждал часами в приемном покое или под снегом прогуливался за воротами, покуда ей удастся подбежать к окну и кивнуть. Когда же они оставались, наконец, вдвоем, они бывали всецело поглощены друг другом. Она обладала даром откровенной страсти; дразнила Мартина, мучила недоступностью, но была нежна и бесстрашна.

Распростившись с нею на вокзале, он почувствовал себя до боли одиноким.

Его экзаменационные работы были вполне удовлетворительны, но все, за исключением сочинений по бактериологии и терапии, поверхностны. С ощущением внутренней пустоты он обратился на время каникул к лаборатории.

Небольшие самостоятельные изыскания давали ему до сих пор больше эмоций, чем реальных результатов. Готлиб был терпелив. «Замечательная у нас система обучения. Мы столько впихиваем в студентов, что Кох с двумя препараторами не могли бы столько выучить. Не тревожьтесь об исследованиях. Они от нас не уйдут». Однако он ждал, что за две недели каникул Мартин совершит одно-два чуда, а у Мартина мозги отказывались варить. В лаборатории он словно играл; проводил время в протирании стеклянной посуды, а когда пересеивал культуры микробов, выделенных у кроликов, записи его оказались неполными.

Готлиб вдруг рассердился:

— Was gibt es denn? [1] Это у вас называется записи? Если я хвалю человека, так обязательно надо, чтоб он перестал работать? Вы думаете, что вы Теобальд Смит или Нови — можете сидеть и размышлять? У вас способностей, как у Пфаффа!

На этот раз Мартин не почувствовал раскаяния. Как только Готлиб с видом великого герцога удалился, Мартин пробурчал:

— Ерунда! Надо же и мне когда-нибудь отдохнуть. Взять большинство наших ребят — все едут на каникулы домой встряхнуться, у них там танцы, родители, всякая всячина. Эх, была бы Леора здесь, мы бы с ней пошли сегодня в театр!

Он злобно схватил свою кепку (грязноватый, сомнительного вида предмет), разыскал Клифа Клосона (который проводил каникулы у Барни за покером, а когда не играл, то спал) и набросал проект вылазки в город с основательной выпивкой. Программа была выполнена — и с таким успехом, что за время каникул они ее повторяли каждый раз, когда Мартину вспоминалась предстоящая пытка безвдохновенной работы, каждый раз, когда он отдавал себе ясный отчет в том, что его удерживают здесь только Готлиб и Леора. После каникул, к исходу января, он убедился,

---

[1] Что такое? *(нем.)*

что виски облегчает ему одуряющую работу, облегчает ужас одиночества, а потом легкость исчезает, и остается еще бо́льшая усталость, еще большее одиночество. Он вдруг почувствовал, что стар. «Тебе уже двадцать четыре года,— напоминал он себе,— а ты еще сидишь на школьной скамье, твоя настоящая работа еще не началась». Он искал прибежища подле Клифа; Клиф был в восторге от Леоры и охотно слушал его излияния о ней.

Но в День Основателя над Клифом и Мартином разразилась беда.

4

Тридцатое января, день рождения покойного доктора Уорбертона Стонеджа, основателя медицинского факультета при Уиннемакском университете, ежегодно ознаменовывалось банкетом, на котором лились обильные потоки речей и отеческих наставлений, но крайне скудные потоки вина. Весь факультет приберегал к этому вечеру свои ценнейшие высказывания, и все студенты обязаны были присутствовать.

В этом году банкет состоялся в большом зале университетской секции ХАМЛа — благолепном зале с красными обоями, с портретами усатых питомцев, которые по выходе из этих стен сделались миссионерами, с длинными узкими ящиками из сосновых досок, долженствовавшими походить на обнаженные дубовые балки. Вокруг именитых гостей — чикагского хирурга доктора Раунсфилда, специалиста по диабету из Омахи и терапевта из Питтсбурга — толпились профессора и доценты. Они старались напустить на себя праздничный вид, но были измотаны после четырех месяцев занятий. Лица их были в морщинах, глаза глядели устало. На всех были их обычные сюртуки, большею частью даже не отутюженные. Говорили по-ученому и как будто бы с увлечением. Употребляли такие слова, как «флебартериэктазия» и «гепатохолангиоэнтеростомия», и спрашивали гостей: «Так вы только что из Рочестера? Что там делают, гм, по части ортопедии Чарли и Вилли?» Но сами чувствовали голод и грусть. Время подходило к половине восьмого, а все они обедали обычно в половине седьмого или самое позднее — в семь.

И вот среди чахлого веселья вступил в зал блистательный чернобородый громовержец в великолепии белоснежной манишки, громадного лба и огненных глаз, горевших гением или безумием. Могучим голосом с налетом немецкого акцента он спросил доктора Сильву и врезался в окружавшую декана группу, как фрегат в стаю рыбачьих лодок.

— Это еще что за гусь? — удивился Мартин.

— Подкатим туда, разузнаем,— предложил Клиф, и они примкнули к быстро нарастающей толпе вокруг декана Сильвы и загадочного незнакомца, который представился как доктор Бенони Кар, фармаколог.

Они слышали, как доктор Кар, к растерянному изумлению уиннемакской профессуры, благодушно басил о своей работе с Шмидебергом в Германии над осаждением дигидроксипентаметилендиамина, о перспективах химиотерапии и быстрого излечения сонной болезни, об эре научного врачевания.

— Хоть я уроженец Америки, но имею то преимущество, что с детства говорю по-немецки и потому, быть может, способен лучше понимать работу моего дорогого друга Эрлиха. Я видел, как он принимал орден из рук его императорского величества кайзера. Старый, добрый Эрлих, он был, как дитя!

В ту пору (хотя 1914 и 1915 годы принесли в этом смысле странную перемену) многие профессора были ярыми германофилами. Они склонились перед этим ураганом эрудиции. Ангус Дьюер позабыл, что он Ангус Дьюер; Мартин слушал с напряженным волнением. В Бенони Каре было все, что отличало Готлиба — его презрение к преподавателям «машинного производства», дыхание большого мира, обращавшее Могалис в провинцию,— но без готлибовской нервной взвинченности. Мартину было жаль, что Готлиб отсутствует; ему хотелось бы увидеть столкновение двух гигантов.

Доктора Кара посадили за стол ораторов, рядом с деканом. Мартин с удивлением заметил, что выдающийся фармаколог, разочарованно отведав прокисшего цыпленка и неудачный винегрет, составлявший основу обеда, подлил что-то в свой стакан из большой серебряной фляги и подливал потом неоднократно. Он сделался буен. Он перегнулся через двух профессоров и хлопнул по плечу возмущенного декана; перечил своим соседям; пропел куплет из «Влечет меня в бури к далекой Миссури».

Ничто так не привлекало к себе за обедом внимание студентов, как поведение доктора Бенони Кара.

Когда в напряженной торжественности прошло уже больше часа и декан Сильва встал огласить список ораторов, Кар поднялся во весь рост и прокричал:

— Давайте без речей! Одни дураки выступают с речами. Умные люди поют песни. Хью-лили-хо-хо! Тирли-ли, о тирли-ли! Эй, леди! Эй вы, профессора! Экие вы чудаки!

Все видели, как декан Сильва стал его увещевать, затем вывел из комнаты с помощью двух профессоров и одного футболиста, и тогда, среди тишины веселого ужаса, Клиф шепнул Мартину:

— Вот когда я влип! А ведь обещал мне, чертов шут, что не напьется!

— Ш-што?

— Мне бы следовало предвидеть, что он накачается и выдаст наш секрет! Ох, и влетит же мне от декана!

Клиф объяснил все. Доктор Бенони Кар звался от рождения Бенно Карковским. Он кончил двухгодичную медицинскую школу. Был широко начитан, но в жизни не бывал в Европе. Он давал объяснения на медицинских выставках, был мозольным оператором, медиумом у спиритов, проповедником тайных учений, директором увеселительного санатория для нервных дам. Клиф познакомился с ним в Зените, когда они оба были пьяны. Не кто иной, как Клиф, сообщил декану Сильве, что в Зените остановился на несколько дней знаменитый фармаколог, вернувшийся из поездки в Европу, и что он, возможно, не отклонит предложения, и т. д.

Декан в ответ горячо поблагодарил Клифа.

Банкет кончился рано, публика без должного внимания слушала ценное сообщение доктора Раунсфилда о методах стерилизации кетгута.

Клиф не спал всю ночь, предаваясь тревоге и соглашаясь с назидательными замечаниями Мартина. На следующий день (Клиф умел обходиться с женщинами, когда соизволял взять на себя этот труд) он подъехал к секретарше декана и узнал свою участь. Заседание учебного комитета уже состоялось: вина за скандал с Бенони Каром возложена на Клифа, декан сказал все, чего ожидал Клиф, и вдобавок еще множество таких вещей, предвосхитить которые у Клифа не хватило таланта. Но декан не собирался вызвать его сразу же; он решил дать ему потерзаться, а затем казнить всенародно.

— Прощай, мой старый добрый диплом! Плевать! Меня никогда особенно не привлекала профессия врача,— сказал Клиф Мартину.— Из меня, пожалуй, получится хороший маклер.

Он вышел размеренным шагом, прошествовал к декану и заявил:

— Вот что, декан Сильва, я зашел к вам мимоходом сообщить, что я решил бросить медицинский факультет. Мне предлагают хорошую работу в... гм... в Чикаго — да и вообще мне не нравится, как у вас поставлены занятия. Слишком много зубрежки и мало подлинно научного духа. Всего хорошего, док. Пока!

— Вввввв...— проговорил декан Сильва.

Клиф уехал в Зенит, и Мартин остался один. Большую комнату с окнами на улицу он сменил на каморку в том же пансионе, и в этой тесной берлоге, в унынии и одиночестве сидел и клял свою жизнь. Он глядел в оконце на незастроенный участок, где на

покосившейся доске болталось полуободранное объявление о свинине с фасолью. Он видел глаза Леоры, слышал бодрящий вздор Клифа, и тишина становилась нестерпимой.

ГЛАВА IX

1

Однажды в февральские ранние сумерки настойчивый рев рожка привлек Мартина к окну лаборатории. Мартин глянул вниз и увидел умопомрачительный автомобиль: длинный, с громадными фарами — и выкрашен в кремовую краску. Мартин не сразу сообразил, что шофер, молодой человек в свободном кофейного цвета спортивном пальто, лихорадочном клетчатом кепи и огненном кашне, не кто иной, как Клиф Клосон, и что Клиф вызывает его.

Он поспешил сойти вниз, и Клиф закричал:

— Ну, парень! Как тебе нравится суденышко? Можешь ты поставить диагноз этого костюма? Шотландский шевиот, лиловый в искру, а? Дядя Клиф подцепил работу на двадцать пять кругляков в неделю, плюс комиссионные — продает автомобили. Эх, парень, я же тут пропадал в вашем медицинском болоте. Я могу продать кому угодно что угодно. Через год буду зашибать восемьдесят долларов в неделю. Садись, старик, везу тебя в Гранд и ставлю роскошнейшую жратву, какой ты сроду не запихивал в свой тощий организм.

Скорость, с которой Клиф вкатил в Зенит — тридцать восемь миль в час,— считалась в 1908 году отчаянной. Мартин открыл нового Клифа. Шумливый, как всегда, он был более самоуверен, он горел проектами немедленного приобретения крупных денежных сумм. Волосы его, еще недавно вихрастые и жирные спереди, а сзади имевшие тенденцию топорщиться ершом, теперь лоснились от помады, и лицо было розовым, как после массажа. Он лихо затормозил у пресловутого Гранд-Отеля; перед тем как соскочить на тротуар, он сменил свои ярко-желтые автомобильные перчатки на серые с черной строчкой, которые тут же снял, торжественно проходя через вестибюль. Девушку у вешалки он назвал «дорогушей» и у входа в столовую обратился к метрдотелю со словами:

— А-а, Гэс! Ну, парень, как дела, как сегодня наше самочувствие, как поживает наш мучо фамосо мажордомосо? Гэс, позвольте вам представить доктора Эроусмита. Каждый раз, когда док явится сюда, извольте живо его обслужить — как вы умеете, когда захотите, и подать ему все, чего он пожелает, и ежели у него не хватит наличных, записать на мой счет. А теперь, Гэс, мне потре-

буется уютный столик на двоих с гаражом, с горячей и холодной водой, и не соблаговолишь ли ты, о Густавус, дать нам консультацию по части устриц, закусонов и прочих атрибутов Лукуллова пиршества?

— Извольте, сэр, пожалуйста вот сюда, мистер Клосон,— расшаркивался метрдотель.

— Здорово я его обработал за две недели! — шепнул Клиф Мартину.— То ли еще будет!

Пока Клиф заказывал, у их столика остановился какой-то субъект. У него был вид солидного коммивояжера, привыкшего в субботу вечером возвращаться в свой загородный дом. Он начал слегка лысеть, слегка полнеть. Очки без оправы посреди круглого гладкого лица придавали ему невинный вид. Он смотрел по сторонам, точно выискивая, с кем бы пообедать. Клиф вскочил, взял его за локоть и рявкнул:

— Ага, и ты здесь, Бэбский, старина! С компанией или один? Присоединяйся к Ассоциации любителей спорта.

— Хорошо, с удовольствием. Жена за городом,— ответил тот.

— Жми руку доктору Эроусмиту. Март, познакомься с Джорджем Ф. Бэббитом, он хохгечтимый зенитский король недвижимого имущества. Мистер Бэббит только что ознаменовал тридцать четвертую годовщину своего рождения покупкой первого автомобильчика у искренне вам преданного и всегда готового к услугам и прочее.

Ужин, по крайней мере, для Клифа и Бэббита, был очень веселым, и когда Мартин составил им компанию по части коктейлей, пива и виски с содовой, он убедился, что Клиф — великодушнейший человек на свете, а мистер Джордж Ф. Бэббит — очаровательный собутыльник.

Клиф разъяснил, что с уверенностью рассчитывает занять пост директора автомобильного завода — в чем ему, по-видимому, должно было помочь его солидное медицинское образование, а мистер Бэббит признался:

— Вы, друзья мои, гораздо моложе меня, лет на десять, и вы еще не знаете, что самое доподлинное наслаждение дает человеку общественная карьера, так сказать — служение идеалам. Между нами говоря: мое призвание — не сделки на недвижимое имущество, а ораторское искусство. Именно! Одно время я даже собирался изучить юриспруденцию и вступить на политическое поприще. Скажу вам по секрету (и попрошу не распространять), я за последнее время завязал неплохие связи — свел знакомство с идущими в гору молодыми политиками из Республиканской партии. Конечно, начинать надо скромно, но могу вам сообщить sotto voce [1],

[1] Шепотком *(итал.)*.

что к осени я рассчитываю стать олдерменом. А от олдермена в сущности один шаг до мэра, от мэра — до губернатора штата, и если такая карьера покажется мне подходящей, почему бы лет через десять — двенадцать, в тысяча девятьсот восемнадцатом или двадцатом году, мне не удостоиться чести представлять наш великий штат Уиннемак в Вашингтоне.

Рядом с таким Наполеоном, как Клиф, и таким Гладстоном, как Джордж Ф. Бэббит, Мартин горько чувствовал полную свою бездарность, отсутствие у себя деловой хватки и, вернувшись в Могалис, не находил покоя. Раньше он редко думал о своей бедности, но теперь при сравнении с пышным благоденствием Клифа его собственная обтрепанная одежда и тесная комнатушка казались ему позорными.

2

После длинного письма от Леоры, в котором она давала понять, что вряд ли сможет вернуться в Зенит, Мартин еще сильнее почувствовал одиночество. Не хотелось ни за что приниматься. В таком состоянии душевной лени он мерил шагами лабораторию во время занятий по начальной бактериологии, когда Готлиб послал его вниз принести для заражения шесть кроликов-самцов. Готлиб работал по восемнадцать часов в сутки над новыми опытами; он был издерган и взвинчен; приказания звучали у него, точно выговор. Когда Мартин сонно воротился с шестью самками вместо самцов, Готлиб на него закричал:

— Вы последний из идиотов, какие только терлись в моей лаборатории!

Слушатели, студенты-второкурсники, затаившие злобу на Мартина за то, что он и сам распекал их, захихикали, точно зверьки, и привели его в бешенство.

— Я просто не разобрал ваших слов. И у меня в первый раз вышла ошибка. Я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали.

— Вы потерпите все, что бы я ни сказал! Грубиян! Можете взять шляпу и идти!

— Вы хотите сказать, что я больше не ассистент?

— Очень рад, что у вас хватило ума сообразить это, как ни скверно я говорю!

Мартин бросился вон. Готлиб вдруг словно растерялся и сделал было шаг вдогонку за Мартином. Но студенты, хихикающие зверьки, стояли в полном восторге, надеясь на продолжение, и Готлиб, дернув плечами, единым взглядом поверг их в трепет, послал наименее неловкого из них за кроликами и стал продолжать занятия до странности спокойно.

А Мартин, засев у Барни, глушил стакан за стаканом виски, после чего всю ночь прошатался один по улицам. С каждым глотком он убеждался, что имеет все шансы сделаться пьяницей, и при каждом глотке хвалился, что ему плевать. Будь Леора поближе, а не где-то в Уитсильвании, за тысячу двести миль, он кинулся бы к ней искать спасения. Наутро он еще нетвердо держался на ногах и уже глотнул виски, чтобы как-нибудь прожить это утро, когда вдруг получил записку от декана Сильвы, приглашающую его немедленно явиться для объяснений.

Декан его отчитывал:

— Эроусмит, о вас много было разговоров последнее время на факультетском совете. За исключением двух-трех курсов — на свой я не могу пожаловаться — вы стали крайне невнимательны на занятиях. Отметки у вас приличные, но вы могли бы успевать значительно лучше. А последнее время вы пьянствуете. Вас видели в местах, пользующихся дурной репутацией, и вы водите дружбу с человеком, который позволил себе оскорбить меня, Основателя, наших гостей и университет. Многие преподаватели жалуются на ваш заносчивый тон — вы прямо в аудитории высмеиваете наши курсы! Доктор Готлиб всегда вас горячо отстаивал. Он утверждал, что у вас настоящая склонность к научной работе. Однако вчера вечером и он признал, что вы за последнее время стали ему дерзить. Так вот, если вы, молодой человек, не одумаетесь незамедлительно, я должен буду до окончания года запретить вам посещать лекции, а если и это не подействует, придется попросить вас вовсе уйти из университета. И я полагаю, хорошо было бы вам смирить вашу гордость — вы, молодой человек, дьявольски горды! — хорошо было бы вам для начала пойти к доктору Готлибу и, в знак раскаяния, извиниться...

Ответил не Мартин, ответило виски:

— Разрази меня гром, если я извинюсь! Готлиб может убираться к черту. Я ему отдал жизнь, а он наговаривает на меня...

— Вы крайне несправедливы к доктору Готлибу... Он только...

— Ну, конечно. Он только дал мне отставку. Не дождется он от меня извинений. Я так на него работал... А Клиф Клосон — ведь это на него вы намекали, что он-де позволил себе кого-то там оскорблять? Он попросту сыграл шутку, а вы решили снять с него голову. Я рад, что шутка ему удалась!

Мартин ждал слова, которое положит конец его научной карьере.

Маленький человечек, розовый, пухленький добрый человечек, пристально на него поглядел, пожевал губами и начал мягко:

— Эроусмит, я мог бы, конечно, исключить вас сейчас же, но я верю, что в вас заложено хорошее начало. Я не хочу так легко

отпустить вас. Разумеется, посещение лекций вам запрещено — по крайней мере, до тех пор, пока вы не образумитесь и не извинитесь передо мной и перед Готлибом.— Он говорил отеческим тоном, он почти заставил Мартина раскаяться; но в заключение добавил: — А что касается Клифа Клосона, его «шутка» с этим субъектом, с Бенони Каром... не понимаю, как я не проверил, верно, слишком был занят... его, как вы выражаетесь, «шутка» была поступком либо идиота, либо мерзавца, и пока это не станет для вас очевидным, вам, я считаю, рано к нам возвращаться.

— Отлично,— сказал Мартин и вышел.

Ему было очень жаль себя. Подлинной трагедией, чувствовал он, было то, что, хотя Готлиб предал его и пресек его карьеру, лишил его возможности овладеть наукой и жениться на Леоре, он по-прежнему боготворил этого человека.

Он не попрощался в Могалисе ни с кем, кроме квартирной хозяйки. Собрал свои вещи — несложные сборы: запихнул книги, записи, обтрепанный костюм, убогое белье и свою единственную гордость, смокинг, в неподатливый дерматиновый чемодан. С пьяными слезами он вспомнил час, когда покупал этот смокинг.

Деньги Мартина из скромного отцовского наследства поступали раз в два месяца чеками элк-милзского банка, сейчас у него оставалось только шесть долларов.

В Зените он оставил свой чемодан на станции междугороднего трамвая и отправился разыскивать Клифа. Он его нашел упражняющимся в красноречии насчет красивого, жемчужно-серого моторного катафалка, которым живо интересовался налитый пивом владелец похоронного бюро. Мартин ждал, примостившись на стальной подножке лимузина. Его раздражали, но не очень (для этого он был слишком ко всему равнодушен) косые взгляды остальных продавцов и нескольких стенографисток.

Клиф вскочил, прогудел:

— Как делишки, друг? Пойдем, что ли, пропустим по маленькой!

— Не откажусь.

Мартин чувствовал, что Клиф не сводит с него глаз. Когда они вошли в бар Гранд-Отеля с его картинами, изображавшими прелестных, но рассеянных дам, с его зеркалами и толстым мраморным барьером вдоль стойки красного дерева, он выпалил:

— Ну вот, я тоже получил свое. Папаша Сильва выставил меня за неспособность к наукам. Я поболтаюсь немного, а потом возьму какую-нибудь работу. Но, бог мой, как я устал, изнервничался. Скажи, ты можешь одолжить мне денег?

— Что за вопрос! Все, что имею. Сколько тебе?

— Мне надо, пожалуй, сто долларов. Может быть, проболтаюсь довольно долго.

— Черт возьми, у меня столько не будет, но, может, я призайму в конторе. Вот что, садись за этот стол и жди, я вернусь.

Как удалось Клифу раздобыть сто долларов, навеки осталось тайной, но через четверть часа он вернулся с требуемой суммой. Друзья отправились вместе обедать, и Мартин выпил много лишнего. Клиф привел его в свой пансион, который значительно менее свидетельствовал о «просперити», чем костюм Клифа, посадил его в холодную ванну, чтобы привести в себя, и уложил в постель. Утром он предложил найти ему работу, но Мартин отказался, а в двенадцать часов сел в поезд и укатил из Зенита в северном направлении.

В Америке со времен первых пионеров всегда сохранялся особый тип беспечных отщепенцев — обтрепанные молодые люди, которые кочуют из штата в штат, из артели в артель, гонимые страстью к бродяжничеству. Их можно узнать по черной сатиновой рубашке и узелку в руке. Это не бродяги в обычном смысле слова. У каждого из них есть родной город, куда он возвращается, чтобы спокойно поработать год, месяц, неделю на заводе или на железной дороге и потом так же спокойно исчезнуть вновь. Они набиваются ночью в вагоны для курящих; молча сидят на скамейках по замызганным вокзалам; они знают всю страну, но о ней не знают ничего, потому что в сотне городов они познакомились только с конторами по найму, с ночными чайными, с тайными шалманами, сомнительными меблированными комнатами. Мартин укрылся в этот мир скитальцев. Постоянно напиваясь, сознавая лишь наполовину, куда направляется и что ему нужно, в постыдном бегстве от Леоры и Клифа и быстрых рук Готлиба, он спешил из Зенита в Спарту, оттуда в Огайо, потом на север в Мичиган, потом на запад к Иллинойсу. В голове у него была мешанина. Впоследствии он никогда не мог припомнить толком, где перебывал. Только помнил отчетливо, что одно время работал продавцом газированной воды при аптеке в Миннемагенте. И потом как будто с неделю мыл посуду в зловонье дешевого ресторана. Ездил товарными поездами, на площадках багажных вагонов, ходил пешком. Среди своих товарищей-скитальцев он был известен под кличкой «Худыш» — самый неуживчивый и самый беспокойный во всей их братии.

Через некоторое время в его сумасшедшем дрейфе стало намечаться известное устремление. Мартин неосознанно забирал на запад, и там, на западе, в долгих сумерках прерий, ждала Леора. На день-другой он бросал пить. Он просыпался, чувствуя себя не злосчастным бродягой по прозвищу «Худыш», а Мартином Эроу-

смитом; в мыслях у него становилось светлее, и он раздумывал: «Почему бы мне не воротиться? Это, пожалуй, было бы для меня не так уж плохо. Я слишком много работал. Нервы были натянуты до крайности. Меня прорвало. Хорошо бы, гм... Хотел бы я знать, что сталось с моими кроликами?.. Позволят ли мне когда-нибудь вернуться к опытам?»

Но немыслимо было возвратиться в университет, не повидавшись с Леорой. Потребность видеть ее перешла в одержимость, от которой все прочее, что есть на свете, теряло смысл и цену. В каком-то смутном расчете он почти полностью сберег те сто долларов, которые взял у Клифа; он жил очень скверно, питаясь жирной похлебкой и отдающим содою хлебом, на то, что зарабатывал в дороге. И как-то вдруг, неведомо в какой день, в каком городе Висконсина, он пошел на вокзал, купил билет в Уитсильванию, Северная Дакота, и дал телеграмму Леоре: «Приезжаю 2.43, завтра среду Рыжик».

3

Прогремев над широкой Миссисипи, он въехал в Миннесоту. В Сент-Поле была пересадка: поезд катил по вьюжной белой пустыне, исчерченной проволочными изгородями. Вырвавшись из маленьких полей Уиннемака и Огайо, избавившись от нервного напряжения ночной зубрежки и ночных попоек, Мартин испытывал чувство свободы. Он вспоминал время, когда натягивал провода в Монтане, и снова овладел им беззаботный покой тех дней. Алым прибоем набегал закат, а ночью, когда Мартин вышел из душного вагона и зашагал по станционной платформе, он пил ледяной воздух и глядел на бессчетные и одинокие зимние звезды. Веер северного сияния грозно и торжественно раскинулся по небу. Мартин вернулся в вагон, запасшись энергией этой мужественной страны. Он кивал головой и курлыкал в коротком душном сне. Развалившись на скамье, вел беседу с благодушными попутчиками, такими же, как и он, бродягами, пил горький кофе и ел громадными порциями гречневые лепешки в станционных буфетах; и так, с пересадками в безыменных городах, он прибыл, наконец, к приземистым домикам, к двум хлебным элеваторам, загону для скота, цистерне с нефтью и красному ящику вокзала со слякотной платформой, составлявшим окраину поселка Уитсильвании. На перроне, смешная в своей большущей енотовой шубе, стояла Леора. У Мартина был, должно быть, немного сумасшедший вид, когда он загляделся на нее с площадки вагона, когда затрясся весь на ветру. Она протянула к нему руки, детские, в красных рукавичках. Он подбежал к ней, кинул наземь свой неуклюжий чемодан, и, не глядя на ра-

зинувших рты, закутанных в меха фермеров, они забылись в поцелуе.

Много лет спустя, в тропический полдень, Мартин вспоминал свежесть ее охлажденных ветром щек.

Поезд ушел, затарахтев, прочь от маленькой станции. До сих пор он стоял темной стеной вдоль платформы, защищая их, но теперь свет от снежных полей хлынул на них, выставляя напоказ, и они опомнились.

— Что... что случилось? — лепетала Леора.— Ни одного письма! Я так тревожилась.

— Я бродяжничал. Декан выставил меня на время... за то, что я надерзил профессорам. Ты огорчена?

— Конечно, нет, если ты сам того желал...

— Я приехал жениться на тебе.

— Не знаю, дорогой, удастся ли, но... Прекрасно. Будет славная драка с папашей.— Она рассмеялась.— Он бывает всегда так изумлен и обижен, когда случается что-нибудь, не входившее в его расчеты. Хорошо, что ты будешь подле меня в этой схватке, потому что ты ведь не обязан был знать, что мой отец считает нужным строить свои расчеты относительно всех и каждого во всех их делах... Ох, Рыжик, я так по тебе скучала! Мать вовсе не больна, ни чуточки даже, но меня отсюда не отпускают. Я думаю, пошли пересуды, и кто-нибудь намекнул отцу, что он, видно, близок к разорению, если его любезная дочка вынуждена уйти из дому и учиться на сестру, и он этого до сих пор не переварил — Эндрю Джексон Тозеру нужно около года, чтобы что-нибудь переварить. Ох, Рыжик! Ты здесь!

После грохота и лязга дороги поселок показался совсем безлюдным. Мартин мог бы обойти всю Уитсильванию в десять минут. Для Леоры, возможно, между строениями была какая-то разница. Она, по-видимому, отличала оптовый склад Нормана от склада Фрезира и Лэмба, но Мартину двухэтажные деревянные домики, бесцельно расползшиеся по Главной улице, казались неопределенными, лишенными лица.

— А вот и наш дом, в конце следующего квартала,— сказала Леора, завернув с Мартином за угол у лавки «Фураж и Утварь», и Мартин чуть не остановился в испуганном замешательстве. Ему чудилась надвигающаяся буря: мистер Тозер обзывает его бездельником, задумавшим погубить Леору, миссис Тозер плачет.

— Скажи, ты им... ты... ты говорила обо мне?

— Да. Вроде того. Я сказала им, что ты — краса и гордость медицинского факультета, и когда кончишь и пройдешь стаж, то мы, возможно, поженимся, а потом, когда пришла твоя телеграмма, они пожелали знать, почему ты послал ее из Висконсина и какого

цвета был на тебе галстук, когда ты понес ее на почту, и я не могла растолковать им, что не знаю, и все! Они стали обсуждать это весьма обстоятельно. Это они умеют. Обсуждали в продолжение всего ужина. Торжественно. Ох, Рыжик, ругайся каждый раз за столом, да покрепче!

Он порядком струхнул. Ее родственники, прежде лишь забавные персонажи в повести, стали угнетающе реальными, когда вырос перед глазами просторный коричневый дом с крыльцом. Большое окно с зеркальными стеклами и крашеным наличником было недавно прорезано в стене, как символ процветания, и гараж был новый и внушительный.

Мартин плелся за Леорой, ожидая взрыва. Миссис Тозер открыла дверь и сокрушенно уставилась на Мартина — худая, увядшая женщина, не умеющая смеяться. Она поклонилась с таким видом, точно он был не столько нежеланным, сколько непонятным и подозрительным гостем.

— Ты сама проводишь мистера Эроусмита в его комнату, Ори, или мне проводить? — прочирикала она.

Дом был из тех, где красуется большой граммофон, но нет книг, и если были в нем какие-нибудь картины (как не быть — были, конечно!), Мартин их не запомнил. Кровать в его комнате была вся в колдобинах, но под целомудренным узорным покрывалом; цветастый кувшин и таз стояли на скатерти, по которой были вышиты красным ягнята, лягушки, водяные лилии и благочестивое изречение.

Мартин постарался как можно дольше распаковывать вещи, вовсе не требовавшие распаковки, и нерешительно спустился вниз. В гостиной, где пахло печным накалом и пачулями, не было никого; потом, непонятно откуда, появилась миссис Тозер и захлопотала вокруг него, стараясь придумать какие-нибудь вежливые слова.

— Как вы доехали? Удобно было в дороге?

— О да! Мне было... В вагоне было битком.

— Ах, битком?

— Да, было очень много пассажиров.

— Вот как? Я полагаю... Да!.. Меня иногда поражает, куда они могут ехать, все эти люди, которые вечно разъезжают с места на место. А вы... очень было холодно в городах — в Миннеаполисе и Сент-Поле?

— Да, довольно холодно.

— Ах, было холодно?

Миссис Тозер была так тиха, так старательно вежлива. Он чувствовал себя грабителем, которого принимают за гостя, и мучительно гадал, куда исчезла Леора. Она вошла спокойная, неся кофе и

громадный шведский крендель, соблазнительно украшенный изюмом и глазурью, втянула всех в почти свободный разговор о зимних морозах и о достоинствах фордов, когда в эту радость вклинился мистер Эндрю Джексон Тозер, и разговор опять превратился в обмен любезностями.

Мистер Тозер был такой же худой, незаметный, спаленный солнцем человек, как и его жена, и, как она, он поглядывал, умолкал и ерзал. Ему казалось странным все на свете, что не относилось к его элеватору и маслобойне, к его крошечному банку, к церкви Единого братства и к осторожному вождению оверленда. Не удивительно, что он стал почти богат, ибо он отвергал все, что было неестественным и неудобным для Эндрю Джексона Тозера.

Он высказал желание узнать, пьет ли Мартин, какие у него средства к жизни и как он мог проделать такой дальний путь, покинув высокоцивилизованный Уиннемак (Тозеры были родом из Иллинойса, но они с детства жили в Дакоте и считали Висконсин самой отдаленной, самой опасной восточной окраиной своего мира). Они были так безукоризненно, так ползуче вежливы, что Мартину удавалось обходить неприятные темы, вроде исключения из университета. Он старался произвести впечатление серьезного молодого медика, который вот-вот начнет зарабатывать большие деньги, достаточные для содержания их Леоры. Но только он приготовился откинуться на спинку стула, как явился Леорин брат и выбил почву у него из-под ног.

Берт Тозер, Альберт Р. Тозер, главный бухгалтер и вице-президент Уитсильванского банка, ревизор и вице-президент тозеровской хлебной компании, казначей и вице-президент маслобойни «Звезда», ни в какой мере не был наделен настороженной молчаливостью своих родителей. Берти был достаточно говорливый и вполне современный деловой человек. У него были большие клыки, и его пенсне снабжено было золотою цепочкой, которая кончалась щеголеватым крючком, заложенным за левое ухо. Он верил в рекламирование городов, в организацию автомобильных пробегов, в бойскаутов, бейсбол и виселицы для ИРМ и крайне сожалел о том, что Уитсильвания (пока что) слишком мала, чтобы учредить в ней Деловой клуб или секцию ХАМЛа. Рука об руку с ним вплыла его невеста, мисс Ада Квист, дочь «Фуража и Утвари». Нос у нее был острый, но еще острее был ее голос и подозрительный взгляд, который она вперила в Мартина.

— Эроусмит? — спросил Берт.— Гм... Ну как? Рады, что попали, наконец, сюда, в божью страну?

— Да, тут чудесно...

— Вся беда Восточных штатов в том, что у них там нет энергии и простора для роста. Посмотрели бы вы настоящую дакотскую жатву. Скажите, как вы оставили занятия в это время года?

— А что?..

— Мне известны все университетские правила. Я посещал коммерческий колледж в Гранд-Форксе. Как вам удалось уехать?

— Взял кратковременный отпуск.

— Леора говорит, что вы с нею думаете пожениться.

— Мы...

— У вас что-нибудь отложено, кроме денег на окончание курса?

— Нет.

— Так я и думал. Как вы рассчитываете содержать жену?

— Рассчитываю получить со временем практику.

— Со временем! Что же проку в разговоре о женитьбе, когда вы еще не в состоянии содержать жену?

— Именно,— перебила возлюбленная Берта, мисс Ада Квист,— в точности то же сказала и я Ори.— Она, казалось, говорила больше своим заостренным носом, чем бантиком губ.— Если мы с Бертом можем ждать, могут, полагаю, и другие.

Миссис Тозер захныкала:

— Не будь слишком резок с мистером Эроусмитом, Берти. Он, я уверена, хочет сделать все по-хорошему.

— Ни с кем я не резок. Я только разумен. Если бы вы с отцом думали о деле, а не хлопали ушами, я бы не впутывался. Я не люблю соваться в чужие дела и не допускаю, чтобы кто-нибудь совался в мои. Живи и давай жить другим да смотри за собственными делами — вот мой девиз, и я так и заявил на днях Алеку Инглбледу, когда я сидел и брился, а он попробовал посмеяться насчет того, что мы держим много закладных; но, видит бог, я не позволю человеку, о котором ничего не знаю, увиваться вокруг моей сестры, не выяснив сперва его возможностей.

Леора проворковала:

— Берти, котик, у тебя опять галстук заехал на воротничок.

— А ты, Ори,— взвизгнул Берт,— если бы не я, ты еще два года назад выскочила бы замуж за Сэма Петчека!

Далее Берт показал на ряде конкретных примеров, как она легкомысленна, а что касается профессии медицинской сестры... Сестры!..

Леора сказала, что Берта не переделаешь, и попробовала объяснить Мартину дело с Сэмом Петчеком (оно так и осталось не вполне ясным).

Ада Квист сказала, что Леоре ничего не стоит разбить сердце своих любезных родителей и погубить карьеру Берта.

Мартин сказал:

— Послушайте, я...— Но ему не дали кончить.

Мистер и миссис Тозер сказали, что все должны успокоиться и что Берт, конечно, вовсе не имел в виду... Но все-таки надо быть разумным: как мистер Эроусмит рассчитывает содержать жену?

Совещание продлилось до половины десятого,— час, когда, по замечанию мистера Тозера, всем пора идти спать,— и, если не считать пятиминутной дискуссии о том, остаться ли мисс Аде Квист ужинать, и прений о качестве солонины последнего засола, все это время не снимался с обсуждения вопрос, можно ли считать Мартина и Леору помолвленными. Все заинтересованные лица, в число каковых Мартин и Леора, по-видимому, не входили, пришли к заключению, что нельзя. Берт проводил Мартина наверх. Он проследил, чтобы влюбленным не представилось случая поцеловаться перед сном; и пока мистер Тозер не отозвал его, крикнув в семь минут одиннадцатого из передней: «Ты что, Берт, хочешь проторчать там всю ночь? Не наговорился?» — он любезно сидел на кровати Мартина, насмешливо поглядывая на его убогий багаж и выспрашивая подробности о его родне, вероисповедании, политических взглядах и о том, как он смотрит на ужасы картежной игры и танцев.

За завтраком все выразили надежду, что Мартин останется у них еще на денек,— в доме места хватит.

Берт решил, что в десять часов утра Мартин пойдет в город, и ему покажут банк, маслобойню и элеватор.

Но в десять часов Мартин и Леора сидели в поезде, который нес их на Восток. Они сошли в главном городе округа, Леополисе,— большом центре, с четырехтысячным населением и с одним трехэтажным домом. В тот же день, в час пополудни, они обвенчались у лютеранского пастора-немца. Кабинет пастора представлял собой голую комнату, посреди которой одиноко высилась большая ржавая дровяная печь, и свидетели, пасторша и какой-то старый немец, приглашенный в то утро расчистить в саду дорожки, сидели на ящике для дров и клевали носом. Только усевшись в обратный поезд на Уитсильванию в два часа дня, Мартин и Леора отбросили мрачные опасения, которые преследовали их с утра. В вонючем вагоне, прижатые друг к другу давкой, схватившись за руки, невинно свободные от той отчужденности, которую иногда создает между новобрачными пышность венчания, они вздыхали: «Что же нам теперь делать, что нам делать?»

На уитсильванской станции их встретила в боевой готовности вся семья.

Берт сразу же заподозрил побег. Он обзвонил по междугородному телефону пять-шесть ближайших городов и добрался до сек-

ретаря округа через пять минут после выдачи лицензии на брак. Берта ничуть не умиротворило замечание секретаря, что Мартин и Леора совершеннолетние, а посему он, секретарь, ничем помочь не может и ему в высшей степени наплевать, кто с ним говорит,— в своей конторе он распоряжается сам.

На станцию Берт прибыл с твердым решением сделать из Мартина такое же совершенство, как Берт Тозер, и сделать безотлагательно.

Страшен был этот вечер в доме Тозеров!

Мистер Тозер сказал и долго доказывал, что Мартин взял на себя теперь большую ответственность.

Миссис Тозер заплакала и сказала, что она надеется, Ори не была вынуждена торопиться свадьбой по особым причинам...

Берт сказал, что, если бы дело обстояло так, он убил бы Мартина...

Ада Квист сказала, что Ори видит теперь сама, к чему приводит самонадеянность и разговоры об отъезде в ее любезный Зенит...

Мистер Тозер сказал, что во всем этом есть одна хорошая сторона: Ори теперь сама видит, что они не могут отпустить ее опять на курсы сестер, чтоб она там попала в новую передрягу...

Мартин время от времени вставлял замечания в том смысле, что он-де хороший молодой человек, замечательный бактериолог и способен нести заботу о своей жене. Но никто, кроме Леоры, его не слушал.

Далее Берт объявил (причем отец его прокудахтал: «Не будь, однако, слишком резок с мальчиком»), что если Мартин воображает, будто он получит от Тозеров хотя бы цент за то, что сунул свой нос туда, куда его не просили, то пусть он только заикнется об этом ему, Берту, пусть только заикнется!

А Леора наблюдала за ними, поворачивая головку то к одному, то к другому. Раз она подошла к Мартину и тихонько пожала ему руку. В самую бурю, когда Мартина разобрало не на шутку, она достала из потайного кармана коробку дрянных папирос и закурила. Никто из Тозеров до сих пор не подозревал, что Леора курит. Что бы ни думали они насчет ее распущенности, насчет измены Единому братству, насчет ее сумасбродства, все же они не допускали мысли, что Леора способна на такую непристойность, как курение. Они набросились на нее, и Мартин свирепо перевел дух.

Под эти громовые раскаты мистер Тозер каким-то образом принял решение. Иногда он умел отобрать руль у Берта, которого считал деловым, но излишне самоуверенным человеком, неспособным к тому же оценить «полную стоимость доллара» (мистер То-

зер исчислял ее в сто девяносто центов, а прогрессивный Берт — едва в сто пятьдесят). Мистер Тозер мягко распорядился:

— Пора кончать грызню. Не доказано, что Мартин непременно окажется плохою партией для Ори. «Поживем — увидим». Мартин тотчас же вернется в университет, и будет пай-мальчиком, и кончит как можно скорее, и начнет зарабатывать деньги. Ори останется дома и будет умницей... и, конечно, никогда больше не будет вести себя, как распутная женщина, и не станет курить папиросы. За это время у нее с Мартином не будет... гм... никаких сношений. (Миссис Тозер смутилась, а жадно внимавшая Ада Квист попробовала покраснеть.) Они могут писать друг другу раз в неделю, но и только. Они ни в коем случае... гм... не будут вести себя так, как будто они женаты, покуда не получат на то разрешения.

— Ну, что скажете? — спросил он.

Без сомнения, Мартин должен был бы бросить им вызов и, подхватив невесту, уйти в ночную мглу. Но казалось — одна минута, и он получит диплом, приступит к практике. Леора теперь его, его навсегда. Ради нее он должен образумиться. Он вернется к работе и сделается практичным. Готлибовские идеалы науки? Лаборатория? Изыскания? Вздор!

— Хорошо,— ответил он.

Он не сообразил, что их воздержание должно начаться с этой же ночи; это дошло до него только тогда, когда, протягивая к Леоре руки, улыбаясь своей доблестной решимости стать благоразумным, он услышал, как мистер Тозер проквакал:

— Ори, теперь ты пойдешь и ляжешь спать в *своей* комнате!

Так провел он брачную ночь, ворочаясь в кровати в десяти ярдах от жены.

Раз ему послышалось, что где-то отворяется дверь, и он затрепетал: сейчас войдет Леора! Насторожился, ждал. Она не приходила. Он выглянул за дверь, решив разыскать ее комнату. Его глухая неприязнь к шурину внезапно возросла. Берт расхаживал по коридору: держал караул. Если б вид у Берта был более грозный, Мартин его, пожалуй, убил бы. Но он не отважился сойтись лицом к лицу с этой длиннозубой и жеманной праведностью. Он лег и твердо сказал себе, что утром пошлет их всех к дьяволу и увезет Леору. Однако в три часа ночи в предрассветном упадке духа он ясно увидел, что с ним она, наверно, умрет с голоду, что он опозорен и даже нельзя поручиться, что он не сопьется с круга.

«Бедная девочка! Не стану портить ей жизнь. Боже, как я ее люблю! Вернусь в Могалис и буду так работать... Выдержу ли я?»

Так провел он брачную ночь и встретил унылый рассвет.

Через три дня он входил в кабинет доктора Сильвы, декана медицинского факультета в Уиннемаке.

ГЛАВА X

1

Секретарша декана Сильвы восхищенно подняла глаза и насторожилась в предвкушении необычайного. Но Мартин сказал кротко:

— Могу я видеть декана? — и кротко сел на один из выстроившихся в ряд дубовых стульев под фармацевтическим календарем Досона Ханзикера.

Когда торжественно открылась перед ним матово-стеклянная дверь кабинета декана, доктор Сильва встретил его угрюмым взглядом. Сидя маленький человечек казался крупным, такой у него был высокий лоб, так пышно круглились его усы.

— Ну-с, сэр?

Мартин начал:

— Я хотел бы вернуться, если вы меня примете. Я искренне прошу у вас извинения, и я принесу извинения доктору Готлибу, хотя, по совести говоря, в вопросе о Клифе Клосоне я не могу сдаться...

Доктор Сильва, ощетинившись, вскочил со стула. Мартин крепился. Его не приветствуют? У него нет дома? Он не мог бороться. Все его мужество иссякло. Он так устал от скучной дороги, от усилий не наорать на Тозеров. Он так устал! Он тоскливо глядел на декана.

— Ничего, мой мальчик! — заклохтал маленький человечек.— Все в порядке! Мы рады, что вы вернулись. Не нужно извинений! Я и сам хотел, чтобы вы как-нибудь встряхнулись. Хорошо, что вы снова здесь. Я верил в вас, а потом начал опасаться, как бы мы вас не потеряли. Бедовая голова!

Мартин рыдал, он был слишком слаб, чтобы сдержаться, слишком слаб и одинок, и доктор Сильва его успокаивал:

— Пересмотрим все и поищем, в чем была загвоздка. Что я могу для вас сделать? Поймите, Мартин, больше всего в жизни я хочу дать миру как можно больше хороших врачей, великих целителей. Что вам так расшатало нервы? Где вы были?

Когда Мартин дошел в рассказе до Леоры и своей женитьбы, Сильва замурлыкал:

— Я очень рад! Она, как видно, прекрасная девушка! Отлично, мы постараемся устроить вас через год стажером в Зенитской больнице и дать вам возможность прилично содержать жену.

Мартину вспомнилось, как часто, как едко издевался Готлиб над «этим веселым свадебным, а вернее, кандальным звоном». Он ушел учеником Сильвы; ушел, чтобы яростно взяться за ученье; он изгнал из своей религии светлый и безумный гений Макса Готлиба.

2

Леора писала, что ее исключили из школы больничных сестер за слишком долгое отсутствие и за то, что она вышла замуж. Она подозревала, что об этом довел до сведения больничного начальства ее отец. Затем она сообщала, что выписала тайком самоучитель стенографии и под предлогом помощи Берту начала упражняться в банке на пишущей машинке в надежде, что к осени сможет приехать к Мартину и зарабатывать свой хлеб стенографией.

В одном из писем Мартин предложил бросить медицину, взять какую ни на есть работу и выписать Леору к себе. Она отказалась.

Хотя в своем служении Леоре и новому богу, декану Сильве, Мартин сделался аскетом, отказывал себе в виски, за страницей страницу в застывшей ярости впитывал медицину, он всегда ощущал себя в безвоздушном пространстве тоски по Леоре и, когда возвращался в свой пансион, последний квартал всегда бежал, торопясь поглядеть, нет ли от нее письма. Внезапно у него созрел проект. Ему уже пришлось вкусить стыда — новый, последний стыд не страшен. Он поедет к ней на пасхальные каникулы; вынудит Тозера посылать ей на жизнь, пока она изучит в Зените стенографию. Последний оставшийся год она будет около него. Получив из Элк-Милза двухмесячный чек, он отдал Клифу сто долларов долга и подсчитал свои финансы до последнего цента. Если не покупать костюм, в котором он отчаянно нуждался, можно дотянуть. И после этого месяц с лишним он ел только два раза в день, причем первая еда сводилась к хлебу с маслом и стакану кофе. Он сам стирал в ванне свое белье и, не считая редких блаженных срывов, не курил.

Возвращение в Уитсильванию было похоже на его первое бегство, но только он меньше разговаривал с попутчиками и всю дорогу, когда не спал урывками тяжелым сном на красном плюше вагонных диванов, штудировал объемистые книги по гинекологии и внутренним болезням. Он дал Леоре в письме ряд инструкций. Она его встретила на окраине Уитсильвании, и они обменялись быстрыми словами, решительным поцелуем.

Новости распространяются в Уитсильвании без промедления. Чужие дела не лишены интереса, и взоры граждан, о существовании которых Мартин не ведал, неотступно за ним следили с самого

его приезда. Когда преступники подошли к вымощенному костями замку людоедов Тозеров, отец и брат Леоры были уже на месте и бесновались. Старый Эндрю Джексон набросился на них с криком. Он сказал, что, может быть, и не было безумием со стороны Мартина, когда он «сбежал от занятий в первый раз, но удрать вторично — явное и абсолютное сумасшествие». Слушая эту тираду, Мартин и Леора улыбались, точно заговорщики.

Берт изрек:

— Видит бог, сэр, это уж слишком! (Берт читал романы.) Я не хочу упоминать имя господа всуе, но когда вы являетесь вторично и докучаете моей сестре, я могу сказать только одно: видит бог, сэр, это уж, черт возьми, слишком!

Мартин задумчиво глядел в окно. Он приметил трех человек, прошедших по грязной мостовой. Все они с любопытством и упованием взирали на дом Тозера. Он твердо проговорил:

— Мистер Тозер, я упорно работаю. Все идет прекрасно. Но я не желаю жить врозь со своей женой. Мое решение принято. Я приехал за ней. По закону вы не можете мне помешать. Я готов признать, не вдаваясь в споры, что не могу пока ее прокормить, если останусь в университете. Она научится стенографии. Через несколько месяцев она сможет сама зарабатывать на жизнь, а до тех пор, я надеюсь, вы будете, хотя бы из приличия, посылать ей деньги.

— Это и правда уж слишком! — сказал Тозер, а Берт подхватил:

— Он не только, по сути дела, губит девушку, но еще приходит и требует, чтобы мы для него содержали жену.

— Отлично. Как хотите. Со временем будет лучше и для нее, и для меня, и для вас, если я кончу курс и получу профессию, но если вы не желаете ей помочь, я бросаю университет и поступаю на работу. Буду содержать Леору сам! Только вы ее больше никогда не увидите. Если вы и дальше хотите быть ослами, мы с ней уедем отсюда ночным поездом в Калифорнию — и конец.— В первый раз за века своих споров с Тозерами Мартин сделал мелодраматический жест: поднес кулак к носу Берта.— А если вы попробуете помешать нашему отъезду, я вам не завидую! Весь город будет над вами смеяться... Ну как, Леора? Ты готова уйти со мною навсегда?

— Да,— сказала она.

Начались дебаты, жаркие дебаты. Тозер и Берт перешли на оборонительные позиции. Они не позволят, говорили они, чтобы кто-либо ими командовал. К тому же Мартин — авантюрист, и откуда Леора знает, что он не собирается сам жить на деньги, которые отец будет ей посылать. В конце концов они сдались. Они уви-

дели, что этот новый, возмужавший Мартин, эта новая с твердым взором Леора готовы бросить все друг для друга.

Мистер Тозер повздыхал и дал обещание посылать дочери семьдесят долларов в месяц, пока она будет готовиться к работе в конторе.

На уитсильванской станции, глядя в окно вагона, Мартин понял, что Эндрю Джексон Тозер, этот человек, затаивший в глазах тревогу, крививший губы, чтобы не заплакать, любит свою дочь, горюет о ее отъезде.

3

Мартин нашел Леоре комнату на плешивой северной окраине Зенита, несколькими милями ближе к Могалису и университету, чем была ее больница: квадратную, бело-голубую комнату с грязноватыми, но удобными креслами. Окна выходили на неприютный, заросший сорняком пустырь, который простирался до мерцавшего вдали полотна железной дороги. Хозяйка была пухленькая немка, склонная к романтике. Едва ли она поверила, что они женаты. Она была добрая женщина.

Прибыл Леорин чемодан. Книги по стенографии чинно выстроились на маленьком столе, и розовые войлочные туфли водворились под белой железной кроватью. Мартин стоял рядом с Леорой у окна, полный сумасшедшей гордости собственника. И вдруг он так ослабел, так устал, что таинственный цемент, скрепляющий клетку с клеткой, точно растворился, и Мартин почувствовал, что сейчас потеряет сознание.

Но, выпрямив ноги в коленях, вскинув голову, стиснув зубы, он овладел собой и воскликнул:

— Наш первый дом!

Его опьяняло, что он может оставаться с нею вдвоем спокойно, без помехи.

Их обыкновенная комната залита была особенным светом, буйный костырь и бурьян на пустыре сияли под апрельским солнцем, чирикали воробьи.

— Да,— сказал сперва голос Леоры, потом ее голодные губы.

4

Леора слушала лекции в Зенитском университете финансов и делопроизводства. Под этим названием скрывалось большое, достаточно скверное училище для стенографисток, счетоводов и тех сыновей зенитских пивоваров и политиков, у которых не хватило

способностей для поступления даже в университет штата. Каждое утро она шла к трамваю — точно школьница, с тетрадями и очиненными карандашами — и исчезала в толпе студентов. Прошло шесть месяцев, прежде чем она прилично усвоила стенографию и получила место в страховой конторе.

Пока Мартин заканчивал курс, эта комната, их первый дом, становилась им все милей и милей. Они были на редкость домовиты, эти перелетные птицы. Не реже, как два вечера в неделю, Мартин прилетал сюда из Могалиса со своими учебниками. Леора обладала талантом не мешать, не требовать, чтоб ее замечали, так что он мог погрузиться в свои книги, как ему никогда не удавалось в обществе шумного, ворчащего, отхаркивающегося Клифа, и сохранять при этом теплое, полуосознанное чувство, что она тут рядом. Часто в полночь, когда он только начинал ощущать голод, у него под рукой, как по волшебству, появлялась тарелка с бутербродами. Нежность его не становилась меньше от того, что он о ней не говорил. Леора его ограждала. Она отстраняла мир, который готов был на него наброситься.

На прогулках, за обедом, в беспутные и сладостно расточительные четверть часа, когда они, накинув на плечи кашне, сидели на краю кровати и выкуривали непростительную папиросу перед утренним завтраком, Мартин разъяснял Леоре свою работу, и Леора, покончив с собственными уроками, пробовала читать какую-нибудь его книгу, какая была свободна. Хоть она никогда не знала, никогда серьезно не изучала медицину в практических деталях, однако она понимала лучше, пожалуй, чем Ангус Дьюер, мировоззрение Мартина и основные принципы его работы. Пусть он отказался от культа Готлиба и от стремления к лаборатории, как к некоему святилищу, пусть решил сделаться преуспевающим врачом, он все же не до конца изменил готлибовскому знамени. За деталями и внушительно звучащим списком терминов он искал причину явлений, общие законы, которые сводили бы хаос несхожих и противоречивых симптомов к стройному порядку химии.

В субботу вечером они степенно отправлялись в кино — смотреть фильмы в двух частях с участием ковбоя Билли Андерсона и девушки, которая стала впоследствии знаменитой под именем Мэри Пикфорд, а на обратном пути, не замечая прохожих на улицах, степенно обсуждали вымышленную интригу. Но по воскресеньям, когда они уходили гулять за город (засунув в протертые карманы четыре бутерброда и бутылку имбирного эля), Мартин бегал с Леорой взапуски по холмам и оврагам, и, отбросив степенность, они превращались в веселых детей. Приходя к Леоре вечером, он рассчитывал захватить ночной трамвай в Могалис, чтобы утром проснуться поближе к месту своей работы. Он всегда твердо принимал

это решение, и Леора восхищалась его деловитостью, но он никогда не поспевал на трамвай. Кондукторы первого утреннего трамвая начали привыкать к бледному порывистому юноше, который сидел, сгорбившись, на задней скамейке и, глотая страницы толстых красных книг, рассеянно уписывал не совсем аппетитную пышку. Но в юноше не было тяжеловесности рабочего, которого вытащили на заре из кровати начинать новый трудовой день, серый и бесплодный. У него был вид странно решительный, странно довольный.

Все стало теперь куда как легко, когда он частично освободился от тиранической честности готлибианства, от неуклонного искания причин, при котором, по мере того как проникаешь в новые и новые слои, основные законы точно уходят глубже и глубже; освободился от невыносимого напряжения, в котором день за днем узнавал, как малы его знания. Мартин отогревался, перейдя из готлибовского ледника в гостеприимный мир декана Сильвы.

Изредка он встречал Готлиба на университетском дворе. Они раскланивались в замешательстве и спешили каждый своей дорогой.

Между предпоследним курсом и последним, казалось, не было грани. Упустив время зимою, Мартин должен был остаться в Могалисе на все лето. Полтора года от его свадьбы до получения диплома прошли сплошным круговоротом, без времен года, без дат.

Когда Мартин «бросил дурить и засел за работу», он завоевал восхищение доктора Сильвы и всех Хороших Студентов, в особенности Ангуса Дьюера и преподобного Айры Хинкли. Мартин всегда заявлял, что не нуждается в их одобрении, в похвалах этих прилежных пошляков, но теперь, заслужив одобрение, он его ценил. Сколько бы он ни фыркал, ему приятно было, что с ним обращается, как с равным, Ангус, который устроился на лето практикантом в Зенитской больнице и уже вооружился неприступной важностью преуспевающего молодого хирурга.

Все это жаркое лето Мартин и Леора работали без роздыха, и когда они сидели в ее комнате над книгами и кружкой крепкого пива, ни в их одежде, ни в разговоре не было той пристойности, которой можно бы ждать от романтической четы, преданной науке и высоким стремлениям. Они были не слишком скромны. Леора иной раз походя употребляла такие англосаксонские односложные речения, которые повергли бы в ужас Ангуса или Берта Тозера. В свободные вечера, соблюдая экономию, они отправлялись в уве-

селительный парк, суррогат Кони-Айленда у мутного и вонючего озера, ели, словно свершая обряд, горячие сосиски и добросовестно катались на бутафорской железной дороге.

Главной приправой к их развлечениям был Клиф Клосон. Клиф, когда не спал, никогда добровольно не молчал и не сидел один. Возможно, что его успех в продаже автомобилей проистекал целиком из его любви к грандиозному нагромождению блистательных фраз, которое в этой профессии, по-видимому, необходимо. В какой мере его внимание к Мартину и Леоре порождалось дружбой, а в какой обусловлено было боязнью остаться одному,— трудно определить; но он, несомненно, веселил их, отвлекал от поглощенности друг другом и никогда не выказывал обиды, если Мартину случалось встретить его угрюмо и нелюбезно.

Клиф с приветственным возгласом подкатывал к дому на машине, непременно выключив глушитель. Он орал им в окно:

— Эй вы, чучела заморские! Вылезайте! Живо! Прокатимся, освежимся, а потом я вам поставлю жратву.

Клиф никогда не понимал, что Мартину нужно работать. Грубость, с какою Мартин высказывал иногда свою досаду, была почти неизвинительна, но теперь, когда он был полон до краев Леорой и абсолютно, эгоистически не считался с тем, что кто-то другой стосковался по нем, теперь, когда он вошел в рабочую колею и уже не томился одиночеством, Клиф стал ему скучен однообразным потоком своего тяжелого остроумия. Обязанности вежливой хозяйки исполняла Леора. Она тоже слишком часто слышала те семь шуток, которые в различной подаче составляли весь репертуар и всю философию Клифа, но она могла часами сидеть с приветливым лицом, покуда Клиф рассказывал, как он ловко продает автомобили, и упорно повторяла Мартину, что у них никогда не будет друга более преданного и великодушного.

Но Клиф, поступив в другое автомобильное агентство, переехал в Нью-Йорк, и теперь Мартин и Леора были еще полней и счастливей предоставлены друг другу.

Благосклонность мистера Тозера устранила последнюю их тревогу. Во всех его письмах сквозила теперь подлинная сердечность, хотя он сильно раздражал Мартина и Леору отеческими советами, которыми наказывал их за каждый посылаемый чек.

6

Среди лихорадочной деятельности старшего курса — посещай лекции по неврологии и педиатрии и практические занятия по акушерству, собирай анамнез в клинике, ассистируй при операциях, делай перевязки, учись не показывать замешательства, когда бес-

платный пациент назовет тебя доктором,— среди всех этих дел самым важным было обсуждение вопроса: «Что мы будем делать, когда получим диплом?»

Достаточно поработать стажером год или надо больше? Остаться ли на всю жизнь врачом на все руки или выбрать специальность? Какая специальность самая хорошая, то есть лучше всего оплачивается? Обосноваться ли в деревне или в городе? Не податься ли вовсе на Запад? А как насчет военно-медицинской службы — парады, ботфорты, хорошенькие женщины, разъезды?

Студенты обсуждали эти вопросы в коридорах Главного медицинского корпуса, в клинике, в столовках; и когда Мартин возвращался домой, к Леоре, он сызнова принимался обсуждать — обстоятельно, со знанием дела. Чуть не каждый вечер он «принимал решение», которое наутро опять оказывалось отброшенным.

Однажды, когда доктор Луазо, профессор хирургии, делал операцию перед всею клиникой в присутствии нескольких видных приезжих врачей,— маленький белый человечек, далеко внизу, держащий в руках жизнь и смерть, эффектный, как большой актер, который раскланивается под аплодисменты,— Мартин ушел с уверенностью, что станет хирургом. В тот день он согласился с Ангусом Дьюером, только что получившим премию Хью Луазо — за практические занятия по хирургии, что хирург — лев, орел, воин среди врачей. Ангус, один из немногих, твердо знал, что будет делать: пройдя стаж, он должен был войти пайщиком в знаменитую чикагскую клинику, возглавляемую доктором Раунсфилдом, выдающимся специалистом по хирургии брюшной полости. «Через пять лет,— коротко говорил Ангус,— я буду иметь двадцать тысяч в год».

Мартин объяснил все это Леоре. Хирургия. Высокий драматизм. Железные нервы. Беззаветно-преданные ассистенты. Новые методы лечения на научной основе. Спасение жизней! Зарабатывать деньги — не ради коммерции, конечно, но чтобы обеспечить Леоре приятную жизнь. С нею вдвоем поехать в Европу — седой Лондон, венские кафе. Когда он ораторствовал, Леора ему помогала. Она кротко соглашалась; а назавтра, когда он старался доказать, что хирургия — сплошной вздор, и большинство хирургов — просто умелые плотники, она соглашалась еще ласковей, чем раньше.

После Ангуса и будущего врача-миссионера Айры Хинкли, первым нашел свое призвание Пфафф Толстяк. Он собирался стать врачом-акушером, или, по терминологии медиков, «похитителем младенцев». У Пфаффа была душа повитухи; он сочувствовал женщинам в их неизреченной муке, сочувствовал искренне, чуть не слезно, и он великолепно умел сидеть в молчании, пить чай и

ждать. При первом знакомстве с родами, когда его напарник студент просто нервничал, хлопоча у кровати в скорбном безлюдии родильной палаты, Пфафф был повергнут в ужас и желал, как никогда и ничего в своей вялой, незаполненной жизни, страстно желал утешить эту серолицую, натужившуюся, незнакомую женщину, принять на себя ее страдания.

Пока другие, случайно ли, благодаря ли родственным связям, находили каждый свое место, Мартин оставался в нерешительности. Его восхищало требование декана Сильвы, чтобы врач непосредственно служил человечеству, но он не мог забыть холодных аскетических часов в лаборатории. К концу последнего курса, когда уже нельзя было медлить, на Мартина сильно подействовала речь, в которой декан Сильва осуждал слишком узкую специализацию и рисовал образ старого деревенского врача, отца и пастыря своих пациентов, живущего здоровой жизнью на лоне природы, ясного духом — потому что обрел самого себя. Впечатление от этой речи подкрепили настоятельные письма мистера Тозера, просившего Мартина поселиться в Уитсильвании.

Тозер, по-видимому, любил свою дочь, более или менее симпатизировал Мартину и не хотел отпускать их далеко. Уитсильвания, по его словам, представляла «хорошее местожительство»: солидные фермеры — скандинавы, голландцы, немцы и чехи,— которые будут честно платить по счетам. Ближайший врач, доктор Гесселинк, живет в Гронингене, в девяти с половиной милях, и практики у Гесселинка столько, что он не справляется. Если они приедут, он, Тозер, поможет Мартину приобрести оборудование; он даже будет посылать им время от времени чек, пока Мартину придется отбывать свой двухлетний стаж в больнице. Капитал Мартина почти иссяк. Он и Ангус Дьюер получили назначение в Зенитскую больницу, там можно было пройти прекрасную школу, но в Зенитской больнице стажеры получали первый год только стол и квартиру, и Мартин опасался, что не сможет принять назначения. Предложение Тозера казалось соблазнительным. Они с Леорой просидели всю ночь, разжигая в себе энтузиазм к привольному Западу, добросердечным и трудолюбивым пионерам, к героизму деревенского врача — полезного члена общества, и, на этот раз придя к решению, уже ничего не перерешали.

Они поселятся в Уитсильвании.

Если Мартин тосковал немного по исследовательской работе, по готлибовскому божественному любопытству — что ж, он будет таким деревенским врачом, как Роберт Кох! Он не выродится в трутня, который только играет в бридж да стреляет уток. У него будет собственная маленькая лаборатория. Так он дотянул до конца учебного года и получил свой диплом, облачившись по этому

случаю в берет и мантию, в которых имел довольно глупый вид. Среди кончающих Ангус Дьюер занял первое место, Мартин — седьмое. С громкими сожалениями и щедрым возлиянием пива он распрощался с университетом; нашел Леоре комнату поближе к больнице и стал Мартином Л. Эроусмитом, врачом-стажером Зенитской городской больницы, доктором медицины.

ГЛАВА XI

1

Горела ящичная фабрика Бордмана. Весь южный район Зенита был встревожен заревом на низко нависших облаках, запахом горелой фанеры, адским звоном несущихся в атаку пожарных машин. Опасность грозила деревянным домишкам к западу от завода, тянувшимся на целые мили; женщины в шалях, взъерошенные мужчины в брюках и ночных рубахах, вскочив с кроватей, кидались в ночную прохладу улиц, будя ее гулким грохотом шагов.

С профессиональным спокойствием пожарные в касках возились у машин, с которых капала вода. Перед напирающей толпой топтались полисмены, размахивая дубинками, покрикивая: «Куда, куда! Назад!» Линия огня была священна. Пропустили только владельца фабрики и репортеров. Сержант полиции остановил рабочего с безумными глазами.

— Там мой инструмент! — вопил рабочий.

— Исключения не делаем! — орал заважничавший сержант.— Здесь никто не пройдет.

Но один все-таки прошел. Послышалось «дзянг-дзянг-дзянг» стремительной кареты «скорой помощи», несмолкаемое, яростное, вызывающее. Толпа без команды расступилась, и сквозь нее, едва не задевая людей, пронесся огромный серый автомобиль. Сзади, высокомерный в своем белом одеянии, бесстрастно восседал на узком сиденье доктор Мартин Эроусмит.

Толпа им восхищалась, полисмены подлетали ему навстречу.

— Где раненый пожарный? — бросил он.

— Вон там, в сарае,— прокричал сержант полиции и затрусил рядом с автомобилем.

— Подъезжай ближе. На дым не гляди,— гаркнул Мартин на шофера.

Старший пожарный подвел его к куче опилок, на которой лежал без чувств юноша с бескровным и липким лицом.

— Наглотался дыму от сырых досок и грохнулся. Славный паренек. Неужто помер? — хлопотал старший.

Мартин встал на колени, нащупал пульс, послушал дыхание. Открыв порывисто черную сумку, он вспрыснул пострадавшему стрихнин и поднес к его носу пузырек с нашатырем.

— Поправится. Дайте сюда двух человек. Снесите его в карету. Живо!

Сержант полиции и самый молодой полисмен-стажер одновременно подскочили, одновременно буркнули:

— Слушаюсь, док.

К Мартину подошел главный репортер газеты «Адвокат-таймс». Ему было только двадцать девять лет, но это был самый старый и, может быть, самый циничный человек в мире. Он интервьюировал сенаторов, разоблачал злоупотребления в благотворительных обществах и даже в боксерских состязаниях. У глаз его гнездились тонкие морщинки, он непрестанно скручивал цигарки с дешевым табаком и очень невысоко ставил мужскую честь и женскую добродетель. Однако с Мартином, или, по крайней мере, с Доктором, он был вежлив.

— Выкарабкается, док? — прогнусил он.

— Полагаю, да. Удушье. Сердце еще работает.

Последние слова Мартин бросил уже со ступенек кареты, когда, пыхтя и покачиваясь, она двинулась фабричным двором, сквозь горький дым на отшатнувшуюся толпу. Он начальствует и властвует над городом — он и шофер. Они двое не признают правил движения, они презирают публику, возвращающуюся из театров и кино, семенящую по улицам, которые разматываются перед летучим серым кузовом. Прочь с дороги! Полисмен, регулирующий движение на углу Чикесо и Двадцатой авеню, услышал, как они приближаются со скоростью ночного экспресса — урррр... ру... дзянг-дзянг-дзянг-дзянг — и очистил шумный перекресток. Народ жмется к тротуару, рискуя попасть под шарахнувшуюся лошадь или попятившийся автомобиль, и проносится мимо карета — дзянг-дзянг-дзянг-дзянг,— а на ней, держась за ремень, спокойно покачивается на своем опасном сидении доктор.

В больнице привратник крикнул:

— Пристрелили кого-то в Павильоне, док.

— Сейчас. Вот только опрокину стаканчик,— невозмутимо ответил Мартин.

По дороге в свою комнату он прошел мимо больничной лаборатории с протравленным рабочим столом, с безжизненными рядами колб и пробирок.

— Фью! Мертвый хлам! К черту лаборатории! Вот настоящая, доподлинная жизнь! — ликовал он и гнал от себя образ Макса Готлиба, который ждал где-то изнуренный, усталый, терпеливый.

2

Шестеро стажеров Зенитской городской больницы, в том числе Мартин и Ангус Дьюер, жили в длинной темной комнате с шестью походными кроватями и шестью шкафчиками, заваленными фантасмагорией галстуков, фотографий, дырявых носков. Молодые врачи часами просиживали на своих кроватях, обсуждая, что лучше, хирургия или терапия, загадывая, каким обедом они насладятся в свободные вечера, и разъясняя Мартину, как единственному женатому товарищу, достоинства больничных сестер, в которых они поочередно влюблялись.

Повседневную работу в клинике Мартин находил скучноватой. Хоть он и усвоил Походку Стажера — быстро шагал по коридору, щеголяя оттопырившим карман стетоскопом, но не мог, никак не мог усвоить надлежащий тон с больными. Он жалел немощных, желтых, страдающих пациентов: на койках они постоянно сменялись, но неизменной оставалась громада унылой боли. Однако после того, как он сделал три перевязки, ему стало скучно, захотелось перейти к чему-нибудь новому. Зато работа по оказанию скорой помощи вне больницы не переставала льстить его гордости.

Доктор, только доктор мог безбоязненно появиться ночью в трущобе, именуемой «Павильоном». Черный саквояж служил ему пропуском. Полисмены отдавали ему честь, проститутки кланялись без насмешки, содержатели салунов кричали: «Добрый вечер, док», и грабители отступали в подъезды, давая ему дорогу. Впервые в жизни Мартин был облечен властью — явной властью. И переживал несчетные приключения.

Он извлек директора банка из притона; помог семье скрыть позор; с возмущением отклонил похожее на подкуп вознаграждение, а потом, когда подумал, каким обедом мог бы угостить Леору, пожалел, что отклонил. Взломав дверь, он врывался в гостиничные номера, где пахло газом, и возвращал к жизни людей, покушавшихся на самоубийство. Пил тринидадский ром с депутатом конгресса, ратовавшим за сухой закон. Выхаживал полисмена, избитого забастовщиками, и забастовщика, избитого полисменами. В три часа ночи ассистировал при неотложной операции брюшины; операционная — белые кафельные стены, белый кафельный пол, матовые стекла светового фонаря,— казалось, была облицована пылающим льдом, и белым пламенем полыхали в стеклянных ящиках для инструментов жестокие узкие клинки. Хирург в длинном белом халате, в белой шапочке и бледно-оранжевых резиновых перчатках нанес быстрое сечение на огражденном полотенцами квадрате желтоватого тела, глубоко вонзаясь в слой жира, и Мартин без волнения увидел, как первая кровь грозно показалась

из разреза. А месяц спустя, когда вышла из берегов Чалуза, он проработал семьдесят шесть часов подряд, изредка засыпая на полчаса в карете «скорой помощи» или на столе в полицейском участке.

Он причаливал на лодке к тому, что было недавно квартирой второго этажа, и принимал роды; выстроив людей в очередь, перевязывал им руки и головы; но истинную славу он завоевал отчаянным подвигом, когда переплыл поток, чтобы спасти пятерых до смерти напуганных детей, очутившихся на дрейфующей церковной скамье. Газеты кричали о нем крупными заголовками; и когда он вернулся и, поцеловав Леору, завалился на полсуток спать, он лежал и с едким оборонительным сарказмом думал об исследованиях.

«Готлиб! Старый чудак, оторванный от жизни! Посмотрел бы я, как бы он переплыл поток!» — поддразнивал Мартина доктор Эроусмит.

Но в одиночестве ночных дежурств он сходился лицом к лицу с тем Мартином, которого боялся в себе открыть, и тогда овладевала им тоска по лаборатории, по трепету открытий,— когда заглядываешь глубже поверхности и дальше нынешнего дня в искании основных законов, в котором ученый (как бы кощунственно и развязно ни отзывался он о том) находит неизмеримо больше восторга, чем во временном врачевании, подобно тому как верующего больше восторгает естество и грозная слава бога, нежели преходящие радости земных добродетелей. К печали прибавлялась и зависть, что он остается за порогом, что другие его обгоняют, все более овладевая техникой, шире познавая явления биологической химии, дерзая глубже проникать в законы, которые пионеры только нащупывали, только смутно намечали.

На второй год своего стажерства, когда пожары, наводнения и убийства стали так же будничны, как счетоводство, когда он ознакомился со всеми до странности малочисленными способами, которыми люди умудряются наносить ущерб самим себе и убивать друг друга, когда стало скучно жить ради того, чтобы только не уронить принятого на себя звания Доктора,— тогда Мартин попробовал утолить или скорей убить свое преступное научное сладострастие добровольной возней в больничной лаборатории, делая сводку анализов крови при злокачественном малокровии. Его заигрывание с ядом изысканий было опасно. Среди суеты хирургических операций он рисовал себе сосредоточенную тишину лаборатории.

— Лучше мне с этим покончить,— говорил он Леоре,— если я собираюсь поселиться в Уитсильвании, заняться делом и зарабатывать на жизнь — а я, черт возьми, не оставил этого намерения!

Декана Сильву часто приглашали в больницу на консилиумы.

Как-то под вечер он проходил через приемный покой, когда Леора на обратном пути из конторы, где работала стенографисткой, зашла за Мартином, чтобы вместе идти обедать. Мартин познакомил их, и маленький декан задержал ее руку, помурлыкал и пропищал:

— Милые дети, не доставите ли вы мне удовольствие пойти со мною пообедать? Жена меня покинула. Я бедный одинокий мизантроп.

Он семенил между ними, круглый и счастливый. Мартин и он были не студентом и профессором, но двумя коллегами-врачами, ибо декан Сильва принадлежал к тем редким педагогам, которые не теряют интереса к человеку, когда тот не сидит больше у их ног. Он повел двух заморышей в дешевый ресторан, усадил за столик в кабинете и заказал им по основательной порции жареного гуся и по кружке эля.

Свое внимание он сосредоточил на Леоре, но темой взял Мартина:

— Ваш муж должен быть Художником-Целителем, а не копаться в пустяках, как всякие лабораторные крысы.

— Ну а Готлиб,— он ведь не копается в пустяках,— ввернул Мартин.

— Да-а. Но он... Все дело в том, какие у человека боги. Боги Готлиба — циники, разрушители, «гробокопатели», как их называет чернь: это Дидро, Вольтер, Эльсер; они великие люди, чудодеи, но тешатся больше разрушением чужих теорий, чем созданием собственных. Ну, а мои боги — это те, кто берет открытия готлибовских богов и обращает их на пользу людям, кто умеет вдохнуть в них жизнь!

Честь и слава изобретателям холста и красок, но больше славы — не правда ли? — Рафаэлям и Гольбейнам, использовавшим эти изобретения! Лаэннек и Ослер — вот люди! Чисто научные исследования? Прекрасно, еще бы: искать истину, не гонясь за коммерческой выгодой или славой! Добираясь до корня вещей! Презирая последствия и практическую выгоду! Но тогда, если проводить эту идею дальше, вы понимаете, человек может ничего не делать и только считать булыжники на мостовой Торговой улицы, и он найдет себе оправдание. Он даже найдет себе оправдание, мучая людей, чтобы только послушать, как они вопят,— и будет еще издеваться над человеком, который принес облегчение миллионам!

Нет, нет! Миссис Эроусмит, ваш Мартин — вдохновенный юноша, не педант. Он должен гореть страстью на благо человечества. Он избрал самую высокую профессию в мире, но он разбрасывается, пробует то одно, то другое. Удерживайте его, дорогая, сберегите для мира его благотворную страстность.

После этой торжественной речи папаша Сильва повел их в оперетку и сидел между ними, похлопывая Мартина по плечу, Леору по руке, смеясь до слез, когда актер попадал ногою в ведро с белилами. В полуночном красноречии Мартин и Леора, захлебываясь, говорили о своей нежности к нему, и Уитсильвания рисовалась им как путь к спасению и славе.

Но за несколько дней до окончания стажерской практики и отъезда в Северную Дакоту они встретили на улице Макса Готлиба.

Мартин не видел его больше года; Леора — никогда. Он выглядел измученным и больным. Пока Мартин терзался вопросом, не пройти ли с поклоном мимо, Готлиб остановился.

— Как живете, Мартин? — сказал он сердечно. Но глаза его говорили: «Почему ты ко мне не вернулся?»

Мартин пробормотал что-то — ничего не значащие слова, и когда Готлиб пошел дальше, сгорбившись и как будто едва перемогая боль, юноше томительно захотелось побежать за ним.

Леора спросила:

— Это тот профессор Готлиб, о котором ты всегда говоришь?

— Да. Скажи, как он тебе показался?

— Я никогда... Рыжик, он самый большой человек, какого я только видела! Не знаю, откуда я это знаю, но это так! Доктор Сильва миляга, но этот — большой человек! Я... я хотела бы, чтобы мы с ним встречались. Я в первый раз вижу человека, для которого я бросила бы тебя, если б он меня позвал. Он такой... ах, он как меч... нет, как ходячий мозг. Но, Рыжик, у него был такой измученный вид. Мне хотелось расплакаться. Я бы чистила ему сапоги!

— Ах, черт возьми! Я тоже!

Но в хлопотах по отъезду из Зенита, в радостных сборах, в горячке государственных экзаменов, в гордости званием практикующего врача он забыл Готлиба, и там, в Дакоте, в сияющей под июньским солнцем прерии, где на каждой изгороди распевали полевые жаворонки, он начал свою работу.

ГЛАВА XII

1

В ту пору, когда Мартин встретил его на улице, Готлиб погибал.

Макс Готлиб был немецкий еврей, родился он в Саксонии в 1850 году. Хотя он и окончил медицинский факультет в Гейдель-

берге, однако врачебная практика никогда его не интересовала. Он был последователем Гельмгольца, и еще в юности исследовательская работа по акустике убедила его, что и в медицинских науках необходим количественный метод. Потом открытия Коха привлекли его к биологии. Всегда придерживаясь точности, тщательности, выводя длинные ряды цифр, всегда учитывая наличие неподдающихся контролю переменных, всегда яростно нападая на то, что считал распущенностью, или ложью, или чванством, никогда не оказывая снисхождения благонамеренной глупости, он работал в лабораториях Коха, Пастера, следил за первыми высказываниями Пирсона в биометрии, пил пиво и писал язвительные статьи, путешествовал по Италии, Англии и Скандинавии и случайно между делом (как мог бы купить пальто или нанять экономку) женился на терпеливой и бессловесной немке, дочери купца-лютеранина.

Потом начался ряд опытов, очень важных, очень прозаических, очень затяжных и никем не оцененных. В 1881 году Готлиб вновь подтверждал выводы Пастера об иммунитете против куриной холеры, попутно для отдыха и развлечения пытался выделить энзим из дрожжей. Через несколько лет, живя на маленькое наследство, оставленное ему отцом, мелким банкиром, и весело и беззаботно его расточая, он подверг критическому анализу птомаиновую теорию заболеваний и исследовал механику ослабления вирулентности микроорганизмов. Это принесло ему мало славы. Может быть, он был слишком осторожен и хуже черта или голода ненавидел людей, которые, не доработав исследования, спешили его опубликовать.

Хоть он не занимался политикой, считая ее самым нудным и наименее научным видом человеческой деятельности, он был достаточно патриотичным немцем, чтоб ненавидеть юнкерство. Юношей он раза два дрался с заносчивыми офицерами, сидел неделю в тюрьме, часто приходил в ярость из-за неравноправия евреев и сорока лет от роду с болью в душе уехал в Америку, «где невозможен милитаризм или антисемитизм»,— работал в лаборатории Хогленда в Бруклине, потом в университете Куин-Сити, где занимал кафедру бактериологии.

Здесь он провел свои первые исследования реакций токсина с антитоксином. Он провозгласил, что антитела, за исключением антитоксина, не имеют никакого отношения к иммунному состоянию животного, и, пока на него самого яростно нападали в тесном, но кипучем мире ученых, он спокойно и крайне резко расправился с теориями сывороток Иерсина и Марморека.

Его заветной мечтой, с первых лет упорных изысканий и по сей день, было получить искусственный антитоксин — получить его

in vitro [1]. Однажды он приготовил к печати работу, но обнаружил у себя ошибку и безжалостно похоронил свои записи. Все время он был одинок. В Куин-Сити вряд ли хоть один человек считал его чем-либо иным, как не полоумным евреем, который ловит за хвост микробов и перемигивается с ними. Разве это работа для взрослого мужчины, когда герои вокруг строят мосты, проводят опыты с колясками без лошадей, пишут первые в мире стихотворные рекламы и продают километры ситца и тонны сигар.

В 1899 году его пригласили в Уиннемак читать бактериологию на медицинском факультете, и здесь он тянул лямку двенадцать лет. Никогда не говорил он о достижениях того рода, что зовутся практическими; никогда не уставал воевать против выводов, основанных на post hoc — propter hoc, к которым до сих пор сводится почти весь багаж медицинских знаний; никогда не упускал случая навлечь на себя ненависть своих коллег, которые в лицо были с ним почтительны, чувствуя себя неуютно перед силой его иронии, но за спиной злорадно называли его мефистофелем, поклонником дьявола, отравителем радости, пессимистом, критиком-разрушителем, дерзким циником, ученым наглецом, лишенным достоинства и серьезности, снобом, пацифистом, анархистом, атеистом, жидом. Они утверждали, и не без основания, что в своей преданности чистой науке, искусству для искусства, он предпочтет, чтоб людей убивали правильной терапией, а не вылечивали бы неправильной. Построив храм для человечества, он в нем не отвел места человеку.

Общее число его статей в деятельном научном царстве, где умные люди печатаются пять раз в год, не превышало двадцати пяти за тридцать лет работы. Все они отличались удивительной законченностью, его опыты все были с легкостью воспроизведены недоверчивыми критиками, и все выводы подтвердились.

Могалис прельщал его широкими возможностями для работы, превосходными ассистентами, неиссякаемой стеклянной посудой, множеством морских свинок, достаточным количеством обезьян; но надоедала рутина преподавания, и снова томило отсутствие понимающих друзей. Всегда искал он кого-нибудь, с кем бы мог говорить, откинув подозрения и осторожность. Он раздумывал о том, как превозносят врачей, смелых от невежества, или изобретателей, которые на деле только «лудильщики от науки», и, не чуждый человеческим слабостям, злился на свою безвестность в Америке, даже в Могалисе, и сетовал не слишком благородно.

Он никогда не обедал с герцогинями, никогда не получал премий, никогда не давал интервью, никогда не публиковал работ, до-

---

[1] «В стекле» *(лат.)* — то есть в пробирке, в лаборатории.

ступных пониманию публики, никогда со времени школьных любовных увлечений не переживал ничего такого, что приличные люди могли бы счесть романтическим. Он был в самом деле доподлинный ученый.

Он принадлежал к числу великих благодетелей человечества. В будущем, столетия спустя, какие бы ни делались попытки пресечь большие эпидемии или мелкие инфекции, неизбежно скажется в этом влияние работ Макса Готлиба, потому что он был не из тех, кто только аккуратно классифицирует микробов и простейших, прикрепляя к ним ярлычки. Он вникал в их химию, в законы их существования и гибели — основные законы, большей частью остававшиеся нераскрытыми, несмотря на неустанную работу целого поколения биологов. Но правы были те, кто называл его пессимистом, ибо этот человек, которому, более чем всякому другому, мы будем обязаны почти полным исчезновением заразных болезней,— этот человек часто сомневался, стоит ли вообще бороться с заразой.

Он полагал (возник международный спор, в котором к нему примкнули единицы, а сотни его осудили, что пять-шесть поколений, избавленных от эпидемий, создадут племя людей с крайне слабым естественным иммунитетом и в результате чумная или другая зараза, «почти исчезнувшая», может внезапно разрастись в грозовую тучу и пройти ураганом по всей земле, так что те самые меры к спасению жизней, которым он отдает свой гений, могут в конечном счете привести к гибели всего человечества.

Он думал: если наука и общественная гигиена уничтожат туберкулез и прочие тяжелые болезни, мир с жестокой неизбежностью окажется так перенаселен, превратится в такую смрадную яму всеобщего рабства, что вся красота, и покой, и мудрость исчезнут в подгоняемой голодом драке за существование. Однако такие мысли никогда не мешали его работе. Если в будущем грозит перенаселение, будущее должно само себя обеспечить искусственным сокращением рождаемости или иными мерами. «И, вероятно, обеспечит!» — размышлял он. Но даже и эта последняя капля здорового оптимизма исчезала в конечных его сомнениях. Ибо он сомневался в каком бы то ни было развитии ума и чувства и сомневался больше всего в превосходстве богоподобного человека над веселыми собаками, безупречно грациозными кошками, чуждыми морали, суете и религии лошадьми, гордо-отважными чайками.

В то время как врачи-шарлатаны, фабриканты патентованных лекарств, торговцы жевательной резиной и первосвященники рекламы жили в больших домах, окруженные слугами, и разъезжали не иначе, как в лимузине, Макс Готлиб ютился в покосившемся домике с облупленной штукатуркой и ездил в лабораторию на ста-

ром, скрипучем велосипеде. Сам Готлиб не часто жаловался. Он обычно не был так неразумен, чтобы требовать для себя и свободы, и плодов порабощения народа. «Что ж,— сказал он однажды Мартину,— разве мир обязан платить мне за то, что я делаю, что хочу и что ему не нужно?»

Пусть в доме его было лишь одно удобное кресло,— зато на столе у него лежали письма, длинные, дружеские и почтительные, от великих людей Франции и Германии, Италии и Дании, от ученых, которых Великобритания так ценит, что дает им титулы почти столь же высокие, как те, какими она награждает винокуров, папиросных фабрикантов, издателей бульварных газет.

Но бедность не позволяла осуществить томившее его летом желание посидеть под тополями над Рейном или над тихой Сеной, за столиком, покрытым клетчатой скатертью, а на скатерти хлеб, и сыр, и вино, и темные вишни — простая, древняя отрада мира.

2

Жена Макса Готлиба была толста, медлительна и бессловесна; к шестидесяти годам она так и не выучилась свободно говорить по-английски; а немецкий ее язык был языком провинциальных бюргеров, которые платят свои долги, объедаются и приобретают багровый румянец. Если он не поверял ей своих дум, если за столом он забывал о ней, погрузившись в долгие размышления, то все же он не был с нею груб или придирчив и привык, что она ведет хозяйство и греет ему его старомодный шлафрок. Последнее время она прихварывала. Мучилась тошнотой, несварением желудка, но не оставляла своей работы. Вечно было слышно, как шаркают по дому ее старые комнатные туфли.

У Готлиба было от нее трое детей, которые все родились, когда ему уже перевалило за тридцать восемь лет. Мириам, младшая, была пылкой, музыкально одаренной девочкой, она любила и понимала Бетховена и не терпела популярный в Америке «регтайм»; старшая дочь ничего собой не представляла; а сын Роберт — Роберт Кох Готлиб — приводил родителей в отчаяние. Не останавливаясь перед высокой платой, они скрепя сердце отдали его в фешенебельную школу под Зенитом, где он дружил с сыновьями фабрикантов и приобрел вкус к быстрой езде на авто и щегольской одежде, но отнюдь не приобрел вкуса к занятиям. Дома он кричал, что отец у него «скряга». Когда Готлиб пробовал разъяснить, что он беден, мальчик отвечал, что, несмотря на бедность, он ведь тратит тайком деньги на опыты, хоть и не имеет права это делать и позорить своего сына,— пусть треклятый университет снабжает своего профессора материалами!

3

Большинство студентов Макса Готлиба видело в его предмете только барьер, через который нужно как можно скорей перескочить. Лишь немногие являли собой исключение. Среди этих немногих был Мартин Эроусмит.

Как ни резко указывал он Мартину на его ошибки, как ни высокомерно он, казалось, игнорировал его преданность, Мартин для Готлиба значил не меньше, чем Готлиб для Мартина. Он строил широкие замыслы. Если Мартин действительно желает его помощи (Готлиб умел быть настолько же скромным в личных вопросах, насколько был эгоцентричен и заносчив в научном соревновании), карьера этого мальчика будет его собственной карьерой. Если Мартин ставил мелкие самостоятельные опыты, Готлиб радовался его постоянной готовности порвать с общепринятыми — и удобными — теориями иммунологии и ожесточенному тщанию, с которым он выверял результаты. Когда Мартин по неведомым причинам стал небрежен, когда он, очевидно, запил, очевидно, запутался в какой-то глупой личной истории, только трагический голод по дружбе и пламенное преклонение перед превосходной работой побудили Готлиба накричать на него. О том, что Сильва требует извинений, он не имел и понятия. Это его привело бы в ярость...

Он ждал, что Мартин вернется. Он ругал самого себя: «Старый дурак! У юноши тонкая душевная организация. Ты должен был знать, что нельзя мешать уголь платиновой проволочкой». Он, сколько мог (пока Мартин мыл посуду в ресторанах и скитался в невероятных поездах между немыслимыми городами), оттягивал назначение нового ассистента. Потом его печаль охладилась в злобу. Он стал считать Мартина изменником и выбросил его из своих мыслей.

4

Макс Готлиб был, возможно, гением. Он, несомненно, был безумец, как всякий гений. Пока Мартин проходил стаж в Зенитской больнице, Готлиб затеял нечто более нелепое, чем все предрассудки, над которыми сам издевался.

Он попробовал стать чиновником и реформатором! Он, циник и анархист, задумал основать институт и приступил к этому, как старая дева, организующая Лигу оберегания мальчиков от усвоения дурных слов.

Он считал, что должна быть на свете такая медицинская школа, которая была бы вполне научной, ставила бы во главу угла точное знание — биологию и химию, с их количественным методом,

а подбор очков и значительную часть хирургии не признавала бы вовсе. Далее он полагал, что такое предприятие можно осуществить при Уиннемакском университете! И он попробовал подойти к делу практически. Он был чрезвычайно практичен и деловит!

— Да, мы не сможем готовить врачей, способных лечить по деревням от поноса,— допускаю. Обыкновенные врачи достойны удивления и совершенно необходимы — возможно. Но их и без того слишком много. А «практическая» сторона такова: вы даете мне на двадцать лет школу, которая будет точной и осторожной, и мы научимся излечивать диабет, а может быть, туберкулез и рак, и всякие артриты и прочие штуки, которые сапожники, покачивая головой, называют «ревматизмом». So! [1]

Он вовсе не желал руководить такой школой, не искал почета: Он был слишком занят. Но на конференции Американской академии наук он познакомился с неким доктором Энтвайлом, молодым гарвардским физиологом, из которого вышел бы отличный декан. Энтвайл восторгался Готлибом и выспрашивал, как бы он отнесся к приглашению в Гарвард. Когда Готлиб обрисовал свой новый тип медицинской школы, Энтвайл загорелся. «Ничего бы я так не желал, как применить свои силы в подобном деле»,— рассыпался он, и Готлиб вернулся в Могалис триумфатором. Он чувствовал себя тем более уверенно, что ему в это время предложили (правда, он с насмешкой отклонил предложение) пост декана на медицинском отделении университета Западной Чиппевы.

Он был так простодушен, или так безумен, что написал декану Сильве вежливое предложение отступиться и передать свой факультет — свое детище, свою жизнь! — неведомому гарвардскому доценту. Доктор Сильва был обходительным старым джентльменом, достойным учеником Ослера, но это невероятное письмо истощило его терпение. Он ответил, что хоть он и ценит исследования первооснов, однако медицинский факультет принадлежит гражданам штата, и его задача — обеспечить граждан немедленной и практической медицинской помощью. Что же касается лично его, Сильвы, заявлял он далее, если бы он пришел к убеждению, что факультету пойдет на пользу его отставка, он бы тотчас устранился, но для этого нужны более веские основания, нежели письмо от одного из его подчиненных!

Готлиб возразил горячо и нескромно. Он посылал к черту граждан штата Уиннемак. Стоят ли они, при их ничтожестве и тупости, хоть какой-либо помощи? Он непростительно обратился с апелляцией через голову Сильвы к великому оратору и патриоту, доктору Горацию Грили Траскотту, ректору университета.

---

[1] Так-то! *(нем.)*

Ректор Траскотт сказал:

— Право же, я слишком загружен делами, чтобы вникать в химерические проекты, как бы ни были они остроумны.

— Вы слишком заняты, чтобы вникать во что бы то ни было, кроме продажи миллионерам научных степеней honoris causa за устройство гимнастических зал,— ответил Готлиб.

На следующий день его вызвали на экстренное заседание университетского совета. Как руководитель кафедры бактериологии, Готлиб был членом этого верховного органа, и, когда он вошел в длинный зал совета с его раззолоченным потолком, тяжелыми красно-коричневыми занавесами, сумрачными портретами пионеров, он направился к своему обычному месту, не замечая перешептывания, поглощенный мыслями о далеких вещах.

— Э-э, гм, профессор Готлиб, будьте любезны сесть у того конца стола,— сказал ректор Траскотт.

Только теперь Готлиб заметил общую напряженность. Он увидел, что в зале присутствуют четверо из семи членов Совета попечителей, проживающих в Зените или под Зенитом. Увидел, что рядом с Траскоттом сидит не ученый секретарь, а декан Сильва. Увидел, что среди непринужденного, казалось бы, разговора все члены совета поглядывают на него.

Председатель ректор Траскотт объявил:

— Джентльмены, настоящему объединенному заседанию нашего совета и Совета попечителей надлежит рассмотреть обвинения против профессора Макса Готлиба, выдвинутые его деканом и мною.

Готлиб точно сразу постарел.

— Эти обвинения таковы: неподчинение авторитету своего декана, своего ректора и попечителей. Измена интересам штата Уиннемак. Нарушение общепризнанной врачебной и университетской этики. Безграничный эгоцентризм. Атеизм. Упорное нежелание сработаться со своими коллегами и такая неспособность разбираться в практических делах, что становится опасным оставлять за ним руководство вверенными ему важными лабораториями и ведение кафедры. Джентльмены, каждый из этих пунктов я докажу теперь на основании собственноручных писем профессора Готлиба к декану Сильве.

И доказал.

— Готлиб,— сказал председатель Совета попечителей,— я думаю, дело будет проще, если вы сейчас же подадите нам прошение об отставке и позволите нам расстаться по-хорошему, не заставляя нас исполнить неприятную...

— Разрази меня гром, если я подам в отставку! — Готлиб поднялся в бледном бешенстве.— Потому что у всех у вас мозгов,

как у школьника, как у футбольной команды, вы искажаете мое предложение, очень точно выраженное предложение, о здоровом революционном идеале, которое лично для меня не предусматривает никакой пользы или выгоды, искажаете его в желании добиться продвижения. Эти дураки судят о чести!..— Его длинный указательный палец рыболовным крючком тянулся за душой ректора Траскотта.— Нет, я не подам в отставку! Можете меня вышвырнуть!

— В таком случае, боюсь, мы должны попросить вас оставить зал, пока мы проведем голосование.— Голос у ректора был странно сладок для такого крупного, сильного и крепкого человека.

Готлиб укатил на своем расхлябанном велосипеде в лабораторию. Что «его отставка принята», ему сообщила по телефону развязная секретарша ректорской канцелярии.

Он терзался: «Уволить меня? Невозможно! Я главная гордость, единственная гордость этой школы лавочников!» Когда он понял, что его так-таки уволили, ему стало стыдно: зачем он дал им такую возможность! Но всего огорчительней было то, что ради попытки стать администратором он прервал священную свою работу.

Ему нужны были душевный покой и лаборатория, нужны немедленно.

Он их оставит в дураках! То-то у них вытянутся лица, когда они услышат, что его приглашает Гарвард!

Его тянуло к зрелой цивилизации Кембриджа и Бостона, зачем он оставался так долго в этом варварском Могалисе? Он написал доктору Энтвайлу, давая понять, что охотно примет приглашение. Он ждал телеграммы. Прождал неделю, потом пришло от Энтвайла длинное письмо, в котором тот признавался, что несколько преждевременно говорил от лица Гарвардского факультетского совета. Теперь он от имени совета передавал Готлибу привет и выражал надежду, что, может быть, со временем Гарвард будет иметь честь числить его в своих рядах, но при настоящем положении вещей...

Готлиб написал в Западную Чиппеву, что в конце концов готов подумать о принятии руководства медицинским факультетом, и получил ответ, что вакансия уже занята, что им не очень понравился тон его первого письма и что они «считают дальнейшие переговоры излишними».

В шестьдесят один год Готлиб имел сбережений всего лишь несколько сот долларов — буквально несколько сот. Как любой получивший расчет каменщик, он должен был найти работу или уме-

реть с голоду. Он больше не был гением, негодующим из-за перерыва в творческом труде, он был жалкий, разжалованный учитель.

В своем коричневом домике он скитался по комнатам, перебирал бумаги, глядел на жену, глядел на старые картины, глядел в пустоту. Ему оставался еще месяц преподавания — написанное за него прошение об отставке было помечено датой на несколько недель вперед,— но он был слишком подавлен, чтобы ходить в лабораторию. Он чувствовал себя не на месте, даже, может быть, не совсем в безопасности. Его былая уверенность, сломленная, превратилась в жалость к самому себе. Он ждал от почты до почты. Непременно придет помощь от кого-нибудь, кто знает, что он такое, каковы его замыслы. Приходило много дружеских писем о научных исканиях, но те люди, с которыми он переписывался, не слушали пересудов об университетских дрязгах и не знали о его нужде.

После гарвардской неудачи и отказа Западной Чиппевы Готлиб больше не мог стучаться в университеты или научные институты, а гордость не позволяла ему писать просительные письма к людям, которые его почитали. Нет, надо действовать по-деловому! Он обратился в чикагское агентство преподавателей и получил официальное письмо, которым ему обещали «что-нибудь присмотреть» и спрашивали, не согласится ли он взять должность учителя физики и химии в пригородной средней школе.

Не успел он несколько оправиться от бешенства, чтоб написать ответ, как весь его домашний уклад сокрушила тяжелая болезнь жены.

Миссис Готлиб уже много месяцев чувствовала недомогание. Он убеждал ее показаться врачу, но она отказывалась, и все это время ее неотступно преследовал страх, что это рак желудка. Теперь, когда у нее открылась кровавая рвота, она кинулась к мужу за помощью. Готлиб, смеявшийся всегда над медицинскими credo «ремесленников» и «торговцев пилюлями», давно забыл все, что знал по диагностике, и когда ему самому или кому-нибудь в его семье случалось заболеть, он в такой же растерянности звал врача, как любой захолустный невежда, для которого болезнь была черной злобой неведомых демонов.

В своей невероятной простоте он считал, что его ссора с Сильвой не носила личного характера, что он его может позвать, и на этот раз не ошибся. Сильва пришел, преисполненный благодушия, посмеиваясь про себя: «Когда случилась беда, он прибегает не к Аррениусу или Жаку Лёбу, а ко мне!» Маленький человек принес в этот утлый дом силу, и Готлиб доверчиво смотрел на него с высоты своего роста.

Больную мучили боли. Сильва назначил ей морфий. Не без тайной радости убедился он, что Готлиб не знает даже дозы. Выстукал ее, обследовал своими пухлыми руками, такими же чувствительными, если не такими же точными, как сухие длинные пальцы Готлиба. Он обвел глазами душную спальню: темно-зеленые гардины, распятье на приземистом комоде, с цветной литографии глядит добродетельно-сладострастная дева. Его преследовало ощущение, точно он был недавно в этой комнате. Потом вспомнил. Она была двойником унылой комнаты немца-бакалейщика, куда его вызывали на консилиум месяц тому назад.

Он говорил с Готлибом не как с коллегой или врагом, а как с пациентом, которого надо ободрить.

— Никакой опухоли тут, по-моему, нет. Как вам, конечно, известно, доктор, опухоль дала бы о себе знать изменением нижней границы ребер и поверхности живота при глубоком дыхании.

— Да-а, да.

— По-моему, вам нечего беспокоиться. Мы, самое лучшее, заберем ее в университетскую клинику, дадим ей пробный завтрак, просветим рентгеном и поищем, нет ли тут бациллы Боас-Опплера.

Ее забрали. Снесли, тяжелую, безучастную, по лестнице домика. Готлиб был при ней. Любит ли он ее или нет, способен ли он на обычную домашнюю привязанность, нельзя было разобрать. Необходимость обратиться к декану Сильве ущемила его веру в собственную мудрость. Это была последняя обида, более изощренная и более чувствительная, чем предложение преподавать химию школьникам. Когда он сидел у больничной койки, темное лицо его ничего не выражало, и морщины на этой маске углубила, может быть, печаль, а может быть, страх... И неизвестно, как в спокойные и невозмутимые годы смотрел он на женино распятье, которое Сильва приметил в спальне на комоде,— расписное гипсовое распятье на шкатулке, украшенной позолоченными ракушками.

Сильва поставил предположительный диагноз язвы желудка и назначил соответственную диету — легкую пищу частыми и небольшими приемами. Больная поправилась, но пролежала в клинике целый месяц, и Готлиб мучился вопросом: «Не обманывают ли врачи? Может быть, все-таки рак, и они со своей профессиональной мистикой скрывают это от меня, непосвященного?»

Лишенный ее молчаливо-успокоительного присутствия, к которому привык за долгую вереницу усталых вечеров, он сердился на дочерей, приходил в отчаяние от их шумных упражнений на рояле, их неуменья добиться толку от неряхи служанки. Когда те укладывались спать, он сидел один в бледном свете лампы и не

двигался, не читал. Он был ошеломлен. Его высокомерное «я» было подобно барону-разбойнику, попавшему в руки возмутившихся вилланов: он согнулся под грязной ношей, гордые глаза увлажнены, и в них терпение безнадежности, рука, державшая меч, обрублена, и по гноящемуся запястью ползают бесстыдные мухи.

И вот об эту пору он встретил на улице в Зените Мартина и Леору.

Он не оглянулся, когда они прошли мимо, но весь этот день он думал о них. «Может быть, эта девушка как раз и отняла Мартина у меня... у науки! Нет! Мальчик прав. Каждый видит, что постигает таких глупцов, как я!»

На другой день, после того как Мартин и Леора, распевая песни, двинулись в Уитсильванию, Готлиб поехал в Чикаго — лично поговорить в агентстве преподавателей.

Учреждением этим руководил бойкий человечек, в прошлом окружной школьный инспектор. Он не проявил большого интереса к посетителю. Готлиб вышел из себя:

— Вы действительно стараетесь подыскивать места для преподавателей или только рассылаете циркуляры ради собственной забавы? Вы просмотрели мой формуляр? Знаете вы, кто я?

Агент загремел:

— О, мы знаем, знаем отлично! Я не знал, когда писал вам в первый раз, но... У вас, как я понимаю, большой лабораторный стаж, хотя вы, по-видимому, ничего не дали медицине. Мы хотели предоставить вам возможность, за которую ухватился бы всякий, не только вы. Джон Эдтут, оклахомский нефтяной король, решил основать университет, который оборудованием, капиталовложением и своеобразием забьет все, что когда-либо затевалось в деле образования,— самый большой гимнастический зал в мире! Экс-чемпион Нью-Йорка тренером по бейсболу! Мы думали устроить вас туда по кафедре бактериологии или физиологии — вы, я полагаю, справились бы и с нею, если бы немного подзанялись. Но мы навели справки. Через наших добрых друзей в Уиннемаке. И выяснили, что вам нельзя доверить сколько-нибудь ответственный пост. Ведь вас уволили как не справившегося с работой! Но теперь, когда вы получили урок... Считаете вы, что могли бы взять на себя преподавание практической гигиены в университете Эдтута?

Готлиб от негодования забыл английский язык, и так как все его ругательства были произнесены сухим трескучим голосом на немецком студенческом жаргоне, сцена показалась в общем очень потешной зубоскалу-бухгалтеру и стенографисткам. Выйдя на улицу, Макс Готлиб тихо побрел, сам не зная куда, и в глазах его дрожали старческие слезы.

ГЛАВА XIII

1

В медицинском мире никто искренней Готлиба не возмущался торгашеством некоторых крупных фармацевтических фирм, в особенности питтсбургской фирмы «Досон Т. Ханзикер и К⁰». Это была старая и «честная» фирма, которая вела дела исключительно или почти исключительно с почтенными врачами. Она поставляла превосходные сыворотки против дифтерии и столбняка, а также чистейшие, официально одобренные препараты с самыми простыми официального вида наклейками на щеголевато скромных коричневых пузырьках. Готлиб утверждал, что фирма эта производит сомнительные вакцины, однако, вернувшись из Чикаго, он написал Досону Ханзикеру, что утратил интерес к преподаванию и согласился бы работать в его предприятии половину рабочего дня, если ему остальное время разрешат пользоваться лабораториями для научной работы, которая может оказаться очень важной.

Письмо ушло. Готлиб сидел в кресле и думал вслух. Он был явно не совсем в своем уме:

— Образование! Величайший в мире гимнастический зал! Нельзя доверить ответственный пост... Не могу я больше преподавать. Но Ханзикер посмеется надо мною. Я сказал о нем правду, и мне придется... Боже мой, что же мне делать?

В это тихое исступление, когда дочери пугливо поглядывали в дверь на отца, плавной поступью вошла надежда.

Зазвонил телефон. Готлиб не ответил. На третий раздраженный звонок он снял трубку и пробурчал:

— Да, да, в чем дело?

Гнусавый и безучастный голос:

— Это М.-Ц. Готлиб?

— Доктор Готлиб!

— Ага! Как видно, это оно и есть. Не отходите. Вас вызывают по междугородному.

Затем раздалось:

— Профессор Готлиб? Говорит Досон Ханзикер. Из Питтсбурга. Милый друг, мы с великой радостью примем вас в свои ряды...

— Да... Но я...

— Вы, кажется, критиковали фармацевтические фирмы — о, мы очень внимательно читаем вырезки! — но мы убеждены, что, когда вы явитесь к нам и лучше поймете дух нашей старинной фирмы, вы станете ее поклонником. Кстати, надеюсь, я не вторгся не вовремя?

Так, с расстояния в несколько сот миль, из сине-золотой гостиной своей виллы в Севикли, Ханзикер говорил Максу Готлибу, сидевшему в залатанном кресле, и Готлиб проскрипел с отчаянным усилием соблюсти достоинство:

— Нет, ничефо.

— Отлично. Мы с радостью предложим вам, для начала, пять тысяч долларов, и мы не возражаем насчет половинного дня. Мы вам предоставим помещение, технические силы и материалы — все, что вам понадобится, а вы идите своим путем, не считаясь с нами, и разрабатывайте те вопросы, какие полагаете важными. Единственное наше требование: если вы найдете какую-нибудь сыворотку, которая представит действительно мировую ценность, мы оставляем за собою право изготовлять ее, а если это причинит нам убытки — несущественно. Мы не прочь честно заработать, где можно, но главная наша цель — служение человечеству. Конечно, если сыворотка окажется доходной, мы будем только рады предоставить вам щедрый процент. Теперь насчет практических деталей...

2

Готлиб при тихой и глубокой ненависти к религиозным обрядам имел одну привычку, которая сильно отдавала обрядностью.

Он часто становился на колени подле своей кровати и предавался свободному течению мысли. Это было очень похоже на молитву, хотя, конечно, он при этом не призывал и не чувствовал присутствия никакого высшего существа, помимо Макса Готлиба. В эту ночь, когда он стоял на коленях и морщины на его изнуренном лице казались мягче, он думал: «Я был ослом, ругая коммерсантов! Взять этого купца — у него есть почва под ногами. Последний приказчик — и тот ценнее, чем запуганный профессор! Толковые лаборанты. Свобода! Не надо учить кретинов! Du Heiliger!» [1]

Но контракта с Досон Ханзикером у него не было.

3

«Досон Ханзикер и К⁰» поместили в медицинских журналах объявления на целую страницу, изысканным и чопорным шрифтом, уведомляя читателей, что профессор Макс Готлиб, едва ли не самый выдающийся иммунолог в мире, приступает к работе в их фирме.

---

[1] Святый боже! *(нем.)*

В своей чикагской клинике некий доктор Раунсфилд торжествовал:

— Вот к чему приходят эти сверхумники. Простите, если кажется, что я злорадствую.

В лабораториях Эрлиха и Ру, Борде и сэра Дэвида Брюса сокрушенно вздыхали:

— Как мог старый Макс перейти в лагерь этих торговцев пилюлями? Почему не пришел он к нам? Что ж, раз он не захотел... Voilà [1]. Он умер.

В поселке Уитсильвания, в Северной Дакоте, молодой врач с возмущением изливался перед женой:

— Чтобы он... именно он... Никогда бы я не поверил! Макс Готлиб изменил и пошел к этим мошенникам!

— Ну и что же! — сказала его жена.— Если он связался с деловым миром, значит, имел на то причины. Я тебе уже сказала раз: для него я ушла бы от...

— Что ж! — вздохнул муж.— Не будем осуждать. Я очень многому научился у Готлиба, и я ему благодарен... Ах, Леора, так ужасно, что именно он оступился!

А Макс Готлиб с тремя своими детьми и бледной, еле двигающейся женой прибыл на станцию Питтсбург, волоча обшарпанную корзину, эмигрантский тюк и купленный на Бонд-стрит чемодан. Из поезда он глядел на горделивые утесы, на дымный блеск реки, и сердце его молодело. Вот где пламенная предприимчивость — не плоская земля и плоские умы Уиннемака. У входа на вокзал каждое замызганное такси как будто сияло ему навстречу, и он пошел вперед победителем.

4

В большом доме, принадлежавшем Досону Ханзикеру и К°, Готлиб нашел такие лаборатории, о каких он и не мечтал, помогали ему не студенты, а специалист, сам преподававший бактериологию, и три проворных лаборанта, один из которых прошел немецкую школу. Готлиба с шумными приветствиями приняли в личном кабинете Ханзикера, удивительно похожем на кафедральный собор в миниатюре. Лысый череп Ханзикера принадлежал дельцу, глаза же, защищенные черепаховыми очками, были полны чувства. Он встал из-за письменного стола à la XVII век, предложил Готлибу гаванскую сигару и сказал, что ждал его с трепетным нетерпением.

---

[1] Вот вам *(франц.)*.

В огромной столовой для персонала Готлибу представили чуть не сотню дельных молодых химиков и биологов, которые встретили его почтительно. Они ему понравились. Пусть они говорили слишком много о деньгах — почем должна продаваться новая хинная настойка и скоро ли им повысят жалованье,— зато они были свободны от напускной важности университетских преподавателей. В свои студенческие годы юный Макс умел весело смеяться, и теперь в бурных спорах к нему возвратился смех.

Жена его как будто поправлялась; дочь Мириам нашла превосходного учителя музыки; сын Роберт поступил с осени в колледж; жили они в просторном, хоть и ветхом доме; отрадно было освободиться от нудной, из года в год повторяемой неизбежной рутины преподавания; никогда в жизни Готлибу так хорошо не работалось. Он не ведал ни о чем, что творилось за стенами его лабораторий, только изредка ходил в театр или на концерт.

Прошло шесть месяцев, пока он осознал, что его молодых помощников задевает то, что сам он считал шутливыми выпадами против их меркантилизма. Им надоело его вечное рвение к математической стройности, и многие из них видели в нем скучного педанта и звали его между собой старым евреем. Его это огорчало, потому что он любил пошутить со своими сотрудниками. Он начал задавать вопросы и обследовать ханзикеровское здание. До сих пор он, кроме своей лаборатории, видел только столовую, два-три коридора да кабинет Досона Ханзикера.

При всей его рассеянности и непрактичности из Готлиба мог бы выйти отличный Шерлок Холмс,— когда бы хоть один человек, годный в Шерлоки Холмсы, согласился стать сыщиком. Его мысль огнем прожигала путь от видимого к действительному. Он теперь обнаружил, что «Досон Ханзикер и К⁰» — то самое, чем он их считал в прежние дни. Они действительно давали великолепные антитоксины и вполне доброкачественные препараты, но производили также и новое «средство от рака», изготовленное из орхидеи, рекомендованное всякими высокими лицами и обладающее такой же целебной силой, как тина или мусор. Всевозможным широко рекламируемым «кабинетам красоты» они продавали миллионы флаконов крема для лица, который с полной гарантией превращает любого канадского проводника-индейца в лилейно-нежного ангела. Флакон этого сокровища обходился фирме в шесть центов, а покупателю в доллар, и с ним никогда не связывалось имя Досона Ханзикера.

К этому времени Готлиб, после двадцатилетних исканий, достиг успеха в своей основной работе. Он получил антитоксин в пробирке, открывая этим возможность иммунизировать человека против ряда болезней без скучного добывания сыворотки путем

иммунизации животных. Это означало революцию, революцию в иммунологии... если он не ошибся.

Он выдал свою тайну за обедом, на который Ханзикер залучил одного генерала, ректора одного колледжа и одного пионера-авиатора. Обед был дорогой, с превосходным рейнвейном — впервые за долгие годы Готлиб отведал приличного немецкого вина. С нежностью поворачивал он стройный зеленый бокал; он очнулся от своего полусна и стал возбужденным, веселым, требовательным. Его слушали с восторгом, и в течение часа он был Великим Ученым. Щедрее всех на хвалу был Ханзикер. Готлиб дивился, как втянули этого доброго лысого человека в аферу с чудотворными кремами.

На следующий день Ханзикер вызвал его к себе в кабинет. Вызов в кабинет Ханзикер обставлял очень лестно (если только вызывалась не просто какая-нибудь стенографистка). Он посылал вылощенного секретаря в визитке, который передавал привет от мистера Ханзикера гораздо менее вылощенному доктору Готлибу и с деликатностью едва распустившейся фиалки давал понять, что, если это удобно, если это нисколько не помешает опытам доктора Готлиба, мистер Ханзикер почтет за честь видеть его у себя в кабинете в четверть четвертого.

Когда Готлиб вошел не спеша, Ханзикер дал знак секретарю исчезнуть и пододвинул к столу высокое кожаное кресло.

— Я полночи не мог уснуть, думая о вашем открытии, доктор Готлиб. Я переговорил с техническим директором и с заведующим торговым сектором, и мы решили, что надо ковать, пока горячо. Мы выберем патент на ваш метод синтезирования антител и немедленно выпустим их на рынок в большом количестве, с широким, понимаете, оповещением — не для рекламы, конечно, нет — строгого тона оповещение этического характера. Начнем с антидифтерийной сыворотки. Кстати, когда вы получите ваш очередной чек, вы увидите, что мы повысили вам оклад до семи тысяч в год.— Ханзикер сидел теперь большим мурлыкающим котом, а Готлиб был мертвенно-тих.— Нужно ли говорить, дорогой мой друг, что, если спрос оправдывает наши ожидания, вы получите весьма солидный доход на процентных отчислениях!

Ханзикер откинулся на спинку кресла, точно говоря: «Такого великолепия вы и не ждали, голубчик?»

Готлиб нервно заговорил:

— Я не могу одобрить патентование серологических процессов. Они должны быть открыты всем лабораториям. И я решительный враг преждевременного пуска в производство или хотя бы оглашения. Я думаю, что не ошибся, но я должен проверить себя в смысле техники — может быть, внести поправки, прийти к

уверенности. Тогда, я полагаю, не будет никаких препятствий к рыночному производству, но в оч-чень малых количествах и в честной конкуренции с другими, без патента — это ведь не торговля елочными украшениями!

— Дорогой мой друг, я вам вполне сочувствую. Лично я ничего бы так не желал, как отдать всю свою жизнь на осуществление одного бесценного научного открытия, не рассчитывая ни на какой барыш. Но мы взяли на себя обязательство перед пайщиками акционерного общества «Досон Ханзикер и К⁰» зарабатывать для них деньги. Вы понимаете, наши пайщики — а сколько среди них бедных вдов и сирот! — вложили в наше дело все свое скромное достояние, и мы должны оправдать их доверие. У меня нет никакой власти. Я только их Смиренный Слуга. А с другой стороны, мне кажется, мы хорошо обошлись с вами, доктор Готлиб, предоставили вам полную свободу. Мы и впредь будем стараться, чтобы вам было у нас хорошо! Да что там, друг мой, вы будете богаты; вы станете одним из нас! Я не хочу предъявлять требований, но долг велит мне настаивать на этом пункте, и я жду, что вы возможно скорее приступите к изготовлению...

Готлибу было шестьдесят два года. Уиннемакское поражение подточило его мужество... И у него не было с Ханзикером контракта.

Он неуверенно возражал, но когда приполз назад в свою лабораторию, ему показалось невозможным оставить это святилище и выйти навстречу беспощадному крикливому миру, и столь же невозможным казалось мириться с опошленным и недейственным суррогатом своего антитоксина. С этого часа он повел тактику, которую в своей былой гордости сам назвал бы непостижимой: принялся хитрить, оттягивать рекламу и фабрикацию своего антитоксина до «выяснения некоторых пунктов», между тем как с недели на неделю Ханзикер наседал все грознее. Готлиб тем временем готовился к катастрофе. Он перевел семью в квартиру поменьше и отказался от всякой роскоши, даже бросил курить.

Наводя экономию, он сократил выдачи сыну.

Роберт был коренастый, смуглый, буйного нрава мальчик, дерзкий там, где, казалось бы, не было основания к дерзости. По нем вздыхали малокровные, молочно-белые девицы, он же смотрел на них с высокомерием. В то время как его отец то с гордостью, то с мягкой иронией говорил о своей еврейской крови, мальчик уверял товарищей по колледжу в своем чисто германском и будто бы даже аристократическом происхождении. Его благосклонно — или почти что благосклонно — приняли в компанию молодежи, разъезжавшей на автомобилях, игравшей в покер, устраивавшей пикники, и ему не хватало карманных денег.

У Готлиба пропало со стола двадцать долларов. Высмеивая условные понятия о чести, Макс Готлиб обладал честью и гордостью нелюдимого старого дворянина-помещика. К постоянному унижению от необходимости обманывать Ханзикера прибавилось новое горе. Он спросил в упор:

— Роберт, ты взял деньги у меня со стола?

Не каждый юноша мог бы глядеть прямо в это орлиное горбоносое лицо, в гневные, налитые кровью запавшие глаза. Роберт забормотал что-то невнятное, потом прокричал:

— Да, взял! И мне понадобится еще! Мне нужны костюмы и разные мелочи. Вы сами виноваты. Вы меня отдали в школу, где у всех учеников денег столько, что девать некуда, и хотите, чтоб я одевался, как нищий.

— Воровать...

— Вздор! Подумаешь — воровать! Ты всегда смеялся над проповедниками, которые кричат о грехе, о правде и о честности и до того истрепали эти слова, что они утратили всякий смысл и... Плевать мне на них! Дос Ханзикер, сын старика Ханзикера, говорил мне со слов отца, что ты мог бы стать миллионером, а ты держишь нас в таких тисках, да еще когда мама больна... Позволь мне тебе сказать, что в Могалисе мама чуть не каждую неделю давала мне потихоньку два-три доллара, и... Мне это осточертело! Если ты намерен рядить меня в отрепья, я брошу колледж!

Готлиб бесновался, но в его ярости не было силы. Добрых две недели он не знал, как поступит его сын, как поступит он сам.

Потом так тихо, что, только вернувшись с кладбища, они осознали ее смерть, скончалась его жена, а еще через неделю старшая дочь его сбежала с повесой, который жил картежной игрой.

Готлиб сидел в одиночестве. Снова и снова перечитывал он Книгу Иова.

— Воистину господь поразил меня и дом мой,— шептал он.

Когда Роберт вошел, бормоча, что исправится, старик, не слыша, поднял на него незрячие глаза. Однако, когда повторял он притчи своих отцов, ему не приходило в голову уверовать в них или склониться в страхе перед их Богом Гнева — или обрести покой, отдав свое открытие на поругание Ханзикеру.

Немного погодя он встал и молча пошел в свою лабораторию. Его опыты производились так же тщательно, как и всегда, и его помощники не видели никакой перемены — только он больше не завтракал в ханзикеровском буфете. Он ходил за несколько кварталов в плохонький ресторан, чтобы сберечь тридцать центов в день.

Из мрака, в котором тонули окружавшие его люди, выступила Мириам.

Ей исполнилось восемнадцать. Младшая из его детей, приземистая, нисколько не красивая; хорош был в ней только нежный рот. Она всегда гордилась отцом, понимая таинственную, взыскующую власть его науки, но до сих пор смотрела на него с трепетом, когда он тяжело шагал по комнате и почти все время молчал. Она отказалась от уроков музыки, рассчитала служанку, достала поваренную книгу и стала сама готовить отцу жирные, пряные блюда, какие он любил. Она горько сожалела, что в свое время не выучилась по-немецки, потому что он теперь все чаще переходил на язык своего детства.

Он глядел на нее долгим взглядом и сказал наконец:

— So! Одна осталась со мною. Сможешь ли ты сносить бедность, если я уеду... учить детей химии в средней школе?

— Да, конечно. Я, пожалуй, могла бы играть на рояле в кино.

Если б не преданность дочери, вряд ли он на это решился бы, но когда Досон Ханзикер снова торжественно вошел в его лабораторию и объявил: «Ну, вот что! Довольно тянуть канитель. Мы решили выпустить ваше средство на рынок»,— Готлиб ответил: «Нет. Если вы согласны ждать, когда я сделаю все, что нужно — может быть, год, а возможно, и три,— тогда вы его получите. Не раньше, чем я буду вполне уверен. Нет».

Ханзикер ушел обиженный, и Готлиб стал ждать приговора.

И тут ему принесли карточку доктора А. де Уитт Табза, директора Мак-Герковского биологического института в Нью-Йорке.

Готлиб слыхал о Табзе. Он никогда не бывал в институте Мак-Герка, но считал его, после институтов Рокфеллера и Мак-Кормика, самым здоровым и свободным в Америке учреждением для чисто научной исследовательской работы; и захоти он представить себе райскую лабораторию, где ученый-праведник может провести вечность в блаженных и совершенно непрактических исследованиях, он бы создал ее в своем воображении по подобию мак-герковских лабораторий. Его порадовало, что директор института пришел его навестить.

Доктор А. де Уитт Табз был отчаянно кудлат — все, что открыто взору, у него заросло, кроме носа, висков да ладоней,— он был короток и буйно кудлат, как скотчтерьер. Но эта кудлатость не была комична; нет, она свидетельствовала о достоинстве; и глаза его глядели важно, шаг был степенно-семенящий, голос — торжественная флейта.

— Доктор Готлиб, очень рад, очень рад! Я слышал ваши доклады в Академии наук, но, к большому для меня ущербу, мне до сих пор не удавалось познакомиться с вами лично.

Готлиб старался не выдать своего смущенья.

Табз поглядел на лаборантов, как заговорщик в исторической пьесе, и намекнул:

— Нельзя ли нам поговорить...

Готлиб повел его в свой кабинет, откуда открывался широкий вид на сутолоку запасных путей, стрелок, коричневых товарных вагонов, и Табз заговорил:

— До нас дошло, по любопытной случайности, что вы стоите на пороге вашего самого значительного открытия. Когда вы оставили педагогическую работу, мы были все удивлены вашим решением вступить на коммерческое поприще. Мы сожалели, что вы не предпочли пойти к нам.

— Вы бы меня приняли? Я мог бы вовсе не идти сюда?

— Разумеется! Вы, как нам передавали, не придаете значения коммерческой стороне вещей, и это натолкнуло нас на мысль: нельзя ли вас убедить перейти к Мак-Герку? И вот я сел в первый же поезд и приехал сюда. Вы бы нас чрезвычайно обрадовали, если бы перешли в наш институт и взяли на себя руководство Отделом Бактериологии и Иммунологии. Мистер Мак-Герк и я, мы стремимся лишь к одному: способствовать развитию науки. Вам, конечно, будет предоставлена полная свобода в том, какие вести исследования, и я полагаю, в смысле технического обслуживания и материалов, мы могли бы вам доставить все, что только можно получить на свете. В отношении жалованья (разрешите мне говорить по-деловому и, может быть, слишком прямо, так как мой поезд отходит через час) вряд ли мы можем предложить вам такой крупный оклад, какой в состоянии платить вам Ханзикер и компания, но мы пошли бы на десять тысяч долларов в год...

— Ох, боже мой, что говорить о деньгах! Я буду у фас ф Нью-Йорке через неделю. Видите ли,— добавил Готлиб,— у меня с ними нет контракта!

ГЛАВА XIV

1

Весь день они катили в разбитом шарабане по широким волнам прерии. Странствию не было преград, не встречалось по пути ни холма или озера, ни города в щетине фабричных труб, и ветер овевал их струящимся солнцем.

«Эроусмит»

Мартин сказал Леоре:

— Точно всю зенитскую пыль и всю больничную корпию вымывает из легких. Дакота. Страна настоящего человека. Пограничный край. Великие возможности. Америка!

Из заросших травой овражков взлетали молоденькие куропатки. Следя, как мечутся они в пшенице, Мартин ощущал свою усыпленную солнцем душу частью великой равнины и почти освободился от того раздражения, с которым выехал из Уитсильвании.

— Если вы поедете кататься, не забудьте, что ужин ровно в шесть,— сказала миссис Тозер и подсластила свои слова улыбкой.

На Главной улице мистер Тозер сделал им ручкой и прокричал:

— Возвращайтесь к шести. Ужин ровно в шесть.

Берт Тозер выбежал из банка, как школьный учитель, выскакивающий из единственного класса своей школы, и закудахтал:

— Мой вам совет, любезные мои, непременно вернуться в шесть часов к ужину, не то старика хватит удар. Он ждет вас к ужину ровно в шесть, а когда он говорит «ровно в шесть», то это значит ровно в шесть, а не в пять минут седьмого!

— Как ни странно,— заметила Леора,— но я за двадцать два года своей жизни в Уитсильвании запомнила целых три случая, когда ужин был не ранее, как в семь минут седьмого. Надо с этим развязаться, Рыжик... Меня берет сомнение, так ли мы умно поступили, поселившись с ними вместе ради экономии?

Еще не выбравшись за черту города, они прокатили мимо Ады Квист, будущей миссис Берт Тозер, и в сонном воздухе просвистел ее голос:

— Советую вернуться к шести.

Мартин принял героическое решение.

— Мы, черт возьми, вернемся тогда, когда накатаемся, черт возьми, вдосталь! — сказал он Леоре; но над ними обоими тяготел ужас перед хором этих нудных голосов; в каждом порыве ветра звучал приказ: «Вернитесь ровно в шесть!» И они так подхлестывали лошадь, что прибыли без одиннадцати шесть, когда мистер Тозер возвращался из маслобойни — на добрых тридцать секунд позже обычного.

— Рад вас видеть дома,— сказал он.— А теперь живо ведите лошадь в стойло. Ужин в шесть — ровно!

Мартин уже настолько это переварил, что голос его звучал по-семейному, когда он сказал за ужином:

— Славно мы покатались. Я, верно, здесь приживусь. Ну так, полтора дня я гонял лодыря, пора приняться за дело. В первую голову я должен подыскать помещение для своего кабинета. Где тут что сдается, папаша Тозер?

Миссис Тозер отозвалась умильно:

— Ох, у меня чудная идея, Мартин. Почему бы вам не устроить свой кабинет в сарае? Очень для всех удобно: вы не будете опаздывать к обеду и сможете присматривать за домом, когда служанка окажется в отлучке, а мы с Ори уйдем в гости или в рукодельный кружок.

— В сарае!

— А чем плохо? В старом помещении для сбруи. Над одной половиной есть потолок, стены можно обить толем или даже фанерой.

— Мамаша Тозер, как вы полагаете, ради какого черта я сюда приехал? Что я тут должен делать? Я не конюх, чтоб стеречь вам стойла, и не мальчишка, который ищет местечка, куда бы ему припрятать птичьи яйца! Я имею в виду открыть врачебный кабинет!

Берт разрядил атмосферу:

— Ух ты! Но вы же пока не настоящий врач. Вы еще только примериваетесь.

— Я даже очень хороший врач, черт подери! Извините, мамаша Тозер, за такое слово, но... Да что там! В больнице на ночных дежурствах я держал в своих руках сотни жизней! Я намерен...

— Послушайте, Март,— сказал Берт.— Раз мы ставим монету... Я не хочу скаредничать, но в конце концов доллар есть доллар... Раз деньги наши, мы же и решаем, как их лучше тратить.

Мистер Тозер поднял задумчиво взор и беспомощно проговорил:

— Верно. Нет смысла рисковать. Проклятые фермеры дерут семь шкур за свою пшеницу и за сливки, а потом говорят, что у них нет денег, и не платят процентов по закладным. Честное слово, становится невыгодно давать ипотечные ссуды! Нечего важничать. Ясное дело, посмотреть человеку горло или прописать ушные капли вы можете с таким же успехом в маленьком, простом кабинете, как и в каком-нибудь дурацком пышном зале, разукрашенном, как питейный дом, какой-нибудь там «Венецианский Мавр». Мать позаботится устроить вам в сарае уютный уголок и...

Леора перебила:

— Слушай, папа. Я предлагаю, чтобы ты нам одолжил тысячу долларов сразу, и мы будем тратить их, как знаем.

Впечатление получилось непередаваемое.

— Мы вам дадим шесть процентов — нет, шести не дадим,— пять! Хватит и пяти.

— Ипотечные ссуды приносят шесть, семь и восемь! — с дрожью в голосе возразил Берт.

— Хватит и пяти! И никого не касается, как мы их тратим: на устройство ли кабинета или на что другое — наше дело.

Мистер Тозер начал:

— Какой-то сумасбродный способ...

Берт подхватил:

— Ори, ты с ума сошла! Нам, видно, придется ссужать вас деньгами, но вы, черт возьми, будете обращаться к нам за ними время от времени и будете, черт возьми, принимать наши советы...

Леора встала:

— Или вы сделаете, как я сказала,— в точности, как я сказала, или мы с Мартом садимся в первый же поезд и едем обратно в Зенит. Я не шучу! Там для него открыто сколько угодно вакансий с большим окладом — будем жить вполне независимо!

Разговор шел и шел — и все топтался на месте. Один раз уже Леора двинулась к лестнице, чтоб идти укладывать вещи; было и так, что Мартин и Леора стояли, размахивая салфетками, зажатыми в кулаке, и вся композиция поразительно напоминала группу Лаокоона.

Леора победила.

Спор сменился самыми мирными хлопотами.

— Вы принесли свой чемодан с вокзала? — спросил мистер Тозер.

— Нет смысла оставлять его там и платить два цента в день за хранение! — кипятился Берт.

— О чемодане я позаботился еще с утра,— сказал Мартин.

— Да, да, Мартину его доставили сегодня утром,— подтвердила миссис Тозер.

— Вам его доставили? Вы не принесли его сами? — страдал мистер Тозер.

— Нет. Я подрядил парнишку с лесного склада, и он мне его приволок,— сказал Мартин.

— Милосердие небесное, точно вы не могли привезти его сами на тачке и сберечь двадцать пять центов! — возмущался Берт.

— Но доктор должен блюсти свое достоинство,— сказала Леора.

— Достоинство! Вздор! Куда достойней на глазах у людей катить тачку, чем курить все время паршивые папиросы!

— Ну, ладно... А где вы его поставили? — спросил мистер Тозер.

— У нас в комнате,— отвечал Мартин.

— Как ты думаешь, куда нам его лучше поставить, когда его распакуют? Чердак и так забит до отказа,— обратился мистер Тозер к миссис Тозер.

— О, я думаю, Мартин найдет ему там местечко.

— А почему не поставить чемодан в сарай?

— Ах, нет, такой приличный, новый чемодан!

— Но чем плох сарай? — сказал Берт.— Там чисто и сухо. Просто стыдно оставлять втуне такое хорошее помещение... Коль вы уже решили, что Мартин не может взять его под свой драгоценный кабинет!..

— Берти,— сказала невинно Леора,— я знаю, что мы сделаем. Тебе, видно, очень полюбился этот сарай. Переведи в него свой несчастный банк, а помещение банка Мартин возьмет под кабинет.

— Банк — совсем другое дело...

— Бросьте, что вы тут друг перед дружкой куражитесь? — вмешался мистер Тозер.— Вы когда-нибудь слышали, чтобы мы с вашей матерью так ссорились и бранились? Когда вы думаете, Мартин, распаковывать свой чемодан?

Мистер Тозер мог думать о сараях и мог думать о чемоданах, но не с его умом было разрешить два столь сложных вопроса одновременно.

— Могу распаковать сегодня же, если это так важно.

— Нет, я не говорю, ничего особенно важного тут нет, но когда уже примешься за дело...

— Не понимаю, что тут важного, сейчас ли он распакует...

— Если он решил подыскивать помещение и не переезжать сразу же в сарай, не может он без конца держать вещи в чемодане и...

— О, господи, да я распакую сегодня же!

— И я думаю, мы как-нибудь устроим чемодан на чердаке...

— Говорю тебе, чердак забит до отказа...

— Мы заглянем туда после ужина...

— Опять! Да говорю ж тебе, когда я пробовал запихнуть туда лодку...

Может быть, Мартин и не заскрипел зубами, но он слышал свой зубовный скрежет. Привольный мужественный край был за сотни миль и много лет как забыт.

2

Чтобы снять помещение под врачебный кабинет, потребовалось две недели дипломатических переговоров и тонкой полемики, оживлявшей изо дня в день все три семейные трапезы. (Это не значит, что кабинет был у Тозеров единственной темой. Они детально разбирали каждую минуту прожитого Мартином дня; об-

суждали его пищеварение, письма, прогулки и сапоги, нуждавшиеся в починке; спрашивали, снес ли он их, наконец, тому фермеру, который «ладит капканы, чинит обувь», и во что обойдется ему починка, строили предположения о религиозных и политических убеждениях сапожника и о его семейной жизни.)

Мистер Тозер с самого начала имел в виду превосходное помещение. Норбломы жили над своим магазином, и мистер Тозер знал, что Норбломы думают переезжать. Когда в Уитсильвании что-нибудь случалось или должно было случиться, Тозер обязательно об этом знал и мог дать разъяснения. Жене Норблома надоела возня с хозяйством, она хотела поселиться в пансионе миссис Бисон (в комнате окнами на улицу во втором этаже, справа по коридору — знаете? — оштукатуренная комната, с красивой маленькой печкой, которую миссис Бисон купила у Отто Крэга за семь долларов и тридцать пять центов... нет, за семь с четвертью).

Зашли к Норбломам, и мистер Тозер ввернул в разговоре, что, «пожалуй, если б Норбломы когда-нибудь надумали переменить квартиру, доктору не плохо было бы устроиться над магазином...».

Норбломы обменялись долгим белесым осторожным скандинавским взглядом и промямлили, что они «не знают... конечно, лучшей квартиры в городе не найти...» — и мистер Норблом добавил, что если бы они, вопреки всякой вероятности, все-таки решились переехать, то назначили бы за квартиру (без мебели, конечно) двадцать пять долларов в месяц.

Мистер Тозер вернулся с международной конференции веселый и самодовольный, как какой-нибудь государственный секретарь Тозер в Вашингтоне или лорд Тозер в Лондоне.

— Отлично! Отлично! Мы его заставили проговориться! Он сказал — двадцать пять. Значит, когда подоспеет время, мы ему предложим восемнадцать и сойдемся на двадцати одном долларе семидесяти пяти центах. Если действовать с оглядкой, дать Норблому срок повидаться с миссис Бисон и договориться с ней насчет пансиона, мы припрем его, как захотим.

— Ох, если Норблом не решается, попробуем снять еще где-нибудь,— сказал Мартин.— За редакцией «Орла» есть несколько свободных комнат.

— Что? Искать по всему городу, когда мы уже дали Норбломам понять, что у нас серьезные намерения? Они станут нашими врагами по гроб жизни! Недурной способ обеспечить практику, а? Должен сказать, если вы теперь отступитесь от Норблома, я и сам его нимало не осужу, когда он на вас ополчится. Это вам не Зенит, где вы можете прийти и требовать, чтоб дело сделалось в две минуты!

В течение двух недель, пока Норбломы мучились над решением вопроса, который был у них давно решен, Мартин ждал и не мог приступить к работе. Он знал, что, пока не откроет приличный по всем правилам кабинет, для большинства уитсильванцев он будет не врачом, заслуживающим их доверия, а «зятем Энди Тозера». За эти две недели его пригласили только раз: к страдавшей головной болью мисс Агнес Инглблед, тетке и домоправительнице Алека Инглбледа, парикмахера. Мартин ликовал, но Берт Тозер охладил его восторг:

— Ах, так это она вас позвала? Она вечно ходит по врачам. Она ровным счетом ничем не больна, но вечно гонится за новейшими средствами. В последний раз она ухватилась за проезжего молодца, который продавал здесь с форда разные пилюли и мази, а перед тем лечилась у какого-то знахаря, сумасшедшего лоботряса с Голландской кузни, и долгое время ее пользовал остеопат в Леополисе, хотя, скажу вам, в остеопатии что-то есть, остеопаты часто вылечивают больных, от которых обыкновенные врачи отказываются и не понимают, чем они больны,— вы не согласны?

Мартин сказал, что не согласен.

— Эх вы, горе-доктора! — гаркнул Берт с самым своим благодушным видом: Берт умел иногда быть очень веселым и благодушным.— Все вы на один манер, особенно когда только что кончите курс и думаете, что знаете все на свете. Не видите ничего хорошего ни в хиропрактике, ни в электрических поясах, ни в костоправах — а все потому, что эта конкуренция отнимает у вас много звонких долларов.

И вот доктор Мартин Эроусмит, некогда бесивший Ангуса Дьюера и Эрвинга Уотерса своими насмешками над медицинской рутиной, поддерживает перед нагло ухмыляющимся Бертом Тозером авторитет всех вообще врачей, бескорыстных, вооруженных научными знаниями; уверяет, что ни одно лекарство ни разу не прописывалось зря (по крайней мере, врачом с уиннемакским дипломом), ни одна хирургическая операция не делалась без нужды.

Мартин теперь очень много виделся с Бертом. Он сидел в банке, ожидая, что его вызовут к больному, и пальцы его зудели сделать кому-нибудь перевязку. Часто заходила Ада Квист, и Берт откладывал свои подсчеты, чтобы полюбезничать с невестой.

— Теперь, Ада, вам при докторе и думать надо с опаской. Он мне тут сейчас рассказывал о своих громадных познаниях по неврологии и чтению мыслей. Да, Март! Вы меня так напугали, что я переменил комбинацию букв в замке несгораемого шкафа.

— Он? — фыркнула Ада.— Пусть дурачит кого другого, но не меня. Каждый может выучить что угодно по книжке, но когда

нужно применить знания на практике... Позвольте мне вам сказать, Март, если у вас когда-нибудь будет десятая часть тех знаний, какие накопил старый доктор Уинтер из Леополиса, то вам суждено прожить дольше, чем я думаю!

Общими усилиями они разъяснили зятю, что для джентльмена, который гордится своим зенитским лоском и считает себя «такой важной птицей, что задирает нос перед нами, жалким отродьем грязных фермеров»,— для такого джентльмена у Мартина плоховато повязан галстук.

Все свои собственные остроты и некоторые Адины Берт повторял за семейной трапезой.

— Зря ты так донимаешь мальчика. А впрочем, насчет галстука замечено остро. Мне кажется, Мартин и впрямь слишком много о себе воображает,— кудахтал мистер Тозер.

Леора после ужина отвела Мартина в сторону.

— Дорогой, ты еще в силах терпеть? Мы, как только можно будет, заживем своим домом. Или дать тягу теперь же?

— Ничего! Стерплю.

— Гм!.. Может быть. Дорогой, когда станешь бить Берта, будь осторожней — не угоди на виселицу.

Мартин вышел на парадное крыльцо. Он решил посмотреть комнаты за редакцией «Орла». Он не выдержал бы еще недели без надежного убежища от Берта. Невозможно было ждать, когда Норбломы решатся на переезд, хотя они выросли для него в грозную и вечную силу, чья враждебность должна была неминуемо его сокрушить; в чудовищных богов, витающих над Уитсильванией, которая стала единственным мыслимым миром.

В печальном вечернем свете он увидел, что по дощатому тротуару шагает человек и нерешительно на него поглядывает. Это был некто Вайс, русский еврей, известный в поселке под именем «Вайс-поляк». В своем домишке у полотна железной дороги он продавал акции серебряных рудников и автомобильных заводов, покупал и продавал земельные участки и лошадей и шкурки ондатры. Он окликнул Мартина:

— Это вы, док?

— Угу!

Мартин радостно насторожился: пациент!

— Послушайте, не пройдетесь ли вы со мной немного? Я хотел с вами кое о чем поговорить. Или, может, зашли бы ко мне. Мы бы с вами пососали новые сигары, которые я недавно получил.

Вайс сделал ударение на слове «сигары». В Северной Дакоте, как и в Могалисе, теоретически действовал сухой закон.

Мартин охотно согласился. Он так долго вел трезвую жизнь труженика!

Дом Вайса, одноэтажная, неплохо построенная хибарка, стоял в полуквартале от Главной улицы, и только полотно железной дороги отделяло его от широких пшеничных полей. Стены были обшиты сосной, запах которой приятно перебивал застоявшийся запах трубочного табака. Вайс подмигнул — он принадлежал к породе не заслуживающих доверия заговорщиков — и сказал шепотком:

— Полагаю, вы не возразите против глотка первоклассной кентуккийской?

— Особенно возражать не стану.

Вайс опустил жиденькие шторы и, открыв покоробленную дверцу письменного стола, извлек бутылку, к которой они поочередно прикладывались, отирая горлышко ладонью. Потом Вайс отрывисто заговорил:

— Вот что, док. Вы не похожи на здешних пентюхов; вы поймете, что человек иногда, сам того не желая, может впутаться в грязное дело. Короче говоря, я, кажется, продал слишком много серебряных акций, народ на меня ополчится. Мне пора сматывать удочки... черт подери... а ведь я надеялся, что на этот раз два-три года поживу спокойно, на одном месте. Так вот: вам, я слышал, нужен кабинет. Мой дом подойдет вам как нельзя лучше. Верно вам говорю! Кроме этой, сзади есть еще две ко́мнаты. Я вам сдам его с мебелью, со всею утварью за пятнадцать долларов в месяц, если вы уплатите мне за год вперед. Будьте спокойны, подвоха нет. Ваш шурин знает, дом в самом деле мой.

Мартин старался принять самый деловой тон. Разве он не молодой врач, который скоро начнет откладывать деньги на текущий счет — один из самых почтенных жителей Уитсильвании? Он вернулся домой, и в гостиной при свете лампы (стеклянный абажур с зелеными ромашками на розовом фоне) Тозеры настороженно слушали, а Берт подался вперед всем туловищем и раскрыл рот.

— Что на год, это не страшно. Не в том загвоздка,— сказал он.

— Конечно, загвоздка не в этом! Пойти против Норбломов, теперь, когда они уже почти решились сдать вам свою квартиру! Оставить меня в дураках после всех моих хлопот! — стонал мистер Тозер.

Судили и рядили почти до десяти часов, но Мартин остался непреклонен, и на следующий день он снял хибарку Вайса.

Впервые в жизни у него была собственная квартира, целиком его собственная, его и Леорина.

Гордый собственник, он видел в этой халупе княжеский дворец, и каждый булыжник и травинка и щеколда были необычайны и милы. В час заката Мартин сидел на заднем крыльце (очень занятный и еще довольно прочный ящик из-под мыла), и от пы-

лающего горизонта, через узкую ленту железной дороги, катилась к его ногам открытая степь. Вдруг рядом с ним встала Леора, обвила рукою его шею, и Мартин восславил все величие их будущего.

— Знаешь, что я нашел на кухне? Роскошный старый коловорот, чуть-чуть только заржавленный; я могу взять ящик и сделать штатив для пробирок... свой собственный!

ГЛАВА XV

1

Не позволяя себе ни одного кощунственного замечания о «медицинском торгашестве», какими он, бывало, изводил Дигамму-Пи, Мартин изучал каталог Акционерного Общества Оборудования Врачебных Кабинетов «Новая Идея», Джерси-Сити. Великолепная книга. На глянцевитой зеленой обложке черным и красным даны портреты: председатель правления — круглолицый остряк, искренний друг всех молодых врачей; директор — ученый с изможденным лицом, несомненно отдающий все свои многотрудные дни и ночи прогрессу науки; и заместитель председателя — бывший учитель Мартина, д-р Роско Гик — живой, в очках, ультрасовременный. Сверх того обложка на поразительно тесном пространстве вмещала изрядное количество поэтической прозы и нижеследующее заманчивое обещание:

Врач! Не слушай тех, кто чужд предприимчивости, не падай духом! Нет причин, чтобы именно у тебя не было такого кабинета, какой импонирует пациентам, облегчает практику и приносит почет и богатство. Первоклассная экипировка, отличающая светило Медицины от жалкого пачкуна, стала теперь доступна для тебя благодаря «Новой Идее» и ее знаменитой Финансовой Системе: «Немного наличными, а остальное бесплатно в счет надбавки к гонорару, которую тебе обеспечат приборы «Новой Идеи»!

Сверху, в рамке из ионических капителей и лавровых венков, красовался вызов:

Довольно петь славу воинам, исследователям, государственным мужам; разве ее не затмила слава врача — мудрого, героического, не зараженного общим корыстолюбием. Джентльмены, мы смиренно вас приветствуем и настоящим преподносим вам самый последний, самый полный каталог, какой только может предложить фирма медицинского оборудования.

На обороте обложка, хоть и не столь великолепно расцвеченная красным и зеленым, была не менее упоительна. На ней изо-

бражены были биндельдорфский набор инструментов для удаления миндалин и электрические лечебные аппараты, а рядом воззвание:

Врач, ты отсылаешь своих пациентов к специалистам по удалению миндалин, ты направляешь их для лечения в электро-световодолечебницы? Если так, ты упускаешь возможность показать себя одной из наиболее выдающихся сил в области медицинского прогресса в своем городе и теряешь крупные гонорары. Разве ты не хочешь получить первоклассную практику? Двери открыты.

Прибор Биндельдорфа не только полезен, но и чрезвычайно изящен, он украсит любой кабинет и придаст ему солидный стиль. Мы гарантируем, что установкой прибора Биндельдорфа и универсального электротерапевтического оборудования «Новая Идея» (подробности на стр. 34 и 97) ты увеличишь свой годовой доход с тысячи до десяти тысяч долларов и угодишь своим пациентам неизмеримо больше, нежели самой кропотливой работой.

Когда прозвучит Великий Призыв и для тебя, Врач, настанет время принять свою награду, удовлетворят ли тебя большие масонские похороны и дань благодарности от пациентов, если ты не оставил обеспечения своим деткам и верной жене, делившей с тобою все невзгоды?

Пусть в снежную бурю и в августовский зной спешишь ты на зов страдальца и нисходишь в пурпурную сень долины скорби и борешься с Силами Тьмы, облаченными в черные ризы, за жизнь своих пациентов: твой героизм не полон без Современного Прогресса, которым ты можешь овладеть, если приобретешь тонзиллэктомический прибор Биндельдорфа и универсальный электрокабинет фирмы «Новая Идея»,— приобретешь за небольшую плату наличными, остальное в рассрочку на самых льготных условиях, какие только знает история медицины!

2

Этой патетической поэзии Мартин не уделил внимания, потому что был о поэзии такого же мнения, как об электрических кабинетах, но он с волнением выписал стальной штатив, стерилизатор, колбы, пробирки и крытое белой эмалевой краской сооружение с восхитительными рычажками и колесиками, которое превращалось из кресла в операционный стол. Он повздыхал над фотографией центрифуги, а Леора восхищалась изумительным гарнитуром для приемной: «Диван и шесть кресел под черный дуб, обитые настоящей новобарселонской искусственной кожей, придадут вашему кабинету тон и стиль, отличающие кабинет каждого видного нью-йоркского специалиста».

— Ладно, посидят и на простых стульях,— пробурчал Мартин.

Миссис Тозер нашла на чердаке достаточное количество обветшалых стульев для приемной и старый книжный шкаф, из которого, когда Леора оклеила его розовой бумагой с бахромой, получился вполне приличный шкаф для инструментов. До прибытия универсального кресла Мартин решил пользоваться просиженной кушеткой Вайса, и Леора позаботилась покрыть ее белой клеенкой. За первой комнатой их домика были еще две каморки — бывшая спальня и бывшая кухня. Мартин приспособил их под кабинет и лабораторию. Посвистывая, он выпилил полки для стеклянной посуды и превратил бак от упраздненной керосиновой печки в сушильный шкаф для стерилизации стекла.

— Ты не думай, Ли, я не собираюсь баловаться научными исследованиями. С этим я покончил.

Леора невинно улыбнулась. Пока он работал, она сидела за домом, в высокой некошеной траве, обняв руками колени, и вдыхала степную прохладу, но каждые четверть часа он звал ее зайти полюбоваться.

Как-то перед самым ужином мистер Тозер принес домой посылку. Вся семья, захлебываясь, ее открывала. После ужина Мартин и Леора поспешили с новым сокровищем в свою приемную и прибили его к дверям. Это была стеклянная дощечка; на ней золотыми буквами значилось: «М. Эроусмит, доктор медицины». Они стояли в обнимку и глядели, умильно скуля, и Мартин в благоговении проговорил:

— Н-да, ччерт возьми!

Они сидели на заднем крыльце, наслаждаясь свободой от Тозеров. По рельсам, весело постукивая, тащился товарный поезд. С паровоза кивал им кочегар, с площадки красного служебного вагона — кондуктор. Когда поезд прошел, тишину нарушали только кузнечики и далекая лягушка.

— Никогда я не был так счастлив,— прошептал Мартин.

3

Он привез из Зенита свой собственный окснеровский хирургический набор. Выложив инструменты, он любовался тонким, острым, сверкающим бистури, мощным тенотомом, изящными гнутыми иглами. Были среди прочего и щипцы для удаления зубов. Папаша Сильва предупреждал своих студентов: «Не забывайте, в деревне врачу зачастую приходится быть не только терапевтом, хирургом, педиатром и пр., но и дантистом, и даже духовником, консультантом по бракоразводным делам, кузнецом, шофером, дорожным механиком, а если у вас на такие дела слишком нежные руки, дер-

житесь поближе к трамваям и кабинетам красоты». И первым пациентом, пришедшим к Мартину в его врачебный кабинет — вторым его пациентом в Уитсильвании,— был Нильс Крэг, плотник, на крик кричавший от зубной боли. Это случилось за неделю до появления стеклянной доски, и Мартин радовался:

— Началось! Увидишь, Леора, повалят ко мне толпой!

Но толпой не валили. Дней десять Мартин корпел над своим сушильным шкафом или сидел за письменным столом и читал, стараясь казаться занятым. Первая радость сменилась раздражением, и он готов был выть от тишины, от бездействия.

Однажды, под вечер, когда Мартин уныло собрался идти домой, в приемную ввалился сивоусый фермер-швед и буркнул:

— Док, я напоролся большим пальцем на крючок от удочки, и палец весь распух.

Для Эроусмита, стажера Зенитской городской больницы, где проходило через амбулаторию несколько сот пациентов в день, перевязать руку было проще, чем дать прикурить, но для доктора Эроусмита из Уитсильвании это представилось захватывающей операцией, а фермер — замечательным человеком, чрезвычайно милым. Мартин крепко пожал ему левую руку и забубнил:

— Ну, так! Если что случится, звоните мне прямо по телефону... прямо по телефону.

Такой наплыв восхищенных пациентов, решил он, вполне оправдает одну их затею,— то, о чем они с Леорой мечтали, о чем шептались по ночам: покупку автомобиля для поездок к больным по округе.

Они видели этот автомобиль у лавки Фрезира.

Это был форд, прослуживший пять лет, с рваной обивкой и липким мотором, с рессорами, сделанными кузнецом, который раньше никогда рессор не делал. После клохтанья нефтяного двигателя на маслобойне самым привычным для уитсильванцев звуком был стук дверцы фрезировского форда. Мистер Фрезир решительно захлопывал ее у своей лавки и обычно должен был трижды захлопнуть ее снова, пока доезжал до дому.

Но для Мартина и Леоры, когда они с трепетом купили этот форд и к нему три новых шины и рожок, это был самый импозантный автомобиль на свете. Он был их собственный; они могли ездить на нем куда угодно и когда угодно.

В то далекое лето, когда Мартин работал в канадской гостинице, он научился управлять фордовским автобусом, но для Леоры это было ее первым опытом. Берт так донимал ее своими наставлениями, что она отказалась ездить на фамильном оверленде. Когда она впервые села за руль, когда маленьким пальцем повернула регулятор и почувствовала в своих руках всю эту власть,

эту магию, дающую возможность мчаться так быстро, как только захочешь (в известных границах), Леора ощутила в себе силу сверхчеловеческую, почувствовала, что может лететь диким лебедем и — увязла в песке, заглушив мотор.

Мартин стал для поселка летучим демоном. Ехать с ним — означало сидеть, придерживая шляпу, закрыв глаза и ожидая смерти. Он, казалось, поддавал скорости на поворотах, чтобы сделать их интереснее. Завпдит ли он что-либо перед собой на дороге, другую ли машину или желтого щенка, в нем вскипало бешенство, которое можно было унять только одним: догнать и обогнать. Поселок восторгался: «Здорово водит машину молодой док — что надо!» С дружелюбным интересом предвкушали, что док убьется. Очень возможно, что из первых десяти пациентов пятеро забрели в его контору из уважения к его езде... остальные же потому, что не было ничего серьезного, а к нему ближе, чем в Гронинген, к доктору Гесселинку.

4

С первыми почитателями завелись и первые враги.

Когда Мартин встречался на улице с Норбломами (а в Уитсильвании трудно не встретиться на улице каждодневно с каждым), они его мерили негодующим взглядом. Потом он восстановил против себя Пита Иеску.

В своей лавочке, которую он именовал «аптекарским магазином», Пит торговал леденцами, сельтерской, патентованными лекарствами, бумагой от мух, журналами, стиральными машинами и запасными частями для фордов; но Пит умер бы с голоду, если бы не был еще и почтмейстером. Он уверял, будто имеет лицензию фармацевта, но так безбожно путал рецепты, что Мартин ворвался к нему однажды в лавку и крепко его отчитал.

— Эх, вы, доки желторотые! Плевать я на вас хотел! — сказал Пит.— Я отпускал по рецептам, когда вы еще соску сосали. Старый док, который жил здесь раньше, всех направлял ко мне. Я работаю, как считаю нужным, и не собираюсь менять свои привычки ни ради вас, ни ради другого недопеченного пескаря.

Мартин поневоле стал выписывать лекарства из Сент-Пола, загромоздил свою крошечную лабораторию и сам изготовлял пилюли и мази, поглядывая в тоске на стоявшие праздно пробирки и на пыль, оседавшую на стеклянном колпаке его микроскопа, между тем как Пит Иеска, присоединившись к Норбломам, нашептывал:

— Новый док ни черта не стоит. Лучше лечитесь по-прежнему у Гесселинка.

5

Неделя прошла такая пустая, такая праздная, что, когда у Тозеров в три часа утра зазвонил телефон, Мартин кинулся к нему, точно ждал вести от возлюбленной.

Сиплый, дрожащий голос:

— Мне надо поговорить с доктором.

— Да, да!.. Доктор у телефона.

— Говорит Генри Новак — четыре мили на северо-восток по дороге к Леополису. У моей девочки, Мэри, страшно болит горло. Боюсь, не круп ли, у нее ужасный вид, и она... Не могли бы вы к нам приехать?

— Что за вопрос! Приеду сейчас же.

Четыре мили — он их покроет в восемь минут.

Он торопливо оделся, затянул у шеи потертый коричневый галстук, а Леора торжествовала по поводу первого ночного вызова. Рьяно завел он свой форд, прогремел, прощелкал мимо станции в пшеничный простор прерии. Когда он сделал по счетчику шесть миль, сбавляя ход чуть ли не у каждого двора, чтобы прочесть имя владельца, он понял, что заблудился. Тогда он завернул к ближайшей ферме, остановил свой форд под ветлами, и фары его осветили груду промятых бидонов, ломаных колес от жнеек, дранки и бамбуковых удилищ. Из-за сарая выскочил кудлатый полоумный пес и со злобным лаем стал бросаться на автомобиль.

В окошко нижнего этажа высунулась нечесаная голова.

— Что нужно? — прокричал скандинавский голос.

— Я врач. Где живет Генри Новак?

— Ага! Врач! Доктор Гесселинк?

— Нет. Доктор Эроусмит.

— Ага! Доктор Эроусмит. Из Уитсильвании? Гм... Вы проехали мимо. Вам надо взять назад; проедете с милю и повернете направо у школы — большое кирпичное здание,— а там еще с четверть мили по дороге, и увидите цементную силосную башню, а рядом дом. Кто-нибудь болен у Генри?

— Да... да... у девочки круп... благодарю вас.

— Прямо и направо. Сбиться тут невозможно.

Когда человек услышит грозное «сбиться невозможно», он почти наверняка собьется.

Мартин круто повернул свой форд, задев изрубленную колоду; загромыхал по шоссе, свернул сразу за школой, когда следовало свернуть перед школой,— проехал с полмили по вязкому проселку между пастбищами и остановился у фермы. В неожиданно наступившей тишине было слышно, как жуют коровы, и дивясь

на него, подняла голову белая лошадь. Пришлось разбудить дом пронзительным визгом рожка, и обозленный фермер, рявкнувший: «Кто там? Стрелять буду!» — направил его обратно, на шоссе.

Только через сорок минут после телефонного звонка Мартин свернул по расхлябанной дороге с проселка к дому и в свете фонаря увидел на крыльце сутулого человека, который его окликнул:

— Доктор? Я Новак.

Мартин нашел девочку в свежеотстроенной спальне с беленными стенами и сосновой дверью, крытой светлым лаком. Только железная кровать, стул с прямой спинкой, цветная литография святой Анны и лампа без абажура на шаткой тумбочке нарушали крикливый блеск комнаты — новой пристройки к фермерскому дому. Широкоплечая женщина стояла на коленях у кровати. Когда она подняла мокрое красное лицо, Новак выговорил:

— Не плачь, приехал! — И обращаясь к Мартину: — Девочке худо, но мы сделали для нее все, что могли. Прошлую ночь и нынче мы ей парили горло и взяли ее сюда в свою спальню!

Мэри было лет семь или восемь. Губы ее и кончики пальцев посинели, в лице же не было ни кровинки. При усилии сделать выдох она вся скрючилась, потом выхаркнула мокроту, испещренную серыми крапинками. Мартин в смятении достал из сумки термометр и стряхнул его жестом профессионала.

У девочки, решил он, или дифтерит, или ложный круп. Скорей дифтерит. Делать анализ некогда — сеять культуру, определять спокойно и точно. Сильва-врачеватель ворвался в комнату, оттеснив Готлиба, бесчеловечного борца за совершенство, Мартин нервно склонился над разворошенной постелью ребенка, рассеянно щупал пульс, считал и пересчитывал. Он растерялся без привычного оборудования Зенитской больницы, без помощи сестер и без уверенных советов Ангуса Дьюера. Он вдруг проникся уважением к одинокому деревенскому врачу.

Нужно принять решение, бесповоротное, быть может, гибельное. Он введет противодифтерийную сыворотку. Но у Пита Иески в Уитсильвании ее, конечно, не достать.

Взять в Леополисе?

— Живо, к телефону! Соедините меня с Бласнером, леополисским аптекарем,— сказал он Новаку как мог спокойнее. Он рисовал себе, как Бласнер помчится в ночи, благоговейно неся врачу антитоксин. Пока Новак надрывался в столовой у телефона, Мартин ждал... ждал... не сводя глаз с ребенка; и миссис Новак ждала, чтоб он сделал чудо; было нестерпимо слушать кашель и хрип ребенка; а блеск стен, блеск бледно-желтого дерева завораживал,

наводя дремоту. Было поздно обращаться к чему бы то ни было, кроме сыворотки или трахеотомии. Сделать операцию? Разрезать дыхательное горло и вставить металлическую трубку, чтобы девочка могла дышать? Он стоял и терзался; сникал в дремоту и встряхивался, чтобы не заснуть. Надо что-то сделать: мать стоит на коленях, смотрит на него широко открытыми глазами, и ее уже разбирает сомнение.

— Нагрейте какую-нибудь материю — полотенце, салфетку — и оберните ей шею. Боже мой, неужели не дозвонится! — засуетился он.

Когда миссис Новак, переваливаясь на толстых, обутых в шлепанцы ногах, принесла согретые полотенца, явился Новак с унылым:

— В аптеке ночью никто не дежурит, а домашний телефон у Бласнера не в порядке.

— Так слушайте. Я боюсь, дело серьезное. Нужно достать сыворотку. Я съезжу за ней в Леополис. А вы продолжайте горячие припарки и... хорошо бы пульверизатор. Надо, чтобы воздух в комнате был влажный. Нет ли у вас спиртовки? Поставьте здесь кипятить воду. Лекарств не нужно. Я скоро вернусь.

Двадцать четыре мили до Леополиса он покрыл в тридцать семь минут. Ни разу не замедлил он ход у перекрестка. Гнал на поворотах, гнал по заползшим на дорогу корням, хотя какая-то черная точка в его мозгу все время таила страх перед взрывом или крушением. Быстрая езда, отказ от всякой осторожности зажгли в нем высокий восторг, и было отрадно окунуться в прохладный воздух и остаться одному после напряженного ожидания под пристальным взглядом фермерши. Мысленно он все время перечитывал по книге Ослера страницу о дифтерии, видел напечатанными слова: «В тяжелых случаях вводят сначала от 8000... Нет. Ах, да!.. от 10 000 до 15 000 единиц».

К нему вернулась вера в себя. Он благодарил бога науки за антитоксин и бензинный двигатель. Это большой забег, решил Мартин, в котором он должен обогнать смерть.

— И обгоню — все сделаю и спасу ребенка! — ликовал он.

Он завидел переезд через полотно и ринулся к нему, не считаясь с возможными поездами. Он услышал оглушительный свисток, увидел скользящий по рельсам свет и резко затормозил. Мимо него, в десяти футах от переднего колеса, летучим вулканом пронесся экспресс из Сиэтла. Кочегар мешал в топке огонь, и даже в мягкой ясности наступающего рассвета ужасен был отблеск пламени на клубах дыма. Видение мгновенно исчезло, и Мартин сидел, охваченный дрожью: дрожали руки на жиденькой баранке, дрожала, как в пляске святого Витта, нога

на тормозе. «Полсекунды — и мне бы крышка!» — пробормотал он и подумал об овдовевшей Леоре, отданной во власть Тозеров. Но образ задыхающейся в судорогах Мэри Новак заслонил все остальное.

— Тьфу, черт! Заглушил мотор! — простонал он. И он перескочил через борт, завел мотор и стрелой влетел в Леополис.

Для округа Кринсен Леополис с его четырехтысячным населением был столицей, но в напряженной тишине рассвета он являл собою крошечное кладбище: песчаной полосой тянулась Главная улица; низкие домики лавчонок глядели покинутыми хижинами. Мартин нашел только одно живое место: в унылой конторе гостиницы «Дакота» ночной дежурный играл в покер с шофером автобуса и констеблем.

Его истерическое вторжение несколько их удивило.

— Доктор Эроусмит из Уитсильвании. Умирает ребенок от дифтерита. Где живет Бласнер? Садитесь в мой автомобиль и покажите дорогу.

Констебль был сухопарый старик, жилет у него болтался враспашку на рубахе без воротника, штаны свисали складками. глаза смотрели решительно. Он подъехал с Мартином к дому аптекаря, стукнул ногою в дверь, потом, подняв в холодном предутреннем свете свое худое небритое лицо, рявкнул:

— Эд! Эй, вы, Эд! Вставайте!

Из окна второго этажа донеслось ворчанье Эда Бласнера. Смерть и неистовые доктора были ему не в новинку. Мартин слышал, как он, натягивая штаны и пиджак, ораторствует перед сонной женой о горестной жизни аптекаря и о том, что хорошо бы переехать в Лос-Анжелес и заняться продажей недвижимости. Но противодифтерийная сыворотка у него в аптеке нашлась, и через шестнадцать минут после того, как едва не погиб под поездом, Мартин уже мчался назад к Генри Новаку.

6

Когда он влетел в дом, девочка была еще жива.

Всю обратную дорогу он видел ее мертвой и окоченевшей.

— Слава богу! — буркнул он и гневно потребовал кипятку. Он был уже не растерянным молодым доктором, но мудрым героем-врачевателем, победившим в большом забеге смерть, и в крестьянских глазах миссис Новак, в нервной послушности Генри Новака он читал признание своего могущества.

Быстро и ловко он сделал внутривенное вливание сыворотки и стоял, ожидая.

Дыхание девочки сперва не менялось; она по-прежнему задыхалась, с натугой выдавливая из себя воздух. Затем послышалось бульканье, началась борьба, в которой лицо ее почернело, и она затихла. Мартин глядел и не верил. Новаки прижимали к губам дрожащие руки, медленно поднималась в них злоба, медленно осознавали они, что ребенок мертв.

В клинике смерть стала для Мартина безразлична и естественна. Он сам говорил иногда Ангусу и слышал, как сиделки чуть ли не весело говорили друг дружке: «Ну вот, пятьдесят седьмой освободил койку». Теперь в нем кипело неистовое желание совершить невозможное. Не может быть, чтоб девочка умерла.

Он сделает что-нибудь... И все время его грызло: «Я должен был начать с операции, должен был». Мысль эта была так упорна, что он не сразу услышал, как миссис Новак закричала:

— Умерла? Умерла?

Он кивнул, не смея взглянуть женщине в лицо.

— Вы ее убили этой вашей иглой! И даже не предупредили нас, чтоб мы хоть могли позвать священника!

Он понуро прошел мимо ее причитаний и мимо скорби мужчины и с пустотою в сердце поехал домой. «Оставлю навсегда медицинскую практику»,— размышлял он.

— Хватит с меня,— сказал он Леоре.— Никуда я не гожусь. Я должен был сделать трахеотомию. Как я буду глядеть людям в глаза, когда об этом узнают? Кончено! Найду работу в лаборатории... у Досона Ханзикера или где-нибудь еще.

Спасительной оказалась для него резкость ее протеста:

— Свет не видал такого самомнения, как у тебя! Ты воображаешь, что ты единственный врач, у которого умер пациент. Я уверена, ты сделал все, что мог.

Но весь следующий день он слонялся из угла в угол и мучил сам себя, и мука его возросла вдвойне, когда за ужином мистер Тозер занудил:

— Генри Новак со своею хозяйкой приезжали сегодня в город. Они говорят, что вы должны были спасти их девочку. Что ж вы не пораскинули мозгами, не полечили девочку? А надо бы: Новаки пользуются здесь большим влиянием среди разных там поляков и венгерцев.

Всю ночь Мартин от усталости не мог уснуть, а наутро поехал в Леополис.

Тозеры чуть не с благоговением отзывались о докторе Адаме Уинтере из Леополиса, семидесятилетнем старике, враче-пионере округа Кринсен, и вот Мартин помчался к этому мудрецу. Правя фордом, он яростно издевался над своим мелодраматическим Состязанием со Смертью и устало въехал в клубившуюся по Главной

улице пыль. Приемная доктора Уинтера помещалась над бакалейной лавкой, в длинном ряду ярко-красных кирпичных домов с египетскими карнизами из жести. Полутьма просторных сеней ласкала после зноя и ослепительного света прерии. Мартину пришлось переждать, пока доктор Уинтер, седой человек, говорящий густым приятным басом, принял трех почтительного вида пациентов, и только тогда он был допущен в кабинет.

Врачебное кресло было немногим лучше того, что стояло некогда у дока Викерсона в Элк-Милзе, а инструменты дезинфицировались, по-видимому, в тазу для стирки, но в углу стоял аппарат для электролечения с бесконечным множеством электродов, подушек, ремней — Мартин в жизни не видал столько ремней, подушек и электродов.

Мартин рассказал историю с Новаками, и Уинтер провозгласил:

— Что ж, доктор, вы сделали все, что могли, и даже больше. Но скажу вам одно: в следующий раз, в критическом случае, пригласите вы лучше для консультации врача постарше. Не то, чтоб вы нуждались в совете,— но это производит впечатление на семью больного, это снимает с вас половину ответственности и пресекает пересуды. Я сам... гм... многие мои молодые коллеги часто оказывают мне честь приглашать меня на консилиум. Подождите минутку. Я позвоню редактору «Новостей» и дам ему статейку о вашем случае.

Доктор Уинтер переговорил по телефону и потом горячо пожал Мартину руку.

— Приобрели вы что-нибудь в этом роде? — спросил он, указывая на свой электроаппарат.— Обязательно приобретите, дружок. Не скажу, чтоб я часто применял эту штуку — разве что с любителями лечиться, которые на деле ничем не больны, но вы не поверите, как это импонирует публике. Итак, доктор, заглядывайте почаще к нам в Леополис. Вы женаты? Не приедете ли к нам как-нибудь с супругой в воскресенье пообедать? Миссис Уинтер будет искренне рада с вами познакомиться. И если вы когда-нибудь захотите обратиться к моим услугам для консилиума... я беру в таких случаях лишь немногим больше против своего обычного гонорара, а выглядит всегда очень прилично, когда врач приглашает для совета человека постарше.

Гоня свой форд домой, Мартин тешился пустой и злобной бравадой:

— Сдать позиции? Ждите! Как я ни плох, а все ж получше этого гнусавого выжимателя гонораров!

Две недели спустя в «Уитсильванском орле», газетке на четыре полосы подслеповатого шрифта, появилась заметка:

Наши предприимчивые соратники из «Леополисских новостей» на той неделе поместили следующее сообщение об одном жителе Уитсильвании, которого город недавно принял в свое лоно:

«Как мы узнали от нашего заслуженного пионера, леополисского врача доктора Адама Уинтера, медицинский мир по всей долине Пони-Ривер горячо поздравляет доктора М. Эроусмита из Уитсильвании — ибо ни в одной другой профессии люди не умеют так бескорыстно, по-джентльменски ценить заслуги своих коллег, как в медицине. Молодой уитсильванский врач вызвал восторг среди своих собратьев, показав недавно, что в добавление к научным знаниям он обладает мужеством и предприимчивостью.

Будучи приглашен к дочурке Генри Норвалька из Дельфта, всем известного фермера, и найдя девочку на пороге смерти от дифтерита, доктор М. Эроусмит сделал отчаянную попытку спасти ее и сам привез противодифтерийную сыворотку от Бласнера, нашего всеми уважаемого аптекаря, у которого всегда наготове полный и свежий ассортимент лекарств. Туда и обратно врач ездил на своей бензинной колеснице, сделав 48 миль в 79 минут.

К счастью, наш недремлющий констебль Джо Колби оказался на посту и помог доктору Эроусмиту найти бунгало мистера Бласнера на проспекте Красной Реки, и тот, как истый джентльмен, встал с кровати и поспешил снабдить врача требуемой сывороткой, но, к несчастью, болезнь зашла слишком далеко и спасти ребенка было уже невозможно. Но мы должны заметить: при такой отваге и находчивости, наряду с научными знаниями, профессия врача становится одним из величайших благ для человечества».

Через два часа после выхода газеты с этой заметкой мисс Агнес Инглблед зашла поговорить еще раз о своих несуществующих хворях, а два дня спустя явился Генри Новак и гордо сказал:

— Да, док! Мы все сделали, что могли, для бедной девочки. Только, сдается мне, я слишком поздно надумал вас позвать. Жена страх как убивается. Прочитали мы с нею эту штуку в «Орле». Показали ее священнику. Вот что, док, не посмотрите ли вы мою ногу? Побаливает в щиколотке — вроде бы ревматизм.

ГЛАВА XVI

1

К концу первого года работы в Уитсильвании Мартин был скромным деревенским врачом, не очень признанным, но все же не унывающим. Летом они с Леорой ездили на Пони-Ривер поужинать и выкупаться среди шума и плеска и нескромных шуток;

осенью он стрелял уток с Бертом Тозером, который делался почти что выносимым, когда перед заходом солнца стоял на болотной тропе; а зимой, когда деревню отрезала от мира сверкающая снежная пустыня, у них было катанье на санях, были карты и вечеринки Единого братства.

Когда пациенты обращались к Мартину за помощью, они были прекрасны в своем страдании и терпеливой покорности. Раза два Мартину случалось выйти из себя, когда веселые поселяне благодушно объясняли ему, что он моложе, чем можно было бы желать; раза два он выпил лишнего за покером в задней комнате кооперативной лавки; но его знали как дельного и честного врача... а в общем он был менее заметной фигурой, чем Алек Инглблед, парикмахер, преуспевал менее, чем столяр Нильс Крэг, и был менее интересен для соседей, чем финн-иммигрант, владелец гаража.

Потом один несчастный случай и одна ошибка прославили его на двенадцать миль вокруг.

Весной он пошел однажды удить рыбу. Когда он проходил мимо какой-то фермы, из ворот выбежала женщина, вопя, что ее младенец проглотил наперсток и задыхается — помирает. Хирургическим инструментом послужил Мартину большой карманный нож. Он его наточил на оселке, прокипятил в чайнике, разрезал ребенку горло и спас ему жизнь.

Все газеты в долине Пони-Ривер отметили этот случай, и еще не отшумела первая сенсация, как Мартин Эроусмит излечил мисс Агнес Инглблед от ее страсти лечиться.

Однажды у нее похолодели руки и замедлилось кровообращение, а посему Мартина вызвали к ней среди ночи. Ему до смерти хотелось спать после двух поездок к больным по тряской дороге, и он в обалдении дал ей слишком большую дозу стрихнина, которая так встряхнула больную, что она решила выздороветь. Разительная перемена придала ей больше интересности, чем постоянные недомогания,— люди за последнее время заметно охладели к симптомам ее болезней. Агнес ходила из дома в дом, прославляя Мартина, и уитсильванцы, все, как один, говорили: «Смотрите! У кого только Агнес не лечилась, а доктор Эроусмит первый действительно ей помог!»

Мартин создал себе практику, небольшую, прочную и ничем не замечательную. Они с Леорой переехали от Тозеров в собственный домик. У них была столовая, она же гостиная, где на светлом, новом, приятно пахнувшем линолеуме горделиво стояла никелированная печь и красовался буфет золотистого дуба, а на нем спичечница-сувенир с озера Миннетонка. Мартин купил небольшой рентгеновский аппарат и был избран в правление тозеровско-

го банка. Он был теперь так занят, что ему некогда было тосковать о днях научной работы, которых никогда и не было, а Леора вздыхала:

— Вот ужас-то быть замужем! Шататься с тобой по дорогам, бродяжничать, нанимаясь где случится на работу — ко всему я была готова, но никак не ждала, что меня зачислят в Столпы Общества. Ладно! Мне лень искать нового мужа. Но только предупреждаю: когда ты станешь попечителем воскресной школы, не жди, что я буду играть на органе и улыбаться твоим шуткам по поводу того, что гадкий Вилли ленится учить золотые слова Писания.

2

Так Мартин стал почтенным гражданином.

Осенью 1912 года, когда мистер Дебс, мистер Рузвельт, мистер Вильсон и мистер Тафт домогались президентства и когда Мартин Эроусмит прожил в Уитсильвании полтора года, Берт Тозер сделался видным общественным деятелем. Он вернулся из столицы штата со съезда Передовых Провинциалов Америки, преисполненный великих идей. Некоторые города Северной Дакоты послали на съезд Делегации Агитаторов, а деревня Гронинген снарядила колонну из пяти автомобилей с громадными вымпелами, на коих значилось: «Гронинген за Белого Человека и Черную Пашню».

Берт вернулся с предложением, чтобы все местные автомобили украсились уитсильванским вымпелом. Он закупил их тридцать штук и продавал желающим в своем банке по семьдесят пять центов штука. Каждому, кто заходил в банк, Берт объяснял, что продает вымпелы по себестоимости, отступая от истины всего на одиннадцать центов. Он прискакал к Мартину, требуя, чтобы тот первым показал пример.

— Не хочу я, чтобы на моей машине болталась какая-то глупая тряпка,— возражал Мартин.— К чему это, собственно?

— Как к чему? Да чтобы рекламировать свой город. Очень просто!

— Да что тут рекламировать? Или ты думаешь, грязная тряпка на кузове старого форда убедит приезжего, что Уитсильвания — такой же мировой центр, как Нью-Йорк, или еще почище?

— Ты всегда был чужд патриотизма! Предупреждаю, Март, если ты не прицепишь вымпел, я позабочусь, чтобы все в городе это заметили!

В то время как все прочие полуразбитые местные автомобили возвещали миру или по меньшей мере нескольким квадратным милям, что Уитсильвания — «Диво-город в сердце Северной Дако-

ты», дребезжащий форд Мартина разъезжал в голом виде; и когда враг Эроусмитов, Норблом, поговаривал: «Все-таки ждешь, что человек будет радеть о пользе общества, ценить край, из которого выжимает деньги»,— почтенные граждане кивали головой, сплевывали наземь и брали под сомнение славу Мартина, уитсильванского чудотворца.

3

Были у него близкие друзья — парикмахер, редактор «Орла», владелец гаража, с которым он запросто толковал об охоте и об урожае и с которым играл в покер. Пожалуй, он был с ним даже слишком близок. По уставу округа Кринсен, молодому специалисту разрешается изредка выпить при условии, что это останется в тайне и что он зато будет проявлять нежную любовь к местному духовенству. Мартин же был сух с духовенством и никогда не скрывал, когда пил или играл в покер.

Если находил он скучными разговоры пастыря Единого братства о Писании, о вреде кинематографов и о позорно низкой оплате священников, виной тому было вовсе не высокомерие или самомнение: просто Мартину занятней казались язвительные напоминания владельца гаража, что в покере ставка назначается до прикупа.

По всему штату рассеяны были знаменитые игроки в покер — крестьянской внешности парни с деревянными лицами; парни, которые, сняв пиджаки, жевали табак; парни, от которых не услышишь длиннее фразы, чем «за мною», и для которых не было выше наслаждения, чем обобрать вылощенного и самодовольного коммивояжера. Когда распространялся слух, что идет «большая игра», чемпионы округа молча появлялись и брались за работу: леополисский агент по продаже швейных машин, гробовщик из Вандергайд-Грова, бутлеггер из Сент-Льюка и краснолицый толстяк из Мелоди — человек без определенных занятий.

Однажды (об этом до сих пор рассказывают с восхищением по всей долине) в конторе уитсильванского гаража игра шла семьдесят два часа без перерыва. Гараж переделан был из конюшни; в нем были свалены длинные кнуты и попоны, и конский запах примешивался к запаху бензина.

Игроки приходили и уходили, иногда спали час-другой, тут же на полу, но в игре участвовало все время не менее четырех человек. Дым дешевых слабых папирос и дешевых крепчайших сигар витал над столом, подобный злому духу; пол был усеян окурками, спичками, старыми картами и бутылками из-под виски. Среди бойцов были Мартин Эроусмит, парикмахер Алек Инглблед

и какой-то дорожный техник; все они разоблачились до фланелевых рубах и часами не двигались с места, теребя карты, скосив пустые глаза.

Прослышав про этот подвиг, Берт Тозер убоялся за добрую славу Уитсильвании и стал нашептывать всем и каждому о дурных привычках Мартина и своем долготерпении. Так случилось, что, когда Мартин как врач достиг своей наивысшей славы и процветания, по долине Пони-Ривер поползли пересуды, что он игрок, что он «выпивает», что он никогда не ходит в церковь; и все богобоязненные граждане смаковали, сокрушаясь: «Горько видеть, как приличный молодой человек губит себя».

Мартин был столь же нетерпелив, сколько упрям. Его злили благодушные приветствия, вроде: «Оставили б вы и нам глоточек, док», или: «Если вы не слишком заняты покером, вы, может быть, заехали бы к нам взглянуть на мою жену?» Он допустил нелепую мальчишескую бестактность. Однажды он услышал, как Норблом заметил почтмейстеру: «... Парню, который зовется врачом только потому, что ему подвалило счастье с дурехой Агнес, не следовало бы напиваться и позорить...»

Мартин остановился.

— Норблом! Вы обо мне?

Лавочник медленно повернулся.

— У меня найдутся дела поважнее, чем говорить о вас,— прокудахтал он.

Когда Мартин пошел дальше, он слышал за спиной смех.

Он убеждал себя, что фермеры великодушны, что их любопытство вызвано отчасти доброжелательным интересом к нему, что оно неизбежно в деревне, где самое захватывающее событие за год — пикник, устраиваемый четвертого июля воскресной школой Единого братства. Но его брала оторопь от нескончаемых, до тошноты подробных пересудов по всякому поводу. Он не мог избавиться от чувства, точно каждое слово, которое он говорил в своем кабинете, передавалось, как в рупор, из одного оттопыренного уха в другое по всем проселочным дорогам.

Он без скуки беседовал с парикмахером о рыбной ловле, без высокомерия относился к мании предсказывать погоду, но, кроме Леоры, ему не с кем было поговорить о своей работе. Ангус Дьюер был холоден, но Ангус зорко следил за каждой новинкой в технике хирургии и был ярым спорщиком. Мартин видел, что если не сопротивляться, то он под гнетом захолустного уклада не только погрязнет в боязливом благонравии, но и закоснеет в рутине рецептов и компрессов.

Не поможет ли ему встряхнуться доктор Гесселинк из Гронингена?

Мартин видел Гесселинка только раз, но он повсюду слышал о нем, как о самом честном враче на всю долину. И вот однажды Мартин надумал его навестить.

Доктор Гесселинк, человек лет сорока, был румян, высок, широкоплеч. Сразу чувствовалось, что он внимателен и не боится ничего, хотя, может быть, и страдает отсутствием воображения. Он принял Мартина без бурных восторгов, и пристальный взгляд его говорил: «Ну, что вам угодно? Я человек занятой!»

— Доктор,— разошелся Мартин,— вам не кажется, что очень трудно следить за новыми достижениями в медицине?

— Нет. Читайте медицинские журналы.

— Да, но вам... К черту, я не хочу разводить сентименты, но не кажется ли вам, что если не общаться с «китами» в столицах, то появляется умственная лень... Как бы недостаток воодушевления?

— Не нахожу! Меня достаточно воодушевляет старание помочь больному.

Мартин про себя взбунтовался: «Ладно, если ты не хочешь быть любезным, ну тебя к дьяволу!» Но он попробовал снова:

— Знаю. Но для собственного интереса... ради удовольствия способствовать росту медицины... Как нам угнаться, если у нас нет ничего — только рутина практики среди фермеров?

— Эроусмит, может быть, я к вам несправедлив, но среди вас, молодых врачей, очень многие глядят свысока на фермеров, которые выполняют свою работу лучше, чем вы свою. Вы думаете, что, если б вы жили в большом городе, с библиотеками, с медицинскими конференциями и прочим, вы развивались бы. Однако я не вижу, что́ вам мешает учиться дома! Вы считаете себя гораздо образованней здешних фермеров, но вот я заметил, вы говорите «киты», «к черту» и всякое такое. Много ли вы читаете? Лично я вполне доволен. Мои пациенты обеспечивают мне превосходный заработок, ценят мой труд, почтили меня избранием в Совет попечителей школы. Я нахожу, что очень многие фермеры думают куда упорней и прямей, чем краснобаи, которых я знавал в городе. Право! Я не вижу оснований считать себя выше их. И мне не скучно!

— Да и я, черт возьми, не скучаю! — пробурчал Мартин.

Когда ехал домой, он со злостью думал о высокомерном смирении Гесселинка, но тревожное раздумье все сильнее овладевало им. Это правда: он недоучка. Его считают образованным, потому что он кончил колледж. Но разве он смыслит хоть что-нибудь в экономике, истории? Что он понимает в живописи или музыке? А поэзия? Если не считать просмотренного второпях к экзаменам, из поэзии он читал только стихи Роберта Сервиса, а из прозы, кроме

медицинских статей, он теперь читает только отчеты о бейсболе и отдел происшествий в миннеаполисских газетах да ковбойские рассказы в журналах.

Он вспоминал те «интеллигентные разговоры», которые — как ему верилось здесь, заброшенному в пустыне Уитсильвании,— он вел когда-то в Могалисе. Он вспоминал, что Клифу Клосону казалась претенциозной всякая фраза, более литературная или более пристойная, чем разговор шофера грузовой машины, и что его собственная речь отличалась от речи Клифа главным образом тем, что была не столь сумбурна и своеобразна. Из всего, что он мог припомнить, над уровнем парикмахерской Алека Ингльбледа поднимались только суждения Макса Готлиба, редкие нагоняи Ангуса Дьюера, одна десятая выспренних тирад Маделины Фокс да наставления папаши Сильвы.

Он вернулся домой, полный ненависти к Гесселинку, но отнюдь не довольный собой; он накинулся на Леору и объявил, что они «сдохнут, а станут образованными», на что она невозмутимо согласилась. Он отдался этой задаче, как раньше отдавался бактериологии.

Он читал Леоре вслух историю Европы, и Леора слушала с интересом — или по меньшей мере терпеливо; до одури вчитывался в «Золотую чашу» — книгу, забытую у Тозеров одним злополучным школьным учителем; взял у редактора местной газеты томик Джозефа Конрада, и теперь, проносясь по степным дорогам, он въезжал в селения среди джунглей, видел пробковые шлемы, орхидеи, покинутые храмы бесстыдных богов с собачьими головами, русла неведомых высохших рек. Он сознавал скудость своего словаря. Нельзя сказать, что речь его сразу заметно исправилась. Но, возможно, в эти долгие и напряженные вечера вдвоем с Леорой он приблизился на шаг или на два к трагически-чарующему миру Макса Готлиба — иногда чарующему и всегда трагическому.

Но сделавшись снова школьником, он не чувствовал такого удовлетворения, как доктор Гесселинк.

4

В Америку вернулся Густав Сонделиус.

Студентом Мартин читал о Сонделиусе, воине науки. У него были почтенные и длинные научные звания, но, богач и эксцентрик, он не работал в лабораториях, не имел ни благопристойного кабинета, ни дома, ни жены в кружевах. Он скитался по миру, воюя с эпидемиями, основывая институты, произнося неудобоваримые речи, пробуя новые напитки. Он был по рождению швед,

по воспитанию немец, по языку — смесь всего понемногу, а клубы, числившие его своим членом, находились в Лондоне, Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке. Вести от него приходили из Батума и Фучжоу, из Милана и Бечуаналенда, из Антофагасты и с мыса Румянцева. В «Тропических болезнях» Мэнсона упоминается о замечательном способе Сонделиуса уничтожать крыс синильной кислотой, а «Скетч» отметил однажды его убийственную систему игры в баккара.

Густав Сонделиус кричал, где только мог, что большинство болезней можно и должно стереть с лица земли; что туберкулез, рак, брюшной тиф, чума, инфлюэнца — это вражеская армия, вторгшаяся в наши границы, и мир должен против нее мобилизоваться — в буквальном смысле слова; что чиновники народного здравоохранения должны занять место генералов и нефтяных королей. Он читал лекции по всей Америке, и пресса подхватывала его пламенные лозунги.

Мартин презрительно фыркал, читая газетные статьи, касающиеся медицины или гигиены, но пыл Сонделиуса его захватил, он оказался неожиданно в числе обращенных, и это обращение было для него очень существенно.

Он говорил себе, что сколько бы ни облегчал он страдания больных, по сути он все же делец, конкурент доктора Уинтера из Леополиса и доктора Гесселинка из Гронингена; что они, может быть, и честные люди, но честный труд и лечение больных для них на втором плане, первая же их цель — зарабатывать деньги; что для них избавление мира от болезней и создание здорового населения — наихудшее в мире несчастие; и что врачей надо заменить чиновниками общественного здравоохранения.

Как все ярые агностики, Мартин был религиозен. Когда умер для него культ Готлиба, он бессознательно стал искать новой страсти и нашел ее в провозглашенной Сонделиусом войне с болезнями. Мартин сразу начал так же изводить своих пациентов, как некогда изводил Дигамму Пи.

Он сообщил фермерам в Дельфте, что они не вправе так много болеть туберкулезом.

Это хоть кого привело бы в бешенство, ибо изо всех прав, предоставленных американскому гражданину, самое прочное — право болеть, и фермер пользуется им чаще, чем всеми другими своими привилегиями.

— Кем он себя воображает? — заворчит, бывало, иной из них.— Мы его зовем, чтоб он лечил, а не распоряжался. Остолоп треклятый! Говорит, что мы должны сжечь наши дома, что мы совершаем преступления, когда болеем чахоткой. Никому не позволю так со мною разговаривать!

Все стало ясно для Мартина, слишком ясно. Государство должно немедленно назначить лучших врачей чиновниками здравоохранения и облечь их неограниченной властью — только и всего. Каким образом чиновники превратятся в безукоризненных администраторов и как убедить народ повиноваться им, на этот счет у Мартина не было никакой программы — одни лишь прекрасные упования. За завтраком он ворчал:

— Опять весь день лечить поносы, которых и быть не должно! Эх, сражаться бы мне в великой битве, бок о бок с такими людьми, как Сонделиус! Тоска!

— Конечно, дорогой,— тихо поддакивала Леора.— Обещаю тебе, что буду умницей. У меня не будет никогда расстройства желудка, не будет туберкулеза и ничего такого, поэтому, пожалуйста, не читай мне нотаций.

Даже в раздражении он был с нею мягок, потому что Леора ждала ребенка.

5

Их ребенок должен был родиться через пять месяцев. Мартин сулил ему все, чего сам был лишен.

— Он у нас получит настоящее образование! — мечтал Мартин, сидя с Леорой на крыльце в весенние сумерки.— Будет изучать литературу и всякую штуковину. Мы сами немногого достигли — застряли на всю жизнь в этой дыре, но все же мы ушли, пожалуй, дальше наших отцов, а он пойдет много дальше нас.

Но за пылкой радостью крылась тревога. Леору слишком сильно тошнило по утрам. До полудня она бродила по комнатам серо-зеленая, нечесаная, с ввалившимися щеками. Мартин подыскал ей нечто вроде служанки и сам заходил домой помочь: вытирал посуду, подметал у крыльца. Вечерами он читал Леоре вслух — теперь уже не историю и не Генри Джеймса, а «Миссис Уигз с капустной гряды» — повесть, которую оба они находили очень занимательной. Мартин сидел на полу у грязноватого подержанного диванчика, на котором лежала ослабевшая Леора, держал ее за руку и вещал:

— Черт подери, мы... Нет, не надо «черта». Да, но что же можно сказать вместо «черт подери»? Ладно: мы когда-нибудь накопим денег и поедем месяца на два в Италию и во все эти места. Старинные узкие улицы, старинные замки! Там, верно, пропасть таких, которые стоят по двести лет и даже больше! И мы возьмем с собою мальчишку — даже если он, паршивец, окажется девочкой!.. И он научится болтать и по-французски, и по-итальян-

ски, и по-всячески, как местный уроженец, и его папа с мамой будут им гордиться! Ох, ну и старички из нас получатся! Мы с тобою оба никогда не жаловали морали и, вероятно, лет под семьдесят будем сидеть на крыльце, и курить трубки, и подтрунивать над всеми почтенными прохожими, и рассказывать о них друг другу скандальные истории, пока не доведем их до охоты пристрелить нас, а наш мальчонка — он будет носить цилиндр, держать шофера,— ему стыдно будет с нами поздороваться!

Когда Леора, мертвенно бледная, корчилась от унизительной утренней тошноты, Мартин, усвоив напускную веселость врача, гремел:

— Вот и прекрасно, девочка! Без тошноты хорошего ребенка не родишь. Всех тошнит.

Он лгал, и он нервничал. Каждый раз, когда он думал о ее возможной смерти, ему казалось, что он умрет вместе с нею. Если рядом не будет Леоры, ему ничего не захочется делать, никуда не захочется идти. Пусть он получит весь мир, что толку в том, если нельзя показать его Леоре, если Леоры нет...

Он роптал на природу за обман, за то, что она потешными своими уловками — лунным светом, и белой кожей, и томлением одиночества — заставляет человека заводить детей, а потом делает роды такими бессмысленно жестокими и безобразными! Он стал резок и порывист с пациентами, которые звали его на дальние фермы. Их немощам он сочувствовал больше, чем когда-либо, потому что его глазам открылась грозная красота страдания, но он считал себя не вправе удаляться от Леоры.

Утренняя тошнота сменилась неукротимой рвотой. Неожиданно для самого себя, когда Леора до потери человеческого облика была истерзана му́кой, Мартин послал за доктором Гесселинком, и в этот страшный день, в то время как весна буйно ликовала в прерии, за окнами убогой, пропахшей йодоформом комнаты, они вместе приняли у Леоры мертвого ребенка.

Будь это возможно, Мартин понял бы тогда, чем объяснялся успех Гесселинка, оценил бы степенность и ласку, сострадание и уверенность, которые заставляли людей отдавать свою жизнь в его руки. Гесселинк был теперь не холодным судьею, но старшим, более разумным братом, полным сочувствия. Мартин ничего не видел. Он не был врачом. Он был напуганным мальчиком, и Гесселинку было от него меньше пользы, чем от самой бестолковой сиделки.

Когда Мартину стало ясно, что Леора поправится, он сидел рядом с нею и ластился:

— Мы только должны свыкнуться с мыслью, что нам нельзя заводить ребенка, и вот я хочу... Ох, я такой несуразный! И ха-

рактер у меня гнусный. Но теперь... Ты для меня теперь все на свете!

Она еле слышно прошептала:

— Такой милый был бы малыш. Ах, я знаю! Я так часто видела его. Потому что я знала, что он будет похож на тебя, когда ты был маленьким.— Она попробовала рассмеяться.— Может быть, я хотела его, потому что я могла бы им командовать. У меня никогда не было никого, кто давал бы мне над собою командовать. Ну что ж, если я не могу иметь настоящего ребенка, придется мне воспитывать тебя. Я должна сделать из тебя великого человека, которому все удивлялись бы, как твоему Сонделиусу... Милый, я так волновалась, что ты волнуешься...

Он поцеловал ее, и много часов они сидели вдвоем, не разговаривая, поняв друг друга навек, в сумерках прерии.

ГЛАВА XVII

1

Доктор Кофлин из Леополиса славился рыжими усами, радушием и максвеллом: максвеллу, правда, в мае исполнилось три года, и полировка на нем пришла в плачевное состояние, но Кофлин считал, что красотой и быстроходностью его машина затмевала все автомобили в Дакоте.

Он пришел домой в самом веселом настроении, поносил на закорках младшего из трех своих детей и сказал жене:

— Тесси, у меня чудесная идея.

— Да, и чудесный запах изо рта. Когда ты перестанешь, наконец, прикладываться к бутылке со спиритус фрументус в аптекарском магазине?

— Ну и женщина!.. Нет, право же, послушай!

— Не желаю! — Она его шлепнула.— С поездкой в Лос-Анжелес этим летом ничего не выйдет. Слишком хлопотно в такую даль с тремя пискунами.

— Конечно. Совершенно верно. Но я думал совсем о другом: давай уложим вещи, сядем в машину и поездим недельку по штату. Выедем завтра или послезавтра. Меня ничего здесь не держит, только вот к одной приглашали принимать ребенка, так я ее подкину Уинтеру.

— Отлично. Испытаем, кстати, новые термосы!

Доктор Кофлин с супругой и детьми тронулись в путь в четыре часа утра. Машина поначалу не представляла никакого интереса, пока в ней сохранялся полный порядок. Но через три дня,

когда она приближалась к вам по ровной дороге, протянувшейся на много миль без единого поворота среди всходов молодой пшеницы, вы могли лицезреть врача в костюме «хаки», в роговых очках, в белой полотняной шляпе; его жену в зеленой фланелевой блузе и кружевном чепце. Все остальное было несколько туманно. Проезжая мимо на другой машине, вы заметили бы брезентовую флягу для воды, грязь на колесах и на крыльях, лопату, двух старших детей, с опасностью для жизни перевесившихся через борт и показывающих вам язык, пеленки, развешанные на веревке через весь кузов, растрепанный том «занятных рассказов», семь палочек с леденцами, домкрат, удочку и свернутую палатку.

Напоследок вы заметили бы два больших треугольных флага с надписями «Леополис, С. Д.» и «Простите, что напылили».

Кофлины встречали на пути приятные приключения. Раз они застряли в колдобине, наполненной жидкой грязью. К визгливому восторгу всей семьи доктор спас положение, соорудив мостик из жердей от изгороди. Другой раз у них отказало зажигание, и в ожидании механика, вызванного по телефону из ближайшего гаража, они осматривали молочную ферму с электрической доильной машиной. Путешествие расширяло их кругозор, они открывали чудеса великого мира: кинотеатр в Раундапе, где роль оркестра выполнял не только рояль, но еще и скрипка; питомник черно-бурых лисиц в Мелоди; водонапорную башню в Северансе — говорят, самую высокую на всю Северную Дакоту.

Доктор Кофлин заезжал, как он выражался, «скоротать денек» ко всем врачам. В Сент-Льюке у него был закадычный друг, доктор Тромп,— он встречался с ним два раза на ежегодных пленумах Медицинской ассоциации долины Пони-Ривер. Когда гость объяснил Тромпу, как плохи показались им гостиницы, Тромп вздохнул смущенно и совестливо:

— Если жена найдет возможным как-нибудь это устроить, я охотно предложил бы вам всем переночевать у нас.

— О, мы не хотели бы никого стеснять. Вас это, правда, не затруднит? — сказал Кофлин.

После того как миссис Тромп кое-как подавила желание отозвать мужа в сторону и сделать ему негромкое, но крепкое внушение, а старший мальчик Тромпов узнал, что «маленькому джентльмену неприлично лягать малюток-гостей, которые проделали такой далекий-далекий путь», все были вполне счастливы. Миссис Кофлин и миссис Тромп сокрушались о дороговизне мыла и масла и обменивались рецептами консервирования персиков, а мужчины сидели на крыльце, закинув ногу на ногу, и, воодушевленно размахивая сигарами, наслаждались профессиональными разговорами:

— Скажите, доктор, как у вас дела с гонорарами?

(Говорил Кофлин, а может быть, и Тромп.)

— Да в общем недурно. Немцы платят хорошо — первый сорт! Им не надо посылать счетов. Когда снимут жатву, они сами приходят и спрашивают: «Сколько я вам должен, доктор?»

— Н-да, немцы народ аккуратный.

— Аккуратнейший. Среди них почти нет неплательщиков.

— Факт. А скажите, доктор, что вы даете при желтухе?

— Как вам сказать, доктор, в упорных случаях я обычно прописываю нашатырь.

— Вот как? Я тоже до сих пор прописывал нашатырь, но на днях напал на заметку в журнале А. М. А., в которой говорится, что это будто бы бесполезно.

— В самом деле? Так, так! Не читал. Гм... Да. Скажите, доктор, как вам кажется, можете ли вы чем-нибудь помочь при астме?

— Знаете, доктор, я вам совершенно конфиденциально скажу одну вещь, которая вам, вероятно, покажется странной. Но я убежден, что лисьи легкие — прекрасное средство от астмы и от туберкулеза тоже. Я сказал это однажды специалисту-легочнику из Сиу-Сити, и он поднял меня на смех — заявил, что это-де ненаучно, а я ему ответил по-своему: «А черта мне в том, говорю, научно это или нет! Я не утверждаю, говорю, что это последнее слово науки; но это средство, говорю, дает результаты, а мне важен прежде всего результат!» Вот что я ему сказал. Да, смею вас уверить: пусть у хорошего деревенского врача не стоит после имени длинный хвост из букв, но он накопил множество наблюдений, самых загадочных, которые он не в состоянии объяснить; и, клянусь вам, я убежден, что большинство этих липовых ученых могут очень многому поучиться у простого деревенского практика — смею вас уверить!

— Еще бы! Факт! Лично я предпочитаю оставаться здесь, в деревне, ходить иногда на охоту и жить в свое удовольствие, чем быть самым первоклассным специалистом в большом городе. Одно время я подумывал сделаться рентгенологом — поехать в Нью-Йорк, пройти за два месяца курс, а потом устроиться где-нибудь в Бьютте или в Сиу-Фолсе, но я прикинул, что, если там я стал бы зарабатывать даже девять-десять тысяч в год, это едва ли составит больше, чем три тысячи здесь, так что... И как-никак нельзя забывать долг перед своими старыми пациентами.

— Это верно... А скажите, доктор, что за человек этот ваш Мак-Минтерн?

— Я, понимаете, не люблю подставлять ножку своему собрату-врачу, и он, думается мне, полон добрых намерений, но, между нами говоря, слишком уж он, черт возьми, полагается на до-

«Эроусмит»

гадку. Взять вас или меня — мы в каждом случае применяем научные данные, мы не действуем наудачу, не полагаемся на голый опыт, точно какие-нибудь недоучки. А Мак-Минтерн — ему не хватает знаний. Но жена его, это, я вам скажу, фрукт, у нее самый подлый язык на все четыре округа! И как она повсюду носится и навязывает своего Мака пациентам!.. Да что говорить! Каждый обделывает свои дела, как умеет.

— А старый Уинтер как? Еще дышит?

— Да, помаленьку. Вы ж его знаете. Конечно, он лет на двадцать отстал от века, но он великий ловкач: держит какую-нибудь старую дуру в постели на шесть недель дольше, чем требуется, навещает ее два раза в день, возится с нею без всякой нужды.

— А кто ваш самый серьезный конкурент, доктор? Кажется, Зильцер?

— Ах, что вы, доктор! Можно ли этому верить? У него нет и десятой доли той практики, которой он хвастает. Вся беда Зильцера в том, что он невоздержанный человек, больно много разглагольствует, любит послушать самого себя. А скажите, кстати, встречались вы с этим новичком... Он поселился тут года два тому назад... в Уитсильвании... как бишь его?.. Эроусмит!

— Нет. Но, говорят, очень толковый молодой врач.

— Да, утверждают, что он парень мозговитый, очень знающий, и жена у него, говорят, умница.

— Но я слышал, Эроусмит сбился с пути — пристрастился к бутылке.

— Да, поговаривают. Для способного молодого человека это позор. Я и сам люблю изредка выпить, но стать пьяницей!.. Что, если он напьется, а его вызовут к больному! Один человек из тех мест говорил мне к тому же, что Эроусмит очень начитан, много занимается, но что он вольнодумец, не ходит в церковь.

— Вот как? Гм! Большая ошибка со стороны врача не примкнуть к какой-нибудь солидной секте, верит ли он в эту материю или нет. Пастор, скажу я вам, или проповедник может направить к вам очень много больных.

— Еще бы! Да, а тот человек говорил мне, что Эроусмит вечно спорит с проповедниками... он будто уверял одного преподобного, что все должны читать этого иммунолога Макса Готлиба, да еще Жака Лёба — знаете, того молодчика, который... не припомню точно, в чем там дело, но он утверждал, будто может создать химическим путем живую рыбу.

— Да-да. Видите! Каким, однако, обольщениям предаются эти лабораторные ученые, когда у них нет стóящей практики, которая давáла бы им твердую почву под ногами. Если Эроусмит

подпал под влияние такого человека, не удивительно, что у людей нет к нему доверия.

— Конечно. Гм! Да, очень жаль, что Эроусмит пьет, ведет беспутную жизнь, пренебрегает семьей и пациентами. Нетрудно угадать, какой его ждет конец. Позор! Однако стемнело,— вы не скажете, который час?

2

Берт Тозер хныкал:

— Март, чем ты задел доктора Кофлина из Леополиса? Я слышал от одного человека, что Кофлин ходит повсюду и говорит о тебе, будто ты пьяница и все такое.

— Да? Тут люди следят друг за другом в оба, не правда ли?

— Будьте уверены! Потому я и говорю тебе всегда, что ты должен отстать от покера и виски. Ты когда-нибудь видал, чтоб у *меня* вдруг явилась потребность выпить?

Отчаянней прежнего чувствовал Мартин, что весь округ не сводит с него глаз. Он не был жаден до похвал; не воображал, что ему подобает занимать более высокое место; но как ни боролся он с собою, он мысленно видел себя отдельно от Уитсильвании и тихо плетущихся лет деревенской практики.

Вдруг, непредвиденным образом, когда в восторге перед Сонделиусом и войной за здоровье Мартин забыл свою лабораторную гордость, случай втянул его снова в исследовательскую работу.

3

В округе Кринсен появился среди скота симптоматический карбункул, или, как называют эту болезнь в Америке,— «черная нога». Пригласили ветеринара из главного города штата, впрыскивали вакцину Досона Ханзикера, но эпидемия распространялась. Мартин слышал жалобы фермеров. Отметил, что у животных после прививки не появлялось воспаления, не поднималась температура. И он заподозрил, что вакцина Ханзикера содержит слишком мало живых микробов, и ринулся, как борзая, по следу своей гипотезы.

Он раздобыл (прибегнув к подлогу) некоторый запас вакцины и стал ее испытывать в душном чулане, заменявшем ему лабораторию. Пришлось изобрести собственный способ посева анаэробных культур, но он недаром учился у Готлиба, который любил говорить: «Если человек не умеет, когда нужно, сделать фильтр из зубочистки, то пусть он лучше вместе с прекрасным оборудо-

ванием покупает и результат своих опытов». Из большой банки для варенья и запаянной трубки Мартин соорудил свой аппарат.

Когда в полной мере подтвердилось, что вакцина не содержит живых возбудителей, он обрадовался неизмеримо больше, чем если бы убедился, что честный мистер Досон Ханзикер производит доброкачественную вакцину.

Без разрешения и, уж конечно, без поощрения с чьей бы то ни было стороны Мартин выделил возбудителей симптоматического карбункула из крови, взятой у больного животного, и сам приготовил ослабленную вакцину. Это отняло много времени. Он не забросил практики, но, конечно, перестал появляться в заведениях, где шла игра в покер. Вечером они с Леорой съедали вместо обеда по бутерброду и спешили в лабораторию подогревать культуры в импровизированной водяной бане — старой, с течью, кастрюле, поставленной на спиртовку. Мартин, нетерпеливо слушавший отповедь Гесселпика, был бесконечно терпелив в наблюдении за результатом своей работы. Он насвистывал и напевал, и часы с семи до полуночи проносились, как минуты. Леора, миролюбиво насупив брови, высунув кончик языка, сторожила температуру, как хорошая цепная собачка.

После трех попыток с двумя глупейшими провалами он получил вакцину, которая его удовлетворила, и сделал прививку пораженному болезнью стаду. Эпидемия прекратилась, чем и ограничилась награда Мартина, а записи свои и запас вакцины он передал ветеринару штата. Но для других дело этим не ограничилось. Кринсенские ветеринары поносили Мартина за узурпацию их права спасать или убивать скот; врачи же поговаривали:

— Дурацкая выходка! Разве можно так унижать свое профессиональное достоинство! Ваш Эроусмит сущий нигилист, который вдобавок гонится за известностью, вот он что такое! Попомните мои слова: вместо того чтоб сохранить приличную, регулярную практику, он, вот увидите, откроет скоро шарлатанский санаторий.

А Мартин отводил душу перед Леорой:

— К черту достоинство! Моя бы воля, я занялся бы изысканиями — о, не холодной, отвлеченной материей, как Готлиб, но подлинно практической работой,— а потом я нашел бы кого-нибудь вроде Сонделиуса, чтобы тот взял мои открытия и вбивал бы их людям в головы, и я бы сделал всех здоровыми, со всем их скотом и зверьем, вплоть до кошек,— угодно им это или нет!

В таком настроении он прочитал в миннеаполисской газете, между занявшей полстолбца заметкой о женитьбе чемпиона среднелегкого веса и тремя строками, посвященными линчеванию агитатора ИРМ, следующее извещение:

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ, В ПОМЕЩЕНИИ ЛЕТНИХ КУРСОВ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ, ГУСТАВ СОНДЕЛИУС, КРУПНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ХОЛЕРЫ, ПРОЧТЕТ ЛЕКЦИЮ «БОРЦЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ».

Мартин, захлебываясь, прибежал домой:

— Ли! Сонделиус читает лекцию в Миннеаполисе. Едем! Собирайся! Мы его послушаем, а там кутнем и все такое!

— Нет, поезжай один. Тебе полезно немножко отдохнуть от города, от родственников и от меня. Я поеду с тобой куда-нибудь осенью. В самом деле. Если меня с тобой не будет, тебе, может быть, удастся поговорить с доктором Сонделиусом.

— Куда там! Тамошние видные врачи и чиновники здравоохранения столпятся вокруг него в десять рядов. Но все-таки я поеду.

4

Прерия горела зноем, в ленивом ветре шуршала пшеница, бесплацкартный вагон заносило угольной пылью. Несколько часов медленной езды истомили Мартина. Он дремал, курил, думал. «Надо забыть медицину и все остальное,— убеждал он самого себя.— Пойду поговорю с кем-нибудь в курилке, назовусь коммивояжером от обувной фирмы».

Он так и сделал. К несчастью, собеседник его оказался подлинным коммивояжером по обуви, очень любопытствовавшим узнать, какую фирму представляет Мартин, и тот вернулся в свой вагон с обостренным чувством обиды. Приехав часам к четырем в Миннеаполис, он поспешил в университет и запасся билетом на лекцию Сонделиуса, не подыскав еще даже номера в гостинице, но успев уже выпить кружку пива, о которой мечтал все сто миль дороги.

У него было нечеткое, но приятное намерение провести беспутно свой первый вечер свободы. Он встретит где-нибудь компанию веселых людей, с которыми можно будет посмеяться и поговорить и выпить вволю — хоть не через меру, конечно,— промчаться в авто на полной скорости к озеру Миннетонка и выкупаться при лунном свете. Поиски товарищей он начал с того, что выпил коктейль в баре какой-то гостиницы и пошел обедать в ресторан на Геннепин-авеню. Никто на него не глядел, никто, как видно, не жаждал общества. Он затосковал по Леоре, и весь его восторг, все серьезное и простосердечное стремление покутить переродилось в сонливость.

Ворочаясь с боку на бок на постели в гостинице, он грустил: «А лекция Сонделиуса скорее всего окажется вздором. Он скорее всего тот же Роско Гик».

5

Душный вечер. Студенты по двое, по трое подходят к дверям аудитории, пробегают глазами скромную афишу Сонделиуса и бредут прочь. Мартин, едва не решившись дезертировать вместе с ними, хмуро вошел. Зал на треть заполнен студентами и преподавателями летних курсов и людьми, в которых можно признать врачей или начальников учебных заведений. Мартин сидит в заднем ряду, обмахивается соломенной шляпой, ненавидит сидящего с ним в одном ряду человека с бакенбардами, не одобряет Густава Сонделиуса и почти презирает самого себя.

Но вот в зал ворвалось оживление. По центральному проходу, сопровождаемый бесполезным маленьким хлопотуном, прошел раскатом грома человек с широкой улыбкой, широким лбом и копной курчавых льняных волос — прямо ньюфаундлендская собака. Мартин выпрямился. И когда Сонделиус залился мелодичным ревом со шведским акцентом и певучей шведской интонацией, Мартин настолько ободрился, что стал легко переносить даже гнетущее соседство человека с бакенбардами.

— Профессия медика может рождать только одно желание,— бушевал Сонделиус,— уничтожить профессию медика. Непосвященные же могут быть уверены только в одном: девять десятых того, что им известно о здоровье, неверно, а остальное они не умеют применить. Как показывает Батлер в «Едгин» (Свинья! Украл у меня эту мысль за добрых тридцать лет до того, как я до нее додумался), единственное преступление, за которое следует вешать человека,— это наличие у него туберкулеза.

— Уфф! — откликнулась добросовестная аудитория, недоумевая: забавно это, оскорбительно, скучно или же назидательно?

Сонделиус был буян и озорник, но он умел зачаровывать слушателей. Мартин наблюдал вместе с ним героев желтой лихорадки — Рида, Аграмонте, Кэррола и Лезира; высаживался вместе с ним в мексиканском порту, усыпленном чумой и умирающем от голода под нещадным солнцем; скакал вслед за ним на коне по горным тропам к опустошенному сыпняком селению; бок о бок с ним, в коварные августовские дни, когда грудные ребята превращаются в иссохшие скелетики, вел войну с трестом мороженщиков, меж тем как меч закона бездействовал, золоченый и притупившийся!

«Вот что хотел бы я делать! Не латать без конца износившиеся тела, но создавать новый мир! — жадно вздыхал Мартин.— Ей-богу! Я бы за ним в огонь и воду пошел! А как он разносит гробокопателей, критикующих дело общественного здравоохране-

ния! Эх, если б только удалось познакомиться с ним и поговорить хоть несколько минут...»

После лекции он медлил уходить. Сонделиуса окружили на эстраде человек десять — двенадцать; одни пожимали ему руку; другие задавали вопросы; какой-то врач волновался: «А вас не смущает, что бесплатные клиники и все такое ведут к социализму?» Мартин стоял в стороне, пока все не отступились от Сонделиуса. Служитель шумно и настойчиво запирал окна. Сонделиус огляделся, и Мартин понял вдруг, что великому человеку скучно. Он пожал ему руку и с дрожью в голосе проговорил:

— Сэр, если вы не спешите, может, вы не отказались бы зайти куда-нибудь и...

Сонделиус засиял на него лучезарным солнцем и прогремел:

— ...и выпить? Что ж, я, пожалуй, не прочь. Как сошла у меня сегодня шутка насчет собаки и блох? Понравилась, как вам кажется?

— Конечно! Еще бы!

Воитель, только что рассказывавший, как он спас от голодной смерти пять тысяч татар, получил ученую степень от китайского университета и отказался принять орден от самого настоящего балканского короля,— теперь любовно глядел на свой отряд, состоявший из одного приверженца, и спрашивал:

— Не плохо сошло? Да? Публике понравилось? Ночь такая душная, а у меня по девять лекций в неделю: Де-Мойн, Форт-Додж, Ла-Кросс, Элджин, Джолиэт (он, впрочем, произнес «Жолиэ») и... забыл, где еще. Так сошло не плохо? Понравилось?

— Просто сногсшибательно! Да что там, все ловили каждое слово! Искренне говорю вам, я в жизни не испытывал такого наслаждения.

Пророк возликовал:

— Идемте! Ставлю выпивку. Как гигиенист, я веду поход против алкоголя. В чрезмерных количествах он почти столь же вреден, как кофе и даже мороженое. Но как человек, который любит побеседовать, я считаю виски с содовой великолепным растворителем человеческой глупости. Найдется здесь, в Детройте... или нет — где я сегодня? — в Миннеаполисе прохладное местечко, где бы можно было выпить пильзенского?

— Насколько мне известно, здесь есть Летний сад с хорошей пивной, а остановка трамвая в двух шагах.

Сонделиус уставился на него.

— Зачем? Меня ждет такси.

Мартин был подавлен такой роскошью. Сидя в такси, он старался придумать слова, с которыми прилично будет обратиться к знаменитости.

— Скажите, доктор, а в Европе есть Советы здравоохранения?

Сонделиус точно и не слышал.

— Посмотрите вон на ту девушку. Какие ножки и какие плечи! А хорошее пиво в Летнем саду? Найдется у них приличный коньяк? Вы пили когда-нибудь коньяк Курвуазье тысяча восемьсот шестьдесят пятого года? Уфф! Лекции и лекции! Честное слово, я это дело брошу... Да еще надевай им фрак в такую жару! Знаете, я твердо верю во все сумасбродные вещи, которые проповедую в своих лекциях; но теперь забудем, что мы серьезные люди, будем пить, будем петь из «Графа Люксембурга», будем отбивать красивых девушек у их кавалеров, будем обсуждать прелесть «Мейстерзингеров», которую никто не понимает, кроме меня!

В Летнем саду неукротимый Сонделиус рассуждал о Клубе Космополитов, об исследованиях Галле по детской смертности, о целесообразности смешивания бенедиктина с яблочной водкой, о Биаррице, о лорде Холдейне, о проверке молока по способу Дона-Бакли, о Джордже Гиссинге и об омарах «термидор».

Мартин подыскивал, как бы ему перекинуть мостик между Сонделиусом и собой, как мы это делаем со знаменитостями или при встречах с людьми за границей. Он мог бы сказать: «Кажется, у нас есть один общий знакомый», или: «Я имел удовольствие читать все ваши статьи»,— но закинул удочку иначе:

— Встречались вы когда-нибудь с двумя большими людьми моего медицинского факультета в Уиннемаке: с деканом Сильвой и Максом Готлибом?

— Сильва? Не припомню. А Готлиб?.. Вы его знаете? О! — Сонделиус развел могучими руками.— Из великих великий! Гениальный ученый! Я имел удовольствие беседовать с ним у Мак-Герка. Он бы не сидел здесь и не горланил, как я. Рядом с ним я чувствую себя клоуном! Он берет все мои данные по эпидемиологии и доказывает мне, что я болван! Ха-ха-ха! — Сонделиус просиял и обрушился на систему заградительных пошлин.

При каждой новой теме требовалось что-нибудь подкрепляющее. Сонделиус пил фантастически и был точно вылужен изнутри. Он мешал пильзенское с виски, с черным кофе и с жидкостью, которую официант уверенно выдавал за абсент.

— Я должен лечь спать в двенадцать,— плакался он,— но нет худшего преступления, как прервать душевную беседу. Впрочем, соблазнить меня не трудно, достаточно самого маленького соблазна. Но пять часов сна мне необходимы. Абсолютно необходимы! Завтра вечером я читаю лекцию в... где-то в штате Айова. Теперь, перевалив за пятьдесят, я уже не могу обходиться тремя часами

сна, как бывало раньше, но что делать? Я нашел так много новых тем, на которые мне хочется поговорить.

Он стал красноречив, как никогда. Потом сделался раздражителен. Угрюмый человек за соседним столиком слушал, поглядывал на них и усмехался. Сонделиус оборвал рассуждения о противохолерной сыворотке Хавкина гневной тирадой:

— Если этот человек не перестанет пялить на меня глаза, я размахнусь и убью его! Я человек смирный — теперь, когда я уже не так молод,— но не люблю, когда на меня пялят глаза. Пойду поговорю с ним по-своему. Слегка стукну — и все!

Пока сбегались официанты, Сонделиус орал на соседа, грозил ему громадными кулаками, потом осекся, пожал ему руку — раз, и другой, и третий — и подвел его к Мартину.

— Мой соотечественник, родом из Готенборга. Он плотник. Садитесь, Нильсон, садитесь и пейте. Хейо! Кельнер!

Плотник оказался социалистом, членом секты адвентистов седьмого дня, свирепым спорщиком и приверженцем спиртного. Он распекал Сонделиуса за аристократизм, распекал Мартина за невежество в политической экономии, распекал официанта за скверный коньяк. Сонделиус, Мартин и официант не скупились на ответы, и разговор завязался отличный. Их выставили из Летнего сада, и они забились все трое в терпеливо ожидавшее такси, которое сотрясалось от их споров. Куда они ездили, Мартин так и не запомнил. Или вся история приснилась ему? Они заходили как будто в пивную на какой-то длинной улице, вероятно, на Университетском проспекте; сидели в кабачке на Южно-Вашингтонской улице, где спали у стойки трое бродяг, заезжали на дом к плотнику, где какая-то невыясненная личность варила им кофе.

И куда бы они ни попадали, они в то же время были в Москве, и Кюрасао, и Мурвиллумбе. Плотник создавал коммунистические государства, между тем как Сонделиус, провозглашая, что ему безразлично, работать ли при социализме или при самодержавии — лишь бы можно было понуждать людей быть здоровыми,— сокрушал туберкулез, а к рассвету разбил наголову рак.

Они расстались в четыре часа утра со слезными клятвами встретиться еще раз в Миннесоте или Стокгольме, в Рио-де-Жанейро или в Полинезии, и Мартин двинулся в Уитсильванию — положить конец дурацкому порядку, при котором людям разрешается болеть.

И великий бог Сонделиус убил декана Сильву, как Сильва убил в свое время Готлиба, Готлиб убил Дубль Эдвардса, веселого химика, Эдвардс — дока Викерсона, а Викерсон — пасторского сына, у которого висела в сарае настоящая трапеция.

ГЛАВА XVIII

1

Доктор Уустийн из Вандергайд-Грова в свободное время работал инспектором здравоохранения по округу Кринсен, но должность оплачивалась плохо и не слишком его интересовала. Когда Мартин ворвался к нему и предложил вести работу за половину оклада, Уустийн благосклонно изъявил согласие, посулив коллеге, что это, несомненно, повлияет на его частную практику.

Действительно, повлияло. Это его почти лишило частной практики.

Официального назначения не последовало. Мартин проставлял на бумагах подпись «Уустийн» (придавая этому имени по вдохновению, самую затейливую и разную орфографию), и кринсенский Совет уполномоченных признавал за Мартином некоторую власть, но в общем дело было, пожалуй, нелегальное.

На первых порах чиновничье рвение Мартина имело мало общего с наукой и еще меньше с героизмом, но зато сильно раздражало уитсильванцев. Мартин совался во все дворы, пробирал миссис Бисон за ее вонючие бочонки, мистера Норблома за привычку сваливать конский навоз на улице и школьный совет за то, что классы не проветриваются и школьников не заставляют чистить зубы. Граждане и раньше относились к Мартину с глухим недовольством за его безбожие, моральную распущенность и отсутствие местного патриотизма, но когда их стали вытягивать из привычной и, по их мнению, благотворной грязи, их взорвало.

Мартин был честен и убийственно серьезен, но если он и обладал невинностью голубя, то мудрости змеи ему явно не хватало. Он не внушал согражданам почтения к своей миссии. Даже и не пробовал внушать. Власть его, как у уустийновского alter ego [1], была импозантна на бумаге, но слаба на деле и совершенно бессильна против вызываемого ею упрямого противодействия.

От надзора за помойками он поднялся к драматической борьбе с инфекцией.

В поселке Дельфт постоянно держалась, то спадая, то вспыхивая, эпидемия брюшного тифа. Фермеры были уверены, что зараза идет от племени новоселов, из деревни в шести милях вверх по речушке, и линчевание виновников представлялось им наилуч-

---

[1] Представителя *(лат.)*.

шим выражением протеста и приятным отдыхом от земледельческих трудов. Когда Мартин стал уверять, что, пройдя шесть миль по реке, отбросы очищаются и вряд ли беда в новоселах, на него обрушились:

— Хорош гусь! Ходит и трубит, что мы должны принимать побольше мер для охраны здоровья! А когда ему показывают шелудивых собак, которых надо перестрелять, тем более что они всего-навсего чехи, так он палец о палец не ударит — только мелет вздор об убиении микробов и о всякой ерунде,— говорил Кэйс, скупщик пшеницы при Дельфтском элеваторе.

Носясь по округу, не забрасывая, но и не расширяя, конечно, свою частную практику, Мартин отмечал на карте каждый новый случай брюшного тифа на пять миль вокруг Дельфта. Он прослеживал, куда посылалось молоко, откуда поступала бакалея. И открыл, что по большей части заболевание появлялось после прихода домашней швеи, добродетельной старой девы, маниякально чистоплотной. Четыре года тому назад у нее у самой был брюшной тиф.

— Она хронический бациллоноситель,— объявил Мартин,— надо ее освидетельствовать.

Он застал ее за шитьем в доме старого фермера-проповедника.

Со стыдливым негодованием она отказалась подвергнуться осмотру, и Мартин слышал, уходя, как она плачет от обиды, а проповедник проклинает его с крыльца. Мартин вернулся с полисменом, арестовал швею и посадил ее в изолятор при кринсенской ферме-богадельне. В испражнениях арестантки он нашел миллиарды брюшнотифозных бацилл.

Хрупкой добропорядочной женщине было не по себе в голой беленой палате. Ей было стыдно и страшно. Кроткую, смирную, ясноглазую старую девушку везде любили; она приносила подарки ребятишкам, помогала заваленным работой фермершам готовить обед, а детям постарше пела песни тонким чирикающим голоском. Мартина поносили за преследование швеи. «Небось не посмел бы ее тронуть, будь она побогаче»,— судачили в деревне и поговаривали о том, чтобы силой освободить арестованную.

Мартин мучился. Он навещал швею в богадельне, он пробовал разъяснить ей, что для нее нет другого места, он носил ей журналы и конфеты. Но твердо стоял на своем. Ей нельзя выйти на свободу. Он был убежден, что она явилась причиной по меньшей мере ста случаев брюшного тифа, в том числе девяти со смертельным исходом.

В округе его высмеивали. Разносит тиф — теперь, через четыре года после выздоровления? Кринсенский совет уполномоченных и кринсенский отдел здравоохранения вызвали из соседнего округа доктора Гесселинка. Тот просмотрел расчерченные Мартином карты и согласился с ним. На каждом заседании совета происходили теперь бои, и неизвестно было, чем они кончатся для Мартина — гибелью или триумфом.

Леора спасла и его и швею.

— А нельзя ли,— сказала она,— собрать по подписке деньги и поместить ее в хорошую больницу, где ее будут лечить или просто содержать, если она неизлечима?

Швея была помещена в санаторий и любезно забыта всеми до конца своей жизни, а вчерашние враги говорили о Мартине:

— Толковый парень — и от работы не отлынивает.

Гесселинк специально приехал, чтобы объявить ему:

— На этот раз вы показали себя молодцом, Эроусмит. Я рад видеть, что вы взялись за дело.

Окрыленный успехом, Мартин тотчас принялся выслеживать новую эпидемию. Ему повезло: он натолкнулся на случай натуральной оспы и на несколько случаев, где он заподозрил оспу. Некоторые из этих случаев пришлись по ту сторону границы, на округ Менкен — сферу влияния Гесселинка, и Гесселинк поднял Мартина на смех.

— Это все ветряная оспа, кроме одного вашего случая, ведь летом оспой почти не болеют,— подтрунивал он, а Мартин метался по обоим округам, вещал о бедствии, заклинал всех и каждого сделать прививку, гремел:

— Через десять — пятнадцать дней будет ад кромешный!

Но пастор Единого братства, служивший в церквах Уитсильвании и двух других деревень, был противником оспопрививания и восстал против него в своих проповедях. Деревни стали на сторону пастора. Мартин ходил из дома в дом, умоляя фермеров привить оспу, предлагая провести прививку бесплатно. Но он в свое время не завоевал их любви, не научил их следовать за собою, и они возражали, долго и развязно спорили на крыльце, приговаривая, что он пьян. Хоть он уже много недель не пил ничего крепкого, кроме сомнительного деревенского кофе, они нашептывали, будто он каждый вечер бывает пьян и что священник Единого братства собирается разоблачить его с церковной кафедры.

Десять страшных дней миновали, и пятнадцать дней, и все случаи, кроме первого, оказались ветрянкой. Гесселинк злорадствовал, деревня зубоскалила, и Мартин сделался притчей во языцех.

Пересуды о его распущенности мало его задевали: только иногда вечерами, в состоянии тихой депрессии, он помышлял, бывало, о побеге. Но смех приводил Мартина в дикое бешенство.

Леора гладила его прохладными руками, успокаивая.

— Это пройдет,— говорила она.

Но это не проходило.

К осени история о докторе Эроусмите и оспе развилась в одну из тех шуточных народных сказок, какие любят крестьяне по всему свету. Их доктор, весело рассказывали они, утверждает, будто всякий, кто держит свиней, непременно помрет от оспы. Он семь дней кряду пил без просыпу, и все болезни, от камня в печени до изжоги, объявлял оспой. При встрече они шутили, вовсе не желая его обидеть:

— У меня на подбородке прыщик, док. Что это? Уж не оспа ли?

Страшнее ярости народа его смех, и если он терзает тиранов, то с тем же рвением преследует он святого и мудреца и оскверняет их сокровища.

Когда округ настигла внезапно подлинная эпидемия дифтерита и Мартин стал трепетно проповедовать сыворотку, многие вспоминали его неудачную попытку спасти Мэри Новак, остальные же кричали:

— Ох, оставьте нас в покое! Помешались вы на эпидемиях!

И когда дети, как он и предсказывал, стали умирать один за другим, потешная сказка о докторе Эроусмите отнюдь не утратила своей популярности среди фермеров.

И вот однажды Мартин пришел домой к Леоре и сказал спокойно:

— Кончено. Надо собирать пожитки. Я здесь ничего не добьюсь. Пройдут годы, пока они снова станут мне доверять. Уж этот мне их проклятый юмор! Займусь вплотную настоящим делом: общественным здравоохранением.

— Я очень рада! Ты для них слишком хорош. Мы поедем в какой-нибудь большой город, где твою работу будут ценить.

— Нет, надо смотреть правде в глаза. Урок не прошел для меня даром. Здесь я потерпел провал. Я восстановил против себя слишком много людей. Не сумел к ним подойти. Может быть, и следовало бы стерпеть, не отступать, но жизнь коротка, и я считаю, что все-таки я кое-чего да стою. Меня сперва смущало, что я праздную труса, обращаюсь в бегство, что я не довел плуга... как это говорится? «Не довел плуга до конца борозды...» Но теперь мне все равно! Честное слово! Я знаю, на что я способен! Готлиб это видел! И я хочу взяться за работу. Двинем! Хорошо?

— Конечно!

2

В журнале Американской Медицинской Ассоциации сообщалось, что Густав Сонделиус читает цикл лекций в Гарварде. Мартин написал ему, спрашивая, не знает ли он где-нибудь свободной вакансии по здравоохранению. Сонделиус ответил очень неофициально, грязными каракулями, что он с удовольствием вспоминает их миннеаполисскую вылазку, что с Энтвайлом из Гарварда он расходится во взглядах на природу метатромбина, что в Бостоне есть превосходное итальянское кофе, а насчет должности он порасспросит своих приятелей из санитарного управления.

Два дня спустя он написал, что доктор Альмус Пиккербо, директор отдела народного здравоохранения в городе Наутилусе, штат Айова, ищет себе помощника и, вероятно, не откажется сообщить подробности.

Леора с Мартином набросились на справочник.

— Ого! В Наутилусе шестьдесят девять тысяч жителей! По сравнению со здешними тремястами шестьюдесятью шестью... нет, постой, здесь теперь триста шестьдесят семь, считая с младенцем Пита Иески (кстати, роды принимать этот мерзавец вызвал Гесселинка!)... Люди! Люди, которые умеют разговаривать! Театры! Может быть, концерты! Леора, мы будем как двое ребят, вырвавшихся из школы!

Он по телеграфу запросил о подробностях — к великому любопытству железнодоржного агента, работавшего также и телеграфистом.

В присланном ему гектографированном проспекте сообщалось, что доктору Пиккербо требуется помощник, который, наряду с самим Пиккербо, будет единственным медицинским чиновником, работающим полный рабочий день, так как больничные и школьные врачи сохраняют частную практику и привлекаются к служебным обязанностям только по совместительству. Помощник должен быть эпидемиологом, бактериологом и возглавлять штат конторщиков, медицинских сестер и инспекторов-добровольцев, надзирающих за молочными фермами и санитарией. Оклад — две с половиной тысячи долларов в год, тогда как в Уитсильвании Мартин зарабатывал тысячи полторы.

Желательно предъявление солидных рекомендаций.

Мартин написал Сонделиусу, декану Сильве и Максу Готлибу в институт Мак-Герка.

Доктор Пиккербо известил:

«Я получил о вас очень приятные письма от декана Сильвы и доктора Сонделиуса, а письмо доктора Готлиба совсем замечательное. Он говорит, что у вас редкое дарование лабораторного

исследователя. Я с истинным удовольствием предлагаю вам место. Будьте добры ответить телеграммой».

Только теперь Мартин до конца осознал, что бросает Уитсильванию, до смерти наскучившие придирки Берта Тозера, шпионство Пита Иески и Норбломов... необходимость в сотый, в тысячный раз неизменно сворачивать с леополисской дороги на юг у Двухмильной рощи и следовать снова и снова по томительно ровному, прямому тракту; высокомерие доктора Гесселинка и коварство доктора Кофлина, рутину, не оставляющую времени на пыльную лабораторию,— бросает все это для культуры и блеска великого города Наутилуса.

— Леора, мы едем! Мы в самом деле едем!

3

Берт Тозер сказал:

— Другие, знаешь, ей-богу, назвали бы тебя предателем, после всего, что мы для тебя сделали, пусть ты и вернул нам тысячу долларов. Позволить приехать сюда другому доку и отнять у Семьи все влияние!

Ада Квист сказала:

— Если вы и среди здешней публики не завоевали доверия, воображаю, что вас ожидает в таком большом городе, как Наутилус! В будущем году мы с Бертом поженимся, и когда вы двое спесивцев обожжетесь там как следует нам верно придется приютить вас под своим кровом когда вы смирившись приползете назад как вы думаете можно нам будет снять ваш дом за ту же плату какую платили вы право Берт почему бы нам не снять кабинет Мартина все-таки экономия впрочем я всегда говорила с тех пор еще как мы вместе учились в школе что ты Ори не способна вести приличный правильный образ жизни.

Мистер Тозер сказал:

— Просто не понимаю: все шло так хорошо. Право, со временем вы стали бы зарабатывать здесь три-четыре тысячи в год, если б не бросали практики. Уж мы ли не старались устроить вас как можно лучше? Не нравится мне, что моя дочка едет в чужой город и покидает меня, старика. И Берт стал такой заносчивый со мной и с матерью, а вы и Леора всегда как будто считались с нами. Нельзя ли как-нибудь так уладить, чтоб вы остались?

Пит Иеска сказал:

— Док, я просто ушам своим не поверил, когда услышал, что вы уезжаете! Конечно, мы с вами цапались из-за аптекарских товаров, но, ей-богу, я уже вроде как подумывал предложить вам

войти в компанию, чтоб вы могли ведать лекарствами, как вам вздумается, и можно было бы заодно подрядиться к Бьюику — распространять его машины. Развернули бы приличное предприятие. Я от души жалею, что вы нас покидаете, право... Ну, приезжайте как-нибудь, постреляем уток, посмеемся, вспомним, какую вы тут подняли бучу из-за оспы. Никогда не забуду! На днях еще, когда у моей старухи стреляло в ушах, я сказал ей: «Смотри, Бесс, не схватила ли ты оспу?»

Гесселинк сказал:

— Доктор, что я слышу? Вы уезжаете? Как! Мы с вами только начали поднимать на должную высоту медицинскую практику в этом захолустье... Я нарочно сегодня приехал... В чем дело? Мы посмеивались над вами? Верно, посмеивались, сознаюсь; но это не значит, что мы вас не ценим. В маленьких местечках, как ваша Уитсильвания или Гронинген, поневоле, от нечего делать, перемываешь косточки соседям. Право, доктор, я с радостью наблюдал, как вы из неоперившегося птенца превращаетесь в настоящего, самостоятельного врача, и вдруг вы уезжаете... Если бы вы знали, как мне это грустно!

Генри Новак сказал:

— Как, док, неужто вы нас покидаете? А мы ждем нового младенца, и я намедни еще сказал жене: «Хорошо, что у нас есть доктор, который выкладывает правду, а не морочит нам голову, как док Уинтер».

Дельфтский скупщик пшеницы сказал:

— Док, что я слышу? Никак, вы удираете от нас? Мне доложил это один паренек, а я ему ответил: «Не старайся ты быть глупее, чем создал тебя господь». Вот что я ему сказал. Но я забеспокоился и поспешил приехать... Док, я, пожалуй, слишком иной раз распускаю язык. Я был против вас в этой истории с тифом, когда вы уверяли, что портниха разносит заразу, но вы потом показали нам, кто был прав. Док, если бы вы остались и захотели бы стать сенатором штата... я пользуюсь кое-каким влиянием,— поверьте, уж я бы для вас постарался!

Алек Инглблед сказал:

— Счастливец!

Вся деревня высыпала к поезду, когда Мартин и Леора уезжали в Наутилус.

Первую сотню раззолоченных осенью миль Мартин горевал о недавних соседях.

— Впору соскочить с поезда и бежать назад. Разве не весело было нам играть с Фрезирами в «тысячу»? Подумать только, какого они теперь получат врача. Честное слово, если тут поселится шарлатан или если Уустийн опять забросит санитарное дело, я

вернусь и заставлю их обоих закрыть лавочку! И как-никак забавно было бы стать сенатором штата.

Но когда стемнело и во всем стремительно мчащемся мире не осталось ничего, кроме желтых газовых фонарей в потолке длинного вагона, Мартин и Леора уже видели впереди великий Наутилус, его славу и достижения, создание образцового светлого города и похвалу Сонделиуса... а может быть, и Макса Готлиба.

ГЛАВА XIX

1

Среди черноземной равнины Айовы, пристроившись к неглубокой и неинтересной речушке, жарится на солнце и шумит и сверкает город Наутилус. На сотни миль вокруг неуклонно прямыми рядами встает лес кукурузы, и путник, бредущий в поту по дороге между высокими частоколами стеблей, теряется и нервничает от ощущения нещадного роста.

Наутилус перед Зенитом — все равно что Зенит перед Чикаго.

Со своими семьюдесятью тысячами населения это тот же Зенит, только меньшей величины, но не менее оживленный. Здесь одна большая гостиница против десяти зенитских, но ее владелец приложил все старания, чтобы сделать ее деловитой, стандартизованной и умопомрачительно современной. Единственная существенная разница между Наутилусом и Зенитом та, что хотя и тут и там улицы выглядят все одинаково, в Наутилусе они выглядят одинаково на протяжении меньшего количества миль.

Определить Наутилус в качественном отношении затруднительно по той причине, что до сих пор не решено, что он такое — очень большая деревня или очень маленький город. Здесь есть дома, где держат шоферов и угощают коктейлями Баккарди, но в августовские вечера все, кроме нескольких десятков жителей, сидят без пиджаков на парадном крыльце. В десятиэтажном здании поместилась среди различных контор редакция журнальчика «Новая проза», издаваемого молодой женщиной, которая провела пять месяцев в монпарнасских кафе, а напротив, под кленами, уютно стоит старозаветный особняк и выстроились в ряд фургоны и форды, на которых приехали в город фермеры в комбинезонах.

Айова славится самой плодородной почвой, самым низким уровнем неграмотности, самым высоким процентом коренного белого населения и владельцев автомобилей и самыми нравственными и передовыми городами во всех Соединенных Штатах, а

Наутилус — самый айовийский город в Айове. Из каждых трех горожан старше шестидесяти лет один может похвастаться, что провел зиму в Калифорнии, в том числе пасаденский чемпион по набрасыванию подков на колышки и женщина, преподнесшая мисс Мэри Пикфорд индейку, которой королева кино наслаждалась за рождественской трапезой в 1912 году.

Для Наутилуса характерны большие дома с густым газоном перед ними, а также поразительное количество гаражей и высоких церковных шпилей. Тучные поля подступают к самой черте города, и немногочисленные фабрики, несчетные железнодорожные пути, убогие домики рабочих расположены чуть ли не среди кукурузы. Производит Наутилус стальные ветряки, сельскохозяйственные орудия (включая знаменитый раскидыватель навоза «Маргаритка»), а из хлебных продуктов — «Маисовый порошок», излюбленный завтрак айовийца. Город выделывает еще кирпич, ведет оптовую торговлю бакалеей и дает приют главному штабу Кооперативного страхового общества Кукурузной зоны.

Одним из самых мелких, но и самых старых промышленных предприятий является Магфордский христианский колледж, насчитывающий двести семнадцать студентов и шестнадцать преподавателей, из коих одиннадцать — священники Христовой церкви. Небезызвестный доктор Том Биссекс состоит здесь тренером по футболу, санитарным директором и профессором гигиены, химии, физики, а также французского и немецкого языков. Отделения стенографии и фортепиано славятся далеко за пределами Наутилуса, и однажды — правда, это произошло уже несколько лет тому назад,— Магфорд побил бейсбольную команду Гриннел-колледжа со счетом одиннадцать — пять. Магфорд-колледж ни разу не запятнал своей чести дрязгами из-за преподавания биологии дарвиновского толка — в колледже еще и не думали вводить в программу какую бы то ни было биологию.

2

Мартин оставил Леору в Симз-хаузе, старомодной, второй гостинице Наутилуса, а сам пошел представляться доктору Пиккербо, директору Отдела народного здравоохранения.

Отдел помещался в переулке в полуподвальном этаже большого серого каменного гриба — Сити-Холла. Когда Мартин вошел в унылую приемную, его с почетом приняли стенографистка и две медицинских сестры. В их щебетанье — «Хорошо доехали, доктор? Доктор Пиккербо не надеялся увидеть вас раньше завтрашнего дня, доктор. Миссис Эроусмит с вами, доктор?» — бомбой влетел Пиккербо и разразился приветствиями.

Доктору Альмусу Пиккербо было сорок восемь лет. Он кончил Магфорд-колледж и медицинский факультет в Вассау. Внешностью доктор несколько напоминал президента Теодора Рузвельта — та же крепкая фигура, те же усы щетиной — и нарочно подчеркивал это сходство. Он не знал, что значит просто разговаривать: он или ворковал, или держал речь.

Он встретил Мартина четырехкратным «отлично!», прозвучавшим как хоровое приветствие целого колледжа; затем через весь отдел провел его в свой личный кабинет, угостил сигарой и пробил плотину спокойного мужского молчания:

— Доктор, я счастлив, что буду иметь сотрудником такого человека, как вы, с научными наклонностями. Это не значит, однако, что сам я считаю себя совершенно их лишенным. Напротив, я взял себе за правило время от времени заниматься, между прочим, и научными исследованиями, без некоторой доли которых даже самый пламенный крестовый поход за здоровый быт вряд ли увенчается успехом.

Это звучало как вступление к длинной лекции. Мартин поудобней уселся в кресло. Он сомневался, прилично ли будет закурить сигару, но решил, что она ему поможет казаться более заинтересованным.

— Но это у меня, я полагаю, вопрос темперамента. Я часто надеялся, хоть мне и чуждо стремление к самовозвеличиванию, что высшие силы, быть может, назначили мне в удел стать одновременно Рузвельтом и Лонгфелло великого и неизменно ширящегося всемирного движения в пользу охраны народного здоровья... не слаба ли ваша сигара, доктор? или, пожалуй, лучше было бы сказать не Лонгфелло, а Киплингом народного здоровья, потому что, несмотря на целый ряд прекрасных строф и на моральную возвышенность нашего Кембриджского Мудреца, в его поэзии нет того размаха и той силы, что у Киплинга.

Полагаю, вы согласны со мною или согласитесь, когда вам представится случай увидеть плоды нашей работы в городе и успех, с которым мы торгуем идеей «Улучшай Здоровье», что ни в чем так не нуждается мир, как в истинно вдохновенном, отважном вожде, который, как башня, возносится над толпой,— так сказать, в Билли Санди нашего движения, в человеке, который умел бы надлежащим образом использовать сенсацию и расшевеливать людей в их косности. Газеты — и я могу только сказать, что они мне льстят, сравнивая меня с Билли Санди, величайшим евангелистом и христианским проповедником,— газеты утверждают иногда, будто я слишком гонюсь за сенсацией. Ха! Если б только они понимали, что вся беда в том, что я недостаточно гонюсь за сенсацией! Все же я стараюсь, стараюсь, и... Посмотри-

те! Вот плакат. Он написан моей дочерью Орхидеей, а стихи — мое собственное скромное произведение, и смею вас уверить, их цитируют везде и всюду:

К здоровью путь отнюдь не гладкий,
К здоровью не придешь украдкой,
О гигиене, милый друг,
Кричи ты громко, как петух.

А вот еще плакат — менее значительный; здесь нет стремления подняться до широких абстрактных обобщений, но вас поразит, до чего такая вещь действует на беспечных матерей, которые, конечно, вовсе не пренебрегают намеренно здоровьем своих малюток, однако их нужно наставлять, а иногда и подстегнуть, и когда они видят такой плакат, он заставляет их призадуматься:

Кипяти рожок молочный — или — правда сущая! —
Покупай билет для дочки в царствие грядущее.

Некоторые мои вещицы — а я их слагаю в пять минут, не больше — получили высокую оценку. Как-нибудь, когда у вас выдастся свободный часок, просмотрите этот альбом вырезок, просто чтобы видеть, доктор, чего можно достичь, если вести движение современными и научными методами. Это вот о противоалкогольном митинге, который я провел в Де-Мойне. Зал был битком набит, и я владел им: все до одного вскочили на ноги, когда я доказал с цифрами в руках, что девяносто три процента всех случаев сумасшествия имеют своей причиной пьянство! Или вот еще,— правда, это не имеет прямого отношения к охране здоровья, но зато показывает, какие вам здесь открываются широкие возможности включиться в любое движение, имеющее целью благо общества.

Он извлек новую газетную вырезку. Над карикатурой, исполненной карандашом и пером,— громадная усатая голова на крохотном тельце — красовался заголовок:

ДОК ПИККЕРБО — ЗНАМЕНОСЕЦ ОКРУГА ЭВАНДЖЕЛИН —
ВОЗГЛАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ
ПОД ЛОЗУНГОМ «ХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ»

Пиккербо смотрел и предавался воспоминаниям:

— Прелестный был митинг! Мы подняли посещаемость церкви по округу на семнадцать процентов! Ах, доктор, вы учились в Уиннемаке и проходили стаж в Зените, не так ли? В таком случае вас должно заинтересовать вот это. Вырезка из зенитского «Адвокат-таймса», стихи Чама Фринка, который — вы, я думаю, согласитесь со мной! — стоит в одном ряду с Эдди Гестом и Уотом Мейсоном — нашими величайшими поэтами и, несомненно, популярнейшими, откуда явствует, что американская публика отнюдь

не страдает недостатком литературного вкуса. Милый старый Чам! Я приехал тогда в Зенит делать доклад на всеамериканском съезде Конгрегациональных воскресных школ — я и сам, видите ли, конгрегационалист — на тему «Здоровье — наш моральный долг». И вот Чам написал обо мне эти стихи:

Привет от Зенита, привет стократ,
О Альмус, о Пиккербо, друг и брат!
Двужильный боец,
Врач и певец,
Он льва благородней, смелей кугуара,
Стоит за здоровье скалой Гибралтара.
Он фактами, цифрами, рифмами бьет,
Маленький, удаленький щу-у-кин кот!

Многоречивый доктор Пиккербо вдруг застыдился.

— Может быть, нескромно с моей стороны показывать это всем и каждому. Но когда я читаю стихи, отмеченные такой оригинальностью, таким поэтическим взлетом, когда я вижу такой подлинный карманный шедевр, я убеждаюсь, что я вовсе не поэт, как ни сильно способствуют мои вирши Делу Здравоохранения. Пусть мои духовные детища учат гигиене и вносят свою ленту в спасение тысяч драгоценных жизней, но они — не литература, если их сопоставить со стихами Чама Фринка. Нет, я, конечно, не более как скромный ученый на посту чиновника.

Однако вы сейчас увидите, как один из этих моих опытов благодаря своей забавности и остроте и некоторой мелодичности, так сказать, золотит пилюлю — отучает беспечных людей плевать на тротуары и выманивает их на лоно великой природы, где они наполняют легкие озоном и ведут здоровую жизнь первобытных людей. Вам, верно, любопытно будет проглядеть первый номер небольшого альманаха, который я недавно основал — мне доподлинно известно, что многие редакторы газет намерены перепечатывать из него материал, способствуя таким образом нашему высокому делу и в то же время рекламируя мое издание.

Он вручил Мартину книжицу, озаглавленную: «Пикули Пиккербо».

В стихах и афоризмах «Пикули» рекомендовали хорошее здоровье, хорошие дороги, хорошие заработки и единый стандарт нравственности. Доктор Пиккербо подкреплял свои предписания статистическими данными, столь же убедительными, как те, которыми некогда преподобный Айра Хинкли устрашал Дигамму Пи. Так, в одной статье сообщалось, что из мужей, разведшихся со своими женами в Онтарио, Теннесси и Южном Вайоминге за 1912 год, подавляющее большинство — пятьдесят три процента! — выпивали не менее одного стакана виски в день.

Это предостережение еще не дошло до сердца Мартина, как Пиккербо выхватил у него «Пикули» и, точно оробевший школьник, воскликнул:

— Не стоит читать дальше — тут у меня всякий вздор. Просмотрите как-нибудь после. А вот второй том вырезок будет для вас, пожалуй, любопытен просто как показатель, чего может достичь человек в нашем деле.

Просматривая заголовки, Мартин все более убеждался, что до сих пор плохо представлял себе, какой широкой известностью пользуется доктор Пиккербо. Выяснилось, что он — основатель первого в Айове Ротарианского клуба; инспектор Конгрегациональной воскресной школы имени Джонатана Эдвардса в Наутилусе; председатель лыжно-туристского клуба «Мокассин», Кегельного клуба западной стороны и Клуба 1912 года имени Рузвельта; зачинщик и распорядитель Объединенного пикника Гимнастического общества, Лесовиков, Лосей, Масонов, Чудаков, Рыцарей Колумба, Б'наи, Б-рит и ХАМЛа; а также завоеватель призов за чтение наизусть наибольшего количества стихов из Библии и за лучшее исполнение ирландской джиги на вечерне Полной луны, устроенном библейской школой для взрослых имени Джонатана Эдвардса.

Мартин узнал, что доктор Пиккербо читал доклад членам Клуба Двадцатого Века в Наутилусе о «Путешествии американского доктора по Старой Европе» и членам Ассоциации питомцев Магфорд-колледжа на тему: «Старому Магфорду требуется инструктор по футболу — американец во весь рост».

Но и за пределами Наутилуса Альмус Пиккербо шумно напоминал о своем существовании.

На еженедельном завтраке Торговой Палаты города Толедо он держал речь на тему: «Чем больше здоровья, тем выше доход». Он просвещал заседавший в Уичите Всеамериканский совет пригородного трамвайного сообщения относительно «Основ гигиены для работников трамвая». Семь тысяч шестьсот рабочих детройтских автомобильных заводов слушали его доклад: «Сперва здоровье, потом техника безопасности, а пьянство — ни-ког-да!» А на большой конференции в Ватерлоо Пиккербо помог организовать первый в Айове отряд противников рома.

Посвящая ему статьи и передовицы, газеты и ведомственные журналы и один еженедельник резиновой промышленности украшали свои страницы фотографиями самого доктора Пиккербо, его цветущей супруги и восьми резвых дочерей, снятых то в канадских зимних костюмах среди снега и ледяных сосулек, то в легких, но скромных спортивных костюмах играющими в теннис во

дворе, то в костюмах неведомо каких жарящими ветчину на фоне сосен Северной Миннесоты.

Мартину нестерпимо хотелось уйти и отдохнуть.

Назад в Симс-хауз он пошел пешком. Ему было ясно: для культурного человека самый факт, что Пиккербо ратует за какую-либо реформу, будет достаточным основанием отмахнуться от нее.

Дойдя до этой мысли, Мартин сам себя одернул и выругал за то, что́ он почитал своим старым грехом высокомерия перед приличными нормальными людьми... Провал. Непостоянство. Сперва в университете, потом в частной практике, в неумелых распоряжениях по санитарии. И теперь опять?

Он убеждал себя: «Энергия и благодушие Пиккербо — как раз то, что нужно, чтобы довести до широких масс научные открытия Макса Готлиба. Какое мне дело, что Пиккербо пускает пыль в глаза конференциям попечителей воскресных школ и прочим кретинам, лишь бы он оставлял меня в покое и давал мне делать свое дело в лаборатории и по надзору за молочными фермами».

Он разжег в себе энтузиазм и весело, уповая на будущее, вошел в обшарпанный с высоким потолком номер гостиницы, где сидела в качалке у окна Леора.

— Ну, как? — спросила она.

— Очень хорошо, меня замечательно встретили. И мы приглашены завтра вечером на обед.

— Что он за птица?

— Отчаянный оптимист. Он умеет добиться своего, он... Ох, Леора, неужели я опять окажусь брюзгливым, неуживчивым кисляем? Опять провалюсь?

Он зарылся лицом в ее колени и льнул к ее любви — единственной реальности в мире болтливых призраков.

3

К тому времени когда под окнами у них зашелестели клены на ветру, поднявшемся с наступлением сумерек, и добропорядочные жители Наутилуса в своих тряских фордах покатили домой ужинать, Леора успела убедить Мартина, что Пиккербо своею шумихой не помешает его работе, что они ни в коем случае не останутся в Наутилусе на всю жизнь и что она, Леора, нежно его любит. Они спустились к ужину — к старозаветному айовийскому ужину с оладьями из кукурузной муки и множеством закусок, не лишенных для них интереса после вдохновенной, но неумелой Леориной стряпни, а потом пошли в кино и держались за руки и были вполне довольны.

На другой день доктор Пиккербо был более занят и менее говорлив. Он ознакомил Мартина с частностями предстоявшей работы.

Сам Мартин, освободившись от возни с порезанными пальцами и больными ушами, наивно воображал, что будет проводить радостные дни в лаборатории, выходя из нее только для борьбы с фабрикантами, не признающими требований санитарии. Но он быстро убедился, что его работу в точности определить невозможно: придется делать понемногу все дела, какие для него придумают доктор Пиккербо, газеты или первый попавшийся житель Наутилуса.

Ему предстояло умиротворять разговорчивых избирателей, которые приходили и жаловались на все — от запаха, источаемого канализацией, до вечеринок с пивом у соседей; предстояло диктовать в конторе корреспонденцию обидчивой стенографистке, представлявшей собою не Девушку-Работницу, а Милую Девицу, Которая Работает; давать материал в газеты; покупать скрепки для бумаг, мастику для полов и бланки для отчетов — все как можно дешевле; помогать по мере надобности двум врачам городской больницы, работавшим на половинном окладе; командовать сестрами и двумя санитарными инспекторами; ругаться с Компанией вывоза отбросов; арестовывать или по меньшей мере отчитывать всех, кто плюет на тротуары; лететь на форде наклеивать плакаты на стены домов, где появилась заразная болезнь; строгим оком ученого следить за эпидемиями от Владивостока до Патагонии и не допускать (неясно, какими способами), чтобы эти эпидемии приближались к Наутилусу и убивали землевладельцев и вносили замешательство в деловую жизнь города.

Будет и кое-какая лабораторная работа: анализы молока, Вассерман для частно практикующих врачей, изготовление вакцин, проверка мазков на дифтерию.

— Все понятно,— сказала Леора, когда они одевались к обеду у Пиккербо,— служба потребует у тебя не больше двадцати восьми часов в сутки, остальное же время тебе милостиво разрешается тратить на научную работу, если никто не помешает.

4

Дом доктора Пиккербо и миссис Альмус Пиккербо на ощетинившейся шпилями Западной Стороне являл собою Настоящий Старозаветный Дом. Это был деревянный особняк с башенками, качелями, гамаками, с замшелыми развесистыми деревьями, с жидковатым газоном и сыроватой беседкой, со старым каретным

сараем, утыканным по гребню крыши железными шипами. Над воротами красовалось наименование:

«ПУТНИКАТДОХНИ».

Мартин и Леора попали в сумятицу приветствий и дочек. Восемь юных Пиккербо, от хорошенькой девятнадцатилетней Орхидеи до пятилетних двойняшек, нахлынули пенной волной дружественного любопытства и старались говорить все сразу.

Хозяйка дома, полная женщина, имела вид озабоченно успокоенный. Ее уверенность, что все идет как нельзя лучше, находилась в постоянной борьбе с сознанием, что на свете многое идет как нельзя хуже. Она расцеловалась с Леорой, пока Пиккербо тряс Мартину руку, точно работал насосом. У Пиккербо был свой особый способ, здороваясь — вдавливать вам в руку большой палец очень сердечно и очень больно.

Он тотчас перекрыл голоса даже своих восьми дочерей речью о Домашнем Гнезде.

— Вот вам живой пример Здоровой Семьи. Взгляните, Эроусмит, на этих рослых, крепких девочек. Ни одного дня своей жизни они не болели... за редкими исключениями, и если их мать страдает мигренью, то это следует приписать пренебрежению диетой с ранних лет, ибо ее отец был, правда, церковным старостой и почтенным джентльменом старого закала, можно сказать, образцом джентльмена, другом Натаниеля Магфорда, которому мы более чем всякому другому обязаны не только основанием Магфорд-колледжа, но и заветами неподкупной честности и трудолюбия, легшими в основу нашего современного процветания, НО он понятия не имел о диете и санитарии, а я всегда полагал...

Гостям представили дочерей: Орхидею, Вербену, Розу, Жонкилию, Гиацинту, Нарциссу и двойняшек Акацию и Гладиолу.

Миссис Пиккербо вздохнула:

— Мне кажется, было бы слишком банально назвать их моим сокровищем — я не терплю всякие ходячие выражения, которые употребляет каждый встречный и поперечный, правда? — но наши девочки, в самом деле, сокровище для матери, и мы с доктором иногда жалеем... Понятно, раз уж мы начали давать им цветочные имена, нужно было продолжать, но если бы мы сразу сообразили тогда назвать их по драгоценным камням, подумайте, какие прелестные имена можно бы подобрать: Агата, Камея, Сардоникса, Берилла, Топаза, Аметиста, Смарагда и Хризопраза — как он, хризопраз, да? Или хризотил?.. Впрочем, люди и без того часто поздравляют нас, что мы так удачно их назвали. Знаете, девочки наши прямо знамениты: газеты постоянно помещают их фотогра-

фии, и у нас своя собственная женская бейсбольная команда семьи Пиккербо — только теперь доктору приходится играть самому, так как я немного располнела...

Дочки отличались друг от друга только возрастом. Все румяные, все белокурые, все хорошенькие, пылкие и музыкальные и не просто невинные, а кричаще целомудренные. Все восемь посещали Конгрегациональную воскресную школу и состояли либо в ХАМЖе, либо в герлскаутах; все они «обожали» пикники; и все, кроме пятилетних двойняшек, могли без запинки приводить наизусть новейшие статистические данные о вреде алкоголя.

— В самом деле,— сказал доктор Пиккербо,— мы считаем, что наши пташки — удивительные дети.

— Несомненно! — выдавил из себя Мартин.

— Но что самое замечательное — они помогают мне распространять идею «Mens Sano in Corpus Sano» [1]. Мы с миссис Пиккербо научили их петь хором дома и перед публикой, и, как организацию, мы их зовем Октет Здравиэт.

— В самом деле? — подхватила Леора, когда стало очевидно, что Мартин окончательно потерял дар речи.

— Да, и, прежде чем я сойду в могилу, я надеюсь сделать имя «Здравиэт» популярным по всей нашей старой Америке, от края и до края, и вы увидите, как сонмы счастливых юных женщин понесут крылатую весть в каждый темный уголок страны. Сонмы Здравиэт! Прелестных, целомудренных, горящих энтузиазмом, прекрасно играющих в баскетбол! Говорю вам, они сумеют расшевелить ленивых и упрямых! Распутники и сквернословы устыдятся перед ними и вступят на стезю благопристойности. Я даже сложил боевую песню для хоров Здравиэт. Хотите послушать?

Юный девичий румянец отвратит наверняка
От бутылки злостных пьяниц, от колоды — игрока.
Не позволит он злодею всех распутством обольщать,
Не позволит ротозею прямо под ноги плевать.
Всех отучим от порока! Жизни свет! Здоровья цвет!
Встаньте, мистер Лежебока, к вам приходит Здравиэт.

Но, конечно, важная задача — и я один из первых выступил поборником этой идеи — учредить в Вашингтонском кабинете должность министра Здравоохранения и Евгеники...

Нарастающая волна этого красноречия пронесла их через умопомрачительный обед. Радушно приговаривая: «Бросьте,

---

[1] Искаж. «Mens sana in corpore sano» — «В здоровом теле здоровый дух» *(лат.)*.

бросьте, дружок, нельзя отказываться от добавки, вы здесь в Обители Гостеприимства!» — Пиккербо так начинил Мартина и Леору жареной уткой, бататом в сахаре и мясным пирогом, что они чувствовали себя не на шутку больными и сидели, выкатив остекленелые глаза. Но самому Пиккербо, казалось, все было нипочем. Разрезая утку и уписывая пирог, он продолжал ораторствовать, пока столовая со старым ореховым буфетом, Христом работы Гофмана и ковбоями кисти Ремингтона не исчезла в тумане, оставив его одного на эстраде перед кувшином воды со льдом.

Он, однако, не всегда витал в облаках.

— Доктор Эроусмит, говорю вам, наше счастье, что мы можем зарабатывать на жизнь, честно прилагая все свои старания к тому, чтобы делать здоровыми и дееспособными жителей этого мужественного города. Я мог бы выколачивать частной практикой десять тысяч в год, и меня уверяли, что в области искусства рекламы я с моим талантом к этому искусству зарабатывал бы и больше, однако я счастлив (и моя дорогая жена и дети тоже счастливы), получая четыре тысячи жалованья. Подумайте, мы работаем в деле, где мы ничем не должны торговать, кроме честности, благопристойности и братства людей!

Мартин видел, что Пиккербо говорит вполне искренне, и только охвативший его при этом открытии стыд не позволил ему вскочить, схватить Леору за руку и с первым товарным поездом уехать из Наутилуса.

После обеда младшие девочки роем окружили Леору и принялись наперебой ласкаться к ней. Пришлось Мартину взять близнецов на колени и рассказать им сказку. Близнецы были на редкость тяжелые, но еще тяжелее был труд изобретения фабулы. Перед тем как их отправили спать, Октет Здравиэт в полном составе спел знаменитый гимн здоровью (слова доктора Альмуса Пиккербо), который Мартину предстояло еще не раз услышать на блестящих общественных торжествах в Наутилусе. Гимн был написан на мотив «Боевого гимна республики», но так как голоса у близнецов были сильные и необычайно пронзительные, впечатление получалось вполне своеобразное.

Погнался ты за счастьем, погнался за деньгой!
А долг перед Америкой — работать над собой?
Ум освежай гимнастикой, и улицу мети,
И за своим здоровьем старательно следи.
В нем залог прогресса!
Здоровый дух — в чистом теле,
Здоровый дух — в чистом теле,
Здоровый дух — в чистом теле,
Мы крикнем все, как один!

Отправляясь спать, близнецы продекламировали на прощанье — как они недавно декламировали на конгрегациональном фестивале — одно из мелких лирических стихотворений своего папаши:

Что щебечет пташка, дети,
Под окошком на рассвете?
«Папа, мама, тетя — все
В милом Нау-тилу-се
Здоровье пусть хранят».
Виват! Виват! Виват!»

— А теперь, мои пупси-мупси, в кроватку и бай-бай! — сказала миссис Пиккербо.— Вы не находите, миссис Эроусмит, что они прирожденные актрисы? Нисколько не боятся публики... и так увлекаются искусством... Если не Бродвей, то, может быть, другие, более утонченные нью-йоркские театры будут рады их ангажировать, и возможно, их призвание — облагородить нашу сцену. Ну, мупси-пупси, марш!

В отсутствие матери остальные девицы исполнили короткую музыкальную программу.

Вербена, вторая по старшинству, сыграла пьеску Шаминада. («Мы все, конечно, любим музыку и пропагандируем ее среди местных жителей, но из всей семьи, пожалуй, только Верби обладает подлинным музыкальным талантом».) Однако самым неожиданным номером явилось соло Орхидеи на корнете.

Мартин не смел поднять глаза на Леору. Он не был шокирован корнетом — отнюдь нет: в Элк-Милзе, в Уитсильвании и даже, как ни странно, в Зените самые добродетельные женщины сплошь и рядом исполняли сольные номера на корнете. Но ему стало казаться, точно он уже десятки лет сидит в сумасшедшем доме.

«Я в жизни не был так пьян. Хорошо бы глотнуть спиртного и протрезвиться!» — терзался он. Он строил истерические и совершенно неосуществимые планы побега. И тут миссис Пиккербо, вернувшись от близнецов, которые все еще не угомонились, села за арфу.

Отцветшая, довольно грузная женщина, она, играя, впала в мечтательность, и Мартин вдруг представил ее себе веселой, милой, как голубка, девушкой, пленившейся энергичным молодым студентом-медиком Альмусом Пиккербо. Она была, конечно, типичной девушкой конца восьмидесятых и начала девяностых годов — наивного, идиллического века Хоуэллса, когда молодые люди были целомудренны, играли в крокет и пели «На речке Суони»; очарованная сладостью сирени, девушка сидела на крылечке и мечтала, что, когда она выйдет замуж, у них будет никелиро-

ванная печка с низкой топкой и сын, который станет миссионером или миллионером.

В первый раз за весь вечер Мартину удалось вложить почтительную сердечность в свое «Так приятно было послушать». Он торжествовал и несколько оправился от недомогания.

Но вечерняя оргия еще только началась.

Играли в пти-жё, которые Мартин ненавидел и в которых Леора была очень слаба. Представляли шарады, в которых Пиккербо превзошел самого себя. Он был бесподобен, когда сидел на полу в шубе своей жены, изображая тюленя на льдине. Потом должны были ставить шараду Мартин, Орхидея и Гиацинта (двенадцати лет) — и тут возникли осложнения.

Орхидея была так же простодушно-весела, так же улыбалась, хлопала в ладоши и прыгала, как ее младшие сестры, но ей было девятнадцать лет — взрослая девушка. Несомненно, она была невинна и любила Целомудренное и Здоровое Чтение, как утверждал Пиккербо (он утверждал это очень часто), но она не осталась нечувствительной к присутствию молодого человека, хотя бы и женатого.

Она надумала разыграть шараду «су-дно», где нищая парижанка просит милостыню, а потом у корзины с цветами выпадает дно. Поднимаясь наверх рядиться, она висла́ на руке у Мартина, припрыгивала и щебетала:

— Ах, доктор, я страшно рада, что у папы будет такой помощник, как вы,— молодой человек, да еще приятной наружности. Ах, я сказала что-то ужасное? Но я ничего особенного не думала: просто вы с виду спортсмен и все такое, а прежний помощник директора (только не передавайте папе) был старый хрыч!

Мартин увидел карие глаза и откровенные девичьи губы. Когда же Орхидея в роли нищенки надела изящно-свободное платье, он приметил также стройные ноги и молодую грудь. Девушка ему улыбнулась, точно старому знакомому, и сказала доверительно:

— Мы им покажем! Я знаю, что вы превосходный актер!

Торопливо сбегая вниз по лестнице, она не взяла его под руку, и тогда он взял ее сам, слегка прижал к груди ее локоть,— и в смущении, с подчеркнутой поспешностью выпустил.

Со дня своей женитьбы он был так поглощен Леорой, как любовницей, как товарищем, как помощницей, что до этого часа самой отчаянной эскападой было для него заглядеться иногда в вагоне на хорошенькую девушку. Но румяное юное веселье Орхидеи его взволновало. Он хотел от нее избавиться, надеялся, что

избавиться не удастся, и впервые за все годы не смел смотреть Леоре в глаза.

Начались акробатические игры, в которых особенно выделялась Орхидея: она не носила корсета, любила танцевать и хвалила ловкость Мартина в игре «Делай, как я».

Всех дочерей, кроме Орхидеи, услали спать, и фестиваль увенчался тем, что Пиккербо назвал «тихой научной беседой у камелька» — иначе говоря, его высказываниями о хороших дорогах, сельской санитарии, идеалах в политике и методах подшивки бумаг в Отделах Здравоохранения. Весь этот тихий час или, может быть, полтора часа Мартин видел, что Орхидея разглядывает его волосы, склад его рта, его пальцы, и у него снова и снова возникала мысль о том, какое это безобидное удовольствие — держать в руке ее доверчивую лапку.

Он видел также, что Леора наблюдает за ними обоими, и сильно страдал и не извлек существенной пользы из замечаний Пиккербо о ценности дезинфицирующих средств. Когда Пиккербо стал пророчествовать, что через пятнадцать лет Отдел Народного Здравоохранения в Наутилусе расширится втрое и будет располагать большим штатом больничных и школьных врачей на полном окладе и, возможно, отдел возглавит доктор Эроусмит (поскольку сам Пиккербо перейдет к другой загадочной и очень увлекательной деятельности на более широком поприще), Мартин только квакал: «Да... это... это будет чудесно»,— а про себя добавлял: «Черт ее побери! Что она вешается на меня?»

В половине девятого он мечтал о побеге, как о величайшем благе. В двенадцать он прощался беспокойно и нехотя.

В гостиницу шли пешком. Не видя перед глазами Орхидею, освеженный прохладой, Мартин забыл о девчонке и снова ухватился за проблему своей работы в Наутилусе.

— Господи, я, кажется, не выдержу. Работать под начальством этого пустомели с его дурацкими стихами о пьянстве...

— Стихи неплохи,— возразила Леора.

— Неплохи? Что ты! Из всех стихотворцев, какие только жили на земле, он, верно, самый дрянной, а в эпидемиологии он смыслит меньше, чем должен бы знать любой человек, ничему не учась. Ну, а когда доходит до... как это называл, бывало, Клиф Клосон (кстати, хотел бы я знать, что сталось с Клифом: он года два не подает вестей), когда доходит до этого «христианнейшего домашнего очага»!.. Ох, разыщем лучше ночной кабак и посидим среди милых тихих взломщиков.

Леора настаивала:

— По-моему, он все-таки ловко закручивает!

— «Закручивает»! Что за выражение!

— Не хуже тех словечек, которые ты сам то и дело вставляешь! Но когда эта страшенная старшая дочка задула в корнет — брр!

— Ну, положим! Играла она здорово!

— Мартин, корнет это такой инструмент, на котором впору играть моему брату. А ты еще воротишь нос от стихов доктора и от моего «закручивает»! Ты сам такая же серая деревенщина, как и я, если не хуже!

— Ну-ну, Леора, я и не знал, что ты способна злиться по пустякам! И неужели ты не понимаешь, как важно... Видишь ли, такой человек, как Пиккербо, своим фиглярством и невежеством делает всю работу по здравоохранению просто смехотворной. Если он объявит, что свежий воздух полезен, то я не только не открою окон, а наоборот, он этим и меня и всякого разумного человека заставит их закрыть. И применять еще слово «наука» к этим несусветным виршам или, как ты их называешь, «стихам» — это ли не кощунство!

— Если вам угодно знать, Мартин Эроусмит, я не намерена поощрять ваших фиглей-миглей с мисс Орхидеей! Ты ее прямо обнял, когда спускался с нею по лестнице, а потом весь вечер пялил на нее глаза! Я терплю, когда ты чертыхаешься, и хандришь, и напиваешься пьян (если только не слишком), но с того завтрака, когда ты заявил мне и Фоксихе: «Не обижайтесь, барышни, но мне случайно вспомнилось, что я помолвлен с вами обеими...» — с того дня ты мой, и я никому не позволю втираться между нами. Я — пещерная женщина, изволь запомнить, а твоя Орхидея с ее приторной улыбкой и громадными ножищами... думаешь, я не видела, как она поглаживала твою руку?.. Орхидея! Не орхидея она, а облепиха!

— Честное слово, я даже не помню, которая из восьми Орхидея.

— Уфф! Значит, ты обнимался с ними со всеми. Впрочем, ну ее к черту! Драться из-за нее я не собираюсь. Я только хотела тебя предостеречь — вот и все.

В вестибюле гостиницы, оставив тщетные попытки найти короткие, веселые и убедительные слова для обещания никогда не флиртовать с Орхидеей, Мартин пробормотал:

— Если ты не против, я еще немного пройдусь. Мне нужно подумать об этой санитарной работе.

Он сидел в конторе Симз-хауза — удивительно унылой после полуночи и удивительно смрадной.

«Дурак Пиккербо! Сказать бы ему прямо, что вряд ли мы что-нибудь знаем по эпидемиологии хотя бы того же туберкулеза».

«А все-таки она — славная девочка. Орхидея! Она и впрямь похожа на орхидею — нет, слишком здоровая. Она как взрослый ребенок; на охоту бы с ней ходить! Милая. Прелестная! И держалась так, точно я не старый доктор, а ее ровесник. Я буду вести себя хорошо, как следует, но... Мне хочется поцеловать ее разок... как следует! Я ей нравлюсь. У нее прелестные губы, точно... точно полураспустившаяся роза!»

«Бедная Леора! Удивила ж она меня! Ревнует! Впрочем, у нее на то все права! Ни одна женщина в мире не была для мужчины тем, чем... Ли, родная, разве ты не видишь, дурочка, увивайся я за семнадцатью миллиардами Орхидей, любить я буду тебя одну и никогда никого, кроме тебя!»

«Не могу я ходить и распевать всякую дребедень — Октет — Здравиэт — Панталетт! Даже если б это шло кому-нибудь на пользу, чего пока не видно! Лучше предоставить людям тихо помирать, чем жить и слушать...»

«Леора назвала меня серой деревенщиной. Позвольте сказать вам, сударыня, что я как-никак бакалавр искусств, и, может быть, вы припомните, какие книги читал вам зимою ваш «деревенщина» — Генри Джеймса и прочих авторов... Ох, она права. Я круглый невежда. Я умею держать в руках пипетку и готовить агар-агар, но я... И все-таки в один прекрасный день я непременно отправлюсь путешествовать, как Сонделиус...»

«Сонделиус! Боже! Если б мне пришлось работать с ним, а не с Пиккербо, я стал бы его рабом».

«Или он тоже крутит вола?»

«Как я сказал? Сонделиус крутит вола? Ну и загнул словечко! Ужас!..»

«Черт! Буду загибать все слова, какие захочу! Я не светский карьерист, вроде Ангуса. Сонделиус тоже крепко загибает, а ведь он вращается в самом культурном обществе».

«Здесь, в Наутилусе, я буду так занят, что даже читать не смогу. А все-таки... Вряд ли они тут много читают, но здесь, несомненно, найдется немало богатых людей, понимающих, что значит приятный дом. Туалеты, театры и все такое...»

«Вздор!»

Он вышел и забрел в круглосуточную передвижную закусочную, где угрюмо пил кофе. Рядом с ним у длинной полки, заменявшей стол, под окном красного стекла с портретом Джорджа Вашингтона, сидел полисмен, который спросил, жуя бутерброд с гамбургской колбасой:

— Скажите, вы, кажется, новый доктор, помощник Пиккербо? Я видел вас в Сити-Холле.

— Да. А скажите, как... гм... как относятся в городе к Пиккербо? Лично вам хотя бы нравится он или нет? Говорите откровенно, потому что я только приступаю к работе и... гм... Вы понимаете?

Придерживая ложку в чашке мясистым пальцем, полисмен хлебнул кофе и начал свою речь, между тем как лоснящийся от жира благодушный повар сочувственно кивал головой.

— Что ж, коли говорить напрямик, он, конечно, изрядный болтун, но с головою — мозговитый парень! Говорит как по-писаному. И пишет стихи... вы слыхали? Здорово пишет! Да. Многие у нас говорят: «Пиккербо только и знает, что пенье да танцы». Но как я посужу: для нас с вами, доктор, было бы, конечно, довольно, если б он просто следил за молоком, за помойными ямами и чтоб дети чистили зубы. Но тут у нас много разного народу, грязных, ленивых, невежественных иммигрантов, которых нужно приохотить к этой самой гигиене, чтоб они не болели всякими болезнями и не напускали заразу на нас. А старый док Пиккербо — молодец! Поверьте, он сумеет вбить им в башку правильные понятия!

Да, сэр, он — человек дела, не такой слюнтяй, как иные наши доктора. Знаете, однажды он явился на гулянье в праздник святого Патрика: хоть сам он грязный протестант, они с патером Костелло так спелись, точно век друзьями были, и, разрази меня гром, он еще там стал бороться с одним парнем, хоть тот вдвое его моложе; он его, можно сказать, положил на обе лопатки, так обработал молодчика, что любо-дорого смотреть! У нас в полиции все его любят, и мы только диву даемся, как он умасливает нас исполнять уйму санитарной работы, которую нам по закону вовсе не положено делать; а другой сидел бы себе в конторе и писал дурацкие приказы. Что и говорить! Парень что надо!

— Понимаю,— сказал Мартин, и на обратном пути в гостиницу он размышлял:

«Воображаю, что сказал бы о нем Готлиб».

«К черту Готлиба! К черту всех, кроме Леоры!»

«Я не намерен провалиться здесь, как провалился в Унтсильвании».

«Пиккербо со временем получит более ответственную работу... Гм!.. Он из тех, кто умеет подластиться, он непременно сделает карьеру! Но так или иначе, я к тому времени подучусь и, может быть, налажу здесь образцовый Отдел Народного Здравоохранения».

«Орхидея сказала, что зимой мы будем кататься на коньках».

«К черту Орхидею!»

«Эроусмит»

ГЛАВА XX

1

В докторе Пиккербо Мартин нашел великодушного начальника. Он от души хотел, чтоб его заместитель сам выдумывал и провозглашал какие-нибудь новые «Движения» или «Во имя». Его научные познания были беднее, чем у приличной фельдшерицы, но он не страдал завистливостью и от Мартина требовал только веры в то, что быстрые и шумные переезды с места на место являются средством (а может быть, и целью) всякого прогресса.

Мартин с Леорой сняли второй этаж в двухквартирном доме на холме Сошиал-Хилл — не холм, а небольшое возвышение среди равнины. Была незатейливая прелесть в этих сплошных лужайках, в широких осененных кленами улицах и радость в освобождении от назойливых уитсильванских соглядатаев.

Но неожиданно с ними стало заигрывать Лучшее Общество Наутилуса.

Через несколько дней после их приезда Мартина вызвали по телефону, и мужской голос заскрипел:

— Алло, Мартин? Ну, кто с тобой говорит? Держу пари, не угадаешь.

Мартин был очень занят и с трудом удержался от слов: «Парп ваше — до свиданья». Вместо того он прогудел с радушием, какое подобает заместителю директора:

— Боюсь, что и впрямь не узнаю.

— Все-таки попробуй угадать.

— Ага... Клиф Клосон?

— Нет. А ты, знаешь ли, прекрасно выглядишь. Что, задело? Ну, валяй дальше! Еще разок!

Стенографистка ждала, приготовив карандаши, а Мартин еще не научился не замечать ее присутствия. Он сказал с заметным раздражением:

— Ага! Полагаю, президент Вильсон? Послушайте...

— Ладно, Март, говорит Эрви Уотерс! Что ты на это скажешь?

Шутник, по-видимому, ожидал излияний радости, но прошло добрых десять секунд, пока Мартин соображал, кто такой Эрвинг Уотерс. Наконец, вспомнил: Уотерс, убийственно-нормальный студент-медик, докучавший ему когда-то в Дигамме-Пи своею верой в истину, добро и выгоду. Он постарался ответить как мог сердечней:

— Так, так! Что ты здесь делаешь, Эрви?

— Что? Живу! Поселился здесь, пройдя стажерство. У меня довольно приличная практика. Слушай, Март, мы с миссис Уотерс очень просим тебя и твою жену — ты ведь, кажется, женат? — завтра вечером к нам на обед. Я тебя введу во все здешние дела.

Страх перед покровительством Уотерса вдохновил Мартина на мужественную ложь:

— Очень сожалею... очень сожалею, но я приглашен уже на завтра и на послезавтра.

— Ну, так приходи завтра в клуб Лосей, позавтракаем вместе, а в воскресенье днем придешь ко мне с женой обедать.

— Не знаю, право,— начал безнадежно Мартин.— С завтраком вряд ли удастся. А в воскресенье... хорошо, придем.

Как это ни печально, но в мире нет ничего тяжелее, чем преданность старых друзей, которые никогда и не были друзьями. Отчаяние Мартина от того, что здесь его настиг Уотерс, не рассеялось, когда он с Леорой в воскресенье в половине второго нехотя предстал перед товарищем и неистовство старой дружбы увлекло его назад, ко дням Дигаммы Пи.

Уотерс жил в новом доме с гордым изобилием стенных шкафов и матового стекла. За три года практики он успел усвоить наставительный тон и стать безнадежно женатым человеком, оброс жирком и непогрешимостью; и он усвоил много новых способов нагнетать скуку. Кончив университет на год раньше Мартина и женившись на почти богатой женщине, он был так подчеркнуто радушен и гостеприимен, что возбуждал у гостя желание совершить убийство. Его разговор был сплошною цепью сентенций и наставлений.

— Если ты продержишься в Отделе народного здравоохранения два-три года и постараешься познакомиться с нужными людьми, ты получишь здесь очень доходную практику. Наутилус — прекрасный город, процветающий, неплательщиков совсем мало.

Тебе надо вступить в Загородный клуб и заняться гольфом. Самый удобный способ завязать знакомство с состоятельными гражданами. Я там заполучил не одного первоклассного пациента.

Пиккербо — прекрасный, энергичный человек и превосходный пропагандист, но у него опасный социалистический уклон. Эти городские больницы — возмутительная затея. Туда приходят люди, которые вполне могли бы платить! Это — поощрение пауперизма! Тебя мои слова поразят — в Уиннемаке ты слыл у нас чудаком, но и другие тоже умеют оригинально мыслить — так вот, мне иной раз думается, что в конечном счете с народным здоровьем дело обстояло бы много лучше, если бы у нас вовсе не было ника-

ких Отделов здравоохранения, потому что они прививают очень многим привычку обращаться не к частному врачу, а в бесплатные больницы,— а это сокращает число врачей, и нас становится все меньше и меньше — тех, кто призван недремлющим оком следить за болезнями.

Ты, я полагаю, давно разделался с прежним своим нелепым взглядом на практичность — ты называл ее когда-то «меркантильностью». Теперь ты, конечно, видишь, что надо содержать жену и детей и никто другой не станет содержать их за тебя.

Когда тебе понадобится найти ход к кому-нибудь из здешней публики, обращайся прямо ко мне. Пиккербо чудак, он не даст тебе правильной ориентации — тебе нужно завязать связи с положительными, солидными, преуспевающими деловыми людьми.

Затем настала очередь миссис Уотерс. Она была начинена советами — дочь состоятельного человека, никого другого, как мистера С.-А. Пизли, фабриканта машин для раскидывания навоза, известных под названием «Маргаритка».

— У вас нет детей? — сокрушалась она над Леорой.— О, вам непременно нужно завести ребенка! У нас с Эрвингом двое, и вы не можете себе представить, сколько мы находим в них интересного, с ними мы словно не старимся.

Мартин и Леора грустно поглядели друг на друга.

После обеда Эрвинг настоял на том, чтобы вспомнить дни, когда они «учились вместе, в стенах доброго старого У». Он и слышать не желал об отказе.

— Ты всегда хотел казаться эксцентричным, Март. Теперь ты делаешь вид, что лишен школьного патриотизма. Но я-то знаю, я знаю, что это у тебя напускное, ты любишь старый Уиннемак и почитаешь наших профов не меньше, чем все другие. Я знаю тебя, может быть, лучше, чем ты сам! Ну, давай! Тряхнем стариной и споем «Alma Mater Уиннемак, мать здоровых, сильных!».

— Бросьте дурить! — подхватила миссис Уотерс.— Конечно, вы споете! — Она направилась к роялю и решительно заколотила по клавишам.

Вежливо справившись с жареными цыплятами и пломбиром, с сентенциями, излияниями и воспоминаниями, Мартин и Леора выбрались, наконец, на улицу и выговорились вволю:

— Пиккербо, верно, святой праведник, если Уотерс так на него нападает. Я начинаю верить, что хоть он и трещотка, но все-таки не лишен мозгов.

В общей своей беде они забыли о волнениях, которые им доставила девушка по имени Орхидея.

2

Пиккербо, с одной стороны, Эрвинг Уотерс — с другой, тянули Мартина вступить во множество ассоциаций, клубов, орденов, лиг и «движений», которыми кипел Наутилус; в Торговую Палату, в лыжно-туристский клуб «Мокассин», в клуб Лосей, в братство Чудаков, в Медицинское общество округа Эванджелин. Мартин противился, но те говорили обиженно: «Знаете, дружок, если вы собираетесь быть общественным деятелем и если вы хоть сколько-нибудь цените наши старания создать вам здесь популярность...»

Леора и он получали столько приглашений, что оба они, еще недавно плакавшиеся в Уитсильвании на скуку, сетовали теперь, что не могут ни одного вечера посидеть спокойно дома. Но они понемногу освоились, свободно держались в обществе, одевались и выезжали без душевного трепета. Они переменили свою деревенскую манеру танцевать на более модную; научились довольно скверно играть в бридж и прилично в теннис; и Мартин, не из доблести и героизма, а просто в силу привычки, перестал злиться на легкую светскую болтовню.

Возможно, хозяйки домов, где они бывали, даже не подозревали в них разбойников с большой дороги и принимали их за очень милую молодую чету: раз им покровительствует доктор Пиккербо, они, конечно, серьезные и передовые, а коль скоро их опекают Эрвинг Уотерс с супругой, то, значит, они почтенные граждане.

Уотерс захватил их в свои лапы и не выпускал. По своей толстокожести он никак не мог уразуметь, что частые отказы Мартина от его приглашений вызваны просто нежеланием приходить. Он открыл в Мартине признаки ереси и с преданностью, усердием и тяжеловесным юмором принялся за спасение товарища. Нередко, чтобы развлечь других гостей, он упрашивал:

— Ну, Март, валяй, выкладывай свои сумасбродные идеи!

Однако его дружеский пыл бледнел перед рвением его жены. Отец и супруг поддерживали миссис Уотерс в убеждении, что она нежнейший плод вековой культуры, и вот она задалась целью перевоспитать варваров Эроусмитов. Она порицала Мартина, когда он чертыхался, Леору, когда она курила, их обоих, когда им случалось обремизиться, играя в бридж. Но она никогда не журила их. Журить означало бы допускать, что есть люди, не признающие ее суверенной власти. Она просто отдавала приказания — краткие, шутливые, предваряя их визгливым «бросьте дурить»,— и считала, что вопрос исчерпан.

Мартин стонал:

— Ох, Леора! В тисках между Пиккербо и Эрвом легче сделаться респектабельным членом общества, чем продолжать драку.

Но на путь респектабельности его тянули не столько Уотерс и Пиккербо, сколько новизна положения: приятно было убеждаться, что в Наутилусе его слушают, как никогда не слушали в Уитсильвании, что им восторгается Орхидея.

3

Он искал способа определять сифилис путем реакции преципитации, более простой и быстрой, чем вассермановская. Но едва его обленившиеся пальцы и заржавелый мозг начали снова привыкать к лаборатории и пламенным гипотезам, как его отвлекли: надо было помочь доктору Пиккербо в снискании популярности. Мартина уговорили впервые в его жизни выступить публично: сделать доклад «Чему учит лаборатория в вопросе об эпидемиях» на бесплатных дневных воскресных курсах универсалистской церкви «Звезда надежды».

Мартин волновался, приготовляя заметки, в день выступления его с утра била лихорадка при мысли о том страшном, что ему предстояло сделать, а когда он подходил к «Звезде надежды», он был на грани отчаяния.

К церкви валил народ — все зрелые, серьезные люди. «Они пришли слушать меня,— трепетал Мартин,— а мне им нечего сказать!» И уж совсем дураком почувствовал он себя, когда те, кто, казалось бы, горели желанием его послушать, не признали его, и распорядитель, всем без разбора пожимавший руки в византийском портале, выпалил:

— В боковой придел, молодой человек, там еще много свободных мест.

— Я докладчик.

— Ах, ах, конечно, конечно, доктор. Пожалуйста, доктор, пройдите кругом, с подъезда на Бевис-стрит.

В притворе его медоточиво приняли пастор и Комитет Трех— господа, облаченные в визитки и в интеллигентно-христианскую учтивость.

Они по очереди пожали ему руку, представили его шуршащим шелковым дамам, окружили вежливым и щебечущим кольцом и грозно ожидали, чтоб он сказал что-нибудь умное. Потом, страдающего, смертельно испуганного и немого, его провели под сводами арки в аудиторию. Миллионы лиц взирали на его виновато-незначительную фигуру — лица над изогнутыми линиями скамей, лица на низком балконе: глаза следили за ним, и брали под сомнение, и примечали его стоптанные каблуки.

Пока над ним молились и пели, мука его росла.

Пастор и директор курсов, мирянин, открыли собрание подобающими обрядами. Пока Мартин дрожал и старался нагло глядеть на публику, которая сама на него глядела; пока он сидел, обнаженный, беззащитный, выставленный напоказ на высокой кафедре,— пастор сделал оповещение об очередном Миссионерском Ужине в четверг и о Детском Клубе Маршировки. Спели два-три коротких и бодрых гимна (Мартин в это время не знал, стоять ему или сидеть), и директор помолился «о ниспослании сил нашему другу-докладчику возвестить свое слово». Во время молитвы Мартин сидел, закрывши лоб ладонью, чувствовал себя дураком, и в мозгу у него проносилось:

«Поза как будто подобающая... Как они все вылупили на меня глаза! Черт подери, неужто он никогда не кончит?.. Тьфу, пропасть! Что я хотел сказать об окуривании? Бог ты мой, он уже заканчивает, сейчас мне начинать!..»

Он каким-то образом очутился около кафедры, для равновесия уперся в нее руками, и голос его зазвучал, произнося как будто осмысленные слова. Из тумана стали выступать отдельные лица. Мартин выбрал настороженного старичка и старался рассмешить его и поразить.

В задних рядах он увидел Леору — она ему кивала, подбадривая. Осмелев, он отвел глаза в сторону от тропы лиц, убегавшей в гору прямо перед ним. Глянул на балкон...

Аудитория видела молодого лектора, рассуждавшего о сыворотках и вакцинах, но, в то время как голос его продолжал жужжать, этот церковный лектор заметил две шелковые ножки, выделявшиеся в первом ряду балкона, обнаружил, что они принадлежат Орхидее Пиккербо и что она мечет вниз стрелы восхищения.

Кончив лекцию, Мартин услышал самые восторженные аплодисменты — все лекторы после всякой лекции удостаиваются таких аплодисментов,— и директор курсов говорил ему самые лестные слова, и публика валила к выходу с самой ревностной поспешностью, и Мартин обнаружил, что стоит в притворе и держит за руку Орхидею и она щебечет самым нежным голоском:

— Ах, доктор Эроусмит, вы были просто изумительны! Лекторы большей частью такие нудные, старые, а ваш доклад был великолепен! Лечу домой и порадую папу! Он будет в восторге!

Только тут он заметил, что Леора тоже пробралась в притвор и глядит на них глазами жены.

По дороге домой Леора хранила красноречивое молчание.

— Ну как, понравилась тебе моя лекция? — сказал он, выждав в негодовании приличный срок.

— Да, прошло недурно. Было, верно, очень тяжело говорить перед этим дурачьем.

— Дурачье? Кого ты разумеешь под «дурачьем»? Они меня превосходно поняли. И слушали прекрасно.

— Да? Ну, как бы там ни было, тебе, слава богу, не грозит опасность заговориться. Пиккербо слишком любит слушать свой собственный голос, он не станет часто выпускать тебя на эстраду.

— Я говорил охотно. Все-таки невредно время от времени высказаться перед публикой. Это заставляет мыслить более четко.

— Да! Взять, например, милых, добрых политиков — как четко они мыслят!

— Послушай, Леора! Мы, конечно, знаем, что муж у тебя мурло и ни на что не годен, кроме лаборатории, но мне думается, ты могла бы хоть для виду проявить немного энтузиазма по поводу его первого публичного выступления — самого первого в его жизни, и как-никак удачного!

— Ах ты глупыш! Разве я не проявила энтузиазма? Я бешено аплодировала. Нашла, что ты очень здорово прочел свой доклад. Но только... Мне кажется, что другое ты мог бы делать лучше. Что мы предпримем вечером? Ограничимся дома холодной закуской или поужинаем в кафетерии?

Так его низвели из героев в мужья, и он изведал все прелести непризнанности.

Всю неделю он смаковал свою обиду, но с наступлением зимы началась лихорадка нудно-веселых обедов и безопасно-ярого бридж-а, и первый вечер дома, первый случай поцапаться без помехи выдался в пятницу. Мартин провозгласил лозунг: «Вернуться к серьезному чтению — почитать хотя бы физиологию, а в добавление немного Арнольда Беннета — приятное мирное чтение». Но дело свелось к просмотру новостей в медицинских журналах.

Он не находил покоя. Отшвырнул журнал. Спросил:

— Завтра Пиккербо устраивает пикник на снегу. Что ты наденешь?

— Ах, я еще не думала... Что-нибудь найду.

— Ли, я хочу тебя спросить: какого черта ты заявила, что я слишком много говорил вчера за обедом у доктора Страффорда? Во мне, конечно, нетрудно найти все на свете пороки, но я не знал, что страдаю чрезмерной разговорчивостью.

— До сих пор не страдал.

— До сих пор!

— Послушай, Рыжик Эроусмит! Ты всю неделю дулся, как нашкодивший мальчишка. В чем дело?

— Да я... К черту! Мне это надоело. Все в восторге от моей лекции в «Звезде надежды», прочитай заметку в «Утреннем пио-

нере». И Пиккербо говорит, что Орхидея говорила, что прошло замечательно, а ты хоть бы что!

— Разве я мало аплодировала? Но... Ты, надеюсь, не намерен удариться в болтовню?

— Ах, ты надеешься! Позволь мне тебе сообщить, что как раз намерен! Я, конечно, не собираюсь болтать пустяков. В это воскресенье я преподнес с эстрады чистую науку, и публика скушала с аппетитом. Я и не думал, что можно захватить аудиторию, не прибегая к фиглярству. А сколько пользы можно принести! Да что там! За эти сорок пять минут я смог внедрить больше идей об основах санитарии и о ценности лабораторной работы, чем... Я не ме́чу в гении, но приятно, когда можно собрать людей и говорить им все что хочешь, а они слушают и не вмешиваются, как в Уитсильвании. Ясное дело, я намерен по твоему столь любезному выражению «удариться в болтовню»...

— Рыжик, для других это, может быть, и хорошо, но не для тебя. Я не могу выразить... и в этом одна из причин, почему я мало говорю о твоей лекции... Я не могу выразить, до чего меня удивило, когда ты, который всегда издевался над такими вещами, называл это «сантиментами», сам чуть не слезы проливаешь над милыми бедными детками!

— Никогда я ничего подобного не говорил, не употреблял таких выражений, и ты прекрасно это знаешь. И ты — ты говоришь об издевательстве! Ты! Позволь тебе заметить, что Движение в пользу Охраны Народного Здоровья, выправляя в раннем возрасте физические недостатки у детей, следя за их глазами и миндалинами и прочим, может спасти миллионы жизней и обеспечить подрастающему поколению...

— Знаю! Я люблю детей больше, чем ты! Но я говорю о другом — о слащавых улыбках...

— Ничего не поделаешь, кто-нибудь должен этим заниматься. Чтобы работать с людьми, надо их сперва воспитать. В этом смысле старый Пик, хоть он и болван, делает полезное дело своими стишками и прочей ерундой. Было б не плохо, пожалуй, если бы и я умел писать стихи... Черт подери, может, поучиться?

— Его стихи отвратительны!

— Ну вот! Где же у тебя последовательность? Давно ли ты уверяла, что он «ловко закручивает»?

— Мне не к чему быть последовательной. Я только женщина. Вы, Мартин Эроусмит, первый уверили меня в этом. И потом они хороши для Пиккербо, но не для тебя. Твое место в лаборатории. Ты должен открывать истины, а не рекламировать их. Однажды в Уитсильвании — помнишь? — ты целых пять минут был почти готов вступить в общину Единого братства и стать почтенным граж-

данином. Неужели до конца твоих дней ты будешь то и дело увязать в болоте респектабельности и тебя придется каждый раз вытаскивать за хвост? Неужели ты никогда не поймешь, что ты варвар?

— Конечно! Варвар! И... как еще ты меня назвала? Я варвар, и, кроме того, душенька моя, я серая деревенщина! И как ты мне отлично помогаешь! Когда я хочу остепениться и жить приличной и полезной жизнью, не восстанавливая против себя людей, ты, которая должна была бы верить в меня, ты первая меня коришь!

— Может быть, Орхидея Пиккербо была бы тебе лучшей помощницей.

— Вероятно. И вообще она очень милая девочка, и она оценила мое выступление в церкви, и если ты воображаешь, что я намерен весь вечер сидеть и слушать, как ты высмеиваешь мою работу и моих друзей, то я... пойду приму горячую ванну. Спокойной ночи!

В ванне он сам дивился, что мог поссориться с Леорой. Как! Она единственный человек на свете, кроме Готлиба, Сонделиуса и Клифа Клосона... кстати, где сейчас Клиф? Все еще в Нью-Йорке? И не свинья ли он, что не пишет! Но все-таки... Дурак он, что вышел из себя,— если даже Леора и упряма, и не желает приспосабливаться к его мнениям, не понимает, что он обладает даром влиять на людей. Никто другой не был бы так ему предан, как она, и он ее любит...

Он яростно растерся; прибежал в комнату и стал каяться; они сказали друг другу, что они самые разумные люди на свете; они горячо расцеловались, а потом Леора пустилась в рассуждения:

— Все равно, мой мальчик, я не намерена помогать тебе дурачить самого себя. Ты не пустомеля. Ты гонитель лжи. Странно, как послушаешь об истинных гонителях лжи, о профессоре Готлибе и о твоем любимце Вольтере, их, кажется, нельзя было одурачить. Но, может быть, и они вроде тебя: всегда старались уйти от тягостной истины, всегда надеялись устроить свою жизнь и стать богатыми, всегда продавали душу дьяволу, а потом исхитрялись оставить бедного дьявола в дураках. Я думаю... я думаю... я думаю...— Она села в кровати и сжала виски руками, мучительно подыскивая слова.— Есть разница между тобой и профессором Готлибом. Он никогда не оступается, не тратит время на...

— Он великолепно тратил время на шарлатанскую фабрику Ханзикера, и звание его не «профессор», а «доктор», если тебе непременно надо его величать...

— Если он пошел в свое время к Ханзикеру, значит, у него была на то основательная причина. Он гений; он не мог ошибиться. Или мог? Даже и он? Но все равно, тебе, Рыжик, суждено спотыкаться на каждом шагу; суждено учиться на ошибках. Скажу тебе одно: да, ты учишься на своих сумасбродных ошибках. Но мне иногда надоедает смотреть, как ты мечешься и попадаешь в каждую ловушку — вдруг вообразишь себя оратором или начнешь вздыхать по Орхидее!

— Мило, черт возьми! А я-то пришел, старался помириться! Ты никогда не делаешь ошибок — и прекрасно! Но хватит в хозяйстве и одной безупречной личности!

Он плюхнулся в кровать. Молчание. Нежный призыв: «Март... Рыжик!» Он не откликнулся, гордясь, что сумел проявить твердость, и так и уснул. За завтраком, когда он горел стыдом и раскаянием, она была суха.

— Не хочу об этом говорить,— оборвала она.

Так, испортив себе настроение, они отправились в субботу после обеда на пикник с Пиккербо.

У доктора Пиккербо была маленькая бревенчатая хибарка в дубовой рощице среди холмов к северу от Наутилуса. Человек двенадцать выехали туда на санях, устланных соломой и синими ворсистыми пледами. Весело заливались бубенчики, дети выскакивали из саней и бежали рядом.

Школьный врач, холостяк, оказывал внимание Леоре; он два раза помог ей укутаться в плед, что, по понятиям Наутилуса, ее почти компрометировало. Мартин из ревности стал открыто и решительно ухаживать за Орхидеей.

Он занялся ею не только из желания проучить Леору, но и ради ее собственной бело-розовой прелести. На ней была шерстяная с начесом куртка, огненный лыжный шарф и первые шаровары, какие осмелилась надеть в Наутилусе девица. Она похлопывала Мартина по колену, а когда они катились за санями в небезопасном тобоггане, уверенно обхватила его талию.

Она называла его теперь «доктор Мартин», а он перешел на дружеское «Орхидея».

У хибарки поднялся шум разгрузки. Мартин и Орхидея внесли вдвоем корзину с провиантом; вдвоем съезжали на лыжах с горы. Лыжи их однажды переплелись, они вдвоем скатились в сугроб, и когда Орхидея прижалась к нему смело и без смущения, Мартину показалось, что в этой грубой куртке она только нежней

и чудесней — бесстрашные глаза, горящие щеки (она только что стряхнула с них мокрый снег), быстрые ноги стройного школьника, плечи, прелестные в их нарочитой мальчишеской угловатости.

«Сентиментальный дурак! Леора была права! — зарычал он на самого себя.— Я ждал от вас больше оригинальности, друг мой! Бедная маленькая Орхидея — как возмутилась бы она, если бы знала ваши низкие мысли!»

Но бедная маленькая Орхидея ластилась к нему:

— А ну-ка, доктор Мартин, слетим с того крутого откоса. Только у нас с вами хватит смелости на такую штуку.

— Потому что мы одни здесь молоды.

— Потому что вы так молоды! Я страшно старая. Я только сижу и вздыхаю, в то время как вы грезите всякими своими эпидемиями и прочим.

Он видел, что Леора с проклятым школьным врачом скользит по далекому косогору. Почувствовал ли он досаду или облегчение, что ему дано право оставаться вдвоем с Орхидеей,— но он перестал разговаривать с нею так, точно она ребенок, а он человек, обремененный собственной мудростью; перестал разговаривать с нею так, точно опасался, что кто-нибудь их подслушает. Они помчались взапуски к намеченному крутому откосу. Скатились по нему и упали — великолепный стремительный полет — и забарахтались в снегу.

Они вернулись вдвоем в хибарку, где не застали никого. Орхидея сняла свой намокший свитер и оправила легкую блузку. Разыскали термос с горячим кофе, и Мартин глядел на нее так, точно собирался поцеловать, и она отвечала таким взглядом, точно ничего не имела против. Выкладывая закуски, они мурлыкали с нежным взаимным пониманием, и когда она вывела трелью: «Ну живей, лентяй, ставьте чашки на этот ужасный стол»,— это прозвучало так, как будто она рада была бы не разлучаться с ним никогда.

Между тем не было сказано ничего компрометирующего, они не держались за руки, когда ехали домой в наэлектризованной снежной мгле, и хотя сидели плечо к плечу, он обнимал ее только тогда, когда сани кренились на крутых поворотах. Если Мартин был радостно возбужден, это объяснялось, вероятно, проделанной за день здоровой гимнастикой. Ничего не произошло, никто не выглядел смущенным. При расставании прощальные приветствия звучали непринужденно и весело.

И Леора ничего не сказала, хотя дня два от нее веяло холодом. Однако Мартин, слишком занятый, не стал доискиваться причины.

ГЛАВА XXI

1

Город Наутилус один из первых в стране ввел обычай «недель», ныне так пышно расцветший, что у нас теперь устраиваются Недели Заочного Обучения, Недели Христианской Науки, Недели Остеопатии и Недели Джорджианской Сосны.

«Неделя» — не просто неделя.

Если какая-нибудь агрессивная, бдительная, предприимчивая, передовая церковь, или Торговая Палата, или благотворительное общество возымеет желание «стать на ноги», то есть получить побольше денег, она созывает несколько энергичных деятелей, какие найдутся в каждом городе, и провозглашает Неделю. Неделя — это значит месяц заседаний комитета, сотни статей во славу данной организации на страницах местной печати, а в заключение — день-другой, когда какие-то атлетического сложения субъекты улещивают неотзывчивую публику в церквах и кинематографах и когда самые хорошенькие девушки города получают разрешение заговаривать на улице с незнакомыми мужчинами под предлогом вручения им удивительно некрасивых жетонов в обмен на минимальную сумму, какую эти незнакомцы находят нужным уплатить в доказательство своего права называться джентльменами.

Единственный вариант — такие Недели, которые преследуют цель не собрать деньги немедленной продажей жетонов, но получить их впоследствии значительно больше благодаря широкой рекламе.

Наутилус провел Неделю Задора, во время которой особое племя очень быстро говорящих людей, бывших агентов по продаже книг, ныне именуемых рационализаторами, ходило по городу, давая советы лавочникам, как им быстрее драть друг с друга деньги, а доктор Альмус Пиккербо на молитвенном собрании выступил с речью о «задоре у святого Павла, первого пропагандиста». Провел Неделю Радушия, когда каждому горожанину полагалось завязывать разговор по меньшей мере с тремя приезжими в день, в результате чего на разъяренных пожилых коммивояжеров с утра до ночи наседали приветливые и мускулистые незнакомцы. Проводилась также Неделя Домашнего Очага, Неделя Пиши Своей Матери, Неделя Открой Фабрику в Наутилусе, Неделя Ешь Больше Кукурузы, Неделя Ходи в Церковь, Неделя Армии Спасения и Неделя Заведи Собственный Автомобиль.

Но едва ли не самой блестящей оказалась Неделя Х, устроенная для сбора восьмидесяти тысяч долларов на новое здание ХАМЛа.

На старом здании, сменяясь ежедневно, горели электрические прописи: «Хороший Американец Молиться Любит», «Христиане Америки Монету Ловите» и «Хватит Американской Молодежи Лениться». Доктор Пиккербо произнес в три дня девятнадцать речей, сравнивая ХАМЛ с армией крестоносцев, с апостолами и с экспедицией доктора Кука, который, по уверению докладчика, действительно открыл Северный полюс. Орхидея продала триста девятнадцать жетонов ХАМЛа, из них семь одному и тому же человеку, который в конце концов обратился к ней с нескромным замечанием. Ее вызволил секретарь ХАМЛа, который, чтоб ее успокоить, долго пожимал ей руку.

Ни одна организация не могла тягаться с Альмусом Пиккербо в изобретательстве «Недель». Он начал январь Неделей Лучшего Младенца — очень удачной неделей. Но за нею в такой горячке последовали недели Долой Пьянство, Пломбируй Зубы и Не Давай Плевать на Тротуар, что люди менее выносливые откровенно роптали: «Мое здоровье вконец испортится от всех этих хлопот о здоровье».

К Неделе Чистоты Пиккербо выпустил в свет новый лирический шедевр собственного сочинения:

Микроб ползет тихохонько,
А с ним и смерть близехонько.
Но ты, приятель, не грусти,
Открытку в ящик опусти
И вызови метельщика,
Чтоб он очистил двор,
Могильщику-микробу
Жестокий дай отпор.

Неделя Бей Мух не только доставила ему удовольствие раздавать премии детям, убившим наибольшее количество мух, но еще вдохновила его на два новых стихотворения. Плакаты кричали:

Продавайте молотки,
Чтоб купить взамен гудки;
Но храните мухобойку!
От помойки под окном
Муха тиф приносит в дом.

Случилось, что в эту неделю орден Орлов устроил съезд в Берлингтоне, и Пиккербо ему телеграфировал:

На вашем орлином слете,
Орлы, уделите внимание
Малой моей заботе:
Мух изгнанию!

Это четверостишие перепечатали девяносто шесть газет, включая одну аляскинскую, и Пиккербо, размахивая вырезками, объяснял Мартину:

— Теперь вы видите, как легко добиться признания истины, если правильно взяться за дело!

Неделя Три Сигары в День, которую Пиккербо измыслил в середине лета, прошла не совсем удачно — отчасти по вине одного несознательного юмориста, запросившего через местную газету, действительно ли доктор Пиккербо требует, чтобы все грудные дети выкуривали по три сигары в день,— а отчасти потому, что сигарные фабриканты явились в Отдел Народного Здравоохранения и высказали несколько крепких замечаний насчет Здравого Смысла. Не дала желанных результатов также и Неделя Корми Кошку, Лечи Собаку.

Невзирая на все свои Недели, Пиккербо находил время председательствовать в Плановом комитете Айовийской конференции деятелей здравоохранения.

Это он написал разосланное всем ее участникам воззвание:

Братья мужчины и сестры женщины!

Придете ли вы на Раут Здоровья? Это будет самая веселая затея, какую только видывала наша старая добрая планета. И затея практическая! Разве вам не набили оскомину скучные общие фразы? Давайте послушаем настоящих ораторов — вынесем из их речей кое-какие мыслишки.

Там будет Лютер Боттс, регент церковного хора,— он внесет в повестку дня Бодрость и Веселье. Джон Ф. Цайсер, М. И. Д. М. и т. д. через весь алфавит (пригладьте волосы, сделайте умное лицо, чтобы нравиться дамам), возьмет две-три ноты (береги барабанные перепонки!). Время от времени, если выдержат тормоза, мы будем (я надеюсь) делать вылазки, и нас угостит хорошим завтраком Уайд Уитлс.

Не соблазнитесь? Не может быть! Дорогой сэр, слово за вами! Пришлите нам карточку с извещением, что вы придете!

Циркуляр вызвал бурю веселья. Доктор Фисонс из Клинтона написал автору:

Если нам удалось собрать такую большую аудиторию, то этим, я считаю, мы обязаны вашему хлесткому пригласительному письму, и, при всей нашей скромности, мы должны сказать, что мир еще не видывал столь удачной конференции по здравоохранению. Мне довелось посмеяться над одной старой наседкой из Бостона или не знаю откуда, которая кудахтала, что ваше письмо написано «в недостойном тоне»! Как вам это нравится? Чертова дура! По-моему, критики, вроде нее, лишенные всякого юмора, достойны только презрения.

2

В Неделю Лучшего Младенца Мартин проявил подлинный энтузиазм. Они с Леорой взвешивали грудных ребят, выстукивали их, выслушивали, составляли схемы образцового питания и в каждом младенце видели ребенка, которого у них никогда не будет. Но когда дошло до Недели Побольше Детей, он попробовал возражать. Он объявил себя сторонником ограничения рождаемости. Пиккербо в ответ развивал бешеное красноречие, ссылаясь на Библию и на пример своих восьми красавиц.

Равным образом не убедила Мартина и Антитуберкулезная неделя. Он любил спать при открытых окнах и не любил курильщиков, харкающих на тротуары, но его раздражало, когда проповедь этих, бесспорно, эстетических, а возможно, и санитарных реформ преподносилась со священным негодованием и сомнительной статистикой.

Каждый раз, когда Мартин брал под вопрос поток его цифр касательно туберкулеза, каждый раз, когда он скромно указывал, что причина ослабления болезни была, возможно, в естественном росте иммунитета, а не в крестовых походах против харканья и затхлого воздуха, Пиккербо считал, что его помощник тем самым берет под сомнение искренность своего шефа в устройстве таких походов. Как большинство пропагандистов, он склонен был вносить в спор личный элемент; он думал, что, если он искренен, значит, его мнения правильны.

Требовать от него точности в утверждениях, ссылаться на изречение Реймонда Перла: «Если говорить об объективных научных фактах, мы до крайности мало знаем о причинах, поведших к снижению смертности от туберкулеза», мог, по его мнению, только один из тех мерзавцев, которые, в самом деле, любят загаживать тротуары.

Мартину все это претило, и он испытал антиобщественную и, разумеется, нечестивую радость, обнаружив, что хотя смертность от туберкулеза, несомненно, снизилась за время деятельности доктора Пиккербо в Наутилусе, она в той же пропорции снизилась и в большинстве деревень округа без речей о плевках и без демонстраций под лозунгом «Открывайте окна».

К счастью для Мартина, Пиккербо и не требовал от него деятельного участия в общественных кампаниях, предпочитая, чтоб он в горячее время заменял его в Отделе. Эти кампании будили в Мартине самые сложные и бешеные мысли, крайне его угнетавшие.

На все его замечания у Пиккербо был один ответ:

— Что за беда, если мои цифры не всегда точны, если моя пропаганда, заманиванье публики покажутся кое-кому вульгарными? Это все полезно, ведет к добру. Неважно, какие мы применяем методы: коль скоро мы заставляем людей дышать более свежим воздухом, соблюдать чистоту во дворах и меньше потреблять спиртного, мы тем самым правы.

И Мартин с удивлением ловил себя на мысли: «В самом деле, разве это хоть что-нибудь значит? Разве что-нибудь значит истина — чистая, холодная, неприветная истина, истина Макса Готлиба? Все говорят: «Только не искажайте истину!» — и все беснуются, когда им указываешь, что они сами первые ее искажают. Или в жизни ничто не имеет значения, и надо только любить, есть, и спать, и слушать лесть?

Для меня, я думаю, истина имеет значение, но если так, может быть, тяга к научной точности просто моя страсть, как у другого увлечение гольфом. Как бы там ни было, я не намерен бросать работу у Пиккербо».

Еще больше побуждала его защищать своего патрона позиция Эрвинга Уотерса и других врачей, нападавших на Пиккербо из боязни, что он добьется подлинных успехов и это урежет их заработки. Но все время Мартина мучила произвольная статистика.

Он подсчитал, что по цифрам, которые Пиккербо приводил насчет больных зубов, неосторожного управления автомобилем, туберкулеза и еще семи болезней, у каждого гражданина Айовы было сто восемьдесят шансов из ста умереть, не дожив до шестнадцати лет, и не мог он содрогаться от ужаса, когда Пиккербо возглашал: «Знаете ли вы, что в округе Пиккенс штата Миссисипи за один только прошлый год погибло от фрамбезии двадцать девять человек, и все они были бы спасены — да, спасены,— если бы ежедневно принимали холодный душ!»

Сам Пиккербо держался страшного обычая принимать холодный душ даже зимою, хотя он мог бы знать, что в одном только Милуоки за двадцать два года умерло от холодного душа девятнадцать человек в возрасте между семнадцатью и сорока двумя годами.

Наличию «переменных» — слово, которым Мартин так же донимал теперь всех, как некогда своим «контролем»,— Пиккербо не придавал никакого значения. Он не мог постичь, что здоровье может зависеть от климата, наследственности, профессии, почвы, естественного иммунитета — от чего бы то ни было, помимо проводимых Отделом здравоохранения кампаний за усиленное мытье и высокую нравственность.

— Фью! Переменные! — смеялся Пиккербо.— Каждый грамотный чиновник гражданской службы достаточно знает о причинах болезней — вопрос лишь в том, чтобы он действовал сообразно этим знаниям.

Тщетно Мартин пытался доказывать, что чиновникам, напротив, почти ничего не известно: никто не знает, действительно ли в школе свежий воздух важнее тепла, и так ли уж опасна для здоровья грязь на улицах и потребление алкоголя, и достигают ли цели предохранительные маски при эпидемиях инфлуэнцы и все прочее, что они проповедуют в своих «крестовых походах»,— Пиккербо только злился, а Мартин подумывал об отставке, встречал Эрвинга Уотерса и с новым пылом возвращался к Пиккербо, а в общем метался и был несчастлив, как молодой революционер, убедившийся в лицемерии своих вождей.

Он стал уже брать под сомнение и то, что Пиккербо называл «доказанной практической ценностью» своих кампаний — не только точность его знаний по биологии. Он видел, как надоело журналистам, что каждые две недели их принуждают спасать мир от новой угрозы, и как тихо сатанеет обыватель, когда девятнадцатая девушка за двадцать дней наскакивает на него и требует, чтоб он купил жетон для поддержания ассоциации, о которой он и слыхом не слыхал.

Но гнуснее всего был звон доллара, который слышался ему в самом пламенном красноречии Пиккербо.

Когда Мартин предлагал подвергать пастеризации все молоко или сжечь некоторые дома, как рассадники туберкулеза, вместо того чтобы хлопотливо и без толку их окуривать; когда он утверждал, что такие меры спасут больше жизней, чем десять тысяч проповедей и десять лет парадов, на которых маленькие девочки несут знамена и мокнут под дождем, тогда Пиккербо встревоженно перебивал его:

— Нет, нет, Мартин, об этом и думать нечего. Мы не можем восстанавливать против себя фермеров и домовладельцев. В нашем деле нельзя задевать людей — так мы ничего не достигнем.

На молитвенных собраниях и в домашнем кругу Пиккербо говорил о «ценности здоровья, дающего нам радость жизни», но в спичах на торжественных завтраках с дельцами она у него превращалась в ценность «славных, круглых долларов и центов, поставляемых рабочими, когда они здоровы и трезвы и могут работать быстрее при той же заработной плате». На родительских собраниях он держал просветительные речи об «экономии на оплате врача при должном уходе за детьми, который убережет их от болезней»; врачей же он заверял, что пропаганда охраны здоровья

безусловно привьет населению систематический навык обращаться к врачу.

Перед Мартином он распинался о Пастере, Джордже Вашингтоне, Викторе Вогане и Эдисоне как о своих героях. Но, испрашивая у дельцов города Наутилуса — заправил Ротарианского клуба, Торговой Палаты, Объединения оптовиков — божественной их санкции на расширение сметы ОНЗа, он недвусмысленно давал понять, что они, только они — его герои и властители страны, и, лоснясь жирным блеском сквозь дым сигар, они принимали корону.

Постепенно Мартин перенес свое наблюдение с Альмуса Пиккербо на всех вождей, возглавляющих армии и правительства, университеты и церкви, и увидел, что большинство из них — те же Пиккербо. Он стал проповедовать самому себе, как некогда проповедовал ему Макс Готлиб, лояльность раскольничества, религию постоянного сомнения, заповедь отречения от каких бы то ни было заповедей, мудрость признания, что и сам ты и все другие, быть может, полные невежды, и настойчивую борьбу за Движение в пользу того, чтобы двигаться вперед очень медленно.

Сотни помех отрывали Мартина от лаборатории. Его вызывали в приемную Отдела объяснять рассерженным гражданам, почему из соседнего гаража несет бензином; оттуда он возвращался в свой закут диктовать письма директорам школ об осмотре зубов у школьников; ехал в Шведский Овраг проверить, уделяет ли инспектор пищевой и молочной промышленности должное внимание бойням; отдавал приказ отправить в карантин одну семью из Фанерного Городка; и запирался, наконец, в лаборатории.

Она была хорошо освещена, удобна, прилично оборудована. У Мартина оставалось мало времени на что-либо, кроме посевов, анализов крови и вассермановских реакций для частнопрактикующих врачей, но работа его успокаивала, и урывками он возвращался к поискам реакции преципитации, которая должна была вытеснить вассермановскую и принести ему, Мартину, славу.

Пиккербо думал, как видно, что на это исследование потребуется шесть недель; Мартин надеялся провести его за два года; а при таких помехах, как сейчас, оно могло затянуться и на двести лет. За этот срок мистеры Пиккербо успеют искоренить сифилис, и реакция окажется ненужной.

В обязанности Мартина входило вдобавок развлекать Леору в чужом городе Наутилусе.

— Ты, конечно, нашла себе занятия на весь день? — подбадривал он ее и добавлял: — Хочешь куда-нибудь пойти сегодня вечером?

Она глядела на него подозрительно. Она довольствовалась собственным обществом легко и естественно, как кошка, и раньше он никогда не заботился о ее развлечениях.

4

Дочки Пиккербо постоянно забегали в лабораторию Мартина. Близнецы били пробирки и делали куклам палатки из фильтровальной бумаги. Орхидея раскрашивала буквы на плакатах к отцовским Неделям, а лаборатория, по ее словам, была самым спокойным местом для работы. Стоя над своими препаратами, Мартин ощущал присутствие девушки — вот она напевает в углу за столом. Они разговаривали без умолку, и он с телячьим восторгом выслушивал замечания, которые, выскажи их Леора, он назвал бы «собачьей чушью»!

Он разглядывал на свет прозрачную, винно-красную пробирку с гемолизированной кровью и думал о ее цвете, но больше о щиколотках Орхидеи, которая с бессмысленным терпением работала кисточками, склонившись над столом и как-то очень замысловато закрутив ногу за ногу.

Он спросил ее резко:

— Послушайте, милочка. Допустим... допустим, девушка, младенец вроде вас, влюбилась вдруг в женатого человека. Как по-вашему, что она должна делать? Дарить его нежностью? Или дать ему отпор?

— Ох, разумеется, дать отпор. Даже, если это ей страшно тяжело. Даже, если она любит его до безумия. Потому что, как бы она его ни любила, она не должна причинять боль его жене.

— Но допустим, жена никогда не узнает; или ей это безразлично?

Он не притворялся больше, что работает; он стоял перед нею, подбоченясь, темные глаза его требовали ответа.

— Ну, если не узнает... Но дело не в том. Я убеждена, что браки, в самом деле, заключаются на небесах. А вы как думаете? Когда-нибудь явится прекрасный принц, идеальный возлюбленный (она была так молода, так молоды, так сладки были ее губы!)... и я, конечно, хотела бы сберечь себя для него. Все будет испорчено, если я стану легкомысленно играть любовью до прихода моего героя.

Но ее улыбка ласкала.

Мартину рисовалось, что их забросило вдвоем в одинокое становище. Она забывает свою попугайскую мораль. В нем совершилась перемена, решительная, как обращение в другую веру или как приступ неистовой ярости на войне; от пристыженного нежелания изменять жене он перешел к решимости взять то, что само дается в руки. Его начинало злить, что Леора требовательна,— ей навсегда принадлежит его глубочайшая любовь, а она налагает запрет на каждую его мимолетную прихоть... Да, налагает запрет. Леора редко говорила об Орхидее, но она всегда могла сказать (или ему со страху так казалось), когда Мартин провел с Орхидеей час-другой среди дня. Под немым испытующим взглядом жены он чувствовал себя правонарушителем. Он, которого всегда коробило от елейности, был теперь преувеличенно нежен:

— Ты весь день просидела дома? Ну, мы после обеда махнем в кино. Или лучше позвонить кому-нибудь и пойти в гости? Как ты хочешь?

Он слышал, что голос его приторен, и ненавидел его, и знал, что не уластил Леору. И каждый раз, пускаясь в размышления о превосходстве своей правды над правдой Пиккербо, он сам себя осаживал: «Хорош гусь! Туда же — рассуждаешь о правде, жалкий лжец!»

В самом деле, он слишком дорого платил за то, что заглядывался на губы Орхидеи, но беспокойство о цене, как бы ни была она несообразна, не могло его остановить: все равно он на них заглядывался.

В начале лета, за два месяца до того, как разразилась в Европе Великая война, Леора отправилась на две недели в Уитсильванию навестить родителей. Только тогда она заговорила:

— Рыжик, я не намерена, когда вернусь, задавать тебе вопросы, но я надеюсь, что у тебя не будет такого глупого вида, как в последнее время. Мне кажется, эта твоя облепиха, мать-и-мачеха, твоя безмозглая Дульцинея, не стоит того, чтобы мы из-за нее ссорились. Рыжик, дорогой мой, я так хочу, чтобы ты был счастлив, но пока я у тебя не померла, я не потерплю, чтоб меня забросили на шкаф, как старую шляпу. Предупреждаю. А теперь насчет льда: я распорядилась, чтобы доставляли сто фунтов в неделю, так что если тебе когда-нибудь захочется пообедать дома...

Когда она уехала, ничего сразу не произошло, хотя все время казалось, вот-вот что-то должно произойти, и очень существенное. Орхидея с девическим любопытством ждала, как поступит в этом случае мужчина, но довольствовалась чрезвычайно скудными дозами волнения.

В то июньское утро Мартин клялся, что она «дура и кокетка» и что у него «нет никакого желания возиться с ней». Нет!

Вечером он заглянет к Эрвингу Уотерсу, или почитает, или пойдет погулять с дантистом школьной амбулатории.

Но в половине девятого он не спеша направлялся к ее дому.

Если супруги Пиккербо никуда не ушли... Мартину слышался его собственный голос: «Я проходил мимо, доктор, и завернул к вам спросить, что вы думаете о...» Черт возьми!.. О чем же? Пиккербо никогда ни о чем не думает.

На низком парадном крыльце он увидел Орхидею. Над ней склонился юнец лет двадцати, некто Чарли, письмоводитель.

— Здравствуйте! Отец дома? — крикнул Мартин таким беззаботным тоном, что вправе был себя поздравить.

— Ужасно жалко, но они с мамой вернутся не раньше одиннадцати. Может быть, присядете, отдохнете? Такая жара!

— Пожалуй...— Он решительно сел на ступеньку и старался вести юношеский разговор, в то время как Чарли изрекал сентенции, которые, по его понятиям, должны были импонировать отягченному годами доктору Эроусмиту, а Орхидея в знак заинтересованности издавала короткое мурлыканье — искусство, в котором она была очень изощрена.

— Часто ходите на бейсбол? — спросил Мартин.

— О да, когда только есть время,— ответил Чарли.— Как дела в Городском Управлении? Обнаружили уйму случаев оспы, и винкулус-пинкулус, и всяких фантастических болезней?

— Без дела не сидим! — прогудел старый доктор Эроусмит.

Больше он ничего не мог придумать. Он слушал, как Чарли и Орхидея обменивались зашифрованным хихиканьем о вещах, которые оттесняли его за барьер, и чувствовал себя столетним стариком: тут были упоминания о Мэмми и Графе и гневное: «Великолепно! Но если вы хоть раз увидите, что я танцую с нею, вы мне об этом сообщите, хорошо?» За углом визжала Вербена Пиккербо, предлагая каким-то неизвестным личностям «перестать сию же минуту»!

«К черту! Не стоит труда! Пойду домой»,— вздохнул Мартин, но в это мгновение Чарли бросил:

— Ну, всего, будьте паинькой; мне пора.

Мартин остался вдвоем с Орхидеей в покое и стеснительном молчании.

— Так приятно побыть в обществе человека, который умен и не старается все время ухаживать, как Чарли,— сказала Орхидея.

Он подумал:

«Прекрасно! Она решила быть просто милой, славной девочкой. Я тоже образумился. Посидим немного, поболтаем, и я пойду домой».

Она как будто придвинулась ближе. Зашептала:

— Мне было тоскливо, особенно с этим вульгарным мальчишкой, пока не раздались ваши шаги на улице. Я сразу почувствовала, что это вы.

Он гладил ее по руке. Когда он стал это делать более пылко, чем полагалось бы сотруднику и другу ее отца, она отняла руку, обняла свои колени и принялась болтать.

Так бывало всегда в те вечера, когда он подходил к крыльцу и заставал ее одну. В ней было в десять раз больше неожиданностей, чем в самой сложной женщине. Мартин умудрился чувствовать себя виновным перед Леорой, не вкусив ничего от тех пресловутых радостей, какие полагается испытывать виновному.

Пока она говорила, он старался уяснить, есть ли у нее хоть сколько-нибудь мозгов. Очевидно, ей не хватало их даже на то, чтоб учиться в небольшом среднезападном церковном колледже. Вербена должна была с осени поступить в колледж, но Орхидея считала своим долгом, как она пояснила, «остаться дома и помогать маме в заботах о малышах».

«Понимай так,— решил Мартин,— она не может одолеть даже вступительных экзаменов в Магфорд!»

Но его мнение о ее умственных способностях сразу изменилось, когда Орхидея заныла:

— Мне, бедненькой, верно, всю жизнь придется прожить в Наутилусе, а вы... о, с вашими знаниями и железной силой воли вы, я уверена, завоюете мир!

— Вздор! Мира я не завоюю, хотя мне, я надеюсь, удастся провести несколько хороших санитарных мероприятий. Но по чести... Орхидея, золотко, вы, в самом деле, думаете, что у меня есть сила воли?

Луна большим диском висела за кленами. Убогие владения доктора Пиккербо были околдованы; некошеный сорняк превратился в кусты роз, общипанная виноградная беседка стояла храмом Дианы, старый гамак повис серебряной парчой, брюзгливый, вечно плюющийся кран для поливки высился фонтаном, и мир весь был во власти лунных чар любви. Маленький город, днем занятой и шумный, как ватага детей, ушел в тишину и забвение. Вечно поглощенный беспокойным раздумьем, Мартин редко умел почувствовать волшебную прелесть такого часа, но теперь захватило и его и захлестнуло восторгом.

Он держал в руке спокойную руку Орхидеи... и тосковал по Леоре.

Тот воинствующий Мартин, который похитил некогда Леору, нисколько не думал о романтике, потому что по-своему, на свой неуклюжий лад, был романтичен. Но Мартин, который, как вер-

нувшийся из похода воин, расслабленный, умащенный благовониями, пленился девушкой в лунном свете,— этот Мартин жадно тянулся теперь к романтике и был совершенно неромантичен.

Он чувствовал себя обязанным «любить». Притянул ее к себе, но, когда она вздохнула: «Ах, прошу вас, не надо»,— у него недостало безжалостной убежденности, он не мог действовать дальше. Он подумал еще раз о лунном свете, но подумал и о том, что рано утром надо на службу, и соображал, нельзя ли украдкой достать из кармана часы и посмотреть, который час. Это ему удалось. Он наклонился сказать Орхидее спокойной ночи и поцеловать ее на прощанье, но как-то не совсем поцеловал и вскоре увидел, что шагает домой.

Себя он ругал безжалостно и убежденно. Он бесился: никогда, сколько бы он ни спотыкался в жизни, не ожидал он от себя, что окажется в любви мелким воришкой, трусоватым, подленьким обольстителем, да еще неудачливым в своих похождениях — менее удачливым, чем продавцы газированной воды, которые по вечерам разгуливают под кленами со своими девицами. Он говорил себе, что Орхидея — недалекая бабенка... вздыхает и жеманится,— но едва очутился в своей одинокой квартире, снова стал томиться по ней, измышляя чудесные и безнадежно глупые способы заполучить ее к себе сегодня же, и лег в постель, вздыхая: «Ах, Орхидея!»

Может быть, он слишком много уделил внимания луне и мягкому лету, потому что совершенно неожиданно, когда Орхидея в один прекрасный день пропорхнула через всю лабораторию и, блеснув чулками, уселась на его рабочем столе, он подошел к ней, властно схватил ее за руки и поцеловал таким поцелуем, какого она заслуживала.

И тотчас от его властности ничего не осталось. Он был напуган. Тускло на нее уставился. В растерянности она широко раскрыла глаза, губы ее вздрагивали.

— Ох! — вздохнула она всей грудью. И добавила тоном, в котором звучало безграничное любопытство и некоторое удовлетворение:— Мартин... ах!.. дорогой... ничего, по-вашему, что вы это сделали?

Он поцеловал ее еще раз. Она не противилась, и на мгновение все в мире исчезло для них, и не было ни его, ни ее, ни лаборатории, не было ни отцов, ни жен, ни установленных правил,— только напряженное чувство, что вот они вместе.

Вдруг она защебетала:

— Я знаю, есть множество людей, погрязших в условностях, и они осудили бы нас, и раньше я, может быть, и сама осудила бы, но... Ах, я страшно рада, что у меня свободные взгляды. Конеч-

но, я ни за что на свете не стала бы огорчать милую Леору и делать что-нибудь *совсем* дурное, но не чудесно ли, что кругом нас столько мещан, а мы умеем подняться выше их и следуем зову, который идет от сильного к сильному и... Но мне просто *необходимо* на собрание в ХАМЖ. Там сегодня одна женщина-адвокат из Нью-Йорка прочтет нам доклад «Современная женщина и карьера».

Когда она ушла, Мартин понял, что может поздравить себя с любовной удачей. «Она моя!» — возликовал он... Вероятно, никто никогда не ликовал так плохо и так неуверенно.

Вечером, когда он у себя на квартире играл в покер с Эрвингом Уотерсом, дантистом школьной амбулатории и молодым врачом городской больницы, раздался телефонный звонок и послышалось взволнованное, но сахарное:

— Это я, Орхидея. Вы рады, что я позвонила?

— О да, очень рад.— Он постарался вложить в эти слова радость влюбленного и вместе безразличие, достаточное, чтобы обмануть трех пересмешников-врачей, которые, сняв пиджаки, потягивали пиво.

— Вы заняты сегодня, Мартин?

— Да, собственно... гм!.. У меня сидят приятели, играем в картишки.

— Вот как! — В ее голосе звучала задорная проницательность.— Значит, вы... Ах, я смешна, как младенец, что звоню вам, но папы нет дома и Вербены нет... все ушли, и вечер такой чудесный, вот я и подумала... А вы не считаете, что я ужасная глупышка?

— Нет... нет... конечно, нет.

— Я так рада! Мне ужасно не хотелось бы думать, что вы думаете, что с моей стороны глупо...

— Да нет же!.. Что вы! Нет!.. Только, понимаете, я не могу...

— Я знаю. Я не буду вас задерживать. Я только хотела услышать от вас, что вы не считаете меня такой глупой, оттого, что я...

— Да нет! Право же! Честное слово!

Через три тягостных минуты, унизительно чувствуя за спиной мужские ухмылки, он от нее отделался. Партнеры изрекли все, что считается в Наутилусе подходящим к такому случаю: «Ах, вы, тихоня!», «Все понятно: жена уехала на недельку, а наш донжуан...», «Кто такая, доктор? Ну, скряга, подавайте ее сюда». И наконец: «Ага, я знаю, кто она: модисточка с Прериавеню».

На другой день, в двенадцать часов. она позвонила из аптеки, что всю ночь не спала и после глубоких размышлений пришла к мысли, что «они больше никогда не должны делать таких

вещей» и... не встретится ли он с нею в восемь часов на углу Криминс-стрит и Миссури-авеню, чтоб можно было обо всем переговорить?

В два часа она позвонила опять и переложила встречу на половину девятого.

В пять она позвонила просто, чтоб напомнить...

Мартин в этот день не пересеивал в лаборатории культур. Он был слишком суетен и слаб для приличного экспериментатора, слишком холодно рассудителен для приличного грешника и все время тосковал по спокойному утешению, которое могла бы дать ему Леора.

«Сегодня я могу зайти с ней так далеко, как только захочу».

«Но она глупа и гоняется за мужчинами».

«Тем лучше. Мне надоело быть нудным философом».

«Неужели счастливые любовники, о которых читаешь в романах и стихах, чувствуют себя так же мерзко, как я?»

«Не желаю быть мужчиной средних лет, осторожным, добронравным одноженцем. Это противно моим убеждениям. Я требую права на свободу...»

«К черту! Все эти «свободные умы» — рабы своего свободомыслия. Они не лучше своих папаш-методистов! Во мне вполне достаточно здоровой естественной безнравственности, так что я могу позволить себе быть нравственным. Я хочу сохранить ясность мысли для работы. Не желаю туманить свой мозг, бегая, как нанятой, за каждой девчонкой, которую можно поцеловать».

«Орхидея слишком доступна. Я не желаю отказываться от права быть счастливым грешником, но я всегда шел прямой дорогой, знал только Леору и свою работу, и я не хочу теперь вносить смуту в свою жизнь. Помоги господь каждому, кто любит свою работу и свою жену! Он заранее побежден!»

В восемь тридцать он встретился с Орхидеей, и дело обернулось очень некрасиво. Ему был одинаково противен вчерашний храбрый Мартин и Мартин сегодняшний, прозаичный и осторожный. Он вернулся домой печальным аскетом и всю ночь протосковал по Орхидее.

Неделю спустя вернулась из Уитсильвании Леора.

Он ее встретил на вокзале.

— Все в порядке,— сказал он.— Я чувствую себя так, точно мне сто семнадцать лет. Я порядочный, нравственный молодой человек и, боже, как мне это было бы тошно, если б не моя реакция преципитации и ты и... Почему ты всегда теряешь багажную квитанцию? Я, наверно, подаю дурной пример другим, сдаваясь так легко. Нет, нет, родная, разве ты не видишь: это не квитанция, а билетик, который выдал тебе проводник!

ГЛАВА XXII

1

В то лето Пиккербо, разглагольствуя и пожимая, кому надо, руки, совершал небольшое турне от «Шатоквы» по Айове, Небраске и Канзасу. Мартин убедился, что хотя Пиккербо по сравнению с Густавом Сонделиусом — кретин, к несчастью наделенный даром речи, ему предназначено судьбой стать в Америке в десять раз более известным, чем Сонделиус, и в тысячу раз более известным, чем Макс Готлиб.

Он состоял в переписке со многими так называемыми великими людьми, чьи портреты и звучные афоризмы появлялись в журналах: с рекламистами, писавшими брошюры о «Предприимчивости и оптимизме»; с редактором журнала, поучавшего конторщиков, что можно сделаться вторым Гете или новым Джексоном-Каменной Стеной, если учиться на заочных курсах и никогда не прикасаться к погубителю мужественности — пиву; и с сельским мудрецом, равно компетентным в финансах, иностранной политике, биологии, издательском деле, перуанской этнологии и в искусстве зарабатывать деньги ораторскими выступлениями. Эти властители дум признавали в Пиккербо одного из своих; они ему писали шутливые письма, и он, отвечая, подписывался «Пик» красным карандашом.

Журнал «Всегда вперед», избравший специальностью биографии Людей, Добившихся Успеха, дал заметку о Пиккербо среди своих очерков о пасторе, построившем собственный неоготический собор из консервных банок, о даме, которая за семь лет удержала от вступления на путь позора 2698 фабричных работниц, и об орегонском сапожнике, самоучкой научившемся читать по-фински, на санскрите и на эсперанто.

«Позвольте вам представить старого дока Альмуса Пиккербо, мужественного человека, которого Чам Фринк прославил как «двужильного бойца, врача и певца». Доподлинный ученый, он свои поразительные открытия умеет внедрить в жизнь, но, как добрый старозаветный директор воскресной школы, дает отпор псевдоученым атеистам, которые беззастенчиво высмеивают все высокое и благородное, подрывают основы нашей религии и нашей конституции»,— пел хроникер.

Мартин сидел и читал вырезку, дивясь, неужели эта статья и впрямь красуется на странице знаменитого нью-йоркского журнала, выпускаемого миллионным тиражом, когда Пиккербо вызвал его к себе.

— Март,— сказал он,— чувствуете вы себя достаточно компетентным, чтобы управлять отделом?

— Собственно... а что?

— Как вы полагаете, можете вы самостоятельно развивать движение и поддерживать в городе чистоту?

— А что, собственно?..

— Дело в том, что я, по всей вероятности, уеду в Вашингтон как представитель нашего округа в конгрессе!

— В самом деле?

— Да, похоже на то, мой мальчик, я теперь возвещу всей нации ту истину, которую старался вбивать в головы здешним жителям.

Мартин выговорил вполне приличное «поздравляю вас». Он был так изумлен, что поздравление прозвучало горячо. Он еще сохранил обломок былой своей детской веры, что члены конгресса — люди умные и значительные.

— Я был только что на совещании с некоторыми видными членами республиканской партии нашего округа. Полная для меня неожиданность. Ха-ха-ха! Может быть, они остановили свой выбор на мне просто потому, что в текущем году им некого выдвинуть? Ха-ха-ха!

Мартин тоже рассмеялся. Пиккербо, судя по виду, ждал несколько иного ответа, но приосанился и продолжал свою речь:

— Я заявил им: «Джентльмены, должен вас предупредить, что я не уверен в наличии у меня таких редких качеств, какие нужны человеку, облекаемому высоким правом устанавливать в Вашингтоне законы и нормы, которыми должна руководствоваться на всех дорогах жизни наша великая стомиллионная нация. Однако, джентльмены, сказал я, если при всей своей скромности я решаюсь принять от вас эту нежданную и, быть может, незаслуженную честь, то меня побуждает к этому лишь то обстоятельство, что конгресс, мне кажется, остро нуждается в более передовых ученых и в подлинно искушенных дельцах для планирования и проведения в жизнь усовершенствований, которых требует развитие нашей страны, равно как и высокая задача убедить вашингтонских молодцов в насущной и неотложной необходимости создать министерство здравоохранения, которое будет бдительно стоять на страже...

Но как бы ни смотрел на то Мартин, республиканская партия действительно выдвинула Пиккербо кандидатом в конгресс.

2

Когда Пиккербо отправился на предвыборную кампанию, управление Отделом легло всецело на Мартина и с первых же дней царствования он прослыл деспотом и радикалом.

Не было в Айове более опрятной и лучше оборудованной молочной фермы, чем ферма старого Клопчука на окраине Наутилуса. Она была выложена кафелем, дренирована, превосходно освещена; доильные машины содержались в идеальном порядке; бутылки тщательно кипятились; и Клопчук приветливо встречал санитарную инспекцию и туберкулиновую пробу. Он воевал с союзом рабочих молочной промышленности за право нанимать рабочую силу со стороны и одержал победу, платя выше профсоюзных ставок. Однажды, когда Мартин, как заместитель Пиккербо, явился на заседание наутилусского Центрального совета профессиональных союзов, секретарь совета признался ему, что нет предприятия, которое ему так хотелось бы завоевать (и на завоевание которого он так мало может рассчитывать), как молочная ферма Клопчука.

Мартин не питал особого сочувствия к рабочему движению. Как большинство лабораторных затворников, он думал, что если рабочие в шитье жилетов и в нажиманье на рычаг находят меньше радости, чем он в своих кропотливых исследованиях, то причиной тому их принадлежность к низшей категории людей, от природы порочных и ленивых. Жалоба со стороны профсоюзов только убедила его, что он, наконец, нашел совершенство.

Он часто заезжал к Клопчуку просто ра́ди удовольствия. Однако он сделал наблюдение, которое его смутило: у одного доильщика постоянно болело горло. Он взял у него мазок, сделал посев и нашел гемолитические стрептококки. В панике ринулся он обратно на ферму и, проведя анализы, обнаружил стрептококки в вымени у трех коров.

Когда Пиккербо обеспечил народное здравие по мелким городам избирательного округа и возвратился в Наутилус, Мартин стал настаивать, чтоб зараженного доильщика отправили в карантин, а ферму Клопчука закрыли впредь до исчезновения инфекции.

— Что за вздор! Ведь это же самое чистое место в городе,— рассмеялся Пиккербо.— К чему поднимать шумиху? Кажется, нет никаких признаков стрептококковой эпидемии!

— Появятся, черт возьми, и очень скоро! Три зараженных коровы. Вспомните, что случилось недавно в Бостоне и Балтиморе. Я пригласил Клопчука зайти в Отдел, и мы с ним обсудим вопрос.

— Вы же знаете, как я занят, но ладно, так и быть...

Клопчук явился в одиннадцать. Для него это дело оборачивалось трагедией. Он родился в какой-то трущобе в Польше, умирал с голоду в Нью-Йорке, работал по двадцать часов в сутки в Вермонте, Огайо, Айове и вот создал, наконец, это диво, свою молочную ферму.

Он стоял, сутулый,— морщины углубились на лице, в глазах дрожали слезы,— и, комкая шляпу в руках, протестовал:

— Доктор Пиккербо, я делаю все, что велят доктора. Я знаю толк в молочном деле! И вдруг приходит этот молодой человек и заявляет, что один мой рабочий простудился и, значит, я убиваю малых детишек заразным молоком! Говорю вам: вся жизнь моя в моей ферме, и я скорей повешусь, чем выпущу на рынок хоть каплю плохого молока. Молодой человек просто чинит мне подвох. Я наводил о нем справки. И выяснил, что он водит дружбу с молодцами из Центрального совета профсоюзов. Ходит к ним туда на заседания! А они давно под меня подкапываются!

Мартину жалко было напуганного старика, но до сих пор его никогда не обвиняли в предательстве. Он сказал угрюмо:

— Возведенное на меня обвинение в личном пристрастии вы можете разобрать после, доктор Пиккербо. А сейчас я предлагаю вам вызвать экспертов для проверки моих выводов; Лонга из Чикаго или Брента из Миннеаполиса — кого угодно.

— Я... я... я собственно...— Киплинг и Билли Санди здравоохранения казался не менее расстроенным, чем Клопчук.— Я уверен, что наш общий друг вовсе не думает обвинять вас, Март. Он разволновался, это так естественно. Нельзя ли нам просто, не чиня никому беспокойства, подлечить парня, который подцепил стрептококков?

— Отлично, если вас устраивает, чтобы здесь перед самыми выборами разразилась опасная эпидемия!..

— Вы прекрасно знаете, что я сделал бы все, чтобы избежать... Однако вы должны отчетливо себе уяснить, что это не стоит ни в какой связи с предвыборной кампанией! Просто я обязан самым тщательным образом исполнять свой долг по охране города от болезней, принимая самые суровые меры...

Закончив свою речь, Пиккербо дал телеграмму в Чикаго доктору Д.-К. Лонгу, бактериологу.

У доктора Лонга был такой вид, точно всю дорогу он проехал в вагоне-леднике. Мартин отроду не видел человека, более далекого от поэтических наклонностей и велеречивой филантропии Альмуса Пиккербо: тонкий, точный, губы втянуты, уши прижаты, на носу пенсне и волосы на прямой пробор. Он спокойно выслушал Мартина, холодно выслушал Пиккербо, с ледяным видом дал высказаться Клопчуку, провел обследование и вынес заключение: доктор Эроусмит, по-видимому, в совершенстве знает свое дело, опасность, бесспорно, есть, советую закрыть ферму. мой гонорар сто долларов, благодарю вас, нет, обедать не останусь, я должен поспеть на вечерний поезд.

Придя домой к Леоре, Мартин рычал:

— Он сама любезность, но бог ты мой, Леора, своей деловитостью и нетерпимостью к болтовне, он распалил во мне дикое желание вернуться к научной работе; подальше от гуманнейших филантропов, которые так заняты разговорами о любви к человечеству, что спокойно дают людям помирать! Он мне страшно не понравился, но... Интересно бы знать, что делает сейчас Макс Готлиб? Этот немец-сумасброд! Верно, он... верно, он говорит о музыке или еще о чем с какими-нибудь умными людьми. Хотела бы ты повидаться со стариком? Ну, хоть на две-три минуты? Рассказывал я тебе, как я роскошно окрашивал трипаносом?.. Ага, значит, рассказывал...

Он полагал: ферму на время закрыли — и делу конец. Он не понимал, как жестоко обижен Клопчук. Он видел, что Эрвинг Уотерс, лечивший Клопчука, сделался при встречах нелюбезен, и бурчал: «Что пользы, Март, вечно бить тревогу?» Но не знал, сколь многим гражданам Наутилуса было доверительно сообщено, что Эроусмит «на жалованье у этих бандитов из рабочих союзов».

3

За два месяца перед тем, когда Мартин производил ежегодную ревизию фабрик, он познакомился с Клэем Тредголдом, президентом (по праву наследования) Компании стальных ветряных двигателей. Мартин слышал, что Тредголд, утонченный, но достаточно обходительный человек лет сорока пяти, вращался как один из порфироносцев в самых высоких сферах наутилусского света. После ревизии Тредголд предложил:

— Присядьте, доктор, возьмите сигару и расскажите мне все о санитарном деле.

Мартин насторожился. В ласковом глазу Тредголда играла насмешливая искра.

— Что вы хотели бы знать о санитарном деле?

— О, все, что можно...

— Я знаю только одно: на заводе вас, несомненно, любят. У вас, конечно, недостаточно кранов в умывальной второго этажа, но рабочие в один голос божились, что вы немедленно поставите добавочные. Если они так вас любят, что лгут наперекор собственной выгоде, то вы, очевидно, хороший хозяин, и я, пожалуй, спущу вам — до следующей ревизии. Однако мне пора!

Тредголд просиял.

— Молодчина! Я уже три года дурачу Пиккербо. Я рад, что с вами познакомился. И, пожалуй, действительно поставлю не-

сколько новых раковин — через год, накануне ревизии. До свидания!

После истории с Клопчуком Мартин и Леора у входа в кинематограф встретили Клэя Тредголда и с ним роскошно одетую, стройную даму, его жену.

— А, доктор! Разрешите вас подвезти? — закричал Тредголд.

По дороге он предложил:

— Не знаю, вы, может быть, такой же трезвенник, как Пиккербо, но, если не откажетесь, я повезу вас прямо к нам домой и угощу коктейлем, самым благородным, какой только был изобретен с тех пор, как округ Эванджелин перешел на сухой закон. Разумное предложение?

— Я много лет не слышал ничего разумней,— сказал Мартин.

Дом Тредголда стоял на самом высоком холме (двадцать футов над средним уровнем местности), в Ашфорд-Грове, который для Наутилуса то же, что Бэк-Бэй для Бостона. Дом был выстроен в «колониальном стиле»: застекленная веранда, большой вестибюль с белой обшивкой стен, сине-серебряная гостиная. Мартин старался держаться непринужденно, когда миссис Тредголд, мило болтая, повела его и Леору за собой, но он отроду не бывал в таком великолепном доме.

В то время как Леора сидела на краешке стула, точно ее вот-вот отправят домой, а миссис Тредголд восседала хозяйкой, Тредголд мешал коктейль и говорил любезности.

— Вы давно здесь, доктор?

— Без малого год.

— Попробуйте. Сдается мне, вы не из той породы, что этот спаситель человечества — Пиккербо.

Мартин сознавал, что должен похвалить своего патрона, но, к приятному удивлению Леоры, он вскочил и продекламировал в стиле самых выспренних речей Альмуса Пиккербо:

— Джентльмены от производства стальных ветряных двигателей, этой высокой промышленной отрасли, которая, как ни одна другая, способствовала процветанию нашей страны! Хотя мне известно, что вы всегда норовите, где только можно, нарушить санитарные законы за спиной инспектора, все же мне хочется воздать вам должное за высокое ваше уважение к санитарному делу, за ваш патриотизм и ваши коктейли, и будь у меня более серьезный помощник, чем этот юнец Эроусмит, я стал бы, с вашего соизволения, президентом Соединенных Штатов.

Тредголд аплодировал. Миссис Тредголд уверяла: «Доктор Пиккербо, ну в точности!» Леора смотрела гордо, муж ее тоже.

— Я рад, что вы чужды социалистической трескотне доктора Пиккербо,— сказал Тредголд.

При этом слове Мартин сразу насторожился.

— А мне плевать, социалист он или нет, что бы вы там ни разумели под социализмом. Сам я в социализме ни черта не смыслю. Но раз уж я позволил себе пародию на Пиккербо — что было с моей стороны, пожалуй, не совсем этично,— я должен сказать, что вообще не люблю ораторства: в нем столько энергии, что не остается места для фактов. Но заметьте, Тредголд, здесь отчасти виноваты люди вроде заправил из вашей Ассоциации промышленников. Я лабораторный исследователь, или, верней, иногда мне хочется им быть. Я люблю иметь дело с точными цифрами.

— Я тоже. В колледже Уильямса я увлекался математикой,— сказал Тредголд.

Тотчас они с Мартином перешли на вопрос о народном образовании и напустились на университеты, где «выделываются штампованные специалисты, точно колбасы на фабрике». Мартин вдруг спохватился, что поверяет Тредголду свои сомнения о «переменных», а Тредголд заявил, что неохотно возглавил отцовскую фабрику: он с юных лет мечтал сделаться астрономом.

Леора между тем объясняла приветливой миссис Тредголд, как тщательно приходится жене помощника директора соблюдать экономию, и миссис Тредголд ласкающим голосом утешала:

— Знаю, мне самой пришлось очень туго, когда умер мой отец. Вы не пробовали шить у маленькой шведки на Кримминстрит, через два дома от костела? Очень толковая портниха и дешево берет.

В первый раз со времени своей женитьбы Мартин нашел дом, где чувствовал себя вполне счастливым. И Леора в женщине непринужденно элегантной (качество, которое всегда внушало ей страх и неприязнь) нашла собеседницу, с которой могла поговорить о боге и о ценах на камчатное полотно. Они держались свободно, и над ними не смеялись.

В двенадцать ночи, когда очарованье бактериологии и камчатного полотна потускнело, под окнами закашлял и засопел автомобильный рожок, и в комнату ввалился краснощекий толстяк, которого представили как мистера Шлемиля, президента Наутилусской страховой компании кукурузной зоны.

В еще большей мере, чем Клэй Тредголд, он признан был столпом ашфорд-гровской аристократии, но сейчас, когда он вторгшимся варваром стоял среди сине-серебряной комнаты, Шлемиль был прост и любезен.

— Рад познакомиться с вами, доктор. Поверьте, Клэй, я в бешеном восторге, что вы подыскали ученого собеседника, с которым можете болтать. А я, Эроусмит, я просто бедный, старый страховой агент. Клэй постоянно попрекает меня, что я темный не-

«Эроусмит»

вежда. Слушайте, Клэй, голубчик, получу я коктейль или нет? Я вижу вас насквозь! Вижу, что вы рады лишний раз похвастаться своим искусством! Ну-ну! Смешивайте!

Тредголд смешивал вовсю. Не успел он кончить, как явился тоже без приглашения юный Монти Магфорд, правнук причисленного к лику святых (несмотря на свои бакенбарды!) Натаниеля Магфорда, основателя Магфорд-колледжа. Монти удивился присутствию Мартина, нашел его существом вполне человекообразным, доложил ему о том и стал не без успеха догонять их по части коктейлей.

Так случилось, что в три часа утра Мартин, поощряемый слушателями, пел балладу, которой научил его Густав Сонделиус:

Темный глаз, лукавый глаз,
Вьется локон шаловливый,
И скромна и миловидна,—
Только сладу с нею нет.

К четырем часам Эроусмиты были приняты в самый избранный круг наутилусского света, а в половине пятого Клэй Тредголд с недозволенной и беспощадной скоростью отвез их домой.

В Наутилусе был Загородный клуб — ось, вокруг которой вращалось все так называемое общество, но население Ашфорд-Грова — десять, двенадцать семейств — составляли особое племя; они хоть и ходили в Загородный клуб поиграть в гольф, но к остальным членам относились свысока, держались особняком и считали себя больше связанными с Чикаго, чем с Наутилусом. Они поочередно друг друга принимали. Никто из них не сомневался, что является желанным гостем на приеме у любого из них; и на эти приемы никогда не приглашались лица, стоящие вне Группы,— исключения допускались только для приезжих из более крупных городов и для редких одиночек, вроде Мартина. То был сплоченный маленький гарнизон в варварском городе.

Члены Группы были очень богаты, и один из них, Монтгомери Магфорд, кое-что знал о своем прадеде. Они жили в тюдоровских замках и в итальянских виллах, таких новых, что лужайки перед подъездами только начали зарастать газоном. У них были большие автомобили и еще бóльшие погреба, хотя в погребах не содержалось ничего, кроме джина, виски, вермута и считанных заветных бутылок сладковатого шампанского. Каждому члену Группы доводилось бывать в Нью-Йорке, где он останавливался в «Сент-Регисе» или в «Пласа» и слонялся по городу, покупая

костюмы и выискивая небольшие, но шикарные рестораны, а пять супружеских пар из двенадцати побывали в Европе: провели неделю в Париже, намереваясь обойти все художественные галереи, но на деле познакомились только с более разорительными приманками Монмартра.

Группа приняла Мартина и Леору, как бедных родственников. Их приглашали на званые обеды, на воскресные завтраки в Загородном клубе. Что бы ни затевалось, конец был всегда один: бешено мчались куда-нибудь на автомобилях и после обильной выпивки требовали, чтобы Мартин «изобразил дока Пиккербо».

Кроме автомобилей, выпивок и танцев под виктролу, главным развлечением Группы были карты. Любопытно, что в этом вполне аморальном кругу не был принят флирт; с большой свободой обсуждались у них «вопросы пола», но никто из членов Группы не отступал, казалось, от моногамии, все были счастливы в браке или боялись показаться несчастливыми. Но когда Мартин узнал их ближе, он услышал кое-что о мужьях, «проводивших время» в Чикаго, о женах, принимавших молодых людей в нью-йоркских гостиницах, и под их чопорным спокойствием семейных людей учуял бешеную неудовлетворенность.

Неизвестно, признавал ли когда-нибудь Мартин настоящим джентльменом-ученым Клэя Тредголда, который горячо увлекался всем, что имело касательство к астрономии, но только не ее изучением, и видел ли он высокородного аристократа в Монти Магфорде,— но его восхищали автомобили его друзей, их ванны с душем, их туалеты с Пятой авеню, спортивные костюмы и дома, довольно трафаретно декорированные молодыми эстетами из Чикаго. Он открыл существование соусов и старинного серебра. Леорино платье стало для него теперь не просто одеждой, но возможным выразителем женской прелести, и он с раздражением отмечал, как невнимательна его жена к своим туалетам.

Одинокая, редко когда о себе рассказывая, Леора жила в Наутилусе своей обособленной маленькой жизнью, напряженной и молчаливой. Состояла членом бридж-клуба и чинно ходила одна в кинематограф. Но ею владел честолюбивый замысел — узнать Францию. То было давнее желание, загадочное в своих истоках и долго хранимое в тайне, но как-то раз она вдруг вздохнула:

— Рыжик, единственное, чего я хочу — хотя бы через десять лет,— это побывать в Турени, и в Нормандии, и в Каркассоне. Сможем мы, как ты думаешь?

Леора не часто о чем-нибудь просила. Мартина смущало и трогало, когда он подмечал, что она читает книги о Бретани, когда слышал, как она, склонившись над краткой французской грамматикой, лепечет: «J'ay... j'aye... Тьфу, черт, как сложно!»

— Ли, дорогая,— сказал он,— если ты хочешь во Францию... слушай! В один прекрасный день мы отправимся в путь с рюкзаком за плечами и пройдем твою старую Францию из конца в конец.

Благодарно и недоверчиво Леора отвечала:

— И знаешь, если тебе станет скучно, Рыжик, ты поедешь ознакомиться с работой Пастеровского института. Ах, хоть раз бы в жизни!.. Идти между высоких беленых заборов, набрести на нелепое маленькое кафе и смотреть, как проходят мимо люди в забавных красных шарфах и широких синих штанах. Нет, ты в самом деле думаешь, что мы могли бы съездить?

Леора пользовалась в Ашфорд-Грове странной популярностью, хотя была совершенно лишена того, что Мартин называл «шиком». На платье у нее всегда недоставало хотя бы одной пуговицы. Миссис Тредголд, самая добрая и наименее набожная женщина в мире, взяла ее под свое крыло.

Наутилус всегда подозрительно косился на Клару Тредголд. Миссис Альмус Пиккербо говорила, что она «не принимает никакого участия в Движении по усовершенствованию города». Годами она жила, казалось, в полном удовлетворении, выращивая розы, заказывая умопомрачительные шляпы, втирая миндальные кремы в свои прелестные руки да слушая непристойные рассказы мужа,— и годами была одинока. В Леоре она распознала ту же приветливую отчужденность, какая была и в ней. Они проводили вдвоем целые дни, сидя на веранде, читая, делая маникюр, куря папиросы, ни слова не говоря и вполне доверяя друг другу.

С другими женщинами Группы Леора не сходилась так близко, как с Кларой Тредголд, но она им нравилась, потому что была еретичкой, которая своими пороками — курением, ленью, пристрастием к крепкому словцу — повергала в смятение миссис Пиккербо и миссис Эрвинг Уотерс. Группа одобряла всяческие нарушения условностей, кроме нарушения условностей экономических, угрожающего ее покою и богатству. Леора пивала чай или коктейль вдвоем с молодой издерганной миссис Монти Магфорд, которая четыре года тому назад была самой легконогой начинающей балериной в Де-Мойне, а теперь с отвращением ждала второго ребенка; а миссис Шлемиль, в обществе всегда спокойно шаловливая со своим поросенком-мужем, изливалась перед Леорой:

— Ах, если б только этот человек перестал меня лапать... лезть ко мне... слюнявить! Мне здесь все опротивело! Нет, уеду на зиму в Нью-Йорк! Одна!

Мартин Эроусмит, младенец, столь недостойный Леориной древней и спокойной мудрости, был неудовлетворен отношением к ней в Группе. Когда она появлялась с расстегнутым крючком или растрепанными, как воронье гнездо, волосами, он приходил

в беспокойство и делал ей упреки в неряшестве, о которых потом сожалел.

— Почему ты не можешь уделить часок тому, чтобы сделать себя привлекательной? Свободного времени у тебя хоть отбавляй! Ох, боже милостивый, неужто ты не можешь даже пришить пуговицу!

Но Клара Тредголд только смеялась:

— Леора, я искренне считаю, что у вас прелестнейшая спина, но вы не обидитесь, если я заколю вам сзади платье, пока не пришли остальные?

После одной вечеринки, затянувшейся до двух часов, когда на миссис Шлемиль было новое платье от мадам Люсиль, а Джек Брандидж (в дневное время — заместитель председателя и коммерческий директор компании «Маисовый порошок») отплясывал танец, который он гордо называл финской полькой, Мартин возвращался с Леорой домой в автомобиле, взятом в Отделе здравоохранения, и рычал:

— Ли, почему ты не можешь позаботиться о своем туалете? Ведь сегодня утром и вчера утром ты собиралась переделать свое синее платье, и, как я понимаю, ты весь день палец о палец не ударила — только сидела и читала, а потом являешься с этой жалкой вышивкой...

— Изволь остановить машину! — закричала она.

В изумлении он резко затормозил. Фары придавали нелепую значительность изгороди из колючей проволоки, кусту репейника, уныло бегущему вдаль гравию дороги.

Леора спросила:

— Ты хочешь, чтобы я стала гаремной красавицей? Я могла бы. Могла бы стать модницей. Но я никогда не давала себе труда. Ах, Рыжик, не хочу я больше с тобой пререкаться. Или я то, что я есть, твоя сумасбродная неряха жена, или я ничто. Кого тебе надо: настоящую герцогиню, вроде Клары Тредголд, или меня, которой плевать, куда мы отправляемся и что делаем, лишь бы идти нам рука об руку? Вечно все не по тебе. Мне это надоело. Выбирай. Кого тебе надо?

— Никого мне не надо, кроме тебя. Но неужели ты не можешь понять... Я не карьерист, однако я хочу, чтобы мы, куда бы ни попали, всюду были на высоте. Я не вижу, почему мы должны хоть в чем-нибудь уступать этим господам. Дорогая моя, все они, кроме разве Клары, только разбогатевшие счетоводы! А мы настоящие кондотьеры. Твоя Франция... Когда-нибудь мы поедем туда, и французский президент встретит нас на пристани! Зачем нам позволять кому бы то ни было делать что-нибудь лучше нас? Во всем своя техника!

Они разговаривали битый час на этом скучном месте между ржавых рядов колючей проволоки.

На другой день, когда Орхидея зашла к нему в лабораторию и с девическим недоумением спросила: «Ах, доктор Мартин, неужели вы больше никогда не придете к нам?» — он поцеловал ее так весело, так бойко, что даже полувзрослая девчонка должна была понять, что она для него ничего не значит.

5

Мартин видел, что, по всей вероятности, станет вскоре директором отдела. Пиккербо сказал ему: «Ваша работа вполне удовлетворительна. Вам не хватает только одного, мой мальчик: истинного энтузиазма в стремлении ладить с людьми и дружно с ними вместе налегать на лямку. Но это, пожалуй, еще придет, когда на вас ляжет более высокая ответственность».

Мартин старался «с энтузиазмом налегать на лямку», но чувствовал себя, как человек, которого принудили явиться на торжественный банкет в желтом балетном трико.

— Черт, что же будет, когда я сделаюсь директором? — терзался он.— Интересно, бывает ли так с людьми, что они, что называется, достигают успеха, а их от него тошнит? Ладно, пока меня не прижали, заведу в Отделе хотя бы приличную систему статистики рождаемости, смертности, заболеваний. Не сдамся! Буду драться! Добьюсь успеха!

ГЛАВА XXIII

1

Было ли то вызвано желанием дать гражданам Наутилуса ощутительную дозу воодушевления, столь мощного, чтобы ни один из них уже никогда не осмелился заболеть, или доктор Пиккербо стремился несколько освежить свою популярность в связи с предвыборной кампанией,— но организованная милым доктором Ярмарка Здоровья превзошла все ожидания.

Он получил от Городского самоуправления сверхсметное ассигнование; он привлек к сотрудничеству все церкви и ассоциации; добился от газет обещания печатать ежедневно по три столбца славословий.

Он снял обветшалую деревянную «Скинию», в которой преподобный мистер Билли Санди, евангелист, незадолго до того иску-

пил молебствием все прегрешения общины. Он подготовил множество новых аттракционов. Бойскауты должны были ежедневно проводить маневры. Был устроен киоск ЖХСТ, в котором знаменитые священники и другие физиологи приглашены были доказывать вред алкоголя. В бактериологическом киоске упирающемуся Мартину (облаченному в изящный белый костюм) было предложено проделывать фокусы с пробирками. Некая дама из Чикаго, противница никотина, взялась каждые полчаса убивать мышь впрыскиванием растертой в порошок бумаги от папиросы. Близнецы Акация и Гладиола Пиккербо, теперь достигшие шестилетнего возраста, должны были показывать публике, как нужно чистить зубы, и действительно показывали, пока не нарвались на одного шестидесятилетнего фермера, у которого они спросили ласково: «Вы чистите зубы каждый день?» — а тот во всеуслышанье ответил: «Нет, но я каждый день буду задавать вам хорошую порку и начну, пожалуй, сейчас же».

Но ни один из аттракционов не вызвал столько интереса, как Евгеническая Семья, подрядившаяся всего за сорок долларов в день показывать на своем примере благие плоды здоровых навыков.

Семья состояла из отца, матери и пятерых детей, таких красивых и сильных, что они все семеро выступали недавно с первоклассными акробатическими номерами в турне «Шатоквы». Ни один из них никогда не пил, не курил, не плевал на тротуары, не сквернословил и не ел мяса. Пиккербо отвел для них главный киоск на подмостках, служивших недавно кафедрой богоугодной особе преподобного мистера Санди.

Были и трафаретные экспонаты: киоски с диаграммами, стягами и листовками. Октет Здравиэт имени доктора Пиккербо исполнял песенки, и ежедневно читались лекции, по большей части доктором Пиккербо или его другом доктором Биссексом, тренером по футболу и профессором гигиены, а также почти всех других предметов в Магфорд-колледже.

Ряду знаменитостей, в том числе Густаву Сонделиусу и губернатору штата, посланы были приглашения «выступить со словом к народу», но, по несчастному стечению обстоятельств, именно на этой неделе ни один из них не мог урвать свободного дня.

Открытие ярмарки прошло удачно и собрало много публики. В первый день вышло небольшое недоразумение. Ассоциация пекарей-кондитеров крепко поговорила с Пиккербо насчет плаката в киоске диеты «Много ешь ты пирогов — к пиорее будь готов». Но непродуманный, подрывающий основы благосостояния плакат был тут же удален, и после этого ярмарку рекламировали по всем булочным города.

Изо всех участников один только Мартин не казался счастливым. Пиккербо воздвиг для него показательную лабораторию, ничем не отличавшуюся от настоящей — только в ней отсутствовал водопровод и запрещено было ввиду пожарной опасности пользоваться каким бы то ни было родом пламени. Весь день он переливал из пробирки в пробирку раствор красных чернил, внимательно разглядывал в микроскоп пустое предметное стекло и отвечал на вопросы граждан, жаждавших узнать, как умертвить микробов, если обнаружишь их в стакане чая.

Леора изображала его ассистентку. Она казалась очень скромной и хорошенькой в костюме больничной сестры и очень злила мужа, посмеиваясь на его глухие проклятия. Они завели дружбу с дежурным пожарным, чудесным парнем, который рассказывал истории о кошках, прижившихся в пожарном депо, и не задавал вопросов по бактериологии. Это он показал им, где можно спокойно покурить украдкой: за экспонатом «Чистотой предотвратишь пожары» (который состоял из макетов Грязного Дома с красными стрелками, указующими возможную точку возникновения пожара, и донельзя вылощенного Чистого Дома) имелась ниша с разбитым окном, куда вытягивало дым от папирос. В это убежище Мартин, Леора и скучающий пожарный удалялись десятки раз на дню и так протянули неделю.

Вышла еще одна неполадка. Сержант сыскной полиции, пришедший на ярмарку вовсе не с целью сыска, а полюбоваться очаровательным зрелищем мыши, в судорогах умирающей от папиросной бумаги, остановился перед киоском евгенической семьи, почесал затылок, поспешил в полицию и вернулся с пачкой фотографий. Обращаясь к Пиккербо, он пробурчал:

— Гм... Эта евгеническая семья... Они не курят, не пьют — и вообще?..

— Совершенно верно! И поглядите, как они идеально здоровы!

— Гм... Вы за ними присматривайте. Я не стану портить вам выставку, док, мы все в Сити-Холле должны друг за друга держаться. Пока ярмарка не закрылась, я их не выброшу из города. Но это шайка Холтона. Муж и жена вовсе даже не женаты, и только один из детей действительно их сын. Они отсидели срок за продажу водки индейцам, но главной их специальностью, до того как они занялись просвещением, был шантаж. Отряжу человека в штатском, чтоб за ними послеживал. Хорошая вышла у вас выставка, док, и поучительная. Город теперь надолго запомнит, как надо ценить современные методы гигиены. Всяческой вам удачи! Скажите, вы уже подобрали себе секретаря на то время, когда войдете в конгресс? У меня есть племянник — стенограф

такой, что всякого забьет, и вообще парень не дурак и умеет держать язык за зубами, ежели дело его не касается. Пришлю его к вам, вы с ним потолкуйте. Всего хорошего!

Но, за исключением случая, когда отца евгенической семьи поймали на том, как он для отдыха от тяжкого труда быть здоровым на людях упоенно припал к бутылке, Пиккербо до субботы не заметил в поведении Холтонов ничего предосудительного. До субботы все шло гладко.

Ни одна ярмарка в мире не бывала так назидательна и не доставляла устроителям такой широкой рекламы. Все газеты в избирательном округе посвящали ей целые столбцы, и все отчеты, даже в прессе демократов, упоминали о кандидатуре доктора Пиккербо в конгресс.

Катастрофа разразилась в субботу, в последний день ярмарки.

Лил страшный дождь, крыша протекла, и даму из киоска «Образцовое жилище», тоже протекавшего, увезли домой с признаками воспаления легких. В полдень, когда евгеническая семья демонстрировала безупречное здоровье, у самого юного ее отпрыска сделался припадок падучей, и еще не улеглось волнение, как на даму из Чикаго, противницу никотина, в тот миг, когда она с победоносным видом убивала мышь, накинулась дама-противница вивисекции, тоже из Чикаго.

Вокруг обеих дам и злополучной мыши собралась толпа. Антививисекционная дама обзывала антиникотинную убийцей, мерзавкой и безбожницей, и все это антиникотинная дама терпела, только всхлипывая и слабо призывая полицию. Но когда противница вивисекции в заключение прокричала: «А что касается ваших претензий на ученость, так вы не имеете никакого касательства к науке!» — антиникотинная дама с визгом спрыгнула с мостков, вцепилась антививисекционной в волосы и произнесла громко и отчетливо:

— Я тебе покажу, имею я касательство к науке или нет!

Пиккербо пробовал их разнять. Мартин, счастливый, стоял поодаль с Леорой и их другом-пожарным и явно не старался помочь своему шефу. Обе дамы дружно накинулись с руганью на Пиккербо, и, когда их удалили, он остался в центре внимания тысячи хихикающих зрителей под явной угрозой никогда не попасть в конгресс.

В два часа дня, когда дождь стал утихать, когда стекалась к «Скинии» новая толпа позавтракавших граждан, а рассказ о неэтичном поведении дам быстро перелетал из уст в уста, пожарный удалился за экспонат «Чистотой предупредишь пожары» выкурить очередную папиросу. Это был очень незадачливый скромный пожарный, и ему очень хотелось спать; в голову лезли мысли об

уютном пожарном депо и нескончаемом покере. Он, не загасивши, бросил спичку на заднее крыльцо модели Чистого Дома. Чистый Дом был так великолепно отлакирован, что напоминал пропитанную керосином щепку для растопки. Он вспыхнул, и мгновенно громадная и угрюмая «Скиния» озарилась истерическим пламенем. Толпа ринулась к выходам.

Большинство выходов из «Скинии» оказалось, понятно, загорожено киосками. Поднялась визгливая паника, топтали детей.

Но Альмус Пиккербо был не трус и не разиня. Появившись внезапно неизвестно откуда, он прошел торжественно по «Скинии» во главе своих восьми дочерей, распевающих «Дикси». Гордо подняв голову, он грозно сверкал глазами и широко раскинул в увещевании руки. Толпа растерянно остановилась. Окриком, достойным капитана шхуны, он заставил умолкнуть ропот и благополучно вывел публику, затем кинулся назад в бушующее пламя.

Промоченное дождем здание не загорелось. Пожарный с Мартином и главой евгенической семьи гасили огонь. Все осталось цело, кроме Чистого Дома, и бежавшая в ужасе толпа теперь возвращалась, преисполненная восторга. Пиккербо стал ее героем.

Через два часа наутилусские газеты разрешились экстренными выпусками, разъяснявшими, что Пиккербо не только организовал невиданную, самую поучительную в мире санитарную выставку, но своей отвагой и талантом полководца предотвратил грозившую сотням людей печальную участь оказаться раздавленными. Последнее было, верно, единственным отвечавшим действительности сообщением из всего, что кричали о докторе Альмусе Пиккербо десять тысяч газетных столбцов.

Желая ли увидеть экспонаты доктора Пиккербо и восхитительное пожарище или надеясь на новую битву дам, но вечером полгорода устремилось в «Скинию», и когда Пиккербо взошел на эстраду сделать заключительный доклад, его встретили бурной овацией. А на следующий день, когда он ринулся в последние бои предвыборной кампании, он был суверенным властителем всего избирательного округа.

2

Его соперником выступал маленький сердитый адвокат, сильный своей натренированностью. В прошлом он уже побывал сенатором штата, заместителем губернатора, окружным судьей. Но пущенное демократами словцо «Доктор Пиккербо — кандидат

Пиковый» утонуло в восторгах перед героем Ярмарки Здоровья. Он носился по округу в автомобилях, провозглашая: «Я стремлюсь в конгресс не потому, что мне дорог высокий пост,— нет, мне дорога возможность проповедовать всей стране мои идеалы здоровья». Повсюду было расклеено:

В КОНГРЕСС ВЫБИРАЙТЕ
АЛЬМУСА ПИККЕРБО

ОН ДВУЖИЛЬНЫЙ БОЕЦ,
ОН ВРАЧ И ПЕВЕЦ,
В КОНГРЕССЕ ОН ПРОБУДЕТ ГОД
И ВСЕХ В АМЕРИКЕ МИКРОБОВ
В ПОРОШОК СОТРЕТ

Проводились грандиозные митинги. Пиккербо пространно и неопределенно излагал свои политические взгляды. Он, конечно, против вступления Америки в европейскую войну, но твердо стоит — всегда стоял — за принятие правительством всех мер к прекращению этого страшного бедствия. Он, разумеется, сторонник высоких пошлин, но они должны быть установлены так, чтобы фермеры его округа могли все покупать дешево. Он безусловно за высокую заработную плату для каждого рабочего, но будет стоять, как скала, как валун, как морена, на страже процветания всех промышленников, купцов и землевладельцев.

Пока гремела эта широкая кампания, в Наутилусе шла с нею наряду другая, менее значительная и более ловкая — за переизбрание в мэры некоего мистера Пью, показавшего себя любвеобильным шефом доктора Пиккербо. Доктор Пью благопристойно сидел за письменным столом и ласково осыпал обещаньями каждого, кто являлся к нему на прием: пасторов, профессиональных шулеров, ветеранов армии южан, цирковых антрепренеров, полисменов и более или менее добродетельных женщин — всех, кроме разве агитаторов-социалистов, против которых он стойко защищал неприступный город Наутилус. В своих речах Пиккербо восхвалял мистера Пью за «твердость, прямоту и живое сочувствие, с которыми «его честь» поддерживал всякое начинание, направленное к общественному благу», и когда Пиккербо (вполне честно) предложил: «Господин мэр, если я пройду в конгресс, назначьте на мое место Эроусмита, он ничего не смыслит в политике, но он неподкупен»,— Пью тут же дал обещание, и воцарилось в той земле согласие... Никто ни словом не обмолвился о мистере Ф.-Кс. Джордане.

Ф.-Кс. Джордан был подрядчиком и проявлял горячий интерес к политике. Пиккербо называл его жуликом, и, когда в последний

раз проводили в мэры мистера Пью (а проводили его под лозунгом новых реформ, хотя сами реформисты с тех пор угомонились и стали очень сговорчивыми и практичными), оба они — и Пью и Пиккербо — поносили Джордана как «темную личность». Но при нынешних выборах мистер Пью был очень миролюбив и не говорил ничего такого, что могло бы задеть самолюбие Джордана, и мистеру Джордану ничего не оставалось, как, в свою очередь, отзываться снисходительно о мистере Пью в тайных кабаках и домах свиданий.

В день выборов Мартин и Леора с другими гостями сидели вечером у Пиккербо, ожидая результатов. В исходе никто не сомневался. Мартина никогда не волновала политика, но его взвинтили теперь напряженные старания Пиккербо казаться равнодушным, телефонные донесения из редакций: «Округ Уиллоу-Гров — Пиккербо на первом месте, две трети голосов!» — и рев толпы под окнами дома: «Пиккербо, Пиккербо, Пиккербо!»

К одиннадцати победа была обеспечена, и Мартин, замирая от страха, понял, что стал теперь директором Отдела народного здравоохранения, несущим ответственность за семьдесят тысяч жизней.

Он с тоской поглядел на Леору и в ее тихой улыбке почерпнул уверенность.

Орхидея весь вечер была с Мартином светски-холодна и отчаянно болтлива и нежна с Леорой. Но теперь она увела его в соседнюю комнату.

— Итак, я уезжаю в Вашингтон, а вас это ничуть не трогает! — сказала она и поглядела на него затуманенными глазами, темными, беззащитными. Он обнял ее, пробормотал:

— Дорогая моя девочка, я не могу вас отпустить! — И, когда шел домой, больше думал о глазах Орхидеи, чем о своем директорстве.

Утром он вздыхал: «Неужели человек так-таки не может ничему научиться? Неужели я всю жизнь буду глядеть в оба и все-таки влипать, как дурак? Неужели так всегда: завязалась канитель и уж нет ей конца?»

Он только раз еще увидел Орхидею — на площадке вагона — и больше не встречался с ней.

Когда Пиккербо уехали, Леора неожиданно заговорила:

— Рыжик, дорогой мой, я знаю, как больно тебе потерять свою Орхидею. Точно уходит молодость. Она и в самом деле прелесть. Право, я вполне понимаю, каково у тебя на душе, и даже готова тебе посочувствовать... конечно, при условии, что ты ее больше никогда не увидишь.

3

«Нива Наутилуса» вышла с жирной шапкой на всю полосу:

ПОБЕДА ЗА АЛЬМУСОМ ПИККЕРБО
ВПЕРВЫЕ ИЗБРАН В КОНГРЕСС
УЧЕНЫЙ
СОРАТНИК ДАРВИНА И ПАСТЕРА
ОН ПОВЕРНЕТ ПО-НОВОМУ
РУЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОРАБЛЯ

Пиккербо решил сразу же подать в отставку и приступить к новой деятельности; он отправляется в Вашингтон до открытия сессии, объяснил он, чтобы изучить методику законодательства и начать пропаганду своей идеи о создании министерства здравоохранения. Назначение на его место Мартина прошло не без борьбы. Вспомнил старую обиду молочник Клопчук; Эрвинг Уотерс нашептывал коллегам-врачам, что Мартин, по всей вероятности, расширит «социалистические бесплатные больницы»; Ф.-Кс. Джордан выдвигал собственного кандидата — вполне здравомыслящего молодого врача. Провела Мартина ашфордгровская Группа — Тредголд, Шлемиль, Монти Магфорд.

Терзаемый сомнениями, Мартин пришел к Тредголду:

— А хотят меня здесь? Тягаться мне с Джорданом или бросить это дело?

Тредголд ласково сказал:

— Тягаться? Чего ради? Мне принадлежит изрядная доля акций того банка, который снабжает мэра Пью небольшими оборотными суммами. Предоставьте это дело мне.

На следующий день Мартин был назначен, но не директором, а исполняющим должность директора, с окладом в три с половиной тысячи вместо четырех.

Ему и в голову не приходило, что назначение совершилось посредством того, что он сам назвал бы «темными политическими махинациями».

Мэр Пью пригласил его в свой кабинет и сказал, посмеиваясь:

— Ну, док, была против вас некоторая оппозиция, так как вы молоды и вас мало знают. Я нисколько не сомневаюсь, что со временем смогу провести вас полноправным директором — если вы справитесь с делом и завоюете авторитет. А до тех пор избегайте слишком резких действий. Приходите ко мне, спрашивайте совета. Я лучше вашего знаю город, знаю, с кем тут надо считаться.

В день отбытия Пиккербо в Вашингтон было устроено празднество. С двенадцати до двух в помещении арсенала Торговая Палата давала всем желающим завтрак: горячую сдобную булочку, пончики, чашку кофе, женщинам палочку жевательной резинки, мужчинам отличную гаванскую сигару местного изготовления.

Поезд отходил в три пятьдесят пять. Платформа, к изумлению неосведомленных пассажиров, глазевших из окон, была запружена многотысячной толпой.

У задней площадки вагона, с неустойчивого упаковочного ящика, держал речь мэр Пью. Духовой оркестр города Наутилуса сыграл три патриотических марша. Потом Пиккербо стоял на площадке в окружении своей семьи. Он глядел на толпу, и в глазах его блестели слезы.

— В первый раз в жизни,— начал он, запинаясь,— я, кажется, не в состоянии говорить. Черт побери! Волнение душит меня! Я собирался выступить с длинной речью, но все, что я могу выговорить,— это — я всех вас люблю, я вам бесконечно благодарен, я буду представлять вас в меру своих сил, друзья. Да благословит вас бог!

Поезд тронулся, унося Пиккербо, который махал платком своим согражданам, покуда мог их видеть.

И Мартин сказал Леоре:

— Все-таки он прекрасный парень! Он... Нет, никакой он не прекрасный! Мир так устроен, что людям разрешается болтать благоглупости только потому, что у них доброе сердце. А я стоял тут последним трусом и, не говоря ни слова, смотрел, как они выпускают этот ураган идиотизма бушевать над всеми Штатами. Проклятие! Неужели все в мире так непросто? Ладно! Идем в Отдел, и я начну действовать — по совести и невпопад.

ГЛАВА XXIV

1

Нельзя сказать, чтоб Мартин проявил большие организаторские способности, но при нем Отдел общественного здравоохранения коренным образом преобразился. Он взял себе в помощники доктора Руфуса Окфорда, бойкого юношу, рекомендованного деканом Сильвой из Уиннемака. Повседневная работа — освидетель-

ствование новорожденных, карантины, расклейка противотуберкулезных плакатов — шла своим чередом.

Надзор за водопроводом и пищевой промышленностью проводился, пожалуй, тщательней, потому что у Мартина не было, как у Пиккербо, жизнерадостной веры в инспекторов-добровольцев, и одного из них он сместил к большому недовольству немецкой колонии в Хомделском квартале. Он носился с мыслью истребить крыс и блох, а в статистике видел нечто большее, чем простую запись рождений и смертей. Он придавал этой статистике огромное значение, что крайне забавляло регистратора. Новый директор требовал сводок, отражающих влияние национальности, профессии и десятка других факторов на уровень заболеваемости.

Главное отличие состояло в том, что у Мартина и Руфуса Окфорда теперь оставалось сколько угодно свободного времени. Мартин подсчитал, что Пиккербо должен был тратить добрую половину своего времени на красноречие и воодушевление масс.

Первую свою ошибку Мартин совершил, предписав Окфорду несколько дней в неделю работать в бесплатной городской больнице, в помощь двум врачам, служившим на половинном окладе. Это подняло бурю в медицинском обществе округа Эванджелин. Эрвинг Уотерс подошел в ресторане к столику Мартина.

— Я слышал, ты расширил в больнице штат? — сказал доктор Уотерс.

— Угу!

— Собираешься расширять дальше?

— Неплохо бы.

— Послушай, Март. Как тебе известно, мы с миссис Уотерс сделали все, что было в наших силах, чтобы обеспечить тебе и Леоре хороший прием. Я рад всячески помочь своему товарищу по Уиннемаку. Но все-таки, знаешь, всему есть границы! Я, понятно, не против бесплатного лечения как такового. Можно только приветствовать, если вы беретесь безвозмездно лечить вшивых бездельников из неимущего класса, избавляя практикующих врачей от возни с неплательщиками. Но, с другой стороны, если вы возьмете за правило поощрять пациентов, которые вполне могут платить, чтоб они ходили к вам и лечились бесплатно, то этим вы задеваете не только материальные, но и моральные интересы врачей нашего города, которые тратят бог знает сколько времени на благотворительность...

Мартин ответил невразумительно и неразумно:

— Эрви, голубчик, можешь идти прямой дорогой к чертовой бабушке!

С того часа они при встрече не разговаривали.

Не запуская текущей работы, Мартин нашел возможным бла-

женно отдаваться лабораторным исследованиям. Сперва он возился между делом с мелочами, но неожиданно «напал на след» и забыл обо всем, кроме своего опыта.

Он баловался посевами, взятыми на различных фермах у различных людей, думая больше о Клопчуке и о стрептококках. Случайно он открыл, что кровь овцы по сравнению с кровью других животных вырабатывает очень много гемолизина. Почему стрептококк легче растворяет красные кровяные шарики у овцы, чем, скажем, у кролика?

Разумеется, занятый по службе бактериолог Отдела здравоохранения не вправе тратить купленное обществом время на ублажение своего любопытства, но в Мартине безответственная ищейка взяла верх над честным чиновником.

Он забросил зловеще возраставшие в числе анализы туберкулезной мокроты и отдался разрешению загадки гемолизина. Он хотел заставить стрептококков вырабатывать губительный для крови яд в суточных культурах.

Он потерпел блистательное и волнующее поражение и много часов просидел, размышляя. Решил испробовать шестичасовую культуру. Прогнал ее через центрифугу, жидкость над осадком смешал со взвесью красных кровяных шариков и поместил в термостат. Когда он через два часа вернулся, кровяные клетки были растворены.

Он позвонил Леоре:

— Ли! Кое-что нащупал! Не можешь ты сделать мне несколько бутербродов и прийти сюда на вечер?

— Конечно, могу,— сказала Леора.

Когда она явилась, он объяснил ей, что его открытие сделано случайно, что большая часть научных открытий случайны и что ни один исследователь, даже самый великий, не может сделать ничего большего, как только вовремя оценить свои случайные наблюдения.

Голос его звучал убежденно и даже немного сердито.

Леора сидела в углу, почесывая подбородок, почитывая медицинский журнал. Время от времени она разогревала кофе на не совсем исправной бунзеновской горелке. Наутро служащие, явившись в Отдел, увидели нечто такое, что не часто случалось в царствование Альмуса Пиккербо: директор был занят пересевом культур, а на длинном столе спала его жена.

Мартин гаркнул на доктора Окфорда:

— Выметайтесь к свиньям, Руфус, и Отдел возьмите сегодня на себя — меня нет... я умер... Да, вот что еще: отведите Леору домой, сделайте ей яичницу — и не прихватите ли вы мне бутерброд с ветчиной из «Дороги на Запад»?

— Есть, капитан,— сказал Окфорд.

Мартин повторял свой опыт, испытывая на гемолизин двухчасовые, четырехчасовые, шестичасовые, восьми-, десяти-, двенадцати-, четырнадцати-, шестнадцати- и восемнадцатичасовые культуры. Он установил, что максимальная выработка гемолизина в крови происходит, если брать культуру, выдержанную в термостате от четырех до десяти часов. Он начал выводить формулу его выработки и пришел в уныние. Он злился, бесновался, потел. Убедился, что его познания в математике — детские, научный багаж — чепуховый. Он бился над химией, корпел над математическими выкладками и медленно начал составлять выводы. Он полагал, что может дать статью в журнал «Инфекционные заболевания».

Альмус Пиккербо печатал научные статьи — и печатал часто. Их помещали в «Среднезападном медицинском альманахе», выходившем раз в три месяца и числившем в своей коллегии наряду с прочими тринадцатью редакторами также и самого Пиккербо. Он открыл микроба эпилепсии и микроба рака — двух совершенно различных микробов рака. Обычно ему требовалось две недели, чтобы сделать открытие, написать статью и пропустить ее через печать. Мартин не обладал такой завидной легкостью.

Он ставил опыты, повторял их, проклинал все на свете, не давал Леоре спать, учил ее приготовлять среду и раздражался ее замечаниями насчет агара. Он орал на стенографистку; ни разу пастор конгрегациональной церкви имени Джонатана Эдвардса не мог уломать его прочесть доклад в Библейской школе; и все-таки месяцы шли, а его статья не была еще закончена.

Первым поднял протест почтеннейший мэр Наутилуса. Возвращаясь как-то в два часа ночи домой с чрезвычайно приятной игры в «железку» с участием Ф.-Кс. Джордана и завернув для сокращения дороги в переулок за Сити-Холлом, мэр Пью увидел, как Мартин угрюмо ставил пробирки в термостат, в то время как Леора сидела в углу и курила. На другой день он вызвал Мартина и прочел ему наставление:

— Док, я не хочу соваться в работу вашего Отдела. Таково мое правило: в чужие дела не соваться,— но я поражаюсь: пройдя школу такого деляги, как Пиккербо, агитатора в семьдесят лошадиных сил, вы должны были бы знать, что глупо до черта тратить столько времени на лабораторию, когда вы можете за тридцать долларов в неделю нанять первоклассного лаборанта. Первая ваша задача — улещать крикунов, которые только и знают, что нападать на администрацию. Выступайте с речами в церквах и клубах, помогайте мне распространять идеи, за которые мы боремся.

«Он, кажется, прав,— раздумывал Мартин.— Я никудышный бактериолог. Я, верно, никогда не слажу с этим опытом. Здесь мое

дело отучать жевальщиков табака плевать на тротуары. Кто дал мне право тратить на что-либо другое деньги налогоплательщиков?»

Но на той же неделе он прочитал опубликованное Мак-Герковским биологическим институтом в Нью-Йорке краткое сообщение, что доктору Максу Готлибу удалось синтетическим методом, in vitro, получить антитела.

Он представил себе, как молчаливый Готлиб, нисколько не упиваясь победой, заперся в своей лаборатории и разносит журналы за преувеличенные отзывы о его работе; образ этот становился все более четким, и Мартин пережил чувство, какое испытывает скромный офицер, несущий службу на пустынном острове, когда он вдруг услышит, что его полк отправляется принять участие в небольшом деле на границе.

Затем разразился над ним гнев миссис Мак-Кендлес.

2

Миссис Мак-Кендлес была одно время горничной, потом сиделкой, потом наперсницей, а потом женой немощного мистера Мак-Кендлеса — бакалейщика-оптовика и домовладельца. Когда он умер, она получила в наследство все его имущество. Не обошлось, конечно, без процесса, но у нее был превосходный адвокат.

Она была угрюмая, некрасивая, мелочная женщина сомнительной репутации и притом нимфоманка. Наутилусское общество не открыло перед нею свои двери, но у себя дома в непроветренной гостиной, на заплесневелой кожаной кушетке она принимала пожилых женатых людей, потрепанных и вечно рыгающих, молодого полисмена, которому часто давала деньги в долг, и подрядчика-политика Ф.-Кс. Джордана.

В Шведском Овраге ей принадлежал целый квартал самых грязных домов Наутилуса. Мартин составил карту распространения туберкулеза в этих домах и, посовещавшись с доктором Оксфордом и Леорой, объявил их «рассадниками смерти». Он хотел стереть их с лица земли, но полицейские полномочия директора Отдела народного здравоохранения были довольно неопределенны. Никкербо обладал большою властью только потому, что никогда ею не пользовался.

Мартин решил добиться сноса домов миссис Мак-Кендлес через суд. Ее адвокат был в то же время и адвокатом Ф.-Кс. Джордана, и самым красноречивым свидетелем против Мартина выступил доктор Эрвинг Уотерс. Но случилось так, что за отсутствием постоянного судьи дело слушалось перед невежественным и чест-

пым человеком, который аннулировал выхлопотанный адвокатом миссис Мак-Кендлес судебный запрет и уполномочил Отдел народного здравоохранения применять такие меры, какие предписывает в чрезвычайных случаях городское законоположение.

В этот вечер Мартин пробурчал, обращаясь к юному Окфорду:

— Руфус, вы, конечно, ни на минуту не допускаете мысли, что Мак-Кендлес и Джордан воздержатся от кассационной жалобы? Давайте разделаемся с домами, пока это сравнительно законно! А?

— Есть, капитан,— сказал Окфорд и добавил: — А когда нас отсюда вышибут, поедем в Орегон и займемся там частной практикой. Кстати, на санитарного инспектора мы вполне можем положиться: Джордан с полгода тому назад обольстил его сестру.

На рассвете возглавляемая Мартином и Окфордом ватага молодцов в синих комбинезонах, веселая, неистовая, вторглась во владения миссис Мак-Кендлес, выгнала жильцов на улицу и принялась растаскивать ветхие строения. В полдень, когда пришли адвокаты, а жильцы были уже водворены в реквизированные для них Мартином новые квартиры, разбойники подожгли нижние этажи, и в полчаса строения были уничтожены.

Ф.-Кс. Джордан прибыл на театр военных действий во втором часу. Вымазанный в саже Мартин и густо покрытый пылью Окфорд пили принесенный Леорой кофе.

— Так, ребята,— сказал Джордан,— вы нас обскакали! Однако в другой раз, когда захотите проделать такую штуку, пустите в ход динамит — сбережете много времени. Знаете, ребята, вы мне нравитесь, мне жаль, что я должен учинить вам то, что учиню. Но да помогут вам все святые, потому что, дайте только срок, и я вас отучу шутить с огнем.

3

Клэй Тредголд пришел в восторг от их любительского поджога:

— Чудесно! Я буду поддерживать ваш ОНЗ во всех его начинаниях.

Мартина это обещание не очень обрадовало, так как Тредголд и компания становились слишком уж требовательны. Они признали Мартина и Леору такими же вольнодумцами, как сами они, и очень занимательными, но у них решено было также (задолго до того, как Эроусмиты с переездом в Наутилус по-настоящему родились на свет), что их Группе принадлежит монополия на вольнодумство и занимательность, и они настаивали, чтобы Эроусмиты

являлись к ним на коктейли и па покер каждую субботу и каждое воскресенье. Они не могли понять, почему Мартин предпочитает проводить время в лаборатории, корпя над какой-то ерундой, именуемой «стрептолизином» и не имеющей ничего общего с коктейлями, автомобилями, стальными ветряными двигателями или страховыми операциями.

Однажды вечером, недели через две после разрушения домов Мак-Кендлес, Мартин засиделся в лаборатории. Он даже не производил опытов, которыми мог бы развлечь Группу — показать, как от колоний бактерий мутнеет жидкость или как вещества вдруг меняют окраску. Он просто сидел за столом, углубившись в таблицу логарифмов. Леоры не было, и он бормотал:

— Черт, надо ж ей было как раз сегодня взять и заболеть?

Тредголд, Шлемиль и их жены затеяли «вылазку» в «Старое Сельское Подворье». Они позвонили Мартину на квартиру и узнали, где он. С переулка за Сити-Холлом они заглянули к нему в окно и увидели его, мрачного и одинокого.

Тредголда осенило вдохновение:

— Вытащим парня, пускай встряхнется. Сперва слетаем домой, намешаем коктейлей и привезем сюда — устроим ему приятный сюрприз.

Через полчаса Тредголд шумно ворвался в лабораторию.

— Так-то вы проводите весенний лунный вечер, о юный Эросплин! Едем с нами, потанцуем. Живо! Шапку в охапку!

— Черт возьми, Клэй! Я бы рад, но, право, не могу. Должен работать; ну, просто никак не могу.

— Вздор! Бросьте ерундить! Вы и так заработались. Глянь-те, что вам принес папаша. Будьте паинькой. Опрокиньте два-три коктейля, и вы увидите вещи в новом свете.

Мартин показал себя паинькой, но вещей в новом свете не увидел. Тредголд не слушал никаких возражений. Мартин продолжал отнекиваться, сперва ласково, потом немного жестко. Под окном Шлемиль нажал кнопку автомобильного рожка и не отпускал. Настойчивый, выматывающий нервы рев вырвал у Мартина крик:

— Ради бога, выйдите и велите ему прекратить, прошу вас. И оставьте меня в покое! Я сказал вам, что должен работать!

Тредголд широко раскрыл глаза.

— Я, конечно, уйду. Я не привык навязываться людям со своим вниманием. Извините за беспокойство!

Пока до сознания Мартина дошло, что надо бы извиниться, автомобиль укатил. На другой день и всю неделю он ждал, чтобы Тредголд позвонил ему, а Тредголд ждал, что позвонит Мартин, и кольцо неприязни смыкалось все теснее. Леора и Клара Тредголд

виделись раза два, но обеим было не по себе, и через две недели, когда у Тредголдов обедал самый видный врач города и нападал на Мартина, называя его самонадеянным молодым человеком с узким кругозором, Клэй и Клара Тредголд слушали и соглашались.

Оппозиция против Мартина сразу возросла.

Многие врачи настроились против него не только потому, что он расширял бесплатное лечение, но и потому, что он редко искал их помощи и никогда — совета. Мэр Пью считал его бестактным. Клопчук и Ф.-Кс. Джордан обвиняли его в подкупности. Репортеры его не любили за скрытность и резкие выпады. А Группа перестала его защищать. Мартин более или менее замечал рост враждебных сил, и ему рисовалось, как сплачиваются за ними сомнительные дельцы, продавцы фальсифицированного молока и мороженого, владельцы антисанитарных лавчонок и грязных доходных домов, люди, всегда ненавидевшие Пиккербо, но не смевшие на него нападать по причине его популярности,— они сплотятся и общими усилиями сокрушат Отдел народного здравоохранения... В эти дни он оценил Пиккербо и, как солдат, полюбил свой Отдел.

Мэр Пью дал Мартину понять, что ему во избежание неприятностей лучше подать в отставку. Мартин не желал подавать в отставку. И не желал искать поддержки у сограждан. Он исполнял свою работу, опираясь на неколебимое спокойствие Леоры, и старался не замечать гонителей. Но не мог.

В газетах фельетоны и заметки в три строки «от редакции» высмеивали его тиранию, невежество, неопытность. Умерла, после того как полечилась в больнице, старуха, и следователь стал поговаривать, что виноват «этот птенец — помощник нашего всемогущего блюстителя здоровья». Кто-то пустил прозвище «Школьник-падишах», и оно прилипло к Мартину.

В пересудах за «деловыми завтраками», на заседаниях Ассоциации Родителей и Педагогов, в единственном присланном мэру с откровенной подписью протесте Мартину ставили в вину слишком строгую проверку молока и недостаточно строгую проверку молока; попустительство в отношении лиц, не убирающих мусор, и травлю не знающих отдыха метельщиков и мусорщиков; а когда в Чешском квартале появился случай натуральной оспы, высказывалось и такое суждение, что Мартин самолично пришел и привил болезнь.

Как ни смутно было представление горожан о недостатках Мартина, раз утратив веру в него, они ее утратили бесповоротно и с упоением подхватили самопроизвольно возникший слух, что он предал своего благодетеля, их любимого доктора Пиккербо, обольстив Орхидею.

Этой волнующей чертой — безнравственностью — он восстановил против себя все почтенные церкви. Пастор церкви Джонатапа Эдвардса оживил свою проповедь «Греховность в капищах Ваала» упоминанием о человеке, «который, подобно падишаху, каковым он себя возомнил, якобы охраняет город от воображаемых опасностей и в то же время заигрывает с тайным пороком, гнездящимся в сокровенных местах; который заключил союз с темными мерзостными силами зла и с грабителями, жирующими за счет честных, но обманутых тружеников; который не может подняться, мужественный среди мужей, и сказать: я чист сердцем и руки мои чисты».

Правда, кое-кто из восхищенных прихожан подумал, что эта тирада метит в мэра Пью, другие же отнесли ее в адрес Ф.-Кс. Джордана, но более прозорливые граждане увидели в ней смелое нападение на чудовище вероломства и разврата, на доктора Эроусмита.

Во всем городе его защищали только два священнослужителя: патер Костелло из ирландской католической церви и раввин Ровин. Они, оказывается, были между собою в дружбе и оба недолюбливали пастора церкви Джонатана Эдвардса. Они старались вразумить свою паству. Каждый из них утверждал:

— Многие тут ругают исподтишка нашего нового директора здравоохранения. Если вы хотите кого-нибудь обвинить, выступайте открыто. Я не желаю слушать трусливых намеков. И позвольте сказать вам: счастье для нашего города, что блюстителем народного здоровья он имеет честного и знающего человека!

Но их паства была бедна.

Мартин увидел, что ему конец. Он пробовал понять причину своей непопулярности.

— Дело не только в интригах Джордана, недовольстве Тредголда и подхалимстве Пью. Я сам во всем виноват. Я не умею обхаживать людей, и умасливать, и вытягивать у них обещания помочь мне заботиться об их же здоровье. И не могу я говорить им, как чертовски важна моя работа, уверять, что я один спасаю их всех от неминучей немедленной смерти. Очевидно, чиновник демократического государства должен поступать именно так. Все равно не желаю! Но мне необходимо что-нибудь измыслить, или они сокрушат весь Отдел.

Его осенила мысль. Пиккербо, будучи здесь, сумел бы раздавить или ласково задушить оппозицию. Он вспомнил прощальные слова Пиккербо: «Ну, мой мальчик, хоть я уезжаю в Вашингтон, но эта работа всегда остается так же близка моему сердцу, как была, и если вам действительно понадобится моя поддержка, пошлите за мною — я брошу все и приеду».

Мартин написал, давая понять, что очень нуждается в его поддержке.

Пиккербо ответил с первой же почтой — добрый, старый Пиккербо! Но ответ его гласил:

«Не могу выразить, как я огорчен, что в настоящий момент не имею никакой возможности уехать из Вашингтона, однако я уверен, что, привыкнув смотреть на все чересчур серьезно, вы преувеличиваете силу оппозиции. Пишите мне без стеснения в любое время».

— Я расстрелял последний заряд,— сказал Мартин Леоре,— теперь мне крышка. Мэр Пью выставит меня, как только вернется с рыбной ловли. Я опять обанкротился, моя дорогая.

— Ничего ты не обанкротился, и ты должен съесть эту соблазнительную отбивную котлету. А что нам теперь делать?.. Так или иначе, нам все равно пора сниматься с якоря — я не люблю засиживаться на одном месте,— сказала Леора.

— Что предпринять? Не знаю. Я, пожалуй, мог бы получить работу у Ханзикера. Или вернуться в Дакоту и взяться за частную практику. Больше всего мне хотелось бы сделаться фермером и завести большую двустволку и сгонять со своей земли всех почтенных христиан. Но пока что я намерен остаться здесь. Я еще могу одержать победу, если произойдут два-три чуда́ и вмешается божественное провидение. Господи, как я устал! Не пойдешь со мною вечером в лабораторию, Ли? Я не засижусь, вернусь рано, правда, к одиннадцати или даже раньше.

Он закончил свою статью о стрептолизине и урвал день, чтобы съездить в Чикаго и переговорить с редактором журнала «Инфекционные заболевания». Смутные чувства владели им, когда он выезжал из Наутилуса. Он вспомнил, как радовался когда-то, что вырвался из Уитсильвании и едет в большой город Наутилус. Круг времени смыкается, прогресс сводится к нулю, и он, Мартин, запутался в пустоте.

Редактор похвалил его статью, принял ее и предложил только одну поправку. Обратный поезд отходил не скоро. Мартин вспомнил, что в Чикаго проживает Ангус Дьюер: работает у Раунсфилда— в частной клинике врачей-специалистов, делящих между собой расходы и прибыль.

Клиника занимала четырнадцать комнат в двадцатиэтажном здании, построенном (или так, во всяком случае, запомнилось Мартину) из мрамора, золота и рубинов. Приемная, вся тяготеющая к огромному камину, напоминала гостиную какого-нибудь нефтяного магната, но отнюдь не была местом отдохновения. Молодая женщина у входа спросила у Мартина его адрес и на что он жалуется. Сверкающий пуговицами юный паж подлетел с его запи-

ской к сестре, которая помчалась во внутренние апартаменты. До появления Ангуса Мартину пришлось посидеть четверть часа в меньшей, более богатой и еще более угнетающей приемной. За это время он настолько проникся благоговейным трепетом, что согласился бы на любую операцию, какую раунсфилдским хирургам заблагорассудилось бы ему предложить.

Ангус Дьюер был достаточно важен в университете и в Зенитской городской больнице, но теперь его самоуверенность в десять раз возросла. Он принял Мартина приветливо; он предложил ему пойти в кафе таким тоном, точно и в самом деле был почти готов пойти с ним в кафе; но рядом с ним Мартин чувствовал себя молодым, неотесанным, бездарным.

Ангус покорил его, проговорив задумчиво:

— Эрвинг Уотерс? Из Дигаммы? Боюсь, что я такого не помню. Ах, да, как же — один из тех медных лбов, что составляют проклятие каждой профессии.

Когда Мартин обрисовал в общих чертах свой конфликт в Наутилусе, Ангус предложил:

— Поступай к нам патологом. Наш через две-три недели уходит. Ты отлично справишься с работой. Сколько ты получаешь — три с половиной тысячи в год? Здесь, полагаю, я мог бы устроить тебя для начала на четыре с половиной, а со временем ты стал бы у нас пайщиком и участвовал бы в прибылях. Дай мне знать, если надумаешь. Раунсфилд просил меня подыскать человека.

С такой возможностью в запасе и с нежностью к Ангусу Мартин вернулся в Наутилус к открытой войне. Когда приехал мэр Пью, он не уволил Мартина, но поставил над ним полномочного директора, друга Пиккербо, доктора Биссекса, футбольного тренера и санитарного директора из Магфорд-колледжа.

Доктор Биссекс первым делом уволил Руфуса Окфорда, потратив на это пять минут, вышел, прочитал доклад в ХАМЛе, затем ввалился опять в Отдел и предложил Мартину подать в отставку.

— Как бы не так! — сказал Мартин.— Будьте честны, Биссекс. Если вы хотите меня вышибить — вышибайте, но действуйте напрямик. В отставку я не подам, а когда вы меня прогоните, я, пожалуй, подам в суд, и, может быть, мне удастся пролить некоторый свет на вас, на нашего почтенного мэра и на Фрэнка Джордана, чтобы вам тут больше не давали разваливать работу.

— Что вы, доктор, что за выражения! Я вас, конечно, не гоню,— сказал Биссекс тоном педагога, привыкшего разговаривать с трудными студентами и с нерадивыми футболистами.— Оставайтесь у нас сколько вам будет угодно. Только в целях экономии я сокращаю вам жалованье до восьмисот долларов в год!

— Прекрасно, сокращайте, и будьте вы прокляты,— сказал Мартин.

Это прозвучало чрезвычайно эффектно и оригинально, но показалось далеко не столь великолепным, когда Леора и Мартин подсчитали, что, связанные договором с домохозяином, они при самой мелочной экономии не могут прожить меньше чем на тысячу в год.

Избавленный от ответственности, Мартин начал составлять собственную фракцию в целях спасения Отдела. Были завербованы раввин Ровин, патер Костелло, Окфорд, решивший остаться в городе и перейти на частную практику, секретарь Совета профсоюзов, один банкир, считавший Тредголда слишком легкомысленным, и дантист школьной амбулатории — превосходный малый.

— С такими союзниками можно кое-чего добиться! — захлебываясь, говорил он Леоре.— Я не намерен уступать. Я не позволю превратить ОНЗ в ХАМЛ. Биссекс такой же пустобрех, как и Пикребо, только без его энергии и честности. С ним я расправлюсь! Я не чиновник по натуре, но мне уже рисовался в мечтах новый ОНЗ, не газообразный, а твердый, который действительно спасал бы детишек и предотвращал эпидемии. Я не отступлю! Вот увидишь!

Его сторонники подняли на ноги Торговый клуб и одно время были уверены, что их поддержит старший репортер «Пионера», «как только ему удастся вдохнуть в шефа мужество полезть в драку». Но воинственность Мартина подрывало чувство стыда. У него постоянно не хватало денег на оплату счетов, а он не привык уламывать обозленных бакалейщиков, получать письма с назойливыми напоминаниями о долге, спорить, стоя в дверях, с обнаглевшими кредиторами. Ему, который несколько дней тому назад был видным должностным лицом, приходилось терпеть, когда ему кричали: «Ладно! Нечего там! Платите немедленно, или я иду за полисменом!» Когда стыд перерос в ужас, доктор Биссекс неожиданно сократил ему жалованье еще на двести долларов.

Мартин ураганом ворвался в кабинет мэра, чтобы потребовать объяснений, и увидел сидевшего с мистером Пью Фрэнка Кс. Джордана. Было ясно, что они оба знают о вторичном сокращении жалованья и считают это превеселой шуткой.

Мартин собрал свою фракцию.

— Я подам в суд! — бесновался он.

— Прекрасно,— сказал патер Костелло, а раввин Ровин добавил:

— Дженкинс, адвокат-радикал, поведет ваше дело безвозмездно.

Но мудрый банкир остановил их:

— Вам не с чем идти в суд, пока вы не уволены без уважительной причины. По закону Биссекс вправе сокращать вам жалованье сколько ему угодно. Городское уложение предусматривает твердый оклад только для директора и санитарных инспекторов — больше ни для кого. Вам не на что жаловаться.

С мелодраматическим жестом Мартин возразил:

— Вы считаете, мне не на что жаловаться, когда у меня на глазах разваливают Отдел?

— Не на что, раз городу это все равно.

— Хорошо! Но мне-то не все равно! Умру с голоду, а в отставку не пойду.

— Вы умрете с голоду, если не подадите в отставку, а с вами и ваша жена. Мой план такой,— продолжал банкир.— Вы займетесь здесь в городе частной практикой; я дам вам средства на оборудование кабинета и на прочее, а когда придет время — через пять, через десять лет,— мы все опять сплотимся и поставим вас полномочным директором.

— Десять лет ждать... в Наутилусе? Не могу! Я выдохся. Я полный банкрот — в тридцать два года! Подам в отставку. Пущусь снова странствовать,— сказал Мартин.

— Я знаю, что полюблю Чикаго,— сказала Леора.

4

Он написал Ангусу Дьюеру. Его зачислили патологом в клинику Раунсфилда. Только Ангус написал, что «в настоящее время они не имеют возможности платить ему четыре с половиной тысячи в год, но две с половиной тысячи дадут охотно».

Мартин согласился.

5

Когда в газетах Наутилуса появилось сообщение, что Мартин подал в отставку, добрые граждане пересмеивались: «Подал в отставку? Как бы не так! Его попросту выгнали взашей». Одна из газет поместила невинную заметку:

Никто из нас, грешных, не свободен от некоторой доли лицемерия, но когда должностное лицо строит из себя святого, погрязая на деле во всяческих пороках, и пытается прикрыть свое грубое невежество и полную свою несостоятельность, ударяясь в политические интриги, да еще принимает позу оскорбленной невинности,

когда выясняется, что и политик-то он никудышный,— тогда даже самый продувной среди нас, старых мошенников, готов возопить и требовать расправы.

Пиккербо написал Мартину из Вашингтона:

«С великим сожалением узнал я, что вы оставили свой пост. Не могу выразить вам, как я разочарован — после всех трудов, которые я понес, вводя вас в работу и знакомя с моими идеалами. Биссекс сообщил мне, что по причине кризиса в городских финансах он вынужден был временно сократить вам оклад. Но, право, лично я скорее стал бы работать в ОНЗе безвозмездно и зарабатывал бы на хлеб, нанявшись куда-нибудь ночным сторожем, нежели отказался бы от борьбы за все благородное и созидательное. Мне очень горько. Я питал к вам искреннюю симпатию, и ваше отступничество, ваше возвращение к частной практике ради одной лишь коммерческой выгоды, ваше решение продаться за очень, полагаю, высокое жалованье явилось для меня величайшим ударом изо всех, какие выпадали мне на долю за последнее время».

6

Подъезжая к Чикаго, Мартин думал вслу́х:

— Никогда б не поверил, что могу потерпеть такое гнусное поражение. Больше не заманишь меня в лабораторию или в охрану народного здоровья. Кончено! Буду только зарабатывать деньги.

Клиника Раунсфилда, надо полагать, просто золоченая ловушка для дураков: запугивают несчастных миллионеров до того, что они идут на все мыслимые и немыслимые обследования и операции, какие может предложить медицинская коммерция. Надеюсь, что так! Чего мне ждать? Буду до конца своей жизни врачом-коммерсантом, членом торговой ассоциации. Надеюсь, на это у меня достанет ума!

Все умные люди — бандиты. Они честны со своими друзьями, но всех остальных презирают. И как не презирать, когда толпа презирает тех, кто не грабит? У Ангуса Дьюера достало ума понять это с самого начала, еще в университете. Он, вероятно, владеет в совершенстве хирургической техникой, но ему известно, что человек получает только то, что сумел заграбастать. Подумать, сколько лет понадобилось мне, чтобы понять простую вещь, которая была ему ясна всегда!

Знаешь, что я сделаю? Я буду держаться за клинику Раунсфилда, пока не стану зарабатывать, скажем, тридцать тысяч в год, а тогда я приглашу Окфорда и открою собственную клинику,

где буду сам и терапевтом, и полным хозяином всего предприятия, и буду выжимать из больных все деньги, какие удастся.

Прекрасно, если людям только того и надо — поменьше лечения, побольше ковров,— что ж, пусть платят за ковры!

Никогда б не поверил, что так обанкрочусь: сделаться коммерсантом и не желать ничего другого! Да, я не желаю быть ничем другим, поверь мне! Я дошел до точки!

ГЛАВА XXV

1

Потом в течение года, каждый день которого был длиннее бессонной ночи, хотя весь этот год пронесся без событий, без весны и осени, без волнений, Мартин был добросовестным механиком самой солидной, самой светлой и чистой и самой унылой медицинской фабрики — клиники Раунсфилда. Ему не на что было жаловаться. Правда, в клинике, пожалуй, слишком много просвечивали рентгеном искалеченных светской жизнью женщин, которым больше пользы принесли бы роды и мытье полов, чем изящные маленькие рентгенограммы; и, может быть, слишком кровожадно хмурились на каждую миндалину; но, конечно, не было на свете фабрики столь хорошо оборудованной и столь лестно дорогой, и ни одна другая не могла бы так быстро прогонять свое человеческое сырье через столько процессов обработки. Мартин Эроусмит, некогда смотревший свысока на всяких Пиккербо и Винтеров, питал к Раунсфилду и Ангусу Дьюеру и другим искусным, вылощенным специалистам клиники только уважение человека бедного и необеспеченного к ловкому и богатому.

В Ангусе Мартина восхищали твердое знание цели и постоянство в привычках.

Ангус ежедневно плавал в бассейне или брал урок фехтования; он плавал легко, а фехтовал, как демон, с каменным лицом. Спать ложился не позже половины двенадцатого; никогда не пил больше чем раз в день; и никогда не читал и не говорил ничего такого, что не служило бы к вящему преуспеянию блестящего молодого хирурга. Его подчиненные знали, что доктор Дьюер непременно явится минута в минуту, безукоризненно одетый, абсолютно трезвый, очень спокойный и убийственно холодный по отношению ко всякой сестре, которая допустит оплошность или понадеется на улыбку.

Мартин без страха отдался бы в руки невозмутимого, но рьяного изымателя миндалин, подчинился бы Ангусу для вскрытия

брюшины и Раунсфилду для любой операции в мозгу при условии, что сам он был бы вполне уверен в необходимости хирургического вмешательства, но он никак не мог возвыситься до процветающей в клинике лирической веры, что каждая часть тела, без которой человек может как-нибудь обойтись, должна быть немедленно удалена.

Этот год, проведенный в Чикаго, был отравлен тем, что весь свой рабочий день Мартин не жил. Шевеля проворными руками и одной десятой мозга, он делал анализ крови и мочи, проверку на Вассермана, изредка вскрытие, и все это время был мертвецом в белом кафельном гробу. Утопая в словоблудии Пиккербо и сплетнях Уитсильвании, он жил, он боролся с окружающим. Теперь бороться было не с чем.

Отработав свои часы, он почти что жил. Вдвоем с Леорой они открыли мир книжных и художественных магазинов, и театров, и концертов. Они читали романы, читали историю и путешествия; на обедах у Раунсфилда или Ангуса они разговаривали с журналистами, инженерами, банкирами, купцами. Смотрели русскую пьесу, слушали Мишу Эльмана, читали готлибовского любимца — Рабле. Мартин научился флиртовать не по-мальчишески, Леора впервые в жизни побывала у парикмахера и маникюрши и стала брать уроки французского языка. Она звала когда-то Мартина «гонителем лжи», «искателем истины». Теперь они решили, обсуждая этот вопрос в тесной квартирке из двух с половиной комнат, что большинство людей, именующих себя искателями истины,— людей, которые походя болтают об истине, точно она какой-то осязаемый предмет, существующий сам по себе, как дом, или хлеб, или соль,— что эти люди стремятся не столько найти истину, сколько облегчить свой умственный зуд. В романах эти искатели выпытывали «тайну жизни» в лабораториях, где, по-видимому, не было ни реактивов, ни бунзеновских горелок; или они отправлялись, неся большие затраты, претерпевая тяжелые неудобства из-за духоты в поездах и непрошеных змей, в обители гималайских отшельников и узнавали от антисанитарных мудрецов, что Дух становится способен на всякого рода возвышенные деяния, если человек тридцать или сорок лет будет есть рис и созерцать свой пуп.

На эти высокие материи Мартин отвечал: «Ерунда!» Он настаивал, что нет никакой Истины, а есть только много истин; что Истина не яркокрылая птица, которую надо выследить в горах и поймать за хвост, а скептическое отношение к жизни. Он настаивал: самое большее, на что может рассчитывать человек, это что он благодаря упорству или удаче будет делать такую работу, ко-

торая доставит ему радость, и сумеет в своей области глубже вникнуть в факты, чем любой рядовой работник.

Эта механистическая философия не давала ему убеждения, что сам он должным образом прогрессирует. Когда он пробовал равняться на раунсфилдских специалистов или на их коллег, ему делалось не по себе — хуже, чем тогда в Гронингене, когда он слушал надменную отповедь доктора Гесселинка. На торжественных завтраках в клинике он встречал хирургов из Лондона, Нью-Йорка, Бостона; людей, обладающих лимузинами и положением в обществе и оскорбительной веселостью специалиста, которого всюду приглашают, или еще более оскорбительным спокойствием человека, которому забавны стоящие ниже его; встречал мастеров хирургической техники, читающих доклады на медицинских конференциях, администраторов и начальников, не боящихся делать операцию на глазах у сотни врачей, или давать подчиненным вежливые, но категорические приказания; генералов от медицины, не знающих, что такое сомневаться в себе; великих жрецов и целителей; людей зрелых, и мудрых, и внимательных, и ласково обходительных.

В их августейшем присутствии Макс Готлиб казался старым маньяком, Густав Сонделиус — скоморохом, а город Наутилус — недостойным страстной борьбы. Подавленный их лощеной учтивостью, Мартин чувствовал себя лакеем.

В долгие часы все возрастающей откровенности и прозрения он обсуждал с Леорой вопрос: «Что такое Мартин Эроусмит и куда он идет?» — и признавался, что знакомство с прославленными хирургами разрушает его былую веру в свое превосходство над людьми. Леора его утешала:

— Я нашла чудесное определение для твоих треклятых прославленных хирургов. Не правда ли, они вежливы, и чванны, и деланно улыбаются? Ну так вот! Помнишь, ты сказал мне, что профессор Готлиб называет таких господ «людьми скучного веселья»?

Мартин подхватил эту фразу; они вместе ее пропели и сделали из нее хлесткую озорную песню:

Люди скучного веселья!
Люди скучного веселья!
К черту, к черту всех чинуш!
Провались они совсем,
Люди скучного веселья,
Люди с приторной улыбкой,
Заправилы-богачи!
К черту скучное веселье!
К черту их надменный взгляд!
К черту сладкие улыбки!

2

По мере того, как Мартин развивался скачками из уитсильванского мальчика в зрелого человека, развивались и отношения между ним и Леорой: обоюдная приверженность юноши и девушки, готовых на всякие превратности, переходила в прочное постоянное чувство. Между ними установилось то взаимное понимание, которое знакомо только мужьям и женам, редким мужьям и женам, когда они, несмотря на все различия, представляют собою нерасторжимые части одного целого, как глаз или рука. Но это их срастание не означало, что они жили всегда в розовом блаженстве. Потому что Мартин глубоко любил Леору и был в ней неколебимо уверен и потому что гнев и горячая, страстная несправедливость суть проявления доверия — Мартин бывал с Леорой так раздражителен и придирчив, как не позволил бы себе быть ни с одной другою женщиной, ни с одной прелестной Орхидеей.

Разругавшись с женой, он иногда удалялся, гордо закинув голову, не удостаивая Леору слова, и на долгие часы оставлял ее одну, наслаждаясь сознанием, что причиняет ей боль, что она сидит одна, ждет, может быть, плачет. Потому что он любил ее, как жену и друга, он досадовал, видя ее менее выхоленной, менее светской, чем женщины, которых он встречал у Ангуса Дьюера.

Миссис Раунсфилд была почтенной старой курицей — рядом с ней Леора казалась яркой и восхитительной. Но миссис Дьюер была янтарь и лед. Молодая женщина из богатой семьи, она изысканно одевалась, говорила с той непревзойденной насмешливой протяжностью, в которой чувствуется выучка, была честолюбива и прекрасно обходилась без ума и без сердца. Она на деле была тем, чем воображала себя миссис Эрвинг Уотерс.

В простодушном великолепии наутилусской Группы миссис Клэй Тредголд баловала Леору и только смеялась, когда у нее не хватало пряжки на туфле или когда она грешила против грамматики, но вылощенная миссис Дьюер привыкла издеваться над чужой небрежностью самой вежливой, необидной и несомненной издевкой.

Однажды, когда они возвращались от Дьюеров в такси, Мартин вдруг вспылил:

— Неужели ты так ничему и не научишься? Помню, в Наутилусе мы как-то остановились на проселочной дороге и беседовали до... эх, черт, чуть не до зари, и ты решила взять себя в руки. А поглядеть сейчас — все по-старому... Боже праведный, сегодня ты даже не дала себе труда заметить, что у тебя нос в саже! Миссис Дьюер заметила, будьте покойны! Почему ты такая неряха?

Почему не последишь за собой хоть немного? Почему ты не можешь сделать небольшое усилие и хоть что-нибудь сказать? Сидишь за обедом и только... только пышешь здоровьем! Неужели ты не хочешь мне помочь? Миссис Дьюер, вероятно, поможет Ангусу сделаться президентом Американской ассоциации врачей — лет этак через двадцать, а я у тебя к тому времени вернусь в Дакоту помощником Гесселинка!

Леора нежилась рядом с ним в непривычной роскоши такси. Но тут она выпрямилась, и, когда заговорила, в ее голосе не было слышно той беззаботной независимости, с какой она обычно смотрела на жизнь.

— Прости меня, дорогой. Я сегодня после завтрака нарочно пошла и сделала массаж лица, чтобы выглядеть покрасивей — ради тебя; и потом я помнила, что тебе нравится, когда я разговариваю, и я достала свою книжечку о современной живописи (помнишь, я недавно купила?) и основательно ее проштудировала, но сегодня мне, как назло, все не удавалось перевести разговор на современную живопись...

Притянув ее голову к своему плечу, Мартин чуть не расплакался:

— Моя бедная, моя запуганная девочка! Как она старается быть взрослой среди этих охотников за долларами!

3

Когда прошла первая одурь от белого кафеля и умопомрачительной налаженности клиники Раунсфилда, Мартину захотелось доработать свое исследование по стрептолизину, внести в него некоторые уточнения.

Узнав о том, Ангус Дьюер закинул удочку:

— Послушай, Мартин, меня радует, что ты не забросил свою науку, но я на твоем месте, пожалуй, не стал бы тратить слишком много сил на удовлетворение голого любопытства. Доктор Раунсфилд говорил об этом на днях. Занимайся исследованиями сколько тебе угодно — мы это только приветствуем, но нам хотелось бы, чтоб ты взялся за что-нибудь практическое. Ты мог бы, например, составить сводку анализов крови по сотне-другой случаев аппендицита и опубликовать — это было бы конкретно. И ты мог бы вернуть упоминание о клинике, что способствовало бы нашей репутации,— и, между прочим, мы могли бы тогда повысить тебе оклад до трех тысяч в год.

Это великодушие отбило у Мартина охоту к какой бы то ни было научной работе.

«Ангус прав. Он, собственно, хотел сказать одно: как ученый, я конченый человек. Так оно и есть. Больше и нечего мне браться за самостоятельные исследования».

Когда Мартин поработал у Раунсфилда около года, в «Инфекционных заболеваниях» появилась, наконец, его статья о стрептолизине. Он преподнес оттиски Раунсфилду и Ангусу. Они наговорили комплиментов, ясно показавших, что статья ими не читана, и опять предложили составить сводку анализов крови.

Мартин послал оттиск и Максу Готлибу, в Мак-Герковский Институт Биологии.

Готлиб ему написал своим убористым, паутинным почерком:

«Дорогой Мартин!

Я с большим удовольствием прочитал вашу статью. Кривые отношения выработки гемолизина к давности культуры очень показательны. Я переговорил о вас с Табзом. Когда вы приедете к нам, ко мне? Здесь вас уже ждут ваша лаборатория и препаратор. Я меньше всего хотел бы вдаваться в мистику, но, когда я увидел изящно выгравированный штамп вашей клиники с именем какого-то Раунсфилда, я почувствовал, что вы, наверно, устали изображать из себя добропорядочного гражданина и готовы вернуться к работе. Мы все и доктор Табз будем очень рады, если вы перейдете к нам.

Искренне ваш *М. Готлиб*».

— Я всей душой полюблю Нью-Йорк,— сказала Леора.

ГЛАВА XXVI

1

Дом Мак-Герка. Отвесная стена, тридцать голых этажей стекла и камня, где-то на узком треугольнике, откуда Нью-Йорк правит четвертью мира.

Первое знакомство с Нью-Йорком не ошеломило Мартина; после года, проведенного в чикагской «Петле», Манхэттен показался ему лениво-спокойным. Но, увидев с надземной железной дороги небоскреб Вулворта, он пришел в неистовый восторг. Архитектура до сих пор для Мартина не существовала; здания были для него ящиками побольше или поменьше, содержащими одни более, другие менее интересные предметы. Самое вдохновенное, что ему случалось сказать насчет архитектуры, было: «Вот славный домик с верандой, недурно бы в нем пожить». Теперь же он думал: «Хорошо бы видеть эту башню изо дня в день... видеть,

«Эроусмит»

как проносятся за нею облака и ветры и всякая штуковина... Какое-то чувствуешь удовлетворение».

Он шел по Сидер-стрит в грохоте грузовиков, кичащихся товарами со всего света; пройдя в бронзовые двери Дома Мак-Герка, пошел по коридору с ярко-терракотовыми стенами; на фресках толпились перуанские индейцы, пираты пенили Вест-Индские моря, поезда везли под охраной золото, высилась твердыня Картахены. В том конце коридора, что выходил на Сидер-стрит (один этот коридор — особая частная улица в целый квартал длиною), помещался Андо-Антильский банк (председателем правления — Росс Мак-Герк), в раззолоченном святилище которого рыжие янки-экспортеры переводили чеки на Кито и счетоводы без передышки лаяли по-испански на грузных женщин. У того конца, что выходил на Либерти-стрит, вывеска гласила: «Пассажирская контора пароходства Мак-Герка. Рейсы в Вест-Индию и Южную Америку еженедельно».

Рожденный среди прерий, никогда надолго не отрывавшийся от вида кукурузных полей, Мартин сразу перенесся в экзотические страны, к необыкновенным приключениям.

На одном из лифтов за бронзовой решеткой значилось: «Экспресс в Институт Мак-Герка». Мартин гордо вошел, чувствуя себя уже членом этого союза праведников. Кабина быстро летела вверх, и перед глазами Мартина только мелькали на полсекунды матовые стеклянные двери с наименованиями рудничных компаний, лесопромышленных компаний, центрально-американских железнодорожных компаний.

Институт Мак-Герка, может быть, единственный среди всех научно-исследовательских институтов мира, помещается в одном здании с деловыми конторами. Он занимает двадцать девятый и тридцатый этажи Дома Мак-Герка, а крыша дома отведена под виварий института и под кафельные дорожки, по которым (над миром стенографисток, и счетоводов, и серьезных джентльменов, жаждущих продать аргентинским богатеям самые лучшие костюмы), разгуливают ученые, восторженно грезя осмосом в Spirogyra.

Позже Мартин заметил, что приемная института была меньше, но еще холодней и учтивей — с белой своей панелью и стульями чиппендейл,— чем приемная клиники Раунсфилда; но в этот день он не замечал комнаты, не слышал резкого стаккато секретарши, сознавая только одно: сейчас он увидит Макса Готлиба, впервые за пять лет.

Жадно раскрыв глаза, он остановился в дверях лаборатории.

У Готлиба были те же смуглые втянутые щеки, что и раньше, тот же орлиный твердый нос, горячие глаза глядели так же взыскательно, но волосы его поседели, складки у рта углубились, и

Мартин едва не расплакался, увидев, с каким трудом он поднялся. Старик долго глядел на Мартина с высоты своего роста; положив руку ему на плечо, но сказал только:

— Ага! Это хорошо... Ваша лаборатория — дальше по коридору, третья дверь... Но я возражаю против одного пункта в хорошей статье, которую вы мне прислали. Вы говорите: «Равномерность исчезновения стрептолизина позволяет думать, что можно найти математическую формулу...»

— Но в самом деле можно, сэр!

— Тогда почему же вы ее не вывели?

— Да, право... не знаю. Оказался плохим математиком.

— Так не надо было печатать, пока не совладали с математикой!

— Я... Скажите, доктор Готлиб, вы в самом деле думаете, что у меня достаточно знаний для работы здесь, у вас? Я страшно хочу добиться успеха.

— Успеха? Я где-то слышал это слово. Оно английское? Ах, да, маленькие школьники употребляли его в Уиннемакском университете. Оно означает — сдать экзамены. Но здесь не надо сдавать никаких экзаменов... Мартин, скажем начистоту. Вы кое-что смыслите в лабораторной технике; вы наслышаны о разных бациллах; химик вы неважный, а математик... пфуй!.. совсем скверный! Но вы любознательны и у вас есть упорство. Вы не принимаете готовых правил. Поэтому я думаю, что из вас выйдет или очень хороший ученый, или очень плохой. Если достаточно плохой, вы станете популярны среди богатых дам, которые правят городом Нью-Йорком, и сможете читать лекции для заработка, или даже, если сумеете войти в доверие к нужным людям, вас могут назначить ректором колледжа. Словом, так или иначе, это будет интересно.

Полчаса спустя они люто спорили: Мартин утверждал, что весь мир должен прекратить войны, и торговлю, и писанье романов, и дружно пойти в лаборатории наблюдать новые явления, а Готлиб возражал, что в науке и так слишком много развелось верхоглядов, что необходимо только одно — математический анализ (и часто опровержение) ранее наблюденных явлений.

Это звучало воинственно, и все время у Мартина было блаженное чувство, что наконец-то он дома.

Лаборатория, где они разговаривали (Готлиб шагал из угла в угол, скрутив руки в причудливый узел за узкой спиной; Мартин то присаживался на высокие табуреты, то соскакивал с них), ничем не была замечательна — раковина, стол, занумерованные пробирки в стойке, микроскоп, несколько тетрадей и таблица pH; в глубине комнаты, на простом кухонном столе — ряд причудливых колб, соединенных стеклянными и резиновыми трубками,—

и все-таки время от времени посреди какой-нибудь тирады Мартин обводил эту комнату почтительным взором.

Готлиб прервал спор:

— Какую работу вы думаете здесь начать?

— Да я, сэр, хотел бы вам помогать... если смогу. Вы, должно быть, разрабатываете разные вопросы, связанные с синтезом антител?

— Да, мне кажется, я смогу подвести иммун-реакции под закон действия масс. Но вы не должны мне помогать. Вы должны вести собственную работу. Чем вы хотите заняться? Это вам не клиника, где друг за дружкой с утра до вечера идут пациенты.

— Я хочу найти гемолизин, в отношении которого имеется антитело. Для стрептолизина не имеется. Я хотел бы поработать со стафилолизином. Вы не возражаете?

— Мне безразлично, что вы делаете, лишь бы вы не воровали из ледника мои стафилококковые культуры и лишь бы у вас все время был таинственный вид, чтобы доктор Табз, наш директор, думал, что вы заняты чем-то очень важным. So! Имею внести только одно предложение: когда вы увязнете в какой-нибудь проблеме, так у меня стоит в кабинете прекрасное собрание детективных романов. Но нет. Я должен быть серьезным хоть на этот раз, когда вы только приехали,— да?

Может быть, я чудак, Мартин. Многие меня ненавидят. Подкапываются под меня... о, вы думаете, это мое воображение, но увидите сами! Я делаю ошибки. Но одно я всегда сохраняю в чистоте: религию ученого.

Быть ученым — это не просто особый вид работы, не так, что человек просто может выбирать: быть ли ему ученым или стать путешественником, коммивояжером, врачом, королем, фермером. Это сплетение очень смутных эмоций, как мистицизм или потребность писать стихи; оно делает свою жертву резко отличной от нормального порядочного человека. Нормальный человек мало беспокоится о том, что он делает, лишь бы работа позволяла есть, спать и любить. Ученый же глубоко религиозен — так религиозен, что не желает принимать полуистину, потому что она оскорбительна для его веры.

Он хочет, чтобы все было подчинено неумолимым законам. Он в равной мере против капиталистов, которые думают, что их глупое загребание денег — всеобщий принцип, и против либералов, которые думают, что человек — не из тех животных, которые борются. Он смотрит на американского бизнесмена и европейского аристократа — и одинаково презирает их трескотню. Презирает! Всех до одного. Он ненавидит проповедников, рассказывающих басни, но не слишком расположен и к антропологам или истори-

кам, которые могут только строить догадки и все-таки смеют называть себя учеными! О да, он человек, которого, конечно, должны ненавидеть все хорошие, добрые люди!

Врачей, которые норовят подхватить наши открытия, когда они еще не проверены, и носятся, воображая, что лечат людей, а на деле только топчутся и своими сапожищами путают следы, он ставит не выше знахарей и костоправов; и пуще человека-свиньи, пуще идиота, который и слыхом не слыхал о науке, ненавидит он псевдоученого, ученого-гадателя — вроде этих психоаналитиков; и пуще, чем этих смешных толкователей снов, он ненавидит людей, которые имеют доступ в светлое царство, такое, как биология, но не знают ничего сверх учебника да как читать популярные лекции олухам! Он единственный подлинный революционер, истинный ученый, потому что он один знает, как малы его знания.

Он должен быть бессердечен. Он живет в холодном, чистом воздухе. Но странная вещь: на деле, в личной жизни, он не холоден и не бессердечен — куда менее холоден, чем профессиональные оптимисты. Миром всегда управляли филантропы: врачи, во чтобы то ни стало применяющие терапевтические методы, в которых ничего не смыслят; солдаты, которые ищут, от чего бы им защитить родину; проповедники, которые мечтают, чтобы все принудительно слушали их проповеди; добрые фабриканты, которые любят своих рабочих; красноречивые государственные деятели и сердобольные писатели,— а посмотреть, какой ад устроили они на земле! Может быть, теперь настала пора для ученого, который работает, ищет и не горланит повсюду о том, как он любит всех и каждого!

Но опять-таки, помните всегда, что не всякий, кто работает в науке,— ученый. Лишь очень немногие! Остальные — секретари, пресс-агенты, прихлебатели! Быть ученым — это все равно как быть Гете: с этим рождаются. Иногда мне кажется, что у вас есть немного вот этого, врожденного. Если оно у вас есть, тогда нужно делать одно... нет, две вещи нужно делать: работать вдвое упорней, чем вы можете, и не давать людям использовать вас. Я постараюсь оградить вас от Успеха. Вот и все, что я могу. So... Я хочу, Мартин, чтоб вы здесь были очень счастливы. И да благословит вас Кох!

2

Пять упоительных минут Мартин провел в отведенной ему лаборатории — небольшой, но хорошо оборудованной: стол самой правильной высоты, удобная раковина с педалями. Когда он закрыл дверь и дал душе своей вырваться на волю и заполнить это

тесное помещение собственной своею сущностью, он почувствовал себя в надежном убежище.

Никакие Пиккербо, ни Раунсфилды не ворвутся сюда и не уволокут его прочь разглагольствовать, и обхаживать, и показывать себя слугою общества; он свободен, он может заняться работой, а не рассылкой пакетов и диктовкой бойких писем, которую люди именуют работой.

Он глянул в широкое окно над своим рабочим столом и увидел прямо перед собою небоскреб Вулворта — гляди вдосталь! Запертый здесь для радости точного знания, он все же не будет отгорожен от потока жизни. На севере у него не только Вулворт, но и дом Зингера, надменно великолепное здание Сити-Инвестинг. На западе стоят на якоре высокие пароходы, толкутся буксиры, проходит мимо весь мир. Внизу, под отвесом стены, горит в лихорадке улица. Мартин внезапно полюбил человечество, как любил пристойные чистые ряды пробирок, и произнес молитву ученого:

— Боже, дай мне незамутненное зрение и избавь от поспешности. Боже, дай мне покой и нещадную злобу ко всему показному, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной. Боже, дай мне неугомонность, чтобы я не спал и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы из моих наблюдений сходятся с результатами моих расчетов, или пока в смиренной радости не открою и не разоблачу свою ошибку. Боже, дай мне сил не верить в бога!

3

Всю дорогу в скромную свою гостиницу на одной из Тридцатых улиц он шел пешком, и всю дорогу прохожие глазели на него — на тонкого, бледного, черноглазого, сияющего молодого человека, который пробивался сквозь толпу чуть не бегом, ничего не видя и все-таки видя в тумане все: высокомерные здания, грязные улицы, безудержное движение, искателей счастья, дураков, миловидных женщин, роскошные магазины, ветреное небо. В такт шагам звучало в ушах: «Я нашел свое дело, я нашел свое дело!»

Его ждала Леора — Леора, которой назначено было судьбой вечно ждать его в скрипучих качалках по дешевым номерам. Когда он влетел в комнату, она улыбнулась, и все ее тонкое, нежное тело как будто засветилось. Не успел он заговорить, как она вскричала:

— Ах, Рыжик, я так рада!

Он шагал по комнате, увлекшись панегириками Максу Готлибу, Мак-Герковскому институту и Нью-Йорку, и прелестям стафилолизина, но она мягко перебила его:

— Дорогой мой, сколько ты будешь получать?

Он осекся.

— Черт! Забыл спросить!

— Ну-ну!

— Пойми! Это тебе не клиника Раунсфилда! Я терпеть не могу этих сычей, которые только и думают, что о деньгах...

— Знаю, Рыжик. Мне, честное слово, все равно. Я просто хотела знать, какую квартиру мы можем себе позволить — я бы тотчас стала подыскивать. Ну, ладно. Значит, доктор Готлиб сказал...

Только через три часа, в восемь вечера, они пошли обедать.

4

В городе чудес Мартин вскоре перестал замечать и город, и его чудеса, видел только положенную дорогу: квартира, метро, институт, облюбованный недорогой ресторанчик, несколько улиц с прачечными, гастрономическими магазинами, кинотеатрами. Но в этот вечер весь город был — волшебный туман. Они обедали в «Бревурте», о котором Мартину говорил Густав Сонделиус. Шел тысяча девятьсот шестнадцатый год, когда страну еще не сделали здоровой и трезвой, и «Бревурт» блистал французскими мундирами, икрой, длинными галстуками, изысканными винами, художниками-иллюстраторами, офицерами британской разведывательной службы и биржевыми маклерами, и разговором, и выдержанным коньяком Мартеля.

— Тут публика немного сумасбродная,— сказал Мартин.— Ты понимаешь? Мы можем не наводить на себя респектабельность. За нами не следит ни Эрвинг Уотерс, ни Ангус! Не будет развратом спросить бутылку шампанского?

Наутро он проснулся с тревожной мыслью, не кроется ли здесь какой-нибудь подвох, как в Наутилусе и в Чикаго. Но когда он принялся за работу, ему стало казаться, что он в идеальном мире. Институт бесперебойно обеспечивал ему все материалы и все условия, каких он только мог пожелать: животных, термостаты, стеклянную посуду, культуры, среды. У Мартина был безупречно вышколенный препаратор — «гарсон», как их называли в институте. И ему действительно предоставили свободу; действительно поощряли к самостоятельной работе; он действительно попал в общество людей, у которых в мыслях были не рифмованные плакаты, не двухтысячные чеки за хирургическую операцию, а

коллоиды, и споруляции, и электроны, и управляющий ими закон, и энергия.

В первый день работы к Мартину зашел познакомиться заведующий отделом физиологии доктор Риплтон Холаберд.

Хотя это имя примелькалось Мартину на страницах физиологических журналов, Холаберд показался ему слишком молодым и красивым для заведующего отделом: высокий, сухощавый, обходительный человек с аккуратными усами. Мартин прошел школу Клифа Клосона; до тех пор пока он не услышал быстрое приветствие доктора Холаберда, он не представлял себе, что голос мужчины может звучать чарующе, не будучи женственным.

Холаберд провел его по обоим этажам института, и Мартин узрел все чудеса, какие грезились ему во сне. Институт Мак-Герка был, правда, меньше институтов Рокфеллера, Пастера, Мак-Кормика и Листера, но не уступал им оборудованием. Мартин увидел комнаты для стерилизации стекла и для изготовления сред, увидел стеклодувную мастерскую, комнату для спектроскопа и полярископа и камеру сгорания с железобетонными стенами. Он увидел музей патологии и бактериологии, расширению которого ему тут же захотелось посодействовать. Был тут также и издательский отдел, выпускающий Труды института и «Американский журнал географической патологии», редактируемый директором, доктором Табзом; были фотолаборатория, великолепная библиотека, аквариум для отдела гидробиологии и был (идея доктора Табза) ряд лабораторий, предоставляемых в пользование иностранным гостям. Сейчас в них работали один бельгийский биолог и некий биохимик из Португалии, а однажды, как с трепетом услышал Мартин, в одной из них работал Густав Сонделиус.

Потом Мартину показали центрифугу системы Беркли-Сондерса.

Центрифуга работает по принципу сепаратора для сливок. Она осаждает из жидкости плавающие в ней твердые частицы, как, например, бактерии из раствора. Большинство центрифуг запускается от руки или же струей воды и величиной не превосходит сосуд для смешивания коктейлей, но сие благородное сооружение, имевшее четыре фута в поперечнике, было снабжено электрическим приводом, его центральная чаша вделана была в стальную плиту, закрепленную рычагами, как люк подводной лодки, и все вместе было установлено на бетонном столбе.

— В мире существуют только три такие центрифуги,— пояснял Холаберд,— сделаны в Англии, конструкция Беркли-Сондерса. Нормальная скорость, даже для хорошей центрифуги, как вы знаете, тысячи четыре оборотов в минуту. А эта совершает двадцать тысяч оборотов в минуту — быстрейшая в мире. Неплохо?

— Бог ты мой! Вам тут для работы дают материал что надо! (Мартин, в самом деле, под благим влиянием Холаберда сказал: «Бог ты мой!», а не: «Черт возьми!»)

— Да, Мак-Герк и Табз — самые щедрые люди в научном мире. Я думаю, вам здесь будет очень приятно работать, доктор.

— Конечно, еще бы! И... ей-богу, очень мило с вашей стороны, что вы мне тут все показываете.

— Разве вы не видите, как я рад случаю проявить свои познания? Нет более приятной и более спокойной формы эгоизма, чем изображать собою чичероне. Но нам еще осталось посмотреть самое доподлинное чудо института, доктор. Сюда, вниз.

Доподлинное чудо института не имело никакой видимой связи с наукой. Это был зал, где завтракали сотрудники и где при случае представителям науки давали обеды под председательством хозяйки, миссис Мак-Герк. Мартин ахнул и так и застыл с запрокинутой головой, когда взгляд его пробежал от сияющего паркета к черно-золотому потолку. Зал был очень высок, в два света. Над помостом, где завтракали директор и семь руководителей отделов, лепилась по высокой стене резная галерея для музыкантов. Дубовую обшивку стен разнообразили портреты первосвященников науки в пунцовых мантиях и большая фреска кисти Максфилда Парриша, а над всем реяла электрическая люстра на сто рожков.

— Чч-ерт!.. Бог ты мой! — проговорил Мартин.— Я и не подозревал, что возможна такая комната!

Холаберд проявил великодушие. Он не улыбнулся.

— Зал, пожалуй, даже слишком великолепен. Это любимое творение Капитолы. Капитолой зовут миссис Росс Мак-Герк, жену основателя института; она удивительно милая женщина, но очень уж любит Движения и Ассоциации. Терри Уикет, один из здешних химиков, окрестил этот зал «Небесной империей». Но все-таки он поднимает настроение, когда приходишь сюда позавтракать, усталый и измученный. А теперь зайдем к директору. Он просил меня привести вас к нему.

После вавилонской роскоши зала Мартин ожидал, что кабинет доктора А. де Уитт Табза будет неким подобием римских бань; но если не считать рабочего стола с пробирками в одном его углу, этот кабинет оказался самой строгой деловой комнатой, какую только видел в своей жизни Мартин.

Доктор Табз был дельный человек, косматый, как терьер, самый ученый и, может быть, самый могучий в Америке поборник «научного сотрудничества», но в то же время он был светским человеком, щепетильным в выборе обуви и жилетов. Он кончил курс в Гарварде, учился в Европе, занимал кафедру патологии в университете Миннесоты, был ректором Хартфордского университета,

посланником в Венесуэле, редактором журнала «Уикли Стэйтсмен», председателем Лиги Здоровья и, наконец, стал директором Мак-Герковского института.

Он был членом Американской академии искусств и литературы и наряду с тем членом Академии наук. На обедах у него бывали епископы и генералы, либеральные раввины и музыкальные банкиры. Он принадлежал к тем выдающимся личностям, к которым газеты обращаются за авторитетными интервью по всем вопросам.

Не проговорив с ним и десяти минут, вы убеждались, что перед вами один из редких вождей человечества, который может не только вести беседу по любой отрасли знания, но также руководить практическими делами и направлять спотыкающееся человечество к здоровым и разумным идеалам. Какой-нибудь Макс Готлиб, быть может, проявляет в своих исследованиях некоторый талант, однако его узость, его озорной и горький юмор помешали ему развить ту широту взглядов на образование, политику, коммерцию и прочие высокие материи, которая отмечает доктора А. де Уитт Табза.

Но директор встретил ничтожного Мартина Эроусмита с таким радушием, как если бы тот был пожаловавшим в гости сенатором. Он горячо пожал ему руку; приветливо улыбнулся; баритон его был сочен.

— Доктор Эроусмит, мне думается, недостаточно было бы с нашей стороны просто сказать вам, что мы рады; мы, я считаю, должны показать на деле, как мы рады вам! Доктор Готлиб говорил мне, что у вас врожденная склонность к затворнической научной работе, но что вы, перед тем как уйти в лабораторию, подвизались на поприще практической медицины и здравоохранения. Я не могу выразить, сколь разумным кажется мне с вашей стороны, что вы предварительно обогатили свой жизненный опыт. Слишком многим неудавшимся ученым недостает именно этой широты кругозора, которая рождается из координирования всех отраслей духовной деятельности.

Мартин был ошеломлен открытием, что он, оказывается, до сих пор занимался обогащением своего жизненного опыта.

— Теперь, доктор Эроусмит, вы, понятно, захотите потратить некоторое время — год или более — на то, чтобы войти в колею. Я не буду спрашивать у вас отчетов. Коль скоро доктор Готлиб находит, что вы удовлетворены ходом своей работы, удовлетворен и я. Все же, если только в чем-либо я смогу быть полезен вам советом — в силу моего более длительного опыта в научной работе,— поверьте, я с радостью окажу вам помощь, и я не сомневаюсь, вам так же охотно окажет ее и доктор Холаберд; хотя, по

правде сказать, он должен смотреть на вас с ревностью, ибо он у нас один из самых молодых работников,— я его называю даже моим enfant terrible [1],— а вам, кажется, только тридцать три года, так что вы его, бедняжку, легко заткнете за пояс.

Холаберд весело возразил:

— Ну нет, доктор, меня уже давно заткнули за пояс. Вы забываете Терри Уикета. Ему еще нет сорока.

— Ах, вы о Уикете,— уронил доктор Табз.

Мартину никогда не доводилось слышать, чтобы человека так ядовито и так вежливо смахнули со счетов. Как видно, и в этом раю был свой змий — Терри Уикет.

— А теперь,— сказал доктор Табз,— вам, может быть, интересно будет осмотреть также и мои апартаменты. Я горжусь, что веду нашу картотеку и переписку с прозаичностью какого-нибудь страхового агента. Но все же в этих карточках чувствуется нечто экзотическое.

Он засеменил к противоположной стене, чтобы указать Мартину шкаф с узкими ящиками, набитыми голубыми, научного вида карточками. Только вот чему была посвящена картотека, он не сообщил, и Мартин так того никогда и не узнал.

Затем он указал на рабочий стол в конце комнаты и, смеясь, признался:

— Вот вам доказательство, какой я в сущности бестолковый человек. Я постоянно утверждаю, что оставил идиллические радости экспериментальной патологии ради менее прельстительных, но очень важных и тягостных забот директорства. Но такова уж слабость человеческая — что временами, когда мне следовало бы отдаться мелким практическим хлопотам, мною овладевает какая-нибудь идея в патологии — быть может, абсурдная,— и вот я такой чудак, что не могу ждать, пока доберусь через весь коридор до своей постоянной лаборатории,— я должен всегда иметь под рукою стол, видеть поставленный опыт. Ах, боюсь, я совсем не тот высоконравственный человек, какого разыгрываю из себя на людях. Я женат на административной работе, а все меня влечет к моей первой любви, к миледи Науке.

— Мне думается, это очень хорошо, что вы сохранили к ней тягу,— отважился ввернуть Мартин.

Про себя он недоумевал, какие же опыты проделывал последнее время доктор Табз. Судя по виду, столом в углу давно не пользовались.

— А теперь, доктор, разрешите познакомить вас с действительным директором института — с моим секретарем, мисс Перл Робинс.

---

[1] Балованный ребенок *(франц.)*.

Мартин уже и сам обратил внимание на мисс Робинс. На мисс Робинс нельзя было не обратить внимания. Это была тридцатипятилетняя, статная, бело-розовая богиня. Она встала пожать ему руку — крепкое, уверенное пожатие — и прогремела своим великолепным контральто:

— Доктор Табз отзывается обо мне так мило только из страха, что иначе я оставлю его без чая. Мы так много слышали от доктора Готлиба о ваших дарованиях, что я почти боялась встречи с вами, доктор Эроусмит. Тем не менее я рада с вами познакомиться.

Немного позже Мартин, еще не остыв, стоял в своей лаборатории и глядел на небоскреб Вулворта. У него кружилась голова от этих чудес, чудес, принадлежавших отныне ему! В Риплтоне Холаберде, весело-изящном и все-таки полном достоинства, он надеялся найти друга. Доктор Табз показался ему несколько сентиментальным, но Мартин был тронут и его добротою и признанием со стороны мисс Робинс. В голове у него стоял туман будущей славы, когда дверь распахнулась и в лабораторию вторгся рыжий человек лет тридцати семи, с твердыми чертами лица и в мягком воротничке.

— Эроусмит? — прорычал он.— Меня зовут Уикет, Терри Уикет. Я химик. Работаю у Готлиба. Ну-с! Я видел, Святой Чижик показывал вам наш зверинец.

— Доктор Холаберд?

— Он самый... Ну-с, вы, должно быть, не дурак, раз папаша Готлиб допустил вас к работе. С чего мы начнем? Чем вы намерены стать? Учтивым господином, одним из тех, кто пользуется институтом, чтобы втереться в свет и подцепить богатую жену, или примкнете к буянам, к таким, как я и Готлиб?

Мартин в жизни не слышал более раздражающего звука, чем карканье Терри Уикета. Он ответил голосом, до странности похожим на голос Риплтона Холаберда:

— Мне думается, вы напрасно беспокоитесь. Я, к вашему сведению, уже женат.

— О, это вас не должно смущать, Эроусмит. В славном городе Нью-Йорке развод недорого стоит. Так! А показал вам Святой Чижик красотку Глэдис?

— Что?

— Красотку Глэдис, или галопирующую центрифугу.

— О! Вы о центрифуге Беркли-Сондерс?

— Вы угадали, душа моей души. Что вы о ней скажете?

— Чудесная центрифуга, я в жизни не видел ничего лучше ее. Доктор Холаберд говорит...

— Еще бы ему не говорить, когда он сам убедил старого Табза ее приобрести. Он в нее прямо влюблен, наш Чижик.

— Что ж тут странного? Самая быстрая...

— Несомненно. Самая проворная центрифуга на все Vereinigten [1] и сделана из лучшей стали для зубочисток. Только вот беда: разбрызгивает растворы и так плюется микробами, что пользоваться ею нужно не иначе, как в противогазе... А понравились вам старый Табзи и несравненная Жемчужина?

— Понравились!

— Чу́дно! Конечно, Табз — безграмотный осел, но он хоть не страдает манией преследования, как Макс Готлиб.

— Знаете, Уикет... или доктор Уикет?

— Угу!.. Доктор медицины и доктор философии, но тем не менее первоклассный химик.

— Так вот, доктор Уикет, очень жаль, сказал бы я, что человек с вашими талантами принужден водить компанию с идиотами, вроде Готлиба, Табза и Холаберда. Я только что расстался с одной чикагской клиникой, где все сотрудники люди — приличные и здравомыслящие. Я буду счастлив рекомендовать вас туда на работу.

— Было б не худо. Я, по крайней мере, избавился бы от болтунов, которых приходится слушать за завтрако́м в «Небесной империи». Однако простите, если я вас разозлил, Эроусмит,— вы мне в общем понравились.

— Благодарю!

Уикет нагло осклабился — рыжий, грубый, жилистый — и фыркнул:

— Кстати, рассказал вам Святой Чижик о том, как его ранили в первый месяц войны, когда он был фельдмаршалом, или ординарцем при лазарете, или чем-то еще в британской армии?

— Нет. Он даже не упоминал о войне!

— Ну, так расскажет. Ладно, братец Эроусмит, надеюсь, мы проведем тут вместе много светлых, счастливых лет, резвясь у ног папаши Готлиба. Всего вам! Моя лаборатория — смежная с вашей.

«Дурак! — решил Мартин.— Впрочем, его можно терпеть, если рядом Готлиб и Холаберд. Но все-таки... самонадеянный идиот! Черт возьми, значит, Холаберд был на войне! Верно, демобилизован после ранения. А здорово я осадил Уикета! «Рассказывал он вам о своих геройских подвигах на этой треклятой войне?» — сказал он, а я ему: «Очень огорчен, что не могу вас порадовать, но

---

[1] «Соединенные» — США *(нем.)*.

доктор Холаберд даже не упомянул о войне». Идиот! Ладно, он мне докучать не будет, отошью».

Действительно, когда Мартин познакомился за завтраком с персоналом, одного только Уикета он не мог признать любезным, как ни коротко все они его приветствовали. Мартин их едва различал; много дней почти все двадцать научных работников сливались для него в одно туманное пятно. Как-то раз он принял доктора Йио, заведующего отделом биологии, за столяра, пришедшего повесить полки.

Персонал сидел в зале за двумя длинными столами — один на помосте, другой внизу: две горсточки крохотных насекомых под громадным потолком. Они не слишком были с виду благородны, эти возможные Дарвины, и Гексли, и Пастеры. Ни у одного из них не было высокого чела Платона. За исключением Риплтона Холаберда, Макса Готлиба и, пожалуй, самого Мартина, они похожи были на закусывающих бакалейщиков: веселые молодые люди, все на одно лицо; толстые усатые пожилые люди; и маленькие кругленькие человечки в очках, человечки, у которых воротнички не сходятся на шее. Но в них чувствовалось уверенное спокойствие; в их голосах, думалось Мартину, не слышно заботы о деньгах или тревоги, порождаемой завистью и сплетнями. Они важно или шутливо говорили о своей работе, о единственной работе, которая, став звеном в цепи установленных фактов, утверждается в вечности, хотя бы и забылось имя самого работника.

Когда Мартин прислушивался, как Терри Уикет (на своем жаргоне Терри называл себя «чудо химиком», институт — «шикарным заведением», а Мартина — «нашим легковерным новым братцем — Эроусмитом») обсуждает с худощавым жидкобородым человеком — доктором Уильямом Т. Смитом, ассистентом по биохимии — возможность усилить посредством рентгеновских лучей действие всех энзимов; когда в его присутствии один из сотрудников института возмущался другим за его безграмотность в химии клетки и обозвал Эрлиха «Эдисоном медицины»,— тогда Мартин видел перед собою новые дороги захватывающих исследований; он стоял на вершине горы и взирал с высоты на неведомые долины, манящие скалистые тропы.

5

Через неделю после приезда их пригласили на обед доктор Холаберд и его супруга.

Подобно тому как перед костюмом Холаберда элегантность Клэя Тредголда показалась чопорной и претенциозной, так обед

открыл ему, что приемы у Ангуса Дьюера в Чикаго были трафаретны, безрадостны и несколько натянуты. Каждый, с кем познакомился Мартин у Холаберда, представлял собою личность — пусть незначительную, но все же личность: видного редактора или подающего надежды этнолога; и все они отличались той же благосклонной простотой, что и Холаберд.

Провинциалы Эроусмиты явились вовремя, значит, на четверть часа раньше, чем следовало. Перед тем как подали в старинных венецианских бокалах коктейли, Мартин спросил:

— Доктор, какими физиологическими проблемами вы сейчас занимаетесь?

Холаберд преобразился в пылкого юношу. Сперва предупредительно спросив: «А вам в самом деле хочется послушать? Вы только откровенно скажите!» — он пустился в разъяснение своих опытов, чертил схемы на прозорах в газетных объявлениях, на обороте пригласительного билета на чью-то свадьбу, на титульном листе романа с надписью от автора и все время глядел на Мартина так, точно испрашивал извинения, с ученым видом, но весело.

— Мы работаем над локализацией функций мозга. И думается мне, что мы пошли дальше Болтона и Флексига. Ох, это очень волнующая вещь — изучать мозг. Смотрите!

Его быстрый карандаш чертил полушария головного мозга; мозг жил и трепетал под его пальцами.

Он отбросил бумагу.

— Право, стыдно мне докучать вам своею манией. К тому же сейчас подойдут и остальные. Скажите, как у вас идет работа? Хорошо вы себя чувствуете в институте? Нравится вам наш народ?

— Все, кроме... Откровенно говоря, Уикет меня раздражает.

Великодушное:

— Знаю. У него немного агрессивная повадка. Но вы на него не обижайтесь; он действительно на редкость даровитый биохимик. Холост — отрешился от всего ради своей работы. И когда отпускает грубости, он не думает и половины того, что говорит. Меня он не переносит, как и многих других. Он упоминал обо мне?

— Да нет, разве что вскользь...

— Мне кажется, он ходит по институту и всех уверяет, будто я люблю рассказывать о своих подвигах на фронте, что не совсем отвечает истине.

— Да,— вырвалось у Мартина,— это он говорил.

— И, по-моему, напрасно. Мне очень жаль, если я его обидел, отправившись на фронт и получив ранение. Постараюсь в другой раз не повторить этой оплошности! Так много шуму из-за воинских подвигов, столь скромных, как у меня! Дело было вот как:

в четырнадцатом году, когда началась война, я проживал в Англии, работал под руководством Шеррингтона. Я выдал себя за канадца и пошел в армию врачом, а через три недели получил свое, меня отправили домой — на том и кончилась моя блистательная карьера!.. Кто-то пришел.

Его непринужденная любезность окончательно покорила Мартина. Леору равным образом пленила миссис Холаберд, и они вернулись с обеда по-новому очарованные.

Так занялся для них тихий свет счастья. Мартин блаженно наслаждался спокойной работой и едва ли не столько же своею жизнью вне лаборатории.

Всю первую неделю он забывал спросить, какое ему положено жалованье. А потом это перешло в игру: ждать до конца месяца. По вечерам они сидели с Леорой в небольших ресторанах и гадали.

Институт, конечно, не может платить ему меньше двух с половиной тысяч в год, которые он получал у Раунсфилда, но в иные вечера, когда Мартин возвращался усталый, цифра падала до полутора тысяч, а однажды, распивая с Леорой бутылку бургундского, он повысил свой оклад до трех тысяч пятисот.

Когда пришел первый месячный чек в изящном запечатанном конверте, Мартин не смел на него глядеть. Он понес конверт к Леоре. У себя в номере они уставились оба на конверт так, точно он мог содержать яд. Дрожащей рукою Мартин его распечатал; он широко раскрыл глаза и прошептал:

— Ох, вот это приличные люди! Они мне платят... чек на четыреста двадцать долларов... платят мне пять тысяч в год!

Миссис Холаберд, белая кошечка, помогла Леоре подыскать квартиру из трех комнат с просторной столовой, в старом доме близ Грэмерси-парка, и обставить ее хорошей подержанной мебелью. Когда Мартину разрешили посмотреть, он вскричал:

— Ну, здесь мы сорок лет проживем!

То был блаженный остров, где они обрели покой. У них скоро составился круг друзей. Холаберды, доктор Билли Смит (жидкобородый биохимик, понимавший толк в музыке и в немецком пиве), один анатом, с которым Мартин познакомился на банкете питомцев Уиннемака, и всегда и неизменно Макс Готлиб.

Готлиб тоже обрел тихую гавань. У него была на одной из Семидесятых улиц коричневая квартирка, в которой пахло табаком и кожаными переплетами. Его сын Роберт кончил Сити-Колледж и пустился в дела. Мириам продолжала заниматься музыкой и вместе с тем оберегала отца — коренастая, полная девушка, таившая под обманчиво-грубоватой плотью священный огонь. Проведя с ними вечер, Мартин, зажженный терпким сомнением Готлиба,

спешил обратно в лабораторию ставить тысячу новых опытов в поисках законов микроорганизмов. И, пускаясь в новые исследования, он обычно начинал с кощунственного разрушения всей недавно проделанной работы.

Даже Терри Уикет сделался более сносным. Мартин разглядел, что вечное рявканье Уикета обусловлено отчасти искаженным, как у Клифа Клосона, представлением о юморе, отчасти ненавистью, столь же сильной, как у Готлиба, к ученым типа морфологов, которые наклеивают на все изящные ярлычки, подбирают ко всему названия, меняют названия, но ничего никогда не анализируют. Уикет часто работал ночь напролет; можно было видеть, как он, скинув пиджак, взъерошив свои неподатливые рыжие волосы, часами сидит перед термостатом и следит по секундомеру. Иногда угрюмая резкость Уикета бывала даже приятна после утонченности Риплтона Холаберда, которая требовала в ответ от Мартина той же утомительной утонченности как раз в такое время, когда его засасывало с головой в пучину опытов.

ГЛАВА XXVII

1

Работа велась сперва на ощупь. Бывали дни, когда Мартин, как ни радовался он своей работе, с ужасом ожидал, что в лабораторию войдет торжественный Табз и зарычит: «Что вы тут делаете? Вы не Эроусмит, вы — самозванец! Ступайте вон!»

Он изолировал двадцать различных штаммов стафилококков и производил над ними опыты, выясняя, который из них наиболее активно выделяет гемолитический, то есть разлагающий кровь, токсин. Когда он это узнает, можно будет приступить к поискам антитоксина.

Бывали драматические минуты, когда после центрифугирования организмы лежали расплывчатым клубком на дне пробирки; или когда красные кровяные шарики совершенно растворялись, и мутная кирпично-красная жидкость приобретала цвет светлого вина. Но по большей части процедуры были неимоверно скучны: брать пробы культур каждые шесть часов, изготовлять в маленьких пробирках соляные взвеси кровяных шариков, записывать результаты.

Мартину эти процедуры никогда не казались скучными.

Заходил время от времени Табз, заставал его за делом, хлопал по плечу, говорил что-то, звучавшее как будто по-французски — быть может, и в самом деле французское,— и высказывал неопре-

деленное поощрение; а Готлиб неизменно подгонял его и время от времени подбадривал, показывая свои собственные записные книжки (испещренные цифрами и сокращенными обозначениями, с виду глупыми, как накладные на ситец) или заводя разговор о собственной работе на языке, варварском, как тибетская магия:

— Аррениус и Мадсен кое-что сделали для подведения иммун-реакций под закон действия масс, но я надеюсь показать, что сочетания антител с антигенами встречаются в стехиометрических отношениях, если известные переменные поддерживать на постоянном уровне.

— Ага, понимаю,— говорил Мартин, а мысленно шептал: «Какое там! Я не понял и четверти! О господи, только бы мне дали хоть немного времени и не отослали бы расклеивать плакаты о дифтерии!»

Получив удовлетворивший его токсин, Мартин приступил к попыткам получить антитоксин. Он ставил разнообразные, но безуспешные опыты. Иногда он приходил к убеждению, что чего-то достиг, но, проверив опыт, мрачно убеждался, что не достиг ничего. Однажды он ворвался в лабораторию Готлиба, возглашая об антитоксине; но ласково задав ему ряд смущающих вопросов и раскрыв перед ним коробку настоящих египетских папирос, Готлиб ему показал, что он учел не все разведения.

У Мартина, хоть он и двигался ощупью, как любитель, была одна черта, без которой не существовала бы наука: неугомонное, пытливое, всюду сующее свой нос, негордое, неромантическое любопытство, и оно гнало Мартина вперед.

2

Пока Мартин в первые годы великой европейской войны скромно шел своей незаметной дорогой, институт Мак-Герка под тихой поверхностью скрывал кипучую жизнь.

Если Мартину не много удалось разведать об антителах, то зато он открыл тайну института и увидел, что за всей его спокойной деятельностью стоит Капитола Мак-Герк, Великая Белая Просветительница.

Капитола, миссис Росс Мак-Герк, была противницей женского равноправия (пока не узнала, что женщинам неизбежно будут предоставлены избирательные права) и считала себя верховным судьей во всех вопросах нравственности. Росс Мак-Герк купил институт не только во славу своего имени, но и в расчете развлечь Капитолу и не дать ее зудливым пальчикам копаться в его пароходных, золотопромышленных и лесопромышленных

предприятиях, которым меньше всего требовалось, чтобы их ревизовали Великие Белые Просветительницы.

Россу Мак-Герку исполнилось к тому времени пятьдесят четыре года — он принадлежал ко второму поколению калифорнийских железнодорожных магнатов; он кончил Йельский университет; рослый, любезный, достойной осанки человек, веселый и не слишком щепетильный. Уже в 1908 году, когда он основал институт, у него было слишком много домов, слишком много слуг, слишком много пищи и вовсе не было детей,— Капитола полагала, что «такого рода затеи вредны женщинам, несущим большую ответственность». В институте он с каждым годом находил все больше удовлетворения, находил в нем оправдание своей жизни.

Когда приехал Готлиб, Мак-Герк пришел на него посмотреть. Мак-Герк иногда помыкал доктором Табзом; Табзу приходилось бежать на вызов к нему в кабинет, точно мальчишке-рассыльному; но, встретив надменно-мрачный взор Готлиба, Мак-Герк, как видно, заинтересовался; и эти два человека — громоздкий, стесненный своим костюмом, властный, сдержанный американец и предельно откровенный, простой, презирающий всякую власть европеец — стали друзьями. Нередко Мак-Герк уходил с совещания, где решалась коммерческая судьба целого острова в Вест-Индии, чтобы залезть на высокий табурет и молча смотреть, как работает Готлиб.

— В один прекрасный день, когда я брошу деловую суету и очнусь, я стану вашим гарсоном, Макс,— говорил Мак-Герк, а Готлиб отвечал:

— Не знаю... Вы не лишены воображения, Росс, но вам, я думаю, поздно учиться чему-нибудь реальному. А теперь, если вы не возражаете, мы избавимся на сегодня от вашего слишком чопорного королевского зала — приглашаю вас позавтракать у Чайлдза.

Но Капитола не примкнула к их союзу.

К Готлибу вернулось его былое высокомерие, и с Капитолой Мак-Герк оно было ему необходимо. Она любила выискивать интересные маленькие проблемы и предлагать их на разрешение нахлебникам своего супруга. Однажды в пылу рвения она явилась в лабораторию к Готлибу, чтобы указать ему, как много людей умирает от рака,— почему бы ему не бросить свои «анти... как их там?» и не найти средство от рака — это было бы так для всех для них приятно!

Но подлинную обиду он нанес ей, когда Риплтон Холаберд согласился устроить полуночный ужин на крыше института — почтить ее высокоинтеллигентных гостей, и она позвонила Готлибу и только спросила: «Вас не затруднит приехать и отпереть нам вашу лабораторию? Мы бы с таким удовольствием заглянули в нее!» — а он ответил:

— Затруднит! Спокойной ночи!

Капитола явилась с протестом к мужу. Он выслушал — или по меньшей мере сделал вид, что выслушал,— и сказал:

— Кап, я не возражаю, когда ты помыкаешь лакеями. Им полагается это терпеть. Но если ты вздумаешь потешаться над Максом, я попросту закрою институт, и тебе не о чем будет рассказывать в Колониальном клубе. И что за черт: человек, которому цена тридцать миллионов долларов — или, во всяком случае, столько он их имеет,— не может найти чистой пижамы! Нет, лакей мне не нужен! Ах, прошу тебя, Капитола, прошу, оставь свои высокие материи и дай мне спать!

Но Капитола не признавала узды — особенно если дело касалось ежемесячных обедов, которые она задавала в институте.

3

Первый мак-герковский научный обед, на котором довелось побывать Мартину и Леоре, был особенно важным и поучительным, потому что в роли почетного гостя на нем фигурировал генерал-майор сэр Айзек Маллард, лондонский хирург, приехавший в Америку с британской военной миссией. Он уже соблаговолил осмотреть институт; выслушал почтительное «сэр Айзек» от доктора Табза и всех научных сотрудников, кроме Терри Уикета; он припомнил, что встречался с Риплтоном Холабердом в Лондоне — или сказал, что припомнил; и он отдал дань восхищения центрифуге Глэдис.

Обед начался с неудачи. Терри Уикет, на которого до сих пор всегда можно было положиться, что он будет скромно отсутствовать, на этот раз счел нужным прийти и заявить жене одного бывшего посла:

— Я попросту не мог отказаться от такого роскошного пира, да еще в обществе разлюбезного сэра Айзека. А сознайтесь, если бы я вам не сказал, вы бы и не подумали, что фрак я взял напрокат, ведь не подумали б? Вы заметили, сэр Айзек понемногу привыкает не рвать шпорами ковер? А интересно бы спросить, он все еще убивает всех своих пациентов, которым делает трепанацию черепа?

Было много музыки и еще больше еды; были злополучные ученые, которым приходилось в нескольких словах разъяснять какой-нибудь сусальной воркующей даме, чего они достигли сейчас и чего надеются достичь в ближайшие двадцать лет; были сами воркующие дамы, которые роняли тоном милой укоризны: «Боюсь, вы изложили это не так ясно, как хотелось бы». Были мужья вор-

кующих дам — окончившие колледж дельцы, спекулирующие на нефтяных акциях или на законе о корпорациях; они сидели, готовые высказать каждому желающему свое мнение о том, что антитоксин, конечно, недурная вещь, но в чем мы доподлинно нуждаемся, так это в хорошем суррогате каучука.

Был Риплтон Холаберд — обольстительный собеседник.

И когда умолкала музыка, вдруг выскакивал Терри Уикет и разъяснял какой-нибудь важной матроне, очень полезной приятельнице Капитолы:

— Да, его фамилия пишется Г-о-т-л-и-б, а произносится: «Боже упаси!»

Но таких инородных тел, как Уикет, таких немых статистов, как Мартин и Леора, таких неизменно отсутствующих участников, как Макс Готлиб, было немного, и обед вылился в великолепную демонстрацию любви и дружбы, когда доктор Табз и сэр Айзек Маллард расточали комплименты друг другу, Капитоле, священной земле Франции, маленькой героической Бельгии, американскому гостеприимству, британскому уважению к личности и удивительно интересным открытиям, которые может сделать в современной науке молодой человек, умеющий ценить подлинное научное сотрудничество.

Пошли показывать гостям институт. Гости осмотрели аквариум, патологический музей и виварий, при виде которого одна бойкая дамочка спросила Уикета:

— Ах, бедные морские свинки и кролики! Нет, правда, доктор, неужели вы не согласны, что было бы куда милее, если бы вы отпустили их на волю и делали бы ваши опыты просто в пробирках?

Популярный врач, практиковавший среди богатых женщин никак не западней Пятой авеню, обращаясь к бойкой дамочке, подхватил:

— По-моему, вы абсолютно правы. Вот же я приобретаю знания — хоть никогда не убиваю бедных зверьков!

Уикет с непонятной поспешностью взял шляпу и ушел.

Бойкая дамочка сказала:

— Вот видите: у него не нашлось ответа на хороший довод. Ах, доктор Эроусмит, конечно, я знаю, какие вы все замечательные люди — Росс Мак-Герк, и доктор Табз, и все вы,— но, признаться, ваши лаборатории меня разочаровали. Я ожидала увидеть причудливые реторты, и электрические печи, и все такое, но, по совести сказать, я тут не вижу ни одного интересного предмета, и я считаю, что все вы, умные гордецы, должны что-нибудь для нас устроить, раз уж вы нас сюда заманили и заставили столько пройти. Не можете ли вы или кто-нибудь еще создать жизнь из чере-

пашьих яиц, или как они там называются? Ах, пожалуйста! Я вас очень прошу! Или хоть наденьте на себя смешные халаты, какие вы носите,— вроде как зубные врачи.

Тут Мартин тоже поспешил удалиться в сопровождении разгневанной Леоры, заявившей в такси, что она хотела выпить стакан крюшона, который приметила на буфете, и что муж ее — дурак, и больше ничего.

4

Так случилось, что Мартин, как ни радовала его работа, начал понемногу брать под сомнение совершенство своего святилища; он спрашивал себя, почему Готлиб так резок за завтраком с любезным доктором Шолтейсом, энергичным руководителем отдела эпидемиологии, и почему доктор Шолтейс терпит эту резкость; спрашивал, почему доктор Табз, заходя в лабораторию к тому или иному сотруднику, обязательно должен пробурчать: «Единственное, чем вам следует всегда руководиться в вашей работе, это идея научного сотрудничества»; и почему такой ревностный физиолог, как Риплтон Холаберд, целыми днями только и делает, что совещается с Табзом, а не гнет спину над рабочим столом.

Холаберд пять лет тому назад проделал небольшую исследовательскую работу, благодаря которой его имя появилось в научных журналах всех стран: он проследил, как отражается удаление у собаки передних долей мозга на ее способности ориентироваться в лаборатории. Мартин читал об этой работе, когда еще не думал, что попадет к Мак-Герку; переехав в Нью-Йорк, он с восторгом выслушал отчет о ней от самого Холаберда. Но, выслушивая этот отчет в десятый раз, он уже не испытывал прежнего восторга и думал про себя — уж не суждено ли Холаберду на всю жизнь остаться «человеком, который... помните?.. ну, тот самый, что наделал столько шуму опытами над двигательными центрами у собаки... что-то в этом роде».

Сомнения Мартина еще углубились, когда он увидел, что все его коллеги втайне разбиты на фракции.

Табз, Холаберд и, может быть, секретарша Табза, Перл Робинс, являли собой правящую касту. Поговаривали шепотком, что Холаберд надеется со временем стать помощником директора, что эта должность будет нарочно для него создана. Готлиб, Терри Уикет и доктор Николас Йио, долгоусый и мужиковатый биолог, которого Мартин принимал первое время за столяра, составляли свою собственную независимую фракцию, и Мартина, как ни был ему неприятен неистовый Уикет, тоже втянули в нее.

Доктор Уильям Смит, обладатель небольшой бородки и вывезенного из Парижа пристрастия к шампиньонам, держался особняком. Доктор Шолтейс, родившийся в России в лоне синагоги, но сделавшийся ныне самым ревностным приверженцем Высокой Епископальной церкви в Ионкерсе, постоянно вежливенько старался снискать у Готлиба похвалу своей научной работе. В отделе биофизики добродушного заведующего поносил и подсиживал его же помощник. И во всем институте не было сотрудника, который, пьяный или трезвый, был бы способен признать, что где-нибудь какой-нибудь ученый делает вполне разумную работу или что есть среди его соперников хоть один, кто не украл бы у него научной идеи. Ни одна компания, просиживающая качалки на веранде летнего пансиона, ни одна актерская труппа никогда не злословила оживленней, не обзывала своих собратьев идиотами с бóльшим упоением, чем эти возвышенные ученые.

Но от этих открытий Мартин мог отрешиться, закрыв свою дверь, а сейчас ему предстояла такая работа, что было не до интриг и не до сплетен.

5

Однажды Готлиб не забрел к нему в лабораторию, а вызвал его к себе. В углу кабинета Готлиба, берлоги с выходом в его лабораторию, сидел Терри Уикет, крутил папиросу и смотрел насмешливым взглядом.

Готлиб начал:

— Мартин, я взял на себя смелость поговорить о вас с Терри, и мы пришли к выводу, что вы уже достаточно осмотрелись, пора вам бросить кропотню и приступить к работе.

— Я полагал, что работаю, сэр!

Тихая ясность его блаженных дней сразу исчезла; он видел, как его гонят назад, к пиккербианству.

Уикет вмешался:

— Нет, вы не работали. Вы только показывали, что вы способный мальчик, который мог бы работать, если бы что-нибудь знал.

Пока Мартин мерил Уикета взглядом, говорившим: «Это еще что за птица?» — Готлиб продолжал:

— Дело в том, Мартин, что вы ничего не можете сделать, пока не подучитесь математике. Если вы не хотите остаться пачкуном с поваренной книгой в руках, как большинство наших бактериологов, вы должны овладеть основами науки. Всякое живое существо — физиохимическая машина. Как же вы хотите двигаться вперед, не зная физической химии? А как вы приступите к физической химии, не зная математики?

— Угу! — проговорил Уикет.— Вы только стрижете газон да собираете ромашки, а землю вы не копаете.

Мартин попробовал дать отпор:

— Чушь, Уикет! Человек не может знать все. Я бактериолог, а не физик. Мне кажется, чтобы делать открытия, нужна интуиция, а не ящик с инструментами. Хороший моряк и без приборов найдет в океане дорогу, и набейте вы приборами целую «Лузитанию», не сделать вам порядочного моряка из идиота. Человек должен развивать свой мозг, а не зависеть от орудий.

— Так-то оно так, но когда существуют карты и квадранты, моряк, который пустится в плаванье без них, будет остолопом!

Полчаса Мартин отбивался не слишком вежливо против Готлиба, твердого, как алмаз, против гранитного Уикета. И все время сознавал, что удручающе невежествен.

Те утратили интерес к спору. Готлиб просматривал свои записи, Уикет ушел к себе работать. Мартин глядел на Готлиба в упор. Этот человек так много значил в его жизни, что он мог до ярости сердиться на него, как сердился бы на Леору, на самого себя.

— Мне жаль, что я, по-вашему, ничего не знаю,— вскипел он и удалился в великолепном драматическом негодовании. Хлопнув дверью, он заперся в своей лаборатории. Сперва явилось чувство свободы, потом крушения. Помимо воли, как пьяный, он ворвался к Уикету:

— Кажется, вы правы. Я ни черта не знаю по физической химии, в математике я профан. Что мне делать, что делать?

Варвар в замешательстве пробурчал:

— Ладно, Худыш, ради всех чертей, не волнуйтесь. Мы со стариком только хотели вас немного подзадорить. На деле он в восторге от того, как добросовестно вы взялись за работу. А математика... С ней у вас, пожалуй, благополучней, чем у Чижика или у Табза; вы перезабыли все, что знали по математике, а они ее никогда не знали. Ну их к черту! Наука должна как будто бы означать Знание — так оно по-гречески, на прекрасном языке, на котором объяснялись милые пьянчуги-эллины. А поглядеть на большинство наших ученых, как они нипочем не откажутся писать маленькие отшлифованные статейки или устраивать файв-о-клоки, как не желают они попотеть над приобретением кое-каких знаний,— просто умиление берет! Я и сам не слишком силен в математике, друг мой, но, если не возражаете, я могу по вечерам заходить к вам и натаскивать вас... разумеется, бесплатно!

Так завязалась дружба между Мартином и Терри Уикетом; так в жизнь Мартина вошла перемена, и он начал каждую ночь отнимать у себя три-четыре часа здорового сна, чтобы зубрить то, что полагается знать каждому и чего почти никто не знает.

Он начал с алгебры; убедился, что забыл ее почти целиком; проклинал соревнование неутомимого А с беспечным В, разгуливающими между Игреком и Зетом; взял репетитора из Колумбийского университета; и в шесть недель одолел предмет — с некоторым даже интересом к квадратным уравнениям, в то время как Леора слушала, смотрела, ждала, делала им бутерброды и смеялась, когда репетитор острил.

К концу первых девяти месяцев своей работы у Мак-Герка Мартин заново прошел тригонометрию и аналитическую геометрию и уже находил романтику в дифференциальном исчислении. Но он сделал ошибку, похваставшись своими успехами перед Терри Уикетом.

Терри прокаркал:

— Не слишком-то полагайтесь на математику, сынок,— и так смутил Мартина указанием на термодинамическую основу закона действия масс и на потенциалы окисления и восстановления, что тот опять впал в яростное самоуничижение, опять увидел себя самозванцем и невеждой.

Он стал читать классиков физической науки: Коперника и Галилея, Лавуазье, Ньютона, Лапласа, Декарта и Фарадея. Он совсем увяз в Ньютоновых «Флюксиях»; попробовал заговорить о Ньютоне с Табзом и убедился, что знаменитый муж, директор института, ничего о нем не знает. Он весело сообщил об этом Терри, но выслушал крепкую отповедь за «самомнение недавно цивилизовавшегося выскочки, типичного энтузиаста-неофита», и вернулся к работе, которая в конце своем может принести удовлетворение, потому что ей нет конца.

В его жизни не было, казалось бы, ничего возвышающего и ничего занимательного. Табз, когда заглядывал к нему в лабораторию, видел только невеселого молодого человека, который корпит над своими опытами с гемолитическими токсинами, чуждаясь подлинно Великого в Науке — научного сотрудничества, ведущего к высоким достижениям. Табз пытался наставить его на путь истинный, говоря:

— Вы вполне уверены, что держитесь в своей работе определенного ясного курса?

Доподлинную скуку пришлось сносить Леоре.

Она сидела тихо (тоненькая девочка, ростом человеку по плечо, не ставшая и на девять минут старше за девять лет замужества) или безобидно дремала в длинной столовой их квартирки, в то время как Мартин до часу, до двух трудился над своими скучными, растрепанными книгами,— дремала и вежливо просыпалась, чтобы выслушать его жалобу: «Ты подумай, я должен еще при этом продолжать свою работу в лаборатории. Боже, как я устал!»

В марте она потащила его в беззаконную пятидневную поездку на мыс Код. Мартин сидел между двумя маяками в Чэтеме и бурчал:

— Вернусь и скажу Терри и Готлибу, что они могут идти к черту со своей сумасшедшей физической химией. Хватит с меня: математикой я овладел — и хватит.

А Леора поддакивала:

— Да, я тоже бы так рассудила, но только странно, почему доктор Готлиб всегда оказывается прав?

Он так ушел в свой стафилолизин и в интегральное исчисление, что не заметил, как мир приготовился спасать демократию. И несколько растерялся, когда Америка вступила в войну.

6

Доктор Табз помчался в Вашингтон предложить военному министерству услуги своего института.

Все научные сотрудники, за исключением Готлиба и еще двоих, отклонивших эту честь, были произведены в офицеры и получили приказ пойти купить обворожительную форму.

Табз сделался полковником, Риплтон Холаберд — майором, Мартин, Уикет и Билли Смит — капитанами. Гарсоны не получили никакого воинского чина, не несли никаких воинских обязанностей, кроме чистки желтых ботфортов и кожаных краг, которые завели почти все воители, сообразуясь со своей фантазией или со своими икрами. А самый воинственный представитель института, мисс Перл Робинс, героически убивавшая за чаем не только всех мужчин Германии, но и всех немецких женщин и змеенышей-детей,— о позор! — не получила признания и должна была сама измыслить для себя военную форму.

Изо всех этих воителей, дальше Либерти-стрит ушел в сторону фронта только один Терри Уикет: взял неожиданно отпуск, зачислился в артиллерию и отплыл во Францию.

Он извинялся перед Мартином:

— Мне совестно бросать работу, и, конечно, я вовсе не хочу убивать немцев — то есть не больше хочу убивать их, чем многих других людей,— но я не могу не вмешаться во всякую заваруху. Слушай, Худыш, присматривай за папашей Готлибом, хорошо? Для него это большой удар. У него в германской армии куча племянников и всякой родни,— патриоты, вроде нашей Перл Кожаный Сапог, уж конечно, патриотизма ради начнут преследовать старика. Всего хорошего, Худыш, береги себя.

Мартин глухо протестовал, когда его загоняли в армию. Война

для него была прежде всего новой помехой в работе, как «кампании» Пиккербо в Наутилусе, как в Уитсильвании необходимость зарабатывать на жизнь. Но когда он впервые горделиво прошелся по улицам в своей форме, это оказалось так приятно, что несколько недель он был образцовым патриотом. Никогда он не был так хорош собой, так прям и подтянут, как облачившись в хаки. Упоительно, когда рядовые тебе козыряют, и столь же упоительно отвечать им с важной покровительственной и товарищеской снисходительностью — блестящая привилегия, которую Мартин делил с другими врачами, педагогами, адвокатами, маклерами, писателями и бывшими социалистами-интеллигентами,— со всеми, кто стал вместе с ним офицерами.

Но через месяц радость превращения в героя стала чем-то чересчур привычным, и Мартин затосковал по мягкому воротничку, покойной обуви и пиджаку с нормальными карманами. Носить краги было мучительно, а надевать их — сущий ад; воротник не давал согнуть шею и больно упирался в подбородок; и человека, который до трех часов ночи сидит над ответственным и опасным делом изучения интегралов, утомляло вечно быть начеку, не возьмет ли кто под козырек.

Под неусыпным оком полковника А. де Уитт Табза Мартин должен был носить в институте форму или по меньшей мере ее наиболее заметные атрибуты, но по вечерам он завел привычку переодеваться в штатское и, когда ходил с Леорой в кино, испытывал приятное чувство, точно он самовольно отлучился из казарм, точно рискует на каждом шагу, что будет арестован военной полицией и на рассвете казнен.

Военная полиция, как назло, на него и не глядела. Но однажды вечером, предаваясь почтенному и невинному удовольствию — любоваться останками солдата, только что умерщвленного другим солдатом,— Мартин заметил, что майор Риплтон Холаберд стоит рядом и смотрит на него гневным взором. Майор заговорил без обычной учтивости:

— Капитан, вы, кажется, считаете вполне уместным ходить в штатском? Мы, работники науки, к сожалению, лишены возможности вступить в ряды тех славных ребят, что участвуют в настоящих боях, но мы обязаны соблюдать дисциплину так же, как если бы сидели в окопах, куда некоторые из нас охотно пошли бы опять! Капитан, я уверен, что больше никогда не увижу вас нарушающим приказ о ношении военной формы — в противном случае... гм...

Немного погодя Мартин изливался перед Леорой:

— Мне осточертело слушать о его ранении. Не вижу, что мешает ему вернуться в окопы. Рана давно зажила. Я хочу быть патриотом, но мой патриотизм — в погоне за антитоксинами, в моей

работе, а не в том, чтобы носить известного покроя штаны или известного покроя мысли о немцах. Заметь себе, я, доподлинный германофоб, считаю, что немцы, по всей вероятности, так же мерзки, как и мы. Ох, идем домой, займемся интегралами... Родная моя, тебе не слишком надоело, что я работаю по ночам?

Леора обладала редким даром: когда она не могла загореться энтузиазмом, она умела молчать так, что в ее молчании не чувствовалось упрека.

В институте Мартин убедился, что среди защитников отечества он не был единственным, кого стесняло одеяние героя. Из научных сотрудников несчастнее всех выглядел доктор Николас Йио, истый янки, рыжеусый руководитель отдела биологии.

Йио надел форму майора, но никак не мог с ней сжиться. (Он знал, что был майором, потому что так сказал ему полковник Табз, и знал, что форма у него майорская, потому что так сказал приказчик в магазине готового платья.) С удрученным, виноватым видом выходил он на улицу из Дома Мак-Герка, одна штанина всегда висела у него мешком над голенищем; и как ни добросовестно старался он запомнить, он все забывал застегнуть китель, надетый поверх рубашки в лиловых цветочках (такую рубашку, как он часто объяснял, можно очень дешево купить на Восьмой авеню).

Но майор Йио все же одержал одну великую военную победу. Маршируя в идеально милитаризованную столовую, он хрипло толковал Мартину:

— Скажите, Эроусмит, вы не путаетесь, когда приходится отдавать честь? Вот чертовщина! Никак не могу разобраться во всех этих значках. Я однажды принял лейтенанта Армии спасения за генерала из ХАМЛа. А, может быть, он был вовсе португальским офицером. Но потом я напал на мысль! — Йио приложил палец к своему большому носу и изрек: — Когда я вижу человека в форме, который с виду постарше меня, я отдаю ему честь,— мой племянник Тед натаскал меня, так что я теперь шикарно козыряю,— и если он не козыряет в ответ, ладно, бог с ним, я просто стараюсь думать о своей работе и не тревожусь. Если посмотреть с научной точки зрения, военная служба в конце концов не так уж тяжела!

7

В Париже, в Бонне ли Макс Готлиб всегда смотрел на Америку как на страну, которая благодаря свободе от монархических традиций, благодаря живому соприкосновению с такими несомненными реальностями, как кукурузные поля и метели и общегородские собрания избирателей, решительно отвратила лицо от маль-

чишеского военного чванства. Он верил, что перестал быть немцем и давно сделался соотечественником Линкольна.

Европейская война была единственным событием, если не считать изгнания из Уиннемака, нарушившим его саркастическую ясность духа. Он не видел в войне ни величия, ни надежды — только нескончаемую трагедию. Как сокровище, он берег память о долгих месяцах работы и хороших разговорах во Франции, в Англии, в Италии; он любил своих французских, английских, итальянских друзей, как любил своих старых Korpsbrüder [1], и глубоко под его сарказмом крылась подлинная любовь к немцам, с которыми он так много работал и пил.

Сыновья его сестры (на каникулах, стосковавшись по родине, он навещал их, видел их младенцами, мальчиками, ершистыми юношами) в четырнадцатом году были призваны под знамена кайзера; один из них стал oberst'ом [2] в орденах, другой никак не отличился, третий через десять дней был мертв и гнил в земле. Готлиб скрепя сердце примирился с этим, как примирился и с тем, что сын его Роберт вступил лейтенантом в американскую армию и пошел воевать против своих двоюродных братьев. Но что сразило этого человека, для которого абстракции и научные законы значили больше, чем живая плоть, что совсем сразило его, так это мания человеконенавистничества, овладевшая чуждой милитаризму Америкой, куда он эмигрировал из отвращения к юнкерству.

Не веря своим глазам, смотрел он на женщин, утверждавших, что все немцы убивают маленьких детей, на университеты, искоренявшие язык Генриха Гейне, на оркестры, ставившие вне закона музыку Бетховена, на профессоров в военной форме, оравших на канцелярских служащих, в то время как те не смели ничего возразить.

Трудно сказать, что было сильней оскорблено — любовь его к Америке или его самолюбие: как мог он так чудовищно обмануться! Но любопытно: Готлиб, всегда громивший машинное американское воспитание, был все-таки поражен, когда страна весело ринулась в старое-престарое автоматизированное шутовство войны.

Когда институт санкционировал войну, Готлиб убедился, что стал теперь для всех не великим и бесстрастным иммунологом, а подозрительным немецким евреем.

Правда, Терри, служивший в артиллерии, не глядел на него с ненавистью, но майор Риплтон Холаберд чопорно выпрямлял спину, встречаясь с ним в коридоре. Готлиб однажды заявил за завтраком Табзу:

---

[1] Товарищей по студенческой корпорации *(нем.)*.

[2] O b e r s t — полковник *(нем.)*

— Я готов признать за французами все добродетели — я очень люблю этот самобытный народ,— но, по теории вероятности, из шестидесяти миллионов немцев тоже, я думаю, наберется с десяток хороших людей.

И полковник Табз прогремел в ответ:

— Перед лицом мировой трагедии эти шуточки представляются мне не совсем уместными, доктор Готлиб!

В магазинах и в вагонах надземной железной дороги краснолицые потные человечки, слыша его акцент, косились на него и бурчали: «Один из тех, из проклятых гуннов, отравителей колодцев!» И при всем его презрении к толпе, при всем старании гордо ее игнорировать, эти уколы превращали Готлиба из высокомерного ученого в настороженного, издерганного, съежившегося старика.

А однажды хозяйка одного дома, в былые дни гордившаяся знакомством с профессором Готлибом, дама, носившая в девичестве фамилию Штрауфнабель и вышедшая замуж за некоего Росмонта, отпрыска старой именитой английской семьи,— эта дама, когда Готлиб сказал ей, прощаясь: Auf Wiedersehen [1],— закричала на него:

— Доктор Готлиб, извините, но в моем доме этот гнусный язык воспрещен!

Он почти оправился от треволнений, пережитых в Уиннемаке и у Ханзикера; он расцветал; он начал принимать гостей — ученых, музыкантов, остроумных собеседников. Теперь же он опять вынужден был замкнуться в себе. С отъездом Терри он доверял только Мириам, Мартину и Россу Мак-Герку; и его запавшие глаза под морщинистыми веками обращены были всегда на горестное.

Но он умел еще быть язвительным. Он посоветовал Капитоле вывесить в окне своего дома Флаг Патриота с количеством звезд по числу членов института, надевших военную форму.

Она приняла совет всерьез и в самом деле вывесила флаг.

8

Военные обязанности мак-герковского персонала не ограничивались ношением формы, отдаванием чести и выслушиванием за торжественным завтраком речей полковника Табза о «роли, которую предназначено сыграть Америке в деле восстановления демократической Европы».

Они изготовляли сыворотки; помощник руководителя отдела биофизики изобретал электрифицированные проволочные заграж-

---

[1] До свиданья *(нем.)*.

дения; доктор Билли Смит, полгода назад распевавший в погребке у Люхова немецкие студенческие песни, работал над газами для отравления всех, кто поет немецкие песни; а Мартину предписано было изготовлять липовакцину — взвесь в растительном масле мелко растертых бацилл паратифа и брюшного тифа. Работа была грязная и скучная. Мартин выполнял ее добросовестно, отдавая ей почти все утра, но ругался хуже, чем всегда, и непристойно радовался, когда научные журналы объявили липовакцину не более полезной, чем обыкновенный солевой раствор.

Он понимал, как тяжело было Готлибу, и старался его приободрить.

Самый некрасивый недостаток Мартина состоял в том, что он был не слишком добр к робким и одиноким людям или к людям глупым и старым; он не был к ним жесток, он просто не замечал их или же избегал, потому что их жалобы раздражали его. Когда Леора его отчитывала, он ворчал:

— Хорошо, но я... Я слишком поглощен всегда своей работой или ученьем, чтобы тратить время на разгильдяев. И это неплохо. У нас, если человек поднялся хоть на одну ступень выше свиньи, он так носится с туманной филантропией, что не может ничего достигнуть,— и большинство твоих смиренных человечков (провались они к дьяволу!) докатываются до полной духовной нищеты. Ох, насколько легче быть сердобольным, и мило мурлыкать, и льстить самому себе, оставаясь вполне беспринципным, чем продираться вперед и строго ограничивать себя только своей работой, которая к чему-то ведет! У очень немногих хватает храбрости быть приличными эгоистами — не отвечать на письма и отстаивать свое право на работу. Дай им волю, так эти твои сентименталисты заставили бы Ньютона — а то и Христа! — бросить все, что они делали для мира, и выступать с речами на митингах, и слушать нытье полоумных старых дев. Оставаться твердым, сохранять ясность мысли — вот что требует наибольшей храбрости.

Но даже и этой храбрости ему недоставало.

Случалось, когда Леора его упрекнет, он дня на два, на три становился преувеличенно внимательным ко всяким нытикам, но потом опять замыкался в себе. Были только два человека на земле, чье горе всегда его трогало: Леора и Готлиб.

Хоть он был так занят, что, казалось, свободной минуты не было — утром липовакцина, вечером физическая химия, а в напряженные часы между тем и другим исследование по стафилолизину,— он урывал, какие мог, часы, чтобы навестить Готлиба и, почтительно слушая, отогреть его больное самолюбие.

Потом работа со стафилолизином оттеснила все остальное, заставила его забыть Готлиба, и Леору, и физическую химию, заста-

вила переложить военную работу на других и смешала ночи и дни в сумасшедший огненный туман: Мартин понял, что нащупал нечто, достойное самого Готлиба, нечто, близкое к таинственному источнику жизни.

ГЛАВА XXVIII

1

Мартин Эроусмит, капитан запаса медицинской службы, вернувшись домой к своей доброй жене Леоре, простонал:

— Устал до черта, и на душе уныние. За весь год у Мак-Герка я не довел до конца ни одной работы. Бесплодный год. Никчемный! Разрази меня гром, если я засяду сегодня за интегралы. Идем в кино. Я даже не стану переодеваться в человеческое платье. Слишком устал.

— Отлично, родной,— сказала Леора.— Но давай пообедаем дома. Я сегодня купила чудесную рыбину.

Во время сеанса Мартин высказывал свое компетентное мнение врача и капитана о неправдоподобии фильма, в котором мать через десять лет разлуки не узнала своей дочери. Он был беспокоен и рассудителен,— неподходящее для кино настроение. Когда они вышли, щурясь, из темного зала, освещаемого только тусклым отсветом экрана, Мартин пробурчал:

— Вернусь в лабораторию, а тебя посажу в такси.

— Ах, брось ты эту канитель хоть на одну ночь.

— Ну, что ты говоришь! Я уже три или четыре дня не работал по ночам!

— Так возьми меня с собою.

— Нельзя, я проработаю, пожалуй, до утра.

Либерти-стрит, когда он мчался по тротуару, спала в тени башен-домов. По распоряжению Мак-Герка лифт института работал всю ночь, и в самом деле, три-четыре человека из научного персонала иногда пользовались им в неподобающие часы.

Мартин в то утро выделил новый штамм стафилококка из глутеального карбункула у одного больного в Нижнеманхэттенской больнице. Карбункул этот заживал необычайно быстро. Каплю гноя Мартин опустил в бульон и поставил в термостат; через восемь часов появился обильный рост бактерий. Перед уходом измученный Мартин снова поставил колбу в термостат.

Он не особенно интересовался этим посевом, и теперь, в лаборатории, он сперва снял китель, полюбовался огнями на черно-синей реке, покурил, обозвал себя собакой за то, что был слишком

резок с Леорой, послал к свиньям Берта Тозера, и Пиккербо, и Табза, и всех, кто навернулся на язык,— и только тогда побрел к термостату и обнаружил, что колба, в которой должна была образоваться заметная муть, не содержала и следа бактерий — ни следа стафилококков.

— Что за черт! — вскричал он.— Бульон так же прозрачен, как до посева! В чем тут дело?.. И надо ж было этой глупости случиться как раз в такое время, когда я собрался приступить к новой работе!

От термостата, помещавшегося в особой комнате в конце коридора, он кинулся в свою лабораторию и, направив на колбу сильный свет, убедился, что зрение его не обмануло. С раздражением взял он на стекло мазок из содержимого колбы и сунул под микроскоп. Но увидел лишь тени того, что было бактериями: налицо были только тонкие контуры, только форма — а клеточное вещество исчезло; крошечные скелеты на бесконечно малом поле битвы.

Он поднял голову от микроскопа, протер утомленные глаза, поглядел задумчиво, почесал шею — китель скинут, воротничок на полу, рубаха на груди расстегнута. Он соображал:

«Тут что-то занятное. Культура прекрасно росла — и вдруг совершает самоубийство. Никогда не слыхивал, чтобы микробы так поступали. Я что-то нащупал! Чем это вызвано? Каким-нибудь химическим изменением? Или органическим?»

Мартин Эроусмит был чужд картинного героизма, не был отмечен ни талантом к любовным интригам, ни экстравагантной остротой ума, ни возвышенной стойкостью в невзгодах. Он не отличался ни романтической утонченностью, ни высоконравственным складом души. Опрометчивость и извращенное понятие о честности то и дело толкали его на ошибки; часто он бывал нелюбезен и даже невежлив. Но он обладал одним даром: любознательностью, в силу которой ни одно явление не казалось ему заурядным. Будь он добропорядочным героем, как майор Риплтон Холаберд, он выплеснул бы содержимое колбы в раковину, с изящной скромностью признался бы: «Ерунда! Я допустил какую-то ошибку!» — и делал бы дальше свое дело. Но Мартин, будучи не кем иным, как Мартином, прозаически шагал из угла в угол по своей лаборатории и бурчал:

— Тут есть причина, и я ее найду.

Все-таки явилось у него романтическое поползновение: позвонить Леоре и сообщить ей, что случилось чудо и чтоб она не беспокоилась. Он побрел по коридору, чиркая спичками, ища выключатель.

Ночью во всех коридорах водятся привидения. Даже в кичливо новом Доме Мак-Герка был некий бухгалтер, покончивший

«Эроусмит»

с собой. Пробираясь ощупью вперед, Мартин трепетно чувствовал за спиной шаги, видел, как выглядывают из-за дверей и нагло исчезают силуэты — бестелесные древние чудища,— и когда нашел выключатель, обрадовался благотворному внезапному свету, заново сотворившему мир.

У доски институтского коммутатора он долго добивался соединения. Раз ему показалось, что Леора у телефона, но голос бесполый и нетерпимый отозвался: «Какой вам номер?» — с напряженной живостью, немыслимой у беспечно-небрежной Леоры. В другой раз голос завизжал: «Сара, ты?» — и потом добавил: «Вас мне не надо! Дайте отбой, прошу». А раз какая-то девица стала оправдываться: «Честное слово, Билли, я пробовала к вам дозвониться, но ровно в пять пришел хозяин и сказал...»

В остальных случаях слышалось только глухое урчание; хрип города с семимиллионным населением, жаждущим сна, любви или денег.

— А, ладно! — решил Мартин.— Ли, вероятно, уже давно легла спать.— И стал нащупывать дорогу обратно в лабораторию.

Сыщик, выслеживающий убийцу бактерий, он стоял, запрокинув голову, поскребывая затылок, поскребывая память, не бывало ли подобного же случая, когда микробы кончали самоубийством или оказывались умерщвленными без видимой причины. Он кинулся этажом выше в библиотеку, сверился по американским и английским авторитетам, не жалея труда, просмотрел французские и немецкие книги. Но ничего не нашел.

Встревожился: а может быть, в гное, который он использовал для посева, почему-либо не было живых стафилококков — в бульоне нечему было умирать? В лихорадочной спешке, не останавливаясь, чтобы включить свет, не раз налетев с разгона на угол, не раз поскользнувшись на слишком гладком кафельном полу, он сбежал вниз и понесся по коридору в свою комнату. Он нашел остатки гноя, взял на стекло мазок, окрасил его генцианвиолетом, с волнением нанеся на препарат лишь одну каплю яркой краски. Рванулся к микроскопу. Когда он склонился над медной трубкой и нашел фокус, посреди серо-сиреневого круглого поля возникли из небытия виноградные гроздья стафилококков — ярко-лиловые крапинки на бледном поле.

— Бактерии есть, все в порядке! — громко закричал он.

Потом он забыл Леору, ночь, войну, усталость, успех, все на свете и ушел с головой в подготовку опыта, своего первого значительного опыта. Он шагал яростно, до одури. Потом встряхнулся, заставил себя успокоиться; в кольцах и спиралях табачного дыма сел к столу и на маленькие листки бумаги стал заносить все мыслимые причины самоубийства у бактерий — все вопросы, которые

требовали ответа, и опыты, которые должны были дать на них ответ.

Может быть, уничтожение культуры вызвала щелочь в нечисто вымытой колбе. Может быть, какое-нибудь гибельное для стафилококков вещество, содержащееся в гное, или что-нибудь, выделяемое самими стафилококками. Может быть, какое-нибудь свойство данного бульона.

Все это надо проверить.

Рывком, сломав замок, отворил он дверь кладовой для стекла. Взял новые колбы, вымыл их, заткнул ватой и поставил для стерилизации в сушильный шкаф. Отыскал несколько разных партий бульона — сказать точнее, украл их из личного запаса Готлиба, неприкосновенного запаса, хранимого в леднике. Процедил часть очистившейся культуры через стерильный фарфоровый фильтр и подлил к обычным своим стафилококковым культурам.

Потом обнаружил — и это было, может быть, важнее всего,— что остался без папирос.

Недоверчиво обшарил он по очереди все свои карманы, потом в обратном порядке обшарил их снова. Посмотрел, нет ли чего в скинутом кителе; радостно вспомнил, что видел как будто папиросы в ящике стола; не нашел; нахально направился в комнату, где висели фартуки и куртки препараторов. Он яростно обыскал карманы и нашел двенадцать чудесных папирос в помятой и сплющенной коробке.

С целью проверить четыре возможных причины очищения культуры в колбе, он взял колбы и, сделав ряд посевов при различных условиях, поместил их в термостат при температуре человеческого тела. Пока не поставил он последнюю колбу, рука его оставалась тверда, изнуренное лицо спокойно. Он забыл, что значит нервничать, не чувствовал неуверенности,— ушедший в свою работу профессионал.

Было уже шесть часов — светлое ясное августовское утро, и едва он прервал свою быструю работу, как натянутые нервы сдали, он глянул из высокого своего окна и увидал лежавший внизу мир: яркие крыши, ликующие башни, лонг-айлендский пароход с высокой палубой, чванно подымающийся по маслянистой глади реки.

Он был вконец измотан; и, как хирург после боя, как репортер во время землетрясения, был, пожалуй, немного помешан, но спать ему не хотелось. Он клял отсрочку, необходимую, чтобы дать бактериям произрасти (до тех пор он не мог определить влияние штамма бактерий и сорта бульона), но сдерживал свое нетерпение.

По гулкой каменной лестнице он поднялся в надземный мир — на плоскую крышу. Постоял, прислушиваясь, у дверей институтского вивария. Морские свинки уже не спали и грызли что-то, про-

изводя звук, похожий на трение мокрой тряпки о стекло при мытье окон. Мартин топнул ногой, и зверьки в испуге разразились странным хрюканьем, похожим на воркованье голубей.

Бурно зашагал он взад и вперед по крыше, освежаемый высоким небом, и это настолько его успокоило, что он почувствовал голод. Опять он отправился грабить. Он нашел плитку шоколада, принадлежавшую доверчивому препаратору; он вторгся даже в кабинет директора и в письменном столе дианоподобной Перл Робинс раскопал чай и чайник (а также губную помаду и любовное письмо, начинавшееся словами: «Моя милая крошка...»). Он приготовил себе на редкость скверную чашку чая, потом, еле волоча ноги, вернулся к своему столу, чтобы тщательно, шаг за шагом, записать в потрепанную, почти до конца исписанную тетрадь весь ход своего опыта.

Вначале восьмого он совладал с коммутатором и позвонил в Нижнеманхэттенскую больницу. Нельзя ли доктору Эроусмиту получить еще некоторое количество гноя из того же карбункула? Что? Затянулся? Черт подери! Материала больше нет!

Мартин подумал, не подождать ли прихода Готлиба, не рассказать ли ему об открытии, но решил молчать, пока не установит, не случайность ли это. С широко раскрытыми глазами, слишком взвинченный, чтобы заснуть в вагоне метро, летел он рассказать о происшедшем Леоре. Кому-нибудь он должен рассказать! Волны страха, сомнения, уверенности, снова страха перекатывались через него; в ушах звенело, и руки дрожали.

Он взбежал по лестнице; не отперев еще дверь, закричал: «Ли! Ли!» Ее не было дома.

Он открыл в изумлении рот. Квартира дышала пустотой. Поискал еще. Тут она спала, тут выпила чашку кофе. И вот исчезла.

Он был встревожен, не случилось ли несчастья, и в то же время зол, что ее нет в этот высокий час. Сердито приготовил он себе завтрак... Странно, что у превосходных бактериологов и химиков яичница получается такая водянистая, кофе такой горький; что они так неразборчивы в отношении грязных ложек... К тому времени, когда он заканчивал стряпню, он уже готов был поверить, что Леора ушла от него навсегда. «Я уделял ей слишком мало внимания»,— мучился он. Медлительно, совсем как старик, пустился он обратно в институт и у входа в метро встретил Леору.

Она сказала жалобно:

— Я так волновалась! Я не могла к тебе дозвониться. И вот поехала прямо в институт узнать, что с тобой.

Он расцеловал ее и завопил:

— Слушай, женщина, я нашел! Нашел что-то очень важное! Я открыл нечто... не какую-нибудь химическую примесь... нечто

такое, что пожирает бактерий... растворяет их... убивает. Это, может быть, новый этап в терапии. Ох, нет, ерунда, едва ли так! Скорее всего, опять глупая ошибка!

Леора попробовала его успокоить, но он не стал ждать — бросился вниз, к поездам, обещая позвонить. В десять часов он стоял у термостата и смотрел.

Мутное облачко бактерий появилось во всех колбах, кроме тех, в которые был добавлен бульон из первой, наделавшей переполох колбы. Здесь таинственный убийца микробов помешал росту введенных в них новых бактерий.

— Это очень примечательно,— сказал Мартин.

Он поставил колбы обратно в термостат, записал свои наблюдения, опять прошел в библиотеку и начал рыться в справочниках, в сборниках разных ученых обществ, в журналах на трех языках. Он изрядно усвоил французский и немецкий языки научной литературы. Едва ли он мог бы на них объясниться, чтобы купить стакан лимонаду или спросить дорогу в курзал, но он понимал международный эллинистический научный жаргон и теперь перелистывал тяжелые книги, протирая глаза, которые жгло соленым огнем.

Он вспомнил, что является офицером армии и должен сегодня утром изготовлять липовакцину. Он пошел работать, но был так взвинчен, что испортил целую партию вакцины, обозвал своего терпеливого гарсона дураком и после такой несправедливости послал его за пинтой виски.

Было необходимо с кем-нибудь поделиться. Он позвонил Леоре, позавтракал с нею, не стесняясь ценами, и заявил:

— Пока еще как будто бы что-то есть.

Весь день до вечера он каждый час заходил в институт и поглядывал на свои колбы, а в промежутках бродил по улицам, чуть не падая от усталости, поглощая слишком много кофе.

Каждые пять минут его осеняла совершенно как будто новая заманчивая мысль: «Почему бы не лечь спать?» Но он тут же спохватывался и стонал: «Нет, некогда, я должен все проследить, шаг за шагом. Нельзя оторваться, а то начинай все сначала. Но как мне хочется спать! Почему я не ложусь?..»

В шестом часу он открыл в себе запас новых сил, и ровно в шесть осмотр показал, что в колбах с примесью изначального бульона все еще нет роста бактерий и что все колбы, где был посеян изначальный гной, ведут себя, как первая эксцентрическая колба: в них сперва обнаруживался хороший рост бактерий, а потом среда очищалась под медленно развертывающимся натиском неведомого убийцы.

Мартин сел, уронив с облегчением руки. Нашел! В выводах из первых заметок он записал:

«В гное, выделенном при стафилококковой инфекции, мною обнаружен некий фактор — временно назову его фактор Икс,— который пресекает рост некоторых штаммов стафилококка и растворяет стафилоккоков из данного гноя».

В семь часов, когда он кончил запись, голова его лежала на тетради. Он спал.

В десять он проснулся, поехал домой, набросился, как дикарь, на еду, опять поспал и вернулся до зари в лабораторию. Следующим его отдыхом был часовой сон среди дня на столе в лаборатории, под охраной гарсона, а потом через полутора суток — восемь часов в кровати, с рассвета до полудня.

Но во сне он то и дело опрокидывал стойку с пробирками или разбивал колбу. Открывал фактор Икс, разрушавший стулья, столы, человеческое тело. Он смазывал своим средством Берта Тозера и доктора Биссекса, с адским злорадством наблюдая, как они исчезают, но случайно капнул на Леору, и она стала таять у него на глазах, а когда он со стоном проснулся, руки живой Леоры обнимали его, в то время как он рыдал:

— О, я не могу без тебя! Не оставляй меня никогда! Я так тебя люблю, хоть эта проклятая работа держит меня на привязи. Не уходи от меня!

Пока она сидела подле него на смятой постели, веселая, в своей полосатой ситцевой пижаме, он уснул, а через три часа проснулся с воспаленными запавшими глазами, готовый лететь в институт. А она уже заварила крепкий кофе и молча подала ему и глядела с гордостью, когда Мартин, размахивая руками, гремел:

— Готлибу не к чему больше убеждать меня в необходимости новых наблюдений! Может быть, фактор Икс присущ не только стафилококкам. Может быть, можно проследить его у всех микробов — лечить им всякую инфекционную болезнь. Микроб, питающийся микробами! Или, быть может, это химический фактор, энзим? Ох, я не знаю. Но должен узнать!

Когда он мчался в институт, он все больше проникался уверенностью, что после долголетних блужданий к чему-то пришел. Перед ним вставали видения: имя его сияет на страницах журналов и учебников; на ученых собраниях ему устраивают овации. Он был незаметной пешкой среди специалистов института. А теперь он их всех жалеет. Но когда он очутился опять перед своим рабочим столом, всякие чаянья поблекли, и Мартин снова превратился в фыркающую, вынюхивающую след ищейку, в неподкупного работника. Перед ним — высшая радость следопыта — открывались новые горные тропы, и новая сила нарастала в нем.

Целую неделю жизнь Мартина носила характер не более размеренный, чем жизнь беглого солдата в неприятельской стране — с теми же волнениями, той же тягой рыскать по ночам. Он беспрестанно стерилизовал колбы, изготовлял среды с различной концентрацией водородных ионов, переписывал старые заметки в новую тетрадь, любовно озаглавленную: «Фактор Икс, стафилококки», и вносил в нее дальнейшие наблюдения. На множестве культур, на множестве повторных посевов он с большим тщанием старался установить, будет ли фактор Икс воспроизводиться неопределенно долгий срок, будет ли он появляться вновь и вновь при пересевах культуры и действительно ли это микроб, автоматически размножающийся делением,— субмикроб, заражающий микробов.

В течение этой недели Готлиб иногда подходил, заглядывал через его плечо, но Мартин решил пока ничего ему не докладывать: он хотел сперва получить доказательства, отоспаться как следует одну ночь, а может быть, и побриться.

Удостоверившись, наконец, что фактор Икс воспроизводит себя неопределенно долго, так что и в десятой пробирке, вырастая вновь, оказывает то же действие, что и в первой, Мартин торжественно явился к Готлибу и показал ему свои выводы, а также планы дальнейшего исследования.

Старик постучал по отчету своими тонкими пальцами, внимательно прочел, поднял глаза и, не теряя времени на поздравления, набросился на Мартина с вопросами:

— Сделали вы то-то? А почему не сделали того-то? При какой температуре фактор проявляет максимальную активность? Сохраняет ли он свое действие на твердом агаре?

— Вот мой план дальнейшей работы. Мне кажется, вы найдете в нем большинство ваших предложений.

— Ага! — Готлиб пробежал глазами план и буркнул: — Как же вы не наметили проверить, станет ли фактор распространяться на мертвых стафилококках? Это же важнее всего.

— Почему?

Готлиб мгновенно проник в самое сердце джунглей, в которых Мартин плутал много дней:

— Потому что это покажет, действительно ли вы имеете дело с живым вирусом.

Мартин почувствовал себя униженным, но Готлиб просиял:

— Вы открыли большое явление. Теперь не давайте директору проведать о нем и слишком рано удариться в энтузиазм. Я рад, Мартин!

В голосе его было нечто такое, что заставило Мартина, как в

хмелю, броситься по коридору — назад к работе... и к бессонным ночам.

Что есть фактор Икс — химическое вещество или микроб,— Мартин не мог установить, но изначальный фактор несомненно процветал. Его можно было без конца подвергать пересеву; Мартин определил наиболее для него благоприятную температуру и удостоверился, что на мертвых стафилококках он не распространяется. Добавил содержащую «фактор» каплю в культуру стафилококка, покрывшую серой пленкой поверхность твердого агара, и капля четко обрисовалась, испещренная плешинками, когда враг повел атаку, так что срез агара выглядел точно воск, источенный молью. Но недели через две показался один из подводных камней, о которых предупреждал Мартина Готлиб.

Опасаясь сотен бактериологов, которые, как только появится его статья, ополчатся, чтоб его убить, Мартин хотел удостовериться, что его выводы могут всегда найти подтверждение. Он получил в больнице гной из множества нарывов на руках, на ногах, на спине, пробовал прийти к тем же результатам вторично — и потерпел полное поражение. Фактор Икс не обнаруживался ни в одном другом нарыве, и Мартин печально пошел к Готлибу.

Старик подумал, задал два-три вопроса, нахохлился в своем мягком кресле, потом сказал:

— Какого рода был первый карбункул?

— Глутеальный.

— Ага, значит, фактор Икс может присутствовать в содержимом кишечника. Поищите — у людей с нарывами и без нарывов.

Мартин помчался к себе. На той же неделе он проследил фактор в содержимом кишечника и в других глутеальных нарывах, больше всего находя его в нарывах, которые «излечивались сами собой»; в восторге от своей победы и от мудрости Готлиба, он пересеивал свои культуры с вновь найденным фактором. Он поставил ряд опытов с кишечными микроорганизмами и открыл фактор Икс в отношении бациллы coli. В то же время он передал некоторый запас первоначального фактора Икс для лечения фурункулов одному врачу из Нижнеманхэттенской больницы и получал от него восторженные отчеты об исцелениях и восторженно настойчивые вопросы о разгадке этого чуда.

С этими новыми победами он пришел, торжествуя, к Готлибу, и тут его неожиданно высекли:

— О! So! Прекрасно! Вы даете лекарство на испытание врачу, не кончив своего исследования? Вам нужно, чтобы жульнические отчеты об исцелениях проникли в газеты, чтобы фас засыпали телеграммами со всех мест и чтобы все на свете люди с прыщом на носу повалили к вам лечиться, так что фы не сможете работать?

Фы хотите быть чутотворцем, а не ученым? Не хотите довести работу до конца? Заигрываете с кишечными палочками, не проработав до конца стафилококков — даже не начав еще толком исследования,— не выяснив еще, в чем *природа* вашего фактора Икс? Вон из моего кабинета! Вы... вы... ректор колледжа! Завтра я услышу, что вы приглашены на обед к Табзу и увижу в газетах ваш портрет — доктор Эроусмит, модный торговец целебными средствами!

Мартин, сгорбившись, вышел и, когда он встретил в коридоре Билли Смита и маленький химик прочирикал: «Нащупали что-то важное? Я вас давно не видел!» — Мартин ответил тоном ассистента дока Викерсона из Элк-Милза:

— Нет... какое там!.. Так, вожусь помаленьку.

3

Внимательно и беспристрастно, как стал бы он наблюдать развитие болезни у зараженной морской свинки, наблюдал Мартин за самим собою — как сумасшедшее переутомление переходит у него в неврастению. Не без интереса он сделал сводку симптомов неврастении, следил, как они один за другим возникают у него, и спокойно шел на опасность.

Раздражительность, делавшая его совершенно невыносимым для общежития, сменилась вскоре болезненной нервозностью, в которой он, протянув руку за предметом, не мог его схватить, ронял пробирки, вздрагивал, если неожиданно раздавались за спиною шаги. Резкий голос доктора Йио сделался для него пыткой, личным оскорблением, и когда Йио останавливался в коридоре с кем-нибудь поговорить, Мартин ждал, втянув голову в плечи, и шептал про себя:

— Замолчи... замолчи... Замолчи...

Дальше им овладела навязчивая потребность читать задом наперед слова, налетавшие на него с вывесок.

Когда он стоял в вагоне метро, ухватившись за ремень, так что выкручивало плечо, он всматривался во все объявления и выискивал новые слова, чтобы прочесть их навыворот. Некоторые были удивительно приятны: из «не курите» получалось задорное и милое «етирукен», и Бродвей был довольно сносен в виде «йевдорб», но «штампы», «хворост», «сырье» давали неутешительные результаты; а «мощность», превращенная в «тьсонщом», была омерзительна.

Когда ему пришлось трижды вернуться в лабораторию, чтоб удостовериться, что он не забыл закрыть окно, Мартин спокойно сел, сообщил самому себе, что дошел до точки, и поставил на об-

суждение вопрос, вправе ли он рисковать дальше. Обсуждение не было вполне добросовестным: новые возможности работы казались такими грандиозными, что он не мог принимать всерьез свое маленькое «я».

Под конец в него вселился страх.

Началось с детской боязни темноты. Ночи напролет он не спал, опасаясь воров; шаги в передней означали, что подкрадывается грабитель; заскребется ли что-то на пожарной лестнице — значит, лезет убийца с кольтом в руке. Мартин представлял это так отчетливо, что должен был вскакивать с кровати и боязливо вглядываться в окно, и если внизу на тротуаре в самом деле тихо стоял человек, он холодел от ужаса.

Красный отсвет на небе неизменно означал пожар. Его застигает в кровати, он задыхается в дыму, умирает в корчах.

Он превосходно знал, что страхи его нелепы, но это им нисколько не мешало овладевать всем его существом.

Сперва ему было стыдно признаваться Леоре в этой мнимой слабости. Рассказать, что трусишь, как ребенок? Но, пролежав всю ночь, не смея шелохнуться, готовый закричать и чувствуя на шее веревку убийцы, пока спасительный рассвет не вернул миру надежную устроенность, Мартин пробурчал что-то о «бессоннице» и после этого из ночи в ночь укрывался в объятия Леоры, и она его ограждала от ужасов, защищала от воров-душителей, заслоняла от огня.

Он составил контрольный список излюбленных неврастенических страхов: агорафобия, клаустрофобия, пирофобия, антропофобия и так далее, кончая тем, что он объявил «самой дурацкой, претенциозной, знахарской выдумкой изо всех этих чертовых фобий», а именно — сидеродромофобией, то есть боязнью езды по железной дороге. В первый же вечер он смог проверить себя на пирофобию: они пошли с Леорой в мюзик-холл, и, когда танцовщица на сцене зажгла в жаровне огонь, Мартин сидел и ждал, что в театре вот-вот начнется пожар. Боязливо водил он глазами по рядам кресел (все время злясь за это на самого себя), высчитывал свои шансы добраться до выхода и, только очутившись на улице, успокоился.

Но когда вступила в свои права антропофобия, когда он увидел, что ему делается не по себе, если слишком близко подходит к нему человек,— тогда Мартин благоразумно просмотрел свой список и, видя, как много «фобий» уже проверено, разрешил себе отдохнуть.

Он бежал в Вермонт побродить четыре дня по холмам — один, чтобы можно было шагать быстрее. Ехал он ночью в спальном вагоне и получил возможность сделать весьма интересные наблюдения по сидеродромофобии.

Он лежал на нижней полке, с маленькой, сбившейся в ком подушкой под головой. Его раздражало, когда зеленая занавеска, приоткрываясь, вызывала колыхание его повешенного рядом на крючке пиджака. Оконная штора на шесть дюймов не доходила до низу; под ней оставалось молочно-белое пятно, по которому пробегали желтые полосы света, назойливо-яркие в шумной темноте его маленькой камеры. Он дрожал от страха. Как ни старался он честно отдыхать, предчувствия снова и снова сжимали его стальным обручем. Когда поезд останавливался между станциями и от паровоза доносился вопросительный, тревожный свисток, Мартин цепенел в уверенности, что случилось что-то скверное: провалился мост, впереди поезд и, может быть, другой уже налетает сзади и вот-вот врежется в них со скоростью шестидесяти миль в час...

Он воображал крушение и страдал больше, чем если бы оно и впрямь случилось, потому что ему рисовалась не одна катастрофа, а шесть сразу с полным ассортиментом несчастий... Колесо, что прямо под ним, оно, конечно, не должно так сильно стучать,— почему тот тип с молотком, проклятый, не заметил этого на последней большой остановке? Колесо под ним разлетается, вагон кренится, падает, его волочит на боку... Столкновение, грохот, вагон мгновенно превращается в омерзительное месиво, сам он, Мартин, стиснут полками, вклинившимися одна в другую. Визги, смерть, стоны, ползущее пламя... Вагон опрокидывается, летит с насыпи в реку; сам он старается вылезть в окно, вода уже просочилась, охватывает тело... Он стоит у искалеченного вагона, раздумывая, остаться ли в стороне, оберегать только свою священную работу, или идти назад спасать людей и самому погибнуть.

Видения были так реальны, что стало невмоготу лежать и ждать конца. Он потянулся зажечь над полкой лампу, но не нашел выключателя. В волнении он выхватил коробок из кармана пальто, чиркнул спичкой, включил свет. Он увидел себя под простыней отраженным в полированном дереве верхней полки — точно труп в гробу. Торопливо выполз он в брюках и пальто поверх сорочки (он как-то не осмеливался выказать столько доверия к поезду, чтобы надеть пижаму) и зашагал босыми брезгливыми ногами в курительное отделение.

Проводник сидел, поджавши ноги, на откидном стуле и чистил грозную шеренгу башмаков.

Мартина потянуло к его ободряющему обществу. Он попробовал заговорить:

— Теплая ночь.

— Угу,— сказал проводник.

В курительном Мартин сидел, согнувшись пополам, на холодном кожаном сиденье и детально изучал медный умывальный таз.

Он чувствовал, что проводник глядит осуждающе, но утешился, рассчитав, что тот должен делать этот путь три раза в неделю, десятки тысяч миль в год,— и, очевидно, до сих пор не убился, значит, есть некоторый шанс дожить до утра.

Он курил до тех пор, пока у него не защипало язык и пока, подбодренный спокойствием проводника, не начал сам смеяться над воображаемыми катастрофами. Он сонно поплелся на свое место.

Нервы тотчас опять разыгрались, и он, не смыкая глаз, пролежал до рассвета.

Четыре дня он бродяжил, купался в холодных ручьях, спал под деревьями или в стогах соломы и вернулся (но дневным поездом!) с достаточным запасом энергии, чтобы продержаться до того времени, когда его опыты из одуряющего триумфа превратятся в здоровую и занимательную повседневную работу.

ГЛАВА XXIX

Исследование фактора Икс продолжалось уже около шести недель, и среди персонала зародились кое-какие подозрения. Многие стали намекать Мартину, что ему может понадобиться их помощь. Он всех избегал. Он не желал оказаться втянутым ни в одну из конкурирующих фракций, хоть иногда и скучал по Терри Уикету, все еще сражавшемуся во Франции, по Терри Уикету и его грубому требованию честности.

Как прослышал впервые директор о том, что Мартин напал на золотые россыпи,— неизвестно.

Доктору Табзу надоело быть полковником — в Нью-Йорке слишком много развелось генералов, и вот уже две недели он не находил Идеи, которая могла бы внести переворот хотя бы в небольшой уголок мира. Однажды утром он ворвался к Мартину — бакенбарды на щеках, как живые,— и начал его упрекать:

— Над каким это таинственным открытием вы работаете, Эроусмит? Я спрашивал доктора Готлиба, но он отнекивается: говорит, что вы хотите сперва удостовериться. Я должен об этом знать, и не только потому, что я с самым дружественным интересом отношусь к вашей работе, но и потому, что я как-никак ваш директор!

Мартин почувствовал, что у него отбирают его единственное сокровище, но он не видел возможности отказать. Он принес свои записи и срезы агара с плешинками на месте разрушенных бацилл. Табз ахнул, схватился за бакенбарды, с минуту внушительно помолчал, потом укоризненно воскликнул:

— Вы хотите сказать, что вам удалось, по-видимому, открыть инфекционное заболевание у бактерий — и вы утаили это от меня? Мой милый мальчик, мне кажется, вы сами не совсем понимаете, что вы напали на чудесный способ истребления патогенных бактерий... И вы от меня скрываете!..

— Просто, сэр, я хотел сперва убедиться наверняка...

— Я уважаю вашу осторожность, но вы должны понять, Мартин, что основная цель нашего института — побеждать болезни, а не вести аккуратные научные записи! Возможно, что вы напали на одно из тех открытий, которые делают эпоху; это то, к чему мы всегда стремились — мистер Мак-Герк и я... Если ваши выводы подтвердятся... Я спрошу мнение доктора Готлиба.

Он раз пять или шесть пожал Мартину руку и выбежал вон. На следующий день он вызвал Мартина в свой кабинет, опять жал ему руку, сказал Перл Робинс, что знакомство с доктором Эроусмитом для них — большая честь, потом повел его на вершину горы и показал ему все царства мира:

— Мартин, я питаю относительно вас некоторые замыслы. Вы блестяще ведете работу, но вам недостает широты кругозора, вы забываете о насущных нуждах человечества. Институт организован на самых гибких началах. У нас нет разграниченных отделов, а есть просто ячейки, образуемые вокруг исключительных людей, таких, как наш добрый друг Готлиб. Если новый работник оказывается талантлив, мы спешим обеспечить ему все возможности, а не оставляем его корпеть над индивидуальной работой. Я самым тщательным образом обдумал ваши выводы, Мартин; переговорил о них с доктором Готлибом — хоть он, должен я сказать, не совсем разделяет мой энтузиазм относительно непосредственных практических результатов. И я решил представить Совету попечителей план учреждения нового отдела микроорганической патологии с вами во главе! У вас будет ассистент — настоящий доктор философии с дипломом,— дополнительное помещение, технические силы, и вы будете отчитываться непосредственно передо мною — будете ежедневно докладывать о ходе работ не Готлибу, а мне. По моему особому распоряжению вы будете освобождены от всякой военной работы, но можете сохранить мундир и все такое. И оклад ваш, я полагаю — если мистер Мак-Герк и остальные попечители утвердят мое предложение,— ваш оклад повысят с пяти тысяч в год до десяти.

Да... Лучше всего предоставить вам большую комнату наверху, справа от лифта. Она сейчас свободна. А кабинет в том же коридоре, напротив.

Вы получите всю необходимую помощь. Конечно, мой мальчик, вам не к чему сидеть ночи напролет, надрываться, делая все

самому. Вы должны только обдумывать план и по возможности расширять работу, стараться охватить возможно большее поле. Мы распространим ваш принцип на все! Десятки врачей в больницах будут нам помогать, подтверждать наши выводы, расширять сферу применения... Мы будем раз в неделю собирать совещания этих врачей и помощников, под нашим с вами совместным председательством... Если бы такие люди, как Пастер и Кох, располагали подобной системой, насколько шире был бы *охват* их работы! Продуктивное всеобщее *сотрудничество* — вот основной принцип сегодняшней науки. Время глупого, завистливого, идущего ощупью индивидуального исследования миновало навсегда.

Мой милый друг, мы, может быть, нашли великую вещь — второй сальварсан! Мы совместно опубликуем наше открытие в печати! Мы весь мир заставим о нем говорить! Знаете, я всю эту ночь не сомкнул глаз, размышляя о наших великолепных возможностях! Через несколько месяцев мы, может быть, научимся излечивать не только стафилококковые инфекции, но также и брюшной тиф и дизентерию! Как ваш коллега, Мартин, я не допускаю и мысли о том, чтобы урывать долю той великой чести, которую вы всецело заслужили, но я должен сказать, что, если бы вы действовали в более тесном контакте со мною, вы бы уже давно пришли в своей работе к практическим доказательствам и результатам.

Мартин брел назад в свою комнату, ослепленный видением собственного отдела, ассистентов, рукоплещущего мира... и десяти тысяч в год. Но ему казалось, что у него отняли его работу, отняли его «я»; он больше не будет Мартином и учеником Готлиба, нет, он станет человеком скучного веселья, доктором Эроусмитом, Главою отделения микроорганической патологии, который должен ходить в крахмальном воротничке, и произносить речи, и никогда не чертыхаться.

Его одолевали сомнения. Может быть, фактор Икс будет развиваться только в пробирке: может быть, он не сыграет большой роли в лечении болезней? Надо узнать, узнать!

В лабораторию ворвался Риплтон Холаберд:

— Мартин, дорогой мой, директор только что рассказал мне о вашем открытии и о своих замечательных планах касательно вас. Я рад поздравить вас от всего сердца и приветствовать, как сотоварища, руководителя отдела... И вы так молоды... вам ведь только тридцать четыре, да, не правда ли? Какое блистательное будущее! Подумайте, Мартин (майор Холаберд отбросил свое достоинство и сел верхом на стул), подумайте, что вас ждет впереди! Если из вашей работы в самом деле получится толк, почестей на вас посыплется без конца, счастливец вы этакий! Избрание в научные общества, любая кафедра, какую только вы пожелаете, пре-

мии, крупнейшие ученые домогаются посоветоваться с вами, прекрасное положение в обществе!

А теперь послушайте, друг мой: вам, верно, известно, как я близок с доктором Табзом, и я не вижу причины, почему бы вам не примкнуть к нам, и мы втроем ворочали бы здесь делами по своему усмотрению. Разве не мило со стороны директора, что он с такой готовностью спешит вас признать и всячески идет вам навстречу! Такая сердечность — и такая широкая поддержка. Теперь вы узнали его по-настоящему. И мы втроем... мы, пожалуй, сможем увенчать здание научного сотрудничества органом, который осуществлял бы контроль не только над Мак-Герковским, но и над всеми другими институтами и естественнонаучными отделениями всех американских университетов, и тогда исследования стали бы по-настоящему плодотворны. Когда доктор Табз удалится от дел, то я (с вами я могу говорить начистоту) — я имею основания предполагать, что Совет попечителей назначит меня его преемником. И тогда, мой друг, если ваша работа увенчается успехом, мы с вами будем вместе вершить дела!

Откровенно говоря, в нашем кругу очень мало людей, которые сочетали бы первоклассные достижения в науке с подобающими личными качествами (вспомните бедного старого Йио!), а вы — если бы вы преодолели свойственную вам некоторую резкость и ваше нежелание ценить видных общественных деятелей и обаятельных женщин (носить фрак вы, слава богу, умеете... когда захотите!), право, мы с вами могли бы сделаться диктаторами науки по всей стране!

Мартин не находил ответа, пока Холаберд не ушел.

Его охватило омерзение перед крикливой непотребной тварью, именуемой Успехом и требующей от человека, чтоб он оставил спокойную работу и отдал себя на растерзание слепым поклонникам, которые задушат его лестью, и слепым врагам, которые его забросают грязью.

Он кинулся к Готлибу, точно к мудрому и нежному отцу, и просил спасти его от Успеха, и Холабердов, и А. де Уитт Табзов с их сворой ученых, читающих доклады, и авторов, охотящихся за степенью, церковных ораторов, видных хирургов, прислуживающихся журналистов, титулованных спортсменов, сентиментальных королей коммерции, политиков, балующихся литературой, генералов, ударившихся в политику, дающих интервью сенаторов, изрекающих сентенции епископов.

Готлиб встревожился:

— Когда Табз пришел ко мне со своим кошачьим мурлыканьем, я понял, что он затевает что-то идеалистическое и гнусное, но я не думал, что он так быстро — в один день! — попробует сде-

лать из вас граммофонную трубу. Придется мне препоясать чресла и выйти на бой с черными силами гласности!

Он потерпел поражение.

— Я никогда вас ни в чем не стеснял, доктор Готлиб,— ответил ему Табз,— но, черт возьми, я все-таки директор! И должен сказать, что я — может быть, в силу моей беспримерной тупости,— не вижу ничего ужасного в том, что Эроусмиту будет предоставлена возможность излечивать тысячи страдальцев и получить в обществе вес и почет!

Готлиб обратился к Россу Мак-Герку.

— Макс,— заявил Мак-Герк,— я люблю вас, как брата, но Табз — директор, и если он считает, что Эроусмит ему нужен (это тот худощавый паренек, который часто трется у вас в лаборатории?), то я не вправе ставить ему препятствия. Я должен его поддержать, как я поддержал бы капитана любого из наших кораблей.

Мартин не мог сделаться руководителем отдела, пока не соберется и не вынесет своего одобрения Совет попечителей, в состав которого, кроме самого Мак-Герка, входили ректор Уилмингтонского университета и три видных профессора из других университетов. Табз тем временем настаивал:

— А теперь, Мартин, вы должны срочно огласить в печати ваши выводы. Приступайте к делу немедленно. В сущности, вам давно уже следовало это сделать. Набросайте как можно скорее сводку материалов по вашей работе и пошлите заметку в общество Экспериментальной биологии и медицины, чтоб ее напечатали в очередном выпуске «Трудов».

— Но я не готов для печати! Я хочу заклепать все щели, прежде чем сообщать что-нибудь во всеуслышание!

— Ерунда! У вас устарелый взгляд! В наши дни нельзя замыкаться в узком кругу — наступил век конкуренции не только в коммерции, но и в искусстве, и в науке. Сотрудничество со своею группой, да! Но с теми, кто вне этой группы, конкуренция не на жизнь, а на смерть! Заклепаете все щели как следует быть,— но не сейчас, а после: мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь нас обогнал. Не забывайте: вы должны создать себе имя. И, вернее всего, вы его создадите, работая совместно со мною — к наивысшей пользе для наибольшего числа людей!

Когда Мартин приступил к статье, все время думая, не подать ли в отставку, но отказываясь от этой мысли, потому что все-таки Табз казался ему лучше всяких Пиккербо,— перед ним встало видение целого мира маленьких ученых, из которых каждый деловито хлопочет в камере без крыши. Восседая на облаке, за ними наблюдает богоподобный Табз в ореоле пышных бакенбардов, готовый одним дуновением смести любого из маленьких человечков,

если тот утратит важный вид и позволит себе задуматься над чем-нибудь, о чем Табз не предписал ему думать. А за их суматошным курятником, невидимая для надзирателя Табза, стоит на грозовом горизонте худая исполинская фигура издевающегося Готлиба.

Литературное изложение давалось Мартину нелегко. Он тянул и тянул со своей статьей, а Табз сердился и подхлестывал его. Опыты приостановились; маленькую, лишенную крыши камеру Мартина наполнила печаль, и скрип пера, и комканье исписанных листов.

Впервые он не нашел прибежища в Леоре. Она говорила:

— А почему нет? Будет совсем неплохо получать десять тысяч в год, Рыжик. Уфф! Мы всегда были так бедны, а ты очень любишь хорошие квартиры и хорошие вещи. И потом — распоряжаться собственным отделом... Ты ведь сможешь по-прежнему советоваться с Готлибом. Он тоже заведует отделом, да? И все-таки остается независимым от доктора Табза. О, я голосую «за»!

Постепенно под нажимом возрастающего почета, оказываемого ему за общими завтраками в институте, Мартин и сам склонился «голосовать «за»!

«Мы снимем квартиру в одном из новых домов на Парк-авеню. Они, я думаю, стоят не дороже трех тысяч в год,— размышлял он.— Куда как соблазнительно — принимать людей в таком месте. Конечно, нельзя допустить, чтобы это мешало работе... Но все же приятно».

И еще приятней оказалось получить признание в обществе, как ни мучительно было принимать это признание.

Капитола Мак-Герк, которая до сих пор если и замечала его, то видела в нем предмет менее занимательный, чем центрифуга Глэдис, вдруг позвонила ему по телефону: «...Доктор Табз в таком восторге, и мы с Россом так рады... Было бы чудесно, если бы вы и миссис Эроусмит пришли отобедать с нами на этой неделе, в четверг, в половине девятого».

Мартин подчинился королевскому приказу.

Он был убежден, что, побывав на приемах у Ангуса Дьюера и Риплтона Холаберда, видел настоящую роскошь и понимает, что значит изысканный званый обед. Они с Леорой без особенного волнения отправились в дом Росса Мак-Герка на одной из Семидесятых улиц, близ Пятой авеню. С улицы дом поражал необычным нагромождением каменной лепки, и резных карнизов, и бронзовых решеток, но не казался большим.

Внутри же каменные своды возносились ввысь, как в соборе. Эроусмитов смутили лакеи, поверг в трепет автоматический лифт, подавил огромный холл, где было полно итальянских ларцов и кожаных фолиантов, потрясла гостиная, завешанная акварелями, а

царственный белый атлас и жемчуга Капитолы низвели их до положения деревенских простаков.

Было девять-десять человек видных гостей — мужчины и женщины незначительной внешности, но имена их звучали знакомо, как название мыла «Снежинка».

Мартин мучительно гадал: полагается здесь предложить руку какой-нибудь незнакомой даме и вести ее обедать? Но, к его радости, все толпой повалили в столовую, подгоняемые любезным басом Мак-Герка.

Столовая была великолепна и крайне безобразна: тисненая кожа, истерика позолоты и полный ассортимент слуг, следивших, умеют ли гости пользоваться вилочками для спаржи. Мартина посадили (он, кажется, так и не сообразил, что был почетным гостем) между Капитолой Мак-Герк и дамой, о которой ему удалось узнать только то, что она сестра какой-то графини.

Капитола склонилась к нему в своем тяжелом белом великолепии.

— Скажите, доктор Эроусмит, над каким это вы работаете открытием?

— Да я, собственно... я пробую выяснить...

— Доктор Табз говорил нам, что вы нашли чудесные новые пути в борьбе с болезнями.— Ее «л» звучало мелодичным журчаньем летних ручьев, «р» — трелью соловья в кустарнике.— О, что, что может быть прекраснее, чем облегчать нашей горестной старой земле бремя болезней! Но объясните точнее, что именно вы делаете?

— Да, собственно... пока еще рано говорить с уверенностью, но если... Дело, видите ли, вот в чем. Вы берете определенных микробов, например, стафило...

— Ах, интереснейшая вещь — наука, но как ее трудно понять простому смертному вроде меня! Однако мы все так скромны. Мы смиренно ждем, пока ученые, вроде вас, обеспечат миру спокойствие для дружбы и любви...

Засим Капитола перенесла все внимание на другого своего соседа. Мартин глядел прямо перед собой, ел и страдал. Сестра графини, желтая сухопарая женщина, пожирала его глазами. Он повернулся к ней, несчастный и покорный (при этом он приметил, что у нее одной вилкой больше, чем у него, и встревожился, не допустил ли он где-то ошибку).

Она протрубила:

— Вы, как я слышала, ученый?

— Д-да.

— Главный недостаток ученых, что они не понимают красоту. Они очень холодны.

Риплтон Холаберд ответил бы веселой шуткой, но Мартин сумел только промямлить:

— Нет, мне кажется, это неверно.

Он обдумывал, можно ли выпить второй бокал шампанского.

Когда после портвейна, рóспитого хоть и в мужской, но крайне чопорной компании, их согнали обратно в гостиную, Капитола налетела на него, шумя белыми хищными крыльями.

— Доктор Эроусмит, дорогой, за обедом мне так и не удалось расспросить вас, что, в сущности, вы делаете... Ах! Вы видели моих милых малюток в приюте на Чарльз-стрит? Я уверена, из них очень многие станут замечательными учеными. Вы должны приехать и прочесть им лекцию.

В ту ночь он жаловался Леоре:

— Тяжело становится выносить эту стрекотню. Но, видно, придется выучиться находить в ней удовольствие. Подумай, как будет приятно самим задавать обеды, когда я стану руководителем отдела. Будем приглашать настоящих людей — Готлиба и других.

На следующее утро Готлиб тихо вошел в лабораторию Мартина. Он стал у окна; он как будто избегал смотреть Мартину в глаза. Он вздохнул:

— Случилась скверная штука... Впрочем, может быть, не совсем скверная.

— Что такое, сэр? Не могу ли я помочь?

— Скверная не для меня. Для вас.

«Опять он заведет насчет опасностей быстрого успеха! — подумал с досадой Мартин.— Мне это порядком надоело».

Готлиб подошел к нему:

— Обидно, Мартин, но не вы первый открыли фактор Икс.

— Ч... ч... что?

— Его открыл еще и другой.

— Невозможно! Я обрыскал всю литературу, и, кроме Туорта, никто даже и отдаленно не помышлял... Боже мой! Доктор Готлиб, ведь это значит, вся моя работа за все эти недели — все было впустую, и я остаюсь в дураках...

— Ничего не поделаешь. Д'Эрелль из пастеровского института только что опубликовал в «Comptes Rendus, Académie des Sciences» [1] свои материалы — это ваш фактор Икс, совершенно то же. Только он его называет «бактериофаг».

— Значит, я...

Мысленно Мартин досказал: «Значит, я не буду ни руководителем отдела, ни знаменитостью, ничем! Возвращаюсь к разбитому

---

[1] «Доклады Академии наук» *(франц.)*.

корыту». Силы сразу оставили его, цель ушла, и божий свет потускнел до грязно-серого полумрака.

— Вы, понятно,— сказал Готлиб,— можете теперь выдвинуть претензию на одновременное открытие и всю свою жизнь убить на борьбу за то, чтоб вас признали. Или вы можете забыть это, написать Д'Эреллю милое поздравительное письмо и вернуться к своей работе.

Мартин пробормотал:

— Я, конечно, вернусь к работе. Больше ничего не остается. Табз, я думаю, наплюет теперь на новый отдел. У меня будет время доработать как следует свое исследование — может быть, у меня окажутся некоторые подробности, которых Д'Эрелль не дает, и я их опубликую в порядке подтверждения... Провались он ко всем чертям!.. Где его статья? А вы, верно, рады, что я спасен и не превращусь в Холаберда?

— Я должен бы радоваться. И это грех против моей религии, что я не рад. Но я уже стар. И вы мой друг. Мне грустно, что вы лишились удовольствия покичиться, вкусить успеха — на время. Мартин, это очень хорошо, что вы хотите подтвердить выводы Д'Эрелля. Это наука: работать и не огорчаться... не слишком огорчаться, если слава выпадает на долю другого... Сказать мне Табзу о приоритете Д'Эрелля или вы сообщите сами?

Готлиб отошел к дверям, грустно оглядываясь на Мартина.

Явился Табз и заныл:

— Ну что бы вам напечатать раньше! Говорил же я вам, доктор Эроусмит! Вы меня поставили в очень затруднительное положение перед Советом попечителей. Теперь, понятно, не может быть и речи о новом отделе.

— Да,— сказал безучастно Мартин.

Он аккуратно сложил и убрал листки, на которых начал свою статью, и повернулся к рабочему столу. Он глядел на сверкающую колбу, пока она его не заворожила, как хрустальный шар. Он думал:

«Было бы много лучше, если бы Табз с самого начала не совался. К черту этих стариканов, этих людей скучного веселья, этих важных господ, которые приходят и предлагают вам почести. Деньги. Ордена. Титулы. Дурят вам голову посулом власти. Почести! Получишь их, заважничаешь, а потом, когда ты к ним привык и вдруг лишился, чувствуешь себя идиотски...

Итак, я не буду богат. Леора, бедная девочка! Не получит она новых платьев, и квартиры, и всего такого. Мы... Нам не будет теперь так уютно, как раньше, в нашей старой квартирке. Ладно, нечего ныть.

Жаль, что нет Терри.

Люблю Готлиба. Другой бы злорадствовал...

«Бактериофаг» — предложил этот француз. Слишком длинно. Лучше просто фаг. Я вынужден даже принять его название... для моего, моего фактора Икс! Ну, что ж! Мне было хорошо в эти ночи, когда я работал. Работал...»

Он вышел из транса. Представил себе колбу с мутным от стафилококков бульоном. Побрел в кабинет Готлиба, взял журнал со статьей Д'Эрелля и читал ее пристально, восторженно.

— Вот это человек! Вот это ученый! — восклицал он с радостным смешком.

Идя домой, он обдумывал ряд опытов с фагом (как он отныне стал называть фактор Икс) над дизентерийной бациллой Шига, обдумывал множество вопросов и замечаний, которыми забросает Д'Эрелля, утешал себя надеждой, что Табз не сразу его уволит, и облегченно вздыхал, вспоминая, что не надо стряпать бессмысленную преждевременную статью о фаге, что можно остаться озорным, не связанным, в мягком воротничке, что не придется стать рассудительным, степенным и вечно чувствовать над собою надзор.

— Черт подери! — усмехнулся он.— Табз, я думаю, здорово разочарован! Еще бы! Он располагал уже подписываться вместе со мною под всеми моими статьями и забрать себе мою славу. А теперь — за опыты с бациллой Шига... Бедная Ли, придется ей, видно, привыкнуть к тому, что я работаю по ночам.

Леора, как бы она к этому ни отнеслась в душе, ничего ему не сказала — или почти ничего.

ГЛАВА XXX

1

Целый год, спокойствие которого нарушили только возвращение Терри Уикета после перемирия и его умные, озорные насмешки, Мартин тянул свою лямку. Неделю за неделей он корпел над сложными опытами с фагом. Его работа — его руки, его техника — сделались более умелыми, дни уравновешеннєи, спокойней.

Он вернулся к своим вечерним занятиям. От математики перешел к физической химии; постиг закон действия масс; стал относиться так же иронически, как Терри, к тому, что тот называл «будуарной политикой» Табза и Холаберда; много читал по-французски и по-немецки; по воскресеньям после обеда катался на байдарке по Гудзону; и вместе с Леорой и Терри ознаменовал веселым кутежом день, когда институт очистился от скверны, продав гордость Холаберда — центрифугу Глэдис.

Он подозревал, что доктор Табз, чью грудь украсил теперь орден Почетного легиона, не выставил его из института только благодаря вмешательству Готлиба. Но, возможно, Табз и Холаберд надеялись, что он опять набредет ненароком на сенсационное чудо, так как оба они вежливо разговаривали с ним за завтраком — вежливо, но с грустной укоризной и глубокомысленными замечаниями, что ученому следует пораньше публиковать свои открытия, а не тянуть волынку.

Прошло уже больше года с появления опередившей Мартина статьи Д'Эрелля, когда Табз явился в его лабораторию с новым предложением.

— Я много думал, Эроусмит,— сказал он.

Это было видно.

— Открытие Д'Эрелля не привлекло к себе того широкого интереса, какого я ожидал. Будь Д'Эрелль здесь, с нами, я позаботился бы, чтоб ему уделили должное внимание. В газетах почти ничего не было. Пожалуй, мы еще можем что-нибудь предпринять. Вы, как я понимаю, занимались это время тем, что доктор Готлиб назвал бы «фундаментальным исследованием». Теперь, я думаю, приспела пора дать фагу практическое лечебное применение. Я предложил бы вам поискать фаг к возбудителям воспаления легких, чумы, может быть, брюшного тифа и, если опыты пройдут удачно, провести практическое испытание в сотрудничестве с больницами. Довольно заноситься и корпеть над деталями. Давайте действительно лечить людей!

Мартин был не совсем свободен от страха, что его уволят, если он ослушается. И он был тронут, когда Табз добавил:

— Эроусмит, я подозреваю, вам кажется иногда, что мне не хватает уважения к точной науке, когда я требую практических результатов. Но я... Что-то я не вижу тех высоких и плодотворных достижений, которые наш институт должен показать при наших возможностях. Я хотел бы, мой милый, пока я жив, сделать что-нибудь большое, что-нибудь ценное для страдающего человечества. Не могу ли я получить это от вас? Идите лечить чуму!

На этот раз мохнатая степенность Табза уступила место усталой улыбке.

В тот же день, скрывая от Готлиба, что забросил исследование сущности фага, Мартин приступил к борьбе с воспалением легких, чтобы потом пойти в атаку на Черную Смерть. Когда же Готлиб об этом узнал, он был поглощен собственными заботами.

Мартин впрыскиванием фага вылечивал кроликов от плевропневмонии и, накормив их фагом, пресекал распространение болезни. Он установил, что произведенный фагом иммунитет может стать заразен, как болезнь.

Он был доволен собой и надеялся порадовать Табза, но тот последние недели его не замечал. Директор носился с новой идеей: он затеял организовать Лигу Культурного Воздействия.

Он собирался нормировать и координировать все виды духовной деятельности в Америке путем создания центрального бюро, которое направляло бы, подхлестывало, слегка осаживало, но в общем поощряло бы химию и разрисовку тканей, экспедиции в Арктику и поэзию, изучение Библии и животноводство, негритянские песни и коммерческую корреспонденцию. Он завязал отношения с дирижерами симфонических оркестров, директорами школ живописи, антрепренерами странствующих курсов «Шатоквы», либеральными губернаторами, бывшими священниками, которые пишут для газетных синдикатов философские эссе,— словом, со всеми владельцами интеллектуальных богатств Америки — в частности, с одним миллионером по фамилии Минниген, который с недавнего времени занялся поднятием художественного уровня кинофильмов.

Табз носился по институту, приглашая научных работников вступить в Лигу Культурного Воздействия с ее соблазнительными комиссиями, заседаниями, банкетами. Большинство ворчало: «Очередное извержение Везувия», и забывало о затеях Табза, но один отставной майор каждый вечер ходил на заседания с очень серьезными дамами, которые являлись в изысканных туалетах, рыдали над «неисчислимой потерей духовных и нравственных лошадиных сил из-за отсутствия координации» и уезжали домой в лимузинах.

Поползли слухи. Доктор Билли Смит шепотом передавал, что, зайдя в кабинет к Табзу, он услышал, как Мак-Герк орет на директора: «Ваше дело — управлять моей лавочкой, а не работать на этого вора и жулика, на этого кинодьявола Пита Миннигена!»

Наутро, когда Мартин подходил к своей лаборатории, он заметил переполох, перешептывание, толкотню в коридорах и, не веря своим ушам, услышал:

— Табз подал в отставку!

— Не может быть!

— Говорят, он перешел в свою Лигу Культурного Воздействия. Минниген отвалил Лиге уйму денег, и Табз будет там получать вдвое больший оклад, чем здесь!

2

Тотчас все, кроме таких ревнителей науки, как Готлиб, Терри, Мартин и ассистент отдела биофизики, приостановили свою работу. Фракции заволновались, гудел благожелательный и обольсти-

тельный басок ученых, желавших занять освободившийся пост директора института.

Риплтон Холаберд, похожий на столяра биолог Йио, руководитель биофизического отдела весельчак Гиллингам, Аарон Шолтейс — русский еврей, пришедший в лоно Высокой Епископальной церкви,— все они всем своим видом выражали скромное согласие. Они были любовно нежны с каждым, кого встречали в коридоре, как бы ни были резки еще недавно частные их разговоры. В добавление к ним нашлось немало профессоров и научных работников из других институтов, почитавших своим долгом приходить и совещаться с Россом Мак-Герком по каким-то неопределенным вопросам.

Терри сказал Мартину:

— Вероятно, Перл Робинс и ваш гарсон тоже готовятся в директоры. Вот мой гарсон не готовится, да и то лишь потому, что я его только что ликвидировал. Я считаю самой желательной кандидатуру Перл. Она так долго была секретаршей Табза, что усвоила все его невежество в технике научных изысканий.

Самым елейным изо всех соискателей и самым жаждущим был Риплтон Холаберд. Теперь, когда кончилась война, он скучал по мундиру и власти. Он осаждал Мартина:

— Вы знаете, Мартин, как я верил всегда в ваше дарование, и я знаю, как верит в вас милый старый Готлиб. Если бы вы убедили Готлиба поддержать меня, замолвить словечко Мак-Герку... Конечно, для меня принять директорство означает принести жертву, так как мне пришлось бы отказаться от научной работы, но я готов на это пойти, так как убежден, что управление не может быть возложено на новичка. Табз меня поддерживает, и если бы так же повел себя и Готлиб, я позаботился бы, чтоб это оказалось к его выгоде. Я предоставил бы ему широкий простор!

В институте было более или менее известно, что Капитола высказывается за избрание Холаберда — «единственного среди здешних ученых, который в то же время и джентльмен». Она проплывала по коридорам, как фрегат, а за нею в кильватере шлюпкой юлил Холаберд.

Но в то время как Холаберд излучал сияние, Николас Йио расхаживал с видом довольного заговорщика.

В день, когда Совет попечителей собрался в большом зале для избрания директора, весь институт трясло как в лихорадке. Сотрудники из ученых превратились в гимназисток. Долгие томительные часы попечители совещались — или так, тянули какую-то канитель.

В четыре часа к Мартину ворвался Терри Уикет.

— Слушай, Худыш, я узнал из верного источника: избран

Сильва, декан Уиннемакского медицинского факультета. Это ведь ваша лавочка? Что он за тип?

— Он очень милый, старый... Ой, нет, нет! Они с Готлибом на ножах. Боже! Готлиб уйдет, и мне придется выметаться вместе с ним. Как раз когда у меня так хорошо наладилась работа!

В пять часов двери распахнулись, и сквозь строй внимательных глаз Совет попечителей прошествовал к лаборатории Макса Готлиба.

Было слышно, как Холаберд мужественно проговорил:

— Ну, я-то, разумеется, никогда не поступился бы своей научной работой ради административных хлопот.

Мисс Перл Робинс сообщила Уикету:

— Да, это правда, мне сказал сам мистер Мак-Герк; Совет избрал новым директором доктора Готлиба.

— Так они ослы,— сказал Терри Уикет,— он откажется, да еще как. «Тоше притумали, чтоб я им тут фиклярничал, засетания, комитетен!» Как бы не так!

Когда попечители удалились, Мартин и Терри влетели в лабораторию Готлиба. Старик стоял выпрямившись у своего рабочего стола — таким они его не видели много лет.

— Это правда?.. Они хотят, чтобы вы стали директором? — еле выговорил Мартин.

— Да, они меня просят.

— Но вы откажетесь? Вы не дадите им сорвать вашу работу?

— Нет, собственно... Я сказал им, что моя настоящая работа должна идти, как шла. Они согласились, чтоб я назначил себе заместителя для всякой возни. Видите ли... Конечно, моей иммунологии ничто не должно мешать, но тут передо мной открывается возможность делать большое дело, создать свободный научный институт для всех вас, мои мальчики. И эти уиннемакские болваны, которые смеялись над моей идеей настоящей медицинской школы, теперь они увидят... Знаете, кто был моим конкурентом на пост директора... знаете кто, Мартин? Доктор Сильва! Ха-ха!

В коридоре Терри простонал:

— Requiescat in pace [1].

3

На банкет в честь Готлиба (единственный банкет, когда-либо данный в честь Готлиба) приехали не только лица, занятые важными, но легкими делами и посещающие все банкеты,— приехали и те немногие ученые, которых Готлиб чтил.

---

[1] Да почиет в мире *(лат.)*.

Явился он поздно, в сопровождении Мартина, ступая нетвердым шагом. Когда он дошел до стола ораторов, гости встали с шумными возгласами. Он глядел на них, пытался заговорить, протянул свои длинные руки, словно желая всех обнять, и, рыдая, опустился в кресло.

Пришли каблограммы из Европы; пламенные письма от Табза и декана Сильвы, сокрушавшихся, что не могут присутствовать лично; телеграммы от ректоров колледжей; и все это читалось вслух под бурные аплодисменты.

Но Капитола ворчала:

— А все ж мы будем чувствовать отсутствие милого доктора Табза. Он был такой передовой человек. Не играй вилкой, Росс.

Так Макс Готлиб принял на себя управление Мак-Герковским институтом биологии, и через месяц в институте был полный развал.

4

Готлиб располагал уделять делам час в день. Своим заместителем он назначил доктора Аарона Шолтейса, эпидемиолога, ревностного христианина из Ионкерса и любителя георгин. Готлиб объяснил Мартину, что Шолтейс, конечно, дурак, но зато он единственный человек на его горизонте, сочетающий некоторые научные способности с готовностью сносить скуку административной работы, ее помпезность, ее компромиссы.

Готлибу, очевидно, казалось, что, продолжая по-прежнему высмеивать хлопотливых чиновников, он тем самым оправдывает свое превращение в чиновника.

Но он не мог уложиться в один час со своей официальной работой. Было слишком много заседаний, слишком много видных посетителей, слишком много бумаг, приносимых ему на подпись. Его тянули на званые обеды, длинные, никчемные, шумные завтраки, на которых требовалось присутствие директора, и телефонные переговоры для уточнения срока этих пыток отнимали часы и часы. Каждый день административные обязанности растягивались на два часа, на три, на четыре, и он бесился, он терялся при осложнениях с персоналом или финансами и становился все более вспыльчивым и самовластным; и любящие братья в институте, которых Табз где лаской, а где угрозой понуждал хотя бы наружно сохранять мир, теперь открыто передрались.

В то время как ему полагалось бы излучать благоволение из кабинета, где восседал недавно доктор А. де Уитт Табз, Готлиб жался к своей лаборатории и тесному кабинету, как жмется кошка к своей подушечке под столом. Раз-другой он попробовал с вну-

нительным видом засесть в кабинете директора, но сбежал от этой просторной, чистой пустоты и от стрекочущей машинки мисс Робинс в свою берлогу, где пахло не прогрессивной добродетелью, а только табаком и старыми бумагами.

В институт Мак-Герка, как и в каждое научное учреждение, приходили сотни фермеров, и фельдшериц, и деревенских мясников, уплативших большие деньги за проезд из Оклахомы или Орегона, чтобы получить признание открытых ими неоспоримых лечебных средств: жир сома, безотказно излечивающий туберкулез, мышьяковые мази, гарантирующие исцеление от рака. Они приходили с письмами и фотографиями, засунутыми промеж мятого чистого белья в обшарпанных чемоданах; при каждом удобном случае они наклонялись над своими сумками и с надеждой извлекали свидетельства от своего пастора; они домогались возможности исцелять человечество, а лично для себя лишь скромной суммы денег, чтобы послать дочку в консерваторию. И они так убежденно, так скорбно заклинали, что самый вышколенный клерк не мог удержать их за порогом.

И вот они просачивались к Готлибу в его кабинет. Он их жалел. Они отнимали у него рабочие часы, они подрывали его веру в собственное жестокосердие, но они молили с такой жалкой робостью, что он не мог отвязаться от них, не дав обещания, а потом сам признавал, что проявить побольше жестокости было бы менее жестоко.

Зато с важными людьми он бывал груб.

Директорство съедало слишком много времени и нервных сил, не давая Готлибу углубляться в непрестанно усложнявшиеся проблемы его исследования природы специфичности иммунитета, а исследования мешали ему уделять достаточно внимания институту, чтобы не дать ему окончательно развалиться. Готлиб полагался на Шолтейса и передавал все дела на его усмотрение, а Шолтейс, поскольку все равно в случае успешного директорства честь досталась бы Готлибу, предпочитал двигать свою научную работу, а дела передавал на усмотрение мисс Перл Робинс — так что фактически директором стала прелестная и ревнивая Перл.

Не было во всем обитаемом мире более ловкого и более криводушного директора. Перл упивалась. Она так тепло и скромно уверяла Росса Мак-Герка в заслугах Готлиба и своей смиренной преданности ему, так сладко мурлыкала на лесть Риплтона Холаберда, так ласково отвечала на резкую враждебность Терри Уикета, стесняя его в получении материалов для его работы, что институт каруселью завертелся от интриг.

Йио не разговаривал с Шолтейсом. Терри грозил Холаберду «влепить ему, как надо». Готлиб постоянно просил у Мартина со-

вета, но никогда советам не следовал. Джауст, простоватый, но знающий биофизик, не питая к Готлибу той любви, которая не позволяла Мартину и Терри упрекать старика, сказал ему в лицо, что он «горе-директор и хорошо сделает, если уйдет». Он тут же был уволен и замещен пешкой.

Когда-то Макс Готлиб в беседах с Мартином говаривал о «шутках богов». Среди этих шуток Мартин не помнил более злой, чем та, что столь ему ненавистные в Табзе претенциозность и хлопотливость, при отсутствии воображения, делали его хорошим администратором, тогда как Готлиб в силу своей одаренности превращался в бессильного тирана; и это ль не обидная шутка: хуже слишком энергично руководимого и стандартизованного института оказывался институт, лишенный всякого руководства, всякой стандартизации. И Мартин — когда-то он с возмущением стал бы это отрицать,— Мартин теперь спал и видел, чтобы вернулся Табз.

Если положение дел в институте оттого не усложнилось, то все же спокойствие его еще более нарушилось с появлением Густава Сонделиуса. Вернувшись только что из Африки, где изучал сонную болезнь, он шумно водворился в одной из лабораторий для гостей.

Густав Сонделиус, воитель профилактической медицины, чья лекция некогда погнала Мартина из Уитсильвании в Наутилус, до сих пор сохранил свое место в галерее его героев: он обладал в какой-то мере глубокой проницательностью Готлиба, стойкой добротой декана Сильвы, упрямой честностью Терри, хоть и без его презрения к приличиям, и сверх всего было в нем пряное, бьющее через край душевное богатство, целиком его собственное. Правда, Сонделиус не помнил Мартина. С того вечера в Миннеаполисе со слишком многими ему доводилось пить, и спорить, и мчаться к неведомым, но винным местам. Однако ему помогли припомнить, и неделю спустя Сонделиус, Терри и Мартин вместе слонялись, вместе обедали или на квартире Эроусмитов хмелели от новых тем и джина.

Буйные льняные волосы Сонделиуса почти совсем поседели, но остались те же богатырские плечи, тот же широкий лоб и тот же вихрь проектов очищения мира от заразы, не возбранявших, однако, наслаждаться кое-какими вредоносными вещами, пока не миновала их пора.

Он поставил себе целью, закончив статью о сонной болезни, основать в Нью-Йорке институт тропической медицины.

Он осаждал Мак-Герка и богача Миннигена, в котором Табз нашел себе нового шефа, вовремя и не вовремя осаждал Готлиба.

Он преклонялся перед Готлибом и шумел о своем преклонении. Готлиб уважал его храбрость и его ненависть к меркантилизму,

но его присутствия Готлиб не терпел. Сонделиус его раздражал своей жизнерадостностью, своими комплиментами, бурным своим оптимизмом, безалаберностью, похвальбой, своей подавляющей громоздкостью. И, может быть, Готлиба задевало, что, хотя разница в их возрасте составляла всего одиннадцать лет (пятьдесят восемь против шестидесяти девяти), Сонделиус казался на тридцать лет моложе, на полвека веселей.

Когда Сонделиус заметил эту неприязнь, он попробовал ее преодолеть, став еще шумливей и восторженней. В день рождения Готлиба он ему подарил убийственную домашнюю куртку вишневого бархата с сиреневой отделкой, и, когда он приходил к Готлибу в гости, что случалось часто, Готлиб должен был надевать эту мерзость и сидеть, мурлыча под нос, пока Сонделиус львиным рыком выносил свои приговоры неважным супам и неважным музыкантам... Что Сонделиус ради этих визитов жертвовал на диво шикарными зваными обедами, Готлиб так никогда и не узнал.

Мартин старался заимствовать у Сонделиуса храбрость, как у Терри он заимствовал сосредоточенность. В эти дни, когда институт обезумел, храбрость и сосредоточенность были необходимы человеку, если он хотел вести свою работу.

А Мартин ее вел.

5

Посоветовавшись с Готлибом и выдержав нелегкий разговор с Леорой об опасностях соприкосновения с такими микробами, он взялся за бубонную чуму, за поиски возможностей ее предупреждения и лечения посредством фага.

Послушав, как он расспрашивает Сонделиуса о чумных эпидемиях, всякий заподозрил бы, что Мартин находит Черную Смерть восхитительной. Посмотрев, как он прививает страшную заразу худым ехидным крысам, прищелкивая все время языком и называя их ласковыми именами, каждый решил бы, что он сошел с ума.

Он узнал, что крыс, поевших фага, чума не берет; что после кормления фагом Bacillus pestis [1] исчезает у крыс-бациллоносителей, которые, не погибнув сами от чумы, служат ей прибежищем и постоянно ее распространяют; и, наконец, что он, Мартин, может излечивать чуму. Он был так же поглощен своими опытами, так же счастлив и взвинчен, как в первые дни фактора Икс. Он работал ночи напролет... Склонившись над микроскопом при свете оди-

[1] Чумная бацилла *(лат.)*.

нокой лампы, выуживал вытянутой в волосок стеклянной пипеткой отдельную чумную бациллу.

Чтобы не заразиться через крысиных блох, он надевал во время работы с животными резиновые перчатки, высокие кожаные сапоги, ремешки на рукава. Эти предосторожности наполняли его самого трепетом восторга, а для других мак-герковцев в них было нечто от тайной магии алхимиков. Он стал немного героем, но больше — мишенью для острот. Докучная привычка шутливого злословия свойственна научным работникам не в меньшей мере, чем благодушным дельцам в конторах или хлопотливым старичкам в деревнях. Химики и биологи прозвали Мартина «Чумой», они отказывались заходить в его лабораторию и прикидывались, что боятся встречи с ним в коридорах.

Быстро переходя от опыта к опыту, захваченный драмой науки, Мартин поднялся в собственном мнении и видел, что и другие принимают его всерьез. Он напечатал осторожную статью о противочумном фаге,— и статья была отмечена многими научными журналами. Даже Готлиб, как ни одурел он от забот, высказал похвалу, хоть он не мог оказать Мартину большого внимания, а помощи и вовсе никакой. Но Терри Уикет остался совершенно холоден. К блестящей в своем роде работе Мартина он проявил энтузиазма лишь настолько, чтоб не показаться завистливым, и постоянно совался с вопросом, продолжает ли Мартин наряду с новыми экспериментами свое исследование самой природы фага и свои занятия физической химией.

Потом у Мартина появился такой ассистент, какого встретишь нечасто, и этим ассистентом был Густав Сонделиус.

С институтом тропической медицины не клеилось. Сонделиус к нему охладел и теперь искал новых волнений. Он перевидал на своем веку много разных эпидемий и питал к чуме влюбленную ненависть. Когда он понял, чем занят Мартин, он загорелся:

— Силы небесные! Да вы, кажется, нашли штуку, которой заткнете за пояс и Иерсина, и Хавкина, и кого угодно! Вы, может быть, избавите мир от чумы... спасете всех этих несчастных индийцев... миллионы жизней! Позвольте мне работать с вами.

И вот он сделался сотрудником Мартина; бесплатным, неутомимым, не очень умелым, ценным своей неиссякаемой бодростью. Как и Мартин, он не любил правильного уклада жизни; он из принципа никогда не обедал два дня кряду в один и тот же час и без нужды, по своей охоте, работал ночи напролет, а на рассвете писал стихи — довольно плохие.

Мартин всю жизнь был одиноким скитальцем. Возможно, что и в Леоре он больше всего любил ее удивительное уменье делать свое присутствие весело-неощутительным. Сначала бурное присут-

ствие Сонделиуса его раздражало, как ни увлекательны были его пламенные речи о крысах — носителях чумы (Сонделиус к ним не питал никакой ненависти, но он с любовным пылом истребил миллионы крыс в романтическом увлечении капканами и ядовитым газом). Однако тот самый Сонделиус, который бывал так шумен в разговоре, в работе умел бывать молчаливым. Он знал в точности, как держать животных, пока Мартин делает им инъекцию в плевру; он разводил культуры чумных бацилл; когда препаратор в первом часу ночи уходил домой (гарсон любил Мартина и с уважением относился к науке, но разделял предрассудок о необходимости спать шесть часов в сутки и видеться изредка в Гарлеме с женой и детьми), Сонделиус весело стерилизовал колбы и шприцы и лазал на крышу в крысиный питомник за новыми жертвами.

Перемена, превратившая Сонделиуса из Мартинова властителя в его раба, произошла так незаметно и Сонделиус, при всей своей пиккербианской любви к сенсации, так мало заботился о верховенстве или о славе, что ни тот, ни другой никакой перемены не осознали. Они занимали друг у друга папиросы, вместе ходили в самые несуразные часы выпить стакан кофе с блинчиками в ночной закусочной и вместе орудовали пробирками, заряженными смертью.

ГЛАВА XXXI

1

Из Юньнаня в Китае от гомона пестрых базаров поползло нечто невидимое при солнце и недремлющее в ночной темноте, ползло ползком, зловещее, нескончаемое; ползло через Гималаи в низину, по огороженным стенами рынкам, через пустыню, по желтым горячим рекам, в американский миссионерский пост — ползло молча, уверенно; здесь и там на его пути падал, почернев, человек, усыпленный чумой.

В Бомбее новый портовый сторож, темный человек, весело рассказывал своим домашним над миской риса о странной новой повадке у крыс.

Эти властители сточных труб, всегда такие верткие,— шмыг, и нет ее,— теперь точно все перебесились. Они выходят в пакгаузе на середину пола, не стесняясь сторожа, и подпрыгивают так (со смехом уверял сторож), как будто хотят полететь, и тут же падают мертвыми. Он их тормошил, они не двигались.

Три дня спустя этот сторож умер от чумы.

Незадолго до его смерти от пристани, где он работал, отвалил пароход с грузом пшеницы, курсом на Марсель. За весь рейс на

борту никто не болел; не было причин не ошвартоваться в Марселе возле парохода-бродяги; и так как на том пароходе, пока он шел в Монтевидео, не случилось ничего особенно сенсационного, если не считать спора между суперкарго и вторым помощником по поводу пятого туза, то его капитан мог с чистой совестью бросить якорь рядом с пароходом «Пендаунский Замок», направлявшимся на остров Сент-Губерт забрать в добавление к грузу леса груз какао.

В пути к Сент-Губерту на «Пендаунском Замке» юнга — парнишка родом из Гоа, а за ним стюард кают-компании умерли от болезни, которую капитан назвал инфлюэнцей. Больше смущали появившиеся во множестве крысы. Не довольствуясь такой пищей, как строевой лес, они забирались в кладовые с провиантом, затем вылезали на шканцы и без видимой причины околевали на открытых палубах. Перед тем как околеть, они смешно танцевали, а потом валялись подле шпигатов, окоченелые и взъерошенные.

Так «Пендаунский Замок» прибыл в Блекуотер, главный город и порт острова Сент-Губерта.

Это небольшой островок южной Вест-Индии, но на нем кормится стотысячное население: англичане — плантаторы и конторщики, землекопы-индусы, негры-рабочие на сахарных плантациях, китайские купцы. В его песках и горных вершинах дышит история. Здесь пираты кренговали свои корабли; здесь маркиз Уимсбери, когда сошел с ума, занялся починкой часов и приказал своим невольникам сжечь весь сахарный тростник.

Сюда красавец крестьянин, Гастон Лопо, привез госпожу де Мерлемон и вел жизнь вельможи, пока невольники, которых он часто порол, не пришли к нему, когда он брился, и тотчас мыльная пена причудливо окрасилась кровью.

В наши дни Сент-Губерт — это сплошной сахарный тростник и форды, апельсины и чинары, желто-красные стручки какао, бананы и каучуковые деревья, и заросли бамбука, и англиканские церкви, и крытые железом часовни, и темнокожие прачки, занявшие под прачечную ямы между корней эриодендрона; и влажный зной, и царственные пальмы, и бессмертник, заливший пурпуром долины; ныне это блеск и туристская скука, и каблограммы о ценах на сахарный тростник,— и все затоплено нещадным солнцем.

Блекуотер — плоский, изнывающий от зноя город: глинобитные дома под железными крышами, раскаленные, белые, точно кость, дороги; желтоватые шаронские розы, лавки с неизбежными балконами, раскрывшие свою темную глубину прямо на душную улицу. Одним концом город уперся в гавань, другим — в болото. Но позади него поднимаются Пенритские горы, и с их благодатных,

увенчанных пальмами высот дом губернатора смотрит на плывущие вдали паруса.

Здесь в грузной апатии жил его превосходительство губернатор Сент-Губерта полковник сэр Роберт Фэрлемб.

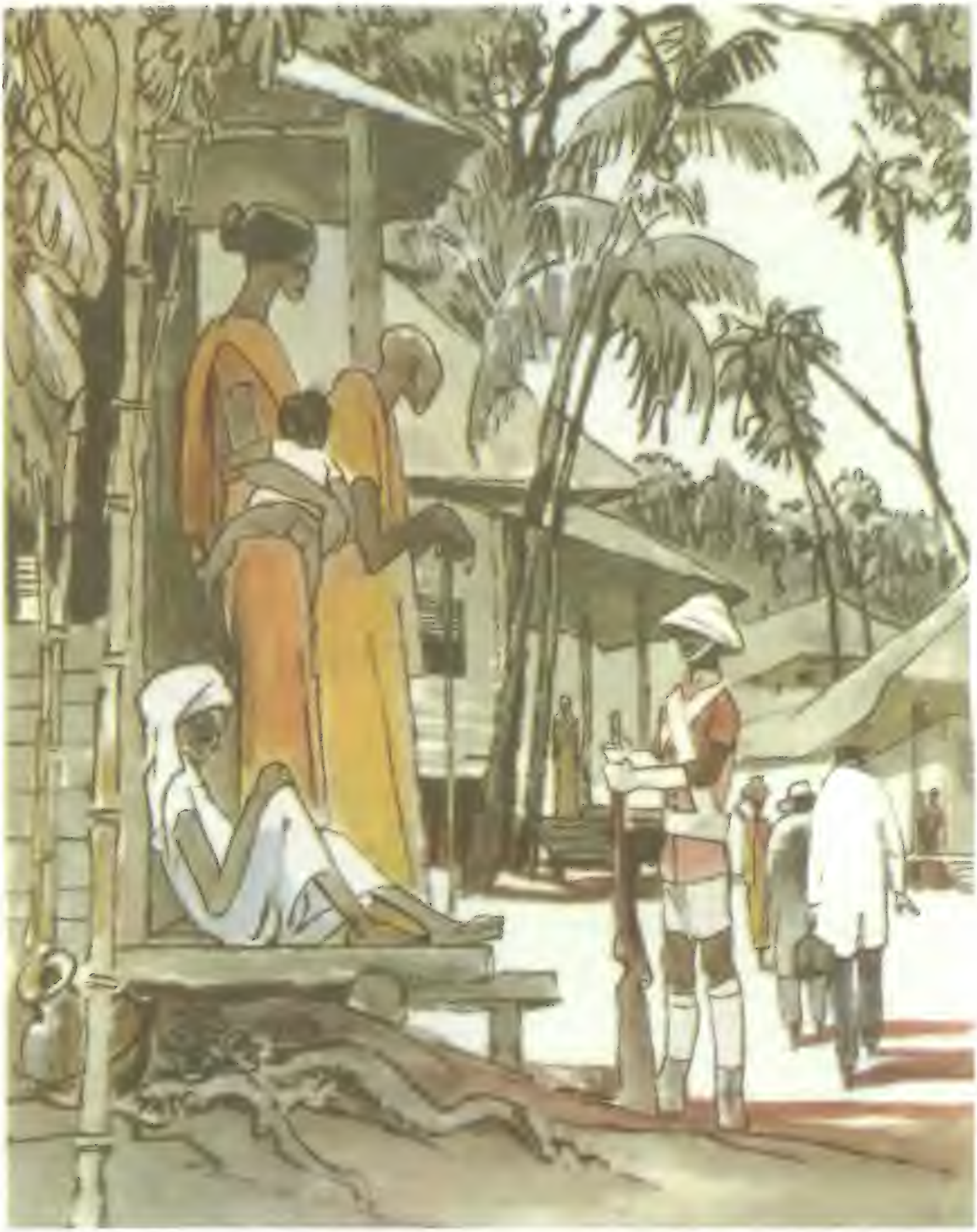
Сэр Роберт Фэрлемб был отличный парень, рассказчик застольных анекдотов, который в будний день не закурит папиросу, пока портвейн не обойдет семи кругов; но он был прескверный губернатор. Человек, стоявший на следующей за ним ступени общественной лестницы,— досточтимый Сесил Эрик Джордж Твифорд, худощавый, энергичный и надменный деспот, владелец десяти тысяч акров сахарного тростника в приходе Сент-Свитин,— Твифорд отозвался однажды о его превосходительстве как о «мямле и дураке», и этот отзыв в разнообразных вариантах довольно быстро дошел до Фэрлемба. А тут еще, чтоб окончательно его донять, палату депутатов, законодательный орган Сент-Губерта, раздирала распря между Келлетом Красной Ногой и Джорджем Уильямом Вертигеном.

Красноногими называлось шотландско-ирландское племя белых бедняков, прибывших на Сент-Губерт двести лет тому назад в качестве законтрактованных слуг. В большинстве своем они до сих пор оставались рыбаками или надсмотрщиками на плантациях, но один из них, Келлет, злобный, скаредный и неутомимый человек, от мальчишки-рассыльного поднялся до владельца пароходного агентства, и в то время как его отец все еще раскидывал сети на отмели у Карибского мыса, Келлет был бичом палаты депутатов и блюстителем экономии — в особенности там, где он мог ею досадить своему собрату законодателю, Джорджу Уильяму Вертигену.

Джордж Уильям, называемый иногда «Старым Джо Уимом» и «Королем Ледяного Дома» (заманчивого и разорительного бара), родился на черном дворе за баптистской молельней. Ему принадлежал «Голубой Базар» — самый большой магазин на Сент-Губерте; он поставлял контрабандой табак в Венесуэлу и так же был полон песен, опрометчивости и рома, как Келлет Красная Нога был полон цифр, зависти и приличия.

И вот Келлет и Джордж Уильям сумели расколоть палату. Для почтенного человека не могло быть вопроса о том, кто из них двоих достойней: Келлет — справедливый и серьезный, хороший семьянин, чье возвышение в обществе воодушевляло молодежь; или же Джордж Уильям — игрок, кутила, контрабандист, жулик, продающий бракованный ситец, человек, единственной светлой чертой которого было его дешевое добродушие.

Свою первую победу на поприще экономии Келлет одержал, добившись билля об увольнении угрюмого лондонца-гобоиста, занимавшего официальную должность сент-губертского крысолова.



«Эроусмит»

В прениях, а затем и в частной беседе с сэром Робертом Фэрлембом Джордж Уильям Вертиген указывал, что крысы истребляют провизию и могут распространять болезни, а посему его превосходительство должен наложить на билль свое вето. Сэр Роберт пришел в смущение. Он вызвал главного военного врача, доктора Р.-Э. Инчкепа Джонса (предпочитавшего, впрочем, чтоб его называли мистером, а не доктором).

Доктор Инчкеп Джонс был худой, высокий, беспокойный человек, молодой и слабовольный. Он приехал «из дому» всего два года тому назад, и его тянуло домой, на родину, в один уголок родины, представляемый теннисной площадкой в Сэрри. Он объяснил сэру Роберту, что крысы и их неизменные спутницы блохи действительно разносят заразу — чуму, инфекционную желтуху, содоку и, предположительно, проказу, но что этих болезней на Сент-Губерте нет и, значит, не может быть, за исключением проказы, которая является неизбежным проклятием туземного неанглийского населения. А в сущности, добавил Инчкеп Джонс, Сент-Губерт знает только малярию, денге и всеподавляющую зверскую скуку, так что, если Келлет и прочие красноногие желают помереть от чумы и содоку, приличные люди не должны им мешать.

Итак, суверенной властью сент-губертской палаты депутатов и его превосходительства губернатора англичанину-крысолову и его молодому помощнику, темнокожему весельчаку, было прикazано прекратить свое существование. Крысолов сделался шофером. Он возил канадских и американских туристов, заглядывавших на Сент-Губерт проездом из Барбадоса в Тринидад, по тем горным дорогам, какие представляли наименьшие трудности для его разбитой машины, и сообщал им ложные сведения о местной флоре. Помощник крысолова стал почтенным контрабандистом и регентом уэслианских певчих. А крысы — крысы благоденствовали, жили привольно, и каждая самка давала от десяти до двухсот потомков в год.

Днем они не часто показывались на глаза. «Крыс не становится больше, их истребляют кошки»,— говорил Келлет Красная Нога. Но с наступлением темноты они резвились в пакгаузах и шмыгали по набережной со шхун и на шхуны. Осмелев, они стали захаживать в глубь острова и наделяли своими блохами земляных белок, водившихся во множестве в окрестностях деревни Кариб.

Через полтора года после увольнения крысолова, когда «Пендаунский Замок» пришел из Монтевидео и ошвартовался у Мола Советников, за ним следили с пристани десять тысяч маленьких поблескивающих глаз.

По заведенному порядку — никак не в связи с убившей двух человек «инфлюэнцей» — команда «Пендаунского Замка» загоро-

дила швартовы щитами в предохранение от крыс; но сходни на ночь не сняли, и то одна, то другая крыса нет-нет, а удирала с борта поискать у своих сородичей в Блекуотере более жирного продовольствия, чем доски твердых древесных пород. «Пендаунский Замок» мирно отплыл к родным берегам, а вскоре главный врач Инчкеп Джонс был извещен каблограммой из Эвонмаута, что корабль задержан, что на его борту умерли еще несколько человек... и умерли от чумы.

В короткой каблограмме это слово, казалось, написано было огненными буквами.

За два дня до каблограммы одного блекуотерского грузчика скосила неизвестная болезнь, очень неприятная, с бредом, с бубонами. Инчкеп Джонс сказал, что это не может быть чумой, так как на Сент-Губерте чумы никогда не бывало. Его коллега Стокс возразил, что это никак не может быть чумою, но тем не менее это самая несомненная чума.

Доктор Стокс был жилистый, невеселый человек, врач сент-свитинского прихода. Он не сидел в приписанном к нему сельском районе Сент-Свитин, но рыскал по всему острову, докучая Инчкепу Джонсу. Он окончил медицинский факультет в Эдинбурге; нес службу в Южной Африке, переболел тропической малярией и холерой и многими другими почтенными болезнями; а на Сент-Губерт он прибыл только затем, чтобы снова набрать красных кровяных шариков и не давать покоя несчастному Инчкепу Джонсу. Крайне непорядочный человек! Он обыгрывал Инчкепа Джонса в теннис благодаря гнусной, неспортсменской подаче — такой подачи можно было ждать разве что от американца.

И этот Стокс, этот невежа, это воплощение скуки, вообразил себя бактериологом! Ну не наглость ли это, когда какой-то докторишка шныряет по докам, ловит крыс, делает посевы из желудка крысиных блох, а потом пристает к вам — рыжий, с красным лицом, худой, неприятный — и доказывает, что крысы заражены чумой.

— Дорогой мой, у крыс всегда присутствуют в некотором количестве чумные бациллы,— сказал ему Инчкеп Джонс мягко, но высокомерно.

Когда умер грузчик, Стокс стал гневно требовать, чтобы официально было признано, что на Сент-Губерте появилась чума.

— Если даже это было чумой, что отнюдь не установлено,— сказал Инчкеп Джонс,— нет основания поднимать шум и сеять панику. То был единичный случай. Новых не будет.

Новые не замедлили обнаружиться. За неделю еще трое портовых рабочих и один рыбак на Карибском мысу умерли от болезни, в которой даже Инчкеп Джонс должен был признать слишком

близкое сходство с описанием чумы у Мэнсона в «Тропических заболеваниях»: «в продромальной стадии — характерная депрессия, отказ от пищи, ломота в конечностях», потом жар, головокружение, блуждающий взгляд, запавшие, налитые кровью глаза, бубоны в паху. Мало эстетичная болезнь. Инчкеп Джонс утратил свою разговорчивость, потерял интерес к пикникам; он стал почти так же угрюм, как Стокс. Но на людях он все еще высказывал надежду, все еще отрицал, и Сент-Губерт не знал... не знал.

2

Для тех, кто любит выпить и помечтать, самое приятное место в довольно скучном и душном городе Блекуотере — бар-ресторан под вывеской «Ледяной Дом».

Он помещается во втором этаже, прямо над Пароходным Агентством Келлета и лавкой, где некий китаец, окончивший якобы Оксфордский университет, продает черепашьи панцири с резьбой и кокосовые орехи, до жути похожие на добычу охотников за головами. За исключением балкона, на котором посетители завтракают, поглядывая на копошащихся внизу нищих индусов в набедренных повязках и на жемчужно-бледных, точно неземных, английских детей, играющих в индейцев, «Ледяной Дом» весь погружен в дремотный сумрак, в котором вы лишь смутно различаете мавританские решетки, легкую позолоту на белых стенах, массивную длиннющую красного дерева стойку, автоматы и другие, кроме вашего, мраморные столики.

Здесь в часы коктейля собираются все бескровные, в пробковых шлемах белые властители Сент-Губерта из тех, кто по своему общественному положению не могут получить доступ в Девонширский клуб: клерки пароходных агентств, купцы, не имеющие родословной, секретари Инчкепов Джонсов, итальянцы и португальцы, занимающиеся ввозом контрабанды в Венесуэлу.

Умиротворенные ромовым свизлом (терпкой и крепкой смесью, которая только тогда и получает свое убийственное совершенство, когда ее приготовляют негры-подавальщики из «Ледяного Дома»), изгнанники успокаиваются, заказывают второй стакан свизла и снова проникаются уверенностью (которой у них не было целые сутки, с последнего стакана), что через год они уедут домой. Да, они встряхнутся, ежедневно в прохладный час на рассвете будут делать гимнастику, бросят пить, наберутся сил, достигнут успеха и уедут домой... Разморенные ленью мечтатели! Слезы выступают у них на глазах, когда в сумраке «Ледяного Дома» они думают о Пикадилли или о высотах Квебека, об Индиане или

Каталонии, о ланкаширских башмаках на деревяшках... Из них никто никогда не уезжает домой. Но неизменно наступает этот час утехи за стаканом свизла в «Ледяном Доме», пока не умрет человек,— и другие, такие же, как он, пропащие провожают на кладбище гроб и шепчут друг другу, что они-то непременно уедут домой.

В «Ледяном Доме» самодержавно, никем не оспариваемый, властвовал Джордж Уильям Вертиген, владелец «Голубого Базара». Толстый, краснощекий, он принадлежал к той разновидности англичан, которая часто встречается в Мидленде; из них каждый либо ярый нонконформист, либо ярый алкоголик, а Джордж Уильям не был нонконформистом. Изо дня в день, с пяти до семи, он стоял, облокотившись на стойку, никогда не пьяный, но всегда не совсем трезвый, вечно полный благодушия и мелодий; на острове его одного не тянуло домой, потому что он не помнил другого дома, кроме «Ледяного».

Когда поползло шушуканье о человеке, умершем будто бы от чумы, Джордж Уильям объявил своему двору: окажись это правдой, Келлет Красная Нога получил бы хороший урок; но всякому известно, что в климате Вест-Индии чума невозможна.

И двор, поддавшийся было панике, успокоился.

На третий вечер в «Ледяной Дом» прокрался слух, что Джордж Уильям Вертиген умер.

3

Никто не смел об этом говорить ни в Девонширском клубе, ни в «Ледяном Доме», ни в парке, где под рокот прибоя шелестят на ветру деревья и где собираются после работы негры, но все, не слушая, слушали о смерти одного... другого... третьего. Никто не смел пожать руку даже старейшему другу; каждый бежал от каждого, но крысы, сохраняя верность, оставались; и по острову шагал Страх, черный убийца, более грозный, чем его сестра Чума.

Однако карантина не было, не было официального признания чумы. Инчкеп Джонс выпускал робкие воззвания, советуя избегать слишком больших сборищ, и написал в Лондон запрос о профилактических прививках Хавкина, но перед сэром Робертом Фэрлембом он отнекивался:

— Право, были только единичные смертные случаи, и, я думаю, все уже прошло. Стокс предлагает сжечь деревню Кариб только на том основании, что там умерло несколько человек,— ведь это ж варварство! И мне передали, что, если мы установим карантин, купцы примут самые решительные меры против влас-

тей. Карантин — это гибель для экспорта и для предприятий, обслуживающих туристов.

Но Стокс из Сент-Свитина написал тайком доктору Максу Готлибу, директору Мак-Герковского института, что вспыхнувшая чума вот-вот охватит всю Вест-Индию,— не может ли доктор Готлиб что-нибудь предпринять?

ГЛАВА XXXII

1

В сумрачном сердце Готлиба гнездилось дьявольское бесчувствие к страданиям человечества, презрение к божественной жалости, а может быть, просто таилась в нем злоба на врачей, которые ценили в его науке только средство для рекламы своего врачебного дела; или то была смутная и страстная и ни перед чем не останавливающаяся потребность гения в уединенье. Одно несомненно: отдав свою жизнь изучению методов иммунизации человечества против болезней, он мало интересовался внедрением этих методов в практику. Он был похож на художника из сказки, который так презирал вкусы общества, что перед смертью уничтожил все свои творения, чтоб их не осквернила чернь, взирая на них пошлыми насмешливыми глазами.

Не только из письма Стокса узнал он о том, что чума шагает по Сент-Губерту, что завтра она может перекинуться на Барбадос, на Виргинские острова... на Нью-Йорк. Росс Мак-Герк был императором новой эры, которого обслуживают лучше, чем любого затворника-сатрапа былых времен. Капитаны его кораблей заглядывали в сотни портов; его железные дороги проникали в джунгли; его корреспонденты сообщали ему тайком, как идет выборная кампания в Колумбии, как уродился сахарный тростник на Кубе, что сказал на веранде своего бунгало сэр Роберт Фэрлемб доктору Р.-Э. Инчкепу Джонсу. Росс Мак-Герк, а за ним Макс Готлиб знали лучше, чем завсегдатаи «Ледяного Дома», сколько было на Сент-Губерте случаев чумы.

Однако Готлиб не пошевелился, погруженный в размышления о неведомой химической структуре антител, прерываемые заботами о том, достаточно ли карандашей у Перл Робинс и удобно ли поручить доктору Холаберду принять сегодня днем латвийскую научную делегацию, чтобы доктор Шолтейс мог присутствовать на англиканской конференции о недопущении к причастию.

Его осаждали запросами: лица, служащие по ведомству здравоохранения, некий доктор Альмус Пиккербо, член конгресса, буд-

то бы авторитетное лицо в Вашингтоне, Густав Сонделиус и какой-то Мартин Эроусмит, который не мог (потому что был слишком велик или слишком мал) в полной мере достигнуть сосредоточенного безразличия Готлиба.

Ходили слухи, что Эроусмит из института Мак-Герка нашел средство, которое может искоренить чуму. Готлиб получал красноречивые письма. «Неужели вы можете, держа в руках спасительное средство, стоять в стороне и равнодушно взирать, как умирают тысячи несчастных на Сент-Губерте, и — что еще ужасней — неужели вы допустите, чтобы грозная чума укоренилась в западном полушарии? Пришла пора, милый человек, оставить ваши научные мечтанья и приступить к действию!»

Наконец, и Росс Мак-Герк после сочного бифштекса намекнул довольно откровенно, что институту представляется случай стяжать мировую славу.

По настоянию ли Мак-Герка, сдавшись ли на требования радетелей о благе общества, или потому, что воображения Готлиба хватило все же на то, чтобы нарисовать ему страдания негров на далеких сахарных плантациях, но только он вызвал Мартина и сказал:

— По моим сведениям сейчас налицо ле́гочная чума в Маньчжурии и бубонная на Сент-Губерте, в Вест-Индии. Если б я мог положиться на вас, Мартин, что вы введете фаг только половине больных, а другую половину оставите для контроля, в условиях нормального ухода, но без фага, то вы получили бы вполне проверенное представление о ценности фага — такое же, какое мы имеем относительно передачи желтой лихорадки через комара,— и я тогда мог бы вас послать на Сент-Губерт. Что вы на это скажете?

Мартин поклялся Жаком Лёбом, что соблюдет условия опыта; он раз навсегда определит ценность фага сопоставлением привитых фагом пациентов и непривитых и, может быть, навсегда положит конец чуме; он ожесточит свое сердце и сохранит ясным взор.

— Мы привлечем Сонделиуса,— сказал Готлиб.— Он подымет вокруг дела трезвон и доставит нам газетную славу. Мне заявлено, что директор должен заботиться и о таких вещах.

Сонделиус не только согласился — он требовал.

Мартин никогда не бывал в чужой стране. Канада, где он провел когда-то каникулы, работая официантом, не казалась ему чужой. Он не мог представить себе, что в самом деле отправляется в страну пальм, и коричневых лиц, и знойных рождественских сочельников. В то время как Сонделиус носился по городу, заказывая полотняные костюмы и подыскивая новый пробковый шлем,

Мартин усердно приготовлял большой запас противочумного фага: сто литров фага в крошечных запаянных ампулах! Он чувствовал себя самым обыкновенным Мартином Эроусмитом, но съезды, но власти считались с ним.

Совет попечителей специально собрался обсудить с Мартином и Сонделиусом план их работы. Ради этого заседания ректор Уилмингтонского университета отказался от многообещающей встречи с миллионером, бывшим питомцем Уилмингтона, Росс Мак-Герк отказался от гольфа, а один из трех профессоров прилетел на самолете. Мартин явился на вызов прямо из лаборатории; молодой еще человек в измятом мягком воротничке (в голове гудело — эрленмейеровские колбы, инфузорная земля, стерильные фильтры) встретился лицом к лицу с людьми скучного веселья и убедился, что его уже не укрывает больше тень безвестности; в нем видят вождя и ждут от него не только чудес,— он должен вперед показать, какой он важный и зрелый и как хорошо умеет творить чудеса.

Сперва он оробел перед очкастой важностью пяти попечителей, восседавших, точно в Верховном Суде, за столом на эстраде «Небесной империи». Несколько поодаль сидел Готлиб и тоже старался казаться важным и грозным. Но в зал вкатился Сонделиус, восторженный и шумный, и Мартин сразу преодолел свою робость и даже не чувствовал никакого почтения к своему бывшему учителю в деле общественного здравоохранения.

Сонделиус хотел истребить на Сент-Губерте всех грызунов, добиться строгого карантина, использовать сыворотку Иерсина, профилактическую вакцину Хавкина и сразу же всем жителям Сент-Губерта ввести найденный Мартином фаг — всем до единого.

Мартин запротестовал. Сейчас он заговорил, совсем как Готлиб.

Он знает, бросил он им в лицо, что чувство гуманности воспрещает делать из несчастных страдальцев объект эксперимента, но контроль необходим, необходимо оставить некоторое число больных без лечения фагом, и будь он проклят, будь он проклят пред лицом попечителей, если он испортит вконец свой опыт применением множества разнообразных средств, так что потом невозможно будет установить, обусловлено ли исцеление сывороткой Иерсина, вакциной Хавкина или фагом — или же вовсе чем-нибудь еще.

Попечители одобрили его план. Они, конечно, хотят спасать человечество, но в конце концов не лучше ли, чтоб оно было спасено представителем Мак-Герковского института, а не Иерсином, или Хавкиным, или этим иностранцем Сонделиусом?

Постановили, что если Мартину удастся найти на Сент-Губерте район, сравнительно не тронутый чумой, то он постарается провести там опыт с контролем — половине жителей введет фаг, половину оставит без фага. В сильно пораженных районах он может ввести фаг всем поголовно, и если эпидемия резко ослабеет, это послужит дополнительным доказательством.

Дадут ли власти Сент-Губерта (поскольку они не просили о помощи) Мартину возможность проводить свой опыт, а Сонделиусу полицейские полномочия — этого попечители не знали. Главный врач, некто Инчкеп Джонс, ответил на их каблограмму: «Настоящей эпидемии нет, помощь не нужна». Но Мак-Герк обещал нажать кое-какие пружины, которые заставят Сент-Губерт оказать Мак-Герковской Комиссии (председатель — Мартин Эроусмит, Б. И. и Д. М.) самый дружественный прием.

Сонделиус все еще настаивал, что в таких критических обстоятельствах экспериментировать бессердечно, однако слушал с восторгом яростную логику Мартина, ибо все, что звучало новизною и казалось отчасти верным, в этом могучем вечном ребенке зажигало энтузиазм. Расхождение в научных взглядах он не считал, как Альмус Пиккербо, личным оскорблением.

Он стал говорить, что поедет сам по себе, независимо от Мартина и Мак-Герка, но попечители покорили его, заявив, что, хотя, конечно, им будет приятнее, если он не станет валять дурака со всякими сыворотками, они снабдят его всеми средствами против крыс — пусть истребляет их, сколько ему угодно.

Сонделиус был на седьмом небе:

— О, я вам себя покажу! Я — генерал-фельдмаршал над всеми истребителями крыс! Стоит мне только войти в пакгауз, и крысы говорят: «Пришел старый черт, дядя Густав,— ничего не попишешь!» — ложатся лапками вверх и умирают! И я страшно рад, что могу на вас опереться: я тут зарвался с деньгами — накупил нефтяных акций, а они что-то падают,— мне же понадобится чертова гибель синильной кислоты. Ох, уж эти мои крысы! Я вам себя покажу! Ну, я побегу на телеграф, отменю лекцию на той неделе... Уф! Чтобы я — да читал лекцию в женском колледже, когда я умею говорить на крысином языке и знаю семь видов прекрасных смертоносных капканов!

2

Мартин не подвергался в жизни большей опасности, чем при наводнении в Зените, когда переплывал поток. С утра до полуночи он был так занят изготовлением фага и выслушиваньем непро-

шеных советов от всего институтского персонала, что не успевал подумать об опасностях чумной эпидемии. Но когда он ложился в кровать, когда снова перебирал в мозгу свои планы, несоблазнительная возможность смерти рисовалась ему со всей отчетливостью.

Когда Леора услышала, что он уезжает на остров, по которому гуляет смерть, в край, где странные обычаи, странные деревья и лица (где говорят, вероятно, на забавных языках, где нет кино и зубной пасты), она молча унесла с собою это известие, чтобы на досуге рассмотреть его и обдумать,— в точности так, как иногда она украдкой брала со стола сласти и припрятывала, а потом задумчиво съедала ночью, в самые непредвиденные часы, с довольным видом напроказившего ребенка. Мартин радовался, что она не прибавляет к его мучениям своего беспокойства. Через три дня она заговорила:

— Я поеду с тобой.

— Не поедешь.

— Поеду!

— Там небезопасно.

— Вздор! Совершенно безопасно. Ты мне впрыснешь свой чудесный фаг, и тогда я могу не бояться. На то у меня муж доктор! Пойду сейчас и потрачу уйму денег на легкие платья, хотя держу пари, что на Сент-Губерте не жарче, чем в Дакоте в августе месяце.

— Слушай, Ли, дорогая! Слушай! Я действительно думаю, что фаг дает иммунитет против чумы,— будь уверена, я, конечно, сделаю себе основательную прививку,— но я ничего не знаю! И даже если фаг вполне оправдает себя, всегда окажется несколько человек, которых он не защитит. Тебе просто нельзя ехать. А теперь, родная, мне страшно хочется спать!..

Леора с шутливой яростью, точно разыгравшийся котенок, вцепилась в отвороты его пиджака. Но в глазах ее не было смеха, ни в ее плачущем голосе. То был вековечный плач солдатских жен:

— Рыжик, разве ты не знаешь, что у меня нет жизни вне тебя? Могла бы быть, но, по правде сказать, я с радостью дала тебе поглотить меня целиком. Я ленивая, невежественная, никчемная, только на то и гожусь, чтоб ухаживать за тобой. Если ты уедешь и я не буду знать, все ли у тебя благополучно, или если ты умрешь и не я — другой обмоет твое тело, которое я так любила,— не любила разве, дорогой? — я сойду с ума. В самом деле, как же ты не видишь?.. в самом деле, сойду с ума! Понимаешь... я — это ты, и я должна быть около тебя. Я буду тебе помогать! Буду готовить среды и все такое. Разве ты не помнишь, как часто

я тебе помогала? Конечно, у Мак-Герка от меня мало проку — тут у вас все так сложно. Но ведь я помогала тебе в Наутилусе — помогала, правда? — и, может быть, на Сент-Губерте...— голос ее звучал голосом женщины, охваченной полуночным страхом,— может быть, ты там не найдешь никого, кто стал бы оказывать тебе даже такую маленькую помощь... Я буду стряпать, я буду делать все...

— Дорогая, не отягчай положения. И так будет не легко...

— Ну тебя к черту, Рыжик Эроусмит! Не смей повторять эти старые дурацкие слова, которыми мужья испокон веков дурят головы женам! Не такая я жена и не такой ты муж! Ты скверный муж! Я у тебя в загоне. Ты только тогда и замечаешь, что на мне надето, когда у меня отлетит какая-нибудь подлая пуговица (как это они отлетают, не пойму, когда вечно за ними следишь и пришиваешь), и тогда ты на меня орешь. Но мне все равно. Ты для меня лучше всякого порядочного мужа... Все равно. Я еду.

Готлиб возражал, Сонделиус метал громы, Мартин терзался, но Леора все-таки поехала, и Готлиб (единственный случай, когда он сумел использовать свое положение директора) зачислил ее «секретарем и техническим сотрудником Мак-Герковской Комиссии по Применению Противочумного Бактериофага на Малых Антильских островах» и даже назначил ей жалованье.

3

За день до отбытия Комиссии Мартин попробовал настоять, чтобы Сонделиус сделал себе первую инъекцию фага. Сонделиус отказался:

— Нет, я к нему не притронусь, пока не уговорю вас стать гуманным, Мартин, и дать его каждому на Сент-Губерте. И уговорю. Подождем, когда вы увидите, как они мучаются тысячами. Вы еще ничего подобного не видали. Тогда вы забудете о науке и постараетесь спасти каждого. Вы не привьете мне фаг, пока не согласитесь привить его также всем моим чернокожим друзьям.

В тот же день Готлиб вызвал к себе Мартина. Замявшись, он начал:

— Итак, завтра вы отправляетесь в Блекуотер.

— Да, сэр!

— Гм! Вы, может быть, не скоро вернетесь. Я... Мартин, вы мой самый старый друг в Нью-Йорке, вы и моя добрая Мириам. Скажите мне, вы и Терри считали сперва, что мне не следует при-

нимать пост директора; но теперь-то вы понимаете, что я был прав?

Мартин широко раскрыл глаза, потом поспешил сказать ту утешительную ложь, которую хотел услышать Готлиб:

— Я рад, что фы так думаете. Фы издавна знаете, чего я хочу добиться. Я делаю много промахов, но мне кажется, институт за последнее время приобретает подлинно научное лицо — после этой погони за рекламой, которую разводили здесь Табз и Холаберд... Я все думаю, как бы мне уволить Холаберда, этого щеголя от науки? Если бы только он не был так коротко знаком с Капитолой... Знаком домами — так это у них называется? — но не в этом суть...

Многие тут говорят, что Макс Готлиб не может справиться с детской задачей управления институтом. Ух! Покупать блокноты! Нанимать поденщиц для подметания полов! Или нет — полы подметают поденщицы, которых нанимает комендант, nicht wahr? [1] Не в том суть...

Я не сердился, когда вы и Терри сомневались. У каждого, считал я всегда, может быть свое мнение. Но меня радует... Я очень люблю вас, мои мальчики, только вы двое и были для меня настоящими сыновьями!.. (Готлиб положил свою увядшую руку на плечо Мартина.) И меня радует, что вы теперь видите, как я начинаю создавать настоящий научный институт. Однако у меня есть враги. Да, Мартин, если бы я рассказал вам, какие тут ведутся против меня подкопы, вы решили бы, что я шучу...

Даже Йио. Я его считал своим другом. Считал его настоящим биологом. И вот как раз сегодня он приходит ко мне и говорит, что не может получить в достаточном количестве морских ежей для опытов. Точно я могу сделать ему морских ежей из воздуха! Он сказал, что я скуплюсь ему на материалы. Я! Я, который всегда отстаивал... Мне неважно, сколько платят ученому, но я всегда воевал с этим болваном Сильвой и со всеми, со всеми моими врагами...

Вы не знаете, Мартин, сколько у меня врагов! Они не смеют выйти с открытым лицом. Они улыбаются мне, а сами перешептываются... Я покажу Холаберду... он вечно подкапывается под меня и старается склонить на свою сторону Перл Робинс, но она хорошая девочка, она понимает, что́ я делаю, но только...

С растерянным видом Готлиб пристально поглядел на Мартина, точно не совсем его узнавая, и продолжал просительно:

— Мартин, я старею... не годами, нет... это ложь, будто мне за семьдесят... но у меня заботы. Вы не обидитесь, если я дам вам

---

[1] Не правда ли? *(нем.)*

совет, как я не раз давал их вам за эти годы. Хоть вы уже не школьник в Куин-Сити... нет, это было в Уиннемаке. Вы взрослый человек и прирожденный бактериолог. Однако...

Будьте тверды и не давайте ничему, ни даже собственному доброму сердцу, испортить ваш опыт на Сент-Губерте. Я теперь не высмеиваю гуманность, как раньше; мне теперь думается иногда, что у пошлого и самовлюбленного человечества, пожалуй, не меньше грации и вкуса, чем у кошек. А раз это так, то нужны знания... На свете, Мартин, очень много добрых, сердечных людей, но очень мало таких, кто прибавил что-то к нашим знаниям. Вам представляется случай! Вы можете оказаться человеком, который положит конец чуме, и, может быть, старый Макс Готлиб помог вам кое-чем, а? Не так ли?

На Сент-Губерте вам нельзя быть только хорошим врачом. Вы должны проникнуться жалостью к грядущим поколениям, такою жалостью, чтоб она дала вам силу не поддаваться жалости к людям, которые будут умирать у вас на глазах.

Умереть... Это значит найти покой.

Пусть ничто: ни прекрасная жалость, ни страх перед собственной смертью — не помешает вам довести до конца ваш опыт с чумой. И вы, как мой друг... Если вы это исполните, то, значит, мое директорство все-таки что-то дало. Если бы я хоть чем-нибудь мог оправдать...

Когда Мартин с болью в сердце вернулся в свою лабораторию, там поджидал его Терри Уикет.

— Слушай, Худыш,— выпалил Терри,— я забрел сюда сказать тебе одно: ради святого Готлиба, веди свои записи о фаге как можно полней, изо дня в день — и непременно чернилами!

— Терри, ты, кажется, хочешь сказать, что у меня изрядные шансы не вернуться самому с моими записями?

— Еще чего! — сказал неуверенно Терри.

4

Эпидемия на Сент-Губерте, видимо, усилилась, так как накануне отбытия Мак-Герковской Комиссии доктор Инчкеп Джонс объявил остров под карантином. Приезжать разрешалось, но никто не мог уезжать. Он сделал это, невзирая на все сомнения губернатора сэра Роберта Фэрлемба и на протесты содержателей гостиниц, которые наживались на туристах, уволенного крысолова, который возил их на форде, Келлета Красной Ноги, который продавал им билеты, и всех остальных представителей здоровой коммерции на Сент-Губерте.

5

Кроме заготовки ампул с фагом и люеровских шприцев, Мартин в связи с отъездом в тропики заготовил кое-что и лично для себя. Он в семнадцать минут купил белый костюм, две новых рубашки и,— так как Сент-Губерт принадлежит Англии, а Мартин слышал, что все англичане ходят с тростью,— палку из бамбука, ничуть не уступавшего, по словам продавца, настоящему малайскому.

6

Итак, зимним утром Мартин, Леора и Густав Сонделиус пустились в путь на мак-герковском пароходе «Сент-Буриан» в шесть тысяч тонн водоизмещения, который вез на Малые Антильские острова машины, муку, треску и автомобили, чтобы забрать оттуда патоку, какао, авокадо, тринидадский асфальт. Человек двадцать туристов, не больше, отправлялись в круговую поездку, провожающих почти не было.

Пристань Мак-Герковского Пароходства находилась в Южном Бруклине, в районе бурых безличных домов. Над грязным снегом нависло бесцветное небо. У Сонделиуса был очень довольный вид. Когда они подкатили к пристани, запруженной кожами, и ящиками, и грустными пассажирами третьего класса, он выглянул из набитого багажом такси и объявил, что нос «Сент-Буриана» — все, что было видно от судна,— напоминает ему испанский пароход, на котором он когда-то посетил острова Зеленого Мыса. Но Мартину и Леоре, начитавшимся о трагических расставаниях на пристани, о стюардах, проносящихся с охапками цветов, о герцогах и разведенных баронессах, настигнутых репортерами, и об оркестрах, играющих «Звездное знамя»,— им «Сент-Буриан» показался неромантичным, и его обыденность — какой-то паром! — навела на них уныние.

Один только Терри приехал их проводить — с коробкой конфет для Леоры.

Мартин никогда не плавал на судне больше моторной лодки. Он смотрел большими глазами вверх на черную стену борта. Когда поднимались по сходням, у него возникло чувство, точно он отрезает себя от надежной, знакомой земли, и его смутило равнодушие более бывалых пассажиров, спокойно глядевших на него сверху. На борту ему показалось, что полубак похож на склад торговца старым железом, что «Сент-Буриан» слишком кренится на один бок и что даже у пристани судно неприятно покачивает.

Презрительно фыркнул гудок, отдали концы. Терри стоял на молу, пока пароход с Мартином, Леорой и огромным Сонделиусом, свесившимся через борт, не проскользнул мимо него; потом он резко повернулся и побрел прочь.

Мартин четко осознал, что плывет опасным морем к опасной чуме; что нет возможности сойти с парохода, пока не достигнут они некоего далекого острова. Эта узкая палуба с черными смоленными швами между досок — его единственный дом. И зверски холодно на ветру, гуляющем по широкой гавани, и вообще — да поможет им бог!

Когда «Сент-Буриан» отбуксировали к середине реки, когда Мартин предложил своей Комиссии: «Пойдем, что ли, вниз, посмотрим, нельзя ли чего-нибудь выпить?» — с пристани донесся шум запыхавшегося такси, и показалась худая, высокая фигура, бегущая, но так медленно, так нетвердо, и они поняли, что это Макс Готлиб; он ищет их глазами, на пробу поднимает для приветствия тонкую руку, не находит их в ряду людей у поручней и печально отворачивается.

7

Как представителям Росса Мак-Герка и всех его начинаний, и злых и добрых, им отвели две каюты-люкс на средней палубе.

Мартин мерз у вьюжного Санди-Хука, у мыса Гаттерас его тошнило, а между тем и другим он чувствовал себя усталым и развинченным; Леора мерзла вместе с ним, ее тоже тошнило,— на то и женщина,— но усталости она не чувствовала. Она упорно делилась с ним сведениями из путеводителя по Вест-Индии, который доверчиво приобрела.

Сонделиус носился по всему кораблю. Пил чай с капитаном, ел рагу с матросами, на нижней палубе вел умную беседу с негром-миссионером. Его было слышно повсюду и всегда, он пел, прогуливаясь по палубе, защищал большевизм от нападок боцмана, спорил с первым помощником о сгорании нефти и объяснял буфетчику, как приготовлять подслащенный джин. Он устраивал детские утренники в третьем классе и достал у первого помощника руководство по навигации, чтобы изучать его между утренниками.

Он придал остроту будничному рейсу «Сент-Буриана», но допустил одну оплошность: был излишне внимателен к мисс Гвильям, которую пытался приободрить в скучноватой поездке.

Мисс Гвильям принадлежала к одной из лучших фамилий своего круга в Нью-Джерси; ее отец был адвокатом и церковным

старостой, ее дедушка был зажиточным фермером. Если она в тридцать три года не была замужем, то причиной тому — только легкомыслие современных молодых людей, отдающих предпочтение бойким девчонкам, пляшущим под джаз; а она была не только деликатно сдержанной молодой леди, но к тому же и певицей; в самом деле, она и в Вест-Индию-то поехала с целью сохранить для благодарного потомства чудеса примитивного искусства туземных баллад, которые она соберет и будет петь перед восхищенной публикой, если только научится толком петь.

Она присматривалась к Густаву Сонделиусу: глупый человек и гораздо менее джентльмен, чем страховые агенты и управляющие конторами, с которыми она привыкла встречаться в Загородном клубе, и что хуже всего — он совсем не спрашивает ее мнения об искусстве и о хорошем тоне. Его истории о генералах и разных высокопоставленных особах, наверно, сплошная ложь, он ведь водит компанию с разными чумазыми механиками. Нужно его мягко, но весело пожурить.

Когда они стояли вдвоем у борта и он со своим смешным певучим шведским акцентом стал восторгаться чудесным вечером, она его перебила:

— Ну-с, мистер Грубиян, выкинули вы сегодня какую-нибудь замечательную штуку? Или, может быть, в виде исключения дали возможность поговорить кому-нибудь другому?

К ее тихому изумлению, он повернулся и зашагал прочь, не выказав той покорной почтительности, которой каждая культурная американка вправе ожидать от каждого мужчины, хотя бы даже иностранца.

Сонделиус пришел с жалобой к Мартину:

— Худыш — если вы разрешите мне звать вас, как Терри,— мне кажется, вы с Готлибом правы: не стоит спасать дураков. Большая ошибка — быть естественным. Надо быть всегда накрахмаленной манишкой, как старый Табз. Тогда тебя станут уважать даже артистические старые девы из Нью-Джерси... Странная вещь — самомнение! Подумать! Меня, который так часто навлекал на себя проклятья и гонения от великих мира сего, которого вели однажды на расстрел в турецкой тюрьме,— меня никто никогда так не раздражал, как эта самодовольная девица! Самодовольство — вот худший в мире враг!

Мисс Гвильям, видимо, недолго отравляла ему настроение. Вскоре он уже завел спор с судовым врачом о черепных швах у негров, изобрел, как играть в крикет на палубе. Но однажды вечером, когда он сидел в салоне и читал, сгорбившись, надев предательские очки, наморщив губы, Мартин проходил мимо окна и, не веря своим глазам, увидел, что Сонделиус стареет.

Мартин сидел рядом с Леорой в креслах на палубе и присматривался к ней по-настоящему, смотрел на ее бледное лицо, в первый раз за долгие годы, когда она была для него чем-то, что само собой разумелось. Он задумался о ней, как задумывался о фаге; и пришел к твердому выводу, что не уделял ей должного внимания, и твердо решил сделаться с места в карьер хорошим мужем.

— Теперь, Ли, когда я, наконец, почувствовал себя человеком, я понял, как ты должна была скучать в Нью-Йорке.

— Я не скучала.

— Не дури, Ли! Конечно, скучала! Ладно, когда мы вернемся домой, я буду каждый день урывать часок, и мы будем с тобой гулять, ходить в кино и все такое. И я буду каждое утро посылать тебе цветы. Точно гора с плеч — сидишь и отдыхаешь! Но я теперь по-настоящему понял, насколько ты была у меня в загоне... Скажи, родная, было очень скучно?

— Вздор.

— Нет, ты скажи.

— Нечего мне говорить.

— Черт возьми, Леора! Когда я впервые за одиннадцать тысяч лет получил возможность подумать о тебе и честно признался, что был незаботлив... И надумал посылать тебе цветы...

— Слушай, Рыжик Эроусмит! Брось командовать. Тебе хочется полакомиться угрызеньями совести при мысли о том, какая я была бедная, обиженная, хнычущая жена из трогательной повести. Не пришлось тебе насладиться несчастьями, вот ты себя и подвинчиваешь так, чтобы стать вконец несчастным... Будет сплошной ужас, если ты, вернувшись в Нью-Йорк, не на шутку впряжешься в оглобли и начнешь меня развлекать. Ты будешь это делать с ловкостью слона. Я должна буду лезть из кожи, умиляясь каждый день на твои цветы... то есть в те дни, когда ты не забудешь прислать их!.. и воображаю, как ты станешь волочить меня на аркане в кино, когда мне захочется посидеть дома, поспать...

— Гром и молния! Что ни скажу...

— Нет уж, позволь! Ты милый и хороший, но ты самодур. Я у тебя должна всегда быть тем, чем ты захочешь,— вплоть до заброшенной, одинокой жены. Но я... я, может быть, ленива. Я, может, предпочитаю слоняться без дела, чем утруждать себя заботой о туалетах, и блистать в обществе, и всякое такое. Я хлопочу по дому... Эх, зря я не распорядилась, чтобы без нас побелили кухню — такая славная кухонька!.. Я делаю вид, что читаю свои французские книжки, я люблю пойти погулять, посмотреть витрины, съесть порцию мороженого с содовой — так день и пройдет. Ры-

жик, я тебя страшно люблю: если б я могла, я стала бы забитой, как собака, ради полного твоего удовольствия. Но я не способна на систематическую ложь. Так, немного приврать, это я могу — вот как на той неделе: сказала тебе, что не притрагивалась к конфетам и что живот у меня не болит, а сама съела добрых полфунта, и меня мутило, как проклятую... Нет, я у тебя замечательная жена!

Серое море сменилось лиловым и серебряным. В сумерки они стояли вдвоем у поручней, и Мартин чувствовал всю ширь моря и жизни. Он всегда жил воображением. Когда он продирался сквозь толпу, когда скромным молодым супругом выбегал купить на обед холодного ростбифа, его черепная коробка была просторна, точно купол неба. Он видел не улицы, а микробов, громадных, как чудища джунглей, видел тысячи колб, мутных от бактерий, и себя самого, отдающего приказы своему гарсону, и слышал грозные поздравления Макса Готлиба. Его сны всегда связаны были с его работой. Теперь, пробудившись, он так же страстно воспринимал корабль, таинственное море, присутствие Леоры. И в теплых сумерках тропической зимы он воскликнул:

— Дорогая! Это наше первое большое путешествие! Скоро, если на Сент-Губерте у меня все пройдет успешно, я приобрету вес в научном мире, и мы поедем за границу, побываем в твоей Франции, и в Англии, и в Италии — везде!

— Мы сможем поехать? Ты думаешь? Ох, Рыжик! Увидеть разные земли!

9

Он никогда о том не узнал, но целый час в их каюте, в отсвете ламп, горевших рядом в гостиной, она наблюдала его спящего.

Он не был красив; он был смешон, как щенок, заснувший среди жаркого дня. Волосы взъерошены, лицо глубоко вдавилось в измятую подушку, которую он обхватил обеими руками. Леора глядела на него улыбаясь, и растянутые уголки ее губ были похожи на спущенные с тетивы крошечные стрелы.

«Я так его люблю, когда он нечесаный! Ну разве ты не видишь, Рыжик, как я умно поступила, что поехала! Ты так измотан. Ты можешь схватить *это,* и кто же, кроме меня, сумеет за тобой ухаживать? Никто не знает всех твоих причуд — что ты не выносишь слив, и все такое. Я буду сидеть над тобой день и ночь: шепнешь — и я проснулась. И если понадобятся компрессы и пузырь со льдом... уж я достану, если даже придется пролезть в дом к миллионеру и выкрасть у него лед из того запаса, что он держит для коктейлей. Мой дорогой!»

Она наставила электрический вентилятор так, чтоб он больше веял на него, и вышла на цыпочках в их неуютную гостиную. Мебели было здесь немного: круглый стол, несколько стульев и роскошный зеркальный красного дерева стенной шкаф неизвестного назначения.

— Каюта какая-то... гм... чопорная. Следовало бы мне убрать ее как-нибудь по-иному.

Но Леора не обладала талантом, передвинув стулья и перевесив картины, придать уют мертвой комнате. Ни разу в жизни она не потратила трех минут на то, чтоб расставить цветы. Она неуверенно обвела глазами гостиную, улыбнулась, выключила свет и тихонько прошла к Мартину.

Поверх одеяла, она лежала на своей койке в истоме тропической ночи — такая маленькая, в легкомысленной ночной рубашке. Она думала: «Мне нравится в маленькой спальне: Рыжик ближе ко мне, и не так страшно. Какой он все-таки самодур! Когда-нибудь я восстану и скажу ему: «А ну тебя к черту!» Непременно! Дорогой, мы поедем во Францию, вдвоем, ты и я, да?»

Она заснула с улыбкой на губах, хрупкая, тоненькая...

ГЛАВА XXXIII

1

Выплывали из тумана горы, и на склонах гор они видели увенчанные пальмами укрепления, построенные в давние времена против пиратов. На Мартинике белые фасады домов напоминали провинциальную Францию, и кипучий рынок пестрел ярко-синими и малиновыми платками цветных женщин. Прошли мимо Сабы — одинокого вулкана, мимо знойной Сент-Люсии. Ели папайю, и плоды хлебного дерева, и авокадо, купленные у кофейно-коричневых туземцев, подходивших к борту в маленьких вертлявых лодках; чувствовали тоску островов и с трепетом глядели на приближающийся Барбадос.

Рядом — Сент-Губерт.

Из туристов ни один, выезжая, не знал о карантине. Они негодовали на пароходную компанию, которая подвергла их такой опасности. В теплом ветре им чудилось дыхание чумы.

Капитан обратился к ним с успокоительной речью. Да, пароход остановился у Блекуотера, сент-губертского порта, но они бросят якорь далеко от берега; пассажирам, едущим на Сент-Губерт, разрешат добраться до пристани на катере портового врача,

но из жителей Сент-Губерта никому не дозволено будет уехать,— ни один предмет с чумного острова не коснется парохода, за исключением правительственной почты, которую судовой врач основательно продезинфицирует.

(Судовой врач между тем ломал голову над вопросом: как же дезинфицируют почту? Окуривают, что ли? Жгут серу во влажном воздухе?)

В спорах с владельцами верфей капитан понаторел в ораторском искусстве, и туристы успокоились. Но Мартин шепнул своей Комиссии:

— Я раньше об этом не подумал. Сойдя на берег, мы становимся пленниками до окончания эпидемии, если она когда-нибудь окончится,— пленниками на острове чумы.

— Ну разумеется! — сказал Сонделиус.

2

Бриджтаун, красивый порт острова Барбадос, они оставили в середине дня. Была ночь, когда прибыли в Блекуотер, пассажиры почти все уже спали. Мартин вышел на сырую безлюдную палубу, и она показалась ему нереальной и глухо враждебной, а от будущего поля битвы он мог разглядеть только ряд береговых огней за неспокойной полосой воды.

Было что-то боязливое и незаконное в их прибытии. Судовой врач озабоченно бегал вверх и вниз; было слышно, как ворчит капитан на мостике; первый помощник торопливо взбежал к нему, переговорил и снова нырнул в люк; никто не встречал их. Пароход ждал, покачиваясь на мертвой зыби, а берег, казалось, дышал на него горячими миазмами.

— Здесь мы сойдем на землю и *останемся!* — сказал Мартин Леоре, когда они стояли у своих чемоданов и ящиков с фагом на качающейся в черных бликах палубе, у верхнего конца трапа.

Выходили в халатах пассажиры, болтали: «Да, вот он, этот остров,— где огни. Жуткое место. Шшто-о? Кто-то высаживается? Ах, верно, те два доктора. Ну и храбрецы! Не завидую им!»

Мартин слышал.

От берега к судну подошел, ныряя, огонек, обогнул нос и приткнулся к трапу. В мутном свете фонаря, который держал на нижней ступеньке стюард, Мартин увидел изящный, крытый тентом катер. Команду его составляли чернокожие матросы в морской форме и лакированных соломенных шляпах, черных с лентами; начальником над ними — человек в штатской куртке и какой-то форменной с козырьком фуражке, с виду шотландец.

Капитан тяжело спустился по качающимся за бортом ступенькам. Покуда катер подскакивал на волнах, сверкая мокрым тентом, он долго и сокрушенно беседовал с его командиром, потом принял сумку с почтой — единственный допущенный на борт предмет.

Судовой врач с отвращением взял ее у капитана, ворча:

— Где же я теперь достану бочонок — продезинфицировать эти подлые письма?

Мартин с Леорой и Сонделиус безропотно ждали.

К ним присоединилась худощавая женщина в черном, которую они за всю поездку увидели в первый раз,— одна из тех таинственных пассажирок, которые скрываются от взоров, пока им не приходит время сойти на берег. По-видимому, она тоже высаживалась в Блекуотере. Она была бледна, и руки у нее дрожали.

Капитан крикнул им:

— Все в порядке!.. Прошу!.. Прошу!.. Можете сходить. Поживей, пожалуйста. Мне пора сниматься... Экая канитель!

«Сент-Буриан» не был очень большим и роскошным пароходом, но теперь, когда Мартин медленно слезал по шатким ступенькам, он казался замком, верным оплотом среди бурь, а борт его — массивной стеной. И вдруг явилась мысль: «Теперь не отвертишься; идешь, как на эшафот,— тебя ведут, сопротивляться бесполезно». И другая: «Ага, ты, видно, еще не разделался со своим воображением! Довольно!» И затем: «Еще не поздно оставить Ли дома, на борту?» И последняя тревожная мысль: «О боже, как они спускают фаг? Достаточно ли осторожно?» И вот он стоит уже на крошечной площадке у подножия трапа, высится над головою борт, освещенный иллюминаторами кают. Кто-то помогает сойти в катер.

Когда спустилась незнакомка в черном, Мартин увидел при свете фонаря, как она стиснула губы, и затем ее лицо превратилось в тупую маску — лицо человека, который ждет без надежды.

Леора, когда Мартин помогал ей сойти в катер, твердо пожала ему руку.

Под свист сирены он проговорил:

— Живо! Ты еще можешь вернуться! Ты должна!

— И уйти с этого славного кораблика? Что ты, Рыжик! Ты только посмотри, какой чудесный у него мотор!.. Ух, как страшно!

Когда запыхтел мотор, когда катер круто повернул и понесся к мерцающим береговым огням, зарываясь носом и танцуя на зыби, рыжеватый начальник спросил Мартина:

— Вы комиссия Мак-Герка?

— Да.

— Отлично.

Голос прозвучал радостно, но как-то холодно — деловой, чуждый юмора голос.

— А вы портовый врач? — спросил Сонделиус.

— Не совсем. Я доктор Стокс из Сент-Свитинского прихода. Мы теперь тут каждый на все руки. Портовый врач... Он, видите-ли, умер дня два тому назад.

Мартин буркнул что-то. Но воображение перестало его волновать.

— Вы, как я понимаю, доктор Сонделиус? Я знаю вашу работу в Африке, в Германской Восточной... Я сам бывал в тех краях. А вы доктор Эроусмит? Читал вашу статью о чумном фаге. Замечательная работа! Пользуюсь случаем предупредить вас, пока мы не высадились... Вас тут встретят в штыки. Инчкеп Джонс, главный врач, потерял голову. Мечется, вскрывает бубоны... а боится сжечь деревню Кариб, очаг всей заразы. Эроусмит, я понимаю, какого рода опыт вы хотите здесь произвести. Если Инчкеп станет препятствовать, приезжайте ко мне, в Сент-Свитин... если я к тому времени не помру. Меня зовут Стокс... Эй, парень, ты что там выкручиваешь? Хочешь плыть прямо на Венесуэлу?.. Инчкеп и его превосходительство до того перетрусили, что боятся даже сжигать трупы,— у черных на этот счет какие-то религиозные предрассудки... колдовство или что-то там еще.

— Понимаю,— проговорил Мартин.

— Сколько у вас на сегодня случаев чумы? — спросил Сонделиус.

— Кто их знает! Верно, с тысячу. И к этому десять миллионов крыс... Как хочется спать!.. Ну, так: привет вам, джентльмены! — Он истерически раскинул руки: — Привет вам на острове Гесперид!

Из темноты, качаясь, плыл на них Блекуотер низкими, шаткими бараками на болотистой низкой равнине, покрытой смрадным илом. Город почти весь был погружен во мрак — во мрак и недобрую тишину. На угрюмой набережной не видно было ни души — пакгаузы, трамвайная станция, здесь и там небольшая гостиница,— они причалили и сошли на берег, не пробудив внимания таможенных служащих. Не было ни кебов, ни такси, агенты гостиниц, бывало осаждавшие туристов с «Сент-Буриана» в любое время дня и ночи, перемерли или попрятались.

Таинственная пассажирка в черном скрылась, ковыляя со своим чемоданом,— она так и не сказала ни слова, и они больше никогда ее не видели. Комиссия со Стоксом и портовой полицией, составившей команду катера, понесли багаж (один из ящиков с фагом Мартин потащил сам) по изрезанным колеями, осененным балконами улицам к отелю «Сан-Марино».

Из переулка иногда смотрело на них испуганное лицо, подобное маске с перекошенным ртом, и когда подошли к отелю, когда остановились у подъезда — усталый караван, нагруженный чемоданами и ящиками,— пучеглазая хозяйка выглянула в окно, прежде чем их впустить.

Входя, Мартин увидел при свете уличного фонаря первое движение жизни: плачущую женщину и растерянного ребенка, провожавших телегу, на которую свалено было с десяток недвижных тел.

— И я мог бы их всех спасти своим фагом! — прошептал Мартин.

Лоб у него был холодный, но липкий от пота, когда он договаривался с хозяйкой о комнатах и столе, а сам молил бога, чтоб Леора не увидела кладь этой медленно поскрипывающей телеги.

«Знал бы я, так я бы лучше ее задушил, чем позволил бы ей поехать»,— думал он содрогаясь.

Хозяйка извинялась:

— Придется мне попросить вас, джентльмены, самим внести в комнаты ваши вещи. Наши коридорные... Их тут больше нет.

Какая судьба постигла бамбуковую трость, которую Мартин из пустого самодовольства купил в Нью-Йо́рке, он так никогда и не узнал. Он был слишком занят охраной ящиков с фагом и неотступной мыслью: «Наверно, этим можно было бы их всех спасти».

Стокс из Сент-Свитина был человек молчаливый и черствый, но когда внесли наверх последний чемодан, он припал головою к двери, воскликнул: «О боже! Эроусмит, я так рад, что вы здесь»,— и бегом кинулся прочь... Один из портовых полисменов, негр, говоривший на англо-антильском жаргоне с лондонским акцентом, сказал:

— Сар, вы к моя имеет еще приказанья? Если позволите, мы пойти домой, сар, виски на столе — доктор Стокс велел принести, моя принес.

Мартин глядел, не понимая. Сонделиус ответил за него:

— Благодарю вас, ребята, благодарю. Вот вам фунт — поделитесь. А теперь идите спать, пора.

Они отдали честь и скрылись.

С полчаса Сонделиус старался, как мог, развеселить новичков.

Мартин и Леора проснулись навстречу палящему, ослепительному утру, в зелени и багрянце, но мертвенно тихому: проснулись и поняли, что вокруг чужая, еще не распознанная земля, что впереди работа, которая в далеком Нью-Йорке казалась увлекательной и радостной, но теперь отдавала запахом морга.

Принесла какое-то подобие завтрака негритянка, которая, перед тем как войти, боязливо разглядывала их с порога.

В шелковом вдохновенном халате вломился из соседнего номера Сонделиус. Если когда-то, сгорбленный и в очках, он показался старым, то теперь он был молод и буен.

— Гей-о, Худыш, поработать нам придется на славу! Дайте мне только приняться за крыс! Инчкеп вообразил, что осилит их стрихнином! Тихий идиот! Леора, когда вы разведетесь с Мартином, пойдете за меня замуж, а? Дайте-ка соли... О да! Выспался отлично!

Накануне Мартин едва взглянул на комнату. Теперь его развлекал ее, как он решил, иностранный вид: высокие деревянные переборки, окрашенные в водянисто-голубой цвет, широкие незаставленные простенки, бугенвилия перед окном, а во дворе нещадный зной и шелест металлических пальмовых листьев.

Над забором двора поднимались балконы многоэтажного китайского магазина и стеклянная крыша «Голубого Базара».

Мартин чувствовал, что из этого экзотического мира должен бы доноситься гомон, но кругом стояла укоризненная тишина, и даже Сонделиус приумолк, хотя не отказал себе в маленьком удовольствии: он пошел вперевалку к себе, облачился в чесучовый костюм, в последний раз служивший ему в Восточной Африке, и вернулся с пробковым шлемом, который тайком купил для Мартина.

В полотняном пиджаке, в пробковом шлеме грибом Мартин принадлежал больше тропикам, чем своим родным косматым северным пастбищам. Но он еще не вкусил до конца радость преображения, как в комнату вошел главный врач острова, доктор Р.-Э. Инчкеп Джонс, тощий, но краснощекий, задерганный, торопливый.

— Здесь вам, конечно, рады, джентльмены, но мы так загружены делами, что, боюсь, не сможем оказать вам того внимания, на какое вы, несомненно, рассчитываете,— сказал он с негодованием в голосе.

Мартин подыскивал ответ. Слово взял вместо него Сонделиус. Он стал говорить о своем несуществующем кузене, крупном специалисте с Харли-стрит, и объяснил, что им ничего не нужно — только лабораторию для Мартина, а лично для него — возможность истреблять крыс. Сколько раз, в скольких странах доводилось Густаву Сонделиусу улещать проконсулов и уговаривать язычников, чтоб они разрешили ему себя спасать!

В умелых руках Сонделиуса главный врач стал похож на человека; он глядел на Леору так, точно и впрямь находил ее хорошенькой; обещал Сонделиусу, что, пожалуй, так и быть, передаст ему своих крыс,— пусть возится с ними. Впрочем, он зайдет еще раз после обеда и проводит Комиссию в приготовленный для нее дом — Пенритскую Хижину, в безопасном уединенном уголке, среди гор за Блекуотером. Он полагает, миссис Эроусмит (тут он галантно поклонился) убедится, что это превосходное бунгало; и там к тому же трое вполне приличных слуг. Дворецкий хоть и цветной, но был когда-то кашеваром в армии.

Только Инчкеп Джонс успел уйти, как в дверь задубасили и в комнату ввалился товарищ Мартина по Уиннемаку, преподобный Айра Хинкли, доктор медицины.

Мартин забыл Айру, увальня-христианина, который старался некогда спасти его душу, отравляя сладостные часы работы над трупами. Он и теперь с трудом его припомнил. Айра вошел, большой и громоздкий. Глаза его, совершенно безумные, лезли из орбит, голос был хрипло беззвучен:

— Март, старина, здоро́во, это я, Айра! Я ведаю здесь всеми часовнями Братства Евангелического Просвещения. О Март, если бы ты знал, до чего нечестивы туземцы, как они лгут, и поют непристойные песни, и предаются всяческому пороку! И англиканская церковь дает им погрязать в грехах! Кроме нас, их некому спасать! Я услышал о твоем приезде. Я тут немало потрудился. Ухаживаю за бедными, сраженными чумою неграми и рассказываю им об адском пламени, бушующем вокруг. О Март, если бы ты знал! Сердце мое обливается кровью, когда я вижу, как невежественные грешники идут без покаяния на вечные муки! Я знаю, ты не мог через столько лет остаться прежним безбожником. Я прихожу к тебе, простирая руки, и молю не только облегчить страдальцам их телесную скорбь, но и вырвать их души из пылающих серных озер, куда бог сил в извечном своем милосердии низвергает тех, кто возводит хулу на его Евангелие, возвещенное каждому...

И опять Сонделиус сумел выпроводить Айру Хинкли, не слишком его разобидев, Мартин же только сплюнул.

— Интересно, как угораздило этого маньяка попасть сюда! Час от часу не легче!

До возвращения Инчкепа Джонса комиссия отважилась сделать первую вылазку в город... Научная комиссия — однако они все время оставались неугомонным Густавом, и терзаемым сомнениями Мартином, и непосредственной Леорой.

Обывателям было разъяснено, что при бубонной чуме, в отличие от легочной, в инкубационный период соприкосновение с

заболевшим опасности не представляет, если только нет паразитов. Но люди не верили. Они боялись друг друга и еще больше боялись незнакомцев. Комиссия увидела улицу, вымершую от страха. В окнах белели ставни — горячие дощатые заплаты на стенах; и единственным средством передвижения был пустой трамвай, из которого глянул на них перепуганный вожатый и прибавил ходу, чтоб они не успели вскочить. Бакалейные лавки и аптекарские магазины были открыты, но лавочники боязливо посматривали из темной их глубины, а когда комиссия подошла к рыбному ларьку, единственный покупатель отпрянул в сторону и обратился в бегство.

А раз какая-то женщина — кто она была, так и не выяснилось,— какая-то женщина, простоволосая, растрепанная, пробежала мимо них с воплем: «Мой мальчик! Мой маленький...»

Они прошли на рынок: сотня ларьков под длинной крышей из гофрированного железа на каменных столбах, украшенных спесивыми именами членов палаты, которые построили рынок, подав голос за выпуск займа на его сооружение. Он должен был бы кишеть веселыми покупателями и продавцами, но нарядные ларьки стояли пустые, только какая-то негритянка отважилась разложить свои веники да индус в серых лохмотьях сидел на корточках перед своим богатством — кучкой овощей. Кругом — пустота, и гнилая картошка, и гонимые ветром клочки бумаги.

Унылая улица, захваченная угольными складами, вывела их к городскому саду, объятому тишиной не сна, но древней смерти.

Кольцом угрюмых манговых деревьев сад был отрезан от оробевшего бриза и томился в жаре — затхлой, безжизненной жаре, от которой горесть притаившейся тишины становилась еще безнадежней. В просвете между злыми манго был виден оштукатуренный дом, убранный черным крепом.

— Ходить слишком жарко. Вернемся лучше в гостиницу,— сказала Леора.

4

Днем явился Инчкеп Джонс с фордом, в силу своей привычности казавшимся еще нелепей в этом призрачном мире, и повез их к Пенритской Хижине, в прохладу холмов за городом.

Проехали набитым до отказа негритянским кварталом: бамбуковые лачуги и лавки — некрашеные, почерневшие под дождями хибарки, без окон, без дверей; из их глубины злобно глядели на проезжавших темные лица. Со всей скоростью, какую мог развить испуганный шофер-метис, миновали новое кирпичное строение, перед которым расхаживали с ружьями наперевес статные

негры-полисмены в белых перчатках, белых пробковых шлемах и малиновых кафтанах, перерезанных белыми кушаками.

— Школа,— вздохнул Инчкеп Джонс.— Мы превратили ее в чумной барак. Там сто больных. Каждый час умирают. Пришлось поставить стражу — больные в бреду пытаются бежать.

Запах разложения тянулся за ними.

Мартин не чувствовал превосходства над человечеством.

5

Среди ярких красных цветов и веселых саговых пальм Пенритская Хижина — бунгало с просторными верандами, с покатой крышей — стояла высоко на гребне холма и смотрела поверх уродливо распластавшегося города на морской прибой. В окнах ее шуршали и постукивали тростниковые жалюзи, и высокие голые комнаты были оживлены узорными карибскими шарфами... Она принадлежала портовому врачу, умершему три дня тому назад.

Инчкеп Джонс рассеял сомнения Леоры, заверив ее, что она нигде не будет в большей безопасности: дом недоступен для крыс, а чуму врач подцепил на пристани и умер, не возвращаясь в свое любимое бунгало, где он, закоренелый холостяк, давал, бывало, самые шумные обеды на Сент-Губерте.

Мартин привез с собою оборудование для небольшой лаборатории, и он устроил ее в спальне врача, где были газ и водопровод. Рядом была его с Леорой спальня, а за стеной — комната Сонделиуса, которой он тотчас придал обжитой вид, разбросав по ней свою одежду и усеяв пол пеплом из трубки.

В доме были две темнокожие служанки и дворецкий, отставной солдат, которые приняли их и распаковали их чемоданы, точно чумы и не бывало.

Первый их посетитель привел Мартина в замешательство. Это был необычайно красивый молодой негр, с быстрыми движениями, с умными глазами. Как большинство белых американцев, Мартин нередко говорил о низком развитии негров, ничего не зная о них. В недоумении глядел он на гостя. Молодой человек сказал:

— Меня зовут Оливер Марченд.

— Да?

— Доктор Марченд, врач. Я кончил в Говарде.

— О!

— Вы позволите мне приветствовать вас, доктор? И можно мне спросить у вас перед уходом... я спешу, тут у меня под горой лежат в изоляторе трое из семей видных чиновников... Да, в нынешней нужде негра-врача допускают к практике даже среди бе-

лых! Так вот... Доктор Стокс утверждает, что вы с Д'Эреллем правы, называя бактериофаг организмом. А как вы смотрите на утверждение Борде, что фаг — энзим?

И вот в течение получаса доктор Эроусмит и доктор Марченд, забыв о бубонной чуме, забыв другую, более жестокую чуму расовой ненависти, чертили вдвоем диаграммы.

Марченд вздохнул:

— Я должен идти, доктор. Вы позволите мне посильно помогать вам? Знакомство с вами — большая честь.

Он спокойно поклонился и ушел — красивое молодое создание.

— Вот уж не думал, что негр-врач может... До каких же пор меня то и дело будут тыкать носом во всякую всячину, которой я не знаю! — сказал Мартин.

6

Пока Мартин устраивал свою лабораторию, Сонделиус радостно ушел в работу, выискивая, в чем ошибочны были действия Инчкепа Джонса, и убеждаясь, что они представляли собой почти сплошную ошибку.

Чумная эпидемия в наши дни, в цивилизованной стране, проходит не так, как в былые времена, когда люди падали мертвыми на улицах и возчики выкрикивали: «Выносите ваших мертвецов!» Борьба с чумою ведется подобно современной войне,— с телефонами вместо всадников на взмыленных конях. Древний ужас принял черты деловитости: организуются штабы, бактериологические исследования больных и крыс, создаются картотеки. Назначается, или должен назначаться, единоличный начальник, облеченный чрезвычайными полномочиями. Отпускаются большие суммы, население просвещают посредством плакатов и через газеты, рассылаются бригады истребителей крыс, отряды дезинфекторов; больных изолируют, чтоб насекомые не перенесли с них микробов на здоровых.

Большинства этих мер Инчкеп Джонс не сумел провести. Чтоб заставить правительство признать наличие чумы, ему и то пришлось выдержать бой с купцами, которые держали в руках палату депутатов: сперва они подняли вой, что карантин их разорит, а теперь не соглашались предоставить главному врачу всю власть и пытались управиться с эпидемией через Совет попечителей народного здоровья, что было едва ли не хуже, чем поручить какой-нибудь комиссии вести захваченный тайфуном корабль.

Инчкеп Джонс был достаточно отважен, но не умел улещать людей. Газеты называли его деспотом и не помогали ему склонять население к борьбе с крысами и земляными белками. Он попробовал окурить серой несколько пакгаузов, но владельцы жаловались, что пары портят им товары и краску на стенах. Господа попечители предложили подождать... немного подождать... там будет видно... Пробовал он подвергать исследованию крыс, чтоб установить очаги заразы, но у него не было других бактериологов, кроме перегруженных работой Стокса и Оливера Марченда; а Инчкеп Джонс на обедах в приличных домах говаривал не раз, что он не доверяет умственным способностям негров.

Он был близок к сумасшествию; работал двадцать часов в сутки; уверял себя, что не боится; напоминал самому себе, что честно заработал свой орден «За боевое отличие»; он страстно хотел, чтоб ему давал приказы кто-нибудь помимо «красноногих» — попечителей-купцов; и всегда в его мозгу, истерзанном недосыпанием, туманно рисовались холмы Сэрри, и сестры на обсаженных розами дорожках, и плетеные стулья вокруг чайного стола у отцовской теннисной площадки.

И тут Сонделиус, ловкий, не брезгающий ложью властитель кулуаров, нечестивый солдат Христова воинства, ворвался и стал диктатором.

Совет попечителей он попросту запугал. Он ссылался на свой личный опыт в Индии и Монголии. Убеждал господ попечителей, что, если они не перестанут соваться со своей политикой, чума навсегда укоренится на Сент-Губерте, и придется им распроститься навек с любезными долларами туристов и с утехами контрабанды.

Он грозил, и льстил, и рассказывал анекдот, которого никогда не слышали даже в «Ледяном Доме»; и добился, что Инчкепа Джонса назначили диктатором Сент-Губерта.

В чрезвычайной близости к диктатору стоял Густав Сонделиус.

Он немедленно приступил к истреблению крыс. По мандату, подписанному Инчкепом Джонсом, он арестовал оптовика, заявившего, что свои запасы какао он портить не даст. Он повел к пакгаузу своих полисменов, дюжих черных ребят, прошедших школу мировой войны, выставил стражу и стал накачивать в помещение газ синильной кислоты.

За цепью полисменов собралась толпа. Люди недоумевали. Не верили, что действительно что-то происходит, так как щели в стенах пакгауза были тщательно законопачены и запах газа не ощущался. Но крыша была худая. Газ пробирался сквозь нее, бесцветный, дьявольский; и вдруг круживший над крышей сарыч

метнулся в сторону, скатился по кривой и мертвым лег среди зрителей. Кто-то, выпучив глаза, поднял его.

— Дохлый. Как есть дохлый,— зашептали вокруг. И с почтением глядели на Сонделиуса, расхаживавшего среди своих солдат.

Его бригада, перед тем как накачивать газ, обыскивала каждый пакгауз, следя, чтобы в нем никто не остался, но в третьем пакгаузе заснул какой-то бродяга, и когда дверь после окуривания осторожно отворили, там оказались не только тысячи мертвых крыс, но и мертвый, совсем окоченевший человек.

— Несчастный!.. Похороните его,— сказал Сонделиус.

Следствия не производили.

Над ромовым свизлом в «Ледяном Доме» Сонделиус рассуждал:

— Интересно, сколько я убил людей, Мартин? Когда я дезинфицировал в Антофагасте суда, мы всегда потом обнаруживали двух-трех «зайцев». Слишком хорошо они прячутся. Несчастные!

Сонделиус по своему усмотрению отрывал от работы счетоводов и носильщиков и посылал их донимать крыс ядом, капканами и газом или морить голодом, замуровывая в амбарах и пакгаузах. Он вычертил великолепную красно-зеленую карту распространения крыс по городу. Он нарушал все права собственности, грабительски забирая в магазинах нужные припасы. Действуя где лаской, где угрозами, он прибрал к рукам заправил палаты. Он нанес визит Келлету, рассказывал сказки его детям и чуть не прослезился, объясняя, какой он хороший лютеранин,— а в доказательство пил без меры (только не у Келлета).

«Ледяной Дом», самый нежаркий и самый мирный изо всех кабаков — холодные мраморные столики, белые с позолотой стены,— не закрылся, хотя только самые старые пьяницы и самые юные удальцы, недавно прибывшие из дому и отчаянно тоскующие кто по Уолтемстоу или Пекхему, кто по Хай-стрит в Сайренсестере или по садам в Пиле, отваживались туда заходить, а из прислуги там остался только один бармен, негр-исполин с Ямайки. Оказалось, что именно он гениальней всех других умел смешивать вест-индский пунш, новоорлеанскую шипучку и ромовый свизл. Сонделиус отдал должное его шедеврам — единственный спокойный ценитель среди малочисленных клиентов, которые теперь заходили не помечтать, а второпях опрокинуть стаканчик и убежать. Проведя весь день в облавах на крыс и в дезинфицировании домов, он сидел за столиком с Мартином, с Мартином и Леорой или с кем бы то ни было, кто поддавался на уговоры и не удирал.

Для Густава Сонделиуса герцоги и сапожники были равно занимательны, и Мартин не без ревности подмечал иногда, что Сонделиус обращается к какому-нибудь клерку из конторы по сбыту

какао с тою же улыбкой, какою дарил его, Мартина. Сонделиус часами говорил о Шанхае и эпистемологии или о живописи Невинсона, часами распевал скабрезные песенки Латинского квартала и гремел: «Эх! Как я сегодня расправился с крысами на верфи Келлета! Не думаю, чтобы стаканчик свизла разрушил слишком много клубочков в почках честного человека».

Он был жизнерадостный, но это не была наставительная и назойливая жизнерадостность Айры Хинкли. Он смеялся над самим собой, над Мартином, над Леорой, над их работой. Дома за обедом он ел, не замечая что́ (хотя большое внимание уделял напиткам), а в Хижине это было очень приятно, принимая во внимание, что Леора старалась сочетать уитсильванские воззрения с навыками вест-индской прислуги при отсутствии ежедневной доставки провизии. Он орал и пел — и принимал меры предосторожности для работы среди крыс и прытких блох: высокие сапоги, ремешки на запястьях и резиновый ошейник, который он сам изобрел и который по сей день известен во всех магазинах тропического снаряжения под названием «шейного противопаразитного предохранителя системы Сонделиуса».

В сущности, хотя Мартин и Готлиб этого не понимали, он был самым блестящим и самым непритязательным, а потому самым недооцененным воителем против эпидемий, какого знал когда-либо мир.

Так шли дела у Сонделиуса, тогда как для Мартина существовали пока только затруднения, и бестолочь, и страх перед страхом.

ГЛАВА XXXIV

1

Было невозможно убедить торговцев, властителей Сент-Губерта, пойти на опыт, при котором половина из них могла умереть ради того, чтобы человечество — может быть! — избавилось навсегда от чумы. Мартин спорил с Инчкепом Джонсом, с Сонделиусом, но не снискал сочувствия и начал обдумывать политическую кампанию, как обдумывал, бывало, свои опыты.

Он видел, какие страдания несла чума, и едва одолевал искушение забыть свой опыт, отказаться от возможного спасения миллионов ради немедленного спасения тысяч. Инчкеп Джонс, несколько успокоившись под мягким кнутом Сонделиуса и получив возможность вернуться к благотворной рутине, повез Мартина в деревню Кариб, где из-за множества зараженных грызунов заболеваемость была выше, чем в Блекуотере.

Они неслись от столицы по белым, усеянным ракушками дорогам, мучительным для ослепленных солнцем глаз; из пригорода Ямтауна, где тонут в пыли лачуги, они попали в край прохладных бамбуковых рощ и пальм и зарослей сахарного тростника. С вершины холма спустились по извилистой дороге к взморью, где гудит в известковых пещерах высокий прибой. Казалось невозможным, что этому радостному берегу грозит чума, мерзкое исчадье темных переулков.

Машина мчалась сквозь звонкий пассат, певший о белых парусах и гордых людях. Они неслись вперед, туда, где под Карибским мысом пенятся гребни волн и где вокруг одинокой царственной пальмы на косе шумит веселый ветер. Тихо въехали в жаркую долину и подкатили к деревне Кариб и к притаившемуся чудовищу.

Чума была страшна в Блекуотере. В Карибе она была концом всего. Крысиные блохи нашли привольное жилье в меху земляных белок, которые водились по деревне в каждом саду. В Блекуотере с первых дней проводилась изоляция больных, в Карибе же смерть была в каждом доме, и деревня была оцеплена жандармами, которые, держа наготове штыки, никого, кроме врачей, не впускали и не выпускали.

Мартина повели по вонючей улице мимо домов с крышами из пальмовых листьев и стенами из бамбуковых шестов, обмазанных коровьим пометом, домов, где люди жили вместе с домашней птицей и козами. Он слышал кричавших в бреду; десятки раз видел страшное лицо — втянутые щеки, запавшие, налитые кровью глаза, раскрытый рот,— лицо, отмеченное черной смертью; и видел прелестного ребенка, девочку, в предсмертном оцепенении: язык ее был черен, могильный запах стоял вокруг.

Они бежали, бежали на Карибский мыс, к пассату, и когда Инчкеп Джонс спросил: «Вы и теперь будете говорить об экспериментах?» — Мартин покачал головой, стараясь вызвать в памяти образ Готлиба и все их маленькие проекты: «Половине ввести фаг, половине строго отказать».

Ему пришло на ум, что Готлиб, в своем затворническом простодушии, не представляет себе, что значит добиваться проведения опыта в истерике эпидемии.

Он пошел в «Ледяной Дом»; выпил по стакану с напуганным конторщиком из Дербишира; вновь увидел перед собою глаза Готлиба, глубокие, требующие, и дал клятву не поддаться состраданию, которое в конечном счете сделает всякое сострадание бесплодным.

Если Инчкеп Джонс не может понять необходимость опыта, нужно обратиться к губернатору, к полковнику Роберту Фэрлембу.

2

Губернаторский дом, хоть и считался официально главным правительственным зданием Сент-Губерта, представлял собою крытое тростником бунгало чуть побольше Пенритской Хижины. Увидев его издали, Мартин приободрился, и в девять часов вечера он поднимался на широкое крыльцо так свободно, точно зашел мимоходом в гости к соседу в Уитсильвании.

Его остановил угнетающе вежливый лакей, ямайский негр.

Мартин буркнул, что он доктор Эроусмит, председатель Мак-Герковской Комиссии, и что он просит извинить за причиненное беспокойство, но ему необходимо немедленно переговорить с сэром Робертом.

Самым кротким и нудным тоном слуга стал объяснять, что доктору, гм...— лучше переговорить с главным врачом, когда над перилами веранды показалось широкое румяное лицо и сочный голос прогудел:

— Впусти его, Джексон, и не будь дураком!

Сэр Роберт и леди Фэрлемб кончали обедать за круглым столиком на веранде, уставленным ликерами, кофейным прибором и мерцающими, как звезды, свечами. Она — худенькое, нервное ничто; он — толстый, очень красный, несомненно смелый и вконец растерявшийся человек; и в такое время, когда ни одна прачка не отваживалась прийти ни в один дом, его крахмальная манишка сияла белизной.

Мартин был в полюбившемся ему теперь полотняном костюме, в мягкой помятой рубашке, которую Леора все собиралась выстирать.

Мартин объяснил, что он намерен сделать — что он должен сделать, если мир хочет когда-нибудь разделаться с глупой привычкой болеть чумой.

Сэр Роберт слушал благосклонно. Мартину казалось уже, что губернатор его понимает, но тот, дослушав до конца, прорычал:

— Молодой человек, если бы я командовал на фронте дивизией и во время боя, во время жаркого боя, какой-нибудь писарь из военного министерства попросил бы меня поставить на карту всю операцию, чтоб испытать какое-то его маленькое изобретение,— как вы полагаете, что бы я ответил? Сейчас я почти бессилен — господа врачи забрали все в свои руки,— но, насколько окажется в моей власти, я, конечно, буду препятствовать вам, янки-вивисекторам, вмешиваться в дело, используя нас, как груду вонючих,— извините, Эвелин,— груду вонючих трупов. Спокойной ночи, сэр!

«Эроусмит»

3

Благодаря ловкой напористости Сонделиуса Мартин получил возможность представить свой план Особому Комитету, состоявшему из губернатора, временно распущенного Совета попечителей народного здоровья, Инчкепа Джонса, нескольких мягкосердечных членов палаты и самого Сонделиуса, присутствовавшего в качестве неофициального лица, что во всех концах земли помогало ему маскировать свою веселую тиранию. Сонделиус умудрился даже ввести в комитет негра-врача Оливера Марченда, конечно, не как самого образованного человека на острове (что было для Сонделиуса истинным основанием), но как «представителя рабочих на плантациях».

Сам Сонделиус был таким же противником бесстрастных экспериментов Мартина, как и Фэрлемб; он считал, что все эксперименты должны проводиться в лабораториях (при помощи каких ухищрений, было для него не совсем ясно), не нарушая течения милых его сердцу эпидемий; но он никогда не мог устоять перед такой романтикой, как невинное заседание Особого Комитета.

Заседание назначили через неделю — когда каждый день уносил десятки жизней. В ожидании Мартин изготовлял новые запасы фага и помогал Сонделиусу истреблять крыс, а Леора слушала полночные споры мужчин и старалась добиться от них признания, что они поступили разумно, взяв ее с собой. Инчкеп Джонс предложил Мартину пост правительственного бактериолога, но Мартин отказался, чтобы не отвлекаться от основной своей задачи.

Наконец, Особый Комитет собрался в здании парламента. Каждый из его членов старался казаться не просто самим собою, а судьей. Присутствовали и те из врачей острова, кому удалось урвать свободное время.

Леора села среди публики в задних рядах. Мартин начал речь, представляя себе эту сцену со стороны: маленького Марта Эроусмита из Элк-Милза серьезно слушают правители тропического острова, возглавляемые сэром Имярек. Бок о бок с ним стоял Макс Готлиб, и, черпая у Готлиба силу, он почтительно старался разъяснить, что человечество постоянно отказывалось от подлинного величия, потому что подоспевали те или иные критические обстоятельства — война, выборы, преданность очередному Мессии — и прерывали терпеливое искание истины. Он старался объяснить, что сумеет, может быть, спасти половину жителей какого-нибудь предоставленного ему района, но для проверки ценности фага на вечные времена вторую половину придется оставить без прививок... хотя, добавил он дипломатически, этой

несчастной половине будет предоставлена вся та врачебная помощь, какой больные пользуются сейчас...

Большинство членов Комитета слышали, что Мартин располагает магическим средством от чумы, которое он скрывает по неизвестным и, верно, постыдным побуждениям; они отнюдь не собирались поощрять укрывательство. Разгорелись прения, мало связанные с тем, что говорил Мартин, и позволившие уяснить только то обстоятельство, что все присутствующие, кроме Стокса и Оливера Марченда, настроены против него; Келлета раздражало вмешательство американца, сэр Роберт Фэрлемб просто уперся, как бык, а Сонделиус утверждал, что Мартин вполне порядочный молодой человек, но фанатик.

В споры ворвалось исступление в лице Айры Хинкли, миссионера из Братства Евангелического Просвещения.

Мартин не видел Айру с первого дня своего приезда в Блекуотер. С изумлением слушал он его речь:

— Джентльмены, я знаю, вы почти все принадлежите к англиканской церкви, но я прошу вас выслушать меня не как священника, а как врача, как доктора медицины. Гнев божий обрушился на вас... Но я не о том, я вот что хочу сказать: Эроусмит учился со мною в одном университете, на одном курсе. Я его знаю вдоль и поперек: такой был балбес, что его исключили. Ученый! А его хозяин, его хваленый Готлиб — его тоже выставили из Уиннемакского университета за неспособность! Знаем мы их! Вруны и остолопы! Нечестивцы, глумящиеся над верой! Кто вам сказал, кроме самого Эроусмита, что он выдающийся ученый?

Любопытство на лице Сонделиуса сменилось упрямой скандинавской яростью. Он поднялся и прокричал:

— Сэр Роберт, этот человек полоумный! Доктор Готлиб — один из семи мудрецов сегодняшней науки, а доктор Эроусмит — его представитель! Выражаю свою солидарность с ним, полную солидарность. Как вы должны были видеть по моей работе, я действую совершенно от него независимо, и я весь к вашим услугам, но я знаю его заслуги и покорно следую за ним.

Особый Комитет ласково вывел Айру Хинкли (из самых низменных побуждений: на Сент-Губерте белые не слишком уважают блаженные экстазы негров в часовнях Братства Просвещения), но постановил только «принять доклад к сведению, решение отложить»; и люди по-прежнему умирали десятками ежедневно, и на Сент-Губерте, как и в Маньчжурии, молили об отдохновении от этого древнего неотступного проклятия.

В коридоре, когда Особый Комитет разбрелся по домам, Сонделиус с жаром сказал Мартину и возмущенной Леоре:

— Да, славная была драка!

Мартин ответил:

— Густав, вы примкнули ко мне, наконец. Черт возьми, первое, что вы сделаете,— вы пойдете со мной и зарядитесь фагом.

— Нет, Худыш, я сказал вам, что не дам впрыснуть себе фаг, пока вы не дадите его каждому. Мои убеждения не изменились, сколько бы я ни дурачил ваш Комитет.

Когда они стояли перед палатой, к ним подкатил небольшой автомобиль, отличавшийся всеми качествами, кроме комфортабельности и мощности, и на тротуар выпрыгнул англичанин, худой, как Готлиб, и типичный, как Инчкеп Джонс.

— Вы доктор Эроусмит? Меня зовут Твифорд, Сесил Твифорд из Сент-Свитина. Думал попасть на заседание Особого Комитета, но чертов надсмотрщик отпросился домой, а сам взял да и умер от чумы. Я слышал от Стокса о вашем проекте. Совершенно правильно! Сплошная нелепость — вечно возиться с чумой. Комитет отклонил? Жаль. Может быть, мы сумеем что-нибудь устроить в Сент-Свитине. Всего хорошего.

Весь вечер Мартин и Сонделиус жарко спорили. Мартин лег спать, тоскуя о налаженном укладе ночной работы и утренних фуражировок за папиросами. Он не мог заснуть, потому что воображаемый Айра Хинкли всю ночь врывался к нему.

Через четыре дня он узнал, что Айра умер.

Покуда был в сознании, Айра ухаживал за больными своего прихода и благословлял их — свою смиренную темнокожую паству в душной, крытой железом часовне, которую он теперь превратил в чумной барак. Он, шатаясь, ходил от койки к койке под евангельскими текстами, которые выписал сам на беленных известью стенах, потом громко возопил и повалился у сосновой кафедры, с которой так любил проповедовать.

4

Выпала все-таки на долю Мартина удача. В Карибе, где каждый третий человек был сражен чумой и за всеми ходил один врач, Мартин привил фаг всей деревне; без передышки делал инъекции, и работу отнюдь не облегчало сознание, что бойкая блоха с любого пациента может наградить его чумой.

Но он забыл томительный страх, когда стал наблюдать и отмечать в точных записях спад эпидемии, не происходивший больше нигде, кроме Кариба.

Он вернулся домой и обрушился на Леору:

— Я им покажу! Теперь они пойдут на мои условия и разре-

шат мне опыт, а потом, когда эпидемия кончится, мы живо соберемся и — домой! Я с удовольствием опять померзну. Интересно, что Холаберд и Шолтейс — все так же ссорятся? Приятно будет попасть опять на нашу квартиру!

— Да, хорошо бы! — сказала Леора.— Зря я не распорядилась побелить кухню, пока мы в отъезде... Я, пожалуй, переставлю синее кресло в спальню.

Хотя чума в Карибе шла на убыль, Сонделиус не успокоился, так как в этой деревне было больше всего зараженных земляных белок. Сонделиус был скор на решения. В один прекрасный вечер он выложил свои планы Инчкепу Джонсу и Мартину, отмел их сомнения и сказал:

— Единственный способ дезинфекции для этой деревни — спалить ее всю целиком. Покончим с этим к утру, пока нам не помешали.

Взяв в адъютанты Мартина, он повел в поход свою армию крысоловов — все один к одному, удальцы в высоких сапогах, с перетяжками на запястьях, с черными блестящими пиратскими физиономиями. Они выкрали провизию из лавок, палатки, одеяла и походные печи — из правительственного военного склада — и свалили добычу на грузовики. Отряд грузовиков загромыхал по дороге к Карибу. Поверх клади сидели крысоловы, распевая благочестивые гимны.

Они налетели на деревню, выгнали здоровых, вынесли на носилках больных, разместили их всех в палатках на лугу вверх по долине и в первом часу ночи сожгли поселок.

Солдаты сновали среди хижин, поджигая их причудливыми факелами. От пальмовых листьев на кровлях шел густой дым, мертвенно-медлительный, белый, со зловещими черными прожилками, а сквозь дым языками вырывалось пламя. На огненном фоне вырисовывались силуэты пальм. Хижины, казавшиеся такими крепкими, мгновенно превращались в хрупкий бамбуковый остов — черные линии стропил в осыпающихся ворохом искрах. Пламя осветило всю долину, взметнуло стаи кричащих перепуганных птиц и превратило прибой у Карибского мыса в кровавую пену.

Укрепив свои ряды теми из туземцев, какие были посильней и поразумней, армия Сонделиуса оцепила горящую деревню и с бешеными воплями избивала палками бегущих крыс и земляных белок. В огне разрушения демоном носился Сонделиус, колотя ошалелых крыс дубинкой, пуская им вдогонку пули и все время напевая про себя непристойную балладу о Билле-моряке. А на рассвете он уже ухаживал за больными в яркой, новой, полотняной деревне, учил негритянок обращению с их новыми походными

печками и благодушно обсуждал способы отравления земляных белок в норах.

Сонделиус вернулся в Блекуотер, по Мартин остался в деревне-лагере на два дня, вводя фаг, делая записи, инструктируя новоявленных больничных сестер. Наконец, он вернулся в Блекуотер и пошел в приемную главного врача — или в то, что было приемной главного врача, пока не явился Сонделиус и не забрал ее в свои руки.

Сонделиус сидел там, за столом Инчкепа Джонса, но на этот раз он не был занят. Он полулежал в своем кресле, и глаза его были налиты кровью.

— Ух! Неплохо провели мы времечко с крысами в Карибе, а? Ну, как мой полотняный городок? — проговорил он со смешком, но ослабевшим голосом и, встав, зашатался.

— Что с вами? Что?

— Как видно, подцепил. Добралась до меня какая-нибудь блоха. Да,— продолжал он нетвердо, но с большим интересом,— я как раз собрался пойти посадить себя в карантин. У меня изрядный жар, и железы распухли. И моя сила... Ух! Мне под шестьдесят, но поглядели бы вы, как я поднимаю грузы, которые не по плечу ни одному матросу... В боксе я выдерживаю пять раундов! О, боже мой, Мартин, я так ослабел. Но не боюсь. Нисколько.

Если б Мартин его не подхватил, он рухнул бы на пол.

Он отказался вернуться в Хижину, где за ним ходила бы Леора.

— Я стольких изолировал,— теперь мой черед,— сказал он.

Мартин и Инчкеп Джонс подыскали для Сонделиуса бедный чистенький домик — проживавшая в нем семья умерла вся поголовно, но домик окурили. Раздобыли сиделку, и Мартин сам ходил за больным, стараясь вспомнить, что был когда-то врачом, умевшим класть на головы лед и говорить слова утешения. Одного не удалось достать — сетки от москитов, и только на это и жаловался Сонделиус.

Мартин склонился над ним и со смертельной болью наблюдал, как горит его кожа, как вспухли лицо и язык, как слаб его голос, бормотавший:

— Готлиб прав насчет шуток бога. Ух! Самая лучшая — тропики. Бог замыслил их такими прекрасными — цветы, и море, и горы. Он велел плодам произрастать так обильно, чтобы человеку не нужно было работать... а потом он посмеялся и насовал вулканов и змей, напустил влажную жару, и раннюю старость, и чуму, и малярию. Но самой подлой ловушкой, какую он подстроил человеку, было изобретение блохи.

Его распухшие губы растянулись, из воспаленного горла вырывалось слабое клокотанье, и Мартин понял, что больной пытается засмеяться.

Он впал в бред, но между приступами лепетал с бесконечным трудом, со слезами на глазах от сознания собственного бессилия.

— Я хочу показать вам, как умирает агностик! Я не боюсь, но хотелось бы хоть раз еще увидеть Стокгольм, и Пятую авеню в день первого снегопада, и страстную неделю в Севилье. И как следует выпить напоследок. Я ухожу совсем мирно. Немного больно, но жизнь была прекрасной игрой. И я... я набожный агностик. О Мартин, дайте моим бедным людям фаг. Спасите их всех... Боже, я не думал, что мне будет так тяжело.

Сердце сдало. Он затих на низкой походной кровати.

5

Мартин затаил скорбную гордость от того, что при всей своей любви к Густаву Сонделиусу он не потерял голову и по-прежнему противился требованиям Инчкепа Джонса вводить фаг всем подряд, по-прежнему добивался того, ради чего был послан сюда.

— Я не сентименталист. Я ученый! — хвалился он.

На него гикали на улицах; мальчишки осыпали его ругательствами и кидали в него камнями. Люди прослышали, что он нарочно не приступает к их спасению. Граждане высылали делегации, умоляя его спасти их детей, и он был так поколеблен, что должен был непрестанно вызывать в памяти образ Готлиба.

Паника возрастала. Кто сохранял сперва хладнокровие, и те утрачивали власть над собой, когда, просыпаясь по ночам, видели в окнах отсвет костра на Адмиральском холме — наскоро созданного крематория, где Сонделиус с его кудрявой гривой был брошен с лопаты в огонь вместе с калекой негритенком и нищим-индусом.

Сэр Роберт Фэрлемб был незадачливым героем, раздражавшим больных попытками наладить за ними уход. Стокс оставался непоколебим, как утес,— спал три часа в сутки, но не изменял своему обычаю, встав с постели, делать пятнадцать минут гимнастику. И Леора в Пенритской Хижине спокойно помогала Мартину приготовлять фаг.

Не выдержал и вконец развинтился главный врач.

Лишившись своей зависимости от презренного Сонделиуса, снова погрязнув в исступленной беспланости, Инчкеп Джонс кричал, думая, что говорит вполголоса, и папироса, вечно зажатая

в пальцах его исхудалой руки, так дрожала, что дым поднимался судорожными спиралями.

Совершая очередной обход, он наткнулся ночью на моторную лодку, в которой двенадцать «красноногих» собрались бежать на Барбадос, и он внезапно очутился среди них, предлагая взятку, чтоб они его прихватили с собой.

Когда лодка вышла из блекуотерской гавани, он простер руки к своим сестрам и к тишине холмов родного Сэрри; но, когда пропали вдали последние испуганные огни города, он понял, что был трусом, очнулся и высоко вскинул свою узколобую голову.

Он потребовал, чтоб лодку повернули и доставили его обратно. Беглецы отказались, орали на него и заперли его в каюте. Их захватил штиль. Прошло два дня, пока они достигли Барбадоса, и за это время мир должен был уже узнать о его дезертирстве.

На Барбадосе Инчкеп Джонс в полном отупении зашагал по набережной от причала к гостинице и долго стоял в неряшливой комнате, где пахло помоями. Он никогда не увидит своих сестер, не увидит прохладных холмов. Из того револьвера, который он носил, чтоб загонять обезумевших больных назад в изоляторы, из револьвера, который носил под Аррасом, Инчкеп Джонс застрелился.

6

Так подошел Мартин к своему опыту. Главным врачом на место Инчкепа Джонса был назначен Стокс, и тот, в обход закона, назначил Мартина в округ Сент-Свитин полновластным медицинским чиновником. Это назначение и содействие Сесила Твифорда дали ему возможность осуществить опыт.

Твифорд предложил ему свое гостеприимство. Мартина смущало только одно — как уберечь Леору. Он не знал, что ждет его в Сент-Свитине, тогда как Хижина была безопасней любого места на острове. Когда Леора возражала, что, пока он будет проводить свой опыт, холодная рука, задушившая смех Сонделиуса, может добраться и до него и она, Леора, будет ему нужна, он пробовал успокоить ее обещанием, что, если в Сент-Свитине для нее найдется место, он пришлет за ней.

Он, понятно, лгал.

«Было достаточно тяжело видеть смерть Густава. Хоть весь мир провались, я не подвергну ее риску!» — поклялся он.

Он уехал, оставив ее на попечение двух служанок, солдата-дворецкого и доктора Оливера Марченда, который обещал заглядывать, когда будет возможность.

В Сент-Свитине рощи бамбука и какаовых деревьев и остроглавые горы южного Сент-Губерта уступают место сплошному сахарному тростнику. Здесь Сесил Твифорд, худой, резкий человек, властвует над каждым акром земли и толкует по-своему все законы.

Его усадьба Жасминовый Сад была тихим прибежищем среди знойной жужжащей равнины. Дом был старый и низкий, оштукатуренный, с толстыми каменными стенами; в комнатах — деревянная панель, фарфор, портреты и шпаги Твифордов за три сотни лет; а между крылами дома — обнесенный оградой сад в ослепительном блеске шаронских роз.

Твифорд провел Мартина через низкие прохладные сени и представил его пяти великанам-сыновьям и своей матери, которая последние десять лет, со смерти его жены, была хозяйкой дома.

— От чая не откажетесь? — спросил Твифорд.— Сейчас спустится вниз наша американская гостья.

Он сказал это не задумываясь — так он был уверен, что раз Твифорды из поколения в поколение пили здесь чай в установленный час, никакая паника не помешает им пить чай по-прежнему в этот самый час.

Когда Мартин прошел в сад, когда увидел старинное серебро на плетеном столе и услышал спокойные голоса, чума показалась побежденной, и он понял, что здесь, в четырех тысячах миль к юго-западу от Лизарда, он в Англии.

Сели за стол. Шла любезная, но несколько натянутая беседа, когда спустилась вниз американская гостья и с порога уставилась на Мартина так же странно, как и он на нее.

Он видел перед собой женщину, которая могла бы быть его сестрой. Ей было, верно, лет тридцать против его тридцати семи, но сухощавостью, бледным лицом, черными бровями и темными волосами она была словно его двойник, его второе заколдованное «я».

Мартин точно слышал свой голос, прохрипевший: «Но вы же моя сестра»,— и она раскрыла губы, но ни он, ни она не сказали ни слова, только поклонились друг другу. Она села. Мартин никогда не чувствовал так остро присутствие женщины.

До наступления вечера он узнал, что она — Джойс Ленион, вдова Роджера Лениона из Нью-Йорка. Она приехала на Сент-Губер осмотреть свои плантации и попала в карантин. Он слышал где-то мельком о ее покойном муже как о богатом молодом человеке из хорошей семьи; он как будто даже припомнил, что видел в «Ярмарке тщеславия» фотографию: Ленионы на взморье в Палм-Биче.

Она говорила только о погоде, о цветах, но была в ней нарастающая веселость, которая расшевелила даже неподатливого Сесила Твифорда. Перебив ее непринужденное подтрунивание над самым громадным из великанов-сыновей, Мартин повернулся к ней:

— Вы в самом деле моя сестра.

— Очевидно. Что ж, раз вы ученый... Вы хороший ученый?

— Довольно хороший.

— Я знакома с вашей миссис Мак-Герк. И с доктором Рипплтоном Холабердом. Мы встречались в Хессиан-Хуке. Знаете вы это место?

— Нет, я... Да, слышал о нем.

— Знаете, конечно. Это обновленная часть старого Бруклина, где писатели, экономисты и всякая такая публика, в том числе чуть что не первоклассные таланты, общаются с теми, кого можно назвать чуть что не сливками светского общества. Там принято одеваться к обеду, и вместе с тем каждый знает, кто такой Джеймс Джойс. Доктор Холаберд — обаятельный человек, вы не находите?

— Собственно говоря...

— Скажите мне... Я говорю искренне: Сесил объяснил нам, какой вы хотите провести опыт. Могу я вам помочь — в качестве сиделки, кухарки, чего угодно,— или я буду вам только помехой?

— Я еще не знаю. Если можно будет вас использовать, я не постесняюсь.

— О, не будьте вы так серьезны, как наш Сесил или доктор Стокс. Они не находят вкуса в игре. Вам нравится Стокс? Сесил на него молится, и я не сомневаюсь, что он начинен всякими добродетелями, но я нахожу его страшно сухим, и тощим, и неаппетитным. Вы не думаете, что он мог бы быть немного веселее?

Мартин отрезал себе возможность узнать ее лучше, разразившись упреками:

— Позвольте. Вы сказали, что находите Холаберда обаятельным. Меня огорчает, что вы польстились на его научную требуху и не оценили Стокса. Стокс — твердый человек, слава богу, и, может быть, грубый. Как не быть ему грубым? Он борется с миром, который млеет в телячьем восторге перед фальшивым обаянием. Ученый, пройдя через свою иссушающую работу, должен в какой-то мере загрубеть. А Стокс, уверяю вас, родился исследователем. Вот бы его к нам, к Мак-Герку. Груб? Вы не услышите, что он груб со мной!

Твифорд глядел растерянно, мать его глядела деликатно-шокированной, а пятеро сыновей глядели безразлично, как быки, пока Мартин яростно пытался вызвать перед ними образ варвара,

аскета, высокомерного служителя науки. Но красивые глаза Джойс Ленион глядели благосклонно, и, когда она заговорила, в ее голосе меньше ощущалась космополитическая вышколенность светской женщины.

— Да. Тут, верно, такая же разница, как между мной, играющей в плантатора, и Сесилом.

После обеда он пошел с нею в сад и старался защититься, сам не зная точно от чего, пока она не предложила:

— Дорогой мой, вы так усердно извиняетесь за то, что не любите извиняться! Если вы действительно мой брат-близнец, окажите мне честь посылать меня к черту всякий раз, когда вам этого захочется. Я не стану обижаться. А что касается вашего Готлиба, который, видно, владеет вами, как наваждение...

— Наваждение? Вздор! Просто он...

Они расстались через час.

Меньше всего Мартин хотел бы испытать еще раз такую цыплячью, мальчишескую, раздражающую тревогу, какую доставляла ему Орхидея Пиккербо, но, когда он улегся спать в комнате со старыми гравюрами и кроватью с пологом, его волновало сознание, что где-то поблизости — Джойс Ленион.

Он привстал в постели, испуганный правдой. Неужели он готов влюбиться в эту привлекательную и совершенно никчемную молодую женщину? (Как были за обедом хороши ее плечи над черным атласом! У нее гениально-лучезарное тело; перед ним тело почти каждой женщины, даже хрупкой Леоры, должно казаться грубым и плотным. Оно светится каким-то розовым жаром, как будто освещенное изнутри.)

Он в самом деле хочет, чтобы здесь была Леора — под одной крышей с Джойс Ленион? (Милая Леора, источник жизни! Скучает ли она по нем сейчас там, в Пенрите, лежа без сна в постели?)

Да и удобно ли будет сейчас, среди эпидемии, попросить церемонных Твифордов пригласить Леору? (Вполне ли он честен перед самим собою? Сегодня днем он познакомился с чопорным, хоть и любезным кодексом Твифордов, но разве нельзя перешагнуть через него, держась откровенно иностранцем?)

Он вдруг оказался на полу, на коленях. Он молился Леоре.

ГЛАВА XXXV

1

Чума только еще подступила к Сент-Свитину, хотя, несомненно, должна была захватить и его, когда, облеченный полномочиями окружного врача, Мартин получил, наконец, возможность

построить план кампании. Он разделил население на две равные части. Одной из них, пригнанной Твифордом, был привит противочумный фаг, другая половина была оставлена без прививок.

Опыт шел успешно. Мартин уже видел перед собой спасенную его усилиями далекую Индию, где ежегодно умирают от чумы четыреста тысяч человек. Слышал голос Макса Готлиба: «Мартин, вы профели фаш опыт. Я отшень рад!»

Мор навалился на непривитую половину округа много тяжелее, чем на тех, кто получил фаг. Появилось два-три случая и среди привитых, но среди прочих было по десять, по двадцать, потом по тридцать жертв ежедневно. Этих несчастных Мартин лечил (вводя больным фаг через одного) в убогой окружной богадельне — с беленными стенами бараке, казавшемся еще более жалким на фоне густолиственных индийских смоковниц и хлебных деревьев.

Мартин не мог понять Сесила Твифорда. Хотя на своих рабочих Твифорд смотрел как на рабов, хотя в своем обширном баронате он только и уделил им, что эту убогую богадельню, однако теперь, ухаживая за ними, он рисковал собственной жизнью и жизнью всех своих сыновей.

Миссис Ленион, как ни отговаривал ее Мартин, приходила стряпать для больных и оказалась на редкость хорошей кухаркой. Кроме того, она стелила больным постели; дезинфицировала себя с бо́льшим толком, чем все шестеро Твифордов; и, хлопоча на продымленной кухне в полосатом ситцевом фартуке с рукавами, взятом ею у горничной, она так волновала Мартина, что он забывал напускать на себя грубость.

2

Вечерами, когда они ехали в тарахтящем маленьком автомобиле Твифорда обратно в Жасминовый Сад, миссис Ленион разговаривала с Мартином, как его подручная в работе; но когда она выходила после ванны, напудренная и нарядная, он разговаривал с нею так, точно ее боялся. Их сближало сходство — сходство брата и сестры. Они почти с досадой решили, что похожи друг на друга до крайности, только волосы у ней глаже — точно лакированные, и не было у ней его дерзко вздернутой брови.

Часто Мартин поздно вечером возвращался к своим пациентам, но раза два вдвоем с миссис Ленион они бежали — не только от мысли о мечущихся в жару больных, но и от нудного домашнего уклада Твифордов,— на лагуну, глубоко врезавшуюся в каменистый берег.

Они сидели на утесе, захваченные гулом целительного прибоя. В мозгу Мартина полыхали диаграммы на широких беленых щитах в богадельне, горели солнечным светом щели в стенах, качались распухшие, полные ужаса лица зачумленных негров; вспоминалось, как один из сыновей Твифорда раздавил ампулу с фагом и как невыносимо жарко было в палате. Но в этом нервном напряжении ветер с лагуны и рокот прибоя его освежали. Он видел, как белое платье миссис Ленион билось вокруг ее колен, и понял, что и она устала от напряжения. Он сумрачно к ней повернулся, и она заговорила:

— Я так напугана и так одинока. Твифорды ведут себя героями, но они каменные. Здесь я точно брошена на необитаемом острове.

Он поцеловал ее, и она припала к его плечу. Его волновал мягкий шелк ее рукава. Но она вдруг отшатнулась со словами:

— Нет! Ведь я для вас ничего не значу. В вас говорит простое любопытство. Может быть, это для меня хорошо... сегодня.

Он попробовал уверить ее, уверить себя, что она для него значит до странности много, но его сковала истома; между ним и чарами этой женщины встали больничные койки, и великая усталость, и тихое лицо Леоры. Они оба молчали, и, когда он осторожно прикрыл ее руку своею, они сидели рядом свободные от волнения, понимая друг друга и могли непринужденно говорить о чем угодно.

Он стоял перед ее порогом, когда они вернулись домой, и воображал, как мягко двигается она за дверью.

«Нет,— злился он.— Не могу. Джойс... женщины вроде нее... это миллионная доля всего того, от чего я отказался ради своей работы и ради Ли. Так. Вот и все. Но если бы мне пожить здесь недельки две... Идиот! Вздумай только постучать, и, ого, как она вознегодует! Однако...»

Он видел лезвие света под дверью Джойс; и видел его еще явственней, когда повернулся к двери спиной и побрел в свою комнату.

3

Телефонная служба на Сент-Губерте была поставлена из рук вон плохо. В Пенритской Хижине телефона не было — портовый врач этим не огорчался и привык, что его вызывали через соседа. Центральная станция была вконец деморализована чумой, и Мартин, пробившись впустую два часа, оставил попытку связаться по телефону с Леорой.

Но он одержал победу. Через три-четыре дня он поедет в Пенрит. Твифорд равнодушно дал свое согласие, когда он заикнулся о приглашении сюда Леоры, и если Леора и Джойс Ленион так сдружатся, что Джойс никогда не станет искать в нем спасения от одиночества,— что ж, он на это согласен, он сам этого хочет... почти что хочет.

4

Оставленная в Хижине, под сумрачной сенью деревьев, высоко в Пенритских горах, Леора остро почувствовала отсутствие Мартина. Они так редко разлучались с тех пор, как он впервые натолкнулся на нее в Зените, когда она мыла в больничной палате пол.

День длился без конца; едва заслышав скрип, она вставала с надеждой, что это его шаги, и возвращалась к сознанию, что он не придет весь скучный вечер, всю страшную ночь; его не будет здесь, рядом, не будет его голоса, прикосновения его руки.

Обед прошел уныло. Ей приходилось обедать одной, когда Мартин работал в институте, но тогда она знала, что он вернется к ней, до рассвета, и она в раздумье перехватывала что-нибудь, присев у кухонного стола и просматривая «Страничку юмора» в вечерней газете. Но сегодня она должна была тянуться перед дворецким, который прислуживал ей так, точно она представляла собой двадцать званых гостей.

Она сидела на веранде, неотрывно глядя на темневшие внизу крыши Блекуотера, и явственно ощущала, как ползут к ней сквозь жаркую тьму «миазмы».

Она знала, в каком направлении лежит Сент-Свитин — за робким мерцанием тех огней в пальмовых лачугах, что лепятся по горному склону. Она сосредоточилась на них, гадая, нельзя ли каким-нибудь волшебством получить знак от Мартина, но не могла вызвать чувства, что он тоже глядит в ее сторону. Она сидела долго и спокойно... Ей нечего было делать.

Ночью она лежала без сна. Пробовала читать в кровати при свете электрической лампочки, пропущенной в темный маленький шатер сетки от москитов, но в сетке оказалась дыра, и москиты проникали в шатер. Выключив свет, Леора лежала не шевелясь и не могла заставить себя уснуть, не могла почувствовать себя в безопасности; затуманенным глазам все чудилось, будто еле видные полы ее шатра раздвигаются, и она старалась вспомнить, могут ли москиты переносить микробов чумы. Она увидела ясно, что зависит от Мартина даже в таких крохах знания, уж не говоря о всем мировоззрении. Ей вспомнилось, как он злился, что она не

может удержать в памяти, какой комар разносит желтую лихорадку — анофелес или стегомия... или вовсе аэдес? — и вдруг рассмеялась в темноте.

Потом ей пришло на память, что Мартин ей наказывал сделать себе еще одну инъекцию фага.

«Черт возьми, я и забыла. Ладно, завтра сделаю непременно».

«Завтра сделаю... завтра сделаю»,— гудело в мозгу назойливым припевом, когда она медленно погружалась в сон, сознавая, как сильно ей хочется укрыться в объятиях Мартина.

На следующее утро (она так-таки забыла сделать себе инъекцию) служанки и дворецкий показались ей нервней обычного, и, стараясь успокоить их расспросами, она узнала, что Оливер Марченд, врач, на которого все они так полагались, умер.

Среди дня дворецкий услышал, что его сестру забрали в изолятор, и он отправился в Блекуотер устроить племянниц. Он не вернулся; никто никогда не узнал, что с ним сталось.

К вечеру, чувствуя, точно смыкается вокруг нее цепь стрелков, Леора укрылась в лаборатории Мартина. Эта комната, казалось, была полна его порывистым, бьющим через край присутствием. Леора отошла подальше от колб с микробами чумы, но подобрала недокуренную папиросу — его папиросу и закурила.

На губе у нее была легкая трещинка, а в это утро, вытирая небрежной рукою пыль — здесь, в лаборатории, оплоте против болезни,— служанка опрокинула пробирку, и жидкость вытекла на пол. Папироса казалась совсем сухой, но на ней было достаточно чумных микробов, чтобы убить целый полк.

Через два дня, когда Леорой владело такое отчаянное чувство одиночества, что она подумывала пойти пешком в Блекуотер, раздобыть автомобиль и бежать к Мартину, она проснулась ночью в лихорадке, с головною болью, с холодными руками и ногами. Когда служанки увидели ее наутро, они убежали из дому. И в то время, как ею все больше овладевала слабость, Леора оказалась покинутой в уединенном доме, без телефона.

Весь день, всю ночь, с пересохшим от жажды горлом, она лежала одна, тоскуя о помощи. Раз она потащилась на кухню за водой. Пол спальни был безбрежным волнующимся морем, коридор змеился мраком, а у порога кухни она упала и пролежала час, тихо всхлипывая.

«Нужно... нужно... не помню что»,— взывал ее голос к затуманенному мозгу.

С болью — преодолевая боль — она поднялась на ноги, завернулась в ветхое пальтецо, забытое в бегстве одною из служанок, и, шатаясь, в темноте вышла из дому искать помощи. Дойдя до

проезжей дороги, она повалилась и лежала недвижно под забором, как раненый зверь. Ползком, на четвереньках, дотащилась обратно в дом, и пока не помрачалось сознание, она почти забывала боль в тоске по Мартину.

Растерянная, одинокая, она не смела пуститься в свое далекое странствие, не опираясь на его ласковую руку. Она ждала его, вслушивалась... вслушивалась до изнеможения.

«Ты придешь! Я знаю, что ты придешь и поможешь мне! Знаю. Ты придешь! Мартин! Рыжик! Рыжик!» — рыдала она.

Потом ее сковало благодетельное оцепенение. Боли больше не было, и темный дом весь затих,— слышалось только ее хриплое стесненное дыхание.

5

Как Сонделиус, Джойс Ленион убеждала Мартина давать фаг всем подряд.

— Нет, я буду стоек и суров, сколько бы вы все на меня ни наседали. Я — верный солдат Готлиба. Ничто не заставит меня изменить, даже если бы грозили мне линчеваньем,— хвалился он.

Он рассказывал Джойс о Леоре.

— Не знаю, понравитесь ли вы друг другу. Очень уж вы разные. Вы страшно четкая. И вы любите это «хорошее общество», о котором постоянно говорите. А Леоре плевать на него. Она сидит в сторонке... О, ничто не пройдет мимо нее, но она много не разговаривает. И я ни у кого не встречал подобного чутья,— инстинктом распознает неискренность. Надеюсь, вы оцените друг друга. Я побоялся взять ее сюда — не знал, что здесь найду,— но теперь я еду в Пенрит, привезу ее сегодня же.

Он взял у Твифорда машину и домчался до Блекуотера и оттуда до Пенрита в превосходном настроении. Чума чумой, а вечерами им будет нескучно. Один из сыновей Твифорда не такой уж надутый; он и Джойс и Мартин с Леорой будут уходить на лагуну — ужинать среди скал; будут петь...

Он подъехал к бунгало, закричал:

— Ли! Леора! Выходи! Едем!

Веранда, когда он взбежал на нее, была усеяна листьями и покрыта пылью, и входная дверь хлопала на ветру. Эхо гулко отдавало его голос среди безнадежного молчания. Мартину стало не по себе. Он кинулся в дом, никого не нашел в столовой, никого на кухне, поспешил в спальню.

На кровати, поверх содранной сетки от москитов, лежало тело Леоры, очень хрупкое, очень тихое. Он звал ее, он тряс ее за плечо, он стоял и плакал.

Он говорил с нею безумным голосом, стараясь внушить ей, что любил ее и оставил здесь одну только ради ее же безопасности...

На кухне был ром, и он прошел на кухню влить в себя несколько стаканов. Ром не подействовал.

Под вечер он вышел в сад, высокий и ветреный сад, обращенный к морю, и вырыл глубокую яму. Он поднял легкое застывшее тело Леоры, поцеловал его и опустил в яму. Всю ночь он бродил. Когда же он вернулся в дом и увидел ряд ее маленьких платьев, сохранявших линии ее мягкого тела, его охватил ужас.

И тогда он сорвался.

Он бросил Пенритскую Хижину, оставил Твифордов и перебрался в комнату за кабинетом главного врача. Там рядом с кроватью Мартина всегда стояла бутылка.

Потому что смерть в первый раз постучалась к нему, он бесновался: «А провались они, опыты!» — и, к отчаянью Стокса, стал прививать фаг каждому, кто просил.

Только в Сент-Свитине, где опыт его начался так успешно, какой-то остаток чести удержал его от прививки фага всем поголовно; но вести этот опыт он предоставил Стоксу.

Стокс видел, что Мартин не совсем в своем уме, но только раз попробовал вернуть его к оставленной работе — и услышал в ответ: «Что мне до вашей науки?»

Стокс сам вместе с Твифордом продолжал опыт и вел записи, которые должен был вести Мартин. Вечером, проработав с рассвета часов четырнадцать — пятнадцать, Стокс мчался на мотоцикле в Сент-Свитин — он терпеть не мог эту недостойную тряску, да и небезопасным считал нестись по извилистым горным дорогам со скоростью шестидесяти миль в час, но это сберегало время — и до полуночи он совещался с Твифордом, давал ему указания на следующий день, приводил в порядок его неумелые записи и дивился его угрюмой кротости.

Тем временем в кабинете главного врача в Блекуотере Мартин с утра до ночи делал прививки нескончаемой очереди перепуганных граждан. Стокс просил его, по крайней мере, переложить эту работу на другого врача и уделить хоть немного внимания Сент-Свитину, но Мартин испытывал горькое удовлетворение, топча свою былую гордость и помогая разрушать свое дело.

С медицинской сестрой в роли ассистента он стоял среди голого кабинета. Люди, плечом к плечу, белые, негры, индусы, стояли сбивчивой очередью, на целый квартал, по десятеро в ряд, бессловесно ожидая, точно перед казнью. Они подходили к сестре и смущенно подставляли руки, которые она мыла, обмывала водой

и натирала спиртом перед тем, как передать пациента стоявшему рядом Мартину. Он резко прихватывал кожу повыше локтя и втыкал в нее иглу, ругаясь, когда они дергались, не различая отдельных лиц. Уходя, они благодарно лепетали: «Да благословит вас бог, доктор!» — но он не слышал.

Иногда присутствовал при этом Стокс и глядел озабоченно, в особенности когда видел в очереди рабочих с плантаций Сент-Свитина, которым полагалось бы сидеть в своем приходе под строгим надзором — для проверки ценности фага. Иногда заходил сэр Роберт Фэрлемб, сияя и курлыкая и предлагая свою помощь... Леди Фэрлемб первая из всех получила прививку, а за нею судомойка в лохмотьях, возносившая нескончаемые славословия.

Через две недели, устав от этой драмы, он передал прививку четырем врачам, а сам стал изготовлять фаг.

Но по ночам Мартин сидел в одиночестве, взъерошенный, и упорно пил. Он жил спиртом и злобой, раскрепощал душу и растворял свое тело ненавистью, как некогда отшельники растворяли свое экстазом. Жизнь его была нереальна, как ночи старого пьяницы. Над нормальными осторожными людьми он имел то преимущество, что ему безразлично было, жить или умереть. Разве не сидел он среди мертвых, разговаривая с Леорой и Сонделиусом, с Айрой Хинкли и Оливером Марчендом, с Инчкепом Джоном и призрачной толпой чернокожих, протягивающих к нему руки в мольбе?

После смерти Леоры он только раз заехал к Твифордам забрать свои вещи и не увиделся с Джойс Ленион. Он ее ненавидел. Он клялся, что не ее присутствие помешало ему вернуться к Леоре раньше, но оставалось сознание, что в те часы, когда он болтал с Джойс, Леора умирала.

«Гнусный проныра, туда же лезешь, в светское общество! Слава богу, ее ты больше не увидишь».

Он сидел на краю койки, в тесной и душной комнате, нечесаный, с красными прожилками в глазах. Приблудный котенок, которого он почитал своим единственным другом, спал на его подушке. На стук в дверь Мартин пробормотал: «Не могу я сейчас говорить со Стоксом. Пусть сам ведет свои опыты. Мне опыты осточертели».

И крикнул угрюмо:

— Войдите!

На пороге стояла Джойс Ленион, свежая, холеная, уверенная.

— Что вам нужно? — рявкнул он.

Она посмотрела на него, закрыла дверь; молча навела порядок на столе, заваленном едой, бумагами, инструментами. Сма-

нила негодующего котенка на коврик, взбила подушку и села рядом с Мартином на неопрятную кровать. Потом начала:

— Не сердитесь. Я знаю, что случилось. Сесил поехал на час в город, и я хотела выразить... Вас не утешит немного сознание, что мы любим вас? Вы разрешите мне предложить вам дружбу?

— Мне не надо ничьей дружбы. У меня нет друзей.

Он сидел безмолвный, не чувствуя ее ладони на своей руке. Но, когда она ушла, в нем снова затеплилось мужество.

Он не решался отказаться от виски, дававшего все же поддержку, и не видел, как теперь прекратить прививание фага каждому, кто приходил и просил о прививке, но и впрыскивание и приготовление фага он переложил на других, а сам вернулся к строжайшему наблюдению за своим сент-свитинским опытом... который был теперь сильно испорчен, потому что непривитая часть населения ходила на прививку в Блекуотер.

Он не виделся с Джойс. Жил в богадельне. Но вечерами теперь бывал по большей части трезв.

6

Проповедь истребления крыс распространилась по всему острову; все — от пятилетнего карапуза до хромой бабки — вышли избивать крыс и земляных белок. Из-за фага ли, из-за борьбы ли с крысами или волей провидения эпидемия затихла, и через шесть месяцев после приезда Мартина, когда палил зноем вест-индский май и надвигалась полоса штормов, чума почти исчезла, и карантин был снят.

Сент-Губерт в своих кухнях и лавках почувствовал себя вне опасности, и среди буйной весны остров радовался, как больной, когда его впервые отпустила боль, радуется просто тому, что жив и ничто его не тревожит; что можно на открытых рынках шумно, с руганью торговаться; что любовники могут бродить по улицам, ничего вокруг не замечая; что лодыри могут рассказывать истории, попивая неторопливо свизл в «Ледяном Доме»; что старики могут сидеть, поджавши ноги, и чесать языки под сенью манговых деревьев; что добрые христиане могут собираться и петь гимны господу,— все это не было больше обыденным и глупым, но стало райским блаженством.

Отплытие первого парохода превратилось в празднество. Белые и черные, индусы, и китайцы, и караибы толпились на пристани, крича, размахивая шарфами, стараясь не разрыдаться при слабом писке того, что осталось от блекуотерского премирован-

ного духового оркестра; и когда пароход — «Сент-Айа», Мак-Герковской пароходной компании — отвалил и капитан, стоя очень прямо на своем мостике, лихо отдал честь, хотя сквозь навернувшиеся слезы он не видел гавани,— все почувствовали, что они уже не сидящие под замком прокаженные, но жители вольного мира.

С этим пароходом уезжала Джойс Ленион. Мартин простился с нею на пристани.

Почти одного с ним роста, она крепкой рукой пожала ему руку, взглянула на него без смущения и радостно сказала:

— Итак, вы уцелели. Я тоже. Оба мы, пойманные в этот капкан, были сумасшедшими. Не думаю, чтоб я вам помогла, но я старалась помочь. Видите ли, меня никогда не учили понимать действительную жизнь. Вы меня научили. Прощайте.

— Вы разрешите мне навестить вас в Нью-Йорке?

— Если вам в самом деле захочется.

Она уехала, и никогда она не была так близко, как в тоскливый час, когда пароход пропал за серебряной чертой горизонта. Но пришла ночь, и он бежал, охваченный ужасом, в Пенритскую Хижину и припал щекой к сырой земле над той Леорой, с которой ему никогда не приходилось приспосабливаться и объясняться, у которой никогда не нужно было спрашивать: «Вы разрешите мне вас навестить?»

Но Леора лежала в последней своей постели холодная, без улыбки и не ответила ему, не утешила.

7

Мартин должен был до отъезда собрать записи по эксперименту с фагом; прибавить наблюдения Стокса и Твифорда к своим собственным первым точным цифрам.

Как человек, даровавший фаг десятку тысяч напуганных островитян, он сделался важной особой. «Блекуотер-Гардиан» в первом после снятии карантина выпуске назвал его «спасителем наших жизней». Он стал народным героем. Если Сонделиус помог им очиститься от погани, разве не был Сонделиус адъютантом при нем? А если была тут десница божья, как утверждает многодумный негр, сменивший Айру Хинкли в часовнях Братства Просвещения, то разве не был чужеземец послан к ним самим господом?

Правда, занудливый доктор-шотландец, усердно, но незаметно работавший во время эпидемии, указывал, что известно немало

случаев, когда чума прекращалась и без фага, но его никто не слушал.

Когда Мартин заканчивал разбор своих записей, пришло письмо из Мак-Герковского института за подписью Риплтона Холаберда.

Холаберд писал, что Готлиб «сильно сдал», сложил с себя руководство институтом, приостановил свою собственную научную работу и ныне сидит дома — удалился на покой. Сам Холаберд был назначен исполняющим должность директора и в качестве такового заливался:

«Отчеты о вашей работе в письмах от агентов Мак-Герка (поскольку эти письма пропускались карантинными властями) куда шире, чем ваш собственный скромный отчет, оповещают нас о вашем поистине сенсационном успехе. Вы сделали то, что немногим из наших современников под силу совершить: путем широкой экспериментальной проверки установили действенность противочумного бактериофага и спасли большую часть несчастного населения. Совет попечителей и я — мы должным образом ценим те лавры, которые вы прибавили и прибавите еще, когда отчет ваш будет напечатан, к славе Мак-Герковского института, и теперь, поскольку ваш номинальный патрон, доктор Готлиб, по-видимому, несколько месяцев не сможет сотрудничать у нас, мы полагаем организовать новый самостоятельный отдел с вами во главе».

— Установил действенность... чушь! Я провел проверку едва наполовину,— вздохнул Мартин. Потом подумал: «Новый отдел! Я и тут слишком много командовал. Надоела мне власть. Я хочу вернуться в свою лабораторию и опять все начать сначала».

Ему пришло на ум, что он, вероятно, будет получать десять тысяч в год... Леора так радовалась бы, задавая небольшие экстравагантные обеды.

Хоть он и раньше видел, как ослаб за последнее время Готлиб, все же Мартина больно поразило известие о его нездоровье, настолько серьезном, что он на несколько месяцев был вынужден оставить научную работу.

Мартин забывал свои личные горести, когда думал о том, что, отступившись от своего опыта, разыгрывая спасителя, он изменил Готлибу и всему, что Готлиб в своем лице представляет. Вернувшись в Нью-Йорк, он должен будет прийти к старику и сознаться под взглядом его глубоких строгих глаз, что не получил полного доказательства действенности фага.

Если бы он мог хотя бы прибежать к Леоре со своими десятью тысячами в год...

8

Он покинул Сент-Губерт через три недели после Джойс Ленион.

Накануне его отъезда в его и Стокса честь был устроен банкет под председательством сэра Роберта Фэрлемба. В то время как сэр Роберт выпаливал щедрые комплименты, и Келлет пробовал что-то объяснить, и все, стоя, пили за здоровье своего спасителя сразу после тоста за короля, Мартин сидел одинокий, думая о том, что завтра он оставит этих доверчивых людей, чтобы держать ответ перед Готлибом, перед Терри Уикетом.

Чем громче славили его, тем упорней он думал о неведомых строгих ученых в далеких лабораториях: что скажут они о человеке, который имел такую возможность и не использовал ее? Чем настойчивей величали его подателем жизни, тем горше сознавал он свой позор и свою измену: и когда он взглянул на Стокса, в его глазах он прочел жалость, которая была хуже осуждения.

ГЛАВА XXXVI

1

По случайному совпадению Мартин возвращался в Нью-Йорк, как и выехал, на «Сент-Буриане». Корабль населяли призраки дремлющей Леоры, Сонделиуса, кричащего на капитанском мостике.

На борту «Сент-Буриана» находилась также звезда Загородного клуба, мисс Гвильям, обидевшая Сонделиуса.

Она плодотворно провела зиму — писала заметки о музыке туземцев на Тринидаде и в Каракасе; или по меньшей мере собиралась их писать. Она видела, как Мартин садился на корабль в Блекуотере, и обратила внимание на провожавших его друзей: двое англичан, толстый и тощий, и один шотландец, форменный сухарь.

— Ваши приятели все, очевидно, британцы,— разъяснила она ему, завладев им на правах старого знакомства.

— Да.

— Вы провели здесь всю зиму.

— Да.

— Как же вам не посчастливилось — попасть в карантин! Но я говорила вам, что глупо было высаживаться. Вам, несомнен-

но, удалось заработать кое-какие деньги практикой? Но все это было, конечно, крайне неприятно.

— Д-да-а, пожалуй.

— Я вам говорила! Вы должны были послушаться меня и ехать на Тринидад. Очаровательный остров! Скажите, как поживает мистер Грубиян?

— Кто?

— О, вы знаете — тот смешной швед, что устраивал танцы и все такое.

— Он умер.

— О, мне, право, жаль. Знаете, что бы там ни говорили другие, а я считала его неплохим человеком. Я уверена, что, в сущности, он был довольно культурен, только слишком много поднимал суматохи. А жена ваша с вами?

— Нет... не со мной. Я пойду вниз, распакую вещи.

Мисс Гвильям проводила его взглядом, ясно говорившим: «Уж чего-чего, а приличных манер можно требовать от каждого!»

2

Ввиду жары и угрозы штормов на «Сент-Бу́риане» было мало пассажиров первого класса, да и те большей частью в счет не шли: то не были веселые приличные янки-туристы, а так какие-то люди из Южной Америки. Как это делают всегда туристы, когда они расширили и обогатили свой кругозор путешествием, когда возвращаются в Нью-Джерси и Висконсин, подняв себе цену тем, что провели полгода в Вест-Индии или Южной Америке, немногие почтенные пассажиры парохода придирчиво изучали друг друга и отметили своим вниманием худого бледного человека, который, казалось, не знал покоя: весь день он мерил шагами палубу, и далеко за полночь его видели стоящим в одиночестве у борта.

— Я сказал бы, крайне беспокойный субъект! — заметил мистер С. Сенборн Хибл из Детройта очаровательной миссис Досон из Мемфиса, и та ответила с присущим ей общепризнанным остроумием:

— Да, вы правы. Он не иначе как влюблен.

— О, я его знаю! — сказала мисс Гвильям.— Он и его жена были на «Сент-Буриане», когда я ехала из Америки. Жена его теперь в Нью-Йорке. Он врач, и, вероятно, неважный. Между нами говоря, я о нем невысокого мнения, да и о ней тоже. Всю дорогу с глупейшим видом сидели тут вдвоем.

3

У Мартина скучали руки по пробиркам. Теперь он знал то, о чем раньше догадывался: что ненавидит административную работу и Большие Дела.

Когда он шагал по палубе, мысли его прояснялись и он становился самим собою. Гневно думал он о критиках, которые скоро расклюют его окончательный отчет, каков бы он ни был. На некоторое время Мартину стала претить критика со стороны его собратьев, лабораторных работников, как раньше претило ему преуспеяние соперников; претила необходимость вечно оглядываться через плечо на преследователей. Но однажды ночью, много часов простояв у поручней, он признался самому себе, что боится их критики,— и боится по той причине, что в его эксперименте так много уязвимых мест. Тогда он выбросил за борт все аргументы, которыми, бывало, защищался: «Кому не доводилось самому в разгар эпидемии стараться сохранить спокойствие и соблюсти условия эксперимента, тот не представляет себе в тиши своей лаборатории, с чем тут сталкивается человек».

Критика — хорошая вещь, если только она не злобна, не завистлива, не мелочна...

Нет, даже и тогда она порой хороша! Есть люди, которых товарищи по работе, не задумываясь, называют «злыднями». Люди, для которых естественней со злорадством сокрушать почти все хорошее, чем созидать. Зачем же прекрасного разрушителя домов, того, кто умеет расчищать заваленную хламом землю,— зачем же ставить его на кладку кирпича?

«Прекрасно! — радовался Мартин.— Пусть нападают! Я, может быть, их опережу и сам напечатаю беспощадный разбор своей работы. Я кое-чего достиг сент-свитинским опытом, даже если и выпустил на время вожжи из рук. Отнесу свои таблицы специалисту по биометрии. Он их подчистит. Превосходно! Что останется, опубликую».

Он лег спать, чувствуя, что может смотреть в глаза Готлибу и Терри, и в первый раз за долгие недели заснул без давящего страха.

4

На бруклинской пристани, к удивлению и некоторому негодованию мисс Гвильям, мистера С. Сенборна Хибла и миссис Досон, Мартина обступили репортеры, изъявлявшие лестное, хоть и ту-

манное желание узнать, какие такие замечательные вещи он делал с какой-то болезнью на каком-то острове или где-то еще.

Его вызволил Риплтон Холаберд, пробившийся сквозь их стену. Протягивая обе руки, он восклицал:

— О мой добрый друг! Мы знаем все. Мы горюем вместе с вами, и мы так рады, что вы уцелели и вернулись к нам.

Что бы ни говорил о Холаберде Мартин под крылом Макса Готлиба, но теперь он тряс его руку и бормотал:

— Хорошо вернуться домой.

Холаберд (на нем была голубая рубашка с голубым крахмальным воротничком, точно у актера) не мог ждать, пока багаж Мартина пройдет через таможню. Обязанности исполняющего должность директора отзывали его в институт. Он успел только сообщить, что Совет попечителей собирается назначить его полномочным директором,— и тогда он, конечно, позаботится, чтоб Мартин получил заслуженную оценку и вознаграждение.

Когда Холаберд укатил, правя своей элегантной закрытой машиной (он часто объяснял, что им с женой вполне по средствам было бы держать шофера, но они предпочитают тратить деньги на другое), Мартин увидел Терри Уикета, который ждал, прислонившись к подгнившему деревянному столбу навеса с таким видом, точно простоял здесь не один час.

Терри подошел к Мартину и фыркнул:

— Здоро́во, Худыш. Все в порядке? Сейчас протолкнем твое барахло через таможню. Любо-дорого было смотреть, как вы лобызались с директором.

Пока такси несло их по жарким улицам Бруклина, Мартин расспрашивал:

— Ну, какой из Холаберда получился директор? Что с Готлибом?

— О, Святой Чижик вполне стоит Табза; он даже еще вежливей и невежественней. Я... увидишь, я такое выкину коленце! В один прекрасный день, и не далекий, уйду в лес — у меня есть лачуга в Вермонте — и буду работать, не заботясь о реальных результатах для директора. Меня запихнули в отдел биохимии. А Готлиб...— в голосе Терри прозвучала тревога,— он, сдается мне, совсем плох... Его перевели на пенсию. Слушай, Март: тебя, как я понимаю, сделают раззолоченным руководителем Отдела, а я никогда не поднимусь из рядовых научных сотрудников. Намерен ты идти со мной или станешь одним из птенцов Святого Чижика — героем-ученым?

— Я с тобой, Терри, старый брюзга! — Мартин отбросил насмешливый тон, всегда казавшийся уместным между ним и Терри.— У меня никого больше не осталось. Леоры и Густава нет,

а теперь уходит, видно, и Готлиб. Нам с тобою нужно держаться друг за друга.

— Идет!

Они обменялись крепким рукопожатием, хрипло кашлянули и заговорили о летних шляпах.

5

Едва Мартин вошел в институт, как подлетели к нему его коллеги, жали ему руки, восторгались — и он, хоть и конфузился, не остался равнодушен к похвалам — никогда человек не глотает их с таким аппетитом, как при возвращении на родину.

Сэр Роберт Фэрлемб написал в институт письмо, прославляя Мартина. Письмо прибыло на одном корабле с Мартином, и на другой день Холаберд опубликовал его в печати.

Репортеры, при его прибытии не проявившие чрезмерного рвения, теперь добивались интервью, и в то время как Мартин сердился и отмахивался, Холаберд прибрал их к рукам, и вскоре газеты могли возвестить, что Америка, всегда спасавшая от чего-нибудь мир, снова спасла его от очередного бедствия. В печати распространялись сведения, что доктор Мартин Эроусмит был не только могущественным врачом-чудодеем и, кажется, приличным лабораторным работником: он, оказывается, яростно истреблял крыс, сжигал деревни, произносил сокрушительные речи в Чрезвычайных Советах и вырывал людей из объятий смерти. Как раз к этому времени кое-где начали брать под сомнение благодеяния, расточаемые Соединенными Штатами их младшим братьям — Мексике, Кубе, Гаити, Никарагуа, так что редакторы газет и политики были благодарны Мартину за новое доказательство самоотверженности Штатов и трогательной их заботы.

Он получал письма от деятелей Народного Здравоохранения, из одного предприимчивого среднезападного колледжа, предлагавшего ему звание доктора гражданского права, от медицинских обществ и факультетов, просивших выступить с докладом. Медицинские журналы и газеты посвящали передовицы его работе; а член Конгресса Альмус Пиккербо прислал ему из Вашингтона телеграмму, составленную, как, очевидно, полагал член Конгресса, в стихах: «Навряд ли где опередят наших наутилусовских ребят». И Мартин еще раз был приглашен на обед к Мак-Геркам, но уже не Капитолой, а Россом Мак-Герком, чье имя никогда еще не сияло такой заслуженной славой.

Мартин отклонял все приглашения выступить с речью, и важные организации, приглашавшие его, отвечали кротко, что

они понимают, как неимоверно занят доктор Эроусмит, но если он когда-нибудь сумеет урвать время, они сочли бы за величайшую честь...

Риплтон Холаберд был теперь назначен полномочным директором, преемником Готлиба, и он старался использовать Мартина как выигрышный экспонат. Он представлял его всем сановным посетителям, всем иностранным гостям — Людям Скучного Веселья, и те благосклонно улыбались и придумывали вопросы. Затем Мартина назначили руководителем нового Отдела Микробиологии на двойном против прежнего окладе.

Он так никогда и не узнал, в чем разница между микробиологией и бактериологией. Но не мог устоять перед сыпавшимися на него почестями. Он был слишком ошеломлен — особенно после того, как увидел Макса Готлиба.

6

На другое утро после своего возвращения он позвонил на квартиру к Готлибу, поговорил с Мириам и получил разрешение прийти попозже, среди дня.

Всю дорогу он слышал в ушах голос Готлиба: «Фы были моим сыном! Я передал фам все, что знал об истине и чести, и фы меня предали. Прочь с моих глаз!»

Мириам озабоченно встретила его в передней:

— Не знаю, право, должна ли я была пускать вас, доктор.

— Почему? Он настолько болен? Его нельзя тревожить?

— Нет, дело не в том. Он с виду даже и не болен, только слаб. Но он никого не узнает. Врачи говорят, что это старческое слабоумие. Он потерял память. И вдруг совершенно позабыл английский язык. Он говорит теперь только по-немецки, а я по-немецки ни слова. Ах, если б я училась немецкому вместо музыки! Но, может быть, ему приятно будет, что вы здесь. Если бы вы знали, как он говорил о вас и о вашем блестящем опыте, который вы проводили на Сент-Губерте!

— Я, собственно...— Мартин не нашелся что сказать.

Мириам провела его в комнату, где стены были черны от книг. Готлиб полулежал в протертом кресле. Тонкая рука его бессильно свисала с валика.

— Доктор, это я, Эроусмит, только что возвратился в Нью-Йорк! — пробормотал Мартин.

Старик, казалось, понял наполовину; он всмотрелся в Мартина, покачал головой и простонал:

— Versteh' nicht [1].— Из гордых глаз катились медленные непокорные слезы.

Мартин понял, что уже никогда не примет наказания и очищения. Готлиб ушел во тьму, еще веря в него.

7

Мартин запер свою квартиру — их квартиру — с холодной, торопливой яростью, чтоб не отдаться горю, найдя в вещах Леоры сотню примет, которые вновь напомнили о ней: платье, купленное для обеда у Капитолы Мак-Герк, окаменелую плитку шоколада, отложенную ею, чтобы ночью беззаконно полакомиться, записочку «Купить Рыжику миндалю». Он снял уныло безличный номер в гостинице и ушел в работу. У него ничего не оставалось в мире, кроме работы и колючей дружбы Терри Уикета.

Первой его задачей было сделать сводку своих статистических данных по сент-свитинскому опыту и новых цифр, продолжавших еще поступать от Стокса. Иные из них были шатки, другие заставляли думать, что действенность фага получила несомненное подтверждение, но в общем нельзя было сказать ничего окончательного. Он передал свои таблицы специалисту по биометрии Реймонду Перлу, и тот пришел к еще менее утешительному выводу, чем ожидал Мартин.

Мартин уже сдал отчет о своей работе директору и Совету попечителей с таким заключением: «Выводы ждут статистического анализа, без какового публиковать их не следует». Но Холаберд уже зарвался, газеты сообщали чудеса, и Мартина засыпали требованиями на высылку фага; запросами, нет ли у него фага против туберкулеза, против сифилиса; предложениями выехать на борьбу с такой-то и такой-то эпидемией.

Перл указал, что благоприятные результаты первых инъекций, когда Эроусмит ввел фаг всем подряд жителям Кариба, приходится поставить под вопрос, ввиду возможности, что кривая эпидемии к тому времени уже пошла на снижение. Учитывая это и ряд других осложняющих обстоятельств, пересмотрев свою лихорадочную работу на Сент-Губерте так хладнокровно, словно разбирал положения совершенно постороннего человека, Мартин решил, что не имеет достаточных доказательств действенности фага, и пошел в кабинет директора.

Холаберд был приятен и ласков, но намекнул со вздохом, что если будет напечатано такое заключение, то ему, директору, при-

---

[1] Не понимаю *(нем.)*.

дется взять назад все свои слова о великих достижениях, на которые он, как следовало понимать, вдохновил своего подчиненного. Он был приятен и ласков, но тверд; Мартин должен припрятать (Холаберд не сказал прямо: «припрятать»,— он сказал: «предоставить мне на дальнейшее рассмотрение») подлинные статистические выкладки и опубликовать отчет с двусмысленным выводом.

Мартин был взбешен, Холаберд — деликатно непреклонен. Мартин бросился к Терри, заявляя, что подаст в отставку... разоблачит... выведет на чистую воду... Да! Не постоит ни перед чем! Ему не нужно теперь содержать Леору. Он пойдет в аптекарские помощники. Он сейчас же вернется и скажет Святому Чижу...

— Эй, Худыш! Постой! Осади коней,— заметил Терри.— Подожди ссориться с Чижиком, и мы вместе проведем какую-нибудь работу, которая даст нам независимость. А до тех пор тебе нужна здешняя лаборатория,— и ты должен подучиться еще физической химии! И потом... гм... Худыш, до сих пор я ничего не говорил о твоем сентгубертском опыте, но и ты и я — мы оба знаем, что ты сам его провалил. Можешь ты предстать пред судьями с чистой совестью, когда выйдешь с обвинениями против его святейшества? К тому же, надо сознаться: он грязный, лживый, пронырливый, подхалимствующий, жадный до власти ханжа, но в общем вполне приличный человек. Надо крепиться. Мы чего-нибудь добьемся. Право, братишка, ведь мы только начали постигать науку, только приступили к работе.

Холаберд официально напечатал, от имени института, первоначальный отчет Мартина, представленный попечителям, с небольшими лишь поправками, как, например: «Выводы требуют еще анализа» заменялось выражением: «Хотя статистический анализ представляется желательным, однако очевидно, что это новое средство оправдало все ожидания».

Опять Мартин взбесился, опять Терри его успокаивал; и с холодным остервенением, непохожим на пыл тех дней, когда он знал, что его ждет Леора, он вновь принялся за физическую химию.

Он проникал в запутанные тайны определения точек замерзания и осмотического давления и пытался применять выводы, сделанные Нортропом об энзимах, к исследованию фага.

Его увлекали математические законы, так странно предсказывающие явления природы; мир его был холоден, точен, строго материалистичен и беспощаден ко всем, кто строит свои выводы на впечатлениях. Он с каждым днем все больше презирал тех, кто считает камни на мостовой, кто дает номенклатуру видам и разновидностям, кто коллекционирует неосмысленные данные. И, поглощенный занятиями, не замечал, как сменяются времена года.

Однажды он поднял голову и с удивлением обнаружил, что на дворе весна; потом они с Терри отшагали двести миль в Пенсильванских горах по летним дорогам; но, казалось, не прошло и недели, как наступило рождество, и Холаберд весело запорхал по институту.

Отсутствие Готлиба, пожалуй, пошло Мартину впрок, так как он больше не обращался к учителю за разрешением трудных вопросов. Взявшись за проблемы диффузии, он сконструировал собственную установку и, благодаря ли врожденному таланту или бешеному прилежанию, достиг такого успеха, что заслужил от Терри почти предельную похвалу: «А знаешь, Март, это не так уж скверно!»

К той убежденности, с которой Макс Готлиб, казалось, родился на свет, Мартин шел медленно, спотыкаясь на каждом шагу, но в конце концов пришел. Он желал совершенства техники в поисках абсолютного и доказуемого факта; стремился сильнее всякого Патера «гореть суровым алмазным пламенем», стремился не к жизненным удобствам и доброй славе на торжищах,— он хотел остаться свободным от суетных мечтаний, чтобы они не затуманили ему голову и не размягчили бы волю.

Холаберд дивился не меньше, чем мог бы дивиться Табз, тому, как разбрасывается Мартин в своих работах. Кем он себя в конце концов считает — бактериологом или биофизиком? Но Холаберда смирил прием, оказанный в научном мире первой крупной статье Мартина — о действии икс-лучей, гамма-лучей и бета-лучей на противодизентерийный фаг. Статью хвалили не только в Нью-Йорке, но и в Париже, в Брюсселе, в Кэмбридже, отмечали «глубину анализа, ясность мысли и — да простят нам этот неуместный в научной заметке энтузиазм! — превосходный, дающий подлинное наслаждение стиль изложения», как выразился профессор Беркли Вурц; в доказательство, добавлял он, достаточно привести хотя бы первый абзац статьи:

В опубликованном мною предварительном сообщении я указывал на ясно выраженное качественное разрушительное действие, оказываемое радиацией эманаций радия на бактериофаг анти-Шига. В настоящей статье доказывается, что икс-лучи, гамма-лучи и бета-лучи производят идентичное инактивирующее воздействие на названный бактериофаг. Далее доказывается, что существует количественное соотношение между инактивацией и радиациями, ею производимыми. Выводы, полученные из количественного анализа, позволяют утверждать, что процент инактивации, измеряемый путем определения единиц бактериофага, остающихся после иррадиации взвеси определенной вирулентности гамма- и бета-лучами, есть функция двух переменных вели-

чин: милликюри-единиц и времени. Следующее уравнение дает количественное выражение данным, полученным путем эксперимента:

$$K = \frac{\lambda \log e \frac{U_0}{U}}{E_0 (\varepsilon - \lambda t_1)}$$

Когда директор Холаберд увидел статью (Йио съехидничал: принес ему ее и спросил его мнение), он сказал:

— Блестяще, о, прямо, скажу я, блестяще! Пока, дружок, я имел возможность только бегло ее просмотреть, но я, конечно, прочту ее самым внимательным образом, как только мне удастся выкроить хоть одну свободную минуту.

ГЛАВА XXXVII

1

Мартин не виделся с Джойс Ленион много недель после своего возвращения в Нью-Йорк. Она как-то раз пригласила его на обед, но он не мог прийти, и больше она о себе не напоминала.

Определение осмотических давлений, как ни увлекся он им, не могло его удовлетворить, когда он сидел в своем неуютном номере и превращался из доктора Эроусмита в одинокого человека, которому не с кем слова сказать. Он вспоминал, как сидели они у лагуны в теплых сумерках. И раз он ей позвонил и спросил, нельзя ли ему зайти к ней на чашку чая.

Он смутно знал, что Джойс богата, но после того, как он видел ее за стряпней в ситцевом фартуке на кухне сентсвитинской богадельни, он не мог составить себе понятия о ее общественном положении; и ему стало неловко, когда он, чувствуя на себе лабораторную пыль, попал в ее пышный дом и нашел ее нежноголосой властительницей множества слуг. Дом ее был дворец, а дворцы — от совсем маленького, как у Джойс, особняка на восемнадцать комнат и до Букингемского дворца или громадного Фонтенебло — все одинаковы: они задыхаются в преизбытке гордости, они так законченны, что не запомнишь отдельных пленительных мелочей, их не отличить друг от друга, так они все полны любезного и неуютного величия, и поэтому все они до крайности скучны.

Но среди претенциозной роскоши, нагроможденной Роджером Ленионом, Джойс не была скучна. Возможно, ей доставляло удовольствие показывать Мартину, что она собою представляет: по-

явлись без конца лакеи и все новые виды бутербродов, а Джойс хвалилась: «Когда я сажусь пить чай, я никогда не знаю, что мне к нему подадут».

Но она его приветствовала возгласом:

— Вид у вас значительно лучше. Я страшно рада. Вы все еще мой брат? А ведь я была хорошей кухаркой в богадельне — правда?

Окажись он там, на острове, любезен и остроумен, он не возбудил бы в ней большого интереса. Она знала слишком много остроумных и благовоспитанных людей, гладких, как слоновая кость, и со знанием дела помогавших ей тратить те четыре или пять миллионов долларов, которыми она была обременена. Но Мартин был одновременно и ученым, делавшим почти интересными формулы осмотических давлений, быстрым и сильным человеком, которого она легко могла вообразить бегущим или ласкающим женщину, и одиноким юнцом, наивно полагавшим, что здесь, в мягком спокойствии своего дома, она все еще та девочка, которая сидела с ним у лагуны, та смелая женщина, что пришла к нему в его пьяную комнату в Блекуотере.

Джойс Ленион умела заставить мужчину разговориться. Больше благодаря ей, чем собственному дарованию рассказчика, он сумел с живостью обрисовать институт, его сотрудников, их распри и драматизм погони по следу научного открытия.

Ее спокойное существование в Нью-Йорке казалось пресным после опасностей Сент-Губерта, и Мартин радостно возбуждал ее своим презрением к комфорту и наградам.

Он заходил временами к чаю, к обеду; познакомился с укладом ее дома, с ее слугами, с наиболее умными — почти совсем умными — из ее друзей. Иные из них ему нравились, и возможно, что он им нравился тоже. С одним ее другом у Мартина шла скрытая война. То был Латам Айрленд, до омерзения хорошо одетый мужчина лет пятидесяти, дельный адвокат, любивший стоять перед камином и напускать на себя спокойно-умный вид. Он очаровывал Джойс, говоря ей, что она загадочная натура, а затем разъясняя, что в ней загадочно.

Мартин его ненавидел.

В конце июня Джойс пригласила Мартина на уикенд в Гринвич, в свой просторный загородный дом, утонувший в цветах. Она почти извинялась за роскошь этого дома; Мартин чувствовал себя вконец несчастным.

Думать о костюмах; мчаться покупать белые брюки, когда хочется следить за пробирками в термостате; напускать на себя непринужденный вид в лимузине, высланном за тобою на станцию, и обдумывать, кому из прислуги дать на чай, и когда, и

сколько,— для простого смертного это было пыткой. Мартин почувствовал себя деревенщиной, когда выпалил: «Сию минуту, я только пойду к себе распакую чемодан», а Джойс ласково сказала: «О, это уже сделано».

Он убедился, что лакей выложил из чемодана — на первый же вечер — весь взятый им небольшой запас белья и даже выдавил ему на зубную щетку ленточку пасты.

Он сел на край кровати и простонал:

— Нет, слишком здесь шикарно для нашего брата!

Он ненавидел и боялся этого лакея, который вечно похищал его костюмы, убирая их в такие места, где их нельзя было разыскать, а потом с угрожающим видом возникал на пороге, когда Мартин в напрасных поисках рыскал по огромной комнате.

Но больше всего удручало, что здесь нечего было делать. Из всех видов спорта Мартину был знаком только теннис, но он слишком давно не тренировался, чтобы рискнуть играть со стрекочущими, неотличимыми друг от друга людьми, которые заполняли дом и, по-видимому, вполне добровольно трудились над гольфом и бриджем. Он мало с кем встречался из приятелей, упоминаемых ими в разговоре. Они роняли: «Вы, конечно, знаете нашего милого Р.-Г.?» И он отвечал: «Конечно», хотя в жизни не видел их милого Р.-Г.

Джойс была так же старательно любезна, как в те дни, когда они пили чай с нею вдвоем, и подыскала ему тощую девицу, игравшую в теннис еще хуже, чем он,— но у нее было двадцать человек гостей, а к дневному воскресному завтраку — даже сорок,— и Мартин оставил приятную надежду пройтись с нею по тенистым аллеям и, может быть, обменявшись взволнованно несколькими фразами, поцеловать ее. С нею наедине он пробыл только две-три минуты. Когда он уезжал, она приказала: «Пойдите сюда, Мартин» — и отвела его в сторону.

— Вам было совсем не весело.

— Нет, что вы, я...

— Ну, конечно. Вы презираете нас, и вы отчасти правы. Я люблю милых людей, изящные манеры, люблю игру, но я понимаю, что после ночей в лаборатории это все должно казаться пустым.

— Нет. Я тоже все это люблю. По-своему. Я люблю смотреть на красивых женщин — на вас. Но... черт возьми, Джойс, это не для меня. Я всю жизнь был беден и занят по горло. Я не учился вашим играм.

— Но вы, Мартин, легко можете выучиться им при том рвении, которое вы вкладываете во все.

— Например, в пьянство — в Блекуотере.

«Эроусмит»

— Думаю, что и в Нью-Йорке тоже. Бедный Роджер, с каким невинным удовольствием напивался он, бывало, на обедах с бывшими однокурсниками! Но я говорю серьезно: если б вы задались этой целью, вы научились бы играть в бридж и в гольф и вести разговор лучше их всех. Если бы вы только знали, до чего молода большая часть американской знати! И вам это пошло бы на пользу, Мартин. Разве не лучше стали бы вы работать, если бы время от времени отрывались от ваших логарифмических таблиц? И разве вы согласитесь признаться, что есть на свете кое-что, чем вы не можете овладеть?

— Нет, я...

— Приходите обедать на той неделе во вторник, со мною вдвоем, и мы еще обсудим это. Хорошо?

— С удовольствием.

Несколько часов, в поезде, несшим его в Вермонт, к летнему пристанищу Терри Уикета, Мартин был убежден, что любит Джойс Ленион и что хочет взять штурмом искусство быть занимательным, как брал он штурмом физическую химию. В тесном, затхлом пульмановском вагоне, поставив ноги на чемодан, он с жаром и без тени юмора рисовал себе, как будет щеголять в клубе изысканным галстуком (сперва придется обзавестись таким галстуком — да и клубом), играть в гольф в полудлинных штанах, непринужденно беседовать о нашем милом Р.-Г. и с убийственным остроумием болтать о престарелом ролс-ройсе нашего милого Латама Айрленда.

Но он забыл свои честолюбивые мечты, как только очутился в гордой собственной хижине Терри у озера, среди дубов и кленов, и услышал новые мысли Терри о разложении производных хинина.

Терри, самый, может быть, несентиментальный человек на земле, назвал свое поместье «Скворечником». Ему принадлежало пять акров леса в двух милях от железнодорожной станции. Дом его представлял собою бревенчатую хибарку на две комнаты с нарами вместо кроватей и клеенкой вместо скатерти.

— Вот мои владения, Худыш,— сказал Терри.— Когда-нибудь устрою здесь лабораторию и буду гнать деньгу — изготовлять сыворотки или что-нибудь еще: поставлю дополнительно несколько строений на лужайке у озера, и будет у меня совершенно независимое пристанище для научной работы: два часа в день на коммерческие цели, часов, скажем, шесть на сон, два часа на еду и похабные анекдоты. Остается — два плюс шесть, плюс два, ровно десять, если я что-нибудь смыслю в высшей математике,— остается четырнадцать часов в день на исследования (кроме тех дней, когда навернется что-нибудь экстренное),— и никакого ди-

ректора, ни высокопоставленных покровителей и попечителей, которым надо угождать, стряпая идиотские отчеты. Конечно, придется отказаться от научных обедов с дамами, разодетыми, как на конфетной коробке, но я полагаю, свинины будет у нас вдоволь; и без табаку не останемся, и кровать твоя будет постлана безукоризненно — раз ты ее постелешь сам. Не так ли? Ну, пошли купаться!

Мартин вернулся в Нью-Йорк с не очень совместимыми планами — стать самым элегантным гольфером в Гринвиче и тушить говядину с Терри в «Скворечнике».

Но первый из этих планов представлял для него больше новизны.

2

Джойс Ленион наслаждалась обращением в новую веру. Сентгубертские воспоминания и природное непостоянство привели ее к чувству неудовлетворенности Роджеровым кругом любителей быстрой езды.

Она позволила дамам-меценанткам, какие водились среди ее знакомых, вовлечь ее в различные движения, которыми упивалась, как в семнадцатом году упивалась своею энергичной и совершенно бесполезной военной работой, ибо Джойс Ленион принадлежала в известной мере к устроительницам — эпитет, изобретенный Терри Уикетом для Капитолы Мак-Герк.

Джойс была Устроительницей и даже Усовершенствовательницей, но Капитолой она не была; она не обмахивалась пышным веером, не говорила нараспев и не разряжала в разговоре всю свою женскую страстность. Она была красива, иногда великолепна, была хищницей, одинаково далекой как от стиля раздушенных будуаров и черного белья, так и от воркующей косности Капитолы. Прямые складки плотного белого шелка, холеная кожа — это у Джойс было.

За всеми причинами, по которым она ценила Мартина, стоял тот факт, что она только раз в жизни чувствовала себя полезной и независимой,— когда превратилась в больничную кухарку.

Она, возможно, плыла бы и дальше по течению, как плыли все в ее кругу, если бы не позволил себе вмешаться Латам Айрленд, адвокат-дилетант-любовник.

— Джой,— заметил он,— мне кажется, доктор Эроусмит подается в этом доме в подозрительно больших дозах. Я в качестве вашего доброго дядюшки...

— Латам, мой золотой, я вполне согласна с вами, что Мартин чрезмерно агрессивен, неотесан, крайне эгоистичен, изрядно само-

доволен, чрезвычайно педантичен и что у него убийственные рубашки. И я склонна думать, что выйду за него замуж. Я почти что думаю, что я его люблю!

— А не проще ли будет совершить самоубийство посредством цианистого калия? — сказал Латам Айрленд.

3

Мартин чувствовал к Джойс то, что всякий тридцативосьмилетний вдовец чувствовал бы к молодой и красивой женщине, умеющей вести разговор и отдающей должное его уму. Ее богатство не составляло для него проблемы. Он не бедный человек, который женится на деньгах! Он как-никак получает десять тысяч в год, то есть на восемь тысяч больше, чем нужно ему на жизнь!

Иногда его смущало подозрение, что она не может жить без роскоши. Гордясь собственной хитростью, он вдруг предлагал отказаться от обеда в ее стильном зале под XVII век и провести вечер по его, Мартина, вкусу. Она с восторгом соглашалась. Они ходили по сомнительным ресторанам Гринвич-Вилледжа, где были свечи и официанты, похожие на художников, и нечего было есть; заглядывали в чайные китайского квартала, где кормили превосходно, но без декорума. Мартин даже настаивал на поездках в метро, хотя после обеда обычно забывал свой спартанский уклад и вызывал такси. Джойс все это принимала, глазом не сморгнув и почти без усмешек.

Она играла с ним в теннис на корте, устроенном на крыше ее особняка; посвятила его в тонкости бриджа, в котором он благодаря своей сосредоточенности и памяти вскоре превзошел ее и которым до странности увлекся; она его убедила, что его стройные ноги будут очень эффектны в штанах для гольфа.

Однажды, в осенний ясный вечер, он зашел к ней, чтобы поехать куда-нибудь пообедать. Его ждало такси.

— Почему же мы сегодня изменяем метро? — сказала Джойс.

Они стояли в подъезде ее особняка, на одной из несообразно дорогих и совершенно неромантических улиц, выходящих на Пятую авеню.

— О, я, как и вы, терпеть не могу проклятое метро! Чужие локти, упершиеся в мой живот, ничуть не помогают мне обдумывать опыты. Думаю, что, когда мы поженимся, я с удовольствием буду ездить в вашем лимузине.

— Это надо понять как предложение? Я совсем не уверена, что собираюсь выйти за вас замуж. Нет, решительно не собираюсь. У вас нет вкуса к приятной жизни.

Они повенчались в январе, в церкви святого Георгия, и Мартин почти столько же страдал от цветов, от епископа, от родственников со скрипучими голосами и от цилиндра, который Джойс велела ему надеть, как страдал он, когда Риплтон Холаберд пожал ему руку, всем своим видом говоря: «Наконец-то, дружок, вы вышли из варварского состояния и приобщились к нашему кругу».

Мартин попросил Терри быть его шафером. Терри отказался и заявил, что и на свадьбу-то придет через силу. Шафером был доктор Уильям Смит, подстригший ради такого случая бороду и надевший удручающего вида визитку и цилиндр, купленные в Лондоне одиннадцать лет тому назад. Но Мартина с его шафером тут же сдали на попечение двоюродному брату Джойс, который не преминул припасти лишние носовые платки и знал, когда начнется свадебный марш. Он полагал, что жених имеет дипломы Гротона и Гарварда, и когда узнал, что Мартин окончил только Уиннемакский университет, стал поглядывать на него с подозрением.

В каюте парохода Джойс сказала:

— Дорогой, ты держался молодцом! Я не знала, какой остолоп мой двоюродный братец. Поцелуй меня!

С этого часа... за исключением страшной секунды, когда между ними проплыла Леора с сомкнутыми веками, с руками, сложенными на белой холодной груди... они были счастливы и находили друг в друге много нового, заманчивого, как приключение.

4

Три месяца они ездили по Европе.

Джойс в первый же день сказала:

— Давай разделаемся сразу с этим глупым вопросом о деньгах. Мне думается, ты самый немеркантильный человек на свете. Я положила на твое имя десять тысяч долларов в Лондоне... да-да, и пятьдесят тысяч в Нью-Йорке. Если тебе захочется чем-нибудь меня побаловать, прошу тебя,— ты меня этим очень порадуешь,— бери с этих счетов. Нет! Постой! Неужели ты не видишь, как я удобно и прилично хочу все это уладить? Ты же не захочешь обидеть меня ради своего самолюбия?

5

Им, как видно, было в самом деле необходимо погостить у принчипессы дель Ольтраджо (в девичестве мисс Льюси Дими Бесси из Дейтона), у мадам де Басс Лож (мисс Браун из Сан-Фран-

циско) и у графини и-Марасион (в прошлом — миссис Артур Снейп из Олбани, а еще раньше... всего не упомнишь), но зато Джойс побывала вместе с Мартином в прославленных лабораториях Лондона, Парижа, Копенгагена. Было лестно наблюдать, как принимают ее мужа лауреаты Нобелевской премии, видеть, что они о нем наслышаны и горят желанием поспорить с ним о фаге и познакомить его со своей многолетней работой. Иные из них были, по ее мнению, слишком суетливы и неловки. Ее муж красивей любого из них, и при некотором терпении с ее стороны он у нее научится мастерски играть в поло, и носить костюм, и вести светский разговор... не бросая, конечно, своей науки... Жаль, что он не может получить титул, как двое или трое из представленных им английских ученых. Но почетные степени есть и в Америке...

Пока она открывала и переваривала Науку, Мартин открывал Женщину.

6

Зная до сих пор только Маделину Фокс и Орхидею Пиккербо, которые были просто милыми американскими девицами, нескольких быстро позабытых ночных фей и Леору, которая в своей беспечности, в своем безразличии к нарядам и репутации не была ни женщиной, ни женой, а только самой собою, Мартин не имел понятия о том, что такое женщина. Он считал в порядке вещей, чтоб Леора его ждала, подчинялась его желаниям, понимала без слов все то лестное, что он хотел сказать ей и не говорил. Он был избалован, и Джойс, не сробев, указала ему на это.

Она была не из тех, кто мог бы сидеть и бессловесно улыбаться, пока ее муж и его собратья-ученые наводят в мире порядок. Спотыкаясь, Мартин пришел к выводу, что даже вне их спальни должен помнить о настроениях и склонностях своей жены как Женщины, а порой и как Богатой Женщины.

Со смущением сделал он открытие: в то время как Леора зорко следила за его мужскою верностью, но снисходительно не обращала внимания на то, каким тоном скажет он ей «доброе утро», Джойс относилась безразлично к его флиртам (лишь бы он не оскорблял ее, ухаживая за женщинами в ее присутствии), но требовала, чтобы «доброго утра» он желал ей тоном искренней нежности. И не меньше смущало другое: Джойс подчеркнуто замечала разницу между его ласками, когда он бывал поглощен ею, и его торопливым вниманием, когда ему хотелось поскорее уснуть. Она сказала, что способна убить мужчину, который видит в ней только

удобный предмет обстановки, и сделала неприятное ударение на слове «убить».

Она требовала, чтоб он помнил, когда ее день рождения, какие она любит вина, какие цветы, не забывал, что ей неугодно видеть процесс бритья; ей нужна была отдельная комната лично для себя; она не позволяла мужу входить, не постучав; и он должен был восхищаться ее шляпами.

Когда же он, увлекшись осмотром Пастеровского института, через секретаря сообщил ей по телефону, что не сможет с нею пообедать, она онемела от бешенства.

«Ну, этого следовало ожидать»,— думал он, чувствуя свою правоту. Разве мало он проявляет такта, и терпенья, и догадливости?

Порой его злило, что Джойс никогда не может сразу по первому зову сняться с места и выйти с ним погулять. Чтобы выйти на пять минут, она должна была сперва отправиться в свою комнату за белыми перчатками — постоять, неторопливо их натягивая... А в Лондоне она его заставила купить гетры... и даже носить их.

Джойс была не только Устроительница — она была Легитимистка. Подобно большинству американцев-космополитов, она чтила английскую аристократию, перенимала все ее каноны и взгляды — или то, что считала ее канонами и взглядами,— и крайне цепила встречи с ее представителями. Через три с половиной года после войны она все еще говорила, что ненавидит всех немцев, и единственная настоящая ссора между нею и Мартином произошла, когда он пожелал посетить лаборатории Берлина и Вены.

Но, невзирая на все их расхождения, это было романтическое странствие. Они любили бесстрашно; они совершали горные прогулки и возвращались к неге огромных ванных и затейливых обедов; засиживались перед кафе, и если не считать тех минут, когда Мартин смолкал, вспоминая, как мечтала Леора посидеть вот так перед кафе во Франции, они открывали друг другу весь свой беспокойный внутренний мир.

Щедрой рукой предлагала ему Джойс Европу, свою Европу, которую издавна знала и любила, и он, всегда восприимчивый к теплым краскам и к изящным движениям — если не уходил с головой в работу,— он был ей благодарен и, как мальчик, всему дивился. Он верил, что учится легко и красиво воспринимать жизнь; он критиковал Терри Уикета (но только наедине с собой) за его провинциализм. И так, еще упоенные своим золотым досугом, они вернулись в Америку — к сухому закону и к политикам, озабоченным защитой Стального треста от коммунистов, к разговорам о бридже и автомобилях и к определению осмотического давления.

ГЛАВА XXXVIII

1

Директор Риплтон Холаберд тоже в свое время женился на деньгах, и когда коллеги поговаривали, что со времени своей первой удачной работы по физиологии он ничего не делает — только убирает изящно подобранными цветами столы, сколоченные другими, он всякий раз утешался одним: вся эта шушера ездила в институт на метро, тогда как он с шиком подкатывал в собственной машине. Но теперь Эроусмит, еще недавно самый среди них бедный, приезжал в лимузине с шофером, бравшим под козырек, и радость Холаберда была отравлена.

Мартин был довольно бесхитростным человеком, но он, признаться, не без удовольствия отмечал, как Холаберд косится на его шофера.

Но еще больше торжествовал он, когда случай позволил ему принять в своем доме Ангуса Дьюера с женой, приехавших из Чикаго,— познакомить их с директором Холабердом, с королем хирургов Саламоном и с каким-то врачом-баронетом. Ангус разразился тирадой:

— Март, с твоего разрешения я должен сказать, что мы все чрезвычайно тобой гордимся! Еще на днях Раунсфилд говорил со мной об этом. «Меня могут счесть самонадеянным,— сказал он,— но, право, мне думается, что та школа, которую мы старались дать Эроусмиту в нашей клинике, в какой-то мере сказалась на его превосходной работе в Вест-Индии и у Мак-Герка». Прелестная женщина твоя жена, старик! Как ты думаешь, она не откажется сообщить миссис Дьюер, где она заказывала это платье?

Мартин слышал не раз о превосходстве бедности над роскошью, но после закусочных Могалиса, после того, как он двенадцать лет проверял с Леорой счета от прачки и сокрушался о ценах на мясо, после вечного ожидания трамвая под дождем,— его нисколько не удручало, что есть у него лакей, который, как автомат, подает рубашку; и он ничуть не тупел от того, что, приходя домой, получал вкусный, всегда интересный обед, или от того, что мог в собственном лимузине, ни с кем не считаясь, откинуть утомленную голову на мягкую подушку и думать о том, какой он умный.

— Понимаешь, когда черную работу исполняют за тебя другие,— сказала Джойс,— то это сберегает твою энергию для работы, которую можешь выполнить только ты.

Мартин согласился. И поехал в Вестчестер на урок гольфа.

Через неделю после их возвращения из Европы Джойс отправилась вместе с ним навестить Готлиба. Мартину почудилось, что Готлиб вышел из своего беспамятства и улыбнулся им.

«В конце концов,— решил Мартин,— старик всегда любил все красивое. Подвернись ему случай, он бы тоже, может быть, охотно зажил на широкую ногу».

Терри заговорил странно снисходительным тоном:

— Вот что я скажу, Худыш, если тебе угодно послушать: лично я не смог бы так жить — с оглядкой на лакея. Но с годами становишься мудрей. Я понимаю, что вкусы у людей разные, и очень мало у кого хватает ума приходить ко мне за советом. Но, по чести, Март, вряд ли я приду к вам обедать. Я пошел и купил фрак — купил! — он у меня в комнате, хозяйка уже насыпала в карманы нафталина, но, право, мне невмоготу слушать умничанья Латама Айрленда.

Однако больше всего беспокоило Мартина новое отношение к нему Риплтона Холаберда. Холаберд не давал ему забывать, что если доктор Эроусмит не собирается уйти в отставку и сделаться просто мужем богатой жены, то не мешает ему помнить, кто в институте директор.

Наряду с вкрадчиво ласковыми манерами, которые он приберегал теперь для Росса Мак-Герка, Холаберд выработал тон олимпийски спокойной вежливости делового человека; он держал людей на расстоянии, и если кто злоупотреблял правами старой дружбы, он вежливо ставил его на место. Когда Эроусмит прикатил в лимузине, директор усмотрел в этом нарушение субординации. Он дал Мартину недельку после приезда из-за границы упиваться своим лимузином, затем ласково заглянул к нему в лабораторию.

— Мартин,— вздохнул он,— мне кажется, наш друг Росс Мак-Герк не совсем удовлетворен практическими достижениями института. Чтобы доказать ему обратное, боюсь, я должен буду попросить вас поменьше напирать сейчас на бактериофаг и заняться инфлюэнцей. Рокфеллеровский институт взял правильную линию: там наилучшие силы и большие средства плодотворно направляются на разрешение таких проблем, как пневмония, рак, менингит. Рокфеллеровцам уже удалось смягчить ужасы менингита и пневмонии; работы Ногучи приведут не сегодня-завтра к полному искоренению желтой лихорадки, и я не сомневаюсь, что клиника Рокфеллера с ее громадными фондами и блестяще налаженным сотрудничеством лучших научных сил первая найдет пути к облегчению диабета. Теперь они, по моим сведениям, взялись за возбудителя инфлюэнцы. Новой большой эпидемии они не допустят. Так

вот, мой дорогой, мы должны побить их на инфлюэнце, и я выбрал вас нашим представителем в этом соревновании.

Мартин в это время был увлечен изысканием способа воспроизводства фага на мертвых бактериях, но он не мог идти на риск увольнения. Он был слишком богат! Взбунтовавшимся студентом Мартин мог слоняться по стране и продавать в киоске газированную воду, но если бы мужу Джойс Ленион пришла такая блажь, репортеры и фотографы осаждали бы его киоск. Еще менее возможным было для него жить просто на содержании у своей жены — стать будуарным лакеем.

Он согласился — не слишком, правда, любезно.

С великолепным равнодушием приступил он к поискам возбудителя инфлюэнцы. Он доставал в больницах культуры от пациентов, у которых была, может быть, инфлюэнца, а может быть, сильный насморк,— никто не знал наверное, каковы симптомы инфлюэнцы; четкости не было ни в чем. Большую часть работы Мартин возложил на своих подчиненных, давая им временами иронические указания: «Поставьте еще сотню пробирок со средою А... впрочем, нет, валяйте тысячу!» А когда убеждался, что они делают, как им заблагорассудится, он не выказывал негодования и не осаживал их. Если он не выпустил преступно вожжи, то лишь потому, что вовсе не брал их в руки. Некогда его личная маленькая лаборатория сверкала чистотой, как нью-гэмпширская кухонька. Теперь же комнаты его отдела имели позорно запущенный вид: в стойках длинные ряды заброшенных пробирок, многие затянулись плесенью, ни на одной толкового ярлычка.

Потом его осенила мысль. Он твердо уверовал, что рокфеллеровцы нашли возбудителя инфлюэнцы. Он примчался к Холаберду и сообщил ему эту новость. И заявил, что вернется к своему исследованию истинной природы фага.

Холаберд возразил, что здесь несомненно ошибка. Раз ему, Холаберду, нужно, чтобы честь победы над инфлюэнцей выпала на долю Мак-Герковского института и его директора, он просто не допускает мысли, что рокфеллеровцы их опередили. Затем он добавил несколько веских слов о фаге. Вопрос о сущности фага, указал он, представляет исключительно академический интерес.

Но Мартин был теперь более искушен в диалектике науки, чем Холаберд; тот уступил и удалился в свою берлогу измышлять (как мрачно решил Мартин) новые гонения. Все же на время Мартина оставили в покое — он мог опять окунуться в работу.

Он нашел способ воспроизводить фаг на мертвых бактериях путем очень сложного и очень тонкого использования парциально-

го напряжения кислорода и углекислоты — способ изящный, как резьба камеи, невероятный, как взвешивание звезд. Его статья произвела фурор в мире лабораторных исследователей; кое-где (в Токио, в Амстердаме, в Уиннемаке) энтузиасты уверовали, что Эроусмит доказал принадлежность фага к живым организмам; а другие энтузиасты утверждали на шаманском языке с математическими формулами, что он враль и четырежды дурак.

В это-то время, когда он мог стать Великим Человеком, Мартин поступился собственной своей работой и некоторыми обязанностями мужа Джойс, чтобы последовать за Терри Уикетом,— что явно указывало на полную утрату здравого смысла, ибо Терри до сих пор прозябал в рядовых научных сотрудниках, тогда как он, Мартин, был руководителем отдела.

Терри обнаружил, что некоторые производные хинина, введенные в тело животного, медленно распадаются на продукты, крайне токсические для бактерий и лишь умеренно токсические для организма животного. Это открывало новые горизонты перед терапией. Терри объяснил это Мартину и предложил ему работать вместе. Кипя великими замыслами, они взяли отпуск у Холаберда — и у Джойс — и, хотя стояла зима, отправились в Вермонтские горы в «Скворечник». Они ходили на лыжах и стреляли кроликов, и долгие темные вечера, лежа на животе перед камином, витийствовали и строили планы.

Мартин не так уж долго пробыл в шелковом чехле и не утратил способности наслаждаться, после северо-восточного ветра и снега, шипящей на сковороде свининой. И неплохо было отдохнуть от придумывания новых комплиментов для Джойс.

Им нужно, говорили они, ответить на интересный вопрос: непосредственно ли производные хинина действуют на бактерий или же вызывают изменения в соках организма? Это был простой, ясный, четкий вопрос, для ответа на который требовалось только глубочайшее знание химии и биологии, несколько сот экспериментальных животных и лет десять, или двадцать, или миллион лет опытов и провалов.

Они порешили работать с пневмококками животных, наиболее близко воспроизводящих человеческую пневмонию, то есть на обезьянах. А убивать обезьян — дорого и неприятно. Холаберд, директор, мог доставить им обезьян, но, если посвятить его в планы, он потребует немедленных результатов.

Терри размечтался:

— Помнишь, один ученый, получивший Нобелевскую премию, фанатик чистой воды, взял и, вместо того чтобы тратиться на себя, пустил премию всю целиком на шимпанзе и других обезьян, и в компании еще с одним бородатым дядей выискал способ отвадить

антививисекционистов и разрешил вопрос передачи сифилиса низшим животным. Но, должен тебе с прискорбием сообщить, у нас нет Нобелевской премии и не похоже на то...

— Терри, я пойду на это, если нужно! Я никогда не брал денег у Джойс, но я пойду на это, если Святой Чижик станет нас прижимать.

2

Они храбро явились в кабинет Холаберда и сердито, по-детски потребовали, чтоб директор потратил не менее десяти тысяч долларов на обезьян. Они хотят немедленно приступить к исследованию, которое, вероятно, год-два не даст видимых результатов — а то и вовсе никаких. Уикета должны перевести в отдел Мартина соруководителем, сумма их теперешних окладов будет делиться между ними поровну.

Затем они приготовились к бою.

Холаберд уставился на них, погладил усы, отложил в сторону тон Рачительного Директора и начал:

— Позвольте, подождите минутку. Как я понимаю, вы мне стараетесь объяснить, что иногда необходимо бывает потратить некоторое время на проведение опыта. Должен вам сказать, что когда-то я занимался исследовательской работой в некоем научном учреждении, именуемом Институтом Мак-Герка, и кое-что смыслю сам в этих делах! Послушайте, Терри, и вы, Мартин, нельзя же, черт возьми, быть такими эгоистами! Не вы одни среди наших ученых желали бы работать без помехи! Если б вы только знали, друзья мои, как я мечтаю разделаться с подписыванием бумаг, как тянутся мои пальцы к барабану кимографа! О, эти прекрасные, долгие часы искания истины! Если бы вы знали, дорогие, как я воюю с попечителями, отстаивая для вас свободу действия! Так. Вы получите ваших обезьян. Учреждайте объединенный отдел, если вам угодно. И ведите работу, как вы считаете нужным. Не думаю, чтобы во всем ученом мире можно было найти двух молодцов, на которых можно так положиться, как на вас, мои угрюмые филины.

Холаберд встал, прямой, красивый, сердечный, протянул руку. Они с глупым видом пожали ее и вышли вон. Терри ворчал:

— Он испортил мне весь день! Мне не из чего лезть на стену! Худыш, где тут подвох? Голову даю на отсечение, что он тут есть — как всегда и во всем!

Прошел год блаженной работы, а подвох все не обнаруживался. У них были обезьяны, были лаборатории, и гарсоны, и полная

свобода; они приступили к новой работе, такой волнующей и нервной, какой не знавали до сих пор. Обезьяны крайне неразумные животные; любят заболевать туберкулезом безо всякой видимой причины; и, когда они сидят в неволе, среди них возникают вдруг эпидемии; и они устраивают сцены, ругая своих хозяев на семи языках.

— Они такие славные! — вздыхал Терри.— Впору отпустить их на волю и удалиться к себе в «Скворечник» сажать картошку. Почему должны мы убивать этих веселых акробатов ради спасения от пневмонии толстопузых, тупорылых людей?

Первой задачей было с точностью определить, в какой предельной дозе данное производное хинина безболезненно переносится организмом, а затем изучить действие найденной дозы на слух, на зрение и на почки путем бесконечных анализов крови на сахар и мочевину. В то время как Мартин делал инъекции, наблюдал за их действием на обезьян и углублялся в химию, Терри работал (всю ночь, весь следующий день — потом выпить, поспать не раздеваясь,— и опять всю ночь до утра) над новыми способами синтезировать производное хинина.

Это был самый трудный период в жизни Мартина. Шатаясь от недосыпания, работать ночь напролет, на рассвете дремать на голом столе и завтракать у засаленной стойки в закусочной — это все было привычно и занимательно. Но было невозможно растолковать Джойс, почему он не явился, например, на ее обед в честь какой-то скульпторши и адвоката, чей дедушка был генералом армии южан. На короткий срок он получал помилование, разъяснив, что страстно хотел поцеловать ее на ночь, что оценил присланную от нее корзину с бутербродами и что он вот-вот избавит человечество от воспаления легких, в чем он на деле сильно сомневался.

Но когда он пропустил четыре обеда подряд; когда она говорила в бешенстве: «Ты представляешь, какой это был ужас для миссис Торн в последнюю минуту узнать, что за столом не хватает одного мужчины?»; когда она жаловалась: «Я не так уж возмущалась твоею грубостью в прежние вечера, но сегодня мне после обеда нечего было делать, и я сидела дома одна и ждала тебя!» — его разбирала злоба.

Мартин и Терри начали заражать своих обезьян пневмонией и лечить их и добились успеха, который заставил их торжественно провальсировать вдвоем по коридору. Им удавалось спасти обезьян от пневмонии во всех случаях, когда между заражением и началом лечения проходило не более суток, и в большинстве случаев, когда они выжидали с лечением два или три дня.

Дело осложнялось тем, что некоторые обезьяны выздоровели сами, приходилось делать на это поправку с помощью незамысловатых, казалось бы, расчетов, которые, однако, поглотили много дней упорного, до боли в плечах корпенья над записями: один, взлохмаченный, без воротничка, прирос к столу, другой прохаживается между вонючими клетками, перемигивается с обезьянами, щелкает им языком, окликает по имени: «Бетси, Пират!» — и, спокойно приговаривая: «Ах, ты хочешь меня укусить — укусить меня хочешь, миляга!» — ласково, но беспощадно, как бог, впрыскивает им смертоносную пневмонию.

Они взошли на высокое плоскогорье, где воздух разрежен неудачами. Исследовали в пробирке продукты распада пневмококков — и потерпели поражение. Искусственно воспроизводили соки организма (тщательно, мучительно и все же не достигая полного соответствия); испытывали действие производного на микробов в этой искусственной крови — и потерпели поражение.

И тут Холаберд прослышал об их первоначальном успехе и явился к ним с лаврами и гневом.

Ему известно, сказал он, что они нашли средство от пневмонии. Очень хорошо! Институт не откажется от чести излечения этой неприятной болезни. Не будут ли Мартин и Терри так любезны немедленно опубликовать свое открытие (с упоминанием института?).

— И не подумаем! Слушайте, Холаберд! — зарычал Терри.— Вы, кажется, обещали оставить нас в покое!

— И оставил — почти на целый год! Чтобы дать вам закончить исследование. Вы закончили. Пора показать миру, чего вы добились!

— Если я покажу, мир, волк его заешь, увидит больше, чем вижу я! Ничего не попишешь, хозяин! Может быть, напечатаем что-нибудь толковое через год.

— Вы напечатаете теперь, или...

— Отлично, ваше святейшество. Благословенный миг настал! Я ухожу! И, со свойственным мне благородством, ухожу, не сказав вам, что я о вас думаю!

Так Терри Уикет был уволен из Института Мак-Герка. Он выправил патент на синтезирование производных хинина и удалился в «Скворечник» — построить лабораторию на свои скромные сбережения и проводить жизнь в независимой исследовательской работе, кормясь продажей небольших партий сывороток и своего лекарства.

Терри, не имевший ни жены, ни лакеев, мог проделать это довольно легко. Для Мартина это было сложнее.

Мартин предполагал подать в отставку. Он сообщил об этом Джойс. Как совместить городской дом и гринвичский замок с работой во фланелевой рубашке у Терри в «Скворечнике», он еще не обдумал, но на предательство он не пойдет.

— Как ты не понимаешь! Чижик выставил Терри, а меня тронуть не посмел! Я медлил просто из желания понаблюдать за Холабердом, как он ежится и ждет, что я запою. Но теперь...

Он разъяснил это ей в их... в ее лимузине, возвращаясь с обеда, на котором он так мило и непринужденно занимал разговором некую важную вдовствующую леди, что Джойс тихо радовалась: «Какой дурак Латам Айрленд, когда говорит, что Мартин не умеет быть вежливым».

— Я свободен! Гром и молния! Наконец-то я свободен — потому, что доработался до чего-то, ради чего стоит быть свободным! — говорил он в упоении.

Джойс положила свою прекрасную руку на руку Мартина и попросила:

— Подожди! Мне надо подумать. Прошу тебя! Помолчи минутку.

И, подумав, начала:

— Март, если ты будешь и дальше работать с мистером Уикетом, тебе придется постоянно оставлять меня одну.

— Но, право же...

— Я считаю, это будет с твоей стороны довольно некрасиво, особенно сейчас... потому что, мне кажется, у меня будет ребенок.

У Мартина вырвался возглас удивления.

— О, я не собираюсь разыгрывать хнычущую мамашу. И я еще не знаю, рада я или зла, хотя одного ребенка, думаю, мне приятно будет завести. Но ты понимаешь, это усложняет вопрос. Лично мне будет жаль, если ты уйдешь из института, который дает тебе солидное положение в обществе, и станешь работать где-то на задворках. Дорогой мой, я ведь не обижала тебя, правда? Ты знаешь, я тебя люблю! Я не хочу, чтобы ты меня покидал, а ты меня покинешь, если забьешься в эту противную вермонтскую берлогу.

— Нельзя ли нам снять там поблизости домик и проводить в нем несколько месяцев в году?

— М... может быть. Но лучше подождать, пока неприятное дело произведения на свет Дорогого Младенца не будет уже позади. Тогда подумаем.

Мартин не уволился. А Джойс если и думала о подыскании дома поблизости от «Скворечника», то не настолько серьезно, чтобы что-то предпринять.

ГЛАВА XXXIX

1

С уходом Терри Уикета Мартин вернулся к фагу. Он неправильно начал, и работа шла у него так скверно, как никогда в его жизни. Он утратил свой бешеный пыл и ясность духа. Он слишком чувствовал пытку возведенного в профессию светского образа жизни и никак не мог постичь этого таинства — званого обеда: через силу развлекать людей, которые вам не милы и не интересны.

Пока он мог отводить душу в разговорах с Терри, Мартина не слишком раздражали хорошо одетые ничтожества, и одно время он даже увлекался азартной игрой — добиваться, чтоб Избранное Общество приняло его в свою среду. Но теперь разум его возмутился.

Как он запутался в своей жизни, показал ему Клиф Клосон.

По приезде в Нью-Йорк Мартин на первых порах разыскивал Клифа — буйного Клифа, который был ему утешением среди Ангусов Дьюеров и Эрвингов Уотерсов на медицинском факультете. Но Клифа не оказалось ни в автомобильном агентстве, в котором он служил когда-то, ни в других автомобильных предприятиях. Мартин не виделся с ним четырнадцать лет.

И вдруг ему приносят в его лабораторию у Мак-Герка черно-красную визитную карточку:

КЛИФФОРД Л. КЛОСОН
(КЛИФ)
Помещение капитала в нефтяные предприятия
с полнейшей гарантией
Хайэм-сквер Бьютт.

— Клиф! Добрый старый Клиф! Лучший друг, какой только может быть у человека! Как он тогда дал мне денег в долг на поездку к Леоре! Старый Клиф! Черт возьми! Мне очень нужен кто-нибудь, вроде него... теперь... когда Терри нет и я окружен этой светской сворой! — возрадовался Мартин.

Он кинулся в приемную — и обмер, впившись глазами в человека, который громогласно говорил молоденькой регистраторше:

— Ну, сестрица, вы, ученые пташки, всех, можно сказать, перешибли! Я нигде не видывал более шикозной обстановки, чем тут у вас,— разве что в жульнических акционерных конторах, и нигде не встречал такой пикантной милашки! Как вы насчет тихого обеда тет-а-тет, как-нибудь вечерком? Полагаю, я теперь часто буду иметь с вами parlez-vous, мы с доком Эроусмитом большие

друзья. Я и сам док — честное слово! Костолом первый сорт — был на медицинском факультете, все как полагается. А! вот и ты, разбойник!

Мартин не подумал о переменах, происшедших за четырнадцать лет. Он был удручен.

Клиф Клосон к сорока годам раздобрел. Лицо его, тускло одутловатое, было потно; голос звучал сипло; немыслимый клетчатый костюм плотно обтягивал грузные плечи и толстомясые ляжки.

Колотя Мартина по спине, он рычал:

— Та-та-та-та! Старый Март! Сукин ты кот! Сукин кот! Ах ты, пройдоха! Мешок с костями! Разрази меня гром, если ты смотришь хоть на день старше, чем в последний раз, когда я видел тебя в Зените!

От Мартина не ускользнула задорная искорка в глазах всегда такой скромной регистраторши. Он сказал:

— Ну, ну! Молодец, что зашел,— и поспешил увести Клифа подальше от публики, в свой личный кабинет.

— Ты выглядишь отлично,— солгал он, когда очутился с Клифом в безопасности.— Где ты пропадал? Мы с Леорой, как приехали в Нью-Йорк, из кожи лезли, чтоб тебя найти. Да... Ты знаешь... о ней?

— Да, я читал о ее кончине. Не повезло. И́ о твоей роскошной работе в Вест-Индии... или где это было? Ты теперь, полагаю, большой человек — многославный гонитель чумы, и всякое такое, всемирно знам-менитый ученый муж. Забыл небось старых друзей.

— Вздор! Мне... Я очень рад тебя видеть.

— Ну, хорошо. А я рад отметить, что у тебя не сделалось капитус энларгатус, Март. Черт подери, говорю я, бывало, самому себе: если я нагряну и Март отворотит от меня нос, я ему выложу правду, всю как есть — на закуску после сладких комплиментов от светских дамочек. Рад, что ты не потерял головы. Собирался я написать тебе из Бьютта — я там продавал дутые нефтяные акции, а сейчас смотался, чтоб избавить ревизоров от труда просматривать мои книги. «Ну,— думаю я иной раз,— сяду и накатаю мозгляку письмо, польщу его честолюбию и сообщу, в каком я восторге от его расчудесной работы». Но, ты знаешь, время как-то идет и идет. Ну так! Эксцелентус! Теперь мы можем видеться вволю, я тут с одним субъектом затеваю в Нью-Йорке дельце по продаже акций. Здорово зашибем, старина! Я тебя вытащу на этих днях и покажу, что значит настоящая жратва. Ну, ладно. Расскажи-ка, что ты делал с тех пор, как вернулся из Вест-Индии. Верно, примеряешься, как половчее пройти в хозяева, в президенты, или как оно тут зовется, сего многославного институтуса?

— Нет, я... гм... быть директором меня не соблазняет. Предпочитаю держаться своей лаборатории. Я... Тебе, может быть, любопытно послушать о моей работе с фагом?

Радуясь, что нашел, о чем говорить, Мартин обрисовал в общих чертах свои опыты.

Клиф хлопнул себя по лбу пухлой рукой и провозгласил:

— Погоди! У меня идея! Хоть завтра вступай к нам в долю. Как я понимаю,— почтенная старая курица, миссис Публика, уже немного наслышана об этом бак... как его бишь? — бактериофаге. Так вот, помнишь ты старого плута, Бенони Кара, которого я представил на медицинском банкете как великого фармаколога? Мы с ним вчера кутнули вдвоем. Он открыл санаторий на Лонг-Айленде — для отвода глаз: на деле он форменный бутлеггер; держит там у себя богатых лоботрясов и поит их всем, чего они пожелают, по рецепту врача, вполне законно, не подкопаешься! Устраивает им шикарные вечеринки, с дамочками, все как следует! Когда у дяди Клифа делается острый приступ тедиум бутылис, он едет поправляться в санаторий Кара. Теперь прошу внимания! Кар, или кто-нибудь другой, провозглашает новый способ лечения — скажем, фаготерапию... О, дядя Клиф мастер изобретать названия, на которые доллары клюют, как рыба на живца! Пациенты сидят в паровой бане и глотают таблетки фага — на деле можно подмешать немного стрихнину, чтоб сердце прыгало повеселей! Последнее слово науки! Пахнет миллионом! Что скажешь?

Мартину чуть не сделалось дурно.

— Боюсь, я выскажусь против.

— Почему?

— Потому что я... По совести, Клиф, если ты сам не понимаешь, я не знаю, как мне объяснить тебе, что значит истинная наука. Да, истинная наука. Так называл это Готлиб. Я ученый (или, по меньшей мере, считаю себя ученым), и я не могу... Ну... я не могу связаться с такого рода делом...

— Ах ты, глупая вошь! Думаешь, я не учел «истинную науку»? Черт возьми! Я и сам попотел в анатомичке! Глупая ты медуза, у меня и в мыслях не было связывать с этим твое имя! Ты будешь стоять в стороне, снабжать нас таблетками и создавать широкую рекламу для фага вообще, чтобы денежный народ шел на удочку,— а черную работу проведут без тебя.

— Однако... Надеюсь, ты шутишь, Клиф? Но если бы ты не шутил, я ответил бы вот что: доведись мне узнать, что кто-нибудь затеял подобную штуку, я бы отдал его под суд, кто б он ни был!

— Ну-ну! Раз ты так на это смотришь...

Клиф поглядел на Мартина поверх жировых подушек под глазами. В голосе его звучало подозрение:

— Ты, пожалуй, прав, что не подпускаешь других примазаться к твоей находке. Ладно, Март. Мне пора. Только я скажу тебе, что ты мог бы сделать, если это не заденет опять твоей чувствительной совести: ты мог бы пригласить старого Клифа к себе домой на обед, познакомить его с твоею новой женушкой, о которой он читал в газетах в светской хронике. Мог бы, знаешь ли, вспомнить, старый жох, что были времена, когда ты охотно позволял толстопузому Клифу накормить тебя и взять к себе на ночлег!

— Ты думаешь, я забыл? Еще бы не помнить: никто не был ко мне так добр, никто. Слушай. Где ты остановился? Я спрошу у жены, когда у нас ближайший свободный вечер, и позвоню тебе завтра утром.

— Гм... Ты, значит, позволяешь своей старухе заправлять расписанием твоего дня? Хорошо, хорошо! Я в чужие дела не суюсь. Остановился я в Беррингтон-отеле, комната шестьсот семнадцать — запомни! Шестьсот семнадцать. И позвони мне завтра утром, до десяти. А знаешь, пикантная девчонка сидит у вас там при входе. Как ты полагаешь: есть шансы у дяди Клифа вытащить ее в ресторан и так далее?

С чопорностью самого старого, самого солидного ученого в институте Мартин запротестовал:

— Она из очень приличной семьи. Я, пожалуй, и пробовать не стал бы. И тебе не советую.

Сквозь наплывшее сало глазки Клифа остро впились в Мартина.

С преувеличенным восторгом Мартин рассмеялся на замечание Клифа: «Ну, возвращайся к своей работе, вылови парочку бактерий и насыпь им соли на хвост!», с преувеличенной сердечностью проводил гостя в приемную и, благополучно миновав регистраторшу, усадил в лифт.

Долго сидел он потом в своем кабинете, чувствуя себя глубоко несчастным.

Годами он думал о Клифе как о втором Терри Уикете. И увидел, что Клиф так же мало похож на Терри, как на Риплтона Холаберда. Терри был груб, ворчлив, крепко выражался, презирал многие изящные, тонкие вещи, обижал многих изящных и тонких людей. Но резкость его служила власяницей, которой он прикрывал свою преданность такому святому труду, какого не знал ни один чернорясый монах. А Клиф...

«Я оказал бы миру услугу, убив этого человека! — злился Мартин.— Фаготерапия в санатории уголовников! Я только из трусости не выгнал его взашей: убоялся, как бы он не пошел болтать, что

я «во дни успеха отвернулся от старых друзей»! (Успех! Корпеть над работой! Сидеть на званых обедах! Занимать разговором безмозглых баб! Беситься, что тебя не пригласили на обед к португальскому посланнику!) Нет! Позвоню Клифу, что мы не можем принять его».

Нахлынули воспоминания о верной дружбе Клифа в далекие нищие дни, о радости, с которой Клиф делил с ним каждый свой шальной заработок.

«Почему он должен понимать, что такое для меня фаг? Чем его «санаторий» хуже множества почтенных аптекарских фирм? И в моем возмущении все ли было от праведного гнева? Не примешалась ли тут обида, что Клиф не признал высокого общественного положения богатого доктора Эроусмита?»

Не ответив на свой вопрос, он пошел домой, довольно откровенно объяснил Джойс, каково будет, вероятно, ее мнение о Клифе, и предложил пригласить Клифа на обед без посторонних — они двое и он.

— Милый Март,— ответила Джойс,— зачем ты обижаешь меня намеком, будто я такой сноб, что меня оскорбит хлесткий язык и коммерческий взгляд на вещи, очень близкий, верно, к взглядам дедушки милого Роджера? Или ты думаешь, я никогда не отваживалась выйти за порог гостиной? Кажется, ты меня видел вне ее стен? В самом деле, мне, вероятно, очень понравится твой Клосон.

Мартин передал Клифу приглашение на обед, а на следующий день Клиф позвонил к Джойс:

— Миссис Эроусмит? Мое почтение! Говорит дядя Клиф.

— Боюсь, я не совсем расслышала.

— Клиф! Старый Клиф!

— Очень сожалею, но я... Может быть, провод не в порядке.

— Ну, что вы. Это я, мистер Клосон, который будет обжираться у вас в чет...

— Ах да, конечно. Извините.

— Так вот! Я хотел узнать: что у вас будет, просто своя компания или форменное суаре? Иными словами, золотко, явиться мне в натуральном виде или напялить амуницию? О, у меня она имеется — ласточкин хвост и весь гарнитур!

— Мне... Вы хотите сказать... Ага! Одеться ли вам к обеду? Я на вашем месте оделась бы.

— Будьте благонадежны! Явлюсь во всем параде. Покажу вам такую сногсшибательную пару брильянтовых запонок, каких вы и во сне не видали. Так-с! Будет весьма приятно познакомиться с хозяюшкой старого Марта. А теперь споем в заключение: «До скорой встречи!», или «О резервуар!».

Когда Мартин пришел домой, Джойс встретила его словами:

— Дорогой, это свыше моих сил! Он, верно, сумасшедший. Право, радость моя, прими ты его сам и позволь мне пойти спать. Да я вам вовсе и не нужна,— вам захочется вдвоем вспомнить старые времена, я буду вам только помехой. Сейчас, когда до появления младенца осталось всего два месяца, мне следует ложиться пораньше.

— Ох, Джой, Клиф страшно обидится, а он всегда был ко мне так хорош и... Ты же часто просила меня порассказать о моих студенческих годах. Разве тебе не хочется послушать о них? — добавил он жалобно.

— Хорошо, дорогой. Попробую быть с ним ласковой, но предупреждаю, это мне вряд ли удастся.

Они внушали самим себе, что Клиф будет буен, будет много пить и хлопать Джойс по плечу. Но, явившись к обеду, он был удручающе учтив и витиеват — пока слегка не опьянел. Когда Мартин помянул было черта, Клиф его одернул:

— Конечно, я неотесанный мужлан, но не думаю, чтобы такая леди, как наша герцогиня, одобряла столь грубый язык.

Потом пошло:

— Однако не ждал я, что такой бирюк, как юный Март, женится на этакой бонтонной штучке.

И еще:

— Н-да, что и говорить. Обстановка этой столовой влетела в копеечку!

И еще:

— Шампанское, эге? Сердце старого Клифа преисполнилось гордостью. Прикажите, ваше величество, вашему Как-его-бишь приказать своему лакею, чтоб он сообщил моему секретарю адрес вашего бутлеггера!

После пяти-шести стаканов Клиф, строго придерживаясь высоконравственного и элегантного лексикона, стал выкладывать свою хронику: как он продавал нефтяные скважины без нефти и удрал, не дожидаясь суда, как ловко придумал вступать в лоно разных церквей в целях продажи акций среди паствы и как помог доктору Бенони Кару залучить в свой санаторий богатую старуху-вдову, посулив ей врачебную консультацию с того света через медиума.

Джойс молча слушала и угнетала всех безукоризненной вежливостью.

Мартин силился быть связующим звеном между ними и не позволил себе наставительных замечаний по поводу странной похвальбы Клифа своим мошенничеством, но пришел в холодную ярость, когда тот выпалил:

— Ты говорил, у старого Готлиба дела нынче швах?

— Да, он не совсем здоров.

— Бедный старый сыч! Но теперь ты, надеюсь, понял, как было глупо, когда ты за него лез на стену? Поверьте, леди Эроусмит, этот мальчишка молился на папашу Готлиба, как щенок на канделябр,— простите за выражение.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Мартин.

— Уж этот мне Готлиб! Ты знаешь, конечно, не хуже меня, что он всегда занимался саморекламой, куражился на всю опс терарару, какой-де он строгий ученый, пускал пыль в глаза и трещал о своей высокой философии и торгашестве рядовых докторов. Но что самое гнусное... В Сан-Диего я натолкнулся на одного парня, который был когда-то преподавателем ботаники в Уиннемаке, и он говорил мне, что по поводу этих своих антител Готлиб никогда не желал отдать должное этому... как его?.. какой-то русский!.. который все почти сделал до него, а Готлиб пришел и все у него стибрил.

Сознание, что в обвинении против Готлиба есть доля справедливости, что его великий бог бывал временами невеликодушен, только усилило ярость Мартина. Он бешено стиснул на коленях кулаки.

Три года назад он швырнул бы в Клифа чем-нибудь тяжелым, но Мартин умел приноравливаться. Джойс его достаточно вымуштровала, он научился теперь быть язвительным, не повышая тона; он сдержанно заметил:

— Думаю, ты ошибаешься, Клиф. В работе с антителами Готлиб всех других оставил далеко позади.

Прежде чем подали в гостиную кофе и ликеры, Джойс самым своим певучим голосом попросила:

— Мистер Клосон, вы не очень обидитесь на меня, если я пойду прилягу? Я страшно рада была познакомиться с одним из старейших друзей моего мужа, но я неважно себя чувствую, мне, пожалуй, следует отдохнуть.

— Леди герцогиня, я и сам заметил, что вид у вас не важнецкий...

— Что?.. Спокойной ночи.

Мартин и Клиф расположились в больших креслах в гостиной, старательно разыгрывая счастливую встречу старых друзей. Они не глядели друг на друга.

Чертыхнувшись раза два и рассказав три сильно непристойных анекдота в доказательство того, что он не испорчен и держался изысканно только ради Джойс, Клиф загнул:

— Ну! Что правда, то правда, как говорят англичане. Твоя мадам, я вижу, ко мне не благоволит. Тепла и приветлива, как льди-

па. Но я не в претензии. Она ждет младенца, а женщины, все до одной, становятся привередливы, когда в положении. Но...

Он икнул, сделал умное лицо и опрокинул пятую рюмку коньяку.

— Но чего я никак не возьму в толк... Понимаешь, твою мадам я не осуждаю. Светская леди, как ей и полагается быть. Но что для меня непостижимо: как ты можешь после Леоры, которая была настоящим человеком, выносить такую накрахмаленную юбку, как твоя Джойси!

Мартина прорвало. Много месяцев его грызла тоска, потому что с отъезда Терри работа у него не клеилась.

— Слушай, Клиф. Я не желаю, чтобы ты рассуждал о моей жене. Очень сожалею, что она тебе не понравилась, но, боюсь, в данном случае...

Клиф встал, немного пошатываясь, хотя в голосе его и глазах была решительность:

— Отлично, я так и ждал, что ты начнешь передо мною задаваться. Конечно, у меня нет богатой жены, которая снабжала бы меня деньгами. Я просто старый бродяга. Мне в таком доме не место. Я недостаточно вылощен, в лакеи не гожусь. Ты зато годишься. Ну и чудесно. Желаю тебе удачи. А пока что можешь идти прямой дорогой к черту, мой любезный друг!

Мартин не бросился за ним в переднюю.

Оставшись один, он вздохнул:

— Слава богу, операция окончена!

Он говорил самому себе, что Клиф мошенник, дурак и жирный лоботряс; говорил, что Клиф циник без всякой мудрости, пьяница без всякой привлекательности и филантроп, щедрый только потому, что это льстит его тщеславию. Но от этих замечательных истин операция не стала менее болезненной,— как для больного не становится легче удаление аппендикса, если сказать ему, что в его аппендиксе нет ничего хорошего: что аппендикс у него некрасивый, бесполезный!

Он любил Клифа — любил и не разлюбил. Но больше он никогда его не увидит. Никогда!

Какая наглость! Этот жирный мерзавец смеет глумиться над Готлибом. Болван неотесанный! Нет, жизнь чересчур коротка, чтобы...

«Черт побери! Клиф — скотина, но и сам-то я хорош! Он — мошенник. Ну, а я? Разве не смошенничал я в моей чумной статистике по Сент-Губерту? Я вдвойне мошенник, потому что за свой подлог еще получил хвалу!»

Неуверенно прошел он к Джойс. Она лежала под пологом на громадной кровати и читала «Питера Уиффла».

— Дорогой! Не особенно было приятно — правда? — сказала она.— Он ушел?

— Да... Ушел... Я выгнал лучшего друга, какой только был у меня,— все равно что выгнал: позволил ему уйти, отпустил его с чувством, что он — мразь и что он — неудачник. Благородней было бы его убить. О, почему ты не могла быть с ним простой и веселой. Ты была так убийственно вежлива! Он конфузился, держался неестественно и показывал себя хуже, чем он есть. Он не подлее... он куда лучше, чем финансисты, прикрывающие свою сущность сахарной слащавостью... Бедняга! Верно, шлепает сейчас по лужам и говорит: «Единственный человек, которого я любил в своей жизни, для которого что-то делал, отвернулся от меня теперь, когда он... когда обзавелся красивой женой. Стоит ли делать человеку добро!» — говорит он... Почему ты не могла держаться просто и раз в жизни забыть свои светские манеры?

— Слушай! Ты, так же как и я, нашел его несносным, и я тебе не позволю валить всю вину на меня! Ты его перерос. Ты всегда трубишь: «Факты! факты!» — почему же сейчас ты закрываешь глаза на факт? Я тут, во всяком случае, ни при чем. Позвольте вам напомнить, мой король, что у меня было разумное намерение не появляться сегодня вовсе, не встречаться с ним.

— Да... Черт возьми... но... Да, ты права, а все-таки... Ладно, теперь все кончено.

— Милый, я прекрасно понимаю твои чувства. Но разве плохо, что все кончено? Поцелуй меня и скажи: «Спокойной ночи».

«И все-таки,— сказал Мартин сам себе. Он сидел, чувствуя себя голым, и потерянным, и бездомным в шелковом халате (золотые стрекозы на черном фоне), который она купила ему в Париже».

«...И все-таки, будь на месте Джойс Леора... Леора знала бы, что Клиф мошенник, и приняла бы это как факт. (Это я-то закрываю глаза на факты!) Она не сидела бы весь вечер с видом судьи. Она не сказала бы: «Это не похоже на меня — значит, это дурно». Она сказала б: «Это не похоже на меня — значит, это интересно». Леора...»

С ужасающей четкостью встало перед ним видение: она лежит без гроба под рыхлой землей в саду, в Пенритских горах.

Он очнулся и стал вспоминать.

«Что это Клиф сказал? «Ты ей не муж, ты ее лакей, ты слишком вылощен». Он прав! В этом все дело: мне не позволяют видеться, с кем я хочу. Я так умно распорядился собою, что стал рабом Джойс и Рипа Холаберда».

Он каждый день собирался, но так и не свиделся больше с Клифом Клосоном.

2

Выяснилось, что и у Джойс и у Мартина деда с отцовской стороны звали Джоном, и сына своего они назвали Джоном Эроусмитом. Они этого не знали, но некий Джон Эроусмит, девонширский моряк, погиб в бою с Испанской армадой, прихватив с собою на тот свет пятерых доблестных идальго.

Джойс мучилась неимоверно и вновь завоевала прежнюю любовь Мартина (он любил и жалел эту стройную красивую женщину).

— Смерть интересней игра, чем бридж, тут вам партнер не поможет! — сказала она, уродливо раскоряченная на кресле пыток и стыда. Пока ей не дали наркоз, ее лицо казалось зеленым от муки.

У Джона Эроусмита была прямая спинка и прямые ноги, весил он при рождении добрых десять фунтов, и глазки у него смотрели весело, когда он из сморщенного кусочка мяса превратился в маленького человечка. Джойс его боготворила, а Мартин боялся его, так как видел, что этот крошечный аристократ, это дитя, рожденное для самовлюбленного богатства, будет когда-нибудь смотреть на него свысока.

Через три месяца после рождения ребенка Джойс сильнее, чем когда-либо, увлекалась теннисом, и гольфом, и шляпками, и русскими эмигрантами.

3

К науке Джойс относилась с большим уважением и без всякого понимания. Она нередко просила Мартина рассказать ей о своей работе, но когда он загорался и ногтем принимался чертить на скатерти схемы, она его мягко перебивала:

— Прости, дорогой... Одну минутку... Плиндер, херес весь — или найдется еще?

Когда же она снова поворачивалась к нему, ее глаза глядели ласково, но от энтузиазма Мартина уже ничего не оставалось.

Она приходила к нему в лабораторию, просила показать колбы и пробирки и требовала, чтоб ей все растолковали, но никогда не сидела рядом, молча часами наблюдая.

Нежданно, барахтаясь в лабораторной трясине, Мартин нащупал твердую почву. Очередная ошибка позволила ему заметить действие фага на мутацию бактериальных видов — очень тонкое, очень изящное — и после долгих месяцев кропотни, когда он был

благоразумным обывателем, почти хорошим мужем, превосходным партнером в бридже и никудышным работником, Мартин опять изведал счастье напряженного безумия.

Ему хотелось работать до рассвета, из ночи в ночь. В период его безвдохновенных исканий ничто не удерживало его в институте после пяти, и Джойс привыкла, что он рвется домой, к ней. Теперь он проявлял неудобную склонность пренебрегать приглашениями, огрызаться на очаровательных дам, просивших «объяснить им все о науке», забывать даже о жене и ребенке.

— Я должен работать вечерами,— говорил он.— Когда у меня идет большой опыт, я не могу относиться к делу легко и формально, как и ты сама не была легкой, и спокойной, и любезной, когда носила ребенка.

— Знаю, но... Милый, ты становишься слишком нервным, когда так работаешь. Боже мой, меня беспокоит не то, что ты обижаешь людей, манкируя приглашениями,— хотя, конечно, я предпочла бы, чтобы ты этого не делал: это, я допускаю, неизбежно. Но скажи: когда ты так изматываешься, разве ты в конечном счете выгадываешь время? Я думаю о твоей же пользе. Эврика! Подожди! Увидишь, какой я замечательный ученый! Нет, я пока что объяснять не стану!

Джойс была богата и энергична. Неделю спустя, стройная, нарядная, веселая, с горящими щеками, она сказала ему после обеда:

— У меня для тебя сюрприз!

Она повела его в пустовавшие комнаты над гаражом во дворе. За эту неделю два десятка рабочих из самой исполнительной и солидной фирмы лабораторного оборудования по требованию Джойс создали для Мартина лучшую бактериологическую лабораторию, какую только доводилось ему видеть: белый кафельный пол, стены из глазированного кирпича, термостат и ледник, стеклянная посуда, краски и микроскоп, превосходная водяная баня постоянной температуры и препаратор, прошедший выучку в институтах Листера и Рокфеллера. У него была спальня за лабораторией, и он изъявил готовность служить доктору Эроусмиту день и ночь.

— Ну вот,— пропела Джойс,— теперь, если тебе понадобится работать вечерами, тебе незачем тащиться на Либерти-стрит. Ты можешь дублировать свои культуры или как они там называются. Если тебе за обедом станет скучно — прекрасно! Ты можешь посидеть немного, а потом улизнуть сюда и работать, сколько тебе захочется. Здесь... Милый, здесь все хорошо? Я правильно устроила? Я столько положила труда, достала самых лучших людей...

Припав губами к ее губам, он думал печально: «Сделать для меня так много! И с такой кротостью!.. И теперь, черт возьми, я уже никогда не смогу уйти к себе!»

Она так весело просила его найти какой-нибудь недочет, и он, чтоб доставить ей новое удовольствие — радость смирения, он сказал, что центрифуга, пожалуй, не совсем подходит.

— Подожди, дорогой! — возликовала она.

На третий день, вернувшись с ним из оперы, она повела его в гараж под лабораторией. В углу, на цементном полу, стояла, в разобранном виде, подержанная, но вполне подходящая центрифуга, лучше и желать нельзя, шедевр прославленной фирмы Беркли-Сондерса — та самая «Глэдис», чью отставку из института за ее непотребное поведение Мартин и Терри отпраздновали в свое время знатным кутежом.

На этот раз Мартину труднее было почувствовать благодарность, но он старался как мог.

4

В обоих секторах круга Джойс — экономико-литературном и ролс-ройсовском — распространился слух, что в оскудевшем мире появилось новое развлечение — ходить в лабораторию Мартина и наблюдать его за работой. Полагалось чинно и почтительно молчать, если только Джойс не шепнет: «Ну, разве он не прелесть! Как он мило учит малютку-бактерию говорить «с добрым утром!»; или если Латам Айрленд не приведет их в восторг замечанием, что ученые лишены чувства юмора; или если Сэмми де Лембр не грянет вдруг, чудесно имитируя джаз:

Мистер Микро-микро-бус, не радуйтесь, дружок!
Мы вас вытащим за ус,— дайте только срок!
Важный доктор Эроусмит в окошечко глядит,
А Микробус в камере под вальс-бостон грустит.

Двоюродный брат Джойс, приехавший из Джорджии, резвился:

— Март с таким умным видом склонился над своими стаканчиками! Но я всегда могу довести его до белого каления,— стоит мне только посоветовать ему ходить почаще в церковь.

А Мартин в это время старался сосредоточиться.

Налеты на его лабораторию происходили не чаще чем раз в неделю,— не настолько часто, чтобы отвлечь от работы человека с волей; но достаточно, чтобы держать его в постоянном ожидании нашествия.

Когда он спокойно попробовал разъяснить кое-что Джойс, она ответила:

— Мы тебе сегодня помешали? Но они все в таком восторге от тебя!

— Ну что ж...— проговорил он и пошел спать.

5

Адвокат Р.-А. Холберн, видный специалист по патентам, возвращаясь из дворца Эроусмит-Ленион, сказал ворчливо жене:

— Я могу стерпеть, если хозяин, считая тебя болваном, запустит тебе в голову бутылку. Но меня возмущает, если он каждое твое замечание выслушивает со скучающей улыбкой. А ведь глупейший был у него вид в его дурацкой лаборатории!.. Скажи, каким чертом угораздило Джойс выйти за него замуж?

— Непостижимо!

— Я могу представить себе только одну причину. Конечно, может быть, она...

— Прошу — без сальностей!

— Ну, как бы там ни было... Она же могла найти сколько угодно воспитанных, приятных, интеллигентных людей... да, именно интеллигентных, потому что ее Эроусмит, может быть, и знает все насчет микробов, но он не отличит симфонии от семафора... Я, кажется, не брюзга, но я не совсем понимаю, зачем нам бывать в доме, где хозяину явно доставляет удовольствие возражать на каждое твое слово... Бедняга, мне его, право, жаль: он, вероятно, даже и не знает, когда бывает груб.

— Очевидно, не знает. Обидно вспомнить о старом Роджере... Такой был веселый, сильный! Настоящий мужчина... А тут приходит неизвестно откуда какой-то дикарь, деревенщина, сидит, развалясь, в его кресле и даже не поблагодарит... И что только Джойс нашла в нем! Впрочем, у него красивые глаза и такие странные, сильные руки...

6

Вечная занятость Джойс действовала Мартину на нервы. Чем она так занята, он не мог бы сказать: у нее превосходная экономка, осанистый дворецкий, две няньки для ребенка. Но она часто заявляла, что никогда не может осуществить свою единственную мечту: посидеть спокойно и почитать.

Терри как-то назвал ее Устроительницей, и хотя тогда Мартин обиделся, но теперь, заслышав телефонный звонок, он стонал:

— О господи! Опять Устроительница... Верно, зовет меня к чаю, занимать какую-нибудь высоконравственную курицу.

Когда он пробовал объяснить, что все это — путы, мешающие его работе, Джойс отвечала:

— Разве ты такой слабый и нерешительный, такой маленький человек, что для тебя единственный способ сосредоточиться — это бежать от людей? Или ты боишься больших людей, которые умеют вести большую работу и в то же время отрываться от нее для игры?

Ему недолго было вспылить, особенно на ее определения «больших» людей, а когда он горячился и грубил, она тотчас превращалась в grande dame, и он чувствовал себя надерзившим лакеем и грубил еще резче.

Его охватывал страх перед ней. В мыслях он бежал к Леоре, и они вдвоем, запуганные, маленькие дети, утешали друг друга и прятались от Джойс в уютных уголках.

Но нередко Джойс была ему товарищем. Она выискивала для него неожиданные новые развлечения, а в сыне оба они нашли сближавшую их гордость. Мартин сидел, наблюдая за маленьким Джоном, и радовался его силе.

В декабре, когда она недели на две повезла «наследника престола» на юг, Мартин сбежал на несколько дней к Терри, в «Скворечник».

Он нашел Терри усталым и несколько угрюмым после долгих месяцев работы в полном одиночестве. Рядом со своей хижиной он поставил хибарку под лабораторию и примитивную конюшню для лошадей, у которых он брал кровь для приготовления сыворотки. Терри не стал, как бывало, рассказывать с увлечением о деталях своей работы, и только вечером, когда они курили в его конуре перед простым очагом, развалясь в креслах, сделанных из бочек и обитых лосиными шкурами, Мартину удалось вызвать его на дружеский разговор.

Много времени Терри должен был отдавать домашней возне и сывороткам, продажей которых он покрывал свои расходы. «Если бы ты был со мною, я кое-чего достиг бы». Однако его исследования производных хинина неуклонно продвигались, и он не жалел, что ушел от Мак-Герка. Работать с обезьянами оказалось невозможно: они были слишком дороги и к тому же плохо переносили вермонтскую зиму; но Терри удалось приспособить мышей: он их заражал пневмонией и...

— Но что толку рассказывать, Худыш? Тебе это неинтересно,— а то бы ты уже давно был здесь и работал со мной. Ты сде-

лал свой выбор между мною и Джойс. Ну и прекрасно. Сохранить нас обоих ты не можешь.

— Извините, что помешал вам своим вторжением, мистер Уикет,— огрызнулся Мартин и, хлопнув дверью, вышел из хижины. Увязая в глубоком снегу, спотыкаясь в темноте о пни, он познал всю муку последнего часа — часа крушения.

— Теперь я потерял и Терри (хотя я все равно не стал бы терпеть его наглость!). Я всех потерял, а Джойс никогда не была по-настоящему моей. Я совсем один. И работать я могу лишь с грехом пополам. Я — конченый человек! Мне никогда не дадут уйти опять в работу!

И вдруг, не рассуждая, он понял, что не сдастся.

Он побежал, спотыкаясь, назад и с порога хижины крикнул:

— Нет, старый брюзга, приходится нам держаться друг за друга!

Терри был так же взволнован, как и он; оба только что не плакали; и, грубовато похлопывая друг друга по плечу, они ворчали:

— Подобрались два дурака: устали — так надо поругаться!

— Я непременно вернусь и буду работать с тобой,— клялся Мартин.— Возьму в институте отпуск на полгода, а Джойс будет жить где-нибудь поблизости в гостинице — или что-нибудь пусть придумает. Эх! Вернуться к настоящей работе... К работе!.. А теперь скажи: когда я приеду, как ты полагаешь, что мы с тобой...

Они проговорили до рассвета.

ГЛАВА XL

1

Доктор Риплтон Холаберд с супругой пригласили к обеду Джойс и Мартина — больше никого. Холаберд был обаятелен, как никогда. Он восторгался жемчугами Джойс, а когда подали голубей, с самой дружеской улыбкой обратился к Мартину:

— Теперь я попрошу Джойс и вас выслушать меня очень внимательно. Совершаются большие события, Мартин, и я призываю вас — нет, наука вас призывает — принять в них подобающее участие. Надеюсь, излишне добавлять, что наш разговор — строго конфиденциальный. Доктор Табз и его Лига Культурного Воздействия делают чудеса, и полковник Минниген проявляет необычайную щедрость.

В Лиге дело повели с тою основательностью и неторопливостью, на которой так всегда настаивали вы и наш милый ста-

рый Готлиб. Вот уже четыре года, как у них идет разработка планов. Мне известно, что доктор Табз и Совет Лиги провели ряд интереснейших совещаний с ректорами колледжей и редакторами, с председательницами женских клубов и лидерами рабочего движения (разумеется, неразвращенными и здравомыслящими), и с рационализаторами, и с наиболее передовыми рекламистами, со священниками и со всеми прочими деятелями, ведущими за собой общественную мысль.

Они разработали подробнейшие картотеки по классификации интеллектуальных интересов и занятий с указанием методов и материалов и орудий, а главное — целей: задач, идеалов, моральных устремлений, отвечающих каждой отрасли. Поистине грандиозно! Подумайте. Музыкант, например, или инженер может взглянуть на свою карточку и с точностью определить, достаточно ли он продвинулся — для своего возраста,— и если нет, то в чем помеха и какими средствами ускорить процесс. При наличии такой базы Лига готова начать свою деятельность и призвать всех работников умственного труда к вступлению в ее ряды.

Институт Мак-Герка непременно должен включиться в это сотрудничество, которое я считаю одним из величайших достижений общественной мысли. Наконец-то мы подходим к тому, чтобы весь извечный хаос духовной деятельности Америки привести в соответствие с американским идеалом; сделать ее столь же практичной и ультрасовременной, как производство кассовых аппаратов. Я имею некоторые основания предполагать, что мне удастся свести Росса Мак-Герка с Миннигеном — поскольку сейчас война между лесопромышленными предприятиями Мак-Герка и Миннигена прекратилась,— и если так, то я, по всей вероятности, расстанусь с институтом и буду помогать Табзу в руководстве Лигой Культурного Воздействия. Тогда Мак-Герковскому институту понадобится новый директор, который работал бы рука об руку с нами и помог бы нам вывести науку из ее Монастыря на путь Служения Человечеству.

Пока что Мартин уяснил себе относительно Лиги все, кроме одного: что Лига старается делать?

Холаберд продолжал:

— Я знаю, Мартин, что вы всегда довольно зло смеялись над практицизмом, но я в вас верю! Мне думается, вы слишком поддавались влиянию Уикета. Теперь же, когда Уикет ушел и вы лучше узнали жизнь, больше бываете в кругу Джойс и в моем кругу,— теперь, мне думается, я склоню вас расширить свой кругозор (отнюдь, конечно, не поступаясь суровой лабораторной работой!).

Я уполномочен назначить вице-директора и, думается, смело могу утверждать, что он станет моим преемником. Шолтейса очень соблазняет этот пост, Йио и доктор Смит просто рвутся его занять, но я ни в одном из них не вижу человека нашего круга, и я предлагаю этот пост вам! Через год-другой, могу вам обещать, вы станете директором Института Мак-Герка.

Холаберд был умилен, как подобает дарителю королевской милости; миссис Холаберд затаила дыхание, как подобает присутствующим при историческом событии; Джойс была радостно взволнована почетом, оказанным ее супругу.

Мартин сказал, запинаясь:

— Собственно... Я подумаю... Как-то, знаете, неожиданно...

До конца вечера Холаберд с таким упоением рисовал себе эру, когда они с Табзом и Мартином будут направлять, координировать, нормировать и обращать на пользу людям все виды духовной деятельности, начиная с изобретения фасонов для брюк и кончая поэзией, что молчание Мартина его смущало. При расставании он снова залился:

— Обсудите все как следует с Джойс и завтра сообщите мне ваше решение. Кстати, я думаю, нам нужно будет разделаться с Перл Робинс; толковая работница, но возомнила себя незаменимой. Это, впрочем, мелочь... О, я в вас крепко верю, мой милый Мартин! Вы за последний год выросли, остепенились и очень расширили свой кругозор.

В лимузине, в занавешенной движущейся комнате, под светом хрустального фонаря, Джойс глядела, сияя, на Мартина.

— Ну, не чудесно ли, Март? Я почему-то уверена, что Риплтон может это провести. Подумай! Ты будешь директором, главой всего института, где несколько лет назад ты был пешкой. И не правда ли, я помогла тебе в этом — чуть-чуть?

Мартин вдруг возненавидел тисненый, синий с золотом, бархат лимузина, хитро спрятанную золотую шкатулку с папиросами, всю эту мягкую и душную тюрьму. Ему захотелось очутиться вне ее, подле невидимого шофера — человека своего круга! — лицом к лицу с зимой. Он делал вид, точно задумался, благоговея и ценя, но на деле просто трусил, медлил начать кровопролитный бой. Он тихо проговорил:

— Ты в самом деле хотела бы видеть меня директором?

— Конечно! Весь этот... О, ты понимаешь; я думаю не о возвышении и почете, но о возможности творить добро.

— Ты хотела бы, чтоб я диктовал письма, давал интервью, покупал линолеум, завтракал со знатными идиотами, донимал советами людей, не смысля ни бельмеса в их работе?

— О, оставь свое высокомерие! Кто-нибудь должен все это делать! И ведь это будет лишь незначительной частью твоей работы. Подумай, тебе может представиться случай поддержать какого-нибудь талантливого юношу, открыть ему доступ к научной работе.

— И закрыть доступ самому себе?

— Почему? Руководство твоим отделом остается по-прежнему за тобой. А если даже и так... Ты невозможно упрям! И у тебя не хватает воображения. Ты думаешь, что если ты начал работать в одной крохотной отрасли умственной деятельности, то на свете больше ничего не существует. Вот так же я должна была тебя убеждать, что если ты раз в неделю вылезешь из своей вонючей лаборатории и приложишь свой мощный интеллект к игре в гольф, то от этого не остановится мгновенно вся наука! Не хватает воображения! Ты в точности похож на тех коммерсантов, которых ты всегда ругаешь за то, что они ничего не видят в жизни, кроме своих мыловарен и банков.

— И ты в самом деле хотела бы, чтоб я отказался от своей работы?..

Он видел ясно, что при всем своем желании помочь ему — она никогда не понимала его устремлений, не понимала ни слова, когда он толковал ей, что директорство убило Готлиба.

Он молчал, а она, уже подъезжая к дому, сказала только:

— Ты знаешь, я очень не склонна говорить о деньгах, но ты сам часто заводил речь о том, как оскорбительно для твоей гордости зависеть от меня. А ты же знаешь, когда ты станешь директором, твой оклад настолько повысится, что... Прости меня!

Она, опередив его, скрылась в своем дворце, скользнула в автоматический лифт.

Мартин медленно поднимался по лестнице, бурча:

— Да, сэр, вам в первый раз представляется возможность нести вашу долю расходов по этому дому. Понятно! Вы охотно принимаете деньги вашей супруги и не желаете ничем отплатить,— и это у вас называется «преданностью науке». Так! Я должен решить теперь же...

Он не мучился над решением: он принял его сразу. Он прошел в комнату Джойс, раздражавшую снобизмом сдержанных полутонов. Его поразил несчастный вид, с каким она сидела в раздумье на краю тахты, но он бросил смело:

— Я на это не пойду, даже если мне придется расстаться с институтом,— а Холаберд не постесняется меня выставить. Я не позволю похоронить себя в помпезной чепухе подписыванья приказов и...

«Эроусмит»

— Март! Стой! Разве ты не хочешь, чтобы твой сын гордился тобой?

— Гм. Так... Нет, не хочу, если он должен гордиться мной, когда я стану крахмальной манишкой, зазывалой в балагане...

— Прошу, не будь груб.

— Почему не быть? Если на то пошло — последнее время я был недостаточно груб. Мне следовало бы теперь же поехать прямо к Терри в «Скворечник» и работать...

— Как жаль мне, что я не могу тебе доказать... Ах, для «ученого» у тебя невероятно плохое зрение — сплошная «слепая точка»! Если б только ты видел, что все это говорит о слабости и пустоте... Уединение! Опрощение! Старые доводы. Нелепая и малодушная фантазия усталых умников, которые удаляются в какую-нибудь «колонию посвященных», воображая, будто набираются сил, чтобы завоевать мир, тогда как на деле просто бегут от жизни.

— Неверно. Терри обосновался в деревне только потому, что там жизнь дешевле. Если бы нам... если бы ему позволяли средства, он, вероятно, завел бы лабораторию здесь, в городе, с гарсонами и со всеми онерами, как у Мак-Герка, только, черт побери, без директора Холаберда и без директора Эроусмита!

— Зато с невоспитанным, грубым, до крайности эгоистичным директором Терри Уикетом!

— Фу, черт! Позволь мне тебе сказать...

— Мартин, тебе обязательно нужно для усиления доводов вставлять в каждую фразу «черта»? Других выражений не найдется в твоем высоконаучном словаре?

— Моего словаря, во всяком случае, достаточно для выражения мысли, что я намерен поселиться с Терри.

— Слушай, Март. Ты считаешь верхом доблести желание уйти в глушь, и носить фланелевую рубашку, и кичиться своим чудачеством и безупречной чистотой. Но что, если бы каждый рассуждал так? Что, если бы каждый отец бросал своих детей, как только ему делается скверно на душе? Что творилось бы в мире? Что, если бы мы были бедны, и ты меня бросил бы, и я должна была бы стирать белье, чтобы прокормить Джона?

— Было бы, верно, неплохо для тебя и скверно для белья! Нет! Извини меня. Это дешевая шутка. Но... я думаю, именно это соображение испокон веков не давало большинству людей стать чем-либо иным, кроме как машиной для пищеварения, размножения и повиновения. Ответить надо вот как: очень немногие при каких бы то ни было обстоятельствах добровольно променяют мягкую постель на нары в лачуге только ради того, чтобы сохранить свою чистоту — как ты совершенно правильно это назвала.

Мы с Терри — пионеры... Но этот спор может длиться вечность! Можно доказывать, что я герой, дурак, дезертир — что угодно, но факт остается фактом: я вдруг увидел, что должен уйти. Для моей работы мне нужна свобода, и с этого часа я бросаю ныть о ней, я ее беру. Ты была ко мне великодушна. Я благодарен. Но ты никогда не была моей. Прощай!

— Милый, милый... Мы обсудим это еще раз утром, когда ты не будешь так возбужден... А час назад я так тобой гордилась!

— Очень хорошо. Спокойной ночи.

Но до наступления утра, взяв два чемодана и саквояж с самым грубым своим платьем, оставив Джойс нежную записку — самое жестокое, что он писал в своей жизни,— поцеловав сына и прошептав: «Как вырастешь, приходи ко мне, малыш!» — он переехал в дешевую гостиницу. Когда он растянулся на шаткой железной кровати, ему стало жаль их любви. А до полудня он побывал в институте, подал прошение об отставке, забрал кое-какие приборы, принадлежавшие лично ему, свои записи, книги и материалы, отказался подойти к телефону на вызов Джойс и как раз поспел на вермонтский поезд.

Прикорнув в своем красном плюшевом кресле (он, который последнее время ездил только в обитых шелком салон-вагонах), Мартин радостно улыбался, думая о том, что́ не нужно больше отбывать повинность на званых обедах.

К «Скворечнику» он подъехал на санях. Терри колол дрова на усеянном щепками снегу.

— Здравствуй, Терри. Приехал на житье.

— Отлично, Худыш. В лачуге набралась куча посуды — надо перемыть.

2

Он изнежился. Одеваться в холодной хибарке и мыться ледяной водой было пыткой; пройтись часа три по рыхлому снегу — означало вернуться домой без сил. Но блаженная возможность работать по двадцать четыре часа в сутки, не отрываясь от опыта в самый упоительный момент для того, чтобы ползти домой обедать, возможность углубляться в споры с Терри, замысловатые, как богословие, и яростные, как возмущение пьяного,— поддерживала Мартина, и он чувствовал, что мускулы его крепнут. Вначале он часто подумывал, не уступить ли Джойс хоть в одном — разрешить ей построить для них лабораторию получше и более культурное жилище.

— Хотя бы с одним слугой или, самое большее, с двумя и с самой простой, но приличной ванной...

Джойс ему написала: «Ты был до последней степени груб, и всякая попытка к примирению, если оно сейчас мыслимо, в чем я сильно сомневаюсь, должна исходить от тебя».

Он ответил описанием зимнего звона лесов, не упомянув программного слова «примирение».

3

Они предполагали изучать дальше точный механизм действия производных хинина. На мышах, которых Терри приспособил вместо обезьян, это было затруднительно ввиду их малого размера. Мартин привез с собой штаммы Bacilli lepiseptici — возбудителя плевропневмонии у кроликов, и первой их задачей было узнать, так же ли эффективен их первоначальный состав против него, как и против пневмококка. С нечестивой руганью убедились они, что нет; с нечестивой руганью и кропотливым терпением пустились в бесконечно сложные поиски состава, который оказался бы эффективным.

На жизнь они зарабатывали приготовлением сывороток, продавая их — да и то неохотно — тем врачам, в чьей честности были уверены, и наотрез отказывая аптекарям с широкой клиентурой. Это им приносило неожиданно большой доход, и умные люди считали их слишком хитрыми, чтобы верить в их искренность.

Мартин в равной мере тревожился тем, что он называл своей изменой Клифу, и тем, что бросил Джойс и Джона, но тревожился только тогда, когда не мог уснуть. Неизменно в три часа утра он приводил их обоих, Джойс и верного Клифа, в «Скворечник»; а в шесть часов, жаря на завтрак ветчину, он их неизменно забывал.

Варвар Терри, избавившись от Холаберда — от его улыбочек и требований быстрого успеха,— оказался легким товарищем. Спать ли на верхних нарах или на нижних, было ему безразлично. Терри нес полуторную нагрузку по колке дров, по добыванию припасов и с веселой прибауткой умело стирал и его и свое белье.

С большой прозорливостью Терри учел, что, годами живя вдвоем, они неизбежно поссорятся. Они с Мартином проектировали расширить свою лабораторию настолько, чтобы в ней могли работать восемь (но отнюдь не более!) исследователей, таких же вольных птиц, как они сами; каждый будет работой по изготовлению сыворотки вносить свой пай на расходы по лагерю, а в остальное время независимо вести свою тему — будь то исследование строения атома или опровержение выводов доктора Уикета и доктора Эроусмита. Два бунтаря — химик, попавший в лапы какой-то

фармацевтической фирмы, и университетский профессор — собирались приехать к ним с осени.

— Жалкое возвращение к монастырям,— ворчал Терри,— с тою лишь разницей, что мы не стараемся разрешать вопросы неведомо для кого, а только для наших собственных глупых голов. Попомни: когда это место превратится в храм и станут стекаться сюда толпы чудаков, тогда нам с тобой придется сматывать удочки. Мы двинемся дальше в глубь лесов, или, если будем для этого слишком стары, приткнемся снова к какой-нибудь профессуре, или к Досону Ханзикеру, или даже к его преподобию доктору Холаберду.

Мартин впервые начал заметно опережать в работе Терри Уикета.

В математике и физической химии он был теперь так же силен, как и Терри; был столь же равнодушен к гласности и к пышным драпировкам; столь же фанатически прилежен; остроумием в изобретении новых приборов он ему, по меньшей мере, не уступал и значительно превосходил живостью воображения. У него было меньше выдержки, больше страсти. Гипотезы сыпались из него, как искры. Не совсем еще веря в нее, начал он постигать свою свободу. Он еще определит истинную природу фага; и дальше (когда станет сильней и уверенней и, конечно, менее гуманен) он видел впереди бесчисленные исследования в химиотерапии и иммунологии,— хватит на много десятилетий необычайных похождений.

Ему казалось, что впервые в жизни он видит и чувствует весну. Он научился по утрам купаться в озере, хотя, когда в первый раз окунешься, обжигало нестерпимым холодом. Перед завтраком они удили рыбу, ужинали за столом в тени дубов, делали пешком концы по двадцать миль, имели любопытными соседками соек и векш; и, проработав всю ночь, выходили встретить ясную зарю, встающую над сонным озером.

Мартин чувствовал, как его насквозь пронизывает солнце, дышал полной грудью и постоянно что-то напевал вполголоса.

И однажды, вглядевшись вдаль сквозь новые, в роговой оправе, почти стариковские очки, он увидел ползущий по их лесной дороге громадный автомобиль. Из автомобиля веселая, в ловком суконном костюме, вышла Джойс.

Мартин был готов бежать через заднюю дверь лаборатории. Нехотя пошел он к ней навстречу.

— Место в самом деле прелестное! — сказала она и ласково его поцеловала.— Пройдемся над озером.

В тихом уголке, над рябью воды среди березовых стволов, он взволнованно обнял ее за плечи. Она говорила:

— Милый, мне так тебя недоставало! Ты был в тысяче вещей неправ, но ты прав в одном: ты должен работать без помехи, чтобы всякие глупые люди не нарушали твоего покоя. Нравится тебе мой костюм? Не правда ли, подходит к дикой природе? Ты видишь, я пришла, чтобы здесь остаться! Построю неподалеку дом; может быть, прямо тут же, за озером. Да. Будет очень мило, на том небольшом плато... если только удастся купить эту землю — верно, она принадлежит какому-нибудь противному, прижимистому фермеру. Ах, неужели ты не видишь: широкий низкий дом с огромными верандами и красными тентами.

— И с гостями? Будут приезжать?

— Да, я думаю. Изредка. А что?

Он взмолился в отчаянии:

— Джойс, я тебя люблю. Я страшно хочу тут же на месте тебя расцеловать. Но я не хочу, чтобы ты навезла сюда народ... И будет, верно, гнусная, шумная моторная лодка? Ты сделаешь из нашей лаборатории забаву. Постоялый двор. Новую сенсацию. Терри сойдет с ума! Ты прелестна, Джойс! Но тебе нужен товарищ для игр, а мне нужна работа. Боюсь, нельзя тебе тут селиться. Нет!

— И наш сын должен остаться без твоей отцовской заботы?

— Он... А заботился б я о нем, если бы я умер?.. Он славный малый! Надеюсь, он не будет богатым человеком!.. Может быть, через десять лет он придет сюда ко мне.

— И будет жить вот такою жизнью?

— Конечно... если я не разорюсь. Тогда мы будем жить не так хорошо. А сейчас у нас почти каждый день мясо!

— Так. А если твой Терри Уикет женится на горничной или на какой-нибудь глупой деревенской толстухе? По всему, что ты мне рассказывал, он питает слабость именно к таким девицам!

— Ну, тогда либо мы с ним вместе будем ее лупить, либо это окажется тем единственным, что может сломить меня.

— Мартин, не кажется тебе, что ты немного сумасшедший?

— О, совершенно сумасшедший! И как меня это радует! Впрочем, ты... Слушай, Джой! Мы сумасшедшие, но мы не слабоумные! Вчера сюда явился один «тайный врачеватель», вообразив, что здесь у нас вольная община,— Терри увел его за двадцать миль и потом, вероятно, бросил в озеро. Нет. Ерунда. Дай мне подумать.— Он почесал подбородок.— Мы, пожалуй, и не сумасшедшие. Мы фермеры.

— Мартин! Знаешь ли, бесконечно занимательно наблюдать, как ты превращаешься в фанатика и при этом всячески изворачи-

ваешься, стараясь, чтоб тебя не считали фанатиком. Ты отступился от здравого смысла. Я — нет. Я верю в ежедневную ванну! Прощай!

— Послушай. Ей-богу...

Она ушла, разумная и торжествующая.

Пока шофер маневрировал между пней на просеке, Джойс выглянула из автомобиля, и они с минуту смотрели друг на друга сквозь слезы. Никогда не были они так откровенны и так полны сострадания друг к другу, как в этом безоружном взгляде, который им напомнил каждую шутку, каждую ласку, каждый тихий вечер, проведенный вместе. Но машина, не останавливаясь, катилась вперед, и Мартин вспомнил, что у него поставлен опыт...

4

В прекрасный майский вечер член Конгресса Альмус Пиккербо обедал у президента Соединенных Штатов.

— Когда кампания кончится, доктор,— сказал президент,— я надеюсь, мы вас увидим членом кабинета — первым в стране министром Здравоохранения и Евгеники!

В этот же вечер доктор Риплтон Холаберд держал речь на собрании выдающихся мыслителей, созванном Лигой Культурного Воздействия. На эстраде среди Людей Скучного Веселья восседали доктор Аарон Шолтейс, новый директор Мак-Герковского института, и доктор Ангус Дьюер, глава Клиники Дьюера и профессор хирургии в Медицинском колледже Форт-Дирборна.

Историческая речь доктора Холаберда передавалась в эфир для миллиона жадно слушающих ценителей науки.

В этот вечер Берт Тозер из Уитсильвании в Северной Дакоте присутствовал на очередном молитвенном собрании. На улице у входа он оставил свой новый бьюик и со скромным удовлетворением слушал, как злорадствует с кафедры священник:

— Праведные, они же дети света, получат воздаяние и будут шествовать в радости, говорит бог сил; нечестивцы же, дети Ваала, будут в свой час казнены и низвергнуты во мрак и погибель, и на торжищах мирских прейдет память о них.

В этот вечер Макс Готлиб сидел, неподвижный и одинокий, в темной маленькой комнате, высоко над шумным городом. Только в глазах его мерцала жизнь.

В этот вечер горячий бриз лениво веял по увенчанному пальмами горному кряжу, где прах Густава Сонделиуса смешался с пеплом и небольшая выемка в саду указывает могилу Леоры.

В этот вечер, после необычайно веселого обеда с Латамом Айрлендом, Джойс благосклонно сказала:

— Да, если я с ним разведусь, я, может быть, выйду за вас. Я знаю! Он никогда не поймет, какой эгоизм с его стороны считать, что изо всех людей на свете он один неизменно прав!

В этот вечер Мартин Эроусмит и Терри Уикет лежали в неуклюжей лодке, в исключительно неудобной лодке, отплыв далеко от берега.

— Я чувствую, что начинаю теперь работать по-настоящему,— сказал Мартин.— Наш новый фокус с производным хинина может оказаться очень недурным. Покорпим над этим делом два-три года и, возможно, придем к чему-нибудь постоянному... а скорее всего, потерпим опять поражение!

ПРИМЕЧАНИЯ

БЭББИТ

Одной из особенностей творческой работы Льюиса было то, что еще до выхода в свет очередного романа он уже входил в тему и образы следующей книги. Критику Карлу ван Дорену в ноябре 1920 года он сообщал: «Я уже думаю о новом романе такого же сорта, как и «Главная улица», но совсем ином по фактуре. На этот раз это будет не история Кэрол, а история Среднего Бизнесмена, Усталого Бизнесмена, не в Гофер-Прери, а в городе в три или четыре сотни тысяч жителей»... Выправляя гранки «Главной улицы», он часто упоминал некоего мистера Дж.-Т. Памфри, обитателя Монарк-Сити. У знакомых он любил проверять, насколько им нравится то или иное имя своего героя; к обряду его «крещения» он относился с большой серьезностью. В итоге Памфри превратился в Бэббита, а его местожительство приобрело несколько ироническое крылатое название — Зенит.

Роман «Бэббит» («Babbitt») стал очередным звеном в создании Америки Синклера Льюиса. В «Главной улице» в поле зрения романиста было провинциальное мещанство, в «Бэббите» — мещанство городское, люди большего социального калибра, принадлежавшие к следующей ступени социальной пирамиды. Сегодня именно к ним обычно относят понятие «истеблишмент». Вместо рядового, массового провинциального поселка Гофер-Прери Льюис переходит к изображению Зенита, «среднего американского города» с населением в 300 тысяч человек.

Писатель был не только дотошен по части социального и общественного статуса своих персонажей, каждый из которых занимал уготованное ему место в структуре американского общества. Поскольку его герой Бэббит торговал недвижимостью, землей и домами, то Льюис специально изучал этот род деятельности, штудировал специальную литературу. Он с профессиональной жадностью вслушивался в разговоры своих героев и, обладая безупречной памятью, мог воспроизводить их с точностью магнитофонной записи. Но подлинным «коньком» Льюиса был жанр комического монолога: он мастерски заставлял своих героев самообнажаться, произно-

сить напыщенные тирады, исполненные самомнения, наглых претензий, разного рода шаблонов и «прописных истин». Человек с явной актерской жилкой, он умел и любил перевоплотиться в любого даже второстепенного своего персонажа.

При этом Льюис, бурный и экспансивный, «Меркуцио прерий», как его называли, отличался и какой-то педантичной деловитостью и систематичностью в работе. Он не только заводил биографические картотеки на своих героев, но и чертил чуть ли не инженерную схему дома, в котором жил Бэббит, подробную топографию города Зенита. Он также разрабатывал «сценарный план» произведения, порой на несколько сот страниц, и прослеживал в нем сюжетные линии главных персонажей. Есть писатели, которых как бы увлекают в свой поток события, рожденные их фантазией; они полностью проникаются судьбой своих героев, не зная порой до конца, где и как будет поставлена точка. Манера Льюиса была, пожалуй, несколько иной; создав поначалу план, схему, некий остов книги, он приступал к его неукоснительной реализации.

Писатель закончил сбор материала к лету 1921 года, после чего отправился в Европу. Основная часть романа была написана осенью 1921 — в начале 1922 года неподалеку от Рима. На глазах писателя резко активизировался фашизм; его непосредственные наблюдения не могли не сказаться на общей концепции «Бэббита». Не только «палмеровские» рейды в США и травля «красных», но и «подвиги» итальянских «коричневорубашечников», безусловно, дали писателю материал, когда он описывал погромные дела Лиги Честных Граждан в Зените.

«Бэббит» был завершен к весне 1922 года. В письме издателю Харкорту Льюис выразил убеждение, что это будет «более сатирическое произведение, чем «Главная улица». В его бумагах осталось неопубликованное предисловие к роману, которое говорит о социальной широте его замысла. Это как бы лаконичный социологический этюд на тему бэббитизма. Нельзя не согласиться с Льюисом, когда он пишет о своем герое как о «победителе, диктаторе в области коммерции, образования, труда, искусства, политики, морали и разговоров и бейсбола». И добавляет: «Их тридцать миллионов, их власть не имеет себе равной».

Вспомним, например, о духовной пище Бэббита, о всех этих комиксах в газете «Вечерний адвокат», «рекламопоэмах» Чама Фринка, объявлениях заочных курсов и т. п., формирующих его коренные жизненные понятия. Сегодня эти средства массовой информации, конечно же, приобрели бóльший размах и интенсивность. Но цели ее остались, в сущности, прежними. Известный социолог Райт Миллс, кстати отметивший роль Льюиса в изображении такой сферы американской жизни, как «офис», контора, в своей книге «Белые воротнички» (1956) пишет: «Коммерческий джаз, сентиментальная опера, чтиво, серийные комиксы, фильмы создают «имиджи», шаблоны поведения, стандарты и идеалы для городских масс. В той или иной мере, но все мы оказываемся незащищенными перед лицом механизиро-

ванной культуры. Массовые средства информации, в силу своего поточного характера, обладают универсальной сферой воздействия. Они предлагают некий всеобщий образец, дают известную схему для запрограммированных массовых эмоций».

Вспомним и об остроумно показанной Льюисом страсти Бэббита к вещам, о культе всей этой мишуры как следствии бездуховности его существования, о том, что шины, зажигалки, бытовые аксессуары давно стали для героя «символом процветания, заменителями радости, горя и мудрости». Позднее, в 1940 году в предисловии к книге американского социолога и историка материальной культуры Дэвида Кона «Добрые старые дни», содержавшей иллюстрированные описания бесчисленного каталога товаров — от шляп и галстуков до мраморных надгробий, высылаемых по почте известной фирмой Сирс-Робек, Синклер Льюис проницательно заметил, что о нравственности, вкусах и морали его соотечественников целесообразней всего судить отнюдь не на основании официальных речей, произносимых политиками, а анализируя продукцию ширпотреба, покупаемую американцами: «...В этих золотых, стальных, кожаных изделиях выражена наша истинная вера, потому что за них мы заплатили деньги. А они-то и есть подлинные сокровища наших душ».

Конечно, в «Бэббите» впечатляет своей масштабностью и значимостью фигура главного героя, «репрезентирующая» средний класс. Однако есть и другая замечательная особенность в романе, порой ускользающая от внимания критиков. В нем Синклер Льюис одним из первых в американской литературе очертил контуры «массового общества» и порожденной им «массовой культуры». Правда, сами эти термины получили хождение в социологической и философской литературе значительно позднее, но Синклер Льюис, с его журналистской чуткостью к общественному пульсу, уловил те самые тенденции нарастающего «овеществления» и «отчуждения» личности, те самые черты стандартизации и унификации, порожденные американским образом жизни, о которых сегодня во весь голос говорят социологи, в том числе и на родине сатирика.

Известный американский социолог Вэнс Паккард, наблюдения которого находят многочисленные художественные параллели в романах Льюиса, в своей книге «Расточители» (1960) вводит в обиход термин «консьюмеризм», то есть «потребительство», характеризуя охватившую его соотечественников жажду накопления и потребления. «...Существенный сдвиг в американском стиле жизни заключается во всепронизывающей «коммерциализации» той среды, в которой мы живем, даже воздуха, которым мы дышим,— пишет Паккард.— Американцев неустанно приучают оценивать свои жизненные достижения с точки зрения материальных приобретений». Другой американский социолог Уильям Уайт в книге «Организованный человек» (1958) прямо пишет о «бэббитовском влиянии» на американскую систему образования, о насаждении среди учащихся бэббитовских стереотипов и понятий.

Упомянем и еще одну знаменательную черту американского образа жизни, раскрываемой через фигуру Бэббита. Этот мнимосвободный гражданин, живущий в «стране свободы», на самом деле подчинен стандарту поведения, находится под гласным и негласным надзором всех этих верджилов гэнчей, которые, как мы знаем, не прощают бэббитам и малейших отклонений от «нормы». С той поры многие писатели и социологи подтвердили это наблюдение: антидемократизм американской демократии в ее самых массовых, повседневных формах.

Сент-Экзюпери, побывавший в США в 1940 году, суммируя свои американские впечатления, обратился к льюисовскому герою: «Моя нынешняя свобода основана на серийном производстве, которое выхолащивает из нас всякое нестандартное желание... Не слишком-то это оригинально — соседствовать с современным Бэббитом, смотреть, как он покупает утреннюю газетку, переваривает уже разжеванную в ней мысль... выбирает между тремя мнениями, где мистер икс собственной персоной оболванивает его своей назойливой глупостью, затем игра в бейсбол в дни отпуска. Но никто не приходит в отчаяние от этой ужасающей свободы — свободы небытия».

«Бэббит» имел большой успех и показал, что после «Главной улицы» Синклер Льюис сделал еще один решительный шаг вперед. Эдит Уортон, которой был посвящен роман, усмотрела в нем «больше жизни, горения, полноты действительности», чем в предшествующей книге. Герберт Уэллс, в чем-то созвучный Льюису по художественной манере, особенно в своих социально-бытовых романах, поздравлял автора «Бэббита» с тем, что он подарил всем столь яркий образ американского бизнесмена, исполненного вульгарности, «стадного чувства», окруженного целым сонмом похожих на него близнецов того же бэббитовского калибра.

Были и отрицательные отзывы, исходившие от консервативных кругов, которые обвиняли Льюиса в создании карикатуры на американского дельца. Известный публицист Уолтер Липпман в своей книге «Люди судьбы» (1927) писал о Бэббите, что это якобы «безжизненный стереотип», «анатомическая конструкция». Иной точки зрения придерживался весьма популярный в 20-е годы критик либерального толка Генри Менкен, который в своих известных книгах «Американа» и «Предрассудки» зло, не без доли аристократического снобизма, издевался над интеллектуальным убожеством американского мещанина. Менкен, в частности, так писал о Джордже Ф. Бэббите: «Впервые подлинный американец ожил в книге — не скромный, почти трогательный американский провинциал, а беспардонный, шумливый, удивительно удачливый американец, обыватель большого города — Стимулятор бизнеса, Мастер рекламы, Стопроцентный Патриот и Человек Правильного Образа Мыслей».

Само слово Бэббит приобрело всеобщее хождение, стало нарицательным. Согласно Американской Энциклопедии, где также увековечено льюисовское создание, под последним разумеется человек, «несущий печать ту-

пости, мещанства, вызывающей самоуверенности, лишенный чувства юмора и способности критически оценивать господствующие стандарты, какими бы узкими и ретроградными они ни казались другим».

Для европейских знатоков американской литературы роман явился интересной неожиданностью. Английский критик Шерард Вайнс писал, что на его родине книга сыграла роль в формировании совершенно нового представления об Америке как о стране, пораженной бэббитизмом. «...Он способствовал тому,— добавляет Вайнс,— что привычный образ американца, худощавого человека с бородкой, сменился новым образом толстого человека в очках». Бернард Шоу выразился на этот счет с присущим ему парадоксальным блеском: «Мистер Синклер Льюис сбросил Вашингтона с пьедестала и водрузил на его место Бэббита, который стал у европейцев притчей во языцех».

Видимо, у каждого писателя есть не только наиболее органическая для него тема, но и образ, человеческая типология, в создании которых всего полнее проявляется его талант. Среди льюисовских «династий» бэббитовская — самая значительная, самая разработанная. Американский романист Джон О'Хара проницательно писал по этому поводу: «Льюис родился для того, чтобы написать историю Бэббита... Он был одним из многих тысяч писателей и журналистов, поэтов и драматургов, который появился на свет и жил для того, чтобы увидеть, понять и увековечить Джорджа Ф. Бэббита».

Полвека, прошедшие с момента выхода романа, подтвердили проницательность Льюиса. Конечно, нынешний средний буржуа, «Бэббит 1973» — не полностью идентичен своему родителю — «Бэббиту 1922»: он мыслит на уровне массовой культуры сегодняшнего дня, у него все наиновейшее — и телевизор, и холодильник, и автомобиль. Изменились кое-какие особенности его бытового уклада, но он по-прежнему внутренне пуст. Льюисовское создание живо.

Роман продолжает переиздаваться. В 1968 году он вышел в Англии. В рецензии на него критик Брайан Гленвилл, в частности, писал: «Люди, подобные Бэббиту,— это филистеры, узколобые националисты, приверженцы правых, зараженные расовыми предрассудками. Если смотреть на него с этой точки зрения, то значение образа Бэббита возрастает».

На русском языке роман впервые был опубликован в 1922 году под названием «Мистер Бэббит». Однако перевод был во многом небрежен. По-настоящему зазвучал этот роман в издании 1959 года в переводе Р. Райт-Ковалевой (Гослитиздат), который был затем включен в девятитомное собрание сочинений (1965) (издательство «Правда»). Перевод Р. Райт-Ковалевой воспроизводится и в настоящем издании.

Стр. 21. *Уортон* Эдит (см. стр. 782) (1862—1937) — известная американская писательница психологического направления, весьма популярная в первые десятилетия XX в. Автор широко известного романа «Век невинности» (1920). «Не мыслитель, а всего лишь наблюдатель, ирония которого —

результат наблюдений за столкновением человека с социальными условностями», как писал о ней видный историк американской литературы В.-Л. Паррингтон, Эдит Уортон оказала известное влияние на молодых писателей, громко заявивших о себе в 20-х годах, в том числе на С. Фицджеральда, Э. Хемингуэя и Синклера Льюиса, который не случайно посвятил ей своего «Бэббита».

Стр. 23. *Нью-йоркский экспресс* — пересекает континент от Атлантического до Тихого океана.

Африканские вельды — луга в Южной Африке.

Стр. 30. *Благодетельный и Покровительственный орден Лосей* — одно из многочисленных в США привилегированных буржуазных объединений дельцов.

Стр. 34. *Бринморский колледж* — один из старейших в США женских колледжей, построенный по университетскому образцу. Основан в 1880 г.

Теодор Рузвельт Бэббит.— Правоверный республиканец, Бэббит дал своему сыну имя в честь Теодора Рузвельта (1858—1919), президента (1901—1909) от республиканской партии.

Стр. 36. *«И лепетом детским ему был чертеж»* — перефразировка строки из английского поэта Александра Попа (1688—1744): «И лепетом детским мне были стихи».

Стр. 38. *«Законодательное собрание штата Нью-Йорк провело несколько постановлений, согласно которым социалисты будут поставлены вне закона».*— Действительно, весной 1920 г. законодательное собрание штата Нью-Йорк исключило из своего состава пятерых депутатов-социалистов, обвинив их в том, что они являются членами «нелояльной организации, целиком состоящей из изменников». В это время в США усилились гонения на радикалов, происходила массовая «депортация» «иностранцев», обвиненных в симпатиях к большевизму.

Стр. 39. *Де Валера* Имон (р. 1882) — один из лидеров ирландских националистов, с 1959 г.— президент Ирландской республики.

Стр. 42. *Битва при Сарагосе* — произошла в 1710 г. во время так называемой «войны за испанское наследство».

Стр. 46. *С видом доброго самаритянина...*— Согласно Евангелию, один из жителей города Самарии в древней Палестине оказал бескорыстную помощь умирающему на дороге. Слово «самаритянин» стало синонимом милосердного человека.

Стр. 53. *«Дом, милый дом»* — популярная американская песенка, бытовавшая в начале XIX в.

Стр. 59. *ХАМЛ* — Христианская Ассоциация Молодых Людей, буржуазная организация, созданная в 1851 г., находится под влиянием протестантской церкви, стремится ограничить воспитание молодежи религиозно-благотворительными интересами, спортом и т. д.

Стр. 69. *Термы Нерона* — общественные бани, построенные в правление римского императора Нерона (I в. н. э.)

Стр. 70. *Чиппендейл* — мебель в стиле английского мастера XVIII в. Томаса Чиппендейла. Изящная, она отличалась богатыми, нередко вычурными инкрустациями.

Хартия Вольностей — была пожалована английским королем в 1215 г. крупным феодалам, защищала их интересы и несколько ограничивала права монарха.

Стр. 72. *Морган* Пирпонт (1867—1943) — американский архимиллионер.

Стр. 75. *Атлантик-Сити* — курортный город на побережье Атлантического океана, штат Нью-Джерси.

Стр. 84. *«Стандарт Ойл»* — крупнейшая американская нефтяная монополия.

Сова Минервы.— Минерва — древнегреческая богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств. Сова считалась ее символом.

Стр. 87. *Демпси* Джек — один из популярнейших в 20-е годы спортивных «звезд», чемпион мира по боксу.

Стр. 88. *Остеопат-виталист* — иронический неологизм С. Льюиса. Остеопатия — наука, изучающая костные заболевания. Витализм — идеалистическое направление в биологии.

Стр. 90. *...радио изобрел какой-то итальяшка...*— Речь идет об итальянском инженере Гульельмо Маркони (1874—1937), которого на Западе считают изобретателем радио.

Ротарианские клубы — объединения дельцов, бизнесменов, людей свободных профессий, избравших своим девизом «сервис». Принадлежность к этому клубу считается свидетельством буржуазной респектабельности.

Стр. 97. *Чешская кошка* — искаженное «чеширский кот». В Чешире продавался сыр в виде головы смеющегося кота; отсюда пошло выражение «скалить зубы, как чеширский кот». Чеширский кот действует в знаменитой сказке Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес».

Стр. 100. *Каутский* Карл (1854—1938) — один из оппортунистических лидеров II Интернационала.

Дебс Юджин (1855—1926) — популярный вождь американского рабочего класса, деятельность которого получила высокую оценку В. И. Ленина. Неоднократно выдвигался от социалистической партии на пост президента США; в 1912 г. собрал около миллиона голосов. В 1919—1921 гг. находился в тюрьме за антивоенную деятельность. В глазах передовых американских писателей — Дж. Лондона, Дж. Рида, Л. Стеффенса, С. Льюиса Дебс олицетворял лучшие черты американского трудового народа. Синклер Льюис в 20-е годы даже собирал материалы для романа о рабочем движении под названием «Человек, который знал бога», героем которого должен был стать Ю. Дебс.

Мак-Гаффи Уильям (1800—1873) — известный американский педагог, автор школьной хрестоматии (1836), неоднократно переиздававшейся.

Стр. 101. *Майк Мондей* — по-видимому, писатель обращает свою иронию на Билла Сандея, известного в 10—20-е годы гастролирующего еванге-

листа, шарлатана, который до перехода на религиозную стезю был игроком в бейсбол.

Стр. 136. *Битва при Геттисберге* — произошла в 1863 г. во время войны между Севером и Югом и закончилась крупной победой северян.

Конфедераты — так называли себя сторонники южного рабовладения, образовавшие в 1861 г. конфедерацию южных штатов.

Рипп ван Винкль — герой одноименной новеллы из «Книги очерков» (1819) Вашингтона Ирвинга, принявший зелья и проспавший двадцать лет. Восходящий к фольклору, этот образ стал одним из популярнейших в американской литературе.

Стр. 152. *«Забыть ли старую любовь...»* — песня на слова Роберта Бернса.

Стр. 155. *Лоббисты* — деятели в законодательных учреждениях и конгрессе США, которые выступают в качестве ходатаев, «проталкивающих» дела и законы в пользу разных фирм и монополий.

Стр. 158. *Система Торренса* — система регистрации земель и прав собственности, разработанная Р. Торренсом и получившая применение в Австралии и Америке. При этом регистрация собственности и контроль за ней осуществляется правительством.

Стр. 160. *Национальная гвардия* — добровольные милицейские силы, образуемые в рамках отдельных штатов и подчиняющиеся губернатору. Нередко вместе с полицией используются для подавления «беспорядков».

Стр. 163. *«Лох Ломонд»* — популярная шотландская баллада.

Стр. 165. *Гардинг* Уоррен (1865—1923) — президент США в период 1921—1923 гг.

Стр. 168. *Стэйт-стрит* — одна из главных улиц Бостона, средоточие банков и других финансовых учреждений.

Стр. 171. *Уилкокс* Элла Уилер (1855—1919) — второразрядная американская поэтесса, популярная в мещанско-буржуазных кругах, автор стихов религиозно-сентиментального характера. Удачной характеристикой культурного облика того или иного персонажа служит у Льюиса указание на его любимых авторов.

Стр. 185. *Луп* (Петля) — деловой центр в Чикаго.

Стр. 187. *Джон Дженнисон Дрю* — упоминается также в романе Синклера Льюиса «Элмер Гентри».

Б. И., Д. Б., Д. П.— в Америке принято ставить после фамилии иногда в виде довольно длинного перечня заглавные буквы, обозначающие ученые звания и степени.

Стр. 195. *Тетрархи* — в Древнем Риме правители тетрархий, провинций, разделенных на четыре военно-административных округа.

Бэк-Бэй — один из фешенебельных районов Бостона.

Стр. 201. *Пятикнижие* — название первых пяти книг Библии.

Стр. 210. *Эпистемеология* — учение о познании, термин, употребляемый, главным образом, англо-американскими философами.

Стр. 221. *Бертран Шоу* — искаженное Бернард Шоу.

Стр. 231. *Харперс-Ферри* — город в штате Виргиния. Является легендарным историческим местом: в 1859 г. на его арсенал вместе с группой соратников совершил нападение Джон Браун (см. ниже).

Ли Роберт (1807—1870) — главнокомандующий южан во время Гражданской войны 1861—1865 гг.

Браун Джон (1800—1859) — национальный герой американского народа, аболиционист. Слова о душе, стремящейся вперед, являются перефразировкой известной песни о Джоне Брауне: «Спит Джон Браун в земле сырой, но память о нем ведет нас в бой».

Стр. 235. *Сити-Холл* — здание городского самоуправления.

Стр. 239. *Эволюционисты* — приверженцы одного из течений христианской церкви, стремящиеся примирить религиозные догмы с эволюционной теорией Дарвина.

Стр. 239—240. *Линдзи* Вэйчел (1879—1931) — американский поэт. Придавая большое внимание музыкальности стиха, использовал ритмы джаза, церковной литургии, негритянских «спиричуэлс», черпал темы из африканского и негритянского фольклора. Бэббиту его стихи кажутся «очень странными».

Стр. 240. *Менкен* Генри Луис (см. стр. 782) (1880—1956) — влиятельный в 10—20-е годы американский критик и публицист либеральных убеждений. Его критика американского мещанина была созвучна льюисовской антибэббитовской сатире. Язвительно иронизировал над ханжеством и делячеством американских церковников. С. Льюис посвятил Г. Менкену свой антиклерикальный роман «Элмер Гентри».

Хергесгеймер Джозеф (1880—1954) — американский писатель, автор психологических романов.

Стр. 241. *Фильд* Юджин (Джин) (1850—1895) — американский поэт-юморист и журналист, приобрел известность своими сатирическими и детскими стихами, публиковавшимися в газетах.

Райли Джеймс Уитком (1849—1916) — американский поэт, юморист, исполнитель собственных произведений. В своих стихах использовал диалектальную речь Среднего Запада.

Стр. 251. *«Прощайте, летние встречи!»* — американская народная песня.

Стр. 259. *Траппер* — охотник за пушниной, пользующийся силками, ловушками и т. п.

Стр. 264. *«Путь всякой плоти»* — сатирический роман английского писателя Сэмюэля Батлера (1835—1902), показывающий фальшь буржуазной семьи. Одной из мишеней Батлера является религиозное ханжество.

Стр. 265. *...делегации, требовавшей единого налога...* — Имеется в виду возглавленное Генри Джорджем в конце XIX в. буржуазно-реформистское движение за единый налог на землю, в котором видели панацею от всех зол.

Стр. 266. *ИРМ* — Индустриальные Рабочие Мира — боевая профсоюзная организация американского пролетариата, возникшая в начале 900-х годов. Не свободная от анархо-синдикалистских ошибок, она, тем не менее, сыграла прогрессивную роль, противостоя реформистской АФТ. Из рядов ИРМ вышли Билл Хейвуд и «менестрель рабочего класса» поэт Джо Хилл.

Стр. 270. *Ну-Тау-Тау* — название студенческой корпорации.

Стр. 280. *Маунт-Вернон* — место рождения и смерти первого президента США Джорджа Вашингтона (1732—1799). Является национальным мемориальным центром; находится на берегу реки Потомак.

Стр. 297. *Американский легион* — основанная в 1919 г. организация ветеранов войны в США; финансируется крупными монополиями, нередко используется как реакционная сила в борьбе с прогрессивным движением.

Стр. 306. *Логос* (г р е ч.) — разум; здесь: рациональное устройство мироздания.

Стр. 307. *Теософия* — религиозно-мистическое учение, считающее источником познания интуицию, откровение.

Веданта — древнеиндийское религиозно-философское течение, сохранившее свое влияние также и в XX в.

Стр. 336. *Пинокль* — карточная игра.

ЭРОУСМИТ

Книга о торговце недвижимостью из Зенита еще не была закончена, а Синклер Льюис уже информировал своего издателя: «Я думаю, что в следующем романе появится характер героический». «Эроусмит» («Arrowsmith») увидел свет в марте 1925 года; ему суждено было стать одним из значительных произведений американской литературы XX века.

Книга, выделявшаяся своей общей тональностью на фоне сатирических романов Льюиса 20-х годов, была, однако, очень органичной для писателя; недаром некоторые критики пишут об «эроусмитовском» начале в его характере. Важное место в творческой истории романа занимает встреча Льюиса с Полем де Крюи (1890—1971), происшедшая в конце 1922 года; своим замыслом книги о врачах Льюис увлек в ту пору молодого начинающего бактериолога, будущего автора знаменитых «Охотников за микробами». Вместе с Полем де Крюи Льюис отправился обследовать клиники Нью-Йорка и Филадельфии, изучать работу научно-исследовательских институтов и лабораторий. Весной 1923 года они побывали на Бермудских островах, где должен был разыграться сент-губертский эпизод будущего романа. В кратком предисловии Льюис выразил благодарность де Крюи «за помощь в разработке самой фабулы, за то, что в каждом персонаже романа он видел живого человека, за его философию ученого».

В этот, пожалуй, наиболее «личный» из своих романов Льюис вложил много душевных сил. Он как-то заметил: «Бэббит» — моя лучшая книга, а «Эроусмит» — любимая». В Мартине Эроусмите он любил целеустремленность, неподкупность перед лицом материальных соблазнов, а главное, упорно оберегаемую посреди всеобщего мещанства и конформизма независимость.

Позднее, в 1941 году он даже написал шутливый автонекролог, названный им «Смерть Эроусмита». Не забудем особый интерес Льюиса к медицинской профессии: он был сыном провинциального врача и относился с огромным уважением к старшему брату Клоду, пошедшему по стопам отца.

В своих мемуарах Поль де Крюи вспоминал: «Поражала решительность, с которой Льюис разворачивал историю научной и духовной борьбы Мартина Эроусмита, упрямого молодого человека, охваченного дьявольским желанием стать микробиологом». Его конфликт с мещанско-собственнической средой глубок и неизбежен. Вообще же, мотив противоборства бэббитовского и эроусмитовского начал чрезвычайно характерен для творчества Синклера Льюиса в целом.

Почти все персонажи романа имели своих прототипов. Например, верная и мужественная Леора, подруга Мартина, была «списана» с Ри Барбарин, бывшей медицинской сестрой, жены Поля де Крюи. Прототипами для Макса Готлиба послужили два ученых — Джордж Нови, профессор Мичиганского университета, и знаменитый Жак Леб, биолог, выходец из Германии, оставивший свою родину в знак протеста против разгула милитаризма и шовинизма. Изображая Мак-Герковский институт, типичное учреждение, существующее на пожертвования крупного миллионера, он имел в виду знаменитый Рокфеллеровский институт экспериментальной медицины; в нем некоторое время работал Поль де Крюи, получивший отставку за то, что в своей книге «Люди нашей науки» (1920) нелестно отозвался о некоторых должностных лицах института.

Как и в других лучших своих романах, Синклер Льюис поднял тему актуальную, общественно-значимую.

В послевоенные годы состояние дел в американской науке и высшем образовании стало предметом острого внимания. Еще в книге статей «Бей, барабан» (1919) Драйзер писал о «ненормальном положении, в котором оказались искусство и свободная мысль в Америке, глубоко погрязшей в практицизме».

Эптон Синклер в своей известной публицистическо-социологической серии, озаглавленной «Мертвая рука», дал критический анализ положения дел в университетах и колледжах. Прежде всего, он констатировал унизительную зависимость высшего образования от большого бизнеса, который с помощью филантропических пожертвований, через совет попечителей и другие каналы воздействует на «образование нашего юношества», придавая ему весьма определенную направленность. В книге «Гусиный шаг»

(1923) Э. Синклер сравнивает университеты с военным плацем, на котором солдаты подвергаются муштре: всесильные попечители, а также «фабриканты и оптовики», действующие за их спиной, расправляются с неугодной, строптивой, свободомыслящей профессурой, добиваясь от нее «лояльности». Не случайно Э. Синклер назвал свою книгу «протестом против классового контроля над мышлением».

В «Эроусмите» Льюис достоверен в изображении самой атмосферы подавления академических свобод в американской высшей школе. Еще в романе Льюиса «Полет сокола» социалист профессор Фрезер был затравлен и изгнан из колледжа. Также был подвергнут своеобразному остракизму и профессор Готлиб в «Эроусмите». Немало подобных фактов знает история американской высшей школы. «Никогда мысль и общественные взгляды ученого,— пишет американский либеральный философ Моррис Р. Коэн в книге «Американская мысль»,— не подвергались такой унизительной слежке, как в Америке».

Гротескные льюисовские фигуры Таббза, Холаберда и других дельцов от науки служат отличной иллюстрацией к тезисам американского социолога Уильяма Уайта, который в книге «Организованный человек» прослеживает процесс «бюрократизации ученого». Вспомним, как, покинув университет, Готлиб, скрепя сердце, поступает в фирму Ханзикера. Такой поворот, достаточно типичный, вызывает у Уайта в упомянутой книге восклицание: «Как унизительны, как разрушительны подобные решения! Почему должен ученый ориентироваться на компанию?»

По выходе романа рецензенты были достаточно единодушны в своих положительных оценках. Дж.-Т. Кратч в «Нейшн» признал, что «Эроусмит» «совершеннее», «правдивее», чем «Главная улица» и «Бэббит». В глазах рецензента из «Атлантик мансли» писатель проявил себя не только мастером сатирических экскапад, но «художником искренним, сильным, сдержанным». Столь же единодушным было признание того, что Льюис достиг редкого единства в изображении жизненно-бытовой и научной сфер. Он сумел рассказать о труде ученого не только конкретно и увлекательно, но и сделать его глубоко понятным широкому читателю. Видный критик Роберт Морс Ловетт в журнале «Дайэл» писал, что защита Льюисом общественных принципов придала широту и значительность его «Эроусмиту». Авторитетный литературовед Генри Сейдел Кенби в рецензии, озаглавленной «Поразительный успех», писал, что «Эроусмитом» Льюис подтверждал свое право «стать национальным романистом», что это «истинно американский роман». Бостонская газета «Ивнинг транскрипт» писала о «подкупающей искренности», отмечающей книгу, «Таймс литературери саппльмент» — о «впечатляющем эпическом размахе».

Роман имел большой успех в Европе; журнал «Ливинг эйдж» в мае 1926 года поместил специальную информацию, отражающую живой интерес, проявленный к книге в Германии.

В июле 1965 года в журнале «Сэтерди ревью» критик Джон Хатчинс справедливо писал об этом романе как о произведении, которое пережило свое время. «Впервые,— писал он,— сатирик создал роман, в центре которого человек, не лишенный слабостей, сомнений, опасений, но тем не менее настоящий герой». Он находил в писателе «диккенсовское пристрастие» — умение создавать характеры «чем-то реальные, чем-то гротескные». В заключение статьи Хатчинс приводил следующий эпизод. На один из званых вечеров, созванных Дороти Томпсон, известной журналисткой, женой Льюиса, была приглашена большая группа знаменитостей. Хозяин дома, Синклер Льюис, как-то потерялся в толпе. Он одиноко бродил среди гостей, пока, наконец, не подошел к одному из них и не взял его крепко за плечо. «Так знаете ли вы, кто я? — спросил он у него.— Я написал «Эроусмита».

К 1959 году общий тираж изданий романа в странах Запада составил 700 тысяч экземпляров. В 1968 году в США вышел под редакцией Дж. Гриффина сборник критических статей, специально посвященных этому роману.

На русском языке роман впервые увидел свет в 1925 году под названием «Мартин Арроусмит» в переводе М. П. Чехова. Через четыре года вышло новое издание: «Мартин Эрроусмит» (пер. Л. Л. Домера). В трех последующих изданиях (1936, 1956, 1965) печатался перевод Н. Вольпин. Перевод Н. Вольпин воспроизводится и в настоящем издании.

Стр. 350. *Штат Уиннемак* — создан воображением Льюиса. По-видимому, название дано в подражание индейским географическим названиям вроде Виннипег и Потомак. Писатель, имевший тенденцию связывать свои романы в своеобразный эпический цикл, создал и свою географию: город Зенит упомянут не только в «Эроусмите» и «Бэббите», но в повести «Человек, который знал Кулиджа», романах «Элмер Гентри» и «Гидеон Плениш». Уиннемакский университет упоминается в последнем романе Льюиса «Мир так широк».

Провансальская поэзия — рыцарская поэзия, разрабатывавшая, в основном, любовную тематику. Достигла расцвета в Провансе в XII—XIII вв.

Арнольд Мэтью (1822—1888) — английский поэт, критик и искусствовед.

Стр. 353. *Джонсон* Бен (1573—1637) — английский драматург, комедиограф, современник Шекспира.

Эрлих Пауль (1854—1915) — немецкий бактериолог, биохимик, создатель сальварсана, один из героев книги Поля де Крюи «Охотники за микробами».

Райт Альмрот (1861—1947) — английский бактериолог и инфекционист, автор работ по вопросам иммунитета.

Стр. 359. *Асафетида* — смолистое растительное вещество, издающее чесночный запах. Используется в медицине.

Стр. 361. *Высокая церковь* — одно из ответвлений англиканской церкви; придает большое значение обрядной пышности.

Стр. 362. *Людвиг* Карл Фридрих Вильгельм (1816—1895) — немецкий физиолог.

Стр. 367. *Мередит* Джордж (1828—1909) — английский романист.

Хоуэллс Уильям Дин (1837—1920) — американский романист, популярный в конце XIX в. В своей Нобелевской речи Синклер Льюис, может быть, излишне прямолинейно упрекал его в «викторианской боязливости». В 20-е годы, когда пришло новое поколение писателей-реалистов, популярность Хоуэллса, казавшегося «старомодным», излишне сдержанным, резко упала. Приверженность Маделины Фокс к Хоуэллсу, по мысли Льюиса, должна была подчеркнуть ее мещанские вкусы.

Стр. 376. *Кох* Роберт (1843—1910) — выдающийся немецкий бактериолог, открыл возбудителей сибирской язвы, туберкулеза, холеры. Поль де Крюи посвятил ему главу в своей книге «Охотники за микробами».

Пастер Луи (1822—1895) — один из основоположников микробиологии, создатель прививок против бешенства, также один из героев «Охотников за микробами».

Стр. 377. *Катартик сложный* — слабительное. Готлиб намекает на врачей, выписывающих лекарства по шаблону.

Стр. 378. *Патер* Уолтер (1839—1894) — английский писатель, критик, искусствовед, исследователь эпохи Возрождения.

Стр. 382. *Леб* Жак (см. стр. 789) (1859—1924) — американский биолог, выходец из Германии, работал в области экспериментальной эмбриологии и искусственного размножения низших организмов.

Аррениус Сванте (1859—1927) — выдающийся шведский ученый, работавший в области физической химии.

Стр. 389. *Эмерсон* Ральф Уолдо (1803—1882) — выдающийся американский философ, писатель и поэт, в середине прошлого века играл важную роль в духовной жизни Америки.

Стр. 395. *Штамм* — термин в микробиологии, обозначающий культуру микроба или вируса, выделенную из одного источника.

Стр. 397. *Уитсильвания* — вымышленное название, производное от слова: «уит» — пшеница. Букв.: пшеничный край.

Стр. 398. Льюис часто использует прием «говорящих имен». Второе и третье имя *Эндрю Джексон* дано Тозеру в честь седьмого президента США Эндрю Джексона.

Стр. 402. *«Золотой черепок»* — роман ирландского писателя Джеймса Стивенса (1882—1950).

Стр. 403. *Ослерова «Медицина»* — Ослер Уильям (1849—1919) — канадский медик, работал во многих университетах Европы и Америки, автор многочисленных фундаментальных трудов по различным областям медицины.

Стр. 423. *Блейк* Уильям (1757—1827) — великий английский поэт, создававший также гравюры к своим произведениям.

Стр. 428. *Смит* Теобальд (1859—1934) — крупный американский бактериолог, занимался проблемами иммунизации от холеры, открыл переносчика техасской лихорадки. Был членом Национальной Академии наук, позднее президентом Рокфеллеровского института.

Нови Фредерик Джордж (см. стр. 789) (1864—1957) — американский химик и бактериолог. Учился в Берлине, работал в Париже в Пастеровском институте, принимал непосредственное участие в борьбе с эпидемическими заболеваниями в США.

Стр. 433. *Джордж Ф. Бэббит* — герой предшествовавшего романа. Синклер Льюис иногда «переселял» персонажей из одного произведения в другое. Так, Додсворт из одноименного романа упоминается в романе «Мир так широк»; в «Гидеоне Пленише» есть упоминание об Элмере Гентри.

Стр. 434. *Олдермен* — член городского самоуправления.

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, трижды был премьер-министром.

Стр. 443. *Леополис* — вымышленное Льюисом имя, образованное по примеру характерных названий американских городов: Индианаполис, Аннаполис и др. Леополис в переводе с греческого означает «Левгород».

Стр. 452. *Кони-Айленд* — знаменитый парк с увеселениями и аттракционами в Нью-Йорке. Расположен на одноименном острове в устье Гудзона.

Стр. 455. *Берет* и *мантия* — парадная одежда ученых в университетах Англии и США.

Доктор медицины — звание, которое присваивается после окончания медицинских факультетов США; соответствует диплому о высшем образовании.

Стр. 459. *Лаэннек* Рене (1781—1826) — знаменитый французский врач, исследователь туберкулеза.

Стр. 461. *Биометрия* — изучение биологических процессов с помощью математической статистики.

Иерсин Александр (1863—1943) — французский бактериолог, был директором Пастеровского института в Индокитае. Выделил чистый дифтерийный токсин, что позволило впоследствии приготовить антидифтерийную сыворотку; установил также бациллоносительство.

Стр. 468. *...зрелой цивилизации Кембриджа и Бостона...* — Бостон и его пригород Кембридж являются историческими очагами американской культуры. В Бостоне расположены знаменитый Массачусетский технологический институт, крупнейшая обсерватория, многочисленные издательства и культурные учреждения, в Кембридже — старейший Гарвардский университет. В романах Льюиса нередко противопоставляется культура Востока США как более старая, утонченная, европеизированная — культуре За-

пада, менее рафинированной, но несущей уже специфически американскую «пионерскую» окраску.

Стр. 474. *Ру* Пьер (1853—1933) — французский бактериолог, ученик и соратник Пастера, руководитель Пастеровского института в Париже; один из создателей антидифтерийной сыворотки.

Борде Жюль (1870—1939) — бельгийский иммунолог и бактериолог, лауреат Нобелевской премии; работал в лаборатории И. И. Мечникова, основал Пастеровский институт в Брюсселе.

Брюс Дэвид (1855—1931) — английский бактериолог, паразитолог и эпидемиолог. Обнаружил возбудителя бруцеллеза.

Бонд-стрит — улица в Лондоне.

Стр. 478. *Книга Иова* — одна из книг Библии. Иов — образец праведности, веры и долготерпения.

Стр. 502. *Осенью 1912 года ...домогались президентства...*— Президентские выборы 1912 г. прошли в напряженной политической борьбе. Победил демократ Вудро Вильсон, типичный буржуазный либерал, выдвинувший демагогический лозунг «новой свободы». Ему противостояли два кандидата от расколовшейся республиканской партии — Уильям Тафт и Теодор Рузвельт.

Стр. 504. *Четвертого июля* — национальный американский праздник, День Независимости.

Стр. 505. *Сервис* Роберт (1874—1958) — канадский поэт и романист.

Стр. 506. *...вчитывался в «Золотую чашу»...*— Имеется в виду роман американского писателя Генри Джеймса (1843—1916), отличающийся сложной структурой.

Стр. 512. *А. М. А.*— Американская Медицинская Ассоциация.

Стр. 517. *«Едгин»* — сатирико-утопический роман английского писателя Сэмюэля Батлера. Название представляет перевернутое слово «нигде».

...герои желтой лихорадки...— В 1900 году четыре американских микробиолога — Уолтер Рид, Аристид Аграмонте, Джеймс Кэррол и Джесс Лезир выявили на Кубе переносчика желтой лихорадки — москита «стегомия». Лезир погиб от укуса москита.

Стр. 519. *«Мейстерзингеры»* — опера Рихарда Вагнера (1813—1883).

Лорд Холдейн Ричард (1856—1928) — английский государственный деятель, в 1912—1915 гг.— лорд-канцлер.

Гиссинг Джордж (1857—1903) — английский писатель, автор романов из жизни лондонского «дна».

Стр. 529. *...преподавания биологии дарвиновского толка...* Попытки познакомить учащихся с дарвиновским эволюционным учением натолкнулись в ряде школ США на сопротивление влиятельных ретроградов. В год выхода романа в Дейтоне состоялся позорный «обезьяний процесс» над учителем Джоном Скопсом, излагавшим дарвиновскую теорию происхождения человека от обезьяноподобных предков.

Стр. 530. *Кембриджский Мудрец.*— Пиккербо имеет здесь в виду Лонг-

фелло, который последние годы своей жизни провел в Кембридже.

Стр. 531. *Чам Фринк* — персонаж романа «Бэббит».

Гест Эдгар (1881—1959) — американский журналист и поэт, поставщик «массового» псевдонародного чтива. Ежедневно в газетах печатались его стихи плоско назидательного сентиментального характера.

Мейсон Уот (1862—1939) — американский поэт-юморист, сочинитель литературного ширпотреба невысокого качества. Его стихи печатались одновременно в двухстах газетах США и Канады.

Стр. 533. *Эдвардс* Джонатан (1703—1758) — американский богослов.

Клуб 1912 года имени Рузвельта был организован сторонниками Теодора Рузвельта, который в 1912 году, после 8 лет пребывания на посту президента США, вновь выставил свою кандидатуру на выборах в качестве лидера отколовшейся от республиканцев прогрессивной партии, выдвинувшей широковещательную демагогическую «антитрестовскую» программу.

Стр. 537. *ХАМЖ* — Христианская Ассоциация Молодых Женщин, женский филиал ХАМЛа.

Стр. 551. *Беннет* Арнольд (1867—1931) — английский романист.

Стр. 554. *Тобогган* — канадские салазки.

Стр. 562. *Воган* Виктор (1851—1929) — американский ученый. Был президентом Американской Медицинской Ассоциации.

Стр. 570. *«Шатоква»* — общественно-просветительная организация, устраивающая в летнее время выездные учебные сессии с чтением лекций, практическими занятиями и развлечениями. Получила свое название от озера Шатоква в штате Нью-Йорк, где впервые были устроены занятия таких летних школ.

Джексон Томас Джонатан (1824—1863) — генерал армии южан в Гражданской войне, получил прозвище «Каменная Стена».

Стр. 577. *...лужайки перед подъездами только начали зарастать газоном.*— Намек на популярный в Англии анекдот об одном американце, который, ревностно перенимая культуру английских аристократов, однажды с удивлением узнал, что газон перед замком английского лорда потребовал почти триста лет постоянного ухода.

Стр. 578. *Пятая авеню* — одна из фешенебельных улиц Нью-Йорка.

Стр. 581. *«Скиния»* — походный храм в древней Палестине. Так американские сектанты называют свои молитвенные дома.

Стр. 582. *ЖХСТ* — Женский Христианский Союз Трезвости.

Евгеническая Семья.— Евгеника — теория об улучшении человеческой породы. Изображая «евгеническую семью» Пиккербо, Льюис иронизирует над этой псевдонаукой.

Стр. 585. *«Дикси»* — популярная песня в армии южан в период Гражданской войны в США.

Стр. 609. *Росс Мак-Герк.*— Очевидно, имя этого миллионера содержит намек на имена Рокфеллера и Мак-Кормика.

Стр. 616. *Парриш* Максфилд (1870—1966) — американский художник, иллюстратор и мастер стенной росписи.

Стр. 619. *Святой Чижик* — намек на имя Холаберда, которое близко по звучанию к словам «холи» (святой) и «берд» (птица).

Стр. 625. *Стехиометрические отношения* — весовые и объемные отношения, при которых вещества вступают в химическое взаимодействие.

Стр. 631. *«Лузитания»* — огромный пассажирский английский пароход, потопленный в мае 1915 г. немецкой подводной лодкой.

Стр. 637. *Флаг Патриота* — вывешивался в США во время первой мировой войны. На нем рисовались звезды по числу членов семьи, находившихся в армии.

Стр. 649. *Агорафобия, клаустрофобия, пирофобия, антропофобия* — боязнь пространства, одиночества, огня, людей.

Стр. 658. *Д'Эррель* Феликс (1873—1949) — французский микробиолог, один из основоположников учения о бактериофагии. В 1917 г. он напечатал описание бактериофага, охарактеризовал его основные свойства и высказал предположение о его ультравирусной природе. Теория Д'Эрреля о живой, вирусной природе бактериофага, основанная на многочисленных экспериментальных данных, явилась фундаментом, на котором построено современное учение бактериофагии.

Стр. 669. *Хавкин* Владимир Аронович (1860—1930) — русский бактериолог. Около 20-ти лет проработал в Индии, изучая холеру и чуму, создал в Бомбее лабораторию, преобразованную в дальнейшем в институт его имени. Занимался предохранительными прививками против чумы и холеры, а созданная им противочумная вакцина Хавкина получила широкое применение в бактериологической практике.

Стр. 676. *Мидленд* — центральные графства Англии.

Стр. 695. *Харли-стрит* — улица в Лондоне, на которой находятся кабинеты многих видных врачей.

Стр. 711. *Аррас* — город во Франции, где в первую мировую войну шли кровопролитные бои.

Стр. 712. Мыс *Лизард* — самая южная точка Англии.

Стр. 729. *...кое-где начали брать под сомнение благодеяния, расточаемые Соединенными Штатами их младшим братьям...* — Возвращение Мартина из Вест-Индии относится к 1920 г. В послевоенный период США продолжали проводить политику «большой дубинки» в странах Латинской и Южной Америки: свергались неугодные правительства, навязывались кабальные договоры, устанавливались режимы, служащие американским монополиям, и т. д.

Стр. 739. *Гринвич-Вилледж* — один из кварталов Нью-Йорка, населенный, по преимуществу, писателями, художниками, актерами, представителями богемы. В начале 1910-х годов — один из центров радикального брожения американской интеллигенции.

Стр. 744. *Ногучи* Хидейо (1876—1922) — японский бактериолог. Неоднократно выезжал с экспедициями в Китай, Африку, Южную Америку. Основные работы посвящены сифилису, трахоме, бешенству, желтой лихорадке.

Стр. 758. *«Питер Уиффл»* — роман американского писателя Карла ван Вехтена (1880—1964); вышел в свет в 1922 г.

Стр. 774. *...обедал у президента Соединенных Штатов.*— Речь идет об Уоррене Гардинге.

Министр Здравоохранения и Евгеники — вымышленная должность.

Б. Гиленсон

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Мотылева. Синклер Льюис и его лучшие романы . . . 5

БЭББИТ. *Перевод Р. Райт-Ковалевой* 21

ЭРОУСМИТ. *Перевод Н. Вольпин* 341

Примечания *Б. Гиленсона* 777

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 163

Льюис Синклер

БЭББИТ. ЭРОУСМИТ

*

Редактор Е. Осенева

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры А. Новикович
и В. Широкова

*

Сдано в набор 29/XI 1972. Подписано к печати 26/III 1973. Бумага тип. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 50 печ. л. 46,65 усл. печ. л. 51,064 уч.-изд. + 1 вкл. +8 нак. = 51,945. Тираж 303 000 экз. Заказ 3390. Цена 2 р. 56 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28